ОРЛАНДО ФАЙДЖЕС

ТРАГЕДИЯ НАРОДА

История Русской революции

1891–1924

Стефани

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 6
Глоссарий 12
Примечание о датах 14

Часть первая. Россия при старом режиме 15
Глава 1. Династия 16
i. Царь и его народ 16
ii. Миниатюрист 34
iii. Наследник 46
Глава 2. Неустойчивые опоры 61
i. Бюрократы и халаты 61
ii. Тонкий слой цивилизации 71
iii. Остатки феодальной армии 88
iv. Не такая уж Святая Русь 96
v. Тюрьма народов 106
Глава 3. Иконы и тараканы 125
i. Особый мир 125
ii. Попытка изгнать прошлое 157
Глава 4. Красные чернила 182
i. Внутри крепости 182
ii. Маркс приходит в Россию 203

Часть вторая. Кризис власти (1891–1917) 224
Глава 5. Первая кровь 225
i. Патриоты и освободители 225
ii. «Царя больше нет» 245
iii. Развилка путей 269
Глава 6. Последние надежды 303
i. Парламент и крестьяне 303
ii. Государственный деятель 313
iii. Ставка на сильных 328
iv. За Бога, Царя и Отечество 340
Глава 7. Война на трёх фронтах 356
i. Металл против людей 356
ii. Безумный шофёр 377
iii. Из окопов на баррикады 411

Часть третья. Россия в революции (февраль 1917 — март 1918) 427
Глава 8. Славный Февраль 428

i. Власть улицы *428*
ii. Невольные революционеры *445*
iii. Николай Последний *464*
Глава 9. Самая свободная страна в мире 483
i. Далёкое либеральное государство *483*
ii. Ожидания *493*
iii. Ярость Ленина *523*
iv. Отчаяние Горького *548*
Глава 10. Агония Временного правительства 557
i. Иллюзия нации *557*
ii. Более тёмный оттенок красного *575*
iii. Человек на белом коне *597*
iv. Гамлеты демократического социализма *618*
Глава 11. Революция Ленина 640
i. Искусство восстания *640*
ii. Самодержцы Смольного *680*
iii. Грабь награбленное *706*
iv. Социализм в одной стране *725*

Часть четвёртая. Гражданская война и создание советской системы (1918–1924) **745**
Глава 12. Последние мечты старого мира 746
i. Петербург в степи *746*
ii. Призрак Учредительного собрания *772*
Глава 13. Революция идёт на войну 801
i. Вооружая революцию *801*
ii. «Кулаки», мешочники и зажигалки *818*
iii. Цвет крови *849*
Глава 14. Новый режим торжествует 877
i. Три решающих сражения *877*
ii. Товарищи и комиссары *926*
iii. Социалистическое Отечество *944*
Глава 15. Поражение в победе 978
i. Короткие пути к коммунизму *978*
ii. Инженеры человеческих душ *993*
iii. Большевизм в отступлении *1018*
Глава 16. Смерти и отъезды 1054
i. Сироты революции *1054*
ii. Непокоренная страна *1068*
iii. Последняя борьба Ленина *1077*
Заключение 1095

Примечания 1116
Библиография 1155

ПРЕДИСЛОВИЕ

В наши дни «революцией» называют так много всего — перемену в правительственной политике в области спорта, техническое новшество или даже новое веяние в маркетинге, — что читателю этой книги, быть может, нелегко с самого начала осознать огромный масштаб её предмета. Русская революция была — по крайней мере по своим последствиям — одним из величайших событий мировой истории. За время жизни одного поколения после установления советской власти треть человечества жила при режимах, созданных по её образцу. Революция 1917 года определила облик современного мира, и мы только сейчас выходим из её тени. Это была не столько одна революция — тот компактный взрыв 1917 года, который так часто изображают учебники истории, — сколько целый комплекс различных революций, разразившихся в разгар Первой мировой войны и вызвавших цепную реакцию новых революций, гражданских, этнических и национальных войн. К тому времени, когда всё закончилось, она разнесла на части — а затем собрала заново — империю, занимавшую шестую часть земной суши. Рискуя показаться бессердечным, скажу, что легче всего передать размах революции, перечислив, какими способами она губила человеческие жизни: до 1917 года десятки тысяч людей погибли от бомб и пуль революционеров и по меньшей мере столько же — от репрессий царского режима; тысячи погибли в уличных боях того года; сотни тысяч — от красного террора и столько же — от белого (если считать жертв погромов, устроенных белыми против евреев) в последующие годы; более миллиона погибли в боях гражданской войны, включая мирное население в тылу; и ещё больше людей умерли от голода, холода и болезней, чем от всего этого, вместе взятого.

Всё это, полагаю, может служить извинением за огромный объём этой книги — первой попытки дать в одном томе всеобъемлющую историю всего революционного периода. Повествование начинается в 1890-х годах, когда революционный кризис по-настоящему начался, а точнее — в 1891 году, когда реакция общества на голод впервые поставила его на путь столкновения с царским самодержавием. Заканчивается же наш рассказ в 1924 году смертью Ленина, когда

революция совершила полный круг и основные учреждения, если не все практики, сталинского режима уже сложились. Тем самым революции отводится гораздо более долгая жизнь, чем обычно. Но мне кажется, что, за одним-двумя исключениями, прежние истории революции были слишком узко сосредоточены на событиях 1917 года, отчего круг её возможных исходов казался гораздо более ограниченным, чем был на самом деле. Вовсе не было неизбежным, чтобы революция закончилась большевистской диктатурой, хотя, если смотреть лишь на тот роковой год, можно прийти к такому выводу. И до 1917 года, и в течение его был ряд решающих моментов, когда Россия могла бы пойти по более демократическому пути. Цель «Трагедии народа» — рассматривая революцию в longue durée, в большой временной перспективе, — объяснить, почему этого не произошло ни в одном из этих моментов. Как подсказывает само название, в основе книги лежит утверждение, что неудача демократии в России коренилась глубоко в её политической культуре и социальной истории. Многие темы четырёх вводных глав части первой — отсутствие опирающегося на государство противовеса деспотизму царя; изолированность и хрупкость либерального гражданского общества; отсталость и жестокость русской деревни, толкавшие столь многих крестьян искать лучшей жизни в промышленных городах; и странный фанатизм русской радикальной интеллигенции — будут постоянно возвращаться в повествовании частей второй, третьей и четвёртой.

Хотя политика никогда не бывает далеко, это, пожалуй, социальная история — в том смысле, что в центре её внимания находятся простые люди. Я старался показать главные общественные силы — крестьянство, рабочий класс, солдат и национальные меньшинства — как участников их собственной революционной драмы, а не как «жертв» революции. Это не значит отрицать, что жертв было много. Не значит это и следовать подходу «снизу вверх», столь модному ныне среди историков-«ревизионистов» Советской России. Было бы нелепо — а в случае России и непристойно — утверждать, будто народ получает тех правителей, которых заслуживает. Но я утверждаю, что политизированные истории Русской революции «сверху вниз», которые писались в эпоху холодной войны и в которых простые люди выступали пассивными объектами злых козней большевиков, больше не отвечают

действительности. Теперь у нас есть богатая и растущая литература, основанная на исследованиях в недавно открытых архивах, о социальной жизни русского крестьянства, рабочих, солдат и матросов, провинциальных городов, казачества и нерусских областей империи в революционный период. Эти монографии дали нам гораздо более сложную и убедительную картину отношений между партией и народом, чем та, что представлена в прежней версии «сверху вниз». Они показали, что вместо единой абстрактной революции, навязанной большевиками всей России, её столь же часто формировали местные страсти и интересы. «Трагедия народа» — это попытка обобщить этот пересмотр и продвинуть рассуждение ещё на шаг. Она пытается показать, как и указывает её название, что начавшаяся как народная революция несла в себе семена собственного перерождения в насилие и диктатуру. Те же общественные силы, что привели к торжеству большевистского режима, стали его главными жертвами.

Наконец, повествование «Трагедии народа» переплетает частную и общественную сферы. Где только возможно, я старался подчеркнуть человеческое измерение её великих событий, прислушиваясь к голосам отдельных людей, чьи жизни оказались захвачены бурей. Их дневники, письма и другие частные записи занимают в этой книге видное место. Более того, через всё повествование проходят личные истории нескольких людей. Некоторые из них хорошо известны (Максим Горький, генерал Брусилов и князь Львов), другие же неизвестны даже историкам (крестьянин-реформатор Сергей Семёнов и солдат-комиссар Дмитрий Оськин). Но у всех у них были надежды и стремления, страхи и разочарования, типичные для революционного опыта в целом. Прослеживая судьбы этих людей, я стремился передать хаос тех лет таким, каким его, должно быть, ощущали обычные мужчины и женщины. Я пытался показать революцию не как шествие абстрактных общественных сил и идеологий, а как человеческое событие, состоящее из сложных личных трагедий. В общем и целом это была история людей, подобных героям этой книги, которые с высокими идеалами брались добиться одного, лишь чтобы впоследствии обнаружить, что результат оказался совсем иным. Вот почему, опять-таки, я решил назвать книгу «Трагедия народа». Ведь она не только о трагическом поворотном

пункте в истории народа. Она ещё и о том, как трагедия революции поглотила судьбы тех, кто её пережил.

* * *

Эта книга писалась более шести лет, и она многим обязана многим людям.

Прежде всего я должен поблагодарить Стефани Палмер, которой пришлось вытерпеть гораздо больше эгоистичных рабочих часов, испорченных работой выходных и отпусков и вообще невыносимого поведения со стороны мужа, чем она вправе была ожидать. Взамен я получал от неё любовь и поддержку в куда большей мере, чем заслуживал. Стефани ухаживала за мной в мрачные годы изнурительной болезни на ранних этапах работы над книгой и, помимо собственной тяжёлой работы, взяла на себя больше, чем ей полагалось, забот о наших дочерях, Лидии и Элис, после их рождения в 1993 году. С благодарностью посвящаю эту книгу ей.

Огромную роль в создании этой книги сыграл Нил Белтон из издательства «Джонатан Кейп». Нил — мечта любого автора о редакторе. Он прочитал каждую главу в каждой редакции и комментировал их в длинных и подробных письмах, написанных превосходной прозой. Его критические замечания всегда попадали в цель, его знание предмета не переставало удивлять, а его энтузиазм вдохновлял. Если и есть один читатель, к которому обращена эта книга, то это он.

Вторую редакцию прочитал также Борис Колоницкий во время наших встреч в Кембридже и Санкт-Петербурге. Я очень благодарен ему за многочисленные замечания, каждое из которых улучшило текст, и надеюсь, что, хотя до сих пор это сотрудничество было односторонним, оно положит начало прочному интеллектуальному партнёрству.

Я многим обязан двум удивительным женщинам. Одна из них — моя мать, Ева Файджес, признанный мастер искусства повествования, всегда дававшая мне добрые советы о том, как им владеть. Другая — мой литературный агент Дебора Роджерс, оказавшая мне большую услугу, устроив «брак» с издательством «Кейп».

В «Кейпе» особой благодарности заслуживают ещё два человека. Дэн Франклин провёл книгу через заключительные этапы с чуткостью и

умом. А Лиз Коуэн прошла весь текст строка за строкой, с дотошной тщательностью предлагая улучшения. Я глубоко признателен им обоим.

За помощь в подготовке окончательного текста я хотел бы также поблагодарить Клэр Фарримонд, помогавшую проверять примечания, и Лору Питерс Корди, работавшую сверхурочно, внося в текст исправления. Благодарю также Иэна Агнью, начертившего великолепные карты.

Последние шесть лет были волнующим временем для исторических исследований в России. Я хотел бы поблагодарить сотрудников многих российских архивов и библиотек, где проводились исследования для этой книги. Я многим обязан знаниям и советам столь многих архивистов, что перечислить их всех невозможно, но одно исключение — Владимир Барахов, директор Архива Горького, который был более чем щедр на своё время.

Исследованиям для этой книги помогали многие учреждения. Я благодарен Британской академии, фонду Леверхалма и — хотя воспользоваться стипендией так и не удалось — Центру Вудро Вильсона в Вашингтоне за их щедрую поддержку. Мой собственный кембриджский колледж, Тринити, столь же щедрый, сколь и богатый, также оказал огромную помощь, предоставив мне и гранты, и творческие отпуска. Среди членов колледжа особая благодарность моим коллегам по преподаванию Бойду Хилтону и Джону Лонсдейлу, заменявшим меня во время моих частых отлучек; неподражаемому Анилу Силу — за поддержку; и прежде всего Раджу Чандаваркару — за то, что он был таким умным критиком и верным другом. Наконец, на историческом факультете я, как всегда, благодарен Квентину Скиннеру за его хлопоты обо мне.

Лучшее в Кембриджском университете — это его студенты, и последние шесть лет мне выпала честь преподавать некоторым из самых способных из них в моём специальном курсе по Русской революции. Эта книга в немалой мере — плод этого опыта. Не раз я спешил из лекционного зала, чтобы записать мысли, почерпнутые в спорах со студентами. Если невозможно отдать им должное в примечаниях, то я лишь надеюсь, что те из них, кто прочтёт эту книгу, примут её как знак моей благодарности.

Кембридж, ноябрь 1995 года

ГЛОССАРИЙ

атаман	казачий предводитель
Бунд	еврейская социал-демократическая организация
буржуй	народное обозначение буржуа или иного классового врага
волость	сельская административная единица низшего уровня, обычно объединявшая несколько деревень
воля	свобода; самостоятельность
войско	казачья самоуправляющаяся община
верста	мера длины, равная 0,66 мили (1,07 км)
губерния	губерния, провинция (делилась на уезды и волости)
десятина	мера площади, равная 1,09 гектара, или 2,7 акра
Дума	Государственная дума — выборная нижняя палата российского парламента в 1906–1917 годах; городские думы — выборные городские советы
земство	выборное собрание местного самоуправления на губернском и уездном уровне, в котором господствовало дворянство (1864–1917); волостное земство было наконец учреждено в 1917 году, но вскоре вытеснено Советами
интернационалисты	социалисты, выступавшие против войны (1914–1918) и добивавшиеся немедленного мира через международное сотрудничество социалистов; меньшевистская и эсеровская партии раскололись на оборонцев и интернационалистов
кадеты	Конституционно-демократическая партия
колхоз	коллективное хозяйство
Комуч	антибольшевистское правительство, образованное в Самаре летом 1918 года; полное название — Комитет членов Учредительного собрания
круг	казачье собрание
кулак	крестьянин-капиталист
мир	сельская община

НЭП новая экономическая политика (1921–1929)

оборонцы социалисты, поддерживавшие войну (1914–1918) ради национальной обороны; меньшевистская и эсеровская партии раскололись на оборонцев и интернационалистов

община крестьянская поземельная община

октябристы либерально-консервативная политическая партия

пуд мера веса, равная 16,38 кг

совхоз советское хозяйство

Ставка Ставка Верховного главнокомандующего, главная квартира армии

сход общинное, сельское собрание

СД (социал-демократы) марксистская партия (полное название — Российская социал-демократическая рабочая партия); после 1903 года раскололась на меньшевистскую и большевистскую фракции

СР (эсеры, социалисты-революционеры) немарксистская революционная партия (ПСР); в 1917 году раскололась на правых и левых эсеров

уезд уезд (подразделение губернии)

черносотенцы (Чёрная сотня) крайне правые военизированные группы и протопартии

ЧК советская политическая полиция в 1917–1922 годах (впоследствии преобразована в ОГПУ, НКВД и КГБ); полное название — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем

ПРИМЕЧАНИЕ О ДАТАХ

До февраля 1918 года Россия придерживалась юлианского календаря (старого стиля), отставшего на тринадцать дней от григорианского календаря (нового стиля), принятого в Западной Европе. Советское правительство перешло на новый стиль в полночь 31 января 1918 года: следующий день был объявлен 14 февраля. Даты внутренних событий приводятся по старому стилю до 31 января 1918 года включительно, а после этого — по новому. Даты международных событий (например, дипломатических переговоров и сражений Первой мировой войны) на протяжении всей книги приводятся по новому стилю.

Примечание. В оригинале автор использует форму the Ukraine, а не принятую сегодня, но внеисторическую форму Ukraine.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОССИЯ ПРИ СТАРОМ РЕЖИМЕ

ГЛАВА 1

ДИНАСТИЯ

i. Царь и его народ

В сырое и ветреное февральское утро 1913 года Санкт-Петербург праздновал трёхсотлетие правления дома Романовых. О великом событии говорили уже несколько недель, и все сходились на том, что ничего столь великолепного им уже не доведётся увидеть до конца своих дней. Величие и могущество династии должны были предстать во всём блеске — в невиданном прежде зрелище пышных церемоний и торжеств.

По мере приближения юбилея лучшие гостиницы столицы заполнялись сановниками, прибывавшими из самых отдалённых уголков Российской империи: князьями из Польши и Прибалтики, высшими церковными иерархами из Грузии и Армении, муллами и племенными вождями из Средней Азии, эмиром Бухары и ханом Хивы. Город кишел приезжими из провинции, и привычные, безупречно одетые гуляющие вокруг Зимнего дворца теперь терялись среди простонародной толпы — крестьян и рабочих в косоворотках и картузах, женщин в платках и кое-как закутанных тряпьём.

Невский проспект переживал небывалые транспортные заторы: трамваи, конные экипажи, автомобили и сани стекались сюда со всех сторон. Главные улицы украсили императорскими колорами — белым, синим и красным; статуи обвили гирляндами и лентами; на фасадах банков и магазинов развесили портреты царей, начиная с Михаила, основателя династии.

Над трамвайными линиями протянули цепочки цветных электрических лампочек. По вечерам они вспыхивали словами «Боже, Царя храни», изображением двуглавого романовского орла или датами: 1613–1913. Приезжие, многие из которых никогда прежде не видели электрического света, с изумлением задирали головы и чесали затылки. Повсюду сияли колонны, арки и обелиски из света. Перед Казанским собором стоял белый павильон, наполненный ароматом ладана и

украшенный бромелиями и пальмами, зябнувшими в холодном русском воздухе

Торжества начались с торжественного благодарственного молебна в Казанском соборе. Службу возглавлял Антиохийский патриарх, специально прибывший по этому случаю из Греции, вместе с тремя русскими митрополитами и пятьюдесятью петербургскими священниками.

Императорская семья покинула Зимний дворец в открытых экипажах. Её сопровождали два эскадрона Конной гвардии Его Величества и казаки в чёрных кафтанах и красных кавказских папахах. Впервые после революции 1905 года царь вновь проезжал на виду у толпы, и полиция не желала рисковать. По обеим сторонам пути выстроилась Императорская гвардия — в пышных киверах с султанами и ярко-алых мундирах.

Военные оркестры играли государственный гимн, солдаты дружно кричали «Ура!», провожая царский кортеж. С раннего утра к собору со всех концов города сходились крестные ходы. Огромная толпа, над которой высился целый лес крестов, икон и хоругвей, при приближении экипажей разом опустилась на колени.

В соборе собралась вся правящая верхушка империи: великие князья из императорского дома, представители знатнейших княжеских родов, придворные, сенаторы, министры, члены Государственного совета, депутаты Думы, высшие чиновники, генералы и адмиралы, губернаторы, городские головы, земские деятели и предводители дворянства. На груди почти каждого сверкали ряды орденов и бриллиантовые звёзды; едва ли не у каждого мужчины при боку висела сабля

Всё искрилось в свете свечей — серебряный иконостас, усыпанные драгоценностями митры священнослужителей, хрустальный крест. В разгар службы из темноты под куполом выпорхнули два голубя и несколько мгновений кружили над головами царя и его сына. Николай, глубоко взволнованный происходящим, увидел в этом знак Божьего благословения династии Романовых.

Тем временем в рабочих кварталах по случаю праздника закрылись фабрики и заводы. У городских столовых выстраивались очереди бедняков: в честь юбилея там бесплатно кормили. У ломбардов

толпился народ — разнёсся слух, будто заложенные вещи можно будет выкупить без уплаты процентов. Когда выяснилось, что это неправда, толпа возмутилась, и в нескольких ломбардах выбили окна.

Женщины собирались у городских тюрем в надежде, что среди двух тысяч заключённых, освобождаемых по амнистии в честь трёхсотлетия династии, окажутся их близкие.

После полудня огромные толпы потянулись в центр города на долгожданное световое представление. По пути продавали пиво, пирожки, романовские флажки и памятные безделушки. В парках шли ярмарки и концерты.

С наступлением темноты Невский проспект превратился в сплошное море людей. Все головы были подняты к небу: его озаряли вспышки фейерверков, а лучи света пересекали город, скользили по крышам и на мгновение выхватывали из темноты его главные памятники.

Золотой шпиль Адмиралтейства пылал на фоне чёрного неба, словно факел, а Зимний дворец сиял в праздничной иллюминации; на его фасаде высились три огромных портрета — Николая II, Петра Великого и Михаила Романова.

Императорская семья оставалась в столице ещё неделю, продолжая череду пышных торжеств в честь собственной династии.

В Зимнем дворце следовали один за другим парадные приёмы: длинные вереницы сановников проходили через анфилады залов, склоняясь в поклонах перед Николаем и Александрой в Концертном зале.

В Дворянском собрании был дан роскошный бал, на котором присутствовали императорская чета и их старшая дочь Ольга — для неё это был один из первых выходов в свет. Она танцевала полонез с князем Салтыковым, вызвавшим немалый переполох тем, что забыл снять шляпу.

В Мариинском театре состоялось гала-представление патриотической оперы Глинки «Жизнь за царя», повествующей о крестьянине Иване Сусанине, который, по преданию, спас жизнь первому царю из династии Романовых.

По словам Мэриел Бьюкенен, дочери британского посла, ярусы лож «сверкали драгоценностями и тиарами», а партер алел мундирами

придворных чиновников, которые, поднявшись при появлении царя, «колыхнулись разом, словно поле маков».

Матильда Кшесинская, бывшая возлюбленная Николая, специально вернулась на сцену, чтобы исполнить мазурки во втором акте.

Однако главным событием вечера стало безмолвное появление тенора Леонида Собинова, заменившего Шаляпина. Во главе крестного хода он прошёл по сцене в образе Михаила Романова. Это был первый — и последний — случай в истории императорского театра, когда на сцене был изображён царь из династии Романовых.[1]

Три месяца спустя, в необычно жарком мае, императорская семья отправилась в паломничество по древним городам Московского государства, связанным с истоками династии Романовых.

Они следовали путём Михаила Романова, первого царя из этого дома, который в 1613 году после избрания на престол отправился из Костромы на Волге в Москву.

В Кострому царская семья прибыла на флотилии пароходов. Берег был запружен горожанами и крестьянами: мужчины были в рубахах и картузах, женщины — в традиционных костромских платках светло-голубых и белых тонов. Сотни людей зашли в воду по пояс, чтобы оказаться ближе к царским гостям.

Николай посетил Ипатьевский монастырь, где Михаил Романов некогда укрывался от польских интервентов и смуты, охватившей Московское государство накануне его восшествия на престол.

Там царь принял делегацию крестьян с земель, некогда принадлежавших монастырю, и сфотографировался с потомками тех бояр, которые в 1613 году прибыли из Москвы, чтобы предложить Михаилу Романову русский престол.

Из Костромы царская семья отправилась во Владимир, Нижний Новгород и Ярославль.

Путешествовали в роскошном императорском поезде: вагоны были отделаны красным деревом, обставлены мягкими бархатными креслами; имелись письменный стол и рояль. Даже ванная была снабжена специальным устройством, не позволявшим воде выплёскиваться во время движения поезда.

Между Владимиром и небольшим монастырским городом Суздалем железной дороги не было, поэтому свите пришлось продолжить путь по

пыльным просёлочным дорогам на тридцати открытых автомобилях Renault.

В деревнях старые крестьяне и крестьянки опускались на колени, когда мимо проносились автомобили. Перед своими скромными деревянными избами они ставили небольшие столы с цветами, хлебом и солью — традиционным русским угощением для гостя. Однако царская свита почти не замечала этих знаков почтения.

Кульминацией паломничества стал торжественный въезд в Москву — древнюю столицу России, где некогда венчался на царство первый Романов. За ним последовала новая череда пышных церемоний и пиршеств.

Особенной пышностью отличался бал в Московском дворянском собрании — зрелище, способное затмить самые смелые фантазии Голливуда. Для императорской семьи даже специально установили лифт, чтобы ей не пришлось подниматься по лестнице в бальный зал второго этажа.

Императорский поезд прибыл на Александровский вокзал, где царскую семью встречала многочисленная делегация сановников. Николай ехал один на белом коне, примерно в восемнадцати метрах впереди казачьего эскорта и остальной процессии, сквозь огромные толпы, приветствовавшие его восторженными криками, — к Кремлю.

Тверская, залитая ярким солнцем, была украшена ещё пышнее, чем улицы Петербурга. Над улицей были натянуты тёмно-бордовые бархатные полотнища с романовскими эмблемами. Дома утопали в разноцветных флагах и вымпелах; с наступлением темноты загоралась иллюминация, складываясь в ещё более затейливые изображения, чем на Невском проспекте.

Украшенные гирляндами изображения царя выставляли в витринах магазинов и на балконах частных домов. Толпа осыпала процессию конфетти.

На Красной площади Николай спешился. Сюда со всех концов города сошлись крестные ходы. Царь прошёл между рядами поющих священников в Успенский собор на молебен.

Императрица и цесаревич Алексей также должны были пройти пешком последние несколько сотен метров. Но у Алексея вновь

случился приступ гемофилии, и одному из казаков лейб-конвоя пришлось нести его на руках.

Когда процессия ненадолго остановилась, председатель Совета министров граф Коковцов услышал в толпе «возгласы скорби при виде этого бедного, беспомощного ребёнка — наследника престола Романовых».[2]

В год своего трёхсотлетия династия Романовых явила миру блестящий образ монархического могущества и великолепия. И это было не просто пропагандистское представление. Ритуалы почитания династии и прославление её прошлого, безусловно, должны были внушать благоговение перед самодержавием и укреплять народную приверженность ему. Но у торжеств была и иная цель — заново истолковать прошлое, воскресить эпос о «народном царе», чтобы окружить монархию ореолом исторической законности и незыблемости именно в тот тревожный момент, когда право Романовых на власть всё настойчивее оспаривала нарождавшаяся российская демократия. Романовы отступали в прошлое, надеясь, что оно спасёт их от будущего.

Главным символом этого обращения к прошлому стал культ Московского царства XVII века — он же был и лейтмотивом юбилейных торжеств. В последние годы Романовых особенно привлекали три черты старомосковского представления о царской власти.

Первая — идея о государстве как царской вотчине. Царь мыслился не просто верховным правителем, а буквальным владельцем всей России, своей наследственной земли, подобно средневековому феодалу. Во время первой всеобщей переписи населения 1897 года Николай обозначил своё занятие как «хозяин земли Русской». До второй половины XVIII века именно такое понимание власти особенно резко отличало Россию от Запада, где независимое землевладельческое сословие постепенно становилось противовесом монархии.

Вторая — идея личного правления. Как Божий помазанник на земле, царь, согласно этой традиции, не должен был быть ограничен ни законом, ни бюрократией; управлять страной ему надлежало, руководствуясь собственным пониманием долга и справедливости. И это также отличало византийскую традицию самодержавия от западной абсолютистской монархии.

Консерваторы — в том числе Константин Победоносцев, наставник и один из главных идеологов последних двух царей, Александра III и Николая II, — утверждали, что именно такое, освящённое религией самодержавие в наибольшей степени соответствует русскому национальному духу и что лишь самодержец, наделённый почти сакральной властью, способен обуздать анархические склонности русского народа.[1]

И, наконец, существовало представление о мистическом единстве царя и православного народа — народа, который любит его и повинуется ему как отцу и Божьему помазаннику. Это была мечта о патриархальном правлении, о золотом веке народного самодержавия, ещё не обременённого сложностями современного государства.

У последних двух царей были вполне понятные причины столь упорно держаться за этот архаический идеал. Если «современность» во всех её проявлениях — светские взгляды, западные конституционные идеи, новые городские слои — казалась им угрозой их власти и престижу, то естественным ответом становилось стремление повернуть время вспять, к некоему утраченному золотому веку.

Началом упадка они считали XVIII столетие и прежде всего правление Петра Великого. В разговорах с чиновниками Николай даже называл его отчуждённо — «ваш Пётр». В России, по существу, соперничали две модели самодержавия: петровская и московская.

Петровская модель, создававшаяся по образцу западного абсолютизма, стремилась упорядочить власть монарха посредством законов и бюрократических учреждений. Но в этом как раз и виделось ограничение царской власти: отныне даже самодержец должен был подчиняться собственным законам. Царь, который их нарушал, становился уже не самодержцем, а деспотом.

Петровская традиция означала и другое — перенос центра власти с самой личности государя, освящённой религиозным авторитетом, на более безличное понятие государства. Именно этого Николай особенно не любил.

---

[1] Бертран Рассел прибег к сходной мысли, когда пытался объяснить русскую революцию леди Оттолайн Моррелл. Как ни ужасен был большевистский деспотизм, заметил он, для России это, по-видимому, был именно тот тип власти, который ей подходил: «Если вы спросите себя, как следовало бы управлять персонажами Достоевского, вы поймёте».

Как и его отец Александр III, он был воспитан в убеждении, что власть должна оставаться личной и сосредоточенной при дворе, а к бюрократии следует относиться с недоверием — как к стене, встающей между царём и народом и нарушающей их естественную связь.

У этого недоверия были свои основания. В XIX веке имперская бюрократия всё заметнее превращалась в самостоятельную силу модернизации и реформ. Она становилась всё менее зависимой от двора и всё более восприимчивой к общественному мнению, а консерваторы видели в этом прямую дорогу к революционным требованиям конституции.

Убийство Александра II в 1881 году — после двух десятилетий осторожных реформ — словно подтвердило их убеждение, что пора положить конец этому разложению. Александр III, однажды заявивший, что «презирает бюрократию и выпил бы шампанского за её уничтожение», начал возвращение к более личным формам самодержавного правления — и в центре, и на местах. А там, где шёл отец, сыну оставалось только следовать за ним.

Представление Николая о самодержавии почти целиком было обращено к допетровской, московской Руси. Его любимым царём был Алексей Михайлович (1645–1676), в честь которого он назвал своего сына, цесаревича Алексея. Николая особенно привлекало спокойное благочестие этого государя, которое, как полагали, давало ему внутреннюю уверенность править Россией, следуя велениям собственной религиозной совести.

Николай и сам нередко объяснял свои решения тем, что та или иная мысль «пришла ему» от Бога. По словам графа Витте, одного из самых просвещённых его министров, царь верил, что «люди не влияют на ход событий, что всем управляет Бог и что государь, как Божий помазанник, не должен ни с кем советоваться, а обязан следовать лишь божественному внушению».

Увлечение Николая полувосточными обычаями средневековой Руси заходило так далеко, что он пытался возродить их и при дворе. По его распоряжению в официальных документах и изданиях продолжали сохранять старые славянские формы правописания ещё долго после того, как они вышли из употребления в литературном русском языке.

Вместо слова *Россия*, вошедшего в государственный обиход со времён Петра Великого, Николай предпочитал старое слово *Русь*, связанное прежде всего с исконными русскими землями. Не нравился ему и титул *Государь Император*, также введённый Петром: в нём он слышал мысль о том, что монарх — лишь первый слуга безличного государства. Гораздо ближе ему был древний титул *царь*, уходивший корнями в византийскую традицию и несший в себе религиозный оттенок отеческой власти.

Он даже подумывал о том, чтобы обязать всех придворных носить длинные кафтаны наподобие тех, в каких ходили старомосковские бояре; отказался от этой затеи лишь из-за её дороговизны.

Министр внутренних дел Д. С. Сипягин, подавший Николаю эту мысль, оформил собственные кабинеты в старомосковском стиле. Однажды он устроил приём для царя со всеми церемониями XVII века: Николай явился в костюме Алексея Михайловича, гостей ожидали традиционный русский пир и цыганский оркестр.

Николай всячески поддерживал придворную моду на костюмированные балы в духе XVII столетия, возникшую ещё при его отце. В 1903 году он сам устроил один из самых пышных таких балов. Гости появились в точных копиях придворных костюмов времён Алексея Михайловича и танцевали старинные русские танцы. Фотографии участников — с указанием их придворных чинов как XVII, так и XX века — были затем изданы в двух роскошно оформленных альбомах.

Сам Николай был одет в копию парадного облачения царя Алексея Михайловича, а Александра — в платье и головной убор его супруги, царицы Натальи.[3]

Николай никогда не скрывал, что Москва была ему гораздо ближе Петербурга. Древняя «святая столица» с её бесчисленными луковичными куполами воплощала ту восточную и византийскую традицию, которая лежала в основе его представлений о русской монархии.

Москва, как ему казалось, сохранила тот самый «национальный стиль», который особенно ценили последние два царя. Петербург же, с его классической архитектурой, западными магазинами и буржуазным

укладом, и Николай, и Александр III воспринимали как город, в каком-то смысле чуждый России.

Поэтому они старались придать ему более «московский» облик: строили церкви в византийском стиле, мода на который возникла ещё при Николае I, и вводили в городской пейзаж старорусские архитектурные мотивы.

Так, Александр III распорядился возвести храм Воскресения Христова на том месте Екатерининского канала, где в 1881 году был смертельно ранен его отец. Храм построили в старомосковском духе — с луковичными главами, яркими мозаиками и богатым убранством. На фоне двух других великих соборов Петербурга — Казанского и Исаакиевского, выдержанных в классической традиции, — он выглядел почти нарочито чужеродно.

Николай продолжил эту линию. Здание Училищного совета Святейшего синода перестроили в храм-памятник Александра Невского: классический фасад украсили старомосковскими деталями, а над плоской крышей возвели пять луковичных куполов и высокий треугольный шатёр.

К трёхсотлетию дома Романовых в старорусском стиле появились и новые постройки. Так, собор в честь юбилея династии, неподалёку от Московского вокзала, был возведён в подражание ростовским храмам XVII века.

А в Царском Селе, под Петербургом, Николай распорядился создать Фёдоровский городок — тщательно стилизованный ансамбль, воспроизводивший кремль и собор XVII столетия.[4] По существу, это был настоящий архитектурный заповедник старой Московской Руси.

Николай и его отец Александр III часто приезжали в Москву и всё чаще использовали её как сцену для торжественных проявлений верноподданнического почитания династии. Коронация царя, по традиции проходившая в Москве, приобрела особое символическое значение — гораздо большее, чем прежде.

Николай ввёл в обычай приезжать в Москву на Пасху — чего ни один русский царь не делал более полувека. Он всё больше убеждал себя, что только здесь, в Москве, и в провинциальной России способен ощутить подлинное духовное единение с простым народом.

«Соединяясь в молитве со своим народом, — писал он московскому генерал-губернатору в 1900 году, вскоре после своего первого пасхального приезда в древнюю столицу, — я черпаю новые силы для служения России, её благополучию и славе».[5]

После 1906 года, когда Петербург стал местом заседаний Государственной думы, Николай ещё настойчивее обращался к Москве и провинции как к опоре своего «народного самодержавия», которое он стремился противопоставить парламенту. Опираясь на простой русский народ — всё чаще олицетворяемый в его окружении фигурой Григория Распутина, — он надеялся вновь утвердить власть престола, которая, как ему казалось, слишком долго отступала перед бюрократией и обществом.

Юбилей трёхсотлетия стал кульминацией этого увлечения московской стариной. Это был прежде всего династический праздник, построенный вокруг образа царя; государственная символика при этом сознательно отодвигалась на второй план.

В этом смысле весьма показательной была ссора, произошедшая во время службы в Казанском соборе между Распутиным — скандально знаменитым крестьянским «старцем», чьё влияние при дворе к тому времени стало огромным, — и председателем Государственной думы Михаилом Родзянко.

Родзянко был возмущён тем, что депутатам Думы отвели места в глубине собора, далеко позади членов Государственного совета и сенаторов. Он заявил церемониймейстеру, что такое расположение «не соответствует достоинству» парламента.

«Если юбилей действительно должен стать всенародным торжеством, — настаивал он, — нельзя забывать, что в 1613 году Михаила Романова избрало русским царём народное собрание, а не группа чиновников».

С его доводами согласились, и места депутатов Думы поменяли с местами сенаторов.

Но когда Родзянко пришёл занять своё место, оно оказалось уже занято темнобородым человеком в крестьянской одежде. Он сразу узнал Распутина.

Между ними вспыхнула ожесточённая перепалка. Родзянко настаивал на неприкосновенности своего положения как председателя

избранного народом парламента; Распутин, в свою очередь, ссылался на поддержку самого царя. Спор разгорелся настолько, что пришлось вызвать распорядителя, чтобы восстановить порядок.

Тяжело простонав, Распутин нехотя направился к выходу; там ему помогли надеть соболью шубу и проводили к ожидавшему экипажу.[6]

Не меньшее возмущение вызывало у председателя Совета министров и пренебрежительное отношение двора к правительству во время юбилейных торжеств. Министрам, сопровождавшим императорскую семью в поездке по провинции, предлагалось самим заботиться о транспорте и размещении.

Граф Коковцов позднее вспоминал:

> «Создавалось впечатление, будто правительство стоит преградой между народом и его царём, которому народ слепо предан, ибо тот помазан Богом… Ближайшее окружение государя при дворе всё больше убеждалось в том, что он может сделать всё, опираясь на безграничную любовь и безусловную верность народа. Министры правительства, напротив, такого понимания самодержавия не разделяли; не разделяла его и Дума, всё настойчивее добивавшаяся контроля над исполнительной властью. И те и другие считали, что государь должен признать: со времён, когда Романовы стали московскими царями и владыками Русской земли, обстоятельства изменились».

Председатель Совета министров тщетно пытался убедить Николая, что спасти престол невозможно, пытаясь вновь окружить себя «ореолом „московского царя“, правящего Россией как собственной вотчиной».[7]

Главной темой юбилея было единение царя с народом. Культ крестьянина Ивана Сусанина должен был служить доказательством того, что простой народ любит своего государя.

Сусанин жил в Костроме, во владениях Романовых. По преданию, накануне восшествия Михаила Романова на престол он ценой собственной жизни спас будущего царя, заведя в лес польский отряд, который шёл его убить.

С XIX века Сусанина официально превратили в национального героя. Его подвиг воспевали в патриотических стихах и операх — прежде всего в глинкинской «Жизни за царя».

Во время празднования трёхсотлетия эту оперу ставили по всей стране — любительские труппы, школы, воинские части. Дешёвые

газеты и массовые брошюры вновь и вновь пересказывали историю Сусанина. Его подвиг представляли как символ народной преданности и долга перед царём.

Одна армейская газета объясняла читателям, что Сусанин показал каждому солдату, как следует исполнять присягу государю. Образ крестьянского героя XVII века во время юбилея встречался повсюду; особенно заметное место он занимал у подножия памятника Романовым в Костроме, где аллегорическая фигура России благословляла коленопреклонённого Сусанина.

Во время пребывания Николая в Костроме ему даже представили специально подобранную делегацию крестьян, которых выдавали за потомков Сусанина.[8]

Согласно юбилейной пропаганде, избрание Романовых в 1613 году стало поворотным моментом национального пробуждения — едва ли не первым подлинным проявлением русской государственности как воли всей страны. Утверждалось, будто в избрании участвовала «вся земля», а значит, династия с самого начала получила всенародное признание. Между тем историки ещё в XIX веке в целом сходились на том, что своим избранием Романовы были обязаны скорее интригам нескольких влиятельных бояр, чем воле простого народа.

Юбилейная легенда, однако, представляла дело иначе: считалось, что, будучи избранными, Романовы тем самым стали воплощением национальной воли. «Дух России воплощён в её царе, — писал один из пропагандистов. — Царь для народа есть высшее выражение судьбы и идеалов нации».

Иными словами, Россия отождествлялась с Романовыми. «В каждой душе есть нечто романовское, — провозглашала газета *Новое время*. — Нечто от души и духа Дома, правящего уже триста лет».[9]

Николай Романов — воплощённая Россия: именно такой образ насаждала юбилейная пропаганда. Она опиралась на глубоко укоренённое в народном сознании представление о сакральной природе царской власти. На Руси издавна существовал культ святых князей — правителей, которых канонизировали за то, что они жертвовали жизнью *pro patria et fide*, за Отечество и веру; эта традиция восходила ещё к X веку.

В сознании простого крестьянина царь был не просто земным правителем, но почти существом божественного порядка. Его представляли отцом — тем самым сказочным Царём-батюшкой, который знает своих крестьян по именам, понимает каждую их нужду и, если бы не злые бояре и чиновники, окружающие престол, непременно исполнил бы их чаяния и даровал землю особым «Золотым манифестом».

Отсюда и старая крестьянская традиция обращаться с прошениями прямо к царю — традиция, которая, как и стоявшая за ней монархическая вера простого народа, пережила саму монархию и продолжилась уже в советскую эпоху, когда подобные письма посылали Ленину и Сталину.

Этот наивный миф о Добром царе порой мог служить оправданием и крестьянских мятежей — особенно тогда, когда давно ожидаемая государственная реформа обманывала народные надежды. В 1770-е годы предводитель казачьего восстания Емельян Пугачёв объявил себя царём Петром III; после реформы 1861 года крестьяне, разочарованные условиями освобождения от крепостной зависимости, тоже поднимались на бунт во имя «истинного царя».

Но в целом легенда о Добром царе служила прежде всего самой монархии. И по мере углубления революционного кризиса пропагандисты Николая всё настойчивее обращались именно к ней.

Юбилей трёхсотлетия стал последним пышным расцветом этой легенды. Николая изображали своего рода отцом и покровителем всех его подданных — человеком, который лично знает их нужды и заботится о каждом.

Его восхваляли за скромность быта и простоту вкусов, за близость к народу, доброту и мудрость. Специально к юбилею была заказана популярная биография Николая — первая в России биография ещё царствующего государя. В ней он представал «отцом своего народа, с серьёзной и сердечной заботой следящим за его нуждами».

Особое внимание, утверждалось в этой книге, царь уделял «благосостоянию и нравственному развитию» крестьян. Он якобы часто заходил в их избы, чтобы увидеть, как они живут, и разделить с ними молоко и чёрный хлеб. На официальных встречах он «по-доброму

беседовал» с крестьянами, и те после этого крестились и чувствовали себя счастливыми до конца своих дней.

Подчёркивалось, что государь разделяет простые привычки и занятия народа: носит крестьянскую рубаху, ест незатейливую пищу — борщ и блины. Во время юбилейных торжеств Николая охотно фотографировали в символических сценах, призванных подчеркнуть его близость к подданным: то он осматривал новый плуг, то пробовал солдатскую пищу.

Подобные изображения должны были укрепить в народе старую веру в то, что ничто — даже самая малая подробность повседневной жизни — не ускользает от внимания царя и что его забота простирается повсюду.

«Тысячи невидимых нитей сходятся в сердце царя, — писал его биограф, — и тянутся эти нити к хижинам бедняков и дворцам богатых. Потому-то русский народ всегда встречает своего царя с таким горячим восторгом — будь то в Петербурге, в Мариинском театре… или во время его пути через города и деревни».[10]

«Теперь вы сами видите, какие трусы эти государственные министры, — сказала императрица Александра одной из фрейлин вскоре после юбилейных торжеств. — Они без конца пугают Государя угрозой революции, а здесь — вы сами видите — стоит нам только показаться народу, и его сердца уже принадлежат нам».

Если юбилейные церемонии и были задуманы для того, чтобы создать впечатление могущества и незыблемости династии, то убедили они, по существу, лишь сам двор. Романовы стали жертвами собственной пропаганды.

Особенно Николай. Вернувшись из поездки по провинции, он ещё сильнее утвердился в своём самообмане: **«Мой народ любит меня»**. Ему вновь захотелось ездить по России. Он говорил о путешествии на пароходе вниз по Волге, о поездках на Кавказ и в Сибирь.

Уверившись в собственной популярности, Николай стал искать возможность ещё на шаг приблизиться к той системе личного правления, которой так восхищался в Московской Руси. При поддержке наиболее реакционных министров он даже подумывал вовсе распустить Государственную думу или превратить её в чисто совещательный орган — нечто подобное Земскому собору XVI–XVII веков.

Иностранные наблюдатели, благожелательно настроенные к монархии, столь же легко поддались обаянию этой радужной картины. В специальном выпуске, посвящённом юбилею, лондонская *The Times* писала о будущем Романовых: **«Ни одна надежда не кажется чрезмерно смелой или чрезмерно светлой»**.

Убеждённая в безграничной преданности народа царю, газета приводила характерную историю. В честь трёхсотлетия была выпущена серия почтовых марок с портретами правителей из дома Романовых, однако некоторые ревностные монархисты среди почтовых служащих будто бы отказывались ставить штемпель на священные для них царские лики.

«Эта преданная и в высшей степени достойная щепетильность, — заключала *The Times*, — характерна для умонастроения огромных масс русского народа».

Того же мнения придерживалось и британское Министерство иностранных дел. «Невозможно представить себе большей любви и преданности личности Императора, чем та, которую население проявляло повсюду, где появлялось Его Величество. Нет сомнения, что именно в этой глубокой привязанности народных масс… к личности Императора заключается великая сила русского самодержавия».[11]

На деле же юбилей проходил в разгар глубокого социального и политического кризиса — кризиса, который многие уже могли бы назвать революционным.

За блеском торжеств стояли десятилетия нараставшего насилия, человеческих страданий и репрессий, всё сильнее отчуждавших народ от царского режима. Раны революции 1905 года ещё не успели зажить; некоторые из них, напротив, лишь воспалились.[12]

Крестьянский вопрос, несмотря на запоздалые попытки земельной реформы, так и остался нерешённым. Более того, после 1905 года, когда толпы крестьян нападали на помещичьи усадьбы, землевладельческое дворянство стало ещё непримиримее относиться к самой мысли об уступках деревне.

В промышленности вновь нарастала волна забастовок, причём теперь они были куда более воинственными, чем выступления рабочих начала 1900-х годов. В рабочих организациях большевики постепенно теснили своих более умеренных соперников — меньшевиков.

Что же до либеральных надежд, которые в 1905 году казались почти осуществимыми, теперь они вновь отдалялись. Двор и его сторонники блокировали либеральные реформы, предлагавшиеся Думой, а процесс Бейлиса 1913 года — когда невиновного еврея обвинили в ритуальном убийстве христианского мальчика — потряс даже Европу, уже пережившую дело Дрейфуса, и нанёс тяжёлый удар по ещё хрупкой вере русских либералов в гражданские права.

Иными словами, пропасть взаимного недоверия становилась всё шире. Она пролегала уже не только между двором и обществом — самым ярким воплощением этого разрыва стал скандал вокруг Распутина, — но и между двором и многими из тех сил, которые издавна служили опорой монархии: государственным аппаратом, Церковью и армией. Сам царь всё упорнее сопротивлялся их требованиям реформ.

И в тот самый момент, когда Романовы чествовали себя и тешили фантастической надеждой, что им суждено править ещё три столетия, за тесным кругом придворного мира всё явственнее росло ощущение надвигающегося кризиса — и катастрофы.

Пожалуй, полнее всего это предчувствие выразили поэты так называемого Серебряного века русской литературы — прежде всего Блок и Белый, которым Россия представлялась страной, живущей на вулкане.

У Блока это ощущение обрело такие строки:

И над Россией вижу я
Далёкий заревом пожар,
Который тихо всё объемлет…

Как же объяснить крушение династии? Именно крушение — здесь это слово наиболее точно. Режим Романовых пал под тяжестью собственных внутренних противоречий. Его не свергли извне.

Как и во многих революциях Нового времени, первые трещины появились наверху.

Революция началась не с рабочего движения, хотя именно на нём так долго сосредоточивали внимание западные историки левого направления. Не началась она и с национальных движений на окраинах империи. Как позднее, при распаде Советской империи, возникшей на развалинах романовской, национальные выступления были скорее следствием кризиса в центре, чем его причиной.

Куда убедительнее было бы утверждать, что всё началось с крестьянской революции в деревне, которая в некоторых местах вспыхнула ещё в 1902 году — за три года до революции 1905-го. И в стране, подавляющее большинство населения которой составляли крестьяне, иначе, возможно, и быть не могло.

Но хотя крестьянский вопрос — так же как рабочий и национальный — обнажал глубокие структурные слабости общественного строя старой России, сам по себе он ещё не определял политического исхода. А главная проблема заключалась именно в политике.

Нет оснований считать, будто царский режим был обречён на гибель так, как некогда утверждали марксистские детерминисты, видевшие всё объяснение в его «социальных противоречиях». Режим можно было спасти реформами.

Но именно здесь и заключалась трагедия.

Последним двум русским царям не хватало воли к подлинным реформам. Да, в 1905 году, когда Николай едва не лишился престола, он нехотя был вынужден пойти на уступки. Но как только непосредственная угроза миновала, он вновь сблизился с силами реакции.

Именно это — слабое место в рассуждениях тех правых историков, которые рисуют почти идиллическую картину Российской империи накануне Первой мировой войны. Они утверждают, что царская система постепенно реформировалась и «модернизировалась» в соответствии с западными либеральными образцами.

Но последние два царя и их наиболее реакционные сторонники — среди дворянства, церковной иерархии и правых политических кругов — относились к самой идее «модернизации» по меньшей мере двойственно.

Они, например, прекрасно понимали, что для соперничества с западными державами России необходима современная промышленная экономика. И одновременно испытывали глубокую неприязнь к политическим требованиям и социальным переменам, которые неизбежно несла с собой городская индустриальная цивилизация.

Вместо того чтобы принять необходимость реформ, они упрямо держались за собственное архаическое представление о самодержавии.

Их трагедия состояла в том, что в тот самый момент, когда Россия вступала в XX век, они пытались вернуть её в XVII.

Именно здесь и лежали корни революции — во всё более остром столкновении между обществом, которое быстро становилось образованнее, урбанизированнее и сложнее, и закостеневшим самодержавием, не желавшим отвечать на его политические требования.

Впервые этот конфликт приобрёл по-настоящему острый — фактически революционный — характер после голода 1891 года. Правительство оказалось беспомощным перед лицом бедствия, тогда как либеральное общество, взяв на себя организацию помощи голодающим, впервые по-настоящему вступило в политическую жизнь.

Именно с этого момента начинается повествование второй части книги.

Но прежде нам необходимо внимательнее присмотреться к главным действующим лицам этого конфликта — и начать с царя.

ii. Миниатюрист

За четыре года до трёхсотлетнего юбилея блестящий скульптор князь П. Н. Трубецкой завершил конный памятник покойному императору Александру III, установленный на Знаменской площади напротив Николаевского вокзала в Петербурге. Это было настолько выразительное и грозное воплощение самодержавия в человеческом облике, что после революции большевики решили оставить памятник на месте как устрашающее напоминание о старом режиме; там он простоял до 1930-х годов.[2] Огромная бронзовая фигура Александра неподвижно сидела на тяжеловесной лошади почти архитектурных пропорций, чьи четыре толстые ноги, словно колонны, прочно упирались в землю. Всадник и конь выглядели настолько массивными и неподвижными, что казалось: сдвинуться они просто не могут. Многие увидели в этом символ косности самого самодержавия, и в памятнике, возможно не

[2] После более чем пятидесяти лет, проведённых в запасниках, памятник в 1994 году вновь вернули на улицы города. По иронии судьбы конь теперь стоит перед бывшим Музеем Ленина, заняв место броневика, который в апреле 1917 года доставил Ленина от Финляндского вокзала. Николай подобных иронических оттенков не замечал. Для него памятник работы Трубецкого олицетворял мощь и незыблемость самодержавия в годы правления его отца.

совсем случайно, присутствовала доля иронии. Рабочие быстро оценили его комическую сторону. Они прозвали монумент «бегемотом» и распевали насмешливые строки:

Стоит комод,

На комоде бегемот,

На бегемоте — идиот.

Даже великий князь Владимир Александрович, президент Академии художеств и брат покойного царя, объявил памятник карикатурой. В выборе конной формы действительно была злая ирония судьбы: Александр III всю жизнь боялся лошадей. В последние годы, когда он сильно располнел, обращаться с ними стало ещё труднее. Почти невозможно было найти коня, на которого царя удавалось уговорить сесть.[13]

К трёхсотлетнему юбилею Николай распорядился воздвигнуть в Москве, своей любимой столице, ещё более крупный памятник Александру. На сооружение внушительного монумента ушло два года; во время юбилейных торжеств Николай сам торжественно открыл его. В отличие от петербургского собрата, где портретное сходство с царём сочеталось с выразительной символикой, новый памятник не претендовал на художественные достоинства. Гигантская фигура царя напоминала лишённый человеческого выражения манекен — монолитное воплощение самодержавной власти. Александр восседал на троне, выпрямив спину и положив руки на колени, окружённый всеми атрибутами царской власти — короной, скипетром и державой, императорской мантией и полным военным мундиром. Он смотрел в сторону Кремля, повернувшись спиной к собору, словно фараон, которому не о чем думать, кроме источника собственной безграничной власти.[14]

После смерти Александра в 1894 году Николай проникся почти мистическим почитанием памяти отца. Он видел в нём настоящего самодержца. Александр правил Россией как средневековый владелец своей вотчиной. Он сосредоточил власть в собственных руках и командовал министрами, словно генерал на войне. Даже внешность его соответствовала образу самодержца: гигант ростом шесть футов три дюйма, с суровым лицом, обрамлённым внушительной чёрной бородой.

Любил он забавлять собутыльников, вышибая запертые двери и сгибая серебряные рубли своим «императорским большим пальцем, как тисками». В укромном уголке дворца, где его никто не слышал, он с таким же шумным удовольствием играл на трубе. По легенде, в 1888 году он даже спас семью от неминуемой гибели, удержав на своих геркулесовых плечах рухнувшую стальную крышу вагона-ресторана императорского поезда, сошедшего с рельсов по пути в Крым. Единственной его слабостью, по-видимому, было роковое пристрастие к спиртному. Когда он заболел почками, императрица запретила ему пить. Но Александр нашёл выход: заказал особую пару сапог с тайниками, куда помещалась фляжка коньяка. Генерал П. А. Черевин, один из его любимых спутников, вспоминал: «Когда государыня была рядом, мы сидели тихо и вели себя как хорошие дети. Но стоило ей чуть отойти, мы обменивались взглядами. И тогда — раз, два, три! — вытаскивали фляжки, делали по глотку и снова сидели как ни в чём не бывало. Его [Александра] эта забава очень веселила. Это была почти игра. Мы называли её: “Голь на выдумки хитра”. “Раз, два, три. Голь, Черевин?” — “На выдумки хитра, Ваше Величество”. — “Раз, два и три” — и мы отпивали».[15]

Николай рос в тени этого пьющего исполина и болезненно ощущал собственную несостоятельность рядом с ним. От природы застенчивый и выглядевший моложе своих лет, он ещё долго после окончания подросткового возраста оставался для родителей почти ребёнком («Ники» — так звали его в семье). Многие вкусы и занятия Николая тоже оставались детскими. Его дневники начала двадцатых годов жизни полны нелепых записей об играх и шалостях. Так, в 1894 году, в двадцать шесть лет, менее чем за месяц до восшествия на престол, он описал настоящую «битву каштанами» с принцем Георгом Греческим в царском парке: «Начали перед домом, а закончили на крыше». Через несколько дней он записал о новой битве — на этот раз сосновыми шишками. Александр, ничего не знавший ни о физических, ни о душевных комплексах, считал сына слабаком и недалёким человеком. Он называл его «девчонкой» и не видел особого смысла готовить к государственным делам. Когда министр финансов граф Витте предложил, что пора вводить наследника в курс управления страной, Александр удивился. «Скажите, — спросил он министра, — вы когда-

нибудь разговаривали с Его Императорским Высочеством великим князем цесаревичем?» Витте ответил утвердительно. «Так неужели вы не заметили, что великий князь — дурак?»[16]

В результате воспитания Николай приобрёл все достоинства и обаяние выпускника английской привилегированной школы. Он прекрасно танцевал, отлично держался в седле, был метким стрелком и преуспевал во многих других видах спорта. По-английски говорил как оксфордский профессор, хорошо владел французским и немецким. Манеры его, едва ли нужно говорить, были безупречны. Двоюродный брат и товарищ детства Николая, великий князь Александр, называл его «самым вежливым человеком в Европе». Но практическими знаниями, необходимыми для управления страной размером с Россию — к тому же страной, находившейся в предреволюционном состоянии, — Николай почти не обладал. Его главным наставником был англичанин мистер Хит — хороший акварелист и большой любитель жизни на воздухе. Но университетского образования у него не было, а о России он знал лишь несколько простейших слов по-русски. От выдающегося историка В. О. Ключевского Николай кое-что узнал об истории своей страны, но почти ничего — о её современных проблемах. Когда Победоносцев пытался объяснять ему устройство государства, цесаревич «с усердием ковырял в носу». Политика Николаю наскучивала. Куда уютнее он чувствовал себя среди офицеров и светских дам, чем среди министров и политиков.[17]

Не слишком надеясь, что сын научится царствовать по книгам, Александр определил его офицером в гвардию: он рассчитывал, что армия закалит характер наследника и познакомит его с жизнью. Военная служба Николаю нравилась. Товарищеская атмосфера офицерского собрания, больше напоминавшего клуб джентльменов, чем казарму, навсегда осталась для него тёплым воспоминанием о времени, когда на него ещё не легла тяжесть власти. Именно тогда он влюбился в балерину Матильду Кшесинскую. Чин полковника Преображенского полка, пожалованный ему отцом, оставался предметом особой гордости. Николай отказался принимать более высокий чин даже во время Первой мировой войны, когда стал Верховным главнокомандующим. Это повредило его авторитету в армии, где его стали называть «полковником Романовым».

В 1890 году Александр отправил сына в большое путешествие по Сибири, Японии, Индокитаю, Египту и Греции. Предполагалось, что поездка расширит политический кругозор наследника. Однако состав его свиты — обычная компания недалёких и склонных к удовольствиям гвардейских офицеров — этому почти не способствовал. Во время путешествия Николай заполнял дневник теми же банальными и мелочными заметками, что и дома: краткими записями о погоде, пройденных за день расстояниях, времени прибытия и отъезда, собеседниках за столом и тому подобном. Похоже, ничто из увиденного не побудило его взглянуть на жизнь шире. Единственное долговременное последствие путешествия оказалось несчастливым. В японском городе Оцу он едва не погиб от руки обезумевшего покушавшегося. Этот случай породил в нём стойкую ненависть к японцам — он называл их «макаками», — и нередко утверждают, что именно поэтому Николай оказался особенно восприимчив к влиянию придворных, подталкивавших его к гибельной войне с Японией 1904–1905 годов.

Проживи Александр положенные библейские семьдесят лет, судьба Российской империи могла бы сложиться совсем иначе. Но вышло так, что в 1894 году он умер от болезни почек, не дожив и до пятидесяти — ему было всего сорок девять. Когда родные, врачи и придворные собрались у смертного ложа великого самодержца, Николай разрыдался и жалобно сказал своему двоюродному брату Александру: «Что теперь будет со мной и со всей Россией? Я не готов быть царём. Я никогда не хотел им становиться. Я ничего не знаю об управлении. Я даже не представляю, как разговаривать с министрами».[18] Поразительно похожие слова произнёс Людовик XVI, с которым у Николая было немало общего, когда в 1775 году узнал, что ему предстоит стать королём Франции.

Правление последнего русского царя началось с катастрофы. Через несколько дней после коронации, в мае 1896 года, на Ходынском поле — военном учебном плацу за Москвой — устроили праздничное народное гулянье. Уже ранним утром там собрались около полумиллиона человек: все надеялись получить от нового царя памятные кружки и пряники с датой коронации. Готовились раздавать бесплатно огромное количество пива и колбасы. По мере прибытия

новых людей распространился слух, будто подарков на всех не хватит. Толпа ринулась вперёд. Люди падали в военные рвы, где их душили и затаптывали насмерть. За считанные минуты погибло 1400 человек, ещё 600 были ранены. И всё же царя убедили не отменять торжества. Вечером, когда с поля увозили тела погибших, он даже отправился на бал, устроенный французским послом маркизом де Монтебелло. В последующие дни все запланированные празднества — банкеты, балы, концерты — продолжались так, словно ничего не произошло. Общественное мнение было возмущено. Николай попытался загладить впечатление, поручив бывшему министру юстиции расследовать причины трагедии. Но когда министр пришёл к выводу, что ответственность лежит на великом князе Сергее, московском генерал-губернаторе и муже сестры императрицы, другие великие князья яростно воспротивились. Они утверждали, что публичное признание вины члена императорской семьи подорвёт основы самодержавия. Дело закрыли. Однако Ходынку восприняли как дурное предзнаменование нового царствования; она ещё сильнее углубила растущую пропасть между двором и обществом. Николай, всё чаще считавший себя человеком несчастливой судьбы, позднее вспоминал Ходынку как начало всех своих бед.[19]

На протяжении всего царствования Николай производил впечатление человека, не способного справиться с управлением огромной империей, которую всё сильнее затягивал революционный кризис. Правда, с такой задачей, возможно, справился бы лишь гений. А Николай гением определённо не был.[3]

---

[3] В советское время ходила удачная шутка: будто Верховный Совет постановил посмертно наградить Николая II орденом Красного Знамени «за заслуги перед революцией». Говорили, что главным достижением последнего царя было создание революционной ситуации. Если бы обстоятельства и собственные склонности Николая были иными, в первое десятилетие своего правления он, возможно, сумел бы спасти династию, отойдя от самодержавия в сторону конституционного строя, пока ещё оставалась надежда успокоить либералов и изолировать революционное движение. У Николая имелись многие личные качества, необходимые хорошему конституционному монарху. В Англии, где, чтобы быть хорошим королём, достаточно было быть «хорошим человеком», из него получился бы превосходный государь. Он был уж точно не глупее своего похожего на него двоюродного брата Георга V, ставшего образцовым конституционным королём. Николай отличался мягкостью, превосходной памятью и безупречным чувством приличий — качества, почти идеально подходившие для преимущественно церемониальных обязанностей конституционного монарха. Но

Несмотря на своё англо-германское происхождение, императрица с особым рвением усвоила все средневековые традиции византийского деспотизма и постоянно убеждала мягкого мужа быть больше похожим на Ивана Грозного и Петра Великого. Почитание, которое Николай испытывал к отцу, и крепнувшее в нём желание править по примеру московских предков почти неизбежно толкали его на роль настоящего самодержца. Вскоре после коронации, обращаясь к либеральным дворянам Тверской губернии, он предупредил их, что считает своим долгом перед Богом «так же твёрдо и неуклонно охранять начало самодержавия, как охранял его мой незабвенный покойный отец».[20]

Но Николай не унаследовал ни силы характера отца, ни его ума. В этом и заключалась его трагедия. При своих ограниченных способностях он мог лишь играть в самодержца: вмешиваться в работу правительства и тем самым расстраивать её, не внося никакого руководящего начала. Он был слишком мягок и застенчив, чтобы обладать настоящим авторитетом среди подчинённых. Ростом всего пять футов семь дюймов, с почти женственной фигурой, он даже внешне не походил на самодержца. В первые годы царствования над ним возвышались более властные фигуры — мать, императрица Мария Фёдоровна, четыре дяди-великих князя и бывший наставник Константин Победоносцев. Позднее, как однажды выразилась сама Александра в письме к мужу, «брюки» в семье будет носить она.

И всё же ошибочно, как это делали многие историки, объяснять неудачи Николая какой-то коренной «слабостью воли». Расхожее представление изображает его пассивной жертвой истории, которая, осознавая своё нарастающее бессилие перед революцией, всё глубже уходила в мистицизм и равнодушие к собственной судьбе. Во многом такая трактовка восходит к наблюдениям его революционных противников, определявших тон ранней литературы о последнем царе. Так, лидер эсеров Виктор Чернов писал, что Николай встречал несчастья

Николай родился не для этой роли: он был Императором и Самодержцем Всероссийским.[^fn15b] Семейная традиция и давление традиционных союзников короны заставляли его не только царствовать, но и править. Романову не подобало быть церемониальным монархом, оставив реальное управление чиновникам. Не подобало и уступать требованиям либералов. Романовский ответ на политическую оппозицию состоял в том, чтобы утверждать «божественную власть» абсолютного монарха, полагаться на «историческую связь царя с народом» и править твёрдо и решительно.

«с какой-то упрямой пассивностью, словно хотел уйти от жизни… Он казался не человеком, а жалкой копией человека». Троцкий сходным образом изображал последнего царя, противопоставлявшего приближавшемуся к воротам его дворца «историческому потоку» лишь «тупое равнодушие». Доля истины здесь, конечно, была. Разочаровавшись в своём стремлении править так, как, по его мнению, полагалось настоящему самодержцу, Николай всё чаще отступал в частный, тоже израненный мир семьи. Но это скрытое признание политической неудачи вовсе не означало, что он не пытался действовать. За его покорной внешностью скрывалось сильное чувство долга — обязанности защищать основы самодержавия. По мере того как в годы правления росла его уверенность, росло и горячее желание управлять по примеру московских предков, руководствуясь собственной религиозной совестью. Николай упорно отстаивал самодержавные прерогативы от посягательств честолюбивых министров и даже собственной жены, настойчивые требования которой — нередко от имени Распутина — он старался игнорировать и отвергать. Последнего царя погубила не «слабость воли», а, напротив, упрямая решимость править с трона, хотя необходимых для этого качеств у него явно не было.[21]

Одним из наиболее очевидных недостатков Николая была полная неспособность управлять подчинёнными и командовать ими. Всю жизнь он был скован почти болезненным чувством приличий. Свои эмоции и чувства он прятал за маской пассивной сдержанности, которая людям, наблюдавшим его издали, таким как Чернов и Троцкий, казалась безразличием. В разговоре Николай тактично соглашался со всеми, лишь бы избежать неловкости открытого возражения. Отсюда родилась ходившая по петербургским салонам шутка: самый влиятельный человек в России — тот, кто последним говорил с царём. Николай был слишком вежлив, чтобы прямо высказать министру недовольство его работой, и потому поручал другим сообщать об отставке. Граф Витте так вспоминал своё увольнение с поста председателя Совета министров: «Мы [Николай и Витте] проговорили два часа без перерыва. Он пожал мне руку. Обнял меня. Пожелал мне всех благ. Я вернулся домой вне себя от счастья и обнаружил на столе письменный указ о моей отставке». Витте полагал, что царь испытывал какое-то странное удовольствие,

мучая министров подобным образом. «Наш царь, — писал он в мемуарах, — восточный человек, византиец на сто процентов». Такая непредсказуемость порождала у правящей верхушки чувство неуверенности. По столице поползли вредившие престижу монархии слухи, будто царь участвует в различных придворных заговорах или, ещё хуже, сам не знает, чего хочет, и невольно превратился в игрушку тёмных закулисных сил. То, что Николай опирался на неофициальный кружок реакционных советников — в том числе обер-прокурора Святейшего синода Победоносцева и печально известного газетного издателя князя Мещерского, чьи гомосексуальные любовники получали заметные должности при дворе, — лишь подливало масла в огонь этих подозрений. Позднее ту же роль сыграет Распутин.

Недостаток руководящих способностей Николай компенсировал трудолюбием. Особенно в первой половине царствования он был усердным и добросовестным монархом, прилежно сидел за письменным столом, пока не заканчивал ежедневную административную работу. Но трудился он как канцелярский служащий — «главный чиновник империи»: всю энергию отдавал рутинным мелочам, почти не задумываясь о крупных вопросах государственной политики. Его отцу докладывали лишь важнейшие дела, а большую часть мелких исполнительных вопросов он поручал подчинённым. Николай же, напротив, оказывался способным заниматься именно мелочами. Он лично вникал, например, в смету ремонта сельскохозяйственного училища и назначение провинциальных акушерок. Очевидно, эти мелкие бюрократические процедуры его успокаивали: они создавали иллюзию нормально действующего правительства и давали ощущение полезности. Каждый день он аккуратно записывал в дневнике время и продолжительность встреч с министрами и других официальных занятий, вперемежку с короткими заметками о погоде, времени утреннего кофе, составе общества за чаем и тому подобном. Повторяющиеся действия превратились в ритуал: изо дня в день в один и тот же час царь делал одно и то же, так что чиновники шутили — по нему можно сверять часы. Мелочному Николаю казалось, что истинный самодержец, лично правящий с трона, именно и обязан вникать в каждую малую деталь управления своими необъятными владениями. Он часами разбирал прошения, поступавшие в канцелярию: ежемесячно их

приходили сотни, многие — от крестьян с неприличными фамилиями, выросшими из старых крепостных прозвищ вроде «Вонючий» или «Урод», которые без царского разрешения нельзя было изменить. Николай не умел подняться над подобными мелочами. Он всё ревнивее относился к бюрократическим полномочиям министров, принимая их за саму власть, и сердился, когда приходилось делегировать им полномочия, поскольку видел в этом присвоение собственных самодержавных прав. Он настолько оберегал свои мелкие исполнительные прерогативы, что даже отказался завести личного секретаря, предпочитая сам вести переписку. Даже простейшие распоряжения — вызвать чиновника или подать автомобиль — царь собственноручно писал на записке и запечатывал в конверт. Ему не приходило в голову, что самодержец мог бы употребить время с большей пользой, решая крупные государственные вопросы. Его ум был умом миниатюриста: он превосходно различал мельчайшие административные детали, но совершенно не умел соединять их в общие принципы управления. Победоносцев однажды сказал о нём: «Он понимает значение какого-нибудь отдельного факта, без связи с остальным, не отдавая себе отчёта во взаимной связи всех прочих относящихся к делу фактов, событий, направлений, явлений. Он держится за свою ничтожную, мелкую точку зрения».[22]

Чтобы защитить самодержавные прерогативы, Николай считал необходимым держать чиновников слабыми и разобщёнными. Чем могущественнее становился министр, тем ревнивее относился к его влиянию царь. Способные председатели правительства — граф Витте и Пётр Столыпин, едва ли не единственные, кто мог бы спасти царский режим, — были вытеснены в атмосфере взаимного недоверия. Долго удерживались на вершине лишь серые посредственности вроде «старика» Ивана Горемыкина. Британский наблюдатель Бернард Пэрс объяснял успех Горемыкина тем, что и царь, и царица находили его «приемлемым» благодаря «манерам дворецкого, передающего распоряжения остальной прислуге». И действительно, подобно средневековому владельцу, правившему Россией как собственной вотчиной, Николай смотрел на министров скорее как на слуг своего личного дома, чем как на государственных должностных лиц. Правда, он уже не обращался к ним на «ты» — форме, употреблявшейся по

отношению к животным, крепостным и детям. Но он ожидал от них бездумной преданности и при оценке министров ставил верность намного выше способностей. Даже граф Витте, в обычной жизни отнюдь не отличавшийся смирением, в присутствии царя стоял по стойке смирно, прижав большие пальцы к швам брюк, словно личный лакей.

Николай искусно пользовался соперничеством и раздорами между министерствами. Он сталкивал их мнения, чтобы сохранять верховное положение. Согласованности в работе правительства это не добавляло, но, пока укрепляло положение царя, его, кажется, не беспокоило. За исключением короткого периода в 1901 году, Николай упорно отказывался координировать работу разных ведомств, председательствуя на заседаниях Совета министров: по-видимому, он опасался, что там возникнут сильные группировки и заставят его принять неприемлемый курс. Он предпочитал принимать министров по одному. Это помогало держать их разобщёнными, но неизбежно порождало хаос и путаницу. Такие аудиенции могли довести министра до отчаяния: Николай неизменно создавал впечатление, что согласен с предложением собеседника, но рассчитывать, что он поддержит его против другого министра, было нельзя. Поэтому длительные и общие обсуждения политики случались крайне редко. Если министр слишком долго говорил о государственных делах, царь давал понять, что ему скучно, и переводил разговор на погоду или другую приятную тему. Зная, как утомляют государя доклады, министры сознательно их сокращали. Некоторые вообще отказывались от отчётов и вместо этого развлекали его анекдотами и сплетнями.[23]

В результате в последние годы царского режима правительство лишилось действенного руководства и координации. Источником проблемы был сам Николай. Если в центре системы существовал вакуум власти, то пустотой в нём был именно он. В известном смысле Россия получила худшее сочетание из двух возможных: царя, решительно желавшего править с трона, но совершенно неспособного осуществлять власть. Это было «самодержавие без самодержца». Возможно, никто уже не смог бы выполнить ту роль, которую Николай назначил себе: государственное управление стало слишком огромным и сложным делом для одного человека, а само самодержавие устарело. Но ошибка

Николая заключалась уже в том, что он попытался. Вместо передачи полномочий он предавался мечте об абсолютной власти. Настолько ревниво относился он к собственным прерогативам, что стремился обходить государственные учреждения и сосредоточить власть непосредственно при дворе. Между тем ни один из его любезных, но недалёких придворных не был способен дать здравый совет о том, как управлять страной. Все они происходили из узкого круга аристократических гвардейских офицеров и почти ничего не знали о России за пределами модных петербургских улиц. Многие презирали Россию, говорили по-французски, а не по-русски и проводили больше времени в Ницце или Биаррице, чем в своих провинциальных имениях. По мере усиления влияния двора правительство Николая всё меньше было способно вырабатывать последовательную политику для решения нарастающих общественных проблем, неумолимо толкавших страну к революции. В последние годы режима, особенно после падения Столыпина в 1911 году, государственный корабль опасно дрейфовал: царь назначал председателем Совета министров одну угодливую посредственность за другой. Сам Николай всё чаще отсутствовал на рабочем месте. Государственные дела на недели откладывались, пока он уезжал на охоту, прогулки на яхте или семейный отдых в Крыму. Но и в казавшемся надёжным убежище семьи уже разворачивалась новая трагедия.

iii. Наследник

Юбилейные торжества давались императрице Александре тяжело. Она с трудом заставляла себя присутствовать на публичных церемониях и нередко уходила раньше времени, явно чувствуя себя плохо. На великолепном балу московского дворянства ей стало настолько дурно, что она едва держалась на ногах. Император вовремя пришёл ей на помощь и успел вывести её, прежде чем она упала в обморок на глазах у публики. На гала-представлении в Мариинском театре Александра выглядела бледной и мрачной. Сидевшая в соседней ложе Мэриел Бьюкенен, дочь британского посла, заметила, как дрожал у неё в руке веер и как от тяжёлого дыхания

> бриллианты, покрывавшие лиф её платья, поднимались и опускались, вспыхивая и дрожа тысячью тревожных искр. Вскоре, казалось, это волнение или страдание полностью овладело ею; прошептав несколько слов императору, она поднялась и ушла в глубину ложи, и в тот вечер её больше не видели. По театру прокатилась лёгкая волна раздражения.[24]

Дело было в том, что за предыдущие десять лет императрица появлялась на публике не более дюжины раз. После рождения в 1904 году сына-гемофилика, цесаревича Алексея, она почти затворилась в Александровском дворце в Царском Селе и в других императорских резиденциях вдали от столицы. Надеялись, что трёхсотлетний юбилей даст ей возможность улучшить свой образ в глазах общества. Но, отвернувшись от светской жизни, Александра приобрела репутацию холодной и высокомерной женщины, а её зависимость от «святого человека» Распутина давно вызывала политическую тревогу из-за его растущего влияния при дворе. Незадолго до юбилея болезнь сына резко обострилась, и во время торжеств мысли Александры были постоянно заняты им. В довершение несчастий вторая дочь, Татьяна, заболела брюшным тифом, напившись заражённой петербургской воды.

Александра изо всех сил старалась скрыть внутренние мучения от публики. Но душевных сил на то, чтобы выйти к людям и завоевать их сочувствие, у неё не было. Став императрицей, Александра оставалась для России чужой. Начиная с XVIII века у Романовых вошло в обычай жениться на иностранных принцессах. К концу XIX столетия династические браки сделали Романовых неотъемлемой частью семьи европейских монархов. Противники любили называть их «Гольштейн-Готторпской» династией — и с точки зрения генеалогии это было недалеко от истины. Большинство государственных деятелей полагало, что подобные династические связи служат поддержанию европейского равновесия. Поэтому помолвка цесаревича Николая в апреле 1894 года с принцессой Александрой — или Аликс, как её называли в семье, — дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского и английской принцессы Алисы, была встречена благожелательно. Предполагалось, что у принцессы будет достаточно времени, чтобы подготовиться к роли русской императрицы. Но всего через шесть месяцев Александр III умер, и двадцатидвухлетняя женщина внезапно оказалась на российском престоле.

Хотя позднее подданные будут проклинать её как «немку», во многих отношениях Александра была типичной англичанкой. После смерти матери в 1878 году её воспитывала в Англии бабушка — королева Виктория, и Александра усвоила её строгую мораль, привычки, вкусы и, не в последнюю очередь, упорство в достижении цели. С Николаем она говорила и переписывалась по-английски. По-русски она говорила плохо, с сильным английским акцентом, и употребляла русский главным образом в разговорах со слугами, чиновниками и духовенством. Быт Александровского дворца был выдержан в сурово-викторианском духе. Вместо изящной императорской мебели, куда лучше соответствовавшей классическому ампиру дворца, заказывали фабричные гарнитуры в английском универмаге Maples, ориентированном на средний класс. Четыре дочери императорской четы спали в одной комнате на узких походных кроватях; говорили, что императрица сама меняла постельное бельё. Холодные ванны принимались ежедневно. Во многом скромной мечтой Николая и Александры было вести жизнь английского среднего класса. Они пользовались уютным домашним языком викторианской буржуазии: называли друг друга «Hubby» и «Wifey» — «муженёк» и «жёнушка».[25] Но Александра ошибалась, полагая по примеру английского двора, что такой образ жизни, ставший в Англии следствием постепенного ухода монарха от непосредственного управления, возможен и для русского самодержца.

С самого начала Александра производила впечатление женщины, тяготившейся публичной ролью, которую навязывало ей положение. При дворе и на светских мероприятиях она появлялась редко; будучи от природы застенчивой, на первых выходах держалась холодно и сдержанно, отчего казалась неловкой и неприветливой. За ней закрепилась репутация холодной и надменной женщины — качества, воспринимавшиеся в России как особенно чуждые. «Царицу никто не любил, — писала Зинаида Гиппиус. — Её резкое лицо, красивое, но злое и подавленное, с тонкими, плотно сжатыми губами, не нравилось; не нравилась и её немецкая угловатая стать».

Узнав о непопулярности внучки, королева Виктория написала ей, давая совет:

> Нет более трудного ремесла, чем наше ремесло править. Я более пятидесяти лет управляю собственной страной, которую знаю с детства, и всё же каждый день думаю о том, что должна сделать, чтобы сохранить и укрепить любовь своих подданных. Насколько же труднее твоё положение. Ты находишься в чужой стране, которую совершенно не знаешь, где чужды тебе и обычаи, и образ мыслей, и сами люди; и тем не менее твоя первая обязанность — завоевать их любовь и уважение.

Александра ответила с таким высокомерием, что её репутация казалась вполне заслуженной:

> Вы ошибаетесь, дорогая бабушка; Россия — не Англия. Здесь нам не нужно завоёвывать любовь народа. Русский народ почитает своих царей как божественные существа, от которых исходят все милости и вся удача. Что же касается петербургского общества, им вполне можно пренебречь. Мнения тех, кто его составляет, и их насмешки не имеют никакого значения.

Содержание этой переписки вскоре стало известно в петербургских кругах и окончательно разрушило отношения между императрицей и верхушкой светского общества. Александра всё реже появлялась на публике и всё больше ограничивала круг друзей теми, от кого могла ожидать рабской преданности. Здесь лежали истоки её почти параноидальной привычки делить двор и общество на «друзей» и «врагов» — привычки, которая со временем приблизит монархию к катастрофе.[26]

Непопулярность императрицы сама по себе не имела бы столь большого значения, если бы она не взялась играть активную политическую роль. Уже из письма к королеве Виктории видно, насколько рано её пленило мистическое очарование византийского деспотизма. Ещё сильнее, чем её мягкий муж, Александра верила, что Россией по-прежнему можно — и следует — править так, как правили средневековые цари. Страну она воспринимала как частное владение короны: Россия, по её представлению, существовала ради династии, а не династия ради России. Министры были личными слугами царя, а не государственными служащими. С присущей ей властностью она пыталась устроить государство так, словно это была часть её домашнего хозяйства. Она постоянно убеждала мужа проявлять больше твёрдости и открыто утверждать свою самодержавную волю. «Будь

самодержавнее Петра Великого, — говорила она ему, — и суровее Ивана Грозного». Она хотела, чтобы Николай, подобно средневековым царям, правил на основании собственных религиозных убеждений, не считаясь с ограничениями закона. «Ты и Россия — одно и то же», — твердила она, подталкивая его то в одну, то в другую сторону в зависимости от собственных амбиций, тщеславия, страхов и ревности. Именно царица и Распутин — по крайней мере, так представлялось обществу — в последние катастрофические годы стали настоящими правителями царской России. Александра любила сравнивать себя с Екатериной Великой. На деле её роль гораздо больше напоминала Марию-Антуанетту, последнюю королеву Франции старого режима, чей портрет висел над её письменным столом в Александровском дворце.[27]

Александра считала своей миссией подарить династии Романовых здорового сына и наследника. Но одна за другой у неё родились четыре дочери. В отчаянии она обратилась к доктору Филиппу, практиковавшему «астральную медицину» и представленному императорской семье во время поездки во Францию в 1901 году. Он убедил её, что она беременна сыном, и живот императрицы действительно начал увеличиваться — пока медицинское обследование не показало, что речь идёт лишь о ложной беременности. Филипп был шарлатаном — во Франции его трижды штрафовали за незаконную врачебную практику, — и покинул Россию с позором. Но этот эпизод обнаружил склонность Александры к сомнительным формам мистицизма. В известной мере этого можно было ожидать, учитывая эмоциональный характер её обращения в православие. После холодного и аскетичного духовного мира северогерманского протестантизма её покорили торжественные обряды, протяжные молитвы и проникновенное пение Русской церкви. С жаром новообращённой она поверила в силу молитвы и божественных чудес. И когда в 1904 году наконец родился сын, Александра была убеждена, что обязана этим заступничеству святого Серафима — благочестивого русского старца, канонизированного в 1903 году, причём в несколько необычном порядке и по настойчивому желанию царя.

Цесаревич Алексей рос живым и игривым мальчиком. Но вскоре выяснилось, что он страдает гемофилией — в то время неизлечимой и в большинстве случаев смертельной болезнью. В Гессенском доме она

была наследственной: от неё умерли один из дядей Александры, один из её братьев и трое племянников. Не оставалось сомнений, что болезнь сыну передала императрица. Будь Романовы осторожнее, они, возможно, попытались бы воспрепятствовать браку Николая с ней; впрочем, гемофилия настолько распространилась среди европейских монарших домов, что стала почти профессиональным риском королевской профессии. Александра воспринимала болезнь сына как Божью кару и, желая искупить свой грех, всё больше посвящала себя религии и материнским обязанностям. Если бы природу болезни не держали в секрете, она, возможно, завоевала бы как мать хотя бы ту долю общественного сочувствия, которой совершенно не могла добиться как императрица. Александра неотступно следила за мальчиком, опасаясь, что падение вызовет смертельно опасное внутреннее кровотечение. Жить обычной детской жизнью Алексей не мог: достаточно было малейшей травмы, чтобы началось кровотечение. К нему приставили матроса Деревенько, который сопровождал его повсюду и носил на руках, когда мальчик — а это случалось часто — не мог ходить.

Александра обращалась к множеству врачей, но медицина была бессильна. Она всё больше убеждалась, что сына может спасти лишь чудо, и старалась заслужить милость Божью: жертвовала деньги церквям, занималась благотворительностью и проводила бесконечные часы в молитве. «Всякий раз, когда государыня видела его с румяными щеками, слышала его весёлый смех или смотрела, как он играет, — вспоминал Пьер Жильяр, воспитатель цесаревича, — её сердце наполнялось безмерной надеждой, и она говорила: “Бог услышал меня. Наконец Он пожалел моё горе”. Но потом болезнь внезапно снова обрушивалась на мальчика, вновь укладывала его на постель страданий и подводила к самым вратам смерти».[28]

Именно отчаянные поиски чудесного исцеления привели Распутина в жизнь Александры — а вместе с ней и в жизнь России. Григорий Распутин родился в сравнительно зажиточной крестьянской семье в селе Покровском в Западной Сибири. До недавнего времени считали, что он появился на свет в начале 1860-х годов; теперь известно, что он был моложе — в действительности родился в 1869 году. О ранних годах Распутина известно немного. Комиссия Временного правительства в

1917 году опросила нескольких односельчан, помнивших его грязным и неуправляемым мальчишкой. Позднее он прослыл пьяницей, распутником и конокрадом; вероятно, именно отсюда и произошло его прозвище-фамилия — от слова «распутный».[4] В какой-то момент он раскаялся и присоединился к группе паломников, направлявшихся в расположенный неподалёку Верхотурский монастырь. Там он провёл три месяца и вернулся в Покровское совершенно переменившимся человеком. Он отказался от алкоголя и мяса, немного научился читать и писать, стал религиозным и замкнутым.

Главной причиной его обращения, по-видимому, был «святой человек», или старец, Макарий — монах Верхотурского монастыря. Его духовная сила, подобно силе старца Зосимы в «Братьях Карамазовых» Достоевского, привлекала последователей со всей округи. Макария принимали царь и царица, постоянно искавшие среди простого народа «людей Божиих»; позднее Распутин утверждал, что именно пример Макария вдохновил его. Нет оснований считать, что Распутин когда-либо был настоящим учеником старца: он не получил образования, необходимого монаху, и, по-видимому, вообще был неспособен к систематическому учению. Когда в 1910 году освободилось место царского духовника, Александра настояла на том, чтобы Распутина подготовили к рукоположению и он мог занять эту должность. Но вскоре стало ясно, что он способен прочитать лишь самые простые отрывки Писания. Необходимая священнику способность заучивать тексты наизусть оказалась ему совершенно недоступна. Память у Распутина была настолько плохой, что он нередко забывал даже имена друзей и поэтому давал им прозвища вроде «Красавица» или «Губернатор», которые запоминались легче.

Да и вера, которую Распутин привёз из сибирской глуши в Петербург, была не вполне православной. Его странная смесь мистицизма и эротики куда больше напоминала практики хлыстов — запрещённой секты, с которой он почти наверняка сталкивался в Верхотурье, хотя повторявшиеся обвинения в том, что он сам был хлыстом, так и не получили окончательного подтверждения. Хлысты верили, что грех — первый шаг к спасению. На ночных собраниях они

[4] В деревнях было обычным делом обращаться друг к другу по прозвищам, описывавшим характер или внешность человека: «Умный», «Телёнок», «Волк», «Сердце» и т. п.

танцевали нагими, доводя себя до исступления, бичевали себя и предавались групповым сексуальным ритуалам. Между их воззрениями и полуязыческими верованиями русского крестьянства, отразившимися в распутинской мистике, действительно было немало общего. Русский крестьянин мог верить, что грешник способен быть столь же близок к Богу, как праведник, — а иногда даже ближе.[29]

В двадцать восемь лет — по крайней мере, так Распутин рассказывал позднее — ему явилась Богородица, после чего он отправился паломником в Иерусалим. Документальных свидетельств этой поездки нет; вероятнее, он просто присоединился к бесконечной веренице крестьян-странников, юродивых, мудрецов и пророков, веками ходивших по России и живших подаянием сельских жителей. Постепенно вокруг него возник ореол духовного авторитета, а дар проповедника привлёк внимание некоторых влиятельных представителей духовенства. В 1903 году Распутин впервые появился в Петербурге при покровительстве архимандрита Феофана, духовника Александры, саратовского епископа Гермогена и знаменитого отца Иоанна Кронштадтского, также близкого к царской семье. Православная церковь искала таких выходцев из простого народа, как Распутин, чтобы вернуть слабеющее влияние среди городских масс и повысить свой престиж при дворе Николая.

Это было время, когда петербургский двор и высшее общество буквально увлекались всевозможными альтернативными религиозными учениями. В аристократических салонах и буржуазных гостиных царило лихорадочное любопытство ко всем разновидностям спиритизма и теософии, оккультизму и сверхъестественному. Спиритические сеансы и доски для вызова духов вошли в моду. Отчасти это было гедонистическое стремление к новым формам веры и новым переживаниям. Но за ним стояло и более глубокое общее чувство нравственного неблагополучия, отразившееся в творчестве Блока и Белого и вообще характерное для европейской культуры десятилетия перед 1914 годом. Разного рода святые люди и спириты обосновались во дворцах российской знати задолго до появления Распутина. Их успех расчистил ему дорогу. На вечерах и приёмах его представляли как человека Божьего — грешника, раскаявшегося и наделённого необыкновенной способностью предвидеть и исцелять. Отталкивающая

внешность лишь придавала его нравственному обаянию дополнительную пикантность.

Он носил крестьянскую рубаху и мешковатые штаны. Сальные чёрные волосы падали до плеч, в бороде застревали остатки пищи, руки и тело он почти никогда не мыл. От него исходил резкий запах, который многие сравнивали с козлиным. Но больше всего людей поражали глаза. Их пронизывающий блеск и почти гипнотическая сила оставляли сильнейшее впечатление. Некоторые даже утверждали, что Распутин умел по своей воле расширять и сужать зрачки.[30]

В ноябре 1905 года Распутина впервые представили царю и царице именно как человека, способного помочь их сыну. С самого начала казалось, что он обладает таинственной силой, позволяющей останавливать внутренние кровотечения. Он предсказал, что Алексей не умрёт и болезнь исчезнет, когда мальчику исполнится тринадцать лет. Александра убедила себя, что Бог послал Распутина в ответ на её молитвы. Чем сильнее она на него полагалась, тем чаще он бывал во дворце. И для неё, и для Николая это прекрасно укладывалось в их убеждение: простой русский крестьянин, близкий к Богу, способен сделать то, что оказалось не под силу всем врачам.

Ни одна из многочисленных книг о Распутине так и не дала окончательного ответа на вопрос, в чём заключался секрет его целительского дара. Многие свидетельствовали, что его присутствие необыкновенно успокаивало и детей, и животных; вполне возможно, это действительно помогало уменьшать кровотечение у Алексея. Известно также, что Распутин обучался гипнозу, а гипноз способен вызывать физические реакции, в частности сужение кровеносных сосудов. Сам Распутин однажды признался секретарю Арону Симановичу, что иногда употреблял тибетские средства или что попадалось под руку, а иногда лишь делал вид, будто лечит, либо бормотал бессмысленные слова, пока молился. Всё это напоминает лечение верой, и, возможно, именно такими приёмами объяснялось его самое поразительное «чудо».

В октябре 1912 года у цесаревича началось особенно тяжёлое кровотечение после поездки с матерью в экипаже возле Спалы, императорского охотничьего имения в восточной Польше. Врачи не могли остановить образование большой и мучительной опухоли в паху и предупредили семью, что следует готовиться к близкой смерти

мальчика. Все считали, что его может спасти лишь чудо — например, самопроизвольное рассасывание опухоли. Состояние было настолько тяжёлым, что впервые в общероссийской печати начали публиковать врачебные бюллетени, хотя характер болезни по-прежнему скрывали. Во всех церквях страны служили молебны; Алексея, корчившегося от боли, причастили и приготовили к смерти. В отчаянии Александра послала телеграмму Распутину, находившемуся дома в Покровском. По словам его дочери, он помолился, затем пошёл на телеграф и отправил императрице ответ: «Бог увидел ваши слёзы и услышал ваши молитвы. Не печальтесь. Маленький не умрёт». Через несколько часов наступило внезапное улучшение: кровотечение остановилось, температура упала, и изумлённые врачи подтвердили, что опасность миновала. Скептик, не верящий, что молитва способна исцелять через телеграфный провод, может объяснить всё поразительным совпадением. Александра была убеждена в обратном, и после «чуда в Спале» положение Распутина при дворе стало незыблемым.[31]

Близость к двору принесла Распутину огромную власть и престиж. Он превратился в своего рода ходатая по прошениям: принимал деньги, подарки и сексуальные услуги от людей, надеявшихся, что он употребит влияние в их пользу. Во время Первой мировой войны, когда политическое влияние Распутина достигло вершины, он наладил прибыльную систему назначения на должности в правительстве, Церкви и государственной службе — всеми этими сферами он хвастливо объявлял себя способным распоряжаться. С сотнями людей попроще, ежедневно стоявших в очереди у его квартиры, — женщинами, просившими освободить сыновей или мужей от военной службы, людьми, ищущими жильё, — он обходился ещё проще: брал клочок бумаги, ставил крест в верхней части листа и полуграмотным почерком писал какому-нибудь чиновнику: «Дорогой и почтенный друг. Сделай это для меня. Григорий». Однажды подобную записку начальнику дворцовой канцелярии принесла хорошенькая молодая девушка, явно понравившаяся Распутину: «Устрой для неё. Она хорошая. Григорий». На вопрос чиновника, чего же девушка хочет, она ответила, что желает стать примадонной Императорской оперы.[32]

Нередко полагают, что, раз Распутин брал взятки, им двигала жажда денег. Это не совсем так. Накопление богатства само по себе его не

интересовало: деньги он тратил или раздавал столь же быстро, как получал. Возбуждала его власть. Распутин был крайним эгоцентриком и всегда должен был находиться в центре внимания. Он обожал хвастаться связями при дворе. «Я всё могу», — часто говорил он; отсюда и росли преувеличенные слухи о его политическом всемогуществе. Подарки богатых покровителей были для него важны не своей ценностью, а тем, что подтверждали его влияние. «Смотри, этот ковёр стоит четыреста рублей, — хвастался он однажды приятелю, — великая княгиня прислала за то, что я благословил её брак. А видишь, у меня золотой крест? Царь подарил». Больше всего Распутин наслаждался тем положением, которое получил, и властью, которую простой крестьянин теперь имел над мужчинами и женщинами из высших классов.

Особенное удовольствие доставляло ему грубить знатным дамам, сидевшим у его ног. Он мог сунуть грязный палец в блюдце с вареньем, повернуться к одной из них и сказать: «Смирись, оближи!» Когда богатая светская дама Варвара Икскуль впервые принимала его у себя, Распутин набросился на неё за дорогостоящую любовь к искусству: «Что это, матушка, картины на стенах, как в настоящем музее? Да на то, что висит на одной стене, можно пять голодных деревень прокормить». Когда Икскуль представляла ему гостей, он пристально разглядывал каждую женщину, брал её за руки и спрашивал: «Замужем?», «Где муж?», «Почему пришла одна?», «Вот пришли бы вместе — я бы посмотрел, как вы едите, как живёте». Он прекрасно понимал, что такая дерзость делает его ещё привлекательнее для аристократов, мучимых чувством вины и всё же покровительствовавших ему.

Особенно тянулись к харизматичному крестьянину богатые, но неудовлетворённые светские женщины. Многие испытывали странное сексуальное возбуждение от унижения. По-видимому, удовольствие от таких завоеваний было связано у Распутина не меньше с психологическим господством над жертвой, чем с удовлетворением собственных физических желаний. Женщинам он внушал, что спасение достигается уничтожением гордости — а значит, полной отдачей себя ему. Одна из них признавалась, что во время первой близости с Распутиным испытала такой сильный оргазм, что потеряла сознание. Возможно, его любовная репутация имела и физическое объяснение. Его убийца — и, по слухам, гомосексуальный любовник — Феликс

Юсупов утверждал, что необыкновенная мужская сила Распутина объяснялась большой бородавкой, расположенной на необычайно крупном половом члене. С другой стороны, имеются свидетельства, что Распутин был фактически импотентом: он лежал обнажённым со многими женщинами, но вступал в половой акт лишь с немногими. Иными словами, он был великим распутником, но едва ли великим любовником. После неудачного покушения 1914 года, когда Распутина ударили ножом, врач обнаружил настолько маленькие и сморщенные половые органы, что усомнился, способен ли он вообще к половому акту. Сам Распутин однажды хвастался монаху Илиодору, что может лежать с женщинами, не испытывая страсти, поскольку у него «член не действует».[33]

Чем сильнее становилось влияние Распутина, тем больше множилось легенд о его преступлениях и скандалах. Рассказывали о его сексуальных домогательствах, в том числе насильственных, вплоть до изнасилования. Поговаривали даже, будто сестра царя Ольга Александровна не избежала его распущенных рук. Ходили рассказы о пьяных оргиях, днях в банях с проститутками и ночных кутежах в ресторанах и публичных домах. Самый знаменитый скандал разразился в марте 1915 года в известном цыганском ресторане «Яр». Распутин пришёл туда с двумя журналистами и тремя проститутками. Напившись, он стал хватать цыганок и громогласно хвастаться своими сексуальными отношениями с императрицей. «Видите этот пояс? — орал он. — Это сама Её Величество сделала. Я могу заставить её сделать что угодно. Да, я, Гришка Распутин. Захочу — заставлю старуху вот так плясать», — и он изобразил половой акт. Весь зал уже смотрел на него; кто-то спросил, действительно ли он тот самый знаменитый «святой человек». Распутин спустил штаны и стал размахивать половым членом перед публикой. Британский агент Брюс Локкарт, находившийся этажом ниже, слышал «дикие визги женщин, звон разбитого стекла и хлопанье дверей». Официанты метались, вызвали полицию, но никто не решался вывести «святого человека». Телефонные звонки поднимались всё выше по чиновничьей лестнице, пока не дошли до начальника корпуса жандармов, который приказал арестовать Распутина. Его увели и посадили на ночь под стражу. Но утром пришло распоряжение царя освободить его.[34]

Политически особенно разрушительным делало эти слухи широко распространённое убеждение — которое сам Распутин охотно поддерживал, — будто он является любовником царицы. Рассказывали даже о диких оргиях Распутина и императрицы вместе с царём и фрейлиной Анной Вырубовой, которую молва объявляла лесбиянкой. Накануне Французской революции похожие порнографические истории распространялись о Марии-Антуанетте и «импотенте Людовике». Доказательств подобным слухам не существовало. Правда, было знаменитое письмо императрицы к Распутину, попавшее в печать в 1912 году: «Я целую ваши руки и кладу голову на ваши благословенные плечи. Тогда мне так радостно. И хочется лишь спать, спать вечно на вашем плече, в ваших объятиях».[35] Но, учитывая всё, что известно об Александре, было бы грубым искажением читать это как любовное письмо. Она была верной и преданной женой и матерью, обратившейся к Распутину в минуты духовного отчаяния. К тому же, вероятно, она была слишком узка и скована морально, чтобы завести любовника.

И всё же сторонников царя тревожила не столько правдивость слухов, сколько сам факт их существования. Они пытались убедить Николая в пагубном влиянии Распутина и добиться его удаления от двора. Но, хотя царь знал о проступках Распутина, он не желал отстранять его, пока императрица верила, что именно этот человек — и никто другой — способен помочь их умирающему сыну. Николай, находившийся под сильным влиянием жены, слишком ценил успокаивающее действие Распутина на Александру. Однажды он неосторожно признался: «Лучше один Распутин, чем десять истерик каждый день». Архимандрит Феофан, когда-то помогший Распутину войти в петербургские круги, был в 1910 году выслан из столицы после попытки рассказать императрице о скандальном поведении её святого человека. Монах Илиодор и епископ Гермоген в 1911 году оказались заточены в отдалённых монастырях после того, как предъявили Распутину длинный перечень его проступков и призвали к покаянию. Именно Илиодор, мстя за это, передал прессе письма императрицы к Распутину. Царь запретил газетам печатать новые истории о нём, хотя после революции 1905 года обещал отменить предварительную цензуру. Одновременно обер-прокурором Святейшего синода назначили

Владимира Саблера, близкого союзника Распутина, что фактически заставило Церковь замолчать.[36]

Политики также не добились успеха в попытках свалить Распутина. Они представляли царю свидетельства его прегрешений, но Николай вновь отказывался действовать. Почему он был так терпим? Вероятнее всего потому, что видел в Распутине простого человека, крестьянина «из народа», которого Бог послал спасти династию Романовых. Распутин подтверждал предубеждения царя и льстил его мечтам о народном самодержавии. Он становился символом николаевской веры в византийскую троицу — Бог, Царь и Народ, — на которой, как надеялся Николай, можно будет заново построить режим по образцу Московской Руси XVII века. «Он просто хороший, религиозный, простодушный русский человек, — говорил Николай одному из придворных. — Когда у меня неприятности или меня мучают сомнения, я люблю с ним поговорить и после этого неизменно чувствую душевный покой».

Распутин сознательно подыгрывал этой фантазии, обращаясь к своим венценосным покровителям простонародно — «батюшка-царь» и «матушка-царица», вместо «Ваше Императорское Величество». Николай верил, что лишь простые люди, не запятнанные связями с петербургскими политическими группировками, способны сказать ему правду и дать бескорыстный совет. Почти двадцать лет он получал прямые донесения от Анатолия Клопова, мелкого служащего Министерства финансов. Распутин попадал в ту же категорию. Как воплощение николаевского идеала верного русского народа, он словно не мог совершить ничего дурного. Царь отмахивался от слухов, считая, что любой человек, удостоенный особого расположения двора — тем более простой мужик вроде Распутина, — неизбежно вызовет зависть и злословие. Более того, Николай явно относил Распутина к семейным делам и воспринимал критику как вторжение в свою частную вотчину.

Когда, например, председатель Совета министров Столыпин передал ему папку тайных полицейских донесений о распутинских выходках, царь дал понять, что считает непрошеное предупреждение серьёзным нарушением этикета: «Я знаю, Пётр Аркадьевич, что вы искренне мне преданы. Возможно, всё, что вы говорите, правда. Но прошу вас больше никогда не говорить со мной о Распутине. Всё равно я ничего не могу сделать». Не большего добился и председатель Думы,

представив ещё более тяжёлое досье по материалам Илиодора и Святейшего синода. Хотя увиденное явно потрясло Николая, он сказал Родзянко: «Распутин — простой крестьянин, который какой-то странной силой облегчает страдания моего сына. Доверие царицы к нему — семейное дело, и я никому не позволю вмешиваться в мои дела».[37] Похоже, упрямо придерживаясь принципов самодержавия, Николай рассматривал любое сомнение в его решениях как проявление нелояльности.

Так дело Распутина и осталось неразрешённым. Оно всё сильнее отравляло отношения монархии с обществом и её традиционными опорами — двором, бюрократией, Церковью и армией. Этот скандал часто сравнивают с «делом об ожерелье королевы», которое накануне Французской революции непоправимо разрушило репутацию Марии-Антуанетты, — и сравнение в целом справедливо. К моменту убийства Распутина в декабре 1916 года династия Романовых уже стояла на краю гибели.

ГЛАВА 2

НЕУСТОЙЧИВЫЕ ОПОРЫ

i. Бюрократы и халаты

В первое утро 1883 года читатели «Правительственного вестника» узнали из газеты, что А. А. Половцов назначен государственным секретарём. Новость была не из тех, от которых человек давится завтраком. В пятьдесят один год Половцов обладал всеми необходимыми данными для столь высокой государственной должности. Сын дворянина-помещика, он женился на наследнице банковского состояния, окончил привилегированное Училище правоведения и последовательно продвигался по ступеням имперской бюрократии. Современники считали его утончённым, образованным и прекрасно воспитанным; Витте находил его даже немного тщеславным. В аристократических кругах Петербурга Половцов чувствовал себя уверенно и непринуждённо, среди его близких друзей было несколько великих князей. Он состоял и в Императорском яхт-клубе — неофициальном вечернем штабе российской правящей элиты; именно там, в канун Нового года, ему сообщили о назначении.[1] Словом, Александр Александрович был образцовым представителем небольшого привилегированного племени, управлявшего делами империи.

Российская имперская бюрократия представляла собой элитную касту, стоявшую над остальным обществом. В этом отношении она не слишком отличалась от коммунистической бюрократии, которая позднее придёт ей на смену. Царская система строилась на жёсткой общественной иерархии. На вершине находился двор; ниже — его опоры в гражданской и военной службе и Церкви, состоявшие из представителей первых двух сословий; в самом низу — крестьянство. Самодержавие было тесно связано с этой неподвижной пирамидой сословий — дворян, духовенства, купечества и крестьян, — ранжированных по их службе государству. Каждое сословие обладало собственным набором юридических прав и обязанностей. Николай сравнивал эту систему с вотчинным хозяйством. «Я представляю

Россию как поместье, — заявил он в 1902 году, — владелец которого — царь, управляющий — дворянство, а работники — крестьяне». Для общества начала XX века трудно было подобрать более архаичную метафору.

Несмотря на бурное развитие торговли и промышленности в последние десятилетия XIX века, российская правящая элита по-прежнему происходила главным образом из старой земельной аристократии. По переписи 1897 года дворяне составляли 71 процент чиновников первых четырёх классов государственной службы — то есть выше чина статского советника. Правда, двери службы постепенно открывались и сыновьям недворян, если у них было университетское образование или гимназический диплом с отличием. Правда и то, что между служилым дворянством и помещиками на земле росла дистанция — и по социальному происхождению, и по мировоззрению. Многие служилые дворяне продавали имения и окончательно перебирались в города; другие вообще никогда не владели землёй и получили дворянство за государственную службу. Иными словами, государственная служба всё чаще становилась путём к дворянству так же, как дворянство издавна было путём на службу.

У чиновничества складывались собственные элитарные ценности, и лишь самый примитивный марксист мог бы отождествить их с «классовыми интересами» земельного дворянства. И всё же афоризм Юрия Самарина — «чиновник есть всего лишь дворянин в мундире, а дворянин — чиновник в халате» — в 1900 году оставался в целом справедлив. Россия была старым аграрным государством, а в её правящей верхушке по-прежнему господствовали богатейшие помещичьи фамилии — Строгановы, Долгоруковы, Шереметевы, Оболенские, Волконские и другие могущественные династии, стоявшие близ вершины московского государства во время его великого территориального расширения XV–XVIII веков и награждённые огромными владениями плодородной земли, прежде всего на юге России и на Украине.[2] Зависимость от государства — как источника богатства и большей части служебных назначений — помешала российской аристократии превратиться в независимый класс землевладельцев, способный уравновешивать монархию, как произошло в большинстве европейских стран начиная с XVI века.

Как знает всякий читатель Гоголя, имперская государственная служба была одержима чинами и иерархией. Сложная система правил, изложенная в 869 параграфах первого тома Свода законов, различала четырнадцать классов гражданской службы, каждому из которых полагались особый мундир и титул — все эти названия были переводами с немецкого. Половцов, например, при назначении государственным секретарём получил тёмно-синюю ленту и серебряную звезду ордена Белого орла. К чиновникам двух высших классов следовало обращаться «Ваше Высокопревосходительство», к чиновникам третьего и четвёртого — «Ваше Превосходительство», и так далее, вплоть до нижних классов — с девятого по четырнадцатый, где довольствовались обращением «Ваше Благородие». Чиновник болезненно ощущал значение подобных знаков статуса. Переход от белых брюк к чёрным, смена красной ленты на синюю или простое прибавление галуна превращались в ритуальные события огромной важности в его упорядоченной жизни.

Продвижение определялось Табелью о рангах, введённой Петром Великим в 1722 году. Чиновник мог занимать только те должности, которые соответствовали его личному чину или были ниже него. В 1856 году установили стандартные сроки выслуги: по одному классу каждые три года — от четырнадцатого до восьмого, и каждые четыре года — от восьмого до пятого. На четыре высших класса, дававшие наследственное дворянство, назначал непосредственно царь. Поэтому, если чиновник не совершал какого-либо вопиющего проступка, даже совершенно заурядный бюрократ мог рассчитывать автоматически подниматься по лестнице вместе с возрастом и, скажем, к шестидесяти пяти годам стать статским советником. Такая система поощряла выслуживающуюся посредственность, которую Гоголь и другие писатели изображали как саму сущность российского чиновничества XIX века. Однако к концу столетия автоматическое продвижение постепенно выходило из употребления: заслуги становились важнее возраста.[3]

Тем не менее высшие петербургские должности оставались в руках очень узкого круга дворянских фамилий. Это был маленький политический мир, где все знали друг друга. Все значимые фигуры жили на модных улицах вокруг Невского и Литейного проспектов. Их

связывали браки и дружба. Большинство училось в одних и тех же привилегированных заведениях — Пажеском корпусе, Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, Александровском лицее, Училище правоведения, — а их сыновья поступали в одни и те же элитные полки: кавалергардов, конную гвардию, Лейб-гусарский Его Величества и Преображенский. Оттуда открывался быстрый путь к вершинам гражданской или военной службы. Связи в этом мире были необходимы: дневник Половцова показывает, что значительная часть настоящей политики делалась на балах и банкетах, в частных салонах и гостиных, в ресторане гостиницы «Европейская» и в баре Императорского яхт-клуба.

Мир этот был закрытым, но не обязательно чопорным. Петербургская аристократия была слишком космополитична для настоящего снобизма. «Петербург был не Веной», — напоминает Доминик Ливен в фундаментальном исследовании российской правящей элиты, и в аристократических кругах всегда находилось место обаятельным чудакам. Взять хотя бы князя Алексея Лобанова-Ростовского, одного из лучших министров иностранных дел Николая II: восьмидесятилетнего grand seigneur, коллекционера еврейских книг и французских любовниц, который «блистал в салонах» и «ходил в церковь в халате». Или князя М. И. Хилкова — «отпрыска одного из древнейших аристократических родов России», несколько лет работавшего машинистом локомотива в Южной Америке и корабельным плотником в Ливерпуле, прежде чем стать российским министром путей сообщения.[4] Несмотря на все свои способности, бюрократия так и не стала по-настоящему действенным орудием самодержавия. На то было три главные причины. Во-первых, зависимость чиновничества от дворянства обернулась слабостью по мере упадка дворянского сословия во второй половине XIX века. Современному государству всё сильнее не хватало специалистов, особенно в промышленной сфере. Этот пробел можно было бы восполнить, привлекая на государственную службу представителей нового промышленного среднего класса. Но правящая элита была слишком привержена архаическому представлению о царском порядке, в котором дворянству принадлежало первое место, и слишком опасалась демократической угрозы со стороны новых классов. Во-вторых,

государственный аппарат хронически недофинансировался: в огромной и бедной крестьянской стране было чрезвычайно трудно собирать достаточно налогов. Поэтому ни министерства, ни тем более местная администрация не располагали ресурсами, необходимыми, чтобы контролировать общество или реформировать его. Наконец, полномочия ведомств постоянно перекрывались, а сами министерства были разделены и соперничали между собой.

Так сложилось исторически: каждое министерство возникало как отдельное, почти случайное продолжение личной власти самодержца. Государственные учреждения так и не были сведены в последовательную систему, их работа не была должным образом согласована — возможно, именно потому, что царю было выгодно держать их слабыми и зависимыми от себя. Каждый новый государь покровительствовал собственному набору учреждений в той или иной сфере политики, нередко попросту обходя структуры, созданные предшественниками. Результатом становились бюрократический хаос и путаница. Каждое министерство развивалось само по себе, без настоящего кабинета, способного координировать работу правительства. Два главных ведомства — Министерство финансов и Министерство внутренних дел — набирали кадры через собственные сети покровительства в элитных семьях и учебных заведениях. Они соперничали за ресурсы, контроль над политикой и влияние на менее значительные министерства и местные органы.

Не существовало ясного разграничения ни между функциями государственных учреждений, ни между юридической силой разных видов актов — наказа, указа, устава, закона, положения, уложения, грамоты, манифеста и множества других. Поэтому личное вмешательство царя постоянно требовалось, чтобы распутывать узлы конкурирующих полномочий и противоречивых норм. Для обычного человека эта неразбериха означала прежде всего произвольность режима: никогда нельзя было быть уверенным, где находится настоящая власть, не будет ли один закон отменён специальным царским распоряжением и станет ли полиция вообще соблюдать закон. Некоторые самодовольные философы даже утверждали на этом основании, что настоящего самодержавия в России нет. «Есть самодержавие полицейского и земского начальника, губернатора,

директора департамента и министра, — писал князь Сергей Трубецкой в 1900 году. — Но единого царского самодержавия в собственном смысле слова нет и быть не может». Для непривилегированного человека именно эта произвольность — русский *произвол* — делала власть режима особенно тягостной. Не существовало ясных принципов и правил, на которые человек мог бы опереться, оспаривая действия власти или государства.[5]

Таким образом, бюрократия не сумела превратиться в целостную политическую силу, которая, подобно прусской бюрократии в анализе Макса Вебера, могла бы служить инструментом реформ и модернизации. Вместо «рациональной» бюрократической системы веберовского идеального типа — с устойчивыми институциональными отношениями, чётким разделением функций, регулярными процедурами и правовыми принципами — Россия представляла собой гибридное государство. В нём элементы прусской системы сочетались со старым вотчинным порядком, при котором государственная служба оставалась зависимой от придворного покровительства и вмешательства. Это мешало окончательно сложиться профессиональной бюрократической этике.

Но так было не всегда и не обязательно должно было оставаться. В середине XIX века имперская бюрократия ещё могла реализовать себя как творческая и модернизирующая сила. Именно идеалы «просвещённых бюрократов», удачно названных так историком У. Брюсом Линкольном, определили Великие реформы 1860-х годов. Возник новый слой профессиональных чиновников — главным образом сыновья безземельных дворян и выходцы из смешанных сословных семей, разночинцы, — пришедшие на службу через расширявшиеся возможности высшего образования 1830–1840-х годов. Это были серьёзные, прямые люди, вроде Каренина в «Анне Карениной» Толстого. Они обстоятельно, иногда педантично говорили о «прогрессе» и статистике, насмехались над аристократами-дилетантами на высоких должностях — такими, как Вронский, любовник Анны, — которые вторгались в сферу их профессиональной компетенции, и верили в миссию бюрократии: цивилизовать и реформировать Россию по западному образцу.

Большинство из них всё же не доходило до либерального требования правового государства с гражданскими свободами и парламентом. Под *Rechtsstaat* они обычно понимали лишь рационально устроенное бюрократическое государство, действующее на основании общих законов и процедур. Но они выступали за большую открытость государственной работы — за то, что называли *гласностью*: общественный контроль должен был препятствовать злоупотреблениям властью и привлекать к обсуждению реформ специалистов из общества. Прогрессивные чиновники общались с либеральной интеллигенцией столицы, и их круг прозвали «петербургской партией прогресса». Они регулярно бывали в салоне великой княгини Елены Павловны и пользовались поддержкой великого князя Константина, который как председатель Государственного совета много сделал для продвижения реформаторов в правительственных кругах Александра II. Тесные связи существовали и с общественными учреждениями, например с Императорским Русским географическим обществом, которому поручали статистические исследования, необходимые для подготовки реформаторского законодательства 1860-х годов.[6]

Великие реформы стали высшей точкой этого бюрократического просвещения. Они задумывались как модернизация — а в России это почти неизбежно означало вестернизацию, — призванная укрепить государство после поражения в Крымской войне. Ограниченные свободы и преобразования даровались в надежде оживить общество и создать динамичную экономику, не меняя основного политического каркаса самодержавия. В этом отношении замысел отчасти напоминает перестройку Михаила Горбачёва столетие спустя.

В 1861 году крепостные юридически, хотя далеко не во всех отношениях фактически, освободились от власти помещиков и получили некоторые гражданские права. Они по-прежнему были связаны сельской общиной, которая сохраняла старый патриархальный порядок, не имели права индивидуальной собственности на землю и юридически оставались ниже дворян и других сословий. Но по крайней мере были заложены основы для развития крестьянского хозяйства. Вторая крупнейшая реформа 1864 года создала в большинстве губерний органы местного самоуправления — земства. Чтобы сохранить господство помещичьего дворянства, земства учреждались лишь на

губернском и уездном уровнях; ниже, в волостях и деревнях, крестьянские общины продолжали управлять собой при минимальном надзоре дворян.

Судебная реформа того же года создала независимую судебную систему с открытыми процессами и присяжными для всех сословий, кроме крестьян, которые оставались в сфере местного обычного права. Последовали и другие меры: смягчение цензуры в 1865 году, расширение университетской автономии в 1863-м, реформа начальной школы в 1864-м, модернизация армии в 1863–1875 годах. Борис Чичерин позднее так сформулировал прогрессивный пафос этих преобразований:

> полностью перестроить огромное государство, вверенное попечению [Александра], уничтожить вековой порядок, основанный на рабстве, заменить его гражданским достоинством и свободой, утвердить правосудие в стране, не знавшей самого смысла законности, переустроить всё управление, ввести свободу печати при неограниченной власти, повсюду вызвать к жизни новые силы и поставить их на твёрдые правовые основания, поднять на ноги подавленное и униженное общество и дать ему возможность расправить плечи.[7]

Если бы либеральный дух 1860-х и дальше пронизывал работу правительства, Россия, возможно, могла бы постепенно превратиться в общество западного типа, основанное на частной собственности и свободе, защищённых правом. Революция не была неизбежной. Разумеется, путь оставался бы медленным и болезненным. Крестьянство, в частности, сохраняло бы революционный потенциал, пока не получило настоящих имущественных и гражданских прав. Старый патриархальный деревенский порядок, даже после освобождения сохранявший господство дворянства, требовал замены современной системой, в которой крестьянин имел бы больший собственный интерес. Но в правящей элите по крайней мере росло понимание того, что именно нужно для такой социальной трансформации — и какой ценой она обойдётся.

Проблема заключалась в том, что сама элита всё сильнее раскалывалась по вопросу о желательности этих перемен. Из-за внутренних разногласий она так и не выработала последовательной стратегии модернизации. С одной стороны стояли реформаторы —

«люди 1864 года», подобные Половцову. Они в целом принимали необходимость буржуазного общественного порядка, даже если это означало ущерб интересам дворянства; признавали необходимость политических свобод, прежде всего в местном самоуправлении; и выступали за *Rechtsstaat*, который всё чаще понимали уже не просто как государство общих законов, а как власть, сама подчинённая праву.

К концу 1870-х реформаторская программа переросла в требования конституции. Просвещённые государственные деятели открыто утверждали, что задачи современного управления слишком сложны, чтобы царь и его чиновники могли решать их одни, и что к государственной работе необходимо привлечь образованную и лояльную общественность. В январе 1881 года Александр II поручил министру внутренних дел графу Лорис-Меликову подготовить план ограниченной конституционной реформы, которая дала бы приглашённым представителям общества совещательный голос в законодательстве. «Престол, — говорил министр финансов А. А. Абаза во время обсуждения проекта, — не может опираться исключительно на миллион штыков и армию чиновников».

Подобные настроения были особенно распространены в Министерстве финансов. Именно его чиновники, отвечая за индустриализацию, раньше других увидели необходимость устранить препятствия для буржуазной инициативы и предпринимательства. Многие из них, как Половцов, женившийся на представительнице банковской семьи, сами принадлежали к «новой России» торговли и промышленности. Витте, великий министр-реформатор 1890-х годов, до поступления на государственную службу двадцать лет работал на железных дорогах — начинал простым билетным кассиром. Он полагал, что царская система сможет избежать революции лишь в том случае, если превратит Россию в современное индустриальное общество, где «личная и общественная инициатива» будет поддерживаться правовым государством с гарантированными гражданскими свободами.[8]

С другой стороны находились защитники традиционного царского порядка. Не случайно их главным оплотом было Министерство внутренних дел: его кадры почти исключительно происходили из «старой России» — из дворянских офицерских и помещичьих кругов, твёрже всех веривших в полицейское государство. Предотвратить

революцию, утверждали они, можно лишь железной рукой. Это означало защиту самодержавного принципа как в центре, так и на местах, неограниченных полномочий полиции, господства дворянства и нравственного влияния Церкви от либеральных и светских вызовов городского индустриального общества. Конституции и политические права, утверждали П. Н. Дурново и Вячеслав фон Плеве — два крупнейших министра внутренних дел в эпоху Витте, — только ослабят государство, потому что либеральные средние классы, которые придут к власти, не имеют авторитета у народных масс и даже презираемы ими. Лишь после того как экономический прогресс устранит угрозу социальной революции, наступит время политических реформ. Российская отсталость, по их мнению, требовала именно такой стратегии: экономического либерализма в сочетании с самодержавием. Как говорил Дурново, и не без оснований: «Нельзя в течение нескольких недель ввести в России североамериканский или английский строй».[9] Одним из уроков 1917 года станет как раз это.

Позиции реакционеров чрезвычайно укрепило убийство Александра II в марте 1881 года. Новый царь под влиянием своего наставника и советника, обер-прокурора Святейшего синода Константина Победоносцева, убедился, что продолжение либеральных реформ лишь произведёт новых революционеров, подобных убийцам его отца. Александр III вскоре отказался от проекта конституции, заявив, что не желает правительства «беспокойных крикунов и адвокатов»; вынудил реформаторов уйти в отставку — Абазу из Министерства финансов, Лорис-Меликова из Министерства внутренних дел и Дмитрия Милютина из Военного министерства — и издал манифест, вновь провозгласивший незыблемость самодержавия.[10]

Это стало сигналом к череде контрреформ Александра III. Они должны были усилить централизацию, урезать права местного самоуправления, вновь утвердить личное правление царя посредством полиции и непосредственно подчинённых ему представителей и укрепить в деревне патриархальный порядок во главе с дворянством. Трудно было придумать политику, скорее способную приблизить революцию. Именно в это время либеральные круги провинциального общества всё яснее осознавали свои общие интересы и идентичность как необходимость защищать права местного самоуправления от той самой

централизующей бюрократии, на которую новый царь возлагал главные надежды.

ii. Тонкий слой цивилизации

Когда в мае 1903 года князь Сергей Урусов был назначен бессарабским губернатором, первым делом он купил путеводитель по краю. Эта юго-западная губерния империи, зажатая между Чёрным морем и Румынией, была совершенно незнакома выпускнику Московского университета, трижды избиравшемуся предводителем дворянства Калужской губернии. «О Бессарабии, — признавался он позднее, — я знал не больше, чем о Новой Зеландии, а может быть, и меньше».

Через три недели, заехав в столицу на доклад к царю, Урусов отправился поездом из Москвы в Кишинёв — столицу Бессарабии, находившуюся примерно в девятистах милях. Дорога заняла две ночи и три долгих дня; поезд шёл всё медленнее, углубляясь в украинскую провинцию. Оставшись один в специальном купе, Урусов изучал путеводитель, готовясь к первым разговорам с городскими сановниками, которые должны были встретить его по прибытии. Вице-губернатору он заранее написал, прося не устраивать многолюдной встречи. Но, когда поезд вошёл на станцию Бендеры — первый крупный город губернии, — Урусов увидел из окна платформу, заполненную людьми, и целый оркестр. В центре, окружённый кольцом полицейских, стоял в парадном мундире вице-губернатор, рядом — городской голова в должностной цепи, державший блюдо с хлебом и солью.

Так в Бессарабии традиционно встречали нового губернатора, и для Урусова исключения делать не собирались. Через полтора часа в Кишинёве Его Превосходительство губернатора повезли по городу в открытом экипаже, запряжённом шестью белыми лошадьми. «Мужчины, женщины и дети тесными рядами стояли на тротуарах, — вспоминал Урусов. — Они кланялись, махали платками, а некоторые даже становились на колени. Последнее особенно меня поразило: я не привык к подобным сценам». После короткой остановки у собора, где призвали Божье благословение на предстоящую ему службу, Урусова отвезли в губернаторский дом — внушительный неоклассический

дворец в центре города, откуда ему предстояло править этим далёким уголком Российской империи как царскому наместнику.[11]

Кишинёв с населением около 120 тысяч человек был типичным губернским городом. Административный центр — «верхний город» на холме — представлял собой регулярную сетку широких прямых мощёных улиц, обсаженных тополями и белой акацией. Особенно нарядно выглядел Александровский бульвар: тротуары были настолько широки, что по краям могли ходить конные трамваи. Помимо губернаторского дома там стояли крупные каменные здания, присутственные места и церкви, которые, по словам Урусова, «не произвели бы неблагоприятного впечатления даже на улицах Петербурга».

Но в нескольких шагах от этих изящных неоклассических фасадов, в «нижнем городе», спускавшемся по склону, начинался совершенно другой мир: узкие, извилистые немощёные улицы, весной тонувшие в грязи, летом — в пыли; деревянные лачуги и переполненные хибары, служившие одновременно жилищами и лавками русским, еврейским и молдавским рабочим; свиньи и коровы, пасущиеся в переулках; открытые сточные канавы и кучи мусора на площадях; эпидемии холеры, случавшиеся в среднем раз в три года. Таковы были два лица почти каждого русского города: одно — имперская власть и европейская цивилизация, другое — бедность и грязь почти азиатского масштаба.[12]

Трудно было винить Урусова за то, что своё назначение он воспринимал почти как ссылку. Многие губернаторы чувствовали то же самое. Привыкшие к космополитической жизни столиц, они неизбежно находили провинциальное общество скучным и узким. Даже к концу XIX века гражданская культура российской провинции оставалась на ранней стадии развития по сравнению с западноевропейской. Большинство русских городов исторически выросло как административные или военные форпосты царского государства, а не как самостоятельные торговые и культурные центры.

Обычно город состоял из немногочисленного дворянства, значительная часть которого служила в местных учреждениях, и большой массы мелких торговцев, ремесленников и рабочих. Настоящей «буржуазии» или «среднего класса» в западном смысле почти не существовало. Городское сословие, которое в Западной Европе

со времён Возрождения двигало развитие цивилизации, в крестьянской России во многом отсутствовало. Профессиональные слои были слишком слабы и слишком зависели от государства, чтобы до последних десятилетий XIX века добиться самостоятельности. Ремесленники и купцы были слишком разобщены — исторически и юридически это были разные сословия — и слишком оторваны от образованных классов, чтобы создать в русских городах недостающее *Bürgertum*. Россия как будто подтверждала афоризм Петра Струве: «Чем дальше на восток Европы, тем слабее политически, трусливее и низменнее становится буржуазия».[13]

Всякий, кто знает пьесы Чехова, легко представит культурную жизнь среднего провинциального города: скучную и замкнутую. По крайней мере именно так смотрела на русскую провинцию интеллигенция, воспитанная на западноевропейской культуре. Брат из «Трёх сестёр» описывает их город так:

> Город существует двести лет, в нём сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на остальных! Никогда здесь не было ни учёного, ни художника, ни святого, ни просто выдающегося человека, который возбудил бы страстное желание подражать ему. Здесь только едят, пьют, спят. Потом умирают, а на их место приходят другие — и тоже едят, пьют и спят. А чтобы хоть как-нибудь разнообразить жизнь и не одуреть совсем от скуки, предаются отвратительным сплетням, водке, картам и тяжбам.

Кишинёв в этом отношении был совершенно обычным городом. Здесь имелись двенадцать школ, два театра и открытая летняя музыкальная площадка, но не было ни библиотеки, ни художественной галереи. Центром общественной жизни служило Дворянское собрание. Именно там, по словам Урусова, «общий характер кишинёвского общества отражался особенно ярко». Клубные комнаты всегда были полны; завсегдатаи собирались за карточными столами уже с двух часов дня и зимой расходились только в три-четыре часа ночи, а летом — в шесть или семь утра.

В Кишинёве, как и в большинстве губернских городов, привычки местного дворянства имели куда больше общего с бытом богатого купечества, чем с нравами петербургской аристократии. Дочь Столыпина, например, вспоминала, что в Саратове, где её отец был

губернатором, дворянские дамы одевались настолько непринуждённо, что в приглашениях приходилось специально писать: «Просим быть в вечернем платье». «Но даже после этого, — добавляла она, — некоторые являлись на балы в халатах».[14]

В таком обществе губернатор неизбежно становился крупнейшей местной знаменитостью. Кульминацией любого общественного мероприятия был момент, когда Его Превосходительство удостаивал собрание своим появлением. Получить приглашение на ежегодный бал в губернаторском доме означало войти в самую верхушку провинциального общества. Скромного Урусова почти пугало то богоподобное почтение, которым окружали его жители: «По кишинёвскому этикету я должен был выезжать исключительно в экипаже, под охраной конного конвоя, впереди которого ехал полицмейстер. Пройтись пешком или зайти в магазин с моей стороны считалось тяжёлым нарушением приличий».

Другие губернаторы, менее скромные, охотно использовали высокое положение и вели себя как маленькие самодержцы. Один, например, приказывал полиции полностью останавливать движение каждый раз, когда проезжал по городу. Другой не позволял начинать спектакль в местном театре до своего появления. Для сторонников свободы губернатор был живым воплощением царского угнетения и деспотизма. Горький не нашёл более сильного образа для осуждения авторитарности Толстого, чем сравнить его с губернатором.[15]

Должность, которую занял Урусов, восходила к средневековью, хотя её форма много раз менялась. В такой огромной и трудной для управления стране, как Россия, сбор налогов и поддержание порядка явно были не по силам слабому средневековому государству. Поэтому эти функции передавали наместникам — полномочным представителям царя. В обмен на службу им позволяли «кормиться» за счёт управляемых областей, что обычно сопровождалось немалым насилием и продажностью. Неспособность государства создать эффективную систему провинциального управления и обеспечила огромную власть губернаторов. Даже в XIX веке, когда бюрократия расширила своё присутствие на местах, губернаторы так и не были полностью включены в централизованный аппарат.

Губернаторам подчинялась местная полиция, и формально по этой линии они отвечали перед Министерством внутренних дел. Одновременно они председательствовали в губернских учреждениях, деятельность которых относилась к ведению других министерств — юстиции, финансов, путей сообщения. Такое раздробление исполнительной власти к концу XIX века всё чаще вынуждало губернатора договариваться, убеждать, идти на компромиссы — то есть играть роль современного политика. И всё же тесные связи с двором позволяли им игнорировать требования петербургских министерств, особенно если те, по их мнению, противоречили интересам дворянского сословия, из которого происходили все губернаторы.

Так, реформы местного управления Столыпина после 1906 года встретили действенное сопротивление губернаторов, видевших в них угрозу дворянскому господству. А. А. Хвостов, один из преемников Столыпина в Министерстве внутренних дел, жаловался, что помешать губернаторам саботировать работу ведомства «практически невозможно» из-за их высоких покровителей при дворе: «у одного тётка дружит с государыней, у другого родственник — камергер, у третьего двоюродный брат — обер-шталмейстер». Необыкновенная власть губернаторов объяснялась прежде всего тем, что они были личными наместниками царя, воплощением самодержавного начала в провинции.

Последние два российских императора особенно решительно возражали против подчинения губернаторов бюрократии: они видели в губернаторах самых надёжных сторонников. Как пишет историк Ричард Роббинс, «в качестве личных представителей государя губернаторы помогали императорам не попадать в зависимость от министров и сохраняли прямую связь с провинциями и народом». Две контрреформы Александра III — 1890 и 1892 годов — резко усилили власть губернаторов над земствами и городским самоуправлением. Как и его сын позднее, Александр видел в этом шаг к мечте о непосредственном управлении Россией с трона. На деле же результатом стала ещё большая путаница: губернаторы, органы центральных министерств и выборные учреждения на местах всё чаще действовали друг против друга.[16]

Эффективная власть имперского правительства фактически заканчивалась в восьмидесяти девяти губернских столицах, где сидели губернаторы. Ниже почти не существовало постоянной

государственной администрации. Ни в уездных городах, ни в волостях не было сколько-нибудь значительного штата государственных чиновников. Время от времени появлялись отдельные должностные лица с конкретной задачей — собрать налоги или разрешить местный конфликт, — после чего снова исчезали. Жизнь крестьянской России, где проживало 85 процентов населения, городским бюрократам была практически неизвестна. «Мы знали тульскую деревню, — признавался князь Львов, лидер тульского земства в 1890-е годы, — примерно так же, как Центральную Африку».[17]

Ключевой слабостью царской системы была именно недостаточность местного управления. Этот важнейший факт часто заслонён революционным мифом о всесильном старом режиме. Ничто не могло быть дальше от действительности. На тысячу жителей Российской империи на рубеже веков приходилось всего четыре государственных служащих; в Англии и Уэльсе — 7,3, в Германии — 12,6, во Франции — 17,6. Обычная полиция, если не считать политической, была по европейским меркам крайне малочисленна. Расходы России на полицию в расчёте на душу населения составляли менее половины французских или итальянских и менее четверти прусских.

На сельское население численностью сто миллионов человек в 1900 году приходилось всего 1852 полицейских урядника и 6874 стражника. В среднем один стражник отвечал за пятьдесят тысяч человек, живших в десятках селений на площади почти две тысячи квадратных миль. Многие не имели даже лошади с телегой. С 1903 года им в помощь назначили около сорока тысяч крестьянских полицейских, однако они славились ненадёжностью и почти не облегчали растущей нагрузки. Не имея собственных действенных органов в деревне, центральная бюрократия поручала местной полиции всё больше функций: не только поддержание порядка, но и сбор налогов, исполнение законов и военных распоряжений, санитарный надзор, проверку дорог и зданий, сбор статистики и общее наблюдение за «общественной нравственностью» — например за тем, чтобы крестьяне мыли бороды. Полиция превращалась в универсальный исполнительный орган и нередко была единственным представителем государства, с которым крестьянин вообще сталкивался.[18]

Во многом эта слабость местного управления объяснялась общей отсталостью России — узкой налоговой базой и плохими коммуникациями. Сказывалось и наследие крепостничества. До 1861 года крепостные находились под юрисдикцией помещиков, и, пока налоги платились, государство почти не вмешивалось в отношения между хозяином и крестьянами. Лишь после освобождения, и очень постепенно, царское правительство стало задумываться, как распространить влияние на новых «граждан» деревни и какую политику проводить для развития крестьянского хозяйства.

Поначалу, в 1860-е годы, сельские дела оставили в руках местного дворянства. Помещики господствовали в земских собраниях и составляли почти три четверти губернских земских управ. Дворянские собрания и избираемые ими предводители сохраняли широкие административные полномочия, особенно на уездном уровне, где практически были единственными людьми, на которых мог опереться режим. Новые мировые посредники получили широкие судебные права, во многом напоминавшие полномочия помещиков при крепостничестве, включая право подвергать крестьян телесному наказанию за мелкие проступки.

Опора царской власти на помещичье дворянство, её ближайшего союзника, казалась логичной. Но стратегия была опасной, и с годами опасность возрастала. Во время сельскохозяйственной депрессии конца XIX века земельное дворянство переживало тяжёлый экономический упадок и всё чаще обращалось к земствам для защиты местных аграрных интересов от централизующей и индустриализирующей бюрократии Петербурга. В годы перед 1905-м это сопротивление выражалось преимущественно либеральным языком и понималось как защита «провинциального общества» — нового выражения, сознательно включавшего теперь и интересы крестьянства. Либеральное земское движение в конце концов пришло к политическим требованиям большей автономии местного управления, общенационального парламента и конституции. Здесь и начиналась революция: не в социалистическом или рабочем движении, а — как во Франции 1780-х годов — в стремлениях старейшего союзника режима, провинциального дворянства.

Освобождение крепостных стало тяжёлым ударом не только по хозяйству, но и по всей провинциальной дворянской цивилизации. Лишившись крепостных, большая часть помещиков вошла в полосу необратимого упадка. Лишь немногие смогли приспособиться к новому коммерческому миру, где теперь приходилось выживать в роли фермеров, реже — промышленников или торговцев. Весь период с 1861 по 1917 год можно представить как медленную смерть старой аграрной элиты, на которую царская система традиционно опиралась.

От Гоголя до Чехова обедневший помещик был постоянной фигурой русской литературы XIX века, почти культурной навязчивой идеей. Особенно тонко и выразительно знакомые мотивы распада дворянства прозвучали в «Вишнёвом саде» Чехова 1903 года: красивое, но убыточное имение продают предпринимателю, который сделал себя сам и является сыном крепостного именно этого имения; он вырубает сад, чтобы строить дачи. Большинство помещиков, подобно Раневским, оказались неспособны превратить свои владения в жизнеспособные коммерческие хозяйства после того, как освобождение лишило их бесплатного труда крепостных и вытолкнуло в капиталистический мир. Они не смогли пойти путём прусских юнкеров.

Старая крепостная экономика вообще обычно не строилась ради прибыли. Престиж дворянина определялся числом «душ», которыми он владел, — отсюда сюжет «Мёртвых душ» Гоголя, где Чичиков ездит по России и скупает списки умерших крепостных, смерть которых ещё не была зарегистрирована, — и пышностью усадеб, а не доходностью хозяйства. Барская запашка обрабатывалась крепостными теми же орудиями и столь же примитивными методами, что их собственные наделы. Многие помещики тратили скромный доход имений на дорогие европейские предметы роскоши, вместо того чтобы вкладывать деньги в хозяйство. Мало кто понимал, что доход и прибыль — не одно и то же.

К середине XIX века многие помещики безнадёжно погрязли в долгах. К 1859 году треть дворянских имений и две трети принадлежавших помещикам крепостных были заложены государственным и дворянским банкам. Это обстоятельство больше всего помогло правительству провести освобождение вопреки серьёзному сопротивлению дворянства. Условия реформы, впрочем, нельзя назвать невыгодными для помещиков: за землю, которую они

передавали крестьянам — нередко худшую, — государство выплачивало им хорошие деньги.[5]

Но отныне помещики оставались сами по себе, без бесплатного крепостного труда, без крестьянских орудий и скота. Жить по-старому было невозможно: выживание зависело от рынка. Нужно было платить за рабочую силу и инвентарь и научиться различать прибыль и убыток. Между тем почти ничто в их воспитании не готовило их к капитализму. Большинство ничего не знало ни о сельском хозяйстве, ни о бухгалтерии и продолжало тратить с прежним размахом, обставляя усадьбы в стиле французского ампира и отправляя сыновей в самые дорогие школы.

Долги снова росли. Приходилось сначала сдавать или продавать один-два участка, затем всё больше земли. Между 1861 и 1900 годами крестьянам было продано свыше 40 процентов дворянской земли. Из-за роста населения и земельного голода её цена увеличилась в семь раз. Почти так же выросла арендная плата, и к 1900 году две трети помещичьей пашни уже сдавались крестьянам. Парадоксально, но падение сельскохозяйственных цен в 1880–1890-е годы, заставлявшее крестьян расширять посевы, одновременно делало для помещиков выгоднее сдавать или продавать землю, чем обрабатывать её самим. Однако даже спекулятивная выгода не спасала привычного образа жизни. К рубежу веков большинство помещиков уже не могло жить так, как привыкло. Неоклассические усадебные дома с итальянской живописью, библиотеками, бальными залами и регулярными садами медленно ветшали.[19]

Не все помещики покорно шли ко дну. Некоторые сумели превратить имения в коммерческие предприятия, и именно из этих кругов вышли либеральные земские деятели, которые в последние десятилетия XIX века бросили вызов самодержавию.

Князь Г. Е. Львов (1861–1925), будущий первый глава правительства демократической России в 1917 году, был типичным представителем такого слоя. Львовы принадлежали к древнейшим русским дворянским родам и выводили происхождение через тридцать одно поколение от

---

[5] По условиям реформы крепостные обязаны были выплачивать стоимость полученной земли через выкупную систему: государство сразу и полностью расплачивалось с помещиками, а крестьяне затем погашали этот долг казне. По существу, освобождаясь, крестьяне выкупали свободу, оплачивая долги своих бывших хозяев.

самого Рюрика, легендарного основателя русского государства IX века. Родовое имение Поповка находилось в Тульской губернии, менее чем в ста двадцати милях от Москвы — хотя по тогдашним русским дорогам это означало не менее двух суток в экипаже. Ясная Поляна Толстого была всего в нескольких милях, и великий писатель входил в число близких друзей семьи.

Усадебный дом в Поповке был довольно величественным для сравнительно небольшого по русским меркам имения всего в тысячу акров. Двухэтажный дом в ампирном стиле 1820-х годов насчитывал более двадцати комнат с высокими потолками, двойными дверями и окнами, выходившими на разбитый перед фасадом регулярный сад с розами и классическими статуями. За домом лежал парк с большой белокаменной часовней, искусственным озером, оранжереей, берёзовой аллеей и фруктовым садом. Домашний уклад был типичен для провинциального дворянства XIX века. У детей была английская гувернантка «мисс Дженни» — именно по-английски Львов научился читать раньше, чем по-русски. Его отец был либеральным реформатором, «человеком 1864 года», и тратил почти все средства на образование детей. Пятерых сыновей — но не единственную дочь — отправили в лучшие московские учебные заведения. По расточительным меркам русского дворянства роскошь была умеренной: обычная мебель Первой империи из красного дерева, одна-две фламандские картины XVIII века, несколько собак для осенней охоты, английская карета с породистыми лошадьми — слишком мало, чтобы впечатлить куда более богатых Толстых. И всё же к концу 1870-х годов Львовы успели накопить огромные долги — более 150 тысяч рублей. «После отмены крепостного права, — вспоминал Львов, — мы вскоре оказались в числе помещиков, у которых уже не было средств жить так, как привык их круг». Семье пришлось продать два других имения — одно в Черниговской губернии за 30 тысяч рублей, другое в Костромской примерно за такую же сумму, — пивоваренный завод в Брянске и московскую квартиру. Но и этого не хватило, чтобы расплатиться с долгами.

Пришлось выбирать: либо продать Поповку, либо превратить её в прибыльное хозяйство. Несмотря на полное отсутствие опыта и начало самой тяжёлой сельскохозяйственной депрессии за целое столетие,

Львовы без колебаний выбрали второе. «Мысль отказаться от дома предков была немыслима», — писал позднее Львов. За десятилетия запущенности хозяйство в Поповке пришло в такое состояние, что, когда семья вернулась туда и попыталась взяться за дело, крестьяне соседних деревень лишь качали головами и жалели новых хозяев. Они даже предложили помочь восстановить хозяйственные постройки и очистить поля, заросшие сорняками.

Четверо старших братьев взяли хозяйство на себя — отец был уже слишком стар и болен, чтобы работать, — а Георгий учился на юридическом факультете Московского университета и приезжал в Поповку на каникулы. Слуги были распущены, вся домашняя работа легла на сестру Георгия, а семья жила почти по-крестьянски — на ржаном хлебе и щах. Позднее Львов вспоминал эти годы как собственное освобождение — личную революцию против помещичьей культуры царского строя. «Это отделило нас от верхушки и сделало демократами. Мне стало неловко среди аристократов, зато с крестьянами я всегда чувствовал себя гораздо ближе».

Постепенно, собственным тяжёлым трудом в поле, Львовы восстановили хозяйство. Они учились у соседних крестьян и по сельскохозяйственным книгам, которые Георгий покупал в Москве. Выяснилось, что местная почва прекрасно подходит для клевера; заменив им рожь, семья даже стала получать заметную прибыль. К концу 1880-х Поповка была спасена, долги выплачены, а окончивший университет Георгий вернулся и превратил имение в коммерческое хозяйство. Он посадил фруктовый сад и построил возле усадьбы консервный завод, где производили яблочное пюре для московского рынка.[20] Что могло быть более наглядным опровержением чеховской картины вымирающего дворянства?

В начале 1890-х князь Львов стал одним из ведущих деятелей тульского земства. Идеалы и ограничения, которые он разделял с либеральными «земцами», позднее наложат явный отпечаток на правительство, возглавляемое им с марта по июль 1917 года. Львов был совсем не похож на человека, которого ожидаешь увидеть во главе революционного кабинета. В детстве он мечтал «стать лесничим и жить одному в лесу». Эта мистическая черта — своего рода толстовское природолюбие — никогда в нём не исчезла. Екатерина Кускова

говорила, что «в одном разговоре он мог с чувством рассуждать о мистике, а через минуту перейти к цене картошки».

По темпераменту он куда больше подходил для тесных кружков земских деятелей, чем для беспощадного мира современной партийной политики. Князь был застенчив, скромен, мягок и замкнут и не умел властвовать над людьми ничем, кроме нравственного авторитета. Для более честолюбивых политиков это не считалось достоинством: они называли его «пассивным», «серым», «холодным». Печальное благородное лицо Львова, почти никогда не выражавшее сильных чувств или возбуждения, ещё усиливало впечатление отстранённости. Столичная самоуверенная элита считала его провинциалом и недалёким человеком; лидер либералов Павел Милюков, например, называл его «шляпой». Этим во многом и объясняется слабая репутация Львова — и даже его почти полное исчезновение — в исторической литературе.

Но это значит и недооценивать, и неправильно понимать Львова. Его политический ум был практическим, сформированным годами земской работы по улучшению сельской жизни, а не теоретическим, как у Милюкова. Либерал В. А. Оболенский, хорошо знавший Львова, утверждал, что «ни разу не слышал от него замечания теоретического характера. “Идеологии” интеллигенции были ему совершенно чужды». Но практичность — то, что Оболенский называл «природной смёткой», — вовсе не делала его слабым политиком. Львов прекрасно разбирался в конкретных вопросах, обладал большим здравым смыслом и редким умением разбираться в людях — качествами, очень полезными в политике.[21]

Львов был не только маловероятным революционером — он был ещё и революционером поневоле. Его идеалы происходили из эпохи Великих реформ — символично, что он родился в 1861 году, — и в душе он навсегда остался либеральным монархистом. Он верил, что предназначение дворянского сословия — служить народу. Подобный патерналистский народнический взгляд был широко распространён среди земцев. Это были добросовестные, искренне преданные общественному делу люди — такие, какими наполнены страницы Толстого и Чехова, — мечтавшие принести цивилизацию в тёмную и отсталую деревню. Будучи либеральными сыновьями бывших владельцев крепостных, многие из них, вероятно, ощущали вину и

видели в земской деятельности способ расплатиться перед крестьянами за прошлое своих семей.

Некоторые шли на значительные личные жертвы. Львов, например, по три месяца в году ездил по деревням, проверяя школы и суды. Часть прибыли Поповки он тратил на строительство школы и улучшение водоснабжения окрестных селений. Под его руководством в 1890-е годы тульское земство стало одним из самых прогрессивных в стране. Оно открывало школы и библиотеки, больницы и психиатрические лечебницы, строило дороги и мосты, обеспечивало крестьян ветеринарной и агрономической помощью, поддерживало местные промыслы и производства, финансировало страхование и сельский кредит и, в лучших либеральных традициях, проводило широкие статистические обследования для подготовки новых реформ. Это был образцовый пример земской миссии: преодолеть отсталость и апатию провинциальной жизни и включить крестьян — уже как «граждан» — в жизнь «нации».

Оптимистические надежды земских либералов, разумеется, так и не осуществились. Задача была слишком огромна для ограниченных возможностей земств. Успехи имелись, прежде всего в начальном образовании: общие земские расходы выросли с 15 миллионов рублей в год в 1868 году до 96 миллионов к началу XX века. Но, учитывая широту земских обязанностей, это всё равно было немного; доля местных налогов по отношению к государственным оставалась около 15 процентов, тогда как в большинстве европейских стран превышала 50 процентов.[22]

Кроме того, существовала фундаментальная проблема, подрывавшая весь либеральный проект: как вовлечь крестьян в работу земств. После освобождения крестьян по-прежнему держали обособленными в сельских общинах, без равных с дворянством юридических прав и даже без права непосредственно выбирать делегатов в уездное земство. К земствам они относились как к дворянским учреждениям и земские налоги платили крайне неохотно.

Ещё более трудноразрешимой была растущая враждебность центральной власти к земствам при двух последних царях. Александр III видел в них опасный рассадник либерализма. Большинство чиновников разделяло его взгляд. Половцов, например, считал, что земства привели

в деревню «совершенно новый тип городских людей — писателей, ростовщиков, конторщиков и тому подобных, совершенно чуждых крестьянству».

Особенно тревожили правительство около 70 тысяч профессиональных земских служащих — учителей, врачей, статистиков и агрономов, — которых собирательно называли «третьим элементом». Первые два элемента — администраторы и выборные гласные — происходили главным образом из помещичьего дворянства. Профессионалы же часто были выходцами из крестьян и низших слоёв, что придавало их политике более демократический и радикальный характер. В 1880–1890-е годы, по мере роста их числа, они старались расширить социальную миссию земств и фактически превращали их из органов дворянства в учреждения, работавшие прежде всего для крестьянства.

После великого голода начала 1890-х годов появились широкие проекты аграрных реформ, улучшения здравоохранения и санитарии. Либеральные помещики вроде Львова поддерживали их. Но крупные и более консервативные землевладельцы яростно возражали против роста налогов, которого требовали такие программы: после более чем десятилетней аграрной депрессии многие сами находились в тяжёлом финансовом положении. Они начали кампанию против «третьего элемента» и нашли естественного и могущественного союзника в Министерстве внутренних дел, которое с самого начала царствования Александра III стремилось ограничить демократические тенденции местного самоуправления. Министры внутренних дел и полицейские начальники изображали «третий элемент» революционерами — «когортами санкюлотов», как выразился директор Департамента полиции, а позднее министр внутренних дел Плеве, — использующими земские должности для возбуждения крестьянства.

Под этим давлением в 1890 году был принят новый земский закон. Он усилил господство помещичьего дворянства, лишив евреев и крестьян-землевладельцев части избирательных прав на земских выборах. Одновременно земская деятельность была поставлена под строгий надзор нового губернского органа во главе с губернатором и подчинённого Министерству внутренних дел. Он получил широкое

право вето на назначения земских служащих, бюджеты, публикации и большинство повседневных решений.

Вооружённые такими полномочиями министерство и его представители на местах постоянно тормозили земскую работу. На бюджеты накладывали жёсткие ограничения под предлогом ненужности тех или иных расходов. Иногда это доходило до мелочной нелепости. Пермское земство, например, наказали ограничением бюджета за то, что оно заказало портрет доктора Литвинова, много лет руководившего губернской психиатрической лечебницей. Суздальское земство подверглось сходному наказанию за использование пятидесяти рублей из резервного фонда на строительство библиотеки.

Полиция также препятствовала работе земств. Статистиков и агрономов арестовывали как «революционеров» и не позволяли им ездить по деревням. Земские учреждения — в том числе больницы и психиатрические лечебницы — обыскивали в поисках «политически неблагонадёжных». Арестовывали даже местных дворянок, которые в свободное время учили крестьянских детей читать и писать.[23]

Контрреформы Александра III, одним из краеугольных камней которых стал закон 1890 года, по существу представляли собой попытку восстановить самодержавный принцип и в местном управлении. Губернатор, власть которого над земствами и городскими органами резко усилилась, должен был стать своего рода царём в миниатюре. Та же идея лежала в основе института земских начальников, введённого другой контрреформой 1889 года.

Земские начальники оставались главными агентами царской власти в деревне вплоть до 1917 года, хотя после революции 1905 года их полномочия заметно сократили. Около двух тысяч земских начальников, назначавшихся губернаторами и подчинённых Министерству внутренних дел, происходили главным образом из дворянства и получали широкий набор исполнительных и судебных полномочий над крестьянами, за что те прозвали их «маленькими царями». Они могли отменять решения сельских сходов, отстранять выборных крестьянских должностных лиц и решать судебные споры. До 1904 года им позволялось даже назначать публичную порку за мелкие проступки — чаще всего за самовольный выпас или проход по помещичьей земле либо за неуплату налогов.

Трудно переоценить психологическое воздействие публичной порки на крестьян — спустя десятилетия после отмены крепостного права. Крестьянский писатель Сергей Семёнов[6] (1868–1922), с которым мы ещё не раз встретимся, писал, что крестьяне воспринимали земских начальников как «возвращение крепостных времён, когда барин самовластно распоряжался деревней». Другой крестьянский сын, Семён Канатчиков, также передавал возмущение феодальным отношением начальников. Один крестьянин, арестованный за то, что не снял шапку и не поклонился земскому начальнику во время его речи перед сходом, сказал Канатчикову: «Что бедный мужик перед господином? Да хуже собаки. Собака хоть укусить может, а мужик смирный и терпит всё».

Обеспокоенные тем, какой ущерб земские начальники наносили образу власти в деревне, многие более либеральные бюрократы — и даже некоторые консерваторы — в первое десятилетие царствования Николая требовали их упразднения. Они указывали на низкий уровень самих земских начальников: часто это были отставные армейские офицеры или младшие сыновья местных помещиков, слишком неспособные, чтобы сделать карьеру в обычной бюрократии. Предупреждали и о том, что привычка хвататься за кнут может спровоцировать крестьянский бунт.

Но Николай не желал слышать ни слова против них. Он видел в земских начальниках «рыцарей-служителей» своей личной власти в деревне. Они должны были обеспечить прямую связь царя с крестьянством — связь, которую перекрывала «стена» бюрократии, — и помочь осуществить его мечту о народном самодержавии московского типа. С их помощью Николай надеялся восстановить традиционный общественный порядок во главе с помещичьим дворянством и тем самым противостоять демократическим тенденциям современного мира.[24]

Контрреформы Александра III стали важнейшим поворотом в предыстории революции. Они направили царский режим и русское общество по пути всё более острого конфликта и в известной мере предопределили исход событий 1905–1917 годов. Самодержавная реакция против земств — как и связанная с ней дворянская реакция

[6] Фамилия *Semenov* произносится по-русски как **Семёнов**, а имя *Semen* — как **Семён**.

против демократии — сознательно исключала массу населения из политики. Либеральная мечта «людей 1864 года» — превратить крестьян в граждан и расширить основание местного самоуправления — разрушалась по мере того, как двор и его союзники пытались восстановить старую патерналистскую систему во главе с царём, духовенством и его «рыцарями», где крестьяне, словно дети или дикари, считались слишком примитивными для самостоятельного участия в общественной жизни.

Полная гибель либеральной программы стала очевидна лишь после поражения реформ Столыпина в 1906–1911 годах, прежде всего проекта волостного земства, где преобладали бы крестьяне. Но возможные последствия были понятны задолго до этого. Как постоянно говорили пионеры земского дела, земства были единственным учреждением, способным создать политическую опору режиму в деревне. Если бы им позволили включить крестьян в местную политику, знаменитый герценовский разрыв между «двумя Россиями» — официальной и крестьянской — мог бы хотя бы сузиться, если не исчезнуть.

Этот разрыв определил весь ход революции. Не имея никакой доли в старой политической системе, крестьяне в 1917 году без колебаний смели всё государство, создав политический вакуум, которым воспользовались большевики. В этом смысле царизм сам подточил собственные основания — и одновременно создал главные условия для победы большевизма.

iii. Остатки феодальной армии

«Обещаю и клянусь перед Всемогущим Богом и Его Святым Евангелием служить Его Императорскому Величеству, Самодержцу Верховному, истинно и верно, повиноваться ему во всём и защищать его династию, не щадя тела своего до последней капли крови». Такую присягу приносил каждый солдат, поступая в императорскую армию. Показательно, что верность присягали лично царю и сохранению его династии, а не государству и даже не нации. При коронации каждого нового царя солдат обязан был повторить присягу. Русская армия принадлежала царю лично; офицеры и солдаты фактически находились в вассальной зависимости от него.[25]

Вотчинный принцип дольше всего сохранялся именно в армии. Ни одно учреждение российского государства не было так близко двору Романовых и так важно для него. На армии основывалась мощь империи, и потребности армии и флота всегда имели первостепенное значение при выработке царской политики. Все крупнейшие реформы российской истории были продиктованы военной необходимостью догнать соперников империи на западе и юге: преобразования Петра Великого выросли из войн со Швецией и Османской империей, реформы Александра II — из поражения в Крыму.

Двор был насквозь пропитан военным духом. С конца XVIII века цари привыкли играть со своими семьями в солдат. Императорский дом организовывался словно огромный штаб: царь — Верховный главнокомандующий, придворные разбиты по чинам, сыновья с раннего возраста зачислены в гвардию и подвергаются грубым унижениям, похожим на те, которые ждут их в офицерском собрании, — считалось, что именно так им прививают дисциплину и подчинение, необходимые для управления страной.

Николай сам обожал гвардию. Самыми дорогими воспоминаниями для него были беззаботные молодые годы в чине полковника Преображенского полка. Он питал слабость к военным парадам и не жалел денег на золотое шитьё для солдат. Даже вернул некоторые наиболее архаичные и театральные детали формы элитных гвардейских частей, которые Александр III ради экономии счёл нужным отменить. Николай постоянно вносил мелочные изменения в форму любимых полков — тут лишняя пуговица, там ещё одна кисточка, — словно по-прежнему играл оловянными солдатиками.

Все его дочери, как и сын, были зачислены в гвардейские полки. В именины и дни рождения они надевали форму и принимали делегации офицеров. Появлялись на парадах и смотрах, проводах войск, вручении знамён, полковых обедах, годовщинах сражений и других церемониях. Гвардейские офицеры Свиты Его Императорского Величества, всюду сопровождавшие семью, воспринимались почти как расширенная часть дома Романовых. Ни одна другая группа не была так близка царю и так лично ему предана.[26]

Многие историки изображали армию как непоколебимую опору царского режима. Так же думало большинство наблюдателей до

революции. Майор фон Теттау из германского Генерального штаба писал в 1903 году, что русский солдат «исполнен самоотверженности и верности долгу» в степени, «едва ли встречающейся в какой-либо другой армии мира»; всё делает «с охотой» и всегда «непритязателен, доволен и весел — даже после трудов и лишений».[27] На деле, однако, напряжение между армией — на всех уровнях — и режимом Романовых росло.

Для военного руководства корень проблемы заключался в печальных результатах армии на протяжении XIX века, и многие всё чаще винили в них правительственную политику. Поражение в Крымской войне 1853–1856 годов, затем тяжёлая кампания против Турции 1877–1878 годов и, наконец, унижение от Японии в 1904–1905 годах — впервые крупная европейская держава проиграла азиатской стране — деморализовали и армию, и флот. Отчасти военная слабость России имела экономические причины: её промышленность не соответствовала масштабам имперских военных обязательств в эпоху возрастающей конкуренции держав. Но была и политическая причина: во второй половине XIX века армия постепенно потеряла прежнее первое место в государственных расходах.

Крымское поражение дискредитировало вооружённые силы и показало необходимость перенаправить ресурсы с армии на модернизацию экономики. Военное министерство утратило привилегированное положение, которым пользовалось при Николае I, и оказалось в тени Министерства финансов и Министерства внутренних дел. Именно эти два ведомства отныне получали львиную долю государственных средств. Между 1881 и 1902 годами доля армии в бюджете сократилась с 30 до 18 процентов. За десять лет до Первой мировой войны на одного русского солдата тратили лишь 57 процентов суммы, приходившейся на германского, и 63 процента — на австрийского. Русский солдат шёл на войну хуже обученным, хуже вооружённым и хуже обеспеченным, чем противник.

Денег не хватало настолько, что армия во многом обеспечивала себя сама. Солдаты выращивали пищу и табак, чинили собственную форму и сапоги. Полки даже зарабатывали деньги, отпуская солдат на сезонные работы в помещичьи хозяйства, на фабрики и шахты возле гарнизонов. Многие проводили больше времени, выращивая овощи и ремонтируя

обувь, чем учась обращаться с оружием. Сократив военный бюджет, царский режим создал армию земледельцев и сапожников.

Деморализация усиливалась и потому, что армию всё чаще использовали для подавления гражданских протестов. Империя была покрыта сетью гарнизонов, чья задача состояла в том, чтобы почти немедленно предоставлять военную помощь губернаторам и полиции при беспорядках. С 1883 по 1903 год войска вызывали около полутора тысяч раз. Офицеры раздражённо жаловались, что полицейская служба унижает достоинство профессионального военного и отвлекает армию от её настоящего назначения. Они предупреждали и о разрушительном воздействии на дисциплину. История доказала их правоту.

Подавляющее большинство рядовых было крестьянами, и их настроение сильно зависело от вестей из родных деревень. Когда в 1905–1906 годах армию послали подавлять крестьянские выступления, многие части — особенно пехотные, почти целиком крестьянские — отказались повиноваться и подняли мятеж в поддержку революции. Между осенью 1905-го и летом 1906-го произошло более четырёхсот военных бунтов. Армия оказалась на грани распада, и потребовались годы, чтобы восстановить хотя бы видимость порядка.[28]

Многие мятежи были частью общего протеста против феодальных условий армейской жизни. Толстой, служивший офицером во время Крымской войны, описал их в последнем романе «Хаджи-Мурат». Крестьян-солдат особенно возмущало, что офицеры обращались к ним на «ты» — так обычно говорили с животными и детьми, — а не на вежливое «вы». Именно так помещики прежде обращались к крепостным. Поскольку большинство офицеров были дворянами, а большинство солдат — сыновьями бывших крепостных, это «ты» символизировало продолжение старого феодального мира внутри армии.

Первое, чему должен был научиться рекрут, — правильные титулы начальства: до полковника — «Ваше Благородие», генералам — «Ваше Превосходительство», титулованным офицерам — «Ваше Сиятельство» или «Ваше Светлейшество». Полковников и генералов следовало приветствовать не простым отданием чести: солдат должен был остановиться, повернуться боком и стоять по стойке смирно, пока офицер не пройдёт строго установленное число шагов. В ответах

требовались формулы покорности: «Никак нет, Ваше Благородие», «Рад стараться, Ваше Превосходительство». Отклонение могло повлечь наказание.

За сравнительно мелкие проступки солдата могли ударить кулаком в лицо, прикладом по губам, иногда и выпороть. Офицерам позволялся широкий набор унизительных ругательств — «мерзавец», «подлец» и тому подобное, — чтобы держать солдата «на месте». Даже вне службы рядовой был лишён прав обычного гражданина. Ему запрещалось курить в общественных местах, посещать рестораны и театры, ездить в трамваях, занимать место в вагонах первого и второго класса. В городских садах можно было увидеть таблички: «СОБАКАМ И НИЖНИМ ЧИНАМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН». Стремление солдат избавиться от этой «армейской крепостной зависимости» и обрести достоинство гражданина станет одной из важнейших тем революции.[29]

После 1905 года бунтовала не только крестьянская пехота. К выступлениям присоединились даже некоторые казачьи части, хотя с начала XIX века казаки считались образцом верности царю. У них имелись собственные причины для недовольства. Начиная с XVI века казаки развивались как особое военное сословие, а в XIX столетии окончательно перешли под контроль Военного министерства. За службу им предоставляли большие массивы плодородной земли — главным образом на южных границах, которые они должны были защищать, на Дону и Кубани, а также в восточных степях, — и значительную политическую свободу для самоуправляющихся казачьих войск.

Но в последние десятилетия XIX века обязанность самостоятельно приобретать седло, сбрую и строевого коня стала всё тяжелее. Многие казаки-земледельцы, и без того страдавшие от аграрной депрессии, вынуждены были продавать часть скота, чтобы снарядить сыновей на службу. Казачьи войска всё настойчивее требовали экономических и политических уступок в обмен на военную повинность. Возникло «казачье национальное сознание» — узкий и довольно неприятный местный патриотизм, основанный на представлении об этническом превосходстве казаков над русским крестьянством и на памяти о далёком, во многом мифическом времени, когда казаки будто бы свободно управляли собой через «древние» собрания старшин и выборных атаманов.[30]

Отношение правительства к армии вызывало растущее раздражение и среди военной элиты. Самая резкая оппозиция исходила от нового поколения так называемых военных профессионалов, появившихся в офицерском корпусе и самом Военном министерстве в последние десятилетия старого режима. Многие были выпускниками юнкерских училищ, расширенных и обновлённых после поражения в Крымской войне, чтобы открыть путь к высшим чинам и сыновьям недворян. Это были кадровые офицеры, посвятившие себя модернизации вооружённых сил, и они резко критиковали архаические доктрины элитных академий и Генерального штаба.

По их мнению, двор заботился прежде всего о назначении верных царю аристократов на высшие командные должности и о расходах на кавалерию, которая в современной войне становилась всё более декоративной. Они же требовали сосредоточиться на новых технологиях — тяжёлой артиллерии, пулемётах, автотранспорте, фортификации траншей и авиации, — которым предстояло решить исход будущих войн. Напряжение, создаваемое модернизацией в самодержавной политике, проявлялось в армии столь же отчётливо, как и в других учреждениях старого режима.

Алексей Брусилов (1853–1926) воплощал новый профессиональный тип. Возможно, это был самый талантливый военачальник, которого дала империя в последние десятилетия своего существования; и всё же после 1917 года он сделал больше многих для военной победы большевиков. За это белая эмиграция позднее проклянёт его как «изменника России». Но вся его необыкновенная карьера — долгая служба генералом императорской армии, командование армией Керенского в 1917 году, а затем годы в качестве высокопоставленного советника Красной армии — была посвящена военной защите страны. Горькая судьба Брусилова, к которой мы будем возвращаться, во многом символизировала трагедию его класса.

Ни происхождение, ни молодость Брусилова не предвещали революционного пути. Даже внешне — красивое, слегка лисье лицо, аккуратные усы — он выглядел типичным царским генералом XIX века. Один знакомый описывал его как «человека среднего роста, с мягкими чертами и естественно непринуждёнными манерами, но с таким достоинством начальника, что, глядя на него, ощущаешь обязанность

одновременно любить его и бояться». Брусилов происходил из старого русского дворянского рода с давней военной традицией. Один из его предков в XVIII веке отличился в борьбе за Украину против поляков — подвиг, который сам Брусилов словно повторит в 1920 году, — и за это семья получила крупные владения плодородной украинской земли.

В девятнадцать лет Брусилов окончил Пажеский корпус, самое привилегированное из военных учебных заведений, готовившее офицеров для императорской гвардии. Он поступил в Тверской драгунский полк на Кавказе и отличился в русско-турецкой войне 1877–1878 годов, получив несколько наград. Затем вернулся в Петербург и поступил в Офицерскую кавалерийскую школу, где стал одним из лучших специалистов России по кавалерии. Неудивительно, что с таким прошлым он разделял основные взгляды и предрассудки своей среды. Он был монархистом, великорусским националистом, строгим дисциплинаристом в отношении солдат и патриархальным главой семьи. Прежде всего он был глубоко, почти мистически верующим православным. По словам жены, именно вера давала ему легендарное спокойствие и уверенность даже тогда, когда его войскам угрожала катастрофа.[31]

Но Брусилов мыслил шире и умнее среднего гвардейского офицера. Хотя по подготовке был кавалеристом, он одним из первых понял, что в современной войне, где господствуют артиллерия, железные дороги, телефоны и автомобили, военное значение лошади неизбежно падает. «Кавалерии у нас было слишком много, — писал он позднее, — особенно когда окопная война сменила манёвренную».[32]

Он считал, что всё должно быть подчинено одной цели — подготовить императорскую армию к современной войне. Значит, пришлось бы пожертвовать архаическим господством кавалерии, а при необходимости даже династическими интересами двора ради защиты русского Отечества. По инстинкту Брусилов оставался монархистом, но армию ставил выше политики, и его верность царю слабела по мере того, как он видел, что двор подрывает и разрушает вооружённые силы.

Окончательный разрыв с монархией произойдёт в 1917 году, когда Брусилов примет революцию. Но корни обращения уходили в 1900-е. Подобно многим новым профессионалам, он всё яснее видел в господстве двора над армией главное препятствие для реформ и

модернизации перед европейской войной, которая с каждым годом казалась всё вероятнее на западных границах России.

Решающим поворотом стала неспособность Генерального штаба извлечь уроки из катастрофического поражения в русско-японской войне 1904–1905 годов. Как и многие офицеры, Брусилов был возмущён тем, что небольшая придворная группа втянула армию в кампанию за шесть тысяч миль от европейской России практически без подготовки. Война на Дальнем Востоке привела к ослаблению обороны на западе. Когда в 1909 году Брусилов принял командование четырнадцатым армейским корпусом в важнейшем Варшавском пограничном районе, он обнаружил «полный хаос и дезорганизацию во всех наших силах»:

> В случае мобилизации призванным не хватило бы ни одежды, ни сапог, а грузовики развалились бы, едва выйдя на дороги. Пулемёты у нас были, но всего по восемь на полк и без повозок, так что на войне их пришлось бы ставить на крестьянские телеги. Гаубичных батарей не было, и мы знали, что испытываем острую нехватку боеприпасов — и для полевой артиллерии, и для винтовок. Позднее я узнал, что такое же положение существовало повсюду, не только в XIV корпусе. В тот момент вести войну было бы совершенно невозможно, даже если бы Германия решила захватить Польшу или прибалтийские губернии.[33]

Очень немногие русские солдаты вообще обучались окопной войне. Старшие генералы по-прежнему верили, что в будущей кампании решающую роль сыграет кавалерия, как в XVIII веке. Попытки Брусилова проводить учебные артиллерийские бои они считали пустой тратой снарядов. Подготовка для них состояла главным образом из бесконечных парадов и смотров: они красиво выглядели и создавали впечатление дисциплины и точности, но для современной войны не имели почти никакой ценности.

Брусилов связывал эту архаику с господством двора и аристократии в Генеральном штабе. Там, казалось, искренне считали, что целыми пехотными дивизиями могут командовать тупицы и бездари — достаточно, чтобы они прошли элитную военную школу для дворян. Подобные представления отталкивали кадровых офицеров — выпускников юнкерских училищ, многие из которых, в отличие от избалованных отпрысков Генерального штаба, продвигались по службе только благодаря способностям. Не случайно позднее немало из них, как и Брусилов, перейдут к красным.

Недовольство профессиональных военных постепенно втягивало их в политику. Появившаяся после 1905 года Дума дала им трибуну для борьбы против придворного руководства армией. Более прогрессивные офицеры и чиновники, например помощник военного министра А. А. Поливанов, вступали в союз с либеральными думскими политиками вроде Александра Гучкова. Тот требовал увеличить расходы на армию и особенно флот, но связывал это с реформами: часть контроля над военной сферой следовало передать от двора Думе и правительству.

Медленно, но верно царь терял авторитет среди самых талантливых представителей военной элиты. Николай попытался восстановить влияние, назначив в 1908 году военным министром элегантного и безусловно преданного придворного В. А. Сухомлинова. Во время кризиса вокруг Морского генерального штаба в следующем году он демонстративно заставил Думу и правительство признать своё исключительное право распоряжаться высшим военным командованием. Но, вероятно, было уже поздно возвращать доверие таких профессионалов, как Брусилов. Они всё больше смотрели на Думу и её более широкую программу реформ как на средство вернуть армии силу. им силу любимой армии. Здесь лежали корни той военной коалиции, которая позднее поможет свергнуть царя.

iv. Не такая уж Святая Русь

> Дай Бог здоровья православному царю, великому князю Михаилу Фёдоровичу. Да владеет он Московским царством и всей Святорусской землёй.

Согласно народной песне, именно этой молитвой в 1619 году, через шесть лет после восшествия Михаила Романова на престол, благословил его отец — митрополит Филарет. Миф о «Святорусской земле» стал одной из основ московского царства в том виде, какой Романовы придавали ему с начала XVII века. Основание династии, как это изображала юбилейная пропаганда 1913 года, символизировало пробуждение нового русского национального сознания, построенного на защите православия. По легенде, после гражданской войны и польской интервенции Смутного времени 1598–1613 годов Михаила Романова избрал весь русский народ. «Святорусская земля» тем самым

вновь объединилась вокруг династии Романовых, а Михаил спас православную Россию от католиков. С этого момента представление о «Святой Руси», о крепости, призванной охранять православие, стало главным мифом, оправдывавшим власть династии.

Нельзя сказать, что образ Святой Руси был полностью изобретён сверху. Народные песни и казачьи былины говорили о Святорусской земле по крайней мере с XVII века. Для славян, живших на открытом евразийском пространстве, неоднократно подвергавшемся монгольским и татарским нашествиям, христианство естественным образом стало символом самоидентификации. Быть русским значило быть христианином и принадлежать к православной вере. Показательно уже то, что выражение «Святая Русь» относилось именно к древнему слову *Русь*, от которого произошло и слово *русский*; сказать «Святая Россия» было невозможно в том же смысле, потому что более позднее слово *Россия* связывалось прежде всего с имперским государством.[7] Ещё красноречивее этимология слова *крестьянин*: в большинстве европейских языков аналогичное слово происходило от понятия земли или деревни, тогда как по-русски оно было связано со словом *христианин*.

Но если народный миф о Святой Руси освящал народ и его обычаи, официальный вариант освящал государство в лице царя. Москва становилась «Третьим Римом», наследницей Византии и последней столицей православия; Россия — «святой землёй», избранной Богом для спасения человечества. Эта мессианская миссия отводила царям особую религиозную роль: проповедовать истинное слово и бороться с ересью по всему миру.

Образ царя был не просто образом монарха — смертного человека, правящего по божественному праву, как в западной средневековой традиции. Его представляли почти Богом на земле, божественно поставленным правителем и святым человеком. В России существовала давняя традиция канонизации князей, отдавших жизнь *pro patria et fide* — за Отечество и веру, как показал Майкл Чернявский в своём исследовании русских исторических мифов. Цари применяли церковное право к политическим противникам в такой степени, какой не знали

[7] Различие между *Русь* и *Россия* было в известной степени похоже на различие между «Англией» и «Британией».

западные монархии. Вся Россия превращалась в своего рода гигантский монастырь под властью царя-архимандрита, где всякая ересь должна была быть искоренена.[34]

Лишь постепенно, начиная с XVIII века, религиозное основание царской власти стало дополняться и вытесняться светским. Пётр Великий пытался перестроить отношения Церкви и государства по образцу западного абсолютизма. Чтобы подчинить Церковь государству, управление ею передали от патриарха Святейшему синоду — органу, состоявшему из назначаемых царём духовных и светских лиц. К XIX веку светский представитель царя при Синоде — обер-прокурор — фактически стал министром по церковным делам, контролировавшим назначение епископов, религиозное образование и большую часть церковных финансов, хотя не вмешивавшимся непосредственно в богословскую догматику.

Святейший синод в основном оставался послушным инструментом царя. Церкви было выгодно не раскачивать лодку: во второй половине XVIII века она лишилась значительной части земель в пользу государства и теперь зависела от казённого финансирования, необходимого для содержания примерно ста тысяч приходских священнослужителей и их семей.[8] Но было бы неверно изображать Церковь просто покорным органом государства. Царская система зависела от Церкви не меньше, чем Церковь — от государства: это была взаимная зависимость. В огромной крестьянской стране, где большинство населения было неграмотно, Церковь оставалась незаменимым средством пропаганды и социального контроля.[35]

От священников требовали с амвона осуждать всякое инакомыслие и сопротивление царю и сообщать полиции о подозрительных людях в приходе — даже если сведения были получены на исповеди. На них возлагали множество мелких административных обязанностей: помогать полиции следить за бродягами, зачитывать императорские манифесты и указы, предоставлять властям статистику рождений, смертей и браков по метрическим книгам и так далее.

[8] В отличие от католических священников, русскому православному приходскому духовенству разрешалось вступать в брак. Безбрачным оставалось монашествующее духовенство.

Через примерно 41 тысячу церковно-приходских школ православное духовенство должно было учить крестьянских детей верности, почтению и повиновению не только царю и его чиновникам, но вообще старшим и «вышестоящим». Вот фрагмент начального катехизиса, подготовленного Святейшим синодом:

> **Вопрос.** Как мы должны выражать почтение царю?
>
> **Ответ.** 1. Мы должны быть совершенно преданы царю и быть готовыми отдать за него жизнь. 2. Мы должны без возражений исполнять его повеления и повиноваться поставленным им властям. 3. Мы должны молиться о его здравии и спасении, а также о здравии и спасении всего Царствующего дома.
>
> **Вопрос.** Что следует думать о тех, кто нарушает свой долг перед государем?
>
> **Ответ.** Они виновны не только перед государем, но и перед Богом. Слово Божие говорит: «Противящийся власти противится Божию установлению» (Рим. 13:2).[36]

Взамен Церковь получила первенствующее положение в нравственном порядке старого режима. Только ей разрешалось вести миссионерскую деятельность в империи. Политика русификации помогала укреплять православие: например, в Польше и Прибалтике при Александре III около сорока тысяч католиков и лютеран, пусть зачастую лишь формально, были переведены в православие.

Церковь использовала широкий набор правовых мер против религиозных диссидентов, особенно старообрядцев.[9] До 1905 года переход из православия в другую веру считался преступлением; запрещалось и публично нападать на православную Церковь. Все книги по религии и философии проходили церковную цензуру.

Существовал и целый круг нравственных и социальных вопросов, где влияние Церкви оставалось решающим, а порой превосходило

[9] Старообрядцы отвергли литургические реформы патриарха Никона 1660-х годов и власть, которая проводила их силой. Спасаясь от преследований, многие поселились в удалённых районах Сибири. На рубеже XX века число старообрядцев оценивали примерно в восемнадцать миллионов. Среди других крупных сект, по духу ближе к евангелическому протестантизму, были штундисты (баптисты), духоборы и молокане; вместе они насчитывали около миллиона последователей. У многих этих движений существовала сильная традиция протеста, что одновременно объясняло их преследование государством и усиливалось им.

влияние светской власти. Дела о супружеской неверности, кровосмешении, скотоложстве и богохульстве рассматривались церковными судами. Наказания были исключительно религиозными — порой почти средневековыми: епитимья, заключение в монастырь и т. п., поскольку государство оставляло эти вопросы Церкви и не создавало собственной системы санкций.

Церковь господствовала и в вопросах развода. Практически единственным основанием служила супружеская измена, а сам развод проходил через церковный суд и был тяжёлой, часто унизительной процедурой. Попытки либерализовать законодательство о разводе и перенести эти дела в светские суды в конце XIX века успешно блокировала Церковь, становившаяся всё более догматичной в вопросах частной сексуальной морали. Защищая старый патриархальный порядок, она естественно сблизилась с двумя последними царями в их борьбе против современного либерального мира. Иными словами, позднеимперская Россия в очень значительной степени всё ещё оставалась православным государством.[37]

Но оставалась ли она святой? Именно этот вопрос тревожил церковных руководителей. Из этой тревоги выросли призывы более либерального православного духовенства изменить отношения Церкви и государства в последние десятилетия империи. После 1917 года многие потрясённые верующие — Брусилов был характерным примером — будут утверждать, что революция произошла из-за падения влияния Церкви. Такой взгляд, конечно, чрезмерно упрощал действительность. Но несомненно, что социальная революция была тесно связана с секуляризацией общества и во многом стала возможна благодаря ей.

Главной причиной была урбанизация. Города росли гораздо быстрее, чем строились храмы, и миллионы рабочих, вырванных из деревни с её церковью, оказывались в среде, где религия почти отсутствовала. В промышленном Орехово-Зуеве возле Москвы на рубеже веков на сорок тысяч жителей приходилась одна церковь. В Юзовке, шахтёрской столице Донбасса, нынешнем Донецке, на двадцать тысяч человек — всего две.

Но дело было не только в количестве храмов. Церковь не сумела найти городскую миссию и ответить на новые проблемы

индустриальной жизни так, как, например, методизм сделал это во время промышленной революции в Британии. Православное духовенство оказалось неспособно создать массовую религиозность, отвечавшую миру фабрик и рабочих казарм. Тех, кто пытался это сделать, как радикального петербургского священника Георгия Гапона, возглавившего рабочее шествие к Зимнему дворцу в январе 1905 года, вскоре отвергали консервативные церковные руководители, не желавшие иметь ничего общего с религиозно окрашенными призывами к социальной реформе.[38]

Сам опыт урбанизации подталкивал к секуляризации. Молодые крестьяне, переезжавшие в города, оставляли позади устную культуру деревни, где доминировали священник и старики, и попадали в городскую среду, где господствовало печатное слово и Церкви приходилось конкурировать с новыми социалистическими идеологиями.

Одним из таких крестьян был Семён Канатчиков, прошедший «школу фабрики» и ставший большевиком. В мемуарах он вспоминал, как постепенно терял веру в 1890-е годы, перебравшись из родной деревни в Москву и поступив на машиностроительный завод, где часто вели агитацию социалисты. Поначалу он немного боялся этих «студентов», потому что «они не верили в Бога и могли поколебать и мою веру, а это грозило вечными адскими муками на том свете». Но одновременно он восхищался ими: «они были такие свободные, независимые, обо всём осведомлённые и не боялись никого и ничего на земле».

По мере того как деревенский парень становился увереннее и стремился подражать их индивидуализму, их влияние росло. Рассказы о продажных священниках и разоблачённых «чудесах» начали разрушать «нравственные основы, среди которых я жил и вырос». Один молодой рабочий «доказал» ему, что Бог не создавал человека: достаточно, мол, наполнить ящик землёй и держать его в тепле — вскоре в нём сами собой появятся черви и насекомые. Подобная вульгаризированная до-дарвиновская «наука», широко распространявшаяся в левых брошюрах, производила огромное впечатление на молодых рабочих.

«Теперь моё освобождение от старых предрассудков пошло ускоренным темпом, — писал Канатчиков. — Я перестал ходить к

священнику на исповедь, перестал посещать церковь, начал есть “запрещённую” пищу во время поста. Правда, привычку креститься я сохранял ещё долго, особенно когда возвращался на каникулы в деревню».[39]

А что происходило в самой деревне — в той самой основе «Святой Руси», которую считали крепостью Церкви? Религиозность русского крестьянина, наряду с «глубиной русской души», стала одним из самых живучих мифов российской истории. На деле отношение крестьянина к православию всегда было довольно свободным. На древнюю языческую народную культуру был нанесён лишь тонкий слой христианства.

Внешне русский крестьянин, конечно, демонстрировал сильную набожность. Он постоянно крестился, вставлял имя Господа едва ли не в каждую фразу, регулярно ходил в церковь, соблюдал Великий пост, не работал в религиозные праздники и временами отправлялся паломником к святым местам. Славянофильские мыслители — от Достоевского до Солженицына — могли видеть в этом доказательство глубокой привязанности народа к православной вере. И действительно, большинство крестьян считало себя православными. Если бы на рубеже веков спросить жителей русской деревни, кто они, вероятный ответ звучал бы так: «Мы православные и здешние».

Но их религия сильно отличалась от книжного христианства духовенства. Православные верования переплетались с языческими культами, суевериями, магией и колдовством. Это была собственная, народная религия крестьянства, приспособленная к нуждам опасной и непредсказуемой земледельческой жизни.

Неграмотный крестьянин знал о Евангелии очень мало. Часто он не знал наизусть ни «Отче наш», ни Десять заповедей. Но смутно представлял себе рай и ад и, конечно, надеялся, что пожизненное соблюдение церковных обрядов каким-то образом спасёт душу. Бога он мыслил скорее реальным человеком, чем абстрактным духом. Горький описывал одного крестьянина, встреченного в деревне под Казанью, который

> представлял Бога большим красивым стариком, добрым и умным хозяином Вселенной, который не может победить зло только потому, что «не может быть везде одновременно — уж слишком много народу народилось. Но Он справится, вот увидишь. А Христа я совсем не

понимаю! Для меня от него никакого проку. Есть Бог — и довольно. А тут ещё один! Сын, говорят. Ну и что, что сын Божий? Бог ведь не умер, насколько я знаю».

Центром крестьянской веры была икона. По иконам в церкви крестьянин узнавал библейские истории и верил в их чудесную силу. Красный угол в избе, где находилась семейная икона, был, подобно печи, священным местом. Считалось, что там живут души умерших предков и оттуда дом защищается от нечистой силы. Входя в избу или выходя из неё, крестьянин должен был снять шапку, поклониться и перекреститься перед образом.

И всё же, как язвительно замечал Белинский в письме Гоголю, крестьянин находил святому предмету и другое применение: «Он говорит об иконе: “Она хороша — и Богу молиться, и горшки прикрывать”».[40]

К церковному культу святых крестьянин относился столь же практично, добавляя к нему собственных языческих богов и духов, связанных с хозяйственным миром. Были святой Власий — покровитель скота, Флор и Лавр — покровители лошадей, Илья — святой грома и дождя, мученица Параскева — покровительница льна и пряжи, а также бесчисленное множество домашних, речных, лесных, горных, озёрных и морских духов и божеств. К ним обращались повитухи, знахари, колдуны, костоправы, кровопускатели, ведьмы и чародеи с заговорами и молитвами.

Суеверность крестьян вошла в поговорку. Они верили, что жизнь постоянно подвергается нападениям демонов и злых духов, способных испортить урожай и скот, сделать женщину бесплодной, принести несчастье и болезнь, вернуть души умерших для преследования живых. Снять заклятие мог священник или другой человек, обладавший особым даром, с помощью икон, свечей, трав и примитивной алхимии. Это был необычайно сложный религиозный мир, который, несмотря на серьёзные исследования последних десятилетий, едва ли когда-нибудь удастся понять полностью.[41]

Положение приходского священника, жившего на постоянно меняющейся границе между официальной религией Церкви и крестьянским язычеством, было непрочным. Судя по многочисленным

свидетельствам, крестьяне не слишком уважали своих священников.[10] По словам одного современника, они смотрели на местного батюшку «не столько как на духовного наставника и советника, сколько как на торговца, ведущего оптовую и розничную торговлю таинствами».

На скудное государственное жалованье и доходы с маленького церковного надела священник прожить не мог, поэтому сильно зависел от платы крестьян за требы: два рубля за венчание, курица за благословение урожая, несколько бутылок водки за похороны и так далее. Нищета крестьян и пресловутая жадность духовенства превращали торг в долгую и ожесточённую сцену. Невесты могли часами стоять в церкви, а покойники — днями оставаться непогребёнными, пока крестьяне и священник спорили о цене. Такое бесстыдное, хотя зачастую и вынужденное, торгование неизбежно подрывало престиж Церкви.

Слабое образование многих священников, склонность части духовенства к пьянству и коррупции, известные связи с полицией и общая покорность местному дворянству ещё сильнее снижали уважение. «Повсюду, — писал один приходской священник XIX века, — от самых блестящих гостиных до закопчённых крестьянских изб, духовенство осыпают самой злобной насмешкой, словами глубочайшего презрения и бесконечного отвращения».[42]

С такой исходной позиции Церкви было трудно защищать деревенскую паству от проникавшей из города светской культуры. К концу XIX века всё больше православных священнослужителей это понимало. Их тревожило падение посещаемости храмов, с которым они связывали рост «хулиганства», нападений на помещичью собственность и других сельских бед.

Из заботы о христианском наставлении крестьянства и родились всё более настойчивые требования радикальной церковной реформы. Сначала их выдвигало поколение либеральных священников, вышедших из семинарий в середине века. Они были образованнее и добросовестнее предшественников и вдохновлялись Великими реформами 1860-х. Они говорили о необходимости оживить

[10] Если сравнить это с почтением, которое крестьяне католической Европы проявляли к священникам, становится понятнее, почему крестьянская Россия пережила революцию, тогда как, например, крестьянская Испания — контрреволюцию.

приходскую жизнь и воспитать в крестьянине «сознательное» христианство.

Для этого приходскую церковь следовало приблизить к повседневной жизни прихожан: дать им больше влияния на дела местного храма, открыть больше школ, позволить священнику заниматься религиозной и пастырской работой вместо бесконечных мелких бюрократических обязанностей. К рубежу веков стало ясно, что оживить Церковь невозможно, пока она не освобождена от служебной зависимости от государства. Поэтому требования либерального духовенства переросли в широкое движение за полную перестройку отношений Церкви и царской власти.

Кульминация пришлась на 1905 год, когда самые разные слои духовенства потребовали созвать Церковный собор, который заменил бы Святейший синод. Многие выступали за децентрализацию церковной власти — от Петербурга и монашеской иерархии к епархиям, а затем и к приходам. Неверно было бы считать это движение частью демократической революции 1905 года, но параллели между требованиями церковной реформы и политическими требованиями либералов очевидны. Как земцы, либеральное духовенство хотело большего самоуправления, чтобы лучше служить местному обществу.[43]

Для консерваторов в церковной иерархии это заходило слишком далеко. Они поддерживали общую идею большей самостоятельности Церкви, но не соглашались ослаблять власть назначаемых епископов и монашества. Тем более они отвергали аргумент председателя Совета министров графа Витте, который, предлагая в 1905 году закон о веротерпимости, утверждал: отмена дискриминации соперничающих конфессий не повредит православию, если сама Церковь проведёт реформы, способные оживить религиозную жизнь.

Высшие иерархи, возможно, некоторое время и заигрывали с головокружительными идеями церковного самоуправления, которые обсуждали их либеральные собратья. Но требование Витте сделать религиозную терпимость ценой такой автономии — отчасти ради поддержки влиятельных коммерческих кругов старообрядцев и евреев — почти неизбежно вернуло их в лагерь реакции.

После 1905 года иерархия сблизилась с двором и крайними правыми организациями вроде Союза русского народа, выступая против

дальнейшей либерализации Церкви и расширения веротерпимости. Старый союз «самодержавия, православия и народности» был возрождён против угрозы либерального нравственного порядка. Этот конфликт идеологий стал одним из определяющих для российской истории 1905–1917 годов.

После поражения либерального духовенства Церковь осталась глубоко расколотой и ослабленной. Центральная идеологическая опора царского режима начала окончательно крошиться. Возвышение Распутина внутри церковной жизни стало символом последнего падения её авторитета. «Святейший синод никогда не опускался так низко! — говорил бывший министр французскому послу в феврале 1916 года. — Если бы они намеренно хотели уничтожить всякое уважение к религии и всякую веру, они не могли бы действовать иначе. Что скоро останется от Православной церкви? Когда царизм, оказавшись в опасности, попытается опереться на неё, он обнаружит, что опираться уже не на что».[44]

v. Тюрьма народов

Крах царской системы, как позднее и советской, был тесно связан с ростом национальных движений на нерусских окраинах империи. Ни в царской, ни в советской России эти движения не были непосредственной причиной распада. Скорее они развивались как реакция на ослабление центра: сначала требовали умеренной автономии, а затем, когда бессилие России становилось очевидным, переходили к полной независимости.

Но и в том, и в другом случае рост национальных стремлений в десятилетия постепенного упадка заметно ослаблял старый режим. С постсоветской точки зрения это может казаться самоочевидным. Национализм сегодня настолько могуществен, что легко принять его за вечное и естественное свойство человека. Но, как предупреждал Эрнест Геллнер, «обладание нацией не является врождённым свойством человечества».

Массовое национальное сознание в большинстве стран Восточной Европы возникло лишь в последние десятилетия XIX века. Оно зависело от целого ряда явлений, связанных с формированием современного

гражданского общества: перехода от аграрного общества к городскому и индустриальному, превращения местной народной культуры в общенациональную через школы, массовую грамотность и коммуникации, роста мобильности населения. Люди всё лучше осознавали собственные этнические отличия и неравенство по отношению к другим группам, а образованные сыновья и внуки крестьян начинали входить в руководство зарождавшихся наций. Неспособность царской системы справиться с национализмом была ещё одним проявлением её общей неспособности отвечать на вызовы современности.[45]

Национальные движения были настолько новыми, что, несмотря на польские восстания XIX века, режим оказался в значительной мере застигнут врасплох, когда в революции 1905 года они выступили как самостоятельная политическая сила. Ни одно из двух главных направлений русской политической мысли не имело удовлетворительного ответа на проблему национализма.

И консерваторы, и либералы оказались в ловушке исторического факта: Россия стала империей прежде, чем стала современной нацией. Для патриотов это означало почти неизбежное отождествление с имперскими притязаниями государства. Для правых сторонников самодержавия нерусские земли были просто владениями царя. Российская империя считалась неделимой так же, как божественной считалась власть государя. Даже Брусилов, который в 1917 году поддержит республику, не сможет отказаться от идеи Российской империи — и именно это позднее подтолкнёт его к красным, чей режим сумеет сохранить значительную часть имперского пространства.

Поскольку правые считали православие основой русской нации, украинцы и белорусы в их глазах не были отдельными народами, а лишь «малороссами» и «белорусами», разновидностями русских. Но отсюда же следовал и противоположный вывод: поляки, мусульмане и евреи будто бы не могли полностью слиться с русской нацией и получить равные с русскими права; им надлежало оставаться внутри империи в состоянии постоянного неравноправия.

Поэтому сторонники самодержавия концептуально не могли признать национальные требования нерусских народов: такое признание подрывало этническую основу собственной правящей

идеологии. Но и либералы оказались не намного успешнее. Они подчиняли национальный вопрос общей борьбе за гражданские и религиозные свободы, полагая, что после их достижения проблема национализма как-нибудь исчезнет сама собой.

Некоторые либералы готовы были говорить о федеративной России, где нерусские народы получили бы ограниченное самоуправление и культурные права. Но почти никто не был готов признать законность стремления к собственному независимому государству. Даже князь Львов не понимал украинского требования национального суверенитета: для него украинцы были малороссийскими крестьянами с несколько иными обычаями и диалектом, чем у великороссов северной России.

Только социалистические партии в России принимали идеи национальной автономии и независимости, хотя и они обычно подчиняли национальный вопрос более широкой демократической борьбе внутри России. Поэтому неудивительно, что национально-освободительные движения стали важнейшей частью революционного движения в целом. Именно это позволяло правым преследовать их: в глазах реакционеров уже сам факт того, что человек поляк или, тем более, еврей, делал его почти автоматически революционером.

Важно подчеркнуть социалистический характер многих национальных движений. Читатель конца XX века, видевший распад коммунизма и подъём национализма в Восточной Европе, мог бы предположить, что национализм изначально противостоял социализму. В Российской империи наиболее успешные национальные движения почти всегда имели социалистическую форму. Польское движение возглавляла Польская социалистическая партия Юзефа Пилсудского; социалисты стали национальной партией финнов; социалисты руководили движениями в Прибалтике; ведущей украинской национальной силой были украинские эсеры; грузинское национальное движение возглавляли меньшевики; армянское — социалисты-дашнаки.

Отчасти это объяснялось тем, что этнический конфликт обычно совпадал с социальным: эстонские и латышские крестьяне против немецких помещиков и торговцев; украинские крестьяне против польских или русских помещиков и чиновников; азербайджанские рабочие или грузинские крестьяне против армянской буржуазии;

казахские и киргизские кочевники против русских земледельцев и т. д. Партии, обращавшиеся только к национальным чувствам, лишали себя массовой поддержки. Те же, кто соединял национальную борьбу с социальной, получали почти неудержимую демократическую силу.

В этом смысле, несмотря на вполне понятную дурную репутацию национализма в XX веке, стоит напомнить: для подчинённых народов царской — а позднее и советской — империи национализм был средством освобождения от угнетения и чужого господства. Ленин фактически признавал это, когда, перефразируя маркиза де Кюстина, называл императорскую Россию «тюрьмой народов».[46]

* * *

Большинство национальных движений в царской империи начиналось с литературно-культурного национализма в середине XIX века. Романтические писатели, студенты и художники, уставшие от городской жизни, отправлялись в деревню за вдохновением. Они идеализировали простой сельский быт своих крестьянских соотечественников и вводили народные мотивы в искусство, стремясь создать «национальный стиль».

Присвоение и переосмысление местной культуры — песен и фольклора, обычаев и диалектов, крестьянских ремёсел и одежды — было куда большим, чем мода на пастораль. Это было частью широкого проекта нового, осознавшего себя городского среднего класса: создания набора этнических символов как основы собственного национального характера и идентичности. Так возникало их «воображаемое сообщество».

Городская интеллигенция не столько наблюдала крестьянскую жизнь, сколько заново изобретала и мифологизировала её по собственному образу. Народная культура деревни, в которой они хотели видеть древний источник нации, часто была не менее продуктом их творческого воображения. Всё чаще именно представители городского среднего класса, а не крестьяне, надевали народные костюмы в церковь и обставляли дома мебелью и посудой в «крестьянском стиле».

Они же толпами шли в этнографические и народные музеи, открывавшиеся на рубеже веков по всей Восточной Европе.[11] Но если бы вместо музея они поехали в настоящую деревню и посмотрели на народную культуру в её «естественной среде», то обнаружили бы, что она быстро исчезает. Старые ремёсла гибли под конкуренцией дешёвого фабричного производства. Крестьяне всё чаще носили ту же промышленную одежду, что и городские рабочие, покупали те же консервы, фабричную мебель, посуду и бельё. Старые ручные изделия всё больше могли позволить себе только городские средние классы.[47]

Особенно ясно буржуазный характер такого национализма проявился в Финляндии. Великое княжество Финляндское обладало большим самоуправлением и автономией, чем любая другая часть Российской империи. Захватив Финляндию у Швеции в 1808–1809 годах, Россия сохранила права и привилегии, которые финнам предоставляло более либеральное шведское государство.

Эти культурные свободы позволили возникнуть небольшой, но национально сознательной финской интеллигенции. Она вдохновлялась публикацией народного эпоса «Калевала» и с 1860-х годов всё больше объединялась вокруг кампании за равноправие финского языка с исторически господствовавшим шведским.[48]

В прибалтийских губерниях возникло сходное культурное движение, сосредоточенное на правах местных языков в школах и университетах, печати и официальной жизни. Оно было направлено не столько против русских, сколько против немцев в Эстонии и Латвии и поляков в Литве — групп, господствовавших здесь до российского завоевания XVIII века.

Местные языки сохранялись главным образом в отдалённых сельских районах, потому что местная элита давно усвоила язык господствующего класса. По существу это были группы близких, но различавшихся по местности крестьянских диалектов — чем-то похожих на гэльские говоры Ирландии и Шотландии. В XIX веке лингвисты и этнографы собирали, сравнивали и стандартизировали их,

[11] Первый этнографический музей был открыт в Варшаве в 1888 году; затем последовали Сараево в 1888-м, Хельсинки в 1893-м, Прага и Львов в 1895-м, Белград в 1901-м, Петербург в 1902-м и Краков в 1905-м.

создавая письменные языки с установленной грамматикой и орфографией.

Ирония состояла в том, что, даже если бы крестьянин умел читать на таком «национальном языке», он нередко понимал бы его с трудом: литературная норма обычно основывалась либо на одном из крупных диалектов, либо представляла собой искусственную конструкцию — своего рода крестьянское эсперанто, собранное из разных говоров. И всё же создание литературного языка, а затем национальной литературы и истории на нём …в своей прозе способствовало началу процесса нациестроительства и в последующие десятилетия позволило приобщать крестьянство к складывавшейся национальной культуре. В Эстонии важнейшими вехами этого культурного возрождения стали публикация в 1857 году эпической поэмы Крейцвальда «Калевипоэг» и основание в том же году эстоноязычной газеты *Postimees*, рассчитанной на крестьянского читателя. В Латвии с 1878 года также выходила газета на родном языке — *Balss* («Голос»), которая, как и Латышское общество, выступала за объединение населения двух губерний — Лифляндской и Курляндской, составлявших тогда территорию Латвии, — в единую латышскую нацию. Наконец, в Литве, столь долго находившейся под польским влиянием, во второй половине XIX века тоже сложился национальный письменный язык (назло полякам его создатели положили в основу чешский алфавит) и стала появляться литература на родном языке.[49]

Как и в Прибалтике, в Польше после разделов нация существовала пока скорее как идея, чем как государственное пространство. Польша жила в воображении и в памяти о старом Польском королевстве, которое в конце XVIII века потерпело поражение и было подчинено великим державам Восточной Европы. Её дух находил выражение в поэзии Адама Мицкевича, в патриотических гимнах католической церкви и — по крайней мере, так утверждали польские патриоты, хотя композитор был наполовину французом, — в музыке Шопена. Этот культурный национализм служил полякам утешением и заменой политической деятельности. В общественной жизни участвовали очень немногие, а открыто выступавших против России было ещё меньше. Цензура и постоянная опасность ареста заставляли образованную часть общества уходить в мир поэзии: как и в России, литература в Польше становилась

метафорой политики. Польское восстание 1830 года и даже великое восстание 1863-го были делом сравнительно узкого националистического меньшинства — главным образом студентов, офицеров, священников и наиболее либеральных помещиков-дворян. Ни одно из них не получило широкой поддержки крестьянства, которое ещё почти не осознавало себя поляками и, во всяком случае, гораздо больше заботилось о получении земли и освобождении от власти помещиков, чем о борьбе за дело, во главе которого стояли дворяне и интеллигенты.[50]

Нигде этот первый, преимущественно культурный этап становления нации не проявлялся столь отчётливо, как на Украине, — вероятно, отчасти потому, что из всех подвластных империи народов украинцы в культурном отношении были ближе всего к русским. Русские называли Украину «Малороссией», а само слово «Украина» запрещалось печатать. Киев, украинская столица, был местом, откуда в X веке пошло христианство на Руси. Культурные различия между Россией и Украиной — прежде всего в языке, земельных отношениях и обычаях — в действительности сложились главным образом в XIII–XVII веках, когда западная Украина находилась под польско-литовским господством.

Поэтому украинским националистам предстояла непростая задача: доказать, что этих различий достаточно для существования самостоятельной национальной культуры.

Вдохновение они черпали в украинском национальном движении соседней Галиции. В составе Австро-Венгерской империи Галиция пользовалась сравнительно широкими правами самоуправления. Благодаря этому украинцы — или «русины», как называли их австрийцы, употребляя искусственную латинизированную форму слова «русские», — могли вводить украинский язык в начальной школе и общественной жизни, издавать газеты и книги на родном языке, изучать историю и народную культуру Украины. Для национального движения в царской Украине Галиция стала своего рода «украинским Пьемонтом» — питомником национального сознания и островом свободы для националистически настроенной интеллигенции. Её столица Львов — Лемберг у немцев и Львов у русских — был оживлённым центром украинской культуры. И композитор Лысенко, и историк Грушевский, хотя являлись подданными царя, в духовном смысле обрели свою нацию

именно в Галиции. Интеллигенты-националисты, создававшие украинский литературный язык в середине XIX века, охотно заимствовали слова из галицкого диалекта, считая его наиболее развитым. Позднее, стремясь с помощью газет и книг обратиться к крестьянству, они были вынуждены положить в основу литературного языка полтавскую народную речь — диалект центральной Украины, наиболее понятный большинству населения. Основополагающие тексты этого литературного национального возрождения были изданы Кирилло-Мефодиевским братством до его разгрома царскими властями в 1847 году. Наибольшее значение имела романтическая поэзия Тараса Шевченко, сыгравшая в формировании национального сознания украинской интеллигенции ту же роль, что поэзия Мицкевича в Польше. Несмотря на законодательные запреты, издания на украинском языке продолжали появляться. Многие из них выпускал Киевский отдел Русского географического общества, участники которого всё сильнее склонялись к национализму и посвятили себя изучению украинской народной культуры, языка и истории.[51]

В неевропейских областях империи этот культурный этап национальных движений развивался значительно медленнее. Армянская интеллигенция приветствовала распространение царской власти на восточную часть Армении после поражения Персии в войне с Россией в 1827 году. Теперь армяне получили христианского государя, который мог защитить их от турок и, как они надеялись, освободить большую часть армянского народа, остававшуюся под властью Османской империи. Защита армянской культуры по-прежнему сосредоточивалась вокруг Григорианской церкви и её школ; по крайней мере до русификаторской кампании 1880-х годов это объединяло армян с русскими как единоверцев-христиан в противостоянии туркам. В соседней Грузии, напротив, главным фактором формирования национальной идентичности был язык, а не религия. Грузинская церковь, в отличие от армянской, была включена в состав Русской православной церкви; грузинский же общественный строй, исторически сложившийся как особая разновидность феодализма, в течение полувека после присоединения Грузии в 1801 году был, пусть и неполно, приспособлен к российской сословной системе. Грузинские дворяне, разорённые освобождением крепостных в 1860-х годах, составляли

преобладающую часть интеллигенции. Их национализм был проникнут ностальгией: романтическая поэзия Чавчавадзе и Бараташвили оплакивала утраченное величие средневековых грузинских царств. Наконец, в Азербайджане, завоёванном Россией в начале XIX века, формирование национального самосознания осложнялось господством ислама, тяготевшего к наднациональным формам общности и сдерживавшего развитие светской культуры и письменного языка для широких масс. Парадоксальным образом поначалу именно русские поощряли развитие светской азербайджанской культуры: поддерживали пьесы Ахундова, «татарского Мольера», и заказывали исследования азербайджанской народной культуры и языка, надеясь таким образом ослабить влияние мусульманских держав к югу от границ империи.[52]

Именно здесь, более чем где-либо ещё, зарождавшаяся национальная интеллигенция сталкивалась с тем, что общая отсталость общества мешала ей воздействовать на крестьянские массы. В той или иной мере эта проблема существовала по всей Российской империи. Отрезанное от внешнего мира в глухих поселениях, без школ и надёжных средств сообщения, подавляющее большинство крестьян почти не имело представления о собственной национальности. Их культура была местной, устной, основанной на традиции. Она замыкалась в тесном кругу: деревня и её поля, приходская церковь, помещичья усадьба и местный рынок. Всё, что лежало дальше, было уже чужой страной. В Эстонии, например, крестьяне называли себя просто *maarahvas* — «людьми земли», а слово *saks* (от «сакс», то есть немец) понимали как обозначение помещика или господина. Только к концу XIX века, когда влияние таллинской интеллигенции стало проникать в деревню, эти слова приобрели новый этнический смысл. Почти то же происходило в Польше. «Я не знал, что я поляк, пока не начал читать книги и газеты», — вспоминал в 1920-х годах один крестьянин. Жители его края неподалёку от Варшавы на Висле называли себя не поляками, а мазурами.[53]

В Белоруссии и на севере Украины этническое и религиозное смешение было столь сильным — на территории размером с английское графство Кембриджшир могли соседствовать белорусские, украинские, русские, польские, еврейские и литовские поселения, — что в массовом сознании с трудом укоренялась какая-либо этническая идентичность

шире местной. Один британский дипломат — несомненно, сам человек имперских взглядов и потому несколько пренебрежительно относившийся к притязаниям малых крестьянских народов вроде украинского, — пришёл к выводу, что даже в 1918 году положение оставалось примерно таким:

> Если спросить среднего украинского крестьянина, к какой он принадлежит национальности, он ответит, что он православный. Если настойчиво выяснять, великоросс он, поляк или украинец, он, вероятно, скажет, что он крестьянин; если же потребовать назвать язык, на котором он говорит, то ответит, что говорит «по-местному». Возможно, его удастся заставить употребить какое-нибудь собственно национальное название и сказать, что он «русский», но такое заявление ещё вовсе не решит вопрос о его отношении к украинству: он просто не мыслит о национальности в тех понятиях, которые привычны интеллигенции. Если же попытаться выяснить, к какому государству он желает принадлежать — хочет ли он, чтобы им управляло общероссийское или отдельное украинское правительство, — окажется, что, по его мнению, всякое правительство одинаково докучливо и лучше всего было бы оставить «христианский крестьянский народ» в покое.

Подобные местные формы идентичности были ещё сильнее выражены в мусульманских областях Кавказа — среди чеченцев, дагестанцев и азербайджанцев, — а также на значительной части Средней Азии, где, несмотря на наложенные сверху институты царской администрации, сохраняли господство племенные владения и связи.[54]

Таким образом, приобщение крестьянства к новой национальной культуре, сосредоточенной прежде всего в городах, и формирование у него привычки мыслить национальными категориями зависели от того, насколько замкнутый деревенский мир открывался внешнему обществу. Во второй половине XIX века это было общеевропейским явлением, блестяще описанным Эйгеном Вебером в книге *Peasants into Frenchmen* («Из крестьян во французы»). Процесс зависел от распространения государственного образования в деревне; от развития сельских учреждений — клубов и обществ, рынков и кооперативов, крестьянских союзов и массовых партий, связанных общенациональной сетью; от проникновения в отдалённые районы дорог и железных дорог, почты и телеграфа, газет и журналов.

Так, в Польше рост национального самосознания среди крестьянских масс последовал за распространением сельского образования и таких учреждений, как кооперативы, а также за усилившимся переселением крестьян в города. В Грузии подъём массового национализма был связан с теми же процессами. Грузинские крестьяне всё теснее включались в рыночную экономику, продавая армянским торговцам зерно, фрукты, вино и табак; одновременно в Тифлисе, прежде преимущественно армянском городе, складывался грузинский рабочий класс из бедных крестьян и переселенцев. Подобно Тифлису, в Баку господство армянских купцов и промышленников становилось центром, вокруг которого формировались национальное и классовое самосознание азербайджанских крестьян-переселенцев, хлынувших в нефтепромышленные предместья города в последние десятилетия XIX века. В татарских районах Поволжья истоки пантюркистского национализма следует искать в джадидизме — движении за светское образование местных масс в противовес традиционной школе мусульманской духовной элиты. К 1900 году поволжские джадиды контролировали более тысячи начальных школ. Тем временем в Казанской учительской школе и Казанском университете складывалась собственная, всё более оппозиционная татарская интеллигенция, хотя сама Казань оставалась преимущественно русским городом.[55]

На западной Украине, в Галиции, рост национального самосознания крестьян шёл рука об руку с возникновением сети сельских учреждений, связанных с национальным движением: читальнь, кредитных союзов, кооперативных лавок, хоров, страховых обществ, добровольных пожарных дружин и гимнастических объединений. Главным каналом проникновения националистов в деревню стала украиноязычная газета *Батьківщина* («Отечество»): уделяя пристальное внимание местным делам, она приобрела массового крестьянского читателя и одновременно ненавязчиво пропагандировала национальную идею. Читатели *Батьківщины*, как и участники читален и других низовых учреждений национального движения, принадлежали главным образом к новому, «сознательному» типу крестьян — молодым и грамотным, бережливым, трезвым и, прежде всего, стремившимся к самообразованию людям, вышедшим из приходских школ на рубеже

веков. Вместе с местными священниками, дьячками и учителями они образовали деревенский костяк национального движения и постепенно вытесняли из местного самоуправления старост и их приспешников, главным образом евреев, которых прежде обычно назначали польские помещики. В этом смысле национальное движение было глубоко демократическим: оно принесло политику в деревню.[56]

Самой примечательной особенностью украинского национального движения — и в Австро-Венгрии, и в Российской империи — было то, что оно оставалось преимущественно крестьянским. Большинство национальных движений сосредоточено в городах. На выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года — первых демократических выборах в истории страны — 71 процент украинских крестьян проголосовал за национальные партии. Разумеется, позднее, когда в 1917–1921 годах началась открытая борьба за власть, эта особенность стала фундаментальной слабостью движения: история почти любой страны показывает, что крестьянство слишком слабо политически, чтобы без поддержки городов удерживать революционный режим. Но на более раннем этапе, когда главной задачей национального движения было создание широкой общественной опоры, его особый крестьянский характер был источником силы. Девяносто процентов украинцев жили в сельской местности. В городах Украины преобладали русские, евреи и поляки; даже немногие жившие там украинцы — в основном специалисты и чиновники — легко русифицировались. Поэтому быть украинцем на деле означало быть крестьянином, то есть находиться вдвойне невыгодном положении. Символично, что первоначальное украинское слово «гражданин» (*громадянин*), которое в других европейских языках обычно восходит к слову «город», происходило от названия сельского схода — *громады*. Украинское национальное движение развивалось как крестьянское движение против влияния «чужих» городов. Националистические агитаторы связывали все беды, которые крестьяне ассоциировали с городом, — государственное угнетение, богатство и привилегии дворянства, алчность и мошенничество ростовщиков и торговцев — с жившими там русскими, поляками и евреями. Чистый и простой уклад украинской деревни противопоставлялся разложению этого чуждого городского мира; а по мере того как влияние последнего усиливалось — капитализм,

фабричные товары и городская мода проникали в украинскую деревню, — националисты всё убедительнее представляли это как угрозу «национальному образу жизни». Традиционные ремёсла, утверждали они, будут всё больше вытесняться фабричными изделиями. «Честного» украинского лавочника сменит «обманывающий» еврейский торговец. Кооперативное движение, ставшее организационным хребтом украинского национализма в деревне, развивалось с провозглашённой целью защитить простого крестьянина от эксплуатации еврейских торговцев и ростовщиков.[57]

Однако было бы несправедливо утверждать, что влияние националистов на крестьянство основывалось исключительно на ксенофобии и ненависти к городу. На Украине, где три четверти помещиков были русскими или поляками, борьба крестьян за землю тесно переплеталась с национальным движением. Не случайно крестьянская земельная революция впервые вспыхнула в 1902 году именно в районах Полтавской губернии, где украинское национальное движение было наиболее развито. Национальное движение усиливало и политизировало конфликт между крестьянином и помещиком. Оно связывало борьбу отдельной деревни с общенациональным освободительным движением украинского народа против чужеземного класса помещиков и чиновников. Каким образом националисты добивались этой связи? Рассмотрим два характерных примера их агитации. Первый касался конфликта крестьян с помещиками из-за лесов и пастбищ. При освобождении крестьян на Украине помещики объявили леса и пастбища своей частной собственностью, лишив крестьян традиционного права пользоваться этими угодьями — рубить лес и пасти скот, — которым они обладали при крепостном праве. Помогая крестьянам в их долгой и ожесточённой борьбе за восстановление этих прав, националисты вовлекали их в более широкое политическое движение. Показательно, что значительная часть романтической национальной народной культуры того времени превращала леса и пастбища в изначальный символ родной земли: едва ли что-нибудь могло сильнее задеть чувства крестьянства. Второй пример касался причин деревенской бедности. Националистические агитаторы объясняли её крестьянам в более широком контексте полуколониальной эксплуатации Украины. Они говорили, что более

половины её сельскохозяйственного излишка вывозится в Россию или за границу, а украинский крестьянин беден из-за высоких налогов на русские товары — керосин, водку, спички, — вынуждающих его продавать большую часть собственной продукции, чтобы приобрести самые необходимые вещи. В независимой Украине, утверждали они, крестьянин жил бы лучше.

Знакомясь с такими доводами, украинские крестьяне всё чаще воспринимали собственную экономическую борьбу в широком национальном контексте — и благодаря этому обретали большую сплочённость и силу. Один современный исследователь обнаружил, например, что крестьяне координировали голосование в масштабах целого уезда, чтобы обеспечить поражение более влиятельных польско-еврейских или русских кандидатов на выборах в местное самоуправление.[58]

Борьба националистов за языковые права также была для крестьян освободительным движением. Пока крестьянин не понимал языка администрации и суда, у него не было прямого доступа к политическим и гражданским правам. Пока он не мог научиться читать на родном языке, у него почти не оставалось надежды улучшить своё общественное положение. А если он не понимал собственного священника, у него появлялись основания тревожиться даже за спасение души. Но публичное употребление родного языка было не только практической необходимостью. Для украинского крестьянина оно становилось вопросом личной гордости и достоинства, и именно поэтому националисты получали столь глубокую эмоциональную поддержку. Как позднее признавал сам Троцкий, оглядываясь на события 1917 года: «Это политическое пробуждение крестьянства не могло совершаться иначе… как через его собственный родной язык — со всеми вытекающими отсюда последствиями в отношении школы, суда, самоуправления. Противиться этому значило бы пытаться снова вытолкнуть крестьянство в небытие».[59]

* * *

Подъём национальных движений вовсе не обязательно означал конец Российской империи. До царствования последнего императора даже наиболее развитые из них ещё не превратились в массовые

политические движения. В основном их цели оставались культурными и сами по себе не исключали сохранения имперской власти. Не существовало никакого исторического закона, по которому культурный национализм непременно должен был перерасти в полноценное движение за национальную независимость от России. Напротив, многие национальные лидеры ясно понимали, что интересы их народов лучше всего могут быть обеспечены сохранением союза с Россией — пусть при более слабых связях и значительно большей автономии. Но царская идеология не допускала такой автономии: её правящая формула «Самодержавие, православие, народность» предполагала культурное подчинение нерусских народов России. Более всего именно политика русификации, которую последние два царя проводили всё настойчивее, политизировала национальные движения и превращала их во врагов России. К 1905 году почти на всех нерусских окраинах национальные партии стали крупной революционной силой. Не сумев найти приемлемую форму сосуществования с национализмом, царский режим создал ещё одно орудие собственного разрушения. То же произошло и с неуклюжей политикой властей в отношении либерального движения до 1905 года: подавляя умеренную оппозицию, режим сам помог превратить её в революционную. Сэр Джон Мейнард, англичанин, писавший в сумерках Британской империи и потому хорошо понимавший опасность колониального национализма, доходил до утверждения, что половина причин Русской революции заключалась в политике последних двух царей по отношению к нерусским подданным.[60]

В самой политике русификации не было ничего нового. Усвоение нерусских народов русской культурной и политической системой всегда было одной из главных целей царской имперской философии: предполагалось превратить их в «истинных христиан, верных подданных и добрых русских», хотя разные монархи делали неодинаковый акцент на трёх составляющих этой программы. В царской системе существовала этническая иерархия, параллельная социальной: различные национальности располагались в ней в соответствии с предполагаемой верностью царю и обладали неодинаковыми правами и привилегиями. На вершине находились русские и прибалтийские немцы, совместно занимавшие господствующие позиции при дворе, в

гражданской администрации и армии. Ниже стояли поляки, украинцы, грузины, армяне и другие народы. Пять миллионов имперских евреев, находившихся в самом низу этой этнической лестницы, подвергались целой системе законодательных ограничений и дискриминации, которая к концу XIX века насчитывала около 1400 различных законов и постановлений, не считая тысяч менее значительных правил, предписаний и судебных толкований. Только евреям из всех этнических групп было запрещено владеть землёй, поступать на государственную службу и становиться офицерами; для их поступления в средние и высшие учебные заведения существовали жёсткие процентные нормы; за немногими исключениями закон принуждал евреев жить в пятнадцати губерниях западной Украины, Белоруссии, Литвы и Польши, образовывавших черту оседлости. Это была царская разновидность индуистской кастовой системы, где роль неприкасаемых отводилась евреям.[61]

Однако по мере того как во второй половине XIX века у режима усиливался страх перед национализмом, политика русификации становилась всё более жёсткой. Одной из причин тревоги было то, что из-за территориальной экспансии в Азии, особенно в районах с высокой рождаемостью и перенаселением, русские постепенно утрачивали демографическое господство. Перепись 1897 года показала, что русские составляли лишь 44 процента населения империи и, что выглядело ещё тревожнее, относились к числу медленнее всего растущих этнических групп.[62] Славянофильские националисты, во многом определявшие русификаторские кампании последних двух царей, утверждали: в век растущего национализма и имперского соперничества Российская империя в конце концов распадётся, если не предпринять решительных мер для сохранения культурного господства русских. Иначе говоря, русский национализм, по их мнению, следовало мобилизовать как политическую силу и укрепить в самом центре царской системы — как противовес центробежным стремлениям нерусских народов.

Наряду с преследованием религии самым заметным и гнетущим проявлением русификации после 1881 года был запрет употребления родных языков нерусских народов в школе, литературе, на уличных вывесках, в судах и государственных учреждениях. Языковая политика отличалась особой неуклюжестью. Одним из её последствий стало то,

что растущей интеллигенции, получавшей образование на родном языке, перекрывался путь к продвижению через систему образования и бюрократию; в результате она всё чаще уходила в национальную и революционную оппозицию. Попытка вытеснить родной язык была для нерусских народов не только оскорбительной и унизительной, но порой попросту нелепой. Польские студенты Варшавского университета, например, терпели абсурдное унижение, изучая собственную литературу в русском переводе. Учащихся гимназий могли исключить за разговоры по-польски в общежитии — в чём однажды убедился будущий большевистский руководитель и основатель ВЧК Феликс Дзержинский. Даже Антон Деникин, будущий вождь белых, который в середине 1880-х годов учился как русский в одной из варшавских гимназий и обязан был следить за разговорами польских одноклассников, считал такую политику «непомерно суровой» и неизменно записывал в донесениях: «Ничего не замечено». Но если запрещать гимназистам говорить по-польски было просто жестоко — русский язык они всё-таки знали, — то требование того же от железнодорожных носильщиков, большинство которых никогда не учило русского, хотя как «служащие» они обязаны были пользоваться им, уже граничило с жестоким сюрреализмом. И это был не единственный пример бюрократического безумия. В 1907 году медицинская комиссия Киевской губернии отказалась разрешить печатать предупреждения об эпидемии холеры на украинском языке; в результате многие крестьяне, не умевшие читать по-русски, умерли, выпив заражённую воду.[63]

Из всех нерусских народов именно евреи больше всего пострадали от великорусской шовинистической реакции последних десятилетий царизма. После убийства Александра II в 1881 году их широко, хотя и ошибочно, обвиняли в причастности к покушению. В том же году по всей Украине прокатились сотни погромов. Вопреки старому и прочно укоренившемуся мифу, ни один из этих погромов — а впоследствии их было ещё немало, например в Кишинёве в 1903 году и по всей империи в 1905–1906 годах, — не был организован правительством. Правда, власти медленно восстанавливали порядок, а погромщиков редко привлекали к суду. Но дело было не в заговоре, а в неэффективности администрации и её общей враждебности к евреям. В 1880-е годы, когда

Германская и Австро-Венгерская империи уже начинали демонтировать правовые ограничения против евреев, царский режим продолжал усложнять собственную громоздкую систему институционального антисемитизма. Последние два царя открыто придерживались антисемитских взглядов — оба связывали евреев с угрозами городской современности, капитализма и социализма, — и в официальных кругах стало модно повторять их расовые предрассудки. Особенно Николай II всё чаще склонялся видеть в антиеврейских погромах своего царствования проявление патриотизма и верности со стороны «доброго и простого русского народа». Во время дела Бейлиса 1911–1913 годов, когда еврея провели через киевский суд по сфабрикованному обвинению в ритуальном убийстве, Николай явно рассчитывал использовать широко распространённый в населении антисемитизм, раздувавшийся крайними националистическими организациями вроде любимого им Союза русского народа, как знамя для сплочения масс против противников расшатывающегося режима (см. с. 241–246).[64]

Неудивительно поэтому, что евреи играли столь заметную и значительную роль в революционном движении.[12] Даже Витте, выступая после кишинёвского погрома 1903 года, вынужден был признать: если евреи «составляют около 50 процентов членов революционных партий», то это «вина нашего правительства. Евреев слишком притесняют». Еврейский Бунд стал первой массовой марксистской партией России. Созданный в 1897 году, к 1905-му он насчитывал 35 тысяч членов. Бунд объявлял евреев «нацией» и требовал для них полной национальной автономии с идишем в качестве официального языка в составе Российской федерации. Русские марксисты — в том числе сами евреи Юлий Мартов и Лев Троцкий — отвергали эти требования, ставя классовые интересы выше национальных и вообще резко враждебно относясь к еврейскому

[12] Разумеется, никогда не следует забывать: хотя среди революционеров было много евреев, лишь сравнительно небольшая часть евреев была революционерами. Антисемитский миф утверждал, будто все евреи были большевиками. В действительности, насколько позволяют судить выборы в Учредительное собрание 1917 года, большинство еврейского населения поддерживало сионистские и демократически-социалистические партии. Как однажды заметил главный раввин Москвы, не без свойственного еврейскому юмору: «Троцкие делают революции, а Бронштейны оплачивают счета». (Melamed, «St Paul and Leon Trotsky», p. 8.)

национализму бундовцев; Георгий Плеханов насмешливо называл их сионистами, которые боятся морской болезни. В результате два марксистских движения пошли разными путями. Существовало и крупное сионистское движение, которому царский режим после начала 1880-х годов позволял развиваться, поскольку оно призывало евреев эмигрировать в ответ на погромы. Но в 1903 году и оно было запрещено — на том основании, что внутри России служит проводником еврейского национализма.[65]

На рубеже веков растущая дискриминация толкала к национализму не только евреев. По всей империи русификация загоняла нерусские народы в новые антицарские партии. Почти всё население Финляндии сплотилось вокруг младофиннов, социал-демократов и Партии активного сопротивления после того, как с 1899 года, вопреки правам финляндского самоуправления, началось навязывание русского правления и воинской повинности. В Прибалтийских губерниях коренное население обратилось к социал-демократам, защищавшим его национальные права от царского государства. В Польше поддержку получила Польская социалистическая партия, утверждавшая, что польский вопрос может быть решён лишь соединением социальной и национальной революций. На Украине первое место в национальной и социальной борьбе заняла основанная в 1902 году Революционная украинская партия, сыгравшая заметную роль в крестьянских выступлениях того же года, хотя вскоре её затмили Украинская национальная партия и украинские социал-демократы. В Грузии социал-демократы возглавили национальную революцию 1904–1906 годов, одновременно антирусскую и социалистическую. Даже армяне, прежде самые лояльные из нерусских подданных империи, после 1903 года стали сплачиваться вокруг дашнаков в знак протеста против русификации местных школ. Короче говоря, накануне революции 1905 года вся Российская империя была созрела для распада. Её народы стремились вырваться из-под власти центра.

ГЛАВА 3

ИКОНЫ И ТАРАКАНЫ

i. Особый мир

Однажды ранним мартовским утром 1888 года Михаил Ромас покинул Казань и проплыл тридцать миль вниз по Волге до села Красновидово. Там он надеялся изменить жизнь крестьян, открыв кооперативную лавку. Ромас был народником, членом подпольной группы «Народное право», недавно вернувшимся после двенадцати лет тюрьмы и ссылки за попытки организовать крестьян. Сибирь не заставила его изменить убеждения. В Красновидове он собирался освободить жителей от зависимости местных торговцев: продавать им дешёвые фабричные товары и создать садоводческий кооператив, который напрямую поставлял бы фрукты и овощи в Казань.

С собой он взял Алексея Пешкова — будущего писателя Максима Горького (1868–1936), которому тогда было двадцать лет, но которого уже называли «стариком»; Толстой однажды сказал, что тот словно «родился взрослым». За первые восемь лет жизни Горький успел увидеть больше человеческого страдания, чем литературный граф за все свои восемь десятилетий. Дом деда в Нижнем Новгороде, где он воспитывался после смерти отца, был, как позднее описал Горький в *Детстве*, микрокосмом провинциальной России — миром нищеты, жестокости и холеры, где мужчины беспробудно пили, а женщины находили утешение в Боге. Уже в девять лет Горького отдали «в люди»: он собирал тряпьё, кости и гвозди, иногда воровал дрова на волжском берегу. Затем умерла мать, и дед отправил мальчика самостоятельно добывать себе пропитание. Подобно бесчисленным беспризорным сиротам, Горький скитался по быстро растущим промышленным городам Поволжья — босой оборванец с улицы. Он успел поработать посудомойщиком на пароходе, грузчиком, сторожем, помощником сапожника, учеником чертёжника, иконописцем и наконец пекарем в Казани. Там Ромас и нашёл его, пожалев юношу после попытки самоубийства — Горький выстрелил себе в грудь.

Красновидово стояло на крутом холме над Волгой. Наверху высилась церковь с голубым луковичным куполом, а ниже к реке спускался ряд бревенчатых изб. За ними лежали огороды, бани и покосившиеся сараи для скота, а дальше — тёмные вспаханные поля, которые «мягко уходили к синей полосе леса на горизонте». Село было сравнительно зажиточным. Близость Казани превратила его в центр товарного производства, и самые успешные хозяева уже жили в относительном достатке. Их крепкие избы имели тесовые крыши и яркую резьбу, на деревянных ставнях и наличниках изображались животные. Внутри можно было увидеть разнообразные фабричные изделия быстро развивавшейся российской промышленности: железные кастрюли и сковороды, самовары, занавески, зеркала, кровати, керосиновые лампы, гармоники и многое другое. Медленно, но неуклонно, как и вся крестьянская Россия, Красновидово втягивалось в рыночную экономику.[1]

Именно поэтому село оказалось на переднем крае народнической борьбы за крестьянство. Центральное место в народнической философии занимала мысль, что уравнительные традиции сельской общины могут послужить образцом для социалистического переустройства общества. Если защитить деревню от проникновения капитализма, полагали народники, Россия сможет непосредственно прийти к социалистической утопии, минуя «буржуазную стадию развития» со всеми её отрицательными последствиями, через которую прошла Западная Европа. Древняя крестьянская община должна была сохраниться как основа русского коммунизма.

Откликнувшись на призыв народнических вождей «идти в народ», в 1870-х годах тысячи радикально настроенных студентов — среди них и Михаил Ромас — устремились в деревню с Народники наивно верили, что сумеют привлечь крестьянство на сторону революции. В деревенском мире они видели отражение собственных романтических стремлений и убеждали себя, что в простых крестьянах найдут единомышленников и союзников по социалистической борьбе. Некоторые настолько отождествляли себя с их «простым образом жизни», что пытались одеваться и говорить по-крестьянски. Один из народников, еврей, даже принял православие, полагая, что это приблизит его к «крестьянской душе». Эти романтики представляли

деревню как коллективную и гармоничную общину, свидетельствующую о врождённых социалистических инстинктах русского народа. Среди крестьян, писал один из руководителей народничества, «больше внимания к достоинству отдельного человека, меньше равнодушия к тому, каков мой сосед и каким я кажусь ему». Их идеализированное представление о крестьянах заходило так далеко, что многие народники даже утверждали: в половой жизни они нравственнее и целомудреннее развращённых горожан. Считалось, например, что среди крестьян нет проституции — хотя большинство городских проституток происходило именно из крестьянок; что в деревне не бывает изнасилований и сексуального насилия — несмотря на обычай снохачества, дававший главе крестьянского двора право на сексуальные отношения с невестками в отсутствие их мужей; и что сифилис, распространённый по всей России, если в развращённых городах и передавался половым путём, то в деревне возникал гораздо невиннее — будто бы из-за привычки есть общими деревянными ложками и из общей посуды.[2]

Столкновение с действительностью деревни разбило иллюзии этих романтических миссионеров. Большинство студентов крестьяне встречали осторожной подозрительностью или откровенной враждебностью, а вскоре агитаторов арестовывала полиция. Оглядываясь на этот опыт из тюрьмы или ссылки, умеренные народники вроде Ромаса приходили к выводу: главная проблема заключалась в изолированности крестьянства от остального общества. За столетия крепостничества почти единственными чужаками, с которыми крестьянину приходилось иметь дело, были помещики и государственные чиновники; неудивительно, что и к студентам-агитаторам он относился настороженно. Нужны были годы терпеливой работы, чтобы создать доверие между крестьянами и народнической интеллигенцией. Именно ради этого Ромас приехал в Красновидово. Но его усилия оказались тщетными. С самого начала жители деревни подозревали неладное в его кооперативе. Они не понимали, почему цены там гораздо ниже, чем в других лавках. Самые зажиточные крестьяне, тесно связанные со старой торговой сетью, запугивали Ромаса и его сторонников. В одно из поленьев, заготовленных им на дрова, они вложили порох, вызвав небольшой взрыв. Они угрожали

бедным крестьянам, начинавшим интересоваться кооперативом, а одного из помощников Ромаса, бедняка из той же деревни, зверски убили, оставив его изуродованное тело, разрубленное на части, на берегу реки. Наконец, подожгли склад керосина и взорвали кооператив вместе едва ли не с половиной деревни. Враги Ромаса обвинили в пожаре его самого и Горького и натравили на них разгневанных крестьян. Но «еретики» сумели отбиться и спаслись бегством.

Ромас воспринял поражение философски, объяснив его невежеством жителей. Он не отказался от веры в социалистические возможности крестьянства, и когда пятнадцать лет спустя Горький встретил его вновь, тот уже успел отбыть ещё десять лет сибирской ссылки за участие в народническом движении. Для Горького же Красновидово стало горьким разочарованием. Он пришёл к выводу, что, какими бы хорошими крестьяне ни были поодиночке, всё лучшее исчезало, когда они «собирались в одну серую массу»:

> Ими овладевало какое-то собачье желание угодить сильным людям деревни, и тогда мне становилось противно на них смотреть. Они дико кричали друг на друга, готовые к драке, — и дрались из-за любой мелочи. В такие минуты они были страшны и казались способными разрушить ту самую церковь, где ещё накануне вечером смиренно и покорно стояли, как овцы в загоне.[3]

«Благородный дикарь», которого народники видели в простом крестьянине, был, как теперь заключал Горький, всего лишь романтической иллюзией. И чем глубже писатель узнавал повседневную жизнь крестьян, тем резче обличал их дикость и варварство.[13]

Подобные взаимные непонимания постоянно повторялись в истории отношений между образованной и крестьянской Россией — теми «двумя Россиями», как однажды назвал их Герцен. Народники были, пожалуй, самым заметным примером, но далеко не единственными, кто навязывал крестьянству собственные идеалы. Почти каждое направление русской общественной мысли попадало в ту же ловушку. Как писал Достоевский:

---

[13] В двадцать три года Горького до потери сознания избила группа крестьян, когда он попытался заступиться за крестьянку, которую муж и воющая толпа, уличив в супружеской неверности, раздели догола и секли кнутом.

> Мы, любители «народа», смотрим на него как на часть теории, и, кажется, никто из нас не любит его таким, каков он есть на самом деле, а только таким, каким каждый из нас его себе представил. Более того, если бы русский народ когда-нибудь оказался не таким, каким мы его вообразили, мы, несмотря на всю свою любовь к нему, тотчас же и без сожаления от него отреклись бы.[4]

Задолго до появления народников славянофильские авторы уже провозглашали нравственное превосходство «древней» крестьянской общины над современными западными ценностями. «Община, — писал Константин Аксаков, — есть союз людей, отказавшихся от своего эгоизма, от своей личности и выражающих общее согласие; это акт любви, высокий христианский акт». Подобными добродетелями наделяли крестьян и великие романтические писатели XIX века. Достоевский, например, утверждал, что простой русский крестьянин — тот самый «кухонный мужик», как однажды назвал его писатель в известном споре, — стоит нравственно выше более утончённых жителей Западной Европы. В *Дневнике писателя* он изображал крестьян истинно христианскими и долготерпеливыми. Именно они, писал он, «укажут нам новую дорогу, новый выход из всех наших, по-видимому, неразрешимых затруднений. Ибо не Петербург окончательно решит русскую судьбу… Свет и спасение придут снизу». Толстой тоже видел в простом крестьянине природного мудреца. Так, в *Анне Карениной* князь Левин учится у крестьян искусству жить; а в *Войне и мире* Пьер Безухов постигает духовный смысл жизни благодаря простому русскому крестьянину Платону Каратаеву. Характер Каратаева — непосредственный, естественный, лишённый саморефлексии — был проекцией собственной нравственной философии Толстого. Он жил в гармонии с миром и человечеством.[5]

Романтические представления о крестьянстве снова и снова разрушались при столкновении с действительностью, иногда с катастрофическими последствиями для тех, кто в них верил. Особенно тяжело это переживали народники, вложившие в свой образ крестьянина слишком большую часть самих себя: крушение этого образа грозило разрушить не только их радикальные убеждения, но и собственное представление о себе. Писатель Глеб Успенский — крайний и трагический пример — сошёл с ума после многих лет попыток примирить романтическое видение крестьянства с уродливой

реальностью человеческих отношений, которую наблюдал в деревне. Многие писатели-«реалисты» 1860-х годов, описывавшие тёмную сторону сельской жизни, закончили алкоголиками. В либеральных образованных кругах возникало настоящее чувство тревоги всякий раз, когда суровые факты деревенского быта разбивали привычный идеализированный образ крестьянина. Достаточно вспомнить бурю споров, вызванную нелестным изображением деревни в чеховских *Мужиках* (1897) — рассказе о больном московском официанте, который вместе с женой возвращается в родную деревню и обнаруживает, что нищая семья только тяготится появлением ещё двух едоков. Ещё большее общественное негодование вызвала повесть Бунина *Деревня* (1910), беспощадно показавшая крестьянскую нищету и жестокость. «Что потрясло русского читателя в этой книге, — заметил современный критик, — так это не изображение материальной, культурной и правовой нищеты [крестьян]… а сознание того, что выхода из неё нет… Максимум, на что способен русский крестьянин у Бунина… — лишь осознать собственное безнадёжное одичание, свою обречённость».[6]

Горький писал о *Деревне*, что она заставила общество «серьёзно задуматься не только о мужике, но и над страшным вопросом: быть или не быть России?»[7] Загадка крестьянина стояла в самом центре проблемы русской национальной самоидентичности. «Крестьянский вопрос» служил отправной точкой всех тех бесконечных споров о будущем России, которыми заполнены ныне мало читаемые страницы русских романов XIX века.

На рубеже XX века Россия всё ещё оставалась крестьянской страной: 80 процентов населения официально относились к крестьянскому сословию, а большинство остальных могли проследить свои корни до деревни. Стоило поскрести русского горожанина — и под ним обнаруживался крестьянин. Большинство рабочих на городских фабриках и в мастерских, в прачечных и кухнях, банях и лавках были либо недавними выходцами из деревни, либо их детьми; они по-прежнему возвращались домой на жатву и посылали деньги родственникам. В ресторанах трудились целые армии официантов-крестьян, а дома богатых содержали столько деревенской прислуги, что европейские гости поражались. Уличные торговцы в городах тоже в большинстве своём происходили из крестьян, как и извозчики,

швейцары, грузчики и многие другие представители городского труда. Даже среди купечества было немало людей, ещё недавно принадлежавших к деревне.

И всё же между деревенской Россией и городом пролегала огромная пропасть — экономическая, культурная, социальная и географическая. Крестьяне жили в трёх четвертях миллиона сельских поселений, разбросанных на одной шестой части земной суши. Они редко сталкивались с миром, лежавшим за узкими пределами собственной деревни и её полей, приходской церкви, помещичьей усадьбы и местного рынка. Центром этого маленького и замкнутого мира была деревенская община. Само старое крестьянское слово *мир* означало по-русски одновременно «общину», «мир», «покой» и «вселенную». Мир управлялся сходом крестьянских старейшин и вместе с земельной общиной регулировал почти все стороны деревенской и хозяйственной жизни. После освобождения крестьян его полномочия самоуправления значительно расширились: он принял на себя многие административные, полицейские и судебные функции помещика и стал основной единицей сельской администрации — сельским обществом, подчинённым примитивным государственным органам волостного уровня. Мир распоряжался землёй, переданной крестьянам от помещиков при освобождении, и нёс коллективную ответственность за уплату выкупных платежей. В большинстве районов России пахотная земля находилась в общинном пользовании, и каждые несколько лет мир перераспределял сотни полос между дворами в соответствии с числом работников или «едоков» в каждом. Он устанавливал общую систему посева и выпаса скота по стерне, которой требовало открытое поле с чересполосным земледелием;[14] распоряжался лесами и общими пастбищами; нанимал деревенских сторожей и пастухов; собирал налоги; проводил набор солдат; следил за ремонтом дорог, мостов и общественных зданий; устраивал благотворительную помощь и другие формы поддержки; организовывал деревенские праздники;

[14] Поскольку между полосами и полями не было изгородей, каждому двору приходилось сеять одни и те же культуры в одно и то же время (например, соблюдать трёхпольный севооборот: озимые — яровые — пар); иначе скот, выпущенный пастись по стерне одной полосы, вытоптал бы посевы на соседней.

поддерживал порядок; разбирал мелкие споры и вершил суд по местному обычаю.

Община могла порождать у крестьян сильное чувство солидарности, основанное на общей принадлежности к деревне и земле. Это отражалось во многих пословицах: «Чего один не сдюжит, мир сдюжит»; «Мир велик человек» — и тому подобных.[8] Такие связи встречаются в крестьянских общинах по всему миру. Они свидетельствуют не столько о «природном коллективизме» русского народа, столь дорогом славянофилам и народникам, сколько о функциональной логике крестьянской самоорганизации в борьбе за выживание перед суровой природой и сильными внешними врагами — помещиками и государством. Под покровом общинной солидарности, который замечали посторонние наблюдатели, односельчане продолжали бороться друг с другом за личную выгоду. Деревня была рассадником интриг, старых вражд, жадности, обмана, мелочности, а порой и чудовищного насилия одного крестьянина над другим; это было вовсе не царство общинной гармонии, каким его представляла городская интеллигенция. Просто личные интересы крестьян нередко лучше всего удовлетворялись совместными действиями. Короткий сельскохозяйственный сезон России — от оттепели и начала весенней пахоты в апреле до первого снега в начале ноября — делал необходимой определённую кооперацию труда, чтобы основные работы сельскохозяйственного цикла можно было выполнить короткими периодами крайнего напряжения. Поэтому традиционный русский крестьянский двор, как правило, был намного крупнее европейского и нередко насчитывал более десятка человек: жёны и дети двух-трёх братьев жили под одной крышей с их родителями. Статистические исследования неизменно показывали хозяйственные преимущества больших семей — большую долю взрослых мужчин-работников, больше земли и скота на душу и так далее, — и во многом эти преимущества объяснялись совместным трудом. Трудности мелкого крестьянского хозяйства, которое в подавляющем большинстве случаев велось с одной лошадью и ничтожным запасом семян и орудий, также делали простые формы соседской взаимопомощи — одалживание инвентаря или продуктов — выгодными для всех. Наконец, существовало множество работ, которые могла выполнить только вся

деревня: расчистка лесов и болот, строительство амбаров, дорог и мостов, устройство орошения.

Деревенский сход, где принимались такие решения, собирал глав крестьянских дворов и обычно проходил в праздничный день прямо на улице или на лугу: мало в какой деревне имелось здание, способное вместить всех участников. Никакой строгой процедуры не существовало. Крестьяне стояли небольшими группами, пили, курили и спорили о местных делах, пока сельский староста, смешиваясь с толпой и выясняя настроение наиболее влиятельных хозяев, не призывал проголосовать по нескольким решениям. Голосовали криком или переходя в разные группы, причём все решения в итоге принимались единогласно: если мнения расходились, меньшинство подчинялось большинству, или, как говорили крестьяне, «воле мира». Романтические наблюдатели принимали такое добровольное подчинение за признак общественной гармонии. По словам Аксакова, община выражала свою волю как единое целое, словно «нравственный хор». На деле решения обычно определялись небольшой группой старейших глав дворов, часто — хотя и не всегда — самых успешных хозяев, а остальные жители следовали за ними. Единогласие мира было не проявлением естественной крестьянской гармонии, а формой конформизма, навязывавшейся сверху деревенскими патриархами.

Некоторые исследователи деревенской жизни — позднее к ним присоединились и большевики — называли этих влиятельных патриархов «мироедами» или «кулаками».[15] Их изображали «богатыми»

[15] Слово «кулак», происходящее от названия сжатой кисти, первоначально употреблялось крестьянами для обозначения эксплуататорских элементов — ростовщиков, субарендаторов, перекупщиков и тому подобных — в отличие от собственно земледельцев. Предприимчивый крестьянин-хозяин, по их представлениям, не становился кулаком даже тогда, когда нанимал работников. Большевики, напротив, стали употреблять термин в марксистском смысле применительно к любому зажиточному крестьянину, сделав его синонимом «капиталиста» на ошибочном основании, будто использование наёмного труда в крестьянском хозяйстве само по себе являлось формой «капитализма». При Сталине слово «кулак» было обращено против мелкого крестьянского хозяйства вообще. Коллективизация проводилась под лозунгом «ликвидации кулачества как класса». читальни и библиотеки, органы местного самоуправления и политические партии — всё это постепенно приближалось к крестьянству. Особенно важное значение имел рост сельского образования: он создавал новое поколение «сознательных» крестьян и крестьянок — молодых и грамотных, бережливых и трезвых, стремившихся к саморазвитию и гораздо более индивидуалистичных, — которым становился тесен старый деревенский мир.

и «хитрыми» крестьянами, мелкими капиталистическими предпринимателями, ростовщиками, паразитами и деревенскими «сильными людьми», которых боялись односельчане и чьи жадность и индивидуализм в конце концов должны были разрушить общину. «На сельских сходах, — писал один юрист в начале XX века, — участвуют только крикуны и прихвостни богатых. Честные трудовые крестьяне туда не ходят, понимая бесполезность своего присутствия».[9]

Но и это представление в значительной мере возникало из привычки смотреть на крестьян не такими, каковы они были, а искать в них подтверждение отвлечённой теории — на этот раз марксистской. Господствовавшие в деревне крестьяне в основном были старшими патриархами; нередко, хотя вовсе не обязательно, они одновременно возглавляли и самые зажиточные хозяйства. Русская деревня конца XIX века всё ещё сохраняла многие черты того, что антропологи называют «традиционным обществом». Капитализм, несомненно, развивался в России в целом, но, кроме отдельных районов, ещё не проник глубоко в деревню; более того, одна из функций общины как раз и состояла в ограничении его воздействия. Власть деревенских патриархов основывалась не на капиталистической эксплуатации, а на том, что это всё ещё была преимущественно устная культура, в которой обычаи прошлого, передававшиеся из поколения в поколение, служили образцом коллективных действий в настоящем и будущем: «Наши деды делали так — и мы будем». В подобной культуре старики неизменно считались важнейшими людьми деревни: у них было больше всего опыта в хозяйстве, они лучше знали землю, и их мнение обычно становилось решающим. Старых женщин тоже уважали за опыт в ремёслах, лечении и магии. В целом это была консервативная культура. Правда, как показал социальный антрополог Джек Гуди во многих своих работах, устная культура способна обладать своеобразной внутренней подвижностью: поскольку никто точно не знал, как именно поступали деды, старейшины могли в каждом поколении заново истолковывать традицию в соответствии с меняющимися потребностями. И всё же обычно крестьянские патриархи испытывали врождённое недоверие к идеям, приходившим из мира за пределами их собственного опыта. Они стремились сохранить деревенские традиции и защитить их от прогресса. «Старый уклад» всегда считался лучше нового. В их

представлении где-то в далёком прошлом существовала крестьянская утопия — ещё до того, как дворянство и государство подчинили себе деревню.

Разумеется, существовали и более широкие силы, подтачивавшие этот патриархальный мир. Денежная экономика постепенно проникала даже в отдалённые сельские районы. Городские фабричные изделия вытесняли старые крестьянские ремёсла. Предприимчивым хозяевам становились доступны новые технологии. Железные и шоссейные дороги, почта и телеграф открывали деревню внешнему миру. Больницы и школы,

Первым признаком этого стало дробление патриархального крестьянского двора во второй половине XIX века. После освобождения крепостных резко выросло число семейных разделов. В 1861–1884 годах ежегодное число разделявшихся хозяйств увеличилось с 82 тысяч до 140 тысяч. За эти годы разделилось более 40 процентов всех крестьянских дворов. В результате средний размер семьи в центральной России уменьшился с 9,5 до 6,8 человека. Крестьянство переходило от традиционной большой семьи к современной малой, нуклеарной. С хозяйственной точки зрения такие разделы были малоразумны: новые дворы, как и хозяйства, от которых они отделялись, получали значительно меньше скота, орудий и рабочей силы. Это серьёзно тревожило царское правительство, которое — по нравственным и социальным причинам не меньше, чем по экономическим — считало благополучие крестьянства зависимым от сохранения патриархальной семьи. Но индивидуалистические стремления молодого поколения поддерживали движение к разделу, несмотря на его хозяйственные издержки. Крестьянские сыновья и их молодые жёны, уставшие от тирании старшего в семье, отделялись и заводили собственное хозяйство, не желая ждать его смерти — к тому времени им самим могло исполниться сорок или пятьдесят лет, — чтобы занять его место во главе двора. Их новые хозяйства были малы и слабы, зато они работали на себя. «В малой семье, — объяснял один молодой крестьянин в 1880-х годах, — каждый работает на себя, каждый зарабатывает на себя; а если семья большая, то у него в конце ничего своего не остаётся». Частота семейных разделов была напрямую связана с распространением отходничества и наёмной работы вне своего хозяйства. Как только

молодые крестьяне начинали получать заработок, резко учащались их споры со старшими из-за денег и собственности. Сыновья отказывались посылать заработанные деньги домой или предпочитали завести собственный двор, вместо того чтобы складывать заработок в общий семейный кошелёк. Они проводили различие между личными доходами от работы вне хозяйства и общей семейной собственностью, созданной совместным трудом на земле.[10] Это свидетельствовало о растущем чувстве собственной личности: «Я зарабатываю деньги — следовательно, я существую».

Другим источником этого нарождавшегося индивидуализма была растущая грамотность молодёжи. Доля грамотных в Российской империи выросла с 21 процента населения в 1897 году до 40 процентов накануне Первой мировой войны. Самые высокие показатели в сельской местности наблюдались среди молодых мужчин в районах, расположенных ближе всего к городам. К 1904 году девять из десяти крестьян-новобранцев из Петербургской и Московской губерний считались грамотными. Именно это молодое поколение стало главным выгодоприобретателем стремительного роста сельской школы в последние десятилетия старого режима. Между 1878 и 1911 годами число начальных школ увеличилось в четыре раза — с 25 тысяч до 100 тысяч; к 1911 году начальным обучением было охвачено значительно более половины крестьянских детей школьного возраста от восьми до одиннадцати лет.[11]

Связь между ростом грамотности и революциями хорошо известна историкам. Три великие революции новой европейской истории — Английская, Французская и Русская — произошли в обществах, где уровень грамотности приближался к 50 процентам. Местные активисты Русской революции происходили главным образом из этого нового грамотного поколения. Ирония заключалась в том, что царский режим, запоздало взявшись за образование простого народа, сам помогал рыть себе могилу.

Грамотность глубоко меняет сознание крестьянина и устройство сельской общины. Она развивает способность к абстрактному мышлению и позволяет осваивать новые навыки и технологии, а вместе с ними — и само понятие прогресса, питающее перемены современного мира. Она одновременно подрывает патриархальный порядок деревни,

разрушая барьеры между ней и внешним миром и передавая влияние внутри деревни тем, кто владеет письменным словом. Молодой грамотный крестьянин был гораздо лучше своего отца подготовлен к новым сельскохозяйственным технологиям конца XIX века, к денежному счёту, письменным договорам, земельным актам и кредитным соглашениям, а также ко всему новому миру администрации — от простейшей фиксации времени и дат до чтения официальных бумаг, составления сельских постановлений и прошений высшим властям, — в который крестьянство вошло после 1861 года. По мере того как рынок и бюрократия проникали на деревенский уровень, возрастал и статус молодых грамотных крестьян: община всё больше нуждалась в руководителях, обладавших навыками, которых требовало новое общество.

Письменное слово раскололо деревню на два поколения. Старшие, неграмотные крестьяне боялись избыточного образования и не доверяли ему — «книгой сыт не будешь» — и пытались ограничить его разъедающее влияние на традиционную деревенскую культуру. Их тревожили усваиваемые молодёжью городские индивидуалистические привычки: новая одежда и причёски, растущее неуважение к старшим, опасные политические идеи. Инспектор церковно-приходских школ, явно разделявший подобные опасения, писал в 1911 году:

> Единственное, что наблюдается [в результате школьного обучения], — это усиленный интерес к безвкусному и бесполезному щегольству. Во многих местностях обычная крестьянская одежда вытесняется городскими фасонами, которые тяжело ложатся на скудный крестьянский бюджет и мешают серьёзным улучшениям в других, гораздо более важных сторонах деревенской жизни… Семейные связи — сама основа благополучия государства и общества — глубоко расшатаны. Повсюду слышны жалобы на неповиновение родителям и старшим. Молодые люди и подростки часто бранят старших и даже бьют их; подают на них жалобы в суд и уносят из дома всё [имущество], что могут. Кажется, родители совершенно утратили власть над детьми.[12]

Молодые крестьяне, напротив, — а вследствие стремительного роста сельского населения они быстро становились большинством: к 1897 году 65 процентов сельских жителей были моложе тридцати лет,[13] — ставили образование на первое место среди своих стремлений. Оно было

ключом к улучшению их положения. Этот культурный разрыв стал одной из важнейших черт крестьянской революции. Одна её составляющая была прогрессивной и реформаторской: она стремилась приблизить деревню к влияниям современного городского мира. Другая, напротив, была реставрационной и пыталась защитить традиционную деревню именно от этих влияний. Как две противоборствующие силы воздействовали на жизнь одной деревни, мы увидим позже на примере Сергея Семёнова и революции в Андреевском.

Однако, несмотря на все эти модернизирующие силы, основная структура крестьянской политики оставалась по существу патриархальной. Более того, защитники старого порядка располагали целым набором общественных механизмов, позволявших сдерживать натиск современности. Во всех сторонах крестьянской жизни — от материальной культуры до правовых обычаев — господствовало неумолимое единообразие. Крестьяне носили в основном одинаковую одежду. Даже причёски были типовыми: мужчины расчёсывали волосы на прямой пробор и стригли их «под горшок»; девушки носили косы, а после замужества закрывали волосы платком. В традиционной деревне крестьянину не полагалось подчёркивать индивидуальность одеждой, как это делали горожане. Почти отсутствовало само понятие частной жизни. Все члены двора ели из общего горшка и спали в одной комнате. Отсутствие личного пространства, не говоря уже об обрядах плодородия, означало, что и половая жизнь хотя бы отчасти оставалась публичным делом. В некоторых районах России ещё сохранялся обычай лишать невесту девственности перед всей деревней; если жених оказывался неспособен, его мог заменить старший мужчина — или палец свахи. Стыдливости в крестьянском мире отводилось мало места. Нужду справляли под открытым небом. Крестьянки постоянно обнажали грудь — то осматривая или ощупывая её, то кормя ребёнка, — а мужчины столь же непринуждённо трогали свои половые органы. Городских врачей шокировали привычки плевать человеку в глаз, чтобы вывести ячмень, кормить детей изо рта в рот и успокаивать младенцев-мальчиков, посасывая их половой член.[14]

Даже крестьянская изба — и внешне, и по внутреннему устройству, и по обстановке — подчинялась тому же жёсткому образцу, который

определял всю остальную жизнь. По существу, во всей России существовало лишь три основных типа крестьянского жилища: северная изба — бревенчатый дом, где жилые и хозяйственные помещения располагались под одной крышей вокруг четырёхугольного двора; южная изба, в которой хозяйственные постройки стояли отдельно; и украинская хата — тоже отдельный дом из дерева или глины, но под соломенной крышей. В каждом жилище имелись одни и те же основные зоны: кухонная часть с печью, на которой крестьяне любили спать, несмотря на тараканов; «красный»[16], или «святой», угол с иконами, где принимали гостей и семья ела за выбеленным столом; и место для сна, где зимой рядом с людьми на соломе нередко устраивали коз, жеребят и телят. Влажное тепло и запах животных, чёрная копоть керосиновых ламп и резкий дух домашнего табака, который крестьяне курили, завернув в газетную бумагу, создавали совершенно особую, удушливую атмосферу. «Двери старательно держат закрытыми, окна закупорены наглухо, и описать воздух невозможно, — писал английский квакер из одной поволжской деревни. — Его ядовитость можно понять только на собственном опыте». При таких антисанитарных условиях неудивительно, что даже в начале XX века один из четырёх крестьянских младенцев умирал, не дожив до года. Тем, кто выживал, предстояло в среднем около тридцати пяти лет жизни — чаще всего в плохом здоровье. Крестьянская жизнь в России действительно была скверной, жестокой и короткой.[15]

Она была ещё и стеснена неукоснительным подчинением деревенским нравам. За поведение, отклонявшееся от нормы, следовали различные наказания: сельские штрафы, бойкот, общественное унижение. Самой распространённой формой последнего была так называемая «грубая музыка», или *charivari*, как её называли в Южной Европе: односельчане устраивали шум и гвалт у дома виновного, пока тот не выходил и не отдавал себя на суд толпы, после чего его публично позорили, а иногда подвергали насилию. Самые жестокие наказания выпадали на долю неверных жён и конокрадов. Женщину, изменившую мужу, нередко раздевали догола и избивали; иной раз привязывали к

[16] Русское слово «красный» исторически связано со словом «красивый» — обстоятельство, получившее мощное символическое значение для революционного движения.

телеге и голой волокли через деревню. Конокрада могли кастрировать, избить, клеймить раскалённым железом или зарубить серпами. Другим нарушителям выкалывали глаза, вбивали в тело гвозди, отсекали руки и ноги или вгоняли кол в горло. Одно из любимых наказаний состояло в том, что жертву со связанными руками и ногами поднимали на блоке, а затем роняли так, чтобы ломались позвонки; это повторяли несколько раз, пока человек буквально не превращался в бескостный мешок. При другой пытке обнажённого заворачивали в мокрый мешок, обвязывали туловище подушкой и били по животу молотами, брёвнами и камнями, дробя внутренние органы и не оставляя заметных следов на коже.[16]

Трудно сказать, откуда происходило это варварство — из самой культуры русского крестьянства или из суровой среды его жизни. Во время революции и Гражданской войны крестьяне выработали ещё более страшные способы убийства и пыток. Они увечили тела жертв, отрубали головы, выпускали внутренности. Революция и гражданская война — крайние обстоятельства, и никто не может гарантировать, что люди другой национальности в тех же условиях не поступали бы сходным образом. Но всё же уместно спросить вслед за Горьким, как он сделал в знаменитой статье «О русском крестьянстве» (1922), не выявила ли революция всего лишь, говоря его словами, «исключительную жестокость русского народа»? Эта жестокость была создана историей. Ещё долго после отмены крепостного права земские начальники сохраняли право пороть крестьян за мелкие проступки. Либералы справедливо предупреждали о психологических последствиях подобного насилия. Один врач, выступая в 1895 году в Казанском медицинском обществе, говорил, что оно «не только унижает, но ожесточает и озверяет человеческую природу». Чехов, сам практикующий врач, осуждал телесные наказания и добавлял, что они «огрубляют и озверяют не только виновных, но и тех, кто приводит наказание в исполнение, и тех, кто при нём присутствует».[17] Насилие и жестокость, которые старый режим обращал против крестьянина, превращались в крестьянское насилие, уродовавшее повседневную жизнь деревни, а затем обрушившееся на сам режим в страшной жестокости революции.

Если русская деревня была жестоким местом, то крестьянская семья нередко была ещё жесточе. На протяжении веков крестьяне считали

своим правом бить жён. Русские крестьянские пословицы изобиловали советами о пользе такой расправы:

> «Ударь жену обухом, нагнись да посмотри, дышит ли. Если дышит — притворяется, значит, ещё хочет».
>
> «Чем больше старуху бьёшь, тем щи вкуснее».
>
> «Бей жену, как шубу, — шуму меньше будет».
>
> «Жена дважды мила: когда её в дом приводят [невестой] и когда из дома выносят в могилу».

Народные пословицы высоко ценили и побои мужчин: «За битого двух небитых дают, да и то не берут». Бывали даже поговорки, будто хорошая жизнь без насилия неполна: «Вот житьё весёлое, только бить некого». Драки были любимым крестьянским развлечением. На Рождество, Крещение и Масленицу устраивались огромные кулачные бои между разными концами деревни, а иногда и между соседними деревнями; в них участвовали даже женщины и дети, они сопровождались тяжёлыми попойками и нередко заканчивались смертью. Мелкие деревенские ссоры постоянно переходили в драку. «Из-за разбитого глиняного горшка ценой примерно двенадцать копеек, — писал Горький о времени в Красновидове, — три семьи дрались палками, старухе сломали руку, мальчику проломили череп. Такие ссоры случались каждую неделю».[18] Это была культура, в которой человеческая жизнь ценилась дёшево, и каковы бы ни были причины такого насилия, ему предстояло сыграть огромную роль в революции.

Многие объясняли жестокость крестьянского мира слабостью правопорядка и общей беззаконностью государства. Освобождение избавило крепостных от судебного произвола помещика, но не включило их в тот мир закона, которым жила остальная часть общества. После 1861 года освобождённые крестьяне по-прежнему находились в своеобразном правовом апартеиде, будучи исключёнными из сферы писаного закона, действовавшего через гражданские суды. Царская власть смотрела на них как на нечто среднее между дикарями и детьми и подчиняла их назначаемым из дворянства чиновникам-судьям. Их юридические права ограничивались крестьянскими волостными судами, действовавшими на основе местного обычая. Крестьяне были лишены многих гражданских прав, которыми члены других сословий

пользовались как само собой разумеющимся. До 1906 года они не имели права частной собственности на свои наделы. Правовые ограничения резко стесняли свободу передвижения. Крестьянин не мог выйти из общины, не выплатив своей доли общих налоговых обязательств или выкупных платежей за землю, полученную от помещиков при освобождении. Чтобы двор отделился от общины, требовалась сложная бюрократическая процедура и согласие не менее двух третей сельского схода, получить которое было трудно.[17] Даже крестьянин, желавший на несколько недель уйти на заработки, должен был сперва получить внутренний паспорт у общинных старейшин; те часто противились отходничеству, полагая, что оно ослабляет патриархальную семью и увеличивает налоговое бремя остальных жителей. Статистика показывает, что выдачу паспортов серьёзно ограничивали, несмотря на потребность промышленности и товарного земледелия в подвижной рабочей силе.[19] Крестьяне оставались привязанными к земле, и крепостничество, хотя формально было отменено, продолжало жить в системе регулирования их повседневности. Лишённые сознания и юридических прав гражданина, крестьяне вполне закономерно переставали уважать и государственный закон, и саму государственную власть, как только её принудительная сила ослабевала — в 1905-м и вновь в 1917 году.

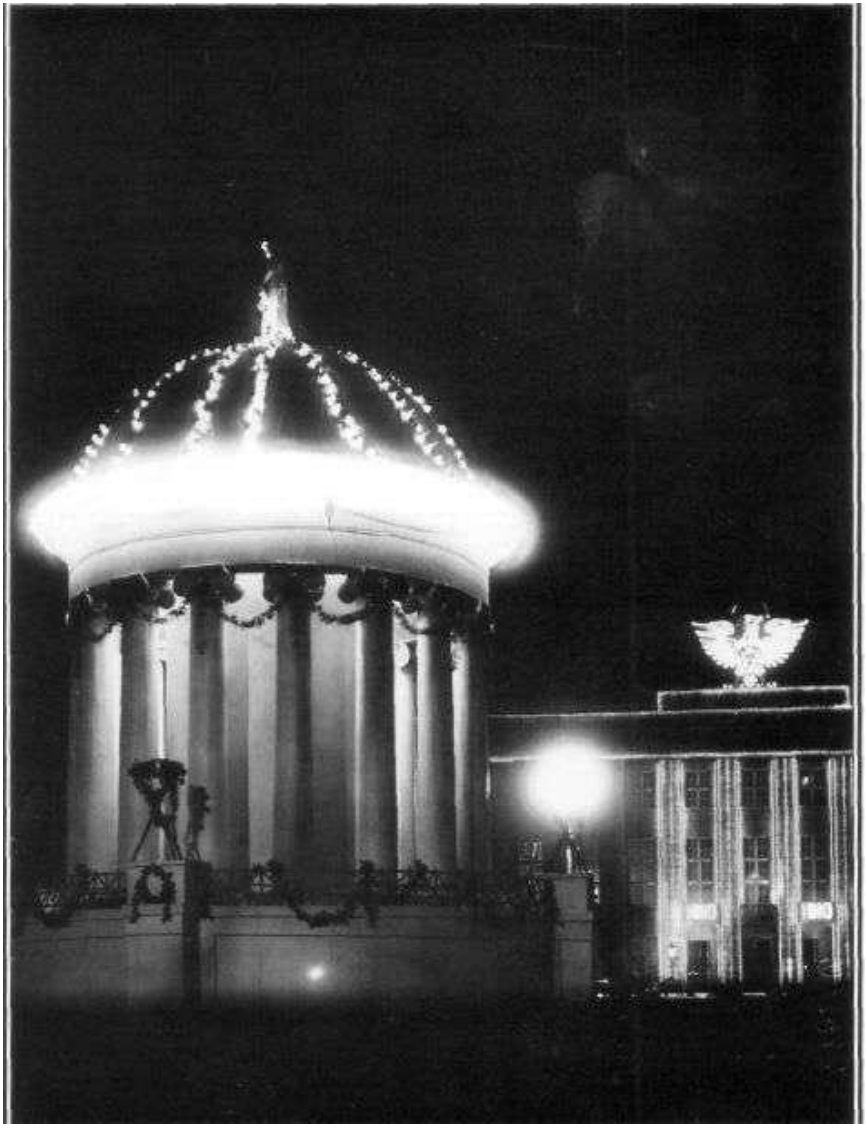
* * *

Ошибочно, как это делают многие историки, считать, будто у русского крестьянства вовсе не было собственного нравственного порядка и идеологии, способных заменить царское государство. Ричард Пайпс, например, в своей недавней истории революции изображает крестьян примитивными и невежественными людьми, способными играть лишь разрушительную роль и потому легко поддававшимися манипуляции большевиков. Между тем, как мы увидим, в 1917–1918 годах крестьяне

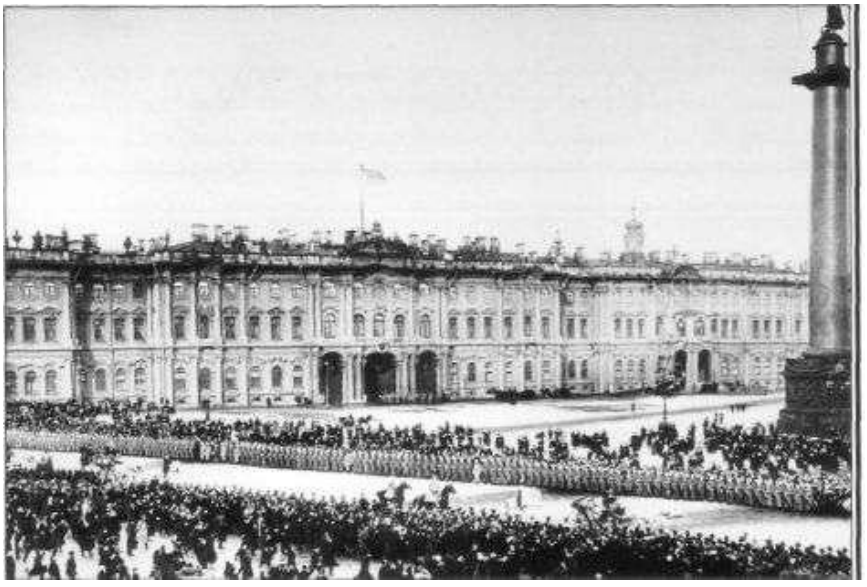
[17] Даже в общинах с наследственным землепользованием — главным образом на северо-западе и на Украине — отделиться было едва ли легче. Двор, желавший выйти из общины, должен был либо полностью выплатить свою долю общинного налогового долга, что для подавляющего большинства крестьян было практически невозможно, либо найти другой двор, готовый принять на себя его налоговые обязательства в обмен на земельный надел. Поскольку налоги обычно превышали стоимость аренды земли вне общины, найти желающих было трудно. # ИЛЛЮСТРАЦИИ САМОДЕРЖАВИЯ

проявили способность перестроить почти весь сельский мир — от земельных отношений и местной торговли до образования и судопроизводства, — причём нередко демонстрировали поразительную политическую зрелость, которая никак не могла возникнуть из нравственного вакуума. Идеалы крестьянской революции уходили корнями в долгую традицию крестьянских мечтаний и утопической философии. В пословицах, мифах, сказках, песнях и обычном праве проступает особая система представлений, которая выразилась в действиях крестьян во все революционные годы с 1902 по 1921-й. Эта идеология формировалась столетиями противостояния царскому государству. Как писал Герцен, в течение сотен лет «вся жизнь крестьянина была одним долгим, немым, пассивным сопротивлением существующему порядку: он переносил гнёт, стонал под ним, но никогда не принимал ничего, что происходило вне жизни общины».[20] Именно в этом культурном противостоянии, в том, как крестьянин смотрел на мир за пределами деревни, лежали корни революции.

Рассмотрим этот крестьянский взгляд на мир внимательнее — через обычное право. Вопреки мнению некоторых историков, крестьянское обычное право содержало достаточно разветвлённую систему нравственных представлений, выросших из повседневной крестьянской жизни и закрепившихся в более или менее общих правовых нормах, хотя в разных местностях они несколько различались.



1. *Петербург, иллюминированный к трёхсотлетию дома Романовых в 1913 году. Эта электрическая демонстрация государственной мощи стала крупнейшим световым представлением в истории царской России.*



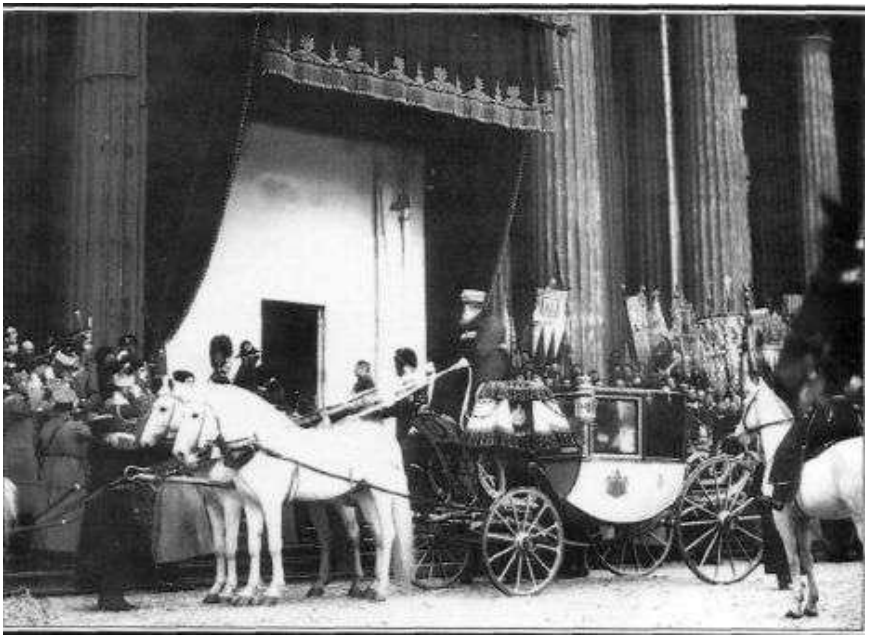
2. *Императорская семья направляется из Зимнего дворца в Казанский собор на церемонию открытия юбилейных торжеств.*



3. *Николай II впервые после революции 1905 года появляется верхом на публике.*



4. *Знаменитый Елисеевский магазин на Невском проспекте, украшенный к трёхсотлетнему юбилею.*



5. *Офицеры гвардии приветствуют императорскую семью у Казанского собора. Обратите внимание на иконы, церковные хоругви и кресты в руках собравшихся.*



6. *Горожане и крестьяне пришли увидеть царя в Костроме во время юбилейной поездки императорской семьи по провинции.*



7. *Придворный костюмированный бал 1903 года стал важнейшей вехой в культе старой Московской Руси. Каждый гость был одет в костюм XVII века,*

соответствовавший его придворному рангу XX столетия. Царь и царица стоят в центре первого ряда.



8. *Храм Воскресения Христова на Екатерининском канале — безобразный пример стремления последних царей придать Петербургу «московский» облик.*



9. *Бронзовый памятник Александру III работы Трубецкого на Знаменской площади в Петербурге. Рабочие прозвали его «бегемотом».*



10. *Московский памятник Александру III — спиной к храму Христа Спасителя — во время церемонии открытия в 1913 году.*



11. *Императорская семья, справа налево: Ольга, Татьяна, Николай, Александра, Мария, Алексей и Анастасия.*



12. *Распутин со своими почитателями. Анна Вырубова, ближайшая подруга и Распутина, и императрицы, стоит пятой слева.*



13. *Цесаревич Алексей со своим товарищем по играм и защитником — матросом Деревенько. После Февральской революции Деревенько примкнул к большевикам.*

Особенно важными для революционного сознания крестьян были три правовые идеи. Первая — представление о семейной собственности. Имущество крестьянского двора — скот, орудия, урожай, постройки и всё, что в них находилось, но не земля под ними — считалось общей собственностью семьи.[18] Каждый член двора, включая ещё не родившихся потомков, обладал равным правом пользоваться этим имуществом. Большак, глава патриархальной семьи, действительно пользовался почти неограниченным влиянием на ведение хозяйства и распоряжение его средствами. Но обычное право ясно требовало, чтобы он действовал с согласия остальных взрослых членов семьи; после его смерти он не мог завещать какую-либо часть дворового имущества, потому что оно оставалось общей собственностью семьи под руководством нового большака — обычно старшего сына. Если большак плохо вёл хозяйство, слишком много пил или был жесток, община по обычному праву могла заменить его другим членом семьи. Разделить семейное имущество можно было лишь при разделе большого двора на несколько меньших хозяйств — по правилам местного обычая. Во всех областях России они предусматривали равное распределение имущества между взрослыми мужчинами с соответствующим обеспечением стариков и незамужних женщин.[21] Принципы семейной собственности и уравнительного раздела глубоко укоренились в русской крестьянской культуре. Это помогает понять неудачу столыпинских земельных реформ 1906–1917 годов, которые в рамках программы создания слоя зажиточных капиталистических фермеров пытались превратить общее семейное имущество крестьянского двора в частную собственность большака, чтобы тот мог завещать его одному или нескольким сыновьям.[19] Крестьянская революция 1917 года смела эти нововведения и вернула традиционные правовые принципы семейной собственности.

---

[18] Главным исключением было приданое крестьянской жены и другие её личные вещи — например одежда и домашняя утварь. Они считались её частной собственностью и могли быть переданы дочери.

[19] Если раздел имущества крестьянского двора целиком регулировался местным обычным правом, то новые столыпинские нормы наследования входили в Гражданский кодекс. Поэтому дела о наследовании крестьянами земли стали рассматриваться в гражданских, то есть некрестьянских, судах — первый крупный случай включения крестьянства в общенациональную правовую систему.

Крестьянский семейный двор организовывался и определялся в соответствии с трудовым принципом — второй важнейшей идеей крестьянского права. Членство в семье зависело не столько от кровного родства, сколько от активного участия в жизни хозяйства — или, как говорили крестьяне, от того, «ест ли человек из общего котла». Чужой человек, принятый в семью, живший и работавший в хозяйстве, обычно считался полноправным членом двора наравне с кровными родственниками. И напротив, родной сын, ушедший из деревни зарабатывать на стороне, со временем переставал рассматриваться как член хозяйства. Та же связь права с трудом проявлялась и в отношении земли.[20] Крестьяне верили в священную связь между землёй и трудом. Земля никому, кроме Бога, не принадлежала и потому не могла быть предметом купли-продажи. Но каждая семья имела право кормиться с земли собственным трудом, а община должна была обеспечивать её справедливое распределение.[22] Из этого принципа — земля должна принадлежать тем, кто её обрабатывает, — следовало, что помещики владеют ею неправомерно, а голодные крестьяне вправе бороться за её отнятие. Между писаным государственным законом, созданным для защиты прав помещичьей собственности, и крестьянским обычным правом шла постоянная борьба; последнее крестьяне использовали для оправдания собственных нарушений этих прав. По обычному праву, например, никто не считал большим грехом, если крестьянин крал дрова из помещичьего леса: у помещика леса было больше, чем он мог употребить сам, а пословица гласила: «Лес Бог вырастил для всех». Государство считало «преступлениями» целый ряд действий, которые крестьянский обычай преступными не признавал: браконьерство и выпас скота на помещичьей земле, сбор грибов и ягод в его лесу, плодов в его саду, ловлю рыбы в прудах и тому подобное. Обычное право было орудием, с помощью которого крестьяне подрывали правовой порядок, поддерживавший, по их мнению, несправедливое господство

[20] Например, по обычному праву крестьянину, виновному в обработке чужой земли, всегда возмещали его труд, хотя основная часть урожая доставалась законному владельцу участка. По словам одного наблюдателя, крестьяне «с почти религиозным уважением относились к праву человека владеть продуктом собственного труда на земле», и обычай требовал уравновешивать это право формальным правом землевладения (Ефименко, *Исследования*, т. 2, с. 143).

помещиков и крупнейшего землевладельца из всех — государства.[21] Не случайно революционное земельное законодательство 1917–1918 годов опиралось именно на трудовые принципы обычного права.

Третьей особенностью крестьянского правового сознания, роднившей его с революцией, был субъективный подход к закону: справедливость дела оценивалась в зависимости от общественного и экономического положения его участников. Отголосок этого виден в большевистском понятии «революционной законности» — основном принципе народных судов 1917–1918 годов, где социальное происхождение человека становилось решающим обстоятельством при определении его вины или невиновности. В глазах крестьян кража у богатого, особенно совершённая бедняком, была гораздо меньшим преступлением, чем кража у человека, который едва мог прокормить себя и семью.[22] Как мы уже видели, крестьянская мораль могла считать оправданным даже убийство того, кто совершил тяжкое преступление против общины. Убить чужака из другой деревни явно считалось менее тяжким делом, чем убить своего односельчанина. Точно так же обман соседа признавался безусловно безнравственным, тогда как обман помещика или государственного чиновника почти не подвергался нравственному осуждению: такая «хитрость» была лишь одной из множества повседневных форм пассивного сопротивления, которыми крестьянин подтачивал несправедливый порядок.[23] В условиях крестьянского общества этот субъективный подход имел собственную логику, потому что справедливость оценивалась не отвлечённо, а по непосредственным практическим последствиям для общины. Но он нередко приводил к тому самому спутанному мышлению, из-за которого крестьян называли «тёмными». Например, в рассказе Чехова «Злоумышленник» воспроизведена реальная история крестьянина,

---

[21] Отчасти поэтому крестьяне не испытывали особых нравственных сомнений, давая ложные показания в суде, и нередко сочувствовали осуждённым преступникам. Крестьяне обычно отдавали пищу партиям заключённых, проходившим через деревни по пути в Сибирь.

[22] Это было связано с религиозным представлением крестьян о том, что бедность сама по себе является добродетелью. …разумный человек должен посвящать все свои силы». Целые деревни оказывались в долгу у этих «кулаков», и многим приходилось продавать часть земли, чтобы расплатиться с ними. Если это и был «капитализм», как настаивали большевики, то самый примитивный.[29]

которого судят за то, что он вывинтил гайку из железнодорожного полотна, чтобы использовать её как грузило. Он совершенно не понимает своей вины и, пытаясь оправдаться, всё время говорит «мы» — то есть крестьяне его деревни: «Эка! Уж сколько лет гайки отвинчиваем, и Бог миловал, а тут крушение… людей убило… Ведь мы не все отвинчиваем… оставляем… Не без ума делаем… понимаем…»

Именно здесь, в этой нравственной субъективности, находился корень стихийного крестьянского анархизма. Крестьянин жил вне мира государственных законов — и хотел там оставаться. Столетия крепостничества породили в нём глубокое недоверие ко всякой власти за пределами собственной деревни. Он стремился к *воле* — старому крестьянскому понятию свободы и самостоятельности без ограничений со стороны начальства. «Сотни лет, — писал Горький, — русский крестьянин мечтал о государстве, которое не имело бы права влиять на волю отдельного человека и его свободу действий, о государстве без власти над человеком». Эту мечту поддерживали бунтарские сказания о Стеньке Разине и Емельяне Пугачёве — крестьянских вождях XVII и XVIII веков, мифические образы которых ещё в начале XX столетия представлялись крестьянам летящими над Волгой воронами, возвещающими наступление Утопии. Ходили и столь же сказочные рассказы о «Беловодье» или «царстве Опоньском» где-то на краю плоской земли, где крестьяне счастливо жили без помещиков и государства. Целые группы отправлялись на далёкий Север искать эту Аркадию.[24]

По мере того как во второй половине XIX века государство пыталось расширить бюрократический контроль над деревней, крестьяне защищали свою автономию всё более тонкими формами пассивного сопротивления. На деле в деревне возникала двойная система управления: формальная, обращённая лицом к государству и отличавшаяся бездействием и неэффективностью, и неформальная, обращённая к самим крестьянам и, напротив, вполне деятельная. Выбиравшиеся в органы государственного управления сельских обществ и волостных правлений старосты и сборщики налогов, по словам одного раздражённого чиновника, были «крайне ненадёжны и неудовлетворительны»; многих из них крестьяне нарочно выбирали за неспособность, чтобы саботировать государственную работу. Известны

даже случаи, когда старостой избирали деревенского дурачка.[25] Реальный центр власти тем временем оставался в мире — старом сельском сходе, где господствовали патриархи. Власть царского государства так и не проникла в деревню по-настоящему; это оставалось его фундаментальной слабостью вплоть до 1917 года, когда государственная власть исчезла совсем и деревня получила свою *волю*.

Образованные классы всегда боялись, что крестьянская *воля* быстро выродится в анархическую вседозволенность и кровавую месть представителям власти. Белинский писал в 1837 году: «Наш народ понимает свободу как волю, а воля для народа значит озорство. Освобождённый русский народ не пойдёт в парламент, а побежит в кабак пить вино, бить стёкла и вешать дворян, вся вина которых состоит в том, что они бреют бороды и носят фрак вместо армяка».[26] Революции предстояло слишком многими своими сторонами подтвердить это предсказание Белинского.

ii. Попытка изгнать прошлое

В начале XX века будущая писательница Нина Берберова, ещё девочка, наблюдала за крестьянами, которые приходили советоваться с её дедом в кабинет семейной усадьбы неподалёку от Твери. «Они были двух родов, — вспоминала она, — и мне казалось, что это две совершенно разные породы»:

> Одни мужики были степенные, воспитанные, важные, с прилизанными волосами, толстыми животами и лоснящимися лицами. Они носили вышитые рубахи и кафтаны из хорошего сукна. Позднее их стали называть кулаками. Они… рубили лес для новых домов в густых лесах, ещё совсем недавно принадлежавших деду. В церкви они ходили с кружками для пожертвований и ставили свечи перед иконой Божией Матери «Утоли моя печали». Но какие у них могли быть печали? Крестьянский поземельный банк давал им кредит. В их домах, где я иногда бывала, на подоконниках стояли герани, а из печи пахло сдобными булками. Их сыновья вырастали энергичными и честолюбивыми людьми, начинали новую жизнь и создавали в России зародыш нового класса.
>
> Другие мужики ходили в лаптях и лохмотьях, раболепно кланялись, дальше дверей не проходили, а лица их словно утратили человеческое выражение… Они были низкорослы и часто валялись в канавах возле казённой винной лавки. Их дети не росли от недоедания. Чахоточные жёны, казалось, всегда были на последнем месяце беременности, младенцы покрывались мокнущей экземой, а в домах, куда я тоже заходила, разбитые окна затыкали тряпками, в углах держали телят и кур. Стоял кислый смрад.[27]

Различия между богатыми и бедными крестьянами широко обсуждались ещё с 1870-х годов, когда проблема деревенской бедности и её причин впервые потрясла русскую общественность. Для марксистов и многих либералов было самоочевидно, что по мере укоренения капитализма в деревне крестьянство должно расколоться на два класса — предпринимателей-фермеров и безземельных батраков. Народники, мечтавшие о едином крестьянстве, которое напрямую поведёт Россию к социализму, отрицали сам факт такого процесса. Обе стороны создали целые библиотеки статистики в доказательство или опровержение того, что капитализм разлагает крестьянство, и историки спорят о значении этих данных до сих пор.

Неравенство между самыми богатыми и самыми бедными слоями крестьянства действительно росло. На одном полюсе появлялся небольшой, но расширявшийся слой зажиточных крестьян-предпринимателей; на другом — обедневшие крестьяне, всё чаще вынужденные бросать хозяйства и пополнять армию наёмных отходников в земледелии, горной промышленности, транспорте и фабричном производстве. Молодой Ленин в 1890-х годах стремился доказать, что оба этих полюса порождены развитием капитализма. Но это вовсе не обязательно соответствовало действительности.

Главные различия в уровне жизни крестьянства имели географический характер. В XIX веке товарное земледелие укоренилось широким кольцом по окраинам старого московского ядра России. В некоторых районах Прибалтики освобождение крестьян в 1817 году позволило местным помещикам, имевшим доступ к западным хлебным рынкам, превратить усадьбы в капиталистические хозяйства с наёмной рабочей силой. В западной Украине дворяне создали огромные свекловичные хозяйства. В плодородных областях юга России, на Кубани и Северном Кавказе из крестьян и казаков выделился богатый слой товарных хозяев смешанного типа. То же происходило в Западной Сибири, где строительство Транссибирской магистрали позволило мелким хозяевам богатеть на производстве зерна и молочных продуктов для рынка. Именно эти области обеспечивали тот рост общего уровня жизни крестьянства, выражавшийся в увеличении покупательной способности, который современные историки обнаружили и использовали для опровержения старой схемы о непрерывном обнищании крестьян до 1917 года.[28] На деле формировалось всё более резкое расхождение между новыми, сравнительно благополучными районами товарного земледелия на западе, юге и востоке, с одной стороны, и старой, всё более перенаселённой центральной земледельческой зоной — с другой. Именно там располагалось большинство дворянских имений, а отсталые методы хозяйства уже не позволяли всем крестьянам прокормиться с земли. Не случайно после 1917 года богатые сельскохозяйственные районы стали оплотом контрреволюции, тогда как бедный центр остался верен революции.

В центральной земледельческой полосе России признаки рыночного хозяйства были слабы, а основные различия в уровне жизни

объяснялись местным качеством почв или историческим наследием крепостной эпохи. Например, деревни бывших государственных крестьян, то есть поселённых на казённых землях, обычно имели больше земли, чем деревни бывших помещичьих крепостных. Рынок в этих районах был развит слабо, и большинство крестьян вело натуральное хозяйство. Они продавали небольшую часть продукции и, возможно, изделия зимних промыслов, чтобы заплатить налоги и купить несколько необходимых вещей; в остальном производство было ориентировано на прокорм семьи. По данным земского обследования 1880-х годов, две трети крестьянских хозяйств Тамбовской губернии не могли прокормить себя, не залезая в долги. «В нашей деревне, — вспоминал Семёнов, — только пять или шесть семей могли прожить весь год на своём хлебе. Остальные кто дотягивал до Михайлова дня [в начале ноября], кто до Рождества, кто до Масленицы, а потом приходилось занимать на покупку зерна». Трагедия миллионов крестьян заключалась в том, что долги и налоги заставляли их продавать хлеб осенью, когда предложение было велико, а цены низки, а весной, в голодную пору, покупать его обратно по самой высокой цене. В каждой волости имелась горстка ростовщиков и торговцев — крестьяне называли их «кулаками», — которые осенью дешёво скупали крестьянский хлеб, а через полгода продавали его обратно вдвое дороже. Их отличала суровая и безжалостная жадность — та самая, которую один современник видел в «совершенно необразованном человеке, выбившемся из нищеты в богатство и сделавшем наживу любыми средствами единственным занятием, которому…»[29]

Число «капиталистических» крестьян — то есть постоянно использовавших наёмный труд — вероятно, не превышало одного процента.[30] То, что их не становилось больше, во многом объяснялось периодическими переделами общинной надельной земли, а также тем, что самые богатые крестьянские хозяйства, обычно и самые многолюдные, по обычаю делили имущество, когда взрослые сыновья женились и были готовы создавать собственные дворы.[23] Иначе говоря,

[23] Так, например, исследование в Тульской губернии показало, что между 1899 и 1911 годами имущество разделили 62 процента крестьянских дворов, имевших четыре и более лошадей, против лишь 23 процентов однолошадных хозяйств (Shanin, *Awkward Class*, p. 83). Статистики вроде А. В. Чаянова считали, что хозяйственное неравенство внутри деревни во многом объясняется жизненным циклом крестьянского двора. Только что

крестьяне редко превращались в капиталистов потому, что обычно не удерживали накопленную собственность дольше одного поколения.

Да и бедность крестьянства имела мало общего с развитием капитализма. Основная проблема центральной земледельческой зоны состояла в том, что уравнительные обычаи почти не давали крестьянину стимула производить что-либо, кроме детей. Во второй половине XIX века рождаемость в России — около пятидесяти рождений в год на тысячу жителей — почти вдвое превышала среднеевропейскую, а самые высокие показатели были именно в районах общинного землевладения, где размер надела зависел от численности семьи. Колоссальный рост крестьянского населения — с 50 до 79 миллионов между 1861 и 1897 годами — привёл к всё более острой нехватке земли. К началу XX века семь процентов крестьянских дворов вообще не имели земли, а каждый пятый располагал крошечным участком менее одной десятины — 2,7 акра. Для страны размеров России это может показаться странным. Но в центральной России, где жило большинство крестьян, плотность населения была сопоставима с Западной Европой. Средний крестьянский надел — 2,6 десятины в 1900 году — по площади примерно соответствовал обычному мелкому хозяйству Франции или Германии. Однако русское крестьянское земледелие было гораздо менее интенсивным: урожайность зерновых едва достигала половины западноевропейской. Лёгкая деревянная соха, которой большинство русских крестьян пахало одной лошадью или парой волов, мало отличалась от римского *aratrum* и неизмеримо уступала тяжёлому железному плугу Западной Европы, запрягавшемуся четырьмя или шестью лошадьми. Маленький ручной серп оставался обычным орудием на большинстве российских крестьянских хозяйств ещё накануне Первой мировой войны — спустя более полувека после того, как на Западе его вытеснили коса и тяжёлый жатвенный крюк. Сеяли, молотили и веяли вручную, когда в других странах эти работы уже давно механизировались. Использование навоза, не говоря уже о

отделившаяся семья — супружеская пара с одним-двумя детьми — обычно располагала небольшим участком и малым количеством скота. Но по мере взросления детей, когда они начинали работать в семейном хозяйстве, двор накапливал больше земли и скота — пока вновь не разделялся. Чаянов утверждал, что статистические обследования, которыми марксисты доказывали экономическое расслоение крестьянства, на деле были лишь «моментальными снимками» хозяйств на разных стадиях этого жизненного цикла.

химических удобрениях, намного отставало от европейского уровня. А усовершенствованные севообороты с чередованием корнеплодов и зерновых, вошедшие в практику Западной Европы в ходе аграрной революции XVIII века, в отсталой крестьянской России оставались почти неизвестны.[31]

В этих условиях, не имея капитала для модернизации хозяйства, крестьяне могли прокормить растущее число ртов лишь одним способом — распахивать всё больше земли. В рамках трёхполья проще всего было сократить площадь пара — и тысячи деревень именно так и поступали. Но в долгосрочном отношении это лишь ухудшало положение: почва истощалась из-за чрезмерной эксплуатации, а поголовье скота — главного источника удобрения — сокращалось из-за нехватки паровых и других пастбищ. К началу века каждый третий крестьянский двор не имел даже лошади.[32] Чтобы обработать землю, приходилось нанимать лошадь или самим впрягаться в плуг. Трудно найти более печальный символ калечащей бедности, в которой жили миллионы людей, чем крестьянин и его сын, из последних сил тащащие плуг по грязи.

Самое соблазнительное решение земельного голода крестьяне каждый день видели из собственной деревни — помещичью усадьбу. «Каждый крестьянин, — писал князь Львов, — в глубине души верил, что когда-нибудь, рано или поздно, помещичья земля станет его». В 1870-х годах дворянам принадлежала треть всей пахотной земли России. К 1905 году их доля сократилась до 22 процентов, главным образом благодаря покупкам земли крестьянскими общинами; доля крестьянского землевладения за это время выросла с 58 до 68 процентов. Кроме того, к этому времени около трети дворянской земли сдавалось крестьянам в аренду. Но это вовсе не означает, как утверждали многие историки правого направления, будто земельного вопроса уже не существовало. Большинство крестьян арендовали помещичью землю не от достатка, а под давлением нужды: быстрый рост населения сделал дополнительную аренду необходимой, чтобы прокормить семью. Поэтому они зачастую соглашались платить намного больше того, что земля стоила с чисто хозяйственной точки зрения. Готовность крестьянской семьи надрываться в труде ради собственного пропитания и обеспечила семикратный рост арендной платы, на которой жило дворянство конца XIX века.[33]

В отношениях крестьянства с дворянским землевладением существовала чёткая географическая закономерность, помогающая понять, почему аграрное насилие во время революции распределялось именно так. Крестьянская война против помещиков — и в 1905-м, и в 1917 году — сосредоточилась дугой губерний вдоль южной окраины центральной земледельческой зоны: от Самарской и Саратовской на юго-востоке через Тамбовскую, Воронежскую, Курскую, Харьковскую, Черниговскую, Екатеринославскую, Херсонскую и Полтавскую до Киевской и Подольской на юго-западе. Это были районы крестьянского перенаселения и крупного дворянского землевладения. Арендная плата была высокой, заработки низкими. Вместе с тем плодородная почва и сравнительно продолжительный сельскохозяйственный сезон благоприятствовали развитию товарного производства пшеницы, сахарной свёклы и других культур, пригодных для механизации. Иными словами, крестьяне этих переходных областей оказались между двух миров и испытали худшие стороны обоих: старого докапиталистического земледелия центральной России и нового товарного хозяйства окраин. Пока помещики продолжали сдавать им землю — пусть даже по непомерной цене, — крестьяне ещё могли кое-как выживать. Во время падения мировых сельскохозяйственных цен между 1878 и 1896 годами большинство помещиков именно так и поступало. Но затем цены на хлеб выросли, перевозки подешевели, перспектива высокой прибыли стала заманчивой, и многие владельцы вернулись в имения, чтобы превратить их в товарные хозяйства. Между 1900 и 1914 годами площадь пашни, которую дворянство обрабатывало собственными силами, выросла почти на треть по России в целом, а в этих переходных районах — гораздо сильнее. В Полтавской губернии, где в 1902 году прокатилась первая настоящая волна крестьянского насилия, площадь помещичьей земли, обрабатывавшейся непосредственно владельцами, за эти годы почти удвоилась. Землю, которую прежде сдавали крестьянам и от которой зависело пропитание их семей, у них отбирали либо сдавали на ещё более кабальных условиях. Часто денежную аренду заменяли отработками на помещичьей земле — *отработкой*, которую крестьяне воспринимали как новую разновидность крепостного права. Кроме того, во многих крупных товарных имениях появились жатвенные и молотильные

машины, из-за чего спрос на крестьянский труд — а вместе с ним и заработная плата — ещё больше снизился. Многие семьи, зависевшие от сезонных заработков, в конце концов были совершенно вытеснены с земли.[34]

В последние десятилетия старого режима миллионы крестьян постепенно покидали землю из-за бедности или иных несчастий — пожара, смерти взрослого работника, любой беды, способной для семьи, утонувшей в долгах, провести грань между выживанием и катастрофой. Всё более частой причиной задолженности и разорения становилось пьянство. Семёнов описывал в Андреевском целый слой беспробудных пьяниц: «Взрослые всегда были худые, забитые; дети — рахитичные, с распухшими от золотухи шеями, большими испуганными глазами на бледных малокровных лицах и раздутыми животами на тонких ножках».[35]

Некоторые из этих бедняков ещё умудрялись кормиться местными промыслами — ткачеством, плотницким ремеслом, гончарным делом, сапожничеством, заготовкой леса и извозом, хотя многие кустарные занятия вытеснялись фабричной конкуренцией. Другие переселялись в Сибирь, где колонистам предоставляли землю. За десятилетие после голода 1891 года этот путь проделало более миллиона крестьян, особенно с Украины. Но подавляющее большинство пополняло армию отходников, которые каждую весну шли пешком или ехали на телегах по размокшим дорогам, спускались по разлившимся рекам в самодельных лодках или тайком пробирались на пароходы, пересекали Россию в неотапливаемых вагонах или цепляясь за крыши поездов. К началу XX века эта кочующая армия насчитывала около девяти миллионов человек.[36] Они стекались на пасхальные ярмарки найма, где помещики набирали людей на пахоту в крупных товарных хозяйствах. Позднее летом приходила новая волна работников на жатву. Затем они рассеивались по всей стране в поисках зимней работы — на железных дорогах, верфях, шахтах, стройках, в мастерских и на фабриках, — чтобы следующей весной повторить весь круг заново.

Каждый год эти крестьянские мигранты — и телом, и духом — всё дальше уходили от деревни и втягивались в новый мир российской промышленной революции. За последние полвека старого режима городское население империи выросло в четыре раза — с 7 до 28

миллионов. Большую часть этого прироста составляли крестьяне, хлынувшие в города на заработки. Сначала приходили молодые мужчины, многие почти мальчики, затем женатые, потом незамужние девушки и, наконец, замужние женщины с детьми. К 1914 году три четверти жителей Петербурга официально числились крестьянами по происхождению — против менее чем одной трети полувеком ранее. Половина из 2,2 миллиона жителей города приехала туда в течение предыдущих двадцати лет.[37] В Москве воздействие этого массового крестьянского притока ощущалось ещё сильнее. Толпы крестьян на улицах, множество рынков под открытым небом — один существовал даже на Красной площади, — немощёные улицы, деревянные дома и домашний скот, свободно бродивший по рабочим окраинам, придавали огромным частям города почти сельский вид. Москву и сегодня называют «большой деревней».

* * *

Семён Канатчиков (1879–1940) был лишь одним из миллионов крестьян, совершивших переход из деревни в город во время промышленного подъёма 1890-х годов. Много лет спустя, став небольшим сановником большевистского государства, он описал этот опыт в мемуарах. Канатчиков родился в бедной крестьянской семье в деревне Гусево Волоколамского уезда Московской губернии. Его отец был рождён крепостным и, хотя пытался улучшить положение, арендуя землю, понемногу торгуя и самостоятельно научившись читать, всё равно жил на грани бедности, как большинство крестьян его округа. Каждую зиму он уходил в город батрачить, оставляя больную и слабую жену, потерявшую четырнадцать из восемнадцати детей, одну вести хозяйство. Годы неудач превратили его в тяжёлого пьяницу, и, напившись, он бил жену и детей. При этом, как многие русские, сочетал пьянство с глубоким страхом Божиим и больше всего хотел, чтобы сын вырос «хорошим крестьянином». Молодой Канатчиков не мог выносить такой жизни. После ранней смерти матери, в которой он винил отца, он решил бежать. «Мне хотелось как можно скорее избавиться от однообразия деревенской жизни, — писал он позднее, — освободиться от отцовского деспотизма и опеки, начать жить самостоятельно и независимо».[38] Вскоре бедность заставила отца уступить его просьбам.

В шестнадцать лет Канатчиков наконец уехал в Москву, где отец устроил его учеником на металлообрабатывающий завод Густава Листа. Там, подобно тысячам других крестьянских переселенцев, он начал заново определять себя — и как рабочего, и как «товарища» революционного движения.

Желание Канатчикова покинуть деревню было типичным для его поколения. Однообразие крестьянской жизни и замкнутость деревни тяжело давили на таких молодых людей. После того как они учились читать, это становилось ещё невыносимее: рассказы о городской жизни в газетах и брошюрах только усиливали сознание собственных ограничений. По сравнению с тяготами деревни почти любая городская работа казалась заманчивой. «Все здоровые и крепкие молодые мужчины убегали из нашей деревни в Москву и брались за любую работу, — вспоминал Семёнов. — Мы с нетерпением ждали того возраста, когда сами сможем найти что-нибудь в Москве и оставить родную деревню». Андреевское, деревня Семёнова, как и Гусево, находилось близко от Москвы, и город притягивал молодёжь как магнит. «Близость нашей деревни к Москве, — писал Семёнов другу в 1888 году, — отбила у наших крестьян охоту к земле. Желание общественной жизни, модной одежды, выпивки, стремление к более лёгкому существованию — всё это давит на них очень сильно. Земледелие их больше не привлекает. Каждый всеми силами пытается освободиться от него и найти более лёгкий способ жить».[39]

Стремление улучшить общественное положение очень часто означало одно и то же: уйти из деревни и найти работу вне земледелия. Место конторщика или приказчика молодые крестьяне воспринимали как продвижение вверх. Особенно это относилось к молодым крестьянкам, находившимся в самом низу патриархальной иерархии: работа городской прислугой — именно так зарабатывало большинство из них — сулила лучшую и более самостоятельную жизнь. Подобные стремления отмечали многие наблюдатели. Исследование сельских школьников в начале XX века, например, показало, что почти половина хотела получить в городе «образованную профессию», тогда как менее двух процентов желали пойти по стопам родителей-крестьян. «Я хочу стать приказчиком, — говорил один деревенский школьник, — потому что не люблю ходить по грязи. Я хочу быть как люди, которые чисто

одеваются и работают приказчиками».[40] Родителей и педагогов тревожило, что многие крестьянские мальчики, едва научившись читать и писать, отказывались работать на земле и пытались выделиться среди односельчан, щеголяя в вызывающей городской одежде.

Если для части крестьян главным мотивом ухода в город было честолюбие и надежда подняться в обществе, то чаще, как в случае Канатчикова, подобные перемены становились неожиданным следствием переезда, вызванного бедностью. Но так или иначе опыт города менял мировоззрение большинства переселенцев — их представления о мире, о самих себе и о той деревенской жизни, которую они оставили. В целом он учил мыслить более светски, рационально и гуманистически, сближал их с социалистической интеллигенцией и заставлял отвергать, а порой презирать крестьянскую культуру с её суевериями, мраком и отсталостью. Это была Россия «икон и тараканов», если воспользоваться выражением Троцкого; город же, а для многих — и городская культура революционного движения, олицетворял прогресс, просвещение и освобождение человека. Рядовые члены большевистской партии вербовались из таких крестьян, как Канатчиков. Недоверие и даже презрение, которое они позднее, придя к власти, проявляли к крестьянству, во многом объясняется именно этим социальным опытом. Унылый крестьянский мир ассоциировался у них с собственным тяжёлым прошлым; уничтожить этот мир было важнейшей частью формирования их новой личной и классовой идентичности — не менее важной, чем верность революции.

Отец Канатчикова устроил ему ученичество на завод Густава Листа через земляка из Гусева, который уехал туда работать несколькими годами ранее. Большинство переселенцев опиралось на такие связи, чтобы закрепиться в городе. Крестьяне одной деревни или одной местности создавали объединения — артели или землячества, — помогавшие землякам получить фабричную работу и жильё. Целые целые фабрики и городские кварталы оказывались своего рода «колониями» крестьян из той или иной местности, особенно если выходцы оттуда владели каким-нибудь ценным местным ремеслом; работодатели нередко пользовались такими земляческими связями для набора рабочей силы. Так, промышленный пригород Сормово близ Нижнего Новгорода, где находился один из крупнейших

машиностроительных заводов страны, набирал рабочих главным образом из нескольких окрестных деревень, в которых металлообработка издавна была распространённым промыслом. Благодаря подобным объединениям переселившиеся в город крестьяне сохраняли связь с родными деревнями. Большинство из них дополняли фабричный заработок, удерживая за собой земельный надел в общине и возвращаясь летом домой, чтобы помочь семье с уборкой урожая. В страдную пору это сильно нарушало работу фабрик. Другие регулярно посылали деньги своим семьям. Так они могли одной ногой оставаться в деревне, пока их экономическое положение в городе ещё не стало устойчивым. Более того, в некоторых промышленных районах — например, на Урале и в горнопромышленных областях юга — рабочие нередко продолжали жить в своих деревнях, где семьи держали огород, и ежедневно ходили или ездили на фабрики и рудники.

Многие из этих переселенцев по-прежнему считали себя прежде всего крестьянами, а фабричную работу воспринимали как способ добыть деньги в денежной экономике и поддержать семейное хозяйство. Они сохраняли крестьянский облик: носили традиционные домотканые ситцевые рубахи вместо фабричной одежды, стриглись «под горшок», а не по новым городским модам, и отказывались брить бороды. «Они жили тесно и грязно, скупо, во всём себе отказывая, лишь бы накопить побольше денег для деревни, — вспоминал Канатчиков. — По праздникам ходили к обедне и навещали земляков, а разговоры у них почти всегда шли о хлебе, земле, урожае и скоте». Накопив достаточно, они возвращались в деревню и покупали небольшой участок земли. Другие, однако, подобно Канатчикову, связывали своё будущее с городом. Земельный надел в деревне они считали лишь временной страховкой на тот период, пока не укрепятся в городской жизни.[41]

Через артель из пятнадцати рабочих-переселенцев Канатчиков нашёл себе «угол» в «большом, вонючем доме, населённом всяким бедным людом». Пятнадцать человек, живших в одной комнате, сообща покупали продукты и нанимали кухарку. Каждый день ровно в полдень они спешили с завода домой есть щи — по-крестьянски, «из общей миски деревянными ложками». Канатчиков спал на узкой койке вместе с другим учеником. Его лишённый окна «угол» был грязен, кишел «клопами и блохами» и был пропитан «человеческим духом». Но, по

правде говоря, ему ещё повезло: у него хотя бы было место в отдельной комнате. Многим рабочим приходилось довольствоваться узкими нарами в заводских казармах, где сотни мужчин, женщин и детей спали рядами, подстилая под себя собственную грязную одежду.

В этих казармах, которые Горький сравнивал с «жилищами доисторических людей», не было ни умывальных, ни кухонь, так что рабочим приходилось ходить в баню и есть в столовых. В подобных условиях жили целые семьи. Они старались хоть как-то отгородиться от соседей, завешивая свои нары занавеской. Другие, ещё менее удачливые, вынуждены были ночевать в ночлежках или есть и спать прямо возле станков. Спрос на жильё был так велик, что рабочие без особого удивления отдавали за комнату половину заработка. Домовладельцы делили на комнаты коридоры, подвалы и кухни, стремясь выжать из собственности максимум прибыли. Спекулятивные застройщики торопливо возводили многоэтажные доходные дома, которые тут же снова дробились на всё более тесные квартиры. По обследованию 1904 года в средней петербургской квартире жили шестнадцать человек — по шесть человек в комнате. В рабочих районах показатели были ещё выше. Городская дума могла бы смягчить жилищный кризис, развивая пригороды и дешёвый транспорт, но давление домовладельцев центральных кварталов блокировало такие планы.[42]

Подобно большинству промышленных городов России, Петербург рос почти без планировки. Заводы строились прямо среди жилых кварталов и беспрепятственно сбрасывали отходы в реки и каналы. Городской водопровод служил настоящим рассадником тифа и холеры; в этом на собственном опыте убедилась даже дочь царя, великая княжна Татьяна Николаевна, заболевшая тифом во время празднования трёхсотлетия Романовых. Смертность в этом Городе царей была самой высокой среди европейских столиц, включая Константинополь, а эпидемия холеры возникала в среднем раз в три года. В рабочих кварталах туалет и водопровод имелись менее чем в одной квартире из трёх. Нечистоты скапливались во дворах огромными кучами, пока по ночам их не вывозили деревянные ассенизационные телеги. Воду носили в вёдрах из уличных колонок и колодцев и перед употреблением обязательно кипятили. По всему городу — на фасадах домов, в

трамваях, в сотнях общественных мест — висели написанные крупными красными буквами предупреждения не пить сырую воду, но измученные жаждой рабочие, особенно недавние выходцы из деревни, обращали на них мало внимания. Ничего действительно существенного для улучшения водоснабжения и канализации сделано не было; даже после того, как в 1908–1909 годах холерой заболели 30 000 жителей, положение оставалось общенациональным скандалом. Много говорили о прокладке водовода от Ладожского озера, но проект так и оставался на бумаге до 1917 года.[43]

С первого дня на заводе молодой Канатчиков болезненно ощущал собственную нескладность и деревенский вид. «Квалифицированные рабочие смотрели на меня с презрением, щипали за ухо, дёргали за волосы, называли “зелёным деревенским болваном” и другими обидными словами». Эта рабочая аристократия стала для него образцом, когда он начал вживаться в новую рабочую культуру. Он завидовал их модной одежде: брюки были навыпуск поверх начищенных кожаных сапог, белые рубахи «фантазия» заправлены в брюки, воротнички скреплены шнурком. От них пахло мылом и одеколоном; они стриглись «по-польски» — с боковым пробором, а не посередине, как крестьяне, — и по воскресеньям надевали костюмы и котелки. Забота о внешности, казалось Канатчикову, выражала «сознание собственного достоинства», и именно этого чувства он теперь стремился добиться.[44]

Пока же он находился на самом дне заводской иерархии: неквалифицированный рабочий, трудившийся шесть дней в неделю с шести утра до семи вечера за жалкие полтора рубля в неделю. Поздняя индустриальная революция в России держалась на дешёвой рабочей силе из деревни — на таких людях, как Канатчиков. В этом заключалось её главное преимущество перед старшими промышленными державами, где организованные рабочие уже добились лучшей оплаты и условий труда. Как писал граф Витте в 1900 году, русский рабочий, «воспитанный на скромных привычках сельской жизни», «гораздо легче удовлетворяется малым», чем его собрат в Европе или Северной Америке, так что «низкая заработная плата представлялась счастливым даром для русской промышленности». По мере механизации производства предприниматели всё шире использовали ещё более дешёвый труд женщин и детей. К 1914 году женщины составляли 33

процента промышленной рабочей силы России против 20 процентов в 1885 году, а в некоторых отраслях — текстильной и пищевой — уже преобладали. Завод быстро разрушал их здоровье, особенно если учесть, что многие одновременно тащили на себе плачущих детей и пьющих мужей. «Нельзя не отметить преждевременную дряхлость фабричных работниц, — писал в 1913 году один высокопоставленный врач. — Пятидесятилетняя работница плохо видит и слышит, голова у неё трясётся, плечи резко сгорблены. На вид ей лет семьдесят. Очевидно, лишь крайняя нужда удерживает её на фабрике, заставляя работать сверх сил. На Западе пожилые рабочие получают пенсии; нашим же работницам остаётся надеяться лишь на то, что последние дни они проведут уборщицами при отхожих местах».[45]

Царское правительство неохотно улучшало положение рабочих посредством фабричного законодательства. Это стало одной из его крупнейших ошибок, ибо рост многочисленного и недовольного городского пролетариата оказался одной из главных причин падения режима. Отчасти дело было в том, что влиятельные реакционеры вроде Победоносцева — обер-прокурора Святейшего синода и ближайшего советника двух последних царей — вообще отказывались признавать существование «рабочего вопроса»: Россия, по их убеждению, оставалась и должна была оставаться аграрной страной. Иными словами, рабочих надлежало рассматривать не более чем как крестьян. Другие опасались, что реформы лишь повысят ожидания рабочих. Но главное беспокойство вызывало то, что значительная доля российской промышленности находилась в руках иностранного капитала,[24] и если расходы на рабочую силу вырастут, владельцы могут вывести деньги из страны. Завоевания, которых британские рабочие добились в 1840-е, а германские в 1880-е годы, на рубеже веков оставались для русских рабочих недоступными. Два важнейших фабричных закона — закон 1885 года, запрещавший ночной труд женщин и детей, и закон 1897 года, ограничивавший рабочий день одиннадцатью с половиной часами, — правительство приняло лишь под давлением крупных забастовок. Но и эти реформы оставляли множество лазеек. Мелкие ремесленные предприятия и потогонные мастерские, где, вероятно, трудилось

[24] Доля иностранного капитала в акционерных обществах выросла с 25 процентов в 1890 году примерно до 40 процентов накануне Первой мировой войны.

большинство рабочих страны, вообще не подпадали под действие защитного законодательства. Инспекция, призванная следить за соблюдением правил, не обладала достаточными полномочиями, и хозяева безнаказанно её игнорировали. Цеха наполнялись ядовитыми испарениями и оставались без вентиляции.

Рабочие помещения были забиты опасными машинами, и несчастные случаи происходили постоянно. При этом большинство рабочих не имело законного права на страхование: потеряв глаз или конечность, человек мог рассчитывать лишь на несколько рублей компенсации.

«Фабрикант — абсолютный государь и законодатель, которого не сдерживают никакие законы», — заявлял профессор Янжул, один из ведущих сторонников фабричного регулирования в 1880-е годы. Нанимая рабочих по частным договорам, предприниматели действительно могли обходить значительную часть трудового законодательства. В договоры вставлялись всевозможные условия, лишавшие работников законных прав. Ещё долго после официального запрета штрафов рабочим продолжали урезать заработок за низкую производительность, поломки и мелкие нарушения фабричных правил — иногда просто за посещение уборной в рабочее время. Одни хозяева унизительно обыскивали рабочих у ворот в поисках украденного, другие подвергали их телесным наказаниям. Третьи запрещали носить шапки или приходить на работу в лучшей одежде — чтобы напомнить человеку его место. Такой «крепостной режим» рабочие воспринимали как оскорбление личного достоинства. «Нас даже людьми не считают, — жаловался один, — смотрят как на вещи, которые в любой момент можно выбросить». Другой говорил: «За границей даже лошадям дают отдых. А жизнь наших рабочих хуже лошадиной».[46] По мере того как у рабочих росло чувство собственного достоинства, они всё настойчивее требовали уважительного обращения. Они хотели, чтобы хозяева говорили им вежливое «вы», а не фамильярное «ты», напоминавшее старый крепостной порядок. Они хотели, чтобы к ним относились как к «гражданам». Именно вопрос уважения, а не только обычные требования о хлебе и заработке, часто становился причиной забастовок и демонстраций.

Историки исчерпывающе искали корни этой рабочей воинственности. Размер фабрик, квалификация и грамотность, динамика заработков и цен, число лет, прожитых в городе, влияние революционной интеллигенции — все эти факторы были разобраны до мельчайших подробностей в бесчисленных монографиях, авторы которых надеялись найти ту решающую комбинацию, что объяснила бы подъём «рабочей революции». Главный спор касается последствий урбанизации. Одни исследователи полагают, что ударной силой революции стали наиболее урбанизированные рабочие — самые квалифицированные и грамотные.[47] Другие утверждают, что наибольшей склонностью к насилию отличались недавние переселенцы — те, кого, по выражению Троцкого, «вырвали из-за сохи и прямо бросили в фабричную печь»; попав в новую, враждебную промышленную среду, они часто переносили туда стихийные формы деревенского бунтарства.[48]

Нет сомнения, что крестьянские переселенцы добавляли городскому рабочему классу взрывоопасности и задиристости. В первые десятилетия индустриализации трудовые конфликты часто выражались в стихийных вспышках насилия — беспорядках, погромах, грабежах, ломке машин; именно таких действий можно было ожидать от вырванной из привычного мира, плохо организованной крестьянской массы, пытавшейся приспособиться к городу и заводской дисциплине. Некоторые из этих «доиндустриальных» форм протеста стали постоянной чертой трудовых волнений. Характерный пример — обычай во время стачек и демонстраций усаживать хозяина фабрики или мастера в тачку, вывозить за ворота и опрокидывать в выгребную яму либо канал. Но было бы слишком смело считать именно такие «примитивные» формы протеста или стоявших за ними вчерашних крестьян решающей причиной роста рабочей воинственности.[49] В 1890-е годы главной формой промышленного протеста стала забастовка, а она требовала дисциплины и организации, которые могли обеспечить лишь наиболее городские рабочие — более грамотные и квалифицированные. В таком движении переселенцам из деревни редко принадлежала ведущая роль. Более того, они нередко вообще не хотели бастовать. Имея в деревне землю, куда можно было вернуться в тяжёлые времена, они меньше склонны были рисковать ради стачки, чем те, кто уже

порвал связи с деревней и полностью зависел от заводской зарплаты. Именно последние стояли в первых рядах рабочего движения.

Здесь Россия резко отличалась от Европы, где наиболее квалифицированные и грамотные рабочие, как правило, были менее революционны и постепенно втягивались в широкое демократическое движение. В России почти не было признаков формирования подобной умеренной «рабочей аристократии». Ближе всего к этой роли стояли типографские рабочие — высокооплачиваемые и тесно связанные с интеллигенцией. Но даже они твёрдо поддерживали марксистские и эсеровские партии. Если бы им позволили создавать легальные независимые профсоюзы, они, возможно, получили бы от существующего порядка достаточно, чтобы не стремиться к его уничтожению. Тогда российское рабочее движение могло бы пойти по пути умеренных реформ, как в Европе. Но сама политическая система толкала рабочих к крайностям. Лишённые возможности строить собственные независимые организации, они вынуждены были опираться на руководство революционного подполья. В значительной мере, следовательно, революционное рабочее движение было создано самим царским режимом.

Воинственность — это прежде всего совокупность установок и чувств. История Канатчикова показывает, что корни рабочей радикализации были в значительной степени психологическими. Его личность менялась по мере того, как он приспосабливался к городской жизни и овладевал новыми навыками. Освоение точной работы модельщика — элитной профессии в машиностроении, где рабочий готовил модели и формы для металлических деталей, — придало ему уверенность в собственных силах. Эта работа лучше оплачивалась и усиливала чувство собственного достоинства. Умение читать и разговоры с товарищами знакомили его со светским образом мысли и новыми «научными» теориями — дарвинизмом, марксизмом, — которые подтачивали его религиозную веру. И в других отношениях молодой Канатчиков старался освободиться от власти деревни. Его отталкивало «хулиганство» соседей по артели: пьянство, драки, грубые крестьянские манеры. Он снял отдельную комнату, торжественно поклялся не пить ничего крепче чая и приступил к строгой программе самовоспитания, стремясь стереть всякие следы своего бедного

крестьянского происхождения. Он хотел создать новый образ самого себя и подражать, как он говорил, «молодым городским металлистам, которые сами зарабатывали себе на жизнь и не губили себя водкой». Он накопил деньги, чтобы постричься по-польски, купить модную куртку с перламутровыми пуговицами и фуражку с бархатным околышем — такую, какие носила рабочая аристократия. Для воскресных дней он приобрёл костюм, часы для жилетного кармана, соломенную шляпу и щегольские ботинки. За пятнадцать копеек он купил даже «Самоучитель танцев и хороших манер», где объяснялось, что нельзя вытирать нос салфеткой, и рассказывалось, как есть такие деликатесы, как артишоки и спаржа, хотя, как он потом признавался, «я даже не знал, относятся ли эти вещи к животному, растительному или минеральному царству».[50]

Стремление к самосовершенствованию было вполне естественным для квалифицированных рабочих вроде Канатчикова: они хотели подняться над своим крестьянским происхождением и занять в обществе положение, которого, как подсказывало растущее чувство собственного достоинства, заслуживали. Многие мечтали жениться на девушке из мещанской среды и открыть маленькую лавку или собственное дело. Они читали бульварные ежедневные газеты, например «Петербургский листок», проповедовавшие викторианские идеалы самопомощи, наставлявшие читателей в вопросах вкуса и приличий и одновременно развлекавшие их сенсационными историями о жизни богатых и знаменитых.

Неудивительно, что это стремление к респектабельности сопровождалось у рабочей элиты некоторой чопорностью — почти болезненной заботой отгородиться от «тёмной» массы рабочих-крестьян, вести себя трезво и «культурно».[25] Но у тех выходцев из деревни, которые, подобно Канатчикову, впоследствии примкнули к большевикам, эта чопорность нередко принимала крайние формы. Трезвость превращалась в воинствующее пуританство: словно

[25] Здесь лежали корни характерного русского понятия «культурность» - состояния, связывавшегося прежде всего с хорошими манерами, а не с высокой образованностью, как в западном понимании слова «культурный», от которого оно произошло. Подобный смысловой поворот мог возникнуть, пожалуй, только в такой стране, как Россия, отчаянно стремившейся избавиться от своего крестьянского прошлого и усвоить внешние атрибуты западной цивилизации, не обязательно принимая её более глубокие нравственные установки.

строгими, аскетическими манерами, чаепитием и самодисциплиной можно было окончательно изгнать из себя крестьянское прошлое. «Мы считали, что ни один сознательный социалист не должен пить водку, — вспоминал один такой большевик. — Мы осуждали даже курение. Мы проповедовали мораль в самом строгом смысле слова». Именно поэтому столь многие рядовые большевики избегали любовных связей, хотя в случае Канатчикова это, возможно, объяснялось и его собственными неудачами с женщинами. Рабочие-революционеры, признавал он позднее, «выработали отрицательное отношение к семье, браку и даже к женщинам». Они считали себя людьми «обречёнными», чья судьба без остатка принадлежит революции и может быть скомпрометирована «сношениями с девушками». Эти первые пролетарские революционеры были настолько строгих правил, что их иногда принимали за пашковцев — благочестивую евангельскую секту. Даже полиция порой путалась, получая распоряжение усилить наблюдение за «революционными» рабочими, которые пили исключительно чай.[51]

* * *

Именно через своих чаепийных товарищей молодой Канатчиков впервые вошёл в подпольные «кружки», где читали социалистическую литературу и занимались просвещением рабочих. На первых порах большинство таких кружков организовывали студенты-народники, но к концу 1890-х, когда Канатчиков перебрался в Петербург и вступил там в один из кружков, инициативу уже перехватили марксисты. Для него, как и для многих других «сознательных» рабочих, главным притяжением кружка был доступ к новому миру знания. Здесь он познакомился с Пушкиным и Некрасовым, с книгами по естествознанию, истории, арифметике и грамматике, с театром и серьёзной музыкой, а также с популярными марксистскими брошюрами того времени. Всё это давало ему ощущение, что он поднялся на более высокий культурный уровень, чем большинство рабочих, проводивших свободное время в трактире. Но в обществе либеральной буржуазии, покровительствовавшей их кружкам, Канатчиков и его товарищи по-прежнему чувствовали себя неловко. Иногда, вспоминал он, их водили «напоказ» в модные дома состоятельных людей:

> Наш интеллигент-проводник громко представлял нас, особенно подчёркивая слова: «сознательные рабочие». Затем нас угощали чаем и всевозможными странными закусками, к которым мы боялись притронуться, опасаясь допустить какую-нибудь неловкость. Разговоры с такими либералами носили очень натянутый характер. Они расспрашивали нас о той или иной прочитанной книге, выспрашивали, как живёт рабочая масса, о чём думает, интересуется ли конституцией. Некоторые спрашивали, читали ли мы Маркса. Всякую глупость, которую мы в смущении произносили, встречали снисходительным одобрением.

Покидая такие вечера, Канатчиков и его друзья «облегчённо вздыхали и смеялись над тем, как мало хозяева понимают нашу жизнь». На словах они соглашались со своими студентами-наставниками, что либералы могут быть полезны революционному делу, но «внутри нас постоянно росли какая-то враждебность к ним и чувство недоверия».[52] Именно это недоверие, сознание рабочих, что их стремления не совпадают с либеральными, впоследствии ускорило падение Временного правительства в 1917 году.

Представления Канатчикова о социализме в то время были ещё чрезвычайно подвижны. То же можно сказать о большинстве рабочих. Им было трудно усваивать сложные и отвлечённые идеи, зато они хорошо откликались на пропаганду в форме простых рассказов и брошюр, где показывалась эксплуатация рабочего в его повседневной жизни. Огромной популярностью пользовались рассказы Горького. После бегства из Красновидова он скитался по стране, перебиваясь случайными заработками, пока не познакомился с писателем и критиком В. Г. Короленко, который посоветовал ему заняться литературой. К середине 1890-х Горький стал всероссийской знаменитостью — первым по-настоящему крупным писателем, вышедшим из городского дна сезонных рабочих, бродяг и воров, мир которых он изображал с яркостью и состраданием. В простой рабочей одежде, с моржовыми усами и резко очерченным лицом, Горький воспринимался как настоящее явление в салонах радикальной интеллигенции. Рабочим было легко узнавать себя в его рассказах: в них говорилось о том, чем была наполнена их собственная повседневность, а само литературное имя писателя словно выражало их дух непокорности и бунта. Очевидная симпатия Горького к

промышленному рабочему и столь же очевидная неприязнь к «отсталой» крестьянской России прошлого давали людям вроде Канатчикова, пытавшимся порвать со своими корнями, новый набор нравственных ориентиров и идеалов. В знаменитом отрывке из «Детства» (1913), например, Горький спрашивал себя, зачем он записал все случаи жестокости и страдания, заполнявшие его ранние годы, и давал ответ, которому могли бы сочувствовать многие рабочие, подобные Канатчикову:

> Когда я стараюсь вспомнить эти мерзкие ужасы той варварской жизни в России, порой спрашиваю себя: стоит ли вообще о них рассказывать? И всё сильнее убеждаюсь, что да, стоит, потому что это была настоящая, отвратительная правда — и во многом она жива до сих пор. Эту правду необходимо знать до самых корней, чтобы, вырвав их, навсегда стереть её из памяти, из души человека, из всей нашей тяжёлой и постыдной жизни.

Герои горьковских рассказов делились на хороших и плохих — и тех и других писатель определял прежде всего через их общественное положение; оттенков и промежуточных типов оставалось мало. Такой нравственный абсолютизм отвечал растущему классовому и революционному сознанию рабочих. Но сильнее всего, пожалуй, вдохновлял дух бунта, пронизывавший произведения Горького. «Песня о Буревестнике» (1895), его напыщенный гимн романтическому революционному герою, скрытому под образом птицы, летящей над пенными волнами, стала настоящим гимном революционеров и ходила по подполью в сотнях печатных, машинописных и рукописных списков. Как и многие рабочие, Канатчиков знал её наизусть:

> Буревестник, пусть погибнешь,
>
> Но в песне смелых, твёрдых духом
>
> Ты навсегда останешься примером,
>
> Гордым призывом — к свободе и свету![53]

Рабочие охотно читали и рассказы о народной борьбе за освобождение в других странах. «Будь то альбигойцы, сражавшиеся с инквизицией, гарибальдийцы или болгарские националисты — во всех мы видели родственных нам по духу людей», — писал Канатчиков. Не имело значения, что эти зарубежные герои вели совсем иные войны: рабочие

быстро переосмысливали их истории применительно к России. Цензура, запрещавшая литературу о собственных русских «революционерах» прошлого — Пугачёве, декабристах, — поневоле заставляла искать примеры за границей. Следуя старой русской привычке читать между строк, они воспринимали борьбу нидерландцев против инквизиции как вдохновляющий урок того мужества и той организации, которые понадобятся им самим в борьбе с полицией. Вдохновляло прежде всего эмоциональное содержание этих рассказов, романтический образ мятежника как борца за свободу и справедливость. Из них, писал Канатчиков, «мы узнавали, что такое самоотверженность, способность пожертвовать собой во имя общего блага».[54] Отождествляя себя с бесстрашными борцами за освобождение человечества, они обращались в революционную веру.

Особая притягательность марксизма заключалась в той роли, какую он отводил рабочему классу и идее прогресса. Популярные марксистские брошюры конца 1890-х годов, впервые привлёкшие к движению множество рабочих вроде Канатчикова, закрепляли выводы, сделанные после голода 1891 года: экономический прогресс якобы обрекал крестьянство на исчезновение; крестьяне представлялись пережитком отсталого прошлого России, который неизбежно сметёт промышленность; народническая вера в общину, разделяемая ещё многими рабочими-крестьянами, объявлялась несостоятельной. Только марксизм, казалось, мог объяснить рабочему, почему его родители-крестьяне обеднели и почему его самого вынудили уйти в город. Поэтому между увлечением Канатчикова марксистским прославлением индустриализации и прогресса и его собственным психологическим отторжением крестьянского прошлого существовала прямая связь. Подобно многим выходцам из деревни, Канатчиков вложил значительную часть собственной личности в идеал освобождения через промышленность. Он находил «поэзию» в «грохоте и пыхтении» фабрики. Для таких рабочих марксизм выглядел современной «наукой», которая в простых чёрно-белых категориях объясняла устройство мира и показывала, как его можно изменить.

Часто говорили, что марксизм, по крайней мере в своей массовой форме, действовал подобно религии. Однако такие рабочие, как Канатчиков, совершенно искренне считали учение Маркса наукой,

равной естественным наукам, и было бы несправедливо сводить их убеждения к разновидности религиозной веры. В то же время в мировоззрении многих таких людей несомненно присутствовал догматизм, который легко принять за религиозный фанатизм. Он проявлялся в высокомерии, с каким рабочие, уже взобравшиеся на высоты марксистского понимания, смотрели на тех, кто ещё не достиг подобных вершин. Один «товарищ», например, во время ареста надменно заявил полицейскому, что тот «дурак», поскольку «никогда не читал Маркса» и «даже не знает, что такое политика и экономика».[55] Отчасти этот догматизм объяснялся бедностью политического выбора: будь у рабочих доступ к большему числу идей, марксистское учение, возможно, воспринималось бы ими с большим сомнением и осторожностью. Но корни уходили и в сам способ, которым большинство этих людей знакомилось с философией. Когда взрослый человек начинает изучать то, что обычно преподают детям в школе, ему нередко трудно выйти за пределы самых простых абстрактных представлений. Они глубоко застревают в сознании и мешают позднее усваивать более сложные знания. Мир видится чёрно-белым, потому что узость образования скрывает прочие оттенки. Примерно так марксизм воздействовал на рабочих вроде Канатчикова. Он давал простое решение проблем «капитализма» и отсталости и при этом не требовал самостоятельного мышления.

Рабочий, решивший примкнуть к боевому трудовому движению, почти неизбежно навлекал на себя преследования. Стоило местной полиции узнать о его деятельности, как его вскоре увольняли с фабрики как смутьяна. Но в годы промышленного бума спрос на квалифицированный труд был столь велик, что рабочие вроде Канатчикова без труда находили новую работу. Они переходили с фабрики на фабрику, создавая нелегальные рабочие клубы и кружки, пока полиция не настигала их и снова не вынуждала уезжать. Перед перспективой вечной беготни менее стойкий активист мог предпочесть вернуться в безопасную родную деревню. Для Канатчикова и подобных ему это было уже невозможно. Они связали себя с революционным движением, сделали его частью собственной личности. Возвращение к деревенской отсталости разрушило бы столь трудно завоёванное представление о самих себе. Оставался один путь — уход в

революционное подполье. Товарищество, которое они находили там, отчасти компенсировало бездомность, неизбежно ощущавшуюся при постоянных переездах из города в город. Партийная организация становилась, по словам Канатчикова, «родным домом и очагом» рабочего. «Товарищи по борьбе» заменяли «братьев, сестёр, отца и мать». Кроме того, принадлежность к тайному сообществу обладала собственной романтикой. Один большевик-рабочий вспоминал: «Постоянная опасность ареста, тайна наших собраний и сознание, что я уже не просто песчинка, не просто один из рабочих, а член организации, опасной и угрожающей правительству и богачам, — всё это было новым и волнующим».[56]

Чувство принадлежности к партии и участия в её исторической миссии на время растворяло социальные различия между рабочими и марксистской интеллигенцией. Поначалу товарищество оказывалось сильнее классовой границы. Но постепенно отношения между двумя группами всё больше окрашивались напряжением и недоверием. Рабочие учились организовываться самостоятельно. Стачки середины 1890-х стали первым настоящим прорывом независимого рабочего движения. Большинство их возглавляли сами квалифицированные рабочие, хотя марксистская интеллигенция социал-демократической партии играла важную вспомогательную роль, распространяя агитацию и помогая придать стачкам широкий и действенный характер. На этом этапе марксисты ещё придерживались идеи массовой стачечной агитации. Но к концу десятилетия многие стали утверждать, что рабочее движение, сосредоточенное на узких повседневных требованиях, само по себе недостаточно сильно, чтобы свергнуть царский режим. Они требовали более широкого политического движения, в котором ведущая роль принадлежала бы дисциплине и организации социал-демократов, а не самим рабочим. Здесь находился корень конфликта между экономическими целями рабочего движения и политическими амбициями революционной интеллигенции — конфликта, которому вскоре предстояло расколоть всё марксистское движение в России.

Стоя одной ногой на фабрике, а другой в революционном подполье, Канатчиков должен был сделать выбор. Накануне революции 1905 года, как с гордостью сообщал он в последней фразе своих воспоминаний, он

ушёл с завода и стал штатным «профессиональным революционером» в большевистской партии.

ГЛАВА 4

КРАСНЫЕ ЧЕРНИЛА

i. Внутри крепости

В устье Невы, прямо напротив Зимнего дворца, стоит Петропавловская крепость. Пётр Великий заложил её в 1703 году как бастион против шведского флота; это было первое сооружение Петербурга, и несколько лет именно крепость служила столицей его огромной империи. Когда остальной город был возведён — на костях крепостных, погибших при его строительстве, — маленькая островная цитадель перестала быть средоточием царской власти, но продолжала символизировать её устрашающую мощь. В крепостном соборе покоились русские цари, а его золотой шпиль иглой поднимался над центром столицы. За толстыми каменными стенами, под восемью башнями крепости, скрывалась и самая печально известная политическая тюрьма режима. Список её узников… …читался как почётный список русского радикального и революционного движения: Радищев, декабристы, петрашевцы, Кропоткин, Чернышевский, Бакунин, Ткачёв, Нечаев, народники и марксисты, рабочие и студенты — все они страдали в сырых и мрачных камерах крепости. За два столетия её существования в качестве тюрьмы ни одному заключённому не удалось бежать, хотя многие нашли иной выход — в самоубийстве или безумии.

Эта «русская Бастилия» не только держала за решёткой опасных противников режима — она завладела народным воображением. В песнях и балладах крепость изображалась сущим адом. Ходили легенды о пытках, о том, как заключённые годами томились в тёмных, кишащих паразитами подземельях или сходили с ума от могильной тишины, которая специально поддерживалась тюремным режимом. Рассказывали о камерах столь тесных, что человек не мог ни выпрямиться, ни лечь и вынужден был сворачиваться клубком, пока тело не искривлялось и не деформировалось. Существовали истории о тайных казнях: будто ночью заключённых заставляли рыть собственные могилы на замёрзшей Неве, а затем топили подо льдом. В сознании простых людей крепость стала чудовищным символом деспотизма, под

властью которого они жили, символом страха и несвободы. И то, что она находилась в самом центре Петербурга, что люди ежедневно проходили мимо её скрытых ужасов, лишь усиливало этот страх.

В действительности условия содержания были не столь ужасны, как полагала публика. Если сравнивать с тем, что приготовили своим жертвам тирании XX века, Петропавловская крепость выглядела почти удобной гостиницей. Большинство узников имело доступ к еде и табаку, книгам и бумаге для письма, могло получать письма от родственников. Большевику Николаю Бауману во время заключения даже разрешили читать «Капитал» Маркса. В тишине крепостных камер были созданы несколько классических произведений русской литературы, в том числе рассказ Достоевского «Маленький герой», пьеса Горького «Дети солнца» и роман Чернышевского «Что делать?», ставший одной из главных книг революционного движения.[26] Народный образ тюрьмы, якобы набитой десятками тысяч многолетних узников, был чрезвычайно далёк от действительности. Одновременно здесь никогда не находилось более ста заключённых, а после 1908 года — более тридцати. Немногие оставались дольше месяца: большинство переводили в губернские тюрьмы. В феврале 1917 года, когда толпа наконец овладела крепостью, разочаровывающий факт освобождения всего девятнадцати человек — все они были мятежными солдатами, заключёнными лишь накануне, — не позволили испортить революционный миф. Событие было представлено как торжество Свободы над Деспотизмом.

Переосмысление крепости стало важной частью революционной демонологии. Если царский режим следовало представить жестоким и угнетательским, тайным и произвольным в своей карательной власти, то крепость идеально воплощала все эти пороки. Во второй половине XIX века, когда в реальности тюремный режим становился мягче, бывшие узники описывали его с всё более преувеличенным ужасом. В последние десятилетия старого режима возникла настоящая мода на готические тюремные мемуары, и они утоляли общественный спрос на революционных мучеников. Когда Горького однажды спросили, почему он не пополнил эту гору собственными воспоминаниями, он ответил: «Каждый русский, который хоть месяц просидел в тюрьме как

[26] Роман Чернышевского был опубликован, когда автор ещё находился в Петропавловской крепости, - а затем уже запрещён.

“политический” или год прожил в ссылке, считает своим священным долгом подарить России воспоминания о том, как он страдал».[1]

Для критиков Петропавловская крепость была уменьшенной моделью всей царской системы. Россия, заметил маркиз де Кюстин после посещения крепости в 1830-е годы, «сама по себе тюрьма; тюрьма, которую её огромные размеры делают лишь ещё более страшной». Основные контуры царского полицейского государства сложились при Николае I после восстания декабристов 1825 года, когда небольшая группа либеральных дворян, как выразился Пушкин, «между лафитом и клико» задумала навязать монархии конституцию после смерти Александра I. Николай ввёл систему жёстких законов, включая новый цензурный устав 1826 года, который — уникально для тогдашней Европы — требовал предварительного разрешения цензора на всякую печатную публикацию, чтобы подавить любые формы политического инакомыслия.

Созданное в том же году Третье отделение — тайная полиция — получило, и это опять-таки было исключением для Европы, право задерживать и даже отправлять административным порядком в Сибирь всякого, кого подозревали в «политических преступлениях». Ни в одной другой стране мира не существовало двух разновидностей полиции — одной для охраны интересов государства и другой для охраны его граждан.

Однако по-настоящему эффективной машина полицейского государства стала лишь к концу XIX века, с появлением телеграфа и телефона. Охранное отделение, принявшее на себя функции Третьего отделения в 1881 году, вело против революционеров то, что иначе как тайной войной назвать трудно, используя особые полномочия вне рамок закона. У него были тысячи агентов и осведомителей, многие из которых изображали революционеров и докладывали о положении на фабриках, в университетах, армии и даже в самих государственных учреждениях. Дворники ежедневно составляли донесения полиции. Сотни чиновников работали в «чёрном кабинете», вскрывая и читая перехваченную корреспонденцию. «Весь Петербург знает, что его письма читают в полиции», — жаловалась графиня Воронцова Николаю II. Существовал огромный перечень действий — от организации концерта или открытия лавки до чтения Дарвина, — для которых даже

самый знатный гражданин должен был получить разрешение полиции. С точки зрения отдельного человека, возможно, главное различие между Россией и Западом — и при царизме, и при коммунизме — состояло в следующем: в Западной Европе гражданин в целом был свободен делать всё, что государство прямо не запретило, тогда как в России человек не был свободен делать ничего, пока государство специально это не разрешило. Ни один подданный царя, независимо от чина и сословия, не мог спокойно лечь спать, будучи уверенным, что ночью его дом не обыщут, а его самого не арестуют.[2]

Постоянная борьба с полицейским государством вырабатывала у его противников особый тип сознания. От карательной суровости царского режима можно провести прямую линию к революционному террору и далее — к полицейскому государству большевиков. Как сказал Флобер, «в каждом революционере сидит полицейский». Классическим примером был Феликс Дзержинский (1877–1926), основатель ВЧК. К 1917 году значительную часть взрослой жизни он провёл в тюрьмах и на каторге, в том числе последние три года — в Орловском централе, печально известном садистскими пытками. Как руководителя голодовки его подвергали особенно жестоким наказаниям; утверждали, что всё его тело было покрыто шрамами. Придя к власти, Дзержинский воспроизвёл многие из этих методов во время Красного террора. Но он был лишь одним из множества бывших браконьеров, ставших егерями. К 1917 году средний активист-большевик провёл в царских тюрьмах или ссылке почти четыре года, средний меньшевик — почти пять. Тюрьма закаляла революционеров. Она готовила их к «борьбе», давала личную причину ненавидеть старый режим и мстить его представителям. Канатчиков, проведший несколько лет в царских тюрьмах, утверждал, что для рабочих-большевиков вроде него тюрьма действовала как форма «естественного отбора»: «слабые духом уходили из революции, а нередко и из жизни; сильные и стойкие закалялись и готовились к будущим боям». Много лет спустя, в 1923 году, Канатчикову сообщили, что один из судей, приговоривших его к тюрьме в 1910 году, был расстрелян большевиками. «Когда я это услышал, — признавался Канатчиков, — я испытал огромное удовлетворение».[3]

Оправдывать насилие во имя революции были склонны не только профессиональные революционеры. В образованной элите существовал

настоящий культ революционности. Русская «интеллигенция» — само слово русского происхождения — была не столько классом, сколько состоянием духа: по определению оно означало радикальную и непримиримую оппозицию царскому режиму и готовность участвовать в борьбе за его свержение. История революционного движения во многом есть история интеллигенции. Большинство революционных вождей прежде всего были интеллектуалами. Их сознание было наполнено европейской литературой и историей, особенно историей французских революций 1789 и 1848 годов. «Мне кажется, — вспоминала меньшевичка Лидия Дан, — как люди мы были гораздо больше порождением книг, чем реальной жизни».[4] Ни одна другая отдельная группа интеллектуалов не оказала столь огромного влияния на мир XX века.

Те, кто причислял себя к интеллигенции — студенты, писатели, люди свободных профессий и прочие, — имели особый кодекс этики, общие манеры одеваться и говорить, собственные представления о чести и товариществе, не говоря уже о салонах и кофейнях, клубах и кружках, газетах и журналах. Всё это отделяло их как своеобразную субкультуру от остального привилегированного общества, из которого большинство и вышло. У многих был даже характерный внешний вид — небрежная одежда, длинные волосы, бороды и очки, — позднее ставший по всему миру почти эмблемой левого радикала и революционера.[27] Философ Николай Бердяев однажды сравнил русскую интеллигенцию с «монашеским орденом» или «религиозной сектой»; и в её психологии действительно было немало христианского. Достаточно вспомнить неприятие существующего порядка как греховного и порочного; представление о себе как о праведном защитнике «народного дела»; почти мистическую веру в существование абсолютной истины. Радикальная интеллигенция испытывала религиозное благоговение перед каноном революционной литературы. Ариадна Тыркова-Вильямс, например, вспоминала, как в 1880-е её

[27] Отец Лидии Дан любил подшучивать над этой демонстративной радикальностью. Юноши, говорил он, не стриглись, потому что у них «нет времени»; женщины, напротив, стриглись коротко - тоже «ради экономии времени». Женщины поступали в университет, потому что это считалось прогрессивным, а мужчины бросали учёбу - потому что это тоже считалось прогрессивным.

сестра-подросток тайком проносила томик революционных стихов в церковь на вечернюю службу и, пока остальные читали Библию, повторяла призывы к восстанию и террору.[5]

Эта сознательно культивируемая традиция восходила к декабристам. Их казнь в 1826 году дала движению первых мучеников. Новые поколения черпали романтическое вдохновение в самопожертвовании этих дворян-якобинцев. С этого момента — здесь и возник культ оппозиционности — среди сыновей дворян стало модно «из принципа» отказываться от государственной службы. Считалось нравственным предательством позволить использовать себя, как выразился Чичерин, «в качестве прямого орудия правительства, которое беспощадно подавляет всякую мысль и всякое просвещение». Упрямая враждебность царскому государству и всем его чиновникам, даже самым мелким, становилась делом чести. Характерен случай студента Петербургского университета Анатолия Дюбуа в 1902 году. Он «из принципа» отказался пожать руку полицейскому унтер-офицеру, который, регистрируя его новый адрес, дружелюбно беседовал с ним и на прощание протянул руку. В университет поступил полицейский рапорт, Дюбуа исключили — и в результате уже в 1903 году он примкнул к революционному движению и был арестован. Типичный пример того, как царское полицейское государство глупой репрессией толкало умеренного представителя среднего класса в революционное подполье, где и развивалась террористическая традиция. История Ленина была очень похожа. Радикальная интеллигенция с презрением отвергала любой компромисс с «режимом»: считалось, что положить ему конец может лишь насильственная борьба. Либерализм объявляли слабой полумерой. Закон презирали как орудие государства; нравственно его ставили ниже древних крестьянских обычаев и интересов социальной справедливости — а значит, нарушение закона можно было оправдать. На этой зыбкой нравственной основе и вырос революционный настрой, охвативший образованные средние слои во второй половине XIX века. Вера Фигнер, сама террористка, говорила о «культе бомбы и револьвера», в котором «убийство и эшафот приобретали магнитическое обаяние». В интеллигентских кругах сочувствовать террористам считалось признаком «хорошего тона», и многие состоятельные граждане жертвовали им крупные суммы.[6]

Понять этот политический экстремизм невозможно, не принимая во внимание культурную изоляцию русской интеллигенции. Эта крошечная элита была отрезана от официальной России своей политикой, а от крестьянской России — образованием. Обе пропасти почти не поддавались преодолению. Но, возможно, ещё важнее было то, что интеллигенция оказалась отрезанной от того европейского культурного мира, которому стремилась подражать. Как блестяще показал Исайя Берлин, следствием стало то, что идеи, импортированные с Запада — а почти все идеи в России были заимствованными, — в руках русской интеллигенции имели склонность застывать в виде отвлечённых догм. В Европе новые учения вынуждены были конкурировать с другими доктринами и установками; отсюда вырастал здоровый скептицизм по отношению к претензиям на абсолютную истину и формировалась атмосфера плюрализма. В России же существовал культурный вакуум. Цензура запрещала свободное политическое высказывание, и потому едва новая идея проникала в страну, она легко приобретала статус священной догмы — панацеи от всех бед, которую не следовало ни подвергать сомнению, ни проверять на практике. Одна европейская интеллектуальная мода за другой проходила через Петербург — гегельянство в 1840-е, дарвинизм в 1860-е, марксизм в 1890-е, — и каждую по очереди принимали за окончательную истину.[7] В этой своеобразно русской погоне за абсолютом было и много привлекательного — например, страсть к большим идеям, придавшая литературе XIX века её неповторимую силу. Но оборотной стороной идеализма становились назойливое учительство, нравственный догматизм и нетерпимость, по-своему не менее вредные, чем цензура, против которой они выступали. Уверенные, что именно их идеи — ключ к будущему мира, что судьба человечества зависит от исхода их доктринальных споров, русские интеллигенты делили мир на силы «прогресса» и «реакции», на друзей и врагов народного дела, почти не оставляя места сомневающимся. Здесь уже различимы истоки тоталитарного мировоззрения. Как бы ни возражали оба, между Лениным и Толстым было немало общего.

Психологическим источником революционности нередко становилось чувство вины. Почти все эти радикальные интеллектуалы болезненно сознавали собственное богатство и привилегии. «Мы

поняли, — писал радикальный мыслитель Николай Михайловский, — что наше осознание всеобщей истины могло возникнуть лишь ценой вековых страданий народа. Мы должники народа, и этот долг лежит на нашей совести». Дети дворян, воспитанные в усадьбах крепостными слугами, часто испытывали особенно личное чувство вины, потому что, как указывал Марк Раэф, этим «маленьким господам» обычно позволяли жестоко и презрительно обращаться с крепостными няньками и «дядьками», чьей обязанностью было играть с ними.[28] Позже, мучимые совестью, эти дворяне старались выплатить долг «народу», служа ему в революции. Если, думали они, удастся освободить народ, искупится и их первородный грех — рождение в привилегированном сословии. Русская литература XIX века была насыщена темой покаяния за грех привилегии. Вспомним Левина из «Анны Карениной» Толстого, который работает вместе с крестьянами в поле и мечтает отдать им прибыль своего хозяйства, чтобы совершить «бескровную революцию»: «вместо бедности будет общее богатство и довольство; вместо вражды — согласие и связь общих интересов».[8]

Первым шагом к примирению с народом считалось погружение в его повседневную жизнь. Романтический интерес к фольклору, охвативший Европу в XIX веке, нигде не был столь сильным, как среди русской интеллигенции. Как писал Блок в 1908 году — не без лёгкой иронии:

> интеллигенты забивают книжные шкафы сборниками русских народных песен, былин, сказаний, заговоров, причитаний; изучают русскую мифологию, свадебные и похоронные обряды; скорбят о народе; идут в народ; исполнены великих надежд; впадают в отчаяние; наконец, отдают жизнь, идут на казнь или умирают от голода за народное дело.

Поражённая чувством вины за свои привилегии, интеллигенция поклонялась «народу» как святыне. Она глубоко верила в свою миссию служения народу — подобно тому как её дворянские отцы верили в обязанность служить государству. В её мировоззрении «благо народа» было высшим интересом, которому подчинялись все остальные

[28] Эти крестьянские няньки и домашние слуги часто лишались даже собственного имени: к ним обращались уменьшительными вроде Маши или Ваньки. Тем самым им отказывали в самом элементарном признании личности.

принципы — закон, мораль и прочее. Здесь коренился революционный принцип: ради интересов революции допустимы любые средства.

Для слишком многих этих высокородных революционеров привлекательность «дела» заключалась не столько в удовлетворении от реального улучшения повседневной жизни народа, сколько в романтическом поиске внутренней «целостности», которая придала бы их собственной жизни высший смысл и положила конец отчуждению от мира. Именно так, как блестяще показала в биографии Михаила Бакунина Эйлин Келли, было с основателем русского анархизма. По её словам, собственная потребность богатого дворянина «отождествить себя с осмысленной коллективной сущностью» заставила его растворить своё весьма внушительное эго в отвлечённом понятии народного дела. История революционного движения в значительной степени представляет собой коллективную биографию дворянских и буржуазных интеллектуалов, искавших такое чувство принадлежности. Им казалось, что они нашли его в клановой атмосфере революционного подполья.

Что же до их приверженности «народу», она оставалась главным образом отвлечённой. Они любили Человечество, но не всегда были уверены, что любят отдельных людей. Утопический социалист М. В. Петрашевский выразил это предельно ясно: «Не найдя ни в женщинах, ни в мужчинах ничего достойного моей привязанности, я обратился к служению человечеству». В этой идеализированной абстракции «народа» присутствовала немалая доля аристократического презрения к привычкам простого человека. Чем, кроме дворянского происхождения, объяснить авторитарные установки таких революционеров, как Бакунин, Спешнев, Ткачёв, Плеханов и Ленин? Они словно видели в народе прежде всего орудие своих отвлечённых доктрин, а не живых, страдающих людей с собственными сложными потребностями и идеалами. Порой, по иронии судьбы, интересы «дела» требовали даже дальнейшего ухудшения положения народа — чтобы приблизить окончательную катастрофу. «Чем хуже, тем лучше», — любил повторять Чернышевский, имея в виду, что чем тяжелее становилась жизнь, тем благоприятнее это было для революции. Так, он выступал в 1861 году за освобождение крепостных без земли, поскольку это, по его

мнению, привело бы «к немедленной катастрофе».[929] В этом презрении к реальным условиям жизни простых людей уже содержались корни того авторитаризма, к которому революция проявила трагическую склонность. Её вожди собирались освободить «народ» согласно собственным отвлечённым представлениям об Истине и Справедливости. Но если народ не хотел идти туда, куда его вели, или становился слишком хаотичным, чтобы им управлять, его следовало заставить быть свободным.

* * *

В современной России литература всегда была заменителем политики. Нигде шёллиевская формула «поэты — непризнанные законодатели мира» не звучала столь трагически буквально. В отсутствие вызывавших доверие политиков русская публика ждала нравственного руководства в борьбе с самодержавием от писателей. «Вот почему, — писал Белинский Гоголю в 1847 году, — так много внимания уделяется всякому либеральному направлению в литературе, даже при слабом таланте, и почему столь быстро падает популярность даже великих писателей, когда они становятся на службу самодержавию». На протяжении XVIII и XIX веков интеллигенция формировала свои социальные нормы и представления по литературным образцам и тем нравственным выводам, которые из них делали критики.[10]

Русская литературная критика, основанная Белинским, служила средством выражения политических идей — пусть и на эзоповом языке, требовавшем внимательного чтения между строк. Все первые революционные теоретики — Герцен, Белинский, Добролюбов, Чернышевский — писали главным образом о литературе. Именно через литературные журналы 1850-х годов, такие как герценовский «Колокол» и чернышевский «Современник», соединявшие литературу с общественной публицистикой, основные идеи революционного движения впервые получили массовую аудиторию. Ни одна другая культура не придавала такого значения серьёзному литературному

[29] Этому принципу впоследствии следовал Ленин. Во время голода 1891 года он возражал против гуманитарной помощи на том основании, что голод заставит миллионы разорённых крестьян бежать в города и пополнить ряды пролетариата, а значит, ещё на шаг приблизит революцию.

журналу. Эти «толстые журналы» читало и обсуждало практически всё образованное общество.[30] На Западе ничего подобного не было: свобода выражения мнений там сопровождалась куда большей политической апатией.

Начиная с Белинского, русская литература сама возложила на себя одновременно общественную и дидактическую миссию: выявлять движущие силы общества и вести народ к новой, демократической жизни. Ни в одной другой литературе социальный роман не занимал столь важного места: от «Бедных людей» Достоевского в 1840-е до «Матери» Горького в 1900-е он доминировал в каноне. Последний, в свою очередь, стал образцом для советского перерождения социального романа в форме социалистического реализма. Как средство нравственного воспитания, социальный роман почти неизменно содержал «положительного героя», воплощавшего достоинства Нового человека. Его обязательным качеством была преданность народному делу, нередко ценой большого самопожертвования. Герои, увлечённые эстетикой или занятиями, не связанными с «делом», превращались в «лишних людей», отчуждённых от общества.

Самым героическим из таких положительных героев стал Рахметов из ужасного романа Чернышевского «Что делать?» (1862). Этот монолитный титан, ставший образцом для целого поколения революционеров, включая Ленина, отказывается от всех удовольствий жизни, чтобы закалить сверхчеловеческую волю и сделать себя нечувствительным к человеческим страданиям, которые неизбежно принесёт грядущая революция. Он пуританин и аскет: однажды даже спит на постели из гвоздей, чтобы подавить половое влечение. Он тренирует тело гимнастикой и поднятием тяжестей, ест только сырое мясо. Ум он упражняет так же сурово: днями и ночами читает «лишь необходимое» — политику и науку, — пока не усвоит мудрость человечества. И лишь тогда революционный герой отправляется выполнять своё предназначение — «работать на благо народа». Ничто не отвлекает его от дела, даже любовь молодой и красивой вдовы,

[30] «Толстые» литературные журналы сохраняли сходное влияние и в советское время - например, «Новый мир», аудитория которого исчислялась десятками миллионов. Они также служили проводниками политических идей в системе, где открытая политическая дискуссия была запрещена.

которую он отвергает. Его жизнь строга и дисциплинированна, идёт как часы: столько-то времени на чтение, столько-то на упражнения и так далее. И всё же — в этом смысл романа — лишь благодаря такой самоотверженной дисциплине Новый человек способен преодолеть отчуждённое существование прежнего «лишнего человека». Спасение он находит в политике.[11]

Разрешение напечатать роман Чернышевского стало одной из крупнейших ошибок царской цензуры: эта книга обратила к революционному делу больше людей, чем все произведения Маркса и Энгельса вместе взятые. Маркс даже выучил русский, чтобы её прочитать. Плеханов, «отец русского марксизма», говорил, что из этого романа «мы все черпали нравственную силу и веру в лучшее будущее». Революционный теоретик Ткачёв называл его «евангелием» движения, Кропоткин — «знаменем русской молодёжи». Один молодой революционер 1860-х утверждал, что в истории было всего три великих человека: Иисус Христос, апостол Павел и Чернышевский. Ленин, собственный аскетический образ жизни которого тревожно напоминал рахметовский, прочитал роман пять раз за одно лето. Позднее он признавал, что эта книга сыграла решающую роль в его обращении к революции. «Она совершенно меня переделала, — говорил он Валентинову в 1904 году. — Это книга, которая меняет человека на всю жизнь». Важность Чернышевского, по Ленину, заключалась в том, что он «не только показал, что каждый правильно мыслящий и действительно честный человек должен быть революционером, но и — в этом его величайшая заслуга — каким должен быть революционер». Рахметов с его сверхчеловеческой волей и беззаветной преданностью делу был идеальной моделью большевика.[12]

Герой Чернышевского вдохновлял и студентов-нигилистов 1860-х. Их привлекали его аскетизм, вера в науку и отрицание старого нравственного порядка. Их «нигилизм» означал юношеский бунт против эстетического дилетантства поколения отцов — «людей сороковых годов»; воинствующий утилитаризм и материализм, веру в прогресс через применение научных методов к обществу; наконец, тотальное сомнение во всяком авторитете — нравственном и религиозном, — выражавшееся в революционной страсти к разрушению. Дмитрий Писарев, один из студенческих кумиров 1860-х,

призывал своих последователей бить направо и налево по всем учреждениям, исходя из того, что всё, что рухнет от их ударов, и не заслуживает сохранения. Бакунин говорил, что раз старая Россия прогнила до основания, разрушение становится «творческой страстью». Это были рассерженные молодые люди своего времени. Многие происходили из сравнительно скромной среды — дети священников, как Чернышевский, или разночинцы, — и чувство никчёмности России усиливалось у них собственным ощущением социальной ущемлённости. Чернышевский, например, часто выражал глубокую ненависть и стыд за отсталость Саратовской губернии, где вырос. «Лучше было бы, — писал он однажды, — вовсе не родиться, чем родиться русским». В русской интеллигенции существовала давняя традиция национального самоотрицания, связанная с тем, что она была оторвана от простого народа и постоянно ориентировалась на Запад.[13]

Эти беспокойные юноши увидели ещё одно отражение собственных настроений в Базарове — молодом герое тургеневских «Отцов и детей» (1862). Тургенев, «человек сороковых», намеревался создать чудовищную карикатуру на нигилистов, которых считал узкими материалистами, нравственно скользкими и эстетически глухими, хотя впоследствии отрицал подобный замысел. Между Базаровым и студенческим кумиром Писаревым было поразительное сходство. Но пропасть непонимания между реальными «отцами» и «детьми» оказалась столь велика, что молодые радикалы приняли недостатки героя за достоинства и провозгласили Базарова идеалом.

Манифест этих юных якобинцев написал в 1862 году находившийся в тюрьме студент-агитатор Пётр Заичневский. «Молодая Россия», названная по аналогии с «Молодой Италией», имела мало общего с учением Мадзини. Она призывала небольшую, но дисциплинированную группу заговорщиков захватить власть силой, установить революционную диктатуру, провести социалистическое преобразование общества и уничтожить всех врагов — включая демократов и социалистов, выступавших против диктатуры. Манифест вполне мог бы служить описанием того, что позднее сделали большевики, которые и объявили Заичневского своим предшественником. Предполагалось национализировать землю и промышленность, передать всех детей под опеку государства, а выборы во вновь созываемое Учредительное

собрание организовать так, чтобы победила правительственная сторона. Революция будет «кровавой», признавал Заичневский, «но мы не боимся этого, хотя знаем, что польётся река крови и погибнет много невинных жертв». В одном из самых леденящих душу фрагментов русского революционного канона он подсчитывал предполагаемую цену:

> Скоро, очень скоро настанет день, когда мы развернём великое знамя будущего — красное знамя — и с громким криком: «Да здравствует Русская социально-демократическая республика!» двинемся на Зимний дворец, чтобы истребить всех его обитателей. Может быть, достаточно будет убить одну царскую семью, то есть около ста человек; но может случиться — и это вероятнее, — что вся императорская партия встанет как один человек за царя, ибо для них это будет вопрос жизни и смерти. Если так произойдёт, то, веря в себя и свои силы, в поддержку народа и в славное будущее России, которой суждено первой привести социализм к победе, мы поднимем боевой клич: «К топорам!» — и будем убивать царскую партию с не большей жалостью, чем она сегодня проявляет к нам. Будем убивать их на площадях, если эти грязные свиньи посмеют там показаться; убивать в домах; убивать в узких городских улицах; убивать на проспектах столиц; убивать в деревнях. Помните: кто не с нами, тот наш враг, и для уничтожения врагов допустимы любые средства.[14]

Новый дух насилия и ненависти ещё ярче проявился в трудах Сергея Нечаева. Ленин высоко ценил их как теорию революционного заговора. Родившийся в 1847 году в семье крепостных, Нечаев стал первым крупным революционным теоретиком России, вышедшим не из интеллигенции, а из низов. С девяти лет его отдали на фабрику; он сам научился читать и писать, а в 1866 году получил квалификацию учителя Закона Божия. Его пропаганда среди студентов и рабочих Петербурга конца 1860-х была пронизана мотивом классовой мести. «Нечаев, — писала Вера Засулич, народница, позднее ставшая меньшевичкой, — не был продуктом нашей интеллигентской среды. Он был ей чужд. Основой его революционной энергии были не взгляды, усвоенные в общении с этой средой, а жгучая ненависть — и не только к правительству… но ко всему обществу, ко всем образованным слоям, ко всем этим господам, богатым и бедным, консерваторам, либералам и радикалам». Словом, это был большевик до большевиков.

Нечаев прежде всего известен «Катехизисом революционера», написанным им — или, возможно, им совместно с Бакуниным — в 1869

году. Двадцать шесть статей, формулировавших принципы профессионального революционера, могли бы служить большевистской присягой. Нравы большевистской партии были обязаны Нечаеву не меньше, чем Марксу. Главными темами «Катехизиса» были беспощадная дисциплина и полная самоотдача. Основная мысль сводилась к тому, что царский режим можно победить лишь «царскими методами», то есть методами полицейского государства. Первая статья гласила:

> Революционер — человек обречённый. У него нет своих интересов, дел, чувств, привязанностей, собственности и имени. Всё в нём поглощено одним исключительным интересом, одной мыслью, одной страстью — революцией.

Отвергнув всякую мораль, революционер должен быть готов «уничтожить каждого, кто встанет у него на пути». Он обязан закалить себя против страдания: «Все нежные, расслабляющие чувства родства, дружбы и любви, даже всякая благодарность и честь должны быть подавлены, а их место должна занять холодная и единственная страсть к делу революции». К членам общества следовало относиться в соответствии с их предполагаемой полезностью для революции. Так, правящую элиту предлагалось «немедленно уничтожать», богатых — эксплуатировать в интересах дела, демократов — компрометировать и использовать для создания беспорядков. Даже младших товарищей по партии предлагалось рассматривать как «части общего фонда революционного капитала», которыми руководитель распоряжается «по собственному усмотрению».

Одним из товарищей, признанных расходным материалом, оказался Иван Иванов. Нечаев вместе с тремя сообщниками убил его после того, как Иванов отказался исполнять диктаторские приказы Нечаева как руководителя студенческой революционной группы. Жестокость убийства, которое Достоевский использовал в «Бесах» как основу сцены убийства Шатова,[31] вызвала широкое нравственное отвращение даже

[31] Достоевский, сам входивший в 1840-е годы в революционный кружок петрашевцев, использовал роман «Бесы» для нападок на психологию революционеров, прежде всего нигилистов. Центральный персонаж, Пётр Верховенский, явно списан с Нечаева. В одном месте он утверждает, что в борьбе с деспотизмом было бы оправданно убить миллион человек, потому что за сто лет деспоты убьют гораздо больше.

среди социалистов. Бакунин, прежде бывший наставником Нечаева, через восемь месяцев после убийства Иванова писал лондонскому знакомому, предупреждая его не помогать русскому беглецу:

> Н. не останавливается ни перед чем… Глубоко потрясённый [полицейскими репрессиями], уничтожившими тайную организацию в России, он пришёл к выводу, что если он хочет… …создать сильную организацию, ему придётся строить её на принципах Макиавелли и девизе иезуитов: «Насилие — телу, ложь — душе!» Истина, взаимное доверие, солидарность допустимы только среди дюжины товарищей, составляющих внутреннее ядро Общества. Все остальные — не более чем слепое орудие, которым эта дюжина распоряжается по своему усмотрению. Их позволено — более того, необходимо — обманывать, компрометировать и обкрадывать; допустимо даже убивать.[15]

Полиция всё же добралась до Нечаева. В 1872 году его арестовали в Швейцарии и выдали России, где заключили в одиночную камеру Петропавловской крепости. О нём больше ничего не было слышно — считалось, что он умер, — пока восемь лет спустя группа террористов неожиданно не получила от него письмо с планом побега. Одной силой своей личности Нечаев сумел подчинить себе собственных охранников и буквально создал подпольную революционную ячейку в подземельях царской цитадели. Именно охранники вынесли письмо наружу. Позднее, оказавшись перед судом, они предпочли сами отправиться в тюрьму, но не выдать своего руководителя. Однако для Нечаева было уже слишком поздно: в следующем году он умер в крепости. За годы его заключения политический климат изменился, и новое течение — народничество — отвернулось от путчистской тактики, сделав ставку на массовую пропаганду и просвещение как средство разжечь социальную революцию.

Народничество было не столько доктриной, сколько совокупностью чувств и установок. В его основе лежало преклонение интеллигенции перед простым народом и вера в его мудрость и нравственную чистоту. Этот культ проявлялся в литературе не меньше, чем в политике и социальных теориях. Хотя сам термин вошёл в употребление главным образом в 1870-е годы, три основные идеи народничества — первенство свободы и демократии, идеализация крестьянства и вера в особый, самобытный путь России к социализму, отличный от западного, — имели давнюю историю. Она начиналась с радикальных славянофилов

и Герцена в 1840-е годы и полвека спустя завершилась созданием партии социалистов-революционеров.

Разочаровавшись в буржуазной Европе после поражения революций 1848 года, Герцен возложил надежды на крестьянскую Россию — «Молодую Россию», как он её называл, — которой, по его мнению, предстояло первой двинуться к социализму. Носителем этой мессианской миссии должна была стать крестьянская община. Герцен видел в ней неистребимое хранилище древних русских свобод, живой символ подлинной России до того, как на неё были наложены царское государство и его «немецкая» цивилизация. Конечно, это было романтическое видение: оно рождалось из той же тоски по простой братской жизни, не испорченной современной цивилизацией, и из той же веры в «благородного дикаря», которая со времён Руссо вдохновляла европейских мыслителей. По Герцену, община уже содержала в себе социалистические идеалы, к которым остальная Европа — Старая и «умирающая» Европа — только стремилась. Она была демократична и уравнительна, поскольку основывалась на совместном пользовании землёй; воспитывала дух общности и общественного согласия между крестьянами; через древние обычаи выражала более глубокое чувство социальной справедливости и нравственности, чем западная правовая традиция, основанная на защите частной собственности. Словом, община как будто давала России возможность перейти прямо к социализму, минуя болезненный опыт капитализма.

Теория революции Герцена сводилась к одному центральному положению: раз источником всякой свободы является народ, а источником всякого угнетения — царское государство, Россия может быть освобождена только подлинной социальной революцией. Эта революция должна быть демократической — идти снизу и опираться на волю народа. Она должна быть и тотальной, то есть ниспровергнуть чуждую цивилизацию, на которой строилась царская система, поскольку русский народ слишком долго был угнетён, чтобы довольствоваться «полусвободами» политических реформ. Из этого вытекали важные выводы относительно методов революционеров, и именно здесь влияние Герцена на позднейшее народничество оказалось особенно сильным. Ни одно меньшинство не имеет права навязывать народу свои отвлечённые идеалы. Не должно быть больше разговоров о

заговоре и захвате власти — всё это неизбежно закончится тиранией и террором. Вместо того чтобы разрушить стены царской тюрьмы, заговорщики лишь «приспособят их к новой функции, словно тюремный план можно использовать для свободной жизни».[16] Единственными демократическими средствами революции считались просвещение и пропаганда: они должны были помочь народу осознать собственные интересы и постепенно подготовиться к власти.

Но при всей демократичности этого идеала он ставил перед народниками — а затем и перед марксистами — огромную проблему. Если революция должна исходить от самого народа, что делать революционным лидерам, если народ отвергнет революцию? Что если крестьяне окажутся консерваторами? Или рабочие предпочтут пользоваться выгодами капитализма, а не свергать его? Все революционные партии — каждая из которых в то время насчитывала лишь несколько сот человек — раскалывались из-за этого вопроса: где провести границу между рядовыми членами и руководством, между демократией и диктатурой внутри партии? Среди народников, с одной стороны, были такие люди, как Плеханов и Павел Аксельрод, утверждавшие, что иного выхода, кроме ожидания, нет: пропаганда и просвещение должны сначала подготовить почву для массового социального движения. Иначе революцию нельзя будет считать демократической, и она, скорее всего, породит новую диктатуру. Позднее тех же принципов придерживались меньшевики в социал-демократической партии. Но, с другой стороны, народники вроде Ткачёва считали, что бесконечно ждать социальной революции и тем временем осуждать любые формы восстания и террора со стороны её авангарда — значит рисковать тем, что царский порядок успеет стабилизироваться благодаря развитию капитализма. Только сначала захватив власть и установив революционную диктатуру, можно было создать политические условия для перехода к социализму. Эта идея также нашла последователей среди социал-демократов и стала руководящим принципом ленинской теории революции.

Именно с этой дилеммой народники столкнулись после краха движения «в народ». В «безумное лето» 1874 года тысячи студентов покинули аудитории и отправились «к народу». Единой организации не существовало, хотя многие миссионеры входили в кружки Лаврова и

Чайковского, считавшие необходимым распространять среди крестьян пропаганду, готовя их к неизбежной революции. Одетые крестьянами или мелкими торговцами, эти молодые идеалисты хлынули в деревню, чтобы «служить народу»: учили грамоте, нанимались простыми работниками, пытались объяснить причины народных страданий. В этой революционной мистерии огромную роль играли вина и жажда самопожертвования. Студенты болезненно ощущали необходимость вернуть «долг народу». Они принимали идею жить рядом с крестьянами и разделять их лишения, были готовы рисковать холерой, арестом, тюрьмой. Некоторые даже приветствовали перспективу мученичества «за народ»: она превращала бы их в героев. «Ты будешь мыть горшки и ощипывать кур, — говорят героине Тургенева Марианне в романе “Новь”. — И, кто знает, может быть, именно так ты спасёшь свою страну». Крестьяне, однако, встречали этих ребячливых крестоносцев недоверием и враждебностью. Их городские манеры и доктрины казались чужими; пропаганду они не понимали, но достаточно понимали, чтобы почувствовать опасность. «Социализм, — писал позднее один народник, — отскакивал от крестьян, как горох от стены. Наших людей слушали, как священника, — почтительно, но без малейшего влияния на мысли и поступки». Большинство радикалов вскоре было арестовано полицией, иногда по доносам самих крестьян.[17]

Это отрезвляющее столкновение с простым народом заставило народников разочароваться в пропаганде и самой идее стихийной социальной революции. «Мы не можем изменить мышление даже одного крестьянина из шестисот, не говоря уже об одном из шестидесяти, — писал Степняк Лаврову в 1876 году. — Все начинают понимать необходимость организации… Восстание надо организовать».[18] Результатом стало появление более централизованной партийной структуры вместо свободных кружков начала 1870-х. Созданная в том же году организация получила название «Земля и воля» и отошла от открытой пропаганды к подпольному заговору и политической работе. 6 декабря 1876 года она организовала первую публичную политическую демонстрацию в истории России.

Колесо совершало полный оборот: отвергнув якобинство ради социальной революции, народники снова возвращались к якобинским методам заговора, террора и переворота — всё во имя народа. Труды

Петра Ткачёва обозначили решающий водораздел. Они связали якобинскую традицию Нечаева, классическое народничество «Земли и воли» и позднейшую марксистскую традицию Ленина. Большевистский вождь был обязан Ткачёву, пожалуй, больше, чем какому-либо другому русскому теоретику. Родившийся в 1844 году в семье мелкопоместных дворян, Ткачёв несколько лет провёл в Петропавловской крепости после ареста за участие в студенческих волнениях 1861 года. В конце 1860-х он попал под влияние Нечаева, за что снова оказался в тюрьме, а затем в эмиграции в Швейцарии. Именно там он, пусть ещё грубо, начал усваивать социологию Маркса, что постепенно отдалило его от народничества. В середине 1870-х он выступил с резкой критикой движения «в народ». Ткачёв утверждал, что пропаганда не способна вызвать революцию, поскольку законы общественного развития, которым Россия подчиняется так же, как и остальная Европа, неизбежно приведут зажиточных крестьян на сторону режима. Вместо этого революционный авангард должен захватить власть, установить диктатуру и начать строительство социализма. По Ткачёву, время для такого переворота уже созрело, и действовать следовало как можно скорее: пока ещё не возникла реальная общественная сила, готовая поддержать правительство, но с развитием капитализма и буржуазии она вскоре появится. В формулировке, которую Ленин почти повторит в октябре 1917 года, Ткачёв провозгласил: «Вот почему мы не можем ждать. Вот почему мы говорим, что революция необходима — и необходима теперь, именно в этот момент. Нельзя допускать отсрочки. Сейчас — или, быть может, очень скоро уже никогда!» Для осуществления переворота, подчёркивал он, нужна элитарная заговорщическая партия, организованная как армия — высокодисциплинированная и централизованная. И здесь Ленин впоследствии повторит его.[19]

Но возврат к якобинским методам означал, что народники, подобно своим предшественникам, вновь вступали в безнадёжную войну с царским полицейским государством. Начался порочный круг: усиление полицейских репрессий вызывало ответный террор народников, который, в свою очередь, порождал новые репрессии. Перелом наступил в 1878 году, когда Вера Засулич, одна из видных участниц «Земли и воли», выстрелила в петербургского градоначальника генерала Ф. Ф.

Трепова и ранила его. Это была месть за приказ высечь заключённого студента, который — в характерном жесте неповиновения — отказался снять шапку в присутствии градоначальника. Демократическая интеллигенция превратила Засулич в мученицу справедливости, а либеральный суд присяжных оправдал её. Это стало сигналом для волны террора, целью которого было подорвать самодержавие и вынудить его к политическим уступкам. Были убиты два губернских начальника. Шесть раз пытались убить царя, в том числе взрывом на императорском поезде и мощной бомбой в Зимнем дворце. Наконец 1 марта 1881 года, когда Александр II ехал в карете по Петербургу, его убила бомба.

Отвращение, которое эта волна терроризма вызвала даже у части революционеров, привело к расколу «Земли и воли». Одно крыло, назвавшее себя «Народной волей», приняло идеи Ткачёва и сохранило верность террористической тактике, ведущей к насильственному захвату власти. Сформировавшаяся в 1879 году фракция и организовала убийство царя. Многие её руководители затем были арестованы, несколько человек казнены во время репрессий после покушения. Однако начатая ими кампания террора продолжалась в 1880-е годы силами более мелких групп. В одну из них входил старший брат Ленина Александр Ульянов, казнённый после неудачной попытки убить Александра III в шестую годовщину гибели его отца. Предполагалось, что террор расшатает государство и станет искрой народного восстания. Но очень быстро он выродился, как неизбежно вырождается всякий террор, в насилие ради самого насилия. По подсчётам, за последние двадцать лет царского режима террористы убили или ранили более 17 000 человек — свыше чем в пять раз больше числа погибших за двадцать пять лет конфликта в Северной Ирландии.[20] Часть этого террора почти не отличалась от обычной преступности ради личной выгоды. Все революционные партии хотя бы частично финансировались ограблениями, которые эвфемистически называли «экспроприациями», главным образом банков и поездов; ничто не мешало участникам присваивать часть добычи. Это и без того разрушительно действовало на нравственный климат революционных партий. Но ещё губительнее было накопительное действие многолетнего убийства: оно приучало к цинизму, равнодушию и черствости по отношению к жертвам «дела».

Другое крыло «Земли и воли» назвало себя «Чёрным переделом» — крестьянским выражением, обозначавшим всеобщий передел земли. Организация возникла в 1880 году вокруг трёх будущих видных деятелей социал-демократии — Плеханова, Аксельрода и Засулич, которые в начале 1880-х перейдут к марксизму. Они отвергали террор как обречённый на провал и новые репрессии. По их мнению, успешной и демократической может быть только социальная революция, исходящая от самого народа. То, что после убийства Александра II политических уступок добиться не удалось, словно подтверждало первую часть их рассуждения; рост городского рабочего класса давал новые основания надеяться на вторую. С этого и начинается настоящий русский марксизм.

ii. Маркс приходит в Россию

В марте 1872 года на стол царского цензора лег тяжёлый том политической экономии на немецком языке. Автор был хорошо известен своими социалистическими теориями, а все его предыдущие книги в России запрещались. Издателям едва ли следовало ожидать иной судьбы для нового труда. Это была бескомпромиссная критика современной фабричной системы; хотя в 1865 году цензурные законы несколько смягчили, по-прежнему прямо запрещались произведения, распространявшие «вредные учения социализма и коммунизма» или возбуждавшие «вражду одного сословия против другого». Новые правила были достаточно строги, чтобы запрещать такие опасные книги, как «Этика» Спинозы, «Левиафан» Гоббса, «Философия истории» Вольтера и «История европейской морали» Лекки. И всё же этот немецкий magnum opus — 674 страницы плотного статистического анализа — показался слишком трудным и отвлечённым, чтобы быть подрывным. «Можно с уверенностью сказать, — заключил первый из двух цензоров, — что в России его прочтут очень немногие, а поймут ещё меньше». Кроме того, добавил второй, раз автор критикует британскую фабричную систему, его выводы неприменимы к России, где описанной им «капиталистической эксплуатации» якобы вообще не существовало. Ни один цензор не счёл необходимым запрещать публикацию этого «строго научного труда».[21]

Так в России вышел «Капитал» Маркса. Это было первое иностранное издание книги — всего через пять лет после гамбургского оригинала и за пятнадцать лет до первого английского издания. Вопреки ожиданиям и автора, и цензоров, именно в России книга помогла приблизить революцию раньше, чем в тех западных обществах, которым первоначально адресовалась.

Царская цензура вскоре поняла ошибку. Десять месяцев спустя она отыгралась на Николае Полякове, первом русском издателе Маркса: его привлекли к суду за следующую «подрывную» публикацию — сборник рассказов Дидро, который полиция конфисковала и сожгла, разорив издателя. Но было уже поздно. «Капитал» сразу стал бестселлером. Первый тираж в 3000 экземпляров разошёлся за год; для сравнения, тысяча экземпляров первого немецкого издания продавалась больше пяти лет. Сам Маркс признавал, что в России его главный труд «читают и ценят больше, чем где-либо». И славянофилы, и народники приветствовали книгу как разоблачение ужасов западного капитализма, которых Россия, по их мнению, должна избежать. Социология Маркса и его взгляд на историю — пока ещё не политическая программа — в конце 1870-х распространились как повальное увлечение. Среди студентов считалось почти неприличным не быть марксистом. «Теперь никто не смеет поднять голос против Карла Маркса, — жаловался один либерал, — не навлекая на себя гнев его юных поклонников».[22]

После краха движения «в народ» и связанной с ним ложной идеализации русского крестьянина марксистское учение показалось радикальной интеллигенции спасением. Теперь все надежды на социальную революцию можно было перенести на промышленный рабочий класс. Идея крестьянского революционного движения явно исчерпала себя; с 1880-х работу среди крестьян марксисты пренебрежительно называли «малыми делами» — то есть чем-то вроде благотворительности, любимой дворянством и земскими деятелями. Голод 1891 года, казалось, лишь подчёркивал отсталость крестьянства. Он будто показывал, что экономическое развитие обрекло крестьян погибнуть — и как отдельных людей, и как класс. Крестьянство становилось пережитком дикого прошлого России, её «азиатчины», которую неизбежно сметёт промышленный прогресс. Символом культурной отсталости служили истории о том, как во время

последовавшей за голодом холеры крестьяне нападали на врачей, пытавшихся сделать им прививки, потому что считали лекарства странным ядом. В 1890-е годы произошёл настоящий взрыв публикаций по общественным наукам; целые библиотеки заполнялись томами статистики, стремившимися объяснить причины голодного кризиса через марксистские законы экономического развития.

«Научность» марксистской теории опьяняла русский радикальный ум, уже воспитанный на рационализме и материализме 1860-х. Историческая диалектика Маркса, казалось, делала для общества то же, что Дарвин сделал для человечества: давала логичную теорию эволюционного развития. Она была «серьёзной», «объективной», всеобъемлющей системой, объясняющей социальный мир. В этом смысле марксизм отвечал характерно русской жажде абсолютного знания. Кроме того, он был оптимистичен. Он утверждал, что прогресс воплощён в промышленности, что в хаосе истории есть смысл и что через рабочий класс, через сознательное усилие человечества, социализм станет завершением исторического процесса. Для русской интеллигенции, болезненно сознававшей отсталость страны, это было особенно притягательно: выходило, что Россия неизбежно приблизится к передовым странам Запада — прежде всего к Германии, чья социал-демократическая партия служила образцом для всего европейского марксистского движения. Народническая вера в «особый путь» России, словно обрекавшая страну навеки оставаться крестьянской, теперь могла быть отвергнута как романтическая и ненаучная.

Возможно, главным обаянием марксизма было именно обещание приблизить Россию к Западу. По выражению Лидии Дан, марксизм казался «дорогой разума», освещающей путь к современности, просвещению и цивилизации. Другой ветеран марксистского движения, Валентинов, вспоминал в 1950-е годы:

> Мы ухватились за марксизм потому, что нас привлекали его социологический и экономический оптимизм, твёрдая вера, подкреплённая цифрами и фактами, в то, что развитие экономики, развитие капитализма, разлагая и разрушая основы старого общества, создаёт новые общественные силы — в том числе нас самих, — которые непременно сметут самодержавный строй вместе со всеми его мерзостями. С юношеским оптимизмом мы искали формулу надежды и нашли её в марксизме. Нас привлекала и его европейская природа.

> Марксизм пришёл из Европы. От него не пахло домашней плесенью и провинциальностью; он был новым, свежим, волнующим. Марксизм обещал, что мы не останемся полуазиатской страной, а войдём в состав Запада с его культурой, учреждениями и признаками свободного политического строя. Запад был нашим путеводным светом.

Пётр Струве, один из ведущих теоретиков марксизма, говорил, что принял это учение, потому что оно предлагало «научное решение» двух главных российских проблем — освобождения от самодержавия и нищеты отсталости. Его знаменитые слова 1894 года — «Нет, признаем нашу некультурность и пойдём на выучку к капитализму» — стали одним из лозунгов движения. В 1921 году Ленин практически повторил их. Возможно, как предполагал Лео Хаймсон, именно здесь находился интеллектуальный корень особой привлекательности марксизма для евреев.[32] Народничество рисовало архаическую крестьянскую Россию — страну погромов и дискриминации евреев; марксизм предлагал современную, западную картину. Он обещал включить евреев в универсальное движение освобождения человечества — не только крестьянства, — основанное на интернационализме.[23]

До середины 1890-х годов в России было непросто провести чёткую границу между народниками и марксистами. Даже полиция, обычно хорошо осведомлённая в подобных вопросах, нередко путала их. Народники принимали социологию Маркса, переводили и распространяли его труды и в последние годы его жизни даже заручились поддержкой самого Маркса. Марксисты, в свою очередь, многое заимствовали из народнической риторики и тактики, а внутри России — в отличие от эмиграции — были вынуждены работать рядом с народниками. Революционное подполье было слишком малочисленным, чтобы две фракции могли позволить себе полностью разойтись: они совместно пользовались типографиями, работали на одних фабриках и в одних кружках. Между различными рабочими группами существовали значительная подвижность и сотрудничество — «Освобождением труда» Плеханова, рабочей секцией «Народной воли»,

[32] Евреи играли заметную роль в социал-демократическом движении и дали ему многих важнейших лидеров - Аксельрода, Дейча, Мартова, Троцкого, Каменева, Зиновьева и других. В 1905 году Российская социал-демократическая рабочая партия насчитывала около 8400 членов. Бунд, еврейская рабочая партия черты оседлости, - 35 000.

организованными студентами рабочими кружками, Польской марксистской партией и первыми социал-демократическими объединениями. В пропаганде все они сочетали элементы Маркса и народничества.

Именно в этой обстановке молодой Ленин — тогда ещё Ульянов[33] - вошёл в революционную политику. Вопреки советскому мифу, изображавшему Ленина почти готовым марксистским теоретиком ещё в пелёнках, будущий вождь большевистской революции пришёл к политике сравнительно поздно. В шестнадцать лет он оставался религиозным и вообще не проявлял интереса к политике. Главными предметами его увлечения в симбирской гимназии были классические языки и литература. По одной из странных ирониий истории директором гимназии был Фёдор Керенский, отец будущего главного политического противника Ленина в 1917 году. В последний год учёбы Ленина, в 1887-м, Керенский написал характеристику будущего большевика как образцового ученика, который никогда «ни словом, ни делом не давал школьному начальству повода к неудовольствию». Это он связывал с «нравственным» характером воспитания: «Религия и дисциплина, — писал директор, — составляли основу этого воспитания, плоды которого видны в поведении Ульянова». Пока ничто не указывало на будущего революционера; напротив, всё говорило о том, что он пойдёт по стопам отца и сделает блестящую карьеру в царской бюрократии.

Илья Ульянов, отец Ленина, был типичным дворянином-либералом того типа, который его сын позднее станет презирать. Нет никаких оснований для мифа, распространённого Надеждой Крупской в 1938 году, будто он оказывал на детей революционное влияние. Сестра Ленина Анна Ульянова вспоминала, что отец был религиозным человеком, высоко ценил реформы Александра II 1860-х годов и считал своей обязанностью ограждать молодёжь от радикализма. Он занимал должность инспектора народных училищ Симбирской губернии — достаточно высокую, чтобы к нему обращались «Ваше превосходительство». Дворянское происхождение Ленина сильно смущало советских агиографов. Поэтому они предпочитали говорить о скромном происхождении деда по отцу, Николая Ульянова, сына

[33] Псевдоним «Ленин», вероятнее всего, был образован от названия сибирской реки Лены. Впервые Ленин употребил его в 1901 году.

крепостного, работавшего портным в Астрахани. Но и здесь возникала проблема: Николай был отчасти калмыком, а его жена Анна — полностью калмычкой; монгольские черты в лице Ленина были заметны. Для сталинского режима, насаждавшего великорусский шовинизм, это было неудобно. Ещё более неловким оказалось происхождение по материнской линии. Мария Александровна, мать Ленина, была дочерью Александра Бланка — крещёного еврея, который стал состоятельным врачом и землевладельцем в Казани. Его отцом был Моисей Бланк, еврейский купец из Волыни, женившийся на шведке Анне Эстедт. Еврейское происхождение Ленина советская власть всегда скрывала, несмотря на просьбу Анны Ульяновой, писавшей Сталину в 1932 году, что «этот факт можно было бы использовать в борьбе с антисемитизмом». «Ни одного слова об этом письме!» — категорически распорядился Сталин. Александр Бланк женился на Анне Грошопф, дочери состоятельной лютеранской семьи из Германии, и благодаря приобретённому богатству сделал выдающуюся медицинскую карьеру, дослужившись до должности полицейского врача и медицинского инспектора одного из крупнейших казённых оружейных заводов. В 1847 году, достигнув чина статского советника, он вышел в отставку, поселился в имении Кокушкино и записался в дворянство.[24]

Нерусские корни Ленина — монгольские, еврейские, шведские и немецкие — возможно, отчасти объясняют часто выражавшееся им презрение к России и русским, хотя делать вслед за покойным Дмитрием Волкогоновым вывод, будто «жестокая политика» Ленина по отношению к русскому народу проистекала из его «иностранного» происхождения, совершенно неоправданно; то же можно было бы сказать о не менее «иностранных» Романовых. Ленин часто употреблял выражение «русские дураки». Он жаловался, что русские «слишком мягки» для задач революции. И действительно, многие важнейшие задачи революции предполагалось возложить на нерусских — прежде всего латышей и евреев в партии. Но парадоксальным образом — а характер Ленина был полон парадоксов — во многом он оставался типичным русским дворянином. Он любил имение Бланков, где проводил много времени в юности. Молодым человеком он с гордостью называл себя «сыном помещика». Однажды он даже подписался перед полицией: «Потомственный дворянин Владимир Ульянов». В частной

жизни Ленин воплощал именно того бессердечного помещика, которого его правительство однажды уничтожит. В 1891 году, в самый разгар голода, он судился с соседними крестьянами из-за ущерба, нанесённого семейному имению. А в ранних статьях, осуждая практику «дворянского капитализма», сам жил весьма обеспеченно за счёт его доходов, получая почти все средства из ренты и процентов с продажи материнского имения.[25]

Дворянское происхождение было одним из ключей к властному характеру Ленина — обстоятельство, которое его биографы часто недооценивали. Валентинов, живший с Лениным в Женеве в 1904 году, вспоминал, как однажды обнаружил у большевистского лидера редкий и глубоко скрытый источник сентиментальности. Прочитав «Былое и думы» Герцена, где нередко с лиризмом говорится о русской усадебной природе, Валентинов затосковал по давно оставленному семейному имению в Тамбовской губернии. Он рассказал об этом Ленину и увидел явное сочувствие. Ленин стал расспрашивать, как были устроены цветники, но разговор прервал большевик Ольминский. Услышав конец признания Валентинова, он набросился на него за «барышнины» чувства: «Вот сын помещика и выдал себя!» По воспоминаниям Валентинова, Ленин резко оборвал Ольминского:

> Ну а я тогда кто? Я тоже жил в имении, принадлежавшем моему деду. В каком-то смысле и я отпрыск помещичьего рода. Всё это было много лет назад, но я до сих пор не забыл приятных сторон жизни в усадьбе. Не забыл ни лип, ни цветов. Ну что ж, казните и меня. Я с удовольствием вспоминаю, как валялся в стогах, хотя сам их не складывал, как ел землянику и малину, хотя сам их не сажал, как пил парное молоко, хотя коров не доил. Так что же, я… недостоин называться революционером?

Не только чувства Ленина уходили корнями в дворянское прошлое. Оттуда же происходили многие его политические установки: догматизм и властная манера; нетерпимость к любой критике со стороны подчинённых; склонность видеть в массах не более чем человеческий материал для собственных революционных замыслов. Как писал Горький в 1917 году, «Ленин - “вождь” и русский дворянин, не лишённый некоторых психологических черт этого вымершего класса, а

потому считает себя вправе проделать над русским народом жестокий опыт, заранее обречённый на неудачу».[26]

Разумеется, слишком легко переносить образ Ленина 1917 года на молодого человека начала 1890-х. Но многие черты, которые позднее проявятся у власти, уже тогда были заметны. Достаточно вспомнить его бессердечное отношение к страданиям крестьян во время голода 1891 года — идею не помогать им, чтобы ускорить революционный кризис. Тридцать лет спустя, во время голода 1921 года, Ленин проявит такое же равнодушие к их бедствиям, которые теперь уже мог использовать в политических целях.

Благополучная жизнь семьи Ульяновых резко оборвалась в 1887 году, когда старший брат Ленина Александр был казнён за участие в неудавшемся заговоре с целью убийства царя. Александра обычно считали самым одарённым из детей Ульяновых — тем, кому, скорее всего, предстояло оставить заметный след в мире. В то время как у молодого Владимира уже проявлялись жестокость и раздражительность — он часто лгал и жульничал в играх, — Александр был честным и добрым, серьёзным и трудолюбивым. В 1883 году он поступил на естественное отделение Петербургского университета и, казалось, должен был стать биологом. Но после внезапной смерти отца в 1886 году Александр сблизился с группой студенческих террористов, бравших за образец «Народную волю». Все они были сыновьями помещиков, многие поляками; среди них, по иронии истории, оказался Юзеф Пилсудский, будущий правитель Польши и непримиримый противник ленинского режима. Заговорщики решили взорвать царскую карету 1 марта 1887 года, в шестую годовщину убийства Александра II, когда процессия должна была направиться из Зимнего дворца на памятную службу в Исаакиевский собор. Александр применил научные знания, проектируя и изготовляя бомбы. Но полиция раскрыла заговор и арестовала участников; один из них даже бросил одну из александровских бомб прямо в полицейском участке, но самодельное устройство не сработало. Семьдесят два заговорщика были заключены в Петропавловскую крепость; пятнадцать позднее предстали перед судом.

Александр, один из руководителей заговора, понимал, что судьба решена, и произнёс на суде смелую речь, оправдывая террор. Его и ещё четырёх человек казнили.

Существует легенда, будто, узнав о смерти брата, Ленин сказал сестре Марии: «Нет, мы пойдём не таким путём, наш путь должен быть другим». Эта фраза должна была означать, что он уже сознательно выбрал марксизм — отсюда и «мы» — с его отрицанием индивидуального террора. Но это абсурдно. Марии тогда было всего девять лет, и едва ли она могла точно вспомнить слова брата, когда заявила о них в 1924 году. Смерть Александра действительно стала толчком к вступлению Ленина в революционное движение, но первоначально он, как и брат, тяготел к традиции «Народной воли». Его марксизм, формировавшийся постепенно после 1889 года, так и остался пропитан якобинским духом террористов и их верой в первостепенное значение захвата власти.

В 1887 году Ленин поступил на юридический факультет Казанского университета. Там, как брат революционного мученика, он оказался вовлечён в очередную подпольную группу, ориентировавшуюся на «Народную волю». В декабре того же года большинство участников было арестовано во время студенческих демонстраций. Ленина выделили особо — несомненно, отчасти из-за фамилии — и вместе ещё с тридцатью девятью студентами исключили из университета. Это фактически лишило его шанса сделать успешную карьеру в существующем общественном порядке, и вполне вероятно, что значительная часть его ненависти к этому порядку выросла из собственного опыта отвержения. Ленин был чрезвычайно честолюбив. Не сумев сделать себе имя как юрист, он принялся делать его как революционный противник закона. До 1890 года, когда ему вновь разрешили сдать юридические экзамены, он вёл жизнь праздного помещика в материнском имении Кокушкино: изучал право, безуспешно пытался вести хозяйство на ферме, купленной матерью в надежде, что сын «возьмётся за дело», и погружался в радикальную литературу.

Первой и самой большой его любовью стал Чернышевский. Именно через чтение Чернышевского Ленин обратился к революции — задолго до того, как познакомился с Марксом. Когда он наконец пришёл к

марксизму, его мышление уже было вооружено не только идеями Чернышевского, но и Ткачёва, и «Народной воли»; именно эти влияния… …и придали своеобразные черты его «ленинскому» прочтению Маркса. Все главные элементы ленинской доктрины — акцент на дисциплинированном революционном авангарде; убеждение, что действие, «субъективный фактор», способно изменить объективный ход истории и, в частности, что захват государственного аппарата может вызвать социальную революцию; защита якобинских методов диктатуры; презрение к либералам и демократам — да и к социалистам, готовым идти с ними на компромисс, — всё это происходило не столько от Маркса, сколько из русской революционной традиции.

Ленин использовал идеи Чернышевского, Нечаева, Ткачёва и «Народной воли», чтобы ввести в марксистскую диалектику специфически русскую дозу заговорщической политики. Без неё марксизм мог бы остаться пассивным учением, готовым ждать, пока революция созреет вследствие объективного развития, а не стремиться вызвать её политическим действием. Не марксизм сделал Ленина революционером; напротив, Ленин сделал марксизм революционным.

Постепенно, между 1889 и 1894 годами, Ленин приблизился к основному руслу марксизма — но лишь временно. Сначала, как многие провинциальные революционеры, он просто присоединил социологию Маркса к путчистской тактике «Народной воли». Целью революционного движения по-прежнему оставался захват власти, но ареной борьбы должен был стать уже не крестьянский мир, а рабочий класс. Затем, в своей первой крупной опубликованной работе «Развитие капитализма в России» (1893), он попытался примирить вывод Маркса о необходимости капиталистической стадии перед социалистической революцией со своим желанием видеть революцию в ближайшем будущем. Для этого Ленин выдвинул странный, если не сказать абсурдный тезис: будто крестьянская Россия уже охвачена капитализмом. Не менее одной пятой крестьянских хозяйств он причислил к «капиталистическим», а свыше половины крестьян — к «пролетариям». Это был Ткачёв, переодетый Марксом. Только осенью 1893 года, переехав в Петербург, Ленин принял общепринятый тогда марксистский взгляд: Россия находится лишь в начале капиталистической стадии, а для её созревания необходимо

демократическое движение, объединяющее рабочих и буржуазию в борьбе против самодержавия. Разговоры о перевороте и терроре откладывались. Лишь после установления «буржуазной демократии», гарантирующей свободу слова и объединений для организации рабочих, могла начаться вторая, социалистическая стадия революции.

Решающим здесь было влияние Плеханова. Именно он первым разработал эту двухступенчатую революционную стратегию. Наконец русские марксисты получили ответ на вопрос, как прийти к посткапиталистическому обществу в стране, ещё не прошедшей капиталистическую стадию. После стольких лет бесплодного террора эта схема позволяла им верить, что, отказавшись от немедленного захвата власти — который, по словам Плеханова, мог привести лишь к «деспотизму в коммунистической форме», — они всё равно движутся к социализму. Ленин, по собственному признанию, «влюбился» в Плеханова, как и почти все петербургские марксисты. Хотя Плеханов жил в эмиграции, его труды сделали его бесспорным вождём и мудрецом движения. Ни один русский марксист не обладал таким авторитетом в европейском социалистическом мире. Самая знаменитая его работа 1895 года — поразительно редукционистское изложение марксистского мировоззрения, опубликованное под псевдонимом Бельтов и, подобно «Капиталу» Маркса, пропущенное русской цензурой под эзотерическим названием «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», — «за одну ночь превращала людей в марксистов». Плеханов был Моисеем русских марксистов. Его труды, по выражению Потресова, спустили «десять заповедей марксизма с горы Синай и вручили их русской молодёжи».[27]

Поначалу Ленин произвёл на петербургских марксистов плохое впечатление. Многих отталкивала эта низенькая, коренастая фигура с яйцеобразной лысеющей головой, маленькими пронзительными глазами, сухим саркастическим смехом, резкостью и язвительностью. Ленин был новичком, и его затхлый, «провинциальный» вид совсем не впечатлял. Потресов, вспоминая первую встречу, описал его как «типичного купчика средних лет из какой-нибудь северной Ярославской губернии».[34] Но благодаря добросовестной преданности делу и

[34] Ярославские купцы ещё со Средневековья имели устойчивую репутацию людей гораздо более хитрых, чем прочие.

самодисциплине, железной логике и практичности Ленин вскоре выделился среди петербургских интеллектуалов как прирождённый руководитель — человек действия. Многие считали его вполне порядочным человеком; когда хотел, Ленин умел быть обаятелен и почти всегда оставался лично корректным в товарищеских отношениях. Немало людей буквально влюблялись в него. Одной из них стала его будущая жена Надежда Крупская, с которой он познакомился в Петербурге примерно тогда же, когда они оба занимались пропагандой.[28]

Цель их пропаганды состояла в воспитании авангарда «сознательных» рабочих — русских Бебелей вроде Канатчикова, которые должны были организовать рабочий класс для грядущей революции. Но образование вовсе не обязательно делало рабочих революционерами. Напротив, как вскоре обнаружил Канатчиков, большинство квалифицированных и образованных рабочих скорее стремилось улучшить своё положение внутри капиталистической системы, чем уничтожить её. Между главным образом экономическими интересами рабочих и политическими целями активистов и интеллигентов, претендовавших на руководство ими, возникало всё более заметное напряжение. Марксисты столкнулись с той же дилеммой, с какой народники столкнулись в отношении крестьян после середины 1870-х: что делать, если массы не отвечают на пропаганду? Народники пришли к изолированному террору; марксисты на время нашли решение в переходе от пропаганды к массовой агитации[35] - к организации, а вместе с ней и политизации рабочего класса через конкретные трудовые конфликты. Новую стратегию впервые применили во время виленских забастовок 1893 года, когда марксистская интеллигенция не просто читала лекции еврейским рабочим, а участвовала в стачках и даже учила идиш, чтобы завоевать доверие. Два виленских социал-демократа, Аркадий Кремер и Юлий Мартов, изложили этот подход во влиятельной брошюре «Об агитации» (1895): участвуя в организованных стачках, рабочие постепенно поймут

[35] Для марксистов 1890-х «пропаганда» означала постепенное обучение рабочих в небольших кружках с целью дать им общее понимание движения и развить классовое сознание. «Агитация» означала массовую кампанию вокруг конкретного трудового или политического вопроса.

необходимость более широкой политической кампании под руководством социал-демократов, поскольку царские власти никогда не допустят легального профсоюзного движения.

В Петербурге новый план взял на вооружение недолго просуществовавший, но громко названный «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его организовала в 1895 году небольшая группа марксистских интеллектуалов, среди которых заметную роль играли Мартов и Ленин; почти сразу их арестовали. Тем не менее местные активисты могли приписать себе часть заслуг за крупную, хотя и неудачную стачку текстильщиков 1896 года, когда в знак протеста прекратили работу более 30 000 человек.

После года тюрьмы Ленина приговорили к трём годам ссылки в Сибирь (1897–1900). В отличие от «политических» при его собственном будущем режиме, он жил в ссылке довольно комфортно. «По состоянию здоровья» ему разрешили самому выбрать место, и он остановился на отдалённом селе Шушенском в южной части Минусинского края, известном сравнительно мягким климатом. Ленин взял с собой несколько ящиков книг и даже охотничье ружьё и постоянно переписывался с товарищами. Чтобы Крупской разрешили присоединиться к нему, он согласился жениться на ней. Венчание состоялось в церкви, поскольку российское правительство не признавало гражданский брак. Ни жених, ни невеста впоследствии не любили вспоминать этот неловкий эпизод.[29]

Во время ссылки Ленина рабочее движение в России всё больше подпадало под влияние нового течения — «экономизма». Экономисты призывали сосредоточиться исключительно на экономических требованиях. Их целью было улучшение условий жизни рабочих в рамках капиталистической системы, а не её уничтожение. Вначале подобные взгляды высказывали сами рабочие и местные фабричные активисты. Они считали, что рабочим надо предоставить вести свои дела самостоятельно, без руководства социалистической интеллигенции. Но постепенно те же идеи подхватили так называемые легальные марксисты. Их наиболее известные лидеры, Кускова и Струве, были блестящими теоретиками. Под влиянием ревизионизма Эдуарда Бернштейна, в то время потрясавшего германское рабочее движение, а также неокантианства они оспаривали многие основные

положения марксизма. Подобно Бернштейну, они отрицали, что капитализм неизбежно ухудшает положение рабочих. Напротив, капитализм, по их мнению, можно было примирить с социализмом в условиях демократии; со временем две системы могли сблизиться. Следовательно, рабочим следовало делать ставку на реформы, а не на революцию, действовать легально и сотрудничать с буржуазией, а не уходить в подполье и вступать с ней в насильственный конфликт.

Для Плеханова и его сторонников в России экономизм, подобно ереси Бернштейна, означал измену революционной цели марксистского движения. Вместо революционного социализма он грозил построить эволюционный. Вместо «диктатуры пролетариата» — парламентскую демократию. Возможно, в Германии, где социал-демократы уже могли работать в рейхстаге, такая умеренность имела определённую логику. Но в России подобных возможностей не существовало; новый царь, напротив, ясно показал стремление ещё сильнее затянуть самодержавную узду. Поэтому революционную стратегию необходимо было сохранить любой ценой. Необходимость казалась тем более насущной ввиду развития российской политики во второй половине 1890-х. После голода, политизировавшего общество, неонародничество, земский либерализм и легальный марксизм сближались и вместе уже могли образовать общенациональное движение за конституционную реформу. Если бы этому движению дали вырасти и привлечь рабочих и крестьян, революция могла бы быть отложена как минимум на поколение — а возможно, навсегда, — тогда как революционные марксисты были бы вытеснены на политическую периферию.

Сосланного Ленина «ересь» привела в ярость. Крупская вспоминала, что в 1899 году, после чтения работ Кусковой и Каутского, он впал в подавленность, похудел и потерял сон.[30] Идеологическая борьба превратилась для него в глубокий личный кризис. Он принял марксизм как самый надёжный путь к революции — революции, которую, по мнению некоторых, он всё больше воспринимал как продолжение собственной власти и личности. Теперь же марксизм лишали революционного смысла и превращали почти в тот мягкотелый социальный либерализм, который, вероятно, одобрил бы его отец. Ленин атаковал экономизм с той словесной яростью, которая позднее станет отличительной чертой его риторики. Такая тактика, утверждал

он, уничтожит социализм и революцию; победить можно лишь под централизованным политическим руководством дисциплинированной авангардной партии по образцу «Народной воли».

В то время эти взгляды разделяли многие русские марксисты, называвшие себя «политиками». Они стремились создать централизованную партию, которая возглавит рабочее движение и направит его к политическим целям.[36] «Подсознательно, — вспоминала Лидия Дан, — многие из нас связывали такую партию с тем, чем была “Народная воля”». Русские марксисты восхищались германской социал-демократией, но в условиях нелегальности было трудно представить столь же открытую и демократическую организацию. Чтобы победить полицейский режим, партия должна была стать столь же централизованной и дисциплинированной. Она должна была отражать царское государство как в зеркале. Самым быстрым способом построить такую организацию представлялась подпольная газета, которая, по словам Лидии Дан, могла быть «и коллективным агитатором, и коллективным организатором». Так возникла «Искра», созданная Лениным и Мартовым в 1900 году после возвращения Ленина из ссылки. Название перекликалось со словами поэта-декабриста, помещёнными в шапке газеты: «Из искры возгорится пламя». «Искра» была не столько источником новостей, сколько командным центром социал-демократов в их политической и идеологической борьбе против экономистов. Редакционная коллегия — Плеханов, Аксельрод и Засулич в Женеве; Ленин, Потресов и Мартов в Мюнхене — фактически стала первым центральным комитетом партии. Газету печатали сначала в Мюнхене, затем в Лондоне и Женеве и тайно переправляли в Россию через сеть агентов, которая в последующие годы составила ядро партийной организации.

В полемике с экономистами Ленин выпустил брошюру, которой суждено было стать букварём его партии на пути к революции 1917 года и одним из основополагающих текстов международного ленинизма.

[36] Первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии состоялся в 1898 году. На этот основополагающий момент в истории партии, которая через девятнадцать лет будет править крупнейшей страной мира, собрались всего девять социалистов. Они тайно встретились в Минске, приняли декларацию стандартных марксистских целей, после чего почти все были арестованы полицией.

Вполне символично, что название — «Что делать?» — было заимствовано у знаменитого романа Чернышевского. Профессиональный революционер, описанный Лениным, очень напоминал Рахметова — дисциплинированного и самоотречённого борца за народное дело. А требование жёстко дисциплинированной централизованной партии отзывалось эхом русской якобинской традиции, одним из представителей которой был Чернышевский. Именно в «Что делать?» впервые полностью проявился тот резкий стиль ленинской прозы, которому позднее подражали великие диктаторы и революционеры XX века: лающий, почти военный ритм; маниакальная энергия и решительность; накопительные ряды призывов или ругательств; противники, сведённые в одну формулу посредством синекдохи — «господа Бернштейны, Мартыновы и т. п.». Вот характерный фрагмент из начала брошюры, где Ленин проводит линию фронта между сторонниками «Искры» и «бернштейнианцами»:

> Тот, кто не закрывает сознательно глаза, не может не видеть, что новое «критическое» направление в социализме есть не что иное, как новая разновидность оппортунизма. И если судить о людях не по блестящим мундирам, в которые они рядятся, и не по громким названиям, которые они себе дают, а по их действиям и тому, что они действительно отстаивают, станет ясно: «свобода критики» означает свободу оппортунистического направления в социал-демократии, свободу превратить социал-демократию в демократическую партию реформ, свободу внести в социализм буржуазные идеи и буржуазные элементы.
>
> «Свобода» — великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые грабительские войны, под знаменем свободы труда грабили трудящихся. Та же внутренняя ложь содержится в нынешнем употреблении выражения «свобода критики». Те, кто действительно убеждён, что продвинул науку вперёд, требовали бы не свободы новых взглядов существовать рядом со старыми, а замены старых взглядов новыми. Нынешний крик «Да здравствует свобода критики!» слишком напоминает басню о пустой бочке.
>
> Мы идём тесной группой по обрывистому и трудному пути, крепко держась друг за друга. Со всех сторон нас окружают враги, и почти постоянно нам приходится идти под их огнём. Мы соединились добровольным решением именно для борьбы с врагом, а не для того, чтобы отступать в соседнее болото, обитатели которого с самого начала упрекали нас, что мы отделились в особую группу и выбрали путь

> борьбы вместо пути примирения. И вот некоторые из нас начинают кричать: «Пойдём в болото!» Когда мы их стыдим, они отвечают: «Какие вы отсталые люди! Неужели вам не стыдно лишать нас свободы приглашать вас на лучшую дорогу!» Ах да, господа! Вы свободны не только приглашать нас, но и сами идти куда вам угодно, хоть в болото. Более того, мы считаем, что болото — самое подходящее для вас место, и готовы всячески помочь вам туда перебраться. Только отпустите наши руки, не цепляйтесь за нас и не пачкайте великое слово “свобода”, ибо и мы “свободны” идти куда хотим, свободны бороться не только против болота, но и против тех, кто поворачивает к болоту!

Когда брошюра вышла в марте 1902 года, казалось, что Ленин всего лишь выражает общую точку зрения искровцев. Все они хотели централизованной партии: в полицейском государстве вроде России это представлялось необходимым. Диктаторские последствия «Что делать?» — то есть возможность заставить рядовых членов по-военному подчиняться приказам руководства — ещё не были до конца осознаны. «Никто из нас не мог представить, — вспоминала Лидия Дан, — что может существовать партия, арестовывающая собственных членов. Нам казалось несомненным, что если партия действительно централизована, то каждый её член естественно подчиняется указаниям и директивам».[31]

Лишь на II съезде партии, собравшемся в Брюсселе в следующем году, последствия ленинского катехизиса начали становиться очевидными. Результатом стал раскол и появление двух самостоятельных социал-демократических фракций — большевиков и меньшевиков. Непосредственная причина раскола выглядела почти ничтожной. Даже внутри партии сначала никто не осознал, какое историческое значение приобретёт этот спор. Речь шла о точной формулировке первого параграфа устава, определявшего членство в партии. Ленин хотел ограничить членство теми, кто лично участвует в работе одной из партийных организаций; Мартов, признавая необходимость ядра дисциплинированных активистов, предлагал принимать любого, кто признаёт программу партии и готов подчиняться её руководству.

Под поверхностью семантического спора скрывались два противоположных представления о роли партии. Ленин предлагал централизованную заговорщическую организацию профессиональных революционеров в традиции «Народной воли». Он глубоко не доверял

революционному потенциалу масс, полагая, что без руководства элитарного партийного авангарда они неизбежно увязнут в повседневных экономических требованиях. «Социалистическое сознание, — писал он в “Что делать?”, — не может возникнуть у рабочих само собой. Оно может быть внесено только извне». Именно это недоверие к демократии позднее станет основой ленинского централизованного подхода к профсоюзам, Советам и всем другим массовым организациям после 1917 года. Массы, по его мнению, должны быть не более чем инструментом партии. Критики Ленина сразу указали, что подобная централизованная партия неизбежно приведёт к диктатуре. По их мнению, социализм невозможен без демократии, а значит, необходима широкая партия, вырастающая непосредственно из культуры и сознания рабочего класса. Позиция Мартова по первому параграфу первоначально победила 28 голосами против 23. Но затем две группы, поддержавшие его, покинули съезд: пятеро делегатов Бунда, которым отказали в требовании автономии внутри партии, и двое экономистов, потерпевших поражение от искровцев. У Ленина осталось небольшое большинство. Именно поэтому его сторонников назвали «большевиками», а противников — «меньшевиками». С исторической точки зрения ясно, что меньшевики поступили крайне неразумно, позволив закрепиться этим названиям: оно навсегда навязало им образ партии меньшинства, что стало серьёзным недостатком в соперничестве с большевиками.

Ленин немедленно использовал ситуацию, чтобы установить контроль над Центральным комитетом и его органом «Искрой», исключив из редакции трёх «меньшевистских» ветеранов — Засулич, Аксельрода и Потресова. Заговорщические методы Ленина лишь углубили раскол. Поначалу столкновение было связано куда больше с личностями, стилем и эмоциями, чем с чётко сформулированными идеологическими различиями. Меньшевики были возмущены тем, как грубо Ленин обошёлся с тремя смещёнными редакторами, назвав их «наименее продуктивными членами» «Искры». Из солидарности с ними Мартов отказался работать вместе с Лениным и Плехановым в новой редакции. Ленина обвиняли в попытке стать партийным диктатором; один из оппонентов говорил, что ему нужна «палка» армейского командира, чтобы поддерживать дисциплину в строю. Сами

меньшевики всё больше представляли себя защитниками внутрипартийной демократии. Непримиримость Ленина, его отказ залатать разногласия, которые он сам называл «по существу… очень незначительными», и готовность, будучи спровоцированным, открыто признать, что партии нужен диктатор для дисциплинирования «колеблющихся элементов в наших рядах», лишь усиливали эмоциональное напряжение. Заседания тонули в мелочных ссорах: каждая сторона обвиняла другую в том, что та «начала первой» или «предала» товарищей. Люди выбирали сторону исходя из оскорблённых чувств и личной лояльности. Лидия Дан вспоминала, что встала на сторону Мартова не потому, что была уверена в его правоте, а потому что:

> Я чувствовала, что должна его поддержать. Так чувствовали и многие другие. Мартов плохо подходил на роль лидера. Но у него было неисчерпаемое обаяние, притягивавшее людей. Часто невозможно было объяснить, почему они за ним идут. Он сам говорил: «У меня отвратительная привилегия нравиться людям». И, естественно, если случался раскол, Мартов казался благородным, Мартов — честным, а Ленин… что ж, влияние Ленина было огромным, но всё-таки… Для меня лично было трагично признать, что все мои симпатии к Ленину — а они были значительными — основывались на недоразумении.[32]

В течение нескольких лет зарождавшиеся политические различия между меньшевиками и большевиками ещё скрывались под покровом личных факторов. Отчасти это объяснялось тем, что обе фракции жили в тесных эмигрантских сообществах — иногда буквально под одной крышей, — и споры о партийной догме легко переплетались со ссорами из-за денег и любовных отношений. Но решающим вопросом оставалась личность Ленина. Большевизм определялся личной верностью ему; меньшевизм, хотя и в меньшей степени, — противостоянием ему. Валентинов, приехав в Женеву в 1904 году, был поражён «атмосферой поклонения [Ленину], созданной там людьми, называвшими себя большевиками». Сам Ленин закреплял разделение яростными нападками на меньшевиков, например в брошюре «Шаг вперёд, два шага назад» (1904). Теперь он называл их «предателями» марксистского дела. Ни одному из его большевистских помощников не разрешалось даже разговаривать с меньшевистскими руководителями без предварительного согласия Ленина.[33]

Лишь очень постепенно, во время и после 1905 года, различия между фракциями начали формулироваться политически. На самом деле ещё долго — вплоть до 1918 года — рядовые социал-демократы, особенно меньшевики, пытались вновь сшить партию. Особенно это было заметно в провинции, где партийные силы были слишком малы, чтобы позволять себе фракционные распри. Там продолжали действовать объединённые социал-демократические организации. Но по мере того как партия сталкивалась с реальными политическими дилеммами — сначала в революции 1905 года, затем в думский период, — две фракции всё яснее расходились по идеологии, стратегии и тактике, а также по всё более различным политическим стилям и культурам.

Меньшевизм оставался рыхлым движением — высоким по нравственным требованиям, но слабым по дисциплине. Настоящего лидера в том смысле, в каком он был у большевиков, у меньшевиков не существовало; более того, отрицание самой необходимости такого вождя было частью меньшевистской идеологии. Лишь медленно и неохотно они двигались к той формальной партийной структуре, которая у соперников существовала с самого начала. Их дух оставался духом дружеских и неформальных кружков 1890-х — тех самых «обломовских халатов и туфель», над которыми издевался Ленин, вспоминая юность движения. Но меньшевики действительно были демократичнее большевиков и по политике, и по составу. Они привлекали более широкий круг людей: больше нерусских, особенно евреев и грузин, более разнообразные группы рабочих, мелких торговцев и представителей интеллигенции. Большевистские же сторонники происходили из более узкой среды — подавляющее большинство составляли великорусские рабочие и оторванные от земли крестьяне. Возможно, именно эта более широкая социальная база частично объясняет склонность меньшевиков к компромиссу и сотрудничеству с либеральной буржуазией. Это и было главным отличием от большевиков, которые под руководством Ленина всё более непримиримо выступали против демократии. Однако разграничение, как бы ни было оно связано с социальными различиями, носило прежде всего этический характер. Меньшевики были демократами по инстинкту, и их действия как революционеров постоянно ограничивались нравственными сомнениями, вытекавшими из этого.

Большевики были иными. Это были более простые и молодые люди, воинственные рабочие-крестьяне вроде Канатчикова; люди действия, а не размышления. Их привлекали ленинская дисциплина и твёрдое руководство, простые лозунги и убеждение, что царский режим надо свергать немедленно, а не ждать, как советовали меньшевики, пока его размоет развитие капитализма. Именно это прежде всего предлагал им Ленин: мысль о том, что можно что-то сделать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КРИЗИС ВЛАСТИ (1891–1917)

ГЛАВА 5

ПЕРВАЯ КРОВЬ

i. Патриоты и освободители

После целого года метеорологических бедствий летом 1891 года крестьяне Поволжья оказались перед угрозой голодной смерти. Глядя на погибшие посевы, они вполне могли решить, что Бог избрал их для особого наказания. Озимые, посеянные предыдущей осенью, едва успели прорасти, когда ударили морозы. Снега было слишком мало, чтобы защитить молодые всходы зимой, когда средняя температура держалась около тридцати градусов ниже нуля. Весной пришли суховеи, выдувшие верхний слой почвы, а уже в апреле началось долгое засушливое лето. В Царицыне дождя не было девяносто шесть дней подряд, в Саратове — восемьдесят восемь, в Оренбурге — больше ста. Колодцы и пруды высохли, выжженная земля покрылась трещинами, леса преждевременно побурели, скот падал у дорог. Последнюю надежду крестьяне возлагали на урожай. Но даже уцелевшие хлеба оказались низкими и опалёнными солнцем. В Воронежской губернии урожай ржи составил менее 0,1 пуда — 1,6 килограмма — на человека против обычных пятнадцати пудов. «Здесь готовятся голодать, — писал граф Воронцов-Дашков царю из Тамбовской губернии 3 июля. — Озимые у крестьян погибли полностью, положение требует немедленной помощи».

К осени зона возможного голода охватила семнадцать губерний от Урала до Чёрного моря — территорию вдвое больше Франции с населением тридцать шесть миллионов человек. Путешественники описывали всё более отчаянное положение: крестьяне слабели и залегали в избах. Те, у кого оставались силы, грузили жалкие пожитки и бежали куда могли, забивая дороги телегами. Оставшиеся питались «голодным хлебом» из ржаной мякины, смешанной с лебедой, мхом и древесной корой; буханки получались жёлтыми и горькими. Солому снимали с крыш изб и отдавали лошадям: человек может долго голодать, но лошадь без корма просто погибнет, а без неё не будет следующего

урожая. Затем, почти неизбежно, пришли холера и тиф. К концу 1892 года они унесли около полумиллиона жизней.

Правительство пыталось справиться с кризисом как могло. Но бюрократия действовала слишком медленно и неповоротливо, а транспортная система не справлялась. Политические последствия оказались катастрофическими: укрепилось общее впечатление о безразличии и бессердечии властей. Повсюду ходили слухи, например, что упрямая бюрократия задерживает отправку продовольствия до тех пор, пока не получит «статистическое доказательство», что население действительно не располагает никакими иными средствами прокормиться; когда доказательство поступало, помощь часто уже опаздывала. Рассказывали о правительственных общественных работах для разорённых крестьян, где выяснялось, что предполагаемые работники уже лежат при смерти. Писали о больных холерой, которых силой увозили из домов в карантинные пункты за много вёрст от деревень; крестьяне впадали в истерику при появлении врачей, вспыхивали беспорядки, которые приходилось подавлять войсками. Но сильнейшее общественное возмущение вызвала задержка запрета на вывоз зерна до середины августа, когда кризис уже длился несколько недель. О намерении запретить экспорт сообщили за месяц, и торговцы поспешили выполнить зарубежные контракты: хлеб, который мог накормить голодающих, ушёл за границу. Против запрета выступал министр финансов Вышнеградский, чья экономическая политика — по существу повышение налогов на товары широкого потребления, чтобы вынудить крестьян продавать больше зерна, — в глазах общества была одной из главных причин голода. Правительственный лозунг звучал так: «Недоедим, но вывезем».[1]

Подобный цинизм казался оправданным. Власти всё время отказывались признавать само существование «голода», предпочитая эвфемизм «неурожай». Реакционные «Московские ведомости» даже предупреждали, что употребление более «панического» слова будет актом нелояльности: оно вызовет «опасный шум», из которого выгоду извлекут лишь революционеры. Газетам запретили печатать сообщения о «голоде», хотя многие писали о нём, избегая самого слова. Этого оказалось достаточно, чтобы либеральная общественность, потрясённая слухами о катастрофе, уверилась: правительство намеренно скрывает

правду. Сплетни рисовали происходящее в самых мрачных красках. Петербургская хозяйка салона Александра Богданович записала в дневнике 3 декабря:

> Теперь говорят, что Дурново [министр внутренних дел] ещё в мае знал о голоде и должен был тогда заставить Вышнеградского запретить вывоз. Верховский говорит, что вывоз пшеницы запретили лишь тогда, когда Абаза [председатель Департамента государственной экономии] успел выгодно продать собственный хлеб. Говорят, в Симбирской губернии все дети умерли от голода; туда отправили детскую одежду, но всю вернули — носить некому. Возмущение растёт повсюду.

Даже сенатор и член Государственного совета генерал Кутаисов, как передавали, жаловался, что «голода не было бы, если бы правительство не запутало всё до такой степени».[2]

Не справляясь с кризисом, правительство уступило неизбежному и 17 ноября опубликовало императорский призыв к населению создавать добровольные организации помощи голодающим. Политически это стало историческим моментом: власть сама открыла дверь мощной новой волне общественной активности и обсуждения, которую уже не могла контролировать. Очень быстро филантропическая деятельность начала превращаться в политическую. «Опасный шум», которого боялись «Московские ведомости», становился всё громче.

Отклик общества был огромен. «Люди самых разных взглядов и темпераментов бросились в это дело, — вспоминал Василий Маклаков. — Многие оставили обычные занятия и принялись устраивать столовые, а во время эпидемий помогали врачам. Немало людей навсегда потеряло на этой работе положение и здоровье». Земства откликнулись первыми: они уже имели губернские сети для распределения продовольствия и лекарств. Князь Львов, тогда председатель Тульской губернской земской управы, бросился в кампанию помощи так, словно речь шла о его собственной жизни и смерти. То, что он готов был рисковать собой ради крестьян, рядом с которыми жил и работал предыдущее десятилетие, свидетельствовало о его искренней привязанности к ним. И как по-романтически складывалась судьба: именно тогда, работая в столовой для голодающих в Тамбовской губернии, он встретил будущую жену и влюбился. Подобные возвышенные чувства сострадания к крестьянам вовсе не были редкостью среди

прогрессивных землевладельцев его типа. Дворяне и «общественные деятели» создали сотни комитетов для сбора средств жертвам голода. Врачи добровольно вступали в медицинские отряды. Тысячи благонамеренных граждан спешили участвовать в кампаниях помощи, организованных Вольным экономическим обществом и другими добровольными объединениями. На общественных собраниях произносились страстные речи. Газеты печатали на первых полосах призывы крупным шрифтом. Студенты отправлялись на помощь как в новое «хождение в народ».[3] Среди добровольцев был Антон Чехов, врач по образованию и драматург по призванию. Он отложил литературу и пошёл работать на своё уездное земство под Москвой. В августе 1892 года он писал знакомому:

> Меня назначили холерным врачом, и мой участок охватывает двадцать пять деревень, четыре фабрики и монастырь. Я всё устраиваю, открываю бараки и прочее, и мне одиноко, потому что всё, что связано с холерой, мне чуждо, а работа, требующая постоянных поездок, разговоров, хлопот и суеты, страшно утомляет. Писать совершенно некогда. Литературу я давно забросил, а денег у меня нет, потому что ради себя и своей независимости я счёл нужным отказаться от жалованья, которое получают холерные врачи… Крестьяне грубы, нечистоплотны и недоверчивы, но мысль, что наши труды не пропадут даром, делает всё это незаметным.[4]

Толстой тоже оставил писательство и включился в кампанию помощи. Вместе с двумя старшими дочерьми он организовал сотни столовых в голодающих районах, а его жена Соня собирала средства за границей. «Я не могу простыми словами описать полную нищету и страдания этих людей», — писал он ей в конце октября 1891 года. По словам крестьянина Сергея Семёнова, последователя Толстого, помогавшего ему в кампании, великий писатель был настолько потрясён увиденным, что поседел, волосы у него поредели, а сам он сильно похудел. Мучимый чувством вины граф обвинял в голоде общественный порядок, Православную церковь[37] и правительство. «Всё случилось из-за нашего собственного греха, — писал он знакомому в декабре. — Мы отгородились от своих братьев, и есть только одно средство: покаяние,

[37] Православная церковь, незадолго до этого отлучившая Толстого, запрещала голодающим крестьянам принимать пищу из организованных им столовых.

изменение нашей жизни и разрушение стен между нами и народом». Толстой развил эту критику общественного неравенства в эссе «Царство Божие внутри вас» (1892) и в печати. Его слова глубоко отзывались в нравственном сознании либеральной публики, мучимой виной за свои привилегии и отчуждение от крестьянства. Семёнов выразил это чувство стыда, вспоминая кампанию помощи:

> С каждым днём нужда и бедствия крестьян росли. Картины голода были невыносимо тяжёлыми, и ещё мучительнее было видеть, что среди всего этого страдания и смерти раскинулись огромные имения, стоят прекрасные, богато обставленные усадьбы, а старая барская жизнь — с весёлыми охотами и балами, пиршествами и концертами — идёт своим чередом.[5]

Для либеральной публики, мучимой чувством вины, служение «народу» во время голода становилось способом выплатить ему свой «долг». Теперь Толстой воспринимался как нравственный вождь и защитник от грехов старого режима. Его обличения правительства сделали его общественным героем, человеком безупречной нравственности, чьему слову верили как истине о том, что режим так усердно пытался скрыть.

Голодный кризис разбудил и политизировал российское общество, потряс его совесть и окончательно подорвал престиж старой бюрократической системы. Когда непосредственная опасность миновала, недоверие к правительству не исчезло, а усилилось: представители гражданского общества всё настойчивее требовали большей роли в управлении страной. Голод, говорили они, доказал виновность и некомпетентность старого режима; чтобы избежать новой катастрофы, к государственной работе необходимо привлечь более широкие круги общества. Земства, целое десятилетие боровшиеся с усиливавшимся бюрократическим сопротивлением за расширение своих функций, теперь получили мощную поддержку либеральной публики — особенно в своей работе по агрономии, здравоохранению и образованию. Либеральные московские купцы и промышленники, активно участвовавшие в помощи голодающим, начали ставить под сомнение правительственную политику индустриализации, которая казалась губительной для крестьян — главных покупателей их продукции. С середины 1890-х они тоже поддерживали проекты земств и городского самоуправления по оживлению сельской экономики.

Врачи, учителя и инженеры, вынужденные самоорганизоваться в ходе кампании помощи, теперь требовали большей профессиональной автономии и влияния на государственную политику; не добившись этого, они всё чаще переходили к политическим требованиям. В печати, «толстых журналах», университетах, научных и благотворительных обществах споры о причинах голода и о реформах, необходимых для предотвращения нового бедствия, продолжались на протяжении всех 1890-х, задолго после окончания непосредственного кризиса.[6]

Социалистическая оппозиция, почти спавшая в 1880-е годы, благодаря этим спорам ожила с новой силой. Возродилось народническое движение — позднее его назовут неонародничеством, — и в 1901 году это привело к созданию партии социалистов-революционеров. Под руководством Виктора Чернова (1873–1952), выпускника юридического факультета Московского университета, сидевшего в Петропавловской крепости за участие в студенческом движении, партия усвоила новую марксистскую социологию, но сохранила народническую веру в то, что и рабочие, и крестьяне — весь «трудовой народ» — объединены бедностью и оппозицией режиму. Поэтому после голода на короткое время усилилось единство между марксистами и неонародниками: они отложили разногласия о развитии капитализма, который эсеры теперь признавали фактом, и сосредоточились на демократической борьбе. Лидия Дан вспоминала этот период как «новую эпоху… когда для нас важна была уже не столько борьба за социализм, сколько политическая борьба… которая могла и должна была стать общенациональной».[7]

Марксизм как социальная наука быстро превращался почти в национальное вероучение: казалось, лишь он способен объяснить причины голода. Университеты и научные общества охватила новая интеллектуальная мода. Даже старые учреждения вроде Вольного экономического общества попадали под влияние марксистов, которые создавали целые библиотеки общественной статистики, выдавая её за исследования причин великого голода и используя для доказательства марксовых законов экономики. Социалисты, прежде колебавшиеся между марксизмом и иными течениями, после кризиса окончательно обращались к Марксу: вера народников в крестьянство теперь казалась безнадёжной. Пётр Струве (1870–1944), ранее считавший себя

политическим либералом, признавался, что именно голод «сделал из меня гораздо большего марксиста, чем чтение “Капитала” Маркса». Мартов также вспоминал, как кризис обратил его в марксизм: «Мне вдруг стало ясно, насколько поверхностным и беспочвенным было до тех пор всё моё революционерство и как ничтожен мой субъективный политический романтизм перед философскими и социологическими высотами марксизма».[8] Даже молодой Ленин окончательно перешёл в основное русло марксизма только после голода.

Словом, голод политизировал и радикализировал всё общество. Конфликт между населением и режимом был приведён в движение — и пути назад уже не существовало. По словам Лидии Дан, голод стал важнейшей вехой в истории революции, потому что показал молодёжи её поколения, «что русская система совершенно обанкротилась. Чувствовалось, будто Россия стоит на пороге чего-то».[9]

* * *

Это политическое пробуждение общества было частью более широких социальных изменений, лежавших в основе революции. Именно с 1890-х годов можно говорить о появлении гражданского общества, публичной сферы и особой общественной этики — всё это возникало в оппозиции к царскому государству. Уходило время, когда, по выражению Милюкова, самодержавие было «единственной организованной силой» в России и могло господствовать над слабым и раздробленным обществом. Теперь соотношение постепенно переворачивалось. Общественные институты становились всё самостоятельнее и организованнее, тогда как царское государство слабело и всё хуже их контролировало. Голод был решающим поворотом в этом процессе — моментом, когда русское общество впервые политически осознало себя, свои силы, свои обязанности перед «народом» и собственную способность к самоуправлению. В некотором смысле именно тогда Россия впервые стала «нацией».

На политическую сцену эту новую публичную культуру выводили глубокие социальные изменения. Старая иерархия сословий, созданная самодержавием для организации общества вокруг государственных нужд, разрушалась, а на её месте складывалась более подвижная социальная система. Люди, родившиеся крестьянами, а порой даже

крепостными, становились купцами и землевладельцами, учителями, врачами, инженерами, писателями, издателями и меценатами. Сыновья и дочери дворян шли в свободные профессии. Купцы получали дворянство. Браки между сословиями становились обычным делом. В целом люди всё меньше могли и хотели определять себя через старые жёсткие категории.[10]

Это новое гражданское общество было слишком сложным, чтобы описывать его грубым понятием «класс». Во-первых, его идентичность определялась не столько социальным положением, сколько политикой и культурой. Мировоззрение интеллигенции — идея общественного служения и либеральные ценности Запада — формировало его самосознание. Интеллигенция всегда состояла из людей самого разного происхождения и претендовала на то, чтобы говорить от имени всей «нации». Именно эта универсалистская традиция определяла этику и язык формирующейся публичной сферы. Образованные либералы говорили о служении «общественному благу», «обществу» или «нации», противопоставляя это старой дворянской этике службы царскому государству. Своих политиков они называли «общественными деятелями». И это было важной частью самого процесса словесного создания «политической нации»: нужно было отделить её от «чуждого» царского государства, а её лидеров обозначить общим именем, превращавшим их в патриотов народного дела. В России складывалась национальная политическая культура, основанная на идеалах и институтах интеллигенции. В противостоянии старому режиму возникала активная общественность, требовавшая прав независимого гражданства. Эту культуру формировали рост высшего образования, общественного мнения и публичной активности. Между 1860 и 1914 годами число студентов университетов выросло с 5000 до 69 000, причём 45 процентов составляли женщины; число ежедневных газет — с 13 до 856; число общественных организаций — с 250 до более чем 16 000.[11]

Это были признаки появления нового среднего слоя между аристократией, с одной стороны, и крестьянами и рабочими — с другой. Но социально он оставался слишком хрупким, чтобы заслужить устойчивое название «средний класс». Промышленная буржуазия, которая на Западе возглавила формирование среднеклассовой

идентичности, в России была слишком слабой и зависимой от государства, слишком раздробленной региональными и этническими различиями и слишком изолированной от образованной элиты, чтобы сыграть ту же роль. Хотя именно к этому с опозданием стремились либеральные московские предприниматели круга Рябушинских в 1900-е годы.[12] Осознание собственной слабости и изоляции стало важнейшей чертой самосознания зарождавшегося «цензового общества». По мере того как либеральная и образованная публика всё отчётливее видела себя и свою ведущую политическую роль, она всё болезненнее ощущала и огромную, пугающую пропасть, которую голод обнажил между нею и голодными массами. Подобно Южной Африке времён апартеида, либеральная политика России словно хранила в шкафу бомбу замедленного действия — угрозу насильственной революции.

В десятилетие перед революцией 1905 года в авангарде общественной кампании стояли две главные группы: либеральные «земцы» и студенты.

«Земцы» были маловероятными пионерами революции. Большинство представляло собой дворян-землевладельцев, людей практичных и прогрессивных, вроде князя Львова, которые лишь хотели, чтобы монархия играла более положительную роль в улучшении жизни подданных. Они стремились увеличить влияние земств на подготовку государственных законов, но мысль о руководстве широкой оппозицией была им неприятна. Наставник князя Львова Д. Н. Шипов, организовавший земства на общероссийском уровне, сам был убеждённым монархистом и категорически отвергал либеральное требование конституции. Цель его деятельности состояла в укреплении самодержавия через сближение царя с народом, организованным посредством земств и совещательного представительного органа. Во многом он пытался построить снизу то самое «народное самодержавие», которое Николай позднее станет насаждать сверху. Центральной идеей его либерального славянофильства была Россия как «самоуправляющаяся на местах земля с самодержавным государем во главе». Шипов верил в древнее единение царя и народа, которое, по его мнению, разрушило лишь «самодержавие бюрократии».[13]

Следовательно, почва для соглашения между самодержавием и земцами существовала. Но старый режим, как столь часто случалось на

пути к его гибели, предпочёл компромиссу репрессии и тем самым сам породил политическую враждебность земств. Главным архитектором этой самоубийственной политики было всесильное Министерство внутренних дел, видевшее в земствах опасные убежища революционеров и подвергавшее их непрерывным преследованиям. Опираясь на положение 1890 года, губернаторы ограничивали земские бюджеты, цензурировали их издания и смещали или арестовывали избранных членов управ.

Голодный кризис временно приостановил этот конфликт: правительство нуждалось в земствах как в механизме продовольственной и медицинской помощи. Но именно расширение их деятельности во время кризиса подтолкнуло земства снова потребовать автономии и реформ. Впереди шли земские специалисты — учителя, врачи, статистики и агрономы, которых обычно называли «третьим элементом». Их радикальное влияние на земские собрания возросло благодаря непосредственному участию в помощи голодающим. Затем к ним присоединились многие землевладельцы, обвинявшие правительство в том, что оно не защитило сельское хозяйство, и опасавшиеся, что разорённые крестьяне захватят их имения. Теперь они поддерживали земства в защите аграрных интересов провинциального общества от индустриализирующей бюрократии Петербурга. Более либеральные дворяне, такие как князь Львов, потребовали создания всесословного земства на волостном уровне, рассчитывая таким образом включить крестьян в местное самоуправление, а также созыва общенационального представительного собрания. Эти идеи вдохновили Тверской адрес, представленный Николаю II после вступления на престол наиболее прогрессивными земскими лидерами. В речи, возмутившей общественное мнение, новый царь осудил подобные «бессмысленные мечтания» и подчеркнул свою «твёрдую и неуклонную» приверженность «началам самодержавия». Через несколько дней Министерство внутренних дел возобновило преследование земств. Общеземская организация Шипова была запрещена вскоре после основания в 1896 году, толкнув неохотного революционера в объятия более радикальных конституционалистов. Вместе они создали в 1899 году «Беседу» — тайный дискуссионный кружок либеральных земцев, куда входили представители самых

знатных фамилий русской аристократии и князь Львов. Собирались они в московском дворце князей Долгоруковых. Сначала «Беседа» ограничивалась земскими вопросами. Но в 1900 году правительство снова усилило преследования, приказав уволить сотни либералов из выборных земских управ; это неизбежно вынудило изысканный кружок заняться политикой. В следующие два года «Беседа» станет ведущей силой конституционного движения, когда самые разные общественные деятели — от городских лидеров до промышленников — объединятся вокруг её требования реформ.[14]

Университеты с 1860-х годов были организационным центром оппозиции царскому режиму. В русском языке слова «студент» и «революционер» почти стали синонимами. Как и всё общество, студенты были политизированы масштабом человеческих страданий, обнажившихся во время голода. Аудитории превратились в очаги социалистической агитации, а против университетского начальства, находившегося с 1884 года под полицейским контролем, возник новый дух бунта. Александр Керенский (1881–1970) вспоминал товарищескую атмосферу студенческого общежития Петербургского университета: «Студенты жили дружной, тесно спаянной общиной, имели своих любимцев, которых признавали вождями в общих делах… Если в стране происходило что-нибудь исключительное, задевшее нравственные чувства молодёжи, или какой-нибудь приказ учебного начальства касался нашей корпоративной чести, все студенты поднимались как один человек».

Ранняя биография Керенского во многом напоминала биографию Ленина, которому предстояло стать его главным соперником в 1917 году. Он родился в том же Симбирске, на одиннадцать лет позже Ленина. Его отец был директором гимназии Ленина и знакомым его отца, занимавшего должность главного инспектора училищ Симбирской губернии. В 1889 году отец Керенского получил ту же должность в Ташкенте, куда семья и переехала. Как и в случае подростка Ленина, «на этом этапе ничто не предвещало будущей карьеры Керенского как министра революции», вспоминал один из учителей. «Он охотно подчинялся строгой школьной дисциплине, с увлечением ходил в

церковь[38] и даже пел в церковном хоре». В четырнадцать лет Керенский мечтал стать актёром. Одно письмо родителям он подписал: «Будущий артист Императорского театра. А. Керенский».[16] Вера в особое предназначение — та самая, что будет направлять его в 1917 году, — явно укоренилась очень рано. На театральную сцену Керенский так и не попал, хотя на сцене революционной проявит не меньше склонности к эффектной самодраматизации, чем любой провинциальный актёр. В 1899 году он поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет, где когда-то учился отец, но на втором курсе перешёл на юридический. Это тоже оказалось характерным для будущего: переход от истории к праву — типичный шаг человека, строящего карьеру.

В год поступления Керенского студенты Петербурга оказались вовлечены в серию университетских демонстраций. 8 февраля по традиции отмечали годовщину основания университета празднествами в центре города. Но в 1899 году власти не были настроены терпеть студенческую уличную гулянку и запретили её. Когда часть студентов всё же попыталась пройти в город, путь им преградила полиция, избившая их нагайками. Возмущённые студенты начали забастовку протеста, которая распространилась на другие университеты. Требования пока не были политическими: их удовлетворили бы официальные извинения за жестокость полиции и восстановление академических и студенческих свобод, отнятых в 1884 году. Именно к такому выводу пришла позднее специальная комиссия. Вместо этого правительство арестовало студенческих лидеров и пригрозило будущим демонстрантам отправкой в солдаты. Возмущение усилилось; под влиянием социалистических агитаторов студенты начали осуждать весь политический порядок целиком. Даже Керенский, прежде больше интересовавшийся театром, чем политикой, присоединился к протесту. «Прошлогоднее оскорбление не забыто и забыто быть не может, — писал он родителям в феврале 1900 года. — Репрессии были нецивилизованными, вот что нас возмущает, а те, кто их приказал применять, то есть министры, не заслуживают уважения!»[17] В

[38] Как, впрочем, он будет делать всю жизнь.

очередной раз тяжёлая рука правительства превратила небольшой протест в полномасштабное оппозиционное движение.

В ноябре того же года новые студенческие демонстрации произошли в Киеве и других университетах. Министр народного просвещения Боголепов в январе 1901 года ответил отправкой более двухсот студенческих руководителей в армию. Месяц спустя студент Карпович выстрелил Боголепову в шею и смертельно ранил его — это стало первым актом новой волны террора. Общество в целом почти не оплакивало министра; Керенский и его товарищи-студенты даже считали Карповича святым. Возмущение вызывали прежде всего репрессии Боголепова. «Ведь посылать студентов в солдаты — отвратительно, — писал Горький Брюсову, — это вопиющее преступление против свободы личности, идиотская мера сытых властью негодяев». 4 марта, через два дня после смерти Боголепова, Горький участвовал в огромной демонстрации в Петербурге. Столица остановилась: перед Казанским собором собрались около трёх тысяч студентов. Развернули красные знамёна, запели «Марсельезу», Горький выступил с речью против действий правительства. Среди участников было много буржуазных либералов, сочувствовавших студентам, а также десятки нынешних и будущих знаменитостей революционного движения. Внезапно из-за собора появилась сотня конных казаков и врезалась в толпу, размахивая нагайками. Среди избитых был Струве. Люди бросились врассыпную; часть толпы ворвалась в сам собор, где шла служба. Тринадцать человек погибли, сотни ушли с окровавленными лицами, около полутора тысяч студентов были арестованы, многие попали в Петропавловскую крепость. Впервые столь большое число респектабельных буржуазных граждан оказалось за знаменитыми тюремными стенами. Родители и друзья ежедневно приносили заключённым роскошные корзины еды. Известный табачный фабрикант, чей сын оказался в тюрьме, прислал десять тысяч дорогих папирос и потом регулярно повторял подарок. Поступили тысячи книг, так что студенты могли наверстать давно заброшенную учёбу; правда, по словам одного из них, большую часть времени они проводили на шахматных турнирах и концертах. Весь этот опыт он назвал «чем-то вроде студенческого пикника».[18]

Для многих это стало первым шокирующим столкновением с принудительной властью государства и потому сильно их радикализировало. Тысячи студентов вступили в партию эсеров, чья Боевая организация возглавила террористическую кампанию, вскоре стоившую жизни министру внутренних дел Д. С. Сипягину. Другие примкнули к социал-демократам. Но главным политическим домом демократически настроенной студенческой молодёжи стал созданный в 1903 году «Союз освобождения». Его вдохновителем был Струве — один из небольшой, но влиятельной группы либералов, покинувших марксизм на рубеже веков. Он доказывал, что насильственная социальная революция станет для России катастрофой. Стране нужен период общественной и политической эволюции по европейскому пути: рабочие должны бороться за права внутри капиталистической системы, а вся демократия — объединиться в конституционном движении. Эти идеи проповедовал журнал Струве «Освобождение», издававшийся в Германии и вдохновивший создание Союза. Кампания полицейских преследований, организованная Плеве, преемником Сипягина в МВД, толкала Союз всё левее. В 1904 году он уже требовал конституции на основе всеобщего избирательного права, самоопределения национальностей и широких социальных реформ.

* * *

Именно в этот момент Россия вступила в войну с Японией. Плеве нередко приписывают слова о необходимости «маленькой победоносной войны, чтобы остановить революцию». Но причины войны были сложнее — а последствия оказались прямо противоположными. Экономическое проникновение России на Дальний Восток, сделавшееся возможным благодаря строительству Транссибирской магистрали в 1890-е, неизбежно сталкивало её с Японией, имевшей собственные амбиции в Корее и Маньчжурии. Но войны всё же можно было избежать, если бы российская внешняя политика находилась в компетентных руках. Вместо этого она оказалась в распоряжении узкого придворного кружка во главе с Александром Безобразовым — влиятельным спекулянтом, имевшим лесные концессии в Корее. Эта группа лоббистов убедила царя отвергнуть японское предложение компромисса, сделав войну практически

неизбежной. Личное вмешательство Николая лишь ухудшило положение; к несчастью, внешняя политика была той областью управления, в которой царь считал себя способным руководить лично. Поскольку в молодости он путешествовал по Дальнему Востоку, Николай даже воображал себя чем-то вроде эксперта по региону. Военный министр генерал Куропаткин полагал, что царь мечтает расширить империю на всю Азию, захватив не только Маньчжурию и Корею, но также Тибет, Афганистан и Персию. Большинство министров подыгрывало этим амбициям: это был удобный способ польстить царю, у которого, в конце концов, было не так много талантов. Его кузен кайзер Вильгельм тоже поддерживал имперские фантазии Николая, поскольку хотел отвлечь Россию от Балкан. Однажды он послал царю с яхты телеграмму: «Адмирал Атлантики приветствует адмирала Тихого океана».[19]

Когда война началась в январе 1904 года японской атакой на русский флот в Порт-Артуре, царь и его советники считали победу почти гарантированной. Куропаткин утверждал, что против трёх японских солдат достаточно двух русских — настолько русские якобы превосходят «азиатов». На правительственных плакатах японцев изображали жалкими обезьянками — узкоглазыми, желтокожими, в панике убегающими от гигантского белого кулака крепкого русского солдата. На другом рой паукообразных «япошек», с перекошенными от страха лицами, пытался выбраться из-под огромной казачьей папахи. Подпись гласила: «Лови их шапками!» Этот патриотический настрой с откровенно расистскими оттенками охватил и либеральное общество. Князь С. Н. Трубецкой, известный профессор философии Московского университета и один из основателей «Беседы», утверждал, что Россия защищает всю европейскую цивилизацию от «жёлтой опасности, новых орд монголов, вооружённых современной техникой». Руководители Киевского университета называли войну христианским крестовым походом против «наглых монголов». Даже легальный марксист Струве счёл необходимым склониться перед патриотическим настроением и призвал сторонников поддерживать нацию и её армию, продолжая при этом бороться с самодержавием.[39] Провинциальные земства пошли ещё

[39] За это правительство обвинило Струве в пораженчестве. К нему даже обращался японский шпион.

дальше. Для помощи Красному Кресту на Маньчжурском фронте тринадцать земств создали объединённый медицинский отряд из 360 врачей и сестёр во главе с князем Львовым. Впервые земствам позволили организоваться на общенациональном уровне. Львов лично просил царя разрешить отправку отряда и так растрогал Николая своей патриотической речью, что тот обнял и поцеловал князя, пожелав успеха. Миссия получила высокую оценку военного командования, превратила Львова в национального героя и позволила земствам обернуть свои требования в государственный флаг.[20]

Если бы Россия выиграла войну, режим, возможно, сумел бы обратить этот патриотический подъём в политическую выгоду. Древнюю связь царского государства с русским национализмом было особенно легко оживить, когда враг приходил с языческого Востока. Монгольское нашествие, для отпора которому когда-то формировалось Московское государство, оставило глубокий след в русской психике. Он проявлялся в тревоге из-за смешанных евразийских корней народа и культуры; поэтому даже образованному либералу Трубецкому было нетрудно убедить себя, что война — не что иное, как защита европейской идентичности России от азиатских орд. А отсюда оставался всего шаг до мысли, что христианское царское государство — главный защитник этой идентичности.

Но выиграть войну оказалось куда труднее, чем представляли правители России. Армия была плохо оснащена современным оружием, а ведение войны за шесть тысяч миль от центра создавало огромные логистические трудности. Главной же проблемой была поразительная некомпетентность высшего командования, цеплявшегося за доктрины XIX века и напрасно губившего тысячи солдат в безнадёжных штыковых атаках на хорошо укреплённые артиллерийские позиции. Сам главнокомандующий адмирал Алексеев почти ничего не знал о военном искусстве. Он боялся лошадей и вынужден был терпеть унижение, обходя кавалерию пешком. Продвижением по службе он во многом был обязан покровительству великого князя Алексея, которого однажды спас от французской полиции после пьяной драки в марсельском борделе. Алексеев предложил арестовать себя вместо великого князя, заявив, будто хозяйка заведения просто перепутала фамилии.[21]

По мере ухудшения положения на фронте либеральная оппозиция оживилась и обвинила правительство в некомпетентном ведении войны. Доказательств хватало — в том числе бессмысленная отправка Балтийского флота в семимесячное кругосветное плавание для спасения Порт-Артура. Единственными, по кому эскадра открыла огонь, оказались английские рыболовные траулеры в Северном море, которых командир принял за японские миноносцы. Дело дошло до международного разбирательства — комиссии по Доггер-банке, — и Россия была вынуждена выплатить 65 000 фунтов компенсации. Даже ведущие предприниматели страны, прежде полагавшиеся на государственную защиту, присоединились к критике, поскольку война разрушала экономику. А. И. Гучков (1862–1936), богатый московский промышленник, воевавший на стороне буров против британцев и организовавший полевой госпиталь в Маньчжурии, особенно резко осуждал монархию за неспособность оснастить армию современными средствами войны. Будущего лидера октябристов поддерживала значительная часть прессы, связывавшая военный упадок России с бюрократической системой. В салонах шутили безжалостно. Узнав, что царь послал войскам иконы для поднятия духа, генерал Драгомиров заметил: «Японцы бьют нас пулемётами, а мы ничего — будем бить их иконами». Самодержавие показало неспособность защищать национальные интересы, и присоединение к оппозиции теперь стало считаться, по словам одного чиновника, поступком «благородным и патриотическим».[22]

Правительство стало настолько непопулярным, что когда в июле 1904 года министр внутренних дел Плеве был разорван бомбой Боевой организации эсеров, уже не раз пытавшейся его убить, почти никто публично не выразил сожаления.[40] «Культ бомбы и револьвера» достиг такой силы, что общество видело в террористах борцов за свободу. В Варшаве убийство Плеве отмечали толпы на улицах. «Самая поразительная черта нынешней ситуации, — писал граф Эренталь, австро-венгерский посол в Петербурге, — полное равнодушие общества к событию, которое нанесло тяжёлый удар по основам государственного порядка. Трудно было ожидать сочувствия к министру, который своим

[40] Покушение организовал Борис Савинков (1879-1925), позднее ставший министром Временного правительства.

авторитаризмом приобрёл множество врагов. Но естественными казались бы хотя бы человеческое сострадание или беспокойство перед ближайшим будущим. Ничего подобного нет… Я встречаю либо совершенно равнодушных людей, либо настолько циничных, что они говорят: другого исхода и быть не могло. Люди готовы утверждать, что для изменения образа мыслей верховной власти потребуются новые катастрофы, подобные убийству Плеве».[23]

Граждане России жаждали крови своих правителей.

Теперь оппозиция сплотилась вокруг требования созвать общенациональное земское собрание. Либеральные земцы добивались этого с 1902 года, но Плеве неизменно вставал у них на пути. Теперь появились надежды. Его убийство глубоко потрясло царя. Естественным желанием Николая было поставить на место Плеве ещё одного сторонника жёсткого курса, но дурные вести с фронта и сила внутренней оппозиции убедили его назначить человека, пользующегося «доверием общества». Новый министр внутренних дел князь Святополк-Мирский, обычно просто Мирский, идеально подходил на роль. Либеральный, добродушный и порядочный, он был типичным представителем просвещённой бюрократии, исповедовавшей идеалы правового государства. Мирский говорил о необходимости укрепить законность, покончить с полицейским произволом и разрушить стену недоверия между правительством и обществом. Он называл себя «земским человеком» — в том смысле, что как чиновник считал главным своим долгом служение обществу, а не царю, — и пытался примириться с земскими либералами. Назначение 25 августа они восприняли как сигнал возобновить кампанию за общенациональное собрание.

Такие ожидания ставили Мирского в почти безвыходное положение. «Я боюсь, — записала жена в дневнике 22 сентября, — что от Пепки [Мирского] ждут так много, а сделать он сможет так мало; остаётся лишь поступать по совести, и да поможет Бог». Министр оказался зажат между требованиями либералов и упрямой решимостью царя твёрдо стоять на принципе самодержавия. Он был далеко не последним, кто попадёт в такую ловушку. Если в истории России последних двадцати лет старого режима есть один постоянно повторяющийся мотив, то это… …необходимость реформ и неспособность сменявших друг друга

правительств провести их вопреки сопротивлению царя. Между тем никаких радикальных преобразований и не требовалось: большинство либералов удовлетворилось бы такими умеренными мерами, как созыв совещательного представительного собрания, расширение местного самоуправления и гражданских прав, — всё это вовсе не обязательно подрывало бы монархию. Но Николай был против самой мысли о каком-либо ограничении своих самодержавных прерогатив. Возможно, несколько наивно Мирский продолжал мягкими уговорами склонять царя к реформам. Однако Николай оставался невосприимчив к доводам разума, и раздражение министра росло. Однажды Мирский объяснял, что вся страна требует общероссийского земского собрания. Царь ответил: «Да, оно нужно: тогда они смогут заняться ветеринарным вопросом». Мирский пояснил, что речь идёт о праве выборных представителей участвовать в управлении государством, и предупредил: если ничего не уступить, вскоре начнётся революция. Царь промолчал. «Всё неприятное с него как с гуся вода», — в отчаянии жаловался министр жене.[24]

Поначалу Мирский намеревался официально разрешить земское собрание при условии, что оно ограничится местными вопросами. Но когда в пересмотренную повестку дня включили обсуждение законодательного парламента, он попытался отложить съезд или перенести его в провинцию, где он привлёк бы меньше внимания. Однако «земцы» стояли на своём, и мягкий Мирский в конце концов уступил, разрешив им собраться на частных квартирах в столице — «за чашкой чая», как он выразился. 6–9 ноября 1904 года 103 земских представителя собрались в разных домах, в том числе в квартире Владимира Набокова, отца будущего писателя. Председателем избрали Шипова, товарищами председателя — князя Львова и Петрункевича. По существу, это было первое общенациональное собрание в истории России. Его сравнивали с французскими Генеральными штатами 1789 года; несмотря на запрет Мирского предавать заседания огласке, со всей страны пришло более пяти тысяч поздравительных телеграмм. Общественные учреждения и объединения проводили митинги в поддержку резолюций съезда, осуждавших существующий порядок и, хотя само слово не произносилось, требовавших конституции. Даже губернские предводители дворянства — обычно наиболее

консервативные представители помещичьего сословия — созвали съезд в поддержку идеи общенационального представительства. Профессиональные организации устраивали публичные банкеты по образцу парижской банкетной кампании, предшествовавшей революции 1848 года; на них ораторы требовали политических реформ и поднимали тосты за будущую конституцию. Горький присутствовал на крупнейшем таком банкете в Петербурге 20 ноября, а на следующее утро писал жене в Ялту:

> Я только что вернулся с банкета в Павловском зале. Было более 600 человек — писатели, юристы, «земцы», вообще интеллигенция… Речи произносились самые откровенные, и все хором кричали: «Долой самодержавие!», «Да здравствует Учредительное собрание!», «Дайте нам конституцию!»… Единогласно приняли резолюцию о созыве Учредительного собрания, избранного всеобщим голосованием. Всё было очень горячо и очень демократично… Впервые даже женщина встала и выступила. Она сказала, что всеобщее голосование даст право голоса полицейским, но о женщинах никто до сих пор не вспомнил. Всё это время они боролись рядом с мужчинами — а теперь о них забыли. Позор! Речь у неё была очень хорошая.[25]

Мирский представил царю осторожно составленное изложение резолюций земского съезда, надеясь склонить его к программе умеренных реформ. Самым спорным было предложение допустить выборных представителей земств в Государственный совет. Но в документе было сказано и то, что должно было особенно задеть Верховного Самодержца: «старый вотчинный порядок» с его «представлениями о личной власти» умер ещё в 1860-е годы. Россия больше не являлась «личной собственностью и вотчиной своего правителя»; она стала «безличным государством со своим политическим организмом», со своим «общественным интересом» и «общественным мнением», а следовательно, существовала «отдельно от личности государя». Видимо, именно этот вызов столь дорогому Николаю принципу вотчинного самодержавия убедил его — под давлением императрицы и придворных советников — отвергнуть наиболее прогрессивные части проекта Мирского. «Я никогда не соглашусь на представительную форму правления, — заявил Николай, — потому что считаю её вредной для народа, вверенного мне Богом». Указ, окончательно утверждённый 12 декабря, обещал укрепить

законность, ослабить ограничения печати и расширить права земств. Но в нём не было ни слова о главном — о представительном законодательном органе, без уступок по этому вопросу предотвратить революцию было уже невозможно. Узнав содержание указа, Мирский впал в отчаяние. «Всё провалилось, — уныло сказал он одному из коллег. — Остаётся строить тюрьмы».[26]

ii. «Царя больше нет»

Ночью выпал снег, и в воскресенье 9 января 1905 года Петербург проснулся в зловещей тишине. Едва рассвело, рабочие вместе с семьями собрались в церквях молиться о мирном исходе предстоящего дня. Позднее около 150 тысяч человек должны были двинуться колоннами из разных частей города и сойтись у Зимнего дворца, где их предводитель, священник отец Гапон, намеревался вручить царю смиренную и верноподданническую петицию с просьбой улучшить положение рабочих. Они пели церковные песнопения, несли иконы и кресты; шествие больше походило на крестный ход, чем на рабочую демонстрацию. Прохожие снимали шапки и крестились. И всё же никто не мог сомневаться, что жизни участников в опасности. За ночь в городе разместили 12 тысяч солдат с приказом не допустить их к дворцу. Многие шедшие на демонстрацию всю ночь готовились к смерти. Один из них, Иван Васильев, уходя ранним утром от спавшей жены и маленького сына, оставил записку:

> Нюша!
>
> Если я не вернусь и меня убьют, Нюша, не плачь. Первое время как-нибудь проживёшь, а потом пойдёшь работать на фабрику. Воспитай Ванюру и скажи ему, что я погиб мучеником за свободу и счастье народа. Если мне суждено погибнуть, я умру и за наше собственное счастье…
>
> Твой любящий отец и муж, Ваня.
>
> P. S. Нюша, если я погибну, ты узнаешь об этом от кого-нибудь из моих товарищей; иначе я сам напишу тебе или приду. Целую тебя, прощай. Поклонись отцу, нашим братьям и всей родне. Прощай, твой Ваня.[27]

Он не вернулся.

В том, что революцию 1905 года начала организация, задуманная самим царским режимом, была горькая и в то же время закономерная ирония. Никто не верил в связь царя с народом сильнее отца Гапона. Ещё студентом Петербургской духовной академии он прославился проповедями в рабочих районах столицы. Городской бедноте, стекавшейся в его церковь, он говорил, что царь, их отеческий покровитель, имеет святую обязанность заботиться о самых смиренных своих подданных. Популярность Гапона привлекла внимание С. В. Зубатова, начальника московского охранного отделения, который с 1900 года с благословения московского генерал-губернатора великого князя Сергея организовывал полицейские рабочие союзы. Свою необычную карьеру Зубатов начал школьником-террористом в народническом подполье, но вскоре разочаровался в революционном движении и стал осведомителем полиции. Остальную жизнь он посвятил охранке и борьбе с революционерами.

Зубатов признавал, что у рабочих есть реальные и законные жалобы и что именно они могут превратить их в революционную силу. Если оставить рабочих на произвол фабрикантов, рассуждал он, они почти неизбежно попадут под влияние социалистов. Но если правительство само создаст рабочие организации, инициатива останется у верных слуг царя. Зубатовские союзы должны были удовлетворять стремление рабочих к образованию, взаимопомощи и организации, одновременно служа каналом монархической пропаганды. Придворным покровителям Зубатов сулил своего рода народное самодержавие: царь выступал бы отеческим защитником рабочих от алчности хозяев и от «чуждой заразы революционеров». Это была старая имперская стратегия «разделяй и властвуй»: рабочими предполагалось ослабить две главные угрозы самодержавию — промышленную буржуазию и социалистическую интеллигенцию.

К 1903 году, когда Гапон начал под покровительством полиции создавать собственные рабочие клубы и чайные, звезда Зубатова уже закатывалась. Годом ранее он организовал шествие 50 тысяч рабочих в память об освобождении крестьян. Хотя демонстрация была мирной и совершенно верноподданнической, её невиданный размах вызвал серьёзную тревогу: сможет ли Зубатов и дальше держать своё движение под контролем? Эти сомнения подтвердились в июле 1903 года, когда

один из его союзов оказался втянут в общую стачку в Одессе. Зубатова уволили, эксперимент был резко прекращён. Но его сторонники теперь влились в организацию Гапона, стремившуюся создавать похожие союзы под покровительством Церкви. И вновь движение стало радикализироваться снизу: всё больше рабочих вступали в него, чтобы бороться уже за собственную программу реформ. Начиналось всё как культурно-просветительная миссия для «порядочных» рабочих — с чаепитий. Устраивались танцевальные вечера, концерты, лекции по самообразованию. Собрания открывались молитвой «Отче наш» и завершались государственным гимном. Но вскоре организация превратилась в самостоятельный рабочий союз — «Собрание русских фабрично-заводских рабочих», которое, сохраняя внешнюю лояльность, требовало радикальных реформ: правительства, ответственного перед народом, прогрессивного подоходного налога, права на профсоюзы и восьмичасового рабочего дня.[28]

Эта программа фактически требовала полной перестройки государства, но ничего не говорила о том, как её добиться. Сам Гапон совершенно не разбирался в политической теории: он не умел даже правильно произнести слово «конституционализм». Он видел себя человеком судьбы, посланным Богом для освобождения рабочих. Движимый тщеславием и беспокойным честолюбием, он не задумывался о том, что может слишком высоко поднять их ожидания. Простыми словами, опираясь на библейские образы, он внушал своим последователям, что царь обязан перед Богом удовлетворить их требования, если «народ» обратится к нему непосредственно. Он сознательно использовал миф о добром царе — «царь хочет справедливости, но бояре мешают» — миф, который в русской истории вдохновлял и оправдывал множество протестных движений. 3–8 января 1905 года, когда в Петербурге бастовали 120 тысяч рабочих и заговорили о том, чтобы пойти к царю «искать правды и справедливости», Гапон встал во главе движения. При поддержке Освободительного движения он составил перечень требований, которые предполагалось вручить царю во время массового шествия в следующее воскресенье. Смиренная и сентиментальная петиция доводила целые толпы рабочих до слёз. Она начиналась так:

ГОСУДАРЬ!

> Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга, разных сословий, наши жёны, дети и беспомощные старики-родители, пришли к ТЕБЕ, ГОСУДАРЬ, искать правды и защиты. Мы обнищали; нас угнетают, обременяют непосильным трудом, с нами обращаются презрительно… Мы задыхаемся в деспотизме и беззаконии. ГОСУДАРЬ, у нас больше нет сил, терпение наше иссякло. Для нас настал тот страшный момент, когда смерть лучше продолжения невыносимых мучений…[29]

7 января правительство приказало Гапону отменить шествие, а в центре города расклеили объявления, предупреждавшие о «решительных мерах» против любых уличных собраний. Понимая, что надвигается трагедия, Горький возглавил делегацию интеллигентов к Витте и Мирскому, тщетно пытаясь убедить их вступить в переговоры с демонстрантами. Но правительство, всё ещё обманывавшее себя надеждой, что Гапона можно контролировать, было уверено: применять силу не придётся. Николай настолько недооценивал опасность, что вообще покинул столицу и уехал в Царское Село — провести ещё одни тихие выходные за прогулками и домино. Рабочие, однако, были уже слишком решительно настроены, чтобы их остановили простые запреты. На массовых митингах Гапон довёл их до почти истерического религиозного возбуждения, используя весь арсенал проповедника-фундаменталиста:

> **Гапон:** Осмелятся ли полиция и солдаты не пропустить нас, товарищи?
>
> **Сотни голосов хором:** Не осмелятся.
>
> **Гапон:** Товарищи, лучше умереть за наши требования, чем жить так, как мы жили до сих пор.
>
> **Голоса:** Умрём.
>
> **Гапон:** Клянётесь умереть?
>
> **Голоса:** Клянёмся!
>
> **Гапон:** Кто клянётся — поднимите руки…

И сотни людей подняли руки и перекрестились.

Несмотря на тайные страхи, рабочие верили, что царь их примет: для них он был человеком Божьим, а их дело — правым. Солдаты наверняка не станут стрелять в мирную демонстрацию. Чтобы поддержать дух участников, распространялся даже слух, будто в Зимнем дворце для них приготовлено угощение и в честь великого события состоится парад.[30]

В то воскресное утро звонили церковные колокола, золотые купола сияли на солнце, а длинные колонны шли по льду к центру города. В первых рядах поставили женщин и детей, одетых по-праздничному: надеялись, что солдаты не решатся стрелять. Во главе самой большой колонны шёл бородатый отец Гапон в длинной белой рясе с распятием в руках. За ним несли портрет царя и большое белое знамя со словами: «Солдаты, не стреляйте в народ!» Красные флаги были запрещены.

Когда колонна приблизилась к Нарвским воротам, на неё внезапно бросился кавалерийский эскадрон. Часть людей разбежалась, но остальные продолжали двигаться к шеренгам пехоты, чьи винтовки были направлены прямо на них. Два залпа дали в воздух; затем с близкого расстояния третий залп ударил по безоружной толпе. Люди закричали и стали падать, но солдаты, сами охваченные паникой, продолжали методично стрелять в массу. Погибли сорок человек, сотни были ранены при попытке бежать. Гапона сбили с ног. Поднявшись и с неверием глядя на побоище вокруг, он снова и снова повторял: «Бога больше нет. Царя больше нет».[31]

Подобные расправы происходили и в других частях города. У Троицкого моста, возле Петропавловской крепости, демонстрантов косили ружейными залпами и рубили казачьими шашками. Горький, находившийся в толпе, вспоминал гибель одного рабочего:

> Драгун кружил вокруг него и, визжа по-женски, размахивал саблей… Налетев на него с пляшущей лошади… полоснул по лицу, рассёк его от глаз до подбородка. Я помню странно расширившиеся глаза рабочего и… лицо убийцы, раскрасневшееся от холода и возбуждения, стиснутые в усмешке зубы и усы, щетиной поднявшиеся над верхней губой. Размахивая потускневшей полосой стали, он снова завизжал и, хрипя, сплюнул сквозь зубы на мёртвого.[32]

Ошеломлённые и растерянные уцелевшие двинулись к Невскому проспекту в последней отчаянной попытке добраться до Дворцовой площади. Солнечная погода вывела на воскресную прогулку особенно много горожан, и многим из них пришлось стать свидетелями последовавших ужасов. Перед дворцом сосредоточили крупные силы кавалерии и несколько пушек, чтобы не пустить демонстрантов на площадь. Но толпа — около 60 тысяч человек, к рабочим присоединились студенты и зеваки — продолжала расти. Узнав о

расстрелах в других местах, люди стали теснить солдат, осыпая их насмешками. Гвардейцам Преображенского полка приказали очистить пространство у Александровского сада, действуя нагайками и плашмя саблями. Когда это не помогло, солдаты заняли позиции для стрельбы. Увидев направленные на них винтовки, демонстранты упали на колени, сняли шапки и стали креститься, моля о пощаде. Вдруг прозвучал сигнал трубы — и солдаты открыли огонь. Молодую девушку, забравшуюся на железную ограду, чтобы лучше видеть, град пуль буквально пригвоздил к ней. Маленького мальчика, взобравшегося на конную статую Пржевальского, артиллерийским залпом подбросило в воздух. Пули поражали и других детей — они падали с деревьев, на которых сидели.

Когда стрельба наконец прекратилась и оставшиеся в живых увидели лежавших на земле убитых и раненых, наступила та решающая минута — переломный момент всей революции, — когда недоумение внезапно сменилось яростью. «Я всматривался в лица вокруг, — вспоминал один большевик, находившийся в толпе, — и не видел ни страха, ни паники. Нет, почтительное, почти молитвенное выражение сменилось враждебностью и даже ненавистью. Я видел эти взгляды ненависти и мести буквально на каждом лице — у старых и молодых, у мужчин и женщин. Революция действительно родилась, и родилась она в самой сердцевине, в самых недрах народа». В эту единственную решающую минуту рухнул народный миф о добром царе, веками поддерживавший режим. Почти сразу после того, как смолкли выстрелы, один старик повернулся к четырнадцатилетнему мальчику и с яростью в голосе сказал: «Запомни, сынок, запомни и поклянись отплатить царю. Ты видел, сколько крови он пролил? Видел? Так клянись, сынок, клянись!»[33]

Позже, когда потрясённые воскресные гуляющие поспешили по домам, рабочие устроили погром на фешенебельных улицах вокруг Зимнего дворца. Они били витрины, избивали полицейских, забрасывали солдат камнями, вламывались в дома состоятельных горожан. С наступлением темноты у Казанского собора начали строить баррикады из скамеек, телеграфных столбов и мебели, вынесенной из зданий. Баррикады появились и в рабочих районах. Группы людей грабили винные и оружейные лавки. На несколько часов улицы оказались во власти толпы, появились первые красные флаги. Но у этих

революционеров не было вождей, и к полуночи большинство разошлось по домам.

Гапон тем временем укрылся в квартире Горького. Ему сбрили бороду, коротко остригли волосы, а один из театральных друзей писателя загримировал его; по словам Горького, тот «не вполне понял трагизм минуты и сделал его похожим на парикмахера или приказчика из модного магазина». Вечером Горький отвёл революционного священника на собрание Вольного экономического общества, чтобы опровергнуть распространявшийся слух о его гибели. В небольшом здании на Забалканском проспекте набилась едва ли не вся петербургская интеллигенция. Люди были потрясены известиями о «тысячах» убитых (на самом деле, вероятно, погибло около 200 человек и было ранено около 800). «Мирные средства не удались, — закричала фигура в маскировке. — Теперь надо перейти к другим средствам». Гапон призвал собирать деньги для «рабочей партии» и её «борьбы за свободу». Внезапно в зале поднялся хаос: Гапона узнали. Но священнику удалось уйти через заднюю дверь и вернуться к Горькому. Там он написал обращение к «товарищам рабочим», призывая «сорвать все портреты кровопийцы-царя и сказать ему: будь Ты проклят со всем Твоим августейшим гадючьим потомством!» Через несколько часов, снова переодевшись, Гапон бежал в Финляндию, а затем за границу.[3441]

В ту ночь Горький писал жившей отдельно от него жене Екатерине в Нижний Новгород: «Итак, друг мой, русская революция началась: от души поздравляю тебя. Люди погибли — но пусть это тебя не тревожит: только кровь может изменить цвет истории».[35]

Через два дня его арестовали вместе с другими членами делегации, которая 8 января ходила к Витте и Мирскому (они по глупости оставили там свои визитные карточки). Всех обвинили — совершенно нелепо, хотя это хорошо показывало степень страха режима — в участии в

[41] В конце января Гапон появился в Женеве, где сблизился с революционерами-эмигрантами. Их теоретические споры были выше его понимания, а международная известность быстро вскружила ему голову; вскоре он уехал в Лондон писать автобиографию. Став знаменитостью, Гапон утратил интерес к революционному движению. В декабре он вернулся в Россию, поддержал правительство Витте и даже сотрудничал с тайной полицией против социалистов. В марте 1906 года при не вполне ясных обстоятельствах он был жестоко убит агентами тайной полиции; среди них был и его ближайший соратник, спасший его 9 января от расправы у Нарвских ворот.

«революционном конвенте», якобы намеревавшемся захватить власть и создать «временное правительство». Их заключили в Петропавловскую крепость.[36]

* * *

События «Кровавого воскресенья», как стали называть 9 января, сблизили Горького с большевиками. С Лениным он впервые встретился в 1902 году, и между ними быстро сложились отношения любви-ненависти. С тех пор Горький активно добывал для социал-демократов деньги у богатых промышленников — например, у Саввы Морозова, который ясно видел, куда идёт дело («В наше время нужно дружить со своими врагами», — однажды сказал Морозов большевику Красину). Отношения Горького с большевиками никогда не были простыми. Как и у многих интеллигентов, его приверженность революции носила романтический, идеалистический характер. Он видел в ней грандиозную борьбу человеческого духа за свободу, братство и духовное совершенствование. По сути, это был гуманистический взгляд, ставивший в центр отдельную личность; Горький так и не смог до конца принять железную дисциплину и узкий догматизм большевиков. «Я не принадлежу ни к одной из наших партий, — писал он Репину, — и рад этому. Ибо это свобода, а человеку она чрезвычайно нужна». Цыгане, игроки, нищие и мошенники, населявшие его рассказы, каждый по-своему боролись за личную свободу и достоинство; они не были представителями организованного «пролетариата». Борются люди, а не классы — такова была точка зрения Горького. По его собственным словам, он мог «восхищаться, но не любить» деревянных догматиков вроде Ленина, пытавшихся втиснуть многообразие жизни в абстрактную теорию. Быть вполне человеком, считал Горький, означало «страстно и мучительно любить живого, грешного и — простите — жалкого русского человека».[37] В этом было почти христианское представление об искуплении человека через революцию (и сам Горький одно время заигрывал с христианством). Подобные идеи были широко распространены в радикальной интеллигенции: достаточно вспомнить Мережковского с его «христианством без Христа», Соловьёва с «богочеловечеством» и Богданова с «богостроительством», с которыми Горький был тесно связан. Во время и после 1917 года

противоречие между партией и человеческими целями революции приведёт его к конфликту с большевиками. Но пока, в 1905 году, их объединяло убеждение, что рабочее движение нужно радикализировать. Именно поэтому в письме к Екатерине Горький увидел нечто положительное даже в Кровавом воскресенье: бойня должна была радикализировать улицу. Рабочим требовался такой удар, чтобы избавиться от наивной веры в доброго царя. Только кровь могла изменить цвет истории. Теперь следовало организовывать рабочих и уводить их от либералов к социалистическим целям.

В недели после Кровавого воскресенья страну захлестнула огромная волна забастовок. Только в январе более 400 тысяч рабочих по всей России прекратили работу. Это была крупнейшая в российской истории акция трудового протеста. Однако стачки почти не были организованы; они скорее представляли собой стихийный взрыв гнева, и требования рабочих нередко формулировались уже после начала забастовки. Социалистические партии были ещё слишком слабы, чтобы играть руководящую роль. Их главные лидеры — Ленин, Мартов, Троцкий, Плеханов и Чернов — находились в эмиграции; хотя все они, несомненно, были возбуждены тем, что считали долгожданным началом революции, лишь немногие спешили оставить уютные кафе Женевы или Парижа ради опасной и суровой жизни, ожидавшей их в России. Возвращаться они начали лишь позднее, в течение 1905 года, и по мере политизации рабочих те всё больше тянулись к левым партиям.[42]

Тем временем ведущая роль оставалась за либеральной и демократической оппозицией. Образованное общество было потрясено бойней Кровавого воскресенья. Студент Керенский, видевший стрельбу на Невском проспекте, вечером вернулся домой и написал яростное письмо-протест своим школьным товарищам, служившим в гвардии. Через две недели он писал родителям в Ташкент:

> Простите, что не писал раньше, но мы живём здесь в таком потрясении, что писать было невозможно. О, эти «страшные дни» в Питере навсегда

[42] К концу 1905 года и большевики, и меньшевики, вероятно, насчитывали примерно по 10 тысяч членов, хотя на этом раннем этапе само понятие партийного членства ещё не было чётко определено. Надёжных данных о численности партии эсеров в 1905 году нет. В ноябре 1906 года у неё было 50 тысяч членов, тогда как в обеих марксистских фракциях вместе — около 40 тысяч.

> останутся в памяти каждого, кто их пережил. Сейчас тихо, но это тишина перед бурей. Обе стороны готовятся и подсчитывают силы. Победить может только одна. Либо требования общества будут удовлетворены (то есть будет свободно избранное законодательное собрание народных представителей), либо произойдёт кровавое и ужасное столкновение, которое, несомненно, завершится победой реакции.

Двенадцатилетний Александр Пастернак, брат будущего поэта, был так потрясён расстрелами, что объявил себя «революционером всей душой» и вместе с друзьями маршировал по своему состоятельному петербургскому кварталу с криками: «Мы социал-демократы!» По всей стране студенты бастовали и превращали университеты в центры политической агитации. В Московском университете три тысячи студентов устроили митинг, сожгли портрет царя и вывесили на зданиях факультетов красные флаги. К концу февраля правительство было вынуждено практически все высшие учебные заведения закрыть до конца учебного года. Волнения охватили даже духовные академии.[38]

Тем временем земские конституционалисты возобновили кампанию и на своём Втором общенациональном съезде в апреле потребовали созыва Учредительного собрания. Профессиональные союзы объединились во всероссийский Союз союзов, чтобы сплотить своих членов вокруг либерального дела. Первыми возникли союзы писателей, адвокатов, профессоров и инженеров. Позднее к ним — несмотря на сопротивление части мужчин в руководстве Союза союзов — присоединился Союз равноправия женщин, добивавшийся избирательных прав. Полупрофессиональные группы — помощники аптекарей, конторщики и бухгалтеры, железнодорожные рабочие и служащие — также создавали союзы и вступали в объединение. Благодаря их участию Союз союзов давал интеллигенции прямую связь с массами.[43]

Сотни земств, городских дум и добровольных обществ посылали правительству петиции с требованием политических реформ. Пресса широко публиковала их и освещала другие жалобы, благодаря чему

---

[43] Поскольку первыми подобные объединения создавали представители профессий, другие, в том числе чисто рабочие, союзы и в коммунистической России продолжали называться «профессиональными союзами» (профсоюзами), а не торговыми или отраслевыми союзами.

общественное негодование получало единый общенациональный голос. «Так больше жить нельзя», — гласил заголовок ведущей либеральной газеты 21 мая, и вскоре эту фразу повторяла вся страна.[39]

Литературная интеллигенция тоже стремилась играть ведущую роль. «Мы должны служить народу, — увещевал Горький одного писателя, отвернувшегося от политики. — Льётся народная кровь, кровь рабочих; повсюду режим цинично убивает лучших людей — молодую Русь, — а вы пишете только о себе». Как большинство русских интеллигентов, Горький с головой ушёл в политику и публицистику. Из Петропавловской крепости его освободили после общеевропейской кампании, к которой присоединились, среди прочих, Огюст Роден, Анатоль Франс и Мария Кюри; вес западного общественного мнения оказался на стороне демократии против самодержавия. Вскоре после освобождения, 5 марта, Горький написал Толстому, упрекая его за отстранённость от политики:

> В эти страшные дни, когда на земле вашей страны льётся кровь и сотни и тысячи порядочных, честных людей гибнут за право жить по-человечески, а не как скот, вы, чьё слово слышит весь мир, находите возможным лишь снова повторять основную мысль вашей философии: «Нравственное совершенствование личности — вот смысл и цель жизни всех людей». Но подумайте, Лев Николаевич: возможно ли человеку заниматься нравственным совершенствованием своего характера в то время, когда мужчин и женщин расстреливают на улицах?[40]

Общественная роль писателя, в которую Горький страстно верил и которая во время голода сделала Толстого нравственной совестью страны, теперь становилась для таких людей, как Толстой, гораздо труднее. Ведь она уже требовала поддержать революцию, которая сама могла пролить народную кровь. Позднее Горький разделит эти сомнения, но пока их заглушала неотложность революционного момента.

Настроение мятежа вскоре перекинулось в деревню. Увидев слабость правительства, крестьяне воспользовались случаем и начали устраивать арендные забастовки, принуждая помещиков повышать плату за сельскохозяйственный труд. Они самовольно заходили на помещичьи земли, рубили лес, косили сено. К началу лета, когда стало ясно, что урожай снова не удался, начались полномасштабные

нападения на имения: крестьяне захватывали имущество, поджигали усадьбы, заставляя хозяев бежать. Свидетели рассказывали о ночном небе, озарённом заревом горящих усадеб, и о вереницах телег, нагруженных награбленным добром. Немало было и бессмысленного разрушения — «громления культуры»: крестьяне уничтожали всё, что казалось признаком излишнего богатства. Жгли библиотеки, ломали антикварную мебель, испражнялись на восточные ковры. В некоторых деревнях уносили картины и статуи, богемский хрусталь и английский фарфор, атласные платья и напудренные парики, а затем делили всё это между собой вместе со скотом, зерном и орудиями. В одной деревне крестьяне разбили привезённый из усадьбы рояль и поделили между собой клавиши из слоновой кости. Во время крестьянской жакерии 1905–1906 годов было разгромлено почти три тысячи помещичьих усадеб — 15 процентов их общего числа. Основная масса насилия пришлась на центральный земледельческий район, где крестьянская бедность была особенно острой и находились крупнейшие имения. «Выкурив» местных помещиков, крестьяне замыкались в собственном общинном мире. Чиновников заменяли крестьянами, консервативных священников изгоняли, государственные законы и налоговые требования игнорировали.[41]

Борьба за землю была не единственной формой крестьянской революции 1905–1906 годов, хотя из-за страха помещиков именно она больше всего занимала официальные документы и потому впоследствии стала доминировать в историографии. Наряду с земельным насилием возникали всевозможные крестьянские союзы, сельскохозяйственные общества и кооперативы. По своим целям и методам они обычно были умереннее и сложнее, чем большинство традиционных сельских общин, и привлекали главным образом молодых, «сознательных» крестьян, появившихся благодаря распространению сельских школ. Особенно тесно крестьянские союзы были связаны с местными учителями и сельской интеллигенцией. Поэтому чаще всего они возникали в крупных деревнях, где имелось больше культурных учреждений — школ, читален — и где крестьяне сильнее ощущали влияние внешнего мира: рынков и железных дорог, чиновников и полиции. Некоторые такие организации прославились на всю Россию, фактически создав независимые крестьянские республики — например, Сумскую

республику в Харьковской губернии. Помимо земельной реформы они выступали за политические преобразования, конституцию и парламент, за лучшее образование крестьян. Их целью было покончить с «тёмным» и «отсталым» укладом деревни, принести туда блага современного мира, вывести село из изоляции и включить его в общенациональную политику.[42] Сергей Семёнов — крестьянин, местный писатель и толстовец из деревни Андреевское — был одним из основателей Марковской республики, одного из самых известных и впечатляющих примеров прогрессивной крестьянской политики во время революции 1905 года. Почти целый год, пока царская власть была парализована, «республика» поддерживала довольно сложную систему «крестьянского самоуправления» в нескольких волостях Волоколамского уезда. Её создала группа активистов, учителей и крестьян — среди них был Семёнов — из Маркова и соседних деревень, которые с 1901 года собирались в местных читальнях и чайных обсуждать московские газеты. Они организовали Крестьянский союз, ставший политическим каркасом Марковской республики. В октябре 1905 года общее собрание крестьян приняло резолюцию с требованием радикально перестроить всю политическую систему. Среди требований были созыв общенационального парламента, тайное и всеобщее избирательное право для взрослых, равные гражданские права для крестьян, прогрессивные налоги, земля безземельным, бесплатное всеобщее образование, свобода передвижения и политическая амнистия. Крестьяне заявили, что не будут подчиняться существующим властям, платить налоги и давать рекрутов, пока эти требования не будут удовлетворены. Они избрали «республиканское правительство» во главе с «президентом» — одним из старост местной общины — и объявили о своей принадлежности к Крестьянскому союзу. Были созданы местные отделения союза — Семёнов организовал одно в Андреевском, — которые фактически управляли деревнями. Устанавливались предельные размеры арендной платы. Вводились агрономические меры. Волостные органы демократизировались, церковные школы «национализировались». Царский режим оказался бессилен — в волости не было земского начальника и имелся всего один полицейский урядник, — и власти могли лишь с растущим раздражением наблюдать, как эта «свободная территория»

крестьянского самоуправления, находившаяся менее чем в восьмидесяти милях от самой Москвы, расширяется и приобретает известность. Профессор из Чикаго, прочитавший о республике в американских газетах, приехал в Марково выразить ей поддержку. Несколько месяцев власти безуспешно пытались покончить с ней политическими средствами. Они отстранили избранного волостного старшину Рыжкова — одного из руководителей республики. Но крестьяне ответили почти по-швейковски: отказались выбирать преемника, а Рыжков заявил, что, к его великому сожалению, не может сложить полномочия, поскольку передать их некому. Лишь в июле 1906 года, через полгода после подавления революции в городах, эта крестьянская республика была окончательно уничтожена. Рыжкова убрали с помощью полицейской уловки. Затем были обысканы все деревни, а руководители, в том числе Семёнов, арестованы и отправлены в московскую тюрьму. За восемь месяцев руководства отделением Крестьянского союза в Андреевском Семёнов успел открыть новую сельскую школу, сельскохозяйственное общество, два кооператива, читальню и, что особенно примечательно, крестьянский театр.[43]

Местные помещики взывали о защите, и правительство посылало войска. С января по октябрь армия не менее 2700 раз использовалась для подавления крестьянских выступлений, что ускоряло разложение военной дисциплины, начавшееся ещё с отправки войск в Маньчжурию.[44] Растущая угроза военного мятежа внутри страны вместе с перспективой поражения за границей — особенно явной после разгрома флота при Цусиме в мае 1905 года — вынудила царя просить мира у Японии. Вести внешнюю войну в разгар внутренней социальной революции оказалось невозможно — как окажется невозможно и в 1917 году. Огромное большинство пехотинцев были крестьянами и возмущались тем, что их используют для подавления аграрных волнений. Целые части отказывались выполнять приказы, мятежи распространялись по армии; были затронуты даже казачьи части. А 14 июня беспорядки перекинулись на Черноморский флот.

Всё началось с куска мяса, кишевшего червями, которое судовой врач на броненосце «Потёмкин» признал годным в пищу. Когда матросы пожаловались капитану, тот приказал застрелить их представителя

Вакуленчука. Команда восстала, убила семерых офицеров и подняла красный флаг. Небольшая группа активных революционеров, руководивших мятежом, надеялась, что он охватит остальной флот. За ночь они пришли в Одессу, где бастующие рабочие уже две недели фактически находились в состоянии войны с городскими властями. Там тело Вакуленчука, окружённое почётным караулом, выставили у подножия мраморной лестницы, ведущей от гавани в город — позднее её обессмертит фильм Эйзенштейна. На следующий день на набережной собрались тысячи людей; они возлагали венки к гробу погибшего революционера и приносили морякам продовольствие. К вечеру для разгона толпы ввели войска. Спускаясь по лестнице, солдаты без разбора стреляли в зажатых внизу мирных жителей. Сотни людей прыгали в море. К рассвету, когда бойня закончилась, две тысячи человек были убиты и три тысячи ранены. «Потёмкин» ушёл из Одессы, но без поддержки остального флота в конце концов был вынужден сдаться. 25 июня матросы вошли в румынскую Констанцу и обменяли броненосец на гарантию убежища.[45] Сам по себе мятеж не представлял большой угрозы, но стал тяжёлым позором для режима: всему миру было показано, что революция проникла в самое сердце его военной машины.

Нерусские народы империи не менее быстро воспользовались временной слабостью режима. Забастовки и протесты, последовавшие за Кровавым воскресеньем в Петербурге, были особенно сильны на нерусских окраинах — прежде всего в Латвии и Польше, где социальная и политическая напряжённость усиливалась массовой ненавистью к русской власти. 13 января в Риге до 15 тысяч рабочих прошли по городу в знак протеста против царского режима и жестокости русского генерал-губернатора А. Н. Меллер-Закомельского. Вскоре он дал ещё одно доказательство этой жестокости, приказав солдатам открыть огонь по толпе. Семьдесят человек были убиты, двести ранены. Меллер-Закомельский гордился тем, как его люди справились с положением, и написал царю, что если бы местные власти чаще действовали столь решительно, никаких дальнейших беспорядков не было бы. В десяти польских губерниях весной и летом 1905 года произошло больше стачек, чем во всей остальной империи вместе взятой. Особенно бурным был текстильный город Лодзь: в середине июня — за несколько недель

до того, как нечто подобное произошло в России, — там выросли баррикады и пять дней шли уличные бои рабочих с полицией. В Варшаве насилие было ещё сильнее: после Кровавого воскресенья в демонстрациях участвовало до 100 тысяч рабочих. Русские войска стреляли в толпу, убив девяносто три человека, после чего было объявлено военное положение. Позднее летом известие о поражении России от Японии вызвало в польской столице новые демонстрации под лозунгами «Долой царизм!», «Да здравствует независимая социалистическая Польша!» и «Да здравствует Япония!»[46] Националисты повсюду приветствовали поражение России, надеясь, что оно свергнет царя и откроет дорогу их собственной автономии. Пилсудский, лидер польских социалистов, даже ездил в Японию обсуждать возможные польские действия против российских военных усилий.

Во многих нерусских землях в национально-освободительное движение была втянута фактически вся масса населения. В Финляндии, например, где введение прямого русского управления разрушило автономию Великого княжества, националистическая интеллигенция возглавила массовую кампанию пассивного сопротивления. К ней примкнули почти все, включая финских шведов, пользовавшихся при русском господстве многими привилегиями, которые они рисковали потерять при собственно финском правлении. Русский генерал-губернатор Бобриков, убеждённый империалист, был убит в 1904 году, а уже в следующем году Финляндия вела полномасштабную войну пассивного сопротивления против Петербурга. В Грузии национальную революцию возглавили меньшевики. Это было первое в истории марксистское национально-освободительное движение, пользовавшееся поддержкой крестьянства: в 1904–1906 годах оно фактически вытеснило царское государство из западной Грузии.

* * *

Когда Российская империя зашаталась на краю распада, царский режим ответил на кризис своей обычной смесью некомпетентности и упрямства. Витте назвал её «смесью трусости, слепоты и глупости». Главная проблема заключалась в том, что сам Николай совершенно не понимал крайности положения. Пока страна всё глубже погружалась в

хаос, он продолжал заполнять дневник короткими пустяковыми записями о погоде, о том, кто был за чаем, и о количестве застреленных за день птиц. Советники убедили его, будто за демонстрацией Кровавого воскресенья стояли иностранные агенты, и он послушно наполнил тюрьмы подходящими политическими подозреваемыми. В Царское Село привезли тщательно отобранную делегацию «надёжных» рабочих. Их выстроили, как детей, чтобы они выслушали короткую речь царя: он обвинил рабочих в том, что они позволили «иностранным революционерам» себя обмануть, но пообещал «простить им их вину», поскольку верит в их «непоколебимую преданность» ему. Тем временем либерала Мирского на посту министра внутренних дел сменил порядочный, но податливый А. Г. Булыгин, фактически выполнявший распоряжения своего заместителя и начальника полиции Д. Ф. Трепова — сурового дисциплинария из конной гвардии, которого Николай ценил за прямоту и солдатскую манеру и потому позволил ему стать одной из главных фигур при дворе. Когда Булыгин предположил, что для успокоения страны могут понадобиться политические уступки, Николай удивился и сказал: «Можно подумать, вы боитесь, что начнётся революция». — «Ваше Величество, — ответил министр, — революция уже началась».[47]

Вероятно, эти слова всё-таки заставили Николая почувствовать некоторое беспокойство, поскольку вскоре он пообещал политические реформы. 18 февраля он издал Высочайший манифест и указ, которые, осуждая беспорядки, вместе с тем признавали недостатки бюрократии и призывали «благонамеренных людей всех сословий» сплотиться вокруг престола и представить свои предложения по «усовершенствованию государственного благоустройства». Булыгину поручили подготовить проект общенационального представительного собрания. Манифест был тактическим манёвром, предназначенным лишь выиграть время; ничто не указывало, что он выражал искреннее намерение царя. Образованные круги в целом отнеслись к нему скептически. «Главная цель этого манифеста, — писал Керенский родителям 18 февраля, — успокоить и заглушить только что начавшееся революционное движение, чтобы затем все силы правительства можно было сосредоточить на одном: не допустить исполнения ни одного из обещаний». Характерно для упорной приверженности царя архаическим

принципам вотчинного самодержавия, что в такой момент он попытался возложить ответственность за кризис на бюрократию и одновременно апеллировать к прямой связи между собой и подданными. Если у народа есть жалобы, как бы говорил его манифест, пусть он несёт их непосредственно царю — и они будут удовлетворены.

И действительно, в следующие недели царю были отправлены десятки тысяч петиций о реформах — от сельских сходов, армейских частей, городов и фабрик. Подобно наказам 1789 года, эти письма-жалобы отражали формирование языка политической и социальной демократии. Но для Николая их требования были слишком радикальными. Большинство просило общенациональный парламент с полными законодательными правами. Между тем собрание, которое представлял себе царь — и проект которого Булыгин наконец представил ему 6 августа, — должно было быть чисто совещательным и избираться по ограниченному цензу, обеспечивавшему господство дворян. Это был бы царский парламент вроде Земского собора XVII века, вполне совместимый с сохранением личной власти государя. Николай видел его главную задачу в том, чтобы сообщать ему о нуждах подданных и тем самым позволять править ими без посредничества самовозвышающейся бюрократии.[48]

Булыгинская дума стала ещё одним примером слишком малой и слишком запоздалой уступки. Полгода назад её встретили бы с благодарностью, и правительство могло бы вернуть себе политическую инициативу. Теперь же она не удовлетворила никого, кроме самых умеренных реформаторов. Либеральные газеты, внимательно разобрав сложные положения нового избирательного закона, подсчитали, что право голоса получит менее одного процента взрослого населения Петербурга, а во многих провинциальных городах доля будет ещё меньше. Несмотря на критику, либералы решили не бойкотировать выборы. Но социал-демократы и радикалы из Союза союзов были теперь ещё твёрже намерены с помощью массового гражданского неповиновения заставить правительство пойти на новые уступки. Кульминацией стала всеобщая стачка сентября-октября — первая общенациональная всеобщая стачка в истории, — которая вынудила сопротивлявшееся правительство согласиться на реальные политические реформы.

В течение 1905 года организация и боевитость рабочих стачек и протестов заметно выросли. Отчасти это было следствием того, что социалисты всё сильнее влияли на рабочее движение. Но ещё важнее, вероятно, было то, что сами рабочие становились более классово сознательными и воинственными по мере того, как конфликты с предпринимателями и полицией ожесточались. Горький отметил растущую агрессивность рабочих после столкновения на Знаменской площади в Петербурге в начале сентября. Офицер ударил солдата на улице, и вокруг собралась разгневанная толпа рабочих, вставших на защиту рядового. Они сорвали с офицера погоны и, как полагал Горький, могли бы его убить, если бы вовремя не вмешались полиция и казаки. «Толпа держалась с поразительной простотой и откровенностью, — писал Горький Екатерине, — говорили и выкрикивали всё, что хотели, тут же, перед самой полицией, и вообще проявили много нравственной силы и даже такта. Между этой толпой и молящим народом 9 января — целый мир».[49]

Но далеко не всё городское насилие было следствием растущей боевитости рабочего движения. По мере распада порядка резко увеличились все виды насилия — от грабежей и убийств до пьяных погромов и вандализма. Когда полиция отступала, сами горожане добавляли жестокости: создавали дружины и линчевали преступников прямо на улицах. Каждый день газеты сообщали о десятках случаев «самосуда», наряду с ограблениями и убийствами. Другие толпы ходили по улицам, избивая студентов и хорошо одетых прохожих. Происходили еврейские погромы. Казалось, вся страна втянута в нисходящую спираль насилия и анархии. Американский консул в Батуме докладывал:

> [Россия] насквозь пропитана мятежом и источает революцию, расовую ненависть и вражду, убийства, поджоги, разбой, грабёж и преступность всякого рода… Насколько можно судить, мы идём прямо к полной анархии и социальному хаосу… Один из худших признаков состоит в том, что общество за это долгое царство анархии и преступления черствеет: известие об убийстве знакомого или друга большинство населения принимает равнодушно, а случаи разбоя рассматриваются едва ли не как обычный ход вещей.[50]

Из-за того что многие историки сосредоточились на организованном рабочем движении — и поддались советскому мифу о вооружённых

рабочих на баррикадах, — роль повседневного уголовного насилия в революционной толпе либо игнорировалась, либо, что ещё хуже, смешивалась с насилием промышленной борьбы. Но чем внимательнее всматриваешься в уличную толпу, тем труднее провести чёткую границу между организованным протестом — маршами рабочих со знамёнами и песнями — и преступными актами грабежа и насилия. Одно легко, и часто на деле, переходило в другое. Дело было не просто в том, что «хулиганы» и преступники присоединялись к рабочим выступлениям или пользовались вызванным ими хаосом, чтобы громить, нападать и грабить. Подобные действия, по-видимому, были составной частью самой рабочей боевитости — способом утвердить власть плебейской толпы, разграбить и уничтожить символы богатства и привилегий. То, что напуганные средние классы называли «хулиганством» — нападения толпы на состоятельных людей и представителей власти, грабёж и вандализм, пьяные драки и беспорядки, — с тем же основанием можно было бы назвать «революционными действиями». Отчасти ими они и были: революционное насилие 1905–1917 годов проявлялось именно в таких формах. Его питали те же чувства ненависти к богатым и ко всякой власти, то же стремление бедных и бесправных самоутвердиться и объявить улицы своими. Для собственников между «грубым» и «неотёсанным» поведением «хулиганов» — их вызывающей одеждой, пьянством, бранью, «дерзостью» и распущенностью — и поведением революционной толпы различий было немного.[51] Даже самые организованные рабочие выступления при малейшей провокации могли перейти в насилие и грабёж. Для всех революционных партий — особенно для большевиков, пытавшихся использовать ярость толпы в собственных политических целях, — это стало серьёзной проблемой. Такое насилие было обоюдоострым оружием: оно могло вести не к управляемой революционной силе, а к анархии. Этот урок большевикам предстояло усвоить в июльские и октябрьские дни 1917 года — во вспышках насилия, очень далёких от советского образа героической пролетарской мощи.

Если, однако, у советского мифа о фабричном рабочем с оружием в руках, сражающемся за революцию на баррикадах, и был реальный прообраз, то им стала всеобщая стачка 1905 года. Это был классический

пример стихийного и одновременно дисциплинированного восстания рабочего класса. Началось оно 20 сентября с забастовки московских печатников — самой образованной группы рабочих — за повышение заработка и улучшение условий труда. Забастовщики связались со студентами и провели массовую уличную демонстрацию, на которую напала полиция. Рабочие забрасывали полицейских камнями, били витрины, опрокидывали скамейки и валили деревья, сооружая баррикады. К началу октября в знак солидарности с товарищами бастовали уже печатники Петербурга и ряда других городов: дома среднего класса на несколько недель остались без газет. Затем остановились железнодорожники. Союз железнодорожных служащих и рабочих входил в Союз союзов, который ещё с лета обсуждал идею всеобщей политической стачки как средства добиться реформ. К 10 октября практически вся железнодорожная сеть страны остановилась. Миллионы других работников — фабричных, торговых, транспортных, банковских и конторских служащих, персонала больниц, студентов, преподавателей и даже актёров Императорского театра в Петербурге — присоединились к тому, что фактически стало общенациональной стачкой против самодержавия. Города замерли. Транспорт не ходил. По ночам гас свет. Телеграф и телефон перестали работать. Магазины закрывались и забивали окна досками. Начались перебои с продовольствием. Грабежи и мародёрство вышли из-под контроля. Дворяне и буржуазия пришли в ужас от распада порядка. Когда московский водопровод начал работать с перебоями, вспыхнула паника: пошли слухи, будто бастующие намеренно отравили воду. Рабочие, студенты и представители профессий вместе выходили на демонстрации против власти. Многие заканчивались спешным строительством баррикад и жестокими столкновениями с полицией и казаками. Политические требования демонстрантов были удивительно единообразны: созыв Учредительного собрания на основе всеобщего избирательного права. Это свидетельствовало и о координирующей роли Союза союзов, и о возросшей дисциплине и организованности самих рабочих.[52]

Последнее во многом было связано с Петербургским Советом. Русское слово «совет» означало именно совет, собрание, и Петербургский Совет был, по существу, временным рабочим органом,

созданным для руководства всеобщей стачкой. Своим возникновением он был обязан отчасти Союзу союзов, первым выдвинувшему эту идею, отчасти меньшевикам, которые взяли на себя организацию рабочих на фабричном уровне. 17 октября 562 фабричных депутата, преимущественно металлисты, собрались в здании Вольного экономического общества и избрали исполнительный комитет из пятидесяти человек, в который вошло по семь представителей от каждой из трёх главных социалистических партий — меньшевиков, большевиков и эсеров. С самого начала Совет принял облик и статус — который вновь обретёт в 1917 году — рабочего правительства и альтернативного центра власти по отношению к царским учреждениям. Он руководил стачками, выпускал собственную газету «Известия», которую рабочие читали с жадностью, создал милицию, занимался распределением продовольствия и своим примером побудил рабочих ещё пятидесяти городов создать собственные Советы. В Петербургском Совете господствовали меньшевики: они видели в нём воплощение своей идеологии. Большевики, напротив, с подозрением относились к самостоятельной инициативе рабочего класса и враждебно — к идее Совета как независимого рабочего органа, хотя это, несомненно, было связано и с тем, что сами они имели там очень мало влияния. Даже Ленин, вернувшийся из эмиграции в начале ноября, не выступал в Совете, хотя в здании, где тот заседал, до сих пор стоит стол с табличкой, утверждающей обратное.[53]

Номинальным председателем исполкома Совета был адвокат — и будущий меньшевик — Г. С. Хрусталёв-Носарь. Но настоящей движущей силой был Лев Троцкий. Он составлял резолюции и писал передовицы для «Известий». После ареста Хрусталёва-Носаря 26 ноября Троцкий стал и председателем. Из крупных социалистических лидеров именно он первым вернулся из эмиграции после Кровавого воскресенья. Он жил под разными именами и в разных обличьях, однажды даже изображал пациента глазной больницы, где писал революционные прокламации прямо в постели, пока сестры делали ему ножные ванны. Во время всеобщей стачки он появился в Совете под фамилией Яновский — по названию деревни, где родился. Поддержка рабочего восстания и блестящие публицистические атаки на либералов, несомненно, сблизили его после раскола 1903 года с большевистским

крылом социал-демократии. Но по сути он оставался революционным меньшевиком, и, как позднее вспоминал Георгий Дейч, именно Троцкий на этом этапе «больше всех олицетворял меньшевизм».[54]

Теперь советники царя смотрели на графа Витте как на человека, способного спасти страну от катастрофы. Сам Николай, однако, сохранял поразительное спокойствие. Большую часть той осени он проводил на охоте. «Трагическая сторона положения, — записал один придворный 1 октября, — состоит в том, что царь живёт в настоящем раю для дураков, воображая, будто Он столь же силён и всемогущ, как прежде». Наконец 9 октября Витте был принят в Зимнем дворце. С безжалостной откровенностью он сказал Николаю, что страна стоит на пороге катастрофической революции, которая «сметёт тысячу лет истории». У царя есть два выхода: либо назначить военного диктатора, либо провести крупные реформы. Витте изложил необходимые меры в принесённой с собой записке о будущем манифесте: гражданские свободы, конституционный порядок, кабинетное правительство и законодательная Дума, избираемая на демократической основе. По существу, это была политическая программа Освободительного движения. Цель Витте была ясна: изолировать левых, умиротворив либералов. Он подчёркивал, что репрессии могут дать лишь временную передышку и притом слишком рискованны: верность вооружённых сил уже вызывает сомнения, а если бросить их против всеобщей стачки, армия может окончательно развалиться. С Витте соглашалось большинство высших военных советников царя, а также Трепов, петербургский генерал-губернатор, влияние которого при дворе стало тогда чрезвычайно велико.

Николай всё ещё не был убеждён и предложил своему дяде, великому князю Николаю Николаевичу, взять на себя роль диктатора. Но вспыльчивый и прямолинейный великий князь вытащил револьвер и пригрозил тут же застрелиться, если царь не подпишет записку Витте. С тех пор императрица всегда винила великого князя в появлении российской «конституции». Его театральный жест действительно стал решающим: именно он был единственным человеком, способным взять на себя диктатуру, и лишь когда он встал на сторону реформы, царь наконец понял, что путь репрессий закрыт, и согласился подписать Манифест. «Дорогая мама, — писал он императрице Марии два дня

спустя, 19 октября, — ты не можешь представить, что я пережил до этого момента… Со всей России об этом кричали, об этом умоляли, и вокруг меня многие — очень многие — держались того же мнения… Другого выхода не было: пришлось перекреститься и дать то, чего все просили».[55]

Итак, с самого начала царь крайне неохотно входил в роль конституционного монарха. Образ Николая как «просвещённого царя», который будто бы «даровал России демократию», бесконечно далёк от истины — хотя именно его хотели бы навязать и апологеты царского строя, и торговцы ностальгией в постсоветской России. Для самодержца вроде Николая, видевшего себя правящим с престола в доброй старой византийской традиции, трудно было представить более глубокое унижение, чем быть вынужденным бюрократом Витте — всего лишь «деловым человеком» и, к тому же, бывшим железнодорожным служащим — предоставить подданным гражданские права. Даже окончательное отречение в 1917 году, которое, по словам Николая, он подписал, чтобы не нарушить коронационную клятву хранить самодержавие, не было для него столь горькой пилюлей. Позднее Витте утверждал, что двор с самого начала собирался использовать Манифест как временную уступку и после исчезновения опасности вернуться к прежним самодержавным порядкам.[56] Почти наверняка он был прав. Уже весной 1906 года царь начал отступать от обещаний предыдущего октября и утверждать, будто Манифест вовсе не ограничил его личных самодержавных прерогатив, а лишь поставил рамки бюрократии.

Провозглашение Манифеста встретили на улицах ликованием. Несмотря на дождь, огромные толпы собрались перед Зимним дворцом под большим красным знаменем с надписью «Свобода собраний». Они, вероятно, понимали, что наконец сумели добиться того, чего 9 января не удалось их согражданам. Значит, Кровавое воскресенье всё-таки не было напрасным. В Москве 50 тысяч человек собрались у Большого театра. Офицеры и светские дамы надели красные повязки и пели «Марсельезу» в знак солидарности с рабочими и студентами. Всеобщую стачку прекратили, объявили частичную политическую амнистию, и страну охватило эйфорическое чувство: казалось, Россия вступает в новую эпоху западного конституционализма. Вся страна, по словам одного либерала, «гудела, как огромный сад, полный пчёл в жаркий

летний день».[57] Газеты заполнились дерзкими передовицами и уродливыми карикатурами на правителей — старые цензурные законы фактически перестали действовать. Внезапно расцвела порнография: издатели испытывали пределы новых свобод. В Киеве, Варшаве и других столицах имперских окраин, когда политика русификации была приостановлена, хлынул поток новых изданий на местных языках. Политические собрания устраивались на улицах, площадях, в парках — везде, где люди больше не боялись ареста. Появилось новое, звучавшее по-иностранному слово — «митингование», обозначавшее страсть этих новорождённых граждан к собраниям. Невский проспект превратился в своеобразный Speakers' Corner, уличный народный парламент: ораторы вставали на бочки или цеплялись за фонарные столбы, и вокруг них мгновенно собирались огромные толпы, слушая речи и хватая раздаваемые листовки. Из эмиграции возвращались социалистические вожди. Возникали новые политические партии. Люди говорили о рождении новой России. Это были первые пьянящие дни свободы.

iii. Развилка путей

Именно в октябре 1905 года князь Львов, либеральный «земец», вступил в Конституционно-демократическую партию — партию кадетов. Решение далось ему нелегко: по натуре Львов не был «партийным человеком». Его политический склад был прежде всего практическим — именно это привело его в земскую деятельность, — и он с трудом укладывался в догму какой-либо одной партии. В партийной политике он почти не разбирался. Он постоянно путал социал-демократов с эсерами и, по словам друзей, не знал даже основных пунктов кадетской программы. «За все годы знакомства с князем Львовым, — вспоминал В. А. Оболенский, — я ни разу не слышал, чтобы он обсуждал какой-либо отвлечённый теоретический вопрос». Львов был «скептическим кадетом», как однажды назвал его лидер партии Милюков. Он всегда держался у края партийной платформы и редко участвовал в спорах. И всё же руководители кадетов постоянно интересовались его мнением, а сам Львов нередко выступал посредником между ними. Именно практический здравый смысл, опыт местной политики и отстранённость от фракционных распрей в конце концов сделают его предпочтительным

кандидатом на пост главы Временного правительства в марте 1917 года.[58]

Из всех политических партий, возникших после Октябрьского манифеста, Конституционно-демократическая партия была для Львова самым естественным выбором. В ней было много либеральных земцев, которые, подобно ему, пришли в партию через Освободительное движение. Программа этого движения легла в основу программы кадетов, принятой на учредительном съезде в октябре 1905 года. Манифест почти полностью сосредоточивался на политических преобразованиях — законодательном парламенте, избираемом на основе всеобщего избирательного права, гарантиях гражданских свобод, демократизации местного самоуправления и расширении автономии Польши и Финляндии. Отчасти это объяснялось тем, что левое и правое крыло партии слишком расходились по социальным вопросам, прежде всего по земельному. Но подобный акцент был, вероятно, закономерен для партии, в которой господствовала профессиональная интеллигенция: профессора и учёные, юристы, писатели, журналисты, учителя, врачи, чиновники и либеральные земцы. Из примерно ста тысяч членов не менее 60 процентов составляли дворяне. Центральный комитет выглядел настоящим «факультетом»: 21 из 47 его членов были университетскими профессорами, в том числе председатель Павел Милюков (1859–1943), крупнейший историк своего времени. Это были «люди восьмидесятых» — теперь им было около сорока. Они обладали сильным чувством общественного долга и разделяли западно-либеральные ценности, но очень плохо понимали массовую политику. В лучших традициях интеллигенции XIX века они любили считать себя вождями «народа», стоящими выше узких партийных и классовых интересов; сами же почти ничего не делали, чтобы действительно завоевать народ на свою сторону.[59] В душе, как и в разговорах за обедом, они одновременно боялись масс и презирали их.

Из других либеральных групп, возникших в это время, важнейшей стала партия октябристов. Название происходило от Октябрьского манифеста 1905 года, который она считала основой эпохи компромисса и сотрудничества правительства с общественными силами и началом нового правового порядка. В партии было около 20 тысяч членов — главным образом землевладельцы, предприниматели и чиновники

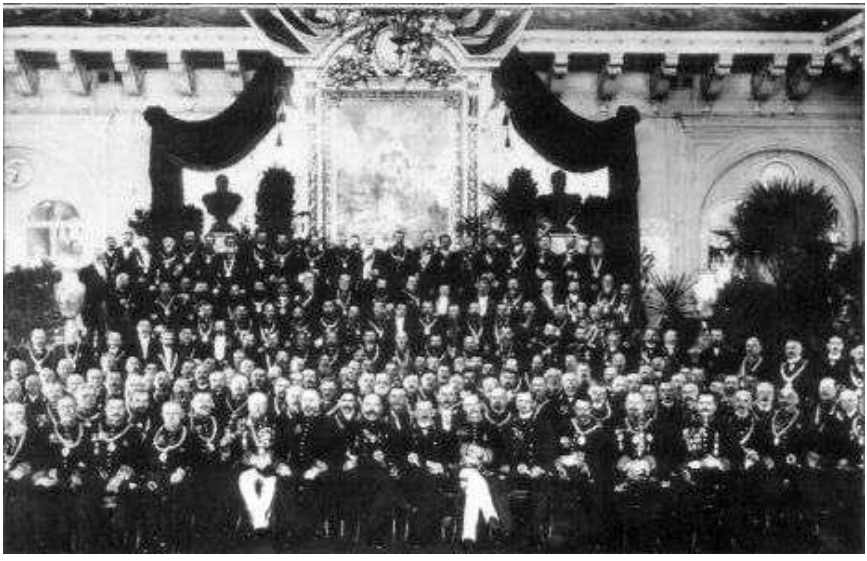
различных категорий. Они поддерживали умеренные политические реформы, но выступали против всеобщего избирательного права, видя в нём угрозу монархии — и, разумеется, собственным позициям в центральном и местном управлении.[60] Если кадеты были «либерал-радикалами» в том смысле, что одной ногой оставались в демократической оппозиции, то октябристы были «консервативными либералами»: они готовы были работать за реформы лишь в рамках существующего порядка и лишь ради его укрепления.

Сам Львов мог бы примкнуть к октябристам: одним из главных основателей партии стал Д. Н. Шипов — его старый политический наставник и товарищ по общеземскому движению, а лидером партии — Александр Гучков, соратник Львова по помощи армии в Маньчжурии. Но горький опыт десятилетней борьбы за реформы научил его не слишком доверять готовности царя исполнить обещания Манифеста. Львов предпочёл остаться с кадетами — в состоянии скепсиса и полупозиции к правительству — вместо того чтобы вместе с октябристами объявить ему лояльную поддержку.

Именно в этом, по сути, заключалась главная дилемма либералов после Октябрьского манифеста: поддерживать правительство или противостоять ему. До сих пор революция была широким наступлением всей страны, объединённой против самодержавия. Но теперь Манифест открывал перспективу нового конституционного порядка, в котором и монархия, и общество могли — только могли — начать развиваться по европейскому пути. Равновесие было чрезвычайно хрупким. Всегда существовала опасность, что царь откажется от конституционных обещаний, либо массы потеряют терпение с постепенными политическими реформами и обратятся к насильственной социальной революции. Очень многое зависело от либералов: до сих пор они возглавляли оппозиционное движение, а теперь оказались в стратегической точке между правителями и управляемыми. Их задача была неизбежно трудной: им приходилось казаться одновременно умеренными — чтобы не напугать первых — и радикальными — чтобы не оттолкнуть вторых.

Витте, которому в октябре поручили сформировать первое кабинетное правительство, предложил либералам несколько министерских портфелей. Шипову — Министерство земледелия,

Гучкову — Министерство торговли и промышленности, либеральному юристу А. Ф. Кони — Министерство юстиции, Е. Н. Трубецкому — Министерство народного просвещения. Князь Урусов, с которым мы познакомились как с губернатором Бессарабии (см. с. 42–45), сочувствовал кадетам и рассматривался на важнейший пост министра внутренних дел — правда, вскоре его кандидатуру отвергли: он был «порядочным» и даже «довольно умным», но «не обладал властным характером». Двум другим кадетам, Милюкову и Львову, также предложили министерские посты. Но ни один из этих «общественных деятелей» не согласился войти в кабинет Витте. # ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ПРИ ЦАРЯХ



14. Городские головы России в Петербурге на праздновании трёхсотлетия династии в 1913 году.



15. Хранители патриархального порядка в деревне: группа волостных старшин, 1912 год.



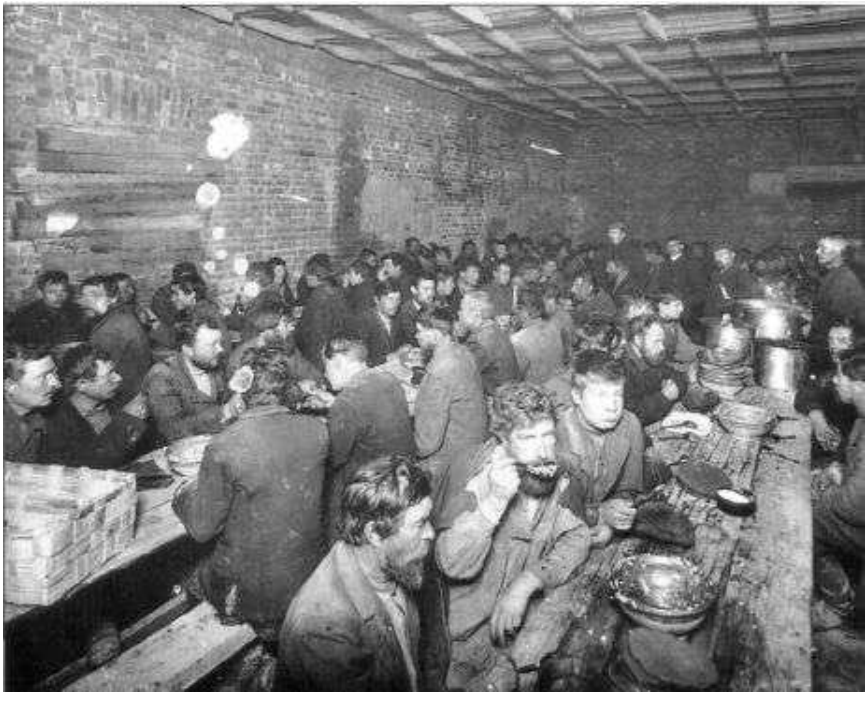
16. Газетный киоск в Петербурге, 1910 год. По мере распространения грамотности и ослабления цензуры после революции 1905 года газеты и брошюры переживали настоящий бум.



17. Продовольственная лавка в Петербурге, около 1900 года. Обратите внимание на икону в левом верхнем углу — знак повсеместного присутствия Церкви.



18. Общество крайностей — богатство и нищета. Ужин на балу графини Шуваловой в её роскошном дворце на Фонтанке в Петербурге, начало 1914 года.



19. Бесплатная столовая для безработных в довоенном Петербурге.



20. Крестьяне северной русской деревни, середина 1890-х годов. Обратите внимание на отсутствие обуви и однообразие одежды и домов.



21. Крестьянки должны были выполнять тяжёлую работу наряду с домашними обязанностями. Две дочери крестьянина помогают ему молотить зерно.



22. Крестьянки тянут баржу по реке Суре под надзором подрядчика.



23. Крепостное право ещё оставалось живой памятью. Братья-близнецы, бывшие крепостные, из Черниговской губернии, 1914 год.



24. Типичное русское крестьянское хозяйство: два брата, один из них вдовец, и у каждого по четыре ребёнка. Волоколамский уезд, около 1910 года.



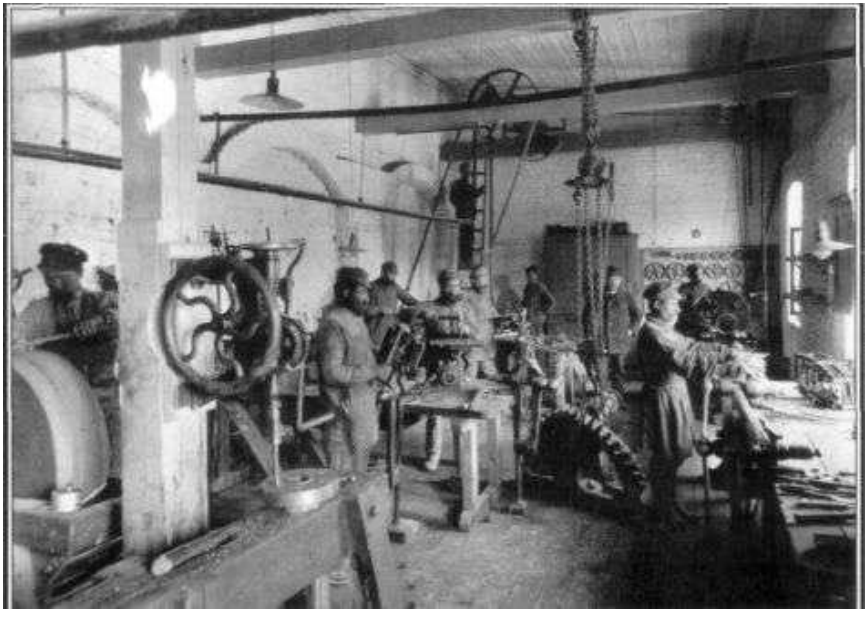
25. Собрание сельских старейшин, 1910 год. Большинство деревенских сходов проходило куда менее упорядоченно.



26. Крестный ход в Смоленской губернии. Далеко не все крестьяне были одинаково преданы Православной церкви.



27. Жилое место четырёх московских рабочих в общежитии фабрики Суконно-Бутиковского товарищества до 1917 года.



28. Внутри московского машиностроительного завода, около 1910 года.

Принято считать, что, отказавшись войти в кабинет Витте, либералы упустили свой лучший шанс направить царский режим по пути конституционных реформ.[61] Однако такое объяснение несправедливо. Формальным поводом к провалу переговоров стал отказ либералов работать с П. Н. Дурново — человеком известных правых взглядов и скандального прошлого,[44] которому, по-видимому, уже пообещали пост министра внутренних дел и которого теперь внезапно предпочли Урусову. Но кадеты сомневались и в том, что Витте сумеет выполнить обещания Октябрьского манифеста при враждебном отношении царя к реформам. Они боялись скомпрометировать себя участием в правительстве, которое окажется бессильным перед самодержавием. Эти страхи отчасти питались их привычным недоверием к власти и естественной склонностью к оппозиции. «Врагов слева нет» — таков был их лозунг в борьбе 1904–1905 годов. Октябрьская победа лишь укрепила их приверженность массовому давлению снизу. И сомнения были вовсе не беспочвенны. Сам Витте опасался, что двор использует его как временное средство, и не скрывал этого в разговорах с кадетами. Однажды Милюков прямо спросил его, почему он не возьмёт на себя обязательство провести конституцию. Витте пришлось признать: он не может этого сделать, «потому что царь этого не хочет».[62] Поскольку премьер не мог гарантировать исполнения Манифеста, либералы имели основания решить, что полезнее потратить силы на оппозиционную борьбу, чем на бесплодное сотрудничество с правительством.

В любом случае очень скоро стало ясно, что «либеральный момент» продлится недолго. Уже через несколько часов после провозглашения Октябрьского манифеста на улицах снова начались столкновения: страна раскалывалась на левых и правых. Во многом это насилие стало предвестием конфликтов 1917 года. Оно показывало, что социальные противоречия уже слишком глубоки, чтобы их можно было разрешить одним либеральным компромиссом. 18 октября, на следующий день после объявления Манифеста, часть ликующей московской толпы

[44] В 1893 году, служа в Департаменте полиции, Дурново приказал своим агентам похитить переписку испанского посла с его любовницей-проституткой, в которую был влюблён и сам Дурново. Посол пожаловался Александру III, и тот распорядился немедленно уволить Дурново. Но после смерти Александра ему каким-то образом удалось восстановить свою карьеру.

решила направиться к главной городской тюрьме — Бутырской — и потребовать немедленного освобождения всех политических заключённых. Демонстрация прошла мирно, и 140 заключённых выпустили. Но на обратном пути в центр на демонстрантов напала большая, хорошо вооружённая толпа с национальными флагами и портретом царя. Похожее столкновение произошло у Таганской тюрьмы, где один из только что освобождённых заключённых, большевик Н. Э. Бауман, был забит насмерть.

Для крайних правых это стало началом уличной войны против революционеров. С начала 1905 года возникло несколько правых организаций. В феврале реакционный редактор «Московских ведомостей» В. А. Грингмут создал Русскую монархическую партию, требовавшую восстановления сильного самодержавия, введения военного положения и диктатуры, а также подавления евреев, которых объявляли главными «зачинщиками» всех беспорядков. Существовало и Русское собрание во главе с князем Голицыным, состоявшее преимущественно из правых чиновников и офицеров Петербурга; оно выступало против западных парламентских институтов и отстаивало старую формулу «Самодержавие, Православие, Народность».

Но куда важнее всех был Союз русского народа, созданный в октябре двумя мелкими чиновниками — А. И. Дубровиным и В. М. Пуришкевичем — как движение для мобилизации масс против левых. Это был ранний русский вариант фашистского движения. Антилиберальный, антисоциалистический и прежде всего антисемитский, Союз призывал восстановить «народное самодержавие», якобы существовавшее до тех пор, пока Россия не попала под власть евреев и интеллигентов. Царь и его придворные сторонники, разделявшие эту фантазию, покровительствовали Союзу; его поддерживали и несколько видных церковных деятелей, среди них близкий к царской семье отец Иоанн Кронштадтский, епископ Гермоген и монах Илиодор. Сам Николай носил значок Союза и желал его руководителям «полного успеха» в объединении «верных русских» вокруг самодержавия. По указанию царя Министерство внутренних дел финансировало газеты Союза и тайно снабжало его оружием. При этом сам Союз был возмущён тем, что считал слабостью царя и его неспособностью раздавить левых. Правые решили сделать это за него:

создавали военизированные дружины и вступали в уличные схватки с революционерами. «Чёрные сотни», как называли их демократы,[45] шли по улицам с патриотическими знамёнами, иконами, крестами и портретами царя, а в карманах несли ножи и кастеты. К концу 1906 года Союз имел около тысячи отделений, насчитывавших в общей сложности до 300 тысяч членов.[63]

Как и в фашистских движениях межвоенной Европы, основную поддержку Союзу оказывали озлобленные деклассированные слои, потерявшие — или боявшиеся потерять — своё скромное положение в социальной иерархии из-за модернизации и реформ: выброшенные из деревни крестьяне, вынужденные перебиваться случайным трудом в городах; мелкие лавочники и ремесленники, зажатые конкуренцией крупного капитала; низшие чиновники и полицейские, раздражённые угрозой их власти со стороны новых демократических учреждений; наконец, всевозможные кабацкие патриоты, возмущённые тем, что «выскочки» — рабочие, студенты и евреи — осмеливаются оспаривать данную Богом власть царя. Уличная борьба с революцией служила им способом отомстить, повернуть время вспять и восстановить прежнюю социальную и расовую иерархию. К этим бандам примыкали и обычные уголовники — тысячи их были освобождены октябрьской амнистией — и видели в движении возможность для грабежа и насилия. Нередко при поддержке полиции черносотенцы ходили по улицам и избивали всех, кого подозревали в демократических симпатиях. Иногда жертв заставляли становиться на колени перед портретом царя или тащили в церковь и принуждали целовать императорский флаг.

Наиболее страшное насилие обрушилось на евреев. За две недели после Октябрьского манифеста документально зафиксировано 690 погромов, во время которых, по сообщениям, было убито более трёх тысяч человек. Правые организации играли в них ведущую роль — либо разжигали толпу против евреев, либо сами заранее организовывали погромы. Самый страшный произошёл в Одессе: 800 евреев были убиты, пять тысяч ранены, более ста тысяч остались без крова.

[45] Название носило уничижительный характер и было переделкой старого выражения «белые сотни», которым в средневековой Руси называли привилегированные группы дворян и богатых купцов. Люди низших слоёв, вступавшие в «чёрные сотни», к этой категории не принадлежали, отсюда и ироническое наименование.

Официальное расследование, назначенное Витте, установило, что полиция не только организовывала и вооружала толпу и снабжала её водкой, но помогала разыскивать евреев в убежищах и сама участвовала в убийствах. В петербургском полицейском управлении имелась даже собственная тайная типография, печатавшая тысячи листовок, в которых евреев обвиняли в стремлении погубить Россию и призывали народ «разорвать их на куски и убить». Трепов, фактический диктатор страны, лично редактировал эти листовки. Министр внутренних дел Дурново субсидировал их издание на сумму 70 тысяч рублей. Когда Витте потребовал привлечь виновного начальника полиции к суду, царь вмешался и защитил его.

Николай, по-видимому, был доволен погромами. Он разделял антисемитскую убеждённость в том, что революция в значительной степени дело евреев, и наивно видел в погромах оправданную месть своих «верноподданных». Это ясно видно из его письма матери от 27 октября:

> Дорогая мама…
>
> Начну с того, что положение вообще лучше, чем неделю назад… В первые дни после Манифеста крамольные элементы подняли голову, но быстро началась сильная реакция, и целая масса верных людей вдруг дала почувствовать свою силу. Результат был очевиден и именно тот, какого можно ожидать в нашей стране. Наглость социалистов и революционеров снова рассердила народ; а поскольку девять десятых смутьянов — евреи, вся народная ярость обрушилась на них. Так и произошли погромы. Удивительно, как одновременно они начались во всех городах России и Сибири… Примеры столь далёких друг от друга Томска, Симферополя, Твери и Одессы ясно показывают, на что способна разъярённая толпа: окружали дома, где укрывались революционеры, поджигали их и убивали всех, кто пытался спастись.[64]

Так начиналась контрреволюция, которая в конце концов достигнет своей кульминации в Гражданской войне. С этого момента антисемитизм стал одним из главных орудий двора и его сторонников, стремившихся сплотить вокруг себя «верный народ» в борьбе против революции и зарождавшегося либерального порядка.

Для революционеров убийство Баумана стало сильным напоминанием о кровавых привычках режима. В одночасье большевик превратился в мученика революции. Позднее, при советской власти, его

именем назовут улицы, школы, фабрики и даже целый район Москвы. На самом деле Бауман едва ли заслуживал столь раздутых почестей. Он любил злые розыгрыши и однажды довёл чувствительную партийную товарищицу до самоубийства: нарисовал жестокую карикатуру, изобразив её Богородицей с ребёнком во чреве и вопросительным знаком — на кого похож младенец. Многие социал-демократы, в том числе Мартов, требовали исключить Баумана из партии. Ленин возразил: Бауман — хороший партийный работник, а в конечном счёте только это и имеет значение. Скандал продолжал раскалывать партию — один из множества личных конфликтов, постепенно определявших нравственные различия между большевиками и меньшевиками после 1903 года, — пока самого Баумана не арестовали и не заключили в Таганскую тюрьму. Смерть очистила его от грехов. Благодаря мученичеству Баумана большевики впервые смогли сыграть на чувствах массовой аудитории. В крайне напряжённой атмосфере конца октября 1905 года люди по всему демократическому спектру увидели в его трупе символ судьбы, ожидавшей революцию, если демократы не объединятся против реакции. На похороны вышли десятки тысяч.

Если большевики чем-то и владели в совершенстве, то искусством хоронить своих мёртвых. Шесть могучих товарищей в кожаных куртках несли по московским улицам гроб Баумана, покрытый алым полотнищем. Впереди шёл большевик в чёрной, почти иезуитской одежде, с пальмовой ветвью в руке: он мерно раскачивал её в такт музыке и собственным медленным шагам. За ним шли партийные руководители с венками, красными флагами и тяжёлыми бархатными знамёнами, на которых золотом были вышиты лозунги борьбы. По бокам двигалась вооружённая милиция студентов и рабочих. А следом — ряд за рядом, по десять человек в шеренге, словно воинская колонна, — шли скорбящие, всего около ста тысяч. Это почти религиозное шествие длилось целый день, по пути к нему в разных местах присоединялись новые группы. У консерватории к нему примкнул студенческий оркестр и снова и снова играл траурный гимн революции: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Мерная тяжесть шагов, печальная музыка и военная организация процессии наполняли улицы мрачной угрозой. С наступлением темноты зажглись тысячи факелов, и красные флаги засветились в их отблесках. Речи у могилы были

эмоциональными, вызывающими и вдохновляющими. Вдова Баумана призвала толпу отомстить за смерть мужа, а когда участники похорон возвращались к центру, вспыхнули отдельные схватки с черносотенными бандами.[65]

К этому времени большевики уже готовили вооружённое восстание. Решимость усилилась после возвращения Ленина из Женевы в начале ноября: он настаивал, что восстание необходимо. После Кровавого воскресенья значительная часть его переписки из Швейцарии была заполнена подробными указаниями — как строить баррикады и как сражаться с казаками, используя бомбы и пистолеты. Петербургский Совет тоже готовился к решающей схватке с правительством. В ноябре он поддержал целую серию стачек, отличавшихся особой боевитостью. Под влиянием Троцкого и уличных толп, которые, по крайней мере в Петербурге, начали проявлять готовность к социалистической революции, многие меньшевики отходили от широкого союза с либералами и принимали идею вооружённого восстания ради утверждения «гегемонии рабочего класса». Шансов на успех было мало, но их заслоняла эмоциональная горячка. Некоторых социал-демократов унесла собственная риторика неповиновения — тем более что она делала их популярными среди разгневанных рабочих — и слова незаметно превратились в реальные планы действий. Другие считали, что лучше погибнуть в борьбе, чем вообще не попытаться взять власть. Один меньшевик вспоминал: «В глубине души мы были уверены, что поражение неизбежно. Но мы все были молоды, охвачены революционным энтузиазмом, и нам казалось лучше погибнуть в борьбе, чем оказаться парализованными, даже не вступив в неё. На карту была поставлена честь революции». Для Ленина — «якобинца» — не имело значения даже то, что путч может потерпеть поражение. «Победа?! — слышали от него в середине ноября. — Для нас сейчас дело вовсе не в этом!.. Не надо питать иллюзий, мы реалисты, и пусть никто не думает, будто мы обязаны победить. Для этого мы ещё слишком слабы. Дело не в победе, а в том, чтобы встряхнуть режим и вовлечь массы в движение. Вот в чём всё дело. А говорить, что раз мы не можем победить, то не должны поднимать восстание, — это просто речь трусов. И нам с ними не по пути!»[66]

Перелом наступил 3 декабря, когда были арестованы руководители Петербургского Совета. Несмотря на собственную слабую подготовку и отсутствие ясных признаков массовой поддержки, московские социал-демократы объявили всеобщую стачку и начали раздавать рабочим оружие. Подготовка шла лихорадочно, порой почти комически. Например, группа петербургских социал-демократов занялась безумным проектом изготовления «химического состава, который, если посыпать им полицейского, якобы должен был мгновенно лишить его сознания, чтобы можно было отнять оружие». Горький также помогал готовить восстание. Он превратил московскую квартиру в штаб, облачился в чёрную кожаную куртку и высокие военные сапоги и руководил операциями словно большевистский комиссар. В его кабинете изготавливали бомбы, а на кухне готовили пищу, которую отправляли рабочим и студентам на баррикады. «Вся Москва превратилась в поле боя, — писал он издателю 10 декабря. — Во всех окнах выбиты стёкла. Что происходит на окраинах и фабриках, я не знаю, но со всех сторон слышна стрельба. Власти, без сомнения, победят, но победа будет пирровой и даст обществу прекрасный урок. Она дорого обойдётся. Сегодня мимо наших окон пронесли троих раненых офицеров. Один был мёртв».[67]

Ирония заключалась в том, что при немного лучшем стратегическом планировании восставшие, возможно, сумели бы взять Москву, хотя в конечном счёте, при отсутствии общенациональной поддержки и после провала военных мятежей, власти всё равно, вероятно, победили бы. К 12 декабря повстанческие дружины контролировали все железнодорожные вокзалы и несколько районов города. На главных улицах выросли баррикады. Студенты и хорошо одетые горожане, возмущённые применением артиллерии против рабочих и безоружных толп, присоединились к их сооружению из телеграфных столбов, сломанных заборов, железных ворот, опрокинутых трамваев, фонарных столбов, рыночных ларьков, вырванных из домов дверей — всего, что попадалось под руку. То, что начиналось как рабочая стачка, превращалось во всеобщую уличную войну против власти. Ночью полиция и войска разбирали баррикады, а утром обнаруживали, что они возведены снова. Внешнее кольцо бульваров вокруг центра Москвы стало одним огромным полем боя: войска и артиллерия

сосредоточились на главных площадях, а повстанцы контролировали большую часть улиц между ними. В тот момент, если бы восставшие ударили в направлении Кремля, они могли бы добиться успеха. Но их планы в основном определялись целями самих рабочих, предпочитавших защищать свои опорные районы. На Пресне, например — в центре текстильной промышленности и месте, где жили наиболее боевые рабочие, — никто всерьёз не думал идти на центр. Вместо этого восставшие превратили Пресню в рабочую республику с собственной полицией и революционным советом, во многом предвосхитившим будущую систему Советов.

К 15 декабря перелом уже происходил в пользу властей. Из Петербурга наконец прибыли долгожданные подкрепления — Семёновский полк — и начали обстреливать Пресню, не разбирая целей. Прохоровская мануфактура и мебельная фабрика Шмидта, которые благодаря левым взглядам владельцев превратились в крепости восстания, подвергались бомбардировке два дня и две ночи, несмотря на готовность Шмидта вести переговоры о капитуляции. Значительная часть Пресни была разрушена. Пожары в домах вышли из-под контроля. К моменту подавления восстания погибло более тысячи человек — большинство из них мирные жители, попавшие под перекрёстный огонь или погибшие в горящих зданиях. В следующие недели власти развернули жестокую расправу: массовые аресты, казни без суда. Детей рабочих согнали в казармы, где полиция избивала их «для науки». Тюрьмы переполнились, активные рабочие лишались работы, социалистические партии снова были загнаны в подполье. Медленно, при помощи террора, порядок восстановили.[68]

Московское восстание не сумело поднять знамя социальной революции, зато стало красной тряпкой для быка контрреволюции. В апреле 1906 года Витте говорил Половцову, что после успешного подавления московского восстания он утратил всё влияние на царя, и, несмотря на его протесты, Дурново позволили «проводить жестокие, чрезмерные и часто совершенно ничем не оправданные репрессии». По всей стране социалистов хватали и сажали в тюрьмы, вынуждали эмигрировать или уходить в подполье. Семён Канатчиков, игравший заметную роль в большевистских организациях Москвы и Петербурга в 1905 году, в 1906–1910 годах был арестован и заключён в тюрьму не

менее трёх раз, после чего получил пожизненную ссылку в Сибирь. Только что завоёванные свободы социалистических партий были утрачены: восстанавливался старый полицейский режим. В 1906–1909 годах более пяти тысяч «политических» приговорили к смерти, ещё 38 тысяч — к тюремному заключению или каторге. В Прибалтике карательные части проходили по городам и деревням. За шестимесячную кампанию террора, начавшуюся в декабре, они казнили 1200 человек, уничтожили десятки тысяч зданий и подвергли порке тысячи рабочих и крестьян. Царь был доволен операцией и похвалил командующего за то, что тот «действовал превосходно».

В самой России режим без колебаний начал настоящую террористическую войну против собственного народа. В районах крестьянских волнений армия уничтожала целые деревни, тысячи крестьян были заключены в тюрьмы. Когда в уездных тюрьмах перестало хватать места, последовал приказ виновных просто расстреливать. «Одними арестами цели не достигнуть, — писал Дурново губернаторам в декабре. — Невозможно судить сотни тысяч людей. Предлагаю мятежников расстреливать, а при сопротивлении сжигать их дома». Режим стремился сломить дух крестьян унижениями и побоями. Целые общины заставляли снимать шапки и платки и, словно крепостных, падать ниц перед казачьими частями. Офицеры, проводившие допросы, ездили верхом между стоявшими крестьянами и били их нагайками по спине, если ответы не нравились, пока те не выдавали руководителей для немедленной казни. Казаков щедро поили водкой, и они совершали страшные зверства. Женщин и девушек насиловали на глазах у их мужчин. Сотни крестьян без всякого подобия суда вешали на деревьях. По оценкам, с середины октября и до открытия первой Государственной думы в апреле 1906 года царский режим казнил 15 тысяч человек, не менее 20 тысяч были застрелены или ранены, ещё 45 тысяч депортированы или сосланы.[69] Едва ли это можно было назвать многообещающим началом нового парламентского строя.

Во время подавления московского восстания квартиру Горького разгромили черносотенные банды, и ему пришлось тайно бежать в Финляндию. «Я живу возле водопада, глубоко в лесу на берегу Сайменского озера, — писал он 6 января жившей отдельно жене Екатерине. — Здесь красиво, как в сказке».[70] В новой политической

обстановке возвращаться в Россию было бы для Горького самоубийством. Правительство всеми средствами пыталось опорочить его имя. Витте даже заплатил корреспонденту лондонской *Daily Telegraph* — газеты, которую трудно было заподозрить в симпатиях к левым, — чтобы тот распространял клевету, будто Горький антисемит. Ничто не могло быть дальше от истины. Горький презирал бытовой антисемитизм своего времени, считая его симптомом русской отсталости. То, что погромы нередко выражали собственные революционные импульсы народа, станет впоследствии одной из причин его тревоги перед революцией.

Весной 1906 года Горький отплыл в Америку со своей гражданской женой, актрисой Марией Андреевой. Сначала в Стране свободы его приветствовали как героя борьбы против монархической тирании. Для американцев, как и для французов, Горький представлялся современным воплощением их собственных республиканских героев. Когда его корабль прибыл в Нью-Йорк, на пристани его встречали ликующие толпы, а Марк Твен выступил на банкете в его честь. Но руки царской полиции оказались очень длинными. Когда она сообщила американской прессе, что путешествующая с Горьким женщина не является его законной женой, разразился скандал. Газеты обвинили писателя в том, что он несёт развратный анархизм в Страну праведников. Твен отказался снова появляться вместе с ним, а разгневанные протестующие сорвали дальнейшие публичные выступления Горького. Однажды вечером, вернувшись в гостиницу, Горький и Андреева обнаружили, что их багаж уже упакован и выставлен в вестибюле. Управляющий объяснил: он не может рисковать доброй репутацией заведения, предоставляя им постель на ночь. Ни одна другая гостиница Манхэттена тоже не пожелала принять «безнравственную» пару, и убежище им пришлось искать в доме супругов Мартин — людей более широких взглядов — на Статен-Айленде.[71]

* * *

Какие уроки дала революция 1905 года? Царский режим был потрясён, но не свергнут. Причины достаточно ясны. Во-первых, различные оппозиционные движения — городская общественность и рабочие, крестьянская революция, мятежи в вооружённых силах и национальные

движения за независимость — развивались каждое в своём ритме и не сумели политически соединиться. В феврале 1917 года будет иначе: Дума и Совет выполнят важнейшую функцию координации. Во-вторых, несмотря на вспышку мятежей, вооружённые силы в целом сохранили верность и помогли режиму стабилизироваться. В будущем и это изменится: в феврале 1917 года ключевые части армии и флота быстро перейдут на сторону народа. В-третьих, после октябрьской победы революционный лагерь фатально раскололся на либералов и демократов, заинтересованных прежде всего в политических реформах, и социалистов с их сторонниками, стремившихся продолжить путь к социальной революции. Издав Октябрьский манифест, царский режим сумел вбить клин между либералами и социалистами. Никогда больше русские массы не поддержат конституционно-демократическое движение так, как в 1905 году.

«Реакция торжествует — но её победа не может длиться долго», — писал Горький другу перед отъездом в Нью-Йорк. И действительно, режим сумел восстановить порядок, но вернуть время назад уже не мог. 1905 год навсегда изменил общество. Для всех, кто его пережил, это был формирующий опыт. Многие молодые товарищи 1905-го станут старшими участниками 1917-го. Их вдохновляла память о первой революции, они учились на её уроках. Борис Пастернак (1890–1960) выразил значение этих событий для своего поколения в поэме «1905 год»:

Эта ночь ружей,

Усыплённая

Стачкой.

Эта ночь —

Было наше детство

И юность наших учителей.[72]

Русский народ — как и многие нерусские народы империи — завоевал в 1905 году новые политические свободы, и после восстановления власти просто отнять их было уже невозможно. Бум газет и журналов, созыв Думы, формирование политических партий, рост общественных организаций — всё это означало, что политика больше не могла

оставаться исключительной собственностью государства; её приходилось обсуждать открыто, даже если настоящие рычаги власти по-прежнему твёрдо держал царь.

Попробовав вкус новых свобод, массы уже никогда не могли вновь довериться царю. На своём месте их удерживал один страх. Бернард Пэрс приводит разговор с русским крестьянином в 1907 году. Англичанин спросил, что, по его мнению, больше всего изменилось в стране за последние пять лет. Подумав, крестьянин ответил: «Пять лет назад была вера [в царя] и страх. Теперь вера исчезла совсем, остался один страх».[73]

Невозможность вернуться к дореволюционному порядку определялась не только настроением общества. Слишком многие из собственных институтов режима утратили волю к прежней власти. Даже тюрьмы — последнее прибежище самодержавия — оказались заражены новым либеральным духом. Когда в августе 1905 года лидер кадетов Милюков был заключён в «Кресты», он обнаружил, что даже начальник тюрьмы проявляет «все признаки либерализма. Он ознакомил меня с тюремной системой и обсуждал со мной способы организации труда заключённых, развлечений и работы тюремной библиотеки». Троцкий столь же мягким нашёл режим Петропавловской крепости:

> Днём камеры не запирали, и на прогулки мы выходили все вместе. Часами мы с упоением играли в чехарду. Жена навещала меня два раза в неделю. Дежурные чиновники закрывали глаза на обмен письмами и рукописями. Один из них, человек средних лет, был особенно к нам расположен. «Мои дочери все студентки», — с восторгом шепнул он мне и загадочно подмигнул. Позднее, уже при советской власти, я встретил его и в голодные годы сделал для него всё, что мог.

Тюремщики в этой крепости особого режима разрешали ему получать новейшую социалистическую литературу вместе с грудами французских и немецких романов, которые он читал «с тем же физическим наслаждением, с каким гурман смакует редкое вино или вдыхает аромат хорошей сигары». За время заключения он даже сумел написать историю Петербургского Совета и несколько других революционных произведений. «Чувствую себя превосходно, — любил шутить он с посетителями. — Сижу, работаю и совершенно уверен, что меня не могут арестовать». Когда Троцкий покидал крепость, то, по его

позднейшему признанию, испытывал «лёгкий оттенок сожаления». Сохранилась его фотография в камере. В чёрном костюме, белой рубашке с жёстким воротником и начищенных туфлях он, по словам Исаака Дойчера, скорее выглядел как «преуспевающий западноевропейский интеллектуал fin-de-siècle, собирающийся на несколько официальный приём», чем «революционер, ожидающий суда в Петропавловской крепости». Лишь голая суровая стена и глазок в двери напоминают о реальной обстановке.[74]

С присущим ему блеском Троцкий превратил суд над пятьюдесятью одним руководителем Совета в великолепную пропагандистскую кампанию против царского режима. Процесс начался в октябре 1906 года. Каждый день суд осаждали петициями, письмами, коробками с едой и цветами, присылаемыми сочувствующими подсудимым. Зал суда начал напоминать цветочный магазин. Подсудимые и их сторонники на галерее прикалывали цветы к петлицам и платьям. Скамья подсудимых тонула в букетах. Судья не решился убрать эту благоухающую демонстрацию, и деморализованные служители суда как могли справлялись с растущим потоком посылок. Однажды подсудимые встали, чтобы почтить память товарища, казнённого незадолго до процесса. Даже обвинители сочли необходимым подняться на минуту молчания.

Троцкому предоставили слово в защиту. Он превратил скамью подсудимых в революционную трибуну, проповедуя суду справедливость рабочего восстания и время от времени обвиняюще указывая пальцем на сидевшего позади судью. Его речь перевернула обвинение с ног на голову: руководители Совета не ввели рабочих в заблуждение и не повели их к восстанию — они сами следовали за рабочими; если они виновны в государственной измене, то надо судить и тысячи рабочих. Политический порядок, против которого они восстали, говорил Троцкий, был не «формой правления», а «автоматом массового убийства… И если вы скажете мне, что погромы, поджоги и насилие… представляют форму правления Российской империи, тогда — да, тогда я вместе с обвинением признаю, что в октябре и ноябре мы вооружались против формы правления Российской империи».[75] Когда он закончил, зал охватило сильное волнение. Адвокаты защиты

окружили его, желая пожать руку.[46] Нравственная победа была очевидна. 2 ноября присяжные вынесли вердикт: всех, кроме пятнадцати руководителей Совета, оправдали. Троцкого и ещё четырнадцать человек сослали за Полярный круг.

Для крестьян и рабочих новые политические свободы сами по себе имели мало значения. Ни одно их собственное требование социальных преобразований не было удовлетворено. Опыт 1905 года научил их ждать социальной революции и не следовать политическому руководству либералов. Неудачи думских лет лишь углубят разочарование. Раскол, обнаружившийся после Октябрьского манифеста, становился всё шире: по одну сторону — конституционные идеалы либеральных собственнических классов, по другую — социально-экономические требования масс рабочих и крестьян. Политическая и социальная революции расходились разными дорогами.

Рабочие вернулись на фабрики и обнаружили, что прежний режим труда остался на месте. После того как хозяева ненадолго дрогнули, старые жестокие условия должны были казаться ещё более невыносимыми. С подавлением социалистического движения рабочие организации оказались осаждены и изолированы. И всё же число политизированных рабочих, готовых вступать в них и действовать, росло с каждым месяцем.

Крестьяне, со своей стороны, были разочарованы, но не разгромлены в борьбе за помещичью землю. Когда владельцы вернулись в имения, они заметили перемену в настроении деревни. Прежняя почтительность исчезла, её сменила угрюмая грубость по отношению к господам. «Вместо прежней вежливости крестьян, их дружелюбия и смирения, — писал один помещик после возвращения в самарское имение в 1906 году, — на лицах была одна ненависть, и даже манера приветствовать подчёркивала грубость». Другой помещик, вернувшийся в 1908 году в своё тульское имение, замечал:

> Внешне всё как будто вернулось к норме. Но внутри самого народа произошло нечто существенное, непоправимое. Общее чувство страха подорвало всякое доверие. После целой жизни безопасности — прежде

[46] По иронии судьбы среди них был А. А. Зарудный, который в 1917 году, будучи министром юстиции в правительстве Керенского, заключит Троцкого в тюрьму по обвинению в государственной измене.

никто не запирал на ночь дверей и окон — дворяне теперь заботились об оружии и лично обходили дом, проверяя меры защиты.

Многие дворяне жаловались на рост крестьянской преступности, вандализма и «хулиганства». Они находили разбитыми хозяйственные постройки и машины, а иногда им приходилось утешать дочерей, которых донимали деревенские парни. Новая воинственная самоуверенность и нетерпение крестьян к господам отразились в деревенских песнях, например в такой, записанной в 1912 году:

Ночью я хожу гулять,

Богачи мне не мешают.

Пусть попробует богач —

Я ему башку сверну.[76]

Революция с пугающей ясностью обнажила глубокую ненависть крестьян к помещикам. Они негодовали, что пришлось вернуть землю, которую ненадолго захватили в «дни свободы». Враждебными взглядами и мелкими актами вандализма крестьяне давали понять: земля «их», и как только старый режим снова ослабеет, они вновь её отнимут.

Провинциальные помещики, многие из которых в 1904–1905 годах поддерживали либеральное движение за реформы, теперь в большинстве своём либо отошли от политики, либо стали твёрдыми сторонниками реакции. Многие, испугавшись крестьянского насилия, продали имения и перебрались в города: между 1906 и 1914 годами дворянство продало крестьянам пятую часть своих земель, а в наиболее мятежных районах 1905–1906 годов — почти треть. Но большинство тех, кто остался на земле, ещё решительнее настроились защищать право собственности. Они громко требовали восстановления закона и порядка. Некоторые помещики нанимали собственные вооружённые отряды для охраны усадеб от поджогов и разгрома. Многие крупные землевладельцы вступили в Объединённое дворянство и другие землевладельческие организации, появившиеся после 1905 года. Эта «дворянская реакция» отразилась и на характере земств: из либеральных учреждений они превращались в опоры консерватизма. В прежние либеральные годы земства стремились улучшить положение крестьян; после 1905 года они всё больше сосредоточивались на узких интересах

помещиков. Даже либерально настроенного князя Львова зимой 1905–1906 годов не избрали вновь в губернскую управу Тульского земства, и ему пришлось баллотироваться от города. Граф Бобринский, лидер Объединённого дворянства и, по иронии, шурин Львова, объявил его «опасным либералом».[77]

Но не одни помещики всё сильнее боялись низших классов. Всё собственническое общество столкнулось с пугающей реальностью насильственной революции, и мысль о том, что она повторится — на этот раз, возможно, ещё кровавее, — внушала ужас. Теперь становилось ясно: следующая революция не будет бескровным праздником Свободы, Равенства и Братства. Она явится страшной бурей, взрывом накопленных гнева и ненависти обездоленных, который сметёт старую цивилизацию. Такой грозный образ возникал у поэтов вроде Блока и Белого, изображавших Россию после 1905 года как действующий, нестабильный вулкан.

Эти страхи проявились в том, как после 1905 года потемнел язык буржуазии по отношению к «толпе». Вместо прежнего добродушного взгляда на городскую бедноту как на «пёстрый люд, достойный сострадания» рос страх перед тем, что Белый называл «многотысячным человеческим роем». Бульварная пресса и журналы питались нарастающей моральной паникой буржуазии — напоминающей нынешние страхи перед ростом «низшего класса» — и писали о распаде общественного порядка, подростковой преступности, насилии против состоятельных людей, неуважении к власти и даже сексуальной распущенности рабочих. Любое «грубое» поведение низших классов всё чаще воспринималось как агрессия и осуждалось как «хулиганство» — даже организованные рабочие протесты, к которым либеральное общество ещё недавно относилось с некоторой симпатией. Иными словами, в сознании «порядочных классов» исчезало чёткое различие между уголовным хулиганством и насильственным, но оправданным протестом. Революцию 1905 года теперь охотно осуждали как форму «безумия», как «психическую эпидемию», по выражению одного психолога, которая лишь разбудила «низменные инстинкты» толпы. Напуганная буржуазия испытывала всё меньше сострадания к бедным; это отражалось и в сокращении пожертвований на благотворительность.[78]

Как либеральная совесть своего класса, кадеты мучительно размышляли над дилеммами, которые растущая угроза насилия ставила перед их поддержкой революции. С одной стороны, они вступили в союз с улицей — хотя бы потому, что политической альтернативы не было. И сами провозглашали: «Врагов слева нет». С другой стороны, большинство кадетов были буржуа и по социальному положению, и по общему мировоззрению и потому панически боялись нового уличного насилия. В ноябре Е. Н. Трубецкой предупреждал:

> Волна анархии, надвигающаяся со всех сторон и в настоящее время угрожающая законному правительству, быстро смела бы любое революционное правительство: озлобленные массы тогда обратились бы против действительных или мнимых виновников; они стали бы уничтожать всю интеллигенцию; начали бы без разбора резать всякого, кто носит немецкое платье [то есть хорошо одет].[79]

Теперь большинство кадетов пришло к выводу, что революции они всё-таки не хотят. Они были достаточно умны, чтобы понимать: следующими её жертвами станут сами. На втором съезде в феврале 1906 года партия осудила забастовки, московское восстание и захваты помещичьей земли предыдущей осенью. После этого она словно вздохнула с облегчением: её неискренний брак с революцией наконец был расторгнут.

Нигде отход от масс не проявился так ясно, как среди интеллигенции. Поражение революции 1905 года и угроза новой, ещё более насильственной социальной революции вызвали самые разные реакции у писателей и публицистов, всегда считавших себя защитниками «народного дела». Многие разочаровались и оставили политику ради удобной карьеры в юриспруденции или бизнесе. Они остепенились, располнели, сделались самодовольными и со смущением вспоминали левые увлечения студенческой молодости. Другие ушли из политических споров в эстетику, богемную жизнь, рассуждения о языке и сексуальности или в эзотерические мистические философии. Это был расцвет экзотического и претенциозного интеллектуализма. Религиозный идеализм Владимира Соловьёва особенно сильно повлиял на символистов — Блока, Мережковского и Белого — и на философов С. Л. Франка, Сергея Булгакова и Бердяева, отвергавших материализм марксистской интеллигенции и стремившихся вновь утвердить

первенство нравственных и духовных ценностей. Общим для всех этих течений было глубокое сомнение в перспективах либерального прогресса в России.

Возникло общее чувство, что русская цивилизация обречена. В романе Белого «Петербург» (1913) одним из действующих лиц становится бомба. В основе этого культурного пессимизма лежали страх и отвращение к «тёмным» массам. «Народ» утратил прежнюю отвлечённую чистоту: в 1905 году он повёл себя как обычные люди — его двигали зависть, ненависть и жадность. На таком основании нельзя было построить новую цивилизацию. Даже Горький, провозгласивший себя защитником простого человека, резко выразил свои глубочайшие страхи. «Вы правы 666 раз, — писал он литературному знакомому в июле 1905 года, — [революция] рождает настоящих варваров, точно таких, какие разорили Рим».[80] С этого момента Горького будет преследовать страх — а после 1917 года страшное осознание, — что «народная революция», за которую он боролся всю жизнь, уничтожит русскую цивилизацию. Многие из этих тем сошлись в сборнике «Вехи», опубликованном в 1909 году группой философов, критически оценивавших радикальную интеллигенцию и её роль в революции 1905 года. Сборник вызвал бурю споров — не в последнюю очередь потому, что все его авторы имели безупречное интеллигентское, то есть политически радикальное, прошлое. Сам этот факт был симптомом нового настроения сомнения и самоанализа, охватившего интеллигенцию. Особенно возмущало изображение революционера — сходное с образом в романе Бориса Савинкова «Конь бледный» (1909) — как искалеченной личности, движимой патологической страстью к разрушению, безнравственному насилию и жестокости, жаждой личной власти. Культ революционного героя был настолько неотделим от самоощущения интеллигенции, что подобное разоблачение неизбежно вело её к экзистенциальному кризису. В одном из очерков «Вех» Струве осуждал интеллигенцию за то, что после Октябрьского манифеста она не поняла необходимости сотрудничать с государством в создании правового порядка. Пока интеллигенция не откажется от привычки к революционной оппозиции и вместо этого не начнёт учить массы уважать закон, царское государство останется единственной реальной защитой от угрозы анархии.

Франк и Бердяев утверждали, что атеизм и материализм интеллигенции соблазнили её подчинить абсолютные истины и нравственные ценности «благу народа». При таком утилитарном подходе революционеры в конце концов разделят общество на жертв и угнетателей, а из великой любви к человечеству родятся великая ненависть и жажда мести конкретным людям. Б. А. Кистяковский осуждал склонность радикальной интеллигенции пренебрегать «формальностью» закона как чем-то низшим по сравнению с внутренней справедливостью «народа». Закон, доказывал он, — абсолютная ценность, единственная реальная гарантия свободы, и всякая попытка подчинить его интересам революции неизбежно закончится деспотизмом. Другой автор, А. С. Изгоев, высмеивал инфантильный левизм студентов, винивших правительство во всех бедах и принимавших самые крайние взгляды, потому что считали их более «благородными». Наконец, М. О. Гершензон так сформулировал задачу, стоявшую теперь перед оказавшейся под угрозой интеллигенцией:

> Интеллигенции надо перестать мечтать об освобождении народа — народа нам следует бояться больше, чем всех правительственных казней, и благословлять это правительство, которое одно своими штыками и тюрьмами всё ещё защищает нас от ярости масс.[81]

В долгосрочной перспективе настоящими победителями революции 1905 года оказались большевики. Не потому, что непосредственно после неё они были сильнее главных соперников; напротив, во многих отношениях репрессии после 1905 года ударили по ним сильнее, и без финансовой помощи богатых покровителей вроде Горького они вполне могли не пережить следующие двенадцать лет. Немногие оставшиеся возможности для легальной социалистической печати и профсоюзов лучше использовали меньшевики, правое крыло которых — так называемые ликвидаторы — прекратило подпольную деятельность, чтобы сосредоточиться на развитии законных организаций. К 1910 году в России не выходило уже ни одной подпольной газеты.

Из десяти тысяч социал-демократов, остававшихся в стране, менее десяти процентов были большевиками. Массовые аресты, ссылка руководителей и постоянная полицейская слежка превратили большевиков в крошечную подпольную секту. Охранка настолько

глубоко проникла в партию, что несколько доверенных людей Ленина оказались полицейскими агентами — в том числе оба секретаря Петербургского комитета и глава большевистской фракции в Четвёртой думе Роман Малиновский.

Несмотря на советский — и антисоветский — миф о единой партии под руководством Ленина, большевики тоже не избежали фракционных расколов, парализовавших после 1905 года все социалистические партии. Как и у меньшевиков и эсеров, самый острый спор шёл о сочетании легальных и нелегальных методов. Все большевики признавали первенство революционного подполья. Но одни, как Ленин, хотели использовать и доступные законные каналы — Думу, профсоюзы — хотя бы как «витрину» для массовой агитации; другие, как Богданов, сооснователь большевистской фракции вместе с Лениным, считали, что это лишь внушит рабочим «конституционные иллюзии». К этому спору примешивались ещё два вопроса: вызывавшее скандалы использование большевиками «экспроприаций», то есть банковских ограблений, для финансирования партии; и стремление многих большевиков, особенно рядовых, примирить две социал-демократические фракции и восстановить единство.

Но последствия 1905 года должны были развести меньшевиков и большевиков ещё сильнее, чем партийный съезд 1903 года. Лишь после 1905-го два крыла социал-демократии окончательно стали двумя самостоятельными партиями — каждая со своей политической культурой, системой этики, философией и методами. Решающее значение имели тактические перемены Ленина. Основные принципы большевистской политической философии сложились уже к 1903 году, но лишь после 1905-го, когда Ленин осмыслил практические уроки провалившейся революции, начали ясно выступать её особые стратегические черты. Отсюда и его слова пятнадцать лет спустя о революции 1905 года как о «генеральной репетиции» большевистского захвата власти.[82]

Впоследствии Ленин считал, что 1905 год доказал три вещи: банкротство «буржуазии» и её либеральных партий как революционной силы; огромный революционный потенциал крестьянства; и способность национальных движений на окраинах смертельно ослабить империю. Он призывал отказаться от ортодоксальной марксистской

догмы, которой большинство меньшевиков держалось как символа веры: будто отсталая Россия обязана сначала пройти через «буржуазно-демократическую революцию» и несколько десятилетий капиталистического развития, прежде чем рабочий класс станет достаточно зрелым, чтобы взять власть и установить социализм. Ленин утверждал: рабочим вовсе не нужно идти вслед за либеральной «буржуазией» при свержении царизма; они могут создать собственное революционное правительство в союзе с крестьянами и национальными меньшинствами. Эта концепция самостоятельности рабочего класса станет мощным оружием большевиков. Когда после 1912 года забастовки и протесты возобновятся, рабочие всё чаще будут обращаться к большевистскому руководству: поддержка решительных действий против «буржуазии» совпадала с усилившимся после 1905 года чувством пролетарской солидарности.

Сходную идею Троцкий развил в теории «перманентной революции», заимствованной у марксистского теоретика Парвуса и разработанной в книге «Итоги и перспективы» на основе анализа революции 1905 года. Хотя Троцкий всё ещё оставался меньшевиком — гордость не позволяла ему вступить в ленинскую партию, — его теория гораздо лучше соответствовала революционному большевизму, к которому он придёт в 1917 году, чем основному течению меньшевизма, представленному Плехановым и Аксельродом, настаивавшими, что буржуазная революция является необходимой предпосылкой настоящего социализма.[47] Российская буржуазия, говорил Троцкий, показала неспособность возглавить демократическую революцию. Но именно слабость собственных агентов капитализма позволяла рабочему классу совершить революцию раньше, чем в более развитых странах Запада. Исторический парадокс превращался в стратегию. Сначала русская революция должна была заручиться поддержкой крестьян — подавляющего большинства населения, — позволив им захватить помещичьи имения. Но по мере движения революции к социализму и роста сопротивления «мелкобуржуазного» крестьянства дальнейшее

[47] Ф. И. Дан и Е. И. Мартынов также отошли от этого старого меньшевистского представления, восходившего ещё к 1880-м годам. Их теория «непрерывной революции», изложенная осенью 1905 года в газете «Начало», мало отличалась от теории «перманентной революции».

продвижение будет зависеть от распространения революции на индустриальные страны Запада: без их поддержки социалистический строй не сможет удержаться. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Именно в этом — и только в этом — аспекте своей теории Троцкий оставался меньшевиком. После 1905 года все разновидности меньшевистской доктрины объединяла одна мысль: без социалистической революции на Западе революционная борьба русского рабочего класса неизбежно потерпит поражение, если не получит поддержки — или хотя бы нейтралитета — буржуазии. Отсюда, по мнению меньшевиков, следовала необходимость гибкой политики по отношению к либеральным партиям: и тем и другим было выгодно добиваться демонтажа деспотического государства и установления демократии. Думские годы должны были стать последней проверкой этого эксперимента политической реформы.

ГЛАВА 6

ПОСЛЕДНИЕ НАДЕЖДЫ

i. Парламент и крестьяне

Государственная дума наконец открылась 27 апреля 1906 года. Стоял жаркий солнечный день — один из многих в необыкновенно тёплую русскую весну. Владимир Оболенский, избранный депутатом от Ялтинского уезда, с некоторым неудобством втиснулся в старый фрак и отправился в экипаже к Зимнему дворцу, где новых парламентариев должны были принять в Георгиевском зале. Царь и депутаты Думы относились друг к другу с глубочайшим подозрением: ни одна сторона не желала делиться властью с другой. Поэтому вся церемония превратилась в обмен враждебными жестами — словно поклоны, реверансы, весь блеск и ритуал были тонкими манёврами в тщательно замаскированной битве.

Николай уже одержал первую победу: на открытие депутаты пришли к нему, а не он — в Думу. Лишь в феврале 1916 года, в разгар тяжёлого политического кризиса, царь наконец соизволил появиться в Таврическом дворце — месте заседаний Думы. И как бы подчёркивая верховенство монарха, Георгиевский зал Зимнего дворца был роскошно приготовлен к встрече народных представителей. Трон драпировали горностаем; у его подножия на четырёх маленьких табуретах лежали корона, скипетр, государственная печать и держава. Перед троном, словно святой защитник, поставили чудотворную икону Христа; её торжественно охраняло духовенство. Глубокие басы хора в багряно-золотых облачениях пели куплет за куплетом «Боже, Царя храни» — словно нарочно заставляя собрание стоять — пока на вершине музыкального крещендо не появилась царская процессия.

По одну сторону зала стояли великие и сильные самодержавной России: члены Государственного совета, сенаторы, министры, адмиралы, генералы и придворные — все в сверкающих парадных мундирах, увешанных орденами и золотым шитьём. Напротив расположились парламентские представители новой демократической России — пёстрое собрание крестьян в ситцевых рубахах и поддёвках,

людей свободных профессий в обычных костюмах, монахов и священников в чёрном, украинцев, поляков, татар и представителей других народов в яркой национальной одежде, а также немного дворян во фраках. «Две враждебные стороны стояли лицом к лицу, — вспоминал Оболенский. — Старые седые сановники двора, хранители этикета и традиции, с высокомерием, хотя и не без страха и растерянности, глядели на “людей с улицы”, которых революция занесла во дворец, и тихо перешёптывались. Другая сторона смотрела на них с не меньшим презрением». Один из социалистических депутатов — высокий человек в рабочей блузе — с явным отвращением рассматривал трон и окружавших его придворных. Когда царь со свитой вошёл в зал, депутат подался вперёд и уставился на них с мучительным выражением ненависти. На мгновение возник страх, что он может бросить бомбу.

Когда царь приблизился к трону, придворная половина зала загремела заранее организованными криками приветствия. Депутаты Думы хранили полное молчание. «Это, — вспоминал Оболенский, — было естественным выражением наших чувств к монарху, который за двенадцать лет своего царствования успел уничтожить весь авторитет, которым пользовались его предшественники». Чувство было взаимным: царь ни разу не взглянул в сторону думской половины. Сев на трон, он произнёс короткую формальную речь, пообещав «с непоколебимой твёрдостью» сохранять основы самодержавия, и с очевидной неискренностью приветствовал депутатов как «лучших людей» империи. После этого он встал и ушёл. Парламентская эпоха началась. Когда царская процессия покидала зал, на лице матери Николая, вдовствующей императрицы, видели слёзы. Позднее она призналась министру финансов, что церемония была «ужасной». Несколько дней она не могла оправиться от потрясения, вызванного видом такого множества простолюдинов во дворце. «Они смотрели на нас как на врагов, и я не могла оторвать глаз от некоторых лиц — настолько в них отражалась какая-то странная ненависть ко всем нам».[1]

Это церемониальное противостояние было лишь предвестием будущей войны. Весь период русской политической истории между революцией 1905 года и февралем 1917-го можно представить как борьбу между монархическими и парламентскими силами. Сначала,

пока страна ещё выходила из революционного кризиса, двор был вынужден уступать Думе. Но по мере того как память о 1905 годе тускнела, он пытался урезать её полномочия и восстановить старое самодержавие.

Конституционные реформы 1905–1906 годов были достаточно двусмысленны, чтобы обе стороны могли питать надежды. Николай никогда не принимал Октябрьский манифест как необходимое ограничение собственных самодержавных прав. Под давлением Витте он неохотно даровал его лишь затем, чтобы спасти престол. Но он никогда не клялся соблюдать его как «конституцию» — само решающее слово нигде не прозвучало, — поэтому в его собственном сознании коронационная присяга сохранять самодержавие оставалась в силе. Власть царя, как и прежде, исходила прямо от Бога. Мистическое основание царской власти, ставившее её выше всякого оспаривания, сохранилось. В новых Основных государственных законах, принятых в апреле 1906 года, не было ничего, что означало бы: отныне власть царя исходит от народа, как это предполагалось западными конституционными теориями.

В этом смысле Милюков был прав, когда — вопреки советам большинства кадетских товарищей — настаивал: настоящей конституции в России не будет до тех пор, пока сам царь прямо не признает её новой присягой. Пока этого не произошло, Николай не чувствовал себя по-настоящему связанным конституционными принципами собственного Манифеста; после минования революционного кризиса ничто не мешало ему вернуться к прежним самодержавным порядкам. Более того, Основные законы сознательно составлялись так, чтобы формально выполнить обещания Октябрьского манифеста и одновременно сохранить царские прерогативы. Новые конституционные свободы втискивались в старую юридическую конструкцию самодержавия. Царь даже прямо сохранил титул «Самодержец», хотя прежнее определение «неограниченный» было заменено на «верховный». Николай воспринял это как возможность продолжать прежнюю практику. По его мнению, ограничения Основных законов относились лишь к царской администрации, а не к его собственному праву свободно править. Более того, раз бюрократию

он считал «стеной» между собой и народом, он мог даже утешать себя мыслью, что реформы укрепят его личную власть.

И в системе после 1905 года большинство козырей действительно оставалось у царя. Он был верховным главнокомандующим и сохранял исключительное право объявлять войну и заключать мир. Он мог распустить Думу — и дважды сделал это, когда её поведение ему не понравилось. По статье 87 Основных законов во время перерыва в заседаниях Думы он мог издавать чрезвычайные указы; правительство использовало эту лазейку, обходя парламентскую оппозицию. Избирательный закон вводил косвенное голосование по сословиям, причём система была сильно перекошена в пользу традиционных союзников короны — дворянства и крестьян, которых всё ещё совершенно ошибочно считали в душе монархистами. Правительство — Совет министров — назначалось исключительно царём, а Дума могла лишь отклонять его законопроекты. Но у парламента не было действенных средств против злоупотреблений исполнительной власти: она оставалась подчинена короне, как в германской системе, а не парламенту, как в английской. Дума, например, не могла помешать правительству субсидировать правые газеты и организации, известные подстрекательством к погромам и даже покушениями на видных либеральных депутатов. Министерство внутренних дел и полиция, сохранявшие тесные связи с двором, вообще находились вне думского контроля. Благодаря их широким и произвольным полномочиям гражданские права и свободы, обещанные Октябрьским манифестом, оставались почти пустыми словами. Ничто не отражало истинного положения Думы точнее, чем постоянное присутствие у Таврического дворца группы полицейских в штатском, ожидавших выхода тех депутатов, за которыми им было поручено следить.[2]

Дума была законодательным парламентом — но сама не могла вводить в действие собственные законы. Её проекты получали силу лишь после утверждения царём и Государственным советом — старым совещательным органом, состоявшим в основном из реакционных дворян. Половину его членов избирали земства, половину назначал царь. В феврале 1906 года Государственный совет превратили в верхнюю палату с теми же законодательными полномочиями, что и Дума. Он заседал в великолепном зале Мариинского дворца. Пожилые

члены — по большей части отставные чиновники и генералы — сидели или дремали в удобных бархатных креслах, а величественные лакеи в белых ливреях бесшумно разносили чай и кофе. Государственный совет больше напоминал английский джентльменский клуб, чем парламентскую палату — и, поскольку образцом служила Палата лордов, возможно, это даже свидетельствовало об успехе подражания. Дебаты были не слишком жаркими: большинство советников разделяло одинаковые монархические взгляды, а некоторые восьмидесятилетние старцы, которых там было немало, явно уже утратили значительную часть способности к критическому суждению. Однажды в конце дебатов генерал Штюрлер объявил, что намерен голосовать с большинством. Ему объяснили, что большинство ещё не определилось — голосование только началось. «Я всё равно настаиваю, что я с большинством!» — раздражённо ответил он. И всё же было бы ошибкой изображать Государственный совет просто смешным или безобидным. Господство Объединённого дворянства, к которому принадлежала треть членов, гарантировало ему роль оплота реакции: он отклонял все либеральные законопроекты Думы. Не случайно его называли «кладбищем думских надежд».[3]

И всё же в первый день, когда депутаты заняли места в Таврическом дворце, их сердца были полны надежд. На кадетских скамьях Оболенский сидел рядом с князем Львовым, который был «полон оптимизма» относительно новой парламентской эпохи. «Не верьте слухам, что правительство нас распустит, — уверенно говорил Львов. — Вот увидите, всё будет хорошо. Я знаю из самых надёжных источников: правительство готово на уступки».[4] Большинство депутатов разделяли его наивную веру, будто Россия наконец получила собственную «палату общин» и теперь войдёт в клуб западных либеральных парламентских государств. Время тиранов уходило. Завтра принадлежало народу. Это была «Дума народных надежд».

Никто не верил, что царь осмелится распустить Думу и навлечь бурю критики либеральной общественности внутри страны и за границей. Считалось само собой разумеющимся, что зависимость России от западных финансов — в 1906 году она вновь получила крупнейший внешний заём в своей истории — заставит Николая сохранить либеральную конструкцию государства. Забывалось, что он

презирал «общественное мнение» и юридически не был обязан с ним считаться. Забывали и о том, что Витте, архитектор нового парламентского порядка, только что был заменён Иваном Горемыкиным — старомодным реакционером и любимцем двора, считавшим Думу ненужной помехой для правительства. Молодые парламентарии простодушно верили: пока за ними стоит «народ», они смогут заставить царя уступить полностью суверенному парламенту. Россия, думали они, повторит путь Франции после 1789 года — от Генеральных штатов к Учредительному собранию.

Таврический дворец был местом рождения, цитаделью и могилой русской демократии. До февраля 1917 года здесь заседала Дума. В первые недели революции в нём помещались и Временное правительство — до переезда в Мариинский дворец 7 марта, — и Петроградский Совет — до переезда в Смольный в июле. Затем, на один день, 6 января 1918 года, здесь собрался первый в истории России полностью демократический парламент — Учредительное собрание, пока его не разогнали большевики. Ни одно другое здание в России не было сценой столь бурной политической драмы. И тем страннее, что сам дворец был так изящен и спокоен. Его построили в 1783 году по приказу Екатерины Великой для её фаворита Григория Потёмкина, получившего титул князя Таврического после завоевания Крыма. Здание в духе пантеона, украшенное дорическими колоннами и античными статуями, было тихим загородным убежищем от шума столицы и окружалось собственным парком и озёрами. Екатерининский зал, где собирались депутаты, имел полукруглые ряды кресел и возвышение, над которым висел портрет Николая II работы Репина. За ним три больших эркерных окна открывались на пейзаж, достойный Ватто.

В этот изысканный дворец крестьянские депутаты принесли политическую культуру деревенских амбаров. «Достаточно было взглянуть на эту пёструю толпу “депутатов”, — вспоминал потрясённый высокопоставленный чиновник, — чтобы ужаснуться первому представительному учреждению России. Это было сборище дикарей. Казалось, Русская земля отправила в Петербург всё варварское, что в ней было». Сотни крестьян-петиционеров приезжали в Таврический дворец со всех концов России: одни — обжаловать решение местного суда, другие — пожаловаться на налоги, третьи — просто проверить,

чем занимаются избранные ими депутаты. Среди них был и Сергей Семёнов. Собрание крестьян его Андреевской волости отправило его с наказом по земельной реформе, и, как он вспоминал, «я должен был проследить, чтобы Дума её приняла». Длинные коридоры дворца пропитались затхлым запахом дешёвого табака и крестьянской одежды. Полы были усеяны лузгой подсолнуха — её выплёвывали, не обращая внимания на объявления, которых большинство крестьян не умело прочитать. Некоторые депутаты-крестьяне напивались в трактирах, ввязывались в драки и, когда полиция пыталась их задержать, ссылались на депутатскую неприкосновенность. Двух даже поймали на продаже «входных билетов» в Таврический дворец. Выяснилось, что прежде они были судимы за мелкие кражи и мошенничество и вообще не имели права выставлять кандидатуры.[5]

Отчасти из-за этого деревенского элемента заседания Думы носили заметно неформальный характер. Английский журналист Морис Бэринг сравнивал их со «встречей знакомых в клубе или кафе». Депутат мог начать речь с места и продолжать её, неторопливо идя к трибуне. Мог прервать себя на полуслове, чтобы поговорить с председателем или пояснить какую-нибудь деталь. Иногда депутаты на задних рядах начинали отдельную дискуссию между собой, а когда председатель требовал порядка, просто выходили спорить в коридор. Политика улицы — точнее, деревенского поля — словно была внесена внутрь парламентского здания. Возможно, Дума неизбежно должна была быть неорганизованной: это был первый российский опыт парламентаризма, а похожих собраний — от Национального собрания 1789 года до Франкфуртского парламента 1848-го — история знала немало, и начинающие политики там тоже наделали ошибок. И всё же создаётся впечатление, что русские особенно плохо были подготовлены к дисциплине парламентской практики. Даже сегодня, в посткоммунистической Думе, можно видеть ту же неформальность, порой близкую к трактирным нравам. Русская демократия иногда похожа на самих русских: хаотична и неорганизованна.

Большинство крестьянских депутатов — около ста человек — примкнули к группе трудовиков, рыхлой аграрной партии, главным пунктом программы которой было радикальное решение земельного вопроса путём принудительного отчуждения помещичьей

собственности. Для крестьян это был естественный выбор после того, как их обычная партия — эсеры — вместе с социал-демократами решила бойкотировать думские выборы. Кадеты стали крупнейшей фракцией: 179 депутатов из 478, в том числе Оболенский и Львов. Это сильно преувеличивало их реальную поддержку в стране, поскольку им досталась значительная часть голосов, которые при участии в выборах получили бы эсеры и социал-демократы. Но избирательный успех всё же дал кадетам ощущение законного права говорить от имени «народа». Сознавая эту историческую роль — и немного пугаясь её, боясь не оправдать радикальных ожиданий масс, — кадеты заняли воинственно оппозиционную позицию по отношению к правительству. Она и задала тон короткой и бурной жизни первой Думы.

С первого же заседания Дума превратилась в революционную трибуну — риторический таран, направленный на крепость самодержавия. В тот день депутаты прибыли в Таврический дворец в боевом настроении и сразу начали осуждать репрессивное насилие правительства — о левом терроре при этом никто не говорил. Из Зимнего дворца они плыли по Неве на пароходе; проезжая мимо тюрьмы «Кресты», увидели заключённых, махавших им из-за решёток. Депутаты отвечали, размахивая шляпами; символика момента — мысль, что именно благодаря жертвам этих «политических» их несут в новую парламентскую эпоху, — у многих вызвала слёзы. Заняв места в Екатерининском зале, лидер кадетов Петрункевич призвал депутатов «первую мысль и первое свободное слово посвятить тем, кто пожертвовал собственной свободой ради освобождения нашей дорогой России. Тюрьмы переполнены, но Свободная Россия требует освобождения всех политических заключённых». Его слова затронули глубокую струну. Почти все депутаты встали и, повернувшись к министрам, пришедшим наблюдать открытие, закричали: «Амнистия! Амнистия!»[7]

По Основным законам политическая амнистия оставалась исключительной прерогативой царя. Но депутаты стремились заставить корону передать исполнительные полномочия Думе и решили начать именно с этого. Требование амнистии вошло в их Адрес престолу вместе с назначением правительства, ответственного перед Думой, упразднением Государственного совета, радикальной земельной

реформой и всеобщим мужским избирательным правом. Две недели царил ответный вакуум: двор решал, как реагировать на требования, явно выходившие за рамки полномочий Думы. Делались попытки нейтрализовать либералов, введя их руководителей в правительство. Но те считали, что стоят на пороге второй, решающей революции, и держались твёрдо. Наконец 14 мая правительство внесло на рассмотрение Думы первые два законопроекта: один — о строительстве новой прачечной, другой — о теплице при Дерптском университете. Это было открытое объявление законодательной войны. Правительство явно не желало сотрудничать с Думой и даже не собиралось признавать её требования реформ.

С этого момента роспуск Думы стал лишь вопросом времени. Началась борьба нервов: парламентарии демонстрировали неповиновение в серии радикальных речей с трибуны Таврического дворца. Напряжение было таким, что многие депутаты позднее утверждали, будто за эти недели похудели, хотя, возможно, свою роль сыграла и жаркая июньская погода. С точки зрения правительства революционное настроение в стране всё ещё оставалось опасным: весной крестьянская война против усадеб вспыхнула с яростью, не меньшей, чем прошлой осенью, а террористическая кампания эсеров ещё не была подавлена. Боевая позиция Думы могла лишь подливать масла в огонь.

Центром конфликта стало стремление Думы умиротворить крестьян радикальной земельной реформой. И кадеты, и трудовики громко требовали принудительного отчуждения всех излишков помещичьей земли — первые с компенсацией, вторые без неё. Во время «Великого страха» 1905 года многие землевладельцы были готовы согласиться на какое-то отчуждение, лишь бы спасти собственную шкуру. «Если мы не пойдём на уступки, — говорил один осаждённый помещик на местном дворянском собрании, — революция придёт снизу и пожары вспыхнут повсюду, от одного края страны до другого». Даже Трепов однажды сказал Витте: «Я сам землевладелец и с радостью отдал бы половину земли, если бы был уверен, что на этих условиях сохраню остальную». Но по мере отступления революционной волны помещики всё меньше хотели компромисса. Царь выразил их позицию словами: «То, что принадлежит землевладельцу, принадлежит ему». Губернские земства,

прежде оплоты либеральной оппозиции, теперь становились бастионами порядка. Объединённое дворянство, созданное для защиты собственности, имело сильных покровителей при дворе, в Государственном совете и бюрократии. Оно возглавило кампанию против думской земельной реформы, утверждая, что передача крестьянам дополнительных земель не решит их проблем: источник бед — не земельный голод, а неэффективность общинного строя. На этот аргумент сильно повлиял свежий опыт 1905 года: консерваторы, всегда считавшие общину оплотом старого сельского порядка, убедились, что она легко может превратиться в организационный механизм крестьянской революции. «В других странах земли на душу намного меньше, чем в России, — говорил князь А. П. Урусов собранию землевладельцев в мае 1906 года, — но там не говорят о земельной тесноте, потому что понятие собственности ясно в сознании народа. А у нас есть община — то есть принцип социализма разрушил это понятие. Вот почему нигде мы не видим такого бесцеремонного уничтожения собственности, как в России».[8] Отмена общины и создание класса крестьян-собственников стали для дворянства альтернативой радикальной земельной реформе Думы.

8 июля, через семьдесят два дня после созыва, Дума была наконец распущена. Новые выборы во Вторую думу назначили на следующий февраль. Премьер Горемыкин был заменён Столыпиным — известным сторонником разрушения общины и человеком, уже доказавшим способность применять репрессии для восстановления порядка в деревне. Либералы пришли в ярость. Князь Львов, так уверенно считавший роспуск невозможным, теперь писал о своём «гневе по поводу этого откровенного нападения на парламентский принцип», хотя сам как землевладелец выступал против думской земельной реформы. Роспуск превратил Львова из умеренного либерала в радикала. Он был среди кадетов, которые в знак протеста уехали в финский курортный Выборг и подписали манифест с призывом к «народу» восстать против правительства, отказавшись платить налоги и давать рекрутов в армию.[48]

[48] Львов заболел по пути в Выборг и был вынужден вернуться в Петербург. Поэтому он не подписал Манифест, хотя, несомненно, сочувствовал ему.

Выборгское воззвание было типичным примером воинственной позы кадетов со времени открытия Думы. Что касается «народа», то он явно этих либералов не слушал: манифест встретили всеобщим равнодушием. Поэтому правительство могло спокойно применять репрессии, чтобы заставить замолчать смелых, но наивных критиков. Более ста видных кадетов за участие в Выборгском воззвании были отданы под суд и лишены права избираться в Думу. Кадеты, занявшие их места во Второй и Третьей думах, в целом были гораздо менее радикальны — и менее талантливы — чем депутаты первой. Живя в тени партийного «выборгского комплекса», они перешли к более консервативной линии и, защищая саму Думу, строго держались в рамках царских законов.[9] Никогда больше кадеты не будут полагаться на поддержку «народа». И больше не станут претендовать на то, чтобы представлять его. Отныне они сознательно становились тем, чем фактически были всегда: естественной партией буржуазии. Либерализм и народ пошли разными путями.

ii. Государственный деятель

Немногие фигуры русской истории вызывали столько споров, сколько Пётр Аркадьевич Столыпин (1862–1911), председатель Совета министров с 1906 года до своего убийства пятью годами позже. Социалисты клеймили его как одного из последних кровавых защитников царского строя. Его именем называли виселичную петлю — «столыпинский галстук», — которой военно-полевые суды усмиряли крестьянскую революцию на земле. Железнодорожные вагоны, в которых «политических» везли в Сибирь, прозвали «столыпинскими» (так их называли и позже, когда в них везли в ГУЛАГ). После 1917 года самые непримиримые приверженцы царя стали обличать Столыпина как бюрократа-выскочку, чьи опасные реформы лишь подорвали священные устои самодержавия. Но для его почитателей — а их немало и в постсоветской России — Столыпин был величайшим государственным деятелем в истории страны, единственным человеком, который мог бы спасти её от революции и гражданской войны. Его реформы, утверждают они, будь у них достаточно времени, превратили бы Россию в либеральное капиталистическое общество, но их прервали

его смерть и война. Ходит рассказ, будто царь, подписывая отречение, сказал, что, будь Столыпин жив, до этого никогда бы не дошло. Но это, разумеется, очень большое «если». Мог ли один человек спасти царя? Правда же состоит в том, что сам Николай сочувствовал противникам Столыпина справа; и, скованные этой роялистской реакцией, его реформы были обречены задолго до его гибели.

Судьба Столыпина заключала в себе немало трагического. Однако его неудача была связана со слабостями его собственной личности не меньше, чем с противодействием, которое он встречал и слева, и справа. Его история во многом напоминает историю Михаила Горбачёва. Оба были смелыми, умными и целеустремлёнными государственными деятелями, приверженными либеральному реформированию старой, дряхлеющей авторитарной системы, порождением которой были они сами. Оба шли узкой тропой между могущественными интересами старых правящих элит и радикальной оппозицией демократов. Каждый по-своему не сумел понять, что две противостоящие стороны неотвратимо движутся к столкновению и что попытки посредничать между ними способны лишь плодить врагов в обоих лагерях, почти не принося друзей. Воспитанные в монолитном мире бюрократической политики, оба не осознавали, что их реформы могут увенчаться успехом лишь при поддержке массовой партии или иного широкого союза интересов. Они пытались проводить реформы сверху, бюрократически, даже не стараясь создать себе опору в народе, — и именно в этом, больше чем в чём-либо ином, ключ к их политическому крушению.

По внешности и происхождению Столыпин был типичным представителем того избранного круга аристократов, который господствовал в имперской бюрократии. Высокий, бородатый, представительный, он обладал немалым личным обаянием. Англичанин Бернард Пэрс сравнивал его с «большим наивным добродушным медведем».[10] Столыпин происходил из древнего дворянского рода, служившего царям с XVI века и в награду за службу скопившего огромные имения в нескольких губерниях. Двоюродная бабка Столыпина состояла в родстве с Лермонтовым, а его родители были друзьями Гоголя и Толстого. В детстве семья много путешествовала по Европе, и к 1881 году, когда он поступил на физико-математический

факультет Петербургского университета, он свободно владел французским, немецким и английским языками.

В одном важном отношении, однако, Столыпин отличался от остальной правящей верхушки: он не поднимался по ступеням петербургской бюрократии, а был поставлен во главе правительства прямо из провинции. Это станет опасным источником трений с его соперниками. Политические взгляды Столыпина непосредственно сложились под влиянием его провинциального опыта. Даже став премьер-министром, он оставался по сути сельским помещиком, которого прежде всего занимали сельское хозяйство и местное управление. Первые тринадцать лет своей службы (1889–1902) он провёл ковенским губернским предводителем дворянства — в польско-литовской губернии, где имение было у его жены, О. Б. Нейдгардт. Именно здесь Столыпин впервые задумался над проблемами русского крестьянского хозяйства. Ковенский край, как и большая часть запада Российской империи, никогда не знал общинного строя. Крестьяне владели своими наделами на правах частной собственности, и способы хозяйствования у них, как и в соседней Пруссии, были куда эффективнее, чем у крестьян центральной России, где господствовала община. Этот контраст ещё сильнее бросился ему в глаза в 1903 году, когда Столыпин стал губернатором Саратовской губернии — многоземельной, с общинным землепользованием. Её крестьяне были одними из самых бедных и самых бунтарских во всей стране. В 1905–1906 годах в Саратовской губернии было уничтожено больше дворянской собственности, чем в любой другой губернии империи. Дочь Столыпина вспоминала «степь, освещённую по ночам горящими усадьбами», и длинные вереницы телег, тянувшихся по багровому горизонту, словно «крестьянское войско, возвращающееся с войны».[11] Всё это укрепило убеждение Столыпина — которое он привёз с собой в Петербург и положил в основу своей аграрной реформы, — что земельный вопрос не будет решён, а угроза революции не будет устранена, пока не упразднена община и не создан устойчивый класс крестьян-собственников, столь же заинтересованных в сохранении существующего порядка, как и дворянство.

Во многом благодаря решительным мерам по восстановлению порядка в Саратове Столыпин в апреле 1906 года был назначен

министром внутренних дел. В июле того же года он стал премьер-министром, то есть председателем Совета министров. Царю нужен был «сильный человек», чтобы справиться со страной, охваченной кризисом, а по столице ходили рассказы о личной храбрости Столыпина. В отличие от других губернаторов, которые во время недавних волнений забаррикадировались в своих резиденциях или в страхе бежали с постов, Столыпин объезжал самые мятежные сёла Саратовской губернии и в столкновениях с радикальными агитаторами с успехом пускал в ход то, что его дочь называла «умением сельского барина властвовать над крестьянами». В одной деревне он заставил несостоявшегося убийцу опустить ружьё: распахнул перед ним пальто и на глазах у толпы предложил хладнокровно выстрелить в себя. В другой раз, выступая на сельском сходе, он заметил стоявшего рядом крестьянина-агитатора с явно недобрыми намерениями. Столыпин прервал речь и, повернувшись к агитатору, велел ему подать свою шинель. Крестьянин покорно взял шинель из рук курьера и подал её губернатору.[12] Одним высокомерным жестом Столыпин сумел утвердить своё господство — господство барина — над противником-крестьянином. Эта сценка многое говорила о природе власти в России.

Это не были единичные проявления личной храбрости Столыпина. За время его премьерства на него совершили несколько покушений, в том числе взрыв в его доме, который убил нескольких слуг и ранил одну из его дочерей. Его это не остановило. Он носил пуленепробиваемый жилет и окружал себя охраной — но, похоже, всё равно ожидал, что в конце концов погибнет насильственной смертью. Первая строка его завещания, написанного вскоре после назначения премьер-министром, гласила: «Похороните меня там, где меня убьют».[13] «Я борюсь на два фронта, — говорил Столыпин Бернарду Пэрсу в 1906 году. — Я борюсь против революции, но за реформы. Вы можете сказать, что такая позиция не по силам человеку, и, возможно, будете правы». В этом, как и во всех его публичных высказываниях, была доля самолюбования. Столыпин был в высшей степени тщеславен. Ему нравилось видеть себя человеком судьбы, который во имя прогресса сражается вопреки всему. В его выступлениях в Думе всегда присутствовал элемент театра. Он любил играть на публику, используя одышку и непроизвольные спазмы

в речи (последствие неудачной операции), чтобы вызвать сочувствие депутатов. Он поощрял легенду о том, что был ранен на дуэли.[14]

Тем не менее задача, которую он перед собой поставил, и впрямь требовала почти геркулесовых усилий. Его первой целью было просто восстановить порядок. Этого он добился мерами, навлёкшими на него осуждение либералов. Были закрыты сотни радикальных газет и профсоюзов, а за первые три года его правления почти 60 000 политических арестантов были казнены, приговорены к каторге или сосланы без суда. Тысячи крестьян предстали перед военно-полевыми судами. Однако одних репрессий, как прекрасно понимал Столыпин, было недостаточно для укрепления существующего строя, и потому он одновременно наметил всеобъемлющую программу реформ, призванную примирить оппозицию и перехватить инициативу в пользу государства. Он выдвинул реформы, направленные на то, чтобы разрушить общину и дать крестьянам права собственности и полное гражданское равноправие; модернизировать местное самоуправление на основе гражданства и собственности, а не сословной принадлежности; улучшить местные суды и упорядочить деятельность полиции; защитить гражданские свободы и покончить с дискриминацией евреев; ввести всеобщее обязательное начальное обучение; и, помимо многого другого, улучшить положение фабричных рабочих. В каждой из этих мер был ясный политический умысел: укрепить правительство. Быть может, в этом смысле Столыпина, подобно его кумиру Бисмарку, следует назвать, как предложил однажды Леонтович, «консервативным либералом».[15] Ведь вся суть его реформ состояла не в создании демократического строя как такового, а в укреплении царской системы.

Тот же государственнический инструментализм определял отношение Столыпина к Думе. Он видел в ней придаток государства — общественный орган, призванный одобрять политику правительства, но не контролировать и не направлять администрацию. Его конституционный образец был скорее прусским, чем английским. Суверенитет должен был оставаться у монарха и его исполнительной власти и ни в коем случае не уступаться парламенту. Вторую Думу, собравшуюся в феврале 1907 года, Столыпин терпел лишь до тех пор, пока она делала то, чего он хотел. Его администрация сделала всё возможное, чтобы повлиять на выборы и обеспечить избрание своих

союзников — октябристов, объявивших себя «партией государственного порядка». Но 54 избранных октябриста, даже при поддержке 98 кадетов и 60 других депутатов центра и правых, вряд ли могли обеспечить правительству работоспособное большинство против огромного блока из 222 социалистов (65 социал-демократов, 37 эсеров, 16 народных социалистов и 104 трудовиков) — теперь, когда все левые партии прекратили бойкот Думы. Двадцатипятилетний грузинский меньшевик Ираклий Церетели, который в 1917 году возглавит Совет, вскоре стал героем этой так называемой «Думы народного гнева» благодаря своим пламенным радикальным речам против политики правительства. Не мог Столыпин рассчитывать и на то, что крестьяне будут, как обычно, смиренны. Один крестьянский депутат из родной Столыпину Саратовской губернии произвёл сенсацию во время прений о земельной реформе, сказав представителю дворянства: «Мы знаем вашу собственность — ведь мы сами были вашей собственностью. Моего дядю выменяли на борзую».[16]

Не видя надежды найти поддержку своим реформам, Столыпин без колебаний распустил Думу и изменил избирательный закон так, чтобы в следующем собрании преобладали консервативные элементы. Избирательный вес крестьян, рабочих и национальных меньшинств был резко урезан, а представительство дворянства раздуто ещё больше. Когда в ноябре 1907 года собралась Третья Дума, проправительственные партии (октябристы, правые и националисты) контролировали 287 из 443 мест. Кадеты и социалисты превратились в малочисленные раздробленные меньшинства. Даже князь Львов, самый умеренный из либералов, не смог получить место. Это была наконец Дума, с которой Столыпин мог иметь дело. Это был, как он считал, парламент «ответственных» и «государственно мыслящих» людей, способных понять необходимость нового, созидательного партнёрства государства и нации ради постепенных реформ. Радикалы назвали её «Думой господ и лакеев».

И всё же даже с этим «царским парламентом» Столыпину оказалось слишком трудно управляться: на него нарастало давление и слева, и справа. Избирательный указ 3 июня формально нарушал Основные законы, и либералы тут же заклеймили его как государственный переворот. Даже октябристам, главным выгодоприобретателям нового

закона, было с ним неуютно, и они стремились искупить свои «незаконные» приобретения, защищая и расширяя полномочия Думы.

Их лидер Александр Гучков питал особые амбиции в отношении Думы в военной сфере. Промышленник, служивший уполномоченным Красного Креста в войне с Японией, он видел и военную необходимость, и экономическую выгоду большой программы перевооружения. Октябристы всё твёрже придерживались политики имперской экспансии, но, по их мнению, она была достижима лишь в том случае, если ответственность за армию перейдёт от двора к государственным учреждениям. Не имело смысла тратить на армию больше денег, не реформируя одновременно её командование, в котором господствовали аристократия и военные доктрины XVIII века. России нужна была тяжёлая артиллерия, а не новые щеголеватые конногвардейцы. В этом убеждении Гучкова поддерживали «военные профессионалы» — такие как генерал Брусилов и товарищ военного министра в правительстве Столыпина А. А. Поливанов. Гучков был председателем думской Комиссии по государственной обороне, имевшей право вето на военный бюджет, и использовал это положение, чтобы повести наступление на верховное командование двора. В 1909 году Дума пригрозила отказать в кредитах на флот, если его орган стратегического планирования, Морской генеральный штаб, не будет подчинён министерству, а не двору. Николай был в ярости. Он увидел в этом ультиматуме наглую попытку Думы вырвать военное командование из рук короны и наложил вето на законопроект о Морском генеральном штабе. Положение усугублялось тем, что Столыпин и его Совет министров поддержали законопроект: теперь возник коренной конфликт интересов — правительство считало, что вооружённые силы должно контролировать оно, а двор и его союзники настаивали, что это исключительное право царя. Столыпин предложил свою отставку, и наиболее реакционные приближённые убеждали Николая её принять. Но в тот момент, когда страна была приведена в относительный порядок, Столыпин был незаменим, и роялистам пришлось удовлетвориться меньшим триумфом — заставить его вновь подтвердить исключительные прерогативы царя в военной сфере.[17]

За техническими подробностями кризиса вокруг Морского штаба скрывалась коренная проблема, которой суждено было подорвать

усилия Столыпина спасти царский строй, реформируя его. С точки зрения царя, политическая программа Столыпина грозила сместить баланс власти от двора к государственным учреждениям. Законопроект о Морском генеральном штабе был очевидным сигналом этого намерения. Столыпин твёрдо стоял на почве петровской традиции бюрократической модернизации, столь ненавистной Николаю. Всё в поведении его премьер-министра было направлено на разрыв со старой вотчинной системой. Если прежние первые министры были для царя немногим больше, чем дворовые слуги, то Столыпин намеренно сторонился двора и предпочитал проводить выходные дома с семьёй, как поступил бы западный премьер-министр, а не на охоте с царём и его лакеями. Столыпин видел в государстве нейтральную и всеобщую силу реформ и модернизации, призванную защищать имперские интересы России. По его мнению, государство стояло выше интересов аристократии — даже выше самой династии, — и это отрицало представление об общественном порядке, основанном на старой сословной иерархии. Каждый, от крестьянина до князя, был гражданином (если только владел собственностью). Этот по существу западный взгляд на государство бросал прямой вызов московской идеологии, столь любезной царю и его придворным, которые представляли себе самодержавие как крутую, мистически освящённую пирамиду вотчинной власти, основанную на строгой социальной иерархии во главе с дворянством. Если позволить реформам Столыпина увенчаться успехом, то личное правление царя окажется в тени учреждений его государства, а традиционный общественный порядок будет подорван.

Эти страхи подогревались старыми элитами, у каждой из которых были свои причины противиться реформам Столыпина и которые теперь сплотились на защиту самодержавных прерогатив царя. Этот легитимистский блок сложился во время кризиса вокруг Морского штаба, который явно угрожал традиционным правам короны. Он опирался на мощную институциональную поддержку в придворных кругах, Государственном совете, Объединённом дворянстве, Православной церкви, Союзе русского народа, полиции и некоторых звеньях бюрократии и, хотя действовал по неофициальным каналам,

был достаточно силён, чтобы провалить практически все политические начинания Столыпина.

Его предложение расширить государственную систему начального образования провалили реакционеры в Церкви, у которой были собственные интересы в школах. Та же участь постигла его законы об ослаблении дискриминации религиозных меньшинств, прежде всего старообрядцев и евреев. Его попытки обуздать беззаконие бюрократии и полиции были обречены, ибо ни ту, ни другую он полностью не контролировал. Губернаторы, имевшие родственные связи при дворе, постоянно саботировали его реформы, а высшие чиновники в Петербурге плели против него интриги. Что до реального управления полицией, здесь Столыпин был практически бессилен. Ставленник самой императрицы, генерал П. Г. Курлов, был назначен руководителем политической полиции вопреки протестам Столыпина. Курлов пользовался своим положением, чтобы направлять крупные казённые суммы крайне правым группам и газетам. Он установил слежку за самим Столыпиным, перехватывал его переписку и держал императрицу в курсе его намерений, особенно в отношении её любимца Распутина. Когда в августе 1911 года Столыпин был наконец убит, тут же поползли слухи, будто убийство заказал Курлов. До сих пор эти слухи так и не доказаны. Но они многое говорят о том, как общество воспринимало отношения Столыпина с его врагами справа.

Самой шумной из этих групп было, безусловно, Объединённое дворянство. Оно возникло после революции 1905 года для защиты права дворян на собственность и их господства в сельской политике. Реформы местного самоуправления, задуманные Столыпиным, угрожали этому господству, предоставляя крестьянам как землевладельцам представительство в земствах наравне с дворянами. Предлагалось также упразднить крестьянские сословные суды, полностью включив крестьян в систему гражданского права. Столыпин считал эти реформы необходимыми для успеха своей программы земельных преобразований (см. с. 232–241). Новый класс консервативных крестьян-собственников, который он надеялся создать, не стал бы поддерживать существующий строй, если бы не получил гражданство с политическими и юридическими правами, равными правам других сословий. «Прежде

всего, — говорил Столыпин, — надлежит создать гражданина, мелкого собственника, и тогда крестьянский вопрос будет решён».

Однако губернское дворянство увидело в этом жесте открытости угрозу собственному привилегированному положению в сельском общественном и политическом укладе. Столыпин предлагал создать новое звено земского представительства на уровне волости, где избирательное право основывалось бы на собственности, а не на происхождении. Он также собирался расширить полномочия земств и упразднить земских начальников, которые до тех пор были полными хозяевами в деревне. Всё это, как указывали возмущённые помещики, положило бы конец их давнему господству в системе сельского управления. Местные земства превратились бы из дворянских органов в крестьянские, ибо на каждого помещика на волостном уровне приходилось бы несколько сотен новых избирателей — крестьян-мелких собственников. Помещики обвиняли Столыпина в попытке подорвать «губернское общество» (то есть их самих) бюрократической централизацией и на этой почве сплотили против него свои силы в Думе, Государственном совете, Объединённом дворянстве и среди союзников при дворе. Слишком тщеславный, чтобы потерпеть верное поражение, Столыпин отказался от борьбы. Система сельского управления — самое слабое звено царского государства — осталась в руках 20 000 дворян, крошечной и отжившей социальной группы, которая благодаря покровителям в верхах смогла отбить все реформы, защищая свои узкие интересы. Если бы Столыпину удалось расширить социальную базу местного самоуправления в деревне, то, возможно, в 1917 году оно не рухнуло бы столь катастрофически и советская власть не смогла бы так успешно заполнить образовавшийся политический вакуум.

Примерно то же столкновение интересов лежало в основе знаменитого кризиса из-за западного земства 1911 года, ставшего окончательным крушением Столыпина. С упадком октябристов — вследствие кризиса вокруг Морского штаба и поправения землевладельцев — Столыпину пришлось подстраивать свою политику под другую главную правительственную партию в Думе, националистов, созданную в 1909 году и пользовавшуюся сильной поддержкой русских землевладельцев девяти польских губерний. Эта партия, по словам её историка Роберта Эдельмана, была «не столько

партией национализма, сколько партией господствующей русской национальности в многонациональной империи».[18] В этих западных губерниях земства так и не были введены, поскольку большинство землевладельцев там составляли поляки, а Польское восстание 1863 года было ещё свежо в памяти Александра II. Но партия националистов добивалась принятия законопроекта о западном земстве, доказывая, что имперские интересы России в этих важнейших пограничных землях можно обеспечить сложной процедурой голосования, основанной на национальности, а также на собственности. Столыпин знал этот западный край со времён Ковно. Местные крестьяне-мелкие собственники, в основном русские, украинцы и белорусы, были одними из самых передовых в империи, и он рассчитывал, что под действием его аграрных реформ они быстро превратятся в крепких хозяев-фермеров. Если бы они получили наибольшую долю голосов в земствах, как предусматривал пониженный имущественный ценз его законопроекта о западном земстве, они могли бы стать образцовыми гражданами-хозяевами Российской империи. Краем, где прежде господствовали польские помещики, стали бы управлять русские,[49] пусть и крестьянского происхождения.

Законопроект прошёл через Думу, но был отвергнут в Государственном совете, где дворянские фундаменталисты не желали жертвовать привилегиями благородного сословия (даже его польской части) ради обеспечения господства русских интересов: то, что поляки были аристократами, по их мнению, перевешивало то, что крестьяне были русскими. Их сопротивление поощряли Трепов и Дурново, фавориты двора, стремившиеся воспользоваться случаем, чтобы свалить соперника. Они обеспечили провал законопроекта, убедив царя за спиной Столыпина обратиться к членам Совета с призывом голосовать «по совести» (то есть фактически против правительства). Это был явный вотум недоверия Столыпину, подготовленный двором и его прихлебателями справа. Но оставался ещё проблеск надежды. Николай, поколебавшись в своей роли в этом заговоре, пообещал Столыпину, что, если законопроект будет внесён снова, он поддержит его прохождение через верхнюю палату. Однако Столыпин был не из тех, кто идёт на

[49] Как и все великорусские националисты, Столыпин причислял украинцев и белорусов к носителям русской национальной идеи.

компромиссы. Он не привык к противодействию и плохо владел искусством современного политика, которое позволило бы ему найти выход путём переговоров. Вместо того чтобы дождаться повторного рассмотрения законопроекта, он предпочёл твёрдо стоять на своём уже при первом, понимая, что его карьера, вероятно, и так кончена. Он пригрозил отставкой, если царь не прервёт заседания Думы и Государственного совета и не проведёт законопроект чрезвычайным указом по статье 87 Основных законов. Он также потребовал высылки Дурново и Трепова из столицы. После четырёх дней раздумий Николай наконец согласился с требованиями Столыпина. 14 марта, при закрытых палатах, он обнародовал закон о западном земстве и приказал Дурново и Трепову покинуть Петербург до конца года. Понадобилось несколько часов уговоров со стороны его матери, весьма благоразумной вдовствующей императрицы, чтобы царь пошёл против совета жены (находившейся в центре заговора против Столыпина). Когда он принимал Столыпина в Гатчинском дворце, его лицо было «красным от слёз».[19]

Столыпин одержал верх одной лишь силой характера. Но его своевольная тактика во время кризиса из-за западного земства оттолкнула почти всех, и его политическая звезда стремительно закатилась. Царь был глубоко унижен собственным премьер-министром и, подстрекаемый своими роялистскими приятелями, теперь жаждал мести. Либералов возмутило презрительное обращение Столыпина с Думой. Гучков сложил с себя обязанности её председателя, октябристы перешли в оппозицию; националисты остались единственной думской фракцией, поддержавшей Столыпина при голосовании о порицании. Одинокий и отвергнутый, Столыпин сам утратил былую уверенность, лишился сна и стал мрачен.[20] Он чувствовал, что дни его сочтены.

В конце августа 1911 года Столыпин прибыл в Киев на торжества по случаю открытия памятника Александру II. Он давно был готов к насильственной смерти и перед отъездом из Петербурга вручил одному из старших помощников ящик с секретными бумагами, велев уничтожить его, если сам не вернётся. Он пренебрёг предупреждениями полиции о заговоре с целью его убийства и поехал в Киев без телохранителей. Он отказался даже надеть пуленепробиваемый жилет. 1 сентября в Киевской опере давали «Сказку о царе Салтане» Римского-

Корсакова. Николай с четырьмя дочерьми занимал царскую ложу у оркестра, а Столыпин сидел в первом ряду партера. Во втором антракте, когда он стоял, беседуя с графом Фредериксом, у оркестровой ямы, к нему подошёл молодой человек во фраке и, выхватив из-под программки револьвер, дважды выстрелил в Столыпина. Одна пуля попала ему в правую руку, другая — в грудь, где орден отклонил её в печень. Медленно, словно не сознавая, что произошло, Столыпин снял перчатки, аккуратно положил их на барьер и расстегнул сюртук, — тут он увидел залитый кровью жилет и опустился в кресло. Голосом, слышным всем вокруг, он произнёс: «Счастлив умереть за царя» — и, увидев царя в ложе над собой, поднял руки, делая ему знак уйти в безопасное место. Николай остался стоять, и Столыпин последним театральным жестом осенил его крестным знамением. Четыре дня состояние премьер-министра оставалось стабильным. Царь продолжал участвовать в программе киевских торжеств и навестил его в больнице. Но 5 сентября Столыпин начал угасать. Вечером того же дня он умер. Царь приехал на следующее утро и молился у его постели. Снова и снова он повторял: «Прости меня».[21]

* * *

Стрелял в Столыпина Д. Г. Богров — студент-революционер, из нужды в деньгах ставший полицейским осведомителем. Никому так и не удалось выяснить, на кого работал Богров — на правых или на левых, — и в каком-то смысле в этом-то всё и дело. Ведь врагов у Столыпина хватало с обеих сторон. Задолго до того как его сразила пуля Богрова, он был мёртв политически.

Политическое крушение Столыпина следует объяснять его несостоятельностью как политика. Будь он искуснее в «искусстве возможного», он, быть может, выиграл бы больше времени для себя и своих реформ. Столыпин говорил, что ему нужно двадцать лет, чтобы преобразить Россию. Но отчасти по собственной вине он получил лишь пять. Он так неукоснительно держался своих целей и принципов, что упускал из виду необходимость вести переговоры и идти на компромиссы с противниками. Он восстановил против себя старые политические элиты, бесцеремонно попирая их традиционные привилегии, и потерял поддержку либералов, подавляя Думу всякий раз,

когда она становилась у него на пути. Эта политическая негибкость проистекала из его узкобюрократического кругозора. Он действовал так, будто всё должно подчиняться интересам государства — как их определяли его реформы, — и считал, что это ставит его выше необходимости участвовать в грязных партийных манёврах. Он полагал, что сможет провести свои реформы административным путём, и никогда не выходил за пределы бюрократии, чтобы мобилизовать более широкую поддержку. Признавая, что ключ к его программе — создание консервативного класса крестьян-собственников, он ни разу не задумался о том, чтобы содействовать созданию партии мелких собственников. Был Столыпин, но не было столыпинцев. И потому, когда Столыпин умер, вместе с ним умерли и его реформы.

По мнению некоторых историков, пули убийцы уничтожили последнюю настоящую надежду царского режима. Реформы Столыпина, утверждают они, были для него единственным реальным шансом преобразоваться по западному образцу. Если бы только им дали больше времени, а не прервали Первой мировой войной, то, может быть, революции 1917 года и не случилось бы. Этот оптимистический взгляд покоится на двух допущениях: что реформы Столыпина достигали своих целей и что они были способны стабилизировать общественный строй России после кризиса 1905 года. Оба допущения явно ложны.

Во-первых, реформы почти не продвинули Россию к конституционному парламентскому строю. Более того, некоторые методы самого Столыпина — такие как государственный переворот июня 1907 года и его тактика в деле о западном земстве — были вопиющим попранием идеалов этого строя. Правда, в 1906–1914 годах удалось добиться некоторых успехов в области гражданских свобод и свободы печати, да и сама Дума продолжала существовать — пусть лишь как символ и школа новой культуры конституционализма.[50] Но это

[50] Этот последний, культурный аспект был чрезвычайно важен — и сам по себе свидетельствовал о том, какую гору предстояло преодолеть, — для введения конституционного строя в такой стране, как Россия, где тогда (как и сегодня) не было подлинных традиций конституционализма. Если в западных странах конституции нужно было лишь гарантировать права уже существующего гражданского общества и его культуры, то в России ей приходилось их ещё и создавать. Она должна была воспитать общество — и само государство — в духе ценностей и идей либерального конституционализма.

вовсе не означало, что царская Россия непременно двигалась к некой западной либеральной норме. Сама природа царского режима была самой надёжной гарантией его политической нереформируемости. Московская идеология вотчинного самодержавия, которой всё больше благоволили Николай и правые, была глубоко враждебна западному конституционному идеалу, заложенному в столыпинской программе реформ; а укоренившаяся власть двора вместе с корыстными интересами Церкви и губернского дворянства была вполне достаточно сильна, чтобы не дать этой программе осуществиться. Как только революционный кризис 1905–1907 годов миновал, монархия перестала нуждаться в защите Столыпина, всё больше отстранялась от его правительства, парализовала его программу и начала проводить собственный, особый курс, основанный после 1912 года всё больше на использовании русского национализма для сплочения «верноподданного народа» вокруг престола.

Во-вторых, к 1912 году, если не раньше, уже стало ясно, что никакой пакет политических реформ не способен разрешить глубокий социальный кризис, давший первую трещину в системе в 1905 году. Правда, на какое-то время, во многом из-за правительственных репрессий, рабочее движение пошло на спад и стало проявлять признаки большей умеренности — достаточной, чтобы дать основания меньшевистской надежде на его развитие по европейскому образцу. Но за два года после 1912-го резко выросли и число промышленных забастовок, и их воинственность, а кульминацией стала всеобщая стачка в Петербурге в июле 1914 года, когда в разгар государственного визита президента Франции на улицах шли бои и строились баррикады. Рабочие столиц, согласно основополагающей работе Леопольда Хеймсона, написанной тридцать лет назад, стремительно отворачивались от всех демократических партий — включая даже меньшевиков, — которые выступали за конституционные или постепенные методы, и переходили к большевикам, призывавшим к прямому действию рабочих и к насильственной борьбе с режимом.[22] Несмотря на все усилия по политическому реформированию, городская Россия накануне Первой мировой войны оказалась на грани новой революции, потенциально ещё более жестокой, чем «генеральная репетиция» 1905 года.

iii. Ставка на сильных

Ссыльный крестьянин вернулся в родную деревню холодным апрельским утром 1908 года. Чтобы преодолеть сто миль от Москвы поездом, на лошадях и на телеге, ему понадобилось почти три дня, и по мере приближения к родным местам в нём всё сильнее крепла надежда найти за два года своего отсутствия хоть какие-то перемены к лучшему. Но деревня Андреевское никогда не отличалась живостью. Течения современной цивилизации каким-то образом обошли её стороной, и теперь, возвращаясь сюда со свежими впечатлениями от Англии и Франции, Сергей Семёнов видел лишь знакомые приметы отсталости и упадка. Чёрные полосы пашни казались ещё уже и неряшливее, чем прежде, кочки на лугу разрослись до размеров кустов, лес был вырублен, скот свободно бродил по огородам, а на главной деревенской улице пробивался бурьян. Сосед Семёнова, когда-то работящий мужик, запил, а восемь его детей ходили без обуви. Но больше всего Семёнова удручило известие, что деревенскими старейшинами остались всё те же старые патриархи, что и при его отъезде. Ведь теперь у них было ещё больше причин встречать его замыслы преобразований с враждой и недоверием.[23]

Главным среди старейшин был Григорий Малютин — грузный и сильно пьющий человек лет семидесяти с большим красным, покрытым волдырями лицом и длинной белой бородой, — который был первым из стариков деревни, сколько себя помнили её жители. Малютин был самым богатым крестьянином в Андреевском: отчасти он жил на доходы от мыловаренной фабрики своего сына под Москвой, и для своих лет был удивительно крепок. Тщеславный и ревниво оберегавший свою власть, он был человеком суровых правил, деревенским деспотом старой закалки, который по-прежнему бил свою пожилую жену и, как старейшина, сёк любого крестьянина, уличённого в проступке. Большинство односельчан его боялись. Главным союзником Малютина был другой пережиток крепостных времён, Ефим Степанов, который за долгие годы разбогател, скопидомничая и скаредничая, как настоящий скупец. Он всегда ходил в одной и той же грязной одежде, кормил скотину ровно столько, чтобы она не издохла, и ни разу ничего не подал нищим у церкви. Оба были неграмотными старообрядцами, и их объединял страх перед переменами. Их власть над деревней держалась

на том, чтобы держать её отгороженной от современного мира. Малютин имел обыкновение клеймить каждое новое изобретение — от самовара до сеялки — как разорительное расточительство. Даже мысль о них причиняла ему страдание.[24] Что же могло быть для них хуже, чем возвращение их заклятого врага — Сергея Семёнова?

Семёнов родился в 1868 году в бедной крестьянской семье в Андреевском. Как и Семёна Канатчикова, чья деревня Гусево находилась в том же Волоколамском уезде, его ещё мальчиком отправили зарабатывать на жизнь в Москву. Его отец, как и отец Канатчикова, был пьяницей, а большую часть работы в хозяйстве делала мать, но хозяйство не могло его прокормить. С десяти до восемнадцати лет Семёнов скитался с фабрики на фабрику — сначала в Москве, потом в Петербурге, Полтаве и Екатеринославе, — посылая деньги семье и возвращаясь в деревню на страду. Он сам выучился грамоте и в восемнадцать лет начал писать рассказы о деревенской жизни. Однажды он появился на пороге у Толстого в Ясной Поляне. Толстой восхищался рассказами Семёнова — вот он, его идеал «писателя из народа», — и они стали друзьями на всю жизнь. Семёнов был человеком тихим и скромным. «Маленький и худой, с рыжей бородкой клинышком, с грустным умным лицом и чуткой, почти детской застенчивостью, он всегда одевался по-крестьянски, в поддёвку, и, — по словам одного из его московских друзей, — походил скорее на волостного писаря, чем на литератора». В отличие от Канатчикова, его никогда не манили огни большого города. В двадцать лет он вернулся в Андреевское, женился на местной деревенской девушке и взял на себя отцовское хозяйство. Горькое детство сделало его твёрдым сторонником преобразований. «Меня всегда двигало жгучее желание улучшить жизнь моей деревни, покончить с её тёмными и отсталыми порядками», — писал он позднее. Эта вера в прогресс была источником его приверженности революции и — что тесно с этим связано — его стремления к самосовершенствованию. Он бросил пить и копил деньги на руководства по сельскому хозяйству. Волоколамский уезд быстро становился крупным центром льноводства — едва ли не важнейшей формы интенсификации русского крестьянского хозяйства, — и на льне можно было неплохо заработать. Семёнов был в первых рядах этого движения. Он арендовал дополнительную землю у соседнего помещика

и выращивал по новейшим агрономическим методам не только лён, но и множество других товарных культур. Он начал добиваться земельной реформы в Андреевском и тем самым вступил в ожесточённый конфликт с Малютиным.[25]

Вражда между ними началась со скелета в шкафу. Дочь Малютина Вера родила внебрачного ребёнка. От стыда она убила его и закопала тело в лесу. Каким-то образом власти узнали об этом, и в деревню для расследования приехала полиция. Малютину удалось откупиться, и дело тихо замяли. Но он долго обвинял Семёнова в том, что это он донёс властям. Вместе со своими сторонниками он развернул кампанию запугивания, чтобы выжить Семёнова из деревни. Они сожгли его сарай, перебили скотину, отобрали инструменты и обвинили его в колдовстве. Местная церковь присоединила свой голос к этому обвинению. Семёнов был безбожником. Он отказывался принимать в доме священников и по воскресеньям и праздникам был единственным крестьянином, работавшим в поле. Хуже того, он был последователем Толстого, отлучённого от церкви. В 1902 году Семёнова в конце концов осудили за колдовство церковным судом и на шесть месяцев заключили в тюрьму.[26]

Выйдя на свободу, он вернулся в деревню — на этот раз чтобы примкнуть к крестьянской революционной борьбе. Он входил в ту замечательную группу местных крестьян, агрономов и учителей, которые создавали в Волоколамском уезде читальни, кооперативы и крестьянские союзы, — вершиной их деятельности стала Марковская республика 1905–1906 годов (см. с. 183–184). Это дало Малютину ещё одну возможность нанести удар сопернику, и он донёс полиции, что в деревне живёт опасный революционер. В июле 1906 года Семёнова арестовали вместе с крестьянскими вожаками Маркова, два месяца продержали в московской тюрьме, а затем выслали за границу. На средства Толстого Семёнов провёл следующие полтора года, объезжая сельские районы Англии и Франции. Знакомство с западными методами хозяйствования лишь укрепило его убеждение, что общинную систему в России необходимо полностью перестроить. Она обременяла русских крестьян неэффективной системой землепользования и душила их инициативу как самостоятельных хозяев. При общинном строе крестьяне владели землёй в виде десятков узких пахотных полос,

разбросанных по всему деревенскому наделу. Собственные десять десятин Семёнова (27 акров) состояли из более чем пятидесяти полос в дюжине разных мест. Полосы были слишком узки — некоторые не шире трёх футов — для современных плугов и борон, и слишком много времени уходило на переходы с одной на другую. Периодические переделы полос почти не оставляли стимулов улучшать почву, поскольку плоды этих усилий могли быть утрачены при следующем переделе. Не было почти никакой надежды ввести передовые севообороты, ибо при открытой чересполосице все были обязаны придерживаться одного и того же порядка обработки, чтобы скот мог одновременно пастись на жнивье, и — хотя бы в силу численного перевеса — брала своё косность. «Моей мечтой, — писал Семёнов, — было завести собственный хутор с семипольным севооборотом и без всяких узких полос».[27]

Покинув деревню революционером, теперь он возвращался в неё пионером политики самого правительства. Его мечта стала и мечтой Столыпина — разрушить общину. Но в отличие от Семёнова, видевшего в этом лишь агрономическую задачу, Столыпин связывал её ещё и с созданием нового класса крестьян-собственников, которые, владея имуществом и богатея, научатся уважать права помещиков и откажутся от своих революционных чаяний. «Правительство, — заявил Столыпин в Думе в 1908 году, — ставку свою сделало не на убогих и пьяных, а на крепких и сильных».[28] Предприимчивых крестьян вроде Семёнова теперь поощряли выходить из общины и заводить собственные частные огороженные хозяйства. Указом от 9 ноября 1906 года им было предоставлено право превращать свои общинные полосы в частную собственность — в виде полностью обособленных хозяйств за пределами деревни (хуторов) или сведённых воедино участков в её пределах (отрубов). Вся деревня могла провести такое преобразование решением двух третей домохозяев. За этим последовали новые законы, призванные ускорить землеустройство и помочь выделенцам покупать дополнительную землю у дворян и казны в льготный кредит Крестьянского поземельного банка. Не приходилось сомневаться в том, какое первостепенное значение придавало правительство этому делу. Впервые оно действительно попыталось произвести крупную перемену в повседневной жизни крестьян, и наиболее умные министры и

чиновники понимали, что, если не будет достигнуто разительное улучшение, эта попытка, скорее всего, окажется и последней. Сознавая своё исконное бессилие в деревне, правительство пустило в ход все бюрократические рычаги, чтобы облегчить землеустройство. Им занимались четыре министерства, сотни губернских и уездных землеустроительных комиссий и тысячи землемеров, агрономов, статистиков и инженеров. Земских начальников и других местных чиновников засыпали директивами из центра, требовавшими поощрять выделенцев, и на помощь им были выделены десятки миллионов рублей. Как будто режим понимал, что его собственное политическое выживание стало зависеть от этой «ставки на сильных».

Столыпин не мог бы пожелать лучшего пионера, чем Сергей Семёнов. Тот воплощал дух крестьянского самосовершенствования и предприимчивости, на который опирались реформы Столыпина. Как и Столыпин, он невысоко ставил нравы своих соседей — их неуважение к собственности, боязнь книг и науки, вечное пьянство и драки, — в которых винил «крепостнические привычки общины и всяких Малютиных».[29]

Для андреевских Малютиных, не видевших никакой нужды менять старые общинные порядки, Семёнов был просто смутьяном. Они по-прежнему честили его «ахтеистом» (атеистом) и «ливорюцинером» (революционером) за то, что он нападал на Церковь и царя. Они пытались не допускать его на сельский сход под тем предлогом, что законным домохозяином всё ещё числился его старый отец-пьяница, которого Семёнов продолжал содержать. Малютин доказывал, что тратить время и деньги на преобразования — пустое дело. «Деды наши так делали — и мы так будем».

Доводы Малютина находили немалый отклик у крестьян, по природе своей с опаской относившихся к реформам. У крестьян были глубокие культурные причины противиться разрушению общины, которая веками была средоточием их жизни. Главное опасение заключалось в том, что право одних крестьян владеть частью общинной земли или держать её в частной собственности навечно лишит других права доступа к этой земле как к основному источнику пропитания. Сильнее всего этот страх был у младших членов семьи, особенно у женщин: ведь как только двор укреплял свою землю в частную

собственность, семейное владение прекращалось и земля становилась законной собственностью главы двора. Он мог завещать её одному или нескольким сыновьям или вовсе продать, лишив тем самым остальных членов двора наследства. «Крестьяне, — заявлял один чиновник, — очень враждебно относятся к закону 9 ноября», потому что «боятся, что старики распродадут землю, а дети станут нищими. Они говорят, что землю никто не должен продавать, — пусть торгуют чем хотят, только не землёй».[30] Многие крестьяне опасались, что превращение общинной земли в частную собственность позволит самым богатым скупить её всю. Широко распространён был и страх, что правительственные землемеры, получившие указание поощрять выделение, наградят выделенцев сверх их справедливой доли лучшей землёй.

И у крестьян действительно были все основания недоумевать, как вообще можно распутать старую мешанину полос, часто перемежавшихся внутри общины. На каких условиях хороший участок в одном месте менять на плохой в другом? Как делить луга, леса и реки, которые всегда были в общем пользовании? А если новые хутора станут прокладывать свои дороги, не перережут ли они существующие межи и частные права проезда? Крестьяне были привязаны к своей земле в совершенно особом смысле. Большинство из них много лет обрабатывали одни и те же полосы, знали их особенности и нелегко с ними расставались. Никто никогда не учил их вычислять площадь участка, умножая его ширину на длину, так что у них не было надёжного способа убедиться, что два равных надела действительно одинаковы по размеру. Поля они делили «на глаз» или отмеряя шагами ширину полос и грубо подправляя там, где неодинаковы были их длина или качество почвы. Они не сомневались, что этот примитивный способ, которым пользовались их деды, куда точнее сложных научных методов правительственных землемеров с их костюмами, линейками и треногами. Ведь, во-первых, землемеры не могли учесть подробных различий в качестве каждой полосы, как это делали сами крестьяне в бесконечных спорах при переделе. Не могли они учесть и разнообразных социальных соображений, неизбежно влиявших на распределение полос: ведь наделение лучшей землёй самых влиятельных семей стало важным средством сохранения традиционной крестьянской иерархии. Именно самые крупные хозяева, которым

разрушение общины грозило наибольшими потерями, обычно и возглавляли борьбу против земельной реформы. И им нетрудно было разжечь среди крестьян всеобщий страх перед реформой, ведь существующий порядок стал частью их повседневной жизни, семейной истории и общественного устройства деревни.[31]

Все эти обстоятельства сыграли свою роль в борьбе Семёнова за выход из общины. Поначалу он и его сторонники — в основном более молодые и грамотные крестьяне — пытались убедить остальную деревню свести воедино всю землю или хотя бы провести общинный передел, чтобы сократить число узких полос. Но Малютин и его приверженцы выдвигали всевозможные возражения, а остальные крестьяне либо слишком их боялись, либо слишком боялись перемен, чтобы дать Семёнову и его сторонникам необходимое большинство в две трети для проведения общего землеустройства. Тогда группа Семёнова стала добиваться права свести в отруба собственные наделы. Но и здесь они натолкнулись на враждебное противодействие Малютина и других стариков. Деревня раскололась на два враждующих меньшинства — одно пыталось выйти из общины, другое старалось этому помешать, — а большинство крестьян не знало, что и думать, и, как овцы, старалось держаться самой многочисленной группы. Чтобы запугать Семёнова, старики не пускали его детей в деревенскую школу и лишили его доступа к общинным выгонам и лесу. Приверженцы Малютина избили его жену, перебили скотину и сожгли дома его сторонников. Они даже грозились убить землемеров, если те явятся в деревню, и полтора года ни один землемер не решался там показаться.

Подобное запугивание вовсе не было редкостью (во многих деревнях, чтобы прекратить насилие, приходилось вводить войска и объявлять военное положение). Оно, безусловно, действенно отпугивало многих потенциальных крестьян-пионеров. Из шести миллионов индивидуальных заявлений о землеустройстве, поданных до 1915 года, более трети впоследствии было отозвано самими заявителями — в основном под давлением соседей. Из завершённых (всего около миллиона индивидуальных землеустройств) две трети пришлось проводить властям вопреки противодействию общины.[32] И всё же, как предстояло убедиться Семёнову, даже когда государство было на их

стороне, выделенцам требовалась немалая решимость, чтобы довести дело до конца.

С бюрократической точки зрения судьба столыпинских реформ находилась в руках местных земских начальников. На них лежала обязанность разъяснять крестьянам преимущества нового способа хозяйствования и утверждать их прошения в землеустроительную комиссию, Крестьянский поземельный банк и другие источники финансовой поддержки. Земский начальник Семёнова, Макаров, был либеральным и образованным дворянином, которого привели на эту сравнительно скромную должность разорение и трагическая любовь. Как и губернатор, он вполне сочувствовал движению за выделение. Это было необычно. Большинство их коллег в губернской бюрократии были противниками реформы. Они видели в выделении часть общей кампании Столыпина по подрыву господства дворянства в деревне и пытались сорвать её бездействием и проволочками. Сама необходимость обращаться к земскому начальнику оказалась серьёзным препятствием для потенциальных выделенцев. Ведь во многих местностях именно земский начальник сыграл главную роль в подавлении аграрных беспорядков 1905–1907 годов, и недоверие крестьян к нему, как и ко всем правительственным чиновникам, по-прежнему было очень глубоким.[33]

Но даже Макаров мало что мог — или хотел — сделать для Семёнова. Уездный предводитель дворянства и другие земские начальники Волоколамского уезда были решительными противниками реформ, а Макаров, боясь потерять место, не собирался выбиваться из общего ряда. Не хватало ему и смелости, чтобы употребить свою принудительную власть и отстоять права Семёнова вопреки враждебному противодействию односельчан. Более того, опасаясь за свою жизнь, он ни разу не приехал в деревню. Всё это было на руку противникам Семёнова, которые теперь усилили сопротивление. Во главе с Малютиным они засыпали местные власти мелочными жалобами на Семёнова. Жалобы эти были хитро рассчитаны на то, чтобы дать властям предлог для бесконечных бюрократических проволочек с землеустройством. Они донесли на Семёнова в уездную полицию, будто он осквернил портрет царя, так что пришлось провести обстоятельное расследование, прежде чем Семёнова признали

достойным владеть частным участком. Вопрос о том, кому — Семёнову или его отцу — принадлежат права на сельском сходе, они передали в волостной суд, а когда тот не смог вынести решения — в уездный. На всё это ушло почти два года. Кроме того, Малютин таскал его по судам с вымышленным иском на его надельную землю, чтобы, пока дело рассматривалось, Семёнов не мог выделить свои полосы, не имея на них ясного законного права.

Решимость Семёнова преодолеть все эти препятствия была поистине поразительной. Большинство крестьян отступали перед куда меньшими трудностями, и в результате движение за выделение во многом утратило свой порыв. Темпы землеустройства после сильного первоначального рывка резко упали после 1909–1910 годов. С 1906 года до кануна революции примерно 15 процентов всех крестьянских дворов Европейской России укрепили свою землю в частную собственность — группами или поодиночке, — в результате чего доля крестьянских хозяйств в наследственном владении составила где-то от 27 до 33 процентов.[34] Однако на каждый двор, выделивший свою землю, приходился другой, который пытался это сделать и потерпел неудачу — из-за сопротивления общины или бюрократических проволочек — и в результате утратил к этому интерес. Больше всего выделений пришлось на запад, юг и юго-восток страны, где рынок был развит сильнее всего. Выделенцами становились, как правило, либо наиболее ориентированные на рынок хозяева, либо, напротив, беднейшие крестьяне, которые быстро продавали свои участки и нередко перебирались в города. Массы крестьян центральной России — именно те, кто возглавит аграрную революцию 1917 года, — затронуты не были. Реформе Столыпина не удалось изменить их общинный уклад жизни.

В конце концов, после более чем двухлетних препирательств, в Андреевское прибыли землемеры с вооружённой охраной, и последние подробности землеустройства были улажены. Из сорока пяти дворов, первоначально подавших вместе с Семёновым заявления о выделении своих полос, осталось лишь восемь. Чтобы умиротворить противников, им пришлось довольствоваться клочком плохой, поросшей кустарником земли на краю деревни. Поскольку подходящего выгона там не было, они оставались зависимыми от разрешения общины пасти скот на её земле. Подобные компромиссы были в порядке вещей. Большинство

крестьян-выделенцев предпочитали держаться одной ногой в деревне, что было возможно при отрубе (дававшем право пользоваться общинными выгонами и лесом), а не рисковать, заводя обособленный, но опасно изолированный хутор. Подавляющее большинство столыпинских землеустройств было выделением отрубов, и правительству, несмотря на его предпочтение хуторов, ничего не оставалось, как их благословлять.

Несмотря на продолжавшееся противодействие общинников, которые время от времени портили их имущество, Семёнов и его товарищи-выделенцы постепенно превратили свой пустырь в образцовые частные хозяйства. Они завели большие квадратные поля с передовыми севооборотами, сортовыми семенами, химическими удобрениями и современными орудиями. Урожаи зерновых и льна у них выросли почти наполовину. Они построили зимние хлевы для коров, завезли из Европы более породистый скот, отправляли молоко в Москву и создали союз молочных хозяйств. Они также выращивали фрукты и овощи, которые каждую субботу возили поездом на продажу в Москву. «Мой опыт за последние три года, — писал Семёнов в 1913 году, — убедил меня, что крестьян ожидает светлое новое будущее».[35] Эти новые хуторяне и отрубники стали пионерами короткой сельскохозяйственной революции в России перед Первой мировой войной. Во многом именно им был обязан заметный рост уровня жизни крестьян, отмечаемый в последних работах историков. Хуторяне, как правило самые сильные из сильных, имели по три-четыре лошади и, может быть, по дюжине коров, тогда как у большинства общинников было по одной лошади и одной корове. Они нанимали работников, прикупали землю у дворян и начинали заводить своё дело. Вот кто оказался в выигрыше от «ставки на сильных».

Но были и другие, особенно среди отрубников, кому не удалось встать на ноги самостоятельно. Многие их отруба на деле были меньше соседних общинных наделов, — значит, они принадлежали более слабым крестьянским дворам. Несомненно, некоторые из них выделились, чтобы продать землю и переселиться в города: с 1908 по 1915 год так поступили более миллиона крестьян. Но другие действительно пытались обрабатывать свои выделенные участки, веря, что, освободившись от общины, и они смогут стать преуспевающими

хозяевами. Правда же, разумеется, состояла в том, что хозяйство на выделенном участке было связано с куда большими расходами и рисками, чем те, с которыми крестьяне сталкивались в общине, и попытка вести его без достаточных средств неминуемо кончалась крахом. Выделенцам приходилось платить проценты по банковским ссудам и вкладывать средства в дороги, изгороди и воду. Им приходилось также самим обзаводиться транспортом, орудиями, лесом, выгоном, запасами семян и зерна, которыми прежде они отчасти пользовались сообща с соседями-общинниками. Круг общинных услуг, всегда делавших деревню средоточием крестьянской жизни, — церковь, школа, лавки и мелкие промыслы, а также личные связи между соседями, — теперь был для них закрыт, по крайней мере отчасти. К 1917 году многие частные хозяева впали в отчаянную бедность и были только рады ликвидировать свои хозяйства, чтобы вернуться в общину и получить долю в разделе добычи, когда она возобновила войну против дворянских имений.

Большинство западных историков склонны были полагать — зачастую исходя скорее из собственных идеологических пристрастий, чем из эмпирических данных, — что земельная реформа Столыпина «должна была» увенчаться успехом. Утверждается, что если бы не Первая мировая война, остановившая выделения, реформа, возможно, предотвратила бы аграрную революцию, превратив крестьян в класс крепких хозяев-собственников. Это согласуется со взглядом тех историков, которые подчёркивают, что царская Россия после 1905 года стабилизировалась и крепла благодаря эволюции к современному обществу и что, если бы не война, революция так никогда и не случилась бы. Мрачные времена самодержавия уходили в прошлое, складывался парламентский строй, и Россия, как гласит этот довод, быстро становилась настоящей промышленной державой с крестьянством, которое не только кормило себя, но благодаря реформам Столыпина могло ещё и вывозить продовольствие.

На самом деле задолго до 1914 года земельные реформы Столыпина зашли в тупик. Столыпин утверждал, что для преобразования сельской России им понадобится не менее двадцати лет. Но даже если бы они продолжались теми же темпами, что и до Первой мировой войны, режиму потребовалась бы большая часть столетия, чтобы создать ту

крепкую аграрную буржуазию, на которую он, очевидно, решил поставить своё будущее. Движение за землеустройство, как и всякая другая реформа царского режима, запоздало.

Отчасти беда заключалась в отсутствии надлежащего бюрократического аппарата для проведения реформ, из-за чего они страдали от бесконечных проволочек. Правительство пыталось преобразовать крестьянский уклад жизни, не имея в деревне никаких реальных политических рычагов. Большая часть дворянства, от губернаторов до местных земских начальников, противилась реформам и делала всё, чтобы их остановить. Между тем на деревенском уровне государственной администрации не было вовсе, хотя Столыпин, надо отдать ему должное, пытался создать волостное земство, в котором преобладали бы новые крестьяне-собственники, и лишь политическое противодействие дворянства, защищавшего своё традиционное господство в местном управлении, похоронило его предложения. Крестьянам-пионерам вроде Семёнова, таким образом, не на какую собственную политическую власть было опереться в их тяжкой борьбе за выход из общины, и, если они, подобно ему, не проявляли необыкновенного упорства, у них было очень мало надежды на успех. Без демократизации местного управления реформы Столыпина были обречены на провал.

Но, быть может, прежде всего реформы погубил сам их размах. Насадить чужеземные капиталистические порядки в отсталой русской деревне оказалось куда труднее, чем готовы были признать высокопоставленные чиновники, сидевшие в своих петербургских кабинетах. Сельская община была старым учреждением, во многом совершенно отжившим, но в других отношениях всё ещё отвечавшим насущным потребностям крестьян, живших на грани нищеты, боявшихся рисковать, подозрительных к переменам и враждебных к чужакам. Столыпин полагал, что крестьяне бедны потому, что у них есть община: заставив их выйти из неё, он сможет улучшить их жизнь. Но ближе к истине было обратное: община существовала потому, что крестьяне были бедны, она служила распределению бремени их бедности, и пока они оставались бедными, у них почти не было стимулов из неё выходить. Как бы то ни было, уравнительные обычаи общины воплотили в себе основные представления крестьянства о

социальной справедливости, и, как докажут события 1917 года, за эти идеалы они будут бороться долго и упорно.

iv. За Бога, Царя и Отечество

В холмах, возвышающихся над западными районами Киева, есть пещеры, где до революции играли дети, а в погожие летние воскресенья семьи устраивали пикники. Однажды весной 1911 года дети нашли в одной из пещер труп школьника. На голове, шее и туловище было сорок семь колотых ран, одежда мальчика заскорузла от запёкшейся крови. Рядом лежали его школьная фуражка и тетради, по которым установили, что убитый — Андрей Ющинский, тринадцатилетний ученик Софийского духовного училища.

Убийство возмутило Киев. О нём писали все городские газеты. Из-за большого числа ран на теле жертвы некоторые черносотенные группы заявили, что это непременно ритуальное убийство, совершённое евреями. На похоронах они раздавали провожающим листовки, где утверждалось, что «ежегодно перед своей Пасхой жиды замучивают несколько десятков христианских детей, чтобы добыть их кровь для мацы». Они призывали «христиан бить всех жидов, пока ни одного не останется в России».[36]

Теория ритуального убийства получила мнимое подкрепление со стороны так называемых «Протоколов сионских мудрецов» — фальшивки царской полиции, впервые изданной в Петербурге в 1902 году, которая задолго до своего огромного успеха в гитлеровской Европе дала в России массовую опору мифу о всемирном еврейском заговоре с целью развратить и поработить христианские народы. Правда, широко читать «Протоколы» стали лишь после 1917 года, когда многие русские возлагали вину за бедствия войны и революции на евреев. Экземпляр был найден среди последних вещей Николая II после его убийства в июле 1918 года. Но в период между 1905 годом и убийством Андрея они выдержали несколько изданий, и потому обвинение черносотенцев, будто мальчика убили ради еврейских ритуальных целей, многим десяткам тысяч горожан показалось бы знакомым, а значит, пожалуй, и наполовину убедительным. Существовала, кроме того, в эти годы обширная «научная» литература

о еврейских ритуальных убийствах, вампиризме и торговле «живым товаром», придававшая обвинениям черносотенцев определённую солидность. Словом, как выразился Витте, антисемитизм в верхах «считался модным».[37]

В недели, последовавшие за похоронами Андрея, по Киеву разнеслись слухи об организованной кампании ритуальных убийств, которую будто бы ведёт еврейское население города. Правая печать повторяла это обвинение и пользовалась им как доводом против предоставления евреям гражданских и религиозных прав. Еврейский народ, утверждало «Русское знамя», превращён своей религией в «преступную породу убийц, ритуальных мучителей и потребителей христианской крови». Тридцать семь правых депутатов Думы, в том числе одиннадцать православных священников, подписали запрос с требованием, чтобы правительство отдало под суд «преступную секту жидов». Министр юстиции (И. Г. Щегловитов) и министр внутренних дел (Н. А. Маклаков) были убеждены в истинности теории ритуального убийства, как и большая часть правительства и двора, и именно с личного благословения самого царя они теперь принялись искать подозреваемого еврея.[38]

Выбор в конце концов пал на Менделя Бейлиса, служащего средних лет на принадлежавшем еврею заводе, который случайно находился неподалёку от пещер, где было найдено тело Андрея. Ничего необычного в этом тихом семьянине среднего роста и сложения, с короткой чёрной бородой и в очках, не было. Он даже не был особенно религиозен и редко ходил в синагогу. Однако в течение следующих двух лет, пока он сидел в тюрьме в ожидании суда, полиция создавала его самый ужасный образ. Свидетелям платили, чтобы они показали, будто видели, как он насильно похитил Андрея, или слышали, как он признавался в убийстве и в участии в тайных еврейских культах. Двух врачей, проводивших вскрытие, заставили изменить заключение в соответствии с теорией ритуального убийства. Был даже выведен на сцену видный психиатр профессор Сикорский, чтобы подтвердить, что, судя по самым основательным «антропологическим данным», убийство Андрея было «типичным» для ритуальных убийств, регулярно совершаемых евреями. Печать раздолье находила в фантастических

историях о «Менделе Бейлисе, пьющем христианскую кровь» и в статьях разных «знатоков» об исторической и научной подоплёке дела.[39]

Тем временем подлинная причина убийства Андрея уже была раскрыта двумя младшими полицейскими чинами. Андрей дружил с Евгением Чеберяком, мать которого, Вера, состояла в преступной шайке, совершившей незадолго до того ряд краж в Киеве. Краденое хранили у неё в доме, прежде чем переправить для перепродажи в другие города. Однажды Андрей обнаружил их тайник. В ссоре с другом он пригрозил рассказать всё полиции, которая уже что-то подозревала. Когда Евгений рассказал об этом матери, шайка перепугалась, убила Андрея и бросила его тело в пещеры. Всё это скрыл руководивший расследованием прокурор судебной палаты Чаплинский — фанатичный антисемит, стремившийся получить повышение, угодив Щегловитову головой Бейлиса. Двух младших полицейских уволили, а других, сомневавшихся в деле, заставили молчать. Чаплинский скрыл даже то, что Вера, которая на суде покажет, будто видела, как Бейлис похитил Андрея, отравила собственного сына из страха, что он раскроет её роль в этом деле. Ведь Евгений был тем единственным свидетелем, который мог разрушить обвинение.

В 1917 году, когда весь масштаб этого заговора стал известен, выяснилось, что и министр юстиции, и сам царь признали невиновность Бейлиса задолго до суда, но продолжали преследование, полагая, что его осуждение будет оправдано тем, что «докажет» реальность еврейского культа ритуальных убийств. К открытию процесса в сентябре 1913 года имена подлинных убийц уже были преданы огласке в либеральной печати на основании сведений, сообщённых двумя полицейскими, уволенными Чаплинским. Против процесса проходили массовые демонстрации. Десятки адвокатов, в том числе молодой Керенский, выступили с протестом в петербургской адвокатуре, за что были отстранены от практики. Горький, живший тогда на Капри, написал страстное воззвание против «еврейской охоты на ведьм», которое подписали Томас Манн, Анатоль Франс, Г. Дж. Уэллс, Томас Гарди, главы всех колледжей Оксфорда и Кембриджа и десятки видных политиков по всей Европе. В Соединённых Штатах еврейское лобби добивалось прекращения всякого кредитования России. Но царское правительство не смутил международный скандал, и оно даже удвоило

усилия, чтобы добиться осуждения Бейлиса. Накануне процесса несколько ключевых свидетелей защиты были арестованы и тайно высланы. Судью принял царь, подарил ему золотые часы и пообещал повышение в случае «победы правительства». Во время процесса он то и дело прерывал заседание и наставлял присяжных — подобранных из крестьян местности, печально известной еврейскими погромами, — принимать то, что им только что сказало обвинение, за «установленный факт». И всё же даже этого оказалось недостаточно для обвинительного приговора. Свидетели обвинения — бродяги, уголовники и проститутки — все до одного разоблачили себя как лжецы, оплаченные полицией. За пять недель процесса имя подсудимого почти не упоминалось: обвинение целиком полагалось на поношение его религии. «Как же нам осудить Бейлиса, — спросил один из присяжных, очевидно понимая, чего от них ждут, — если о нём самом ничего даже не говорится?»[40]

В конце концов, к всеобщему ликованию в России и за её пределами, Бейлис был оправдан. Через шесть месяцев он эмигрировал в Палестину, а оттуда переехал в Соединённые Штаты, где и умер в 1934 году. Преступной шайке, виновной в убийстве Андрея, так и не было предъявлено обвинение. Цирк пригласил Веру Чеберяк выступить в пантомиме о деле Бейлиса — а пантомимой, по сути, и было всё это дело. Она продолжала жить в Киеве до 1918 года, когда во время красного террора её арестовали и расстреляли большевики (пожалуй, одна из немногих его жертв, о которой можно сказать, что она получила по заслугам). Что до царского правительства, то оно продолжало вести себя так, будто ничего не произошло, награждая чинами, повышениями и щедрыми денежными подарками тех, кто выступал на процессе «на его стороне». Чаплинский получил высокое место в Сенате, а председательствовавший на процессе судья был назначен старшим председателем судебной палаты. Однако в глазах западного мира дело Бейлиса стало символом борьбы между деспотизмом средневековой России и новым обществом европейского типа в России XX века, основанным на гражданских свободах думской эпохи. Встав на сторону первого, царский режим совершил в глазах цивилизованного мира моральное самоубийство.

Почему монархия была готова зайти так далеко в деле Бейлиса? Ответ, несомненно, кроется в общей политической обстановке. К 1911

году думская система потерпела крах. Обе главные партии, готовые сотрудничать с правительством, — октябристы и националисты — были глубоко расколоты, и на выборах 1912 года в Четвёртую Думу их доля голосов резко упала. Прежнее правоцентристское большинство распалось, и Дума, ослабленная, дрейфовала от одного непрочного союза к другому, не в силах найти рабочего согласия.[51] Правительство Коковцова (1911–1914) не считалось с Думой, направляя ей мелкие законопроекты — «вермишель». Таврический дворец постепенно пустел по мере того, как падало влияние парламента. Тем временем рабочее движение, почти дремавшее с 1906 года, с новой силой возродилось в апреле 1912 года после расстрела 500 бастовавших рабочих на приисках реки Лены в северной сибирской глуши. За следующие два года в 9000 забастовках участвовали три миллиона рабочих, и всё большая их часть проходила под воинственными лозунгами большевиков, а не под более осторожным руководством их соперников-меньшевиков. На думских выборах 1912 года большевики получили шесть из девяти мест по рабочей курии и к 1914 году овладели всеми крупнейшими профсоюзами Москвы и Петербурга. Их газета «Правда», основанная в 1912 году на средства, в частности, Горького, имела самый большой тираж среди всей социалистической печати: рабочие ежедневно покупали около 40 000 экземпляров (а читали гораздо больше).[41]

Царю и его сторонникам при дворе, в Церкви и в правых кругах это, несомненно, казалось одновременно и удобным (поскольку Дума была ослаблена), и неотложным (ввиду подъёма воинствующих левых) моментом, чтобы свести на нет завоевания конституционной эпохи и сплотить городские массы вокруг народного самодержавия. Маклаков и Щегловитов, два главных покровителя дела Бейлиса в правительстве, давно добивались от царя полного закрытия Думы или хотя бы низведения её до положения совещательного органа. Удерживали царя лишь давление Запада и страх перед реакцией народа. Этим двум министрам в особенности, но, несомненно, и царю — наивному и легко поддававшемуся обману — дело Бейлиса должно было казаться

[51] В Четвёртой Думе правые партии (националисты и правые) имели 154 депутата, партии центра (октябристы и группа центра) — 126, левые (кадеты, прогрессисты и социалисты) — 152.

отличной (а может быть, и последней) возможностью использовать ксенофобию в интересах монархии. Они, должно быть, надеялись сплотить «верноподданный русский народ» на защиту царя и традиционного общественного порядка от пороков современности — разврата городской жизни, тлетворного влияния интеллигенции и воинственности левых, — которые многие простодушные русские охотно связывали с евреями. Как уже показали погромы 1905–1906 годов, массовый антисемитизм был важнейшим оружием в арсенале контрреволюции. Союз русского народа (СРН), главный его выразитель, одним из первых среди черносотенных организаций выдвинул обвинение в ритуальном убийстве и на протяжении всего процесса Бейлиса обеспечивал обвинению антисемитскую клаку. Царь покровительствовал СРН (а правительство тайно его финансировало) в надежде, что однажды он станет массовой монархической партией, способной отнять поддержку у социалистов. Его манифест выражал плебейское недоверие ко всем политическим партиям, интеллигенции и бюрократии, которые, как утверждалось, мешали «непосредственному общению царя с народом». Для Николая это была музыка: он и сам разделял фантазию о восстановлении личного правления царя в том виде, в каком оно существовало в XVII веке. Мистическая связь царя с народом была лейтмотивом года трёхсотлетия Романовых. Даже успех Распутина во многом основывался на упрямом самообмане Николая, будто «божий человек» — «просто мужик». Словом, чтобы проникнуть в высшие правящие круги, становилось необходимым потакать царской фантазии о народном самодержавии, и проще всего было этого добиться, выражая поддержку СРН. Видные деятели Церкви, двора и правительства, в том числе министр внутренних дел Маклаков, поддерживали СРН.[42]

СРН был прежде всего великорусским националистическим движением. Первой провозглашённой его целью была «Великая Россия, единая и неделимая». Но националистическая карта была для царского режима опасной игрой. Её последствия было так трудно предсказать. Понятие «нации» играло ключевую роль в политике 1905–1917 годов. И монархисты, и думские партии всё чаще прибегали к нему в своей риторике, соперничая друг с другом за народную поддержку. Идея «России» служила важнейшим ориентиром в эту переходную эпоху,

когда прежние политические определённости, казалось, рушились, а новые ещё не сложились. Она служила северным полюсом компаса, по которому русские прокладывали путь в новой политике, — во многом так же, как и в посткоммунистической России. У каждого течения политической мысли был свой национализм. У СРН он основывался на расизме и ксенофобии. В империи надлежало отстаивать господство великороссов. Для правых церковных иерархов он столь же основывался на господстве православия. Но подобный великорусский шовинизм не ограничивался правыми. После 1907 года все правоцентристские партии Думы разделяли убеждение, что высшие интересы России — империи, всё острее соперничавшей с великими державами Запада, — зависят от поощрения народных националистических чувств (как же иначе создать сильную армию?) и от сохранения господства России над нерусскими окраинами. Правительству Столыпина пришлось подстраивать свою программу под требования этого национализма, особенно после 1909 года, когда поддержка октябристов ослабла и правительство было вынуждено обратиться за большинством в Думе к партии националистов. Выделение Холмщины из Польши (1909), восстановление русского контроля над Финляндией в большинстве вопросов (1910) и меры, гарантировавшие господство русского меньшинства над польским большинством по закону о западном земстве (1911), — всё это были приметы новой официальной линии великорусского национализма. Многие уступки, добытые нерусскими народами в результате революции 1905 года, в эти годы были отобраны. Столыпин оправдывал свою политику соображениями имперской обороны. Ведь, объяснял он Бернарду Пэрсу, финская граница всего в двадцати милях от Петербурга: а Англия едва ли потерпела бы автономное государство так близко, как Грейвзенд.[43]

* * *

Угроза войны в Европе нарастала. Обе великие балканские империи — Османская и Австро-Венгерская — распадались под натиском национальных движений. Германия и Россия готовились к схватке за добычу, каждая стремясь продвинуть свои интересы в регионе. Захват Константинополя и контроль над Дарданеллами, через которые

проходила половина её внешней торговли, были главным имперским устремлением России со времён Петра Великого. Но она питала и более широкие надежды на собственную славянскую империю на Балканах — надежды, подогреваемые национальными движениями в Сербии, Болгарии и Боснии и Герцеговине.

Долгое время подобные панславистские мечты считались предметом поэзии, а не практической политики. Военная и экономическая слабость страны требовала осторожной внешней политики. Как сказал в 1885 году Половцов, «России нужны дороги и школы, а не победы и почёт, иначе мы станем второй Лапландией».[44] Защищать интересы России в Европе было предоставлено дипломатам, а это по большей части означало умиротворение двух могущественных соседей в Берлине и Вене. Романовский двор издавна благоволил этой прогерманской политике — отчасти из-за прочных династических связей между правящими домами, отчасти из-за общей враждебности к европейскому либерализму. Шли даже разговоры о возрождении старого Союза трёх императоров. Однако после 1905 года внешнюю политику уже нельзя было проводить, не считаясь с общественным мнением. И Дума, и печать проявляли живой интерес к имперским делам и всё настойчивее призывали к более напористой политике в защиту балканских интересов России. Впереди шли октябристы, стремившиеся остановить закат своей политической звезды, возглавив националистический крестовый поход. Их лидер Гучков заклеймил решение дипломатов не воевать в 1908 году, когда Австрия аннексировала Боснию и Герцеговину, как предательство исторической миссии России — защищать балканских славян. Русский народ, заявлял он, в отличие от «дряблой лености официальной России», готов к «неизбежной войне с германской расой», и именно с его патриотическими чувствами «придётся считаться иностранным, да и нашим собственным дипломатам». Не желая уступать в громких словах, правые кадеты создали собственный, либеральный вариант славянского империализма. Струве назвал боснийскую историю «национальным позором». Предназначение России, доказывал он в нашумевшей статье того же года, — распространить свою цивилизацию «на весь бассейн Чёрного моря». Добиться этого предстояло (как бы противоречиво это ни выглядело) сочетанием имперской мощи со свободным союзом всех

славянских народов, которые, по его мнению, будут видеть в России конституционное прибежище от тевтонского гнёта. Не меньше стремилась размахивать патриотическим знаменем и либеральная деловая элита Москвы во главе с Александром Коноваловым и Рябушинскими, которые в 1912 году основали собственную Прогрессивную партию, заявив, что пришло время буржуазии взять на себя руководство нацией. Господство России на Чёрном море и над морскими путями через проливы было одной из главных целей их торговых притязаний.[45]

Во многом этот буржуазный патриотизм питался представлением, что Европа неотвратимо движется к титаническому столкновению тевтонов со славянами. Панславизм и пангерманизм были двумя взаимно оправдывающими друг друга символами веры: одно не могло существовать без другого. Страх перед Россией объединял всех германских патриотов, а страх перед Германией делал то же самое в России. Германофобия очень глубоко укоренилась в русском обществе. Отчасти на ней основывалась и революция — и как реакция на войну, и как неприятие романовского двора, где господствовали немцы. Этот страх перед Германией отчасти проистекал из культурной неуверенности русских — ощущения, что они живут на краю отсталого, полуазиатского общества и что всё современное и прогрессивное приходит к нему с Запада. Существовало, как выразился Доминик Ливен, «инстинктивное ощущение, что германское высокомерие по отношению к славянам заключало в себе молчаливое отрицание достоинства самого русского народа и его равенства с другими ведущими расами Европы». Богатство немцев в России, их видное положение на государственной службе и растущее господство немецкого экспорта на традиционных рынках России лишь подчёркивали это ощущение расовой угрозы. «За последние двадцать лет, — заявляла в 1914 году передовая статья „Нового времени“, — наш западный сосед крепко держит в зубах жизненные источники нашего благосостояния и, как вампир, сосёт кровь русского крестьянина». Многие опасались, что «натиск на Восток» — часть более широкого германского плана уничтожения славянской цивилизации, и приходили к выводу, что, если Россия сейчас твёрдо не встанет на защиту своих балканских союзников, её ждёт долгий период имперского упадка и

подчинения Германии. Эти панславистские настроения росли по мере того, как общество всё больше раздражала примирительная политика правительства по отношению к «германским агрессорам». Впереди шло «Новое время», назвавшее решение правительства — принятое под давлением Берлина — признать аннексию Боснии «дипломатической Цусимой».[52] Газета призывала правительство противопоставить растущему влиянию Германии на Балканах собственную славянскую кампанию. После 1908 года было создано множество славянских обществ. В Праге даже был созван Славянский съезд, где русские пытались убедить скептически настроенных «братьев» из чешских земель, что под властью царя им будет лучше. Ко времени Балканских войн 1912–1913 годов эти прославянские настроения объединили многие слои русского общества. Сотни общественных организаций заявили о поддержке славян, в столицах прошли огромные демонстрации, а на череде политических банкетов общественные деятели призывали к более решительному утверждению имперской мощи России. «Проливы должны стать нашими, — сказал царю в марте 1913 года председатель Думы Михаил Родзянко. — Война будет встречена с радостью и поднимет престиж правительства».[46]

Нет сомнения, что давление общественного мнения сыграло важную роль в сложной цепи событий, приведших к вступлению России в Первую мировую войну. К началу 1914 года воинственные прославянские настроения распространились на двор, офицерский корпус и значительную часть самого государства. Князь Г. Н. Трубецкой, поставленный летом 1912 года во главе балканского и османского отделов Министерства иностранных дел, был известным панславистом, твёрдо намеренным овладеть Константинополем и его балканским тылом. Сходных взглядов придерживался великий князь Николай Николаевич — военный, имевший большое влияние на царя и в августе 1914 года назначенный Верховным главнокомандующим. Его отец воевал в Балканских кампаниях 1877–1878 годов, а жена, пылкая славянская патриотка, была дочерью черногорского короля. Многие генералы разделяли славянские симпатии великого князя. Брусилов — яркий тому пример. Обеспокоенный нравственной

[52] При Цусиме Россия потерпела самое тяжёлое поражение в войне с Японией.

неподготовленностью России к грядущей войне, он видел в панславянском национализме средство сплотить народ вокруг армии. «Если бы царь призвал всех своих подданных, — писал он позднее, — объединиться, чтобы спасти родину от нависшей над ней опасности и освободить всех братьев-славян от германского ига, общественный подъём был бы безграничен, а его личная популярность стала бы непоколебимой».[47]

Сам царь постепенно переходил в панславистский лагерь. К началу 1914 года он считал, что пришло время твёрдо противостоять Австрии, если не её более могущественному берлинскому союзнику. «Мы не позволим себя топтать», — сказал он Делькассе в январе. Иностранные послы объясняли эту новую решимость давлением общественного мнения. Но пока Николай поддерживал осторожный курс своего министра иностранных дел С. Д. Сазонова. Признавая, что война с Центральными державами почти наверняка неизбежна, они стремились отсрочить её дипломатическими средствами. Русская армия, по мнению военных специалистов, не будет готова к войне до 1917 года. Не была завершена и дипломатическая подготовка: если поддержка Франции была обеспечена, то поддержка Британии — нет. Но гораздо острее всего стояла угроза революции, если Россия увязнет в долгой и изнурительной кампании. Память о 1904–1905 годах была ещё свежа, и ничего революционные вожди не приветствовали бы сейчас больше, чем войну. «Война Австрии с Россией была бы очень полезной для революции штукой, — писал Ленин Горькому в 1913 году, — но мало вероятия, чтобы Франц-Иосиф и Николаша доставили нам сие удовольствие».[48] Всё это укрепляло доводы прогерманской партии при дворе против безоглядного сползания к войне. В пророческой записке, поданной в феврале 1914 года, Дурново предупреждал царя, что Россия слишком слаба, чтобы выдержать долгую войну на истощение, которую, вероятно, породит англо-германское соперничество. Её неизбежным следствием в России станет жестокая социальная революция, ибо либеральная интеллигенция не пользуется доверием масс и потому не способна долго удерживать власть в чисто политической революции. Ход этой революции Дурново описал с поразительной прозорливостью:

> Начнётся с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнётся яростная кампания против

него, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения: сначала чёрный передел, а засим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побеждённая армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надёжного кадрового своего состава, охваченная в большей части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованною, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишённые действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению.[49]

Осторожность была главным лозунгом прогерманской партии при дворе. Но с точки зрения Германии, если уж войне с Россией суждено быть, то лучше раньше, чем позже. «Россия растёт и растёт и давит на нас, как кошмар», — заявил германский канцлер Бетман-Гольвег. Когда сербские националисты убили эрцгерцога Фердинанда, Германии было невыгодно удерживать своего австрийского союзника от угрозы войной последнему настоящему союзнику России на Балканах. Это расстроило хрупкое равновесие русской внешней политики. Русская печать требовала войны в защиту Сербии, у австрийского посольства в Петербурге проходили многолюдные демонстрации. 24 июля 1914 года Совет министров рекомендовал начать военные приготовления. Иначе, доказывал влиятельный министр земледелия А. В. Кривошеин, «общественное мнение не поймёт, почему в критический момент, затрагивающий интересы России, императорское правительство не решилось действовать смело». Важнее «верить в русский народ и его вековую любовь к отечеству, чем в ту или иную случайную готовность или неготовность к войне».[50]

Это поставило Николая в безвыходное положение. Вступив в войну, он рисковал поражением и социальной революцией; не вступив — мог столкнуться с внезапным взрывом патриотических чувств против себя самого, что тоже грозило полной утратой политического контроля. Времени на решение почти не оставалось: если Россия собиралась мобилизовать свои силы, ей нужна была фора перед противниками, которые могли провести мобилизацию гораздо быстрее. 28 июля

Австрия наконец объявила войну Сербии. Николай приказал провести частичную мобилизацию войск и в последний раз обратился к кайзеру с просьбой предотвратить австрийское нападение на Белград. «Предвижу, — предупреждал он, — что очень скоро, уступая оказываемому на меня давлению, буду вынужден принять крайние меры, которые приведут к войне». Два дня спустя кайзер ответил отказом от нейтралитета Германии в сербском вопросе. Сазонов рекомендовал всеобщую мобилизацию, понимая, что объявление Германией войны России теперь неминуемо (оно последовало 1 августа). Он предупредил царя, что, «если он не уступит всенародному требованию войны и не обнажит меч за Сербию, он рискует революцией и, быть может, потерей престола». Николай побледнел. «Подумайте, какую ответственность вы советуете мне взять на себя!» — сказал он Сазонову. Но доводы министра были неопровержимы, и 31 июля царь неохотно объявил всеобщую мобилизацию.[51]

Позднее Брусилов утверждал, что царя заставил вступить в войну патриотический подъём собственного народа: «Не сделай он этого, общественное негодование обрушилось бы на него с такой яростью, что он был бы свергнут с престола и революция при поддержке всей интеллигенции произошла бы в 1914 году, а не в 1917-м». Это, несомненно, преувеличение. Патриоты из среднего класса, собравшиеся перед Зимним дворцом, чтобы приветствовать объявление царём войны в воскресенье 2 августа, — конторщики, чиновники, гимназисты и домохозяйки, — едва ли были теми людьми, что начинают революции. Многим из них, по словам иностранных наблюдателей, приказали явиться их хозяева или начальники. Но в тот солнечный день, когда Николай стоял на балконе Зимнего дворца и смотрел вниз на огромную толпу, махавшую флагами и кричавшую «ура», которая затем как один опустилась перед ним на колени и запела гимн, у него, должно быть, мелькнула мысль, что война наконец соединила с ним его подданных и что, может быть, всё же есть основания для надежды. «Вот увидите, — сказал он вскоре после этого в сильном волнении наставнику своих детей, — теперь в России начнётся народное движение, подобное тому, что было в великую войну 1812 года».[52]

И действительно, в первые пьянящие недели августа налицо были все внешние признаки всенародного сплочения. Рабочие забастовки

прекратились. Социалисты объединились в защите Отечества, а пацифисты, пораженцы и интернационалисты были вынуждены эмигрировать. Патриотические демонстранты громили немецкие магазины и конторы. Они разгромили германское посольство на Мариинской площади, перебив окна и выбросив на костёр на улице мебель, прекрасные картины и даже личную коллекцию ренессансной скульптуры посла. Затем под одобрительные крики толпы они сбросили с крыши посольства двух огромных бронзовых коней. На этой волне антинемецких настроений люди даже меняли фамилии, чтобы они звучали по-русски: так, например, востоковед Вильгельм Вильгельмович Струве стал Василием Васильевичем Струве. Склоняясь перед силой этой ксенофобии, правительство тоже сменило немецкое звучание названия Санкт-Петербурга на более славянское — Петроград. Николай приветствовал эту перемену. Он никогда не любил Петербург с его западными традициями и давно пытался русифицировать его облик, добавляя к его классическим зданиям московские мотивы.

«Все сошли с ума, — сетовала Зинаида Гиппиус, поэт, философ и хозяйка петербургского салона. — Почему вообще война — зло, а вот эта одна война — почему-то благо?» Большинство ведущих писателей страны поддержали войну, а немало из них даже пошли в армию добровольцами. Интеллигенция, как всегда искавшая чувства общности, в большинстве своём полагала, что война принесёт России духовное обновление, заставив личность жертвовать собой ради блага нации. Смысл войны, поучал один московский профессор философии, — «в обновлении жизни через приятие смерти за родину». Войну следует рассматривать как своего рода «Страшный суд». Немногие интеллигенты разделили бы мрачный вывод Горького, недавно вернувшегося из эмиграции: «Ясно одно: мы вступаем в первый акт всемирной трагедии».[53]

Печать восторженно воспевала обретённое единство русского народа. «Утро России», газета прогрессистов, провозглашала: «Нет теперь ни правых, ни левых, нет правительства и общества, а есть единый русский народ». Наконец, словно в довершение этого священного союза, Дума 8 августа после одного-единственного заседания, исполненного патриотической торжественности, распустила себя, чтобы, как гласила её резолюция, не обременять правительство в

его военных усилиях «ненужной политикой». «Мы будем вам только мешать, — объявил министрам в Таврическом дворце председатель Думы Родзянко. — Поэтому лучше распустить нас совсем до окончания военных действий».[54]

Но эти изъявления верности были обманчивы. Массы народа война ещё не затронула, а миллионы крестьян и рабочих, отправлявшихся на фронт, почти не разделяли того патриотизма среднего класса, который так окрылил царя. Никаких флагов и военных оркестров не провожало их на вокзалах, и, по словам иностранных наблюдателей, выражение лиц у большинства солдат было мрачным и обречённым. Именно их страшный опыт войны и зажжёт революцию. Отчаянной ставке царя суждено было принести гибель его режиму.

ГЛАВА 7

ВОЙНА НА ТРЁХ ФРОНТАХ

i. Металл против людей

Генерал А. А. Брусилов, 10 августа 1914 года:

> Моя дорогая, бесценная женушка, Надюшенька!
>
> Мне было чрезвычайно тяжело расставаться с тобой, моё солнышко. Но долг перед страной и царём, огромная ответственность, возложенная на меня, и любовь к военному делу, которому я учился всю жизнь, заставляют меня не поддаваться слабости и с утроенной энергией готовиться к кровавому испытанию, стоящему перед нами.
>
> Пока, слава Богу, всё идёт хорошо. Сегодня утром едем на автомобиле осматривать храбрую 4-ю стрелковую бригаду. Вид у неё прекрасный, офицеры отличные, как и полковые командиры и начальники бригад. Очень надёжные войска.
>
> Дух у солдат превосходный. Все они одушевлены твёрдой верой в правоту и честь нашего дела, а потому, к счастью, нет оснований для тревоги или нервозности. Это чрезвычайно утешает.
>
> Я постоянно молю Господа нашего Иисуса Христа даровать нам, православным христианам, победу над врагом. Сам я в очень хорошем расположении духа. Не тревожься, моя дорогая, будь мужественна, верь и молись за меня…
>
> Страстно целую тебя.
>
> Алексис.[1]

В августе 1914 года у тех, кто повёл Россию на войну, были основания для оптимизма. Память о позорном поражении от Японии заслонили огромные военные расходы последних лет. К 1914 году Россия тратила на вооружённые силы больше Германии — свыше трети всех государственных расходов.[2] Неверно позднейшее утверждение историков, будто русская армия совершенно не была готова к войне. По численности людей и количеству материальных средств она по меньшей мере не уступала германской; благодаря недавнему улучшению железных дорог на западе страны её мобилизация занимала лишь на три

дня больше. План Шлиффена исходил из того, что России понадобится на три недели больше, чем Германии, и германская армия успеет разбить Францию прежде, чем русские атакуют на востоке. Этот расчёт оказался сорван: немцы увязли в войне на два фронта.

Но одновременно рухнула и широко распространённая надежда на короткую войну — «всё закончится к Рождеству». Именно здесь обнаружилась настоящая слабость России. К кампании продолжительностью до полугода она была более или менее готова, к долгой войне на истощение — нет. Мало кто ожидал подобного испытания. Другие европейские державы сумели приспособиться и импровизировать; царская система оказалась слишком неповоротливой и громоздкой, слишком негибкой, авторитарной и неэффективной, чтобы меняться вместе с обстоятельствами. Первая мировая война стала гигантским испытанием для европейских государств, и царизм провалил его особенно тяжело и катастрофически. В первые дни войны это предвидели немногие. Лишь осенью, когда начальные кампании закончились кровавым тупиком и армии зарылись в землю, слабости русской стороны стали очевидны.

Брусилов получил командование 8-й армией Юго-Западного фронта. Лисье лицо, кавалерийские усы, изысканные манеры и отрывистая речь делали его почти идеальным воплощением аристократического генерала. Но он был и настоящим профессионалом, хорошо знакомым с новой техникой войны. Вначале его имя почти ничего не говорило солдатам: значительную часть карьеры он провёл в элитной Офицерской кавалерийской школе. Однако вскоре он завоевал доверие войск блестящим руководством и неустанной заботой о них; к осени 1916 года его имя станет знаменитым не только в России, но и во всём союзническом мире.

Как командующий Брусилов был строгим сторонником дисциплины. Он считал внутреннюю сплочённость армии единственной гарантией успеха и предъявлял к людям необычайно высокие требования. Пьянство, например, запрещалось безусловно — даже офицерам. Но одновременно он днём и ночью заботился о том, чтобы солдат кормили, одевали и вооружали; без колебаний наказывал офицеров, замеченных в коррупции или халатности при снабжении. Он умел разговаривать с солдатами просто и свободно — редкий дар среди

генералов — и знал, как поднять их дух перед боем. Некоторые наблюдатели полагали, что его собственная глубокая вера в неизбежную победу России передавалась войскам.[3]

Первоначальный план русского командования предполагал наступление Юго-Западного фронта против более слабых австрийцев и оборону Северо-Западного фронта против сильнейших немецких войск. Но под давлением Франции план изменили: наступать решили на обоих фронтах, чтобы заставить Германию перебросить силы с западного театра и тем облегчить положение французов. Русские генералы охотно согласились. Воспитанные на военных доктринах XIX века, они верили, что смелое наступление, многочисленные кавалерийские атаки и широкое применение штыка лучше всего выражают храбрость русского характера. Они почти не задумывались, какие чудовищные потери принесёт такой способ войны перед лицом современной артиллерии и пулемётов.

На Юго-Западном фронте дела сначала шли успешно. В середине августа русские прорвали австрийскую оборону в Галиции и заставили противника отступать. Здесь утвердилась репутация Брусилова как выдающегося фронтового командующего. За две недели его 8-я армия продвинулась на 220 вёрст — около 130 миль — и после тяжёлых боёв взяла Львов; русские потеряли убитыми и ранеными 210 тысяч человек, австрийцы — 300 тысяч. Из Городка Брусилов писал жене:

> Всё поле сражения почти на сто вёрст было завалено трупами, и не хватало ни людей, ни носилок, чтобы их убрать… Даже напоить и накормить всех страдавших оказалось невозможно. Вот она, мучительная и отвратительная сторона войны… Но мы должны продолжать тяжёлое и страшное дело ради блага Отечества, и я молю Бога лишь даровать мне силу духа выполнить долг. Пока я сижу здесь и пишу тебе, вдали слышится грохот орудий, преследующих врага. Кровь льётся бесконечными потоками, но иначе воевать нельзя. Чем больше крови прольётся, тем лучше будут результаты и тем скорее закончится война. Как видишь, это тяжёлая и горькая, но необходимая для победы работа. И всё же она страшно давит мне на сердце.[4]

На Северо-Западном фронте, напротив, русское наступление вскоре обернулось катастрофой. Амбициозный, но наскоро составленный план предусматривал вторжение 1-й армии генерала фон Ренненкампфа в юнкерское сердце Восточной Пруссии, тогда как 2-я армия генерала

Самсонова должна была наступать с юго-востока и соединиться с ней у Мазурских озёр; затем обе армии двинулись бы на Берлин. План требовал смелости, тактической точности и надёжной разведки. Ни одного из этих качеств русское командование не проявило. На пятнадцатый день мобилизации 408 батальонов пехоты и 235 эскадронов кавалерии стремительно двинулись на запад и отбросили немецкую 8-ю армию, почти вдвое уступавшую им численно. Германский командующий генерал Притвиц впал в панику и предлагал отойти за Вислу, отдав Восточную Пруссию русским. Если бы русские немедленно развили успех, немцев можно было бы вытеснить ещё дальше. Но командиры задержали продвижение и распылили ценные войска и артиллерию, прикрывая оказавшиеся бесполезными крепости на флангах и в тылу.

Тем временем деморализованного Притвица сменили Гинденбург и Людендорф. Их огромный перевес в тактике и разведке позволил устроить засаду и разгромить численно превосходящие русские армии. Из перехваченных радиограмм, которые русские беспечно передавали незашифрованными, немцы узнали, что армия Ренненкампфа остановилась для пополнения запасов, и рискнули исходить из того, что она пока не двинется дальше. Оставив небольшой заслон для обмана Ренненкампфа, они по железной дороге перебросили основные силы на юг против наступавшей армии Самсонова. Если бы Ренненкампф понял, что происходит, и атаковал, он мог нанести решающее поражение левому флангу немцев и, возможно, изменить весь ход войны. Но русская военная разведка была примитивной; никто не имел ясного представления о перемещениях противника. Не ожидавшая огромных сил в лесах под Танненбергом армия Самсонова попала в окружение и за четыре дня одного из самых кровавых сражений, какие до тех пор видел мир, была уничтожена. К 31 августа немцы убили или ранили 70 тысяч русских и взяли 100 тысяч в плен, потеряв около 15 тысяч. Они назвали сражение Танненбергским — символически, как месть за поражение Тевтонского ордена от славян пять веков назад. Не выдержав унижения, Самсонов застрелился.

Перебросив войска обратно на север и получив подкрепления с Западного фронта, Гинденбург и Людендорф вновь переиграли русских в сражении у Мазурских озёр. Опасаясь второго Танненберга,

Ренненкампф приказал в панике отступать. Немцы шутили, что его теперь следовало бы называть не von Rennenkampf, а Rennen von Kampf — «бегство от боя». Цена его некомпетентности и трусости составила 60 тысяч русских жизней.[5]

Поразительной особенностью этой катастрофы была почти бесчувственная реакция русского командования на чудовищную человеческую цену. В аристократической среде Ставки, казалось, всякое сожаление о бессмысленной гибели четверти миллиона людей воспринималось как слабость. Когда французский представитель выразил великому князю Николаю соболезнование по поводу потерь, Верховный главнокомандующий небрежно ответил по-французски: «Nous sommes heureux de faire de tels sacrifices pour nos alliés» — «Мы счастливы приносить такие жертвы ради наших союзников».[6] Русское наступление действительно заставило немцев перебросить части с Западного фронта, помогло сорвать план Шлиффена и позволило французам перейти в контрнаступление на Марне. Но какой ценой!

С осени Восточный фронт начал стабилизироваться: манёвренная война превращалась в позиционную. Ни одна сторона не обладала достаточной силой, чтобы далеко отбросить противника, и возник тупик. Размашистые наступления первого месяца прекратились: армии открыли преимущества обороны и стали зарываться в землю. Один пулемётчик в укреплённой позиции мог остановить сотню пехотинцев, а железные дороги позволяли защитникам быстрее подвозить резервы к разрывам фронта, чем наступающие успевали их использовать.

Именно теперь начали проявляться глубокие военные слабости России. К войне на истощение она не была готова. Её главным преимуществом считался, казалось бы, неисчерпаемый запас крестьянских солдат — тот самый «русский паровой каток», который союзники воображали неудержимо ползущим на Берлин. Россия действительно обладала самым многочисленным населением среди воюющих держав, но при этом одной из первых столкнулась с нехваткой людей. Из-за высокой рождаемости слишком большая доля населения ещё не достигла призывного возраста. Всего пригодных к призыву мужчин насчитывалось около 27 миллионов, но 48 процентов из них освобождались как единственные сыновья или единственные взрослые кормильцы в семье либо по национальному признаку — например,

мусульмане призыву не подлежали. В Германии в армию мобилизовали 12 процентов населения, во Франции 16, а в России — лишь 5 процентов.

Ещё серьёзнее была слабость системы резервов. Россия скопировала германскую модель. После трёх лет действительной службы, начинавшейся с двадцати одного года, солдат семь лет числился в запасе первого разряда, затем восемь лет — второго и ещё пять — в ополчении. Ради экономии армия почти не обучала запасных после первого разряда. Но потери 1914 года оказались намного выше всех ожиданий — около 1,8 миллиона человек, — и вскоре пришлось призывать плохо обученных запасных второго разряда. Сражение под Перемышлем в октябре было последним, в котором Брусилов, по его словам, располагал «армией, как следует обученной и подготовленной ещё до войны»:

> Не прошло и трёх месяцев войны, как большая часть наших кадровых профессиональных офицеров и обученных солдат исчезла, оставив лишь скелеты частей, которые пришлось в спешке пополнять людьми, жалко обученными и присланными ко мне из запасных батальонов… С этого времени профессиональный характер наших войск исчез, и армия всё больше превращалась в некое плохо обученное ополчение… Люди, присылавшиеся взамен потерь, обычно ничего не умели, кроме как ходить строем… многие даже не умели заряжать винтовку, а об их стрельбе лучше вовсе не говорить… Таких людей, по существу, нельзя было считать солдатами.[7]

Обычный солдат русской армии почти не знал чувства патриотизма в современном смысле. До некоторой степени он мог воспринимать войну как защиту царя или веры, но защита русской нации, особенно если сам он не был русским, значила для него очень мало. Это был крестьянин, почти ничего не знавший о мире за пределами своей деревни; самоощущение «русского» у него было развито слабо. Он считал себя прежде всего уроженцем своей местности и, пока неприятель не угрожал именно ей, не понимал, зачем с ним воевать. «Мы тамбовские, — говорили неохотные новобранцы. — Немец до нас не дойдёт». Управляющий имением из Смоленской губернии, служивший в тыловых частях, слышал в первые недели войны такие разговоры:

> «Какой чёрт навязал нам эту войну? Лезем в чужие дела».

> «Мы тут посоветовались: если немцам нужны деньги, лучше дать по десять рублей с человека, чем людей убивать».
>
> «Не всё ли равно, при каком царе жить? При немецком хуже не будет».
>
> «Пусть сами идут воевать. Погодите, мы ещё с вами рассчитаемся».

По мере затягивания войны подобные настроения становились всё обычнее. Брусилов жаловался:

> Пополнения, прибывавшие из глубины России, не имели ни малейшего представления, какое отношение эта война имеет к ним. Раз за разом я спрашивал людей в окопах, зачем мы воюем; неизменно следовал бессмысленный ответ: какого-то эрцгерцога и его жену убили, поэтому австрийцы решили унизить сербов. Почти никто не знал, кто такие сербы; столь же смутно представляли, что такое славянин. Почему Германия должна была воевать с нами из-за этих сербов, никто не мог объяснить… Они никогда не слышали о германских притязаниях; многие даже не знали, что существует такая страна.[8]

Всё это не сулило ничего хорошего армии, чьи командиры собирались идти на Берлин, не говоря уже о захвате Константинополя. Русский крестьянин не испытывал гордости за имперские приобретения своей страны и по натуре был скорее пацифистом.

Одной из главных слабостей армии была неясная система командования. Военная власть была разделена между Военным министерством, Ставкой Верховного главнокомандующего и командованиями фронтов. Каждое преследовало собственные цели, и единого плана войны так и не возникло. «С самого начала, — жаловался Брусилов, — я никак не мог узнать, в чём состоит наш общий план кампании». Как однажды пошутил генерал Безобразов, всё сводилось к «приказу, контрприказу и беспорядку».[9] Особенно губительными были конфликты между двумя главными фронтовыми командованиями — Северо-Западным и Юго-Западным. Упрямый отказ первого прислать подкрепления второму стал одной из главных причин провала Карпатской операции зимой 1914–1915 годов.

Важным элементом этих конфликтов был разрыв между аристократической элитой гвардейской кавалерии и новым корпусом военных профессионалов; сам Брусилов стоял одной ногой в каждом лагере. Высшие командиры происходили из узкого круга аристократических кавалеристов и придворных и часто обладали весьма

скромными военными знаниями. Сам Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич, никогда не участвовал в серьёзной войне и в Ставке был немногим больше церемониальной фигуры. Он принимал иностранных гостей, подписывал бумаги, которые клали перед ним, и окружал себя флигель-адъютантами, в том числе братьями, которых называл своими «снотворными». Но стратегического руководства от него почти не было. На совещании командующих фронтами в сентябре он даже оставался в отдельной комнате от генералов, «чтобы не мешать им».

Начальник штаба генерал Янушкевич ничем, кроме личной благосклонности царя, похвастаться не мог: Николай заметил его молодым гвардейцем при дворце. Янушкевич никогда не командовал даже батальоном. Британский военный представитель при Ставке полковник Нокс видел в нём скорее придворного, чем солдата. Вся атмосфера Ставки, находившейся в небольшом белорусском железнодорожном городке Барановичи, была удивительно далека от войны. «Мы находились среди очаровательного соснового леса, и вокруг было тихо и спокойно», — вспоминал Нокс. У старших офицеров находилось время для неторопливых разговоров, сигары и прогулки по лесу после обеда. Многие успевали вести объёмные дневники или, как Брусилов, каждый день писать длинные письма жёнам.[10]

Такие же придворные привычки были свойственны большинству высших командиров. С 1909 года, когда военным министром стал генерал Сухомлинов — почти идеальный образец генерала-придворного, — существовала сознательная политика выдвижения старших офицеров прежде всего за личную верность царю. Аристократическим, но некомпетентным кавалеристам старой суворовской школы отдавали предпочтение перед профессионалами, гораздо лучше понимавшими требования современной войны. Постоянное вмешательство Николая в назначения — иногда по настоянию жены — обеспечивало сохранение приоритета связей и личной преданности над военными способностями. Даже на войне Николай пытался проводить своё вотчинное понимание самодержавия.

Весной 1915 года Николай посетил армию Брусилова в Галиции и назначил его генерал-адъютантом. Брусилов решил, что это признание его боевых заслуг, но сам царь сообщил ему: награда дана лишь потому,

что государь «посетил мой штаб и обедал со мной». Сам факт награждения старались не афишировать — двор не был до конца уверен в политической надёжности Брусилова, поскольку тот критиковал руководство армии. Заместитель военного министра Поливанов позднее признался жене Брусилова, что на протяжении всей войны существовали «тайные распоряжения» замалчивать имя её мужа, чтобы его военные успехи не превратили генерала в центр общественной оппозиции придворному руководству вооружёнными силами. В этой жалкой истории как в капле воды отразился способ ведения войны русской правящей верхушкой.[11]

Пока командующих назначали за преданность двору, а не за способности, надежды на эффективное руководство оставались невелики. Аристократические генералы совершали бесконечные ошибки — один даже отличился тем, что приказал своей артиллерии обстрелять собственные пехотные окопы. Они вели войну по образцам XIX века: бросали людей на артиллерийские позиции врага, не считаясь с потерями; растрачивали средства на дорогую и малоэффективную кавалерию; защищали бесполезные тыловые крепости; пренебрегали техническими требованиями современной артиллерийской войны. Искусство устройства окопов они презирали, считая позиционную войну чем-то недостойным. Примитивность русских окопов — зачастую не более чем могил — привела к огромным потерям, когда война превратилась в непрерывное артиллерийское перемалывание. Брусилов, один из немногих командующих, понимавших жизненную важность окопной войны, был поражён небрежностью своих офицеров:

> Я приказал армии основательно окопаться и построить систему не менее чем из трёх линий с большим количеством ходов сообщения. Мне докладывали, что выполнить это невозможно, но я повторил приказ в самой категорической форме и получил заверения, что его выполняют. Когда же… я объехал корпуса и решил проверить работы, оказалось, что практически ничего не сделано, а то немногое, что было вырыто, настолько занесло снегом, что трудно было даже найти окопы.
>
> «Как же вы попадёте на эти позиции, если неприятель атакует?» — спросил я.
>
> «А тогда и расчистим», — отвечали мне…

> В одном корпусе оказалось, что ни командир корпуса, ни начальник дивизии, ни бригадный командир, ни командир полка, ни даже начальник корпусных инженеров не могли сказать мне, где именно вырыты окопы.[12]

Одной из очевидных причин восточнопрусской катастрофы была слабая подвижность русской армии. Нокс сравнивал её с «тяжеловесом-профессиональным боксёром, настолько обременённым своей огромной массой мышц, что ему не хватает быстроты и подвижности, а потому он оказывается во власти более лёгкого, но жилистого и умного противника». Примитивная железнодорожная система не позволяла России повторять германский приём — быстро перебрасывать войска поездами с одного участка фронта на другой в зависимости от обстановки. Русские воинские эшелоны проходили не более двухсот миль в сутки; к тому же многие вагоны были заняты лошадьми и фуражом — командование по-прежнему было одержимо кавалерией. После вступления на германскую территорию русская армия зависела от захваченного подвижного состава, поскольку ширина русской и немецкой колеи различалась.

Автомобильный транспорт был ещё примитивнее. В 1914 году на всю армию приходилось всего 679 автомобилей — и два моторных санитарных автомобиля! Военное имущество, старших офицеров и раненых от железнодорожных станций приходилось перевозить на крестьянских телегах по раскисшим просёлкам. Но коренной причиной поражений была всё-таки примитивность связи. Во 2-й армии Самсонова имелось двадцать пять телефонов, несколько аппаратов Морзе, нечто вроде раннего телекса — аппарат Юза — и один телепринтер, способный печатать 1200 слов в час, но постоянно ломавшийся; командующему нередко приходилось самому ездить верхом, чтобы понять, что происходит.

Телеграфная связь между Ставкой, фронтовыми штабами и армиями постоянно рвалась, и приказы отправляли поездом или мотоциклом, что занимало дни. Накануне Танненбергского сражения командующий Северо-Западным фронтом связывался с Самсоновым телеграммами через Варшавский центральный почтамт: раз в сутки адъютант забирал их и вёз автомобилем больше шестидесяти миль в штаб 2-й армии. Многие поломки связи происходили из-за неграмотности солдат.

Слишком мало телефонистов умели починить повреждённую линию; слишком мало шофёров умели читать карту. Телеграф внезапно замолкал — и проверка линии в тылу обнаруживала солдат, варивших чай на костре из разрубленных телеграфных столбов.[13]

По мере того как война затягивалась на зиму, армия столкнулась с ужасной нехваткой материальной части. Отчасти виноват был развал системы снабжения в тылу. Транспортная сеть не справлялась с огромными объёмами боеприпасов, продовольствия, одежды и санитарного имущества, которые требовалось доставлять на фронт. Но ещё важнее было отсутствие серьёзного довоенного планирования. Рассчитывая на короткую кампанию, Военное министерство не подготовило промышленность к массовому производству в военное время, полагая, что запасов хватит до победы. В действительности они закончились уже в первые недели.

Особенно остро стоял вопрос боеприпасов. Запас в семь миллионов снарядов считался достаточным на всю войну — по тысяче на полевое орудие, то есть примерно на десять дней боя по нормам 1916 года. Русская военная промышленность, которая могла бы хорошо снабжать армию, сознательно недогружалась Военным министерством: за первые семь месяцев 1914 года оно заказало всего 41 винтовку. Когда дефицит стал очевиден, пришлось размещать заказы за границей, что неизбежно приводило к задержкам. К концу войны в русской армии использовались десять разных моделей импортных винтовок, каждая со своим типом патронов.

Отчасти положение усугубляла расточительность самих солдат: винтовками подпирали импровизированные крыши над окопами, рубили их на дрова, слишком часто бросали вместе с тяжёлыми ящиками патронов при ранении или внезапном отступлении. Но кризис был бы куда менее тяжёлым, если бы Военное министерство быстрее отреагировало на тревожные доклады генералов. В середине октября, когда начальник артиллерийского управления генерал Караваев предупредил военного министра, что из-за нехватки боеприпасов России вскоре придётся просить мира, Сухомлинов послал его «к чёрту» и велел успокоиться. К следующей весне положение стало таким тяжёлым, что целые батальоны обучались без винтовок, а многие второлинейные части на фронте вооружались оружием, подобранным у

убитых впереди товарищей. Солдатам разрешали стрелять не больше десяти раз в день; нередко во время обстрела немецкой тяжёлой артиллерии русским батареям запрещали отвечать. «Положение наше плохое, — писал солдат отцу, — и всё потому, что нет патронов. Вот до чего довели наши военные министры: выставляют безоружных людей против неприятельских пушек, потому что своих нет. Вот что они натворили!»[14]

Армия Брусилова, с боями взобравшаяся на вершины Карпат, большую часть зимы застряла там без достаточного количества боеприпасов, чтобы спуститься на Венгерскую равнину. «Мне было тяжело узнать, — писал он позднее, — что штаб фронта едва ли мог обещать улучшение раньше осени 1915 года, да и этим обещаниям я не доверял. Поэтому я уже не стремился к новым успехам, а старался лишь удерживать позиции с минимальными потерями». Но зимовка в горах стала жестокой наградой для солдат: не хватало тёплой одежды, сапог и пищи. Весь декабрь Брусилов забрасывал Военное министерство требованиями выдать зимнее снаряжение, но его обращения были лишь частью общего хора просьб со всех фронтов. Печальная истина заключалась в том, что министерство ожидало окончания войны к Рождеству и вообще не подготовилось к возникшему спросу.

Не существовало даже планов массового производства сапог. Когда министерство наконец занялось обувью, выяснилось, что во всей Российской империи есть только один завод, способный выпускать дубильный экстракт, а до 1914 года почти весь таннин импортировался из Германии. Новые сапоги пришлось заказывать в Соединённых Штатах; тем временем тысячи солдат воевали босиком. «Шинелей всё ещё не выдали, — писал замёрзший солдат матери. — Бегаем в тонких пальтишках… Есть почти нечего, а то, что дают, отвратительно. Может, лучше было бы умереть!» Другой солдат после посещения части царём писал домой: «Для царского смотра приготовили одну роту и собрали для неё лучшие мундиры со всех остальных полков, а прочих оставили в окопах без сапог, ранцев, патронных сумок, штанов, гимнастёрок, шапок — вообще без всего».[15]

Вскоре армию охватили болезни. Эпидемии холеры, сыпного и брюшного тифа, цинги и дизентерии косили войска. Неожиданно огромные потери поставили медицинскую службу под чудовищное

давление. После посещения полевого госпиталя в тылу своей армии Брусилов писал жене:

> Вместо 200 больных, на которые был рассчитан госпиталь, там находилось больше 3000 раненых и заболевших. Что могли сделать четыре врача? Они работали день и ночь, ели на ходу, но всё равно не успевали перевязать всех… Я прошёл по нескольким палатам — комнатам в освобождённых домах, где больные и раненые лежали на полу, на соломе, одетые, немытые и залитые кровью. Я благодарил их от имени царя и Отечества, раздавал деньги и Георгиевские кресты, но больше ничего сделать не мог. Оставалось лишь пытаться ускорить их отправку в тыл.

Однако эвакуация не гарантировала лучшего ухода. На Варшавском вокзале Родзянко увидел 17 тысяч раненых, лежавших без помощи «под холодным дождём, в грязи, даже без соломенной подстилки». Председатель Думы возмущённо обратился к местному медицинскому начальству, но обнаружил, что его «бессердечное безразличие к судьбе этих страдающих людей» прикрыто множеством бюрократических правил.[16]

По мере ухудшения условий на фронте и роста числа убитых и раненых моральный дух и дисциплина армии начали разрушаться. В этом смысле война стала социальным архитектором 1917 года: армия постепенно превращалась в одну огромную революционную толпу. Одной из причин было ослабление власти офицеров над солдатами. Армия росла слишком быстро — только за первые двенадцать месяцев призвали девять миллионов человек, — и офицерский корпус не успевал удерживать её под контролем. Потери офицеров были необычайно велики — около 60 тысяч, чему, несомненно, способствовали яркие мундиры и старомодная привычка лично вести людей в лобовые атаки. Старый офицерский корпус ниже капитанского чина был почти полностью выбит; на его место поспешно готовили новое поколение младших командиров — то, что на Западе называли бы унтер-офицерами.

Унтер-офицеров всё равно не хватало: в России был сравнительно слаб слой ремесленников, из которого обычно формировалось это звено армии, и после первого года войны фронтовой полк численностью три тысячи человек редко имел больше дюжины офицеров. Более того, 60 процентов унтер-офицеров происходили из крестьян, лишь немногие

учились больше четырёх лет, почти всем было немного за двадцать.[17] Война таким образом становилась великим уравнителем, открывая миллионам крестьянских сыновей пути к продвижению. Их симпатии были на стороне рядовых солдат; надежды, будто они станут мостом между знатными офицерами и низшими чинами, были совершенно беспочвенны. Именно эта военная когорта — грамотная, стремящаяся вверх, социально выбитая из привычной среды и ожесточённая войной — возглавит февральский мятеж, революционные солдатские комитеты и затем движение к советской власти в 1917 году. Многие лучшие командиры Красной армии — Чапаев, Жуков, Рокоссовский — были унтер-офицерами царской армии, подобно тому как маршалы Наполеоновских войн начинали младшими офицерами в королевской армии. Сержанты Первой мировой станут маршалами Второй.

Дмитрий Оськин (1892–1934), чья судьба проходит через всю эту книгу, был типичным представителем нового офицерского слоя, созданного войной. Для такого крестьянского юноши — грамотного и способного, несмотря на простоватую внешность, — армия давала возможность вырваться из деревенской бедности. Летом 1913 года он добровольно поступил в пехотный полк в родной Туле и вскоре попал на курсы унтер-офицеров. Когда началась война, его назначили командиром взвода. Оськин был храбрым и добросовестным солдатом и вполне заслужил четыре Георгиевских креста, полученных за войну.[18] Какая-то черта его характера — самодисциплина или честолюбие — заставляла исполнять приказы старших, несмотря на крестьянскую неприязнь ко всякой власти. Возможно, он просто понимал: без дисциплины его людей перебьют. По мере гибели старших офицеров на унтер-офицеров вроде Оськина ложилась всё большая ответственность за сохранение частей.

Начальники Оськина, однако, нередко были отвратительными типами. Несколько раз их безрассудные распоряжения ставили его людей на грань гибели, и только его собственная находчивость спасала их. Капитан Цицерон — игрок, сифилитик и бесстыдный трус — в бою постоянно терялся. Однажды перед хорошо укреплёнными австрийскими батареями на холме он приказал людям Оськина прорезать проход через ряды колючей проволоки прямо на глазах у артиллерии. Едва они поползли вперёд, по ним открыли сильный огонь;

Оськин увидел бесчисленные русские тела, висевшие на проволоке. Проклиная Цицерона, он отвёл оставшихся в живых.

Другой командир, капитан Самфаров, был обжорой, особенно любил мороженое, располнел настолько, что едва влезал в мундир, и при каждом обстреле прятался в личном блиндаже. Ему нравилось «держать солдат в тонусе», приказывая ночные атаки, хотя для боя в темноте не проводилось никакой подготовки. Однажды такой штурм едва не уничтожил весь батальон. Когда люди Оськина на следующий день вернулись в ужасном состоянии, Самфаров построил их и полчаса кричал за то, что они не начистили сапоги.[19]

Не все командиры были столь некомпетентны или жестоки. Но среди солдат крепло убеждение, что крови можно было бы проливать гораздо меньше, если бы офицеры думали не столько о себе, сколько о безопасности людей. То, что основная масса солдат была крестьянской, а многие офицеры — дворянами-помещиками, часто из тех же губерний, придавало конфликту социальный характер. Его усиливали «феодальные» обычаи между чинами: обязанность обращаться к офицерам по титулу, чистить им сапоги, выполнять личные поручения. «Посмотрите, как живёт наше высокое начальство, помещики, которым мы всегда служили, — писал один солдат-крестьянин в местную газету. — Едят хорошо, семьи их всем обеспечены, и даже когда они на фронте, они живут не в окопах с нами, а в четырёх-пяти вёрстах от них».

Для грамотных и думающих крестьян вроде Оськина это становилось мощным источником политической радикализации: они понимали, что одну и ту же войну две разные России ведут совершенно по-разному — Россия богатых и высших офицеров и Россия крестьян, чьи жизни расточаются. В апреле 1915 года Оськин записал:

> Что мы делаем на этой войне? Только через мой взвод уже прошло несколько сот человек, и по меньшей мере половина из них осталась на полях сражений — убитыми или ранеными. Что они получат после войны?.. Полтора года военной службы, почти год из них на фронте, отучили меня думать об этом, потому что командование взводом требует строгой дисциплины, а она прежде всего означает — не позволять солдату свободно думать. Но именно об этом мы и должны задуматься.[20]

Те, кто не умел делать политические выводы, просто голосовали ногами. Дисциплина рушилась: солдаты отказывались занимать позиции, отрубали себе пальцы и кисти ради увольнения, сдавались в плен или бежали в тыл. На призывных пунктах вспыхивали пьяные погромы и беспорядки, когда мобилизовывали старших запасных, многие из которых имели семьи на иждивении. Их отправка на фронт лишь ускоряла брожение — они приносили плохие вести из дома, а иногда и революционную пропаганду. Офицеры слишком часто отвечали ещё большей жестокостью. Непокорных солдат пороли или гнали в атаку под прицелом собственной артиллерии. Внутренняя война между офицерами и солдатами начинала заслонять войну с врагом. «Офицеры стараются сломить наш дух террором, — писал солдат жене весной 1915 года. — Они хотят превратить нас в безжизненных кукол». Другой сообщал, что офицеры «высекли пятерых на глазах у 28 тысяч солдат за то, что они без разрешения вышли из казарм купить хлеб».[21]

После долгой зимы деморализации армия столкнулась с крупнейшим германским наступлением за всю войну. На Западном фронте установился тупик, и немцы надеялись добиться решающего прорыва на востоке. В ночь на 2 мая 1915 года они начали четырёхчасовую массированную бомбардировку неподготовленной 3-й армии у Горлице. Тысяча снарядов в минуту превращала русские окопы в руины. Когда на следующее утро германская пехота пошла на штурм, в траншеях осталось лишь несколько оглушённых солдат — остальные бежали. «Русские вскочили и побежали назад без оружия, — вспоминал немецкий солдат. — В серых меховых шапках и распахнутых, развевающихся шинелях они выглядели как стадо овец в диком смятении».

Оборонительного плана не существовало — командующий 3-й армией Дмитриев покинул штаб, чтобы присутствовать на ежегодном праздновании ордена Святого Георгия, — и русские были вынуждены отступать без оглядки. Генерал Деникин назвал это «одной огромной трагедией русской армии. Ни патронов, ни снарядов. День за днём — кровавые бои и тяжёлые переходы». За десять дней от разбитой 3-й армии — 40 тысяч из первоначальных 220 тысяч — осталось лишь несколько разрозненных частей, отступивших к реке Сан, последнему естественному рубежу между немцами и Перемышлем. Там они

приготовились обороняться — и обнаружили, что коррумпированные офицеры распродали все лопаты, колючую проволоку и лесоматериалы, необходимые для окопов. Без артиллерии и достаточного количества боеприпасов они держались, как могли, неся тяжёлые потери. Многие сражались только штыками, примкнутыми к пустым винтовкам. К концу мая пришлось оставить Перемышль. Вскоре пал и Львов, а немцы приблизились к границам самой России. Это была, по выражению Нокса, лавина «металла против людей».[22]

Германский прорыв обнажил северный фланг армии Брусилова в Карпатах. Чтобы не оказаться отрезанным и окружённым, он был вынужден отступить и оставить высоты, которые его войска всю зиму столь дорого удерживали. «Моя дорогая Надюшенька, — писал Брусилов 11 июня, — нам пришлось отдать Перемышль и Львов. Ты не можешь представить, как это больно… Я стараюсь показывать, будто положение не так уж плохо, но внутри всё болит, сердце скорбит, дух подавлен. Допустим — и я уверен в этом, — мы ещё вернём земли, которые только что потеряли, и выиграем войну, вопрос лишь во времени. Но всё равно ужасно тяжело. Именно в такие минуты и нужна сила воли — не тогда, когда всё идёт хорошо, это просто, — а когда плохо, чтобы ободрять деморализованных и тех, кто уже почти теряет дух, а таких много».[23]

Тем временем в середине июля немцы начали наступление и в Восточной Пруссии. Они двинулись на север к Риге, на восток к Вильно и на юг, навстречу другим германским силам, наступавшим через Польшу. «Неприступные» крепости Ковно, Гродно, Осовец, Новогеоргиевск и Ивангород, на которых русские строили оборонительную стратегию и где были сосредоточены драгоценные запасы боеприпасов, одну за другой оставляли под ударами тяжёлой германской артиллерии. Это был ещё один пример того, как русская военная элита пыталась вести войну XX века методами, скорее подходившими Крымской войне. Огромные каменные бастионы оказались бесполезными музеями — бетонными ловушками для людей и имущества. Гинденбург и Людендорф, прославившиеся на Западном фронте взятием Льежа, без труда повторили успех на востоке.

Укрепления Ковно — Каунаса — были столь плохи, что великий князь Николай предложил переименовать крепость из «Ковно» в

«Говно». Положение усугубилось тем, что престарелый комендант тайно бежал накануне сдачи крепости. В конце концов его нашли в баре гостиницы «Бристоль» в Вильно и приговорили к пятнадцати годам каторги.[24]

Под напором германского металла все русские армии откатывались назад; командованию оставалось лишь приказать об общем отступлении. Настоящего плана не было. В головах витали романтические воспоминания о тактике выжженной земли Кутузова, которая, по крайней мере в версии Толстого, столь блестяще заманила наполеоновские войска в зимнюю пустыню России. «Отступление будет продолжаться столько и так далеко, сколько потребуется, — говорил царь Морису Палеологу в конце июля. — Русский народ так же единодушен в воле к победе, как в 1812 году». Но во всём остальном — в очередности эвакуации, выборе того, что уничтожать, определении рубежей новой обороны — царили паника и хаос.

Войска совершенно бессистемно уничтожали здания, мосты, скот и урожай. Всё часто превращалось в грабёж, особенно еврейской собственности. Сотни тысяч беженцев, чьи дома и хозяйства были разрушены, шли на восток вдоль железных дорог, везя скудное имущество на телегах; мимо проносились поезда со старшими офицерами, их любовницами и, по словам одного офицера, «всяким бесполезным хламом, включая клетки с канарейками». Никто не позаботился о беженцах, и многие в итоге поселились на вокзальных полах и улицах русских городов. «Болезни, нищета и бедствие распространяются по всей России, — предупреждал Совет министров в августе министр земледелия Кривошеин. — Голодные и оборванные массы повсюду сеют панику. Неужели хоть одна страна когда-нибудь спасала себя собственным разрушением?»[25]

Месяцы бесконечного летнего отступления нанесли ещё один сокрушительный удар по духу армии. Солдатам было трудно смотреть, как врагу без борьбы отдают землю, за которую они проливали кровь. Особенно тяжело воспринималось уничтожение тыловых складов, полных одежды и продовольствия, которых им самим так не хватало. «Каждый день, — писал Оськин, — мы натыкались в какой-нибудь деревне на очередной склад продовольствия и боеприпасов. Всё это просто бросали и уничтожали». Вот оно, окончательное доказательство

некомпетентности военного руководства. «Они всё просрали, — услышал однажды Брусилов от солдата, — а нам теперь разгребать».

В тылу деморализация была ещё сильнее. Надежда Брусилова писала мужу:

> Ты такой наивный, если всё ещё веришь в победу. Мы в тылу гораздо лучше понимаем, что происходит, и уже убеждены: немцы выиграют войну. В 1916 году они будут в Москве. Это катастрофа и гибель России.

В тылу широко распространялись слухи об измене на верхах, вскоре проникшие и на фронт. Немецкое происхождение императрицы и многих государственных деятелей, а также расстрел в марте 1915 года полковника Мясоедова, протеже Сухомлинова, за шпионаж в пользу Германии, казалось, подтверждали теорию заговора. Один солдат-большевик вспоминал, как унтер-офицер объяснял бойцам причины отступления: «В высшем командовании нашей армии полно изменников и шпионов, вроде военного министра Сухомлинова, по вине которого у нас нет снарядов, или Мясоедова, сдавшего врагу крепости». Когда тот закончил, повар подвёл итог: «Рыба гниёт с головы. Какой же это царь, если вокруг него одни воры и мошенники? Ясно как день: войну мы проиграем».[26]

Для многих солдат именно это стало важнейшим психологическим моментом революции — мгновением, когда окончательно порвалась их верность монархии.

Даже сержант Оськин, раненный в колено и в конце концов — после того как его заставили идти на раненой ноге — эвакуированный в московский госпиталь, настолько тяжело переживал унижение Великого отступления, что после ампутации ноги покинул полк и отправился на хутор друга в Сибирь. Но хутор уже был сожжён казаками; они реквизировали весь скот для правительства и изнасиловали жену и мать его друга. Для Оськина это стало последней каплей. Он вступил в подпольную организацию эсеров в Сибири и с растущим интересом следил за политическим кризисом, разворачивавшимся вслед за Великим отступлением.

В последней отчаянной попытке поднять дух войск начальник штаба генерал Янушкевич предложил царю объявить: в случае победы каждый верный солдат получит по шестнадцать десятин — около сорока трёх

акров — земли. Но для подобных мер было уже слишком поздно; даже сам Янушкевич называл их «хватанием за соломинку». Армия разваливалась. К сентябрю, когда продвижение противника наконец увязло в русской грязи, численность фронтовых частей сократилась до трети от довоенной.[27]

* * *

«Так продолжаться не может», — записал Николай в дневнике, узнав о падении Варшавы. Через три недели он принял решение, которое многие современники считали самым роковым за всё его царствование. 22 августа Николай сместил великого князя Николая Николаевича и лично принял верховное командование армией. Ставку перенесли на двести миль восточнее, в Могилёв — грязный и унылый губернский город, название которого звучало почти как русское слово «могила». Здесь режим и похоронил себя.

По-видимому, у решения Николая — и это было именно его решение — имелись две причины, обе одинаково ошибочные. Во-первых, ему казалось, что в столь критический момент верховный правитель обязан сам возглавить вооружённые силы. В этом была определённая логика. С начала войны фактически существовало двоевластие: одна власть принадлежала великому князю, другая — царю, и между ними не было настоящей координации. Но, уехав на фронт, Николай лишь ослабил собственную власть в тылу. В его отсутствие там возникла своего рода бюрократическая анархия: императрица, министры, депутаты Думы, земства и представители военной промышленности непрерывно спорили и боролись между собой.

Во-вторых, царь надеялся, что, встав во главе армии, поднимет её дух: если солдаты не хотят сражаться за «Россию», может быть, они будут сражаться за него. Но у Николая не было никакого опыта военного командования. Главные решения принимал его новый начальник штаба генерал М. В. Алексеев, одарённый стратег; присутствие же самого царя, по словам Брусилова, в целом действовало на моральное состояние плохо: «Все знали, что Николай почти ничего не понимает в военном деле; и хотя слово “царь” ещё сохраняло магическую силу над войсками, ему совершенно не хватало обаяния, чтобы эту магию оживить. Перед группой солдат он нервничал и не знал, что сказать».[28]

Совет министров в редком проявлении лояльной критики умолял царя изменить решение. «Принятое Вами решение, — предупреждали министры, — грозит России, Вам и Вашей династии самыми тяжёлыми последствиями». Но Николай не уступил. Несомненно, влияние жены, которая и подталкивала его к этому coup de main, укрепило его решимость. Возможно, он видел в переезде в Ставку последний шанс заставить замолчать всё более громкую общественную критику войны; острое чувство угрозы престолу толкало его на огромный риск. В сочетании с решением закрыть Думу, заседавшую с июля, этот шаг означал новое стремление утвердить личное правление. Вероятно, Николай всё ещё мечтал, что его «мистическое единение» с «народом» спасёт страну от катастрофы. Кривошеин считал, что решение царя «полностью соответствовало его душевному складу и мистическому пониманию императорского призвания».[29] Поддержка Александры и Распутина, поощрявших мечты Николая о личной власти, вполне этому соответствовала, хотя, вероятно, им было выгодно и другое: убрать царя из столицы. В его отсутствие реальная власть в Петрограде переходила к ним.

ii. Безумный шофёр

Война застала князя Львова во главе Земского союза. Как и во время войны с Японией, нужды фронта породили патриотическое движение общественной самоорганизации. Гражданские комитеты и клубы собирали добровольцев, которые после работы упаковывали бельё, продовольствие и медикаменты; сотни молодых женщин записывались в сёстры милосердия и как могли ухаживали за бесчисленными ранеными и умиравшими. Императрица превратила часть Зимнего дворца в мастерскую по изготовлению хирургических повязок, и дамы высшего света толпами приходили туда, засучив рукава. Жена Брусилова Надежда добровольно служила в Российском Красном Кресте на Украине. «Я работаю день и ночь, — писала она мужу в августе 1914 года, — и благодарю Бога за это, потому что работа не даёт думать и позволяет чувствовать, что я полезна». Жена Керенского Ольга, работавшая в бельгийском госпитале, вспоминала это время как «один из счастливейших периодов моей жизни»:

> Когда я наклонялась, чтобы мыть грязные ноги солдат, или очищала и перевязывала их дурно пахнущие, гниющие раны, я испытывала почти религиозный экстаз. Я преклонялась перед этими солдатами, отдавшими жизни за Россию. Никогда прежде я не испытывала такого восторга.[30]

Наконец-то для этих прежде праздных буржуазных дам появилась возможность «служить народу» и тем самым искупить собственное чувство вины.

Земский союз Львова, созданный вместе с родственным Союзом городов в первые недели войны, возглавил значительную часть этой работы. В отсутствие сколько-нибудь эффективной государственной организации снабжения он фактически взял на себя тыловое обеспечение армии. Без усилий Львова военная система России быстро могла бы рухнуть окончательно. Сначала Союз существовал на пожертвования денег и имущества, которые потоком шли от общества. Один помещик отдал целое имение — десять тысяч акров плодородной земли. Крестьяне привозили на тыловые склады телеги капусты, картофеля и домотканого полотна. Но вскоре, по мере того как выявлялась несостоятельность государственной бюрократии и само правительство всё больше зависело от Союза, стало ясно: основную часть расходов придётся финансировать казне.

Добровольцы Союза всё активнее создавали полевые кухни и медицинские части на фронте, эвакуировали раненых и организовывали лечение, закупали военное имущество, боролись с эпидемиями, помогали беженцам и поддерживали обедневшие семьи солдат. К 1916 году Союз превратился в гигантскую общенациональную инфраструктуру — государство внутри государства: восемь тысяч связанных с ним учреждений, несколько сотен тысяч служащих — так называемых земгусаров — и бюджет в два миллиарда рублей. Львов, стоявший во главе этого неофициального правительства, работал без отдыха с восьми утра до двух-трёх часов ночи. Очередь к его кабинету вытягивалась на московские улицы. Осенью 1915 года один министр нехотя признал, что Львов «по существу становится председателем особого правительства. На фронте говорят только о нём, утверждают, что он спас страну. Он снабжает армию, кормит голодных, лечит больных, устраивает солдатские парикмахерские — словом, какой-то

вездесущий Мюр и Мерилиз.[53] Надо либо прекратить всё это, либо передать ему власть».[31]

Замечание оказалось пророческим: в марте 1917 года Львов станет первым премьер-министром демократической России. Именно опыт Земского союза — требовавший административной смелости и способности импровизировать — лучше всего подготовил его к этой роли. Гражданский дух Февральской революции во многом вырос из деятельности добровольческих организаций военного времени. Из них выйдет большинство руководителей демократической революции, в том числе все, кроме трёх, министров первого состава Временного правительства.

И всё же Львов всегда оставался революционером поневоле. Если бы царь либерализовал режим и назначил правительство общественного доверия, Львов не примкнул бы к оппозиции. Политика интересовала его гораздо меньше, чем возможность непосредственно улучшать жизнь «народа». Именно стремление к практической работе привело его в земское движение в 1890-е годы; даже вступив в кадетскую партию, он так и не почувствовал себя там своим. Он был создан именно для общественной работы военного времени.

Руководя Земским союзом, Львов поначалу исходил из тех же сугубо практических целей — блага «нации», — что прежде в Тульском земстве, где его заботило благо «народа». В основе его политического мировоззрения лежал, по словам одного знакомого, «земной, органический патриотизм». Он коренился в любви к крестьянам и вере в их творческие силы как главную опору России. Такой же патриотизм определял отношение Львова к Земскому союзу. В 1914 году он считал, что задача Союза — примирить народ с правительством, объединив их ради победы. Заседания правления нередко завершались тем, что Львов своим тенором запевал государственный гимн.[32]

Но уже к следующей осени даже Львов не мог оставаться в стороне от усиливавшейся политической оппозиции правительству и военному командованию, чьё чудовищное неумение общество считало причиной недавних тяжёлых поражений. Его собственная организация давно боролась с постоянными препятствиями со стороны бюрократии, и

[53] «Мюр и Мерилиз» — крупнейший универсальный магазин Москвы.

терпение князя иссякло. Реакционный министр внутренних дел Маклаков, прославившийся ещё делом Бейлиса, видел в Союзе почти троянского коня, присваивавшего себе функции правительства, и всячески пытался ограничить его самостоятельность. Он даже выступал против трудовых дружин Союза — около восьмидесяти тысяч человек, рывших окопы и могилы в тылу, — утверждая, что общественной организации нельзя иметь собственную «армию». Ему объясняли, что вооружена эта «армия» лишь топорами и лопатами, но Маклаков стоял на своём и приказал Львову распустить дружины.

К сентябрю, когда Дума была распущена на перерыв, мягкий и обычно уступчивый князь был готов вступить в политическую борьбу. «Мы больше не намерены оставаться в пассивном положении управляемых», — заявил он Третьему съезду Земского союза. Русский народ, продолжал Львов, превращается в «государственную силу» и своим служением нации заслужит право после войны потребовать от правительства конституционного строя. Работа общественных организаций теперь представлялась ему уже не средством объединить народ вокруг царя, а переходом к народному самоуправлению.[33]

Политическое радикализирование Львова во время войны было характерно для либеральных собственнических классов. Union sacrée августа 1914 года, когда Дума сама разошлась в знак патриотической солидарности с правительством, не пережил первую зиму. Кризис снарядов и дело Мясоедова разрушили его. В действительности ни одно не было столь однозначным, как это представлялось публике: Мясоедов вряд ли был германским шпионом в том смысле, который ему приписывали, а нехватка снарядов была далеко не единственной причиной военных поражений. Но именно восприятие оказалось важнее фактов. И снарядный голод, и дурная слава Мясоедова превратились в эмоциональные символы предательского и некомпетентного ведения войны режимом.

«Приличная Россия» теперь объединялась вокруг требования вновь созвать Думу и создать министерство, пользующееся общественным доверием. Кадеты Милюкова были готовы довольствоваться трёхдневной сессией Думы в конце января, чтобы утвердить военный бюджет. Радикалы во главе с Керенским продолжали кампанию публичной критики. 11 июня покровитель Мясоедова Сухомлинов в

конце концов был вынужден уйти в отставку. Опального военного министра немедленно арестовали и передали Высшей следственной комиссии, которая отправила его в Петропавловскую крепость по обвинению в измене. Вскоре последовали отставки Маклакова, Щегловитова и обер-прокурора Синода Саблера: Николай пытался успокоить общество, жертвуя самыми реакционными министрами.

Но это было лишь начало летнего политического отступления царя. К требованиям реформ, исходившим от Думы и общественных организаций, присоединились либеральные деловые круги. Снарядный кризис и весенние поражения заставили правительство в июне создать Особое совещание по усилению артиллерийского снабжения. В него вошли три октябриста-депутата и владельцы крупнейших петроградских оружейных предприятий, а также чиновники Военного министерства. Для либеральных промышленников Москвы это выглядело как пощёчина.

С 1908 года московская деловая элита настойчиво добивалась большей роли в экономической и политической жизни страны — «купец идёт», как выразился Рябушинский. Она финансировала собственную общероссийскую газету «Утро России», создала политическую партию прогрессистов и щедро покровительствовала искусству — Третьяковская галерея и великолепные здания Шехтеля в стиле модерн были частью этого культурного проекта, — продвигая московскую версию либерального манчестерства. Особое совещание они воспринимали как маленький закрытый кружок петроградских промышленных баронов и их правительственных покровителей — то, что позднее назовут «военно-промышленным комплексом», — созданный для того, чтобы отстранить небольшие провинциальные предприятия от выгодных военных заказов.

Причины для недовольства действительно были. Слишком много заказов отдавали крупным петроградским металлургическим фирмам, близким правительству, тогда как возможности провинциальных заводов использовались плохо. Огромный Путиловский завод, например, получил заказов на снаряды на 113 миллионов рублей — значительно больше, чем мог выполнить вовремя, — по цене в шесть раз выше средней рыночной. Путилов использовал деньги для субсидирования убыточных частей своего предприятия, а также

собственного роскошного образа жизни; в конце концов компания обанкротилась и в 1916 году была взята государством под управление.

Средние предприятия тем временем разорялись: без правительственных заказов они не могли покупать топливо и сырьё. Петроградская бюрократия относилась к их судьбе равнодушно. Один предприниматель написал в Военное министерство, предлагая использовать семейную фабрику. Через несколько недель письмо вернулось с короткой припиской: на нём отсутствовала обязательная гербовая марка.

Чтобы сломать монополию крупных поставщиков боеприпасов, московские предприниматели организовали Военно-промышленные комитеты. Через Центральный комитет, созданный в июле 1915 года, им удалось получить скромную, но спасительную долю государственных военных заказов для провинциальных предприятий. Однако истинное значение комитетов было не столько экономическим, сколько политическим. Руководители Центрального военно-промышленного комитета были либеральными критиками самодержавия; половина министров первого Временного правительства 1917 года выйдет из их среды. Они требовали большего участия в регулировании военной промышленности и большей роли для союзников в Думе и общественных организациях в самой системе власти.

Между этими организациями существовали тесные связи. Львов, например, одновременно возглавлял Земский союз, прежде был депутатом Думы и состоял в Центральном военно-промышленном комитете. Совместными усилиями они формировали реальную политическую силу. Их поддерживали несколько более либеральных министров, осознавших необходимость перемен, и некоторые старшие генералы — среди них Брусилов, на опыте понимавший ценность их работы.[34] Вместе они начали борьбу за власть.

Под усиливающимся давлением Николай наконец согласился созвать Думу 19 июля 1915 года. Либеральная оппозиция получила трибуну для возобновления требований о министерстве национального доверия. Две трети депутатов — от умеренных правых до умеренных левых — вместе с единомышленниками из Государственного совета образовали Прогрессивный блок. Один из его участников называл его

«трёхцветным» союзом: политические реформы должны были быть завёрнуты в имперский флаг.

Цель блока состояла в том, чтобы не допустить скатывания страны к революции — которую его состоятельные участники боялись не меньше остальных, — убедив царя назначить правительство, способное завоевать доверие народа. Только такое правительство, утверждали они, может привести страну к победе. После четырёх месяцев беспросветного мрака, когда каждый день приносил вести о поражениях на фронте, забастовках и растущем социальном хаосе, руководители блока не без оснований считали свою программу последним настоящим шансом режима политически решить кризис власти. Они изо всех сил старались сделать предложения приемлемыми для царя. Требование более радикальных кругов — левых кадетов, трудовиков Керенского и социалистов — создать ответственное перед Думой парламентское правительство Милюков, лидер кадетов и главный архитектор блока, категорически отвергал, рискуя расколоть собственную партию. Львов даже обещал, что во время войны после назначения правительства доверия блок не пойдёт дальше «по пути парламентской борьбы».[35]

В Совете министров тем временем росло большинство за компромисс с Прогрессивным блоком. Кривошеин и Поливанов, сменивший Сухомлинова, возглавляли эту группу; вскоре к ним примкнули ещё восемь министров, особенно после решения царя принять верховное командование и тем самым оставить правительство во власти императрицы и Распутина. 28 августа «мятеж министров» достиг вершины: они прямо попросили Николая назначить новое министерство, пользующееся доверием Думы. Лишь дискредитированный премьер Горемыкин — «старик» — отказался присоединиться, до конца слепо веря в абсолютную обязанность подчиняться царю. На следующий день он поспешил в Могилёв и убеждал Николая закрыть Думу и уволить непокорных министров ради восстановления самодержавной власти. Александра, всегда верившая в миссию мужа править «как Иван Грозный», поддержала Горемыкина, назвав мятежных министров «злодеями хуже Думы», которых «следует хорошенько отшлёпать».

К этому моменту убедить царя вновь утвердить самодержавный авторитет было нетрудно. Вероятно, именно это и было одной из

главных целей его принятия верховного командования. Николай считал, что ни одна уступка либеральной оппозиции не уменьшила общественную критику правительства — напротив, та становилась всё громче, — и пора остановить дальнейшее размывание власти. Он считал совершенно недопустимым, чтобы в критический для империи момент, когда твёрдая рука самодержавия нужна больше чем когда-либо, министры просили его отказаться от личного правления. 2 сентября Николай распустил Думу и вновь подтвердил доверие правительству старого и верного слуги Горемыкина. Вернувшись в Петроград и объявив решение Совету министров, премьер вызвал бурю негодования. «Il est fou, ce vieillard» — «Старик сошёл с ума», — услышали от министра иностранных дел Сазонова.[36]

В Петрограде началась двухдневная всеобщая забастовка против закрытия Думы, но в остальном реакция оппозиции оказалась сдержанной. Львова избрали руководителем делегации общественных организаций, намеревавшейся просить царя «возложить тяжкое бремя власти на плечи людей, сильных доверием нации». Николай отказался их принять. Вместо этого делегацию вызвали в Министерство внутренних дел и сообщили, что её «вмешательство в государственную политику» является самонадеянностью. Царь решил править так, как подобает самодержцу; никакой совет, каким бы мудрым и верным он ни был, уже не мог заставить его изменить решение.

16 сентября министров вызвали в Могилёв на окончательный разнос. «Покажи кулак, — убеждала слабовольного мужа Александра. — Ты Самодержец, и они не смеют забывать этого». Она даже просила его расчесать волосы гребнем Распутина, чтобы укрепить волю.[37] Магия, должно быть, подействовала: министры приехали решительно отстаивать реформы, но перед царём потеряли мужество. «Мятеж министров» закончился, и последняя возможность монархии спасти себя политическими средствами была упущена.

Роспуск Думы ярко показал бессилие либералов. Власть твёрдо оставалась у романовского двора, и даже имея на своей стороне десять высших государственных чиновников, либералы не могли помешать царю сосредоточить власть в своих руках — если только не идти на революцию. Кадет В. А. Маклаков сформулировал их дилемму в широко обсуждавшейся сентябрьской статье. Он сравнил Россию с

автомобилем, несущимся по крутому опасному склону с безумным шофёром — Николаем — за рулём. Среди пассажиров — ваша мать, Россия, и опытные водители, ясно понимающие, что машина несётся к гибели. Но никто не решается вырвать руль, боясь смертельной аварии. Шофёр понимает это и насмехается над беспомощностью и тревогой пассажиров: «Вы не посмеете тронуть меня». И действительно, заключал Маклаков:

> вы не посмеете его тронуть, потому что, даже если готовы рисковать собственной жизнью, рядом с вами едет ваша мать, и вы не решитесь подвергнуть опасности свою жизнь из страха, что погибнет и она. Поэтому вы оставите руль в руках шофёра. Более того, постараетесь ему не мешать — будете помогать советом, предупреждением и поддержкой. И будете правы, потому что именно так и следует поступить.[38]

Паралич либералов объяснялся прежде всего страхом вызвать насилие на улицах. Они оказались между дьяволом самодержавия и тёмно-красным морем социальной революции, которое, без сомнения, затопило бы и их. Милюков боялся, что, если Дума вступит в открытый конфликт с режимом и призовёт к народному восстанию, как требовали некоторые левые кадеты, это приведёт к «оргии толпы».[39] Пушкинский кошмар «русского бунта, бессмысленного и беспощадного» станет явью. Либералы предпочитали ждать: если продержаться до победы союзников, откроются новые пути для реформ. Позиция была не слишком достойной — Сталин позднее назовёт её «восстанием на коленях», — но, если не идти на баррикады, сделать можно было немного.

По существу, либералы вернулись к положению 1906 года, когда провал Выборгского воззвания, не сумевшего поднять массы в защиту Думы, оставил их в одиночестве и заставил надеяться лишь на добровольную либерализацию режима. Десять лет спустя, усвоив урок Выборга, они ещё сильнее боялись масс, которые в разгар войны со всеми её лишениями тем более не собирались ограничиваться узкой политической революцией, о которой мечтали либералы.

Воодушевлённый успехом демонстрации собственной силы, Николай предпринял новые шаги, чтобы оттеснить либеральный вызов самодержавию. Обещанную ноябрьскую сессию Думы, которой хотели

успокоить критиков сентябрьского роспуска, отложили на неопределённый срок. Значение Военно-промышленных комитетов постепенно снижали, возвращаясь к старому союзу правительства с крупным петроградским капиталом. Один за другим увольнялись министры, выступавшие за реформы. Первым ушёл новый обер-прокурор Святейшего синода Самарин, известный критик Распутина, что вызвало ярость церковных и консервативных кругов. Вскоре последовал министр земледелия Кривошеин. Затем министр внутренних дел Щербатов был заменён Хвостовым — союзником Распутина, примечательным главным образом гигантским животом. Хвостов немедленно пообещал заставить замолчать всякую общественную критику правительства. Он усилил полицейскую слежку за депутатами, запретил собрания общественных организаций, ужесточил цензуру и щедро финансировал черносотенные группы, обвинявшие евреев во всех военных поражениях и бедствиях.

Во всех этих кадровых перестановках была видна рука императрицы. Пока царь находился на фронте, она стала фактическим самодержцем — насколько самодержавие вообще ещё существовало — в Петрограде. «Лови, — писала она мужу, — я твоя стена в тылу. Я здесь; не смейся над глупой старой женушкой, но на ней незримо надеты “штаны”». Главный телефон Зимнего дворца находился в её гостиной, где она сидела за письменным столом перед портретом Марии-Антуанетты. Александра любила хвастаться, что со времён Екатерины Великой стала первой женщиной в России, принимающей министров. Распутин поддерживал эти фантазии и фактически использовал её как рупор собственных притязаний на власть.

Письма Александры Николаю были полны советов «Нашего Друга», как она называла «святого» крестьянина. «Это не моя мудрость, — писала она, — а некий данный Богом инстинкт, превосходящий меня саму, чтобы я могла быть тебе помощницей». Или: «Мы, наученные смотреть на всё с другой стороны, видим, что на самом деле означает эта борьба: ты показываешь свою власть, доказываешь, что ты Самодержец, без которого Россия не может существовать». Казалось, не было ни одного государственного вопроса, в котором Распутин не считал себя специалистом. Александра передавала царю его рекомендации о продовольствии, транспорте, финансах и земельной

реформе, хотя сама признавалась, что от подобных дел у неё кружится голова. Она даже пыталась убеждать мужа строить военную стратегию на том, что Распутин «увидел ночью», но здесь Николай всё-таки проводил границу.[40]

Большая часть писем императрицы была посвящена назначениям. Она делила мир на друзей и врагов «тайного дела», которое вели Распутин и она сама. Министры, военачальники и придворные поднимались или падали в её глазах в зависимости от отношения к этому «делу». Покровительство Распутина было самым быстрым путём наверх, критика его — самым быстрым вниз. За семнадцать месяцев «правления императрицы», с сентября 1915-го по февраль 1917-го, Россия сменила четырёх премьер-министров, пять министров внутренних дел, трёх министров иностранных дел, трёх военных министров, трёх министров путей сообщения и четырёх министров земледелия. Эта «министерская чехарда» не только убирала способных людей, но и разрушала работу государственного аппарата: никто не оставался на посту достаточно долго, чтобы разобраться в обязанностях.

Развивалась бюрократическая анархия с несколькими конкурирующими цепочками власти: одни министры ориентировались на императрицу или Распутина, другие сохраняли верность царю — или, по крайней мере, тому представлению о царе, которое существовало у них самих; в решающие моменты Николай, казалось, и сам не знал, чего хочет, и в любом случае почти никогда не решался противоречить жене. Борис Штюрмер, дольше других занимавший пост премьер-министра в этот период и сменивший дряхлого Горемыкина в январе 1916 года, прежде был известен как губернский начальник, обвинявшийся в продажности, и помощник министра внутренних дел, прославившийся некомпетентностью. По памятному выражению Сазонова, это был «человек, который везде, где занимал административную должность, оставлял после себя дурную память». Государственные дела оказались ему совершенно не по силам. Он так часто бегал за советом к императрице и Распутину, что даже крайний монархист В. М. Пуришкевич стал сравнивать его с Чичиковым из «Мёртвых душ», который, объехав всех губернских сановников, ещё долго сидел в бричке, размышляя, к кому ехать следующим.[41]

* * *

Пожалуй, самым вредным кадровым решением было увольнение Поливанова в марте 1916 года. Именно ему более чем кому-либо другому Россия была обязана восстановлением армии после ужасных потерь Великого отступления. Британский военный атташе генерал-майор Нокс считал Поливанова «несомненно, самым способным военным организатором России» и назвал его увольнение «катастрофой». Преступление Поливанова в глазах императрицы состояло в готовности сотрудничать с общественными организациями ради улучшения снабжения армии. «Ах, как бы мне хотелось, чтобы ты избавился от Поливанова, — писала она Николаю в январе. — Он просто революционер». Особое подозрение двора вызывала его дружба с Гучковым, главой Военно-промышленных комитетов: в ноябре октябрист пригласил избранных рабочих представителей в центральный руководящий орган комитетов. «Как бы мне хотелось, чтобы ты закрыл этот отвратительный военно-промышленный комитет, — умоляла Александра в марте, — они готовят для своих заседаний сплошные антидинастические вопросы». А о Гучкове спрашивала: «Нельзя ли его повесить?»[42]

Назначение генерала Шуваева преемником Поливанова окончательно показало, что бездумное послушание теперь ценится в военном министре выше профессиональных способностей. Шуваев однажды сказал Ноксу, что, если царь прикажет ему выпрыгнуть из окна, он с радостью выполнит приказ. Когда чудовищное управление войной вызвало всё более громкие обвинения в «измене на верхах», единственное, что он мог честно сказать в свою защиту, было: «Может быть, я дурак, но я не изменник».[43]

При поддержке общественных организаций Поливанов значительно улучшил снабжение и боевой дух армии. Нигде это не было так заметно, как на Юго-Западном фронте, командующим которым в марте был назначен Брусилов. Он принёс в штаб фронта новый стиль военного профессионализма, выдвигая таких талантливых офицеров, как Клембовский и Величко (которые вместе с Брусиловым и самим Поливановым позднее помогут привить подобный профессионализм Красной армии). Брусилов быстро наладил хорошие рабочие отношения

с общественными организациями, и это вскоре сказалось на его фронте. «Мало-помалу, — вспоминал он, —

> наше техническое снаряжение улучшалось; стали поступать винтовки, пусть разных систем, но во всяком случае с достаточным количеством патронов; огнестрельные припасы для артиллерии, особенно лёгкой, поступали в изобилии… Мы имели все основания рассчитывать, что сумеем разбить противника и отбросить его за нашу границу.[44]

Оптимизм Брусилова выделил его на военном совете 15 апреля, когда командующие фронтами собрались у царя в Ставке, чтобы наметить летние операции. Генералы Куропаткин и Эверт, командовавшие соответственно Северо-Западным и Западным фронтами, пессимистично оценивали возможности наступления. Но Брусилов пообещал облегчить им задачу, начав наступление против австрийцев на своём Юго-Западном фронте, хотя его и предупредили, что ни лишних людей, ни снабжения с севера ему не выделят. Других командующих его смелость поразила и раздосадовала. «Вы только что назначены главнокомандующим, — сказал ему один из них, когда они сели обедать, — и вам посчастливилось не попасть в число тех, кому предназначено наступать, а значит, не приходится, как им, рисковать своей военной репутацией. Охота вам лезть в такие колоссальные опасности!» Но это самодовольство, столь типичное для любимых генералов царя, было бесконечно далеко от решимости Брусилова и его, быть может наивного, оптимизма. Он был уверен, что Бог ведёт Россию к победе, — вера, отразившаяся на протяжении всей войны в его письмах к жене. «Я по-прежнему убеждён, — писал он ей в разгар Великого отступления, — что так или иначе всё образуется и мы выиграем войну».[45]

Насмешки коллег не учитывали и изобретательности его тактики, которая, по словам Нормана Стоуна, крупнейшего историка Восточного фронта, должна была принести «самую блестящую победу войны».[46] Военный талант Брусилова проявлялся прежде всего в готовности учиться на опыте 1914–1915 годов. С тех пор как фронт застыл и манёвренная война превратилась в позиционную, европейские генералы пытались прорвать оборону противника, сосредоточивая огромные массы людей и боеприпасов в одной точке. Германский прорыв у Горлице был классическим примером этого «фалангового» метода,

который русские генералы затем рабски копировали. Брусилов оказался исключением.

Он рассуждал так: при примитивных российских железных дорогах невозможно тайно сосредоточить в одном месте большую массу войск; враг заранее узнает и успеет подвести резервы. Пока внезапность жертвуют ради силы, решительного прорыва не будет. Вместо этого он предложил атаковать одновременно в нескольких местах по всему фронту. Даже располагая разведданными, противник не сможет понять, где именно понадобятся главные резервы.

Подготовка к наступлению была беспрецедентно тщательной. Ключом была внезапность, поэтому секретность охранялась до крайности — даже императрица не могла узнать, где и когда начнётся удар. Передовые траншеи рыли глубже обычного и маскировали новым способом, распыляя по земле краску. Под австрийской колючей проволокой прокладывали штурмовые ходы, доходившие до ста ярдов от вражеских линий, чтобы первая волна атакующих могла одним броском ворваться в окопы. Позиции противника внимательно изучались по аэрофотоснимкам. Это позволило Брусилову построить полноразмерные макеты австрийских траншей и обучать на них штурмовые части. Русские заранее знали точное расположение батарей и местами даже отдельных пулемётов. Поэтому, несмотря на меньшую численность, русская артиллерия получила решающее преимущество — она знала, куда стрелять, и это обеспечило первоначальный успех операции.[47]

Наступление началось 4 июня, по словам Брусилова, «громовой артиллерийской канонадой по всему Юго-Западному фронту». «Вся полоса боя была покрыта огромным густым облаком пыли и дыма, — писал австрийский офицер, — и это позволило русским плотными волнами пройти через разрушенные проволочные заграждения и ворваться в наши траншеи». За сорок восемь часов русские прорвали австрийскую оборону на фронте длиной около пятидесяти миль и взяли более сорока тысяч пленных. К девятому дню их число достигло двухсот тысяч — больше половины сил Габсбургов на Восточном фронте, — и начальник австрийского штаба Конрад уже заговорил о необходимости просить мира.[48]

Если бы Эверт и Куропаткин выполнили обещание и начали собственные наступления на Западном и Северо-Западном фронтах, противника, возможно, удалось бы далеко отбросить, а ход войны изменить. Гинденбург позднее признавал: при втором наступлении «перед нами встала бы угроза полного краха». По первоначальному плану войны фронт Брусилова считался второстепенным по отношению к фронтам Эверта и Куропаткина. Но ни один из них не решился наступать. Справедливости ради, их задача была сложнее: пришлось бы сражаться с немцами, гораздо более сильными, чем австро-венгерские части, разгромленные Брусиловым. Но имело значение и тщеславие: чем выше риск поражения, тем сильнее эти генералы боялись потерять драгоценную репутацию.

Возможно, главная вина лежала на Ставке. Алексеев служил под начальством Куропаткина и Эверта ещё в японскую войну и до сих пор слишком робел перед ними, чтобы заставить атаковать. Царь тоже потакал трусливым генералам — любимцам двора — и игнорировал ежедневные просьбы Брусилова приказать наступление. Отчасти за этим стояла императрица. Она забрасывала нерешительного мужа «экспертными» советами Распутина не атаковать на севере, потому что, как говорил «старец», «если успехи на юге продолжатся, они [немцы] сами отступят на севере».[49]

Эта военная глупость во многом и остановила продвижение Брусилова. Вместо второго наступления Ставка стала перебрасывать части с севера к нему. Но их было недостаточно, чтобы сохранить темп; а немцы, чьё положение облегчала пассивность Эверта и Куропаткина, тоже смогли перебросить подкрепления на юг. Понимая, что преимущество тает, Брусилов вернулся к более обычной тактике и продолжил движение к Ковелю, но, по собственным словам, «с меньшим нажимом… стараясь по возможности беречь людей». Медленно, но неуклонно наступление выдыхалось. За восемь недель его армии взяли в плен 425 тысяч человек и захватили значительную часть Галиции; противник был вынужден снять войска с Западного фронта, облегчая положение Италии и французов под Верденом; Румыния, чего бы это ни стоило, наконец вступила в войну на стороне России. Людендорф назвал происходящее «кризисом на Востоке». В 1918 году

он отдаст тактике Брусилова высшую дань, применив её на Западном фронте.[50]

После долгого года поражений на востоке и кровавого тупика на западе наступление Брусилова в одночасье сделало его героем не только России, но и всего союзнического мира. Гиляровский написал сборник панегирических стихов «Брусилову», который десятками тысяч расходился в виде листков. Французские и итальянские композиторы посвящали герою войны кантаты, марши и песни. По всей Европе люди стекались в кинотеатры смотреть фильм «Брусилов». Сам генерал вспоминал:

> Я получил сотни телеграмм с поздравлениями и благословениями от всех слоёв русского общества. Все хотели высказаться: крестьяне, рабочие, аристократы, духовенство, интеллигенция и школьники — все стремились дать мне понять, что великое сердце страны бьётся в унисон с любимыми солдатами моих победоносных армий.

Брусилов доказал: при компетентном командовании императорская армия всё ещё способна побеждать. Если бы Ставка не подорвала наступление, оно могло стать отправной точкой для восстановления боевого духа и, возможно, в конечном счёте привести к победе. Но даже этого, скорее всего, было бы недостаточно для спасения царского режима — настолько глубоким стал политический кризис. После провала наступления даже монархист Брусилов яснее прежнего увидел: «Россия не может выиграть войну при нынешней системе управления».[51] Победа не остановила бы революцию; напротив, теперь казалось, что только революция способна помочь добиться победы.

Окончательное доказательство некомпетентности старого режима Брусилов увидел в начале июля, когда Алексеев в последней отчаянной попытке спасти наступление перебросил на его фронт элитную Императорскую гвардию. Нокс называл этих молодых аристократов «физически прекраснейшими человеческими животными Европы». В тёмно-зелёных парадных мундирах, отделанных золотым галуном, каждый гвардеец был ростом больше шести футов. Но командовал ими туповатый генерал Безобразов, очередной придворный любимец. Он нарушил распоряжения Брусилова и послал гвардейцев в атаку через открытое болото. Пока солдаты брели по грязи по грудь, над ними кружили германские самолёты, расстреливая сверху из пулемётов. Нокс

с ужасом наблюдал, как самолёты пикируют, а «раненые медленно тонут в болоте».[52] Одним бессмысленным приказом было уничтожено ядро лучшей боевой силы страны — а вместе с ним и последняя возможность победы старого режима.

* * *

По мере того как тянулся 1916 год — третий долгий год войны, — раздражение Брусилова правительством всё шире разделяло общество. Патриотические дворяне вроде Брусилова и Львова надеялись, что успешная война сблизит правительство с обществом и устранит необходимость радикальных реформ. Теперь они поняли обратное: именно радикальные реформы являются необходимым условием военного успеха. Растущий дефицит продовольствия, топлива и основных товаров, стремительная инфляция, расстройство транспорта, повсеместная коррупция правительства и военных поставщиков, резкий рост преступности и общественного беспорядка — всё это, вместе с бесконечной бойней, порождало чувство всеобщей паники и истерии.

«Всё больше, — писал Горький другу в ноябре 1915 года, — люди ведут себя как звери и сумасшедшие. Они распространяют глупые слухи, и это создаёт атмосферу всеобщего страха, отравляющую даже умных». Среди собственнических классов распространялось убеждение: Россия стоит на краю страшной катастрофы, насильственного социального взрыва, от которого правительство совершенно не готово их защитить. О царе и правительстве говорили с открытым презрением. Слово «революция» было у всех на устах. «Приближается потоп, — писал Гучков Алексееву в августе 1916 года, — а жалкое, ничтожное и дряблое правительство готовится встретить эту катастрофу мерами, пригодными разве что против дождя. Оно надевает калоши и раскрывает зонтик!»[53]

Чувствуя приближение бедствия, богатые и знатные бросились в последнюю отчаянную оргию удовольствий. Они допивали запасы шампанского, платили огромные деньги за чёрную икру, осетрину и другие довоенные деликатесы с чёрного рынка, устраивали роскошные вечеринки, изменяли супругам и проигрывали состояния в казино. Иностранцев поражала не только роскошь, но и бесстыдство, с которым её выставляли напоказ. «После суровых условий военной жизни в

Англии, — писал британский разведчик в Петрограде сэр Сэмюэл Хор, — меня ослепляли их богатство и то, как безудержно они им пользовались». Лучше всего эту истерическую погоню за наслаждением выразили безымянные сатирические стихи начала 1916 года:

> Поражений мы не замечаем, И победа нас не веселит. Нас один вопрос лишь занимает: Где достать на вечер водки литр?
>
> Победы нам вовсе не нужны. Нет! Наш идеал — покой и тишь, Интриги, скандалы, вечеринки, Вино и женщины — вот жизнь.
>
> Нам важно только знать с утра, Каких министров нынче видим, Кто с кем отправился вчера В театр, кто рядом в «Кюба» сидел…
>
> Всё так же правит ли Распутин, Не нужен ли иной святой, Здорова ли Кшесинская, И как прошёл у Шубина пир?
>
> Вёз ли великий князь домой Дину, Удачно ли играл Мак-Дидди?.. Ах, прилетел бы цеппелин И разнёс бы весь Петроград.[54]

Значительная часть общественной истерии сосредоточилась на дворе, где, как широко верили, прогерманская клика вокруг императрицы сознательно готовит поражение России. Представление об измене в верхах, возникшее после дела Мясоедова и Великого отступления, в 1916 году усилилось слухами о существовании при дворе «чёрного блока», якобы стремившегося заключить сепаратный мир с Берлином. Усиливавшееся влияние императрицы — «немки», антивоенные настроения Распутина, множество немецких фамилий при дворе и возвышение царём Штюрмера до положения почти «диктатора» — к июню тот одновременно был премьер-министром, министром внутренних дел, министром иностранных дел и верховным министром государственной обороны — всё это питало подозрения.

Повсюду утверждали, что императрица и Распутин работают на немцев, что у них есть прямой канал связи с Берлином, а Николай регулярно предупреждает своего дядю кайзера Вильгельма о передвижениях русских войск. На фронте слухи становились ещё фантастичнее. Судя по письмам, деморализованные солдаты были готовы верить, что Штюрмер получил деньги от немцев за то, чтобы уморить крестьян голодом, а министр двора граф Фредерикс договорился продать противнику западную половину России.

Столь же охотно верили в сексуальные скандалы вокруг императрицы. Её «половая развращённость» стала метафорой болезненного состояния царского режима. Александру называли шлюхой, любовницей Распутина и лесбийской возлюбленной своей фрейлины Анны Вырубовой, которая будто бы делила постель и с Распутиным, и с царём. Ни один из этих слухов не имел фактических оснований. Вырубова была наивной и недалёкой незамужней женщиной, очарованной мистическими силами Распутина и уютным семейным бытом императорской семьи. В 1917 году специальная комиссия Временного правительства, расследовавшая обвинения против неё, медицински подтвердила её девственность. Что касается самой императрицы, она была слишком чопорна, чтобы предаваться каким-либо сексуальным действиям, не необходимым непосредственно для продолжения династии.

Не имели оснований и обвинения Александры в измене, хотя не исключено, что немецкие агенты действительно могли узнавать что-то из громкой и хвастливой болтовни Распутина. Он регулярно обедал у петроградского банкира, которого французский посол считал главным германским агентом в России.

Смысл этих слухов был не в их истинности, а в способности мобилизовать разгневанное общество против династии. Во время революционного кризиса решающее значение имеют не факты, а представления и вера. Демонизация романовского двора позволяла противникам режима указывать конкретных виновников народных страданий военного времени. Назвать двор «немецким» означало представить революционный гнев как патриотическое чувство «нации», словно все беды страны объяснялись зловредным влиянием нескольких высокопоставленных иностранцев и могли исчезнуть вместе с ними.

Февральскую революцию 1917 года именно так и будут представлять — как патриотическую революцию. Антинемецкие и антимонархические настроения тесно переплелись в новом демократическом сознании, которое лидеры Февраля пытались сделать основой национального возрождения России. В этом смысле антинемецкие погромы июня 1915 года, во время Великого отступления, стали первым признаком нового подъёма революционных настроений. Разъярённые московские толпы жгли и грабили немецкие магазины и

конторы. Разгромили магазины роялей, выбрасывая из окон «Бехштейны» и «Блютнеры». Нападали и грабили всякого, кого считали немцем, причём нередко для этого было достаточно хорошо одеваться. На Красной площади толпы оскорбляли «немку» и требовали заточить её в монастырь. Звучали и призывы к отречению Николая в пользу великого князя Николая Николаевича. Истерическое общество было готово видеть германский саботаж во всём — от нехватки снарядов до коррупции мелких чиновников; а новые претенденты на власть, поднимавшие лозунг «измена на верхах», становились народными героями.[55]

Либералам, несмотря на страх перед массами, было трудно отказаться от такого политического шанса. Выступая от имени «нации» против династии, они могли вновь поставить себя во главе оппозиционного движения. Это становилось всё важнее, потому что протест против войны и связанных с ней экономических лишений приобретал более радикальный характер: массовые забастовки и демонстрации нередко возглавляли социалисты. «Я боюсь, — говорил один кадетский лидер осенью 1916 года, — что политика правительства приведёт к положению, при котором Дума окажется бессильна сделать что-либо для успокоения масс». Донесения охранки ясно показывали: «широкие народные массы» становятся всё более враждебными к Думе и обвиняют её в том, что она «сознательно отказывается прийти на помощь массам; особенно резкие обвинения выдвигаются не только против октябристов, но и против кадетов».

Чтобы не стать бесполезной и никому не нужной, Дума должна была приблизиться к настроению улицы и добавить собственный голос к революционному движению. Так считали левые кадеты, трудовики Керенского и всё больше общественных деятелей, включая князя Львова. Он заявил на заседании Прогрессивного блока, что единственная надежда России на спасение — революция. «Откажитесь от всех дальнейших попыток конструктивного сотрудничества с нынешним правительством, — писал он в декабре. — Они обречены на провал и лишь мешают нашей цели. Не предавайтесь иллюзиям, отвернитесь от призраков. Правительства, которое мы могли бы признать, больше нет».[56]

Эти доводы усиливались продолжающейся непримиримостью режима. Назначение в сентябре А. Д. Протопопова исполняющим обязанности министра внутренних дел сначала породило надежды умеренных либералов вроде Милюкова, всё ещё стремившихся получить реформы через соглашение. Протопопов был помещиком-октябристом и текстильным фабрикантом, членом Прогрессивного блока и товарищем председателя Думы. Назначение воспринимали как капитуляцию правительства перед либеральной оппозицией и первый шаг к думскому министерству.

В действительности это был лишь ловкий манёвр двора. Дума должна была собраться 1 ноября, и Протопопов как «человек Думы» представлялся лучшим средством её контролировать. «Пожалуйста, возьми Протопопова министром внутренних дел, — уговаривала Александра мужа. — Раз он из Думы, это произведёт большой эффект и заткнёт им рот». Протопопов был фанатичным мистиком — однажды он сказал Керенскому, что управляет с помощью Иисуса Христа, — и, что либералы не знали, протеже Распутина, который, как тот однажды уверял Брусилова, «спасает Россию от революции». Протопопов был честолюбив и до смешного тщеславен; честь, оказанная царём, явно вскружила ему голову. Поэтому он едва ли собирался рисковать положением ради союза с оппозицией.

Когда истинная роль нового министра стала понятна — вскоре он облачился в форму императорского жандарма, архетипический символ царского гнёта, — старый товарищ по Думе умолял его уйти. Протопопов ответил: «Как вы можете просить меня подать в отставку? Всю жизнь я мечтал стать вице-губернатором, а теперь я министр».[57]

Разочарование пришло очень быстро. Надежду в думских кругах сменило отвращение. Подобострастие Протопопова перед императорской четой было тошнотворным. Вместо моста между либеральной оппозицией и правительством он превратился в придворного лакея и был единодушно осуждён как предатель парламентского дела. По просьбе Распутина он распорядился выпустить из тюрьмы Сухомлинова — которого большинство страны предпочло бы видеть повешенным за измену — и запретил общественным организациям собираться без присутствия полиции.

К моменту открытия Думы 1 ноября даже осторожный Милюков вынужден был признать: время сотрудничества с правительством быстро уходит. Радикалы в его собственной кадетской партии требовали открытого восстания; Милюков решил перехватить инициативу и в первой речи обрушиться на правительство. Он перечислял злоупотребления власти и после каждого повторял вопрос: «Что это — глупость или измена?» Эффект, вспоминал он позднее, был такой, «словно лопнул нарыв, наполненный гноем, и главное зло, всем известное, но ожидавшее публичного разоблачения, наконец было названо». Милюков снова превратил Таврический дворец в трибуну революции.

В тот день звучали и более пламенные речи — например, Керенского. Но одного того, что такой осторожный государственный деятель, как Милюков, к тому же тесно связанный с союзной дипломатией, публично произнёс слово «измена», оказалось достаточно, чтобы общество решило: измена действительно существует. Сам Милюков этого не хотел. На свой риторический вопрос он ответил бы: «глупость». Но общественное настроение было настолько накалено, что читатели почти неизбежно отвечали: «измена». Запрет на публикацию лишь усилил эффект. Речь читали по затёртым машинописным копиям, передаваемым из рук в руки, и это заставляло видеть в ней больше радикализма, чем было на самом деле. В некоторые списки вставляли дополнительные местные обиды — например, утверждение, что правительство помимо прочих злоупотреблений плохо обращается с учителями.

«Моя речь приобрела репутацию сигнала к революции, — вспоминал Милюков. — Такого намерения у меня не было. Но господствовавшее настроение страны стало громкоговорителем для моих слов».[58] Это был поучительный урок для будущих либералов — особенно 1917 года, — надеявшихся остановить социальную революцию силой слов. Милюков усилил риторику, чтобы дать коллегам выпустить пар, но в результате подбросил топлива в двигатель радикального протеста во всей стране.

Он недооценил, насколько революция теперь казалась неизбежной — и даже желательной — не только радикалам, но и консерваторам. Его собственная стратегия соглашения и парламентской борьбы ради

компромисса с правительством быстро теряла почву. Один генерал в Ставке говорил о «широко распространившемся убеждении, что что-то нужно разбить и уничтожить, — убеждении, которое мучило людей и не давало им покоя».[59] Даже ближайшие родственники царя переходили на сторону либеральной оппозиции. 7 ноября великий князь Николай Николаевич призвал его позволить Думе назначить правительство. Московское и Петроградское отделения Объединённого дворянства — с 1905 года самая надёжная опора самодержавия — давали тот же совет. За пределами узкой придворной клики практически не осталось людей, не видевших необходимости коренной перестройки правительства.

И вновь Николай попытался выбраться из угла половинчатыми уступками. 8 ноября Штюрмера отправили в отставку, к ликованию Думы; новым премьер-министром стал А. Ф. Трепов. Для либералов это была последняя возможность примириться с правительством. Трепов, считавший себя новым Столыпиным, намеревался привлечь умеренных думцев уступками. Милюков был готов принять протянутую оливковую ветвь — и, вероятно, место в кабинете. Но радикальные и социалистические депутаты, подогреваемые речами трудовика Керенского и меньшевика Николая Чхеидзе, стремились свергнуть правительство и требовали союза с «массами» для подготовки народного восстания.

Именно так Дума оставалась расколотой в течение последующих недель сложных политических манёвров — от ноября до Февральской революции. Кадеты Милюкова, по донесениям охранки, смотрели на перспективу революции «с чувством ужаса и паники» и «если бы правительство сделало хотя бы малейшую уступку, с радостью бросились бы ему навстречу». Но надежда на уступки быстро исчезала. Императрица была категорически против Трепова — она хотела, чтобы его, как Гучкова, повесили, — а угроза радикальной левой всё возрастала.

Инициатива всё больше переходила к Керенскому и другим радикалам Думы, готовым открыть двери Таврического дворца если не самой уличной толпе, то хотя бы её более пристойным представителям. Язык их речей становился всё резче, поскольку они стремились выразить — и тем самым присвоить — настроение улицы. Они открыто призывали народ свергнуть режим и высмеивали призывы умеренных к

спокойствию как предлог, по выражению Керенского, остаться в «тёплых креслах». Но и у них появлялась тревога, что народное настроение уже перерастает их, что толпа презирает Думу и ищет других лидеров. Как выразился националист Василий Шульгин, «словам больше никто не верит».[60]

Теперь вопрос состоял лишь в том, откуда начнётся революция — снизу или сверху. Идея «дворцового переворота» обсуждалась давно. В центре одного заговора находился Гучков. Предполагалось захватить императорский поезд по пути из Ставки в Царское Село и заставить Николая отречься в пользу сына, назначив регентом брата царя великого князя Михаила. Так заговорщики надеялись опередить социальную революцию и создать новое правительство доверия. Но поддержки армии, либералов и императорской семьи оказалось слишком мало; переворот отложили до марта 1917 года — когда было уже поздно.

Другой заговор готовил князь Львов при поддержке начальника штаба генерала Алексеева. План состоял в аресте императрицы и принуждении Николая передать власть великому князю Николаю Николаевичу. Львов должен был стать премьер-министром нового правительства доверия. План поддерживали несколько либеральных политиков и генералов, в том числе Брусилов, который сказал великому князю: «Если мне придётся выбирать между императором и Россией, я пойду за Россией». Но и этот план сорвался из-за нежелания самого великого князя участвовать. Были и другие заговоры — некоторые возникали среди дальних родственников царя — с целью добиться отречения в пользу другого Романова, способного примириться с Думой.

Историки расходятся в оценке этих проектов: одни видят в них первый акт Февральской революции, другие — пустую салонную болтовню. Вероятно, неверно и то и другое. Даже если заговорщики действительно были серьёзны и сумели бы осуществить планы, удержаться у власти долго им едва ли удалось бы: уличная революция быстро смела бы и их.[61]

Единственным заговором, завершившимся успехом, стало убийство Распутина. Его уже не раз пытались убрать. Хвостов после увольнения с поста министра внутренних дел в январе 1916 года пытался организовать убийство бывшего покровителя. Трепов предлагал

Распутину двести тысяч рублей наличными, если тот уедет в Сибирь и перестанет вмешиваться в политику. Но императрица сорвала оба плана, и престиж Распутина при дворе лишь вырос. Тогда влиятельная группа заговорщиков на придворной периферии решила убить его.

Главной фигурой был князь Феликс Юсупов, двадцатидевятилетний выпускник Оксфорда, сын богатейшей женщины России и, несмотря на гомосексуальность, недавно женившийся на великой княгине Ирине Александровне — дочери любимой сестры царя. В заговоре участвовали также два других гомосексуала из романовского двора — великий князь Дмитрий Павлович, любимый племянник Николая, и великий князь Николай Михайлович. Распутин всё теснее сближался с гомосексуальными кругами высшей аристократии и любил «лежать» с мужчинами не меньше, чем с женщинами. Юсупов обратился к нему после свадьбы, надеясь, что тот «исцелит» его от сексуальной «болезни». Распутин вместо этого попытался его соблазнить. Юсупов возненавидел его и вместе с Дмитрием и Николаем решил уничтожить.

Помимо личной — и, возможно, скрываемой за политическими мотивами — мести, у заговорщиков были серьёзные политические опасения. Их они изложили правому думскому деятелю и резкому критику Распутина В. М. Пуришкевичу, который примкнул к заговору. Их возмущало влияние Распутина на царя и слухи, будто из-за него Россия заключит сепаратный мир с Германией. Они поклялись «устранить» Распутина и поместить императрицу в психиатрическую лечебницу, наивно веря, что, освободившись от их влияния, Николай образумится и станет хорошим конституционным монархом.

Трое заговорщиков решили заманить Распутина в дворец Юсупова на набережной под предлогом знакомства с красавицей Ириной. Там его собирались отравить, а тело утопить в Неве, чтобы он считался пропавшим, а не убитым. Конспираторы, однако, были поразительно неосторожны: кажется, половина петроградских журналистов знала детали убийства за несколько дней до события. Настоящее чудо, что, несмотря на полицейскую неприкосновенность заговорщиков, никто не попытался предотвратить преступление.

В роковой день, 16 декабря, Распутина прямо предупреждали не ехать во дворец Юсупова. Похоже, он чувствовал приближение смерти: почти весь день уничтожал переписку, положил деньги на счёт дочери

и молился. Но светские прелести великой княгини Ирины оказались слишком сильным соблазном. Вскоре после полуночи он приехал в автомобиле Юсупова, пахнущий дешёвым мылом, с тщательно приглаженными волосами и в самом соблазнительном наряде: чёрные бархатные брюки, скрипучие кожаные сапоги, белая шёлковая рубаха и атласно-золотой пояс — подарок императрицы.

Юсупов провёл гостя в подвальную гостиную, объяснив, что жена всё ещё принимает гостей наверху и присоединится позже. Распутин выпил несколько отравленных бокалов любимой сладкой мадеры и съел одно-два пирожных с цианистым калием. Но прошёл час, а яд не подействовал. Терпение Юсупова кончилось. Он поднялся наверх, взял из письменного стола пистолет «Браунинг», вернулся, предложил Распутину рассмотреть хрустальное распятие на комоде и, когда «старец» наклонился, выстрелил ему в бок. С диким криком Распутин рухнул на пол. Заговорщики решили, что он мёртв, и ушли разбираться с его верхней одеждой.

Но Распутин пришёл в себя и добрался до боковой двери, ведущей во двор, а оттуда — к набережной. Пуришкевич увидел, как он, шатаясь, бредёт по снегу к воротам и кричит: «Феликс, Феликс, я всё расскажу царице!» Пуришкевич дважды выстрелил и промахнулся. Ещё два выстрела свалили Распутина, а чтобы окончательно убедиться, что тот мёртв, Пуришкевич ударил его ногой в висок. Тело обмотали железными цепями, отвезли в отдалённое место и бросили в Неву. 18 декабря труп вынесло водой. Ещё несколько дней женщины толпились на берегу, набирая «святую воду», освящённую плотью Распутина.[62]

В аристократических кругах известие об убийстве встретили с восторгом. Когда вечером 17 декабря великий князь Дмитрий появился в Михайловском театре, зал устроил ему овацию стоя. Сестра императрицы великая княгиня Елизавета написала матери Юсупова, благодаря Бога за «патриотический поступок её дорогого сына». Она и ещё пятнадцать членов императорской семьи просили царя не наказывать Дмитрия. Николай отказал: «Никто не имеет права заниматься убийством».[63] Дмитрия сослали в Персию. По особому приказу царя никому не разрешалось публично прославлять убийц.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА



29. *Генерал Брусилов в 1917 году, вскоре после назначения Верховным главнокомандующим русской армией. Один из подчинённых описывал его как «человека среднего роста, с мягкими чертами лица и естественно непринуждёнными манерами, но с таким достоинством командира, что, глядя на него, невольно чувствуешь обязанность одновременно любить его и бояться».*



30. *Максим Горький в 1917 году. «С Горьким невозможно было спорить. Его нельзя было ни в чём убедить, потому что он обладал удивительной способностью: не слушать того, что ему не нравилось, и не отвечать, когда задавали вопрос, на который у него не было ответа» (Нина Берберова). Несомненно, именно эта способность помогла Горькому жить в ленинской России.*



31. *Князь Г. Е. Львов, первый премьер-министр демократической России, март 1917 года. За четыре месяца пребывания у власти волосы Львова поседели.*



32. *Сергей Семёнов в 1917 году. Крестьянский активист был достаточно известен в родном Волоколамском уезде, чтобы заслужить этот портрет.*



33. *Дмитрий Оськин (сидит в центре) с Тульским военным комиссариатом, 1919 год. Историю своего пути от крестьянства до высших командных должностей Красной армии Оськин позднее изложил в двух автобиографических книгах 1926 и 1931 годов. Подобно автобиографии Канатчикова, они принадлежали к советскому жанру «мемуаров масс».*



34. *Александр Керенский в 1917 году. Это лишь один из множества его портретов, распространявшихся в виде открыток среди населения как часть культа его личности.*



35. *Ленин выступает перед толпой, 1918 год. Фотограф — Пётр Оцуп, один из пионеров советской школы фотожурналистики.*



36. *Троцкий в Петропавловской крепости, 1906 год. Даже в тюрьме он одевался щегольски. По словам Исаака Дойчера, здесь он больше похож «на преуспевающего западноевропейского интеллектуала fin de siècle, собирающегося на несколько официальный приём, [чем] на революционера, ожидающего суда в Петропавловской крепости. Лишь суровая голая стена и глазок в двери напоминают о настоящей обстановке».*



37. *Александра Коллонтай в 1921 году, когда она примкнула к «Рабочей оппозиции». Её разрыв с Лениным был особенно примечателен потому, что в 1917 году она была единственным крупным большевиком, с самого начала поддержавшим его Апрельские тезисы.*

Вопреки намерениям заговорщиков смерть Распутина лишь сильнее сблизила Николая с убитой горем женой. Теперь он ещё решительнее сопротивлялся всяким сторонникам реформ. Четверых великих князей, позволивших себе несогласие, он даже выслал из Петрограда. По мере приближения революции Николай всё глубже уходил в тихую семейную жизнь Царского Села, разрывая связи с внешним миром и даже с остальной частью двора. На последнем для династии Рождестве 1916 года между императорской четой и другими Романовыми не было даже обычного обмена подарками.

Забальзамированное тело Распутина наконец похоронили возле дворца в Царском Селе в морозный январский день 1917 года. После Февральской революции группа солдат вскрыла могилу, уложила труп в футляр от рояля, отвезла на поляну в Парголовском лесу, облила керосином и сожгла на костре. Пепел развеял ветер.

iii. Из окопов на баррикады

Корабль Троцкого вошёл в нью-йоркскую гавань холодным дождливым воскресным вечером января 1917 года. Переход был ужасным — семнадцать штормовых дней на небольшом пароходе из Испании, — и революционер выглядел измождённым и усталым, сходя на пристань, где его ждали товарищи и журналисты. Настроение было подавленным. Изгнанный из Франции, своего дома с 1914 года, за антивоенную деятельность, он чувствовал, что «двери Европы» окончательно «закрылись за ним» и что, подобно другим пассажирам «Монсеррата» — пёстрой компании дезертиров, авантюристов и нежелательных лиц, вытесненных в эмиграцию, — он уже никогда не вернётся. «В последний раз, — записал он в канун Нового года, когда судно проходило Гибралтар, — я бросаю взгляд на эту старую canaille Европу».[64]

Сама ситуация показывала степень бессилия партии: накануне революции 1917 года три видных социал-демократа — Троцкий, Бухарин и Коллонтай — оказались вместе в Нью-Йорке, в пяти тысячах миль от России. Николай Бухарин приехал из Осло предыдущей осенью и возглавил «Новый мир», главную социалистическую ежедневную газету русской эмиграции. В двадцать девять лет он уже был крупным

большевистским теоретиком и успел поссориться с Лениным по нескольким тонким вопросам партийной идеологии, прежде чем покинуть Европу с заявлением: «Ленин не выносит рядом с собой другого человека с мозгами».

Невысокий и худощавый, с мальчишеским добродушным лицом и редкой рыжей бородкой, он ждал Троцкого на пристани. В отличие от догматичного Ленина, осыпавшего левого меньшевика руганью, Бухарин хотел привлечь Троцкого к широкой социалистической кампании против войны. Он слегка знал семью Троцких по Вене и разделял их любовь к европейской культуре. Встретил он их медвежьими объятиями и тут же, как вспоминала жена Троцкого, стал рассказывать «о публичной библиотеке, открытой допоздна, которую предложил показать нам немедленно». Был поздний час, Троцкие едва держались на ногах, но Бухарин потащил их через весь город «любоваться своим великим открытием».[65] Так началась тесная, а впоследствии трагическая дружба Троцкого и Бухарина.

С Александрой Коллонтай Троцкий виделся меньше. Значительную часть времени она проводила в городке Патерсон в Нью-Джерси, где её сын поселился, чтобы избежать воинского призыва. Это была её вторая поездка в Америку. Годом ранее она объехала страну, пропагандируя ленинскую позицию по войне. Порывистая и эмоциональная, легко влюблявшаяся в молодых мужчин и утопические идеи, она отдалась большевистскому делу со всем фанатизмом новообращённой. «Для неё ничто не было достаточно революционным», — вспоминал четырнадцать лет спустя всё ещё раздражённый Троцкий, не забывший, как она в письме Ленину обвинила его в колебаниях по вопросу войны.[66] Между тем Троцкий был гораздо ближе к большевикам, чем понимала Коллонтай; и причины его движения влево от меньшевиков во многом были теми же, что и у неё.

Как и многие революционеры в эмиграции, Троцкий и Коллонтай были прежде всего приверженцами международного социализма. Свободно говорившие на нескольких европейских языках, воспитанные на классической культуре, они ощущали себя не столько русскими — Коллонтай была наполовину финкой, наполовину украинкой, Троцкий евреем, — сколько товарищами международного движения. Британский музей, Национальная библиотека в Париже, кафе Вены, Цюриха и

Берлина были для них столь же привычной средой, как подпольные революционные кружки Петербурга. Русская революция представлялась им лишь частью международной борьбы с капитализмом. Германия, родина Маркса и Энгельса, была интеллектуальным центром их мира. «Для нас, — вспоминал Троцкий, — германская социал-демократия была матерью, учительницей и живым примером. Издалека мы её идеализировали. Имена Бебеля и Каутского произносились с почтением».[67]

Но в августе 1914 года германское очарование рухнуло мгновенно. Социал-демократы поддержали кайзера и военную кампанию. Для руководителей русской революции, считавших себя наследниками европейской марксистской традиции, «предательство немцев» стало, по выражению Бухарина, «величайшей трагедией нашей жизни». Ленин, находившийся тогда в Швейцарии, настолько верил в интернационализм германских товарищей, что сначала счёл сообщения газет об их поддержке войны частью немецкой провокации, рассчитанной на обман зарубежных социалистов. Троцкий, узнавший новость по дороге в Цюрих, был потрясён ею «даже больше, чем самим объявлением войны».

Коллонтай находилась в Рейхстаге и собственными глазами видела, как её кумиры голосуют за военный бюджет. Она с недоверием смотрела, как они один за другим выходят вперёд — некоторые уже в военной форме — и заявляют о верности Отечеству. «Я не могла в это поверить, — записала она вечером. — Я была убеждена: либо они все сошли с ума, либо я потеряла рассудок». После рокового голосования она в отчаянии выбежала в вестибюль — и там один из социалистических депутатов сердито спросил её, что русская делает в здании Рейхстага. В этот миг, писала она, стало ясно: прежняя солидарность Интернационала похоронена, социалистическое дело утонуло в шовинизме, и «мне показалось, что теперь всё потеряно».[68]

От международного дела отступили не только европейские товарищи. Большинство русских социалистов тоже откликнулось на зов своего Отечества. Меньшевистская партия — политический дом и школа и Троцкого, и Коллонтай — раскололась между крупным большинством оборонцев во главе со старым Плехановым, поддерживавших военные усилия царского правительства на том

основании, что Россия имеет право защищаться от внешнего агрессора, и небольшим меньшинством интернационалистов во главе с Мартовым, выступавших за демократическую кампанию мира.

Партия эсеров раскололась сходным образом: оборонцы ставили победу союзников выше революции, интернационалисты считали революцию единственным способом покончить с империалистической войной, в которой все стороны виновны одинаково. В 1917 году эти разногласия парализуют обе партии в решающие моменты борьбы за власть. В основе лежало принципиальное различие мировоззрений: одни признавали законность национальных государств и неизбежность конфликтов между ними; другие ставили классовое разделение выше национальных интересов.

Страсти доходили до крайности. Горький, считавший себя убеждённым интернационалистом, разорвал отношения с приёмным сыном Зиновием Пешковым, когда тот добровольно вступил во Французский иностранный легион. Он даже отказался написать ему, когда в первом же бою, ведя атаку на германские позиции, Пешков потерял руку.[54] Для патриотов антивоенная позиция интернационалистов казалась опасно близкой к помощи врагу. Для интернационалистов же патриотический призыв к оружию означал почти то же самое, что лозунг: «Пролетарии всех стран, хватайте друг друга за горло!»[69]

Большевики были единственной социалистической партией, в целом сохранившей единство в противостоянии войне, хотя и у них в первые дни имелись оборонцы — до того как Ленин навязал свою линию. Его позиция была непримиримой. В отличие от меньшевиков-интернационалистов и эсеров-интернационалистов, надеявшихся завершить войну мирными демонстрациями и переговорами, Ленин

[54] Зиновий Пешков (1884–1966) был братом Якова Свердлова, большевистского лидера и первого председателя ВЦИК. После ранения он поступил на службу во французскую военную разведку. Поддержал выступление Корнилова против Временного правительства. В 1918 году присоединился к антибольшевистской армии Семёнова на Дальнем Востоке, затем — к белому правительству Колчака в Омске. В 1920 году был направлен в Крым как французский военный представитель при правительстве Врангеля и покинул Россию вместе с его армией. Позднее стал близким соратником Шарля де Голля и заметным французским политиком. Примечательно, что до 1933 года Пешков сохранял хорошие отношения с Горьким в России, причём Горький знал о его разведывательной деятельности. См.: Delmas, *Légionnaire et diplomate*.

призывал рабочих всего мира обратить оружие против собственных правительств, закончить войну, превратив её в серию гражданских войн и революций по всей Европе. Это должна была быть «война против войны».

Для Троцкого и Коллонтай, уже воспринимавших русскую революцию как часть общеевропейской борьбы против империализма, в ленинском лозунге была железная логика, всё сильнее привлекавшая их левоменьшевистский интернационализм. Вначале, в первый год войны, оба ещё сомневались в большевистском лидере. Ленин утверждал, что поражение России будет «меньшим злом», чем поражение более развитой Германии; Троцкий и Коллонтай отвергали саму идею победителей и побеждённых. Спор был не столь велик сам по себе, но отражал более глубокое расхождение. Ленин всё сильнее подчёркивал революционный потенциал национальных движений внутри колониальных империй и считал, что поражение России поможет разрушить царскую империю. Троцкий и Коллонтай — как и Бухарин — верили, что национальное государство скоро станет пережитком прошлого, и потому не признавали его самостоятельной революционной силой.

Не готовы они были и немедленно принять ленинский призыв к «войне против войны». Им были ближе пацифистские лозунги старых друзей среди меньшевиков-интернационалистов. Ни Троцкий, ни Коллонтай ещё не хотели окончательно порывать с меньшевиками, разделяя их сомнения в жёсткой ленинской доктрине партийной организации. Оба двигались к большевикам, но ещё надеялись объединить два крыла социал-демократии вокруг широкой кампании за мир.

В ноябре 1914 года Троцкий присоединился в Париже к Мартову и стал сотрудничать с «Нашим словом» — несомненно, самым блестящим пацифистским изданием Европы. Его позицию он представлял на Циммервальдской конференции в сентябре 1915 года — тайной встрече тридцати восьми интернационалистов из разных стран в маленькой горной деревне близ Берна. Пламенный манифест против войны, принятый вопреки ленинской резолюции о гражданской войне, составил сам Троцкий:

> Рабочие мужчины и женщины! Матери и отцы! Вдовы и сироты! Раненые и искалеченные! Ко всем, кто страдает от войны и вследствие войны, мы обращаемся через границы, через дымящиеся поля сражений, через разорённые города и деревни: «ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»[70]

К этому времени Коллонтай уже окончательно примкнула к Ленину. Несомненно, сыграл роль её роман с Александром Шляпниковым — красивым рабочим-большевиком на двенадцать лет моложе. Осенью 1914 года он приехал к ней в Стокгольм, а в последующие военные годы выполнял поручения Ленина, постоянно ездя в Россию. Но, вероятно, сильнее романтического чувства действовали собственная эмоциональная преданность интернационализму и желание любой ценой покончить с войной.

Война ощущалась повсюду как удушающая сила, толкавшая цивилизацию к краю пропасти. «Столько крови пролито, столько преступлений совершается каждый день, каждый час, — писала Коллонтай в дневнике на Рождество 1915 года. — И война — она властвует над всем. Незримая, она решает судьбу каждого из нас. Перед ней индивидуальная воля бессильна. Именно это чувство беспомощности перед войной, ощущение её как неудержимой силы овладело мной с первых дней, ещё в Берлине».

Только ленинский призыв к вооружённому восстанию казался ей способом остановить войну. Только он обещал вернуть человеческой воле и действию власть над объективными силами. «Это не просто “анализ”, — записала она о ленинских тезисах о войне. — Это действие. Это политическая программа… Пусть баррикады ответят войне».[71]

И Троцкого ленинский акцент на воле и действии пролетариата постепенно приближал к большевикам. Всё яснее ему казалось, что его старый друг и учитель Мартов и другие меньшевики-интернационалисты попали в плен собственного анализа объективных условий — а те в тот момент все работали против революции — и поэтому забыли о возможности воспитывать революционную волю, «субъективную» сторону революции, чтобы эти условия преодолеть. Чрезмерно анализируя обстоятельства, меньшевики сделались пленниками собственного социального детерминизма. Их революционные лозунги рисковали превратиться в пустые фразы.

Нужны были действия — «пролетарская революция» по всей Европе, чтобы положить конец войне.

Сначала Мартов соглашался, и Троцкий надеялся на широкую антивоенную кампанию, способную вновь объединить левых меньшевиков и большевиков. Но к осени 1915 года, когда меньшевики-оборонцы окончательно поддержали военную кампанию, Мартов отступил от призыва к оружию и занял более пассивную, пацифистскую позицию своей партии. Троцкому оставалось двигаться влево. Этот путь был вовсе не таким прямым, как он позднее изображал. Его по-прежнему тревожили ленинские централизация и экстремизм. В большевистскую партию он вступит лишь в июле 1917 года — и, как говорил сам, только потому, что большевики «становились менее большевистскими».

Однако движение шло именно в их сторону, и круг Троцкого всё больше состоял из будущих большевистских руководителей. Почти все главные авторы «Нашего слова», кроме Мартова, в 1917 году примкнут к Ленину. Некоторые станут наркомами первого советского правительства: Коллонтай — государственного призрения, Анатолий Луначарский — просвещения, Владимир Антонов-Овсеенко — военных дел, сам Троцкий — иностранных дел.[72]

Поэтому нью-йоркский период 1917 года, сотрудничество с Бухариным и Коллонтай стали важной остановкой на пути Троцкого влево. Он снял трёхкомнатную квартиру в Бронксе: дешёвую по американским меркам, но давшую непривычные блага — электрический свет, мусоропровод и телефон. Позднее возникли легенды, будто в Нью-Йорке Троцкий работал посудомойщиком, портным и даже актёром. На самом деле он кое-как жил на заработки от эмигрантской журналистики и лекций — на английском и немецком — о необходимости мировой революции, которые читал перед полупустыми залами.

Он ел в еврейских закусочных и раздражал официантов отказом оставлять чаевые: считал, что это унижает их достоинство. Купил мебель в рассрочку; когда весной семья уехала в Россию, двести долларов так и остались неоплаченными. К тому времени, когда кредитная компания наконец нашла должника, Троцкий уже был министром иностранных дел крупнейшей страны мира.[73]

* * *

В большевистском руководстве существовал коренной раскол, почти не замеченный историками, — между теми, кто провёл годы войны за границей, и теми, кто оставался в России. Эмигранты (например, Троцкий, Луначарский, Бухарин и Коллонтай) были склонны к более интернациональному и космополитическому мировоззрению. Пропитанные европейской культурой, они слишком хорошо сознавали относительную отсталость России. Многие из них когда-то были меньшевиками и потому хорошо понимали теоретические трудности попытки ввести социализм в России без одновременной революции в более передовых странах Запада. Те же большевики, которые провели годы войны в России (например, Сталин и Дзержинский), были склонны к более узкому взгляду на вещи. Многие из них происходили не из интеллигенции, и мало кто знал Европу, её культуру или языки. Проведя войну в подпольных организациях, в тюрьмах или в сибирской ссылке, они, как правило, выходили из неё с крепостным, осадным отношением к партии, к стране и к её связям с внешним миром. Многие питали ксенофобские настроения — не в последнюю очередь по отношению к еврейским интеллигентам в партии (особенно к Троцкому). После февраля 1917 года многие из них намекали в своих речах, что вернувшиеся эмигранты-большевики (за подчёркнутым исключением Ленина) были во время войны не слишком патриотичны. Здесь, в этом столкновении (если угодно) «почвенников» и «космополитов», лежали социальные корни идейной борьбы в партии 1920-х годов между «социализмом в одной стране» и «мировой революцией». Не случайно все главные союзники Сталина в его восхождении к власти (Молотов, Ворошилов, Каганович, Калинин, Киров, Куйбышев и Орджоникидзе) провели годы войны в самой России, а большинство его жертв в партии (Троцкий, Бухарин, Зиновьев, Антонов-Овсеенко) — за границей.

Пока эмигранты-революционеры спорили об идеологии, их осаждённые товарищи на родине были заняты более практическими заботами. Аресты, высылки и ссылки подорвали большевистскую партию в России (как и подпольные организации меньшевиков и эсеров). Осиротевшие без своих вождей, лишённые закрытой «Правды», большевистские организации почти не имели руководства. Шляпников поддерживал последнюю тонкую нить связи с Лениным, провозя

пропаганду в Россию в подошвах своих ботинок. Это было похоже на возвращение к конспиративным приёмам времён до 1905 года. После массовых арестов осени 1914 года в Петрограде насчитывалось менее 500 большевиков. В губернских организациях было лишь по горстке членов. Главной слабостью партии была нехватка интеллектуальных сил: по словам Шляпникова, в столице не было никого, кто мог бы написать хотя бы листовку. Но была и тревожная проблема падения поддержки со стороны рабочих — и моральной, и денежной, — во многом из-за полицейской слежки и преследований. Профсоюзы и просветительные общества были запрещены, а воинственно настроенных рабочих отправляли в армию. Арест пятерых большевистских депутатов Думы в ноябре 1914 года и суд над ними по обвинению в измене в феврале следующего года не вызвали у массы рабочих почти никакого протеста. Некоторые, несомненно, поддались господствовавшему патриотическому настроению. Но большинство боялись увольнения или, хуже того, тюрьмы, если присоединятся к 2000 забастовщиков, выступивших в поддержку депутатов. Ведь это было время, когда полиция поощряла черносотенные толпы ходить по рабочим кварталам, распевая «Боже, царя храни», и избивать всякого, кто не снимал шапку.[74]

Однако по мере того как война затягивалась, а экономический кризис углублялся, большинство рабочих вновь качнулось к воинствующим левым, возобновив волну рабочего протеста, начавшуюся в 1912–1914 годах. Это был не столько кризис экономического упадка и застоя, сколько кризис лихорадочного инфляционного роста. Война принесла промышленный бум, в основном ради нужд армии. Число железнодорожных рабочих выросло на полмиллиона, строительство — на треть, а миллион беднейших крестьян, большей частью женщины и подростки, хлынули на фабрики, где их можно было ставить к механизированным конвейерам за меньшую плату и на более долгий рабочий день, чем старших и более квалифицированных рабочих. Чтобы оплатить огромные военные расходы, правительство печатало рубли: с 1914 по 1917 год денежная масса выросла в восемь раз. Вызванный этим бум потребительского спроса намного обгонял сокращавшееся предложение потребительских товаров, поскольку промышленность переключилась на военное

производство. У рабочих было слишком много денег в карманах и слишком мало того, на что их тратить, и цены взлетели. Запрет на продажу водки — государственной монополии, которая до 1914 года поглощала примерно 10 процентов доходов рабочих, — лишь усугубил этот денежный навес (который мы называем инфляцией). При питейных привычках русских он породил ещё и всевозможные общественные злоупотребления — питьё одеколона, денатурата, бальзамов, лаков, подпольного самогона и печально известного спирта «ханжи», который делали и продавали китайские рабочие и от которого умерли сотни людей.[75] Запрет на водку стал одним из главных источников недовольства простонародья правительством и озлобления против богатых, поскольку дорогие вина и ликёры под запрет не подпадали. В целом, если взвесить небольшие выгоды для трезвости против крупных потерь в доходах казны, в сдерживании инфляции, в здоровье населения и в политическом авторитете, сухой закон был не чем иным, как бедствием, немало способствовавшим падению старого режима.

Но главная беда заключалась в растущей неспособности рабочих превратить свою денежную заработную плату в продовольствие. Поразительный парадокс: если до войны Россия вывозила зерно и всё же могла прокормить городское население, то во время войны, когда весь вывоз был прекращён, она не всегда могла сделать даже это. Это была не столько проблема сельскохозяйственного производства, сколько проблема распределения и обмена. Отчасти она объяснялась хроническим расстройством транспорта. Если железные дороги по расписанию шли с востока на запад, чтобы снабжать армию, то продовольствие для крупных промышленных центров везли с юга на север, и, поскольку армия всегда была на первом месте, оно нередко гнило на запасных путях в ожидании паровоза, который отвёз бы его в Москву или Петроград. Другая сторона проблемы была связана со сдвигом от товарных хозяйств к крестьянским. Крупные имения и товарные хозяйства сильно пострадали от войны. Мобилизация солдат оставила их без наёмной рабочей силы, а переход промышленности на выпуск боеприпасов — без орудий и машин. В целом сельскохозяйственное производство не сократилось, но большие площади помещичьей земли были сданы в аренду зажиточным крестьянам, которых нехватка рабочих рук затронула меньше (армия в

основном забирала лишь избыточное крестьянское население) и которые обычно сами изготовляли свои примитивные орудия. Так, например, с 1913 по 1916 год частные имения центрального земледельческого района сократили свою посевную площадь с 21 до 7 миллионов десятин, тогда как крестьянские хозяйства района увеличили свою с 47 до 64 миллионов десятин. За несколько лет до аграрной революции 1917–1918 годов упадок помещичьих имений и их замещение крестьянскими хозяйствами уже шли полным ходом.

Этот сдвиг в сторону мелкого крестьянского хозяйства привёл к снижению общей товарности зерна, поскольку большинство крестьян производили для нужд собственного семейного хозяйства и обычно продавали лишь небольшую часть урожая. Растущая нехватка промышленных товаров в деревне — и их вздутые цены — ещё больше поощряли эти натурально-хозяйственные тенденции. С 1913 по 1915 год доля крестьянского зерна, продаваемого на рынке, упала с 16 до 9 процентов. Не имея возможности что-либо купить на свои деньги, крестьяне всё больше переходили от товарных культур (пшеницы, ячменя и сахарной свёклы) к потребительским (ржи, овсу и картофелю). Они больше ели, лучше кормили скот, наполняли амбары и перегоняли зерно в водку, вместо того чтобы продавать его на рынке за падающую выручку. Некоторые мелкие хозяева ориентировали производство и на собственные домашние промыслы (шерсть, кожи, хлопок), становясь почти самодостаточными. Для многих крестьян жизнь никогда не была так хороша, как в разгар войны. Даже их коровы питались лучше многих городских рабочих.[76]

В августе 1915 года правительство, обеспокоенное растущими трудностями продовольственного снабжения городов, учредило Особое совещание с широкими полномочиями по закупке зерна по твёрдым ценам через местных уполномоченных. Но попытки регулировать рынок лишь ещё больше отбивали у крестьян охоту продавать зерно: нерегулируемые цены на промышленные изделия росли теперь гораздо быстрее твёрдых цен на продовольствие. Это был так называемый «кризис ножниц». На московских рынках, например, за первые два года войны рожь подорожала на 47 процентов, тогда как пара сапог — на 334 процента, а коробок спичек — целых на 500 процентов.[77] Развернулась экономическая война: крестьяне придерживали продовольствие, а

правительство прибегало ко всё более принудительным мерам, пытаясь выжать из них запасы. В ноябре 1916 года, когда снабжение армии и городов дошло до критического уровня, правительство наконец ввело систему обязательной разверстки, сходную с той, что позднее применяло Временное правительство. Но, если не строить грандиозное государство террора, как сделали большевики со своей «продовольственной диктатурой», выбить зерно из крестьян оказалось невозможно. Лишь спекулянтам чёрного рынка (которые могли достать дефицитные товары) и солдатам (которые могли выменять свои армейские сапоги и шинели) удавалось уговорить крестьян открыть амбары.

С осени 1915 года северные города стали испытывать растущую нехватку продовольствия. У булочных и мясных лавок появились длинные очереди. После десятичасовой смены на фабриках женщины расставляли табуретки и скамейки, чтобы дождаться в очереди жалкой порции хлеба или сахара. К следующей осени они приносили к продовольственным лавкам постели и спали прямо на улице — нередко потому, что, когда столько окрестных лавок закрылось из-за отсутствия продуктов, у них просто не было времени за один вечер пересечь город и вернуться домой. Накануне 1917 года средняя работница в Петрограде проводила в различных очередях за продуктами, вероятно, около сорока часов в неделю.[78] Хлебные очереди, в частности, превратились в своего рода политический форум или клуб, где обменивались слухами, сведениями и мнениями. Именно в этих очередях улица начала организовываться к грядущей революции. Февральская революция родилась в хлебной очереди. Она началась, когда группа работниц-текстильщиц на Выборгской стороне Петрограда, потеряв терпение в очереди, отправилась поднимать мужчин на соседних металлических заводах, чтобы идти маршем протеста к центру города.

Экономический кризис сильнее всего ударил по низкооплачиваемым. Квалифицированные металлисты, нарасхват требовавшиеся на оборонных заводах, до 1916 года получили в среднем 30-процентный рост реальной заработной платы. Но неквалифицированные рабочие и мелкие служащие на твёрдых окладах — учителя, конторщики, полицейские — видели, как их заработки всё больше отстают от растущих цен на продовольствие и жильё. С 1914 по

1916 год калорийность питания неквалифицированных рабочих снизилась на четверть, детская смертность удвоилась, преступность выросла втрое, а число проституток — в четыре-пять раз. Из Петрограда, где он жил с начала войны, Горький писал Екатерине в ноябре 1915 года:

> Скоро у нас будет голод. Советую купить десять фунтов хлеба и спрятать. На окраинах Петрограда можно видеть хорошо одетых женщин, просящих милостыню. Очень холодно. Людям нечем топить печи. По ночам то тут, то там разбирают деревянные заборы. Что стало с Двадцатым веком! Что стало с Цивилизацией! Поражает количество малолетних проституток. Идёшь ночью и видишь их: бредут по тротуарам, словно тараканы, синие от холода и голода. Во вторник я разговаривал с одной. Сунул ей в руку немного денег и поспешил прочь, плача, в таком отчаянии, что хотелось биться головой о стену. Ах, к чёрту всё это, как тяжело стало жить.[79]

После года промышленного затишья война между трудом и капиталом возобновилась летом 1915 года чередой забастовок. Сначала это были главным образом небольшие остановки из-за заработной платы и условий труда, но постепенно они превращались в крупные политические стачки: рабочие понимали, что закончить экономические бедствия можно лишь прекратив войну и сменив правительство. Главные даты революционного календаря — Кровавое воскресенье 9 января, Международный женский день 23 февраля, День труда 18 апреля (1 мая) — стали привычными днями забастовок и митингов по всей стране.

Обычно начинали с требований хлеба, но затем звучали лозунги восьмичасового рабочего дня, прекращения войны и свержения царя.

Революционные партии играли в этих стачках лишь второстепенную роль. Правда, некоторые крупнейшие и наиболее боевые выступления 1916 года — например, весенняя стачка на заводе «Новый Лесснер» — во многом проходили под руководством большевиков, чья организация постепенно крепла. Шляпников, вернувшийся в Россию осенью 1916 года, оценивал численность партии в начале 1917-го примерно в десять тысяч человек, до трёх тысяч из них — в Петрограде. Квартира Горького на Кронверкском проспекте была «единственным в своём роде центральным пунктом» подпольной революционной работы; Шляпников заходил туда почти ежедневно за последними сведениями.

Но настоящими вожаками забастовок были грамотные квалифицированные рабочие цехов — дерзкие молодые мужчины двадцати-тридцати лет, вроде Канатчикова, хотя большинство, в отличие от него, не состояло ни в одной партии. Многие из них в годы войны даже увеличили реальную зарплату, но их возмущали огромные военные прибыли хозяев.[55] Это всё сильнее укрепляло чувство классовой солидарности с неквалифицированными рабочими, часто недавними крестьянами, которые шли вслед за ними в промышленную борьбу.[80] Именно такими были безымянные вожди толпы в февральские дни Петрограда.

Когда-то подобные рабочие активисты могли бы откликнуться на меньшевистский призыв участвовать в Рабочей группе — придатке Военно-промышленных комитетов, созданном осенью 1915 года. Его задачей было прекратить стачки, дав рабочим представителям возможность сесть за стол с предпринимателями и высказать жалобы. Это был совершенный продукт либерально-демократической надежды, ещё свежей в 1915 году: широкий союз всех классов должен был привести нацию к победе, а правительство — к реформам.

Некоторое число рабочих действительно было готово попробовать путь соглашения, особенно на крупных государственных военных заводах, где оставалось сильным меньшевистское влияние. Но в других местах едва половина рабочих вообще участвовала в выборах заводских делегатов Рабочей группы. Это, вероятно, объяснялось общей апатией больше, чем сознательной поддержкой призыва большевиков и эсеров

[55] Крупные металлургические заводы Петрограда — наиболее крайний пример — за годы войны увеличили прибыль примерно в пять раз. Всё началось с хлеба. Уже несколько недель петроградским булочным не хватало хлеба, особенно в рабочих районах, и перед ними стали выстраиваться длинные очереди. Дело было не в отсутствии запасов. По словам градоначальника Балка, когда хлебные волнения переросли в революцию, на городских складах имелось достаточно муки, чтобы кормить население по меньшей мере неделю. Правда, магазины уже не ломились от товаров. Подходила к концу третья военная зима, и всюду ощущалась суровая экономия. Булочки, пироги, пирожные и печенье больше не пекли. «В магазинах уже нет прежнего изобилия товаров и провизии, — писал домой 13 февраля один англичанин. — В ресторанах исчезла роскошная выпечка из-за нехватки сахара». К тому же это была самая холодная зима за несколько последних лет. Средняя февральская температура в Петрограде составляла пятнадцать градусов мороза. «Здесь холодно, как в Лапландии», — писал Горький Екатерине 4 февраля. Арктические морозы и метели почти парализовали железные дороги. Заводы закрывались. Тысячи уволенных рабочих слонялись по улицам.1

бойкотировать выборы. В любом случае недостаток энтузиазма оказался оправдан. Рабочая группа не добилась двух главных требований — созыва Всероссийского рабочего съезда и создания примирительных комиссий для арбитража трудовых конфликтов. Блок предпринимателей и бюрократов, господствовавший в комитетах, всё дальше отходил от идеи уступок рабочему классу.

Политика примирения была дискредитирована; рабочие всё чаще переходили к боевым забастовкам, а Рабочая группа оказалась в растущей пропасти между двумя сторонами промышленной войны. Уже не способная останавливать стачки, осенью 1916 года она сама присоединилась к ним под лозунгом «временного революционного правительства».[81]

17 октября рабочие «Нового Лесснера» и «Русского Рено» на Выборгской стороне Петрограда прекратили работу и вышли на улицы с революционными песнями. Когда демонстрация приблизилась к казармам 181-го пехотного полка, полиция бросилась на людей с саблями и нагайками. Солдаты, наблюдавшие за демонстрантами из-за ограды и подбадривавшие их, вышли защищать рабочих и стали бросать в полицейских камни и кирпичи. Лишь прибытие учебной команды конных казаков восстановило порядок. Военное начальство арестовало 130 солдат и вывело мятежный полк из столицы. Но уже на следующий день в знак солидарности бастовали новые заводы; к 19 октября политическую стачку поддержали до 75 тысяч рабочих шестидесяти трёх предприятий во всех районах города.[82]

Для царского режима это был зловещий признак нежелания армии подавлять растущее уличное восстание. Особенно ненадёжен был Петроградский гарнизон, ближе всего находившийся к источникам революционной пропаганды. Он состоял из старших запасных — в основном семейных мужчин — и раненых, эвакуированных с фронта; возможно, двух самых антивоенных групп во всей армии. Тем более безрассудным было решение режима почти исключительно на него рассчитывать в случае революции.

Военное начальство явно не представляло настроений солдат. Охранка имела агентов, следивших за политическим климатом практически во всех гражданских учреждениях, но невероятным образом почти не имела агентуры в армии, которой занимался

маленький отдел военной разведки. Начальник Петроградского военного округа генерал-майор Хабалов незадолго до революции уверял Протопопова: гарнизон исполнит любой приказ. Он даже отверг предложение министра внутренних дел вывести из столицы несколько ненадёжных частей.

Между тем полковник Энгельгардт, депутат-октябрист, которому вскоре предстояло сменить Хабалова в качестве военного комиссара Временного правительства, называл запасные батальоны Петроградского гарнизона не иначе как «вооружёнными толпами». Они были скорее «горючим материалом, чем опорой режима». Дело Распутина, отмечал Виктор Шкловский, служивший инструктором в одной из броневых частей гарнизона, окончательно разрушило солдатскую верность царю. Полицию солдаты ненавидели и называли «семишниками» — считалось, что полицейский получает по две копейки за каждого арестованного. Революцию все ожидали как «установившийся факт — все знали, что она придёт».[83]

Ненадёжен был не только столичный гарнизон. Во многих частях Северного и Западного фронтов, а ещё сильнее в тыловых гарнизонах, дисциплина быстро разрушалась. Солдаты всё чаще отказывались идти в атаку, братались с противником, отвергали власть офицеров. Будучи крестьянами и мечтая вернуться к хозяйству, они всё яснее видели в офицерах старых классовых врагов — помещиков в форме. Только на Юго-Западном фронте, в тысяче миль от революционной столицы, оставались целые части, на которые режим мог уверенно опереться. Но даже там командующий Брусилов регулярно получал анонимные письма от солдат: они «больше не хотят воевать, и если мир не будет заключён в ближайшее время, меня убьют».[84]

Когда армия вступила в третью и самую холодную зиму войны, моральное состояние солдат резко ухудшилось. Теперь дело было уже не столько в снабжении: одеждой и боеприпасами обеспечивали лучше, чем годом ранее, благодаря росту отечественного производства и зарубежным заказам, хотя продовольствие оставалось тяжёлой проблемой. Это был прежде всего кризис власти, полного отчаяния и истощения. Солдаты не видели конца бойне, пока командует нынешний режим.

В ноябре 1916 года один солдат писал жене:

Все делают вид, будто война скоро закончится и наступит долгожданный мир, но это только для поддержания духа. Люди так измучены и разрушены, столько перенесли, что им едва удаётся удержать сердце от разрыва и не сойти с ума… Может быть, я ошибаюсь, может быть, не понимаю настроения людей и мне всё кажется таким лишь потому, что я сам истощён и в последние дни понял: в этом хаосе я могу потерять рассудок… Люля, я написал всё это, чтобы ты поняла, какого человека ты любишь.[85]

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РОССИЯ В РЕВОЛЮЦИИ (ФЕВРАЛЬ 1917 — МАРТ 1918)

ГЛАВА 8

СЛАВНЫЙ ФЕВРАЛЬ

i. Власть улицы

Всё началось с хлеба. Уже несколько недель в петроградских булочных, особенно в рабочих районах, не хватало хлеба, и стали выстраиваться длинные хлебные очереди. Дело было не в нехватке запасов. По словам градоначальника Балка, муки на складах хватило бы, чтобы кормить население по меньшей мере неделю, когда то, что началось как череда хлебных бунтов, переросло в революцию. Правда, лавки не ломились от товаров. Шла к концу третья военная зима, и повсюду ощущалась скудость. Булочек, пирогов, пирожных и печенья больше не пекли. «В магазинах уже нет такого полного ассортимента товаров и продуктов, — писал домой 13 февраля один англичанин. — В ресторанах больше не подают больших изысканных пирожных из-за нехватки сахара». К тому же это была самая холодная зима в России за несколько лет. Средняя февральская температура в Петрограде составляла пятнадцать градусов мороза. «Здесь холодно, как в Лапландии», — писал Горький Екатерине 4-го числа. Арктические морозы и метели почти остановили железные дороги. Закрывались фабрики. Тысячи уволенных рабочих бродили по улицам.[1]

Именно это превратило трудности снабжения в кризис. Из-за развала транспортной системы Петроград лишился регулярного подвоза муки и топлива. Из-за нехватки то одного, то другого булочные постоянно закрывались. Женщины всю ночь стояли в очереди за буханкой хлеба, а под утро им объявляли, что сегодня хлеба не будет. Постоянные перебои естественно порождали слухи. В очередях говорили, что «спекулянты» и «капиталисты» — в ксенофобской атмосфере военного времени под этим обычно подразумевали немецких или еврейских торговцев — нарочно придерживают запасы, чтобы взвинтить цены. Многие винили правительство: разве оно само не было полно немцев? Даже образованные либералы были склонны видеть в нехватке продовольствия злой умысел изменнической власти. 19 февраля петроградские власти объявили, что с 1 марта вводятся карточки. Тут же

распространились слухи, будто хлеб скоро закончится совсем и безработных оставят голодать. Началась паническая скупка: полки опустели, вспыхивали драки, в нескольких булочных разбили витрины.[2]

В четверг 23 февраля температура в Петрограде поднялась до почти весенних пяти градусов мороза. Люди вышли из зимней спячки — погреться на солнце и продолжить поиски еды. Невский проспект был переполнен покупателями. Мягкая погода должна была продержаться до 3 марта — к этому времени царский режим уже рухнет. Не впервые в русской истории погода сыграла решающую роль.

23 февраля отмечался Международный женский день — важная дата социалистического календаря. Около полудня огромные толпы женщин двинулись к центру города, требуя равноправия. Балк описывал их так: «дамы из общества, гораздо больше крестьянок, девушки-студентки и, по сравнению с прежними демонстрациями, немного рабочих». На фотографиях видно, что женщины шли по Невскому в хорошем настроении.

Но после полудня настроение стало меняться. Работницы текстильных предприятий Выборгской стороны утром объявили забастовку в знак протеста против нехватки хлеба. К ним присоединились мужчины с соседних металлообрабатывающих заводов. По пути в центр они увлекали за собой рабочих других предприятий, а иногда силой заставляли их прекращать работу, крича: «Хлеба!» и «Долой царя!». К концу дня бастовало около 100 000 рабочих. На Литейном мосту, соединявшем Выборгскую сторону с центром, произошли столкновения с полицией. Большинство рабочих было отброшено назад, разошлось по домам, по дороге разграбив несколько магазинов. Но несколько тысяч человек перешли Неву по льду и вышли к Невскому проспекту, где присоединились к женщинам с криками «Хлеба!». Самые густые толпы собрались у городской думы. Казаки Балка не смогли их разогнать и, более того, явно не стремились это делать: они подъезжали к женщинам, останавливались и отступали. Позже выяснилось, что большинство казаков были запасными, не имели опыта разгона толпы, а их лошади не привыкли к городским улицам. По недосмотру им не выдали привычных нагаек. Для властей это оказалось роковой ошибкой. Проявленная казаками слабость придала рабочим смелости в последующие дни.[3]

На следующее утро ярко светило солнце. На заводах по всему городу проходили собрания, и под влиянием социалистических агитаторов рабочие решили снова идти в центр. Многие вооружились ножами, гаечными ключами, молотками и железными прутьями — отчасти чтобы пробиться через кордоны казаков и полиции, выставленные за ночь на их пути, отчасти чтобы разграбить хорошо снабжённые продовольственные магазины богатого центра. Поход напоминал выступление голодной рабочей армии на войну. «Товарищи, — призывал один заводской агитатор, — если мы не можем честным путём добыть себе буханку хлеба, значит, надо идти до конца: надо выступить и силой решить нашу проблему… Товарищи, вооружайтесь всем, чем можно, — болтами, гайками, камнями, — выходите с завода и начинайте громить первые попавшиеся магазины».

К середине утра на улицы вышло около 150 000 рабочих. Они двинулись к мостам, соединявшим промышленные окраины с административным центром. По пути били витрины, грабили магазины, переворачивали трамваи и экипажи. На Литейном мосту толпа из 40 000 рабочих Выборгской стороны смяла небольшой отряд казаков, явно не готовый к такому напору. «Но мне никто не говорил, что будет революция!» — воскликнул один полицейский, увидев приближающуюся массу рабочих. На Троицком мосту демонстранты пробили путь сквозь конную полицию, забрасывая её камнями и кусками льда. Огромные толпы стекались к Невскому проспекту. Конные казаки не могли их рассеять: они проносились поперёк улицы и выезжали на тротуары, заставляя людей разбегаться, но стоило им остановиться, как толпа вновь собиралась и начинала подходить к солдатам, предлагая им хлеб и окликая их. К этому времени к рабочим присоединились студенты, лавочники, банковские служащие, извозчики, дети, хорошо одетые дамы и господа — кто из сочувствия, кто просто из любопытства. Балк писал, что толпа на Невском состояла «из обычного народа». На улицах царило почти праздничное настроение, чему, несомненно, способствовала хорошая погода. Один очевидец сравнил происходящее с «огромным цирком». Артур Рэнсом, корреспондент Daily News, описывал ощущение этого дня как «несколько опасное возбуждение, похожее на праздничный день, когда в воздухе чувствуется гроза». На Знаменской площади состоялся

огромный митинг. Конный памятник Александру III — грозный монумент принципам самодержавия — был завоёван революционными ораторами. Мало кто в толпе мог расслышать их слова, но это было неважно. Люди и без того знали, что хотят услышать; одного вида смелого свободного выступления с вершины такого памятника, на глазах у полиции, было достаточно, чтобы утвердить их в мысли: революция началась. Поздно вечером, когда толпа наконец разошлась, полиция обнаружила на постаменте вырезанное крупными буквами слово «БЕГЕМОТ» — народное прозвище памятника.[4]

Ободрённые отсутствием решительных репрессий, в субботу 25 февраля на улицы вышли ещё большие толпы. Фактически началась всеобщая забастовка. Все крупные предприятия города остановились; около 200 000 рабочих присоединились к демонстрациям. Газеты не вышли. Трамваи и извозчики почти исчезли. Многие магазины и рестораны закрылись. К колоннам рабочих, направлявшимся в центр, присоединялись самые разные люди. Балк считал, что движение «приобрело характер народного восстания». По сравнению с предыдущими двумя днями демонстрации стали заметно политичнее. Появились красные флаги и транспаранты; лозунги требовали уже не столько «Хлеба!», сколько свержения самодержавия. Главными стали крики «Долой царя!» и «Долой войну!».

Снова происходили столкновения с полицией на мостах, связывавших окраины с центром. На Литейном мосту полицмейстер Шалфеев предпринял последнюю отчаянную попытку остановить демонстрантов и верхом бросился прямо в толпу. Люди расступились, а затем сомкнулись вокруг него. Шалфеев, размахивая нагайкой, пытался пробиться наружу, но его стащили с лошади. Один рабочий стал избивать его палкой, другой выхватил у него револьвер и выстрелил в сердце. Никто из казаков, охранявших мост, не вмешался.

Постепенно это стало общей схемой: ожесточённые столкновения с полицией и одновременно попытки склонить солдат на сторону народа. Полицейские были «их» — ненавистными агентами режима. В народе их называли «фараонами» — примерно так же, как сегодня полицию могут называть «легавыми», — и никто не сомневался, что они будут

сражаться до конца.[56] Солдаты, напротив, воспринимались как «наши» — крестьяне и рабочие в мундирах. Люди надеялись, что, если им прикажут стрелять в толпу, они скорее перейдут на сторону народа. Когда стало ясно, что это возможно — по нерешительности солдат, по выражению их лиц, по случайным подмигиваниям в сторону демонстрантов, — инициатива перешла к улице. Это был важнейший психологический момент революции.

Первое символическое сражение этой войны нервов произошло на Невском проспекте днём 25 февраля — и закончилось полной победой народа. Часть толпы остановил эскадрон казаков у Казанского собора. Неподалёку, двенадцатью годами ранее, в Кровавое воскресенье 1905 года конногвардейцы расстреляли похожую толпу. Из рядов демонстрантов вышла молодая девушка и медленно направилась к казакам. Все напряжённо следили за ней: неужели они станут стрелять? Девушка достала из-под пальто букет красных роз и протянула его офицеру. Наступила пауза. Букет был одновременно символом мира и революции. Затем офицер наклонился с седла, улыбнулся и принял цветы. Толпа с облегчением и ликованием взорвалась громовым «Ура!».[5] С этого момента люди стали говорить «товарищи казаки» — поначалу это звучало довольно непривычно.

Офицерам становилось всё труднее заставлять солдат выполнять приказы. Полковник Ходнев, командир Финляндского запасного полка, горько жаловался на казаков. Они были «крайне вялы и нерешительны», а их «бездействие особенно бросалось в глаза, когда они действовали отдельным патрулём или взводом под командованием молодого урядника либо младшего офицера. Не раз я слышал, как они говорили: „Теперь не 1905 год. Нагайками махать не будем. Против своих, против народа, не пойдём“». Правда, некоторые солдаты всё ещё были готовы — чаще по собственной инициативе или по приказу младшего офицера, когда пугались или чувствовали угрозу, — применять силу. В районе Гостиного двора взвод драгун открыл огонь, убив троих и ранив десятерых; у городской думы были застрелены ещё девять демонстрантов. Но всё больше солдат либо отказывались стрелять, либо намеренно били поверх голов. Некоторые даже вставали вместе с

[56] Ходили слухи, что Протопопов обещал каждому полицейскому по 500 рублей за каждую рану, полученную от толпы.

народом против полиции. На Знаменской площади казаки вступились за толпу, когда конная полиция, не сумев захватить красное знамя, пригрозила атакой. Казаки с обнажёнными шашками въехали в толпу и сами набросились на конных полицейских. Те ускакали, преследуемые людьми, бросавшими камни. Полицейский начальник остался лежать мёртвым — его тело было изрублено казацкими шашками и пробито револьверными пулями.[6]

* * *

Даже вечером 25 февраля власти ещё могли удержать ситуацию под контролем, несмотря на растущую уверенность толпы в собственных силах. Главное, как, по-видимому, понимал Совет министров на полуночном заседании, заключалось в том, чтобы не вступать в открытое столкновение с народом: это лишь подлило бы масла в огонь и создало риск мятежа среди солдат гарнизона. Ещё оставались основания предполагать — или, по крайней мере, действовать исходя из такого предположения, — что гнев демонстрантов вызван главным образом нехваткой хлеба и что после решения продовольственной проблемы люди устанут от протестов и вернутся на работу. Именно так завершались несколько недавних хлебных бунтов; хотя нынешние волнения выглядели более грозно, пока не было достаточных причин считать, что исход окажется иным. Так думали и социалистические лидеры в столице. Николай Суханов, пожалуй, самый известный мемуарист революции, полагал, что пока происходят лишь «„беспорядки“ — революции ещё нет». Шляпников, главный большевик в столице, высмеивал мысль о начале революции. «Какая революция? — спросил он на собрании местных партийных руководителей 25 февраля. — Дайте рабочим по фунту хлеба — и движение сойдёт на нет».[7]

Но все шансы удержать беспорядки под контролем были уничтожены тем же вечером самим царём. Получив сведения о положении дел в Ставке в Могилёве, Николай направил генералу Хабалову, командующему Петроградским военным округом, телеграмму с приказом применить военную силу и «завтра же прекратить беспорядки».[8] Трудно придумать более наглядное свидетельство того, насколько царь утратил связь с действительностью. И трудно было придумать более надёжный способ вызвать революцию.

Справедливости ради, Николая с самого начала плохо информировали. 22 февраля он уехал из столицы в Могилёв, получив от Протопопова заверения, что тревожиться не о чем. После этого полиция и Хабалов в донесениях царю преуменьшали серьёзность положения: им было неловко признать, что события выходят из-под контроля. Поэтому, отдавая роковой приказ, Николай почти не понимал, насколько шаток баланс сил и какие опасности таит применение оружия. Но знать происходящее в столице было его обязанностью, а обязанностью его советников — сообщать ему правду. Только царь мог отдать окончательный приказ стрелять в толпу, и после того, как приказ был отдан, никто из его советников уже не мог его оспорить. Иными словами, если режим пал из-за провала связи, остаётся лишь сказать, что он заслужил свою участь.

К утру воскресенья 26 февраля центр Петрограда превратился в военный лагерь. На главных перекрёстках и у стратегических зданий стояли солдатские пикеты и вооружённые полицейские; по улицам разъезжали конные патрули; офицеры связывались по полевым телефонам; на Дворцовой площади установили пулемёты, направленные вдоль Невского; в переулках дежурили военные санитарные кареты. Утро прошло спокойно: было воскресенье, люди долго спали. Но около полудня огромные толпы рабочих снова собрались на окраинах и двинулись к центру. Когда они стали стекаться на Невский, полиция и войска открыли по ним огонь в нескольких местах. На пересечении Невского и Владимирского проспектов Семёновский полк — тот самый, что подавлял московское восстание 1905 года, — застрелил нескольких демонстрантов. У Гостиного двора учебная команда Павловского полка сначала дала залп холостыми, а затем открыла огонь боевыми. Люди бросились за здания и в магазины, но через несколько мгновений снова выбегали и забрасывали солдат кирпичами и кусками льда. Десятки были убиты и ранены. Самая кровавая сцена разыгралась на Знаменской площади, где учебная команда Волынского полка расстреляла более пятидесяти человек. Это было настоящее злодеяние. Офицер, не сумев заставить своих молодых, явно испуганных солдат стрелять по демонстрантам, выхватил винтовку у одного из них и сам начал беспорядочно палить в толпу. Среди тел,

которые позднее сложили у «Бегемота», были два солдата этого же полка, перешедшие на сторону народа.[9]

Пролитая кровь — второе российское Кровавое воскресенье — стала решающим переломом. С этого момента демонстранты понимали, что вступили с режимом в борьбу не на жизнь, а на смерть. Парадоксальным образом, после того как худшее уже случилось и несколько товарищей были убиты, люди стали меньше бояться за собственную жизнь.[57] Солдаты же оказались перед выбором между нравственным долгом перед народом и присягой царю. Если они последуют первому — начнётся полномасштабная революция. Если сохранят верность присяге, режим, возможно, ещё сумеет выжить, как в 1905–1906 годах.

После расстрела на Невском разгневанная толпа демонстрантов ворвалась в казармы Павловского полка у Марсова поля и закричала солдатам, что часть их учебной команды стреляла в народ. Потрясённая этим известием 4-я рота павловцев решила немедленно идти на Невский и остановить бойню. «Они стреляют в наших матерей и сестёр!» — кричали солдаты, поднимая мятеж. Около ста человек взломали оружейную комнату, взяли тридцать винтовок и двинулись к Невскому. Почти сразу у канала Грибоедова они столкнулись с конным полицейским патрулём. Мятежники открыли огонь, убили одного полицейского и стреляли, пока не кончились патроны. Тогда они решили вернуться в казармы и поднять остальных. Но там их уже ждали войска Хабалова: прибывших разоружили и заперли. Девятнадцать зачинщиков арестовали и отправили в Петропавловскую крепость. Они стали её последними заключёнными — по крайней мере при царском режиме.[10]

Но для репрессий было уже поздно. Всех тюрем России не хватило бы, чтобы вместить революционеров, вышедших на улицы. Учебная команда Волынского полка, участвовавшая в расстреле на Знаменской площади, вечером вернулась в казармы, как и павловцы, терзаемая сомнениями и угрызениями совести. Один солдат утверждал, что среди убитых узнал собственную мать. Эти юные новобранцы были

[57] То же самое говорили в 1989 году после того, как власти ГДР открыли огонь по демонстрантам в Лейпциге. Толпа боится самой угрозы кровопролития, но становится смелее после того, как кровь уже пролита. Горький мрачно смотрел на всё это насилие и разрушение. 28 февраля Суханов застал его в подавленном настроении:

потрясены бойней, и их молодому унтер-офицеру — крестьянскому парню вроде Оськина, Сергею Кирпичникову — нетрудно было склонить их к выступлению. Кирпичников вспоминал:

> Я сказал им, что лучше умереть с честью, чем дальше выполнять приказы стрелять в толпу: «Наши отцы, матери, сёстры, братья и невесты просят хлеба, — говорил я. — Неужели мы будем их убивать? Вы видели сегодня кровь на улицах? Я говорю: завтра на позиции не выходить. Я сам идти отказываюсь». И солдаты как один закричали: «Мы останемся с тобой!»

Поклявшись поддержать Кирпичникова, солдаты решили не подчиниться командиру, когда тот на следующее утро снова прикажет им выступить против демонстрантов. На этом этапе они ещё не собирались поднимать полноценный мятеж: речь шла лишь о шумном и грубом протесте против приказа стрелять в народ и об отказе повиноваться. Но офицер, увидев перед собой разъярённых солдат, совершил роковую ошибку: сначала отошёл, а затем — что было ещё хуже — побежал через казарменный двор. Почувствовав свою власть над ним, солдаты подняли винтовки, и один выстрелил ему в спину. В одно мгновение они превратились в мятежников. В панике, не меньше чем в революционном возбуждении, они разбежались по казармам, призывая остальных присоединяться. Из Волынского полка за ними пошло сравнительно немного, зато гораздо больше желающих нашлось в соседних казармах Преображенского и Литовского полков и 6-го сапёрного батальона. Между верными и мятежными солдатами вспыхнули драки. Победившие бунтовщики захватили полковые арсеналы, убили нескольких офицеров и тысячами хлынули на улицы. Одни двинулись к центру, другие перешли на Выборгскую сторону, чтобы поднять Московский полк и соединиться с рабочими.[11]

Во всех этих мятежах решающую роль играли младшие командиры, многие из которых происходили из низших слоёв или придерживались демократических взглядов. Типичной фигурой был Фёдор Линде (1881–1917), унтер-офицер Финляндского полка. Он сыграл незаметную, но ключевую роль в переломе Февральской революции. Высокий, светловолосый и красивый, Линде был сыном немецкого химика и польской крестьянки. Он вырос на небольшой ферме под Петербургом, у Финского залива, где его мать содержала трактир, популярный среди

столичных революционеров, желавших уйти от полицейского надзора. Общаясь с постояльцами, романтически настроенный подросток Линде впервые вошёл в революционное подполье. В 1899 году он поступил на математический факультет Петербургского университета и сразу стал одним из лидеров студенческого протестного движения. Во время революции 1905 года сотрудничал со столичными социал-демократами и организовал студентов в «академический легион», распространявший пропаганду среди рабочих. Его арестовали и заключили в «Кресты», затем вынудили эмигрировать в Европу; вернуться в Россию ему разрешили по амнистии 1913 года к трёхсотлетию Романовых.

В следующем году Линде мобилизовали в Финляндский полк, где благодаря смелому руководству солдатами он вскоре получил унтер-офицерский чин. Та же черта проявилась в дни Февраля. В письме эсеру Борису Соколову весной 1917 года Линде вспоминал, как убедил 5000 солдат Преображенского полка, в чьих казармах у Таврического дворца он тогда находился, присоединиться к мятежу:

> Не знаю, что со мной произошло. Я лежал на кушетке в казарме и читал книгу Холдейна. Я так увлёкся, что не слышал криков и гула с улицы. Шальная пуля разбила окно рядом с моей кушеткой… Казаки стреляли в беззащитную и безоружную толпу, били людей нагайками, топтали упавших лошадьми. И тут я увидел молодую девушку, пытавшуюся увернуться от скачущей лошади казачьего офицера. Она не успела. Сильный удар по голове сбил её под копыта. Она закричала. Именно этот нечеловеческий, пронзительный крик что-то во мне сломал. Я вскочил на стол и дико закричал: «Друзья! Друзья! Да здравствует революция! К оружию! К оружию! Они убивают невинных людей, наших братьев и сестёр!» Потом говорили, что в моём голосе было нечто, чему невозможно было противиться… Они пошли за мной, сами не понимая, куда и во имя чего… Все присоединились ко мне в нападении на казаков и полицию. Нескольких мы убили. Остальные отступили. К ночи бой закончился. Революция стала реальностью… А я — что ж, я в ту же ночь вернулся к своей книге Холдейна.[12]

* * *

Мятеж Петроградского гарнизона превратил беспорядки предыдущих четырёх дней в полноценную революцию. Царские власти фактически лишились военной силы в столице. «Теперь мне стало ясно, — писал позднее Балк о 27 февраля, — что всякая власть нами потеряна». Выход

солдат на улицы придал революционной толпе военную мощь и организацию. Вместо расплывчатого и бесцельного протеста внимание сосредоточилось на захвате стратегических объектов и вооружённой борьбе с режимом. Солдаты вместе с рабочими взяли Арсенал, где захватили 40 000 винтовок и 30 000 револьверов, затем крупнейшие оружейные заводы — там в их руки попало ещё не менее 100 000 единиц оружия. Они заняли Артиллерийское управление, телефонную станцию и часть вокзалов. Мятеж распространился на остальные казармы: сам Линде повёл отряд преображенцев и литовцев, чтобы поднять свой Финляндский полк. Благодаря солдатам и офицерам вроде Линде на улицах появились первые признаки настоящей организации — вооружённые посты на мостах и главных перекрёстках, баррикады, полевые телефоны и командные структуры. Немало времени солдаты тратили на арест своих командиров, а иногда и на их избиение или убийство. Это была революция в армейских рядах.[13]

Но главное внимание восставших теперь было сосредоточено на кровавой уличной войне с полицией. Сотни полицейских снайперов скрывались на плоских крышах домов; некоторые были вооружены пулемётами и стреляли по толпе внизу и по всякому, кто показывался в окнах напротив. Другие заняли церковные колокольни, рассчитывая, что уважение народа к святыням помешает отвечать огнём. Они пользовались бездымными патронами, чтобы труднее было определить, откуда стреляют. Внезапно раздавался выстрел — и толпа бросалась в укрытие, оставляя на улице небольшие кучки раненых и убитых. Рабочие и солдаты «начинали палить куда попало» по дому, откуда, как им казалось, стреляли, вспоминал Виктор Шкловский, командовавший группой бойцов против полиции. Но это обычно только ухудшало положение. «Пыль от штукатурки, выбитой нашими пулями, принимали за ответный огонь», что вызывало новую стрельбу и ещё больший хаос. Многие погибали от «наших же пуль», рикошетивших от стен, или от падающей кладки.[14]

Не более полезными были автомобили, носившиеся по улицам с солдатами, размахивавшими красными флагами и беспорядочно стрелявшими в воздух. Практически все машины и грузовики были реквизированы толпой независимо от того, кому принадлежали.[15] Линде и его люди захватили грузовик и повесили на него плакат: «Первый

революционный летучий отряд». Реквизировали даже «роллс-ройс» великого князя Гавриила Константиновича. Позднее его видели мчащимся по Невскому: двое солдат лежали на капоте, несколько висели на подножках, ещё двое сидели на крыше у пулемёта. Правда, пулемёт оказался почти бесполезен — машина слишком сильно виляла, чтобы можно было нормально прицелиться. Ещё причудливее выглядели маленькие автомобили, ощетинившиеся штыками. Горький сравнивал их с «огромными обезумевшими ежами». Значительная часть боёв велась именно с машин: это была первая революция моторизованного века.

Охота на полицейских приобрела почти ритуальный характер. Стоило кому-нибудь крикнуть, что на крыше замечен «фараон», как по дому открывали беспорядочный огонь.[16] Подозреваемых полицейских вытаскивали из квартир, избивали и нередко убивали на месте. Толпы громили полицейские участки, сжигали архивы, уничтожали списки осведомителей и агентуры. Ненависть к полиции, накопленная за десятилетия слежки, арестов и унижений, вырвалась наружу с особой жестокостью. Одновременно из тюрем освобождали заключённых — не только политических, но и уголовных. Город быстро вооружался и одновременно терял привычные механизмы порядка.

* * *

И всё же в поведении толпы проявились необычайные способности к самоорганизации и солидарности. Люди возводили баррикады, выставляли посты, создавали импровизированные санитарные пункты, передавали сведения, находили транспорт и продовольствие. Жильцы домов пускали на лестницы и в квартиры людей, спасавшихся от стрельбы. Владельцы кафе и ресторанов бесплатно кормили солдат и рабочих либо ставили у входа ящики для пожертвований на их питание. В одном кафе висело объявление:[17]

> ГРАЖДАНЕ-ТОВАРИЩИ! В честь великих дней свободы приглашаю всех. Входите и ешьте и пейте сколько душе угодно.

Лавочники превращали магазины в опорные пункты для солдат и убежища для людей, когда полиция открывала огонь. Извозчики объявляли, что будут возить «только вождей революции». Студенты и дети бегали с поручениями — и старые солдаты выполняли их

распоряжения. Самые разные люди добровольно помогали врачам ухаживать за ранеными. Казалось, людей на улицах внезапно связала огромная сеть невидимых нитей — именно она обеспечила их победу.[18]

Царские власти предполагали, что толпой руководят социалистические партии. Но хотя рядовые активисты партий присутствовали на улицах, их лидеры совершенно не были готовы к роли руководителей и, если уж на то пошло, плелись вслед за народом. Улица сама порождала своих вождей — студентов, рабочих и унтер-офицеров вроде Линде или Кирпичникова, чьи имена по большей части не вошли в учебники истории. В первые недели после Февраля их портреты выставлялись в витринах — часто под заголовком «Герои революции». Портрет Кирпичникова, например, стоял в окне магазина Аванцо.[19] Но затем эти народные вожди исчезли из поля зрения и были забыты.

Отчасти необыкновенную сплочённость толпы можно объяснить географией. В столице давно сложился пространственно-культурный код уличных демонстраций с несколькими понятными точками притяжения — например, Казанским собором и Таврическим дворцом, — восходивший ещё к студенческим выступлениям 1899 года. Промышленные окраины Петрограда были физически отделены от богатого правительственного центра реками и каналами. Поэтому поход в центр сам по себе становился выражением рабочей солидарности и самоутверждения, способом заявить, что улицы принадлежат «им». Возможно, именно этим объяснялись некоторые карнавальные черты революционной толпы: праздничный вандализм и уничтожение символов государственной власти, богатства и привилегий; сцены насмешек и унижения, словесные оскорбления и угрозы, нередко переходившие в бессмысленное насилие над хорошо одетыми и состоятельными людьми, словно это была игра; демонстративная манера держаться и одеваться у солдат — фуражки задом наперёд или набекрень, расстёгнутые вопреки уставу шинели и гимнастёрки; женщины в мужской одежде — солдатских головных уборах, сапогах и бриджах, — как будто, меняя половые коды одежды, они одновременно переворачивали общественный порядок; наконец, сексуальная свобода — от поцелуев и объятий до открытых половых актов на улицах в эйфории Февральских дней.[20]

И всё же, вопреки советскому мифу, толпа отнюдь не была сплошь пролетарской, хотя рабочие действительно шли впереди и на них пришлась значительная часть уличных боёв. Балк называл Февральские дни всеобщим восстанием народа. Гарольд Уильямс из Daily Chronicle считал, что 24 февраля толпа состояла «главным образом из женщин и мальчиков», а рабочих было лишь «немного». Роберт Уилтон из The Times писал, что 26 февраля хорошая погода «выгнала всех на улицу» и что к Невскому стекались «люди всех возрастов и сословий».[21]

Большинство находившихся на улицах не были «революционерами» вообще — скорее зрителями или теми промежуточными фигурами, которые колебались между участием и наблюдением. Они приветствовали мятежных солдат, проносившихся на автомобилях, или радовались, когда с крыши сбрасывали полицейского снайпера. Они собирались небольшими группами вокруг трупов людей и лошадей, которые пока ещё казались необычным зрелищем — скоро к ним привыкнут и будут проходить мимо равнодушно. Они носили красные ленты, махали красными флагами и заявляли о сочувствии «революции». Но сами редко вступали в бой и обычно разбегались, едва начиналась стрельба. «Такова психология толпы, — писал очевидец, — всё, что она видит, одновременно завораживает и пугает. Люди смотрят, смотрят — и вдруг бегут. Вот на углу стоит хорошо одетый господин, толстый, на коротких ногах. Толпа внезапно бросается за дом — и он за ней, семенит изо всех сил, живот трясётся, дыхания не хватает. Пробежит несколько шагов, оглянется на происходящее — и снова бежит».

Среди зрителей было много детей. Мальчишки с восторгом играли оружием, валявшимся на улицах. Для забавы бросали патроны в костры и смотрели, как те взрываются. Десятки людей погибли случайно. Английский журналист Стинтон Джонс был свидетелем такой сцены:

> Один мальчик лет двенадцати раздобыл автоматический пистолет и вместе с группой солдат грелся у костра. Вдруг он нажал на спуск, и один солдат упал мёртвым. Мальчик, совершенно не понимавший устройства смертоносного оружия в своих руках, так испугался, что продолжал держать спуск нажатым, и автоматический пистолет разрядился полностью. В магазине было семь патронов, и только после последнего выстрела мальчик отпустил спуск. В результате трое солдат были убиты и четверо тяжело ранены.[22]

С 27 февраля характер толпы заметно потемнел. После мятежа резко выросла доля солдат и вместе с ней — уровень насилия. После открытия тюрем увеличилось число уголовников и преступлений. И то и другое, по словам Джонса, привело к тому, что «более серьёзные и нервные граждане» ушли с улиц:

> Толпы представляли странное, почти гротескное зрелище. Солдаты, рабочие, студенты, хулиганы и освобождённые уголовники бесцельно бродили отдельными группами, все вооружённые, но самым невероятным оружием. Тут можно было увидеть хулигана с офицерской саблей поверх пальто, винтовкой в одной руке и револьвером в другой; там — маленького мальчика с огромным мясницким ножом на плече. Рядом рабочий неловко держал в одной руке офицерскую саблю, в другой — штык. У одного человека было два револьвера, у другого — винтовка в одной руке и трамвайный скребок в другой. Студент с двумя винтовками и пулемётной лентой вокруг пояса шёл рядом с другим, привязавшим штык к палке. Пьяный солдат держал один лишь ствол винтовки — приклад отломился, когда он взламывал магазин. А спокойный деловой человек сжимал большую винтовку и внушительный патронташ.

27 февраля было освобождено около 8000 заключённых, подавляющее большинство — обычные уголовники. Они были особенно заинтересованы в уничтожении полицейских участков и их архивов, Дворца правосудия, судебных зданий и тюрем — и играли в этом ведущую роль. На них же лежала значительная часть преступлений, захлестнувших улицы. «Сегодня ночью город содрогается от самых страшных звуков: битого стекла, криков и выстрелов», — записал директор Эрмитажа ранним утром 28 февраля. Вооружённые банды грабили магазины и винные лавки, врывались в дома состоятельных людей, грабили и насиловали жильцов. Хорошо одетых прохожих обирали прямо на улицах. Достаточно было носить очки или белый накрахмаленный воротничок, чтобы прослыть буржуем. Отставной профессор, почти пятьдесят лет считавший себя народником, вечером 27 февраля вышел на улицу праздновать «победу революции» и тут же был ограблен тем самым «народом», освобождению которого посвятил жизнь: ему разбили очки и украли золотые часы. Очевидно, это была не бескровная победа свободы, равенства и братства, о которой так долго мечтала демократическая интеллигенция и которую позднее она

мифологизировала как «Славную Февральскую революцию», а скорее русский крестьянский бунт — «бессмысленный и беспощадный», как предсказывал Пушкин, — стремившийся уничтожить все знаки привилегий. Представление о Февральских днях как о «бескровной революции», будто бы насилие толпы началось лишь в Октябре, было либеральным мифом. Демократическим лидерам 1917 года он был нужен, чтобы придать законность своей хрупкой власти. На деле в феврале от рук толпы погибло гораздо больше людей, чем во время большевистского октябрьского переворота. Особенно кровавыми были Февральские события в Гельсингфорсе и Кронштадте, где матросы зверски убили сотни морских офицеров. По официальным данным Временного правительства, только в Петрограде погибли или были ранены 1443 человека. Но один знакомый князя Львова говорил французскому журналисту Клоду Ане, что на самом деле число погибших доходило до 1500, а раненых — примерно до 6000.[23]

> Целый час по часам он ворчал и брюзжал на хаос, беспорядок, эксцессы, на проявления политического невежества, на девушек, которые неизвестно куда разъезжали по городу на неизвестно чьих автомобилях, — и предсказывал, что движение, вероятно, погибнет в катастрофе, достойной нашего азиатского варварства.

Горькому казалось, что всё происходящее — лишь «хаос», а вовсе не «революция». На следующий день он писал Екатерине:

> Слишком многие напрасно придают революционный характер тому, что на деле является лишь отсутствием дисциплины и организованности в толпе… Здесь гораздо больше нелепого, чем героического. Началось мародёрство. Что будет? Не знаю… Крови прольётся много, гораздо больше, чем когда-либо прежде.[24]

Разумеется, как заметил Суханов, это были «впечатления литератора», человека, ненавидевшего насилие во всех его формах. Многие и сегодня, вероятно, были бы склонны столь же решительно осуждать «бессмысленные убийства» толпы. Именно к этому в последнее время тяготеют консервативные историки как Русской, так и Французской революций.[25] Но, пожалуй, убедительнее точка зрения Суханова:

> эксцессы, глупость, пошлость и трусость обывателя, сумятица, автомобили, девушки — всё это было тем, без чего революция ни при

каких обстоятельствах не могла обойтись и без чего нигде никогда не происходило ничего подобного.[26]

Это не значит оправдывать насилие; речь идёт о том, чтобы понять его как почти неизбежную реакцию народа, накопившего гнев и имевшего слишком многое, за что хотелось отомстить. Нужно признать: всякая социальная революция по самой своей природе проливает кровь; осуждать её только за это почти равнозначно утверждению, будто всякая форма социального протеста, способная закончиться насилием, нравственно недопустима. Конечно, необходимо различать разные виды кровопролития. Кровь, пролитая стихийной толпой на улицах, — не то же самое, что кровь, проливаемая партиями, движениями или армиями, утверждающими, что действуют от имени народа. И анализировать, и оценивать их следует по-разному.

Насилие толпы в Февральские дни не было организовано какой-либо революционной партией или движением. По большей части оно стало стихийным ответом на кровавые репрессии 26 февраля и выражением давно накопившейся ненависти к старому режиму. Уничтожались символы старой власти. Царские статуи разбивали или обезглавливали. Кинокамера запечатлела смеющихся рабочих, подбрасывавших каменную голову Александра II, словно футбольный мяч. Нападали на полицейские участки, суды и тюрьмы. Толпа жестоко мстила чиновникам старого режима. Полицейских разыскивали, линчевали и убивали с особой свирепостью. Сорокин видел, как солдаты избивали одного полицейского рукоятками револьверов и били его каблуками по голове. Другого выбросили из окна четвёртого этажа; когда его безжизненное тело глухо ударилось о мостовую, люди бросились топтать его и бить палками.

Когда стало ясно, что дальнейшее сопротивление обречено, многие полицейские попытались сдаться в Таврическом дворце, где Дума и Совет старались восстановить порядок. Они надеялись, что лучше оказаться в тюрьме у новой власти, чем стать жертвой уличного самосуда. Другие пытались бежать из столицы, понимая, что в провинции шансов выжить больше. Двух здоровенных полицейских обнаружили по дороге к Финляндскому вокзалу, переодетых женщинами. Их выдали рост, неуклюжая походка и тяжёлые полицейские сапоги, видневшиеся из-под юбок.[27]

ii. Невольные революционеры

«Революция застала нас, партийцев, спящими, как неразумных дев из Евангелия», — вспоминал в 1922 году один из руководителей эсеров Сергей Мстиславский. Примерно то же самое можно было сказать обо всех революционных партиях столицы. «На месте не было ни одного авторитетного руководителя ни одной партии, — вспоминал Суханов. — Все они находились в ссылке, в тюрьме или за границей». Ленин и Мартов были в Цюрихе, Троцкий — в Нью-Йорке, Чернов — в Париже. Церетели, Дан и Гоц — в Сибири. Оторванные от пульса столицы, лидеры не почувствовали того, что Мстиславский называл «надвигающейся бурей в непрерывно нараставших волнах февральских беспорядков». Всю жизнь ожидавшие революции, они не узнали её, когда она пришла. Ещё в январе Ленин предсказывал, что «мы, старики, быть может, не доживём до грядущей революции». Даже 26 февраля Шляпников, главный столичный большевик, говорил на собрании социалистов в квартире Керенского: «Революции нет и не будет. Надо готовиться к длительному периоду реакции».[28]

В отсутствие крупных партийных вождей руководство революцией легло на плечи фигур второго ряда. Они были не только второстепенными, но зачастую и второго сорта. Шляпников был опытным профсоюзным деятелем и подпольным партийным работником, но как политик, по словам Суханова, был «совершенно неспособен уловить сущность» возникшего положения. Его идеи представляли собой «штампы старых партийных резолюций». Не намного лучше обстояли дела у столичных меньшевиков. Чхеидзе, «папа» революции, был добродушным и способным, но сонным грузином, который, по выражению Суханова, «меньше всего подходил на роль рабочего или партийного вождя и никогда никого никуда не вёл». Скобелев, думский депутат от Баку, был провинциальным интеллигентом, скорее городского, чем общероссийского масштаба. Что до самого Суханова, он стоял на периферии всех партийных фракций и был слишком нерешителен, чтобы окончательно определить свои взгляды. Как многие социалистические лидеры, он склонен был смотреть на политику глазами интеллектуала, а не политика. Троцкий характеризовал его как «добросовестного наблюдателя, а не государственного деятеля; журналиста, а не революционера;

рационализатора, а не журналиста — человека, способного держаться революционной концепции лишь до тех пор, пока не наступает момент воплощать её в действие». Столь же неопределённой фигурой был Н. Д. Соколов, слишком расплывчатый в убеждениях, чтобы вписаться в какую-либо партию. Этот бородатый адвокат в маленьком пенсне был бы куда уместнее в библиотеке или университетской аудитории, чем в революционной толпе. Наконец, не лучше было и положение эсеров. Мстиславский и Филипповский оказались ближе всех в Совете к роли «военных специалистов» — первый был всего лишь библиотекарем Военной академии, второй военно-морским инженером, — и были выдвинуты на руководящие позиции, к которым не подходили ни по темпераменту, ни по навыкам. Зензинов был партийным функционером.[29] А Керенский… о нём ещё будет сказано ниже.

В Февральские дни эти второстепенные лидеры бежали вслед за событиями. Они звонили из одной квартиры в другую, пытаясь выяснить, что творится на улицах. Квартира Горького на Кронверкском служила своеобразной центральной телефонной станцией. Там собирались руководители, обменивались впечатлениями и наводили справки. Сам Горький имел связи по всему Петрограду. Лишь 27 февраля, когда революция уже стала свершившимся фактом, партийные лидеры начали действовать и попытались возглавить уличное восстание. Это был классический пример принципа: «Мы их вожди — значит, должны идти за ними».

Всё сосредоточилось вокруг Таврического дворца — резиденции Думы и цитадели демократии. К раннему дню 27 февраля перед дворцом собралось около 25 000 человек, многие — солдаты расположенных поблизости Преображенского и Волынского полков. Они искали политических руководителей. Первыми появились меньшевики Хрусталёв-Носарь, председатель Петербургского Совета 1905 года, а также Гвоздев и Богданов, руководители Рабочей группы. Толпа только что освободила их из «Крестов» и сопровождала во дворец. Там они встретились с Чхеидзе, Скобелевым и Керенским, после чего объявили народу снаружи, что создан «Временный исполнительный комитет Совета рабочих депутатов». Рабочих призвали избрать представителей и направить их на первое заседание Совета, назначенное на тот же вечер. Воззвание было напечатано в импровизированном первом номере

«Известий» — единственной газеты, вышедшей в тот день, — и широко разошлось по улицам.

Несмотря на название, среди пятидесяти делегатов с правом голоса и двухсот наблюдателей, набившихся в прокуренную комнату № 12 Таврического дворца на первое хаотическое заседание Совета, рабочих было очень мало. Большинство ещё находилось на улицах — кто пьянствовал, кто вообще не знал о существовании Совета. Их места заняли главным образом социалистические интеллигенты. Соколов временно председательствовал. Собрание немедленно образовало Исполнительный комитет из шести меньшевиков, двух большевиков, двух эсеров и пяти беспартийных интеллигентов. Это был не столько демократический орган, сколько самоназначенное представительство различных социалистических фракций, поставленное над Советом. На следующий день, когда рабочие и солдаты Петрограда избрали около шестисот депутатов, в Исполком добавили по два представителя от каждой крупной социалистической партии — трудовиков, народных социалистов, эсеров, Бунда, меньшевиков, межрайонцев[58] и большевиков. В результате усилилось правое крыло — именно те, кто решительнее всего выступал против взятия власти. Голоса рабочих, которые вполне могли потребовать, чтобы Совет власть принял, почти не было слышно. В Исполкоме Совета не оказалось ни одного делегата от завода — и это в органе, претендовавшем на представительство рабочего класса.

Председателем избрали Чхеидзе, товарищами председателя — Скобелева и Керенского. Но никакого настоящего порядка на заседании не было. Членов Исполкома ежеминутно вызывали к делегациям за дверями зала. Работу то и дело прерывали «срочные сообщения» и «экстренные доклады». Самые разные неизбранные группы — почтово-телеграфные служащие, земские работники, представители врачей и учителей — требовали, чтобы их впустили, и порой проходили в зал, чтобы заявить о своей верности Совету. А ещё были солдатские делегации, чьи требования дать им слово для доклада делегаты

[58] Межрайонная организация, или «межрайонцы» (Межрайонка), представляла собой левую фракцию социал-демократии, занимавшую промежуточное положение между большевиками и меньшевиками. В 1917 году она сблизилась с большевиками; среди её наиболее известных участников был Троцкий.

встречали с горячим одобрением. Стоя на табуретках, с винтовками в руках, солдаты простыми словами рассказывали о том, что происходило в их казармах, и заявляли о переходе своих полков на сторону Совета. Делегаты были так захвачены, встречая каждое такое заявление громом аплодисментов, что единогласно, даже без формального голосования, постановили создать единый Совет, отныне именуемый Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов.

Для тех, кто хотел подлинного рабочего Совета, это был смертельный удар. Организованные по взводам и ротам, солдаты были в куда лучшем положении, чем рабочие, чтобы избирать своих делегатов в Совет. К тому же нередко выходило так, что взвод из дюжины солдат присылал собственного представителя, равного по положению делегату от завода с несколькими тысячами рабочих. Реального контроля за порядком голосования почти не было. Синева рабочих блуз потонула в море серых шинелей, когда вечером 28-го в Екатерининском зале собралось первое объединённое заседание Совета. Из 3000 делегатов более двух третей были военнослужащими — и это в городе, где рабочих было в три-четыре раза больше, чем солдат. То, что большинство солдат были крестьянами, наряду с общей неразберихой событий, может отчасти объяснить хаотический характер этих первых заседаний.

«Митинг! Кто хочет, тот встаёт и говорит, что ему вздумается», — так описал первое заседание один из делегатов. В Совете не было ни формальной повестки дня, ни протоколов, ни процедур принятия решений. Каждое решение рождалось в открытом споре, когда ораторы в разных концах зала говорили одновременно, а резолюции принимались общим одобрением — почти как на сельском сходе. Поскольку такой орган был неспособен к какой-либо созидательной работе, он вскоре приобрёл чисто символическую роль, а реальные решения принимали Исполком и фракции социалистических партий, к которым принадлежало большинство его членов. Рабочие и солдаты, совершившие революцию, по сути, уступили свой политический голос социалистической интеллигенции, претендовавшей на то, чтобы говорить от их имени.[30]

Тем временем в правом крыле Таврического дворца члены Думы от Прогрессивного блока и Совет старейшин совещались, подчиниться ли

им приказу царя, отданному накануне вечером, о роспуске Думы или же пренебречь им и встать во главе революционного движения. Радикалы и социалисты, от имени которых выступал Керенский, настаивали на втором. Но более умеренные члены Думы, и больше всех Милюков, игравший роль их «хозяина», были явно напуганы видом толпы. Изнутри дворца шум «черни», как они были склонны её называть, становился всё громче и грознее. Какое-то время эти умеренные пытались выиграть время, прячась, так сказать, за толстыми томами государственного права. Было бы незаконно, вещали они, узурпировать власть царя, образовав кабинет по собственному почину; но можно было бы телеграфировать государю с просьбой разрешить это сделать. В строго юридическом смысле в этом рассуждении была своя логика: толпа на улицах не имела полномочий передавать власть Думе, и любое правительство, образованное на такой основе, было бы лишено формальной легитимности. Но подобные юридические тонкости теперь едва ли имели значение. Это ведь была революция, а все революции по своей природе незаконны. Единственная реальная власть — власть насилия — была теперь на улицах, и отказ думских умеренных признать этот факт был проявлением трусости и недальновидности. Они, несомненно, боялись, что, если возьмут власть, уличные массы попытаются навязать им социалистическую программу реформ и мира. Иными словами, они не хотели вставать во главе революционного правительства, хотя революция только что произошла. Председатель Думы Родзянко — по его собственным словам, «самый толстый человек в России» — всё ещё говорил о «правительстве общественного доверия» (что могло означать и правительство, назначенное царём), а не об общественном или думском правительстве.

Однако днём, когда в левом крыле дворца Петроградский Совет начал превращаться в соперника в борьбе за власть, двенадцать членов Думы от Прогрессивного блока вместе с Керенским и Чхеидзе сделали ещё один осторожный шаг к принятию власти. Они образовали «Временный комитет членов Государственной думы для водворения порядка в столице и для сношения с лицами и учреждениями». Длина названия выдавала робость намерений. Это был «частный» орган членов Думы, созданный, чтобы помочь «восстановить порядок» в столице, а не думский орган для принятия власти. Лишь позже, ночью, когда шло

пленарное заседание Совета и поступали донесения о том, что столица всё глубже погружается в анархию, эти невольные революционеры, потерпев неудачу в последней попытке убедить великого князя Михаила стать диктатором, наконец взяли инициативу в свои руки и объявили себя властью. Другой альтернативы попросту не было — кроме власти Советов.[31]

Таким образом, к 28 февраля возникли два соперничающих центра власти: в правом крыле Таврического дворца — Временный комитет Думы, обладавший подобием формальной власти, но не имевший никакого авторитета на улице; в левом крыле — Совет, обладавший подобием власти на улице, но лишённый формальных полномочий.

* * *

Тем временем предстояло выдержать ещё несколько боёв. Хотя толпа овладела большей частью города, оставалась опасность, что генерал-майор Хабалов подавит восстание с помощью войск с фронта, как приказал царь 27-го. «С обычной военной точки зрения, — вспоминал Мстиславский, — наше положение было совершенно катастрофическим. У нас не было ни артиллерии, ни пулемётов, ни командиров, ни полевой связи», и если бы Хабалов ударил дисциплинированными войсками, «у нас было бы не больше шансов, чем у снежка в аду». Всё зависело от боевого духа взбунтовавшихся солдат и их готовности выполнять приказы Совета. Многих солдат, казалось, гораздо меньше интересовало сражаться за него, чем «присоединиться к народу» и напиться. Шкловский, которому поручили охрану вокзалов, почти не мог убедить прибывавшие в Петроград войска нести хотя бы элементарную караульную службу. Вся охрана Николаевского вокзала, куда приходили жизненно важные поезда из Москвы, состояла из «однорукого студента и древнего морского офицера в форме, кажется, прапорщика». В Таврическом дворце дела обстояли несколько лучше. Изящный дворец Екатерины Великой превратился теперь в военный штаб красного Петрограда. Совет учредил Военную комиссию, которая отдавала приказы наспех собранным отрядам, размещённым в стратегических пунктах города. Сотни солдат расположились лагерем в коридорах Таврического дворца, ожидая приказа защищать этот бастион революции. Линде, отложив

свой том Холдейна, принял командование караулом у ворот. Избранный своим Финляндским полком представлять его в Совете, он имел лишнюю причину защищать дворец с оружием в руках. Вот он — новый политик с ружьём. В комнатах и коридорах дворца громоздились запасы продовольствия и оружия. Посреди Круглого зала стояла швейная машина: никто не знал, как она туда попала и для чего предназначалась. Быть может, кто-то готовился к долгой войне и рассудил, что она понадобится чинить мундиры. Набоков так описывал картину внутри дворца:

> Солдаты, солдаты и солдаты, с усталыми, тупыми лицами; повсюду следы импровизированного бивуака, мусор, солома; воздух густой, как какой-то плотный туман, пахнет солдатскими сапогами, сукном, потом; откуда-то доносятся истерические голоса ораторов, выступающих на митинге в Екатерининском зале, — везде теснота и суетливая неразбериха.[32]

Кроме того, в столице всё ещё оставались докучливые очаги сопротивления: в Зимнем дворце, в здании Главного штаба, в Адмиралтействе и в гостинице «Астория». Одни из самых кровопролитных боёв всей революции произошли 28-го в этой гостинице. Она была переполнена высшими офицерами и их семьями, и, когда снайперы с её крыши открыли огонь по толпе внизу, революционные солдаты подвезли на бронеавтомобилях три пулемёта и стали стрелять по всем окнам. Тем временем вооружённая толпа штурмовала здание, круша роскошную обстановку, грабя винные погреба и обыскивая номера в поисках «контрреволюционеров». Несколько десятков офицеров были застрелены или заколоты штыками. Среди разбитых люстр и зеркал вестибюля разгорелся долгий ожесточённый бой, и под конец его, по словам одного очевидца, «вращающаяся дверь крутилась в луже крови».[33]

* * *

Главной целью руководителей в Таврическом дворце — и левых, и правых — было восстановить порядок на улицах. Существовала реальная опасность, что революция выродится в анархию. Тысячи пьяных рабочих и солдат бродили по городу, грабили магазины, вламывались в дома, избивали и обирали прохожих. Революционная

борьба против полиции и офицеров превращалась в неконтролируемое насилие и месть. «Если всё это не остановить, — предупреждал один депутат Совета, — революция закончится поражением и позором».

Одной из забот было безопасно и упорядоченно задержать царских министров и чиновников. Вечером 27 февраля Совет министров провёл своё последнее заседание в Мариинском дворце и формально подал царю в отставку. В какой-то момент погас свет, и министры решили, что революционеры уже штурмуют дворец. На деле это было обычное отключение электричества; когда через несколько минут свет включился, несколько министров обнаружились под столом. Но паника имела основания. В Февральские дни толпа схватила около 4000 царских чиновников, и участь многих была незавидной. Временный комитет Думы распорядился арестовать всех бывших министров и высших должностных лиц и доставлять их в Думу «для суда» — отчасти затем, чтобы спасти от уличной расправы.

Символично, что первым в Таврический дворец толпа привела бывшего министра юстиции Щегловитова. Его встретил Керенский, которому вскоре предстояло стать новым министром юстиции. Явно ощущая драматизм момента, он объявил пленнику: «Иван Григорьевич Щегловитов, вы арестованы! Ваша жизнь вне опасности!» — и с иронией добавил: «Знайте: Государственная дума крови не проливает». Несколько бывших министров сами явились в Думу, предпочитая это риску попасть в руки толпы. Среди них был Протопопов. Он пытался спасти себя, давая показания против царя, а когда это не помогло, разрыдался и начал жалобно хныкать. Бывший военный министр Сухомлинов прибыл 1 марта со своей вооружённой охраной и вызвал бурное возбуждение у солдат. Их едва удержали от немедленной расправы. Но сорвать с него погоны — как символ отвержения старого армейского порядка — они всё же успели.[34]

Всех этих павших сановников держали в Министерском павильоне Таврического дворца, а затем переводили для допроса и заключения в Петропавловскую крепость. Одной из тех маленьких, но выразительных ироний революции было то, что сопровождать министров в крепость поручили Виктору Зензинову, который когда-то сам сидел там. Он вспоминал странное чувство, когда теперь, уже в роли представителя

новой власти, приехал к тюремным воротам вместе с Щегловитовым — некогда министром юстиции, а теперь обычным «политическим»:

> Мы въехали в ворота, сделали один-два поворота, проехали под аркой и остановились у двери. Там стояла всё та же охрана, какую я помнил семь лет назад. И вот к нам вышел — я едва поверил глазам — капитан Иванишин, тот самый капитан Иванишин, который семь лет назад заведовал Трубецким бастионом, где держали одиночников и где я в 1910 году шесть месяцев просидел при нём в сырой каменной камере… Теперь он держался со мной вежливо. Я не сомневаюсь, что Иванишин сразу узнал меня, как я узнал его, но ничем этого не показал.

По просьбе Зензинова Керенский приказал снять Иванишина. Приказ, однако, не исполнили. Лишь несколько недель спустя, когда Иванишина уличили во взятках от заключённых министров, его наконец уволили.[35]

Второй большой заботой Таврического дворца было возвращение солдат в казармы. Без этого восстановить порядок было невозможно. 28 февраля Военная комиссия, уже перешедшая под контроль Временного комитета, приказала мятежным солдатам вернуться в части и признать власть офицеров. Но солдаты боялись наказания за участие в мятеже и требовали гарантий неприкосновенности. Большинство не доверяло Временному комитету — некоторые называли его «контрреволюционным», потому что он поддерживал офицеров, — и обратилось за защитой к Совету.

Результатом стал Приказ № 1 — возможно, самый важный документ, порождённый Февральской революцией. Это был перечень солдатских требований и условий возвращения в казармы. Он предусматривал создание солдатских комитетов как демократического противовеса власти офицеров. Объявлялось, что солдаты признают власть только Петроградского Совета, а приказы Военной комиссии Думы исполняют лишь в той мере, в какой они не противоречат распоряжениям Совета. Вне службы солдаты получали права граждан, включая право не отдавать честь офицерам. Грубость офицеров по отношению к солдатам, в том числе обращение на фамильярное «ты», ассоциировавшееся с детьми и крепостными, отныне запрещалась как унижение солдатского достоинства. Почётные обращения к офицерам — «ваше превосходительство», «ваше благородие» и другие, которые особенно раздражали крестьян-солдат как пережиток крепостничества,

— заменялись новыми демократическими формами: «господин генерал», «господин полковник».

Приказ был народным творением в самом буквальном смысле. Суханов видел, как Соколов сидел за столом:

> со всех сторон окружённый солдатами — стоящими, сидящими, навалившимися на стол, — которые наполовину диктовали, наполовину подсказывали ему, что писать… Никакой повестки и никакого обсуждения не было: все говорили, и все были целиком поглощены работой, формулируя общее мнение без всякого голосования… Когда работа была закончена, на листе поставили заголовок: «Приказ № 1».

Через несколько минут приказ зачитали на заседании Совета в Екатерининском зале и приняли единогласно под громовые аплодисменты солдат. Этот документ, больше всего способствовавший разрушению армейской дисциплины и потому в известном смысле приблизивший приход большевиков к власти, был принят за считаные минуты.[36]

* * *

Хотя руководители Совета хотели восстановить порядок, большинство из них вовсе не собиралось брать власть. Вся их стратегия строилась на том, чтобы заставить думских лидеров создать «буржуазное правительство». Так возник тот самый февральский «парадокс», о котором позднее писал Троцкий: революция, совершённая на улицах, породила правительство, созданное в салонах. Этот сюжет повторялся на протяжении всего 1917 года: несколько раз — в феврале, апреле, июле и сентябре — руководители Совета могли взять власть; более того, толпы выходили на улицы с прямым требованием сделать именно это. Но каждый раз социалистические вожди уклонялись от ответственности государственного управления. Так они упустили возможность завершить революцию в демократической и социалистической форме. Плоды достались большевикам.

Как объяснить этот политический провал? В феврале, когда были заложены основы всей последующей политики, действовали три главных соображения.

Во-первых, партийная догма. И меньшевики, и эсеры жёстко придерживались убеждения, что в такой отсталой крестьянской стране, как Россия, прежде чем общество — и особенно рабочий класс — созреет для перехода к социализму, должна произойти «буржуазная революция», то есть последовать длительный период капитализма и демократии. Как когда-то выразился Плеханов, в крестьянском тесте России ещё недостаточно пролетарских дрожжей, чтобы испечь социалистический пирог. У меньшевиков теория двух этапов вытекала из марксистской доктрины; у эсеров — во многом была заимствована у меньшевиков.

Эта вера опиралась ещё на два допущения, вполне логичных в абстракции, но плохо работавших в реальной жизни. Это был случай, когда догмы Запада XIX века пытались навязать России XX столетия. Во-первых, считалось, что крестьяне — да и провинция вообще — не поддержат социалистическое правительство в городах, поскольку слишком привязаны к тому, что меньшевики называли «мелкобуржуазными» представлениями о мелкой собственности. Значит, городскую социалистическую революцию либо задушат голодом, как Парижскую коммуну, либо, что ещё хуже, разобьёт крестьянская контрреволюция — по образцу Вандеи или европейских роялистских армий 1849 года. Но на деле русские крестьяне были, пожалуй, ещё нетерпеливее рабочих в ожидании социальной революции. Всё, чего они хотели, — земля; и если «социализм» означал передачу земли крестьянам, тогда они были «социалистами». Эсерам следовало бы понять: крестьяне не присоединятся к контрреволюции, пока та означает — а в России это почти неизбежно — возвращение помещиков на землю.

Во-вторых, говорили, что массы слишком неграмотны и политически неопытны, чтобы взять на себя управление страной, и потому пока остаются необходимыми поддержка и руководство образованных классов. Советы как классовые органы могли играть роль в местном управлении, но у них якобы не было средств для управления государством. Ныне, как подготовка к социализму, массам требовалось пройти «школу демократии» — для рабочих это означало следовать примеру европейского рабочего движения, — а сделать это можно было только в либеральных условиях политической свободы. Но и здесь

западная модель демократии навязывалась стране, где для неё не существовало прочной социальной основы. «Прямая демократия» Советов была гораздо ближе опыту русских масс — она напоминала крестьянскую общину — и могла стать отправной точкой иного демократического строя, гораздо более децентрализованного, чем западная либеральная демократия, если бы Советы удалось соединить в общенациональной политической системе с более широкими представительными учреждениями — городскими думами, земствами и Учредительным собранием.

Не приходится сомневаться, что жёсткая приверженность руководителей Совета этой догме отчасти объяснялась их полной неопытностью в государственном управлении. Буржуазные лидеры годами занимались законодательной работой — в Думе или земствах. Социалисты же не имели практически никакого опыта управления, только долгие и бесплодные годы полулегальной оппозиционной и подпольной политики. К тому же их главные партийные вожди всё ещё находились в эмиграции или ссылке, и захват власти мог выглядеть как «мятеж полковников». Но действительно ли это должно было стать непреодолимым препятствием? При всех разговорах о «принципах» и «идеологии» в конечном счёте руководителей Совета удерживали их инстинкты и темперамент. Они так долго существовали во враждебной оппозиции ко всякой государственной власти, что многие не могли внезапно стать — или даже представить себя — государственными деятелями. Они цеплялись за привычки и культуру революционного подполья, предпочитая оппозицию управлению.

Во-вторых, советские лидеры опасались, что взятие власти вызовет контрреволюцию, возможно даже гражданскую войну. Положение оставалось чрезвычайно неустойчивым: ещё не было ясно, выполнят ли Алексеев и командующие фронтами царский приказ подавить революцию в столице и распространится ли революция на провинцию и армию на фронте. Как выяснилось, опасность контрреволюции они сильно переоценили. Почти сразу Алексеев отменил запланированную экспедицию против Петрограда — отчасти потому, что его успокоило намерение думских лидеров, а не социалистов, взять власть; отчасти потому, что он понял: использование войск против столицы может перенести мятеж в действующую армию. Очень скоро революция

распространилась на Кронштадтскую военно-морскую базу, несколько северных гарнизонов и Москву. В считаные дни монархия рухнула вместе с её провинциальным аппаратом, а армия и Церковь объявили о поддержке революции. Конечно, 1 марта ничего этого ещё нельзя было знать. Скорость событий потрясла всех. Один из лидеров Совета Юрий Стеклов объяснял в апреле 1917 года:

> В то время, когда предполагалось заключить это соглашение [об образовании Временного правительства], вовсе не было ясно, выйдет ли революция победительницей — хотя бы в революционно-демократической или даже умеренно-буржуазной форме. Те из вас, товарищи, кто не был тогда в Петрограде и не пережил этой революционной горячки, не могут представить, как мы жили… Мы каждую минуту ожидали, что они [верные царю войска] придут.[37]

И всё же можно с уверенностью сказать, что, оценивая положение, руководители Совета вновь слишком сильно находились под влиянием опыта европейского XIX века. Все социалисты были воспитаны на истории европейских революций. События 1905 и 1917 годов они истолковывали через опыт 1789, 1848 и 1871 годов — и потому были убеждены, что за революцией неизбежно должна последовать контрреволюция.

Наконец, сами руководители Совета вовсе не были уверены, что действительно способны повелевать массами на улицах. Их потрясли жестокость и ненависть, анархическое мародёрство и вандализм февральских дней. Они боялись: если возьмут власть, если сами станут «правительством», вся эта неконтролируемая ярость может обернуться уже против них. Мстиславский утверждал, что «с первых часов революции» подавляющее большинство советских руководителей объединяло с членами Временного комитета «одно-единственное свойство, определявшее всё остальное: страх перед массами»:

> О, как они боялись масс! Глядя, как наши «социалисты» говорят с толпой… я чувствовал их тошнотворный страх… Я ощущал внутреннюю дрожь и усилие воли, которое требовалось им, чтобы не опустить глаз перед доверчивыми, широко раскрытыми глазами рабочих и солдат, теснившихся вокруг. Ещё вчера было сравнительно легко быть «представителями и вождями» этих трудящихся масс; мирные парламентские социалисты могли, не моргнув, произносить самые кровожадные слова «от имени пролетариата». Но всё стало

> иначе, когда этот теоретический пролетариат внезапно явился сюда — во всей мощи измученной плоти и мятежной крови. И когда истинно стихийная природа этой силы, способной и созидать, и разрушать, стала ощутима даже самому нечуткому наблюдателю, тогда почти против воли бледные губы «вождей» вместо вчерашних громовых речей заговорили о мире и компромиссе. Они испугались — и кто мог бы их за это винить?[38]

Кто действительно мог бы их винить? И всё же этот страх свидетельствовал и о более общем малодушии перед ответственностью власти. Это было отречение от государственного руководства. Много лет спустя Церетели говорил, что в феврале руководители Совета вели себя по-детски и безответственно. Многие из них приветствовали систему двоевластия — источник хронической политической слабости России в 1917 году, — потому что она ставила их в весьма удобное положение. Они получали власть без ответственности, тогда как Временное правительство получало ответственность без власти.

Для большинства советских лидеров существовало ещё одно обстоятельство, делавшее соглашение о думском правительстве делом крайней срочности. 1 марта левое меньшинство Исполнительного комитета Совета — три большевика, два левых эсера и один представитель межрайонцев — потребовало создания «временного революционного правительства» на основе Советов. Эту резолюцию поддержал большевистский комитет Выборгского района, самого пролетарского в Петрограде. Возникла вполне реальная угроза: если большинство Совета не навяжет правительство думским лидерам, улица может навязать правительство самому Совету.

Около полуночи 1 марта делегация Совета — Суханов, Чхеидзе, Соколов и Стеклов — перешла из левого крыла Таврического дворца в правое, чтобы начать переговоры с Временным комитетом Государственной думы. «Здесь не было такого хаоса и сумятицы, как у нас, — вспоминал Суханов, — но всё же комната производила впечатление беспорядка: она была прокурена и грязна, повсюду валялись окурки, бутылки и грязные стаканы. Стояло бесчисленное множество тарелок — пустых или с самой разной едой, — от чего у нас заблестели глаза и потекли слюнки». Главным образом говорили Суханов и Милюков, «хозяин правого крыла». Огромный Родзянко, председатель Думы, мрачно сидел в углу и пил содовую. Ни Львов, ни

Керенский — соответственно первый и последний главы Временного правительства — не сказали ни слова по поводу его учреждения.

Обе стороны, и думская, и советская, с приятным удивлением обнаружили, насколько много у них общего. Каждая пришла готовой к серьёзной схватке. Но на деле возник лишь один по-настоящему спорный вопрос. Милюков хотел сохранить монархию — с Алексеем в качестве царя и великим князем Михаилом в роли регента. Чхеидзе возразил, что эта идея «не только неприемлема, но и утопична ввиду всеобщей ненависти народных масс к монархии». Милюков, однако, не стал настаивать — среди остальных думских лидеров его позиция почти не находила поддержки, — и в конце концов договорились оставить вопрос о форме правления открытым до созыва Учредительного собрания. В остальном спорить было почти не о чем. Все признавали необходимость восстановить порядок и сформировать думское правительство.

Переговоры завершились рано утром. «Буржуазным группам», по выражению Суханова, предоставлялось сформировать правительство, поскольку «это вытекало из общей обстановки и соответствовало интересам революции». Но Совет, «как единственный орган, располагающий реальной силой», поставил следующие условия своей поддержки:

1. Немедленная амнистия всем политическим заключённым.

2. Немедленное предоставление свободы слова, печати и собраний.

3. Немедленная отмена всех ограничений, основанных на сословной принадлежности, религии и национальности.

4. Немедленная подготовка к созыву Учредительного собрания, избранного на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования, которому предстояло определить форму правления и конституцию страны.

5. Упразднение всех полицейских органов и создание вместо них народной милиции с выборными начальниками, ответственными перед органами местного самоуправления.

6. Выборы в эти органы на основе всеобщего, прямого, тайного и равного голосования.

7. Гарантия, что воинские части, участвовавшие в революции, не будут ни разоружены, ни отправлены на фронт.

8. Признание за солдатами вне службы всех гражданских прав.[39]

Не было сказано ни слова о двух основных вопросах — войне и земле, — в которых цели советских лидеров прямо расходились с целями Думы. Учитывая ожесточённые политические конфликты, возникшие впоследствии именно вокруг этих двух проблем и приведшие к падению первых трёх кабинетов, возможно, это было роковой ошибкой.

Таковы были основы системы двоевластия. Совет соглашался поддерживать Временное правительство лишь «постольку, поскольку» — знаменитая формула, — оно будет придерживаться этих советских принципов; Совет же должен был стать его «сторожем», следящим за их соблюдением. На практике это парализовало Временное правительство: без поддержки Совета оно не могло сделать почти ничего. В то же время условия Совета создавали атмосферу столь неограниченной свободы, что страна всё отчётливее нуждалась в сильной власти. Как выразился Ленин, Россия стала «самой свободной страной в мире» — и он первым сумел этим воспользоваться.

* * *

Новый кабинет был подобран Милюковым 2 марта, а на следующий день его состав появился в газетах рядом с обращением Совета «К товарищам и гражданам!», призывавшим к порядку и поддержке правительства. Толпе у Таврического дворца имена новых правителей большей частью ничего не говорили. Все они принадлежали к имущей верхушке. Большинство уже фигурировало в различных проектах «министерства доверия», которые либеральная оппозиция предлагала с 1915 года. Восемь из двенадцати были депутатами Четвёртой Думы, ещё двое прежде заседали в других Думах; семеро состояли либо в Земгоре, либо в Военно-промышленном комитете; шестеро принадлежали к одним и тем же масонским кругам,[59] точная роль которых в Февральской революции давно является предметом исторических догадок, но почти не подтверждается конкретными фактами.

[59] Львов, Керенский, Некрасов, Терещенко, Коновалов и Гучков.

Князь Львов, председатель Совета министров и министр внутренних дел, соответствовал всем этим критериям. Его работа в земствах во время войны принесла ему всеобщее уважение либерально образованной части общества. Она сделала Львова фигурой общенационального масштаба и позволяла правительству хотя бы создавать впечатление, будто оно опирается на нечто более широкое, чем одна Дума. Кроме того, Львов умел работать с людьми, обладал практическими способностями и не был тесно связан ни с одной партией — именно то, что соответствовало коалиционному духу, которым правительство хотело себя окружить. Это был кабинет не одной партии — в нём были представлены силы от октябристов до эсеров, — а «правительство национального спасения». Беспартийность Львова в сочетании с общей мягкостью его характера делала его идеальным посредником между настоящими центрами силы в кабинете — Милюковым и Керенским, которые иначе могли бы сразу поссориться и расколоть правительство. Каждый был готов принять Львова хотя бы потому, что это мешало другому стать премьер-министром. И всё же, когда имя Львова объявили толпе, послышались крики: «Привилегированный класс!» Один солдат выкрикнул: «Так что же, мы всего лишь сменили царя на князя?»

Имя Терещенко, нового министра финансов, толпа встретила взрывом смеха. «Кто такой Терещенко?» — спрашивали люди. И вопрос был вполне естественным. Даже газеты знали о нём мало. Всё, что они могли сообщить: уроженец Украины, двадцати девяти лет, мультимиллионер. Не намного известнее был и Шингарёв, министр земледелия. Провинциальный врач и кадетский депутат Думы, он, как вынуждены были признавать даже друзья, был не более чем порядочной посредственностью. Немного больше знали о Коновалове — министре торговли и промышленности, Некрасове — министре путей сообщения, или Мануйлове — министре народного просвещения. Зато Гучков, получивший военное и морское ведомство, и Милюков, ставший министром иностранных дел, были общеизвестными фигурами и первоначально встретили в целом благожелательный приём.[40]

Лишь имя Керенского — единственного социалиста в кабинете — вызвало настоящее одобрение. «Масса солдат, — вспоминал Станкевич, — чувствовала, что Керенский — “их” министр». Будучи товарищем

председателя Исполкома Совета, он не должен был принимать — и тем более добиваться — поста министра юстиции: официальная линия Совета запрещала вступать в правительство. Чхеидзе уже отверг предложение возглавить Министерство труда. Но Керенский страстно хотел стать министром. Молодой и честолюбивый — ему было всего тридцать пять, — он был убеждён в собственном великом предназначении и не мог позволить подобному шансу пройти мимо. В предыдущие дни он стал одной из ключевых закулисных фигур. Только Керенский входил одновременно и в Исполком Совета, и во Временный комитет Думы. Он метался из одного крыла Таврического дворца в другое, делая себя незаменимым для обеих сторон. Однако его настоящие симпатии были очевидны: большую часть времени он проводил в правом крыле и лишь изредка появлялся в Совете, чтобы произнести высокопарную речь о «народной революции». На улицы он не вышел ни разу. Хотя сам Керенский считал себя социалистом, на деле он был буржуазным радикалом — думским депутатом и демократическим адвокатом, наряжавшимся в образ «человека из народа». Формально он принадлежал к трудовикам; позднее, когда это стало уместно, вступил в партию эсеров. Но по существу социалистом он не был. В Думе он неизменно появлялся во фраке с крахмальной манишкой и воротничком; выступая же в Совете, срывал воротничок и снимал пиджак, чтобы выглядеть более «пролетарски». Это был не революционер. Это был человек, который, по выражению Троцкого, лишь «околачивался около революции».

Вскоре после двух часов дня 2 марта Керенский явился в Совет, чтобы произнести, возможно, самую важную речь своей жизни. Ему требовалось одобрение собрания на решение, принятое утром без его предварительного согласия, — принять пост министра юстиции. «Товарищи! Вы мне доверяете?» — спросил он голосом, наполненным театральным пафосом. «Доверяем, доверяем!» — закричали делегаты. «Я говорю, товарищи, всей душой, от всего сердца, и если понадобится это доказать, если вы мне не доверяете, я готов умереть». По залу прошла волна возбуждения. Раздались долгие аплодисменты, переросшие в овацию стоя. Воспользовавшись моментом, Керенский заявил, что был обязан принять портфель, потому что царские министры «оказались у меня в руках, и я не мог их выпустить». Он сообщил, что

его «первым актом» как министра юстиции стал приказ немедленно освободить всех политических заключённых и устроить им торжественную встречу при возвращении в столицу. Делегаты были растроганы и встретили новость громовыми криками. Тогда Керенский спросил, одобряют ли они его решение войти в правительство, и предложил уйти из Совета, если ответ будет отрицательным. Но зал взорвался возгласами: «Одобряем! Одобряем!» — и без формального голосования его действия были санкционированы. Это был блестящий театральный переворот. Момент, который мог стать началом его падения, превратился в момент триумфа. Теперь Керенский был единственным политиком, одновременно занимавшим положение и в правительстве, и в Совете. Он стал бесспорным вождём народа.[41]

Так начался «культ Керенского». Его популярность была поистине огромной. «Есть только одно имя, которое объединяет всех, — писала Гиппиус 1 марта, — имя Керенского». В первые недели революции рабочие на заводах, матросы на кораблях и солдаты в казармах спрашивали: «Что говорит Александр Фёдорович?» — и ответ неизменно становился последним словом по любому вопросу. Керенский был любимцем демократической интеллигенции. «Мы любили Керенского, — вспоминала Гиппиус. — В нём было что-то живое, птичье и детское». С бледным молодым лицом, яркими внимательными глазами и нервными манерами он казался воплощением студента-радикала.

Такое почти всеобщее обожание трудно объяснить обычными достоинствами политика: у Керенского их было немного. Его думская карьера не была особенно выдающейся; ему не хватало масштаба Милюкова и стиля Маклакова или Фёдора Родичева. Были и адвокаты, куда лучше подготовленные к посту министра юстиции. Но Керенский был идеальным человеком для Февраля. Как выразилась Гиппиус, «это человек на своём месте». Прежде всего он был великим оратором — не столько парламентским, где требуются красноречие и интеллектуальное равновесие, сколько оратором толпы. Его речи были пламенными и эмоциональными. Они касались не подробностей политики, а нравственных принципов и духовных ценностей и нередко звучали скорее как проповеди священника, чем как выступления политика. В юности Керенский мечтал стать актёром. Его речи были полны

драматического пафоса, театральных жестов и даже обмороков — вполне настоящих, но каким-то образом почти всегда приходившихся на кульминацию выступления. Всё это безошибочно трогало сердца слушателей. Керенский выражал и воплощал чувство национального единства, «воскресение народа», которым должна была стать Февральская революция. Его называли «поэтом свободы», «сердцем нации», «душой народа», «спасителем отечества» и «первой любовью революции».[42]

Пожалуй, неудивительно, что в первые эйфорические дни революции возник подобный культ личности. Люди влюбились в «революцию», и часть этой любви переносилась на её «вождя» Керенского. Институты, психология и даже язык демократии ещё только должны были укорениться в девственной политической почве России. Большинство по-прежнему воспринимало политику в монархических категориях. В конце концов, это была страна царей. Ещё до отречения Николая у русского народа уже появился новый «царь».

iii. Николай Последний

Дневник царя, 26 февраля 1917 года:

> В 10 часов пошёл к обедне. Доклады были вовремя. За завтраком было много народу, в том числе все иностранцы. Написал Аликс и пошёл гулять возле часовни по Бобриковской дороге. Погода стояла ясная и морозная. После чая читал и разговаривал с сенатором Трегубовым до обеда. Вечером играл в домино.

Пока Петроград погружался в хаос, а монархия балансировала на грани краха, Николай продолжал размеренную жизнь в Ставке. Там, по словам одного из людей его свиты, «дни были похожи друг на друга как две капли воды». Судя по письмам, его куда больше тревожило то, что две дочери заболели корью, чем последние сообщения о беспорядках в столице. Правда, Хабалов не сообщил ему всей серьёзности положения. Но изменило бы это что-нибудь? Вряд ли. Утром 27 февраля пришла телеграмма председателя Думы, сообщавшая царю истинное положение и умолявшая «немедленно принять меры», потому что «завтра будет поздно». Николай бегло просмотрел её и, повернувшись к графу

Фредериксу, сказал: «Опять этот толстяк Родзянко написал мне всякой чепухи, на которую я даже отвечать не стану».[43]

После смерти Распутина Николай всё больше отворачивался от столицы и уходил в тихий распорядок Ставки и семейную жизнь в Царском Селе. Теперь, как никогда, он существовал в мире собственных иллюзий, окружённый придворными лакеями, льстившими его фантазиям о вотчинной власти. В последние недели царствования многочисленные советники умоляли его назначить новое «правительство доверия», ответственное перед Думой. Но никто не сумел пробиться через невидимую стену безразличия, которой Николай отгородился от окружающих.

И всё же за внешним спокойствием явно скрывался глубокий внутренний кризис. Коковцов, не видевший царя около года, в начале февраля нашёл его «неузнаваемым» и был убеждён, что тот «находится на грани нервного срыва». Палеолог был не меньше потрясён «серьёзными, осунувшимися чертами, украдкой блуждающим отрешённым взглядом, непроницаемостью мыслей и вообще какой-то расплывчатой и загадочной сущностью» Николая. Это лишь укрепило французского посла в давно сложившемся убеждении, что Николай II «чувствует себя подавленным и порабощённым событиями, утратил всякую веру в свою миссию и дело и как будто внутренне уже отрёкся, смирившись с катастрофой».[44]

Будто вся его душевная драма состояла в осознании того, что самодержавный путь, которым он шёл двадцать два года, окончательно завёл династию на край пропасти, а совет, который теперь давали ему все — спасти трон, передав исполнительную власть Думе, — был именно тем, чего он не мог сделать. Вся его жизнь была посвящена сохранению самодержавия; поняв, что сохранить его больше невозможно, он словно вообще отказался от жизни. Отсюда и знаменитый фатализм Николая в дни, предшествовавшие отречению.

Вечером 27 февраля до царя наконец дошли известия о мятеже в Петрограде. Он приказал генералу Иванову, назначенному вместо Хабалова начальником Петроградского военного округа, повести к столице карательные войска и установить там диктатуру. Сам Николай в ту же ночь выехал поездом в Царское Село, не послушав возражений Алексеева, предупреждавшего, что поездка лишь помешает

контрреволюции и может подвергнуть царя опасности. Судя по всему, единственным желанием Николая было скорее соединиться с женой и детьми. Императорский поезд не пошёл прямо на север: по этой линии двигались части Иванова. Пришлось сделать большой крюк к востоку, и ранним утром 1 марта поезд прибыл в Малую Вишеру, примерно в 125 милях к юго-востоку от столицы. Дальше путь был перекрыт революционерами. Тогда состав повернул на запад, к Пскову, куда прибыл в семь часов вечера 1 марта. Из-за спешки никакой торжественной встречи в городе, где царю предстояло отказаться от престола, не подготовили. Командующий Северным фронтом генерал Рузский даже опоздал на вокзал и явился в резиновых сапогах.[45]

К этому времени, однако, несколько событий уже подорвали планы контрреволюции. Во-первых, последние верные режиму силы в столице совершенно не сумели организовать сопротивление. Генералу Хабалову явно не хватало духа для серьёзной борьбы, и он почти ничего не предпринял, хотя возможности ещё оставались. От Адмиралтейства, где он со свитой забаррикадировался, открывался прямой путь к трём главным вокзалам — Балтийскому, Варшавскому и Николаевскому. Верные войска, переброшенные с фронта, могли бы попытаться пробиться туда. Но Хабалов об этом даже не подумал. Чтобы руки не дрожали, он пил коньяк и лишь составил прокламацию с очевидным заявлением: город находится на осадном положении. Не нашлось, однако, ни людей с достаточной смелостью, ни даже кистей и клея, чтобы расклеить напечатанные листки на улицах. Их попросту выбросили из окон Адмиралтейства, и большинство упало в сад внизу.

Не менее фарсово закончились попытки людей Хабалова соединиться с верными частями в других районах центра. Один отряд сумел с боем добраться до Зимнего дворца — только для того, чтобы комендант дворца в ярости приказал солдатам уйти: грязные сапоги испачкали только что натёртые полы. Позже выяснилось, что великий князь Михаил, находившийся тогда во дворце, сам распорядился не пускать солдат, опасаясь за фарфор. Так он потерял империю! Деморализованные и несколько дней не кормленные солдаты предпочитали разбегаться и переходить на сторону народа, лишь бы не возвращаться в Адмиралтейство.

1 марта произошло и второе событие, сорвавшее планы контрреволюции. Войска Иванова прибыли в Царское Село и обнаружили, что мятеж охватил даже императорскую гвардию, стоявшую там гарнизоном. Некоторые солдаты самого Иванова уже проявляли признаки неповиновения и отвечали императрице на смотре «угрюмо». Тем временем в Петрограде Временный комитет решил, что Николай должен отречься. Рано утром 2 марта Гучков и Шульгин выехали в Псков с поручением добиться отречения и обеспечить соблюдение закона о престолонаследии: царём должен был стать Алексей, а великий князь Михаил — регентом. Родзянко, всё ещё надеявшийся склонить царя к уступкам, поехать не смог: железнодорожники, подчинявшиеся Совету, заблокировали ему дорогу.[46]

Но самым важным было решение генерала Алексеева, исполнявшего обязанности Верховного главнокомандующего, остановить контрреволюционную экспедицию. Одной из причин стало заверение Родзянко 1 марта, что новое правительство в Петрограде сформируют думские, а не советские лидеры. Сам Алексеев давно был причастен к дворцовым заговорам Прогрессивного блока. Инстинктивно он доверял Родзянко и, по-видимому, всё ещё верил, что либералы готовы к политическому соглашению с сохранением монархической основы России.

Но существовал и другой мотив: Алексеев боялся, что, если армию пошлют против революционной столицы, она сама окажется охвачена общим мятежом, а это приведёт к поражению России в войне. Уже 1 марта начались беспорядки в нескольких северных гарнизонах, и существовала реальная опасность их распространения на фронтовые части. Алексеев предпочёл изолировать действующую армию от Красного Петрограда, вместо того чтобы отправлять солдат в столицу и рисковать тем, что они попадут под её революционное влияние. 1 марта он приказал Иванову остановить поход на Петроград, а затем телеграфировал царю, умоляя разрешить Думе сформировать правительство для восстановления порядка. «Революция по всей России, — пророчески предупреждал он, — означала бы позорное окончание войны. Нельзя требовать от армии продолжать борьбу, когда в тылу идёт революция».[47]

Вооружённые силы всегда занимали особое место в сердце Николая, и именно советы военачальников в конце концов убедили его отказаться от престола. Если утром 1 марта Алексеев ещё считал, что назначение думского правительства успокоит столицу, то к утру 2-го он пришёл к выводу: одного этого уже недостаточно — необходимо отречение царя.

Глубокой ночью, когда Николай ворочался без сна, генерал Рузский по аппарату Юза разговаривал с Родзянко в Петрограде и узнал, что в столице царит такой хаос, что только отречение сможет удовлетворить толпу. Алексеев был потрясён, прочитав стенограмму разговора. В девять утра он телеграфировал в Псков с приказом немедленно разбудить царя — «не считаясь ни с каким этикетом» — и сообщить ему содержание беседы Рузского с Родзянко. Теперь и Алексееву, и другим генералам Ставки было ясно, что Николаю ничего не остаётся, кроме как последовать совету Родзянко. Но Алексеев слишком хорошо знал царя и понимал: тот не согласится отречься, если ведущие генералы сами не будут его к этому убеждать. Он разослал командующим фронтами циркулярную телеграмму с изложением положения и попросил их ответить в Псков в том духе, что Николай должен уступить престол сыну, чтобы спасти армию, военную кампанию, страну и династию.[48]

В десять утра Рузский вошёл в царский вагон и передал Николаю стенограмму своего разговора с Родзянко. Царь прочёл её, поднялся и подошёл к окну. Наступило тяжёлое молчание. Наконец Николай вернулся к письменному столу и тихо сказал, что убеждён: «он рождён для несчастья». Накануне ночью, лёжа без сна, он уже понял, что для уступок слишком поздно. «Если для блага России необходимо, чтобы я отрёкся, я готов, — сказал он. — Но боюсь, народ этого не поймёт». Через несколько минут пришла телеграмма Алексеева. Рузский прочёл её вслух и предложил отложить решение, пока не станет известно мнение остальных командующих. Николай отправился завтракать. Что ещё он мог сделать? Он был человеком привычки.

К половине третьего ответы командующих пришли, и Рузского снова вызвали в царский вагон. Николай беспрерывно курил, читая телеграммы. Все поддерживали Алексеева и считали отречение необходимым. Брусилов, давно убеждённый, что царь наносит армии вред, прямо заявил: это единственный способ восстановить порядок в

тылу и продолжить войну. Великий князь Николай умолял племянника «на коленях» отказаться от короны. Закончив читать, Николай спросил мнение трёх генералов своей свиты. Ответ был тем же. Несколько мгновений царило молчание. Потом Николай сказал: «Я принял решение. Я решил отречься от престола в пользу моего сына Алексея». Он перекрестился; генералы тоже перекрестились, после чего царь ушёл в своё купе.[49]

Многих присутствовавших в императорском поезде поражало странное отсутствие эмоций у Николая в эти часы. До самого конца он сохранял строгие эдвардианские манеры и безупречное чувство приличий. Приняв судьбоносное решение, он отправился на обычную послеобеденную прогулку, а вечером, как всегда, появился в вагоне-ресторане к чаю. О событиях дня не говорили ни слова. Придворные вели привычную светскую беседу о погоде, ливрейные слуги обходили стол, разливая чай, будто ничего не произошло. «Царь сидел мирно и спокойно, — вспоминал один из адъютантов. — Он поддерживал разговор, и только глаза — грустные, задумчивые, устремлённые куда-то вдаль — да нервные движения, когда он брал сигарету, выдавали внутреннее волнение».[50]

По правде говоря, отречение, вероятно, принесло ему облегчение. В ту ночь Николай спал лучше, чем за многие месяцы. В молодости он никогда по-настоящему не хотел быть царём. Весёлая жизнь молодого гвардейского офицера, а затем уютный семейный уклад помещика гораздо больше соответствовали его характеру. Но несчастливая судьба посадила его на престол, и он поклялся сохранить и передать сыну самодержавную власть, унаследованную от любимого и внушавшего ему страх отца. Этой коронационной клятвы Николай придерживался с упрямой ограниченностью, словно боялся, что Бог — или жена — накажет его, если он не будет править как Иван Грозный. Пока он оставался царём, ничто не могло свернуть его с этого пути.

Двадцать два года Николай игнорировал уроки истории и мольбы бесчисленных советников, указывавших, что единственный способ сохранить трон — дать стране правительство, ответственное перед народом. Мотив всегда был один: «совесть» не позволяла ему этого сделать. Даже в январе 1917 года, когда великий князь Павел в последней отчаянной попытке предотвратить катастрофу убеждал его

согласиться на думское министерство, Николай ответил: «В день коронации я дал присягу самодержавию и должен передать эту присягу в неприкосновенности моему сыну».[51] В каком-то смысле ему, вероятно, было легче отречься, чем превратиться в конституционного монарха. В этом и заключалась трагедия Николая.

На протяжении всей этой драмы главным его желанием оставалось воссоединение с семьёй. «Мысленно я всегда с вами», — писал он Александре 28 февраля. Именно это привело к последнему странному повороту в истории отречения. Вечером 2 марта, ожидая приезда Гучкова и Шульгина из столицы, Николай вызвал придворного врача профессора Фёдорова и спросил о шансах сына на выздоровление. Он напомнил о предсказании Распутина, будто Алексей излечится к тринадцати годам — по иронии судьбы этот возраст должен был наступить именно в 1917-м. Фёдоров разрушил надежды: медицина не знала лекарства от гемофилии, и Алексей, вероятно, долго не проживёт. Кроме того, врач сомневался, что после отречения царю позволят оставаться рядом с сыном: скорее всего, Николаю придётся уехать в изгнание. Услышав это, Николай решил отказаться от престола не только за себя, но и за сына — в пользу младшего брата, великого князя Михаила. «Я не могу с ним расстаться, — сказал он Гучкову и Шульгину, когда те прибыли. — Надеюсь, вы поймёте чувства отца».[52]

С юридической точки зрения это было совершенно неправомерно. Закон о престолонаследии ясно говорил, что российский трон «не является частной собственностью императора или его вотчиной, которой он может распоряжаться по своей воле», а автоматически переходит старшему сыну. Более того, Михаил сам юридически лишил себя права на престол, женившись на простолюдинке, уже побывавшей в браке. Но Гучкова и Шульгина теперь занимал сам факт отречения, а не его строгая законность; ради достижения цели они были готовы сделать последнюю уступку вотчинной воле Николая. Манифест об отречении, составленный царём в его вагоне вечером 2 марта, технически был незаконен. Позднее утверждали, что это могло дать предлог для реставрации. Но тогда всё воспринималось лишь как небольшая уступка естественным правам отца.[53]

На следующий день известие об отречении достигло Царского Села. Сообщить императрице поручили великому князю Павлу: больше никто

из её окружения не находил в себе мужества. Он застал Александру с детьми, в форме сестры милосердия. Услышав новость, «императрица задрожала и склонила голову, словно произносила молитву». Спокойным голосом она объяснила, что муж, очевидно, «предпочёл отказаться от короны, чем нарушить клятву, данную при коронации». Затем она разрыдалась.[54]

* * *

Толпа у Таврического дворца встретила известие о том, что Николай отрёкся в пользу великого князя Михаила, взрывом яростного негодования. Екатерининский зал гудел от криков с улицы: «Да здравствует республика!» — «Долой династию!» Вернувшись из Пскова, Гучков отправился с триумфом на собрание железнодорожных рабочих и рассказал о случившемся. Закончив речь возгласом «Да здравствует император Михаил!», он тут же был арестован рабочими, которые пригрозили ему расстрелом. По всей столице толпы нападали на сторонников и символы царского строя. Огромная колонна солдат двинулась к Таврическому дворцу, требуя низложения династии. Политически монархия, по-видимому, была обречена.

Но внутри дворца Милюков продолжал защищать её существование с юридических позиций. Профессор утверждал: монархию необходимо сохранить как символ государства, поскольку только она способна придать законность и историческую преемственность передаче власти. Это была победа надежды над реальностью. Настроение толпы ясно показывало: монархия больше невозможна. Массы не потерпят нового царя; если его навязать, начнутся новые волнения, возможно даже гражданская война. В конце концов республиканцы в правительстве во главе с Керенским и Некрасовым добились своего.

Временное правительство решило убедить великого князя отказаться от короны и тем самым окончательно положить конец династии.[55]

Уговаривать пришлось недолго. Михаил был человеком застенчивым и скромным, политикой почти не интересовался и по уму уступал старшему брату. При иных обстоятельствах из него, возможно, получился бы неплохой, хотя и довольно простоватый конституционный монарх — вроде его английского кузена Георга V. Но

беспорядки в столице, которые он видел собственными глазами, вовсе не разожгли в нём желания взять монархическую власть. Он нисколько не стремился класть собственную голову на плаху — ни в переносном, ни в буквальном смысле — и вполне понятно был и удивлён, и раздражён тем, что брат внезапно решил возложить на него корону, даже не посоветовавшись.

3 марта Михаил встретился с руководителями Временного правительства в квартире княгини Путятиной недалеко от Зимнего дворца, где великий князь укрылся от революции. Львов и Керенский изложили точку зрения большинства кабинета: если Михаил примет трон, вспыхнет насильственное восстание, способное перерасти в гражданскую войну. Милюков возражал. По его мнению, только монархия воспринимается народом как символ власти, и сейчас она необходима, чтобы спасти страну от хаоса. «Само по себе Временное правительство, без монарха, — утверждал он, — это немореходное судно, которое может затонуть в океане народных волнений».

Всё это окончательно запутало великого князя. Он попросил час, чтобы наедине поговорить с Родзянко. По словам последнего, Михаила больше всего интересовало, сможет ли Дума гарантировать его личную безопасность, если он станет царём. Родзянко ответил, что не сможет. После этого Михаил принял решение. Вернувшись к собравшимся, он объявил, что отказывается от короны. На глазах у него стояли слёзы. Керенский, чьи чувства нередко брали верх над здравым смыслом, бросился к великому князю, пожал ему руку и поздравил с поразительно самодовольными словами: «Ваше Императорское Высочество, вы поступили благородно и патриотично. Отныне я беру на себя обязанность объявить об этом и защищать вас».[56]

Позже в квартиру Путятиной пригласили двух юристов — Набокова и Нольде — для составления манифеста об отказе от престола. Исторический документ, положивший конец трёхсотлетнему правлению Романовых, они написали за школьной партой в комнате дочери Путятиной, а затем переписали в одну из её ученических тетрадей. К шести часам вечера текст был готов. Михаил подписал его в присутствии министров и Родзянко, после чего обнял князя Львова и пожелал ему удачи на посту главы новой России.[57]

* * *

Конец монархии по всей Российской империи сопровождался ликованием. На улицах Петрограда и Москвы собирались восторженные толпы. Над крышами и из окон почти каждого здания развевались красные флаги. В Гельсингфорсе, Киеве, Тифлисе и других нерусских столицах, где падение царя связывали с освобождением нации, рядом с красными вывешивали и национальные флаги. Почти не было города, даже самого маленького, где революцию не отмечали бы радостными шествиями, патриотическими речами и исполнением «Марсельезы».

Константин Паустовский вспоминал ночь, когда его маленький сонный Ефремов в Тульской губернии впервые узнал о революции:

> Был час ночи — время, когда Ефремов обычно спал. Вдруг в этот необычный час раздался короткий, тяжёлый удар соборного колокола. Потом второй. Третий. Звон становился всё быстрее, его гул расходился по городу, и вскоре заговорили колокола всех окраинных церквей.
>
> Во всех домах зажглись огни. Улицы наполнились людьми. Двери многих домов стояли настежь. Незнакомые люди, не скрывая слёз, обнимали друг друга. Со стороны вокзала доносились торжественные, ликующие гудки паровозов. Где-то на улице сначала тихо, а затем всё громче запели «Марсельезу»:
>
> Дрожите, тираны, ваш день миновал,
> Отныне вас презирают и друг, и враг!
>
> К человеческим голосам присоединились звонкие медные инструменты оркестра.

Не меньший восторг охватил солдат в окопах, хотя сначала офицеры пытались скрывать от них столичные известия. Над траншеями подняли красные флаги, красные ленты привязывали к военным грузовикам, орудиям и даже лошадям. В честь революции проходили парады, военные оркестры играли «Марсельезу», солдаты с криками бросали фуражки в воздух. На кораблях происходило то же самое. Красный флаг подняли над броненосцами «как эмблему, — говорили моряки Гельсингфорса, — нашей свободы и единства».[58]

До деревни весть об отречении доходила медленнее. Некоторые отдалённые сёла узнали о столичных событиях только к концу марта, а кое-где — например, в Казанской и Могилёвской губерниях, где царские

силы дольше сохраняли влияние, — лишь в апреле. Поначалу многие крестьяне были сбиты с толку падением царя. «Церковь была полна плачущими крестьянами, — вспоминал один свидетель. — “Что же теперь с нами будет? — твердили они. — У нас отняли царя?”» Особенно старики почитали царя почти как земного бога и воспринимали его свержение как нападение на религию — этим обстоятельством многие священники пользовались в контрреволюционной агитации.

Даже среди рабочих, сохранявших тесные связи с деревней, свержение царя иногда воспринималось как грех. Американец Фрэнк Голдер записал в дневнике 15 марта:

> Разговаривал с одним рабочим — старым мужиком — в архиве Морского ведомства. Он сказал, что свергнуть императора было грехом, потому что Бог поставил его у власти. Может быть, новый строй поможет людям на этом свете, но на том они непременно за это заплатят.

Поначалу в деревнях о «больших событиях» в столице говорили вполголоса. Пока земские начальники и полиция не были отстранены от власти — а это происходило постепенно в марте и апреле, — крестьяне не имели уверенности, что их не арестуют за откровенные слова. Но с каждой неделей они становились смелее и всё чаще открыто выступали против царя. Обзор Думы, составленный по донесениям провинциальных агентов за первые три месяца революции, резюмировал этот процесс так:

> Широко распространённый миф о преданности русского крестьянина царю, о том, что без него он «жить не может», был разрушен всеобщей радостью и облегчением крестьян, обнаруживших, что в действительности они прекрасно могут жить без царя, без которого им внушали, будто они «жить не могут»… Теперь крестьяне говорят: «Царь сам себя погубил и нас разорил».[59]

Как только первоначальный страх исчез, деревня приняла революцию. Новости из столицы встречали огромными сходами в полях. «Наша деревня, — вспоминал один крестьянин, — ожила и задышала праздником. Все чувствовали огромное облегчение, словно с плеч внезапно сняли тяжёлый камень». Другой рассказывал о дне, когда его село узнало об отречении: «Люди от радости целовались и говорили, что

теперь жизнь будет хорошей. Все надели лучшие одежды, как в большой праздник. Гуляли три дня».

Во многих местах устраивали крестные ходы, благодаря Господа за вновь обретённую свободу, и молились за новое правительство. Для многих крестьян революция была священным событием, а павшие за свободу народа воспринимались почти как современные святые. Жители Большедворской волости Тихвинского уезда Петроградской губернии отслужили «благодарственный молебен за божественный дар победы народа и вечную память святых мужей, павших в борьбе за свободу». Прихожане села Освищи Тверской губернии, по их словам, «вознесли горячие молитвы в благодарность Господу за божественный дар народной победы… а поскольку эта великая победа была достигнута жертвами, отслужили панихиду по всем павшим братьям».

Нередко именно желанием ответить на эту жертву объяснялись пожертвования, которые деревни отправляли властям Петрограда в пользу пострадавших в февральские дни; суммы порой исчислялись сотнями рублей.[60]

Февральская революция была по сути своей революцией против монархии. Новая демократия определяла себя через отрицание всего царского. В риторике её лидеров царь отождествлялся с мраком и гнётом старой России, тогда как его устранение — с просвещением и прогрессом. Символами и эмблемами революции, тиражировавшимися в газетах и брошюрах, стали разорванная цепь, сияющее солнце, выходящее из-за туч, поверженный трон и упавшая корона.[61]

По всей стране уничтожались знаки и символы императорской власти. В февральские дни толпы в Петрограде срывали с фасадов двуглавых орлов — иногда даже взрывали их; снимали имперские вывески с магазинов и улиц; разбивали царские статуи; выносили портреты государей из государственных учреждений — знаменитый портрет Николая II кисти Репина сорвали с трибуны Таврического дворца — и сжигали всё это на уличных кострах. Императорские гербы на железной ограде Зимнего дворца завесили красной материей; то же делали со статуями, слишком большими, чтобы их разрушить.

В марте и апреле во многих городах устраивали символические повторения февральских событий — обычно их называли «Праздниками свободы». Царские эмблемы и знаки, иногда специально возвращённые

на место ради церемонии, вновь торжественно низвергали. В Москве гигантскую статую Александра III разбирала бригада рабочих с помощью канатов и динамита. В провинциальных городах царские памятники тоже уничтожали, хотя порой возникали споры: если монумент был поставлен на городские деньги, он успевал стать предметом местной гордости. Во Владимире, например, социалисты и купцы спорили из-за памятника Александру II. «После целой серии долгих уличных дебатов, — вспоминал местный житель, — решили пойти на компромисс: памятник не разрушать, но, чтобы не оскорблять революционную нравственность народа, фигуру царя накрыть большим коричневым мешком».

Во всём этом иконоборчестве было немало карнавального. Так, в февральские дни по улицам Петрограда носили соломенное чучело Николая II в полицейском мундире, а затем сожгли его в пародийной церемонии. Но разрушительная стихия легко превращалась в насилие. Та же толпа линчевала евнуха просто потому, что людей такого типа считали придворными прихвостнями.[6260]

Символическая революция происходила и на уровне личной жизни. Люди сознательно старались отмежеваться от старого режима и показать принадлежность к новой демократии. Солдаты отказывались от тяжело заработанных царских наград и нередко отправляли их в Петроградский Совет, чтобы тот переплавил серебро на нужды народного дела. Сотни людей с фамилиями Романов, Немец или Распутин просили канцелярию разрешить сменить фамилию. Один из таких Романовых — Фёдор Андреевич, крестьянин села Колтовского Пензенской губернии, — заявлял, что его фамилия стала «источником стыда», и хотел заменить её на Львов — фамилию главы правительства.[63]

После отмены цензуры страну захлестнул поток антицарских брошюр, открыток, пьес и фильмов. Особенно популярны были брошюры — некоторые расходились миллионными тиражами. Они торговали слухами военных лет: что императрица работает на немцев, что она любовница Распутина, что царь отдал трон этому «святому дьяволу» и тому подобное. Большинство названий имело откровенно

[60] По ошибке были сняты и несколько американских орлов.

сексуальный оттенок: «Тайны Романовых», «Весёлые дни Распутина», «Ночные оргии Распутина» — и диалоги были в том же духе. В «Ночных оргиях», например, Протопопов спрашивает мадам Вырубову, обладает ли Распутин «огромным талантом». «О да, я знаю, — отвечает она, — огромным, огромным талантом».[64]

Многие из этих брошюр были полупорнографическими и сопровождались карикатурами, где царственные особы валялись в постели с Распутиным. Такая пропаганда прямо связывала сексуальное разложение двора с болезненным состоянием самой России и потому сыграла важнейшую роль — пока ещё недостаточно изученную историками — в разрушении мифа и мистического ореола царя как божественного монарха. В течение 1917 года она создала народный образ монархии как чуждой силы мрака и разврата — образ, исключавший возможность реставрации и тем самым во многом ослабивший будущую контрреволюцию.

Политически монархия умерла. Все её главные опоры — бюрократия, полиция, армия и Церковь — рухнули почти за одну ночь. Это показывало, насколько они ослабели и насколько отдалились от царя ещё до 1917 года. Царь был стержнем всей системы — одновременно, если угодно, офицером, священником, губернатором и полицейским. Стоило убрать его, и конструкция обвалилась целиком.

Армейские командующие вскоре заявили о верности Временному правительству. Многие были связаны с его руководителями ещё через оппозиционное движение военных лет; те же, кто не сочувствовал революции, понимали, что сопротивление ей разорвёт армию. Церковь подорвала собственная внутренняя революция.

В деревне развернулось сильное антиклерикальное движение: сельские общины отбирали церковные земли, изгоняли священников из приходов и отказывались платить за требы. Многие местные батюшки спасались, присоединяясь к революции. Остальная церковная иерархия была вынуждена перейти к обороне. Святейший синод, очищенный от распутинцев, призвал духовенство поддержать новое правительство. Были введены религиозные свободы. Церковные школы передали государству. Началась подготовка отделения Церкви от государства.

Провинциальный аппарат почти повсеместно рассыпался как карточный домик, и лишь в редких случаях для его устранения

требовалась вооружённая сила. Народ выходил на улицы; губернаторы, не имея военных средств подавить беспорядки, подавали в отставку; стихийно созданные комитеты граждан объявляли себя властью. В Москве режим пал всего за два дня уличных демонстраций. «На улицах не стреляли и баррикад не было, — вспоминал ликующий предприниматель. — Старый режим в Москве пал сам собой, никто его не защищал и даже не пытался». Точно так же исчезло полицейское государство: почти за ночь полицию сменила гражданская милиция. Даже охранка была распущена, хотя позднее ходили слухи, будто многие её агенты нашли место при новой власти.[65]

Никто всерьёз не пытался восстановить монархию. Показательно, что ни один из лидеров Белого движения в Гражданской войне не сделал монархизм своей официальной программой, несмотря на многочисленных монархистов в их рядах. Белые прекрасно понимали: политически это означало бы самоубийство. Как со свойственной ему прямотой выразился Троцкий, «страна так основательно изрыгнула монархию, что та уже никогда не могла снова пролезть народу в глотку».[66] Вероятно, этот прогноз справедлив и сегодня, несмотря на постсоветский роман с царским прошлым.[61]

Но если политически монархия умерла, в более широком смысле она продолжала жить. Масса крестьян мыслила политику в монархических категориях. Государство представлялось им воплощённым в монархе, а надежды революции проецировались на образ «крестьянского царя» или другого авторитарного освободителя, который принесёт долгожданные землю и свободу. Здесь — корни культов Керенского, Корнилова и Ленина: каждый в какой-то мере пытался заполнить место низложенного царя, или, точнее, вакуум, оставшийся после исчезновения мифа о царе-освободителе. Британский посол Джордж Бьюкенен заметил эту монархическую психологию уже в первые дни революции, когда один солдат сказал ему: «Да, нам нужна республика, но во главе её должен стоять хороший царь».

В дневнике Фрэнка Голдера за 7 марта приводились такие рассказы: «Говорят о солдатах, которые хотят республику как в Англии или республику с царём. Один солдат сказал, что хочет выбирать

[61] По данным опроса общественного мнения 1995 года, лишь 7 процентов россиян выступали за восстановление монархии.

президента. Его спросили: “Кого бы ты избрал?” — “Царя”». Солдатские письма отражали ту же путаницу: «Хотим демократическую республику и царя-батюшку на три года»; «Хорошо бы у нас была республика с разумным царём». Видимо, крестьянам было трудно различить личность государя и абстрактные институты государства. Представление о демократическом порядке они тоже выражали в личностных категориях.

В марте один меньшевистский депутат Московского Совета приехал агитировать на полковое собрание под Владимиром. Он говорил о необходимости мира, о передаче всей земли крестьянам и о преимуществах республики перед монархией. Солдаты громко одобряли, а один выкрикнул: «Мы хотим избрать вас царём!» — и остальные встретили это аплодисментами. «Я отказался от романовской короны, — вспоминал меньшевик, — и ушёл с тяжёлым чувством, насколько легко любому авантюристу или демагогу стать хозяином этого простого и наивного народа».[67]

* * *

«Случилось чудо, — писал Блок матери 23 марта, — и можно ждать новых чудес». В первые дни революции людей охватили почти безумное возбуждение и эйфория. Отчасти это было чувство абсолютной свободы — то «необыкновенное ощущение», как писал Блок, что «ничего не запрещено», что «может случиться почти всё». Потрясала и скорость событий: могучая трёхсотлетняя династия рухнула за несколько дней. «Самое поразительное, — записывал Блок 25 мая, — была совершенная неожиданность: словно ночью потерпел крушение поезд, словно под ногами развалился мост, словно рухнул дом».

Возникло странное чувство нереальности. Людям казалось, что они живут во сне или сказке. События развивались слишком быстро, чтобы повседневная жизнь успела остановиться и дать возможность всё осмыслить. «Вот что было по-настоящему странно, — писала художница Юлия Оболенская подруге, — получить в первый день революции твою посылку с сухофруктами и кофе, когда на улице все обезумели от радости и мимо катились орудийные повозки с красными флагами… Снаружи — ураган… И вдруг звонок — посылка с чёрной смородиной!»[68]

Это был «медовый месяц» революции. Люди влюбились в «Февраль». Почти мгновенно история революции была переписана в соответствии с демократическими идеалами и мифическими ожиданиями. «Славная Февральская революция», как её стали называть, объявлялась бескровной. «Только представьте, — писал современник, — в России произошла великая революция, и не пролито ни одной капли крови». Её представляли и как единый национальный акт, совершённый без сопротивления. «Наша революция, — говорил думский агитатор морякам Гельсингфорса, — единственная в мировой истории, выразившая дух всего народа».

Революцию изображали духовным обновлением, нравственным воскресением народа. Мережковский называл её «возможно, самым христианским деянием в мировой истории». Сама революция превращалась в своеобразный культ. Огромные толпы собирались на улицах для молитв и церемоний в честь «Славного Февраля». Похороны мучеников революции во второе воскресенье нового строя, 12 марта, тоже имели характер — хотя и не обрядность — религиозной мессы. Многие сравнивали революцию с Пасхой. На улицах люди поздравляли друг друга пасхальным приветствием «Христос воскрес!» — иногда заменяя его словами «Россия воскресла!».

Царизм объявлялся воплощением зла и греха — один священник даже назвал его «учреждением дьявола». Он разделил народ на богатых и бедных; теперь же, после его падения, общество должно было перестроиться на более христианских началах. Некоторые идеалисты даже верили, что ложь, воровство, азартные игры и ругань исчезнут сами собой. «Пьянство в России, — заявил крестьянский съезд Томской губернии, — при старом режиме было источником национального позора. Но теперь, в Свободной и Демократической России, пьянству места быть не может. Поэтому съезд рассматривает производство любого алкоголя как измену революции и измену Российской демократической республике».

Одна женщина даже написала в Совет, что «христианская миссия» Русской революции должна заключаться в упразднении всех тюрем страны, поскольку нет такого преступника, которого нельзя было бы исправить. Многие интеллигенты утверждали, что русский народ теперь научится жить в новой соборности — всеобщем духовном единстве,

стоящем выше классовых и партийных различий. По словам Татьяны Гиппиус: «Атмосфера очистилась… Слава Богу, соборность торжествует над партийностью».[69]

В том же христианско-народническом духе революцию представляли и как национальное, патриотическое возрождение. Повторяли герценовскую мысль, что царизм был «чужд» простому народу. Династия — «Готторп-Гольштейнская». При дворе хозяйничали немцы. Императрица — «немка» — предала Россию. Но народ восстал, и из подлинно национальной революции Россия получила подлинно национальное правительство, вокруг которого теперь могла объединиться для победы над внешним врагом. Это должна была стать «патриотическая революция». Или, как выразился кто-то: «Теперь, когда мы побили немцев здесь, побьём их и на фронте».[70]

Многие из этих идеалов князь Львов выразил в первом интервью свободной прессе. «Я верю, — сказал он, — в жизненную силу и мудрость нашего великого народа, проявившиеся в общенародном восстании, которое свергло старый режим. Они проявляются во всеобщем стремлении утвердить свободу и защитить её как от внутренних, так и от внешних врагов. Я верю в великое сердце русского народа, наполненное любовью к ближнему, и убеждён, что именно оно является основой нашей свободы, справедливости и правды».[71] Этим высоким ожиданиям очень скоро предстояло разбиться о действительность.

ГЛАВА 9

САМАЯ СВОБОДНАЯ СТРАНА В МИРЕ

i. Далёкое либеральное государство

Ничто в прежнем опыте князя Львова не могло полностью подготовить его к задачам, вставшим перед ним как перед председателем Временного правительства. Не то чтобы он не был привычен к долгим часам работы, которых требовал высокий пост. Военная деятельность в Земском союзе приучила его к этому, и, хотя теперь он постоянно чувствовал усталость, с дополнительной нагрузкой справлялся. С раннего утра и как минимум до полуночи Львов находился в Мариинском дворце: принимал делегации со всей России, встречался с иностранными дипломатами, председательствовал на заседаниях кабинета, инструктировал чиновников и давал интервью прессе. Набоков встретил его в первые дни марта и был «поражён его мрачным, подавленным видом и усталым выражением глаз».[1]

Нельзя сказать и того, что князь оказался неподготовленным к огромному административному бремени. Именно организаторский талант принёс ему всеобщее уважение военной оппозиции и поставил его первым почти во всех списках возможных руководителей страны. Практический здравый смысл и спокойные манеры делали его хорошим командным игроком. Князь Сергей Урусов, бывший губернатор Бессарабии, с которым мы познакомились во второй главе и который теперь стал заместителем Львова в Министерстве внутренних дел, говорил, что тот умел вдохновлять сотрудников, побуждал их к инициативе и искусно разрешал споры.

Хотя позднее историки охотно принижали Львова как государственного деятеля — Самюэль Хор в 1930 году назвал его «человеком, куда лучше подходившим на роль председателя Лондонского окружного совета, чем главы неустойчивого правительства в разгар великой революции», — современники широко считали его одним из самых способных руководителей России. Церетели называл его «талантливым организатором, имеющим куда больше опыта государственных дел, чем любой из социалистов».

Горький причислял Львова, наряду с Керенским и Некрасовым, к «трём действительно талантливым политикам правительства».[2]

Но в новом мире партийной политики князь оказался не на своём месте. Вся его прежняя деятельность была практической, земской: там люди разных сословий и партий работали сообща «на благо страны». Поначалу надеялись, что Временное правительство будет руководствоваться тем же духом. Предполагалось создать военное правительство национального доверия и спасения, а не кабинет одной партии или одного класса; именно поэтому общенациональная фигура Львова была избрана его главой.

Но революция распахнула шлюзы партийной политики, особенно левой, и почти неизбежно эта политика проникла в работу правительства. К этому Львов не был готов. Его знания партийной борьбы были почти нулевыми. Даже после нескольких месяцев на посту главы кабинета он с трудом различал эсеров и большевиков. Мягкость характера делала его почти беспомощным перед жёсткой политической схваткой. Выходец из старого мира джентльменской земской деятельности, он по привычке искал компромисс — куда чаще, чем позволяли партийные лидеры столицы и непримиримые конфликты в стране.

Когда министры спорили о политике, а происходило это очень часто, первой реакцией Львова было попытаться примирить их с помощью «практических и созидательных» решений. Отсюда возникла репутация нерешительного человека; и действительно, политики с более сильной волей легко влияли на него. Набоков, возглавлявший правительственную канцелярию, вспоминал бесконечные «мучительные заседания» Совета министров, где «разногласия и скрытая или открытая враждебность одних лиц к другим» не позволяли двигаться вперёд. «Я не помню ни одного случая, чтобы министр-председатель заговорил властно или высказался решительно и окончательно… Он был самим воплощением пассивности». Думский политик Бубликов насмехался над Львовым — с его «постоянным выражением растерянности» и «непрерывным стремлением быть со всеми любезным» — как над «ходячим символом бессилия Временного правительства».[3]

Все четыре месяца своего премьерства Львов держался перед лицом политических трудностей благодаря одному — непоколебимому оптимизму. Да и возможно ли было управлять Россией в 1917 году, не веря в чудеса? Львов был убеждён, как любил повторять, что «в конце концов всё устроится». Этот оптимизм опирался на славянофильскую и народническую веру в «мудрость и доброту русского народа». «Душа русского народа, — заявлял он в мартовской речи, — по самой своей природе оказалась душой всемирно демократической. Она готова не только слиться с демократией всего мира, но и встать во главе её и повести человечество по пути прогресса на началах свободы, равенства и братства».

По своему ограниченному знакомству с крестьянами — прежде всего с соседями по Поповке — Львов наивно заключил, что все крестьяне столь же добры. Освободившись от царского гнёта, объяснял он однажды секретарю, народ научится управлять собой в либерально-демократическом духе Запада. В первые недели надежд ему едва ли приходило в голову, что ненависть народа к имущим и нетерпеливое ожидание социальной революции могут прежде залить страну кровью.[4]

Керенский вспоминал одно из первых заседаний Совета министров. Князь Львов опоздал, явившись с пачкой телеграмм из провинции. Все сообщали примерно одно: местная администрация развалилась, а власть перешла к различным стихийно возникшим общественным комитетам. Министры долго сидели и гадали, что делать. «Мы находились в разгар войны, а огромные пространства страны оказались в руках совершенно неизвестных людей!» Тогда Львов, «с необыкновенной уверенностью», подвёл итог обсуждению:

> Мы должны совершенно забыть о старой администрации — психологически возврат к ней невозможен. Но Россия без неё не погибнет. Администрации нет, но народ остаётся… Господа, надо набраться терпения. Надо верить в здравый смысл, государственное чувство и верность народов России.

«И действительно, — вспоминал Керенский, — кроме этой веры в народ у нас ничего не было».[5]

Вера Львова в «народ» была типична для интеллигентского мировоззрения, определявшего политическую философию первого Временного правительства — с 2 марта по 5 мая. Не все министры

разделяли столь возвышенные надежды. Милюков и Гучков с самого начала выступали за сильную государственную власть, которая сдерживала бы анархические инстинкты народа и спасла страну от хаоса. Но их холодный рационализм постоянно заслонялся более тёплыми чувствами Керенского, Некрасова и Львова.

Главный тон правительству задавали либеральные ценности интеллигенции, выросшие из борьбы народа за свободу против самодержавия. В основе этой демократической политической культуры лежали два убеждения: инстинктивное недоверие к государству как к силе принуждения и вера в местное самоуправление. Из этого следовало: чтобы провести Россию в цивилизованный мир свободных наций, достаточно далёкого, либерального государства. Либеральные лидеры говорили, что будут управлять «вместе с» народом, а не «над» ним. Они считали себя «внеклассовой» властью — правящей в интересах «всего народа», а не какого-либо класса — и надеялись именно на этом всеобщем обещании построить легитимность.

Они представляли себя временными распорядителями «нейтрального государства», стоящего выше партийных и классовых интересов, до избрания новой суверенной власти — Учредительного собрания, которое одно могло законно санкционировать социальные и политические реформы. На деле это означало довериться терпению народа: ждать, пока его проблемы будут решены законным путём. «Защита государства» ставилась выше классовых или партийных интересов революции.

Но когда само государство оказалось под угрозой волнений — в апреле, июле и октябре, — они не решились применить силу в его защиту. Благородные либеральные намерения и глубоко укоренившееся недоверие к государственному насилию мешали им принять меры, необходимые для защиты дорогих им конституционных свобод от угрозы экстремизма. Они были полны решимости разобрать старый полицейский режим, суды и карательную систему — и тем самым связали себе руки в борьбе с растущей преступностью и насилием. Даже когда насилие вдохновлялось большевиками, правительство неохотно прибегало к подавлению. Люди Февраля, уверенные, что пришли к власти благодаря «бескровной революции», не желали запачкать руки кровью «народа». В конце концов эта слабость их и погубила.

Руководители Временного правительства видели себя участниками французской революции, разыгрываемой на русской земле. Они сравнивали себя с героями 1789 года. Керенский, например, любил думать о себе как о Мирабо — а позднее как о Наполеоне. Вожди «Великой русской революции» искали в революционной истории Франции прецеденты для своей политики и образцы для институтов. Большевиков называли якобинцами — так называли себя и они сами. Большевики, в свою очередь, именовали либералов жирондистами. Все демократы предупреждали об опасности «контрреволюции» и «бонапартизма».[62]

Провинциальные комиссары, солдатские комитеты и армейские комиссары, губернские комитеты общественной безопасности и само Учредительное собрание — всё это в той или иной степени копировало французские образцы. Старые почтительные формы обращения сменились словами «гражданин» и «гражданка». «Марсельеза» — которую русские произносили как «Марсильеза» и к которой сочиняли собственные тексты: «Рабочую Марсельезу», «Солдатскую Марсельезу», «Крестьянскую Марсельезу» — стала национальным гимном революции. Её играли на общественных собраниях, уличных демонстрациях, концертах и спектаклях:

> Отречёмся от старого мира,
> Отряхнём его прах с наших ног.
> Нам не нужно златого кумира,
> Ненавистен нам царский чертог.

Книжные магазины бойко торговали популярными историями Французской революции. Россию охватила мода на всё французское. В конце концов Франция была ближайшим западным союзником России против Германии — последнего оплота самодержавия — и страной-основательницей европейского клуба демократических наций, в который Россия теперь вступала. Даже визитная карточка Львова была напечатана по-французски: **PRINCE GEORGES LWOFF**.

На визитной карточке значилось: **MINISTRE-PRESIDENT DU GOUVERNEMENT PROVISOIRE** — словно сама эта французская

[62] Для социал-демократов, воспитанных на работах Маркса 1848–1852 годов, «бонапартизм» означал прежде всего Наполеона III, а не Наполеона I.

формула символизировала переход России в цивилизованный западный мир.[6]

И всё же Россия не могла стать второй Францией. Конституционная фаза Русской революции — в классической европейской традиции 1789 и 1848 годов — уже была прожита в 1905–1914 годах. Политической реформе больше нечего было предложить. Только глубокая социальная революция, не имевшая прямого прецедента в европейской истории, могла решить вопросы власти, возникшие после падения старого режима. В этом заключалась основная ошибка людей Февраля: опьянённые представлением о себе как о наследниках 1789 года, они вообразили, что проблемы 1917-го можно решить импортом западных конституционных практик и политических форм, для которых в России не существовало ни подлинных традиций, ни необходимой культурной основы.

Словно стремясь доказать, что он наследник Лафайета, князь Львов в первые недели существования Временного правительства председательствовал при принятии целой ослепительной серии политических реформ. Практически за одну ночь Россия превратилась в «самую свободную страну в мире». Были провозглашены свобода собраний, печати и слова. Отменены законодательные ограничения по религиозному, сословному и национальному признакам. Объявлена всеобщая амнистия. Введено всеобщее избирательное право для взрослых. Полиция стала подотчётна местному самоуправлению. Были реформированы суды и пенитенциарная система. Отменена смертная казнь. Созданы демократические органы местного самоуправления. Началась подготовка выборов в Учредительное собрание.

Законы следовали один за другим с такой скоростью, что новые граждане России едва успевали за ними следить. Однажды во второй половине марта к Львову пришла делегация сторонниц женского избирательного права, добивавшихся участия женщин в выборах органов местного самоуправления. Женщины явно готовились к тяжёлой борьбе; некоторые заранее написали длинные и страстные речи. Им казалось, что от успеха миссии зависит судьба половины России. Но едва они встретились со Львовым, стало ясно, что ломятся в открытую дверь. «А почему женщины не должны голосовать? — с искренним удивлением спросил князь. — Я не понимаю, в чём

проблема. Если избирательное право всеобщее, разве есть основания исключать женщин?»[7]

Эти реформы способствовали возникновению новой демократической культуры. Называть себя «демократом» стало политически правильным — порой буквально. Один крестьянин по фамилии Дураков сменил её на Демократов. Однако в России слово «демократия» было не только политическим, но и социальным понятием. Особенно на левом фланге им обозначали «простой народ» в противопоставлении «буржуазии». Язык 1789 года, проникнув в Россию 1917-го, почти сразу был переведён на язык классов.

Это было не просто вопросом слов. Для огромной массы населения идеалы «демократии» выражались прежде всего через социальную революцию, а не политическую реформу. Крестьяне и рабочие привыкли видеть власть основанной на социальном господстве и принуждении, а не на действии закона. Поэтому революцию они воспринимали главным образом как возможность обрести самостоятельность и поменяться местами с бывшими хозяевами, а не как шанс заново выстроить систему власти на универсальных правовых принципах. Не конституция, а возмездие — вот что было для народа первым делом.

Революцию 1917 года правильнее всего понимать как общий кризис авторитета. Отвергалось не только государство, но и вообще все фигуры власти: судьи, полицейские, чиновники, офицеры армии и флота, священники, учителя, хозяева предприятий, мастера, помещики, деревенские старосты, патриархальные отцы и мужья.

В то время часто говорили — и историки затем повторяли, — что реальной властью обладал только Совет. Гучков писал Алексееву 9 марта:

> У Временного правительства нет никакой реальной власти, и его распоряжения исполняются лишь в той мере, в какой это разрешает Совет рабочих и солдатских депутатов. Последний контролирует важнейшие рычаги власти, поскольку в его руках находятся войска, железные дороги, почта и телеграф. Можно прямо сказать, что Временное правительство существует лишь до тех пор, пока Совет позволяет ему существовать.[8]

Безусловно, Совет обладал гораздо большей силой, чем любой другой орган. У него была фактическая монополия на организованное насилие, а масса рабочих и солдат считала его единственной законной властью в стране. Почти в любой момент между февралем и октябрём Совет мог взять власть; это вполне могло привести к гражданской войне, но имеющейся поддержки, скорее всего, хватило бы для победы.

И всё же даже Совет, опиравшийся прежде всего на Петроград, лишь очень ограниченно контролировал революцию в провинции. Центральная власть распалась. Города и области заявляли о своей «независимости» от столицы; деревни объявляли себя «автономными республиками»; национальные и этнические группы захватывали территории и провозглашали «независимые государства». Именно в этой децентрализации власти и заключалась социальная революция: местные сообщества защищали собственные интересы и утверждали автономию через стихийно создававшиеся выборные органы — общественные исполнительные комитеты, городские комитеты, революционные комитеты, комитеты общественных организаций, сельские комитеты и Советы. Они мало считались с распоряжениями центра и принимали собственные «законы», узаконивая местную перестройку социальных отношений.

Поэтому политику 1917 года следует понимать не столько как конфликт «двоевластия» — раздел власти между правительством и Советом, которому историки уделили столько внимания, — сколько как более глубокую проблему размножения «множества местных властей», многовластия.

В провинциальных городах о настоящем «двоевластии» зачастую вообще не приходилось говорить. Либеральная и социалистическая интеллигенция, разделённая в Петрограде между правительством и Советом, почти везде с февраля по октябрь — а во многих местах и позднее — работала совместно в демократических городских комитетах. Россия, одним словом, балканизировалась.

Повторялось одно и то же: стоило исчезнуть государственной власти, как Россия распадалась на анархию и хаос. Так произошло после крушения царского государства; то же произошло после распада коммунистической системы. Если 1917 год что-то и доказал, так это то, что российское общество не было ни достаточно сильным, ни

достаточно сплочённым, чтобы удержать демократическую революцию. Кроме самого государства, Россию практически ничто не связывало воедино.

«Кто вас избирал?» — крикнул кто-то из толпы, когда Милюков объявил о создании Временного правительства. Ответ, разумеется, был прост: никто. Временное правительство не было демократическим в смысле избранности народом; оно было «правительством национального доверия». Оно никогда не обладало той легитимностью, которую даёт только избирательная урна.

Либеральных руководителей чрезвычайно тревожило отсутствие мандата, и они надеялись снискать больше уважения, называя себя «временными». Они представляли правительство лишь временным хранителем государства до выборов Учредительного собрания и постоянно подчёркивали, что окончательная законность любых реформ зависит от санкции будущего собрания. Но именно поэтому народ спрашивал: почему вообще надо подчиняться такому правительству? Само слово «временное» не внушало почтения.

Оглядываясь назад, трудно не обвинить руководителей Временного правительства в том, что они не поспешили созвать Учредительное собрание, которое одно могло дать им необходимый демократический мандат. Все признавали срочность этой задачи. Однако либеральные лидеры позволили высоким идеалам затуманить здравый смысл. Их подавляло торжественное значение миссии — создать общенациональный парламент, выражающий «волю народа», — и они настаивали на самых детальных юридических приготовлениях, чтобы избирательная система была максимально справедливой.

В конце марта созвали совещание представителей различных политических групп. Только на согласование состава второго, Особого совещания из более чем шестидесяти человек, которое должно было разработать избирательный закон, ушло два месяца. Затем и оно увязло в долгих обсуждениях разных вариантов пропорционального представительства, наиболее справедливых способов нарезки избирательных округов и организации голосования в армии и на национальных окраинах.

К началу лета, когда страна всё глубже погружалась в хаос и необходимость сильной законной власти становилась очевидной,

общественность всё громче выражала недовольство медлительностью Особого совещания. Некоторые говорили, что быстрее было бы поручить закон небольшой комиссии. Но кадетский юрист Ф. Ф. Кокошкин, председатель Особого совещания, защищал осторожный подход: новый избирательный закон должен учитывать «желания и интересы всего населения».

Практические трудности действительно существовали. Миллионы людей находились в движении, и было непонятно, как учитывать их голоса. Но до известной степени эти сомнения стали оправданием промедления. Особенно кадеты были заинтересованы в отсрочке выборов — несомненно потому, что понимали: они их проиграют. Князь Львов поддерживал медлительность Кокошкина. Он как никто верил в идеал совершенного парламента. «Учредительное собрание, — говорил Львов Особому совещанию, — должно увенчать великую Русскую революцию. Оно должно заложить все жизненно важные основы будущего строя свободного демократического государства. На нём будет лежать ответственность за всё будущее России. Оно должно вобрать в себя все духовные и умственные силы народа».[9]

Это, конечно, было возложением нереалистичных ожиданий на орган, который в тех обстоятельствах должен был прежде всего стать временным парламентом национального спасения. Каким бы несовершенным он ни оказался сначала, он по крайней мере создал бы центр притяжения и основу легитимности для хрупкой российской демократии.

История знает очень мало примеров долговечных революционных парламентов, и руководители Временного правительства, прекрасно знавшие европейскую историю, должны были понимать это и умерить ожидания. Но высокие идеалы снова заслонили здравый смысл. Возможно, дело было в избытке юристов и недостатке государственных деятелей. Неспособность правительства провести выборы позволила большевикам посеять в народе серьёзные сомнения, намерено ли оно проводить их вообще. Это придало вес большевистской пропаганде, утверждавшей — и позднее использованной для оправдания захвата власти, — что правительство оказалось в руках «контрреволюции».

Под растущим давлением общества в середине июня Временное правительство наконец объявило, что выборы состоятся 17 сентября. Но

всем было ясно: при существующих темпах это невозможно. Списки избирателей ещё не составлялись, а местные органы власти, которым предстояло этим заниматься, во многих местах вообще не были созданы. К августу продвижение оставалось незначительным, и выборы вновь перенесли — на 12 ноября. Но к этому времени власть уже захватили большевики.

ii. Ожидания

«Мы живём в дикие времена, — писал Сергей Семёнов старому другу весной 1917 года. — Людям нашего поколения трудно приспособиться к новой обстановке. Но эта революция очистит нашу жизнь, и молодым станет лучше».[10] Крестьянский реформатор связывал все надежды с цивилизаторской миссией революции. Наконец, думал он, настало время отсталой русской деревне получить блага современного мира.

Падение старого режима Семёнов встретил с оптимистическими ожиданиями и готовностью к примирению с недоверчивыми соседями по сельской общине Андреевского. Прошло уже шесть лет с тех пор, как он завершил долгую и горькую борьбу за выход из общины и создание собственного замкнутого хозяйства на окраине села.

В ту первую полную надежд весну Семёнов вернулся к преобразованиям, начатым ещё в 1905 году. Он расширил работу в сельскохозяйственных кооперативах, возродил местный Крестьянский союз, открыл «народный клуб» в ближайшем торговом местечке Бухолово и организовал для крестьян лекции по самым разным прогрессивным темам — от республиканских философских идей до передовых методов зимнего содержания коров. Он даже составил проект электрификации всего Волоколамского уезда и представил его Московской городской думе.

Дочь Семёнова Татьяна вспоминала, как весной 1917-го в отце пробудились новые надежды и энергия:

> Мы поражались силе отца — она буквально удвоилась за одну ночь, — и теперь он с большими надеждами смотрел в будущее. Он не только работал в поле, но и ездил по деревням, вникая во все стороны крестьянской жизни. Он читал обо всём и постоянно писал. Иногда, когда мы уже спали, он всё ещё работал у себя. А утром вставал первым.[11]

Революция повысила авторитет Семёнова среди жителей Андреевского. Одновременно ослабла власть Григория Малютина, патриархального старосты общины и главного противника семёновских реформ. Старая система, на которую опирался Малютин, — волостной старшина, местная полиция и земский начальник из дворян — рухнула почти за одну ночь.

В самой деревне всё громче звучал голос молодых и более прогрессивных хозяев, тогда как старших крестьян вроде Малютина, не видевших в революции ничего хорошего, всё чаще переставали слушать. В основе этой демократизации общины лежали социальные перемены последних лет. Из-за разделов дворов всё больше хозяйств возглавляли молодые крестьяне. Во время войны, пока мужчины были в армии, многие дворы возглавляли женщины: в ряде областей — до трети, а в Андреевском — больше четверти.

Эти молодые крестьяне видели в Семёнове защитника реформ. На сельском сходе он неизменно выступал против Церкви и патриархального порядка. Как самый грамотный крестьянин деревни, он составлял резолюции схода, когда писарь — прислужник Малютина — отказывался «работать на революцию». Но особенно подняла его авторитет многолетняя борьба за освобождение из армии шести самых бедных односельчан, семьям которых больше некому было добывать пропитание.

Осенью 1916 года Семёнова приговорили к шести неделям тюрьмы после доноса Малютина, обвинявшего его в «поощрении дезертирства». Но крестьяне отказались его выдавать и удерживали в Андреевском — словно заложника и героя крестьянской революции — до падения старого режима. Через две недели после революции все шестеро солдат вернулись домой. Малютин оказался дискредитирован, а Семёнов стал фактическим лидером деревни.[12]

Весной Семёнов ликвидировал своё отдельное хозяйство и вернулся в общину. Так же поступило большинство крестьян — пионеров столыпинской реформы — в 1917 году. Если накануне революции до трети крестьянских дворов России обрабатывали землю в частном владении, то через четыре года таких оставалось менее 2 процентов. Силой пришлось возвращать лишь небольшое меньшинство полностью выделившихся хуторов. Полувыделенные отруба обычно были слабее

экономически и, как хозяйство Семёнова, меньше соседних общинных наделов. Перспективы получить долю добычи в общинной «войне против усадеб», вновь разгоревшейся весной, было достаточно, чтобы большинство добровольно вернулось.[13]

Возвращение выделенцев отражало общее стремление крестьян к солидарности внутри общины. «Сегодня, в свободной России, все должны быть равны и едины, — заявили крестьяне Дубово-Победимова Бугульминского уезда. — Члены общин должны принять всех выделенцев обратно в семью на равных началах и прекратить всякое давление на них, ибо оно играет лишь на руку врагам народа».

В результате революции сельская община чрезвычайно усилилась. Она вышла из дореволюционного состояния застоя и распада и превратилась в главную организационную силу крестьянской революции на земле. Все главные политические органы деревенской революции — сельские комитеты, крестьянские союзы и Советы — по существу были той же общиной в более революционной форме. Община воплощала идеалы земли и воли, всегда вдохновлявшие крестьян на восстание. Она проводила чёткую границу между «своими» и «чужими».

Она защищала интересы «своих» от «чужих» — помещиков, горожан, купцов, государственных чиновников и даже крестьян соседних общин — в эпоху крайней нестабильности.

Со времён крепостного права земельная община связывала крестьянские дворы — обычно в пределах одной деревни — с конкретным помещичьим имением. Поэтому в 1917 году она давала этим крестьянам историческое и нравственное основание претендовать на барскую землю в соответствии с часто повторявшимся принципом: «Наш был барин — наша и земля». При захвате помещичьих имений общинники проявляли удивительную солидарность и организованность. Сельский сход нередко принимал решение, обязывавшее всех членов общины участвовать в походе на усадьбу или в других формах сопротивления — например в отказе платить аренду или в бойкоте; уклоняющимся грозило исключение из общины. Безопасность обеспечивалась числом.

Вопреки старому советскому мифу, внутри деревни было очень мало конфликтов между богатыми и бедными крестьянами. Зато чрезвычайно

часто сталкивались соседние общины — иногда дело доходило до настоящих маленьких деревенских войн — из-за того, кому достанется то или иное имение.[14]

Так и совершалась земельная революция. В заранее назначенное время звонили церковные колокола, и крестьяне съезжались с телегами в центр села. Затем, словно крестьянское войско, вооружённое ружьями, вилами, топорами, косами и лопатами, двигались к усадьбе. Помещика и управляющих, если они ещё не успели скрыться, арестовывали или, по меньшей мере, заставляли подписать резолюцию, признававшую крестьянские требования.

Весной требования обычно оставались сравнительно умеренными: снизить арендную плату; перераспределить труд военнопленных; принудительно продать общине зерно, орудия и скот по ценам, которые крестьяне считали «справедливыми». Массовая конфискация помещичьих земель началась лишь летом. Большинство крестьян ещё готово было ждать, пока Временное правительство примет новый земельный закон и передаст им имения — так же как когда-то они ждали от царя «Золотой грамоты». Они боялись нападать на усадьбы до тех пор, пока не стало ясно, что старый режим не вернётся, как в 1906–1907 годах, когда за крестьянскими выступлениями последовали массовые казни.

Настоящая уверенность появилась лишь в начале мая, после назначения эсеровского лидера Чернова министром земледелия. Именно с этого времени прямой захват помещичьих имений превратился в общероссийское явление. Начало мая совпало и с началом летнего сельскохозяйственного сезона. Если крестьяне хотели осенью убрать урожай с барских полей, их следовало пахать и засевать уже сейчас.[63] Поэтому у захвата земли именно в это время был очевидный практический мотив.

Среди более необычных жертв усиливавшейся крестьянской агрессии оказались монахини Пановского монастыря в Сердобском уезде:

> Постановлением Давыдовского волостного исполнительного комитета от 10 апреля нашему монастырю велено сдать крестьянам в аренду 15

[63] Неудивительно, что многие помещики оставили поля незасеянными.

> десятин ярового поля. 19 мая от того же комитета получено предписание, что для собственных нужд нам разрешается оставить 15 десятин паровой земли, а ещё 30 десятин должны быть переданы крестьянам села Плещеевки. Теперь [в середине июня] крестьяне реквизируют у нашего монастыря зерно: 600 пудов уже забрали для местных жителей по цене 1 рубль 52 копейки, тогда как у самих крестьян зерно реквизируют по 2 рубля 50 копеек.[15]

Возвращение солдат на пасхальные отпуска, а также дезертиров из армии тоже немало способствовало росту крестьянской воинственности. Часто именно крестьяне-солдаты становились во главе походов на усадьбы. Иногда они подталкивали односельчан к бессмысленному вандализму. Барские дома поджигали, чтобы выгнать хозяев; сельскохозяйственные машины, в последние годы сократившие спрос на наёмный крестьянский труд, ломали; содержимое амбаров увозили на телегах; картины, книги, скульптуры и всё прочее, напоминавшее о чрезмерном богатстве, уничтожали или портили.

Нередко солдаты прямо подстрекали крестьян нападать на помещиков. В деревне Бор-Полянщина Саратовской губернии, например, толпа крестьян во главе с несколькими солдатами ворвалась в усадебный дом князя В. В. Сабурова и зарубила его топорами и ножами. Это была кровавая месть за действия его сына, местного земского начальника в 1906 году, когда в деревне перед рыдающими жёнами и детьми были повешены двенадцать крестьян-повстанцев. После убийства жители три дня громили имение Сабуровых. Усадебный дом, где находилась одна из лучших частных библиотек России, сгорел дотла.[16]

Перепуганные помещики забрасывали князя Львова просьбами восстановить закон и порядок. Оказавшись в своих усадьбах беззащитными среди моря враждебных крестьян, они быстро обвинили правительство в бездействии перед лицом нарастающей анархии, подступавшей прямо к их воротам. «Деревня погружается в хаос, каждый день грабежи и поджоги, а вы сидите и ничего не делаете в своём удобном петербургском кабинете, — писал Львову в апреле один тамбовский помещик. — Ваши местные комитеты совершенно бессильны и даже поощряют хищение собственности. Полиция спит, пока крестьяне грабят и жгут. Старое правительство лучше знало, как

обращаться с этим крестьянским сбродом, который вы называете “народом”».[17]

Получая такие письма, Львов едва ли мог сочувствовать бедствиям помещиков и видел в них расплату за «хамское и жестокое поведение в течение веков крепостничества». Революция была «местью крепостных», объяснял он однажды в июне за обедом нескольким министрам. Она была «следствием нашего — и я говорю сейчас как помещик — нашего первородного греха. Если бы России была дарована настоящая земельная аристократия, как в Англии, обладавшая бы элементарным человеческим достоинством и обращавшаяся с крестьянами как с людьми, а не как с собаками, тогда, возможно, всё сложилось бы иначе».[18]

Для человека его класса и происхождения это было замечательное признание — почти печальное согласие с тем, что вся дворянская цивилизация, наследником которой был и сам князь, представляла собой лишь тонкий слой поверх жестокой эксплуатации крестьянства, из которой и выросла революция.

Что бы Львов ни говорил частным образом, официальной политикой правительства была защита имущественных прав помещиков. Земельный вопрос, по мнению кабинета, должен был решаться законным путём; это означало сохранение существующих отношений собственности до тех пор, пока Учредительное собрание не примет новый земельный закон. Но у правительства почти не было средств помешать крестьянам взять и закон, и помещичью землю в собственные руки.

Старая полиция была распущена, а воинских частей в деревне — даже если бы крестьянские солдаты согласились участвовать в подавлении — не хватило бы для защиты и малой доли имений. Временные волостные комитеты, созданные правительством 20 марта для поддержания существующего порядка, вскоре сами превратились в революционные органы и начали издавать собственные «законы», узаконивая захваты помещичьей собственности.

То же произошло с волостными земельными комитетами. Временное правительство рассчитывало, что они будут охранять законные права помещиков и регулировать аграрные отношения до Учредительного собрания. Но комитеты перешли под контроль местных

крестьян и вскоре стали революционными органами на земле: они устанавливали фиксированную арендную плату, составляли описи помещичьей земли и имущества и распределяли их среди крестьян. Пытаясь остановить такое превращение земельных комитетов, правительство сократило им субсидии; однако общины заполнили финансовый пробел, собирая деньги самообложением, и комитеты продолжали расти.

Псевдозаконное одобрение земельной революции дали крестьянские съезды, собиравшиеся весной в большинстве центральных чернозёмных губерний, а также Первый Всероссийский съезд крестьянских депутатов 4–25 мая. Ничто сильнее не подорвало авторитет правительства в деревне. Эсеровские активисты, господствовавшие в исполнительных органах этих съездов, призывали крестьян терпеливо ждать решения земельного вопроса. Но под давлением радикально настроенных делегатов им вскоре пришлось санкционировать действия местных общин и даже захваты помещичьей земли как временную меру.

13 мая Казанский губернский крестьянский съезд постановил передать всю землю под контроль крестьянских комитетов. Через двенадцать дней такое же решение принял Самарский съезд — прямо вопреки распоряжению Львова губернскому комиссару пресечь дальнейшие захваты. Крестьяне воспринимали постановления своих съездов как настоящие «законы» и ссылались на них, оправдывая новые захваты летом. Они не понимали разницы между общей декларацией принципа, принятой крестьянским съездом — по сути общественной организацией, — и официально опубликованным государственным законом.

Им казалось, что для «социализации» земли или передачи её под контроль общин достаточно принять соответствующую резолюцию. Крестьянские ожидания превращали съезды в псевдогосударственные органы, которые одним заявлением принимали «законы». И эти «законы» в глазах деревни стояли выше постановлений правительства. «Местное крестьянство, — жаловался нижегородский комиссар, — твёрдо убеждено, что все гражданские законы утратили силу и что отныне все правовые отношения должны регулироваться крестьянскими организациями».[19] В этом и состоял смысл крестьянской революции.

* * *

Как у крестьян, так и у рабочих ожидания весной 1917 года взлетели чрезвычайно высоко. С середины апреля до начала июля в забастовках участвовало более полумиллиона рабочих, а круг бастующих был гораздо шире, чем во время любых прежних стачечных волн. Ремесленники и кустари, прачки, красильщики, парикмахеры, кухонные рабочие, официанты, носильщики, шофёры и домашняя прислуга — не только в двух столицах, но и в провинциальных городах всей империи — встали рядом с ветеранами стачечной борьбы, металлургами и текстильщиками.[20] Бастовали даже проститутки.

Большинство требований было экономическим. Рабочие хотели повышения зарплаты вслед за ростом цен и более надёжного снабжения продовольствием. Они требовали улучшения условий труда. Особое, почти священное значение приобрёл восьмичасовой рабочий день. Рабочие видели в нём символ всех своих прав и победы революции. На многих предприятиях восьмичасовой день вводили просто фактом: отработав восемь часов, рабочие бросали инструменты и уходили домой.

Опасаясь остановки производства или просто будучи запуганы рабочими, большинство предпринимателей вскоре согласилось признать восьмичасовой день без снижения зарплаты, хотя на военных заводах для сохранения выпуска часто вводили обязательные сверхурочные. Уже 10 марта 300 петроградских фабрикантов после переговоров с Советом объявили о признании восьмичасового дня; на этой основе его ввели и во многих других городах.[21]

Однако в 1917 году, когда сама структура государства и капитализма подвергалась пересмотру, экономические требования неизбежно становились политическими. Порочный круг забастовок и инфляции — более высокая зарплата гналась за ещё более высокими ценами — заставлял рабочих всё чаще требовать государственного контроля над рынком. Борьба за контроль над собственным рабочим местом, прежде всего за то, чтобы хозяева не сворачивали производство ради сохранения прибыли, подталкивала их к требованию передать предприятия под управление государства.

Новым было и подчеркнутое чувство собственного достоинства. Рабочие теперь осознавали себя «гражданами», знали, что именно они

«сделали революцию» — или по крайней мере сыграли в ней ведущую роль, — и больше не собирались терпеть неуважение ни со стороны мастеров, ни со стороны директоров. Такое оскорбление нередко становилось искрой насилия: ненавистных начальников символически «вывозили» с завода — иногда буквально в тачке, — избивали или бросали в канал или выгребную яму.

Многие бастующие прямо требовали уважительного обращения. Официанты и официантки Петрограда шли на демонстрациях с лозунгами:

ТРЕБУЕМ УВАЖЕНИЯ К ОФИЦИАНТАМ КАК К ЛЮДЯМ!
ДОЛОЙ ЧАЕВЫЕ: ОФИЦИАНТЫ — ГРАЖДАНЕ!

Домашняя прислуга требовала, чтобы к ней обращались на уважительное «вы», а не на фамильярное «ты», как прежде обращались к крепостным. Дворники требовали заменить унизительное название профессии на «домовые директора». Работницы добивались равной оплаты с мужчинами, отмены «унизительных телесных обысков», полностью оплачиваемого отпуска по беременности и родам и запрещения детского труда.

В глазах рабочих всё это были основные нравственные вопросы. Как показывает история Канатчикова, революционные устремления неразрывно связывались с личным стремлением к человеческому достоинству и ощущению собственной ценности. Многие говорили о создании «новой нравственной жизни», основанной на законе и индивидуальных правах, где не будет пьянства, ругани, азартных игр и избиения жён.[22]

Частью нового достоинства стала и новая уверенность в себе. Рабочие объявили центральные улицы «своими», устраивая там массовые шествия и митинги. Город превратился в политический театр, где разные группы рабочих собирались обсуждать свои требования. Эти митинги были важнейшей частью революционного зрелища — «праздниками освобождения», пользуясь выражением Мишель Перро, дававшими рабочим новое чувство уверенности и коллективной солидарности.

Вся городская Россия словно заразилась внезапной страстью к политическим собраниям — «митингованием», как говорили тогда. Все обсуждали политику. «Нельзя купить шляпу или пачку папирос, нельзя

сесть в извозчика, чтобы вас не втянули в политический спор», — жаловался Гарольд Уильямс из *Daily Chronicle*:

> Слуги и дворники требуют совета, за какую партию голосовать на районных выборах. Каждая городская стена заклеена объявлениями о митингах, лекциях, съездах, предвыборными обращениями — не только на русском, но и на польском, литовском, идише и иврите… Двое спорят на углу улицы — и их сразу окружает возбуждённая толпа. Даже на концертах музыка теперь разбавлена политическими речами известных ораторов. Невский проспект превратился в своего рода Латинский квартал. Книгоноши выстроились вдоль тротуара и выкрикивают названия сенсационных брошюр — о Распутине и Николае, о том, кто такой Ленин и сколько земли получат крестьяне.

По сравнению с этим, замечал Джон Рид, карлейлевский «поток французской речи» был всего лишь ручейком: «Месяцами в Петрограде и по всей России каждый угол улицы был общественной трибуной». Казалось, Россия, молчавшая сотни лет, теперь должна была высказать всё накопившееся за самое короткое время. «Днём и ночью по всей стране, — писал Паустовский, — с февраля и до осени 1917 года шёл один непрерывный, беспорядочный митинг».[23]

Растущие политическое сознание и уверенность рабочих отражались в бурном росте рабочих организаций. Профсоюзы и Советы продолжили дело, прерванное в 1905–1906 годах. Но очень скоро их стали обгонять фабрично-заводские комитеты — новшество 1917 года. Поскольку их избирали непосредственно в цехах, они развивались быстрее и гораздо чутче реагировали на повседневные требования рабочих, чем профсоюзы и Советы, организованные соответственно по отраслям и в масштабах города и потому более бюрократизированные.

Главной задачей фабричных комитетов было сохранить производство. Предприятия закрывались почти ежедневно, тысячи людей увольняли, и рабочие подозревали предпринимателей в сознательном сворачивании выпуска, чтобы «выморить революцию голодом». Сам капиталист Рябушинский, словно подтверждая эти подозрения, заявил, что лишь «костлявая рука голода» заставит рабочих «образумиться».

Комитеты взялись бороться с «саботажем»: проверяли деятельность администрации, контролировали снабжение сырьём, регулировали

приём и увольнение. Они следили за трудовой дисциплиной, боролись с прогулами и пьянством.

Они организовывали вооружённые дружины для ночной охраны предприятий. Их целью был «рабочий контроль», хотя под этим понималось не столько непосредственное управление производством самими рабочими, сколько прямой надзор за ним, включая участие в коллегиальных органах управления. Как убедительно показал Стив Смит, это вовсе не превращало фабричные комитеты в анархо-синдикалистские организации, какими их изображали многие историки. Комитеты никогда не ставили целью превратить заводы в рабочие коммуны, и в их практике ничто не свидетельствовало об отрицании государственной власти или централизованного планового хозяйства. Напротив, будучи прежде всего органами защиты рабочих и стремясь сохранить производство в условиях экономического кризиса, они нередко приходили к требованию национализировать предприятие. Именно это — вместе с господством меньшевиков в профсоюзах — сделало фабричные комитеты главным каналом большевистской работы в 1917 году.[24]

Ни одна организация не отражала рост рабочей самоуверенности лучше Красной гвардии. Как и фабричные комитеты, это было новшество 1917 года, причём инициатива создания шла в основном снизу. Во время Февральской революции на предприятиях возникло множество вооружённых рабочих дружин, созданных для охраны заводов. Когда правительство организовало собственную городскую милицию, рабочие отказались разоружаться. Так возникла двойная полицейская система: городская милиция в буржуазных районах и рабочие дружины в промышленных предместьях — точное отражение структуры двоевластия в Петрограде.

Постепенно рабочие дружины, хотя и весьма рыхло, объединили под руководством районных Советов. Но с самого начала наибольшее влияние на них имели большевики; именно большевик Владимир Бонч-Бруевич первым употребил название «Красная гвардия». Руководство Совета видело в Красной гвардии опасный прецедент, способный подорвать власть правительства. Большевики же после возвращения Ленина стали энергично поддерживать вооружение рабочих и помогли сформировать представление красногвардейцев о себе как о рабочей

армии, которая должна постоянно находиться в боевой готовности и защищать «революцию» от любой угрозы.

Вооружение рабочих — к июлю только в Петрограде в Красной гвардии насчитывалось около 20 тысяч человек — имело огромное психологическое значение. Именно этих рабочих имел в виду Ленин, говоря, что рабочие стоят «левее» большевиков. Они были молоды — больше половины красногвардейцев не достигли двадцати пяти лет, — в основном неженаты, грамотны и квалифицированны. Большинство вступило в промышленную борьбу во время боевых стачек 1912–1914 годов, когда большевики впервые приобрели серьёзное влияние среди рабочих Петрограда и Москвы. Большинство состояло в одной из максималистских партий — чаще всего у большевиков или анархистов — либо сочувствовало им и воспринимало себя как «авангард пролетариата».[25]

Временное правительство оказалось совершенно неспособным сдержать этот рост рабочей воинственности. Его вводила в заблуждение либерально-промышленная этика Военно-промышленных комитетов, видными участниками которых были министр торговли и промышленности Коновалов и министр финансов Терещенко. В центре этой этики находилась, откровенно говоря, довольно искусственная идея правительства как хранителя «нейтрального государства», стоящего выше партийных и классовых интересов и призванного в промышленности посредничать между трудом и капиталом. Главное — сохранить производство ради войны. Классовую войну следовало остановить, чтобы выиграть войну против Германии.

В первые недели пребывания Коновалова у власти действительно появились признаки нового духа промышленного сотрудничества. В рамках соглашения о восьмичасовом дне, заключённого при посредничестве Коновалова 10 марта, на многих предприятиях создавались примирительные камеры, где в равном числе заседали представители рабочих и администрации. Их задачей было разрешать конфликты без дорогостоящих забастовок. Управление железными дорогами передали местным железнодорожным комитетам, где рабочие участвовали наряду с техническими специалистами и чиновниками. Сам Коновалов выступал арбитром во многих трудовых спорах и склонял

предпринимателей к уступкам — нередко компенсируя им потери другими способами — ради интересов военной экономики.

Меньшевистский экономист В. Г. Громан даже начал разрабатывать контуры «планового хозяйства», в котором рабочие, специалисты и предприниматели совместно регулировали бы экономику под опекой Совета и государства.[26]

Но перемирие в классовой войне не могло длиться долго. Само стремление правительства сохранять «нейтралитет» стало одной из причин возобновления борьбы: каждая сторона подозревала кабинет в поддержке противника.

С одной стороны, первые успехи вдохновили рабочих — поступали сообщения, что на некоторых предприятиях зарплата выросла в пять-шесть раз, — и породили нереалистичные ожидания того, чего можно добиться промышленной борьбой. Эти надежды ещё больше усилились после вступления меньшевиков в правительство 5 мая, когда меньшевик Скобелев стал министром труда. Рабочим казалось, что теперь у них есть зелёный свет для новых стачек и союзники непосредственно в правительстве. Они выдвигали всё новые, порой чрезмерные требования, терпели поражение, разочаровывались и обвиняли правительство в поддержке хозяев. Для меньшевиков это обернулось политической катастрофой.

С другой стороны, предприниматели всё больше раздражались рабочими требованиями и неспособностью правительства их ограничить. В промышленном кризисе они обвиняли инфляционные повышения зарплаты, сокращение рабочего дня и постоянные перерывы в производстве из-за стачек и заводских собраний. Особенно тревожило их появление меньшевиков в кабинете: оно как будто предвещало усиление государственного регулирования и поворот в сторону рабочих.

С начала мая предприниматели стали отходить от коноваловской политики компромисса. Они сомкнули ряды и начали сопротивляться забастовочным требованиям, даже если это вело к локаутам и закрытию предприятий. Если раньше конфликт часто удавалось предотвратить переговорами, теперь обе стороны были готовы бороться до конца. Стачки становились жестокими и затяжными, поскольку заставить уступить не удавалось ни рабочих, ни хозяев. Горькая забастовка на огромном Сормовском заводе в Нижнем Новгороде, парализовавшая

крупнейшего оборонного производителя страны в самый разгар подготовки июньского наступления, стала первым явным признаком нового климата.[27] Она положила конец либеральным надеждам весны и открыла лето промышленной войны.

* * *

Провозглашая себя хранителями Российского государства, руководители Временного правительства были едины по одному вопросу: пока необходимо сохранить имперские границы страны неприкосновенными. Своим первейшим долгом они считали сохранение «единства Российского государства» до окончания войны и окончательного решения имперского вопроса Учредительным собранием.

Это не исключало временных уступок нерусским территориям в форме местного самоуправления или культурной свободы. Более того, либералы считали такие уступки необходимыми. Они исходили из того, что недовольство нерусских народов является главным образом следствием царской дискриминации и угнетения, а значит, его можно снять гражданским и религиозным равноправием. Вопрос национальных прав сводился ими к вопросу прав личности; на этой основе они рассчитывали сохранить Российскую империю.

Но защита «единства Российского государства» исключала, по выражению кадетов, уступки националистическому давлению, способные привести к «разделению страны на суверенные независимые единицы». Даже эсеры и меньшевики-оборонцы, которые как революционеры провозглашали право наций на самоопределение, после вступления в правительство в 1917 году фактически встали на позицию кадетов. Как социалисты, они по-прежнему выступали за федерализм; как патриоты, не желали руководить распадом государства во время войны.

Лидер эсеров Марк Вишняк на Третьем съезде партии в мае сравнивал будущую Россию с огромной Швейцарией — децентрализованной федерацией, в которой кантоны или республики будут пользоваться максимально широкими национальными правами, вплоть до собственной валюты, но останутся частью единого государства.[28]

Такая позиция — подобно линии Горбачёва в годы перестройки — совершенно не отвечала нарастающему после февраля 1917 года националистическому давлению. Правда, далеко не все нерусские народы стремились немедленно покинуть империю. Некоторые преимущественно крестьянские народы едва осознавали себя «нацией», а не просто этнической группой — например белорусы, литовцы, азербайджанцы и, по мнению некоторых, украинцы. Другие, прежде всего евреи, в основном удовлетворялись гражданскими и религиозными правами. Третьи соединяли этнические и социальные обиды в единой национально-социалистической революции, ориентированной на российский пример — как латыши и грузины. Армения же по чисто национальным причинам искала в России защиты от турок.

Но в других местах — и особенно среди определённых слоёв этих народов — крушение царской системы действительно вызвало подъём массовых националистических движений. Сначала они требовали автономии от России, а когда её не получали — переходили к требованию полной независимости.

Возникновение движений за независимость отчасти стало следствием появившейся возможности. Принудительная мощь старого государства исчезла; убеждающая сила Временного правительства была, мягко говоря, весьма ограниченной; немцы и австрийцы, чьи армии занимали западные окраины, были более чем готовы помогать националистам создавать небольшие государства, которые можно было контролировать и использовать против России.

И всё же националисты были не просто «германскими агентами» — даже там, где, как на Украине или в Литве, независимость была достигнута ценой сепаратного мира и превращения в немецкое государство-сателлит. Многие национальные партии получили подлинную массовую поддержку на выборах. На Украине, например, на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917 года 71 процент сельских голосов достался украинским эсерам и Всеукраинскому крестьянскому союзу. Социалистические партии с национальной программой получили большинство голосов также в Эстонии, Грузии, Финляндии и Армении.[29]

Однако далеко не ясно — и это остаётся одним из крупнейших нерешённых вопросов истории Русской революции, — что именно эта массовая электоральная поддержка говорит о национальном сознании крестьянства, составлявшего подавляющее большинство населения во всех этих обществах. Как и следовало ожидать, наиболее активными и сознательными националистами были мелкая буржуазия, полуинтеллигенция и самые зажиточные и грамотные крестьяне, особенно крестьяне-солдаты.[64]

Мы уже видели, что рост национального сознания в деревне зависел от распространения сельских институтов — школ и читальнь, крестьянских союзов и кооперативов, — через которые крестьяне знакомились с национальной культурой городского мира. И именно среди грамотных сельских слоёв эти учреждения были развиты сильнее всего.

В традиционной политической культуре украинской или грузинской деревни можно было ожидать, что большинство крестьян — а тем более крестьянок, впервые получивших право голоса — последует за этими сельскими элитами и проголосует за националистов. По той же причине эсеры так хорошо выступили на выборах в Учредительное собрание: во многих деревнях старосты и авторитетные хозяева раньше были связаны с эсерами и советовали всем голосовать за их список; чтобы не раскалывать деревню, крестьяне нередко коллективно соглашались сделать именно так.

Кроме того, самые успешные национальные партии предлагали программы, соединявшие национальные и социалистические требования, и совершенно не очевидно, что крестьяне воспринимали национальную часть отдельно. Вероятно, как предполагал Рональд Суни применительно к Украине, крестьянство обладало «культурным или этническим самосознанием» и предпочитало «руководителей своей национальности — людей, говоривших с ними на их языке и обещавших

[64] Руководство национальных движений тоже в основном происходило из этих слоёв. На Украине, например, среди ведущих деятелей были Винниченко — сын крестьянина, Грушевский — сын мелкого чиновника, Дорошенко — сын военного врача, Коновалов и Науменко — сыновья учителей, а Садовский, Ефремов, Михновский, Чеховский и Болдочан — сыновья священников.

защищать местные интересы», но ещё не осознавало себя «единой нацией» и «не было охвачено страстью к национальной идее».[30]

Иными словами, крестьяне истолковывали националистические лозунги через собственные местные заботы — защиту деревни, её культуры и земли от чуждых городов и землевладельческих элит, — а не в категориях национального государства.

Наибольшего успеха националисты достигали там, где убеждали крестьян: национальная автономия лучше всего защитит деревенскую революцию. Особенно действенным оказался лозунг национализации земли. Во многих областях борьба за землю одновременно была борьбой местного крестьянства против инородной землевладельческой элиты; поэтому слова о необходимости «национализировать землю» имели буквальный и понятный смысл.

В северных губерниях Украины, где украинские сёла тесно перемежались с русскими, националисты сумели мобилизовать украинских крестьян на защиту традиции наследственного землевладения от угрозы российской земельной реформы, основанной на общинных принципах. Лидер украинских эсеров Микола Ковалевский вспоминал, как строилась их пропаганда:

> Русские хотят навязать вам социализацию земли, — говорил я крестьянам, — то есть передать землю в собственность сельских общин и тем самым уничтожить ваши частные хозяйства. Вы перестанете быть хозяевами собственной земли и станете работниками на общинной земле.

Столь же понятной крестьянам была кампания за право пользоваться родным языком: надежды на социальное продвижение зависели от возможности учиться читать на нём и употреблять его в общественной жизни. То же относилось к движению в Грузии и на Украине за «национализацию» церковной иерархии, то есть автокефалию: если службы идут на родном языке, священник становится ближе крестьянам, а в духовенство сможет войти больше выходцев из местной среды.

Наконец, создание национальных воинских частей, которого требовали военные съезды почти всех крупных нерусских народов, не только давало бы будущим национальным государствам готовое войско, но и открывало нерусским солдатам путь в офицерский корпус.[31]

Какова бы ни была истинная природа и глубина национального движения, его сила была гораздо больше, чем готовы были признать руководители Временного правительства. Только в отношении Польши правительство полностью отступило перед националистами, уже 16 марта заявив о поддержке польской независимости — и то лишь потому, что Польша была занята Германией и Австро-Венгрией. Такие заявления ничего России не стоили и, напротив, могли привлечь польское население на сторону Антанты против Центральных держав. Даже Брусилов, великорусский патриот, воевавший тогда на спорной русско-украинско-польской территории, признавал: «У нас не было иного выбора, кроме как предложить Польше свободу».[32]

Но в двух других крупных конфликтах — с финским и украинским национальными движениями — Временное правительство отказалось от реальных уступок. Во многом именно эта непримиримость усилила массовую поддержку обоих движений. По мере очевидного ослабления правительства они перешли от требований расширенной автономии к полной независимости.

Финляндская проблема возникла из-за сомнительной юридической основы российского господства после падения монархии. Финны не без оснований утверждали, что царь владел Великим княжеством исключительно как личный великий князь Финляндский, следовательно, после его падения суверенитет должен вернуться финляндскому парламенту — сейму.

Но в Манифесте от 7 марта Временное правительство объявило себя полным законным наследником царской власти в Финляндии. Оно восстановило финляндскую конституцию, тем самым положив конец тринадцати годам прямого российского управления, но одновременно продолжало настаивать, что правительство в Гельсингфорсе должно подчиняться российскому генерал-губернатору, а не сейму, пока будущий статус Финляндии не определит Учредительное собрание.

Так начался долгий и сложный конституционный спор между финнами, не признававшими суверенитета Временного правительства, и русскими, не признававшими власти сейма. Коалиционное правительство Токоя в Гельсингфорсе, состоявшее из социалистов-федералистов и либеральных националистов, строило политику на

поиске компромисса, при котором Финляндия получила бы широкую внутреннюю автономию.

Полная внутренняя автономия должна была сочетаться лишь с российским правом вето в вопросах внешней и военной политики. Если бы возобладал здравый смысл, Временное правительство могло бы признать это вполне приемлемым временным решением конфликта. Но предложение предусматривало сокращение финской армии, участвовавшей в российской военной кампании, и кабинет опасался, что это станет первым шагом к выходу Финляндии из войны. Переговоры были заблокированы.

Всю весну тупик сохранялся. Правительство Токоя испытывало всё более сильное давление снизу, требовавшее односторонне провозгласить независимость Финляндии, тогда как Петроград видел в этом ещё один повод твёрже отвергать финские требования. На позицию обеих сторон во многом влиял рост большевистского влияния. Большевики поддержали финское дело, рассчитывая получить союзника в борьбе с Временным правительством, и создали мощную опору среди моряков Гельсингфорса, где контролировали собственный советский орган Балтийского флота — Центробалт.

Токой подчёркивал большевистскую угрозу, надеясь таким образом заставить Временное правительство пойти на уступки. Но кабинет решил стоять твёрдо. Даже Керенский, новый военный министр, в мае заговорил языком убеждённого великорусского патриота и предупредил финнов, чтобы они не испытывали терпение «открытого русского народа» попытками «лишить его прав на собственную национальную территорию».[33]

В июне и июле отношения с Россией переросли в кризис. Всероссийский съезд Советов принял резолюцию, призывавшую Временное правительство после окончания войны договориться с Финляндией о её независимости. Сейм истолковал это как разрешение принять 23 июня собственный закон о верховной власти — *valtalaki*, фактически одностороннее провозглашение независимости. По всей Финляндии начались празднования: люди ошибочно полагали, будто декларацию поддержал «русский парламент».

Но Совет был возмущён не меньше Временного правительства. *Valtalaki* представлял собой односторонний акт, тогда как советская

резолюция предполагала результат двусторонних переговоров с российским правительством. Делегация Совета попыталась убедить финнов отозвать закон; когда это не удалось, советские лидеры поддержали решение правительства подавить финское движение военной силой.

В июле Россия наращивала войска на территории Финляндии, угрожая применить их против сейма, если тот не отменит *valtalaki*. 21 июля сейм был распущен. Большинство российских социалистов, признавая право Финляндии на самоопределение, всё же сочло репрессивную меру необходимой и возложило ответственность на тактику самого сейма. Другие, в том числе Горький, предупреждали: такое действие неизбежно лишь укрепит решимость финнов, «углубит конфликт» и подорвёт демократический авторитет России на Западе.

На деле последствия оказались ещё серьёзнее. Разрушив возможность договорного урегулирования, роспуск сейма фактически подорвал правительство в Гельсингфорсе и подтолкнул Финляндию по дороге, которая закончится гражданской войной. Борьба за независимость всё теснее переплеталась с общим социальным конфликтом между либеральными имущими слоями, не решавшимися окончательно порвать с Россией, и всё более большевизировавшейся массой рабочих, матросов и безземельных батраков, стремившихся провозгласить независимую Красную Финляндию.[34]

На Украине Февральская революция немедленно породила национальное движение вокруг Центральной рады — парламента, созданного в Киеве 4 марта. В перспективе Рада признавала право Украины на самоопределение, но своей ближайшей задачей считала достижение культурных свобод, широкой политической автономии и радикальной земельной реформы в составе федеративной России.

Особенно важным был земельный вопрос. Рада могла быть уверена в поддержке украинской интеллигенции, но гораздо меньше — крестьянства, составлявшего подавляющее большинство населения. Правда, украинские солдаты — те же крестьяне в шинелях — в основном твёрдо стояли за национальное дело.

В середине мая делегация Рады представила требования Временному правительству. Они были умеренными: признание украинской автономии; отдельное представительство Украины на

будущей мирной конференции; назначение комиссара по украинским делам; создание отдельных украинских воинских частей в тылу; назначение украинцев на большинство гражданских должностей. Правительство могло согласиться с этим, не предрешая окончательного решения украинского вопроса Учредительным собранием.

Но и правительство, и руководители Совета недооценили влияние Рады — её декларацию не опубликовала ни одна российская газета — и, по-видимому, надеялись, что если проблему игнорировать, она исчезнет сама. Князь Львов попытался похоронить вопрос в специальной комиссии, набитой российскими юристами. Комиссия подняла сложнейшие правовые сомнения по поводу законности каждого требования Рады и, вполне предсказуемо, заключила, что ничего нельзя решать до Учредительного собрания. Это был очередной пример того, как русские либералы прятались от политики за юридическими формулами.

Однако такая страусиная реакция лишь укрепила национальное движение и подтолкнула его к более радикальному требованию — независимости от России. Второй Украинский военный съезд призвал односторонне провозгласить автономию, и 10 июня Рада опубликовала Первый универсал. Он был составлен в духе грамот казацких гетманов XVII века, которых националисты объявляли основателями «украинской нации», и в обстановке 1917 года приобрёл символическое значение, сопоставимое с жёлто-голубым украинским флагом.

Универсал призывал созвать сейм — суверенное национальное собрание — и объявлял о создании Генерального секретариата во главе с В. К. Винниченко. Фактически этот орган присваивал исполнительную власть, вытесняя на Украине Временное правительство.

Лишь теперь украинский кризис, совпавший с финской декларацией независимости, вышел на первый план общероссийской политики. В тот самый момент, когда армия готовилась начать новое наступление на Западном фронте, Россия столкнулась с угрозой потерять два жизненно важных тыловых региона. Львов немедленно обвинил Раду в угрозе «нанести государству смертельный удар», а *Воля народа* выразила общую позицию Совета, назвав Универсал «ударом в спину революции».[35]

И всё же компромисс был необходим. 28 июня правительство направило к Раде делегацию из трёх человек — Терещенко, Керенского и Церетели. 2 июля стороны заключили временное соглашение: Временное правительство в общих чертах признавало национальную автономию Украины, народную легитимность Рады и исполнительную власть Генерального секретариата. На оставшуюся часть лета этого хватило, чтобы приглушить украинский конфликт.

Зато соглашение вызвало ярость русских националистов в Киеве, особенно шульгинских шовинистов, которые вступали с украинцами в уличные драки. Правые кадеты в кабинете Львова взяли под защиту русское меньшинство Украины. Они отказались поддержать договор, утверждая, что решать подобные вопросы имеет право лишь Учредительное собрание. На деле это было лишь юридическим предлогом для защиты имперских интересов России на Украине.

В разговоре с секретарём Львов осудил кадетов за то, что в украинском вопросе они «ведут себя как худшие черносотенные мерзавцы».[36] 4 июля трое кадетских министров вышли из правительства. Это стало непосредственным толчком к затяжному политическому кризису, который в конце концов погубит Временное правительство.

* * *

Брусилов — жене, 1 марта:

> Ты, конечно, знаешь, что происходит. Я, разумеется, рад. Но молю Бога, чтобы этот ужасный кризис посреди ужасной войны скорее закончился и наш внешний враг не воспользовался нашим крушением. Одно счастливое обстоятельство в том, что всё происходит в такое время года, когда врагу очень трудно, почти невозможно перейти в наступление, иначе это была бы катастрофа. Тем важнее теперь выиграть войну — иначе Россия погибнет.

Неистребимая вера Брусилова в победоносную судьбу России теперь как никогда была надеждой вопреки фактам. Позднее он и сам признает: продолжать долгую военную кампанию в разгар социальной революции было совершенно нереалистично. Но пока он по-прежнему верил в волю народа сражаться до конца и, в отличие от большинства царских генералов, принял революцию в надежде, что защита свободной России наконец пробудит патриотизм солдат.

Монархисты обвиняли его в приспособленчестве; затем это обвинение повторяли историки. Но Брусилов давно пришёл к убеждению — при всей личной симпатии к монархии, — что без полной смены правительства Россия не сможет выиграть войну. «Если мне придётся выбирать между Россией и царём, — говорил он в 1916 году, — я выберу Россию».[37]

На деле армия Свободной России была куда меньше расположена продолжать войну, чем предполагал оптимистичный генерал. Приказ № 1 пробудил в солдатской массе новую гордость «граждан», равных офицерам, и вскоре это стало разрушать дисциплину. Новые солдатские комитеты, вначале ещё находившиеся под влиянием демократически настроенных младших офицеров и интеллигенции в форме, очень быстро стали вожаками революции в частях. На собраниях обсуждали стратегию и то, исполнять ли приказы командиров.

Некоторые солдаты отказывались воевать больше восьми часов в сутки, заявляя о тех же правах, что у рабочих. Многие перестали отдавать честь офицерам или заменяли их выборными командирами. Запугивание офицеров стало обычным явлением. Сам Брусилов получал множество писем от солдат с угрозами убить его, если он прикажет наступать.

Когда в мае Брусилов принял Верховное командование и инспектировал части Северного фронта, где мятежный дух был особенно силён, он обнаружил, что сотни офицеров уже покинули посты, а некоторые были доведены до самоубийства. «Помню один случай, — рассказывал он, — когда группа офицеров услышала, как солдаты угрожающе говорили о “необходимости перебить всех офицеров”. Один из самых молодых так испугался, что ночью застрелился. Он решил, что лучше убить себя самому, чем ждать, пока его убьют солдаты». С офицерами расправлялись настолько жестоко — иногда отрезали конечности и половые органы, а жертв сдирали живьём, — что молодого офицера трудно было винить в страхе.[38]

Один молодой капитан писал отцу 11 марта:

> Между нами и солдатами лежит пропасть, которую невозможно перейти. Что бы они ни думали о каждом из нас как о человеке, в их глазах мы остаёмся баринами. Когда мы говорим «народ», то имеем в виду всю нацию, а они — только простой народ. По их представлениям,

> совершилась не политическая, а социальная революция: мы проиграли, они победили. Они считают, что теперь им должно стать лучше, а нам хуже. Они не верят, когда мы говорим о преданности солдатам. Они отвечают: прежде баринами были мы, теперь их очередь быть баринами над нами. Это их месть за долгие века рабства.

Крестьяне-солдаты явно не разделяли офицерского языка «гражданственности». Они не воспринимали революцию как систему гражданских прав и обязанностей. Их революция в окопах была ещё одной разновидностью социальной революции в деревне. Крестьянские призывники естественно полагали: стоит свергнуть дворян-офицеров — и придут мир, хлеб и земля.

На одном полковом собрании в марте, где обсуждали отречение царя, солдат выразился так:

> Да вы разве не поняли? Ведь это же рывайлоосбун! Не знаете, что такое рывайлоосбун? Это когда народ берёт всю власть. А какой народ без нас, солдат, с нашими ружьями? Ба! Ясно — значит, власть наша. А раз так, то и страна наша, и вся земля наша, и воевать нам или нет — тоже нам решать. Теперь поняли? Вот это и есть рывайлоосбун.[39]

Это утверждение «солдатской власти» было сущностью «окопного большевизма», охватившего вооружённые силы в 1917 году. Брусилов описывал его так:

> Солдаты хотели только одного — мира, чтобы разойтись по домам, ограбить помещиков и жить свободно, не платя налогов и не признавая никакой власти. Они тянулись к большевизму потому, что верили: именно такова его программа. У них не было ни малейшего представления ни о коммунизме, ни об Интернационале,[65] ни о разделении на рабочих и крестьян; они просто воображали себя дома, живущими без законов и помещиков. Эту анархическую свободу они и называли «большевизмом».

С самого начала революции число дезертиров резко выросло, особенно среди нерусских солдат. Между мартом и октябрём части, вероятно, покинули около миллиона человек. Большинство были «самовольно отсутствующими» — людьми, которым попросту надоело воевать или сидеть голодными в окопах и гарнизонах. Они уходили в ближайший

[65] По словам генерала Половцова, некоторые солдаты считали Интернационал некой разновидностью божества.

город, где ели, напивались, посещали бордели и нередко терроризировали жителей.

«Улицы полны солдат, — жаловался в середине марта пермский чиновник. — Они пристают к приличным женщинам, разъезжают с проститутками и ведут себя на людях как хулиганы. Они знают, что никто не посмеет их наказать».[40]

* * *

Военные цели России весной 1917 года оказались в самом центре политики. В сущности, весь 1917 год можно представить как борьбу между теми, кто видел в революции средство закончить войну, и теми, кто видел в войне средство закончить революцию.

Это был не только политический, но и социальный конфликт. Левая пропаганда подчёркивала, что война ведётся ради различных классовых интересов. Истории о промышленниках — наживающихся на войне, купцах, «кулаках» и спекулянтах легко разжигали глубокое недоверие и ненависть к «буржуазии», «империалистической» или «капиталистической» системе. Любого сторонника войны можно было немедленно заклеймить как человека, ставящего собственные «имперские» интересы выше народных.

«Мы видим, — гласила резолюция рабочих московского завода “Динамо”, — что бессмысленная бойня и разрушение войны нужны только паразитической буржуазии».[41]

До сих пор Временное правительство уклонялось от ясного ответа на главный вопрос — какой будет его политика в отношении войны. Внутри кабинета существовали слишком разные взгляды. Милюков, при осторожной поддержке Гучкова, не видел причины отказываться от российских имперских притязаний, закреплённых в «тайных договорах» с союзниками, включая контроль над Константинополем. Став министром иностранных дел, он прямо говорил об этом прессе и иностранным посольствам.

Но его позиция резко противоречила мирной кампании Совета, начатой 14 марта обращением «К народам всего мира». В нём Совет отказывался от военных целей царской России и призывал народы всех воюющих стран выступить против «империалистической войны».

Мирную кампанию Совета немедленно поддержали военные съезды; большинство солдат заявляло о верности Совету именно потому, что он обещал мир. Кампанию поддержали и более либеральные министры Временного правительства после того, как была отвергнута идея сепаратного мира, популярная в некоторых советских кругах. Вместо неё 21 марта Совет принял умеренную программу революционного оборончества: национальное единство ради защиты России одновременно с международной кампанией за демократический мир «без аннексий и контрибуций».

27 марта Временное правительство выступило со своей Декларацией о целях войны, в целом соответствовавшей советской мирной программе. Но Милюков заявил *Manchester Guardian*, что это никак не изменит обязательств России перед союзниками и её прежней имперской политикой. Так началась ожесточённая борьба за контроль над внешней политикой Временного правительства.

В области внешней политики Милюкова в демократических кругах обвиняли в том, что он выступает без санкции кабинета. По выражению одной либеральной газеты, он был не более чем «министром личного мнения». Руководители Совета, считавшие декларацию 27 марта священным завоеванием революции, потребовали от Временного правительства направить её союзникам в форме дипломатической ноты, тем самым превратив её в практическую внешнеполитическую линию России — пусть и без согласия министра иностранных дел. После долгих препирательств Милюков вынужден был принять этот план: поддержка советской программы мира приехавшей делегацией французских и британских социалистов выбила из его рук главный довод — будто союзники её не примут. Но, отправляя декларацию иностранным посольствам, Милюков приложил к ней собственную сопроводительную ноту, где, в прямом противоречии с самой декларацией, подчёркивал, что Россия по-прежнему твёрдо привержена «решительной победе», а значит, по крайней мере косвенно, и империалистическим военным целям царского правительства.[42]

Нота Милюкова подействовала на Совет как красная тряпка на быка. Горький, участвовавший в составлении советского воззвания от 14 марта, объявил её частью «наступления буржуазии на демократию с целью продолжения войны». Действия Милюкова и в самом деле

значительно усилили среди рабочих и солдат убеждение, которое проповедовал Совет: от «империалистической войны» выигрывает одна «буржуазия». 20 апреля тысячи вооружённых рабочих и солдат вышли на улицы Петрограда. Многие несли плакаты с требованиями удалить «десять министров-капиталистов», прекратить войну и образовать новое революционное правительство. Линде, возглавлявший февральский мятеж, был возмущён нотой Милюкова. Он видел в ней измену главному обещанию революции — привести войну к демократическому миру. По самой своей натуре склонный к стихийному протесту — февраль это уже доказал, — Линде повёл батальон Финляндского полка на вооружённую демонстрацию к Мариинскому дворцу, рассчитывая, что Совет потребует ареста правительства и установления советской власти.

К тому времени, когда они дошли до дворца, к уличной армии Линде присоединились толпы разгневанных солдат Московского и Павловского полков, и её численность выросла до 25 тысяч человек. Демонстрация была совершенно импровизированной — Линде ни с кем не советовался, — но он, очевидно, находился в заблуждении, будто Исполнительный комитет Совета, членом которого был и он сам, полностью одобрит его действия. Он ошибался. Исполком принял резолюцию, осуждавшую выступление Линде: Совет не собирался брать власть, а, напротив, считал необходимым помочь Временному правительству восстановить собственный авторитет. Только крайние левые — выборгские большевики и анархисты — подстрекали демонстрантов и внушали им дикую мысль о том, что надо «избавиться от буржуазии». Правая печать немедленно объявила Линде «большевиком» и изобразила его вооружённую демонстрацию — хотя она мирно разошлась, как только руководители Совета приказали это сделать, — как кровавую попытку переворота. Генерал Корнилов, командовавший Петроградским гарнизоном, хотел разогнать демонстрантов войсками. Но кабинет не решился применять силу против «народа» и не дал разрешения. 21 апреля демонстрации возобновились. Разъярённые участники окружили автомобиль Милюкова и били по нему кулаками. На Невском проспекте между демонстрантами и контрдемонстрацией правых патриотов и монархистов вспыхнули уличные столкновения; несколько человек

были убиты.[43] Вопрос о войне расколол столицу надвое и поставил её на грань кровавой гражданской войны.

Именно угроза гражданской войны окончательно подтолкнула руководителей Совета войти в правительство и укрепить его власть. К мысли о коалиции они приближались уже некоторое время. Этому способствовали два главных обстоятельства. Первым был Ираклий Церетели — высокий, красивый грузин-меньшевик с бледным лицом, напоминавшим персонажей Эль Греко. Он вернулся из сибирской ссылки в середине марта и сразу же утвердил своё влияние в руководстве Совета. По оценке Львова, Церетели был «единственным настоящим государственным деятелем в Совете». В своих строго аргументированных речах он неизменно апеллировал не к интересам класса или партии, а к интересам государства, и постепенно приучал руководителей Совета к мысли об их ответственности. Они переставали думать и действовать как революционеры и начинали ощущать себя «государственными людьми». Именно Церетели сформулировал политику революционного оборончества, объединившую руководителей Совета с либералами в вопросе о войне и ставшую основой их коалиции. Вторым фактором было настроение рядовых членов социалистических партий, особенно в провинции, в целом приветствовавших перспективу коалиции с либералами. Они с самого начала не были скованы той идеологической навязчивостью, которая владела столичными вождями, — требованием непременно создать «буржуазное правительство». Они ставили прагматизм выше партийной догмы — а какой у них был выбор при ничтожной численности провинциальной интеллигенции? — и с первых дней революции вместе с либералами вошли в городские органы управления. Кроме того, рядовые социалисты полагали, что участие их лидеров в правительстве даст им больше рычагов давления. Многие рабочие надеялись, что при меньшевиках, отвечающих за промышленность, скоро вырастет заработная плата. Многие солдаты думали, что при эсерах, отвечающих за войну, скоро наступит мир.[44]

Создание коалиции, как и формирование правительства в марте, стало результатом совместных усилий руководителей Совета и либералов восстановить порядок на улицах Петрограда. Советские лидеры были потрясены насилием демонстраций и перспективой

гражданской войны. Именно они взяли на себя инициативу по прекращению беспорядков: установили контроль над гарнизоном и 21 апреля запретили дальнейшие демонстрации. Фактически они уже принимали на себя обязанности правительства. На следующий день они вместе с министрами опубликовали заявление, осуждавшее ноту Милюкова. Непосредственный кризис был исчерпан. Но Львов теперь твёрдо решил ввести руководителей Совета в кабинет, чтобы придать правительству народную легитимность. Главным препятствием оставалось присутствие Милюкова: сотрудничество с ним делало советских лидеров уязвимыми для обвинений крайне левых в поддержке «империалистической войны». Поэтому 28 апреля они отвергли идею коалиции. Однако через два дня всё изменилось: военный министр Гучков, единственный союзник Милюкова в кабинете, подал в отставку в знак протеста против подтверждения прав солдат правительственной комиссией и против кампании Совета против Милюкова. Тем временем Львов начал готовить удаление самого Милюкова. Он обещал Церетели вытеснить его из кабинета, если руководители Совета согласятся войти в коалиционное правительство. Это, вместе с угрозой самого Львова уйти в отставку, если Церетели не согласится, убедило меньшевистского лидера, что коалиция теперь не только возможна, но и необходима для прекращения кризиса власти, которым могли воспользоваться крайние правые или крайние левые. Во многом именно сила его доводов заставила Исполком Совета 2 мая проголосовать за коалицию 44 голосами против 19.[45]

Через три дня был объявлен состав нового кабинета. В знак уважения к меньшевистской догме социалисты согласились занять лишь меньшинство министерских постов — шесть из шестнадцати, — а чтобы сохранить либеральное представление о правительстве как об общенациональном учреждении, стоящем над партиями и классами, они вошли в него как частные лица, а не как представители Совета. Чернов получил Министерство земледелия, Керенский — Военное министерство, Скобелев — Министерство труда. Церетели, проводивший большую часть времени в Совете, уговорили занять сравнительно скромный пост министра почт и телеграфов, позволявший ему держать одну ногу в каждом лагере. Чернов называл Церетели «министром общих дел», а Суханов — «комиссаром правительства в

Совете». И действительно, именно Церетели стал центральной фигурой коалиции. Львов зависел от него в деле удержания социалистических лидеров на стороне кабинета и включил его в свой «внутренний кабинет» — вместе с пятью министрами-масонами: Керенским, Терещенко, Некрасовым, Коноваловым и самим Львовым, — где определялась общая стратегия.[46]

Создание коалиции, призванное укрепить демократический центр, привело к противоположному результату. Оно ускорило политическую и социальную поляризацию, которая в октябре вылилась в гражданскую войну. С одной стороны, большинство провинциальных кадетов вслед за своим лидером Милюковым, ушедшим в отставку 4 мая, перешло в правую оппозицию коалиционному правительству. Всё чаще они отказывались от либерального образа партии всей нации и представляли себя партией защиты классовых интересов буржуазии, частной собственности, закона и порядка и Российской империи. С другой стороны, в советском лагере шёл постоянный сдвиг влево: массы рабочих и крестьян всё сильнее разочаровывались в неспособности социалистов использовать своё место в правительстве для ускорения социальных реформ или заключения демократического мира. Левые эсеры и меньшевики, выступавшие против коалиции, справедливо предупреждали товарищей по партии, что, войдя в правительство и разделив ответственность за его неудачи, они неизбежно потеряют народную поддержку. Отныне социалисты должны были быть «государственными деятелями» и уже не могли действовать как «революционеры»; в интересах государства им приходилось сопротивляться тому, что они теперь называли растущей «анархией»: захватам помещичьих земель крестьянами, рабочим забастовкам и распаду армейской дисциплины. Вместо того чтобы воспользоваться народным мандатом и самим взять власть, как они могли сделать во время апрельского кризиса, руководители Совета предпочли поддержать уже дискредитированное либеральное правительство. Их всё чаще воспринимали как хранителей «буржуазного» государства, а инициатива в борьбе за хлеб, землю и мир перешла к большевикам.

iii. Ярость Ленина

Финляндский вокзал на Выборгской стороне Петрограда, незадолго до полуночи 3 апреля 1917 года. Зал заполнен рабочими и солдатами с красными флагами и транспарантами; играет военный оркестр. Площадь снаружи забита автомобилями и похожими на танки броневиками, а холодный ночной воздух синеват от дыма. Луч прожектора скользит по лицам толпы и фасадам зданий, на мгновение высвечивая трамвайные провода и очертания города вдали. Повсюду возбуждённый гул ожидания: прибывает поезд Ленина. Наконец состав входит на станцию; зал сотрясают громовые звуки «Марсельезы»; из вагона появляется невысокая коренастая фигура Ленина — швейцарское шерстяное пальто и шляпа-гомбург странно выделяются среди серых солдатских гимнастёрок и рабочих картузов. Вооружённый большевистский эскорт строем проводит его в бывший царский зал ожидания, где делегация Совета готова приветствовать очередного героя революционной борьбы, вернувшегося после более чем десятилетней эмиграции.[47]

Для Ленина это был конец неожиданного путешествия. Февральская революция застала его в Цюрихе и, как большинство социалистических лидеров, совершенно ошеломила. «Потрясающе! — воскликнул он, узнав новости, обращаясь к Крупской. — Невероятно неожиданно!» Ленин был полон решимости как можно скорее вернуться в Россию. Но как пересечь германские линии? Сначала он думал переправиться через Северное море пароходом, как уже сделал Плеханов. Однако британцы относились к русским марксистам враждебно: Троцкого и Бухарина по пути из Нью-Йорка в Россию задержали в Англии. Затем Ленину пришла в голову мысль проехать через Германию, переодевшись глухонемым и слепым шведом, — пока Крупская не пошутила, что он наверняка выдаст себя, начав во сне ругать меньшевиков. В минуту отчаяния он даже подумывал нанять частный самолёт и перелететь через Восточную Европу, но опасность этого безумного предприятия быстро его остановила. Когда дело касалось личного физического риска, Ленин всегда был довольно труслив.[66]48

[66] Валентинов, хорошо знавший Ленина в Швейцарии, писал: «Он никогда не вышел бы на улицу драться на баррикадах или стоять под огнём. Делать это должны были не он, а другие, более скромные люди… Ленин стремглав убегал даже с эмигрантских собраний, если казалось, что дело может кончиться дракой. Его правилом было “уйти, пока можно”,

Именно Мартов предложил обменять русских марксистов-эмигрантов в Швейцарии на германских граждан, интернированных в России. При помощи швейцарских товарищей русские эмигранты вступили в контакт с германскими властями, которые быстро поняли выгоду от возвращения в Россию большевиков и других социалистических групп, выступавших против войны: там они могли посеять раздор. Немцы даже помогали финансировать их деятельность, хотя из этого вовсе не обязательно следует, как впоследствии часто утверждали, будто большевики были германскими агентами.[49] Временное правительство не проявляло энтузиазма по поводу обмена — Милюков, зная пораженческие взгляды Ленина, был решительно против — и затягивало переговоры. Мартов и большинство меньшевиков-эмигрантов готовы были ждать. Но Ленин и тридцать один его товарищ решили воспользоваться германским планом без санкции российского правительства. 27 марта они выехали германским поездом из Готтмадингена на швейцарской границе и через Франкфурт, Берлин и Стокгольм направились в Петроград. В поезде был всего один вагон; он был «пломбирован» в том смысле, что немцы по пути не проверяли ни паспорта, ни багаж. Ленин работал один в своём купе, а его спутники, к его великому раздражению, пили и пели в коридоре и соседних купе. Курить разрешалось только в уборной, и Ленин распорядился выдавать некурящим «билеты первого класса», дававшие им преимущество перед курильщиками с «билетами второго класса». Радек пошутил, что уже по этому маленькому опыту социального планирования видно: Ленин готовится «возглавить революционное правительство».[50] «Пломбированный вагон» стал ранней моделью ленинской государственной диктатуры.

Ленин вернулся в Россию почти чужаком. Не считая шести месяцев в 1905–1906 годах, предыдущие семнадцать лет он провёл за границей. Большинство рабочих, пришедших встречать его на Финляндский вокзал, никогда прежде его не видели.[67] «Я очень мало знаю Россию, —

употребляя его собственные слова, — уйти от любой угрозы опасности. Во время пребывания в Петербурге в 1905–1906 годах он настолько преувеличивал опасность для себя и впадал в такие крайности в заботах о самосохранении, что невольно возникал вопрос: не лишён ли он просто личной храбрости».

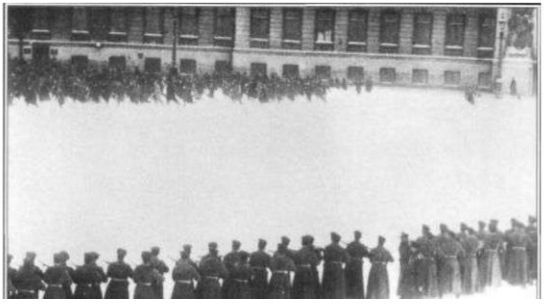
[67] Многие рабочие, пришедшие встречать Ленина, возможно, явились в надежде на бесплатное пиво. Торжественные встречи возвращавшихся партийных лидеров после

однажды признался Ленин Горькому. — Симбирск, Казань, Петербург, ссылка — вот и всё, что я знаю». В течение 1917 года он часто утверждал, что рядовые люди настроены ещё левее большевиков. Но собственного опыта общения с ними у него почти не было: он знал лишь то, что сообщали партийные агенты, а сообщали они зачастую именно то, что он хотел услышать. Между 5 июля и октябрьским захватом власти Ленин ни разу не появился публично. В провинции он почти не бывал. Человек, которому предстояло стать диктатором России, имел крайне слабое непосредственное представление о том, как живёт её народ. За исключением двух лет адвокатской практики, он вообще никогда не имел обычной работы. Он был «профессиональным революционером», жил в стороне от общества и существовал на партийные средства и доходы с имения матери, которые продолжал получать вплоть до её смерти в 1916 году. По словам Горького, именно незнание повседневного труда и человеческих страданий, которые он приносит, воспитало в Ленине «безжалостное презрение, достойное дворянина, к жизни простых людей… Жизнь во всей её сложности Ленину неизвестна. Он не знает простого народа. Он никогда среди него не жил».[51]

«Ну вот и всё, — писал Ленин Коллонтай 2 марта. — Этот первый этап революции, рождённый войной, не будет ни последним, ни ограниченным Россией». Ленин уже думал о второй революции — своей собственной. В пяти «Письмах издалека», написанных между 7 и 26 марта, он наметил программу партии для перехода «от первой ко второй стадии революции»: никакой поддержки Временному правительству; полный разрыв с меньшевиками и Вторым интернационалом; вооружение рабочих; установление власти Советов — «демократической диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства» — и немедленное заключение мира. По дороге из Швейцарии Ленин свёл всё это к десяти резким тезисам — знаменитым Апрельским тезисам — и сразу по прибытии на Финляндский вокзал начал за них агитировать. Отмахнувшись от официального приветствия руководителей Совета, вернувшийся эмигрант провозгласил начало

революции стали обычной чертой столичной жизни, и для многих рабочих они превратились в удобный повод для уличного праздника. В случае возвращения Ленина это было особенно уместно, поскольку оно совпало с пасхальными праздниками.

«всемирной социалистической революции!», затем вышел на площадь, взобрался на капот автомобиля и обратился к ожидавшей его толпе. Сквозь шум Суханов различал лишь отдельные фразы: «…участие в позорной империалистической бойне… ложь и обман… капиталистические хищники…» Затем Ленина посадили в броневик, и под звуки военного оркестра, среди рабочих и солдат с красными флагами, он проехал по улицам Выборгской стороны к большевистскому штабу — дворцу Кшесинской, бывшей балерины и некогда любовницы царя.[52]



38. Солдаты царской армии стреляют в демонстрантов перед Зимним дворцом, 9 января («Кровавое воскресенье») 1905 года.



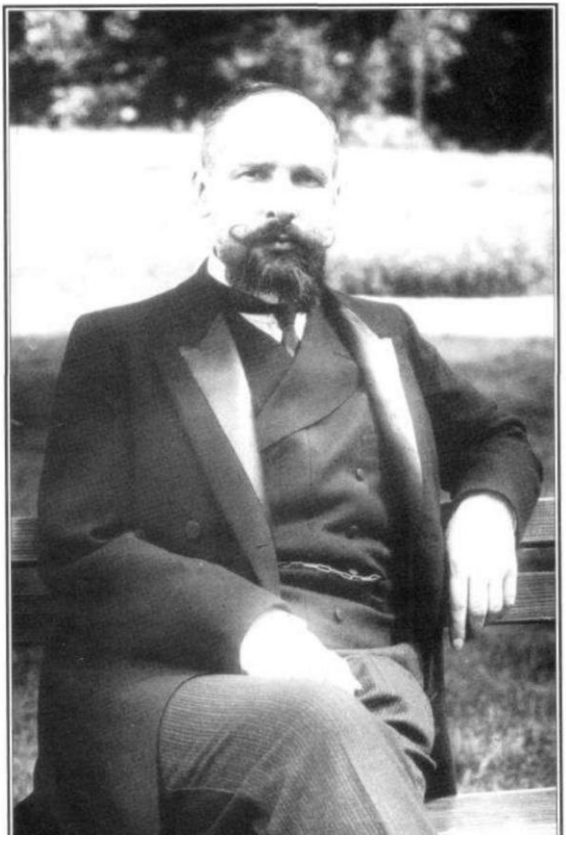
39. Демонстранты перед группой конных казаков на Невском проспекте в 1905 году.



40. Открытие Государственной думы в Георгиевском зале Зимнего дворца, 27 апреля 1906 года. Две России — самодержавная и демократическая — расположились по разные стороны трона. Слева — назначенцы короны; справа — депутаты Думы.



41. Таврический дворец — цитадель хрупкой российской демократии в 1906–1918 годах.



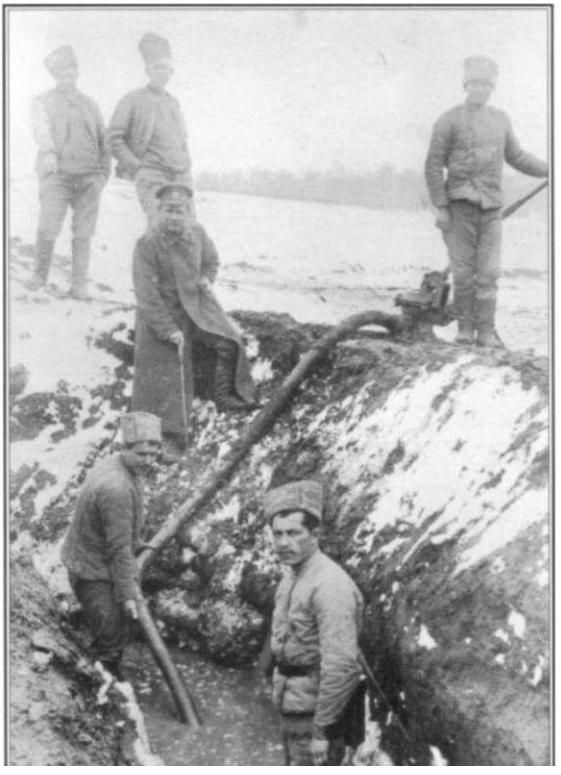
42. Пётр Столыпин в 1909 году. Многое в премьер-министре — его провинциальное происхождение и блестящий ум — делало его чужаком в собственной бюрократии.



43. Добровольцы-патриоты упаковывают посылки на фронт. Петроград, 1915 год. Военная кампания активизировала и политизировала общество.



44. Петроградский свет встречает Новый, 1917 год. Обратите внимание на англоманию, виски и шампанское. Подобный демонстративный гедонизм стал обычным среди верхов и на фоне огромных тягот войны вызывал глубокое негодование рабочих.



45. Солдаты откачивают воду из траншеи на Северном фронте. Плохое устройство окопов — наука, которую царский Генеральный штаб не считал нужным изучать, — стало одной из главных причин огромных русских потерь в Первой мировой войне.



46. Казаки патрулируют улицы Петрограда, начало февраля 1917 года. Набранные из беднейших районов Кубани и Дона, вскоре они присоединились к революционной толпе.



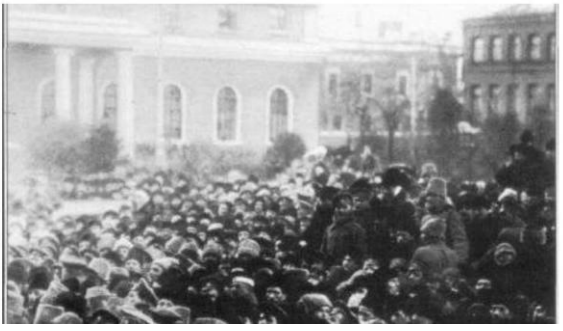
47. «Фараона» — так на жаргоне называли полицейского — арестовывает группа солдат в дни Февральской революции в Петрограде.



48. Уничтожение царской символики. Московские рабочие позируют перед кинокамерой с каменной головой Александра II.



49. Уничтожение царской символики. Толпа на Невском проспекте в Петрограде стоит у костра из сорванных царских эмблем в дни Февраля. И здесь показ перед камерой был важной частью события.



50. Толпа у Таврического дворца, 27 февраля 1917 года.



51. Солдаты Западного фронта получают известие об отречении Николая II.

На следующий день Ленин прибыл в Таврический дворец со своим вооружённым эскортом и изложил тезисы ошеломлённому собранию социал-демократов. Он поставил партийную программу с ног на голову. Вместо признания необходимости «буржуазного этапа» революции, как это делали все меньшевики и большинство большевиков, Ленин требовал новой революции, которая передаст власть «пролетариату и беднейшему крестьянству». В нынешних революционных условиях, утверждал он, парламентская демократия была бы «шагом назад» по сравнению с властью Советов — непосредственным самоуправлением пролетариата. В теоретическом отношении Апрельские тезисы восходили к урокам, которые Ленин извлёк из поражения революции 1905 года: русская буржуазия слишком слаба, чтобы самостоятельно осуществить демократическую революцию, а потому завершить её должен пролетариат. Война также подтолкнула его к этим выводам: раз вся Европа, по его мнению, стояла на пороге социалистической революции, русская революция уже не обязана была ограничиваться буржуазно-демократическими задачами.[68] Но практические следствия тезисов — прекращение большевиками поддержки Февральской революции и курс на установление диктатуры пролетариата — выходили далеко за пределы того, что когда-либо допускали все, кроме самых крайних левых в партии. Пока ещё было неясно, подразумевал ли Ленин насильственное свержение Временного правительства и, если да, когда именно. На данный момент он, по-видимому, был готов ограничить задачи партии массовой агитацией. У большевиков всё ещё не было большинства в Советах, а Россия, как подчёркивал Ленин, была теперь «самой свободной из всех воюющих стран мира».

Но сама дерзость выступления, прозвучавшего на совместном собрании социал-демократов, посвящённом восстановлению единства партии, вызвала в зале бурю. Меньшевики свистели и освистывали Ленина. Церетели обвинил его в игнорировании уроков Маркса и процитировал Энгельса о пагубности преждевременного захвата власти. Гольденберг заявил, что вождь большевиков окончательно отрёкся от марксизма, чтобы занять опустевший анархистский трон Бакунина. Б. О. Богданов назвал тезисы «бредом сумасшедшего». Даже Семён

[68] Троцкий пришёл к тем же выводам, и возможно, что его теория «перманентной революции» отчасти повлияла на Апрельские тезисы.

Канатчиков, рабочий-большевик, с которым мы познакомились в третьей главе и который специально приехал с Урала послушать Ленина, был потрясён «нереалистичностью его идей, которые, как нам всем казалось, далеко выходили за пределы того, чего вообще можно было добиться». Казалось, что долгие годы эмиграции оторвали Ленина от реалий политической жизни России. Возвращаясь вечером из Таврического дворца, меньшевик Скобелев уверенно сказал князю Львову: «Ленин — человек прошлого».[53]

Именно таким он и мог бы стать, если бы не одно обстоятельство: это был Ленин. В борьбе за принятие Апрельских тезисов почти всё складывалось против него. Большинство большевиков ещё до его возвращения заявили об осторожной поддержке Временного правительства; из крупных фигур одна Коллонтай сразу поддержала Апрельские тезисы. Только Выборгский комитет — оплот большевистского радикализма в столице — выступил за власть Советов. Сталин и Каменев, вернувшиеся из сибирской ссылки в середине марта и взявшие под контроль «Правду», укрепили осторожную линию. Подобно меньшевикам, они считали, что «буржуазному» этапу революции предстоит ещё долгий путь, что двоевластие продиктовано объективными условиями и что ближайшая задача большевиков состоит в конструктивной работе внутри социал-демократического движения в целом. Позднее Троцкий обвинял их в том, что они действовали скорее как лояльная оппозиция, чем как представители революционной рабочей партии. На Всероссийской конференции большевиков в конце марта были приняты умеренные резолюции Каменева и Сталина: условная поддержка Временного правительства, продолжение войны и поддержка руководства Совета. Большевики даже согласились изучить возможность воссоединения с меньшевиками. В большинстве провинциальных Советов они уже сотрудничали с меньшевиками, эсерами и другими социалистами. Вдали от фракционных распрей столичных вождей старое товарищество подполья оставалось очень сильным, а воинственный фракционализм Ленина вызывал раздражение и сопротивление у провинциальных большевиков, которые либо не хотели, либо попросту не могли разорвать связи с другими левыми группами.[54]

Ленин всегда любил борьбу. Словно вся его жизнь была подготовкой к схватке, ожидавшей его в 1917 году. «Такова моя жизнь! — признавался он Инессе Арманд в 1916 году. — Одна боевая кампания за другой». Борьба с народниками, борьба с «экономистами», борьба за централистское устройство партии, кампания за бойкот Думы, борьба с меньшевиками-«ликвидаторами», борьба против Богданова и Маха, борьба против войны — именно эти политические сражения определяли его жизнь, и в них он вкладывал почти всю свою личность. Как частный человек Ленин был почти пуст: он целиком отдал себя политике. За политиком не существовало никакого «частного Ленина». Любая биография большевистского вождя неизбежно превращается в изложение его политических идей и влияния. Его личная жизнь была поразительно скучна. Он одевался и жил как провинциальный чиновник средних лет, с точно установленными часами еды, сна, работы и отдыха. Любил порядок и аккуратность. Педантично вёл денежные записи, отмечая на клочках бумаги всё, что тратил на еду, железнодорожные билеты, канцелярские принадлежности и прочее. Каждое утро приводил в порядок письменный стол. Книги стояли по алфавиту. Он сам пришивал пуговицы к полосатому костюму, выводил пятна бензином и содержал велосипед в почти хирургической чистоте.[55]

В характере Ленина была сильная пуританская жилка, позднее проявившаяся в политической культуре его режима. Аскетизм был обычной чертой революционеров его поколения. Их вдохновлял отрекавшийся от личных удовольствий герой Чернышевского Рахметов из романа «Что делать?». Подавляя собственные чувства и отказывая себе в радостях жизни, Ленин стремился закалить волю и, подобно Рахметову, сделать себя нечувствительным к страданиям других. Именно такая «твёрдость», считал он, необходима каждому удачливому революционеру: способность проливать кровь ради политических целей. «Страшное в Ленине, — однажды заметил Струве, — заключалось в соединении в одном человеке самоистязания, составляющего сущность подлинного аскетизма, с истязанием других людей, выраженным в отвлечённой социальной ненависти и холодной политической жестокости».

Даже став главой Советского государства, Ленин продолжал жить по-спартански, как в революционном подполье. До марта 1918 года он и

Крупская занимали почти пустую комнату в Смольном институте — бывшем пансионе для девочек, — спали на двух узких походных кроватях и умывались холодной водой из таза. Это больше походило на тюремную камеру, чем на апартаменты диктатора крупнейшей страны мира. После переезда правительства в Москву они поселились вместе с сестрой Ленина в скромной трёхкомнатной квартире в Кремле и питались в столовой. Подобно Рахметову, Ленин упражнялся с тяжестями, укрепляя мышцы. Всё это было частью особой культуры мужественности — чёрные кожаные куртки, воинственная риторика, вера в действие и культ насилия, — лежавшей в основе большевизма. Ленин не курил, почти не пил и, если не считать романтической дружбы с Инессой Арманд, красивыми женщинами не интересовался. Крупская называла его «Ильичом» — партийным именем, — а он её «товарищем». Она была для него скорее личным секретарём, чем женой, и, вероятно, бездетность их брака нельзя считать большим несчастьем. Для сентиментальности в жизни Ленина не было места. «Я не могу слишком часто слушать музыку, — признался он однажды после исполнения “Аппассионаты” Бетховена. — От неё хочется говорить добрые, глупые слова и гладить людей по головке. А теперь надо бить их по голове, бить безжалостно».[56]

Литературные вкусы Ленина, как и всё остальное, определялись её общественным и политическим содержанием. Он интересовался лишь книгами, которые считал полезными. Пушкина ценил за то, что в упрощённом виде принимал за его оппозицию самодержавию; Некрасова — за реалистическое изображение угнетённых масс. Во время сибирской ссылки, изучая немецкий, он прочёл «Фауста» Гёте и даже выучил наизусть несколько монологов Мефистофеля, но другими произведениями Гёте никогда не интересовался. Достоевского он читать отказывался, называя «Бесы», роман, пытавшийся разоблачить психопатическую природу революционера, «реакционной мерзостью… Я совершенно не желаю тратить на это время. Полистал и бросил. Я такой литературы не читаю — какая мне от неё польза?»[57]

В основе этого филистерского отношения к жизни лежало жгучее стремление к власти. Меньшевики шутили, что невозможно соперничать с человеком вроде Ленина, который думает о революции двадцать четыре часа в сутки. Его вела абсолютная вера в собственное

историческое предназначение. Он ни на миг не сомневался, что именно ему, как он однажды выразился, предстоит держать в партии «дирижёрскую палочку». С этим убеждением он вернулся в Россию в апреле 1917 года. Люди, знавшие его до войны, замечали резкую перемену в его личности. «Как он постарел, — вспоминал Роман Гуль, коротко встречавшийся с ним в 1905 году. — Изменился весь облик Ленина. И не только. В отношениях с людьми исчезли прежняя добродушность, приветливость, товарищеский юмор. Новый Ленин приехал циничным, скрытным и грубым — заговорщиком “против всех и всего”, никому не доверяющим, всех подозревающим и решившим начать борьбу за власть». Чернов также отметил эту одержимость властью в блестящем сатирическом портрете большевистского вождя, опубликованном в «Деле народа»:

> Ленин обладает внушительной цельностью. Кажется, будто он высечен из одного куска гранита. И весь он круглый и отполированный, как бильярдный шар. За него не ухватишься. Он катится с неудержимой скоростью. Он мог бы повторять себе известную фразу: «Je ne sais pas où je vais, mais j’y vais résolument» — «Не знаю, куда иду, но иду решительно». Ленин обладает преданностью революционному делу, пронизывающей всё его существо. Но для него революция воплощена в его собственной личности. У Ленина выдающийся ум, но это… ум одномерный — более того, однолинейный… Это человек односторонней воли и потому человек с притуплённой нравственной чувствительностью.[58]

Ленин никогда не терпел инакомыслия в партийных рядах. Бухарин жаловался, что ему «наплевать на мнения других». Луначарский утверждал, будто Ленин сознательно «окружал себя дураками», которые не осмеливались бы ему возражать. Во время борьбы за Апрельские тезисы эта властность выросла почти до мании величия. Крупская называла это его «яростью» — тем лихорадочным состоянием, в которое муж впадал в столкновениях с политическими противниками, — и с таким яростным Лениным ей предстояло прожить следующие пять лет. Во время приступов он словно был одержим ненавистью и гневом. Всё тело сковывало крайнее нервное напряжение, он не мог ни спать, ни есть. Манеры становились грубыми и вульгарными; трудно было поверить, что перед тобой образованный человек. Противников — и внутри, и вне партии — он осыпал грубейшей бранью: «болваны»,

«мерзавцы», «грязная сволочь», «проститутки», «суки», «дерьмо», «кретины», «русские дураки», «пустомели», «глупые курицы», «нелепые старые девы». Когда ярость спадала, Ленин валился в состоянии полного истощения, апатии и подавленности — пока не вспыхивал новый приступ. Такое маниакальное чередование состояний было характерной чертой его психики. Почти непрерывно оно продолжалось с 1917 по 1922 год и, вероятно, способствовало кровоизлиянию в мозг, от которого он в конце концов умер.[59]

Значительная часть успеха Ленина в 1917 году, несомненно, объяснялась его подавляющим господством в партии. Ни одна политическая партия прежде не была столь тесно связана с личностью одного человека. Ленин стал первым современным партийным лидером, достигшим почти божественного статуса; Сталин, Муссолини, Гитлер и Мао Цзэдун в этом смысле стали его преемниками. Быть большевиком всё больше означало приносить присягу Ленину как «вождю» и «учителю» партии. Это прежде всего и отличало большевиков от меньшевиков, у которых собственного бесспорного вождя не было. В сравнении с Лениным остальные ведущие большевики выглядели политическими карликами. Возьмём Зиновьева. Он был блестящим оратором, но, по выражению его великого соперника Троцкого, больше почти ничем. Чтобы его речи приносили результат, «ему требовалась успокаивающая уверенность, что политическую ответственность с него снимет надёжная и сильная рука. Ленин давал ему эту уверенность».

Или Каменев. Именно он возглавил сопротивление Апрельским тезисам и сильнее любого другого большевика отстаивал умеренную политическую альтернативу ленинской революционной стратегии. Но Каменев был слишком мягок, чтобы стать настоящим лидером. Луначарский называл его «рыхлым»; Станкевич находил его «настолько кротким, что казалось, будто он сам стыдится своей позиции»; Георгий Денике сравнивал его со старым школьным учителем и отмечал его любовь к домашним туфлям. Каменев был слишком слаб, чтобы противостоять партийным «твёрдым людям». Он мог возражать против отдельных решений, но в конце концов неизменно шёл за ними.[60]

Господство Ленина над партией объяснялось не столько его личной харизмой, сколько самой партийной культурой. Его ораторский стиль был серым. В нём не было блестящего красноречия, пафоса, юмора,

ярких метафор, красок и драматизма речей Троцкого или Зиновьева. К тому же Ленин не выговаривал звук «р».[69] Но его речи обладали железной логикой, а сам он умел находить простые лозунги и бесконечным повторением вбивать их в головы слушателей. Он говорил, засунув большие пальцы под мышки и покачиваясь с пятки на носок, словно собирался, подобно человеческой ракете, запустить себя в толпу — именно так его впоследствии изображали на советских агиографических полотнах. Горький, впервые слышавший Ленина в 1907 году, сначала решил, что тот «говорит плохо»: «Но через минуту я, как и все остальные, был поглощён его речью. Впервые я слышал, чтобы сложнейшие политические вопросы излагались так просто. Он не старался говорить красивыми фразами. Каждое слово произносил ясно и с поразительной лёгкостью раскрывал точный ход своей мысли». Потресов, знавший Ленина и работавший с ним с 1894 года, объяснял его притягательность своеобразной «гипнотической силой»:

> Только за Лениным шли безоговорочно как за бесспорным вождём, ибо только Ленин представлял собой редкое явление, особенно для России: человека железной воли и неукротимой энергии, способного внушать фанатическую веру в движение и дело и обладавшего такой же верой в самого себя. Было время, когда и я находился под впечатлением этой ленинской силы воли, словно делавшей его «избранным вождём».[61]

И всё же победу ленинских идей в партии обеспечило не одно лишь господство его личности. Большевистские рядовые не были просто марионетками Ленина — для этого он слишком долго пробыл в эмиграции, — и их первоначальные сомнения по поводу его призыва ко второй революции были настолько сильны, что ему пришлось сделать гораздо больше, чем просто провозгласить партийную линию, чтобы добиться их поддержки. Представление о большевистской партии 1917 года как о монолитной организации, жёстко управляемой Лениным, — миф: миф, который прежде распространял советский официоз и в который до сих пор (по совершенно иным мотивам) верят правые историки на Западе. На деле партия была весьма недисциплинированной; в ней было множество фракций — и идейных, и территориальных, — а руководство, само расколотое, нередко

[69] Такой же дефект речи был у Горбачёва.

оказывалось неспособным навязать им свою волю. С апреля по октябрь, а затем в ожесточённой борьбе вокруг Брест-Литовского мира партию сверху донизу раскалывала череда идейных конфликтов, в которых Ленин, по крайней мере поначалу, нередко оказывался в небольшом меньшинстве. И если в конце концов он всегда добивался своего, то не только благодаря господству в партии, но и благодаря своему многообразному политическому искусству — умению убеждать, тактично отступать и идти на компромисс, грозить отставкой и ставить ультиматумы, прибегать к демагогии и обращаться к рядовым членам. В борьбе за Апрельские тезисы Ленину благоприятствовали три обстоятельства — одно на правом фланге, другое в центре и третье на левом фланге большевистской партии. На правом фланге тезисы побудили ряд старых большевиков перейти в меньшевистский лагерь, где, как им казалось, догматы ортодоксального марксизма будут соблюдаться лучше. Некоторые нашли прибежище и в промежуточной группе вокруг газеты Горького «Новая жизнь», о которой речь пойдёт ниже. Центр, поначалу сплотившийся вокруг Каменева, Ленин постепенно перетянул на свою сторону, смягчив радикальные положения Апрельских тезисов. На Всероссийской партийной конференции 24–29 апреля он получил большинство против Каменева, согласившись, что потребуется «длительный период агитации», прежде чем массы будут готовы последовать за большевиками к следующему этапу революции. Тем самым он отказывался от призыва к немедленному свержению Временного правительства, который многие большевики усматривали в его Апрельских тезисах и который, как они опасались, ввергнет страну в гражданскую войну. Между тем левое крыло партии весной усилилось благодаря массовому вступлению в неё рабочих и солдат. Именно эти члены партии из низов составляли большинство большевистских делегатов на Апрельской конференции — всего их было 149, представлявших почти 80 000 членов по всей стране. Они, как правило, были радикальнее своих партийных руководителей. Плохо зная марксистскую теорию, они не понимали, зачем нужна «буржуазная революция». Почему их вожди хотят прийти к социализму в два этапа, если можно прийти в один? Разве мало крови пролилось в феврале? И зачем позволять буржуазии укреплять свою власть, если это лишь затруднит задачу её последующего устранения? Апрельские

тезисы с их призывом к немедленной власти Советов были им понятнее, и Ленин сознательно старался этим воспользоваться, выступая на многочисленных собраниях районных партийных организаций и заводов столицы. Он даже сменил свою фетровую шляпу на рабочую кепку, чтобы выглядеть более «пролетарским».[62]

Апрельский кризис сделал призыв Ленина ещё понятнее для низовых рядовых членов партии. Поведение Милюкова, казалось, подтверждало его довод, что мира невозможно достичь при «империалистических» военных целях Временного правительства. Кризис укрепил у радикальных рабочих и солдат психологию «мы и они» по отношению к «буржуазным министрам». Некоторые большевики из петроградской партийной организации попытались использовать демонстрации 20–21 апреля как трамплин для свержения Временного правительства. Большевистский активист с Путиловского завода С. Я. Богдатьев вывел демонстрантов на улицы с революционными знамёнами. Какую роль сыграло во всём этом большевистское руководство, неясно. Позднейшая советская версия гласила, что Богдатьев и его товарищи действовали по собственному почину. Но некоторые западные историки утверждали, что Центральный комитет, должно быть, санкционировал их действия и отмежевался от них лишь тогда, когда путч провалился. Никаких реальных доказательств этого нет, а исходное допущение — будто партия была жёстко дисциплинированным органом — в любом случае необоснованно. Центральный комитет всё время выступал против захвата власти, и демонстрации явно застали его врасплох. Ленин, правда, был за то, чтобы превратить демонстрации в смотр сил. Но он не мог быть уверен ни в поддержке партии, ни в поддержке масс, если дело дойдёт до борьбы за власть, и потому занял выжидательную позицию. Несомненно, если бы Временное правительство было свергнуто, он приписал бы победу себе. Но как только порядок был восстановлен, он осудил «авантюризм» петербургских «горячих голов». Главной его заботой было успокоить центристские элементы на большевистской конференции. 24 апреля он сказал им:

> Мы хотели произвести только мирную разведку сил наших противников, а не давать сражения. А Петербургский комитет взял «чуточку левее». Взять «чуточку левее» в момент действия было

> неуместно… Это произошло из-за несовершенства нашей организации. Были ли ошибки? Да, были. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но хорошо организовать — дело трудное.[63]

Дилемма Ленина состояла в следующем: если большевики попытаются захватить власть прежде, чем партия или её сторонники в массах будут к этому как следует подготовлены, они рискуют потерпеть поражение и оказаться в изоляции, как Парижская коммуна 1871 года, судьба которой преследовала большевистских вождей весь 1917-й и 1918 год; но если они не поспеют за своим революционным авангардом — кронштадтскими матросами, выборгскими рабочими и петроградским гарнизоном, — им грозит потерять свою самую острую ударную силу, которая растратит себя в бесплодных вспышках анархического насилия. История большевистской партии и её фракционных споров в 1917 году вращалась вокруг проблемы, как удержать энергию этого революционного авангарда в согласии с остальной массой.

Кронштадтская военно-морская база — остров матросов-радикалов в Финском заливе у самого Петрограда — была самым мятежным оплотом этого большевистского авангарда. Матросы были молодыми новобранцами, почти не видевшими боевых действий за время войны. Весь предыдущий год они провели взаперти на своих кораблях вместе с офицерами, которые обращались с ними с более чем обычной садистской жестокостью, поскольку на учебные экипажи не распространялись обычные правила флотской дисциплины. Каждый корабль был пороховой бочкой ненависти и насилия. В Февральские дни матросы взбунтовались с устрашающей яростью. Командир базы адмирал Вирен был заколот штыками, десятки других офицеров были убиты, растерзаны толпой или брошены в островные казематы. Старая флотская иерархия была полностью уничтожена, и реальная власть перешла к Кронштадтскому Совету. Это был Октябрь в феврале. Власть Временного правительства здесь так по-настоящему и не установилась, военный порядок не был восстановлен. Министр юстиции Керенский оказался совершенно бессилен в своих неоднократных попытках подчинить своей юрисдикции заключённых офицеров, несмотря на слухи в буржуазной печати, будто их жестоко пытают.

Кронштадтские матросы были молоды (половине из них не исполнилось двадцати трёх лет), почти все грамотны, и большинство из

них были политизированы пропагандой крайне левых партий. К началу мая большевики завербовали на базе более 3000 членов. Вместе с анархистами и эсерами они контролировали Кронштадтский Совет. 16 мая Совет объявил себя суверенной властью и отверг власть Временного правительства и назначенного им на базу комиссара. По сути, это было одностороннее провозглашение «Кронштадтской советской республики». Петроградский Совет заклеймил мятежников как «отступников от революционной демократии». Петроградскую буржуазию приводила в ужас мысль, что она теперь во власти этой воинственной крепости, которая в любой момент может напасть на столицу. «В их глазах, — вспоминал Раскольников, один из большевистских вождей матросов, — Кронштадт был символом дикого ужаса, воплощённым дьяволом, страшным призраком анархии, кошмарным возрождением Парижской коммуны на русской земле». Кронштадтские большевики сыграли важную роль в составлении декларации 16 мая. Но их действия не получили поддержки большевистских руководителей в столице.[70] Ленин был в ярости на своих кронштадтских подручных за несоблюдение партийной дисциплины. Думать о захвате власти вопреки авторитету Совета было преждевременно, и он приказал им ежедневно звонить ему за указаниями, пока кризис не будет разрешён. Петроградский Совет направил Церетели на переговоры с кронштадтскими лидерами, которые согласились признать власть Временного правительства в обмен на собственного выборного комиссара. К 24 мая мятеж был окончен. Однако кронштадтские матросы так и остались грозным источником воинственности, как показали события июня, июля и октября.[64]

Другим важнейшим оплотом большевистской воинственности была Выборгская сторона Петрограда. К началу мая в местной партийной организации насчитывалось свыше пяти тысяч большевиков. Именно здесь находились наиболее склонные к забастовкам металлообрабатывающие предприятия — «Русский Рено», «Нобель»,

[70] Декларацию поощрял Троцкий. Выступая в Кронштадтском Совете 14 мая, он сказал, что хорошее для Кронштадта позднее станет хорошим и для любого другого города: «Вы впереди, а остальные отстали». Троцкий, однако, ещё не был тогда членом большевистской партии.

«Новый Лесснер», «Эриксон», «Пузырёв», «Вулкан», «Феникс» и Металлический завод, — и большинство из них находилось под влиянием большевиков. На этих фабриках сложилась взрывоопасная смесь из молодых грамотных металлистов, легко воспринимавших боевые большевистские лозунги, и менее квалифицированных рабочих-мигрантов, хлынувших в города во время военного промышленного бума и потому сильнее других страдавших от двойных тисков низкой зарплаты и высокой квартирной платы. Обе группы были склонны к уличному насилию. На Выборгской стороне также обосновался 1-й пулемётный полк — наиболее подготовленная и грамотная, а одновременно и наиболее большевизированная часть Петроградского гарнизона: около десяти тысяч человек и тысяча пулемётов. В дни Февраля пулемётчики вышли из казарм в Ораниенбауме и двинулись в Петроград, чтобы присоединиться к мятежу. Воинственные и самоуверенные, они считали себя героями революции и отказывались возвращаться в казармы, пока «буржуазия» оставалась «у власти». Фактически, и все это понимали, они держали Временное правительство в заложниках.[65]

Левые большевики, уверенность которых поддерживали эти воинственные группы, предложили провести 10 июня вооружённую демонстрацию как демонстрацию силы против Временного правительства. Идея исходила из Военной организации большевиков в Петроградском гарнизоне, обещавшей вывести на улицы 60 тысяч солдат. Вскоре её поддержали кронштадтские матросы, устроившие 4 июня своеобразную генеральную репетицию — строевой марш в память о павших героях Февральской революции. Петроградский комитет большевиков тоже всё больше склонялся к этой мысли. Его члены утверждали, что солдатам и рабочим необходимо дать возможность выплеснуть гнев на правительственную подготовку нового наступления, иначе, если большевики не возглавят выступление, массы могут отвернуться от партии и растратить ярость в бессмысленном стихийном насилии. Партия не могла позволить себе потерять энергию своего революционного авангарда. Но Центральный комитет раскололся. Ленин, Свердлов и Сталин — который после возвращения Ленина совершил поворот на сто восемьдесят градусов — поддержали демонстрацию; Каменев, Зиновьев и Ногин возражали, считая, что

партия ещё не обладает достаточной массовой поддержкой, чтобы идти на риск, почти равнозначный призыву к захвату власти. Окончательное решение отложили до 9 июня.

К этому времени большинство Центрального комитета уже склонялось к вооружённой демонстрации. 8 июня двадцать восемь столичных предприятий объявили забастовку в знак протеста против попытки правительства выселить анархистов из их штаба — бывшей дачи царского министра Дурново на Выборгской стороне.[71] Пятьдесят вооружённых кронштадтских матросов прибыли защищать анархистов от правительственных войск. Столица оказалась на грани кровавого столкновения, и момент казался подходящим для организованной демонстрации силы. Позднее меньшевики утверждали, будто большевики собирались воспользоваться этой возможностью для захвата власти. Суханов даже писал, что Ленин разработал подробнейший военный план большевистского переворота — вплоть до точного распределения полков по захвату стратегических объектов. Доказательств этому нет. Правда, на Первом Всероссийском съезде Советов 4 июня Ленин заявил о готовности партии «в любую минуту взять власть». Но если бы он действительно готовил восстание, вряд ли стал бы публично предупреждать о нём. Некоторые большевистские руководители второго ряда, например М. Я. Лацис из Выборгского комитета, тесно связанный с 1-м пулемётным полком, несомненно хотели превратить демонстрацию в полномасштабное восстание. Однако большинство высших лидеров, по-видимому, видело в ней разведку боем и средство давления на съезд Советов, чтобы тот сам взял власть.

Когда вечером 9 июня Совет запретил демонстрацию, пятеро большевистских лидеров — Ленин, Свердлов, Зиновьев, Каменев и Ногин — вновь собрались и отменили её. Их более радикальные товарищи пришли в бешенство. Сталин пригрозил отставкой — предложение, к несчастью, не приняли — и обвинил Центральный комитет в «невыносимых колебаниях». Но Ленин настаивал: партии

[71] По популярной легенде анархисты превратили дачу в сумасшедший дом, где происходили оргии, составлялись зловещие заговоры и устраивались ведьмины шабаши. Однако прибывший прокурор обнаружил там полный порядок; часть сада использовалась как ясли для детей рабочих.

слишком рано ставить всё на карту в прямом конфликте с Советом. Вся его стратегия 1917 года, особенно хорошо проявившаяся в октябрьском захвате власти, состояла в том, чтобы прикрывать партийные амбиции покровом советской легитимности. Если бы вооружённая демонстрация состоялась, большевиков почти наверняка исключили бы из Совета, а главный стратегический мотив Апрельских тезисов — массовая агитация за власть Советов — оказался бы подорван.[66]

18 июня сам Совет организовал демонстрацию в Петрограде. Её целью было показать массовую поддержку лозунга «революционного единства» — условного обозначения продолжения участия Совета в коалиции; с точки зрения всё более радикализировавшихся масс он, вероятно, звучал приемлемее, чем призыв безоговорочно поддерживать правительство. Большевики решили участвовать в шествии под лозунгом «Вся власть Советам!», и большинство из четырёхсот тысяч демонстрантов вышло именно под такими знамёнами.[67] Возможно, сторонники советского руководства сознательно остались дома, как позднее писала часть прессы. А возможно — и это выглядит вероятнее, — демонстранты просто не понимали идеологических различий между большевиками и руководителями Совета и шли под большевистскими лозунгами, ошибочно считая их выражением верности самому Совету. Как бы то ни было, это стала крупная пропагандистская победа большевиков и сильный толчок к июльским планам нового, куда более серьёзного вооружённого столкновения с Временным правительством.

iv. Отчаяние Горького

Горький — Екатерине, 18 июня 1917 года:

> Сегодняшняя демонстрация показала бессилие верных демократии сил. Шли одни «большевики». Я всё больше презираю и ненавижу их. Это настоящие русские идиоты. Большинство лозунгов требовало: «Долой 10 министров-капиталистов!» — а их всего восемь! Несколько раз начиналась паника — отвратительное зрелище. Дамы прыгали в канал между Марсовым полем и Летним садом, брели по воде в сапогах, поднимали юбки и оголяли ноги — у одних толстые, у других кривые. Безумие продолжается, но, кажется, начинает утомлять людей. Хотя я пацифист, я приветствую грядущее наступление в надежде, что оно

> хотя бы внесёт некоторую организацию в страну, которая становится неисправимо ленивой и неорганизованной.[68]

Социализм для Горького всегда был прежде всего культурным идеалом. Он означал строительство гуманистической цивилизации на принципах демократии и развития нравственных, духовных и интеллектуальных сил народа. «Новая политическая жизнь, — писал он в апреле, — требует от нас нового строя души». Но революция, как он её видел, выпустила на волю «анархическую волну плебейского насилия и мести», угрожавшую уничтожить русскую цивилизацию. Никакой «социальной революции» в горьковском понимании не произошло — случился лишь «зоологический» взрыв разрушения и жестокости. Вместо рождения новой цивилизации русская революция подвела страну к краю «нового тёмного века варварского хаоса», где инстинкты мести и ненависти должны были подавить всё лучшее в народе. Задачу демократической интеллигенции в 1917 году Горький видел в защите цивилизации от разрушительного насилия толпы. В его, по сути арнольдианских, понятиях это была борьба «культуры против анархии».[69]

Насильственное отрицание всего, что было связано со старой цивилизацией, было неотъемлемой чертой Февральской революции. Уничтожались символы императорского режима, разбивались статуи царских героев, переименовывались улицы. Крестьяне громили усадьбы, церкви и школы. Они жгли библиотеки и крушили бесценные произведения искусства. Многие социалисты-романтики видели в этом иконоборческом насилии «естественный» (то есть положительный) революционный порыв угнетённого народа, которому было за что мстить. Троцкий, например, говорил в идеалистических выражениях о том, что революция, даже возбуждая агрессию, пробуждает человеческую личность:

> Естественно, что людям, не привыкшим к революции и её психологии, или людям, которые прежде переживали лишь в области идей то, что развернулось теперь перед ними физически, материально, анархическая разнузданность и насилие, проявившиеся на поверхности революционных событий, могут показаться печальными, если не отвратительными. Однако в этой буйной анархии, даже в самых отрицательных её проявлениях, когда солдат, вчерашний раб, вдруг оказывался в вагоне первого класса и срывал бархатную обивку, чтобы

> сделать себе портянки, — даже в таком акте вандализма выражалось пробуждение личности. Забитый, затравленный русский крестьянин, которого били по лицу и осыпали самой гнусной бранью, впервые, быть может, в жизни оказался в вагоне первого класса и увидел бархатные подушки, а у него на ногах были вонючие тряпки, и он рвал бархат, говоря, что и он имеет право на кусок хорошего шёлка или бархата.

Многие левые интеллигенты смотрели на насилие сходным образом. Некоторые, как Блок, идеализировали сожжение старой России как изгнание бесов из её грешного прошлого и верили, что из этого разрушения старого мира родится новый, более братский, быть может, даже более христианский мир. Отсюда и Христос во главе красногвардейцев в знаменитой поэме Блока «Двенадцать» (написанной в январе 1918 года). Другие, как Волошин, Мандельштам и Белый, относились к революционному насилию двойственно: с одной стороны, приветствовали его как справедливую стихийную силу, с другой — ужасались его дикой жестокости.[70]

Но Горький видел в насилии одну только тьму. Его приводило в ужас то, что он считал его неизбежными последствиями, — нравственное разложение революции и сползание народа в варварство. Как всегда бескомпромиссный и откровенный, он обличал насилие в своей известной рубрике «Несвоевременные мысли», которую вёл в газете «Новая жизнь» в 1917–1918 годах. Он заклеймил расцвет порнографии о царской семье как «ядовитую грязь», единственным действием которой было разжигание «тёмных инстинктов толпы». Позднее, во время красного террора, он вступится за нескольких Романовых, в том числе даже за одного великого князя, видя в них «несчастных козлов отпущения революции, мучеников фанатизма времени». Ещё больше ужасал его «рост антисемитизма, погромные настроения рабочего класса» — того класса, на который он, как и все марксисты, возлагал большие надежды как на освободительную и нравственную силу. Осуждал Горький и вандализм крестьянской революции. Разгром дворянских усадеб с их библиотеками и произведениями искусства он считал не чем иным, как нападением на цивилизацию. В марте 1917 года, услышав, что толпа собирается разбить конную статую Александра III на Знаменской площади, Горький собрал у себя на квартире пятьдесят видных деятелей культуры, и из этого собрания родилась комиссия из двенадцати

человек, взявшаяся бороться за сохранение всех художественных памятников и исторических зданий. Её часто называли «Комиссией Горького».[71] Любимый Горьким Петербург — столица западной цивилизации России — в его глазах разрушался и осквернялся «этой азиатской революцией». 14 июня он писал Екатерине в Москву:

> Это уже не столица, а помойная яма. Никто не работает, улицы грязные, во дворах горы смердящего мусора… Мне больно говорить, до чего всё дошло. В людях растут праздность и трусость — все те низкие и преступные инстинкты, с которыми я боролся всю жизнь и которые теперь, кажется, уничтожают Россию.[72]

Россия XX века словно возвращалась к варварству Средневековья. Особенно возмущало Горького распространение самосудов в городах. В декабре 1917 года он утверждал, что со времени падения старого режима насчитал десять тысяч случаев внесудебной расправы. Для него эти уличные «суды», на которых толпа сама судила и казнила пойманного преступника, полностью отрицали идеалы правосудия, ради которых, как предполагалось, и совершалась революция. Русский народ, которого сотни лет били, теперь с болезненным сладострастием бил собственных врагов.

> Вот как демократия судит своих грешников. У Александровского рынка поймали вора. Толпа тут же избила его и устроила голосование: какой смертью казнить — утопить или расстрелять? Решили утопить и бросили человека в ледяную воду. С огромным трудом он выплыл и выбрался на берег; тогда один из толпы подошёл и застрелил его.
>
> Средние века нашей истории были эпохой отвратительной жестокости, но даже тогда, если приговорённый судом к смерти падал с виселицы, ему сохраняли жизнь.
>
> Как влияют самосуды на подрастающее поколение?
>
> Вора, избитого почти до смерти, солдаты ведут к Мойке топить; весь он в крови, лицо совершенно разбито, один глаз вылез. За ним идёт толпа детей; позже некоторые возвращаются от Мойки и, подпрыгивая, радостно кричат: «Утопили, утопили!»
>
> Это наши дети, будущие строители нашей жизни. Жизнь человека будет дёшево стоить в их глазах, а человек — не следует этого забывать! — самое прекрасное и ценное создание природы.[73]

Пессимизм Горького был, конечно, взглядом литератора, которого отталкивало насилие во всех его формах. Он судил революцию не по её собственным законам, а по тому, насколько она соответствовала его культурным ценностям и нравственным идеалам. Это он прямо выразил в смелой речи, долгое время не публиковавшейся, к первой годовщине Февральской революции:

> Революция только тогда есть революция, когда она возникает как естественное и мощное выражение творческой силы народа. Если же революция — лишь освобождение накопленных рабством и угнетением инстинктов, то это не революция, а просто бунт злобы и ненависти; он не способен изменить нашу жизнь и может принести лишь ожесточение и зло. Можем ли мы сказать, что спустя год после Русской революции народ, освободившись от насилия и гнёта старого полицейского государства, стал лучше, добрее, умнее и честнее? Нет, никто этого не скажет. Мы всё ещё живём так же, как жили при монархии, с теми же обычаями, предрассудками, глупостью и грязью. Жадность и злоба, привитые нам старым режимом, по-прежнему в нас. Люди всё так же обкрадывают и обманывают друг друга. Новые чиновники берут взятки так же, как прежние, и обращаются с народом ещё грубее и презрительнее… Русский народ, завоевав свободу, в нынешнем своём состоянии не способен употребить её себе во благо — лишь во вред себе и другим — и рискует потерять всё, за что боролся веками. Он разрушает великие достижения предков; постепенно в грязи гибнет национальное богатство — богатство земли, промышленности, транспорта, связи и городов.[74]

Многое в смелой борьбе Горького против разрушительной стороны революции достойно восхищения. Его отчаянный голос звучал почти одиноко — и оттого ещё более благородно и трагично. Для левых его «несвоевременные мысли» были ересью, «политически неправильными»: господствовало убеждение, что насилие и разрушение естественны и даже оправданы высшими целями революции. Но связи Горького с большевиками делали его не менее подозрительным и для правых. Кружок вокруг «Новой жизни» был не столько политической фракцией, сколько рыхлым объединением разочарованных марксистов, не находивших для себя подходящей партии. «Мне надо бы основать собственную партию, — писал Горький Екатерине 19 марта, — но я не знаю, как её назвать. В этой партии будет один член — я!»[75]

При этом, как признавал и сам Горький, его позиция была полна предубеждений и противоречий, которые мог позволить себе только интеллигент. Он выносил широкие нравственные и культурные приговоры насилию революционной толпы, почти не пытаясь понять его в историческом и социальном контексте. Например, в многочисленных статьях о самосудах он не учитывал простой общественный факт: города были переполнены преступностью и насилием, полиции, способной поддерживать порядок, почти не существовало, и уличная расправа стала для обычных граждан едва ли не единственным способом защищать себя и своё имущество. Горький не столько понимал проблему, сколько судил её с нравственной позиции.

Особенно ясно культурные предубеждения Горького проявлялись в его объяснении причин этого насилия. Разумеется, он признавал необходимость связывать его с наследием царизма:

> Условия, в которых русский народ жил в прошлом, не могли воспитать в нём ни уважения к личности, ни сознания гражданских прав, ни чувства справедливости — это были условия полного беззакония, подавления личности, самой бесстыдной лжи и зверской жестокости. И надо ещё удивляться, что при всём этом народ всё-таки сохранил немало человеческих чувств и некоторую долю здравого смысла.

Он одним из первых подчёркивал, что варварство революции родилось из варварства Первой мировой войны. Массовая бойня в окопах и лишения тыла, объяснял Горький Ромену Роллану, пробудили в людях жестокость и озверение, сделали их невосприимчивыми к страданиям ближнего. Люди приобрели вкус к насилию, и, по его мнению, мало кого потрясли убийства Февральских дней. Неписаные правила цивилизованного поведения были забыты, тонкий слой цивилизации сорван революционным взрывом.[76]

Однако Горький гораздо чаще объяснял насилие особенностями русского национального характера, чем обстоятельствами, в которых оно происходило. «Среда, в которой разыгрывалась и разыгрывается трагедия Русской революции, — писал он в 1922 году, — это среда полудиких людей. Жестокие проявления революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа». Он почти не задумывался о том, что все социальные революции по самой своей

природе насильственны. Здесь его взгляд определялся страстным западничеством. Он верил, что всякий человеческий прогресс и цивилизация идут с Запада, а всякое варварство — с Востока. Россия социально, исторически и географически оказалась между Европой и Азией. Петровская государственная традиция и русская интеллигенция были западническими силами; крестьянство — азиатским; рабочий класс занимал промежуточное положение: он вышел из крестьянства, но мог быть цивилизован под руководством интеллигенции. Русская революция, которая, как понял Горький в 1917 году, поднималась прежде всего из крестьянской глубины, представлялась ему силой восточной и варварской. В отличие от Львова, он не питал иллюзий относительно доброты и мудрости простого русского народа. «Я превращаюсь в пессимиста и, кажется, в мизантропа, — писал он Екатерине в середине марта. — На мой взгляд, подавляющее большинство населения России и злое, и глупое, как свиньи».[77]

В революционном насилии Горький особенно винил «дикие инстинкты» русских крестьян, которых ненавидел почти яростно. По его мнению, их главным желанием было жестоко отомстить бывшим господам и вообще всей богатой и привилегированной верхушке — включая и самозваных вождей из интеллигенции. Значительную часть городского насилия — самосуды, анархическое разграбление, «вывоз» фабричного начальства на тачках — он, подобно многим меньшевикам, объяснял внезапным притоком в города во время войны неквалифицированных рабочих-крестьян. Будто он отказывался верить, что рабочий класс, который, как и все марксисты, он считал силой культурного прогресса, способен вести себя по-крестьянски или по-хулигански. И всё же сам Горький не раз выражал глубокий страх, что городская культура рабочего класса «растворяется в крестьянской массе», что мир школы и промышленности уступает варварским обычаям деревни.[78]

Во многом Горький винил большевиков. Апрельские тезисы Ленина, на его взгляд, преждевременно призывали к новой революции, а в условиях русской отсталости это неизбежно делало революцию заложницей крестьянства. В 1924 году он писал:

> Мне казалось, что тезисы приносят в жертву русскому крестьянству небольшую героическую группу политически образованных рабочих и

> действительно революционную интеллигенцию. Единственная деятельная сила России будет брошена, словно щепотка соли, в плоское болото деревни и растворится без следа, не изменив ни духа, ни быта, ни истории нации.[79]

Горькому казалось, что большевики приносят культурные идеалы социалистической интеллигенции в жертву собственным политическим целям. Они разжигали классовую ненависть и поощряли «нигилистические массы» разрушать старый порядок до основания.

Жестокие столкновения на Невском проспекте во время демонстраций 20–21 апреля, в которых многие винили большевиков, вызвали у Горького глубокое отвращение. В «Несвоевременных мыслях» от 23 апреля он писал:

> Светлые крылья нашей молодой свободы забрызганы невинной кровью. Убийство и насилие — аргументы деспотизма… Мы должны понять, что страшнейший враг свободы и справедливости находится в нас самих: это наша глупость, наша жестокость и весь хаос тёмных анархических чувств… Способны ли мы понять это? Если не способны, если не можем удержаться от грубейшего насилия над человеком, значит, у нас нет свободы… Неужели память о нашем мерзком прошлом, о том, как сотни и тысячи нас расстреливали на улицах, воспитала и в нас спокойное отношение палача к насильственной смерти человека? Я не нахожу достаточно суровых слов, чтобы укорить тех, кто пытается что-либо доказать пулями, штыками или ударом кулака в лицо. Разве не этими… средствами нас держали в позорном рабстве? И теперь, освободившись от рабства внешне, мы продолжаем жить во власти рабских чувств.[80]

Роль большевиков в несостоявшейся демонстрации 10 июня также возмутила его. 14 июня он писал Екатерине:

> Я дошёл до предела. Физически пока держусь. Но тревога растёт с каждым днём, и я думаю, что безумная политика Ленина скоро приведёт нас к гражданской войне. Он совершенно изолирован, но его лозунги очень популярны среди массы необразованных рабочих и части солдат.[81]

Горькому казалось, что «плебейская злоба», разжигаемая боевыми лозунгами большевиков, в крестьянской стране вроде России, где основная масса населения «невежественна и низка», слишком легко может превратиться в силу разрушения и хаоса. Ненависть к «буржуям»

быстро уступит место бессмысленному погрому, классовой войне возмездия, «грабежу награбленного», если воспользоваться большевистским лозунгом. Недоверие к демократическим партиям, которое большевики также усердно питали, вскоре превратится во всеобщее отрицание интеллигенции и её гуманистических ценностей.

В известном смысле в 1917 году Горький отчаялся не только в большевиках, но во всех политических партиях. «Политика, — писал он 20 апреля, — рассадник социальной вражды, злых подозрений, бесстыдной лжи, болезненного честолюбия и неуважения к личности. Назовите любую дурную черту человека — именно на почве политической борьбы она растёт особенно пышно». Его крик души исходил из убеждения, что роль интеллигенции, к которой он относил и политические партии, состоит в защите нравственных и культурных ценностей Просвещения от разрушительного насилия толпы. Она должна была сохранить революцию как созидательный и творческий процесс национальной цивилизации. В этом отношении Горький всё больше сближался с либералами и руководителями Совета, которых так же тревожил нарастающий прилив анархии. И подобно им, весной и в начале лета он всё чаще начинал видеть в новом наступлении на фронте силу, способную встряхнуть и дисциплинировать страну. Как писал Горький 18 июня, «хотя я пацифист, я приветствую грядущее наступление в надежде, что оно хотя бы внесёт некоторую организацию в страну».[82] Насколько же он ошибался.

ГЛАВА 10

АГОНИЯ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

i. Иллюзия нации

При первой же встрече Керенский сделал Брусилова Верховным главнокомандующим русской армией. Новый военный министр приехал к нему в штаб Юго-Западного фронта и после осмотра войск отправился вместе с ним ночным автомобилем в Тернополь. Бушевала сильная гроза, и одинокая машина, пробиравшаяся по грязным просёлочным дорогам, казалось, каждую минуту рисковала погибнуть. Сжавшись рядом в салоне, под ливнем, хлеставшим по окнам, и вспышками молний, двое мужчин неожиданно сблизились. Они заговорили откровенно, делясь частными мыслями, словно старые друзья. Оба были согласны, что летом необходимо начать наступление. Именно тогда, вспоминал позднее Керенский, он «там и тогда решил, что к началу наступления Брусилову следует передать командование всей армией».[1]

Назначение Брусилова было актом веры в боеспособность новой революционной армии. Пост он получил прежде всего благодаря своему оптимизму. «Мне нужны были люди, верившие, что русская армия не погибла, — писал позднее Керенский. — Мне были не нужны те, кто не мог искренне принять свершившийся факт Революции или сомневался, что мы сумеем восстановить моральный дух армии в новой психологической атмосфере. Мне нужны были люди, пережившие всю безумную нелепость военных лет при старом режиме и полностью понимавшие произошедший переворот».[2] Брусилов подходил идеально. Он был, пожалуй, единственным крупным царским генералом, вышедшим из войны с честью, и одним из первых, кто связал свою судьбу с революцией. Подобно Керенскому, он надеялся, что защита свободы наконец пробудит тот гражданский патриотизм, который позволит России продолжать войну.

Поддержка демократии и особенно солдатских комитетов не принесла Брусилову друзей среди старших генералов. Они называли его «приспособленцем» и «предателем» армии. 22 мая Генеральный штаб в

Ставке встретил нового главнокомандующего откровенно враждебно. «Сразу по прибытии я почувствовал их холодность», — вспоминал Брусилов. Вместо привычной массовой овации на вокзале в Могилёве его встретила небольшая, подчеркнуто официальная делегация генералов с мрачными лицами. Брусилов усугубил положение, отказавшись прежде всего приветствовать старших офицеров, специально прибывших на станцию, и демонстративно повернувшись, чтобы пожать руки рядовым. Первые солдаты так растерялись — генералы обычно просто отдавали им честь, — что роняли винтовки или неловко перехватывали их левой рукой, протягивая правую новому Верховному главнокомандующему.[3]

В отличие от большинства высших командиров, Брусилов верил в сотрудничество с демократическими солдатскими органами. По его мнению, восстановить моральный дух армии и начать новое наступление можно было лишь вместе с ними. Этот оптимизм резко контрастировал со скептицизмом прежнего главнокомандующего генерала Алексеева, сомневавшегося, что армия в её нынешнем революционном состоянии способна на успешное наступление. Но Брусилов всегда был убеждён, что Бог избрал его вести русские армии к победе. «Несмотря на все трудности, — писал он брату вскоре после приезда в Могилёв, — я никогда не отчаиваюсь, потому что знаю: Бог возложил эту ношу на мои плечи и судьба Отечества находится в Его руках. Я глубоко верю — так же глубоко, как верю в Самого Бога, — что мы победим в этой титанической борьбе».[4]

С Межсоюзнической конференции в Шантийи в ноябре 1915 года союзники всё настойчивее требовали от России нового наступления на Восточном фронте. Руководители Антанты хотели, чтобы 1917 год стал годом окончательной победы, и рассчитывали, что одновременное наступление на востоке и западе позволит разгромить Центральные державы. Легитимность Временного правительства в глазах западных держав — и финансовая поддержка, которую оно от них получало, — во многом зависели от объявленного намерения выполнить союзнические обязательства. Но революция лишь усилила и без того серьёзные сомнения в боеспособности России. На совещании командующих фронтами 18 марта Алексеев отверг французское требование начать наступление весной: дороги ещё покрыты льдом; не хватает лошадей и

фуража; запасные части разлагаются; дисциплина рушится; а Совет, контролирующий основные рычаги власти, всё ещё не готов поддержать ничего, кроме чисто оборонительной стратегии. Большинство командующих соглашалось, что новое наступление невозможно раньше июня или даже июля. Единственным сторонником весеннего наступления был Брусилов. В телеграмме совещанию он утверждал, что его солдаты рвутся в бой. Заявление было настолько необычайно оптимистичным — и, несомненно, во многом продиктованным желанием выдать желаемое за действительное, — что Алексеев попросил генерал-квартирмейстера проверить подлинность телеграммы. «Какое было бы счастье, — написал он внизу, — если бы действительность оправдала эти надежды». Поскольку речь шла о ключевом Юго-Западном фронте, откуда и должно было начаться наступление, сообщение Брусилова помогло осторожному Алексееву склониться к более ранней операции уже в мае.

Алексеев изложил свои доводы Гучкову 30 марта:

> Если мы не перейдём в наступление, то всё равно не избежим войны, а лишь обречём себя сражаться в то время и в том месте, которые удобны противнику. И если мы не будем сотрудничать с союзниками, нельзя рассчитывать, что они придут нам на помощь, когда это понадобится. Разложение армии столь же пагубно скажется на обороне, как и на наступлении. Даже не будучи совершенно уверенными в успехе, мы должны наступать. Последствия неудачной обороны хуже последствий неудачного наступления… Чем скорее мы бросим войска в бой, тем скорее охладеет их страсть к политике. Генерал Брусилов исходил именно из этих соображений… Можно сказать: чем менее устойчивы войска, тем менее успешной окажется оборона; следовательно, тем желательнее активные действия.[5]

Это была страшная игра. Никаких гарантий, что риск наступления окажется меньше риска обороны, не существовало; ещё меньше было оснований полагать, как делали Алексеев и Брусилов, что наступление само по себе способно воспламенить боевой дух войск. Задним числом ясно, что военное и политическое руководство Временного правительства оказалось пленником собственного оптимизма. Оно чудовищно недооценило вероятную цену операции. Алексеев, например, предполагал русские потери примерно в шесть тысяч человек; в действительности они составили почти четыреста тысяч, а

число дезертиров, возможно, было ещё больше. Огромная человеческая цена за самообман. Политическая цена оказалась ещё выше. Не вызывает сомнения, что само начало — а тем более провал — наступления прямо привело к летнему кризису, завершившемуся падением Временного правительства и большевистским захватом власти в октябре. Военные руководители, вероятно, рассчитывали упреждающим ударом сорвать германское наступление, которое, по ошибочным разведданным, ожидалось летом. Но немцы уже давно избрали на востоке своего рода «мирное наступление», чтобы высвободить войска для переброски на Запад. При слабости русской армии и тыла оборонительная стратегия имела гораздо больше смысла. Однако к июню идея наступления превратилась для российских лидеров почти в навязчивость: оно стало символом «национального духа» революции, и возможность катастрофы они уже не видели.

Именно летнее наступление сильнее всего подтолкнуло солдат к большевикам — единственной крупной партии, бескомпромиссно требовавшей немедленного прекращения войны. Если бы Временное правительство заняло ту же позицию и начало переговоры с Германией, большевики, вероятно, никогда не пришли бы к власти. Почему этот решающий шаг так и не был сделан? Отчасти ответ заключался в патриотизме демократических лидеров, для которых он практически совпадал с верностью союзным державам как демократическим государствам. Став премьер-министром после Июльских дней и краха наступления, Керенский ненадолго рассматривал возможность сепаратного мира, но отказался: по его позднейшим словам, он не хотел брать на себя ответственность за национальное унижение России. Его и других политиков можно обвинить в недостатке дальновидности. За пять дней до большевистского захвата власти, 20 октября, военный министр генерал Верховский объявил армию неспособной воевать. Единственным способом нейтрализовать растущую большевистскую угрозу, заявил он, было «выбить почву у них из-под ног — иначе говоря, немедленно поставить вопрос о заключении мира». Керенский и тогда не увидел опасности и вновь отказался действовать. Четырнадцать лет спустя лорд Бивербрук за обедом с Керенским в Лондоне спросил, могло ли Временное правительство остановить большевиков, заключив сепаратный мир с Германией. «Разумеется, — ответил Керенский, —

тогда мы сейчас были бы в Москве». Поражённый Бивербрук спросил, почему же они этого не сделали. «Мы были слишком наивны», — сказал Керенский.[6]

Задний взгляд — роскошь историка. Если учитывать давление и убеждения того времени, решение о наступлении понять нетрудно. Руководители Временного правительства всерьёз относились к обязательствам перед союзниками. Они хотели бы договориться о всеобщем мире без аннексий и контрибуций, как тогда говорили, но военная слабость России делала её переговорные позиции крайне невыгодными. Союзники всё больше склонялись к мысли, что войну можно выиграть и без России, особенно после вступления Соединённых Штатов в апреле. Они сорвали Стокгольмскую мирную конференцию, организованную руководителями Совета с целью собрать социалистические партии Европы, и затягивали рассмотрение российских предложений пересмотреть военные цели Антанты. В этом смысле, погубив международную мирную кампанию, союзники тоже внесли свою лепту в приход большевиков к власти — хотя вопрос о том, был ли вообще возможен всеобщий мир, остаётся открытым.

Как ни парадоксально, руководители Временного правительства поддержали наступление именно для укрепления кампании за общее урегулирование войны. Они шли воевать, чтобы добиться мира. Так же рассуждали и руководители Совета, поддержавшие наступление. «Революционное оборончество» Церетели — мобилизация демократии для нужд национальной обороны — стало главным оправданием вступления социалистов в коалицию. Конечно, можно возразить, что оборона страны вовсе не требовала наступления. Подписав 5 мая коалиционную Декларацию принципов и признав первенство армейских нужд, руководители Совета рисковали забыть свою главную цель — переговоры о всеобщем мире — и тем самым подставлялись под большевистское обвинение в присоединении к «поджигателям войны». Но их увлекла надежда, что защита демократической России сплотит вокруг них народ. Они сравнивали положение России с Францией накануне войны с Австрией в 1792 году: им казалось, что революционная война породит новый гражданский патриотизм, подобно тому как защита patrie породила национальный хор «Aux armes, citoyens!». Они были убеждены, что произошла именно «национальная

революция», а не просто восстание против старого режима, и что через подъём патриотизма, через признание массами того, что интересы «нации» стоят выше интересов любого класса и партии, удастся восстановить единство и порядок.

Керенскому, военному министру коалиционного правительства, выпала роль героя нового гражданского патриотизма. Популярная фигура, формально стоявшая над партиями, он воплощал коалиционный идеал национального единства. Культ Керенского, возникший ещё в Февральские дни, достиг вершины во время июньского наступления, которому сам этот культ немало способствовал. Все надежды и ожидания страны возлагались на хрупкие плечи «первого народного военного министра». Школьники-поэты вроде Леонида Каннегисера — будущего убийцы большевика Урицкого — изображали Керенского русским Бонапартом:

> И если, от боли кружась, я паду Во имя России-матери, И окажусь в безлюдном поле, Простреленный в грудь на земле, То у Райских Врат, В предсмертном радостном сне, Я вспомню — Россия, Свобода, Керенский на белом коне.

Марина Цветаева, сама едва вышедшая тогда из школьного возраста, тоже сравнила Керенского с Наполеоном:

> И кто-то, падая на карту, Не спит во сне. Пришёл Бонапарт В моей стране.[7]

Керенский упивался этой ролью. Он и прежде видел себя вождём нации, стоящим над партийными и классовыми интересами. Всеобщее обожание вскружило ему голову. Он стал одержим мыслью повести армию к славе и самому покрыть себя славой. Начал сознательно подражать Наполеону: на столе в Военном министерстве стоял бюст французского императора. Хотя сам Керенский никогда не служил в армии, став военным министром, он надел прекрасно сшитую защитную гимнастёрку, офицерские бриджи и высокие кожаные сапоги — тот полувоенный стиль одежды, который позднее переняли многие будущие вожди, включая Сталина. Внешность была для него предметом особой заботы и гордости. Даже в разгар октябрьских боёв, появившись перед казаками в Гатчине во время сражения с Красной гвардией, он позаботился надеть «лучшую гимнастёрку — ту, к которой народ и

войска так привыкли», и «отдать честь, как я всегда это делал, слегка небрежно и с лёгкой улыбкой». Во время знаменитых поездок по фронтам Керенский даже носил правую руку на перевязи, хотя сведений о какой-либо травме руки нет; шутили, что он просто вывихнул её бесконечными рукопожатиями. По-видимому, это был сознательный способ показать, будто и он, как рядовые солдаты, ранен. Возможно, и попытка воспроизвести образ Наполеона с рукой, заложенной за борт мундира.[8]

Накануне своего назначения Керенский устроил мелодраматическое представление на съезде фронтовых делегатов. «Мне жаль, что я не умер два месяца назад, — произнёс он, торжественно положив руку на сердце, — ибо тогда я умер бы с величайшей мечтой: что отныне и навеки для России началась новая жизнь, когда мы сможем уважать друг друга и управлять государством без плетей и дубинок». Он призывал солдат поставить «гражданский долг» выше узких классовых интересов и укрепить боевую решимость: свобода России могла существовать только «как сильное и организованное государство», а значит, «каждый гражданин» обязан принести жертву нации. При «старом и ненавистном режиме» солдаты умели выполнять свои обязанности — почему же теперь они не могут делать этого во имя Свободы? «Или, — спросил он в фразе, чрезвычайно болезненной для солдат, — свободное Русское государство в действительности является государством взбунтовавшихся рабов?»[9] В зале поднялся шум. В собственном представлении солдаты действительно были «рабами» до Приказа № 1, и теперь Керенский словно спрашивал, достойны ли они свободы как «граждане», если не готовы воевать. Выражение «взбунтовавшиеся рабы» ещё несколько недель звучало по всей стране и немало способствовало отчуждению солдат от Керенского. Зато патриотические и имущие круги услышали именно тот призыв к дисциплине и долгу, которого давно ждали, и сплотились вокруг Керенского и идеи наступления. Словно чувствовали: теперь спасти их может только победа.

Либеральная пресса присоединилась к правым, и вся страна наполнилась кричащими заголовками: «В наступление!» Кадетская партия подняла национальный флаг. Вероятно, кадеты надеялись, что поза патриотов поможет обратить вспять тревожный электоральный

спад. На майских выборах в городские думы они получили менее двадцати процентов голосов. Не имея возможности соперничать с социалистами за массовую поддержку, они обратились к средним классам с призывами защищать Отечество и восстанавливать порядок. Патриотизм стал основой их претензии быть партией «над классами». Демократическая интеллигенция, всегда составлявшая главную социальную опору кадетов, в значительной мере последовала за ними в шовинистический лагерь. Лига русской культуры, созданная группой правых кадетов на волне патриотизма, призывала все классы объединиться под знаменем России. Даже Блок, называвший себя социалистом, поддался новому настроению, а Горький приветствовал наступление как средство «внести в страну некоторую организацию». Всё сильнее звучала мысль, что «Россия» должна стоять выше всего — даже самой революции. «Не Россия существует для революции, — писал Дмитрий Мережковский, — а революция существует для России». Это было близко представлению Струве и группы «Вех» после 1905 года о национально-буржуазной России; и здесь также «нация» фактически отождествлялась со средними классами. Имущие патриоты подписывались на Заём свободы, выпущенный правительством для финансирования наступления. Президент Вольного экономического общества Н. В. Чайковский объявлял «долгом каждого перед Родиной, согражданами и будущим России отдать свои сбережения великому делу свободы».[10]

Но новый гражданский патриотизм почти не выходил за пределы городских средних классов, хотя руководители Временного правительства убеждали себя в обратном. Характерен визит союзных социалистов — Альбера Тома из Франции, Эмиля Вандервельде из Бельгии и Артура Гендерсона из Британии. Они приехали убеждать «народ» не выходить из войны, но слушать их почти никто не хотел. Константин Паустовский вспоминал, как Тома тщетно выступал с балкона здания, где позднее разместился Московский Совет. Он говорил по-французски, и небольшая толпа ничего не понимала. «Но всё в его речи можно было понять без слов. Подпрыгивая на кривоватых ногах, Тома наглядно показывал, что произойдёт с Россией, если она выйдет из войны. Он закручивал усы, как у кайзера, хищно щурился и прыгал, душа воображаемую Россию». Несколько минут француз продолжал

цирковое представление, бросал тело России на землю и топтал его, пока толпа не стала свистеть, гудеть и смеяться. Тома принял это за одобрение и поприветствовал публику котелком. Смех и свист стали громче. «Уберите клоуна!» — крикнул рабочий. Наконец на балконе появился другой человек и дипломатично увёл его внутрь.[11]

Некоторые представители среднего класса добровольно вступали в новые ударные батальоны, созданные для оживления армейского духа. Большинство этих частей на самом деле состояло из напуганных офицеров, стремившихся уйти из мятежных полков. Бернард Пэрс, участвовавший в нескольких патриотических митингах в поддержку добровольцев, сравнивал их истерическую атмосферу с религиозными собраниями пробуждения. Однажды его представили солдатам как «нашего английского товарища профессора», великого героя войны, якобы получившего Георгиевский крест за то, что в одиночку побил немцев. Это была полная выдумка; когда Пэрс попросил ведущего прекратить, ему ответили, что подобные истории необходимы для поднятия духа войск.[12]

Одна из самых знаменитых добровольческих частей была женской. Женский батальон смерти организовала Мария Бочкарёва — поистине замечательная женщина, до войны работавшая десятником на строительстве заводов. После 1914 года она добивалась права вступить в армию и, подав прошение самому царю, получила разрешение воевать под командованием генерала Гурко. К февралю 1917 года Бочкарёва дослужилась до унтер-офицера, провела два года в окопах, получила несколько ран и наград. Встревоженная распадом дисциплины, она попросила Брусилова разрешить сформировать женский ударный батальон, надеясь, что пример женщин пристыдит остальных солдат и заставит их воевать. На деле произошло обратное: солдаты восприняли создание батальона как признак отчаянного положения правительства, и это лишь укрепило нежелание сражаться; многие, особенно казаки, вообще отказывались воевать рядом с женщинами. Брусилов этого не предвидел и возражать не стал. Его привлекала широко обсуждавшаяся тогда идея новой армии, полностью состоящей из добровольческих частей. Он видел в ней способ вести войну на основе патриотического долга и разрушить старые перегородки между офицерами и солдатами. Поскольку его собственная жена служила в медицинских частях на

фронте, он не видел причины, почему другие женщины не могут отправиться туда с оружием. Батальон поспешно сформировали; перед отправкой на фронт в июне его благословили на Красной площади в Москве. Женщины обрили головы и надели обычные армейские брюки, хотя одна оказалась слишком полной и была вынуждена идти в бой в юбке.[13]

Другой великой надеждой гражданского патриотизма были армейские комиссары. Большинство из них составляли младшие офицеры демократических или социалистических взглядов. Они пользовались доверием солдат, но одновременно понимали необходимость военной дисциплины. Типичным примером был Линде — молодой унтер-офицер, возглавивший мятеж нескольких полков в Февральские дни: во время летнего наступления он стал комиссаром Особой армии. Военным комиссаром стал и Дмитрий Оськин, крестьянский унтер-офицер, с которым мы познакомились в седьмой главе.

Комиссары были учреждены Советом 19 марта, а 6 мая стали ответственны перед Временным правительством. Их задачей было сглаживать отношения между офицерами и солдатскими комитетами, и именно поэтому их рассматривали как основу нового патриотического сотрудничества демократии и армии.

На ту же цель была рассчитана и изданная Керенским 11 мая «Декларация прав военнослужащих». Керенский утверждал — и, пожалуй, справедливо, — что российские вооружённые силы теперь «самые свободные в мире», и призывал солдат в грядущем наступлении доказать, «что в свободе заключается сила, а не слабость». Декларация сохраняла права, предоставленные Приказом № 1, но одновременно восстанавливала власть офицеров на фронте, включая право применять телесные наказания. В правящих кругах это считали необходимой уступкой военному командованию перед наступлением. Брусилов категорически заявлял, что без неё воевать не станет. Однако для многих солдат Декларация выглядела попыткой правительства вернуть старую систему дисциплины, и это играло на руку большевикам. «Правда» язвительно писала, что документ правильнее было бы назвать «Декларацией бесправия военнослужащих».[14]

Чтобы поднять боевой дух, в мае Керенский отправился в поездку по фронту. Его истерическое красноречие здесь достигло предела. Высоким, визгливым голосом, размахивая руками, он призывал солдат принести высшую жертву ради славного будущего Отечества. После подобных тирад он нередко падал от нервного истощения, и его приводили в чувство валериановыми каплями. Обмороки, по крайней мере поначалу, не были притворством, но придавали его выступлениям дополнительный театральный эффект. Повсюду его встречали как героя. Солдаты носили его на плечах, забрасывали цветами и падали к ногам. Английская сестра милосердия с изумлением наблюдала, как они «целовали его, его форму, его автомобиль и землю, по которой он ступал. Многие становились на колени и молились, другие плакали».[15] Ничего подобного не видели со времён царя.

Однако это поклонение лишь создало у Керенского ложное впечатление, будто солдаты рвутся в бой. Даже через пятьдесят лет в мемуарах он продолжал утверждать, что «здоровое патриотическое настроение на фронте стало реальной силой».[72] В действительности дело обстояло далеко не так. Во время поездок Керенский сталкивался с совершенно нерепрезентативной частью армии. На солдатских собраниях, где он выступал, преобладали офицеры, интеллигенты в форме и члены солдатских комитетов. На этих аудиториях его речи действовали почти гипнотически: создавали сладкую иллюзию, что ещё одно героическое усилие — и война победоносно закончится. Уставший солдат мог захотеть в это поверить, даже если в глубине души знал, что это неправда, просто потому, что очень хотел. Но по возвращении в окопы иллюзия быстро исчезала. Вне подобных собраний, среди огромного большинства рядовых, настроение было куда мрачнее. Во время поездок Керенского солдаты не раз перебивали его насмешками, но он словно не замечал этого предупреждения.

Однажды под Ригой товарищи вытолкнули вперёд солдата, чтобы тот задал министру вопрос: «Вы говорите, что мы должны воевать с

[72] Руководителей Совета и Временного правительства вводило в заблуждение то, что солдаты, как и простой народ, выражали крайнюю враждебность ко всему «немецкому». Но понятие «немецкое» было для солдат общим символом всего ненавистного — императрицы, изменнического царского правительства, войны и вообще иностранцев, — а не германских солдат по другую сторону фронта, к которым они нередко относились с сочувствием.

немцами, чтобы крестьяне получили землю. Но какая мне, крестьянину, польза от земли, если меня убьют и земли я не получу?» Ответить Керенскому было нечего — ответа и не существовало, — однако он приказал командиру части отправить солдата домой: «Пусть односельчане знают, что русской армии трусы не нужны». Солдат не поверил своему счастью и тут же упал в обморок, а офицер только в недоумении почесал голову. Сколько ещё пришлось бы отправить домой на таком основании? Керенский явно считал этого человека исключением, на котором можно показать пример. Он не понимал, что таких — миллионы.[16]

Брусилов, напротив, начинал сомневаться в моральном состоянии войск. «Солдаты устали, — писал он жене в конце апреля, — и во многих отношениях уже не способны наступать». Став Верховным главнокомандующим, он отправился в поездку по Северному и Западному фронтам. В отличие от частей его родного Юго-Западного фронта, находившихся далеко от влияния революционных городов, здесь войска пребывали в состоянии полного разложения. По словам одного из старших помощников, Брусилов старался даже не произносить слова «наступление» и «вперёд», опасаясь, что солдаты на него набросятся. Оратором он не был. Он собирал солдат вокруг себя, снимал фуражку и китель и «демократично» держал их на левой руке, стараясь создать непринуждённую атмосферу. Но убедить солдат, что он, как могли сказать о Керенском, «свой», не получалось.

Однажды, выступая перед особенно большевизированными солдатами под Двинском, Брусилов заявил, что немцы уничтожили «одно из прекраснейших достояний французского народа — чудесные виноградники, из которых делают шампанское». Солдат это лишь оттолкнуло и разозлило. «Позор! — закричали они главнокомандующему. — Вы хотите проливать нашу кровь, чтобы потом пить шампанское!» Брусилов испугался, снова надел фуражку, словно пытаясь вернуть прежний авторитет, и позвал охрану окружить его. Когда крики утихли, он вызвал одного из самых громких солдат вперёд и предложил изложить свою точку зрения. Молодой рыжебородый крестьянин встал рядом с Брусиловым, обеими руками опёрся на винтовку и, косясь на командующего, заявил, что солдаты «навоевались», что «три долгих года русский народ проливал кровь за

империалистические и капиталистические классы», а если генерал хочет продолжать войну ради шампанского, «пусть сам идёт и проливает собственную кровь». Солдаты встретили речь криками одобрения. Брусилов потерял дар речи и начал уходить, а солдат, явно большевик, прочитал вслед декларацию солдатского комитета с требованием немедленного мира. Верховного главнокомандующего русской армии переиграл простой солдат.[17]

Это был лишь один из многих эпизодов, убедивших Брусилова, что новое наступление опасно. На Северном фронте он встретил целую дивизию, изгнавшую офицеров и угрожавшую всем составом разойтись по домам.

> Когда я прибыл в их лагерь, то потребовал прислать ко мне делегацию: появляться перед всей толпой было опасно. Когда делегаты пришли, я спросил, к какой партии они принадлежат. Они ответили, что прежде были социалистами-революционерами, а теперь поддерживают большевиков. «Чего вы хотите?» — спросил я. «Земли и воли!» — закричали все. «А ещё чего?» Ответ был простой: «Ничего!» Когда я спросил, чего они хотят сейчас, они ответили, что больше не желают воевать и просят отпустить их домой, чтобы разделить землю, которую односельчане отняли у помещиков, и жить на свободе. Я спросил: «А что будет с матушкой-Россией, если никто не захочет её защищать и каждый, как вы, будет думать только о себе?» Они ответили, что не их дело размышлять о судьбе государства и что они твёрдо решили идти домой.[18]

По мнению Брусилова, солдаты были настолько одержимы миром, что готовы были бы поддержать даже самого царя, если бы тот пообещал закончить войну. Именно это, а вовсе не вера в некий абстрактный «социализм», объясняло их притяжение к большевикам. Большинство солдат были простыми крестьянами, хотели земли и свободы и стали называть всё это «большевизмом», потому что только эта партия обещала мир. Этот «окопный большевизм», как назвал его Аллан Уайлдман в фундаментальном исследовании русской армии 1917 года, вовсе не обязательно организовывался по формальным партийным каналам или даже поощрялся большевистскими агентами. И партийные структуры, и агитаторы на фронте существовали, но их влияние было куда слабее, чем привыкли думать командиры, обвинявшие «большевиков» и «большевистских агентов» буквально в каждой

военной неудаче.[73] Скорее усталые и раздражённые солдаты подхватывали лозунги большевистской печати и использовали их как оправдание собственного растущего сопротивления войне. В 1917 году лишь немногие солдаты вообще состояли в политических партиях, а среди состоявших большинство принадлежало эсерам, а не большевикам.[19]

Солдатские комитеты, которые многие командиры считали главным каналом «окопного большевизма», обсуждали наступление и принимали решения не воевать. «Зачем нам вообще лезть в Галицию?» — спрашивал один солдат. «Какого чёрта брать ещё одну высоту, — добавлял другой, — если можно заключить мир внизу?» Многие верили, что советский план мира делает дальнейшее кровопролитие бессмысленным. Они не понимали, почему офицеры приказывают им наступать, если руководители Совета согласились, что нужен мир. Сложная формула демократического мира «без аннексий и контрибуций» для большинства была непонятна. Некоторые солдаты, похоже, даже считали, что Аннексия и Контрибуция — названия двух стран на Балканах.[20]

По мере приближения наступления поток дезертиров рос. Нокс видел, как поезда с фронта «постоянно брали штурмом» солдаты, стремившиеся домой. Они ехали на крышах вагонов, висели на буферах. Настоящее число дезертиров во время наступления было намного выше официальных 170 тысяч. Целые отряды беглецов захватывали районы в тылу и жили как банды. Многие были семейными мужчинами старше сорока лет и верили, что им обещали особое разрешение уйти домой на жатву. Во многих частях именно старшие солдаты возглавляли сопротивление наступлению; некоторые из них, вероятно, участвовали ещё в мятежах и крестьянских восстаниях 1905 года. На Северном фронте тысячи ушли из армии и устроили собственную «солдатскую республику» в лагере возле Петроградского ипподрома. Они ходили строем по столице с плакатами, требуя своего «освобождения», и часто торговали сигаретами на улицах и вокзалах. Каким-то образом вожди их

[73] Постоянно объясняя каждое военное поражение действиями «большевиков», командиры создавали впечатление, будто влияние большевиков намного больше, чем в действительности. Тем самым они сами делали большевиков привлекательнее для массы солдат.

«республики» даже добились снабжения из правительственных военных складов.[21]

Одним из самых тревожных проявлений солдатского пацифизма для Брусилова было братание с противником. Оно стало частью германской кампании по деморализации Восточного фронта, чтобы высвободить войска для Запада. Немцы заманивали русских из окопов водкой, концертами и импровизированными публичными домами между линиями и внушали им, удивительно близко к большевистской пропаганде, что не стоит проливать кровь ради империалистических интересов Англии и Франции. Во время пасхального прекращения боёв тысячи русских покидали траншеи и под белыми флагами переходили к немецким позициям. Многие переплывали Днестр и Двину, чтобы присоединиться к веселью. Германских разведчиков встречали за русскими линиями как героев.

Лейтенант Бауэрмайстер, например, добился огромного пропагандистского успеха в 33-м армейском корпусе к югу от Галича — именно там, где должен был наноситься главный русский удар июньского наступления. Пока бессильные офицеры кипели от ярости, он рассказывал солдатам, что Германия больше не хочет воевать и что вся вина за грядущее наступление лежит на Временном правительстве — наёмнике союзных банкиров. «Если вы говорите правду, — ответили солдатские делегаты, — мы свергнем правительство и поставим новое, которое быстро даст русскому народу мир». Солдаты даже согласились подписать перемирие на всём своём участке. Бауэрмайстер был поражён и напомнил, что юридических полномочий у них на это нет. Солдаты ответили: если они решили больше не воевать, никто не в силах заставить их. Несколько недель, вплоть до наступления, перемирие действительно соблюдалось. Орудия молчали, над русскими позициями висели белые флаги. Эффектный Бауэрмайстер в белой фуражке стал почти знаменитостью. Ему даже удалось выступить в деревне в трёх милях за русским фронтом — а ведь там находился штаб 7-й армии.[22]

Накануне наступления Брусилов предупредил Керенского о нарастающих сомнениях. Части отказывались выдвигаться к передовой. В тыловых гарнизонах произошли десятки мятежей; даже если подразделение удавалось отправить к окопам, по дороге могло дезертировать до трёх четвертей личного состава. Узнав, что им

предстоит, бунтовали и фронтовики. Брусилову пришлось расформировать несколько наиболее надёжных частей. В 5-й армии Северного фронта солдаты отказались выполнять приказы и объявили, что признают единственную власть — Ленина: двадцать три тысячи человек пришлось перевести в другие части или отправить в тыл под военный суд. Но Керенский проигнорировал все предупреждения главнокомандующего. «Он не обратил на мои слова ни малейшего внимания, — вспоминал Брусилов, — и с этого момента я понял, что мой собственный авторитет Верховного главнокомандующего ничего не значит».[23] Керенский и его коллеги уже всё решили: наступление состоится, и места для сомнений в последнюю минуту не оставалось.

16 июня наступление началось двухдневной мощной артиллерийской подготовкой. Керенский ездил от полка к полку, отдавая распоряжения и стараясь поднимать дух. 18 июня войска пошли вперёд, ободрённые видом немецких траншей, оставленных под обстрелом. Главный удар наносился на юге в направлении Львова; вспомогательные операции начались также на Западном и Северном фронтах. Два дня наступление развивалось. Германские линии были прорваны, и патриотическая пресса возвестила о славном «Триумфе свободы!». На третий день продвижение остановилось. Немцы перешли в контратаку, русские в панике побежали. Отчасти сработали обычные военные пороки: части отправляли в бой без пулемётов; необученным солдатам приказывали выполнять сложные манёвры с ручными гранатами, и те бросали гранаты, забыв выдернуть чеки. Но главной причиной провала было простое нежелание солдат воевать. Пройдя две мили, передовые части считали, что свою долю сделали, и отказывались идти дальше, а второй эшелон не хотел их сменять. Наступление развалилось, люди начали разбегаться. Только за одну ночь ударные батальоны 11-й армии задержали возле Волочиска двенадцать тысяч дезертиров. Многие солдаты предпочитали направлять оружие против собственных командиров, а не против врага.

Отступление превратилось в хаос: солдаты грабили магазины и склады, насиловали крестьянских девушек, убивали евреев. Решающее наступление на Львов рухнуло, когда войска обнаружили в оставленном Кониухе огромный запас спиртного и остановились напиться. Когда спустя три дня и тяжёлое похмелье они снова оказались способны

воевать, к противнику уже подошли подкрепления, и русским пришлось отступить с тяжёлыми потерями.[24]

В таком хаосе даже ударные части имели мало шансов. Батальон смерти Бочкарёвой действовал значительно лучше большинства. Женщины-добровольцы прорвали первые две немецкие линии, а за ними нерешительно последовала часть мужчин-призывников. Затем они попали под сильный германский огонь. Женщины рассеялись в беспорядке, тогда как большинство мужчин осталось в немецких траншеях, где обнаружило большой запас спиртного и принялось пить. Несмотря на окружающий развал, Бочкарёва продолжала бой. В какой-то момент она застала одну из своих женщин за половым актом с солдатом в воронке. Бочкарёва заколола её штыком; солдат сумел убежать. В конце концов, когда большинство добровольцев было убито или ранено, даже Бочкарёвой пришлось отступить.[25] Наступление закончилось. Это было последнее наступление России.

* * *

Крах наступления нанёс смертельный удар Временному правительству и личному авторитету его руководителей. Сотни тысяч солдат были убиты. Были потеряны огромные территории. Руководители правительства поставили на наступление всё, надеясь, что оно сплотит страну вокруг защиты демократии и нации. На этой надежде держалась коалиция; она сохранялась, пока оставался хотя бы шанс на военный успех. Но как только провал наступления стал очевиден, распалась и коалиция.

Это назревало уже давно. Одному Богу известно, чего стоило Львову удержать правительство вместе хотя бы до начала наступления. После вступления социалистов в кабинет большинство кадетов двинулось вправо. Они отказались от прежней претензии стоять «над классами» и занялись защитой прав собственности, военной дисциплины, закона и порядка, а также Российской империи от требований национальных движений. Всё это всё сильнее сталкивало их с социалистами, которых собственные сторонники подталкивали вести правительственную политику дальше влево. Формальным поводом, разрушившим коалицию и ввергшим страну в кризис, стал вопрос украинской автономии. Когда правительственная делегация в Киеве 2 июля

согласилась предоставить Раде ряд автономных прав, три министра-кадета подали в отставку. Кадеты были готовы дать «малороссам» не более культурных свобод и настаивали, что даже это вправе решить только Учредительное собрание. Уступки 2 июля представлялись им незаконными и, по выражению Милюкова, означали «расчленение России под лозунгом самоопределения».[26]

Однако украинский вопрос был лишь последней каплей. Коалицию разрывали и фундаментальные споры о внутренних социальных реформах. Прежде всего — земельная политика Чернова, которую кадеты обвиняли в фактическом санкционировании крестьянской революции: земельным комитетам предоставлялись временные контрольные полномочия над помещичьими имениями. Затем — воинственные забастовки, ответственность за которые кадеты возлагали на меньшевиков, руководивших Министерством труда. Старые классовые противоречия, временно прикрытые ради наступления, возвращались с удвоенной силой.

Для Львова распад этого «национального союза» стал горьким разочарованием. Больше всех он воплощал либеральную надежду на объединение страны. Как глава правительства он символизировал его идеал созидательной работы ради национального блага. Партийная политика оставалась для него чужой территорией, и во фракционных конфликтах собственного кабинета он всё сильнее чувствовал себя не на своём месте. «Я чувствую себя щепкой, выброшенной на берег революционной волной», — признался он старому товарищу по японской войне генералу Куропаткину. Он проклинал и кадетов, и социалистов за то, что те ставят классовые и партийные интересы выше интересов всей страны. Кадеты, говорил он личному секретарю, повели себя в украинском вопросе как великорусские шовинисты: не способны понять, что ради спасения государства необходимы уступки. Но не меньше он устал и от социалистов, которые, по его мнению, стремились навязать Временному правительству программу Совета. Политика Чернова в отношении земельных комитетов казалась ему, самому помещику, не чем иным, как «большевистской программой организованной конфискации».

На его взгляд, общие интересы государства приносились в жертву частным интересам партий и классов, а Россия вследствие этого всё

ближе подходила к гражданской войне. Он чувствовал себя политически бессильным, попавшим под перекрёстный огонь слева и справа, и 3 июля наконец решил уйти в отставку.[74] «Я дошёл до конца дороги, — сказал он секретарю, — и, боюсь, мой тип либерализма тоже». Поздно ночью он написал родителям письмо, полное редкого для него мрачного предчувствия:

> Милые папа и мама,
>
> Уже около недели назад мне стало ясно, что выхода нет. Несомненно, страна идёт к всеобщей резне, голоду, развалу фронта, где погибнет половина солдат, и разорению городского населения. Культурное наследие нации, её народ и цивилизация будут уничтожены. По стране станут бродить армии переселенцев, затем небольшие группы, а потом, возможно, отдельные люди, сражаясь друг с другом сперва винтовками, затем одними дубинами. Я этого не увижу и, надеюсь, вы тоже.[27]

Когда он писал эти пророческие строки в разгар июльского кризиса, большевики готовились к решающему столкновению с Временным правительством.

ii. Более тёмный оттенок красного

Накануне июльского восстания журналист Клод Анэ устроил новому французскому послу Жозефу Нулансу ознакомительную экскурсию по российской столице. С противоположного берега Невы, у французского посольства, он указал на Выборгскую сторону с её фабричными трубами и казармами и объяснил, что там полными хозяевами являются большевики: «Если Ленин и Троцкий захотят взять Петроград, остановить их некому». Посол изумился: «Как правительство может терпеть такое положение?» — «А что оно может сделать? — ответил Анэ. — Вы должны понять: у правительства нет никакой власти, кроме моральной, да и та, по-моему, очень слаба».[28]

Казармы 1-го пулемётного полка, несомненно, были самым грозным оплотом антиправительственной силы на Выборгской стороне. Десять тысяч человек и тысяча пулемётов — крупнейшая воинская часть

[74] Формально об отставке Львова объявили только 7 июля.

столицы. Многие солдаты были ранее удалены из фронтовых частей за неповиновение и, будучи грамотными и воинственно настроенными, легко воспринимали пропаганду и большевиков, и анархистов. Казармы, занятые полком на Выборгской стороне, находились среди наиболее забастовочных металлообрабатывающих заводов столицы, буквально по соседству с большевистским штабом. Полк был настолько важен для большевиков, что их Военная организация имела в нём особую ячейку.

20 июня полк получил приказ отправить на фронт пятьсот пулемётов вместе с расчётами: они, как сообщалось, остро требовались для поддержки наступления. Со времени Февральской революции ни одну часть Петроградского гарнизона не переводили на фронт. Это было одним из условий, поставленных Петроградским Советом при создании Временного правительства. Солдаты считали, что именно они «сделали революцию» и потому имеют право оставаться в Петрограде, чтобы защищать её от «контрреволюции». Правительство прекрасно понимало, что живёт по милости четверти миллиона вооружённых солдат гарнизона. До сих пор оно не решалось попытаться удалить их из столицы. Но к июню пулемётчики превратились в серьёзную угрозу самому существованию правительства; и одной из важнейших целей наступления, несомненно, было перебросить их на фронт. Министр иностранных дел Терещенко прямо признался британскому послу: наступление «позволит нам принять меры против Петроградского гарнизона, который значительно хуже всех остальных и подаёт им дурной пример». Керенский неоднократно подчёркивал, что одной из целей наступления является восстановление порядка в тылу.[29] Недавно найденные в российских архивах личные записи Львова подтверждают, что в мае-июне правительство всерьёз рассматривало перенос столицы в Москву.[30]

Постоянно ходили слухи, будто Петроград собираются оставить немцам; многие «патриотические» представители среднего класса молились, чтобы это оказалось правдой — за обеденными столами часто повторяли, что порядок способен восстановить только кайзер. Но если правительство хотело использовать наступление как предлог для удаления пулемётчиков, то способ оно выбрало крайне неуклюжий и глупый. Их легко можно было перевести в глубокий тыл, например в какую-нибудь Тамбовскую губернию, под предлогом «защиты

революции» там. Отправляя же их на фронт и тем самым нарушая условия Совета, правительство придавало убедительность утверждениям солдат — активно распространявшимся большевистскими и анархистскими агитаторами, — будто наступление предназначено для разоружения гарнизона и, следовательно, носит «контрреволюционный» характер. После апрельского кризиса солдаты всё подозрительнее относились к попыткам правительства продолжать войну: разве это не делало его «империалистическим»? В такой атмосфере недоверия теории заговора легко находили слушателей.

21 июня пулемётчики постановили свергнуть Временное правительство, если оно продолжит угрожать «расформированием этого и других революционных полков» путём отправки на фронт. Десятки других частей гарнизона, получивших приказы присоединиться к наступлению, приняли сходные резолюции. Большевистская Военная организация поощряла идею вооружённого восстания и фактически превратилась в оперативный штаб по захвату столицы. Но Центральный комитет продолжал призывать к сдержанности. Повторялся спор 10 июня: ультралевые лидеры Выборгского комитета и Военной организации хотели въехать во власть на волне насилия петроградского авангарда; более осторожные общепартийные руководители опасались, что неудавшееся восстание вызовет антибольшевистскую реакцию по всей стране. Провинция, говорили они, ещё не готова к социалистической революции, а преждевременный захват власти в столице приведёт к гражданской войне, в которой Красный Петроград, подобно Парижской коммуне, будет разгромлен провинцией.

Так рассуждал и сам Ленин на конференции большевистских военных организаций 20 июня. Он подчёркивал необходимость отложить вооружённое восстание и не поддаваться на провокации «контрреволюционеров», пока не завершится наступление и большевики не завоюют большинство в Советах:

> Один неверный шаг с нашей стороны может всё погубить… Если бы мы сейчас даже могли захватить власть, было бы наивно думать, будто мы сумеем её удержать… Даже в Советах обеих столиц, не говоря уже об остальных, мы ничтожное меньшинство… Это основной факт, и он определяет поведение нашей партии… Не следует опережать события. Время работает на нас.[31]

Но своими подчинёнными Ленин управлял слабо. 29 июня, жалуясь на головные боли и усталость, он уехал на дачу знакомого в Финляндию. Контроль над партией выскользнул из его рук, а Военная организация готовила восстание. Большевистские и анархистские агитаторы призывали пулемётчиков 3 июля выйти на улицы с оружием. Полковой концерт в Народном доме 2 июля, устроенный как прощание с солдатами, которым предстояло идти на фронт, превратился в антиправительственный митинг. Троцкий и Луначарский — хотя оба ещё формально не были большевиками — требовали передать всю власть Совету. Солдаты вернулись в казармы слишком возбуждёнными, чтобы спать. Всю ночь и следующее утро они спорили, участвовать ли в восстании. Многие не хотели выступать силой вопреки приказам Совета. Другие рвались на улицы: для них это был последний шанс избежать отправки на фронт или просто возможность, как гласил один лозунг, «бить буржуев!». Они избрали Временный революционный комитет во главе с большевиком А. И. Семашко из Военной организации. Комитет взял на себя руководство восстанием и разослал эмиссаров поднимать остальные части гарнизона, заводы Выборгской стороны и Кронштадтскую военно-морскую базу.[32]

После полудня огромная серая масса рабочих и солдат двинулась из окраинных районов к центру города. Улицы снова напоминали Февральские дни, но настроение теперь было куда мрачнее, а состав толпы — гораздо более пролетарским. Костюмов представителей среднего класса, бород студентов и шляп сочувствующих дам, столь заметных в феврале, больше не было. Демонстранты несли большевистские лозунги и почти все были вооружены: солдаты — винтовками с примкнутыми штыками, рабочие, выведенные Красной гвардией, — патронными лентами, обмотанными вокруг туловища, словно у латиноамериканских бандитов. Заметное место занимали солдаты старше сорока лет, уже не раз проходившие вооружённым строем по улицам столицы. Демонстранты переворачивали трамваи и выставляли пикеты на перекрёстках. У одного такого пикета, в фешенебельной части Невского проспекта, красногвардейцы установили пулемёт. Его расчёту вскоре стало скучно, и бойцы развлекались, постреливая по «буржуям» на улицах и в домах. По городу носились грузовики и броневики, набитые солдатами,

стрелявшими в воздух. Вооружённые группы останавливали автомобили, высаживали перепуганных пассажиров и сами разъезжали по улицам, ощетинившись штыками. Один чиновник пытался спасти машину, показывая разрешение с подписью Керенского. Солдаты лишь рассмеялись и, ложно заявив, будто Керенский уже арестован, ответили: «С таким же успехом покажите разрешение за подписью Николая II».[33]

У толпы всё ещё не было ни руководства, ни направления. Она не вполне понимала, куда должна идти и зачем. У неё было только «настроение» — а этого недостаточно для революции. Большевистские и анархистские агитаторы, поднявшие вооружённую массу, не сумели поставить перед ней стратегические цели. «Улица сама нас организует», — утверждал анархист Блейхман. Предполагалось, что достаточно крупной демонстрации силы, чтобы правительство неизбежно рухнуло, а подробности устройства власти потом как-нибудь решатся сами. Так ведь было в феврале.[34]

Основная масса направилась к Таврическому дворцу, как и в Февральские дни. По дороге некоторые вступали в перестрелки с лоялистами и правыми силами. В воздухе пахло гражданской войной. Особенно кровавые столкновения происходили у здания городской думы на Невском проспекте. Большевик Луначарский с ужасом наблюдал за происходящим изнутри. «Движение развивалось стихийно, — писал он жене на следующий день. — Черносотенцы, хулиганы, провокаторы, анархисты и отчаявшиеся люди внесли в демонстрацию огромное количество хаоса и нелепости».

К раннему вечеру перед Таврическим дворцом собралась сплошная людская масса. Руководители Совета заседали, обсуждая, не создать ли социалистическое правительство после распада коалиции; толпа, несомненно, надеялась заставить их взять власть. «Вся власть Советам!» — ревела улица. Рупором её требований стала Рабочая секция Совета. В тот день её фактически захватили большевики: хотя они всё ещё составляли там меньшинство, на поспешно созванное чрезвычайное заседание они явились организованной массой и — предвосхищая Октябрь — спровоцировали меньшевиков и эсеров на уход, после чего приняли резолюцию о власти Советов. Была избрана Особая комиссия, чтобы политически организовать толпу снаружи. Но она оказалась совершенно бессильной: Суханов, проведший Июльские дни в

Таврическом дворце, не смог вспомнить ни одного её действия. Улица фактически оставалась без рычага давления на Совет.

Разъярённые демонстранты требовали арестовать советских лидеров, которые «сдались помещикам и буржуазии!». Делегация 1-го пулемётного полка заявила Чхеидзе, что встревожена слухами о намерении Исполкома снова вступить в коалицию с «реакционными капиталистами» и «не потерпит такой политики», потому что солдаты «уже достаточно натерпелись». Несколько человек вошли в Екатерининский зал и наблюдали за дебатами. Но никому не пришло в голову арестовать совершенно беззащитных руководителей Совета. Не было человека, который приказал бы солдатам это сделать.[35]

С наступлением темноты толпа начала расходиться. Казалось, восстание заканчивается. Ходили слухи, будто Временное правительство уже арестовано. Ничего подобного не произошло. Остатки кабинета заседали в квартире князя Львова. Около десяти вечера группа вооружённых рабочих и солдат ворвалась в вестибюль и заявила швейцару, что пришла арестовать министров. Позвали Церетели вести переговоры, но пока он добирался до входа, повстанцы потеряли храбрость, убежали и заодно угнали его автомобиль.[36]

Именно в этот момент Центральный комитет большевиков собрался в особняке Кшесинской, чтобы определить отношение к восстанию. До сих пор он призывал к сдержанности, опасаясь поставить всё на карту в преждевременном путче, но теперь движение, казалось, уже невозможно было остановить. Рабочие и солдаты фактически овладели городом; кронштадтские матросы направлялись в столицу; подавляющее большинство рядовых петроградских большевиков присоединялось к выступлению, оставляя Центральный комитет в стороне. Незадолго до полуночи было решено призвать к продолжению демонстраций на следующий день. Первую полосу «Правды», где должна была выйти статья Каменева и Зиновьева с призывом к сдержанности, пришлось менять в последнюю минуту; утром газета вышла с большим пустым пятном. Поспешно напечатали листовки, призывавшие к «организованным» демонстрациям и к «новой власти» на основе Совета. Тем временем посланец Центрального комитета на автомобиле помчался в Финляндию за Лениным.[37]

Точные намерения большевистских вождей с тех пор остаются предметом ожесточённых споров. Одни историки утверждали, что большевики планировали вооружённое свержение Временного правительства. Ричард Пайпс, например, считает, что июльские события с самого начала были организованы большевистским руководством как «захват власти»; лишь когда позорный провал путча стал очевиден, большевики попытались скрыть намерения, изображая восстание «стихийной демонстрацией, которую они старались направить в мирное русло». Последняя версия — о «стихийной демонстрации» — была стандартной советской трактовкой. Её поддержал американский исследователь Александр Рабинович в классическом труде об Июльских днях. По Рабиновичу, Центральный комитет присоединился к выступлению только под давлением рядовых и никогда не намеревался превращать его во что-либо большее, чем демонстрацию силы, призванную заставить Совет взять власть.[38]

Единственное действительно существенное свидетельство в пользу версии о «неудавшемся путче» содержится в мемуарах Суханова, написанных в 1920 году. Он утверждал, что 7 июля Луначарский рассказал ему: в ночь с 3 на 4 июля

> Ленин определённо планировал государственный переворот. Правительство, которое фактически находилось бы в руках большевистского Центрального комитета, официально должно было воплотиться в «советском» кабинете, составленном из известных и популярных большевиков. На тот момент были намечены три министра: Ленин, Троцкий и Луначарский… Сам переворот должен был происходить так: 176-й полк… из Красного Села[75] должен был арестовать [советский] Исполком, а примерно в это же время Ленин должен был прибыть на место и провозгласить новое правительство.

Сам Суханов первым признавал, что против этой версии говорят «некоторые элементарные факты» — прежде всего то, что 4 июля большевики не довели захват власти до конца, хотя возможностей у них было предостаточно. Судя по имеющимся свидетельствам, у Центрального комитета вообще не существовало ясного плана. В большей степени, чем признают историки, события 4 июля отличались почти полным хаосом. Большевистские лидеры импровизировали на

[75] Бывшее Царское Село.

ходу. Массовый выход 3 июля застал их врасплох, причём сам вождь отдыхал в Финляндии. Они колебались между двумя вариантами: попытаться превратить демонстрацию в свержение Временного правительства или ограничить её политическим давлением на руководителей Совета, чтобы те сами взяли власть. Когда Ленин вернулся глубокой ночью, большевики требовали от него ответа. По словам Калинина, ленинская тактика заключалась в том, чтобы «подождать и посмотреть, что произойдёт», сохраняя возможность «бросить полки в бой, если соотношение сил окажется благоприятным». Возможно, так и было. Но сам Ленин оказался совершенно неспособен решить, наступил ли такой момент. Зиновьев, проведший рядом с ним весь день 4 июля, вспоминал Ленина, парализованного нерешительностью: он всё спрашивал себя, настало ли время «попробовать взять власть».[39]

Во все критические часы восстания большевистское руководство продолжало сидеть на двух стульях, ожидая развития событий. Но организованная часть толпы, выведенная местными большевистскими организациями, не собиралась сама захватывать власть без прямого приказа сверху. Именно эта растерянность сделала демонстрации столь плохо организованным подобием путча и в конечном счёте привела к провалу.

Вторник, 4 июля, начался зловещей тишиной. Над городом низко висели тяжёлые грозовые тучи, Нева была тёмной и угрюмой. Магазины закрылись, улицы опустели — верный признак того, что в рабочих кварталах назревают беспорядки. К середине утра центр города вновь заполнили рабочие и солдаты. Тем временем у Николаевского моста причаливала пёстрая флотилия буксиров, траулеров, барж и канонерок Кронштадтской военно-морской базы. С них высадились двадцать тысяч матросов, вооружённых до зубов винтовками и револьверами, со своими медицинскими командами и несколькими оркестрами. Если большевики действительно собирались брать власть, это было их главное оружие. Матросы жаждали схватки с Временным правительством. Ещё с февраля они пытались создать в Кронштадте собственную полу-анархистскую разновидность советской власти. Их большевистский лидер Раскольников говорил, что они прибыли в Петроград готовыми «в любую минуту превратить демонстрацию в

вооружённое восстание». Однако у матросов явно не было стратегического плана — лишь смутное представление о том, что делать после высадки. Бернард Пэрс, наблюдавший сцену, полагал, что многие приехали просто развлечься и прогуляться по улицам со своими девушками, которых в Июльские дни было особенно много: «Матросов с легко одетыми дамами на высоких каблуках видели повсюду».[40]

Ища руководства, кронштадтцы двинулись к большевистскому штабу. Под звуки «Интернационала» они вооружёнными колоннами прошли по Университетской набережной, мимо Биржи, через Александровский парк и собрались перед особняком Кшесинской, ожидая, что Ленин даст им указания с балкона. Но Ленин не знал, куда их вести. Достаточно было одного приказа — и матросы сразу двинулись бы к Таврическому дворцу, арестовали бы руководителей Совета, схватили министров и провозгласили советскую власть. Однако Ленин необычно колебался, говорить не хотел и, когда его наконец уговорили выйти на балкон, произнёс двусмысленную речь продолжительностью не более нескольких секунд. Он выразил уверенность в грядущей власти Советов, но не дал матросам никаких указаний, как её установить. Он даже не сказал ясно, желает ли продолжения демонстрации, и, по свидетельству находившихся рядом, сам этого не знал.[41]

Это было последнее публичное выступление Ленина до октябрьского захвата власти. Момент весьма показательный — один из редких за всю его карьеру, когда перед ним стояла задача вести реальную революционную толпу. Другие большевистские лидеры умели обращаться с массой гораздо лучше. Ленин же в основном выступал на партийных съездах и собраниях. По словам Крупской, необходимость говорить перед огромной толпой делала его очень нервным.[42] Возможно, в эту решающую минуту, оказавшись лицом к лицу с сырой энергией улицы, Ленин просто потерял самообладание. Да и что он мог сказать? Он, несомненно, понимал: даже если большевики захватят Петроград, вся остальная Россия будет против них. Но как бы то ни было, его решающее колебание предопределило судьбу июльского восстания.

Разочарованные отсутствием ясного сигнала начать мятеж, кронштадтцы двинулись к Таврическому дворцу, где уже собирались

тысячи вооружённых рабочих и солдат. На Невском проспекте они слились с огромной колонной путиловцев — возможно, до двадцати тысяч человек. Представители среднего класса, прогуливавшиеся по Невскому, с ужасом смотрели на плотные серые ряды. Внезапно, когда колонна свернула на Литейный, с крыш и из верхних окон казаки и юнкера открыли огонь. Демонстранты в панике бросились в разные стороны. Некоторые стреляли в ответ наугад, не понимая, где скрываются снайперы. Десятки их товарищей были убиты или ранены собственными случайными пулями. Остальные бросали винтовки и знамёна и начали ломать двери и окна домов. Когда стрельба прекратилась, руководители попытались восстановить порядок, вновь построив колонны и заставив военные оркестры играть бодрый марш. Но равновесие толпы уже было нарушено. По мере приближения к Таврическому дворцу через богатые жилые кварталы колонны распадались в буйную массу, стрелявшую по окнам, избивавшую хорошо одетых прохожих, грабившую магазины и квартиры. К четырём часам сотни людей были убиты или ранены; кое-где лежали мёртвые лошади; улицы были усеяны винтовками, шляпами, зонтиками и знамёнами. Горький, ставший свидетелем этих страшных сцен, с отвращением писал Екатерине:

> Хуже всего была толпа — обыватель, «рабочий» и солдат, который на деле не более чем зверь, трусливый и безмозглый, без капли самоуважения, не понимающий, зачем он вышел на улицу, для чего он нужен, кто его ведёт и куда. Целые роты солдат, как только началась стрельба, бросали винтовки и знамёна и били витрины и двери магазинов. Это ли революционная армия свободного народа? Ясно, что толпа на улицах совершенно не понимала, что делает, — это был сплошной кошмар. Никто не знал ни целей восстания, ни его вождей. Да были ли вообще вожди? Сомневаюсь. Троцкий, Луначарский и tutti grandi что-то там болтали, но всё тонуло в настроении толпы.[43]

Когда Таврический дворец окружали 50 000 вооружённых и озлобленных людей, ничто не мешало большевистскому перевороту. В распоряжении В. С. Войтинского, которому поручили оборону дворца, было всего восемнадцать солдат Павловского полка. Солдат не хватало даже на посты у входов в здание, так что Войтинский прибегнул к хитрости, расставив всех своих людей у огромных французских окон, тянувшихся по фасаду дворца, чтобы создать видимость надёжной

охраны. Руководителям Совета, обсуждавшим внутри дворца вопрос о власти, казалось «совершенно очевидным», что их вот-вот возьмут штурмом. «В любую минуту, — вспоминал меньшевик Богданов, — вооружённая толпа могла ворваться, разгромить Таврический дворец и арестовать или расстрелять нас, если бы мы отказались взять власть в свои руки».[44] Временное правительство, или то, что от него осталось, было столь же беззащитно. Утром министры укрылись в здании Главного штаба напротив Зимнего дворца. Кроме нескольких десятков казаков, не было никаких сил, готовых их защищать. Керенский уехал на фронт, покинув Варшавский вокзал всего за несколько минут до того, как туда прибыли преследовавшие его большевики. Мариинский дворец, резиденция правительственной власти, стоял открытым — бери не хочу. Стратегические пункты города — арсеналы, телефонная станция, склады снабжения и вокзалы — никто не охранял. Одного приказа Ленина было бы достаточно, чтобы повстанцы без труда захватили их в качестве первого шага к взятию власти.

Но этого приказа не последовало, и толпа перед Таврическим дворцом, не вполне понимая, что ей делать, вскоре утратила всякую организованность. Распаду восстания содействовала и рука Божья в виде погоды. В пять часов вечера тучи наконец разразились проливным ливнем. Большая часть толпы бросилась искать укрытия и уже не вернулась. Но буйные элементы остались. Быть может, оттого, что промокли под дождём, они потеряли самообладание и начали беспорядочно стрелять по Таврическому дворцу. Остальная толпа с криками в панике бросилась врассыпную; десятки людей были задавлены. Несколько матросов начали проникать во дворец, влезая в открытые окна. Они требовали, чтобы министры-социалисты вышли и объяснили, почему не хотят брать власть. Успокоить толпу послали Чернова. Но едва он появился на ступенях, как матросы встретили его гневными криками. Толпа ринулась вперёд и схватила его, обыскивая, нет ли при нём оружия. Один рабочий, подняв кулак, злобно крикнул ему: «Бери власть, сукин сын, коли дают!» Несколько вооружённых людей затолкали вождя эсеров в открытый автомобиль. Они объявили его арестованным и сказали, что не отпустят, пока Совет не возьмёт власть. Чернов превзошёл своего старого соперника Керенского: теперь он был настоящим «заложником демократии».

Группа рабочих ворвалась в Екатерининский зал и прервала заседание: «Товарищ Чернов арестован толпой! Его сейчас растерзают! На помощь! Все на улицу!» Чхеидзе предложил послать на выручку министра Каменева, Мартова и Троцкого. Но первым на месте оказался Троцкий. Пробившись сквозь кричащую толпу, он направился прямо к автомобилю, где на заднем сиденье под арестом сидел без шляпы, растрёпанный и перепуганный Чернов, и взобрался на капот. Кронштадтцы все знали фигуру Троцкого и ждали его указаний. Если бы большевики планировали захват власти, это, несомненно, был тот самый момент, чтобы двинуть матросов на штурм Таврического, арестовать руководителей Совета и провозгласить социалистическое правительство. Стоявший рядом с Троцким Раскольников спросил тех, кто захватил Чернова, куда они собираются везти заложника. «Не знаем, — ответили они. — Куда хотите, товарищ Раскольников. Он в вашем распоряжении». Но Троцкий потребовал освободить Чернова.

«Товарищи кронштадтцы, гордость и слава русской революции! — начал он своим ясным металлическим голосом. — Вы пришли заявить свою волю и показать Совету, что рабочий класс больше не желает видеть буржуазию у власти. Но зачем вредить собственному делу мелкими насилиями над случайными отдельными людьми? Отдельные личности недостойны вашего внимания». Матросы сердито кричали Троцкому: они не понимали, почему Чернова надо отпустить, если смысл их похода — свергнуть правительство. Но, не зная, что делать самостоятельно, угрюмо согласились. «Гражданин Чернов, вы свободны», — объявил Троцкий, открыл дверцу и жестом велел ему выходить. Чернов был полумёртв и явно не понимал, что происходит. Его пришлось поддерживать, словно немощного старика, пока вели обратно в Таврический дворец.[45] Так миновал критический момент — один из самых знаменитых в истории революции, а вместе с ним ушла и инициатива для захвата власти.

По рассказу Суханова о разговоре с Луначарским, ключевая роль в большевистском «плане» переворота предназначалась 176-му полку из Красного Села. Он должен был прибыть к Таврическому дворцу и арестовать руководителей Совета. Около шести часов полк наконец появился под звуки оркестра. Солдаты были усталые, промокшие под дождём; с ранцами и шинелями на плечах, с гремящими котелками и

походной посудой они устроились во дворе, начали раскладывать мокрые вещи и приводить в порядок винтовки. Они понятия не имели, что должны делать, и знали только, что их вызвали «защищать революцию». Но где были руководители? Офицер и шесть солдат поднялись по ступеням и попросили увидеть кого-нибудь из Совета. К ним вышел меньшевик Дан. Он не знал, что это за полк и зачем он пришёл, но быстро нашёл ему применение. «Мятежных» солдат расставили часовыми по зданию — охранять руководителей Совета от мятежа.[46] Они пришли демонстрировать против советских лидеров, а кончили тем, что защищали их от демонстрантов. Такое бывает в революции, когда толпа не знает собственных вождей.

С этого момента восстание фактически закончилось. Самостоятельно толпа была неспособна добиться политической перемены. Руководители Совета, обсуждавшие вопрос о взятии власти, тем более не хотели, чтобы уличная масса заставила их сделать это. «Решение революционной демократии не может диктоваться штыками», — заявил Церетели.[47] После того как Совет решил власть не брать, толпа уже ничего не могла сделать. Она не знала, как заставить советских лидеров изменить решение или как совершить советскую революцию без них. Если сами руководители Совета отказывались брать власть, каким образом можно было осуществить лозунг «Вся власть Советам»?

Последний эпизод этого дня символически показал бессилие толпы. Около семи вечера группа вооружённых и разгневанных рабочих Путиловского завода ворвалась в Екатерининский зал. Депутаты вскочили; некоторые в панике бросились на пол. Один рабочий — «классический санкюлот» в синей фабричной блузе и кепке — вскочил на трибуну и, потрясая винтовкой, бессвязно закричал:

> Товарищи! Доколе мы, рабочие, будем терпеть предательство? Вы здесь всё обсуждаете и договариваетесь с буржуазией и помещиками… Вы предаёте рабочий класс. Так вот поймите: рабочий класс этого больше не потерпит! Нас здесь от Путиловского завода всего тридцать тысяч. Мы добьёмся своего. Вся власть Советам! Винтовки у нас крепко в руках! Ваши Керенские и Церетели нас не обманут!

Рядом с истеричным рабочим сидел председатель Совета Чхеидзе. Он спокойно наклонился и вложил ему в руку лист бумаги. Это был

манифест, отпечатанный накануне вечером: демонстрантам предписывалось разойтись по домам, иначе их объявят предателями революции. «Вот, пожалуйста, возьмите, товарищ, — властно сказал Чхеидзе. — Здесь написано, что вам и вашим товарищам-путиловцам следует делать. Прочтите внимательно и не мешайте нам работать».[48] Растерявшийся рабочий, не понимая, что предпринять, взял листок и вместе с остальными путиловцами вышел из зала. Он наверняка кипел от злобы и унижения, но сопротивляться не смог — не потому, что у него не было оружия, а потому, что не хватало воли. Века крепостничества и покорности не подготовили его к противостоянию политическим хозяевам — и в этом заключалась трагедия русского народа в целом. Это одна из самых ярких сцен всей революции — редкий исторический миг, когда скрытые отношения власти внезапно проступают на поверхности событий и становится понятнее общий ход развития.

С наступлением темноты толпы разошлись. Большинство, мокрые и подавленные, вернулись в рабочие кварталы и казармы. Кронштадтские матросы бродили по городу, не зная, куда идти. Всю ночь в богатых жилых кварталах звенели разбитые окна, звучали отдельные выстрелы и крики: последние участники провалившегося восстания вымещали ярость в грабежах и насилии над «буржуями». Военный штаб Петрограда был завален звонками перепуганных лавочников, банкиров и домохозяек. В последнем отчаянном акте неповиновения две тысячи кронштадтцев захватили Петропавловскую крепость. Что делать с ней, они не знали: просто символ старого режима, который показалось уместным захватить как последнего заложника восстания. Матросы переночевали в пустых тюремных камерах, а на следующий день согласились уйти при условии, что смогут самостоятельно вернуться в Кронштадт и сохранить оружие.[49]

К этому времени к Таврическому дворцу уже стекались лояльные части. Первым вечером 4 июля прибыл Измайловский полк; его оркестр громогласно играл «Марсельезу», словно отвечая на «Интернационал» кронштадтцев. Услышав приближающуюся музыку, руководители Совета со слезами облегчения обнялись: осада дворца наконец закончилась. Взявшись за руки, они сами запели возбуждающий припев

«Aux armes, citoyens!». «Классическая сцена начала контрреволюции», — сердито пробормотал Мартов.[50]

* * *

Как и большинство верных правительству войск, Измайловский полк повернулся против большевиков после листовок, выпущенных тем вечером министром юстиции Переверзевым и обвинявших их в работе на Германию. На следующий день, 5 июля, правая пресса была полна так называемых «доказательств». Значительная часть основывалась на сомнительных показаниях поручика Ермоленко, утверждавшего, что в германском плену немцы якобы сообщили ему: Ленин работает на них. Нет сомнений, что Германия финансировала большевистскую партию — Временное правительство знало об этом с апреля. Но это не доказывало утверждение Переверзева, которое и сегодня повторяют некоторые историки, будто большевики были германскими агентами. Во-первых, реальный объём германских денег, судя по финансовым трудностям партии летом, не был особенно велик; во-вторых, нет доказательств, что большевики строили свою политику в интересах Берлина. Но своевременно опубликованные обвинения произвели взрывной эффект и настроили многих солдат против большевиков. По приказу Переверзева большой отряд юнкеров на рассвете 5 июля разгромил редакцию «Правды». Ленина они не застали всего на несколько минут: он успел отправиться в первое из своих дооктябрьских убежищ — квартиру рабочего-большевика Сергея Аллилуева.[76]51

О готовящихся обвинениях в измене Ленину заранее сообщил тайный источник в Министерстве юстиции. Пытаясь смягчить неизбежную ксенофобскую реакцию, он на последней полосе «Правды» призвал прекратить демонстрации. Но было поздно. Утром 5 июля столицу охватила антибольшевистская истерия. Правые бульварные газеты требовали крови большевиков и немедленно обвинили «германских агентов» в неудачах на фронте. Казалось само собой разумеющимся, что восстание специально приурочено к германскому наступлению. Генерал Половцов, отвечавший за репрессии как начальник Петроградского военного округа, позднее признавал, что

[76] Его дочь Надежда позднее выйдет замуж за Сталина.

травля большевиков приобрела «сильный антисемитский оттенок»; но, в традиционной для русских его класса манере оправдывать погромы, возлагал вину «на самих евреев, потому что среди большевистских руководителей их процент был близок к ста. Солдат начинало раздражать, что всем распоряжаются евреи, и замечания, которые я слышал в казармах, совершенно ясно показывали, что солдаты об этом думают».[52]

Рано утром 6 июля крупная группировка верных правительству войск, с восемью броневиками и несколькими батареями тяжёлой артиллерии, двинулась освобождать особняк Кшесинской. В атмосфере антибольшевистской истерии правая печать особенно возмущалась мыслью, что немытые рабочие и солдаты роются в бархате и шёлке будуара Кшесинской.

При возвращении бывшего особняка балерины не было сделано ни одного выстрела. Пятьсот большевиков, остававшихся внутри, сдались без сопротивления, несмотря на большие запасы оружия. Большевистские лидеры были слишком заняты сжиганием партийных архивов, чтобы организовать оборону.[53]

Позднее в тот же день Переверзев приказал арестовать Ленина и ещё одиннадцать большевистских руководителей. Всем предъявили обвинение в государственной измене. Большинство осталось на виду, рискуя арестом, а некоторые даже добровольно явились к властям. Ленин же ушёл в подполье — сначала скрывался на конспиративных квартирах в столице, затем 9 июля вместе с Зиновьевым через сельскую местность отправился в Финляндию. Он сбрил бороду и для маскировки надел рабочую блузу и кепку. В следующие дни войска обыскали десятки домов в Петрограде. Обыскали даже квартиру Горького. Всего было заключено около восьмисот большевиков, среди них Каменев, Луначарский, Коллонтай и Троцкий — последний ещё не состоял в партии, хотя уже заявил о своей солидарности с ней.[54] Камеры Петропавловской крепости, пустовавшие с Февральской революции, снова стали заполняться «политическими».

Пробираясь в северную глушь, Ленин, вероятно, думал, что большевистскому делу пришёл конец. Перед отъездом он передал Каменеву рукопись будущей книги «Государство и революция» с указанием опубликовать её, если его убьют. Ленин вообще был склонен

преувеличивать физическую опасность для себя и в этом отношении оставался человеком довольно трусливым. Нельзя сказать, что в то лето его жизнь хоть раз действительно находилась под непосредственной угрозой: какое-то время он даже жил у начальника полиции Гельсингфорса, который оказался сочувствующим большевикам. После смерти Ленина, в эпоху его культа, возникли фантастические рассказы о личном мужестве вождя во время бесчисленных чудесных спасений от полиции. Ни один из них не был правдой.

Зато один подлинный эпизод того лета, едва ли свидетельствующий о храбрости Ленина, произошёл в деревне под Сестрорецком на Финском заливе, где он и Зиновьев несколько недель спали на сеновале у партийного работника. Однажды они увидели двух приближавшихся вооружённых мужчин и решили, что это полиция пришла их арестовать. Два вождя мировой революции нырнули в стог сена. «Теперь остаётся одно, — прошептал Ленин Зиновьеву, — умереть достойной смертью». Незнакомцы спокойно прошли мимо: оказалось, они шли охотиться на уток.[55]

Впрочем, при той бешеной антибольшевистской атмосфере понятно, почему Ленин так опасался за личную безопасность. Это было время самосудов, а бульварные газеты печатали карикатуры, где он висел на эшафоте. Некоторые большевистские лидеры, прежде всего Каменев, убеждали Ленина сдаться и предстать перед судом. Они считали, что он сможет использовать процесс для опровержения обвинений в измене и разоблачения властей. Побег за границу, предупреждали они, заставит рабочих думать, будто ему действительно есть что скрывать. Кроме того, существовала давняя социалистическая традиция превращать скамью подсудимых в политическую трибуну: Троцкий блестяще сделал это в 1906 году, а родной брат Ленина — на процессе 1887 года.

Но Ленин не был человеком, готовым сыграть роль революционного мученика: его собственная жизнь казалась ему слишком важной. С его точки зрения, о справедливом суде не могло быть и речи — это была лишь «конституционная иллюзия», поскольку законность уже отменена, а государством овладела «контрреволюция». «Речь идёт не о “суде”, а об эпизоде гражданской войны». За этой позицией стоял фундаментальный сдвиг в ленинском мышлении, имевший большие

последствия. После Апрельских тезисов он ещё соглашался, что партийная работа должна опираться на мирные, политические средства. После Июльских дней, когда, по его мнению, государство оказалось в руках «военной диктатуры», Ленин всё больше склонялся к вооружённому восстанию для захвата власти.[56] Отказ явиться в суд стал, по существу, его собственной декларацией гражданской войны.

Руководители Совета не меньше боялись правого реванша. Осуждая июльское восстание и роль большевиков в нём, они одновременно склонялись защищать их от правительственных репрессий. Горький выразил двойственное отношение революционной интеллигенции в письме Екатерине от 10 июля:

> Из газет ты знаешь о безобразиях, которые здесь произошли. Мне чрезвычайно трудно выразить непосредственное впечатление. То, что случилось и происходит теперь, отвратительно глупо, трусливо и хамски. Но неверно полагать, будто во всём виноваты «большевики» и так называемые германские агенты, которые, несомненно, никакого участия в событиях не принимали. Виноваты кадеты, разжигающие смуту, обычные обыватели и вообще вся петербургская масса. Я не собираюсь защищать «большевиков» — они и сами понимают, что их действия ничем не оправдать… Большевизм чувств, игравший на тёмных инстинктах масс, смертельно ранил сам себя — и это хорошо. Но Демократия, Англия, Франция и Германия могут воспринять разгром большевиков как поражение всей Революции — а это ужасно, потому что ослабит революционное настроение на Западе и бесконечно продлит войну… Боюсь, что Ленин пришёл к неприятному концу. Сам он, конечно, не так уж плох, но ближайшие его товарищи, кажется, настоящие мошенники и негодяи. Их всех арестовали. Теперь буржуазная пресса взялась за «Новую жизнь» и, вероятно, добьётся её закрытия. А затем начнётся кампания против тебя и твоих эсеров. Контрреволюция уже не праздное намерение, а факт. Во главе её стоят кадеты — люди, привыкшие к интригам и не стесняющиеся подобных средств борьбы.[57]

Исполком Совета протестовал против ареста большевистских лидеров и объявил обвинения в измене черносотенной клеветой, рассчитанной на раскол революционной демократии. Старые традиции социалистического товарищества — «слева врагов нет!» — умирали трудно. Большинство советских лидеров продолжало считать большевиков «товарищами». Они соглашались, что охота на ведьм

против большевиков может вызвать правую реакцию против социалистов вообще. Как писала «Новая жизнь»: «Сегодня обвиняют большевиков; завтра подозрение падёт на Совет; затем объявят Священную войну Революции».[58] Особенно решительно против правительственных репрессий выступали левые меньшевики, многие из которых всё ещё надеялись на воссоединение с большевиками. Во многом благодаря их усилиям публичный процесс и комиссия по расследованию обвинений в измене постепенно выдохлись и закончились ничем.

Именно это, пожалуй, больше всего и обеспечило выживание большевиков. Нежелание советских лидеров окончательно порвать с ними привело к тому, что был упущен лучший шанс раз и навсегда устранить ленинскую угрозу. Через двенадцать месяцев многие из этих же руководителей Совета, сидя уже в большевистских тюрьмах, будут об этом сожалеть.

Замыкая ряды вместе с большевиками, советские лидеры, несомненно, преувеличили угрозу «контрреволюции». Как и в феврале, они смотрели на реальность через искажающую призму истории: тени 1849 и 1906 годов заслоняли происходящее перед глазами. Отчасти тот же страх перед контрреволюцией снова, как в феврале, помешал им самим взять власть. И это тоже оказалось роковой ошибкой, потому что только советское правительство могло заполнить вакуум, оставшийся после распада коалиции. Возможно, оно и не принесло бы мира, хлеба и земли; возможно, не остановило бы спираль хаоса и насилия. Но по крайней мере лишило бы большевиков возможности собирать массовую поддержку под лозунгом «Вся власть Советам!». В Июльские дни улица буквально умоляла руководителей Совета взять власть. Те спокойно отмахивались, видя в этом одну большевистскую демагогию. Им не приходило в голову, что подобные требования могут выражать желание всей остальной демократии. В конце концов, разве не они, самоназначенные лидеры демократии, должны были решать, чего она хочет?

«Я был в провинции и на фронте, — уверял депутатов Совета Церетели 4 июля, — и заявляю, что авторитет Временного правительства в стране чрезвычайно велик».[59] Жёсткая партийная догма внушала меньшевикам и эсерам, что социалистическое правительство

невозможно, поскольку «буржуазный этап революции» ещё не завершён. Эта высшая логика заставляла теоретиков делать вывод: новую коалицию необходимо сколотить любой ценой; если кадеты и дальше откажутся войти, надо искать блок с другими буржуазными группами. «Коалиция умерла! Да здравствует коалиция!»

Восстановление коалиции стало неизбежным после назначения Керенского новым премьер-министром. 6 июля он вернулся в столицу и по собственному настоянию был встречен пышным почётным караулом: казаки и кавалерия выстроились вдоль улиц от Варшавского вокзала. Предполагалось устроить триумфальный въезд национального героя — человека, который, как утверждали, спас страну от большевистской угрозы, подняв на фронте верные войска. На следующий день князь Львов подал в отставку и назвал Керенского своим преемником. Для Львова это стало большим облегчением. Ещё 3 июля, когда писал родителям, он уже решил уйти. Политика измучила его — бремя власти посеребрило волосы, — а проводить репрессии, которых требовали после Июльских дней, у него не хватало сердца. «Единственный способ теперь спасти страну, — говорил Львов старому другу Т. И. Польнеру 9 июля, — закрыть Совет и стрелять в народ. Я этого сделать не могу. А Керенский может». До самого конца мягкий князь не мог заставить себя применить насилие к «народу». Его пожизненная вера в «доброту и мудрость» людей, сколь бы ошибочной она теперь ни казалась, не позволяла поступить иначе. Через четыре дня он покинул столицу и удалился в монастырь.[60]

Керенского приветствовали как человека, способного вновь объединить страну и остановить сползание к гражданской войне. Он был единственным крупным политиком, имевшим реальную массовую поддержку и одновременно в целом приемлемым для армейского командования и буржуазии. Церетели, несомненно, был главным лидером Совета — и именно поэтому не подходил. Для восстановления коалиции требовалось оторвать её от программы Совета, иначе кадеты не вошли бы. Керенский идеально подходил на роль связующего звена: как участник и Совета, и думских кругов, создавших Временное правительство, он был живым мостом между социалистическим и либеральным лагерями. Судьба России теперь словно зависела от одного молодого человека. Уже это было трагично: ноша была явно

слишком тяжёлой для человека столь молодого и с довольно скромными способностями.

Керенский всегда любил видеть себя «национальным вождём», стоящим между правыми и левыми, и возвышение лишь усилило тщеславие. Он сознательно создавал образ человека судьбы, которого «народ» призвал «спасти Россию». Наступил разгар культа Керенского. Его помогали создавать друзья из петроградской литературной интеллигенции — Мережковские, Философов, Станиславский и Немирович-Данченко,[77] — превозносившие молодого премьера как «идеального гражданина» и «воплощение русской Свободы».[61] Успех и поклонение окончательно вскружили ему голову. Он расхаживал с комическим чувством собственной значительности, выпячивал тщедушную грудь и принимал позы Бонапарта. Канцелярии перевели в Зимний дворец, где он занял роскошные апартаменты Александра III. Керенский спал на огромной царской кровати и фотографировался за гигантским письменным столом, похожим по размерам на бассейн; снимки распространялись в виде рекламных открыток. Любимый бильярд Николая II, уже упакованный для отправки в Тобольск, Керенский оставил себе для развлечения. Он сохранил прежнюю дворцовую прислугу и несколько раз в день менял караул перед своими комнатами. Когда он приезжал или уезжал, красный флаг на крыше дворца поднимали и опускали — почти как когда-то царский штандарт. И этот человек называл себя «заложником демократии»?

Трёхнедельное междуцарствие между падением первой коалиции и формированием второй действительно стало временем разрыва Керенского с советским движением. Как главный посредник на партийных переговорах, он был готов пожертвовать большинством базовых требований Совета, закреплённых даже в правительственной декларации 8 июля, лишь бы убедить кадетов вернуться в коалицию. По настоянию кадетов он издал указы с жёсткими ограничениями

[77] Дмитрий Мережковский (1865–1941) — поэт, литературный и религиозный философ; Зинаида Гиппиус (1869–1945) — писательница и эссеистка, жена Мережковского; Дмитрий Философов (1872–1940) — литературный критик, живший вместе с Мережковскими; Константин Станиславский (1863–1938) — основатель, совместно с Владимиром Немировичем-Данченко (1858–1943), Московского Художественного театра.

публичных собраний, восстановил смертную казнь на фронте и согласился ограничить влияние солдатских комитетов.

Программа второй коалиции, окончательно сформированной 25 июля, уже не основывалась на принципах Совета, как было договорено в феврале. Девять министров-социалистов, хотя и составляли большинство кабинета, вошли в него как частные лица, а не представители Совета, и тем самым, по крайней мере формально, были обязаны признать исключительный авторитет Временного правительства. Все социалистические министры, кроме Чернова, принадлежали к правым крыльям своих партий и стояли гораздо ближе к либеральным думским кругам, чем к самому советскому движению. Церетели, как бесспорный лидер Совета, не мог примириться с таким сокращением его влияния и был вынужден отойти в сторону. Уже больной туберкулёзом, он фактически ушёл в полупенсию. Его отставка символизировала закат Совета. 18 июля, в тот самый день, когда правительство Керенского перебралось в Зимний дворец, Совет выселили из Таврического дворца и перевели в Смольный институт — училище для дочерей дворян на окраине столицы. Это было одновременно символом упадка Совета и возвышения правительства Керенского, которое, подобно царским предшественникам, теперь стояло над народом и отдельно от него.

iii. Человек на белом коне

Широко считалось, что в жестокой гибели Линде виноват его собственный наивный идеализм. По прибытии на фронт молодого комиссара предупреждали, что дезертиры чрезвычайно опасны. Несколько недель они жили как бандиты, терроризируя окрестности Луцка, и все, кто их знал, соглашались: разумнее всего направить против мятежного лагеря казаков. Генерал Краснов подтянул из резерва пятьсот кавалеристов. Хотя дезертиров было почти в десять раз больше, он был уверен, что одного внушительного вида казаков хватит, чтобы заставить их сложить оружие. Но Линде свято верил в силу революционного слова. Казаки, настаивал он, — пережиток царского прошлого и в принципе не должны использоваться против «самой свободной армии в мире». «Вот увидите, генерал, я заставлю их образумиться. Надо уметь

разговаривать с солдатами. Всё дело в психологии».[62] Отговорить молодого комиссара от безумного замысла не удалось — он был опьянён верой в силу революционной воли, — и ему позволили отправиться в лагерь, чтобы убедить дезертиров вернуться в строй.

Самоуверенность уже не впервые заводила Линде слишком далеко. Вспыльчивый унтер-офицер дважды выводил солдат на улицы: в феврале — как герой революции, затем в апреле — против Милюкова, когда его осудили как «большевистского» авантюриста, пытавшегося устроить кровавый переворот. В наказание Совет отправил его комиссаром Особой армии Западного фронта: способность вести за собой солдат должна была теперь работать на командование в грядущем наступлении. Новое назначение нравилось Линде. Мысль о том, что можно убедить деморализованных солдат исполнить патриотический долг, прекрасно соответствовала его романтическому образу самого себя как революционного оратора. Он быстро стал почти легендарной фигурой благодаря смелым поездкам в самые большевизированные части фронта, где одной силой слова, казалось, возвращал войска к дисциплине. Линде был редкостью для 1917 года: русским революционером с чувством долга перед нацией и государством. В этом смысле — образцовым комиссаром. «Мало завоевать свободу, — говорил он другу по дороге в Луцк. — Демократию надо защищать, за неё надо сражаться». Поэтому он и настаивал на посещении лагеря: хотел убедить солдат в их патриотической обязанности защищать теперь уже свободную Россию.

Колонна автомобилей, грузовиков и конных казаков двигалась через пустую сельскую местность к лесу, где мятежники устроили вооружённый лагерь на поляне. Стоял солнечный августовский день; обычно поля были бы покрыты посевами, но после трёх лет военного запустения заросли сорняком. У опушки Линде оставил машины и один пошёл к лагерю; группа офицеров держалась на некотором расстоянии, а казаки объезжали лес, чтобы окружить стоянку. Солдаты двух мятежных полков — 443-го и 444-го 3-й пехотной дивизии — сидели и лежали возле палаток. Когда офицеры приблизились, лагерь зашевелился: люди поднялись с земли словно одно гигантское доисторическое животное и стали готовить винтовки. Линде различил две группы: большую, рыхлую и бесформенную, где находилась

основная масса, и значительно меньшую, плотную, по угрожающему виду которой он понял, что именно там собрано твёрдое ядро большевизированных солдат.

Вскочив на штабель брёвен, Линде обратился к большинству. Речь была страстной, полной демократического пафоса. «Я, который вывел солдат свергать царское правительство и дал вам свободу, равной которой нет ни у одного народа в мире, требую, чтобы вы выдали мне тех, кто уговаривал вас не исполнять приказы командиров». Над лесом в это время свистели германские снаряды, придавая его риторике дополнительный драматизм. Линде указал в сторону вражеских орудий и призвал солдат защищать Отечество. Но всё это они слышали уже много раз, а годы назойливой пропаганды сделали их циниками. Они слишком много видели на войне, чтобы верить красивым словам, особенно исходившим от этого мягколицего юноши в хорошо сшитой офицерской гимнастёрке, дорогих бриджах и кожаных сапогах, да ещё с иностранным акцентом.

Поняв, что слова не действуют, Линде начал кричать, называя солдат «ленивыми свиньями» и «мерзавцами», недостойными свободы. Дезертиры заволновались; несколько человек из большевистской группы стали перебивать. Они называли Линде германским шпионом и говорили, что его методы достойны старого режима. Генерал Краснов, наблюдавший издалека, понял, что вот-вот произойдёт страшное, и послал автомобиль, чтобы вывезти комиссара. Но Линде был захвачен собственной речью, опьянён героическим представлением о самом себе и отказался уходить. Солдаты двинулись на него — только тогда он попытался бежать. Было поздно. Крупный солдат из большевистской группы шагнул вперёд и ударил его прикладом в висок; второй выстрелом свалил на землю; затем на лежавшего комиссара с дикими криками набросилась толпа и стала колоть штыками. Краснов и другие офицеры, опасаясь за жизнь, начали отступать; солдаты, воодушевлённые убийством, бросились за ними по лесу, пока казаки пытались восстановить порядок. Полковника Гиршфельдта раздели догола, подвесили вниз головой к дереву, жестоко пытали, а затем толпа расстреляла его. Ещё двух офицеров убили прежде, чем колонна сумела вырваться из леса.

Тело Линде привезли в Петроград и похоронили как героя. Демократическая пресса представила «павшего борца за народное дело» ярким воплощением того патриотического революционного чувства, которого так не хватало русской армии. Линде был далеко не первым советским деятелем, убитым большевизированными солдатами. В предыдущие недели произошло несколько похожих убийств. Даже Соколов — известный лидер Совета и автор Приказа № 1, хартии солдатских прав, — был избит и захвачен в заложники толпой мятежных солдат, которых пытался уговорить вернуться в бой.

Но жестокая смерть Линде в самый разгар летнего кризиса получила особое значение. Она символизировала конец идеалистических надежд первых революционных месяцев — мечты о свободном государстве граждан, которых можно убедить исполнять гражданский долг перед Россией и революцией. Смерть Линде окончательно показала: время убеждений прошло. Русский народ оказался не готов к гражданству, и знаменитый упрёк Керенского, что свободная Россия рискует стать «государством взбунтовавшихся рабов», всё сильнее подтверждался нарастающим хаосом. Армия разваливалась и отступала. 21 августа немцы взяли Ригу, и Зинаида Гиппиус записала в дневнике, что «они могут взять Петроград в любую минуту». Империя распадалась: самопровозглашённые национальные правительства Финляндии и Украины объявляли всё большую самостоятельность, а газеты ежедневно приносили вести о воинственных рабочих забастовках, анархии на железных дорогах, нападениях крестьян на помещичьи усадьбы, преступности и беспорядках в городах. Всё больше людей делали из этого один вывод: Россией можно управлять только силой. Даже Церетели вынужден был признать, что летний кризис положил конец «розовой мечтательной юности» революции и открыл новый, «суровый период», когда для остановки анархии придётся применять принуждение.[63]

Имущие классы возглавили призывы к порядку. Их боевым кличем стало: «Отечество в опасности!» Охваченные страхом, они проигрывали огромные суммы, дёшево распродавали имущество и жили сегодняшним днём, будто наступило последнее лето русской цивилизации. Графиня Сперанская обнаружила в Киеве, что «вечеринки на реке, автомобильные пикники в загородные усадьбы, обеды и ужины

с цыганскими оркестрами и хорами, бридж и даже танго, покер и романы стали обычным делом». Похороны семи казаков, убитых большевиками во время Июльских дней, превратились для имущих классов в сцену патриотического излияния чувств. Сначала в Исаакиевском соборе отслужили певчую панихиду, затем по улицам столицы прошла торжественная процессия: каждый из семи гробов везла белая позолоченная карета, по сторонам ехали казаки в парадной форме и шли священники с кадилами. Это было не столько проявление демократической солидарности, сколько скорбный плач по старому режиму.

Атмосфера контрреволюции сгущалась. Газеты требовали повесить большевиков и закрыть Совет. Пока большевистские вожди скрывались, новым «германским шпионом» и главным пугалом правых стал Чернов. Черносотенные толпы избивали рабочих-большевиков. Респектабельные представители среднего класса стекались в разнообразные правые организации, обвинявшие в бедствиях России евреев и требовавшие возвращения царя — или любого другого диктатора, способного спасти страну от катастрофы.[64]

Как глава русской армии, а значит человек, на которого возлагали ответственность за провал наступления, Брусилов вскоре стал жертвой этого поворота вправо. В Ставке его никогда не любили: реакционные генералы подозрительно относились к демократическим симпатиям Брусилова, а теперь неудача наступления позволила усилить кампанию за его отставку. Всё громче требовали заменить его генералом Лавром Корниловым — известным сторонником возвращения традиционной военной дисциплины. Кадеты даже сделали это одним из главных условий вступления в правительство Керенского. Хотя именно новый премьер был автором политики, которую проводил Брусилов, он был вполне готов отказаться и от неё, и от самого генерала, если такова цена власти.

Брусилов почувствовал приближение увольнения, когда Керенский потребовал созвать 16 июля в Ставке совещание всех командующих фронтами. Он совершил ошибку, послав на могилёвский вокзал встречать Керенского только адъютанта: поезд пришёл раньше, а главнокомандующий всё ещё занимался стратегическими решениями на фронте. По протоколу Верховный главнокомандующий вовсе не обязан

был лично встречать военного министра. Но Керенский, уже державшийся как царь и привыкший ожидать от подчинённых царского почтения, пришёл в бешенство и послал адъютанта с приказом Брусилову немедленно явиться на вокзал. «Всё это было мелочно и смешно, — заметил Брусилов, — особенно в свете трагического положения на фронте, которое мы с начальником штаба в тот момент изучали». Но Керенский был тщеславен и одержим внешними атрибутами власти; последнего нарушения этикета оказалось достаточно, чтобы решить судьбу главнокомандующего. 18 июля Брусилова уволили. Оскорблённый очевидно политическими мотивами отставки, он уехал в Москву на давно заслуженный отдых к заболевшей жене.[65] В армию он вернулся лишь после прихода большевиков к власти — при весьма необычных обстоятельствах.

Его преемник генерал Лавр Корнилов уже приобрёл в правых кругах репутацию национального спасителя. Невысокий и подвижный, с коротко остриженной головой, монгольскими усами и маленькими мышиными глазами, Корнилов происходил из семьи сибирских казаков. Отец был мелким землевладельцем и солдатом, дослужившимся до младшего офицерского чина; мать, как утверждали, была буряткой. Такое сравнительно простонародное происхождение резко выделяло Корнилова среди русских генералов, большинство которых вышло из аристократии. В демократической атмосфере 1917 года это было идеальной биографией для национального военного героя. Начало карьеры Корнилова прошло в Средней Азии. Он освоил тюркские языки региона и создал собственную охрану из текинцев-туркмен в алых халатах, которые называли его «Великим боярином».

Назначение Корнилова едва ли объяснялось его военными достижениями. К 1914 году, в сорок четыре года, он был всего лишь командиром дивизии 8-й армии. Брусилов, командовавший армией, помнил его как храброго и лихого воина, любимого солдатами, но склонного нарушать приказы. Не без оснований он считал, что Корнилов сознательно создавал собственный «культ храбрости»; именно этот культ и лежал в основе его стремительного взлёта. В 1915 году Корнилов был ранен и взят в плен австрийцами после того, как отказался исполнить приказ Брусилова об отводе дивизии с передовой. На следующий год он бежал из плена и, переодевшись австрийским

солдатом, пешком пробрался обратно в Россию, где вместо военного суда его встретили как героя.[66]

Именно в это время Корнилов начал приобретать влиятельных политических покровителей в лице Родзянко и Гучкова. В марте 1917 года они добились его назначения командующим Петроградским военным округом. Во время апрельских беспорядков Корнилов угрожал вывести войска на улицы. Совет воспротивился этому, взял гарнизон под свой контроль и вынудил Корнилова уйти в отставку. Различные правые группы были возмущены вмешательством Совета в армейские дела и стали видеть в Корнилове защитника своих интересов. Их объединяла враждебность к усиливавшемуся влиянию Совета на правительство, особенно в вопросах внешней и военной политики после апрельского кризиса. Милюков, вынужденный оставить пост министра иностранных дел, начал заигрывать с контрреволюционными идеями. «Очевидно, — писал он другу в конце июня, — что руководители Совета сознательно ведут нас к поражению и экономическому разорению. В глубине души мы оба знаем, что спасение России заключается в восстановлении монархии и что события последних двух месяцев ясно показали: народ оказался неспособен пользоваться свободой». Деловые круги, всё более недовольные политикой меньшевика Скобелева, министра труда, и помещики, столь же враждебные эсеру Чернову, министру земледелия, также начинали сплачиваться вокруг антисоветского движения. Союз офицеров и Союз казаков требовали упразднения солдатских комитетов и восстановления военной дисциплины. Все эти силы сходились в Республиканском центре — тайной организации буржуазных патриотов, офицеров и ветеранов войны, созданной в мае в помещении над банком на Невском проспекте.[67]

Корнилов был скорее орудием, чем хозяином этих политических интересов. Его собственные политические представления были развиты слабо. Типичный солдат, он был человеком немногословным и ещё менее богатым идеями. «Сердце льва, мозги овцы» — так отозвался о нём Алексеев. В плену Корнилов читал о жизни Наполеона и, по-видимому, уверовал, что ему суждено сыграть сходную роль в спасении России.[69] Чтобы остановить анархическую волну, казалось, не хватало лишь генерала на белом коне.

Большинство политических заявлений Корнилова составлял за него Борис Савинков, заместитель Керенского в военном министерстве. В молодости Савинков был легендарной фигурой — поэтом, «борцом за свободу» и игроком — в эсеровском террористическом движении. На рубеже веков он участвовал в убийствах нескольких видных сановников, в том числе Плеве. Как и многие террористы, однако, он отличался сильной авторитарной жилкой: «Вы — Ленин, только с другой стороны», — однажды сказал ему Керенский. После эмиграции Савинков вернулся в Россию в 1917 году и примкнул к движению против Совета, который называл «Советом крыс, собак и куриных депутатов».[70] Именно он устроил назначение Корнилова сначала, 8 июля, командующим Юго-Западным фронтом, а затем, десять дней спустя, Верховным главнокомандующим.

Кроме репутации твёрдого сторонника военной дисциплины, Керенский, похоже, плохо представлял себе, кого именно он получает в лице нового главнокомандующего. Разумеется, у самого Керенского были бонапартистские амбиции, и он, вероятно, надеялся найти в Корнилове сильного человека, который поддержит его. Но понимал ли он, что Корнилов и его союзники намерены столь же прагматично воспользоваться самим Керенским? Брусилов позднее утверждал, что Керенский уже спрашивал его, «поддержал бы он его, если бы для завершения революции было признано желательным сделать его [Керенского] диктатором». Брусилов отказался, считая Керенского слишком «истеричным» для этой роли. Тогда Керенский спросил, согласился бы сам Брусилов стать диктатором. И снова получил отказ: Брусилов сравнил это с «попыткой строить плотину во время разлива реки». Его отказ, несомненно, стал одной из причин, по которым Керенский решил заменить его главнокомандующим с более примитивными инстинктами. Чтобы обеспечить Корнилову назначение, Савинков предусмотрительно посоветовал ему на совещании в Ставке 16 июля подчеркнуть роль комиссаров как противовеса власти солдатских комитетов. Это было значительно умереннее позиции Деникина и других генералов, требовавших немедленной ликвидации комитетов, и позволяло Керенскому успокоить правых, сохранив основные элементы своих демократических реформ.[71] Тем самым

Корнилов создал впечатление, будто способен вписаться в планы Керенского.

Однако сразу после назначения Корнилов сам начал диктовать условия Керенскому. За короткое время командования Юго-Западным фронтом он уже заставил правительство восстановить смертную казнь на фронте; сам Корнилов и до того применял её по собственной инициативе, приказывая расстреливать дезертиров. Теперь, принимая Верховное командование, он потребовал распространить смертную казнь и на тыл, а также заявил, что как глава армии будет считать себя ответственным лишь «перед своей совестью и перед нацией в целом». По сути это был вызов власти Временного правительства, которое Корнилов явно считал пленником Совета. Под давлением Керенского он в конце концов снял этот ультиматум, но направление его намерений было очевидно. В последующие дни он представил Керенскому серию реформ, подготовленных Савинковым.

Поначалу предложения касались исключительно армии: прекращение власти солдатских комитетов, запрещение солдатских собраний на фронте и расформирование революционных полков. Но после 3 августа их рамки резко расширились. Теперь предлагались введение военного положения по всей стране, восстановление смертной казни для гражданских лиц, милитаризация железных дорог и оборонной промышленности с запретом забастовок и рабочих собраний под угрозой смертной казни, а также обязательные нормы выработки с немедленным увольнением тех, кто их не выполнял.[72] Фактически это была программа установления военной диктатуры.

Один из самых живучих мифов русской революции состоит в том, что Корнилов якобы готовил государственный переворот против Временного правительства. Это была версия Керенского. После падения он всю свою долгую и раздражённую жизнь в эмиграции пытался доказать её в многочисленных и часто лживых мемуарах. Советские историки также охотно повторяли эту версию, поскольку она подтверждала ленинский тезис о том, что после июля «военная диктатура» вступила в открытую борьбу за власть. Но источники показывают, что Корнилов, далёкий от намерения свергнуть Временное правительство, скорее хотел его спасти. Давлением на Керенского он стремился добиться принятия своих реформ, освободить правительство

от влияния Совета и тем самым, как ему казалось, «спасти Россию» от надвигающейся катастрофы. Иными словами, Корнилов считал будущую диктатуру «законной» в том смысле, что Керенский её поддержит. Лишь когда Керенский стал сомневаться, опасаясь, что генеральские планы подорвут его собственное положение, премьер-министр «раскрыл» заговор. Керенский сам стремился сыграть роль Бонапарта и боялся соперника. Если угодно, это была история двух людей и одного белого коня.

Это, конечно, не означает, что среди сторонников Корнилова не было тех, кто прямо призывал его покончить с Временным правительством. Союз офицеров, например, действительно разрабатывал планы военного переворота, а состоявшееся в середине августа «Совещание общественных деятелей», где преобладали кадеты и правые предприниматели, явно подталкивало Корнилова в этом направлении. В центре этих кругов стоял Василий Завойко — фигура довольно сомнительная: спекулянт недвижимостью, промышленный финансист, журналист и политический интриган, который, по словам генерала Мартынова, был «личным проводником, можно сказать наставником Корнилова во всех государственных делах». О планах Завойко устроить переворот знали настолько широко, что слухи дошли даже до Уайтхолла: уже 8 августа британский Форин-офис сообщил своему послу в Петрограде Бьюкенену, что, по сведениям военных источников, Завойко готовит свержение Временного правительства. Нельзя отрицать и того, что у самого Корнилова были политические амбиции: культ Корнилова, которому он сам помогал складываться, ясно об этом говорил, и постоянные уговоры таких сторонников, как Завойко, воспользоваться популярностью и стать диктатором, несомненно, льстили ему. Главнокомандующий презирал Керенского как «слабого и женоподобного» человека, а всю его администрацию считал безнадёжно зависимой от Советов. Вероятно, Степун выразил суть конфликта точнее всего, назвав столкновение Корнилова и Керенского столкновением двух совершенно разных миров — офицерства и интеллигенции, — которые не способны были понять друг друга.[73]

Недоверие Корнилова к Временному правительству могло лишь усиливаться из-за колебаний Керенского по поводу реформ. 10 августа

Корнилов без приглашения явился в Зимний дворец со своей личной охраной и двумя пулемётами, чтобы добиться принятия предложений. Выступить перед всем кабинетом ему не позволили: его принял лишь внутренний «триумвират» — Керенский, Терещенко и Некрасов. Они предупредили генерала, что рассчитывать на немедленное проведение реформ не следует. Тогда Корнилов и Керенский перешли на крик, взаимно обвиняя друг друга в том, что тот ведёт страну к гибели. За ужином в тот же вечер Корнилов сказал Родзянко: если Керенский не примет реформы, он двинет против него армию. На следующий день он действительно приказал III кавалерийскому корпусу, включая знаменитую Дикую дивизию — так её называли потому, что она состояла из кавказских горцев, — передвинуться в район Великих Лук, откуда корпус можно было направить к столице.

Было неясно, предназначались ли войска Крымова для защиты Временного правительства от возможного большевистского восстания после принятия реформ Корнилова, или же они должны были пригрозить самому правительству переворотом, если оно откажется их принимать. Вероятно, верны оба объяснения. Корнилов сказал генералу Лукомскому, что «не намерен выступать против Временного правительства» и надеется «в последний момент прийти с ним к соглашению», но, если этого сделать не удастся, «может оказаться необходимым нанести удар по большевикам без его согласия».[74] Это не было признанием намерения свергнуть правительство; но это была угроза спасти его от левых — при необходимости даже вопреки воле Керенского.

К моменту поездки Савинкова в Ставку 22–24 августа Корнилов, однако, уже был убеждён, что до этого не дойдёт. Заместитель военного министра заверил его, что Керенский «в ближайшие несколько дней» удовлетворит его требования. Корнилов ожидал, что это приведёт к преобразованию Временного правительства в коллективную диктатуру — Совет национальной обороны, как он любил выражаться, — во главе с самим Керенским и с участием Савинкова, Корнилова и ряда «общественных деятелей» патриотического направления. Опасаясь большевистского восстания против военного положения — к которому могли присоединиться силы Совета, — Савинков попросил Корнилова передвинуть III кавалерийский корпус из Великих Лук непосредственно

к Петрограду. Ходили слухи о большевистском выступлении, намеченном на конец августа, и было условлено в таком случае действовать «безжалостно». 25 августа Корнилов приказал войскам Крымова в случае большевистского восстания занять столицу, разогнать Совет и разоружить гарнизон. Он считал, что действует по указанию Керенского и защищает Временное правительство, а не свергает его.

Но сам Керенский всё ещё колебался. Его политическая стратегия с февраля строилась на балансировании между правыми и левыми; именно это делало его центральной фигурой коалиции и подвело почти вплотную к собственной диктатуре. Однако летний кризис и нараставшая поляризация уничтожали почву для такой политики: центр, на котором Керенский пытался удержаться, быстро исчезал. Совет всё меньше доверял его способности — и даже желанию — защитить завоевания революции от «контрреволюции»; правые, напротив, упрекали его в недостаточной твёрдости против большевиков. Не желая оттолкнуть ни одну из сторон, Керенский беспомощно метался.

Предложения Корнилова вынудили его выбирать между правыми и левыми. Решение давалось мучительно. Если отказаться от требований генерала, кадеты, скорее всего, покинут хрупкую коалицию. Существовала и опасность военного переворота — которую люди Февраля, вроде Керенского, всегда склонны были преувеличивать, поскольку всю свою жизнь видели в армии противника революции. Если же принять реформы Корнилова, это грозило полным разрывом с левыми и потерей репутации «заложника демократии». Восстановление смертной казни и так серьёзно запятнало революционный образ Керенского: вопрос был слишком эмоциональным. Совет вёл яростную кампанию против корниловских мер и, в отличие от июля, теперь вполне мог поддержать большевистское восстание, если они будут приняты. К тому же Керенский сомневался, что военное положение вообще окажется осуществимым. Кто станет его проводить? Сколько офицеров осмелятся расстреливать мятежных солдат? Кто заставит железнодорожников и рабочих оборонных предприятий подчиняться военной дисциплине и будет стрелять в бастующих? Вся идея казалась ему практически невыполнимой.

В последней отчаянной попытке сплотить страну вокруг себя Керенский созвал Государственное совещание в Москве. Оно заседало

в Большом театре 12–14 августа. Керенский надеялся примирить правых и левых и, чтобы укрепить политический центр, на который опирался, предоставил много мест умеренным делегатам от земств и кооперативов. Сергей Семёнов приехал на совещание как представитель кооперативов Волоколамска. Однако уже при виде первого заседания сердце Керенского должно было упасть. Раскол России буквально воспроизводился в рассадке зала: справа в партере сидели буржуазные партии, банкиры, промышленники и думские деятели во фраках и крахмальных воротничках; слева напротив — словно перед боем — делегаты Советов в рабочих блузах и солдатской форме. Сцена напоминала открытие Думы в 1906 году; две России за прошедшие годы так и не сблизились. Большевики решили бойкотировать совещание и объявили общегородскую забастовку. Трамваи не ходили, рестораны и кафе были закрыты, включая буфет самого театра, так что делегатам пришлось самим заботиться о еде и напитках.

Керенский рассчитывал находиться в центре внимания, но, к его ярости, всё представление украл Корнилов. Генерал триумфально прибыл в Москву в разгар совещания. На Александровском вокзале дамы из буржуазных кругов осыпали его цветами. Графиня Морозова упала перед ним на колени, а кадет Родичев воззвал: «Спасите Россию, и благодарный народ увенчает вас короной». Человек на белом коне прибыл. Офицеры вынесли его с вокзала на плечах, а на улице толпа правых патриотов приветствовала его криками. Сидя в открытом автомобиле во главе кортежа, которому мог бы позавидовать любой диктатор XX века, он отправился поклониться Иверской святыне, где обычно молились русские цари во время поездок в Москву. На следующий день Корнилов вошёл в зал под овацию правых, тогда как левые сидели в каменном молчании. Речь его была посредственной — слова никогда не были сильной стороной Корнилова, — но это не имело значения: героя из него делали не слова, а то, что он воплощал. И никакое красноречие Керенского уже не могло помешать генералу затмить его.

Заключительная речь самого Керенского затянулась безмерно. Премьер говорил бессвязно и, казалось, терял нить. Это было символом того, как он утрачивал контроль над страной в целом, и даже преданный ему Степун заметил, что «в самом конце речи слышалась не только

агония его власти, но и его личности». Сцена стала неловкой, в зале началось недовольное ворчание. В какой-то момент Керенский остановился перевести дыхание, и делегаты, словно решив, что пора избавить его от мучений, разразились аплодисментами и поднялись с мест. Совещание закончилось. Керенский без сил опустился в кресло — он так и не закончил фразы.[75]

Московское совещание стало нравственным падением Керенского: два месяца между ним и большевистским захватом власти были уже не более чем долгой агонией Временного правительства. Именно тогда демократическая интеллигенция, столь много сделавшая для создания культа Керенского, окончательно разлюбила его. «Керенский, — записала Гиппиус 14 августа, — это вагон, сошедший с рельсов. Он болезненно шатается и качается, не имея ни малейшей убеждённости. Это человек, близкий к концу; и похоже, конец его будет бесславным». Сам Керенский прекрасно чувствовал свою гибель. «Я больной человек, — сказал он Савинкову три дня спустя. — Нет, не то. Я умер, меня больше нет. На Совещании я умер».[76] Казалось лишь вопросом времени, когда он окончательно уступит Корнилову. Под усиливавшимся давлением Керенский пообещал Савинкову провести реформы генерала, понимая, что после этого сам превратится в декоративную фигуру, придающую военной диктатуре видимость законности.

Но внезапно Керенский увидел неожиданный способ спасти положение. Им стало вмешательство В. Н. Львова, октябриста, депутата IV Думы и недавнего обер-прокурора Святейшего синода, самовольно взявшегося посредничать между Керенским и Корниловым. Львов принадлежал к тем многочисленным персонажам русской истории, которые словно сбежали со страниц Гоголя или Достоевского. Дворянин без особых талантов и определённого занятия, он был убеждён в своём великом предназначении, а в 1920-х годах кончил нищим и безумцем на улицах Парижа. После увольнения из Синода в июле он сблизился с правыми кругами, призывавшими Корнилова взять диктаторскую власть. В этом качестве 22 августа он явился к Керенскому и предложил от его имени переговорить с Корниловым, надеясь расчистить путь к созданию «сильной власти». Керенского часто посещали подобные самозваные «спасители» страны, и обычно он не обращал на них внимания. Но этот случай был особым. Львов предупредил его, что

Генеральный штаб готовит убийство премьер-министра. Керенский в последнее время был одержим этой опасностью и даже приказал каждый час менять охрану у своих покоев. Позднее он утверждал, что не давал Львову поручения вести переговоры с Корниловым, однако сам Львов понял дело именно так. Вполне вероятно, что хотя бы из страха за собственную жизнь Керенский действительно поручил ему выяснить намерения генерала. Возможно также, что он уже тогда рассчитывал использовать Львова в дальнейшем развитии событий.

24 августа Львов приехал в Могилёв и представился Корнилову как посланник премьера. Корнилов не потребовал полномочий — роковая ошибка: позднее он объяснял, что считал Львова «честным человеком». Львов заявил, будто уполномочен выяснить взгляды генерала на укрепление власти, и по собственной инициативе предложил три варианта: диктаторские полномочия для Керенского; Директория, то есть коллективная диктатура, с участием Корнилова; или личная диктатура Корнилова при Керенском и Савинкове в качестве министров. Поняв это так, будто сам Керенский предлагает ему власть, Корнилов сказал, что предпочитает третий вариант, но готов подчиниться Керенскому, если это будет признано лучшим решением. Он велел Львову пригласить Керенского в Могилёв для обсуждения и потому, что опасался за жизнь премьера в случае большевистского переворота в Петрограде. Закончив беседу, Львов немедленно уехал в столицу. Корнилов был совершенно уверен, что начал переговоры с Керенским о преобразовании Временного правительства в диктатуру.

На следующий день, 26 августа, Львов вновь встретился с Керенским в Зимнем дворце. Теперь он заявил, что Корнилов требует диктаторской власти лично для себя — чего тот в действительности не делал, — и по просьбе премьера перечислил три пункта его якобы «ультиматума»: введение военного положения в Петрограде; передача всей гражданской власти Верховному главнокомандующему; отставка всех министров, включая самого Керенского, до формирования Корниловым нового кабинета. Позднее Керенский утверждал, что, увидев эти требования, мгновенно понял: Корнилов готовит военный переворот. На деле же ничего ясно не было. Можно было хотя бы спросить, почему столь важный ультиматум Корнилов решил передать через столь ничтожную фигуру, как Львов. Ещё разумнее было бы прямо

связаться с генералом и спросить, действительно ли он требует диктатуры. Но Керенского такие детали уже не интересовали. Напротив, он внезапно понял — вероятно, именно это и было его «молниеносным откровением», — что, пока всё остаётся туманным, он сможет представить Корнилова изменником, заговорщиком против Временного правительства. Тогда революция вновь сплотится вокруг Керенского, а его политические позиции оживут в борьбе с соперником.

Чтобы получить «доказательства заговора», Керенский договорился вечером встретиться со Львовым в военном министерстве и напрямую связаться с Корниловым по аппарату Юза — примитивному предшественнику телетайпа. Львов вовремя не пришёл, и Керенский начал разговор сам, изображая отсутствующего посредника. Он попросил Корнилова подтвердить то, что Львов якобы передал Керенскому, не уточняя при этом, что именно было сказано, а затем от имени Львова повторил просьбу. Корнилов подтвердил — не понимая, что именно подтверждает, — и настойчиво предложил Керенскому немедленно приехать в Могилёв. Корнилов, очевидно, считал разговор лишь прелюдией к переговорам о перестройке правительства. Он и представить не мог, что его слова вскоре будут использованы как доказательство государственной измены. В тот же вечер, беседуя с генералом Лукомским, он согласился, что Керенский и Савинков должны войти в новый кабинет. Кроме того, Корнилов разослал телеграммы ряду общественных деятелей, приглашая их в Могилёв на переговоры.[77] Едва ли так действует человек, готовящий личную диктатуру.

Вооружившись стенограммой переговоров по аппарату Юза и «требованиями» Корнилова в изложении Львова, Керенский созвал в полночь кабинет министров. Он представил «контрреволюционный заговор» как установленный факт и потребовал «всей полноты власти» для борьбы с чрезвычайной ситуацией. Видимо, он надеялся предстать защитником свободной России, объявить революцию в опасности и сплотить страну вокруг себя против Корнилова. Некрасов вспоминал, что Керенский сказал: «Я не отдам им революцию» — словно революция действительно принадлежала ему. Савинков и некоторые другие поняли, что произошло недоразумение, и убеждали премьера ещё раз связаться с Корниловым, спросить, подтверждает ли тот три

конкретных пункта, изложенных Львовым. Керенский отказался. Остальные министры согласились, что для примирения уже слишком поздно. Они подали в отставку всем составом и тем самым фактически сделали Керенского диктатором — именно в том он обвинял Корнилова. После закрытия заседания премьер отправил генералу телеграмму об увольнении от собственного имени; в четыре часа утра 27 августа удалился в свои покои Зимнего дворца. Но новый российский «царь» был слишком возбуждён, чтобы спать: по словам Львова, помещённого под стражу в соседней комнате, Керенский ходил взад-вперёд и распевал оперные арии.[78]

Получив телеграмму об увольнении, Корнилов решил, что Керенский уже захвачен большевиками. По закону снять Верховного главнокомандующего мог лишь кабинет в полном составе, тогда как телеграмма была подписана просто: «Керенский». К тому же она никак не согласовывалась с тем, что Корнилов, по ошибке, считал только что достигнутым соглашением по аппарату Юза. Генерал отказался уйти в отставку и приказал войскам Крымова двигаться к столице и установить там военное положение. Позднее именно этот приказ приводили как доказательство виновности Корнилова, однако ясно, что он исходил из убеждения — соответствовавшего прежним инструкциям Савинкова, — будто войска должны спасти Временное правительство от большевиков. Предлагалось несколько раз прямо связаться с Корниловым для разъяснения, и, будь это сделано, весь кризис, возможно, удалось бы предотвратить. Но Керенский уже решил осудить генерала без суда. Он был вне себя от возбуждения и носился по дворцу, уверяя, что вся Россия за него. По приказу Керенского вышел специальный дневной выпуск газет, объявлявший Корнилова изменником революции. Тот ответил воззванием ко всем командующим фронтами, назвав историю с Львовым «великой провокацией» правительства, которое явно подпало под власть большевиков и германского Генерального штаба. Он, генерал Корнилов, «сын казака», спасёт Россию.[79]

Вот теперь мятеж действительно начался: объявленный бунтовщиком, Корнилов решил бунтовать. Несколько старших генералов заявили о поддержке. Теперь Керенский действительно столкнулся с «контрреволюцией». 29 августа он увенчал себя званием нового Верховного главнокомандующего, назначив Алексеева

начальником штаба, несмотря на крайне низкое мнение генерала о премьере — «ничтожество, шут и шарлатан».[80] Керенский приказал Крымову остановить продвижение войск, часть которых уже достигла южных окраин столицы. Исполком Совета, до этого расколотый в вопросе, поддерживать ли «революционного диктатора», после известия о движении Крымова встал на его защиту. Совет призвал сторонников вооружаться против «контрреволюции» и превратил Смольный в командный центр обороны. Атмосфера вновь напоминала Таврический дворец в февральские дни, когда измученные солдаты лежали вокруг здания Совета, ожидая нападения генералов.

Совет создал специальный Комитет борьбы с контрреволюцией: по три представителя от меньшевиков, эсеров и большевиков. Это означало политическую реабилитацию большевиков после июльских дней; вскоре из тюрьмы выпустили Троцкого и других видных большевиков. Комитет борьбы стал единым фронтом всего советского движения. Но реально он зависел от военной организации большевиков, без которой, по словам Суханова, «мог бы только проводить время в призывах и пустых речах ораторов, уже потерявших авторитет». Только большевики обладали возможностью мобилизовать и вооружить массы рабочих и солдат и теперь тесно сотрудничали со своими прежними соперниками по Советам. По всей северной промышленной полосе возникали чрезвычайные революционные комитеты по образцу петроградского Комитета борьбы. Некоторые называли себя «комитетами общественного спасения» по примеру якобинцев. Единого руководства у этого стихийного движения не было. Гарнизоны приводили себя в боевую готовность и высылали отряды «для защиты революции». Кронштадтские матросы, которые в июле приезжали в Петроград свергать Временное правительство, теперь вновь прибыли — уже чтобы его защищать. Красная гвардия и профсоюзы организовали оборону заводов. Викжель, союз железнодорожников, создал бюро противодействия войскам Крымова и задерживал их продвижение, не выдавая локомотивов и перекрывая пути.[81]

Тем временем войска Крымова подвергались непрерывной агитации советских активистов. Они вовсе не собирались свергать Временное правительство: Корнилов приказал им защищать его от большевиков. Как только солдатам объяснили, что слева правительству ничто не

угрожает, оружие стали складывать. Вопреки советскому мифу, в разгроме Корнилова фактического боя не было. Да и в чём был бы смысл? Обе стороны шли защищать Временное правительство, и, когда это выяснилось, началось братание. Дикую дивизию убедила не сражаться делегация земляков — кавказских мусульман, случайно находившихся тогда в Петрограде на советском съезде. Кавалеристы подняли красный флаг с надписью «Земля и воля», арестовали командиров и отправили делегацию в столицу с заверением в верности правительству. Поезд 1-й Донской казачьей дивизии, в котором ехали Крымов и его штаб, железнодорожники остановили в Луге. Депутаты Совета стали агитировать казаков прямо через окна вагонов. Крымов ничего не мог сделать — казаки массами переходили на сторону Совета. 30 августа он согласился поехать в Петроград с правительственным представителем и на следующий день встретился с Керенским. Крымов попытался объяснить, что привёл войска для защиты правительства. Но Керенский слушать не хотел и приказал предать его военному суду. Крымов ушёл в отчаянии к другу, где его слышали говорящим: «Последняя карта спасения Отечества бита — жить больше не стоит». Уединившись, он написал короткую записку Корнилову и застрелился.[82]

* * *

Мятеж Корнилова закончился. На следующий день, 1 сентября, Алексеев взял под контроль Ставку, а самого Корнилова посадили под домашний арест, затем перевели в Быховский монастырь близ Могилёва, где вместе с ним содержали ещё около тридцати офицеров, подозревавшихся в «контрреволюционном заговоре». Но если Керенский надеялся укрепить собственную власть победой над Корниловым, результат оказался прямо противоположным. Корниловское дело стало гвоздём в гроб самого Керенского. Оно лишь ускорило социальную и политическую поляризацию, которая с начала лета разрушала основание Временного правительства, и в этом смысле приблизило развязку октября.

С одной стороны, Керенский окончательно испортил отношения с правыми, большинство которых сохранило верность Корнилову и обвиняло премьера в предательстве. Для всех, кто видел причиной растущего хаоса режим Керенского, Корнилов превратился в мученика.

Именно после поражения движение Корнилова приобрело максимальное политическое влияние. Слово «корниловец» вошло в лексикон как обозначение непримиримого противника «керенщины». В Быховском монастыре явно служили люди, сочувствовавшие Корнилову, потому условия заключения были чрезвычайно мягкими. «У нас складывалось впечатление, — вспоминал Антон Деникин, — что всем несколько неловко играть роль наших “тюремщиков”». Корнилов сохранил верных телохранителей-туркмен; отдавал в тюрьме «военные приказы»; семьи офицеров приезжали дважды в день, причём невеста Деникина практически жила там; существовали даже тайные связи с Генеральным штабом, где корниловское движение по-прежнему имело сильную поддержку.[83] Позднее быховские заключённые стали ядром Добровольческой армии, главной белой силы Гражданской войны, а Корнилов и Деникин — её вождями. Именно в Быхове был написан проект политической программы Добровольческой армии. Он отвергал Керенского не меньше, чем большевиков. И во время большевистского захвата власти ни одна из этих сил не выступила в защиту Временного правительства.

Не менее серьёзно ослабло положение Керенского и слева. Массы солдат и рабочих, сплотившиеся вокруг Временного правительства во время кризиса, подозревали, что сам Керенский каким-то образом был связан с корниловским движением. Многие видели в происходившем личную ссору двух претендентов в Наполеоны — и в этом были недалеки от истины. Другие считали, что Керенский состоял с Корниловым в сговоре или пытался осуществить через него собственные контрреволюционные планы. Подозрения усиливались тем, что после кризиса Керенский так и не пошёл по более демократическому пути. Не было настоящего расследования — значит, думали люди, премьеру есть что скрывать. Его продолжавшаяся приверженность коалиции с кадетами, явно связанными с корниловским движением, и назначение Алексеева, которого также подозревали в симпатиях к нему, давали новые основания для недоверия. Призрачность этой «контрреволюции» только делала её в глазах общества ещё могущественнее: она казалась скрытой силой за спиной правительства, подобно тени измены, висевшей над царским режимом в 1916 году.

Масса солдат подозревала собственных офицеров в поддержке Корнилова, и это вызвало резкое падение дисциплины. Сотни офицеров были арестованы своими солдатами — некоторых казнили или зверски убили — за предполагаемое участие в «контрреволюции». Солдатские собрания принимали резолюции за советскую власть и мир. Корниловский кризис усилил у рядовых понимание того, что мира не будет, пока не изменится сама природа государства. Они больше не желали доверять обещаниям «демократических» лидеров и всё настойчивее требовали права принимать решения самим. Это выражалось в давлении снизу, чтобы армейские съезды обсуждали вопросы власти и мира. Но для огромного числа солдат существовало и более простое решение — проголосовать ногами, то есть дезертировать. В недели после Корнилова темпы дезертирства резко выросли, десятки тысяч человек ежедневно оставляли части.

Большинство этих дезертиров были крестьянами, стремившимися вернуться в деревни, где как раз разгар уборки. Нередко именно они возглавляли нападения на усадьбы и помогали устанавливать местную советскую власть; поэтому в эти же недели аграрное движение резко усилилось. Высшее командование начало признавать, что при таком уровне дезертирства продолжать войну невозможно. Корниловское движение, задуманное ради спасения армии, в конечном счёте лишь ускорило её разрушение.

В крупных промышленных городах после корниловского кризиса шёл сходный процесс радикализации. Главными его выгодополучателями стали большевики: 31 августа они впервые получили большинство в Петроградском Совете. Без корниловского движения они, возможно, вообще не пришли бы к власти. 4 сентября из тюрьмы наконец освободили Троцкого вместе с двумя другими большевистскими лидерами, которым предстояло сыграть заметную роль в захвате власти, — Владимиром Антоновым-Овсеенко и П. Е. Дыбенко. Большевистская Военная организация, загнанная после июльских дней в подполье, теперь могла расширять подрывную работу под прикрытием своей ведущей роли в Комитете борьбы. Военно-революционный комитет, возглавивший октябрьский переворот, отчасти был создан по его образцу. Красная гвардия и кронштадтские матросы — будущая пехота Октября — также вышли из борьбы против

Корнилова окрепшими. Вся история стала генеральной репетицией захвата власти: особенно рабочие научились обращаться с оружием. В дни корниловского кризиса было вооружено около 40 тысяч человек, и большинство, несомненно, сохранило оружие и после его окончания. Как выразился Троцкий, «армия, поднявшаяся против Корнилова, была будущей армией Октябрьской революции».[84]

Победа Керенского над Корниловым одновременно стала его собственным политическим поражением. Он получил диктаторские полномочия, но лишился реального авторитета. «Престиж Керенского и Временного правительства, — писала жена Керенского, — был совершенно уничтожен Корниловским делом; он остался почти без сторонников».[85] Пятичленная Директория, учреждённая 1 сентября и служившая хрупкой оболочкой личной диктатуры Керенского до решения вопроса о власти на Демократическом совещании в середине сентября, состояла из малоизвестных посредственностей.[78] Единственным достижением этого опереточного правительства стало провозглашение России «республикой», хотя формально это было прерогативой Учредительного собрания. Всё это было типично для правительства, существовавшего только на бумаге: никто не обращал на него внимания. За пределами коридоров Зимнего дворца указы Керенского игнорировались. Возник вакуум власти; оставалось лишь выяснить, кто осмелится его заполнить.

iv. Гамлеты демократического социализма

«On s’engage et puis on voit» — «Сначала ввяжемся, а там посмотрим». Ленин любил цитировать эту наполеоновскую максиму. Она идеально выражала его собственную философию революции: революции не совершаются сами собой, их должны совершать вожди. История давно перестала быть летописью деяний великих людей: теперь мы все социальные историки. И всё же ход истории полон неожиданных поворотов, которые невозможно объяснить иначе, чем действиями выдающихся лидеров. Особенно это относится к революциям, когда

[78] Помимо Керенского, в Директорию входили: Терещенко (иностранные дела), генерал Верховский (военный министр), адмирал Вердеревский (морской министр) и А. М. Никитин (почты и телеграфы).

поток событий легко изменить одним решительным вмешательством. Октябрьский захват власти — прекрасный пример: мало какое событие Нового времени столь наглядно показывает решающее влияние личности на ход истории. Без вмешательства Ленина переворот, вероятно, вообще бы не произошёл — и история XX века выглядела бы совсем иначе.

Роль Керенского составляет резкий контраст: он совершенно не умел управлять событиями. Те, кто находился рядом с ним в эти последние недели, свидетельствуют о растущей изоляции, слабости воли, парализующем страхе перед левыми и роковой неспособности принять действенные меры против них. Постоянное напряжение и бессонные ночи 1917 года тяжело сказались на нём; теперь он жил при помощи морфия и кокаина. Ветеранка эсеров, «бабушка русской революции» Екатерина Брешко-Брешковская, поселилась у Керенского в Зимнем дворце — сплетники называли её его «няней». В конце июля большевистские лидеры собрались в Петрограде на VI партийную конференцию. Она умоляла Керенского арестовать их; он отказался, сославшись на жалкую отговорку, будто не знает, где проходит совещание. По воспоминаниям личного секретаря Керенского Давида Соскиса, седая женщина тогда

> поклонилась Керенскому до земли и несколько раз повторила торжественным умоляющим голосом: «Прошу тебя, Александр Фёдорович, разгони конференцию, подави большевиков. Умоляю тебя сделать это, иначе они погубят нашу страну и революцию». Это была драматическая сцена. Видеть бабушку русской революции, проведшую тридцать восемь лет в тюрьмах и Сибири за борьбу за свободу, видеть эту высокообразованную, благородную женщину, кланяющуюся до земли молодому Керенскому по старому православному обычаю… я не забуду никогда. Я посмотрел на Керенского. Его и без того бледное лицо стало ещё белее. В глазах отражалась страшная внутренняя борьба. Он долго молчал и наконец тихо сказал: «Как же я могу это сделать?» — «Сделай, А. Ф., умоляю тебя», — и Бабушка снова поклонилась до земли. Керенский больше не выдержал. Он вскочил и схватился за телефон. «Сначала я должен узнать, где проходит конференция, и посоветоваться с Авксентьевым», — сказал он и позвонил в Министерство внутренних дел. Но Авксентьева не оказалось на месте, и дело пришлось отложить. Думаю, к огромному облегчению Керенского.[86]

Конференция состоялась без арестов — а через три месяца большевики пришли к власти.

Одним из самых поразительных обстоятельств большевистского захвата власти было то, что его так долго ожидали, но никто не предпринял мер, способных его предотвратить: настолько парализовано было Временное правительство. Вечером 25 октября, когда министры сидели в Зимнем дворце и ждали конца, многие наверняка проклинали Керенского за то, что после июльских дней он не уничтожил большевистскую партию. Юридические репрессии действительно не смогли остановить рост её влияния. Но правда заключалась в том, что у правительства не было ни средств, ни авторитета, чтобы заставить репрессии работать против движения, которое уже укоренялось в массовых организациях.

Социальная поляризация лета впервые дала большевикам настоящую массовую базу как партии, обращавшейся прежде всего к плебейскому отрицанию всякой начальственной власти. Корниловский кризис стал решающим поворотом, потому что словно подтверждал их тезис: ни мира, ни радикальных социальных перемен невозможно добиться через компромисс с буржуазией. Крупные заводы больших городов, где классовая солидарность была особенно развита, первыми массово перешли к большевикам. Уже к концу мая партия контролировала Центральное бюро фабрично-заводских комитетов; и хотя меньшевистские профсоюзники сохраняли преобладание до 1918 года, большевикам всё чаще удавалось проводить свои резолюции на важных профсоюзных собраниях. Их активисты на заводах, как правило, были моложе, ближе к рабочей среде и гораздо воинственнее меньшевистских и эсеровских конкурентов. Это привлекало тех рабочих — как квалифицированных, так и неквалифицированных, — которые всё чаще были готовы к насильственным забастовкам не только ради зарплаты и условий труда, но и ради контроля над самой заводской средой. По мере роста сети партийных ячеек на предприятиях большевики наращивали численность среди рабочих, а вместе с членскими взносами росли и финансы партии. К VI партийной конференции в конце июля у большевиков было, вероятно, около 200 тысяч членов; накануне Октября — возможно, уже 350 тысяч, и подавляющее большинство составляли рабочие.[87]

Большевики добились впечатляющих успехов на выборах в городские думы в августе и сентябре. В Петрограде их доля голосов выросла с 20 процентов в мае до 33 процентов 20 августа. В Москве, где в июне они получили всего 11 процентов, 24 сентября победили с 51 процентом голосов. Доля эсеров рухнула с 56 до 14 процентов, меньшевиков — с 12 до 4. Кадеты, напротив, как единственная партия, прямо представлявшая интересы буржуазии, увеличили поддержку с 17 до 31 процента. Эти выборы ясно показали политическую поляризацию страны; Дан назвал их «результатами гражданской войны», поскольку избиратели уходили к двум крайним партиям с открыто классовой программой. Немалую роль в успехе большевиков сыграла апатия неприсоединившихся — особенно мелких служащих, торговцев и приказчиков, у которых не было очевидной классовой или партийной принадлежности. Шесть месяцев бесплодной политики и нескончаемых правительственных кризисов не внушали веры в избирательную урну. Демократические партии проводили вялые кампании, огромные массы остались дома. В Петрограде явка сократилась на треть по сравнению с маем, в Москве — почти наполовину.[88] Всё это, конечно, играло на руку большевикам, которые сильнее любой другой партии жаждали власти и были лучше организованы для её завоевания. Сколько коммунистических захватов власти впоследствии строилось на апатии избирателя в демократии?

Сходный поворот к большевикам происходил и в Советах. И здесь равнодушие низов лишало меньшевиков и эсеров раннего преимущества. Винить им следовало самих себя. Поначалу Советы были открытыми и демократическими органами, где важнейшие решения принимало избранное собрание. Это делало заседания несколько хаотичными, но одновременно придавало им ощущение творческой энергии и народной инициативы. По мере того как советские лидеры втягивались в правительственную работу, они начали перестраивать Советы по бюрократическому образцу, и массы рабочих стали от них отчуждаться. Собрания созывались всё реже и собирали всё меньше участников; инициатива переходила к исполкомам и их полуправительственным комиссиям, членов которых всё чаще выдвигали партийные фракции. Так Советы уже начинали превращаться из органов прямого народного самоуправления в сложные

бюрократические структуры — хотя обычно этот процесс связывают лишь с периодом после 1917 года. Тогда это казалось естественным: считалось, что самим рабочим не хватает политического опыта, чтобы брать на себя ответственность управления, а партии Совета, благодаря старому товариществу революционного подполья, будто бы автоматически застрахованы от фракционного злоупотребления властью, которое делала возможным централизация. Это было наивно и лишь играло на руку большевикам — непревзойдённым мастерам фракционной политики, которые всё чаще применяли такие методы для захвата исполкомов. В десятках провинциальных Советов большевики получали большинство в исполкомах, оставаясь меньшинством в общем собрании. Особенно часто это случалось там, где контролируемая большевиками рабочая секция объединялась с солдатской или крестьянской и, благодаря своей «ведущей роли» в революции, получала непропорционально много мест: например, в Самарском губернском Совете большевики занимали 75 процентов исполкома при 26 процентах мандатов общего собрания.[89]

Но растущее преобладание большевиков в Советах объяснялось не только фракционными манёврами: они действовали и сверху, и снизу. Бюрократизация отдалила Советы от повседневной жизни простых рабочих; участие масс сокращалось, люди либо вообще теряли интерес к политике, либо обращались к собственным низовым органам — фабрично-заводским комитетам и другим временным структурам. Это усиливало большевистскую кампанию, шедшую главным образом через такие организации, за отзыв меньшевистских и эсеровских руководителей из Советов как часть ленинского курса на советскую власть. Оживление Советов после корниловского кризиса поэтому совпало с их радикализацией снизу: заводы и гарнизоны отзывали сторонников коалиции и заменяли их максималистами — большевиками, анархистами и левыми эсерами, требовавшими передачи власти Советам.

Уже в августе большевики контролировали Советы Иваново-Вознесенска — «русского Манчестера», Кронштадта, Екатеринбурга, Самары и Царицына. После корниловского кризиса к ним присоединились Рига, Саратов и сама Москва. Даже Петроградский Совет перешёл к большевикам. 31 августа он принял большевистскую

резолюцию, осуждавшую коалиционную политику советских руководителей и требовавшую советского правительства. Половина делегатов, имевших право голоса, на этом историческом заседании отсутствовала, хотя некоторые меньшевики и эсеры голосовали против собственных лидеров. Руководители пригрозили уйти в отставку, если голосование не будет отменено на втором заседании 9 сентября. Но большевистская резолюция прошла снова. Троцкий, впервые выступивший после освобождения из тюрьмы, нанёс решающий риторический удар, заставив советских руководителей признать, что Керенский, которого к тому времени широко считали «контрреволюционером», всё ещё является членом их исполкома. 25 сентября руководство Петроградского Совета полностью перестроили: четыре из семи мест в исполкоме получили большевики, а Троцкий сменил Чхеидзе на посту председателя. Это было начало конца. По словам Суханова, Петроградский Совет превратился в «гвардию Троцкого, готовую по его знаку штурмовать коалицию».[90]

Позиции большевиков значительно усилились и благодаря вступлению Троцкого в партию. Никто другой в руководстве даже близко не мог сравниться с ним как публичный оратор; во многом именно это сделало Троцкого, возможно даже больше Ленина, самым известным большевистским лидером в стране в революционные месяцы.[79] Если Ленин оставался главным стратегом партии и работал в основном за кулисами, Троцкий стал её главным источником публичного вдохновения. В недели перед захватом власти он почти каждую ночь выступал перед переполненным залом цирка «Модерн». Резкий звонкий голос, пронзительная логика и блестящее остроумие держали слушателей в напряжении, когда он обрушивался на Временное правительство. Его ораторское искусство имело литературное, почти гомеровское качество. Это происходило из выразительности фразы, богатства образов, сильного ритма и пафоса речи и, пожалуй, прежде всего из простой манеры повествования: он втягивал аудиторию в

[79] Раньше Троцкому мешало вступить в большевистскую партию прежде всего личное соперничество, несмотря на отсутствие серьёзных идеологических разногласий между ним и Лениным в 1917 году. Он не мог заставить себя капитулировать перед «ленинской партией», которую прежде так резко критиковал. Когда Ленина однажды спросили, что всё ещё разделяет его с Троцким, тот ответил: «Разве вы не знаете? Честолюбие, честолюбие, честолюбие» (Balabanoff, *My Life*, 175-176).

нравственную драму, из которой затем выводил политические выводы. Троцкий всегда приводил примеры и сравнения из реальной жизни слушателей. Благодаря этому речь звучала знакомо и создавала ему репутацию «своего».[91] Именно поэтому он умел овладевать толпой даже тогда, когда она первоначально была настроена враждебно. Случай с Черновым в июльские дни — хороший пример; так же как эпизоды Гражданской войны, когда Троцкий убеждал опасные группы дезертиров Красной армии вернуться на фронт против белых.

Вместе с Троцким в партию вошла Межрайонка — группа социал-демократов-интернационалистов, имевшая хорошие связи в Петроградском гарнизоне. Её значение определялось не численностью — членов было определённо меньше четырёх тысяч, — а масштабом руководителей. Это была, по сути, коллекция блестящих генералов без армии. Но вместе с ними большевики получили талантливейших организаторов, теоретиков, полемистов и агитаторов: Троцкого, Луначарского, Антонова-Овсеенко, Рязанова, Урицкого, Мануильского, Покровского, Иоффе и Володарского. Многим из них предстояло сыграть видную роль в захвате власти и дальнейшем строительстве советского режима.

Рост большевиков летом и осенью объяснялся прежде всего тем, что они оставались единственной крупной политической партией, безоговорочно выступавшей за власть Советов.[80] Это важно подчеркнуть, потому что одно из главных заблуждений о русской революции состоит в том, будто большевиков к власти вынесла волна массовой поддержки самой партии. Октябрьское восстание было государственным переворотом, активно поддержанным лишь небольшим меньшинством населения и, более того, встречавшим возражения даже у части большевистского руководства. Но оно произошло внутри социальной революции, в центре которой стояло народное понимание советской власти как отрицания государства и прямого самоуправления народа — нечто близкое древнему крестьянскому идеалу воли. Политический вакуум, созданный этой социальной революцией, позволил большевикам захватить власть в городах и закрепить диктатуру осенью и зимой. Лозунг «Вся власть

[80] У меньшевиков и эсеров существовали лишь меньшинственные левые фракции, выступавшие за советское правительство; подробнее об этом ниже в книге.

Советам!» был удобным инструментом, знаменем народной легитимации, прикрывавшим наготу ленинского честолюбия, которое точнее выражалось бы формулой «Вся власть партии». Позднее, когда природа большевистской диктатуры стала очевидной, партия столкнулась с растущей оппозицией именно тех групп общества, которые в 1917 году шли за советским лозунгом.

Народное требование советской власти никогда не означало предпочтения диктатуры какой-то одной партии. Поток резолюций, петиций и деклараций с заводов, из воинских частей и деревень после корниловского кризиса неизменно призывал к участию в советском правительстве всех социалистических партий и часто выражал нетерпение по поводу их фракционных ссор. Политический язык масс в основе своей почти не изменился с 1905 года: главным образом оставался образ «народа», *народа*, борющегося за свободу против угнетающего режима — теперь против «керенщины». Да, этот режим всё чаще называли «буржуазным», что отражало рост влияния марксистских агитаторов и особенно большевиков. Но основная схема этих резолюций, которую агитаторы лишь переводили на язык классов, оставалась борьбой «нас» и «их», низов и верхов, простого народа и привилегированной элиты во главе правительства. Главным чувством были гнев и разочарование оттого, что спустя шесть месяцев после Февраля не получено ничего конкретного — ни мира, ни хлеба, ни земли, — и что без решительного разрыва с буржуазией в коалиции впереди лишь ещё одна зима застоя.[92]

Рабочие видели в советской власти прежде всего возможность контролировать собственную заводскую среду. Они хотели сами регулировать отношения в цехах, устанавливать зарплату и условия труда, бороться с «саботажем» — сознательным свёртыванием производства предпринимателями, озабоченными прибылью, в котором многие рабочие видели причину промышленного кризиса. В атмосфере обострённой классовой войны росло раздражение против меньшевистского руководства рабочего движения: политика посредничества в трудовых конфликтах и примирения с предпринимателями не остановила рост безработицы. Многие рабочие, особенно под влиянием большевиков, видели выход в секвестре или национализации фабрики «Рабочим государством», то есть «Советской

властью», которая создаст правление из рабочих, технических специалистов и представителей Совета и продолжит производство.[81] Это было частью растущего политического сознания рабочих: понимания, что их требования осуществимы лишь при изменении самой природы государства.

Эта политизация проявилась в драматическом подъёме забастовок, парализовавших страну с сентября. Из-за общего влияния инфляции движение стало гораздо шире прежних забастовочных волн: неквалифицированные рабочие и полувоинтеллигентские группы — больничные работники, городские служащие, конторские работники — вынуждены были отбросить обычное нежелание бастовать, чтобы просто поспевать за ростом стоимости жизни. Но поскольку стачки были малоэффективны и даже контрпродуктивны в борьбе с инфляцией, их всё чаще сопровождали широкие политические требования перестройки всей экономики. Промышленные стачки, остававшиеся наиболее распространёнными, гораздо чаще заканчивались насилием. Это была уже битва за контроль над рабочим местом и городской экономикой вообще. Профсоюзы и фабричные комитеты, обычно оказывавшие умеряющее влияние, быстро теряли контроль над воинственными выступлениями. Они выплёскивались на улицы и иногда завершались кровавыми столкновениями между рабочими, вооружёнными и организованными Красной гвардией, и правительственной милицией. Рабочие нападали на предпринимателей и управляющих; если хозяева объявляли локаут, фабрики штурмовали и занимали. Некоторые стачки втягивали жителей целых районов в нападения на пекарни и магазины, обыски домов и аресты «буржуев», которых толпа подозревала в сокрытии продовольствия. В сентябре и октябре резко выросли также грабежи и преступность, пьянство и вандализм, этнические столкновения и антиеврейские погромы.[93] Для городских собственнических слоёв последние недели перед большевистским захватом власти выглядели как спуск в анархию.

Сентябрь принёс и новый всплеск крестьянской войны против помещичьих имений. С приближением осенней пахоты момент казался подходящим для окончательного расчёта со старым аграрным порядком.

---

[81] Примерно этот смысл был заложен в большевистском Декрете о рабочем контроле от 14 ноября.

Крестьянам надоело ждать обещанной Временным правительством земли, а почти в каждой деревне уже были вернувшиеся солдаты, готовые повести односельчан на усадьбы. Погром — насильственное разграбление поместья толпой — стал массовым явлением в центральных черноземных губерниях. В предыдущие месяцы крестьянское движение чаще ограничивалось спорами об аренде, конфискацией скота и организованным захватом пахотных земель через деревенские комитеты. В Тамбовской губернии были сожжены и разорены сотни усадеб; цель, по словам самих крестьян, состояла в том, чтобы «выгнать бар». Волна разрушений, по-видимому, началась с убийства князя Бориса Вяземского, владевшего несколькими тысячами гектаров в Усманском уезде Тамбовской губернии. С весны крестьяне требовали снизить арендную плату и вернуть им сто гектаров лучшего пастбища, отобранного князем в наказание за участие в революции 1905 года. В обоих требованиях Вяземский отказал. 24 августа около пяти тысяч крестьян из соседних деревень заняли имение. Подкрепившись водкой из княжеских погребов и вооружившись вилами и винтовками, они отбили казачий отряд, арестовали Вяземского и устроили самосуд, постановив отправить его на фронт, «чтобы научился воевать, как крестьяне». Но раздавались и крики: «Убить князя, надоел он нам!» Пьяная толпа расправилась с ним прежде, чем его успели довезти до станции. Затем усадебный дом разгромили, скот и инвентарь поделили и увезли по деревням, а пахотную землю перепахали.[94]

Подобные погромы прокатились по десяткам имений не только Тамбовской, но и соседних Пензенской, Воронежской, Саратовской, Казанской, Орловской, Тульской и Рязанской губерний. В одной Пензенской губернии только в сентябре-октябре было сожжено или разорено около 250 усадеб — пятая часть всех. Один агроном оставил яркое описание разгромленных имений Саратовской губернии осенью 1917 года:

> Что касается усадебных построек, они бессмысленно разрушены, стоят одни стены. Больше всего пострадали окна и двери; в большинстве имений от них не осталось следа. Весь транспорт уничтожен или увезён. Громоздкие машины — паровые молотилки, локомобили, жатки — почему-то вытащены наружу и брошены вдоль дорог и в полях. Сельскохозяйственные орудия также разобраны. Всё, что могло пригодиться в крестьянском хозяйстве, просто исчезло.

Не избежала крестьянского гнева даже Ясная Поляна — имение Толстого в Тульской губернии. Софья Андреевна, вдова писателя, старая и почти слепая, телеграфировала Керенскому с просьбой о помощи, а дочери укладывали книги и рукописи отца в деревянные ящики и складывали их в гостиной, в темноте ожидая прихода толпы. Они вооружились ножами и молотками, готовые в случае необходимости защищать жизнь. Но мародёрствующие крестьяне, увидев, что дом не освещён, решили, что его уже разгромили, и пошли к следующей усадьбе.[95]

Этот окончательный расчёт с помещиками обычно происходил одновременно с установлением Совета в деревне или волостном центре. Крестьяне воспринимали Советы как осуществление своей давней мечты о *воле* — прямом самоуправлении деревень без вмешательства помещиков или государства. Деревенские Советы были, по сути, теми же общинами в более революционной форме. Советское собрание почти не отличалось от открытого схода общины, разве что белобородых патриархов теперь теснили более молодые и грамотные крестьяне вроде Семёнова, помогавшего создавать Совет в Андреевском. Крестьянские Советы часто вели себя как деревенские республики, почти не считаясь с приказами центральной власти. Многие содержали собственную милицию и создавали свои суды, некоторые имели даже собственные флаги и эмблемы. Почти везде существовало добровольное ополчение — Красная гвардия, организованная молодыми крестьянами, недавно вернувшимися из армии, чтобы защищать революционную деревню и её границы.[96]

* * *

Массы рабочих и крестьян неуклонно двигались к своим местным представлениям о советской власти. Только советское правительство могло рассчитывать на сколько-нибудь реальный авторитет в стране. Так было ещё со времени Февральской революции. Но вновь и вновь советские лидеры предпочитали этого не замечать: догматическая вера в необходимость «буржуазной стадии революции» привязала их к безнадёжной задаче сохранения коалиции, и всякий раз, когда улица поднималась под лозунгом советской власти, они затыкали уши. И вот теперь, после корниловского кризиса, казалось, настал момент, когда

социалистические партии могли совершить решительный разрыв и создать собственное правительство. Кадеты, главный буржуазный партнёр коалиции, были полностью дискредитированы поддержкой «контрреволюционного» генерала; сами социалистические партии их рядовые сторонники тянули к советской власти. В первой половине сентября возникла возможность объединения всех крупных социалистических сил — от народных социалистов справа до большевиков слева — ради правительства, опиравшегося исключительно на Советы и другие демократические организации. Это был уникальный исторический момент, мимолётный шанс повести революцию иным путём. Если бы им воспользовались, Россия могла бы стать социалистической демократией, а не коммунистической диктатурой; и тогда кровавая гражданская война, к осени 1917 года, вероятно, уже неизбежная, могла бы длиться недели, а не годы.

Все три основные советские партии в недели после Корнилова двигались к идее социалистического правительства или, по крайней мере, решительного разрыва с буржуазией. Левое меньшевистское крыло Мартова, выступавшее за полностью социалистическое правительство, уверенно набирало поддержку в партийных низах. Под их давлением Центральный комитет меньшевиков 1 сентября обязался добиваться «однородного демократического правительства». Левые эсеры также усиливались и после кризиса фактически оформились как отдельная партия. Их три главных требования — социалистическое правительство на основе Советов, немедленная конфискация помещичьих земель и прекращение войны — идеально соответствовали настроениям эсеровских низов, массы крестьян и солдат. Но разочарование в Керенском и Чернове было настолько велико, что многие вообще уходили от эсеров прямо к большевикам. Саратовский губернский Совет, в самой вотчине эсеров, в сентябре стал большевистским.[97]

Большевики тоже приближались к идее социалистической коалиции на основе Советов. Каменев, конечно, выступал за неё всегда. Он всё время боролся за то, чтобы большевистская кампания оставалась внутри советского движения и демократических институтов Февраля. По его мнению, страна не созрела для большевистского восстания, а попытка его поднять неизбежно закончится гражданской войной и поражением

партии — повторится Парижская коммуна. Большевикам, считал он, оставалось продолжать борьбу за поддержку в Советах, городских думах, а затем и в Учредительном собрании через демократические выборы. Одновременно следовало убедить меньшевиков и эсеров разорвать коалицию и вместе с большевиками образовать социалистическое правительство.

До корниловского кризиса Ленин категорически отвергал любой компромисс с советскими руководителями. После июльских дней он отказался от надежды прийти к власти через Советы: по его мнению, Временное правительство было захвачено «военной диктатурой», ведущей «гражданскую войну» против пролетариата; Советы утратили революционный потенциал и их, «как овец на бойню», вели лидеры, стремившиеся умиротворить «контрреволюцию». Оставалось отказаться от лозунга «Вся власть Советам!» и поднять вооружённое восстание, чтобы передать власть другим пролетарским органам под руководством большевистской партии. Характерно отношение Ленина к Советам, именем которых затем будет основан его режим: всякий раз, когда Советы переставали служить интересам партии, он был готов их отбросить. Совершенно ошибочно, например, утверждение Исаака Дойчера, будто Ленин намеревался сделать съезд Советов конституционным источником суверенной власти, подобным английской Палате общин, а большевики должны были править через него как западная парламентская партия.[82] Ленин не был советским конституционалистом — это подтверждают все его действия после Октября. В его схеме Советы всегда должны были подчиняться партии. Даже в «Государстве и революции», якобы наиболее «либертарианской» его теоретической работе, завершённой именно тогда, Ленин подчёркивал необходимость сильного и репрессивного партийного государства — Диктатуры пролетариата — на переходном этапе к коммунистической утопии, когда «буржуазное государство» должно быть разбито. О Советах он почти не говорил.[98]

---

[82] Характерно, насколько многие марксисты поколения Дойчера, включая Э. Х. Карра, склонны были видеть западную демократическую систему как по природе авторитарную, а советский режим как по природе демократический. О «советском конституционализме» Ленина см.: Deutscher, *The Prophet Armed*, 290-291.

Однако после корниловского кризиса, когда советские руководители сдвинулись влево, даже Ленин был готов рассмотреть компромисс. Он не отказался от конечной цели — большевистской диктатуры. «Наша партия, — заверял он левое крыло 1 сентября в статье «О компромиссах», — стремится к политическому господству для себя». Но левый поворот Советов, выгодный партии, вновь открывал возможность прийти к советской власти мирным путём. В любом правительстве, основанном на Советах, большевики теперь, скорее всего, стали бы доминирующей силой, и именно поэтому Ленин допускал то, что по сути называл «возвращением к доиюльскому требованию всей власти Советам». Если советские лидеры согласятся взять власть, большевики откажутся от курса на вооружённое восстание и будут бороться за власть внутри самого советского движения. Но смысл ленинского предложения оставался ясным: если они откажутся, партия должна готовиться к захвату власти.[99]

Судьба России теперь зависела от поведения советских лидеров на Демократическом совещании. Это был момент решающего испытания их общенационального руководства — и они его не выдержали. Совещание проходило в Александринском театре, что оказалось подходящей декорацией, поскольку закончилось фарсом. Сразу обозначились три политические группы: правые — за коалицию с кадетами; центр — за коалицию с буржуазией, но без кадетов; левые — за социалистическое правительство, основанное либо на Советах, либо шире на демократических организациях, представленных на совещании. Но при голосовании началась полная путаница. Сначала конференция 766 голосами против 688 поддержала общий принцип коалиции с буржуазией. Затем приняла две поправки, исключавшие из такой коалиции кадетов. Это настолько возмутило правых, что во втором голосовании по исходной резолюции они объединились с левыми и провалили её 813 голосами против 183. Четыре дня дебатов завершились без какого-либо решения по жизненно важному вопросу, ради которого совещание и созывалось. Это был не первый и не последний случай в короткой и прерывистой истории русской демократии, когда её руководителям оказались не по силам элементарные навыки парламентского принятия решений; но, пожалуй, никогда последствия не были столь судьбоносны.

Для разрешения правительственного кризиса поспешно созвали чрезвычайную делегацию участников. В ней преобладали эсеровские и меньшевистские руководители, сторонники коалиции, и вопреки ясному голосованию совещания они немедленно начали переговоры с кадетами. 24 сентября соглашение было достигнуто, а на следующий день Керенский объявил новый кабинет. В сущности это был тот же компромисс, что и Вторая коалиция июля: умеренные социалисты формально имели большинство портфелей, кадеты контролировали ключевые посты. Но Третья коалиция не обладала даже тем небольшим министерским талантом, который имела предшествующая. Она состояла из второстепенных кадетов и малоизвестных провинциальных трудовиков без серьёзного опыта общегосударственного управления. Социалисты хотели сделать кабинет ответственным перед Предпарламентом — искусственным и в итоге бессильным органом, созданным Демократическим совещанием в тщетной попытке придать республике хоть какую-то легитимность до Учредительного собрания; Плеханов называл его «избушкой на курьих ножках». Но кадеты заставили отказаться от этого требования как от цены своего участия в коалиции. Таким образом, Временное правительство юридически оставалось верховной властью до созыва Учредительного собрания.[100] Но доживёт ли это новое опереточное правительство хотя бы до него? Не имея фактической власти, оно оказалось неспособно проводить сколько-нибудь значимые законы и надеялось лишь продержаться до ноябрьских выборов. Шесть недель выживания — вот весь масштаб его крошечных амбиций. Оно продержалось четыре.

Провал Демократического совещания стал публичным признанием политического банкротства советских вождей. После окончательного отказа брать власть поддержка меньшевиков и эсеров резко рухнула. К концу сентября меньшевистская партия в Петрограде практически перестала существовать: последнюю общегородскую конференцию не удалось провести из-за отсутствия кворума. Меньшевистских лидеров удерживала в коалиции не только жёсткая марксистская догма, но и более глубокая неспособность понять социальные и политические силы, разворачивавшиеся в 1917 году. «Почти с самого начала, — пишет крупнейший историк меньшевиков Лео Хаймсон, — они мужественно пытались овладеть хаосом, который постепенно поглотил их. Ничто в

происходившем не было знакомым и ничто не развивалось согласно ожиданиям». Они не увидели радикализации собственной базы — промышленных рабочих — и того, что только советское правительство могло рассчитывать на настоящий авторитет среди них. Ослеплённые приверженностью государству и необходимостью любой ценой защищать принцип коалиции, меньшевики перестали мыслить и действовать как революционеры, а растущую радикальность рабочих и поддержку большевиков объявляли проявлением их «невежества» и «незрелости». Это лишь укрепляло их догматическую уверенность, что Советы не готовы к власти.[101]

Лидеры эсеров заблуждались сходным образом, наивно полагая, что крестьянское требование радикальной земельной реформы — фундамент самой эсеровской партии — можно отложить до конца войны и решения вопроса о власти Учредительным собранием. Крестьянам всё больше было безразлично, чем закончится война и какая форма национального правительства возникнет: они хотели мира, земли и свободы, выраженных в *воле* автономных деревенских комитетов и Советов. Это особенно ярко проявится в неудачной борьбе эсеров 1918 года за отмену Брест-Литовского мира и попытке поднять волжских крестьян на защиту Учредительного собрания после его разгона большевиками.

Неудача эсеров, как и меньшевиков, была прежде всего неудачей руководства. Обе партии были безнадёжно расколоты по двум главным вопросам 1917 года: что делать с войной и где проводить границу между политической и социальной революциями. Правые руководители стояли за оборончество и придавали большее значение политической революции; левые были твёрдо за мир и радикальные социальные реформы. При историческом наследии России и огромной культурной пропасти между интеллигенцией и массами, возможно, вообще не существовало реальной возможности удержать в 1917 году политическую революцию в европейской традиции. Но социалистическая демократия, возможно, всё же могла стабилизироваться, если бы советские лидеры согласились в сентябре на коалицию с большевиками — и если бы Ленин затем согласился уважать такую коалицию. Это, конечно, очень большие «если». Левые эсеры в конце концов заключили одинокий союз с большевиками в октябре, хотя

к тому моменту Ленин уже не собирался обращаться с ними как с равными. Левые меньшевики оказались совсем в тупике. Их лидер Мартов так и не смог заставить себя войти в союз со своим старым соперником Лениным, хотя именно к этому логически вёл его разрыв с оборонцами и именно этого хотели многие сторонники. Партийный лоялист до конца, Мартов остался на тонущем корабле меньшевизма.

Троцкий называл Мартова «Гамлетом демократического социализма» — и это почти исчерпывает его характеристику. Как и многие ветераны социалистического движения, оказавшиеся во главе Советов в 1917 году, Мартов был слишком хорошим интеллектуалом, чтобы стать успешным политиком. Его сдерживали собственная честность и философский подход к политике. Союзников он выбирал по цельности их мировоззрения, а не по своевременности или практической полезности их политики. Именно поэтому он остался с меньшевиками и не пошёл на тактический союз с большевиками в сентябре: основные марксистские принципы меньшевизма для него были важнее чисто политических доводов в пользу союза. Эта высоконравственная позиция впоследствии принесла Мартову много похвал в среде социалистической интеллигенции; говорили, что даже Ленин в 1921 году признался, что его самое большое сожаление — «Мартов не с нами. Какой удивительный товарищ, какой чистый человек!» Но столь благородные принципы — смертельная ноша для революционного вождя; в случае Мартова они делали его мягким и нерешительным именно тогда, когда требовалось противоположное.[102]

Такая же интеллектуальная нерешительность была характерна для многих советских лидеров 1917 года — и в этом смысле всех их можно назвать Гамлетами демократического социализма. Чернов был столь же трагической фигурой в эсеровской партии. Как Мартов, он был блестящим интеллектуалом и партийным теоретиком, но совершенно не обладал качествами успешного революционного вождя. У него не было той жёсткости внутреннего решения и воли, той одержимой целеустремлённости, которая позволяет проводить политику даже ценой раскола собственной партии, и не было главного инстинкта — почувствовать момент, когда следует ударить и брать власть. В этом заключалось решающее различие между Черновым и Лениным — и на этом различии повернулась судьба России.

* * *

Когда план Каменева о социалистической коалиции рухнул вместе с Демократическим совещанием, Ленин вернулся к кампании за немедленное вооружённое восстание. Ещё накануне совещания, находясь в финляндском подполье, он написал Центральному комитету два письма. Большевики, утверждал Ленин, «могут и должны взять государственную власть в свои руки». Могут — потому что партия уже получила большинство в Московском и Петроградском Советах, а этого «достаточно, чтобы повести за собой народ» в любой гражданской войне, если партия у власти немедленно предложит мир и отдаст землю крестьянам. Должны — потому что ожидание Учредительного собрания даст «Керенскому и компании» время предупредить захват власти: либо сдать Петроград немцам, либо отложить само Учредительное собрание. Демократическое совещание следовало осудить: оно представляет «только соглашательские верхи буржуазии. Нельзя обманываться цифрами выборов: выборы ничего не доказывают… Большинство народа на нашей стороне». Напомнив товарищам марксовскую формулу «восстание есть искусство», Ленин заключал: «Было бы наивно ждать “формального” большинства большевиков. Ни одна революция этого не ждёт… История не простит нам, если мы не возьмём власть сейчас».[103]

Эти два письма пришли в Центральный комитет 15 сентября. Для остальных большевистских лидеров они были, мягко говоря, крайне неудобны: «Мы все ахнули», — вспоминал Бухарин. Демократическое совещание только началось, и руководство всё ещё придерживалось примирительной линии Каменева. Было даже решено сжечь все копии писем, кроме одной, чтобы они не попали к рядовым большевикам и не вызвали выступления. Центральный комитет продолжил игнорировать советы Ленина и печатал вместо них его прежние статьи, где он поддерживал линию Каменева. Ленин пришёл в ярость. Всё ещё опасаясь возвращаться в Петроград — Керенский приказал арестовать его на Демократическом совещании, — он переехал из Финляндии в Выборг, примерно в восьмидесяти милях от столицы, чтобы быть ближе. В последующие недели он обрушил на Центральный комитет и низовые партийные организации шквал нетерпеливых писем, полных резких и оскорбительных фраз, густо подчёркнутых, в которых требовал немедленно начать вооружённое восстание. Он осуждал

«парламентскую тактику» большевистских лидеров и приветствовал перспективу гражданской войны — «острейшей формы классовой борьбы», — которую они пытались предотвратить, ошибочно полагая, что, как Парижская коммуна, обязательно будут разбиты. Напротив, настаивал Ленин, силы против большевиков будут не сильнее корниловских, а любые «реки крови» обеспечат партии «несомненную победу».

Наконец 29 сентября, на пике раздражения, Ленин нацарапал яростную тираду против большевистских руководителей, назвав их «жалкими изменниками пролетарскому делу». Они хотели отложить передачу власти до съезда Советов, назначенного на 20 октября, тогда как момент уже созрел, а любое промедление только позволит Керенскому применить военную силу. Рабочие, утверждал Ленин, прочно стоят за большевиками; крестьяне начали собственную войну против усадеб, что исключает опасность «восемнадцатого брюмера», то есть мелкобуржуазной контрреволюции вроде 1849 года; а забастовки и мятежи в остальной Европе — «неоспоримые симптомы… того, что мы накануне мировой революции». «Упустить такой момент и “ждать” съезда Советов было бы полнейшим идиотизмом или прямой изменой»; если большевики так поступят, они «покроют себя позором и погубят себя как партию». В качестве последнего ультиматума Ленин пригрозил даже выйти из Центрального комитета, чтобы свободно перенести кампанию за вооружённое восстание в партийные низы, которым предстояло собраться на конференцию 17 октября. «Я глубоко убеждён, что если мы “дождёмся” съезда Советов и упустим нынешний момент, мы погубим революцию».[104] Ленинская «ярость» достигала предела.

Почему Ленин так настаивал на вооружённом восстании до съезда Советов? Всё указывало, что время работает на большевиков: страна распадалась, Советы смещались влево, предстоящий съезд почти наверняка поддержал бы передачу власти Советам. Зачем преждевременно поднимать восстание, рискуя гражданской войной и поражением? Многие большевистские лидеры предлагали приурочить захват власти к самому съезду. Так думали Троцкий и ряд других большевиков Петроградского Совета. Они хорошо знали настроения столицы и должны были играть ведущую роль в любом выступлении, поэтому их мнение имело большой вес. Эти руководители сомневались,

что партия пользуется достаточной поддержкой для восстания от собственного имени, но считали, что оно может успешно пройти от имени Советов. Раз уж большевики строили агитацию на лозунге советской власти, им нужен был съезд, чтобы легитимировать выступление и представить его делом всего Совета, а не одной партии. Согласившись на такую линию, которая задерживала восстание всего на несколько дней, Ленин мог бы привлечь к себе широкую поддержку против Каменева и Зиновьева, категорически отвергавших саму идею выступления. Но Ленин оставался непреклонен: власть должна быть захвачена до открытия съезда. Он настаивал на этом до самого кануна съезда.

Свою спешку Ленин оправдывал тем, что любое промедление позволит Керенскому организовать репрессии: Петроград якобы будет сдан немцам, правительство перенесут в Москву, сам съезд Советов запретят. Разумеется, это было вздором. Керенский был совершенно неспособен на такие решительные действия, и, как справедливо отмечал Каменев, правительство не имело сил осуществить даже контрреволюционные намерения, будь они у него. Судя по другим ленинским текстам этого времени,[83] он сознательно преувеличивал опасность репрессий, чтобы усилить аргументы за превентивное восстание; возможно, конечно, что он, живя с июля в Финляндии, настолько оторвался от реальной ситуации, что сам этому верил. В начале октября в прессе действительно ходили слухи об эвакуации правительства из столицы, и они могли укреплять его убеждение, будто гражданская война уже началась и военная победа достанется тому, кто ударит первым. «On s’engage et puis on voit».

Но существовал и другой мотив требовать восстания до съезда Советов — не связанный напрямую с военной тактикой. Если бы передача власти произошла голосованием самого съезда, результатом почти наверняка стало бы коалиционное правительство всех советских партий. Большевики могли получить наибольшую долю министерских мест, если их распределять пропорционально, но всё равно должны были бы править вместе как минимум с левыми, а возможно и со всеми

[83] В последние дни перед 25 октября Ленин подчёркивал, что переворот военного типа непременно удастся даже при участии очень небольшого числа дисциплинированных бойцов, потому что силы Керенского чрезвычайно слабы.

эсерами и меньшевиками. Это стало бы триумфальной политической победой Каменева, главного ленинского соперника внутри партии; именно он, вероятно, оказался бы центральной фигурой такой коалиции. При нём центр власти оставался бы в съезде Советов, а не в партии; возможно, возобновились бы даже попытки объединения большевиков и меньшевиков. Сам Ленин рисковал остаться без должности — либо по требованию меньшевиков и эсеров, либо потому, что сам не пожелал бы с ними сотрудничать. Тогда он оказался бы на левом краю собственной партии. Но если большевики захватят власть прежде съезда, политическим хозяином станет Ленин. Большинство съезда, скорее всего, одобрит свершившийся факт, тем самым дав партии право сформировать своё правительство. Если меньшевики и эсеры смирятся с насильственным захватом власти как с *fait accompli*, для них можно будет найти несколько второстепенных должностей. Если нет — им останется лишь уйти в оппозицию, оставив большевиков править в одиночку. Так будет сорван коалиционный курс Каменева; Ленин получит свою Диктатуру пролетариата; а то, что страну неизбежно ждёт гражданская война, Ленин принимал — и, возможно, даже приветствовал — как часть революционного процесса.

Вернувшись в столицу, где он тайно жил в квартире партийной работницы Маргариты Фофановой, Ленин 10 октября созвал секретное заседание Центрального комитета большевиков. Именно там было принято решение готовить вооружённое восстание. Маленькая ирония истории: событие произошло в квартире меньшевика Николая Суханова. Его жена Галина Флаксерман была старой большевичкой — можно представить семейные споры — и велела своему любопытному мужу, как, видимо, нередко бывало, не приходить с работы из Смольного домой той ночью. Ленин прибыл поздно, в парике. Коллонтай вспоминала: «Он был точь-в-точь лютеранский пастор». Войдя, он на мгновение снял парик, а затем всё заседание поправлял его: в спешке забыл пудру, и парик сползал с блестящей лысины. Из двадцати одного члена Центрального комитета присутствовали только двенадцать. Важнейшее решение в истории большевистской партии — поднять вооружённое восстание — таким образом было принято меньшинством ЦК: десять голосов против двух — Каменева и Зиновьева. По сути это был ленинский «переворот» внутри самой

большевистской партии.[84] И снова Ленин сумел навязать волю остальным лидерам. Без его решающего личного влияния трудно представить большевистский захват власти.

Под утро, когда заседание подходило к концу, Ленин поспешно написал историческую резолюцию карандашом на клочке бумаги, вырванном из детской тетради. Конкретных дат и тактики она не содержала, но признавалось, «что вооружённое восстание неизбежно и вполне назрело», а партийным организациям предписывалось поставить его «на порядок дня». После закрытия заседания жена Суханова вынесла самовар и накрыла стол сыром, колбасой и чёрным хлебом. Большевики немедленно набросились на еду.[105] Заговор разжёг аппетит.

[84] Партийная конференция большевиков, назначенная на 17 октября, примерно в это же время таинственным образом была отменена — несомненно, также по настоянию Ленина. Настроения низов показывали, что она могла бы выразить серьёзное сопротивление идее вооружённого восстания. В следующие дни Каменев и Зиновьев возглавили оппозицию, требуя созыва конференции. Для полной реконструкции этой внутрипартийной борьбы всё ещё не хватает ключевых архивных материалов.

ГЛАВА 11

РЕВОЛЮЦИЯ ЛЕНИНА

i. Искусство восстания

Некоторые из самых драматических сцен революции разыгрались в школе для дворянских дочерей. Смольный институт — огромный охристый классический дворец на окраине столицы — после падения царя почти пустовал. После июльских дней Исполком Совета вынужден был перенести туда штаб из более престижного Таврического дворца. С этого момента Смольный, по выражению Суханова, стал «внутренней ареной революции». В белоколонном бальном зале, где прежде воспитанницы отрабатывали вальсы и польки, в октябре собрался II Всероссийский съезд Советов, провозгласивший советскую власть.

В Смольном не было спокойного архитектурного изящества Таврического дворца. Как многие женские учебные заведения XIX века, он был суров и практичен — скорее напоминал тюрьму, чем место, призванное расширять ум и возвышать дух. Эта суровость соответствовала изменившемуся настроению его революционных жильцов. Внутри царила атмосфера напряжённости, бессонных ночей и лихорадочной импровизации. Джон Рид писал, что Смольный «гудел, как гигантский улей». У внешних ворот стояли хмурые вооружённые часовые и тщательно проверяли пропуска каждого входящего; однажды даже Троцкого не пустили, когда он не смог найти свой пропуск. Бесконечные сводчатые коридоры, тускло освещённые электрическими лампами, были заставлены отдыхающими солдатами и пачками газет. Люди непрерывно спешили туда-сюда, тяжёлые сапоги громко отдавались по каменным полам. Воздух был густ от табачного дыма; полы покрывал мусор; повсюду пахло мочой. На стенах безуспешно висели объявления: «Товарищи, ради здоровья соблюдайте чистоту!» Никто не обращал внимания. Казарменные классы занимали конторы революционных организаций. На дверях всё ещё оставались старые эмалированные таблички с названиями учебных кабинетов, но поверх них висели грубые бумажные вывески новых хозяев: Исполнительный комитет Петроградского Совета, Бюро фабрично-заводских комитетов,

фракция какой-нибудь партии. Центром жизни был роскошный бальный зал с люстрами, где проходили шумные заседания Совета; над президиумом на стене зияло пустое место, откуда сняли портрет царя. Внизу, в бывшей столовой воспитанниц, всегда толпились голодные рабочие и солдаты; многие приходили в Смольный только поесть. Они жадно поглощали пищу, прихлёбывали горячий чай из жестяных кружек и выкрикивали ругательства, которых юные дворянки Смольного не могли бы даже вообразить.[1]

С Центральным комитетом большевиков, обосновавшимся в комнате 36, Смольный стал физическим вызовом существованию Временного правительства. Решение 10 октября поставило вооружённое восстание в партийную повестку. Но даты не было. Большинство большевистских лидеров всё ещё возражало против ленинского требования немедленного выступления; некоторые вообще отодвигали его в неопределённое будущее. «Резолюция 10 октября — одна из лучших, когда-либо принятых Центральным комитетом, — говорил Михаил Калинин, — но когда восстание произойдёт, неизвестно — может быть, через год». Главной причиной осторожности оставалось двойственное настроение улицы. Все ощущали усталость и недовольство «керенщиной». Война слишком затянулась, людям надоело ночами стоять в очередях за хлебом, на заводах и в казармах широко распространилось чувство, что статус-кво больше невыносим. Но выйдут ли петроградские рабочие и солдаты на восстание? Многие помнили июльские дни, увольнения и репрессии после них и не хотели рисковать новым поражением. Военная организация большевиков, лучше других чувствовавшая настроение рабочих окраин, вновь и вновь предупреждала: рабочие и солдаты крайне недовольны и сочувствуют лозунгам партии, но ещё не готовы выступать по её призыву. Зато они могут выйти по призыву Совета, если тому будет угрожать опасность.

Не желая ждать Всероссийского съезда Советов, Ленин возлагал надежды на Областной съезд Советов Северной области, проходивший в Петрограде 11–13 октября. Как вспоминал Лацис, «план состоял в том, чтобы он объявил себя правительством, и это стало бы началом». Ленин имел тесные связи с большевистскими руководителями Прибалтики: именно они созвали Северный областной съезд и добились его проведения в Петрограде, а не в Гельсингфорсе. Проведя лето в

Прибалтике, Ленин начал рассматривать её как важнейший плацдарм революции в России и в остальной Европе. Особенно его впечатлял революционный пыл латышей: они составляли его личную охрану, а в первые годы советской власти — значительную часть ведущих чекистов и элиты Красной армии: Лацис, Эйдук, Петерс, Смилга. Большевики в Риге фактически контролировали Совет уже с августа, и Ленин рассчитывал, что оттуда принцип советской власти будет импортирован в Россию.[85] В письме Смилге, одному из ближайших соратников в период летнего подполья, Ленин прямо представлял петроградское восстание как военное вторжение из Прибалтики. «Мне кажется, — писал он 17 сентября, — что в полном нашем распоряжении могут быть только войска в Финляндии и Балтийский флот и что только они способны сыграть серьёзную военную роль». Северный съезд должен был дать сигнал. Смилга организовал его по ленинскому настоянию и стал председателем. Большевистские делегаты приехали вооружёнными и явно ожидали, что съезд станет центром восстания. Но Ленин снова потерпел неудачу: большинство приняло осторожную резолюцию Каменева — предоставить создание советского правительства Всероссийскому съезду, который должен был открыться 20 октября. Даже в Прибалтике, любимом ленинском авангарде, массовой поддержки партийного восстания не оказалось.[2]

К тому же выводу вела информация, представленная на заседании Центрального комитета 16 октября. Представители Военной организации, Петроградского Совета, профсоюзов и фабзавкомов предупреждали о рисках выступления до съезда. Крыленко изложил позицию Военной организации: боевой дух солдат падает; «их надо чем-то уколоть — например, угрозой разрыва гарнизона, — чтобы они вышли». Володарский от Петроградского Совета подтвердил «общее впечатление: никто не готов сам броситься на улицу, но все выйдут, если позовёт Совет». Колоссальная безработица и страх увольнения сдерживают рабочих, говорил Шмидт от профсоюзов. Шляпников добавил, что даже в союзе металлистов, где влияние партии доминировало, «большевистское восстание непопулярно, и даже слухи о нём вызывают панику». Каменев сделал логичный вывод: «нет

[85] Так что трудно утверждать, будто советская власть всегда экспортировалась только из России.

никаких данных, что мы должны начинать борьбу до 20-го [дня открытия съезда]». Ленин, однако, настаивал на немедленной подготовке и не видел причины считаться с осторожными донесениями о настроениях петроградских масс: для военного переворота, именно так он понимал захват власти, требовалась небольшая сила — если она хорошо вооружена и дисциплинирована. Влияние Ленина было столь огромно, что он добился своего. Контррезолюция Зиновьева, запрещавшая начинать восстание до консультации с большевистскими делегатами съезда, была отвергнута 15 голосами против 6. Сравнительно небольшой перевес по сравнению с 19 голосами против 2 за гораздо более расплывчатый ленинский призыв к восстанию «в ближайшем будущем» показывает: у многих лидеров были серьёзные сомнения по поводу выступления до съезда, просто не хватало смелости открыто встать против великого диктатора.[3]

После заседания Каменев объявил, что не может принять резолюцию, которая, по его убеждению, ведёт партию к гибели, и подал в отставку из ЦК, чтобы публично продолжить борьбу. Он также потребовал созыва партийной конференции, которую Ленину удалось отложить: почти не сомневались, что конференция выступит против восстания до съезда Советов. 18 октября Каменев изложил взгляды в горьковской «Новой жизни»: «В настоящий момент инициирование вооружённого восстания до съезда Советов и независимо от него было бы недопустимым и даже гибельным шагом для пролетариата и революции». Теперь тайна вышла наружу: слухи о большевистском перевороте ходили неделями, а заговор наконец оказался публично раскрыт. Троцкому пришлось отрицать слухи в Петроградском Совете, но на этот раз его выступление было не слишком убедительным. Ленин пришёл в бешенство и — в предвестии будущих чисток — обрушился на Каменева и Зиновьева в большевистской печати. «Штрейкбрехеры», «предательство», «изменники», «клеветническая ложь», «преступление» — такими словами были полны его письма 18 и 19 октября. «Господин Зиновьев и господин Каменев» — уже само обращение было высшим оскорблением, они больше не были «товарищами» — должны быть «исключены из партии».[4] Так действует тиран.

Публикуя эти письма, Ленин выносил кампанию за восстание в публичное пространство. Он всегда строил аргумент за превентивный захват власти — до съезда — на опасности, которую либо преувеличивал, либо, скорее всего, изобретал: Временное правительство якобы не позволит съезду собраться. Все донесения с мест говорили одно: петроградские рабочие и солдаты не выйдут по зову партии, но многие выступят, если Совету будет угрожать опасность. Так было со времени корниловского кризиса, когда впервые укоренилась массовая мысль о «контрреволюции», скрывающейся в тени режима Керенского. Если большевики хотели снова вывести сторонников на улицу, им нужно было убедить людей, что Совет под угрозой. Противники сделали это за них.

Когда большевистский заговор стал общеизвестным, советские руководители решили отложить съезд до 25 октября. Они надеялись, что дополнительные пять дней позволят собрать сторонников из далёких провинций. В действительности они лишь дали большевикам больше времени для окончательной подготовки. Более того, отсрочка придала правдоподобие обвинению, будто советские лидеры вообще собираются сорвать съезд. Действительно, они уже сожалели, что созвали его: когда решение принималось, на Демократическом совещании, масштаб поворота к большевикам ещё не был очевиден; теперь же, по мере приближения съезда, становилось ясно, что поражение неизбежно.

Возможно, советским лидерам разумнее было бы сосредоточиться на требовании решительных репрессивных мер против большевистской угрозы. Правда состояла в том, что даже большинство на съезде и бумажные резолюции не защитили бы их от большевистских штыков. Но меньшевики и эсеры психологически не могли пойти на такие меры из-за чувства товарищества с большевистской партией. Они не забывали, что ещё несколько месяцев назад были соратниками в революционном подполье — и не могли представить, что через несколько месяцев сами станут жертвами большевистского террора. Они ограничивались вопросами, призванными поставить большевиков в неловкое положение. Топали ногами и требовали, чтобы большевики открыто объявили планы перед Советом. «Я хочу ответа: да или нет!» — настаивал Дан, будто большевики действительно собирались отвечать.[5]

Поведение самого Керенского было столь же близоруким. В последние недели Временного правительства он всё больше напоминал последнего царя: оба отказывались признавать революционную угрозу собственной власти. У Николая эта беспечность рождалась из безнадёжности и фаталистического смирения; у Керенского — из глупого оптимизма. Национальная популярность первых дней революции вскружила ему голову. Он уверовал в «провиденциальное призвание» вести «народ» к свободе и, подобно царю, запертому в Зимнем дворце, оказался настолько оторван от реального положения людей, что не ставил веру под сомнение. Как Николай, он окружил себя преданными поклонниками, которые не смели говорить правду, и держал кабинет слабым постоянными разговорами о новых перестановках. Он не представлял — или не хотел знать — истинных масштабов собственной непопулярности.

В левой прессе ходил слух, будто Керенский бросил жену и сбежал с какой-то актрисой. Распространяли и ложный слух, что он еврей, что в атмосфере антисемитизма, пронизывавшей революционную эпоху, серьёзно вредило его популярности. Сам Керенский вспоминал, что, покидая Зимний дворец незадолго до захвата власти большевиками, увидел на стене ироническую надпись: «Долой еврея Керенского, да здравствует Троцкий!» Говорили также, будто Керенский любит переодеваться в женскую одежду. В его телосложении и жестах действительно было немало женственного — Гиппиус называла его «девочкой-революционером» — и многим рабочим это казалось признаком слабости, особенно на фоне нарочито мужественного образа большевиков. Позднее возник даже слух, что из Зимнего дворца Керенский якобы бежал в костюме сестры милосердия.[6]

Керенский терял авторитет не только на улицах. Западные союзники, всегда бывшие его главной внешней опорой, после корниловского кризиса тоже отвернулись от него. Британское Министерство иностранных дел явно поверило слухам о его личной жизни. Там дошли до абсурдного убеждения, будто секретарь Керенского Давид Соскис — германский агент и большевик, а сам Керенский собирается заключить сепаратный мир с Германией. Набоков, представитель Временного правительства в Лондоне, полагал,

что британцы решили «умыть руки» и списать Керенского, считая его уже уходящей фигурой после отказа от корниловских реформ.[7]

Даже в демократической интеллигенции, где прежде его превозносили как народного героя, теперь Керенского ненавидели. Его давняя покровительница, поэтесса и хозяйка салона Зинаида Гиппиус, записала 24 октября: «Большевиков никто не хочет, но и за Керенского никто воевать не станет». Это почти исчерпывает положение. Брусилов, который после увольнения с поста главнокомандующего выступал за создание гражданского ополчения против большевиков, не смог найти ни добровольцев, ни денег на наёмников. Большевиков проклинали все, но никто не хотел ничего делать против них. Буржуазия и правые группы больше не желали иметь дела с Временным правительством и даже приветствовали его падение. Защищать его не хотел никто, меньше всех монархисты. Они предпочитали дать большевикам взять власть, рассчитывая, что те долго не продержатся, доведут страну до полной катастрофы, дискредитируют всех социалистов, после чего правые установят собственную диктатуру.[8]

Керенский оставался слеп к собственному падению. Он продолжал верить в поддержку «народа» — разве не был он его заложником? — и отказывался от предупредительных мер против большевистской угрозы. В первой половине октября, когда ещё существовали шансы на успех, никто не попытался занять Смольный, арестовать большевистских лидеров или усилить оборону города. Керенский, по-видимому, считал, что любое большевистское выступление повторит июльский провал. Он даже начал почти молиться о восстании, наивно надеясь, что оно даст ему возможность окончательно расправиться с противником. «Я готов молиться, чтобы это восстание произошло, — говорил он Набокову 20 октября. — У меня сил больше, чем нужно. Они будут полностью разгромлены».[986]

Уверенный в победе, Керенский фактически объявил войну большевикам. Он сообщил о намерении перебросить основную часть Петроградского гарнизона на Северный фронт, где немцы

---

[86] Когда 25 октября Керенский бежал из столицы, на его банковском счёте оставалось небольшое состояние. Скромный размер последнего снятия денег 24 октября показывает, что даже в этот последний час он не ожидал свержения. Его банковская книжка хранится в ГАРФ: ф. 1807, оп. 1, д. 452.

приближались к столице. Как и накануне июльского кризиса, германская угроза казалась ему удобным предлогом избавиться от непокорных солдат; вероятно, он рассчитывал, что попытка распустить гарнизон, как и летом, спровоцирует плохо подготовленное большевистское восстание. Это был роковой просчёт. Он придал правдоподобие большевистскому обвинению, будто в правительственных кругах существует «контрреволюционный заговор» — именно то обвинение, которое требовалось им, чтобы мобилизовать поддержку немедленного выступления. Большевики заявили, что Керенский намерен оставить столицу, сорвать съезд Советов и задушить революцию. Паника достигла предела, когда бывший председатель Думы Родзянко в широко цитировавшейся речи фактически призвал Керенского сделать именно это; газеты вынесли её под заголовком: «К чёрту Петроград!»

В этой раскалённой политической атмосфере Военно-революционный комитет сумел вытеснить власть Временного правительства из Петроградского гарнизона и стать главным организационным центром большевистского восстания. Всё произошло за считаные дни; секрет успеха ВРК заключался в том, что он выступал под видом органа защиты Совета. Комитет был создан в середине октября, первое организационное заседание прошло 20-го. Подобно Комитету борьбы с контрреволюцией, возникшему во время корниловского кризиса, он задумывался как временный орган революционной обороны — и против немцев, и против «контрреволюции». В его бюро на третьем этаже Смольного входили три большевика и два левых эсера; формальным председателем был левый эсер П. Е. Лазимир. Это придавало ВРК вид советской организации, что было важно: солдаты были готовы выступить только по призыву Совета. На деле же ВРК являлся большевистским органом. Настоящими руководителями были Троцкий, Антонов-Овсеенко и балтийский матрос Дыбенко — огромный чернобородый любовник Коллонтай, которая была достаточно старше его, чтобы быть ему матерью. Роль левых эсеров Троцкий называл «камуфляжем», прикрывавшим большевистский план переворота. То, что левые эсеры позволили использовать себя таким образом, красноречиво говорит об их политической наивности. Их стратегические решения направлялись

расплывчатым студенческим революционным романтизмом. Они были ягнятами перед большевистским волком. Когда в первые часы 25 октября ВРК принял решение приступить к захвату власти, обоих левых эсеров на заседании вообще не было.

Угроза отправки на фронт немедленно вызвала общий мятеж в Петроградском гарнизоне. Основная масса солдат отказалась выполнять приказы Генерального штаба и перешла на сторону ВРК, который стал назначать своих комиссаров вместо командиров частей. Солдатские собрания заявляли о готовности «выйти» против Временного правительства, если к этому призовёт Петроградский Совет. Даже некогда верные казачьи полки либо примкнули к мятежу, либо сохраняли нейтралитет. 21 октября ВРК объявил себя верховной властью гарнизона: это был первый акт восстания. Генеральный штаб в последней отчаянной попытке сохранить хоть часть авторитета попытался договориться с ВРК. Но было поздно. Части гарнизона уже фактически подчинялись комиссарам. 23 октября ВРК распространил власть на Петропавловскую крепость, чьи орудия господствовали над Зимним дворцом. За два полных дня до начала вооружённого восстания Временное правительство уже потеряло реальный военный контроль над столицей. Это главное обстоятельство всего переворота: без него невозможно понять лёгкость большевистской победы. К 25 октября важнейшая задача любой успешной революции — захват столичного гарнизона — уже была выполнена; Временное правительство осталось беззащитным; большевикам оставалось лишь войти в Зимний дворец и арестовать министров.

Поразительно, что почти никто из большевистских руководителей не хотел, чтобы восстание началось именно тогда, вплоть до нескольких часов до его начала. До позднего вечера 24 октября большинство Центрального комитета и ВРК не предполагало свергать Временное правительство до открытия съезда Советов на следующий день. Троцкий, фактически руководивший партией в отсутствие Ленина, постоянно требовал дисциплины и терпения. Утром 24-го Керенский распорядился закрыть две большевистские газеты. Троцкий отказался поддаваться на эту «провокацию»: ВРК следует привести в боевую готовность, стратегические пункты города занять как оборонительную меру против дальнейших «контрреволюционных» угроз, но, как он

настаивал днём на собрании большевистских делегатов съезда, «было бы ошибкой использовать хотя бы один броневик, который сейчас защищает Зимний дворец, для ареста правительства… Это оборона, товарищи. Это оборона». Позднее вечером в Петроградском Совете Троцкий заявил — и имел основания так думать, — что «вооружённый конфликт сегодня или завтра, накануне съезда Советов, в наши планы не входит».[10]

Причины не форсировать события в последний момент были очевидны. Большевикам требовалась санкция съезда Советов, чтобы придать захвату власти легитимность: без неё они не могли быть уверены в поддержке солдат и рабочих и даже рисковали столкнуться с их сопротивлением. Делегаты уже прибывали к открытию 25-го, и их состав показывал, что прочное большинство выступит за советскую власть. Что до Временного правительства, то оно становилось всё более временным и, казалось, упадёт от малейшего толчка. Вечером 24-го Предпарламент фактически выразил ему недоверие. Даже Дан и Гоц, прежде наиболее упрямые сторонники коалиции, отвернулись от Керенского и потребовали демократического правительства, ориентированного на мир и радикальные реформы. Они хотели превратить это в историческое воззвание, расклеить по столице в ту же ночь и тем самым успокоить потенциальных восставших, укрепив кампанию за мирное решение вопроса о власти через создание социалистической коалиции. Возможно, было уже слишком поздно: это напоминало попытку отбиться от большевистских пушек бумажными декретами. И всё же даже в эти последние часы сохранялась надежда на компромисс. Вечером 24-го Каменев всё ещё носился по Смольному, добиваясь поддержки резолюции о создании съездом социалистического правительства всех советских партий; эсеры и меньшевики, чьи делегаты заседали далеко за полночь, наконец начинали склоняться к этому плану.

Тем временем большевистское восстание уже набирало ход. Несмотря на призыв Троцкого к дисциплине, оборонительные меры ВРК трудно было удержать от превращения в общее наступление. С наступлением темноты вооружённые группы рабочих-большевиков и солдат хлынули в центр. Правительственные заслоны на мостах, контролировавшие пути с рабочих окраин, заняла Красная гвардия.

Красногвардейцы ставили баррикады и патрулировали улицы на броневиках, тогда как поздние театральные зрители торопились домой. К раннему утру большевистские силы контролировали вокзалы, почту, телеграф, Государственный банк, телефонную станцию и электростанцию. Красная гвардия заняла полицейские участки и начала сама исполнять полицейские функции. В целом восставшие держали почти весь город, кроме центральной зоны вокруг Зимнего дворца и Исаакиевской площади. Запертые в Зимнем министры не контролировали даже свет и телефон. Один большевистский инженер, участвовавший в захвате Николаевского вокзала, вспоминал, как стоял на посту у конной статуи Александра III:

> Ночь была морозная. Северный ветер пробирал до костей. На улицах возле Николаевского вокзала группы инженеров жались друг к другу, дрожа от холода и всматриваясь в тёмную ночь. Лунный свет создавал фантастическую картину. Громады домов казались средневековыми замками, за инженерами тянулись гигантские тени. При этом зрелище предпоследний император словно в ужасе натянул поводья своего коня.[11]



52. Первое Временное правительство в Мариинском дворце. Князь Львов сидит в центре, Милюков — второй справа, Керенский стоит за ним. Обратите внимание: царские портреты Александра II и Александра III ещё не сняты.



53. Редкий момент национального единства: похороны жертв Февральской революции на Марсовом поле в Петрограде, 23 марта 1917 года.



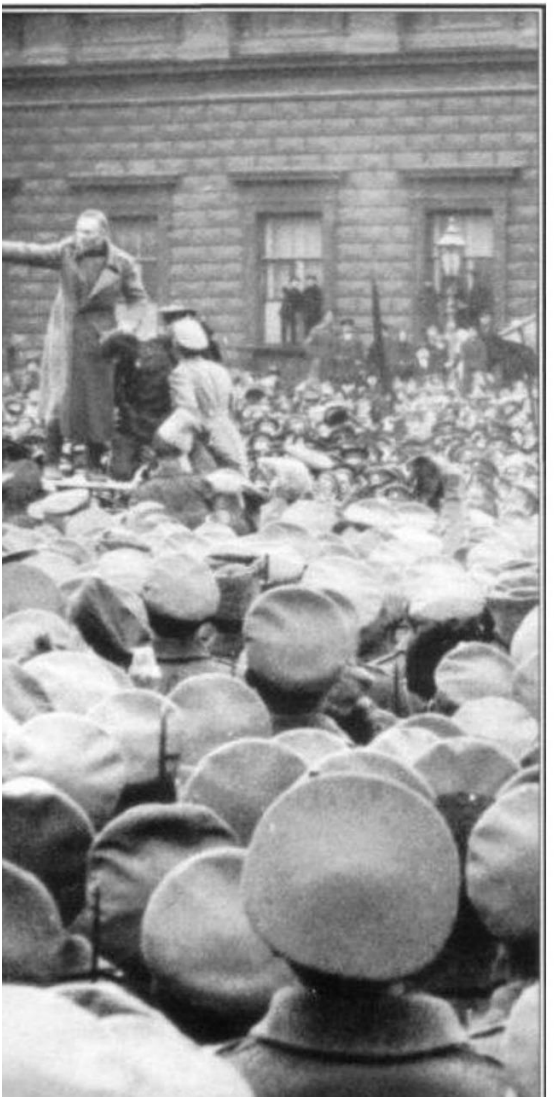
54. Заседание Совета солдатских депутатов в Екатерининском зале Таврического дворца.



55. Бастующие официанты и официантки Петрограда. Главный плакат гласит: «Мы требуем уважения к официантам как к человеческим существам». Три других плаката призывают покончить с унизительной практикой чаевых. Требование уважения к рабочему как к гражданину было заметной чертой многих стачек. В этом контексте показательно, что участники хорошо одеты — их легко принять за буржуазных граждан: это была демонстрация собственного достоинства.



56. Всероссийский съезд крестьянских депутатов в Народном доме в Петрограде, 4 мая. Делегация солдат, стоящая в зале, приветствует депутатов на балконах. На втором балконе слева находятся, слева направо, четыре ветерана эсеровского движения: Виктор Чернов, Вера Фигнер, Екатерина Брешко-Брешковская и Н. Д. Авксентьев.



57. Фёдор Линде ведёт Финляндский полк к Мариинскому дворцу 20 апреля в знак протеста против продолжения войны ради империалистических целей.



58. Керенский в бонапартистской позе во время выступления перед солдатами фронта в середине мая.



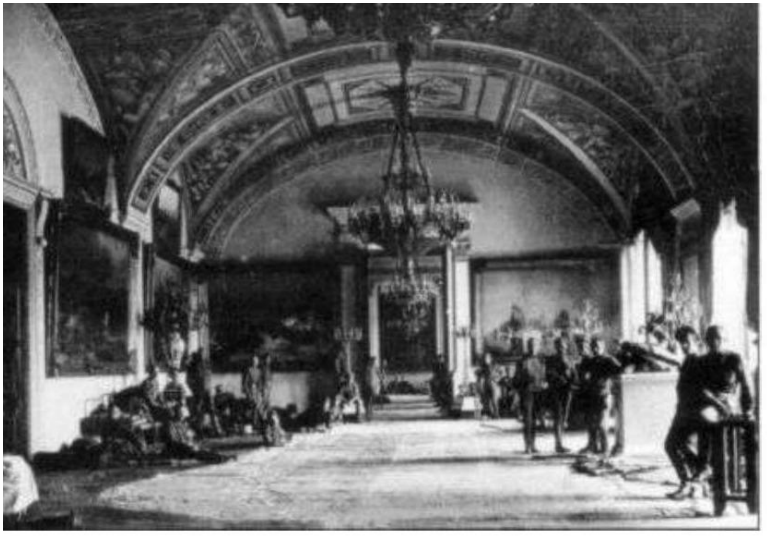
59. Митрополит Никон благословляет Женский батальон смерти на Красной площади в Москве перед отправкой на фронт в июне. Одна из женщин была слишком полной для стандартных армейских брюк и отправилась в бой в юбке.



60. Генерала Корнилова встречают как героя правые члены Союза офицеров по прибытии в Москву на Государственное совещание 12 августа.



61. Участницы Женского батальона смерти ожидают последнего штурма Зимнего дворца, 25 октября 1917 года. Когда «Аврора» дала первый залп, женщины впали в истерику, и их пришлось запереть в подвальном помещении.



62. Другие последние защитники Керенского, забаррикадировавшиеся в Зимнем дворце, ожидают штурма большевистских сил 25 октября.



63. Смольный институт — резиденция Совета и командный центр большевистской партии — в начале октября.



64. Красная гвардия завода «Вулкан» в Петрограде. Обратите внимание на галстуки и костюмы многих бойцов.

Эти первые успехи придали силы призыву Ленина к немедленному захвату власти. Большевистские руководители не хотели повторения июльских дней, когда их собственная первоначальная нерешительность в поддержке инициативы улицы обернулась провалом. По мере того как приходили вести об успехах большевиков, нарастало давление: взять положение под контроль и начать восстание. Вмешательство Ленина оказалось решающим. Запертый в квартире Фофановой, он со всё большим раздражением наблюдал за развитием событий дня. В шесть часов вечера он набросал отчаянное обращение к петроградским партийным организациям, призывая их в ближайшие часы поднять восстание, и велел Фофановой доставить его в Смольный. Съезд Советов должен был открыться на следующий день, и если к тому времени большевики не захватят власть, вся его политическая стратегия рухнет. К десяти часам вечера Ленин больше не мог сдерживаться. Он надел парик и рабочую кепку, обвязал голову бинтом и в сопровождении финского большевика Эйно Рахьи отправился в Смольный. Проезжая по Выборгской стороне в пустом трамвае, Ленин засыпал бедную кондукторшу вопросами о последних событиях и, узнав, что она левая, принялся донимать её советами насчёт революционных действий. От Финляндского вокзала они продолжили путь пешком. Возле Таврического дворца их остановил правительственный патруль, но, по словам Рахьи, принял Ленина, одетого в самое плохое платье, за безобидного пьяного и пропустил.[12] Остаётся только гадать, насколько иначе пошла бы история, если бы Ленина арестовали.

Незадолго до полуночи они наконец добрались до Смольного. Здание сияло огнями, словно океанский лайнер в тёмном ночном море. Туда и сюда носились грузовики и броневики, нагруженные большевистскими солдатами и оружием. У ворот были установлены пулемёты, а красногвардейцы, сгрудившись у костра, проверяли пропуска у желающих войти в военный штаб восстания. Ленин пришёл без пропуска и в своём гриме не был узнан красногвардейцами; ему удалось проникнуть внутрь, лишь протиснувшись мимо них вместе с толпой. Он сразу же направился в комнату 36, где заседала большевистская фракция, и принялся убеждать товарищей в необходимости начать захват власти. Было наспех созвано заседание Центрального комитета, и, хотя протокол его не вёлся, все

присутствовавшие единодушно свидетельствуют, что Ленин решающим образом изменил господствовавшее настроение — от обороны к наступлению. Центральный комитет наконец отдал приказ начать восстание. Принесли карту города, и большевистские руководители, склонившись над ней, наметили главные направления атаки и распределили военные задачи.

В перерыве между обсуждениями Ленин предложил составить список большевистского правительства, который следовало представить съезду Советов на следующий день. Встал вопрос, как назвать новое правительство и его членов. Название «Временное правительство» сочли устаревшим, а называть себя «министрами» показалось слишком бюрократично и респектабельно. Большевики ведь любили видеть себя боевой организацией: они ходили в мужественных чёрных кожанках и армейских сапогах, тогда как большинство других политических партий носили министерские костюмы.[87] Это Троцкий предложил называть министров «народными комиссарами» по примеру якобинцев. Предложение всем понравилось. «Да, это очень хорошо, — сказал Ленин, — пахнет революцией. А само правительство можно назвать „Советом народных комиссаров“». Были выдвинуты кандидатуры на различные посты в кабинете, хотя, пока Керенский ещё не был свергнут, это занятие казалось несколько преждевременным и проходило в шутливом тоне. Ленин растянулся на полу, расслабленный и торжествующий. Он несколько раз пошутил над Каменевым, предупреждавшим, что партия не удержит власть больше двух недель. «Ничего, — съязвил Ленин, — когда через два года мы всё ещё будем у власти, вы будете говорить, что мы не продержимся дольше двух лет».[13]

* * *

Немногие исторические события столь глубоко искажены мифом, как события 25 октября 1917 года. Распространённый образ большевистского восстания как кровавой борьбы десятков тысяч людей с несколькими тысячами павших героев обязан своим происхождением скорее «Октябрю» — блестящему, но в основном вымышленному

[87] Лишь при Сталине, когда большевики стали называть себя «министрами», они вернулись к костюмам.

пропагандистскому фильму Эйзенштейна, снятому к десятой годовщине события, — чем исторической правде. Великая Октябрьская социалистическая революция, как её стали называть в советской мифологии, в действительности была событием столь небольшого масштаба — по сути, не более чем военным переворотом, — что прошла незамеченной для подавляющего большинства жителей Петрограда. Театры, рестораны и трамваи работали почти как обычно, пока большевики приходили к власти. Всё восстание можно было бы завершить за шесть часов, если бы не нелепая некомпетентность самих повстанцев, растянувшая его ещё на пятнадцать. Легендарный «штурм» Зимнего дворца, где кабинет Керенского проводил своё последнее заседание, был скорее обычным домашним арестом, поскольку большинство защитников дворца, голодные и подавленные, разошлись по домам ещё до начала штурма. Единственным реальным ущербом, нанесённым императорской резиденции за всё это дело, стали отбитый карниз и разбитое окно на третьем этаже.

План большевиков был прост: солдаты гарнизона, красногвардейцы и кронштадтские матросы должны были занять Мариинский дворец и разогнать Предпарламент; потребовать капитуляции Временного правительства и, если оно откажется, захватить Зимний дворец по сигналу из Петропавловской крепости и с крейсера «Аврора». ВРК рассчитывал закончить операцию к полудню, чтобы Ленин успел представить съезду Советов захват власти как уже совершившийся факт. В десять утра, ожидая скорой победы, Ленин уже дописывал манифест «К гражданам России!», объявлявший свержение Временного правительства и передачу власти ВРК.[14]

Первая часть плана прошла гладко: незадолго до полудня группа большевистских солдат и матросов ворвалась в Мариинский дворец и велела депутатам разойтись. Но затем элементарные технические неудачи заставили ВРК отложить операции вокруг Зимнего дворца сначала до трёх часов, потом до шести, после чего точные сроки вообще перестали назначать. Первый серьёзный сбой вызвало позднее прибытие балтийских матросов, без которых ВРК отказывался начинать. Затем возникла ещё более абсурдная проблема. Штурм должен был начаться огнём тяжёлых орудий Петропавловской крепости, но в последний момент выяснилось, что это ржавые музейные пушки, непригодные для

стрельбы. Солдат поспешно послали тащить к стенам другие орудия; когда те доставили, обнаружилось, что для них нет подходящих снарядов. Ещё более сюрреалистическую панику вызвала простая, казалось бы, задача поднять красный фонарь на флагшток крепости как сигнал к штурму. В нужный момент красного фонаря не оказалось. Большевистский комиссар крепости Благонравов отправился искать подходящую лампу, заблудился в темноте и свалился в грязное болото. Когда он наконец вернулся, фонарь невозможно было закрепить на флагштоке, и участники штурма так его и не увидели. Впрочем, он всё равно оказался не красным.[15]

С точки зрения Ленина эти задержки были невыносимы. Ему было необходимо завершить захват власти до открытия съезда Советов; съезд тоже отложили, но время стремительно уходило. Около трёх часов дня он уже заявил переполненному заседанию Петроградского Совета, что Временное правительство свергнуто. Это, конечно, было ложью — министры ещё сидели в Зимнем дворце, — но в его стратегии на ближайшие часы факт захвата власти был настолько важен, что Ленин готов был его просто выдумать. Когда день переходил в вечер, он кричал на командиров ВРК, требуя немедленно взять дворец. Подвойский вспоминал, как Ленин ходил по маленькой комнате в Смольном «как лев в клетке. Ему нужен был Зимний дворец любой ценой… он был готов нас расстрелять».[16]

На деле большевистские силы, собравшиеся к этому времени в центре города, могли почти беспрепятственно войти в Зимний: обороны практически не существовало. После мятежа гарнизона Керенский попытался вызвать верные части с Северного фронта. Приказ отправили ночью 24-го с поддельными подписями советских лидеров, потому что Керенский опасался, что солдаты не пойдут по приказу одного Временного правительства. К утру войск всё ещё не было, и он решил сам ехать их искать. Железные дороги контролировали большевики, поэтому пришлось отправляться на автомобиле; беспомощность правительства дошла до того, что у него не было даже собственной машины. Военных чиновников послали искать транспорт. У американского посольства конфисковали «Рено» — позднее США направили дипломатический протест. Второй автомобиль нашли у военного министерства, но без бензина; за топливом пришлось

отправлять людей в английский госпиталь. Около одиннадцати утра две машины выехали из Зимнего дворца и направились за город. Керенский сидел во втором автомобиле, над которым развевался американский флаг; вероятно, именно он помог пройти посты ВРК, уже окружавшие Дворцовую площадь.[17]

Отъезд Керенского привёл министров в панику — некоторое время они даже не знали, где он. В полдень кабинет собрался в Малахитовом зале и попытался организовать оборону дворца. Но задача была безнадёжной. Министры совершенно не разбирались в военных операциях и потратили почти четыре часа на бессмысленное обсуждение кандидатов на должность «диктатора» — диктатора чего? — пока не остановились на кадете-враче, министре государственного призрения Николае Кишкине. Инженер Пальчинский, которому поручили оборону дворца, не сумел найти ни плана здания, ни человека, хорошо знавшего его топографию; в результате одна боковая дверь осталась без охраны, и большевистские разведчики свободно входили внутрь. Некоторое число верных войск уже находилось во дворце; снаружи другие солдаты весь день сооружали баррикады из брёвен. Небольшой отряд, который Керенский держал на первом этаже после переезда во дворец, усилили две казачьи сотни, юнкера военных училищ и около двухсот женщин из Ударного батальона смерти — всего около трёх тысяч человек. Джон Рид, один из нескольких иностранных журналистов, сумевших днём пройти мимо охраны, описывал картину:

> В конце коридора находился большой богато украшенный зал с позолоченными карнизами и огромными хрустальными люстрами… По обеим сторонам паркетного пола лежали ряды грязных матрасов и одеял, на которых местами вытянулись солдаты; повсюду валялись окурки, куски хлеба, тряпки, пустые бутылки с дорогими французскими этикетками. Всё больше солдат… бродило в затхлой атмосфере табачного дыма и немытых человеческих тел. У одного была бутылка белого бургундского, явно украденная из дворцовых погребов… Всё здание превратилось в огромную казарму.[18]

Боевой дух защитников был крайне низок, и чем дольше они ждали нападения, тем сильнее пугались. Вражеская пропаганда постоянно напоминала, что их значительно меньше; поддерживать моральный дух становилось всё труднее. Один из офицеров, Александр Синегуб, вспоминал, как солдаты курили, пьянствовали и ругали безнадёжное

положение, тогда как министры читали им нотации о дисциплине. Казаков особенно раздражала необходимость сражаться рядом с «женщинами с ружьями». Настоящего запаса боеприпасов во дворце не было, продовольствия не хватало даже на ужин. По мере наступления вечера всё больше голодных солдат теряли дух и уходили: желудок звал сильнее, чем долг. К раннему вечеру все, кроме примерно трёхсот, сложили оружие и разошлись по городским ресторанам.[19]

В последние часы ожидания неизбежного министры сделали несколько тщетных обращений к населению за помощью. Все обычные телефонные линии были перерезаны, но сохранялась секретная связь с военным телеграфом на чердаке здания Военного министерства, где, не замеченный большевиками, занявшими остальные этажи, молодой офицер рассылал последние правительственные воззвания в разные части страны. Позднее, услышав о падении дворца, он просто надел пальто и шляпу и спокойно вышел из здания. Джон Рид, осматривавший зелёный суконный стол кабинета вскоре после ареста министров, увидел десятки черновиков, исписанных наспех и перечёркнутых по мере того, как становилась очевидной их бесполезность. Никто не собирался спасать Временное правительство.

Единственная попытка прийти ему на помощь — со стороны депутатов Петроградской городской думы — превратилась в сюрреалистический фарс. Откликнувшись на призыв министров, депутаты заявили, что готовы «встать перед большевистскими пушками», и колоннами по четыре двинулись к Зимнему дворцу, распевая «Марсельезу». Белобородый городской голова Шрейдер возглавлял эту армию спасения вместе с министром продовольствия Прокоповичем, который нёс зонт от начавшегося дождя и фонарь, освещавший путь. Триста депутатов во фраках, офицерских мундирах и дамских платьях несли пакеты хлеба и колбасы для голодных защитников. Они были живым символом порядочной, но обречённой старой либеральной России, которой предстояло исчезнуть. Не пройдя и квартала, процессия была остановлена патрулём большевистских матросов у Казанской площади. Шрейдер распахнул грудь перед винтовками и заявил, что готов умереть, если их не пропустят. Матросы, видимо, увидев комизм беспомощного протеста, пригрозили «всыпать им», если они не разойдутся. Тогда Прокопович взобрался на ящик и,

размахивая зонтом, произнёс речь: «Товарищи и граждане! Против нас применяют силу! Мы не можем допустить, чтобы наша невинная кровь легла на руки этих невежественных людей! Недостойно нас быть расстрелянными здесь, на улице… Вернёмся в Думу и обсудим лучшие средства спасения страны и революции!» Возмущённые депутаты повернули обратно и поднимались по Невскому, сохраняя в поражении подчеркнутое достоинство и молчание.[20]

Тем временем в 18:50 ВРК предъявил Зимнему дворцу ультиматум с требованием капитуляции правительства. Министры в этот момент садились ужинать борщом, паровой рыбой и артишоками; все чувствовали торжественную обязанность держаться как можно дольше, хотя некоторых тревожила угроза, что дворец будет разрушен огнём крейсера «Аврора», стоявшего у Английской набережной.[88] Они рассудили, что если большевикам придётся свергать их силой, общественное мнение осудит восставших; ультиматум был отвергнут. Долгое время ничего не происходило — большевики всё ещё возились с неисправными пушками и фонарями в Петропавловской крепости, — но в 21:40 наконец дали сигнал, и «Аврора» выстрелила холостым. Грохот оказался даже громче боевого выстрела; перепуганные министры немедленно упали на пол. Женщины Батальона смерти впали в истерику, их пришлось увести в дальнюю комнату, а большинство оставшихся юнкеров покинули посты. После короткой паузы, чтобы желающие могли уйти, Благонравов приказал начать настоящую стрельбу из Петропавловской крепости, с «Авроры» и с Дворцовой площади. Большинство снарядов крепости безвредно падало в Неву. Британский посол Джордж Бьюкенен, осматривавший дворец на следующий день, нашёл на стороне реки лишь три следа от осколков, хотя «со стороны города стены были испещрены тысячами пулевых отметин от пулемётов».[21]

Как раз когда началась бомбардировка, в 22:40 наконец открылся съезд Советов. Большой зал Смольного был переполнен; делегаты стояли в проходах и сидели на подоконниках. Воздух густо синел от

[88] Точное «историческое место» стоянки «Авроры» оказалось рядом с небольшой красивой часовней у Николаевского моста. Несколько лет спустя решили, что христианская ассоциация с местом начала Великой Октябрьской социалистической революции нежелательна, и большевики превратили часовню в общественную уборную.

табачного дыма, несмотря на постоянные призывы с трибуны «товарищам» не курить. Большинство делегатов составляли рабочие и солдаты в гимнастёрках и шинелях; их немытый, грязный вид резко контрастировал с чистыми костюмами старых членов исполкома — меньшевиков и эсеров, последний раз занимавших президиум. Суханов отметил явное преобладание «серых лиц большевистской провинции» среди делегатов. Его шокировали их «тёмный», «угрюмый» и «примитивный» вид; ему казалось, это отражает «грубый и невежественный народ, чьей преданностью революции являются злоба и отчаяние, а его “социализмом” — голод и невыносимая жажда отдыха». Это, конечно, писал меньшевик, но даже если отбросить оценочную лексику, несомненно: масса делегатов действительно была менее образованной и городской, чем квалифицированные рабочие и интеллигентные типы, прежде составлявшие большинство советского движения.

Большевики не имели абсолютного большинства, как думал Суханов, но при поддержке левых эсеров могли провести почти любую резолюцию. Точные цифры определить трудно, однако Мандатная комиссия сообщала: из 670 делегатов 300 были большевиками, 193 — эсерами, причём более половины из них левыми, 82 — меньшевиками, в том числе 14 интернационалистами. Благодаря слабым правилам избрания делегатов и превосходной партийной организации большевики получили несколько больше мест, чем им полагалось по реальной поддержке. Северные промышленные Советы, где их влияние преобладало и в городах, и в полупромышленных селениях, направили непропорционально много представителей; Советы Поволжья и аграрного юга, где сильнее были эсеры, послали меньше, а некоторые вообще бойкотировали съезд. Схожий перекос был среди делегатов вооружённых сил: большевизированный север был представлен намного сильнее юга. Латыши, наиболее большевизированные войска, составляли более десяти процентов делегатов.[22]

В соответствии с соотношением сил старое руководство Совета освободило места в президиуме; их заняли 14 большевиков и 7 левых эсеров. Меньшевики отказались занять четыре отведённых им места.

Мандаты делегатов показывали подавляющее большинство за советское правительство. Вопрос заключался в том, каким именно оно

будет. Мартов предложил создать единое демократическое правительство всех партий Совета: только так, говорил он, можно избежать гражданской войны. Зал разразился аплодисментами. Даже Луначарский вынужден был признать, что большевики не возражают — отказаться от лозунга советской власти они не могли, — и предложение единогласно приняли. Но в тот момент, когда казалось, что социалистическая коалиция наконец возникнет, ряд меньшевиков и эсеров с яростью осудили насильственный штурм Временного правительства. Они заявили, что их партии — по крайней мере правые фракции — не желают иметь ничего общего с этой «преступной авантюрой», неизбежно ведущей к гражданской войне, и покинули зал в знак протеста. Большевистские делегаты топали, свистели и осыпали их руганью.[23]

Провокация Ленина — превентивный захват власти — сработала. Уходя со съезда, меньшевики и эсеры уничтожили надежду на компромисс с умеренными большевиками и на коалиционное правительство всех советских партий. Путь к большевистской диктатуре, формально опирающейся на Совет, оказался открыт — именно этого, вероятно, Ленин и добивался с самого начала. В накалённой атмосфере времени легко понять, почему меньшевики и эсеры поступили так. Но столь же трудно не прийти к выводу: они сыграли на руку Ленину и совершили политическое самоубийство. В 1921 году Суханов признал это прямо:

> Мы совершенно развязали большевикам руки, сделали их хозяевами положения и уступили им всю арену Революции. Борьба на съезде за единый демократический фронт могла бы иметь некоторый успех… Но, покинув съезд, мы сами отдали большевикам монополию на Совет, на массы и на Революцию. Своим собственным иррациональным решением мы обеспечили победу всей ленинской «линии».[24]

Немедленным последствием ухода стало раздробление оппозиции и изоляция Мартова с другими левыми сторонниками коалиции. Мартов сделал последнюю отчаянную попытку призвать к общедемократическому правительству. Но настроение в зале уже изменилось. В глазах массы делегатов меньшевики и эсеры, уйдя со съезда, показали себя «контрреволюционерами»; теперь большинство готово было следовать за большевиками и отвергнуть саму идею

компромисса. Троцкий перехватил инициативу и в одной из самых часто цитируемых речей XX века отверг мартовскую резолюцию:

> Народные массы пошли за нашим знаменем, и наше восстание победило. А теперь нам говорят: откажитесь от победы, уступите, заключите компромисс. С кем? Я спрашиваю: с теми жалкими группами, которые ушли от нас или делают такое предложение?.. В России за ними больше никто не стоит. Компромисс возможен между двумя равными сторонами… Но здесь компромисс невозможен. Тем, кто ушёл, и тем, кто предлагает нам это, мы говорим: вы жалкие банкроты, ваша роль сыграна; идите туда, куда вам и место, — в мусорную корзину истории!

В порыве ярости, о котором ему, вероятно, пришлось жалеть всю оставшуюся жизнь, Мартов крикнул: «Тогда мы уйдём!» — и молча направился к выходу, не оглядываясь. В проход вышел большевик в чёрной рубахе, перетянутой кожаным ремнём, и сказал: «А мы-то думали, что хотя бы Мартов останется с нами». Явно потрясённый, старый ленинский товарищ ответил: «Когда-нибудь вы поймёте, в каком преступлении участвуете». И ушёл — в политическую пустыню.[25]

Было уже далеко за два часа ночи. Троцкому, который теперь явно выполнял работу Ленина, оставалось лишь предложить резолюцию, осуждавшую «предательские» попытки меньшевиков и эсеров подорвать советскую власть. По сути это означало поставить советскую печать одобрения под большевистской диктатурой. Масса делегатов, вероятно, слишком мало понимавшая политический смысл происходящего, подняла руки «за» — разве они не выступали за советскую власть? Но и руководители левых эсеров, от которых следовало ожидать большего, позволили себя обмануть. Они тоже проголосовали за, наивно полагая, как позднее объяснял их лидер Борис Камков, что «наше место — с революцией» и что, участвуя в большевистской авантюре, они смогут её укротить.[26]

Тем временем последний штурм Зимнего дворца близился к концу. Практически все верные правительству силы оставили оборону, и большевистские отряды могли входить во дворец почти беспрепятственно. Министры, растянувшиеся на диванах или обмякшие в креслах в ожидании конца, слышали снизу топот, крики и выстрелы. После двух часов шум стал громче: нападавшие поднимались по лестнице и приближались к двери. Стало ясно, что наступил момент

капитуляции. Министры вскочили и — по какой-то странной причине — схватили свои пальто. Дверь распахнулась, и вошла невысокая, неприметная фигура Антонова-Овсеенко. «Вы все арестованы», — объявил большевистский руководитель. Составили список министров. Узнав, что Керенского нет, один из нападавших закричал: «Переколоть всех сукиных сынов!» Но в остальном дисциплина сохранялась. Министров пешком — машин не нашлось — повели в Петропавловскую крепость, где на несколько недель заключили в тяжёлых условиях. По дороге большевистским конвоирам несколько раз приходилось защищать их от попыток самосуда. Вероятно, министры испытали даже некоторое облегчение, когда наконец оказались в безопасности тюрьмы. Возможно, часть из них тайно была рада и тому, что больше не несёт почти невыполнимого бремени управления Россией. Когда дверь камеры захлопнулась, бывший министр внутренних дел Алексей Никитин нащупал в кармане полузабытую телеграмму Украинской рады. «Вчера получил, — сказал он Антонову-Овсеенко, протягивая смятый листок, — теперь это ваша проблема».[27]

Ирония судьбы: именно Каменеву пришлось сообщить съезду Советов об аресте министров. Большевики приветствовали каждый названный фамилию криками. Но от имени эсеров поднялся крупный крестьянин с искажённым от гнева лицом и осудил арест министров-социалистов: «Знаете ли вы, что четверых товарищей, рисковавших жизнью и свободой в борьбе с царской тиранией, бросили в Петропавловскую крепость — историческую могилу Свободы?» В зале поднялся шум. Троцкий требовал тишины и отвечал, что это ложные «товарищи» и нет причин «обращаться с ними в перчатках»: после июльских дней «с нами особенно не церемонились». Затем Каменев объявил, что Самокатный батальон перешёл «на сторону революции». Поступали сообщения о переходе важных частей с Северного фронта. После этого Луначарский зачитал ленинский манифест «Ко всем рабочим, солдатам и крестьянам», провозглашавший «Советскую власть» и обещавший землю, хлеб и мир. Чтение исторического воззвания, постоянно прерываемое громовыми овациями, имело колоссальное символическое значение. Оно создавало иллюзию, будто восстание стало кульминацией революции «масс». После принятия документа, вскоре после пяти утра 26 октября, измученные, но

возбуждённые делегаты вышли из Смольного. «Ночь всё ещё была тяжёлой и холодной, — писал Джон Рид. — Лишь слабая неземная бледность просачивалась над молчаливыми улицами, тускнея сторожевые костры, — тень страшной зари, поднимавшейся над Россией».[28]

* * *

Сколько людей участвовало в восстании? Историки всегда резко расходились в ответе. Левые представляли Октябрь народной революцией снизу, правые — государственным переворотом без массовой поддержки. В основе спора лежит вопрос о природе и, следовательно, «легитимности» советской системы. В этом смысле это один из фундаментальных вопросов XX века.

Активных участников было не так много — хотя для задачи и не требовались огромные массы, поскольку в столице почти не существовало военной силы, готовой защищать Временное правительство. Сам Троцкий называл цифру «не более 25–30 тысяч», то есть около пяти процентов всех рабочих и солдат города; она примерно соответствует подсчётам по мобилизованным красногвардейским отрядам, флотским экипажам и полкам. Большинство выполняло ограниченные функции — охраняло заводы и стратегические объекты, стояло в пикетах, просто находилось «в готовности». Вечером 25 октября на Дворцовой площади, вероятно, собралось от десяти до пятнадцати тысяч человек, но далеко не все реально участвовали в «штурме», хотя позднее участников объявилось значительно больше.[89] После взятия дворца массы, конечно, выросли — во многом потому, что началось разграбление винных погребов.[29]

Немногие сохранившиеся фотографии октябрьских дней ясно показывают небольшой масштаб сил восставших. На них — горстки красногвардейцев и матросов на полупустых улицах. Обычных образов «народной революции» — огромных толп, баррикад, ожесточённых

[89] В 1930-х годах, когда партия опрашивала ветеранов Красной гвардии, 12 процентов респондентов заявили, что участвовали в штурме Зимнего. По такой пропорции в атаке должны были участвовать 46 тысяч человек. Автор иронически замечает, что подобный опрос московской интеллигенции о защите парламента в августе 1991 года, вероятно, дал бы сотни тысяч «очевидцев», стоявших рядом с Ельциным на танке.

боёв — нет. Сам Троцкий признавал, что восстание было проведено как государственный переворот: «серией небольших операций, рассчитанных и подготовленных заранее». 25 октября серьёзно нарушена была только жизнь в непосредственной близости от Зимнего дворца. В остальном Петроград жил почти обычно. Трамваи и извозчики ходили; Невский был полон привычной публики; вечером оставались открыты магазины, рестораны, театры и кино. Мариинский театр дал запланированного «Бориса Годунова», а знаменитый бас Шаляпин пел в «Дон Карлосе» перед переполненным Народным домом. Около девяти вечера Джон Рид спокойно ужинал в гостинице «Франция» рядом с Дворцовой площадью; после супа официант лишь попросил перейти в дальний зал, поскольку ожидалась стрельба и в кафе собирались погасить свет. Даже кульминация восстания прошла почти незамеченной. Володя Авербах шёл домой по Гоголевской улице, меньше чем в ста ярдах от Дворцовой площади, около одиннадцати вечера, когда большевики готовились к решающей атаке. «Улица была совершенно пустой, — вспоминал он. — Ночь стояла тихая, город казался мёртвым. Мы слышали даже эхо собственных шагов по мостовой».[30]

В рабочих районах, судя по обнаруженным позднее полицейским отчётам, было столь же спокойно. В первую неделю ноября районных комиссаров спросили, происходили ли в октябрьские дни массовые вооружённые выступления. Все без исключения ответили: нет. «На улицах было спокойно», — сообщил начальник Охтенского района. «Улицы были пусты», — добавил начальник 3-го Спасского. В 1-м Выборгском районе — самой большевизированной части города — в отчёте за 25 октября значилось: «Красная гвардия помогала милиции поддерживать порядок; ночных происшествий не было, кроме ареста двух пьяных и буйных солдат, обвиняемых в том, что они стреляли и ранили человека, тоже, по-видимому, пьяного».[31] Так начиналась Великая Октябрьская социалистическая революция в большевистской твердыне Выборгской стороны.

Но что представляла собой толпа во время восстания? Один эпизод говорит об этом многое.

Взяв Зимний дворец, большевики обнаружили один из крупнейших винных погребов, какие можно было представить. В следующие дни из

подвалов исчезли десятки тысяч старых бутылок. Рабочие и солдаты угощались «Шато д'Икем» 1847 года — любимым вином последнего царя — и продавали водку толпе снаружи. Пьяные массы бесчинствовали. Зимний дворец подвергся вандализму. Грабили магазины и винные лавки. Матросы и солдаты ходили по богатым кварталам, обирали квартиры и иногда убивали ради развлечения. Любой хорошо одетый человек становился очевидной мишенью. Даже Урицкий, большевистский лидер, едва не лишился жизни, а не только пальто, когда морозной ночью по дороге из Смольного его сани остановила толпа. Тёплая шуба, пенсне и внешность еврейского интеллигента заставили принять его за «буржуя».

Большевики тщетно пытались остановить анархию, перекрыв доступ к алкоголю. Назначили комиссара Зимнего дворца — тот постоянно был пьян. Поставили охрану у погребов — охранники присвоили себе право продавать бутылки. Вино выливали на улицу — толпа собиралась и пила его из канав. Пытались уничтожить запасы, перевезти их в Смольный и даже отправить в Швецию — ничего не помогало. Сотни пьяниц бросали в тюрьмы; только в одном участке в ночь на 4 ноября арестовали 182 человека за пьянство и грабежи, пока камеры не переполнились. Пулемёты ставили, чтобы отпугивать мародёров стрельбой над головами — а иногда и по ним, — но они всё равно приходили. Несколько недель анархия продолжалась; даже было введено военное положение. Лишь к Новому году алкоголь закончился, и столица очнулась с самым большим похмельем в истории.

Большевики обвиняли в вакханалии «буржуазные провокации». Им было трудно признать, что их собственные сторонники — якобы «дисциплинированный авангард пролетариата» — способны на такое. Но открытые впоследствии документы ВРК показывают, что многие участники захвата власти были и зачинщиками пьяных беспорядков. Некоторые, вероятно, пошли на восстание прежде всего ради добычи: для них всё это было большим приключением, вылазкой в город с приятелями и фактической лицензией на грабёж и убийство. Это не значит, что большевики состояли лишь из хулиганов и преступников, как тогда решили многие собственники. Но восстание почти неизбежно должно было перерасти в хаос: у большевиков было очень мало дисциплинированных бойцов, а само насилие захвата власти поощряло

толпу к подобным действиям. Схожие вспышки грабежа и насилия отмечались после Октября в десятках городов и нередко становились неотъемлемой частью перехода власти.[32]

Всё это позволяет предположить, что большевистское восстание было не столько кульминацией социальной революции — хотя в России действительно шло сразу несколько революций: городская, сельская, военная, национальная, и в каждой были силы, связанные с большевиками, — сколько результатом разложения городской революции и прежде всего рабочего движения как организованной, созидательной силы. Вандализм, преступность, массовое насилие и пьяные грабежи стали главными проявлениями распада. Горький, как обычно резко осуждавший анархическое насилие, подчёркивал: «То, что происходит теперь, — не процесс социальной революции, а погром алчности, ненависти и мести».[33] Участниками разрушительной стихии были не столько организованные рабочие, сколько жертвы распада класса и военного разорения: растущая армия городских безработных, беженцы из оккупированных областей, солдаты и матросы, стекавшиеся в города, бандиты и преступники, выпущенные из тюрем, и неквалифицированные выходцы из деревни, всегда наиболее склонные к вспышкам анархического насилия. Именно эти полукрестьянские типы Горький обвинял в весеннем городском насилии и с их поддержкой связывал усиление большевиков. Накануне захвата власти он вернулся к той же мысли:

> Все тёмные инстинкты толпы, раздражённой распадом жизни, ложью и грязью политики, вспыхнут и задымятся, отравляя нас злобой, ненавистью и местью; люди будут убивать друг друга, не умея подавить собственную животную глупость. На улицу выползет неорганизованная толпа, едва понимающая, чего она хочет, а под её прикрытием авантюристы, воры и профессиональные убийцы начнут «творить историю русской революции».[34]

Что касается петроградских рабочих, они приняли в восстании сравнительно небольшое участие. Экономический кризис был в апогее, и страх потерять работу удерживал подавляющее большинство от улицы. Поэтому заводы и транспорт работали почти как обычно. Рабочие, к тому же, сохраняли лояльность прежде всего Совету, а не большевикам. Большинство не знало — и не желало знать — тонких

доктринальных различий между социалистическими партиями. Их голосование определялось скорее классовой, чем партийной принадлежностью: люди голосовали так, как прежде голосовал их завод, или выбирали того кандидата, который больше походил на рабочего и говорил языком класса. Среди неквалифицированных даже существовало представление, будто «большевики» — это партия «больших мужиков», по ассоциации с крестьянским словом *большаки*.

Поэтому когда 29 октября руководители железнодорожного союза Викжель предъявили ультиматум, требуя от большевиков переговоров с другими социалистическими партиями ради создания общесоветского правительства, они получили мощную поддержку. Для массы рабочих смысл революции, провозглашённый съездом Советов, состоял именно в правительстве всех трудящихся, а не одной партии. Сотни заводов, гарнизонов, фронтовых и флотских собраний отправляли в Смольный петиции в поддержку плана Викжеля. Обуховский завод грозил «столкнуть лбами всех партийных вождей», если те не договорятся. Рабочие Москвы и других провинциальных городов, где партийная фракционность была слабее петроградской, также выступали за соглашение. Распространялось чувство, что партийные руководители своими ссорами предают идеалы революции и толкают страну к гражданской войне. «Среди солдат, — говорилось в петиции 35-й дивизии, — нет большевиков, меньшевиков или эсеров, а есть только демократы».[35]

По крайней мере поначалу у большевиков были веские причины отнестись к ультиматуму серьёзно. Викжель угрожал остановить все железные дороги, если межпартийные переговоры не начнутся. Это означало бы ещё худшее снабжение столицы продовольствием и топливом, уже находившееся на критическом уровне; грабежи и беспорядки вышли бы из-под контроля, тысячи рабочих начали бы стачки. Как долго продержалась бы новая власть? Поддержка железных дорог была ещё важнее для большевистской кампании на двух фронтах: против войск Керенского у столицы и в Москве, где приходилось воевать на улицах с лоялистами.

После поспешного бегства из Петрограда утром 25 октября Керенский устроил штаб в Гатчине, бывшей императорской резиденции. Большинство армейских командующих, к которым он

обращался, не хотели втягиваться в военную авантюру против большевиков: солдаты неизбежно сочли бы её «контрреволюционной», а это, как и корниловский кризис, лишь ускорило бы распад армии. Командующий Северным фронтом генерал Черемисов даже отменил приказ Керенского о выделении войск на том основании, что Временного правительства больше не существует. Только генерал Краснов предоставил в его распоряжение восемнадцать казачьих сотен. Одновременно небольшой отряд юнкеров и офицеров, организованный вокруг эсеровского Комитета спасения России и революции, должен был подняться в столице к их приходу. Но и у большевиков войск, реально готовых сражаться, было ещё меньше. Петроградский гарнизон после захвата власти быстро разложился: солдаты ушли в пьяные гулянья или разъехались по деревням. Прямой связи с революционными частями на фронте у большевистских руководителей не было, да и неясно, пришли бы они по их приказу. По словам Рида, Ленин вполне допускал поражение. Главная надежда состояла в том, что железнодорожники, как во время корниловского кризиса, задержат войска Краснова в районе Пскова. Поэтому ультиматум Викжеля нельзя было просто игнорировать.

В Москве власть десять дней висела на волоске. Силы ВРК вели кровавую уличную войну — первые выстрелы будущей гражданской войны — с юнкерами и студентами-добровольцами, сохранившими верность Временному правительству и организованными Московской городской думой и её Комитетом общественной безопасности. Самые тяжёлые бои шли у Кремля, и многие архитектурные сокровища города получили серьёзные повреждения. Для простых москвичей, боявшихся выходить из домов, это были страшные дни. Квартира Брусилова оказалась под перекрёстным огнём, и солдаты обеих сторон использовали её окна для стрельбы и сигналов. Сам старый генерал был тяжело ранен в ногу гранатой, залетевшей через окно. Его вынесли на носилках в соседнюю больницу, пока «бомбы и пули продолжали лететь во всех направлениях. Всю дорогу я молился, чтобы ни одна из них не попала в мою бедную старую жену, которая шла рядом».[36] Московские большевики вообще не горели желанием воевать: им больше нравилось решение вопроса о власти путём переговоров, как предлагал Викжель. Да и сражались они плохо. Кремль был потерян уже в первом

столкновении 27-го; через два дня положение стало настолько тяжёлым, что большевистские силы были оттеснены в промышленные окраины и с явным облегчением приняли временное перемирие, навязанное Викжелем. Даже Ленин признавал: без победы в Москве большевики не смогут удерживать власть одни. Межпартийные переговоры становились неизбежны.

29 октября Центральный комитет уполномочил Каменева представлять партию на переговорах Викжеля на платформе советской власти, одобренной II съездом. Убедить правых меньшевиков и эсеров в любом партнёрстве с большевиками после их демонстративного ухода со съезда было чрезвычайно трудно. На первой встрече, уверенные в близком поражении большевиков, они выдвинули практически невыполнимые условия: освободить министров, арестованных в Зимнем; заключить перемирие с войсками Керенского; распустить ВРК; передать Петроградский гарнизон под контроль Думы; привлечь Керенского к формированию нового кабинета, из которого Ленин должен быть исключён. Иными словами, они требовали перевести часы обратно к 20 октября. Неудивительно, что в докладе съезду тем вечером Каменев говорил мрачно.

Но уже на следующий день ситуация изменилась. Наступление Керенского за ночь развалилось почти так же, как ранее корниловский поход Крымова на Петроград. Большинство казаков Краснова, изначально не желавших воевать без пехоты, сдались под потоком большевистской агитации; остальных легко остановили балтийские части на Пулковских высотах. Меньшевикам и эсерам пришлось смягчить требования. Они согласились на коалицию с большевиками при условии расширения руководства Совета за счёт представителей I съезда Советов, городских дум, будущего Крестьянского Совета и профсоюзов. Каменев согласился и в минуту наивной доверчивости даже предположил, что большевики не станут настаивать на включении Ленина и Троцкого в кабинет. У тех, однако, были иные планы.

С самого начала Ленин и Троцкий выступали против переговоров Викжеля; к столу их привела лишь перспектива военного поражения. После разгрома Керенского и перемены в Москве — центр города снова переходил к большевикам, Кремль подвергался сильному обстрелу — они начали сознательно срывать переговоры. На заседании ЦК 1 ноября

Троцкий осудил компромисс Каменева и потребовал минимум 75 процентов министерских мест для большевиков: «не было смысла устраивать восстание, если мы не получим большинство». Ленин предложил вообще выйти из переговоров или продолжать их только как «дипломатическое прикрытие военных операций [в Москве]». Он даже потребовал арестовать руководителей Викжеля как «контрреволюционеров» — типичная провокация, призванная сорвать переговоры, наряду с арестом и избиением матросами эсеровских руководителей Гоца и Зензинова, закрытием кадетской прессы и рейдами на редакции меньшевиков и эсеров. Несмотря на возражения умеренных членов ЦК, было решено предъявить большевистскую платформу в качестве ультиматума и прекратить переговоры в случае отказа. Ленин и Троцкий прекрасно знали, что эсеры и меньшевики не согласятся. Захват власти необратимо расколол социалистическое движение России; переговоры не могли уже перебросить мост через пропасть. 6 ноября переговоры Викжеля окончательно рухнули.[37]

Шансы на коалицию были чрезвычайно малы. Вероятно, уже действительно было поздно решать вопрос о власти политическими средствами. 25 октября стало началом гражданской войны. И всё же трудно избежать вывода, что большевистские умеренные в эти дни представляли реальную альтернативу ленинскому курсу на однопартийную диктатуру. Каменев, Зиновьев, Рыков, Милютин и Ногин продолжали настаивать на соглашении с другими социалистами и на ответственности правительства перед Советами. Они боялись, что чисто большевистский кабинет сможет существовать лишь посредством террора и что узкая партийная фракция сначала подменит партию в целом, затем Центральный комитет подменит партийную организацию, а в конце один диктатор подменит Центральный комитет. 4 ноября эта пятёрка вышла из ЦК. На следующий день их открытое письмо появилось в «Известиях». Рядом было напечатано второе протестное письмо — от пяти народных комиссаров, то есть трети ленинского кабинета, из которых четверо подали в отставку, и ещё шести видных большевиков. Они заявляли, что чисто большевистское правительство можно удержать лишь «политическим террором» и что такой путь приведёт к «установлению безответственного режима и гибели революции и страны».[38]

Это был, несомненно, один из самых критических моментов в истории большевистской партии. Революция Ленина состоялась, но партия вышла из неё безнадёжно расколотой и изолированной от остального революционного движения. Во вторую неделю нового режима мало кто верил, что он способен выжить.

ii. Самодержцы Смольного

Через пять дней после захвата власти Александра Коллонтай, новый народный комиссар государственного призрения, подъехала к большому правительственному зданию на Казанской улице. Раньше здесь находилось соответствующее министерство Временного правительства; теперь она пришла вступить во владение. Старый швейцар в ливрее открыл дверь и осмотрел Коллонтай с головы до ног. Женщина никогда прежде не возглавляла в России министерство, поэтому его можно было простить за то, что он принял её за очередную обедневшую военную вдову, пришедшую просить пособия. Коллонтай потребовала позвать старшего чиновника. Швейцар ответил, что часы приёма закончились. Она объявила, что является народным комиссаром и требует впустить её. Старик невозмутимо сообщил: просителей принимают с часу до трёх, а уже пять. Коллонтай попыталась пройти силой, но швейцар преградил дорогу и захлопнул дверь перед её лицом.

Начало нового режима трудно назвать многообещающим. Служащие министерства присоединились к общей забастовке чиновников против большевистского переворота. На следующее утро Коллонтай вернулась с небольшим отрядом солдат и обнаружила почти пустое здание. Практически все чиновники бастовали; явились только швейцары, уборщицы и посыльные — люди, которые не могли позволить себе не работать. Управлять из пустого здания было бессмысленно, и Коллонтай вернулась в Смольный, устроив комиссариат в маленькой комнате. Старый швейцар на Казанской теперь направлял в большевистский штаб оборванных детей и вдов, беженцев и разорённых крестьян, приходивших просить помощи.

Первые недели нового режима были парализованы подобными забастовками и саботажем во всех крупнейших министерствах и ведомствах, банках, на почте и телеграфе, в управлении железных дорог,

муниципальных учреждениях, судах, школах, университетах и других жизненно важных организациях. Политические взгляды служащих различались, но почти все сходились в одном: большевистская власть незаконна и ей надо сопротивляться. Когда Троцкий явился в Министерство иностранных дел и представился чиновникам новым министром, его встретили ироническим смехом; на приказ вернуться к работе служащие покинули здание. В Аничковом дворце, откуда управляли продовольственным снабжением, чиновники вынесли всю мебель и заперли бухгалтерские книги в дворцовом сейфе. На почте и телеграфе они забрали справочники и стопки телеграфных бланков — некоторые позднее писали на них мемуары. Бастующие служащие Медицинского департамента дошли до того, что вынули перья из всех ручек.[39]

Самой серьёзной угрозой стал отказ Государственного банка и казначейства выдавать новому правительству деньги. Без средств на оплату сторонников большевистский режим долго бы не продержался. Совнарком несколько раз требовал перевести десять миллионов рублей, но банковские чиновники каждый раз отказывали, считая запрос незаконным. 7 ноября новый комиссар финансов В. Р. Менжинский явился в Государственный банк с отрядом матросов и потребовал деньги; служащие не уступили и продолжили забастовку, несмотря на вооружённые угрозы, увольнения и ультиматумы. Через десять дней большевики захватили банк и под дулами заставили работников открыть хранилища. Пять миллионов рублей вынесли в бархатном мешке, отвезли в Смольный и положили на стол Ленина. Всё выглядело как обычное ограбление банка. Теперь большевики получили доступ к государственной казне, но никто из них не имел понятия, как работает такое огромное учреждение. «Среди нас были люди, знакомые с банковской системой по книгам и учебникам, — вспоминал один из новых директоров, — но не было ни одного человека, знавшего техническую процедуру российского Государственного банка. Мы входили в его огромные коридоры, словно проникали в девственный лес».[40]

Противники видели в этих неуклюжих попытках овладеть основными институтами государства символ фундаментальной слабости большевиков. Почти никто не верил, что режим продержится.

«Калифы на час», — писала пресса. Эсер Гоц давал им «не больше нескольких дней», Горький — две недели, Церетели — до трёх, а Набоков отказывался «хоть на минуту верить в прочность большевистского режима» и ожидал скорого конца. Многие менее уверенные большевики думали сходным образом. «Всё так неустойчиво, — писал Луначарский жене 29 октября, — что, прерывая письмо, я всякий раз не знаю, не последнее ли оно. Меня в любой момент могут посадить в тюрьму».[41]

Не только сопротивление чиновничества и отсутствие у большевиков технических навыков управления сложным государственным механизмом предвещали скорое падение. Они не умели снабжать города продовольствием или остановить экономический распад. Они были изолированы от крестьян — подавляющего большинства населения, которое почти наверняка должно было голосовать против них на предстоящих выборах в Учредительное собрание.

Как Парижская коммуна 1871 года, Петроград казался маленьким красным островом в огромном зелёном море. Большевикам приходилось выдерживать осуждение западных держав и почти всей социалистической интеллигенции. Газета Горького «Новая жизнь» стала самым заметным и резким рупором этой оппозиции осенью и зимой; то, что её не закрыли сразу, как большинство оппозиционной прессы, немало говорит о политическом таланте Горького. Его собственная колонка «Несвоевременные мысли» с горькими обвинениями «нового самодержавия» должна была испытывать ленинскую снисходительность к писателю до предела. Сам Горький не раз удивлялся, что газета ещё существует. «Ленин и Троцкий, — предупреждал он уже 7 ноября, — не имеют ни малейшего представления о смысле свободы или Прав Человека. Они уже отравлены грязным ядом власти, и это видно по их постыдному отношению к свободе слова, к личности и ко всем тем гражданским свободам, за которые боролась демократия».[42]

Тем не менее, несмотря на кажущуюся смертельной изоляцию, в первые три месяца большевики сумели укрепить диктатуру. Когда в январе 1918 года наконец собралось Учредительное собрание, на которое демократическая оппозиция возлагала все надежды, оно уже

было обессилено возникновением однопартийного государства и распространением местной советской власти по провинциям. Как большевики этого добились? Отсутствие серьёзной военной оппозиции в критический период, когда их власть была слабее всего, несомненно, объясняет многое. Большие белые армии Гражданской войны ещё не были созданы; главными антибольшевистскими силами оставались небольшие казачьи войска, занятые локальными войнами на окраинах империи. В центральной России антибольшевистских сил почти не существовало. Эсеры и кадеты, наиболее вероятные лидеры подобного сопротивления, были настолько убеждены в скором самопроизвольном крахе режима, что не занимались организацией борьбы. Все считали, что власть рухнет под тяжестью собственных слабостей, поэтому никто не помогал ей падать. Созданный эсерами в первые дни Комитет спасения России и революции не имел за собой серьёзной силы; планы образовать в Ставке альтернативное социалистическое правительство во главе с Черновым так и не воплотились.

Главный секрет большевистского успеха заключался в двойственном процессе одновременно строительства и разрушения государства. Наверху они стремились сосредоточить всю власть в руках партии и террором уничтожить политическую оппозицию. Внизу, напротив, поощряли разрушение старых государственных иерархий, отдавая власть местным Советам, фабричным организациям, солдатским комитетам и другим децентрализованным формам классового управления. Возникавший вакуум власти подрывал демократию в центре, а массы нейтрализовывались тем, что получали возможность расправляться со своими прежними классовыми или национальными врагами в локальной среде.

Разумеется, никакого единого плана здесь не существовало — всё импровизировалось, как и должно было быть в революции; но Ленин, по крайней мере, инстинктивно чувствовал общее направление процесса, то, что сам он называл «революционной диалектикой», и в этом во многом заключался его политический гений. Местная советская власть в деревне — фактически неограниченное право сельского схода самостоятельно управлять общиной и делить помещичью землю — должна была в глазах крестьян сделать Учредительное собрание ненужным и тем самым разрушить политическую базу эсеров. «Рабочий

контроль» через фабрично-заводские комитеты помогал демонтировать старую промышленную инфраструктуру — то, что большевики называли «капиталистической системой», — одновременно перекладывая на самих рабочих ответственность за промышленный кризис. Распространение солдатской власти и местных мирных инициатив на фронте, которое большевики поощряли, подрывало планы старого командования мобилизовать войска против нового режима и возобновить войну. Наконец, отделение национальных окраин от Российской империи, которое большевики в тот момент также поддерживали, завершало распад старого имперского государства и, по мысли Ленина, ускоряло гибель феодальных отношений.[90]

Нет сомнения, что Ленин рассматривал все эти движения как средство разрушить старую политическую систему и расчистить путь для установления диктатуры собственной партии. Прямых доказательств этому, конечно, нет — есть лишь то, что произошло в действительности, и практически всё, что нам известно о его прежних взглядах и действиях. Трудно принять популярную среди некоторых левых историков мысль, будто в душе Ленин был либертарианцем и поощрял местные формы власти ради создания нового децентрализованного государства, описанного в «Государстве и революции», а затем этот замысел якобы был сорван централизационными требованиями Гражданской войны. Ленинская концепция революционного государства всегда была по существу централистской. Он лишь использовал энергию местных движений, чтобы уничтожить ancien régime вместе с хрупкой демократией 1917 года, изначально намереваясь затем уничтожить и сами эти движения как самостоятельные политические силы. Поддерживая крестьянскую борьбу против помещичьих имений, он в конечном счёте стремился заменить систему мелкого крестьянского хозяйства коллективными хозяйствами. Поддерживая требования «рабочего контроля», он, по всей вероятности, сознавал, что тот приведёт к хаосу и тем самым усилит

[90] «Декларация прав народов России», провозглашённая 2 ноября, предоставляла нерусским народам полное право на самоопределение, включая свободу отделения от России и создания самостоятельного государства. Первой этим воспользовалась Финляндия, провозгласившая независимость 23 ноября 1917 года. За ней последовали Литва (28 ноября), Латвия (30 декабря), Украина (9 января 1918 года), Эстония (24 февраля), Закавказье (22 апреля) и Польша (3 ноября).

необходимость возврата к централизованным методам управления под контролем партии. Поддерживая солдатскую власть постольку, поскольку она разрушала старую императорскую армию, он, вероятно, с самого начала намеревался строить Красную армию на вполне традиционных началах. И, поощряя различные национальные движения за независимость, конечной целью он считал упразднение национальных государств вообще. Во всём, что делал Ленин, конечной целью была власть. Власть для него была не средством — она была целью сама по себе. Перефразируя Джорджа Оруэлла, можно сказать: он установил диктатуру не для того, чтобы защитить революцию; он совершил революцию, чтобы установить диктатуру.

* * *

Первой задачей большевиков стало установление твёрдого исполнительного контроля. На то, чтобы сломить сопротивление государственной службы, ушло несколько недель. Руководителей забастовки и некоторых высших чиновников арестовали; для надзора за бюрократией назначили политических комиссаров; младших чиновников, готовых служить большевистской власти, стали продвигать на руководящие посты. В целом большинство государственных служащих 1918 года служили ещё до 1917-го, особенно в верхних эшелонах аппарата. Но там, где старой бюрократии не доверяли — прежде всего в Министерстве иностранных дел, — проводилась основательная чистка.[43] Так возникла модель, которая затем многократно воспроизводилась в первые годы строительства Советского государства. Это был брак по расчёту между большевистским требованием политической лояльности и честолюбием быстро растущих партийных низов. Одним из результатов стало выдвижение на реальные властные позиции третьесортных партийных функционеров, коррумпированных приспособленцев и полуграмотных выходцев из низов. Низкий культурный уровень советской бюрократии стал долговечным наследием Октября, которое позднее не раз преследовало самих большевистских руководителей.

Из-за забастовки чиновников, сделавшей невозможным нормальное кабинетное управление, Военно-революционный комитет до середины ноября фактически продолжал выполнять функции правительства. К

тому времени большинству народных комиссаров удалось установить достаточный контроль над своими ведомствами, чтобы передать исполнительную власть Совнаркому. Однако Совнарком вовсе не был обычным кабинетом министров. Прежде всего не существовало чёткой границы между интересами партии и правительства. На заседаниях Совнаркома, которыми Ленин председательствовал в большевистской штаб-квартире в Смольном, партийные и государственные вопросы обсуждались вперемешку; решения Центрального комитета превращались в советские декреты. Вся ранняя работа Совнаркома производила впечатление поспешной импровизации. Формальной повестки дня не было, всё обсуждалось как «срочное дело»; Ленин тут же набрасывал соответствующие постановления и, когда считал момент подходящим, оглашал их собранию. Обычно их принимали без обсуждения: мало кто осмеливался оспаривать его суждения.

По свидетельству многих наблюдателей, на этих заседаниях царила атмосфера заговора. Казалось, большевики психологически не способны перейти от подпольной боевой организации к ответственной партии государственного управления. Они никак не могли сменить кожаные куртки на министерские костюмы. Симон Либерман, иногда присутствовавший на заседаниях Совнаркома, вспоминал:

> Несмотря на все старания усердного секретаря придать каждому заседанию торжественный характер заседания кабинета министров, мы не могли избавиться от ощущения, что снова присутствуем на собрании подпольного революционного комитета! Годы мы состояли в различных нелегальных организациях. Всё это казалось таким знакомым. Многие комиссары сидели в пальто или шинелях; большинство носило угрожающего вида кожаные куртки.[44]

Большевики так и не сумели полностью избавиться от подпольных привычек. Даже в 1921 году Ленин по-прежнему больше напоминал партийного заговорщика, чем государственного деятеля. Конечно, это было распространённое явление — его можно назвать «якобинским синдромом» — и отчасти оно объясняет склонность революционного государства увековечивать насилие и террор. Но большевики пошли дальше якобинцев. Их диктатура первой среди диктатур XX века — за ней последовали режимы Муссолини, Гитлера, Франко и Кастро — стала прославлять собственное насильственное прошлое посредством

пропаганды, военной символики и эмблем. Казалось, культ насилия составлял самую сердцевину большевистского представления о себе: он становился целью, а не средством.

Подобно тому как партия всё сильнее заслоняла собой Совнарком, Совнарком постепенно заслонял работу ВЦИК. Хотя захват власти был осуществлён от имени съезда Советов, Ленин вовсе не собирался управлять через съезд или его постоянный исполнительный орган. Он не признавал принцип парламентского суверенитета даже тогда, когда парламентом был Совет, в котором большевики, по крайней мере формально, располагали встроенным большинством. В первые недели после Октябрьского переворота ВЦИК действительно служил парламентским тормозом для Совнаркома. Левые эсеры, анархисты и небольшая группа меньшевиков-интернационалистов, группировавшаяся вокруг горьковской «Новой жизни», составляли шумную оппозицию, которая при поддержке умеренных большевиков могла почти опрокинуть ленинское большинство. В середине ноября, когда к ВЦИК присоединились руководители Крестьянского Совета — точнее, его левого крыла,[91] — потенциальная сила этой оппозиции ещё возросла. 24 ноября она даже получила перевес в один голос при голосовании по резолюции, осуждавшей закрытие большевиками Петроградской городской думы восемью днями ранее, хотя при повторном подсчёте результат был отменён.

Но слияние с Крестьянским Советом стало одновременно решающим поворотом к упадку ВЦИК как законодательного учреждения — чего Ленин, почти наверняка, и добивался. К 108 крестьянским депутатам добавили ещё 100 делегатов от революционных организаций армии и флота и ещё около пятидесяти — от профсоюзов. Численность ВЦИК более чем утроилась и достигла 366 человек — слишком много для эффективного исполнительного органа. Поэтому тяжесть принятия решений переместилась к Совнаркому. С середины ноября ВЦИК стал собираться реже — один-два раза в

[91] Правые эсеры созвали II съезд крестьянских Советов, рассчитывая мобилизовать поддержку против большевистского режима, однако съезд оказался переполнен левыми делегатами от солдатских комитетов и низовых советских организаций, после чего правые эсеры в знак протеста покинули его. Левые руководители затем провели решение о слиянии этого «Чрезвычайного» съезда с ВЦИК.

неделю, — тогда как заседания Совнаркома участились до одного-двух в день. Резко сократилось и число законодательных актов, выносимых на ВЦИК: Совнарком всё чаще правил декретами. 4 ноября Совнарком сам присвоил себе право принимать срочные законы без одобрения Совета — явное нарушение самого принципа советской власти. Умеренные большевики голосовали вместе с оппозицией против этого решения, однако оно всё же прошло во ВЦИК с перевесом в два голоса. Каменев ушёл с поста председателя ВЦИК и присоединился к оппозиции в согласованной попытке защитить суверенитет Совета. Но ленинцы продолжали наступление. Свердлов, сменивший Каменева, был убеждённым сторонником партийной диктатуры и послушно выполнял ленинские указания по централизации власти через Совнарком. 17 ноября он представил ВЦИК «конституционную инструкцию»: формально в ней повторялось, что Совнарком ответствен перед Советом и обязан представлять ему для утверждения все законодательные акты, однако не уточнялось, когда именно это должно происходить. Иначе говоря, Совнарком мог публиковать юридически обязательный декрет до утверждения ВЦИК — что вскоре стало обычной практикой. 12 декабря ВЦИК собрался впервые за две недели: за время перерыва Совнарком уже начал мирные переговоры с Центральными державами, объявил войну Украине и ввёл военное положение в Петрограде и Москве. Как возмущённо отмечал Суханов, все эти меры были осуществлены без обсуждения в Совете. Принцип советской власти, которым большевики оправдывали своё право на правление, был похоронен; ВЦИК превратился в «жалкую пародию на революционный парламент».[45]

С первых дней нового режима большевики начали уничтожать как «контрреволюционные» все партии, выступившие против Октябрьского захвата власти. 27 октября Совнарком запретил оппозиционную печать. Запрет вызвал бурю возмущения. 4 ноября умеренные большевики голосовали против него во ВЦИК; пять членов большевистского ЦК в тот же день ушли в отставку, а вслед за ними пять членов Совнаркома — отчасти именно в знак протеста против запрета; Союз печатников пригрозил общенациональной забастовкой, если свобода печати не будет восстановлена. Но ничто из этого не помешало ВРК посылать большевистские отряды громить оппозиционные типографии,

конфисковывать бумагу и арестовывать редакторов. Большинство оппозиционных газет просто ушло в подполье и вскоре появилось вновь под слегка изменёнными названиями. Эсеровская «Воля народа» на следующий день вышла как «Воля», а позднее — как «Народ». Социалистическая газета «День» появлялась под названиями «Утро», «Полдень», «После полудня», «Вечер», «Ночь», «Полночь» и так далее.[46]

* * *

Оппозиционные партии жили надеждой на политическое спасение через Учредительное собрание. Оно, как им казалось, являлось подлинным голосом демократии. В нём был представлен каждый гражданин независимо от класса, тогда как Советы представляли лишь рабочих, крестьян и солдат. Оппозиция верила, что Учредительное собрание неизбежно будет признано высшей суверенной властью страны: даже большевики, казалось, не посмеют бросить ему вызов. На деле большевистское руководство было расколото по вопросу об отношении к Собранию, хотя о внутренних спорах в партии нам по-прежнему известно недостаточно. Ленин всегда с презрением относился к избирательной урне и ещё в «Апрельских тезисах» ясно дал понять, что считает советскую власть более высокой формой демократии, чем Учредительное собрание. В Советах не было места «буржуазии», а по ленинской логике — не было ей места и в революции. Однако сам захват власти отчасти оправдывался необходимостью обеспечить созыв Учредительного собрания: большевики много говорили о том, будто Временное правительство намерено вообще его не созывать и что только советская власть сможет привести страну к Учредительному собранию. Отказаться от этого обещания, не потеряв лица, было невозможно. Кроме того, умеренные большевики в той или иной степени принципиально поддерживали Учредительное собрание. Каменев, например, последовательно настаивал, что партия должна бороться за власть внутри него, и, подобно некоторым левым эсерам, даже допускал сочетание советской власти на местах с Учредительным собранием в роли суверенного общенационального парламента.

При таких обстоятельствах Ленину пришлось допустить проведение выборов. Голосование началось 12 ноября и растянулось на две недели,

поскольку огромные размеры страны требовали проводить выборы поэтапно. Кампания была бурной, временами насильственной, а явка — высокой. Большинство понимало, что это фактически общенациональный референдум о большевистском режиме. Эсеры получили 16 миллионов голосов — 38 процентов общего числа, преимущественно от крестьян центральной земледельческой полосы и Сибири. Однако в бюллетенях правые и левые эсеры не были разделены, хотя последние поддерживали Октябрьский захват власти, а первые — нет. Раскол произошёл слишком поздно, чтобы успеть перепечатать бюллетени, за исключением одного-двух мест. Поэтому совершенно неясно, какая доля эсеровских голосов была направлена против большевистского режима — хотя это был ключевой вопрос выборов. С относительной уверенностью можно сказать лишь, что левые эсеры пользовались большей поддержкой у молодых крестьян-солдат, тогда как правые опирались на старшее крестьянство деревни. По оценке Оливера Рэдки, главного специалиста по этому вопросу, крестьяне разделились между двумя крыльями примерно поровну, хотя правые эсеры, вероятно, всё же получили перевес, поскольку сохранили большинство губернских партийных организаций и были лучше готовы к кампании. Традиционная крестьянская практика, когда весь сельский сход договаривался голосовать за одну и ту же партию, также благоприятствовала правым эсерам: большинство деревенских стариков тяготело к ним. Но даже если правые эсеры получили большинство крестьянских голосов, собственного большинства в Собрании у них всё равно не было. Оно могло возникнуть только при поддержке меньшевиков — 3 процента голосов, кадетов — 5 процентов — и украинских эсеров — 12 процентов; однако разногласия русских и украинских эсеров по вопросу национальной независимости были столь велики, что даже такая коалиция оставалась сомнительной.[47]

И всё же результаты выборов стали тяжёлым ударом по притязаниям правительства на власть от имени народа. Большевики получили лишь 10 миллионов голосов — 24 процента общего числа, главным образом от солдат и рабочих промышленного Севера. В Петрограде и Москве они получили большинство; но на земледельческом Юге, где их организация была крайне слаба, почти не собрали голосов. Большевики немедленно объявили результаты несправедливыми: местные

сообщения о нарушениях, неизбежных в столь огромной и отсталой стране, тщательно собирались и цитировались как доказательство необходимости новых выборов. Одновременно они усилили кампанию угроз и запугивания защитников Учредительного собрания. 20 ноября Совнарком отложил его открытие на неопределённый срок — всего за восемь дней до намеченной даты. На следующий день Совнарком издал декрет, предоставлявший избирателям право отзывать своих депутатов из всех представительных органов, включая Учредительное собрание, если это поддержит более половины электората соответствующего округа. Фактически большевистским активистам давалось право отменять результаты демократических выборов, добиваясь нужных решений на фабриках и в гарнизонах. Мера была явно направлена против кадетов, которые неплохо выступили в городах, собрав правоцентристский голос. Троцкий защищал законопроект во ВЦИК как «безболезненную» альтернативу прямому роспуску Собрания в случае, если оно выступит против принципа советской власти. Это была откровенная угроза: враждебный парламент большевики терпеть не собирались. «Если бы кадеты получили большинство, — предупредил он, — разумеется, власть Учредительному собранию не была бы передана».[48] В качестве наглядного напоминания об этой угрозе 23 ноября ВРК ворвался в Таврический дворец и арестовал трёх членов избирательной комиссии Собрания. Шесть дней их держали под стражей и допрашивали в Смольном, после чего уволили и заменили большевиком Урицким.

Оппозиционные партии были возмущены этими актами устрашения. Казалось, большевики постепенно приходят к мысли, что после их слабого результата на выборах Учредительное собрание следует либо отложить на неопределённое будущее, либо вовсе закрыть. Оппозиция немедленно создала Союз защиты Учредительного собрания и призвала сторонников выйти 28 ноября к Таврическому дворцу, чтобы добиться открытия парламента. В тот день действительно собрались большие толпы, хотя далеко не 200 тысяч, о которых писала часть оппозиционной прессы: более правдоподобна цифра около пятидесяти тысяч. Большинство составляли студенты, офицеры и бастующие чиновники, но были и рабочие — например печатники и квалифицированные ремесленники. Группа из сорока пяти депутатов во главе с неутомимым

петроградским городским головой Шрейдером прорвалась в дворец сквозь большевистские пикеты латышских стрелков и приступила к первому пункту повестки — избранию президиума. Конечно, они знали, что кворума в 400 депутатов нет, но жест имел символическое значение. На следующий день они обнаружили, что Таврический дворец окружён войсками. Толпу не подпускали, а депутатов, хотя и впустили, вскоре приказали удалить.

Демонстрацию немедленно объявили «контрреволюционной акцией», организованной кадетами. Конституционно-демократическую партию запретили и, в якобинской традиции, объявили её членов «врагами народа». Десятки лидеров кадетов были арестованы, в том числе несколько депутатов Учредительного собрания — Шингарёв, Кокошкин, Долгоруков, Панина, Астров и Родичев. Революционная юстиция не признавала парламентского иммунитета. Большинство отправили в Петропавловскую крепость, где около трёх месяцев они содержались в сравнительно сносных условиях — Долгоруков даже радовался возможности наверстать чтение и избавиться от телефонных звонков, — хотя Кокошкин и Шингарёв заболели, первый туберкулёзом, и их перевели в тюремную больницу, где позднее обоих зверски убила группа большевистских матросов. Левые эсеры возражали против арестов как против акта террора, Горький назвал их «позором демократии». Но большевистское руководство явно намеревалось уничтожить кадетов как «организованную силу буржуазной контрреволюции». Это был уже не столько запрет политической партии, сколько объявление гражданской войны целому социальному классу. Оправдывая аресты во ВЦИК, Ленин назвал ЦК кадетов «политическим штабом буржуазии». Троцкий пошёл ещё дальше: раз буржуазия уже уходит со сцены истории, утверждал он, большевистское насилие против неё даже служит ей на пользу, помогая быстрее закончить агонию: «Нет ничего безнравственного в том, что пролетариат добивает падающий класс: это его право».[49]

Аресты предполагаемых «врагов народа» не ограничились кадетами. Как и якобинский террор, к которому большевистские вожди постоянно обращались за оправданием, они вскоре перекинулись на сам революционный лагерь. В Петропавловской крепости рядом с кадетами оказались эсеровские и меньшевистские лидеры — Авксентьев, Гоц,

Сорокин, Аргунов, — а также некоторые руководители Крестьянского Совета. Были отданы даже приказы об аресте Церетели, Дана и Чернова. К концу декабря тюрьмы настолько переполнились новыми «политическими», что большевики стали выпускать уголовников, освобождая места. Некоторых богатых политических заключённых — например предпринимателей Третьякова и Коновалова, бывшего министра торговли и промышленности, — отпускали за выкуп.[50]

Медленно, но неуклонно проступали очертания нового полицейского государства. 5 декабря ВРК был наконец упразднён, а двумя днями позже его функции передали ВЧК,[92] новому органу безопасности, которому однажды предстояло превратиться в КГБ. С самого начала ВЧК действовала вне закона: даже опубликованного декрета о её создании не существовало — только секретный протокол Совнаркома, которому ЧК формально подчинялась, хотя на деле почти не поддавалась политическому контролю. Ленин подчёркивал необходимость поставить во главе новой «охранки» «стойкого пролетарского якобинца» и нашёл такого человека в Феликсе Дзержинском — сорокалетнем поляке из Вильно, проведшем почти половину взрослой жизни в царских тюрьмах и, быть может, поэтому имевшем особые основания добиваться, чтобы теперь в заключении страдали все «враги народа». В детстве Дзержинский хотел стать иезуитским священником и, хотя давно утратил веру, перенёс ту же фанатическую одержимость в кампании политического преследования. На заседании Совнаркома, где учреждалась ЧК, он описал её задачу как беспощадную войну против внутренних врагов революции:

> На этот фронт — самый опасный и жестокий из фронтов — нужно послать решительных, твёрдых, преданных товарищей, готовых на всё ради защиты Революции. Не думайте, что я ищу формы революционной юстиции; сейчас нам не нужна юстиция. Сейчас идёт война — лицом к лицу, борьба до конца. Жизнь или смерть.[51]

Можно спросить, почему умеренные большевики, открыто выступавшие против политического террора и имевшие широкую поддержку среди партийных низов, не смогли стать более действенным

---

[92] Полное название — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

тормозом ленинского радикализма. Ответ, вероятно, следует искать в психологической слабости умеренных и в почти самодержавном авторитете Ленина среди партийных лидеров после «победы» Октября.[93] Ни у кого из умеренных не хватало ни смелости, ни лидерских качеств, чтобы бросить Ленину вызов и рискнуть расколом партии. Пятеро, решившиеся 4 ноября выйти из ЦК, рано или поздно помирились с ним: Зиновьев — всегда трусливый и склонный к приспособленчеству — первым отрёкся от протеста 8 ноября и был вновь принят в ЦК; Каменев, Милютин, Ногин и Рыков держались ещё три недели. В большей или меньшей степени фундаментальной слабостью всех умеренных был их интеллектуализм. Он заставлял их испытывать отвращение к террору, но одновременно лишал способности бороться с ним чем-либо, кроме слов. Луначарский был идеальным примером. 2 ноября, услышав сообщения, будто при большевистском обстреле Кремля в ходе боёв в Москве разрушен храм Василия Блаженного, он расплакался на заседании Совнаркома и затем подал в отставку с поста наркома просвещения. «Я больше не могу этого

---

[93] По словам Лозовского, большевистского профсоюзного деятеля, ушедшего из Совнаркома 4 ноября, «поклонение герою» Ленину стало одним из основных требований партийной дисциплины. См. его открытое письмо протеста против диктаторских методов ленинского крыла в «Новой жизни», 4 ноября 1917 года. > 9 января 1905 года, когда униженные и забитые солдаты по приказу царского режима стреляли в безоружные и мирные толпы рабочих, интеллигенты и рабочие подбегали к солдатам — невольным убийцам — и кричали им прямо в лицо: «Что вы делаете, проклятые? Кого вы убиваете?..» > > Однако большинство царских солдат отвечало на упрёки и уговоры унылыми рабскими словами: «Нам приказано. Мы ничего не знаем, нам приказано». И, как машины, они стреляли в толпу. Быть может, неохотно, с тяжёлым сердцем — но стреляли. > > 5 января 1918 года безоружная петербургская демократия — фабричные рабочие и служащие — мирно вышла на демонстрацию в честь Учредительного собрания. > > Почти сто лет лучшие люди России жили идеей Учредительного собрания… Реки крови были пролиты на жертвенный алтарь этой идеи, а теперь «народные комиссары» приказали стрелять в демократию, вышедшую в её защиту… > > И вот 5 января петроградских рабочих, безоружных, косили пулями… Стреляли из засад, через щели в заборах, трусливо, словно настоящие убийцы. > > И так же, как 9 января 1905 года, люди, не утратившие совести и разума, спрашивали стрелявших: «Что вы делаете, безумцы? Разве вы не видите — это же свои идут? Повсюду красные знамёна…» > > И — как царские солдаты — эти убийцы по приказу отвечали: «Нам приказано! Нам приказано стрелять». > > Я спрашиваю «народных» комиссаров, среди которых должны быть порядочные и разумные люди: понимают ли они, что… неизбежно кончат тем, что задушат всю русскую демократию и погубят все завоевания революции? > > Понимают ли они это? Или, напротив, думают: «Либо власть будет у нас, либо пусть погибнут все и всё»?55

вынести, — писал он в “Новой жизни”. — Чаша переполнена. Я бессилен остановить это варварство». Когда выяснилось, что сведения были ложными, он забрал заявление; но бессилие перед большевистским террором никуда не исчезло. Горький, один из его старейших политических друзей, который позднее постоянно просил его спасать от преследований писателей и художников, подвёл итог положению умеренных в новогоднем письме Екатерине:

> Ясно, что Россия идёт к новому и ещё более свирепому самодержавию. Вчера я был у «комиссара юстиции», человека достаточно порядочного, но, как и все представители «власти», совершенно бессильного. Я просил его освободить Вернадского — кажется, безуспешно… Поведение Луначарского поразительно нелепо и смешно — он фигура одновременно комическая и трагическая. Все большевики его типа стали отвратительно жалкими и ничтожными.[52]

Левые эсеры, вошедшие в Совнарком 12 декабря, были парализованы тем же бессилием. Они оказались единственной крупной группой, не покинувшей съезд Советов после большевистского захвата власти, и это привело к окончательному разрыву с правыми эсерами. С этого момента две партии отдельно боролись за контроль над губернскими эсеровскими организациями и Крестьянским Советом. Правые эсеры стремились изолировать большевиков и связывали все надежды с Учредительным собранием; левые считали, что, войдя в правительство — и даже в ЧК, — смогут сдержать худшие крайности большевизма. Большинство их лидеров были достаточно молоды, чтобы простить им подобный идеализм: Штейнбергу, Карелину и Колегаеву было чуть за двадцать, Спиридоновой и Камкову — лишь по тридцать два. Левых эсеров вдохновляло то, что они считали революционной стихийностью Советов. Они пытались примирить крайний либертарианизм с крайним террором ради торжества этого идеала. После Октября они хлынули в местные советские органы и стали ведущей партией радикализованных крестьян и солдат. Декрет о земле, внесённый Лениным на II съезде Советов 26 октября, по существу представлял аграрную программу левых эсеров — что Ленин и сам признавал. Он предоставлял местным крестьянским общинам carte blanche на захват и передел всей частной земли. Этого было достаточно, чтобы левые эсеры поверили в возможность соглашения с большевиками; и в середине ноября, после

того как они провели Крестьянский Совет к слиянию с ВЦИК, начались переговоры об их вхождении в Совнарком. Колегаев стал наркомом земледелия; Штейнберг — тем самым «бессильным» наркомом юстиции, к которому ходил Горький; ещё пятеро получили второстепенные посты, включая управление разваливавшейся почтово-телеграфной сетью. Но ключевые посты большевики сохранили за собой, и левые эсеры фактически служили лишь фиговым листком, которым Ленин прикрывал наготу своей диктатуры. Вопреки наивным ожиданиям они оказались неспособны смягчить деспотические крайности большевистской политики; почти во всех отношениях она прямо противоречила их революционным идеалам. Полуанархическая система децентрализованных Советов, о которой они мечтали, была несовместима с централизованной структурой ленинской диктатуры пролетариата; их защита крестьянской общины, анархо-синдикалистской организации фабрик и политической автономии национальных меньшинств вступала в конфликт с долговременными целями большевизма; а страстная приверженность гражданским свободам — Спиридонова когда-то требовала уничтожить Петропавловскую крепость как символ полицейского государства — едва ли сочеталась с большевистскими методами правления.

Заручившись участием левых эсеров, Ленин усилил кампанию против Учредительного собрания. Несмотря на приверженность демократическим свободам, левые эсеры столь же решительно, как и большевики, не желали позволить принципу парламентского суверенитета вытеснить принцип советской власти. После событий 28 ноября многие большевики и левые эсеры склонялись к идее изгнать кадетов из Собрания, а затем преобразовать его вокруг двух своих партий в Революционный конвент. Бухарин предложил это на заседании ЦК 29 ноября. Подобно французскому Конвенту 1792 года, пришедшему на смену Законодательному собранию, такой орган был бы гораздо послушнее советской диктатуре, сохраняя при этом внешние признаки общенационального парламента и успокаивая, по выражению Бухарина, «конституционные иллюзии, ещё живущие в массах».[53]

Ленин тем временем всё больше склонялся к прямому разгону Учредительного собрания. 12 декабря он опубликовал «Тезисы», в которых утверждал, что советская власть устранила необходимость в

«буржуазно-демократическом» Собрании. К тому же оно якобы уже перестало быть подлинно представительным вследствие раскола эсеров и общего полевения масс после Октября. «Классовая борьба» и разгром «контрреволюции» требовали укрепления советской власти; если же Собрание не готово признать это, «весь народ» согласится, что оно «обречено на политическую смерть». Это было заявление о намерении уничтожить Собрание, если оно не согласится уничтожить себя само. Ленинский ультиматум стал политикой партии, а затем и Совнаркома. Через десять дней на заседании ВЦИК и большевики, и левые эсеры потребовали распустить Учредительное собрание, если на открытии 5 января оно не признает своё подчинение Советам. Одновременно III съезд Советов перенесли на 8 января — на две недели раньше намеченного срока, — чтобы, по словам Зиновьева, «угнетённый народ мог вынести приговор Учредительному собранию». Ленин составил «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», которую Собранию предлагалось принять на первом заседании. Этот лживый двойник «Декларации прав человека» провозглашал Россию республикой Советов и утверждал все декреты Совнаркома, включая отмену частной собственности на землю, национализацию банков и введение всеобщей трудовой повинности.[54] Это был смертный приговор Учредительному собранию.

5 января, в день открытия Учредительного собрания, Петроград находился фактически на осадном положении. Большевики ввели военное положение, запретили публичные собрания и заполонили столицу войсками. Основные силы были сосредоточены вокруг Таврического дворца. Его окружили баррикадами и большевистскими пикетами. Передний двор, где когда-то толпа удерживала Чернова, был заполнен биваками, артиллерией, пулемётами и полевыми кухнями. Всё напоминало военный лагерь. Большевики создали специальный штаб и вызвали самых надёжных защитников режима — кронштадтских матросов, латышских стрелков и красногвардейцев, — чтобы пресечь любые «контрреволюционные» действия Союза защиты Учредительного собрания.

Одно время Союз планировал поднять восстание, но, не имея реальных вооружённых сил, в последний момент отказался от этой идеи и решил ограничиться массовой демонстрацией под лозунгом «Вся

власть Учредительному собранию!». Утром значительная толпа собралась на Марсовом поле и около полудня несколькими колоннами двинулась к Таврическому дворцу. Некоторые источники насчитывали до пятидесяти тысяч участников, но реальное число, вероятно, было меньше. Во всяком случае, оно оказалось гораздо ниже ожиданий организаторов: рабочих и солдат пришло значительно меньше, чем предполагалось, и толпа состояла в основном из той же сравнительно небольшой активной гражданской публики — студентов, чиновников и представителей средних профессий, — что участвовала в марше 28 ноября. Когда демонстранты подошли к Литейному проспекту, большевистские части, укрывшиеся на крышах с пулемётами, открыли огонь. Обстреляли и несколько других колонн, в том числе рабочих Обуховского завода. Погибли по меньшей мере десять человек, несколько десятков были ранены.

Впервые со времён Февральской революции правительственные войска стреляли в безоружную толпу. Погибших похоронили 9 января, в годовщину Кровавого воскресенья, на Преображенском кладбище рядом с жертвами той бойни. Исторические параллели не остались незамеченными. На похороны пришли несколько рабочих делегаций; одна возложила венок с надписью: «Жертвам самодержцев Смольного». Горький, бывший свидетелем обеих расправ, подчеркнул параллель в «Новой жизни». Это стало эмоциональной кульминацией его горького разочарования в революции.

> 9 января 1905 года, когда забитые, замученные солдаты по приказу царского правительства стреляли в безоружные мирные толпы рабочих, интеллигенты и рабочие подбегали к солдатам — невольным убийцам — и кричали им прямо в лицо: «Что вы делаете, проклятые? Кого вы убиваете?..»
>
> Однако большинство царских солдат отвечали на упрёки и уговоры унылыми рабскими словами: «Приказано. Ничего не знаем, приказано». И, как машины, стреляли в толпу. Неохотно, может быть, с тяжёлым сердцем, но — стреляли.
>
> 5 января 1918 года безоружная петербургская демократия — рабочие и служащие — мирно манифестировала в честь Учредительного собрания.

> Почти сто лет лучшие русские люди жили идеей Учредительного собрания… Реки крови пролиты на жертвенник этой священной идеи, — и вот «народные комиссары» приказали расстрелять демократию, которая манифестировала в честь этой идеи…
>
> Итак, 5 января расстреливали рабочих Петрограда, безоружных… Расстреливали из засады, сквозь щели заборов, трусливо, как настоящие убийцы.
>
> И точно так же, как 9 января 1905 года, люди, не потерявшие совести и разума, спрашивали стрелявших: «Что вы делаете, идиоты? Ведь это свои идут! Видите — везде красные знамёна…»
>
> И — как царские солдаты — эти убийцы по приказу отвечали: «Приказано! Нам приказано стрелять».
>
> Я спрашиваю «народных» комиссаров, среди которых должны же быть порядочные и разумные люди: понимают ли они, что… неизбежно кончат тем, что задушат всю русскую демократию, погубят все завоевания революции?
>
> Понимают ли они это? Или они думают, наоборот: «Или мы власть, или пусть всё и все погибают»?[55]

К четырём часам дня, когда началось первое заседание Учредительного собрания, обстановка в Таврическом дворце была крайне напряжённой. Многие депутаты-эсеры участвовали в утренней демонстрации и были возмущены расстрелом. В довершение унижения при входе в дворец каждого из них подвергали личному досмотру большевистские караулы. Вопреки заявлениям большевистской печати, далеко не все арестованные депутаты были освобождены к открытию заседания: про Аргунова, Авксентьева и Сорокина даже сообщали, будто они выступали в Таврическом дворце, хотя на самом деле всё ещё находились в Петропавловской крепости. В Екатерининском зале, где проходило заседание, солдат было почти столько же, сколько депутатов. Они стояли в глубине зала и сидели на галереях, пили водку и выкрикивали оскорбления в адрес эсеров. Ленин наблюдал за происходящим из старой правительственной ложи, где во времена Думы сидели царские министры. Он напоминал генерала перед решающим сражением — чем, в сущности, этот момент и являлся.

Эсеры попытались перехватить инициативу и сами открыть заседание, но большевики подняли такой шум, что первый оратор —

Михайлов, старейший член Собрания, — не смог перекричать зал. Чернов, избранный председателем, произнёс, как обычно, длинную и беспомощную речь; она мало способствовала престижу единственного в истории России того времени подлинно демократического общенационального парламента, ожидавшего собственной казни. Затем появился Церетели — несмотря на приказ большевиков о его аресте — и выступил куда сильнее, обрушившись на режим с такой страстью, что даже левые крикуны были вынуждены замолчать и слушать. Вскоре большевики довели конфликт до развязки. Раскольников, вождь кронштадтских матросов, внёс «Декларацию прав трудящегося народа». Когда её отклонили 237 голосами против 146, большевики объявили, что Собрание оказалось в руках «контрреволюционеров», и покинули зал. Был объявлен перерыв; большевики и левые эсеры стали решать, что делать дальше. Последние, как обычно колеблясь, предлагали отложить роспуск, но Ленин был непреклонен: «Теперь положение ясно, и мы можем от них избавиться». Было решено распустить Собрание, однако из уважения к левым эсерам, которые ненадолго вернулись на заседание, Ленин приказал красногвардейцам не применять насилия: когда депутаты разойдутся, дворец следовало закрыть и никого не пускать туда на следующий день. Около двух часов ночи, убедившись, что всё под контролем, Ленин вернулся в Смольный и лёг спать.[56] До закрытия Собрания оставалось чуть больше двух часов.

После ухода большевиков эсеровские ораторы продолжали произносить привычно длинные речи, а красногвардейцы на галерее всё больше пьянели и перебивали их криками. Некоторые развлекались тем, что целились в выступавших из винтовок. Эсеры решили использовать последние минуты, чтобы ускоренно принять декреты о земле и мире — хотя бы затем, чтобы Собрание погибло, оставив символический след народного законодательства. Они уже думали о быстро приближавшейся Гражданской войне, в которой им предстояло мобилизовать демократию под лозунгом восстановления Учредительного собрания. В половине третьего ночи левые эсеры окончательно покинули зал, не убеждённые отчаянными попытками своих бывших товарищей за несколько минут провести то, чего те не сумели осуществить за полгода власти при Временном правительстве. Затем большевик Дыбенко приказал начальнику красногвардейцев,

матросу-анархисту Железнякову, прекратить заседание. В четыре утра тот поднялся на трибуну, коснулся Чернова за плечо и объявил, что «всем присутствующим следует покинуть зал заседаний, потому что караул устал». Чернов ответил, что члены Учредительного собрания тоже устали, но это не мешает им «провозглашать закон, которого ждёт вся Россия». Караульные рассердились, стали кричать: «Долой Чернова!» — и угрожающе столпились внизу зала с винтовками. Чернов продержал заседание ещё около двадцати минут; но личной храбростью перед толпой он прежде не отличался — достаточно вспомнить 4 июля, — и наконец согласился перенести заседание на следующий день.[57] Единственное заседание Учредительного собрания закончилось в 4.40 утра 6 января. Депутаты понуро вышли, после чего Таврический дворец закрыли, преждевременно завершив двенадцатилетнюю историю этой цитадели российской демократии. Вернувшись на следующий день, депутаты не были допущены внутрь и получили декрет о роспуске Собрания.

Через два дня, 8 января, открылся III съезд Советов. Большевики и левые эсеры заранее заполнили его своими сторонниками: девять из десяти делегатов принадлежали к этим двум партиям. Съезд послушно принял все меры, внесённые представителями правительства, включая фиктивную «Декларацию прав трудящегося народа», фактически ставшую первой конституцией Советского государства. Только с таким «парламентом» Ленин и был готов работать — с тем, который безропотно штамповал его декреты.

* * *

Вскоре после закрытия Учредительного собрания Борис Соколов спросил одного эсеровского депутата с Волги, собирается ли его партия защищать Собрание силой. «Вы понимаете, что говорите? — ответил тот. — Понимаете ли вы, что мы — народные представители, что нам оказана высокая честь быть избранными народом, чтобы написать законы новой демократической республики? Но защищать Учредительное собрание, защищать нас, его членов, — это долг народа».[58] Большинство эсеров было столь же парализовано идеей, будто они — вожди «народа», который каким-то образом сам придёт им на помощь. В результате никакой военной кампании за отмену роспуска

Учредительного собрания не последовало. Вероятно, такая кампания всё равно была бы обречена с самого начала: в распоряжении демократических лидеров России не было реальных вооружённых сил. Союз защиты Учредительного собрания находился в руках эсеровской интеллигенции и мог рассчитывать лишь на поддержку небольшой группы юнкеров. Но их наивная вера в «народ» была тревожна и сама по себе: она свидетельствовала о полном непонимании движущих сил революции и не сулила ничего хорошего в предстоящей Гражданской войне.

Соколов, сам правый эсер, считал причиной пассивности товарищей их превращение из подпольной революционной группы в руководителей Временного правительства. В этом, несомненно, была правда. Принятое ими чувство ответственности за государство — и, вероятно, некоторая гордость новым министерским положением — заставило правых эсеров отказаться от старых террористических методов революционной борьбы и положиться исключительно на парламентские способы действия. Именно это связало их с кадетами и удержало в 1917 году от создания чисто советского правительства. «Мы должны действовать только законными средствами, — так Соколов характеризовал их мышление, — мы должны защищать закон единственными средствами, допустимыми для народных представителей, — парламентскими». Они, без сомнения, были искренни и глубоко верили, что, отказавшись бороться с большевиками большевистскими же методами, спасают Россию от ужасов гражданской войны. Марк Вишняк, правый эсер и секретарь Учредительного собрания, позднее признавал, что их руки были связаны собственным требованием любой ценой избежать гражданской войны. Но в этом было и немало тщеславной слепоты. Правые эсеры оказались загипнотизированы «святостью» и «достоинством» Учредительного собрания — первого демократического парламента в истории России — и той «честью», которую оно якобы сообщало им как своим представителям. Увлечённые этими идеалами, они внушили себе, будто Россия уже твёрдо вступила на тот же демократический путь, что Англия или Америка, и что одной «воли народа» достаточно для защиты демократических институтов. Они настолько верили в собственные демократические методы, что не сумели понять, почему

недемократические методы большевиков могут оказаться действенными на длительную перспективу.[59]

Однако дело было не только в методах: вера правых эсеров в «народ» сама по себе оказалась ошибочной. Роспуск Учредительного собрания не вызвал массового отпора. Демонстрация 5 января была значительно меньше и гораздо более среднеклассовой, чем надеялись правые эсеры. По мнению Соколова, в столице господствовала пассивность. После почти года политических конфликтов, ни один из которых не остановил экономический кризис, людей трудно было винить в циничном безразличии к политике и политикам. Ежедневные поиски еды и топлива занимали куда больше времени и сил. Даже Горький — политическое животное, если такой человек вообще существовал, — поддался общему настроению. 26 января он писал Екатерине:

> Мы живём здесь как пленники «большевиков», как французы называют почтенных ленинских приспешников. Жизнь невесёлая! И всё это страшно раздражает, но что можем сделать мы, народ? Ничего. «Кто переживёт — тот спасётся». Пережили романовское самодержавие — может быть, переживём и ульяновское. Жизнь стала комической — и трагической. Не смейся! «Новая жизнь», кажется, идёт ко дну. Настроение у меня отвратительное, к тому же и физически чувствую себя плохо. Бывают дни, когда просыпаюсь и даже работать не хочется. Как будто вообще ничего больше не хочется; меня сковывает апатия, совершенно мне несвойственная.[60]

Ещё глубже было безразличие крестьянства — традиционной опоры эсеров. Эсеровская интеллигенция всегда ошибалась, полагая, будто крестьяне разделяют её благоговение перед Учредительным собранием. Для образованных крестьян или тех, кто давно находился под влиянием эсеровской пропаганды, Собрание, возможно, действительно было политическим символом «революции». Но для основной массы крестьян, чей политический горизонт ограничивался собственной деревней и полями, оно оставалось чем-то далёким, городским, находившимся во власти «начальников» разных партий, смысла которых они не понимали, и совершенно непохожим на их собственные политические организации. Это был общенациональный парламент, о котором давно мечтала интеллигенция, но крестьянство не разделяло её представления о политической нации; язык «государственности» и

«демократии», «гражданских прав и обязанностей» был ему чужд, а если крестьяне и пользовались этой городской риторикой, то придавали ей особый, «крестьянский» смысл, отвечавший нуждам общины.[61] Деревенские Советы были гораздо ближе политическим идеалам крестьянской массы: по сути, это были те же сельские сходы в более революционной форме. Через сельские и волостные Советы крестьяне уже совершали собственную революцию на земле и вовсе не нуждались в санкции Учредительного собрания — или, если уж на то пошло, самого Советского правительства. Правые эсеры не смогли понять фундаментального факта: с точки зрения крестьян, автономия деревни через местные Советы уже уменьшила значение любого общенационального парламента, поскольку они получили свою волю — древний крестьянский идеал самоуправления. Конечно, по привычке или из уважения к старикам на сходе основная масса крестьян голосовала за эсеров на выборах в Учредительное собрание. Но очень немногие были готовы воевать за его восстановление — что летом 1918 года наглядно показал жалкий провал Комуча. Почти все деревенские резолюции по этому вопросу ясно заявляли: крестьяне не хотят возвращения Собрания в роли «политического хозяина земли Русской», как говорилось в одной из них, с властью выше местных Советов. Иными словами, они не хотели, чтобы ими управляло централизованное государство. Соколов позднее признавал это на основании своего опыта эсеровской агитации в армии:

> Учредительное собрание было для массы фронтовых солдат чем-то совершенно неизвестным и непонятным, настоящей terra incognita. Их симпатии явно принадлежали Советам. Эти учреждения были им близки и понятны, напоминали собственные деревенские сходы… Мне не раз приходилось слышать возражения солдат — порой даже самых разумных — против Учредительного собрания. Для большинства оно связывалось с Государственной думой, учреждением далёким и чужим. «Зачем нам какое-то Учредительное собрание, если у нас уже есть Советы, где могут собраться наши собственные депутаты и всё решить?»[62]

После поражения в столице эсеры вернулись в свои старые провинциальные оплоты, надеясь мобилизовать поддержку для восстановления демократии. Их ждал болезненный урок новой провинциальной реальности. Местное крестьянство оказалось в

значительной степени равнодушным к разгону Учредительного собрания, а партийные организации — в состоянии разложения. Построив партию на поддержке крестьян, эсеры обнаружили, что построили её на песке.

В губернии за губернией правые эсеры утрачивали контроль над Советами в пользу крайней левой. В северных и центральных промышленных губерниях, где большевики и левые эсеры могли рассчитывать на большинство рабочих и гарнизонных солдат, а также на значительную часть полупромышленного крестьянства, к концу октября большинство губернских Советов уже находилось в руках большевиков — обычно вследствие голосования, и лишь в Новгороде, Пскове и Твери произошли серьёзные столкновения. В некоторых городах, особенно гарнизонных, большевики просто использовали военную силу, чтобы вытеснить оппозицию из Совета и установить собственное «большинство». Дальше на юг, в земледельческих губерниях, переход власти обычно завершался лишь к Новому году и нередко сопровождался кровопролитием и уличными боями в губернских центрах — Орле, Курске, Воронеже, Астрахани, Чернигове, Одессе, Херсоне, Екатеринославе, Севастополе и других. В большинстве мест крайняя левая организовывала своих сторонников среди солдат и рабочих в ВРК, который после поражения юнкерских или казачьих частей, верных городской думе, захватывал правительственные учреждения. Затем проводились новые выборы в правящий Совет — и в той или иной форме обычно подтасовывались. Как и в Петрограде, эсеры и меньшевики часто сами играли на руку крайней левой, бойкотируя Совет и эти «перевыборы». Но, не имея собственных военных сил и значительной активной гражданской массы, готовой взять оружие для защиты демократии, они располагали немногими альтернативами. Политическая цивилизация провинциальных городов ненамного превосходила уровень отсталой крестьянской России; вне двух столиц не существовало настоящего городского среднего класса, способного поддержать демократическую революцию. В этом и состояла трагедия 1917 года.

iii. Грабь награбленное

Впервые за много лет генерал Деникин оказался среди простых русских: переодетый польским дворянином, он ехал в вагоне третьего класса на Дон.

> Теперь я был просто буржуем, которого толкали и ругали — иногда со злобой, иногда мимоходом, но, к счастью, никто не обращал на меня особого внимания. Теперь я яснее увидел настоящую жизнь — и ужаснулся. Я увидел безграничную ненависть к идеям и людям, ко всему, что социально или интеллектуально стояло выше толпы, ко всему, на чём лежал хотя бы малейший отпечаток достатка, даже к неодушевлённым предметам — признакам культуры, чужой или недоступной толпе. В этом чувстве выражалась ненависть, копившаяся веками, горечь трёх лет войны и истерия, раздутая революционными вождями.

Будущий вождь Белой армии был не единственным беженцем из большевистской России, почувствовавшим на себе ярость толпы той страшной зимой 1917–1918 годов. В мемуарах князей, графинь, художников, писателей и предпринимателей множество подобных рассказов о травматических поездках через революционную Россию в попытке бежать от большевистского режима. Во всех звучит одинаковый шок от грубости и враждебности простых людей: разве это не братья и сёстры их нянь и горничных, поваров и лакеев, которые ещё вчера казались такими добрыми и почтительными? Будто служилый класс всё время носил маску доброжелательности, которую революция сорвала, обнажив скрывавшееся под ней настоящее лицо ненависти.

Для подавляющего большинства русских главным принципом революции было уничтожение всех социальных привилегий. В России существовала давняя традиция социального уравнительства, восходившая к крестьянской общине. Она выражалась в народных представлениях о социальной справедливости, лежавших в самом сердце революции 1917 года. Распространённое убеждение, будто избыточное богатство безнравственно, собственность есть кража, а ручной труд — единственный настоящий источник ценности, было обязано гораздо меньше учению Маркса, чем уравнительным обычаям деревенской общины. Эти идеалы социальной справедливости вошли и в своеобразное христианство, которое русское крестьянство сделало

своим. В крестьянском сознании бедность обладала христианской добродетелью.[94] «Кроткие наследуют землю!» Именно это придавало революции почти религиозный статус в народном сознании: война против богатства воспринималась как чистилище на пути к вратам земного рая.

Если в 1917 году большевики и обладали массовой привлекательностью, то прежде всего благодаря обещанию положить конец всякой привилегии и заменить несправедливый общественный порядок республикой равных. Утопическое видение всеобщего социалистического государства было важнейшей частью народного революционного идеализма. Один крестьянин-рабочий, например, писал Всероссийскому крестьянскому Совету в мае 1917 года: «Все люди — богатые и бедные — должны быть обеспечены; каждый человек должен получать через комитет свою справедливую и равную долю, чтобы хватало всем. Не только пища, но и работа, и жильё должны распределяться комитетами поровну; всё следует объявить общественной собственностью». Отрицание любых стоящих над человеком форм власти — судей, офицеров, священников, помещиков, хозяев и так далее — было главной движущей силой социальной революции. Придав этой войне с привилегией институциональную форму, большевики смогли использовать революционную энергию многочисленных бедняков, которым доставляло удовольствие видеть уничтожение богатых и сильных независимо от того, улучшало ли это их собственное положение. Если советская власть мало могла сделать, чтобы облегчить нищету бедных, она по крайней мере могла сделать жизнь богатых ещё более несчастной — и это давало немалое психологическое удовлетворение. После 1918 года, по мере того как революционные идеалы тускнели, а народ всё больше беднел, большевистский режим всё охотнее основывал свою привлекательность почти исключительно на грубом удовольствии мести. В передовой статье к началу 1919 года «Правда» гордо провозглашала:

---

[94] Западному читателю может показаться странным, что большевики назвали свою главную крестьянскую газету «Крестьянская беднота». На деле это был блестящий пропагандистский ход. Русский крестьянин считал себя бедным и, в отличие от крестьян протестантского Запада, не видел в бедности ничего постыдного.

> Где богатеи, модные дамы, дорогие рестораны и частные особняки, красивые подъезды, лживая пресса, вся испорченная «золотая жизнь»? Всё сметено. На улице больше не увидишь богатого барина в шубе с «Русскими ведомостями» в руках. Нет «Русских ведомостей», нет барской шубы; барин живёт на Украине или Кубани, а может, изможден и похудел на пайке третьей категории; он уже и выглядит не как барин.[63]

Эта плебейская война против привилегий отчасти продолжала то насилие и разрушение, которые Горький осуждал ещё после Февральской революции. То же недоверие и ненависть к имущим классам, то же жестокое желание возмездия, тот же порыв разрушить старую цивилизацию. Для собственнических классов всё это было частью одной революционной бури. Насилие 1917 года они сравнивали с пугачёвщиной — анархической волной крестьянского разрушения, «бессмысленной и беспощадной», по Пушкину, — которая пугала Россию ещё с XVIII века. Они говорили о «тёмных» и «диких» инстинктах народа, разожжённых большевиками, точно так же, как их предшественники в XIX веке говорили о последователях Пугачёва. Но такие грубые и оценочные стереотипы, пожалуй, больше говорят о тех, кто ими пользовался, чем о тех, кого ими описывали. Иными словами, именно социальные претензии людей, считавших себя «цивилизованными» и «приличными», заставляли их определять насилие толпы как «анархическое», «тёмное» и «дикое». Если же рассматривать насилие в его собственных категориях, между войной против привилегий после Октября и более ранними формами насилия против имущих обнаруживаются важные различия.

Во-первых, после Октября насилие формулировалось и оправдывалось новым языком класса и классового конфликта, разработанным социалистическими партиями в 1917 году. Старые почтительные обращения к представителям имущих слоёв — «господин», «барин» — вышли из употребления. Очень скоро они превратились в оскорбительные или насмешливые обозначения людей, утративших титул и богатство. Это были «бывшие люди», как стали называть их большевики. Распространение уравнительных форм обращения — «товарищ» для членов партии и рабочих, «гражданин» для остальных — словно обозначало новую республиканскую равноправность, хотя в действительности, если воспользоваться

формулой Джорджа Оруэлла, товарищи очень скоро оказались несколько равнее других. Слово «товарищ» давно несло оттенок братства и солидарности среди наиболее классово сознательных промышленных рабочих. Теперь оно стало знаком пролетарской гордости, символом, отличавшим и объединявшим мстительную армию бедных в классовой войне против богатых. Новый язык класса пробудил чувство достоинства и силы у вчерашних униженных. Это быстро проявилось в большей вызывающей уверенности в одежде и поведении низших слоёв. Военнослужащие и рабочие сдвигали фуражки на затылок, расстёгивали гимнастёрки, демонстрируя дерзость; открыто носили пистолет за поясом и вели себя в целом агрессивно. С «социально старшими» говорили грубо, отказывались уступать женщинам места в трамвае, а в театре сидели, курили и пили, положив ноги на кресла впереди.

В сознании простых людей, никогда не читавших Маркса, классовые различия определялись скорее эмоциями, чем объективными социальными критериями. Народное слово «буржуй», например, не имело чётких классовых границ, несмотря на очевидное происхождение от «буржуазии». Это было универсальное ругательство в адрес хозяев, офицеров, помещиков, священников, купцов, евреев, студентов, специалистов или вообще всякого хорошо одетого, иностранного на вид или кажущегося состоятельным. Голодные рабочие называли «буржуями» крестьян, полагая, что те прячут продовольствие; крестьяне — нередко смешивавшие слово «буржуй» с «баржуй» и «биржевик» — тем же словом клеймили рабочих и вообще городских жителей, которых подозревали в сокрытии промышленных товаров. Иными словами, «буржуи» были не столько классом, сколько набором удобных народных козлов отпущения, внутренних врагов, определение которых можно было менять почти по желанию, объясняя ими крах рынка, тяготы войны и общую социальную несправедливость. В деревне «буржуя» часто представляли скрытым, хитрым врагом крестьян, виновником всех бед: им мог быть горожанин, торговец или чиновник. В городских очередях за хлебом, где бесконечно рождались теории саботажа, слова «буржуй», «спекулянт», «немец» и «еврей» практически становились синонимами. Это было общество, воюющее само с собой, — просто каждый был убеждён, что воюет с буржуем.[64]

Социалистическая печать поощряла подобные настроения, изображая буржуев «врагами народа». Самой продаваемой брошюрой 1917 года — публикацией, пожалуй, сильнее любой другой сформировавшей политическое и классовое сознание простых людей, — были «Пауки и мухи» Вильгельма, а не Карла, Либкнехта. Несколько миллионов экземпляров вышли более чем в двадцати изданиях, которые спонсировали все основные социалистические партии. «Пауки и мухи» делили Россию на два воюющих вида:

> Пауки — это хозяева, стяжатели, эксплуататоры, господа, богачи, а также священники, сутенёры и паразиты всех сортов!.. Мухи — несчастные рабочие, которые должны подчиняться любым законам, какие капиталисту вздумается придумать, — должны подчиняться, потому что у бедняка нет даже крошки хлеба.[95]

Само обозначение «буржуй» автоматически превращало богатого или образованного человека в существо антиобщественное. «Буржуй, — писал один социалистический публицист, — это тот, кто думает только о себе, о своём брюхе. Это человек, который держится особняком и готов вцепиться любому в горло, если дело касается его денег или еды». По мере углубления социального кризиса буржуев всё чаще называли

---

[95] Правые брошюры ещё до войны использовали образ паука для изображения еврея, «высасывающего кровь из безобидных мух — русского народа, — пойманных в его паутину». «…и отдать это пролетариату, а затем заставить буржуазию работать за паёк на советский режим». В Ставрополе большевизированные солдаты систематически грабили магазины и дома и брали заложников из буржуазии; местный Совет, деливший власть с руководителями думы и земства, был слишком слаб, чтобы остановить террор, и предпочёл узаконить его как первый шаг к полному захвату власти. Насилие быстро распространилось и на окрестные деревни: русские крестьяне-солдаты выплеснули старую классовую и национальную ненависть к богатым землёй калмыцким скотоводам, поджигая их дома и убивая семьи с невыразимой жестокостью — беременным женщинам вспарывали животы. Калмыки отвечали нападениями на русские крестьянские хозяйства. Террор часто раскручивался именно так: давно подавленные национальные и социальные конфликты внезапно взрывались, а нейтральной силы, способной их остановить, не существовало. В донском промышленном Таганроге красногвардейцы жестоко отомстили юнкерам — главным образом сыновьям буржуазии, — которых победили при захвате власти. Пятьдесят юнкеров, сдавшихся после обещания амнистии, отвели на металлургический завод, связали по рукам и ногам и одного за другим бросили в доменную печь. В Евпатории, приморском городе Крыма, большевизированным матросам советские руководители позволили бесчинствовать: за три дня они перебили 800 офицеров и жителей-буржуа. Большинство убивали мучительно — ломали руки и ноги, привязывали их к голове, а тела бросали в море. Похожие расправы произошли в Ялте, Феодосии и Севастополе.68

«паразитами» и «кровососами», а призывы к насильственной расправе звучали всё чаще — не только от крайних левых партий, но и с улиц, фабрик и из казарм. «Надо истребить всех буржуев, — заявил один рабочий в январе 1918 года, — чтобы честному русскому народу легче жилось».[65]

Большевики поощряли эту войну с привилегиями — и превратили её почти в собственное народное raison d'être. Ленин всегда выступал за массовый террор против врагов революции. В статье «Как организовать соревнование?», написанной в декабре 1917 года, он призывал к «войне не на жизнь, а на смерть против богатых, тунеядцев и паразитов». Каждая деревня и каждый город должны были самостоятельно изобрести способы:

> очищения русской земли от всяких вредных насекомых, от блох-жуликов, от клопов-богачей и так далее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, десяток жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы… В другом их поставят чистить нужники. В третьем после тюрьмы выдадут им жёлтые билеты, как проституткам, чтобы все знали, что они вредны, и следили за ними. В четвёртом расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. Чем больше разнообразия — тем лучше… ибо только практика может выработать лучшие методы борьбы.[66]

Он многократно подчёркивал, что «пролетарское государство» есть «система организованного насилия» над буржуазией: именно это он всегда понимал под «диктатурой пролетариата». Разрешение народного грабежа и возмездия составляло неотъемлемую часть этой системы, средство «терроризировать буржуазию» и заставить её покориться Пролетарскому государству. Здесь лежали истоки Красного террора.

Историки склонны были упускать связь между этой плебейской войной против привилегий и происхождением Красного террора. Большинство рассматривало террор исключительно как политическое явление. Одни утверждали, что большевики сознательно навязали его, чтобы укрепить власть, и террор стал фундаментом их режима; другие — что он был главным образом прагматической реакцией на угрозы и трудности Гражданской войны. Ни одно объяснение не вполне удовлетворительно. Террор вырвался снизу. С самого начала он был органической частью социальной революции. Большевики поощряли массовый террор, но не создали его. Основные институты террора, по

крайней мере отчасти, формировались как ответ на давление снизу. Анархический грабёж буржуазной, церковной и дворянской собственности был узаконен и институционализирован большевистскими декретами о революционной конфискации и налогах, которые местные ЧК затем обеспечивали арестами «буржуазных» и «контрреволюционных» заложников. Самосуды над хозяевами, офицерами, спекулянтами и другими «врагами народа» получили институциональную форму в народных судах и примитивной системе «революционной юстиции», а та, в свою очередь, стала частью чекистского террора.

Система ЧК как централизованного политического террора в полной мере заработала лишь к концу лета 1918 года. В первые месяцы большевистского режима ЧК, подобно всему государственному аппарату, была чрезвычайно децентрализована; это часто означало, что именно местные социальные страсти — желание населения ограбить богатых и влиятельных или даже свести счёты одной общины с другой — определяли, кого местные чекисты арестуют или расстреляют. Здесь речь идёт именно об этом «массовом терроре», чтобы понять социальные корни чекистского террора. Как бы его ни осуждать и как бы трудно ни было это признать, террор глубоко отзывался в психологии русской Гражданской войны и обладал странной массовой притягательностью. Лозунг «Смерть буржуазии!», написанный на стенах чекистских комнат допросов, был одновременно лозунгом улицы. Люди даже называли дочерей Террорами.

* * *

В январе 1918 года на собрании партийных агитаторов, отправлявшихся в провинцию, Ленин объяснял, что грабёж буржуазной собственности следует поощрять как форму социальной справедливости через возмездие. Речь шла о том, чтобы «грабить награбленное».

Под этим лозунгом, который вскоре большевики сделали своим, в следующие месяцы развернулась оргия грабежа и насилия. Горький называл её массовым погромом. Вооружённые банды грабили имущих — а затем друг друга. Мошенники, воры и бандиты богатели по мере окончательного исчезновения закона и порядка. «Грабят художественно», — писал Горький в горькой передовой статье 16 марта:

> Несомненно, история с величайшим вдохновением расскажет о процессе самоограбления России. Грабят и продают церкви и музеи, продают пушки и винтовки, растаскивают военные склады, грабят дворцы бывших великих князей; всё, что можно ограбить, — грабят, всё, что можно продать, — продают; в Феодосии солдаты даже торгуют людьми — привозят с Кавказа турчанок, армянок и курдок и продают их по двадцать пять рублей за штуку. Это чрезвычайно «оригинально», и мы можем гордиться — такого не было даже в эпоху Великой французской революции.[67]

В провинции установление советской власти часто сопровождалось подобными грабежами и насилием. Большую часть их творили буйные элементы толпы, хотя местные партийные руководители нередко и сами в них участвовали или подстрекали толпу со стороны. В Екатеринославе местный большевистский вожак призывал своих сторонников «вырвать у буржуазии миллионы, отнятые у масс и хитро превращённые в шёлковое бельё, меха, ковры, золото, мебель, картины, фарфор. Мы должны всё это забрать и отдать пролетариату, а затем заставить буржуазию работать за паёк на советскую власть». В Ставрополе большевизированные солдаты систематически грабили магазины и дома и брали заложников из буржуазии; местный Совет, деливший власть с руководителями думы и земства, был слишком слаб, чтобы остановить этот террор, и предпочёл узаконить его как первый шаг к захвату всей полноты власти. Вскоре насилие перекинулось на окрестные деревни: русские крестьяне-солдаты вымещали давнюю классовую и национальную ненависть к многоземельным калмыкам-скотоводам, поджигая их дома и убивая их семьи с совершенно невыразимой жестокостью (беременным женщинам вспарывали животы). Калмыки в ответ нападали на русские крестьянские хозяйства. Террор нередко раскручивался по такой спирали, когда долго подавлявшиеся национальные и социальные конфликты внезапно взрывались, а нейтральной силы, способной их остановить, не было. В донском промышленном городе Таганроге красногвардейцы жестоко отомстили юнкерам — в основном сыновьям буржуазии, — которых они одолели при захвате власти. Пятьдесят юнкеров, сдавшихся под обещание амнистии, отвели на металлургический завод, связали по рукам и ногам и по одному бросили в доменную печь. В Евпатории, приморском городке в Крыму, советские руководители позволили

большевизированным матросам учинить погром: за три дня те перебили 800 офицеров и буржуазных обывателей. Большинство из них были убиты мучительной смертью — с переломанными руками и ногами, привязанными вокруг головы, — а тела сброшены в море. Подобные расправы произошли в Ялте, Феодосии и Севастополе.[68]

Этой войне против буржуазии соответствовал целый ряд большевистских декретов, узаконивавших «грабёж награбленного». Советские чиновники с сомнительными ордерами ходили по буржуазным квартирам, конфискуя «для революции» пишущие машинки, мебель, одежду и ценности. Фабрики изымались из частной собственности, акции и облигации аннулировались, позднее было отменено право частного наследования. Банки национализировали, владельцам счетов разрешили снимать не более тысячи рублей в месяц — вскоре гиперинфляция превратила эту сумму почти в ничто. Владельцам банковских ячеек приказали явиться с ключами для проверки содержимого: иностранная валюта, золото, серебро и другие ценности подлежали конфискации. За первые шесть месяцев 1918 года проверили более 35 тысяч ячеек. Графиня Мещерская оставила яркое описание матроса, руководившего этой операцией в её банке:

> Грудь его была обмотана пулемётными лентами, а из кобуры на боку выглядывала рукоять револьвера. Молодой, широкоплечий, с широко раскрытыми глазами от сознания важности порученного дела, он старался придать своему большому добродушному лицу грозное выражение, хмурясь на нас. В драгоценностях он не понимал ровным счётом ничего, но одно знал твёрдо: государству нужно золото.

Из открытого сейфа он выгреб несколько горстей вещей — драгоценности, бриллиантовые монограммы, серебряные кресты и даже яйцо Фаберже — и свалил их на стол. Несколько раз он останавливался, «чтобы полюбоваться этой горой добычи».[69] Советы вводили собственные карательные налоги на буржуазию. Нередко именно с этого начинался большевистский террор: местные ЧК добивались уплаты сборов арестами заложников. В Нижнем Новгороде, например, Совет наложил революционную контрибуцию в двадцать два миллиона рублей, а ЧК арестовала 105 буржуазных граждан и удерживала их до выплаты денег.[70] Многие такие налоги назначались людям, совершенно неспособным платить: эмиграция и инфляция резко сократили

численность и состояние российской буржуазии, а среди преследуемых как «богатые» было множество мелких торговцев, полунищих учителей, врачей и служащих. Уверенные собственной пропагандой, что эта призрачная буржуазия где-то прячет богатства, местные ЧК производили всё новые аресты и начали расстреливать заложников.

То же произошло с конфискацией церковного имущества. Всё началось с неуклюжей попытки Коллонтай, народного комиссара государственного призрения, превратить Александро-Невскую лавру в приют для инвалидов войны. 19 января она послала матросский отряд занять эту знаменитую святыню в центре Петрограда. Матросов встретила разгневанная толпа верующих; в последовавшей схватке был застрелен священник. Ленин пришёл в ярость: меньше всего ему тогда было нужно открытое столкновение с Церковью, которая до сих пор старалась держаться вне политики. Но раз Коллонтай уже настроила духовенство против власти, он не видел смысла откладывать конфликт, который, по его мнению, всё равно рано или поздно был неизбежен. Декрет об отделении Церкви от государства опубликовали на следующий день, 20 января, значительно раньше намеченного срока. Вся церковная собственность объявлялась государственной. Получив такую лицензию, большевистские отряды начали разъезжать по церквам и монастырям страны, грабить серебро, выпивать вино и терроризировать духовенство. Патриарх Тихон, глава Церкви, призвал духовенство противостоять «этим извергам рода человеческого» и в пастырском послании предал большевистский режим анафеме. Не всё духовенство выбрало путь открытого сопротивления. Некоторые младшие священнослужители, приветствовавшие революцию как шанс сблизиться с приходом, пытались примириться с большевиками. Преображенский монастырь в Вятке, например, превратился в трудовую коммуну с яслями для детей рабочих и мастерской, где монахини шили одежду и обувь для сирот. Но большинство духовенства и прихожан последовало призыву Тихона, позволив большевикам заклеймить их как «контрреволюционеров» и усилить кампанию грабежа и террора. Монахов Александро-Свирского монастыря в Олонецкой губернии, пытавшихся сопротивляться большевистским отрядам, местная ЧК заключила в тюрьму, а позднее расстреляла.[71]

Одним из самых унизительных испытаний для состоятельных слоёв в первые месяцы советской власти стало принудительное вселение посторонних в их квартиры и дома. Большевики гордились тем, что заставляют богатых делиться просторным жильём с городской беднотой, и постоянно подчёркивали это в пропаганде. Для многих такое решение казалось справедливым: то, что одни жили во дворцах, а другие ютились в сырых и грязных подвалах, стало символом несправедливого общественного порядка старого режима. Состоятельные семьи старались найти чистоплотную и скромную пару, которую можно было бы поселить у себя и уговорить ограничиться одной-двумя маленькими комнатами. Но домовые комитеты, отвечавшие за переселение, следили слишком строго. Обычно в них входили бывшие дворники и домашняя прислуга, среди которых жажда мести порой была особенно сильной. Членство в домовом комитете, а тем более в партии, давало им право поменяться местами с прежними хозяевами. Они занимали лучшие комнаты и обставляли их самой дорогой мебелью, а бывших нанимателей переселяли в помещения для прислуги. В домашней жизни шла целая скрытая революция: слуги и господа буквально менялись местами. Это было уменьшенное отражение социальной трансформации всей страны.

«Я всю жизнь провёл в конюшне, — жаловался бывший слуга на политическом митинге в цирке “Модерн”, — а они живут в красивых квартирах, лежат на мягких диванах и играют со своими пуделями. Хватит! Теперь моя очередь играть с пуделями, а их очередь идти работать в конюшню». Идея заставить праздные классы работать была неотъемлемой частью войны против социальных привилегий — и большевики быстро превратили её в институт. Ленин обещал, что основным правилом советского строя будет: «Кто не работает, тот не ест». Всеобщая трудовая повинность вошла в «Декларацию прав трудящегося народа» — которая на деле была скорее декларацией обязанностей нетрудящихся, — представленную большевиками Учредительному собранию. Троцкий первым широко использовал принудительный труд буржуазии в первые дни Красной армии, направляя её представителей на небоевые работы в тылу — рыть окопы, чистить казармы. Но вскоре это стало обычной практикой городских Советов. Аристократов, бывших директоров фабрик, биржевиков,

адвокатов, художников, священников и бывших чиновников собирали и заставляли убирать мусор или снег с улиц. Комиссары и группы бездельничающих рабочих стояли рядом, курили и с явным удовольствием смотрели, как хорошо одетые дамы и господа, прежде ни дня не занимавшиеся физическим трудом, мучительно осваивают лопаты и кирки. Экономической пользы от такой трудовой повинности почти не было; единственная цель состояла в унижении и физическом изнурении «благородных» классов. Троцкий выразил психологию толпы предельно ясно: «Веками наши отцы и деды убирали грязь и нечистоты правящих классов; теперь мы заставим их убирать нашу грязь. Мы должны сделать их жизнь настолько неудобной, чтобы у них пропало желание оставаться буржуями».[72]

Лишённая собственности и униженная, жизнь этих «бывших людей» быстро превратилась в тяжёлую ежедневную борьбу. Часы уходили на очереди за хлебом и топливом вместе с остальной городской беднотой. Инфляция росла, и ради еды приходилось продавать последние ценности. Баронесса Мейендорф продала бриллиантовую брошь за пять тысяч рублей — этого хватило на мешок муки. Отпрыски величайших аристократических фамилий превращались в мелких уличных торговцев: княгиня Голицына продавала домашние пирожки, баронесса Врангель — вязаные вещи, графиня Витте — пирожные и конфеты, а жена Брусилова — спички, как сотни раненых ветеранов армии, которой когда-то командовал её муж. Бывший камергер царского двора устроился смотрителем музея, где в банках со спиртом хранились странные существа; он заменял спирт водой и продавал жутковатую жидкость на улице. Блошиные рынки Петрограда и Москвы были завалены вещами павших богачей: иконами, картинами, коврами, пианино, граммофонами, самоварами, сюртуками и бальными платьями — всё продавалось за цену одного-двух обедов. Самые дорогие вещи расхватывали nouveaux riches советского режима — комиссары и чиновники, грабившие солдаты и матросы, мелкие торговцы и бандиты, — стремившиеся обзавестись символами статуса правящего класса. Новых хозяев России легко было узнать по длинным грязным волосам, зачёсанным назад, золотым зубам, запаху одеколона и по нарядным девицам лёгкого поведения, с которыми они ходили по магазинам и гостиницам.

Барон Врангель вспоминал одного такого arriviste rouge — большевистского солдата, «только что от сохи», покупавшего жемчужное ожерелье для своей любовницы в одном из лучших ювелирных магазинов Невского проспекта. Любовница была бывшей кухаркой, теперь облачённой в роскошные меха и бриллианты, хотя лицо её было изрыто оспой. Деревенский парень явно гордился тем, что появляется на людях с такой «барыней», и потребовал показать ему «самый дорогой жемчуг, блестящий, как носят барыни».[96] Жемчуг за 75 тысяч рублей его не удовлетворил: это было всё ещё недостаточно дорого. Вечером они собирались на приём в Зимний дворец и должны были иметь самое лучшее. Кухарка заявила, что они поедут в Гостиный двор, «там уж наверняка найдём то, что мне нужно». Остальные покупательницы — бывшие светские дамы, пришедшие продавать свои бриллианты, — презрительно расхохотались: в Гостином дворе, как известно, продавали дешёвую бижутерию. Поняв промах, девушка покраснела и попыталась сохранить лицо: они всё-таки возьмут «эти жалкие жемчужины», а потом вернутся, когда ювелир найдёт что-нибудь получше.[73]

Многие из павших российских богачей и вельмож распродавали всё и либо уезжали за границу — что было чрезвычайно трудно, — либо бежали на юг, на Украину и Кубань, или на восток, в Сибирь, где формировались главные опорные районы Белой армии. Другие искали убежища в своих сельских имениях, надеясь, что крестьяне, которых они всегда считали смиренными и почтительными, окажутся добрее большевизированных рабочих города. Но и там война против богатых шла полным ходом: крестьяне, получив санкцию Октябрьского декрета о земле, проводили собственную конфискацию помещичьей земли и имущества.

Равный раздел всех средств производства — земли, инвентаря и скота — давно был основным идеалом крестьянской революции. Крестьяне воспринимали этот «чёрный передел» как Божью волю и считали, что вся остальная революция устроена по тем же принципам. Всероссийский Совет представлялся им чем-то вроде гигантской сельской общины, перераспределяющей всю собственность страны.

[96] «Барыни» — дамы дворянского сословия.

Многие крестьяне были уверены, как выразился один из более грамотных представителей деревни, что социализм, о котором они слышали весьма смутно, «это какое-то мистическое средство — мистическое потому, что мы не могли представить, как это будет сделано, — разделить всё имущество и все деньги богатых; по словам нашего деревенского портного, это означало бы, что каждому крестьянскому двору дадут по двести тысяч рублей. Видимо, большего числа он придумать не мог».[74]

Никакого мистического средства разделить землю у крестьян, разумеется, не было. Не было даже элементарных технических инструментов — карт и измерительных линеек. Землю делили, как делили всегда: шагами отмеряли ширину полос или на глаз определяли площадь участка, после чего распределяли между дворами по местной уравнительной норме. Обычно учитывалось число едоков, реже — число взрослых работников в семье. Без точной землемерной техники раздел неизбежно сопровождался спорами, иногда кулачными драками, о том, кому какой кусок должен достаться. Но в целом, учитывая жизненную важность земли для деревенского общества, передел проходил удивительно мирно — свидетельство самоорганизации общин, которые его осуществляли.

Конфискованные помещичьи и церковные земли обычно делили отдельно: крестьяне боялись, что, если революция будет обращена вспять, их заставят вернуть эту землю прежним владельцам. Многие общины требовали, чтобы каждый двор получил полоску такой земли, — так риск распределялся между всеми. Самим помещикам, в том числе вернувшимся из городов, обычно оставляли значительный участок земли и инвентарь — достаточно, чтобы превратить бывшее имение в крупное семейное хозяйство, сопоставимое с крестьянскими дворами. Крестьяне не сомневались, что помещичество как стоящий над ними класс должно исчезнуть, но одновременно считали справедливым позволить помещику стать «крестьянином» и обрабатывать свою долю «Божьей земли» собственным семейным трудом. Право на землю и труд, лежавшее в основе общины, воспринималось как фундаментальное человеческое право. Более того, поскольку «окрестьянивание» помещиков соответствовало главному крестьянскому идеалу общества, полностью состоящего из мелких семейных хозяйств, оно даже

приветствовалось. Многие помещики, особенно небольшие, остались на земле после 1917 года; к ним присоединились и те, кто обычно жил в городах, но теперь искал убежища от большевистского террора в своих имениях. Даже в середине 1920-х около десяти тысяч бывших помещиков продолжали жить в усадьбах рядом с крестьянами — примерно десятая часть всех землевладельцев России до 1917 года.

Типичным примером была семья Рудневых, помещиков средней руки из Симбирской губернии. Они решили остаться в родовом имении, потому что, как объяснял Семён Руднев, полагали, что «волнения революции будут в деревне менее суровыми, чем в городах, а хозяйственные условия с почти натуральной экономикой — лучше». Буря 1917 года почти обошла их деревню стороной. Лето и осень Рудневы прожили в привычном неторопливом ритме: «Мужчины ездили пить и охотиться, приезжали гости из Симбирска, мы выезжали в Нажим и на молочную ферму на пикники и за грибами». Следующей зимой они согласились на требование соседней общины передать крестьянам землю и имущество. За ними оставили небольшой участок в двадцать десятин — 54 акра — возле усадебного дома, где они продолжали жить. Скот и инвентарь продали с аукциона за бесценок, хотя большинство крестьян не могло прокормить новых породистых лошадей, и те постоянно убегали обратно к прежним хозяевам за сеном. Весной крестьяне работали на полях Рудневых, получая плату водкой и фруктовыми наливками. Урожай у помещиков оказался выше крестьянского, и община приказала им продать излишки деревенской бедноте по твёрдым ценам. Но ещё до уборки усадьбу разграбил местный красногвардейский отряд, а Рудневых вынудили бежать.[75]

Такой сценарий был обычным. Хотя насилие, грабёж и поджоги со стороны крестьян встречались нередко, чаще всего инициативу проявляли молодые демобилизованные солдаты. Лозунг «Грабь награбленное!» принесли в деревню вернувшиеся с фронта и из гарнизонов люди, где у них сформировалось сильное чувство боевого братства и где они подвергались большевистской агитации. Нередко они создавали внутри деревни военизированную фракцию, напоминавшую сельских fascisti тогдашней Италии. У них были собственные районные организации — Союзы фронтовиков, Союзы раненых ветеранов, — а также красногвардейские отряды при местных Советах; всё это

позволяло сильно влиять на деревню и толкать её к более насильственным действиям против помещиков. В одной деревне Керенского уезда Пензенской губернии, например, нападения на местных помещиков резко участились после возвращения нескольких солдат, которых затем избрали руководителями сельского Совета. Война явно ожесточила их: вскоре они прославились запоями и садистским насилием. Одну бедную дворянскую вдову, прежде мирно жившую с крестьянами и уже отдавшую им большую часть земли и скота, эти пьяные хулиганы довели до самоубийства: они застрелили её последнюю лошадь и корову, а любимую собаку оставили мёртвой у порога — чистая злоба, без всякой выгоды.[76]

* * *

Русские, казалось, были особенно склонны к таким жестоким и свирепым актам мести. «Я, — писал Горький, — особенно не доверяю русскому человеку, когда власть попадает ему в руки. Ещё недавно раб, он становится самым необузданным деспотом, едва получает возможность сделаться господином своего соседа».[77] Самосуд и линчевание стали самым распространённым выражением народного возмездия и в деревне, и в городе. Массовым явлением они стали в ответ на катастрофический рост преступности и распад правопорядка в 1917 году — Горький утверждал, что насчитал более десяти тысяч случаев самосуда. Поскольку полиция и старые уголовные суды почти исчезли, широко распространилось убеждение, что бороться с преступностью можно только уличным судом толпы. Какого-нибудь несчастного вора хватали, тут же выносили приговор и на месте приводили его в исполнение. Горький видел такой случай в центре Петрограда, где в жестокой казни вора участвовали даже дети. По мере углубления социально-экономического кризиса и укрепления убеждения, будто во всём виноваты буржуи, самосуды всё явственнее приобретали классовый характер. Они становились оружием войны против привилегий, и их жертвами всё чаще оказывались не мелкие воры из городской бедноты, а купцы и лавочники, фабриканты и хозяева, армейские офицеры, бывшие царские чиновники и другие представители стоявшей прежде над народом власти.

Большевики придали самосуду институциональную форму через новые народные суды, где «революционная юстиция» суммарно вершилась по всем уголовным делам. Старая система уголовного права с формальными нормами была упразднена как пережиток «буржуазного порядка». Двенадцать избираемых судей народного суда не обязаны были иметь юридическое образование — они должны были руководствоваться «революционной совестью» — и набирались главным образом из рабочих, крестьян и младших служащих старых судов. Половина не имела образования выше начального, каждый пятый состоял в партии большевиков. Заседания народных судов мало чем отличались от формализованных самосудов. Установленных процедур и правил доказывания не существовало; доказательства вообще играли небольшую роль. Обвинительный приговор часто основывался на доносах, нередко вызванных личной враждой, а наказание подбиралось в соответствии с настроением публики, свободно выкрикивавшей свои мнения с галереи.

Система революционной юстиции народных судов во многом напоминала старое крестьянское обычное право с его грубым принципом «око за око, зуб за зуб». Вот Уголовный кодекс, введённый народным судом в селе Лубны Тамбовской губернии в мае 1918 года:

> Если один ударит другого, пострадавший должен ударить виновного десять раз. Если удар причинит рану или перелом кости — виновный лишается жизни. Если совершит кражу или примет краденое — лишается жизни. Если совершит поджог и будет пойман — лишается жизни.

В крестьянском правосознании давно существовал принцип, что богатый, крадущий у бедного, во много раз виновнее бедного, крадущего у богатого, — и тот же принцип «классовой юстиции» применялся в народных судах. Решения зависели от социального положения обвиняемого и потерпевшего. В одном суде присяжные вошли в привычку осматривать руки подсудимого и, если они были чистыми и мягкими, признавать его виновным. Спекулянтов карали сурово, иногда приговаривали к смерти, тогда как грабители — и порой даже убийцы — богатых получали лёгкие наказания или вовсе оправдывались, если ссылались на бедность как причину

преступления.[78] «Грабёж награбленного» был узаконен, а вместе с ним исчез и сам закон: оставалось лишь беззаконие.

Ленин неизменно настаивал, что правовую систему следует использовать как оружие массового террора против буржуазии. Система народного права, выросшая из самосудов, дала ему это оружие. То же сделали Революционные трибуналы, названные в честь якобинских предшественников и занимавшиеся новым кругом «преступлений против государства». В феврале 1918 года, во время германского наступления, Ленин издал декрет «Социалистическое отечество в опасности!», предписывавший трибуналам расстреливать «на месте» «неприятельских агентов, спекулянтов, погромщиков, хулиганов и контрреволюционных агитаторов».[79] К его разочарованию, трибуналы оказались весьма неэффективным инструментом большевистского террора: слишком многих судей легко было подкупить, что неудивительно, поскольку значительная часть пришла прямо с заводского пола. Но это было лишь начало нового государственного механизма массового террора; функции трибуналов постепенно переходили к местным ЧК, которым революционного рвения было не занимать. Один из руководителей ЧК Лацис наставлял подчинённых:

> Не ищите доказательств того, что обвиняемый действовал или говорил против Советов. Прежде всего вы должны спросить, к какому классу он принадлежит, каково его социальное происхождение, образование и профессия. Именно эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл Красного террора.[80]

На раннем этапе система ЧК была чрезвычайно децентрализована: каждая местная организация действовала по собственному усмотрению. Это делало террор одновременно случайным и особенно восприимчивым к давлению снизу. Арестовать могли практически кого угодно, почти любое поведение можно было объявить «контрреволюционным». В собственных инструкциях ЧК к такой деятельности относили частную торговлю, пьянство и даже опоздание на работу. Но по этим критериям пришлось бы посадить всё население. Многие первые жертвы Красного террора были арестованы на основании одного-единственного доноса личного врага. Омская ЧК в апреле жаловалась, что из тысячи дел о «контрреволюции» более двухсот пришлось прекратить: единственным доказательством были

слухи, исходившие от человека или группы, которые, как выяснялось, имели личную вражду к обвиняемому. Менее щепетильные ЧК это не останавливало. Пензенский отдел юстиции, например, жаловался в апреле, что тюрьмы «переполнены невиновными людьми, арестованными ЧК на основании ложных обвинений одного лица против другого». Особенно распространённым было объявить кредитора «кулаком-ростовщиком» и тем самым «контрреволюционером».[81] Это был удобный способ списать долги.

Итак, именно это происходило на ранней стадии террора, прежде чем центр взял его под контроль и направил против собственных политически определённых врагов: отдельные группы общества толкали террор снизу, используя его как средство мести тем, кого считали своими врагами, что в их сознании равнялось «врагам революции». Разумеется, способность делать это зависела от положения группы в местной большевистской структуре власти. Но отсюда вовсе не следует, что террор был сконструирован сверху. Скорее, это говорит о тесной и сложной связи политического и массового террора. Как писал сам Дзержинский в 1922 году, ЧК лишь «дала разумное направление» «вековой ненависти пролетариата к его угнетателям», которая иначе могла бы «выражаться в бессмысленных и кровавых эпизодах».[82]

Многие заранее видели, что массовый террор грозит социальным холокостом, в котором погибнет не только буржуазия, но и множество простых людей. Цитируя слова матроса-анархиста Железнякова — «для блага русского народа можно убить и миллион человек», — Горький предупреждал читателей «Новой жизни» 17 января:

> Миллион «свободных граждан» действительно можно убить в нашей стране. Можно и больше. Почему бы их не убивать? Людей в России много, да и убийц достаточно; но когда дело доходит до привлечения убийц к суду, режим народных комиссаров сталкивается с какими-то таинственными препятствиями — как, по-видимому, произошло при расследовании гнусного убийства Шингарёва и Кокошкина.[97]

[97] Кадетские лидеры Шингарёв и Кокошкин были арестованы большевиками и заключены в Петропавловскую крепость после демонстраций 28 ноября в защиту Учредительного собрания. 6 января, тяжело заболев, они были переведены в Мариинскую больницу и следующей ночью зверски убиты ворвавшейся туда группой балтийских матросов. Позднее Наркомат юстиции установил, что убийство произошло при попустительстве большевистской Красной гвардии и коменданта больницы Стефана Басова, который оправдывал его тем, что стало «на два буржуазных рта меньше». Басова

> Поголовное истребление инакомыслящих — старый и испытанный метод русских правительств, от Ивана Грозного до Николая II… почему же Владимиру Ленину отказываться от столь простого способа?

Штейнберг, левый эсер и нарком юстиции, был ещё одним ранним критиком террора, хотя все его попытки подчинить ЧК судам оказались тщетными. Когда в феврале он впервые увидел декрет «Социалистическое отечество в опасности!» с приказом расстреливать «на месте» «спекулянтов, хулиганов и контрреволюционеров», он немедленно отправился к Ленину и возразил: «Зачем тогда вообще нужен Наркомат юстиции? Давайте прямо назовём его “Наркоматом социального истребления” — и покончим с этим!» Лицо Ленина просветлело: «Хорошо сказано, именно так и должно быть; только назвать так нельзя».[83]

iv. Социализм в одной стране

Из всех большевистских декретов первых дней власти ни один не обладал такой эмоциональной силой, как Декрет о мире. Революция родилась из войны — или, по крайней мере, из страстного желания положить ей конец. После трёх долгих лет тотальной войны Россия была поставлена на колени, и больше всего люди хотели мира. 26 октября, произнеся перед съездом Советов бессмертную фразу «Теперь мы приступим к построению социалистического порядка!», Ленин первым делом обратился к вопросу мира. Именно на этом партия строила своё право на власть; это было единственное требование, с которым каждый делегат пришёл на съезд из казармы или с фабрики. Когда Ленин зачитал декрет — громогласное «Воззвание к народам всех воюющих стран», предлагавшее «справедливый и демократический мир» на старой советской формуле без аннексий и контрибуций, — зал Смольного захлестнула волна эмоций. «Вдруг, — вспоминал Джон Рид, — по какому-то общему порыву мы все оказались на ногах и сначала тихо, а затем единым мощным хором запели “Интернационал”. Седой старый

судили и признали виновным, однако сами убийцы так и не были пойманы, а большевистские лидеры, сначала осудившие убийство, позднее стали оправдывать его как акт политического террора. …правительствами в рамках международного права, а скорее на то, чтобы «ставить другие правительства в затруднительное положение и возбуждать оппозицию среди их собственных народов».[^antinuclear]85

солдат рыдал как ребёнок. Александра Коллонтай быстро сморгнула слёзы. Огромный звук прокатился по залу, вырвался через окна и двери и поднялся в тихое небо. “Война окончена! Война окончена!” — говорил стоявший рядом молодой рабочий, и лицо его сияло».[84]

Но война, разумеется, вовсе не закончилась. Декрет о мире был выражением надежды, а не констатацией факта. Одно дело — призвать к миру, другое — добиться его. Остальные воюющие державы не собирались заключать всеобщий мир: обе стороны, напротив, были ещё решительнее настроены довести борьбу до кровавого конца. Союзников воодушевляло вступление Соединённых Штатов; Центральные державы рассчитывали перебросить силы на Запад по мере развала Восточного фронта. Причин прислушиваться к российским призывам почти не было, особенно теперь, когда её военное положение столь резко ослабло. Россия утратила положение великой державы, и её призыв к общему миру без аннексий и контрибуций звучал как довод проигравшего.

В большевистском понимании мирная кампания была неразрывно связана с распространением революции на Запад. Именно это, по их мысли, должно было закончить войну — точнее, превратить её, как предсказывал Ленин, в серию гражданских войн, в которых рабочие мира объединятся, чтобы свергнуть империалистических правителей. Вера в близость мировой революции была центральной для большевистского мышления осенью 1917 года. Как марксисты, они не могли представить, чтобы социалистическая революция долго выжила в такой отсталой крестьянской стране, как Россия, без поддержки пролетариата развитых промышленных стран Запада. Оставшись одни, без индустриальной базы, способной защитить революцию, и окружённые враждебным крестьянством, большевики считали себя обречёнными. Октябрьский захват власти был осуществлён на предпосылке — сколь бы наивной она ни выглядела сегодня, — что мировая социалистическая революция вот-вот начнётся. Любое сообщение о забастовке или мятеже на Западе встречалось как несомненный знак: «началось».

Пока эта надежда сохранялась, большевикам не нужна была внешняя политика в обычном смысле слова. Требовалось лишь раздувать пламя мировой революции. «Да и какую дипломатическую

работу мы вообще будем вести? — сказал Троцкий другу, узнав о назначении наркомом иностранных дел. — Издам несколько революционных воззваний к народам и закрою лавочку». Основная цель советской кампании за мир состояла в революционной пропаганде; в этом смысле это была вовсе не мирная кампания. Декрет о мире являлся народным призывом к революции. Он обращался к народам воюющих государств с предложением восстать против войны и заставить правительства начать переговоры. «Наше предложение мира встретит сопротивление империалистических правительств — мы себя на этот счёт не обманываем, — предупреждал Ленин съезд Советов. — Но мы надеемся, что революция скоро разразится во всех воюющих странах; поэтому мы обращаемся к рабочим Франции, Англии и Германии». Как позднее заметил Джордж Кеннан, это был первый пример того, что в советской внешней политике станет известно как «демонстративная дипломатия» — дипломатия, рассчитанная не на достижение соглашения между взаимно признающими друг друга государствами, а на пропагандистское воздействие на массы другой стороны.

Но что, если мировая революция так и не начнётся? Тогда большевики, сами поощрявшие революционное разрушение армии, окажутся безоружными перед угрозой германского вторжения. Революция будет разгромлена, Россия попадёт под имперскую власть кайзера. По мере того как время шло и этот сценарий становился всё реальнее, большевистская партия раскалывалась почти пополам. Для левого крыла, прежде всего Бухарина, отдельный мир с империалистической Германией означал предательство международного дела и уничтожение надежд на революцию на Западе. Они предлагали революционную войну против немецких захватчиков: предполагалось, что она поднимет русских рабочих и крестьян на защиту революции, в самом ходе борьбы создаст Красную армию, а их пример вдохновит революционные массы других стран.

Ленин, напротив, всё сильнее сомневался и в возможности вести такую войну, и в вероятности того, что она вызовет революцию на Западе. В «Апрельских тезисах» он сам выдвигал идею революционной войны, но теперь сомневался, что рабочие и крестьяне, до сих пор столь неохотно защищавшие Россию, станут охотнее защищать Социалистическое отечество. Без армии у большевиков не оставалось

выбора, кроме сепаратного мира: если продолжить войну, остатки «крестьянской армии, невыносимо измученной войной, свергнут социалистическое рабочее правительство». Отдельный мир с Германией дал бы большевикам необходимую «передышку», чтобы укрепить собственную власть, восстановить экономику и построить революционную армию. Это, конечно, означало поставить укрепление революции внутри страны выше разжигания революции за границей. «Наша тактика, — писал Ленин, — должна исходить из принципа: как лучше всего обеспечить социалистической революции возможность закрепиться и выжить в одной стране до тех пор, пока к ней не присоединятся другие». Более того, поскольку сепаратный мир на Востоке позволил бы Центральным державам усилить наступление на Западе и тем самым продлить войну, такая политика сама по себе могла считаться средством повысить вероятность европейской революции. Ведь революционный кризис скорее усилит продолжение войны, чем перспектива мира; и хотя Ленин этого прямо не говорил, партии было выгодно продолжение бойни на полях Франции и Бельгии — даже ценой возможной победы Германии над западными демократиями.

Надо признать, ленинская оценка положения была намного реалистичнее наивного интернационализма большевистской левой. Русская армия разваливалась: крестьяне-солдаты, поощряемые большевиками, самовольно демобилизовывались и уходили в деревни участвовать в разделе помещичьей земли. Даже военный министр Керенского генерал Верховский пришёл к выводу, что продолжать войну невозможно и России остаётся просить мира. Не было оснований думать, что национальное сознание крестьян внезапно окрепло лишь потому, что матушку-Россию перекрасили в красный цвет. Это были те же люди, которые в 1914 году не понимали, зачем их призывают, если их собственная деревня с немцами не ссорилась и немцы всё равно до неё не дойдут. Если что и усилилось в 1917 году, так это именно местническое сознание. Крестьянская и вообще социальная революция во многом двигалась этим мелким локализмом. Красная гвардия, которой предстояло стать основой Красной армии, на деле была не более чем плохо организованными партизанскими отрядами для защиты революции в отдельных деревнях и на отдельных фабриках; бойцы крайне неохотно покидали свои места и были способны разве что на

мелкую партизанскую тактику. Предполагать, будто такие отряды смогут выдержать, а тем более выиграть революционную войну против германской военной машины, было романтической левой фантазией — её разделяли и левые эсеры, и левые коммунисты.

И всё же большинство большевистских лидеров продолжало сопротивляться железной логике Ленина. Слишком трудно было отказаться от идеала мировой революции, особенно тем, кого именно международный мессианский поход за освобождение человечества в своё время и привёл к большевизму. Для Бухарина и, в определённой мере, Троцкого — людей, проведших значительную часть жизни в западной эмиграции, — российская революция была лишь частью, причём не самой важной, всемирной борьбы империализма и социализма. Ограничить победу социализма одной страной, да ещё такой отсталой, как Россия, казалось признанием поражения. По мере того как перспектива всеобщего мира отдалялась, партия всё сильнее раскалывалась между двумя противоположными линиями — революционной войной и сепаратным миром с Германией. Это, без сомнения, был один из самых критических моментов в истории партии.

* * *

13 ноября Троцкий обратился к германскому Верховному командованию с предложением перемирия, которое должно было открыть путь к переговорам о демократическом мире. Через три дня советская делегация выехала из Петрограда в разрушенный войной Брест-Литовск, где располагалась немецкая ставка, чтобы договориться о перемирии. Цель делегации была не менее пропагандистской, чем мирной: наряду с большевистскими переговорщиками во главе с Иоффе, Каменевым и Караханом в неё включили символических представителей солдат, матросов, рабочих, женщин и крестьян Пролетарской России. Вся эта довольно нелепая затея должна была создать впечатление, будто большевистское правительство действительно состоит из представителей революционной демократии.

О крестьянине, однако, чуть не забыли — что весьма показательно для реального места крестьянства в большевистской схеме революции. По дороге на Варшавский вокзал Иоффе и Каменев внезапно поняли, что в составе делегации нет представителя крестьян. Пока автомобиль

мчался по тёмным пустынным улицам Петрограда, возникло смятение. Вдруг за углом они заметили старика в крестьянском полушубке, бредущего по снегу с котомкой за спиной. Длинная седая борода, обветренное лицо — настоящий архетип русского мужика. Каменев велел остановиться.

— Куда идёшь, товарищ?

— На вокзал, барин… то есть товарищ, — ответил старик.

— Садись, подвезём.

Крестьянин обрадовался неожиданной любезности, но, когда машина приблизилась к Варшавскому вокзалу, понял, что что-то не так. Ему нужен был Николаевский вокзал, откуда поезда уходили в Москву и центральную Россию. Иоффе и Каменев решили проверить его политическую надёжность.

— К какой партии принадлежишь?

— Я социалист-революционер, товарищи. У нас в деревне все социалисты-революционеры.

— Левый или правый?

— Левый, конечно, товарищи. Самый левый, какой только бывает.

Этого оказалось достаточно, чтобы российская мирная делегация признала его дипломатическую пригодность. «Незачем тебе ехать в деревню, — сказали ему. — Поезжай с нами в Брест-Литовск мириться с немцами». Старик сначала отнекивался, но, услышав обещание вознаграждения, быстро переменил мнение. Так простой деревенский житель Роман Сташков вошёл в анналы дипломатической истории как «полномочный представитель российского крестьянства». За роскошными банкетами для дипломатов его простые крестьянские манеры — несколько напоминавшие распутинские — неизменно привлекали внимание. Первоначальное смущение из-за незнания, что делать вилкой, быстро прошло, и он начал получать от поездки настоящее удовольствие.

Какую историю он сможет рассказать в деревне! Особенно ему нравились дорогие вина. В первый же вечер он сумел вызвать улыбку даже у бесстрастного немецкого лакея. Тот спросил, предпочитает ли гость к главному блюду кларет или белое вино; Сташков повернулся к соседу, князю Эрнсту фон Гогенлоэ, и спросил: «А которое покрепче?»[86]

Первая задача переговоров — заключение отдельного перемирия — была сравнительно простой. Каждая из трёх основных воюющих сторон имела для этого свои причины. Германии нужно было освободить войска для Западного фронта, где Людендорф готовил последний «игрокский бросок»; Австро-Венгрия хотела дать передышку измотанной армии и гражданскому населению, всё более недовольному тяжестью войны; России тоже нужна была передышка и время, чтобы её мирная кампания успела вызвать революцию на Западе. Сначала российская делегация твёрдо настаивала на всеобщем перемирии: Ленин надеялся, что давление народов заставит и державы Антанты сесть за стол переговоров. Ту же пропагандистскую цель преследовала большевистская политика братаний и местных перемирий на фронте. Она одновременно подрывала власть старого, потенциально контрреволюционного командования и распространяла пацифистские настроения среди солдат противника. Большевики печатали огромные тиражи антивоенной пропаганды на немецком, венгерском, чешском и румынском языках и распространяли её за линией фронта.

Исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего генерал Духонин, сочувствовавший Корнилову, пытался противодействовать этим мирным инициативам. Он даже отказался выполнить приказ большевистского наркома по военным делам Н. В. Крыленко начать переговоры о всеобщем перемирии по всему фронту. Но Духонин, как и старая командная система вообще, фактически уже не обладал властью. Крыленко сместил его и отправился в Ставку, чтобы занять его место. До прибытия Крыленко в Могилёв солдаты арестовали Духонина и зверски забили его до смерти. Так они мстили за освобождение Корнилова из Быховского монастыря и его последующее бегство на Дон, которое, как они считали, организовал Духонин. После того как Крыленко овладел Генеральным штабом, солдаты продолжали заключать собственные местные перемирия; но их пример не перекинулся на европейские армии, и 2 декабря, когда державы Антанты по-прежнему были намерены вести войну до конца, российская делегация вынуждена была согласиться на отдельное месячное перемирие на Восточном фронте.

Русские предпочли бы шестимесячное перемирие, как и предлагали. Вся их стратегия строилась на затягивании времени в надежде, что

мирная кампания всё же вызовет революцию на Западе. Именно поэтому они добивались переговоров о всеобщем мире — не столько потому, что всерьёз рассчитывали склонить союзников присоединиться к ним, что было крайне сомнительно, сколько потому, что сама попытка их убедить позволяла растянуть переговоры и давала повод продолжать революционную пропаганду на международной арене. Заменив в середине декабря Иоффе на Троцкого во главе делегации, Ленин признавал: при отсутствии непосредственной перспективы революции на Западе необходимо затягивать мирные переговоры как можно дольше. «Чтобы затягивать переговоры, — сказал он Троцкому при назначении, — нужен человек, который умеет затягивать». Троцкий подходил идеально. Благодаря блестящей риторике и свободному русскому и немецкому он завораживал иностранных дипломатов и генералов, ловко переводя разговор от конкретных территориальных границ, где российские позиции были слабы, к общим принципам, где мог легко переигрывать немцев. Барон Кюльман, глава кайзеровской делегации, обладал типично германской слабостью к гегелевскому философствованию и охотно угодил в троцкистскую ловушку. Несколько дней ушло на словесные дуэли вокруг абстрактных принципов дипломатии. Однажды Троцкий даже приостановил переговоры, чтобы дать барону, по его выражению, «урок марксизма для начинающих». Разбирая преамбулу проекта договора, он задержал работу из-за стандартной фразы о желании сторон жить в мире и дружбе. «Я позволю себе, — сказал он с нарочитой серьёзностью, — предложить исключить вторую часть — о дружбе… Подобные заявления никогда ещё не характеризовали действительные отношения между государствами».[87]

К концу декабря германское Верховное командование, никогда не одобрявшее кюльмановскую линию на всеобщий мир, окончательно теряло терпение. На Рождество переговоры зашли в тупик: немцы отказались возвращать России спорные территории Курляндии, Литвы и Польши, где находились важные военные базы. Не было и никаких признаков, что державы Антанты склоняются к всеобщему миру. Людендорф и Гинденбург были убеждены, что большевики лишь тянут время, надеясь разжечь революцию в Германии; некоторые признаки того морального упадка, который парализует Германию в 1918 году, уже

проявлялись. Они убедили кайзера, также уставшего от Кюльмана, что с русскими пора говорить жёстко и навязать им отдельный мир на Востоке. Выгода была очевидна: перебросить войска на Запад, где Людендорф рассчитывал весной выиграть войну при достаточных подкреплениях, и одновременно открыть путь к превращению России в германскую колонию.

Экспансия на Восток — Der Drang nach Osten — давно была одной из центральных целей германской Weltpolitik. Не располагая колониальной империей, способной соперничать с британской или французской, Германия смотрела на Россию как на источник ресурсов, необходимых для превращения в мировую империю. Для германских банкиров и промышленников огромная Евразия была своего рода Африкой прямо у собственного порога. Осуществление восточных амбиций требовало держать Россию слабой и раздробить Российскую империю. Большинство германских руководителей приветствовало приход большевиков к власти, несмотря на династические связи кайзера с Романовыми. Они считали, что большевики приведут Россию к разорению, допустят распад империи и подпишут сепаратный мир с Германией.

Но ещё сильнее германская политика расчленения России опиралась на украинских националистов. Движение за независимость Украины открывало возможность отдельного мира с Киевом и перенаправления богатейших украинских ресурсов — прежде всего продовольствия, железа и угля — армиям Центральных держав. Немцы поддерживали контакты с потенциальными украинскими лидерами ещё с 1915 года. Во время рождественского перерыва в переговорах в Брест-Литовск прибыла делегация Рады. Украинским националистам экономическое подчинение Берлину казалось меньшим злом, чем политическое подчинение Петрограду. С конца ноября, когда Рада объявила Украину независимой, большевистские силы сосредотачивались в Харькове — промышленном городе восточной Украины с русским большинством, — готовясь, как это представлялось украинским националистам, к наступлению на Киев. Центральные державы были единственной реальной силой, готовой поддержать Раду. Они признали её законным правительством Украины и 9 февраля, когда большевики — отчасти в ответ на это — заняли Киев, заключили с руководителями Рады

отдельный договор. Фактически он превращал Украину в германский протекторат, открывал путь её оккупации германскими и австрийскими войсками и заставил большевиков спустя всего три недели оставить Киев и отступить на восток, в Харьков.

Отделение украинцев от русских резко усилило германские позиции на брестских переговорах. Перспектива оккупации Украины давала Берлину мощный военный рычаг, позволявший навязать России продиктованный мир. Когда переговоры возобновились в конце декабря, немцы выдвинули новые территориальные требования, включая отделение Польши от России и германскую аннексию Литвы и большей части Латвии. Троцкий потребовал перерыва и вернулся в российскую столицу для совещания с большевистскими руководителями.

На решающем заседании ЦК 11 января обозначились три фракции. Самой большой была бухаринская: на специальном совещании партийных руководителей 8 января она получила 32 голоса из 63 и имела поддержку Петроградского и Московского комитетов партии. Бухаринцы выступали за революционную войну с Германией. По их мнению, именно это могло скорее всего вызвать восстание на Западе — а только это действительно имело значение. «На социалистическую республику надо смотреть с международной точки зрения, — говорил Бухарин в ЦК. — Пусть немцы ударят, пусть продвинутся ещё на сто миль; нас интересует, как это отразится на международном движении».

Вторая по численности фракция Троцкого, получившая 16 голосов 8 января, также не хотела отказываться от надежды на революцию на Западе — тем более что в Германии и Вене уже начался резкий рост забастовок, — но сомневалась, что крестьянские партизанские отряды, на которые рассчитывал Бухарин, способны всерьёз сопротивляться немецкому вторжению. Троцкий предложил необычный лозунг «Ни войны, ни мира», рассчитанный прежде всего на выигрыш времени. Советская делегация объявит войну оконченной и покинет переговоры в Брест-Литовске, но откажется подписывать аннексионистский мир. Если немцы вторгнутся — а большевики всё равно не могут этому помешать, — то перед всем миром это будет выглядеть как открытая агрессия против мирной страны.

Для Ленина, возглавлявшего третью и самую малую фракцию, троцкистское «Ни войны, ни мира» было лишь «международным политическим фокусом», который не остановит немецкое наступление. Не имея армии, готовой воевать, Россия не могла позволить себе игру на время. Ей оставалось только подписать сепаратный мир — а значит, лучше сделать это раньше, чем позже. «Теперь вопрос только в том, как защищать Отечество, — говорил Ленин в непривычно патриотическом тоне. — Нет сомнения, это будет позорный мир, но если мы начнём войну, наше правительство сметут». Нельзя ставить под угрозу всю революцию ради вероятности германской революции, в которой Ленин и сам начинал сомневаться. «Германия только беременна революцией, а у нас уже родился совершенно здоровый ребёнок». Восстановление России и требования Гражданской войны одинаково требовали немедленного мира — или, как Ленин выражался со своей обычной прямотой: «Буржуазию надо душить, а для этого нужны свободные руки».[88]

В ЦК за Лениным стояли лишь Сталин, Зиновьев и ещё трое, а на расширенном партийном совещании 8 января он получил всего пятнадцать голосов. Поэтому Ленину пришлось временно объединиться с Троцким против Бухарина. Риск потерять социалистическую Эстонию или позднее капитулировать перед немецкими требованиями под дулом пушки — именно такой исход Ленин ожидал от троцкистского международного спектакля — казался меньшим злом, чем самоубийственная, с его точки зрения, революционная война. Лозунг «Ни войны, ни мира» был принят ЦК, а Троцкий вновь отправился в Брест-Литовск с поручением затягивать переговоры.

Ещё три недели Троцкий тянул время, пока германское Верховное командование всё больше теряло терпение. Развязка наступила 9 февраля: из Берлина пришла телеграмма кайзера с приказом Кюльману предъявить российской делегации ультиматум. Если условия не будут подписаны на следующий день, германская и австро-венгерская армии перейдут в наступление. Верховное командование окончательно убедило кайзера, что мирные переговоры бессмысленны, что русские используют их лишь для разжигания бунта среди германских войск и что договор с Радой, подписанный в тот же день, открывает путь к военному навязыванию сепаратного мира через оккупацию Украины.

Отступать Троцкому было больше некуда. На следующий день он объявил потрясённой конференции, что «Россия выходит из войны», но отказался подписывать германский мирный договор. Ничего подобного дипломатическая история ещё не видела: страна признавала поражение и заявляла, что больше не будет воевать, но одновременно отказывалась принять условия победителя, необходимые для прекращения войны. Когда Троцкий закончил, дипломаты сидели молча, ошеломлённые этим coup de théâtre. Наконец тишину разорвал возмущённый возглас генерала Макса фон Гофмана: «Unerhört!» — «Неслыханно!»[89]

Когда первый шок прошёл, германскому командованию стало ясно: блеф Троцкого надо разоблачить. Мирный договор не подписан, следовательно, Германия по-прежнему находится в состоянии войны с Россией; перемирие закончилось, путь для вторжения открыт. Несмотря на растущий страх революции в Берлине, Кюльман под давлением Людендорфа 16 февраля объявил: военные действия против России возобновятся 18-го. В Смольном 17 февраля ЦК собрался в панике. Требование Ленина немедленно принять германский договор было отклонено шестью голосами против пяти. Вместо этого приняли троцкистскую линию — ждать начала немецкого наступления и только потом подписывать мир, отчаянно надеясь, что зрелище германских войск, нападающих на беззащитный русский народ, наконец подтолкнёт немецкий рабочий класс к восстанию.[90]

18 февраля немцы действительно двинулись вперёд. Двинск и Луцк были взяты без сопротивления. Остатки русской армии окончательно распались — призыв к революционной войне их совершенно не волновал, — и к концу пятого дня люди Гофмана продвинулись на 150 миль, столько же, сколько вся германская армия сумела пройти за предыдущие три года войны. «Это самая комическая война, какую я когда-либо видел, — записал Гофман. — Воюют почти исключительно на поездах и автомобилях. Мы сажаем на поезд горстку пехоты с пулемётами и одной пушкой и отправляем к следующей станции; они её занимают, берут большевиков в плен, подсаживают ещё немного солдат и едут дальше. Во всяком случае, в этом способе есть прелесть новизны».[91]

По мере поступления известий о немецком наступлении ЦК 18 февраля провёл два чрезвычайных заседания. Ленин был в ярости.

Отказавшись подписать германский договор, его противники лишь позволили врагу продвинуться. Ленин явно боялся, что немцы вот-вот возьмут Петроград и свергнут большевиков, — следовательно, необходимо немедленно телеграфировать о принятии мира. Когда Троцкий и Бухарин предложили ещё потянуть время, Ленин пришёл в бешенство. Но голосов всё ещё не хватало: на утреннем заседании его предложение провалилось семью голосами против шести. Перед лицом поражения большевистское руководство оказалось на грани рокового раскола.

Днём, когда пошли слухи о продвижении немцев на Украину, Троцкий начал склоняться к позиции Ленина. На вечернем заседании он предложил попросить немцев ещё раз изложить свои условия. Ленин справедливо счёл это бессмысленной игрой. Для дипломатических нот было уже поздно: немцы всё равно воспримут их как очередную попытку выиграть время; остановить наступление могло лишь безоговорочное принятие условий мира. После ещё трёх часов ожесточённых споров состоялось решающее голосование по ленинскому предложению немедленно обратиться к Германии с предложением мира. Оно прошло минимальным большинством — семь против пяти; в последний момент Троцкий перешёл на сторону Ленина.[92] Мы, вероятно, никогда точно не узнаем, что происходило за кулисами, однако решающая перемена позиции Троцкого, по-видимому, была продиктована прежде всего необходимостью предотвратить раскол партии. Если бы Троцкий присоединился к Бухарину в противодействии миру, Ленин, как и угрожал, вероятно, ушёл бы из ЦК и обратился к партийным низам. Партия раскололась бы, а Троцкий как лидер антимирной фракции оказался бы значительно слабее. Без Ленина его положение на вершине партии было крайне уязвимым — что позднее подтвердили события.

В полночь после решающего голосования Ленин лично отправил в Берлин телеграмму с согласием на германские условия, предложенные в Брест-Литовске. Однако несколько дней вражеские войска продолжали продвигаться в глубь России и Украины, не отвечая на ленинское послание. Казалось, немцы решили захватить Петроград и свергнуть большевистский режим. Теперь Ленин решил воевать — полностью изменив прежнюю позицию, — и призвал добровольцев.

Военной помощи попросили у союзников: для них было куда важнее удержать Россию в войне, чем характер её правительства, и они охотно предложили помощь.[98] По ленинскому приказу большевики начали готовить эвакуацию столицы в Москву, что вызвало в Петрограде панику. Вокзалы были забиты пытавшимися уехать, тысячи людей ежедневно покидали город пешком. Закон и порядок окончательно рухнули: вооружённые банды грабили брошенные магазины и дома, а разгневанные рабочие, чьи фабрики должны были эвакуироваться, пытались возместить недели невыплаченной зарплаты, расхищая заводские склады. Именно в этот момент, когда столица погружалась в анархию, Ленин издал декрет «Социалистическое отечество в опасности!», сыгравший столь большую роль в разжигании Красного террора.

22 февраля ЦК вновь собрался обсудить возможность принять военную помощь союзников. При поддержке Троцкого и отсутствовавшего Ленина предложение было принято — едва-едва, поскольку Бухарин и другие сторонники революционной войны категорически возражали против помощи империалистических держав. Во время голосования Бухарин пригрозил в знак протеста выйти из ЦК. «Мы превращаем партию в навозную кучу», — пожаловался он Троцкому и расплакался.[93]

Как выяснилось, вопрос о помощи союзников оказался несущественным. 23 февраля Германия наконец предъявила окончательные условия мира. Берлин теперь требовал всю территорию, занятую германскими войсками за время войны, включая земли, захваченные за последние пять дней. Фактически это означало немецкую аннексию Украины и большей части Прибалтики. ЦК немедленно собрался снова. Ленин пригрозил уйти, если условия не будут приняты. Какими бы драконовскими они ни были, они хотя бы оставляли большевиков у власти. «Вопрос стоит так, — предупреждал

[98] Неспособность союзников оценивать положение в России иначе как через призму войны, без сомнения, помогла большевикам удержаться у власти в этот критический момент. Решение французского правительства предоставить большевикам военную помощь совпало с прекращением поддержки Добровольческой армии, созданной для свержения большевистского режима. Все союзные правительства плохо представляли реальное положение в России и слишком долго питали чрезмерные надежды на то, что революционную Россию удастся вновь вовлечь в войну.

Ленин, — либо подписать мир сейчас, либо через три недели подписать смертный приговор Советскому правительству». Троцкий по-прежнему не был уверен, но понимал, что расколотая партия, к которому привела бы отставка Ленина, неспособна вести революционную войну; поэтому при решающем голосовании он воздержался. Ленинское предложение прошло семью голосами против четырёх при четырёх воздержавшихся. Только фракция Бухарина, готовая, по выражению Ломова, «взять власть без Ильича и идти на фронт воевать», оставалась в оппозиции до конца и вышла из ЦК, чтобы свободно агитировать против мира среди партийных низов и по всей стране. Поздно ночью Ленин представил условия ВЦИК, где их утвердили 116 голосами против 85. На протяжении всей речи левые эсеры и многие представители левого крыла самой партии кричали ему: «Предатель!» и «Иуда!». Рано утром он отправил в Берлин безоговорочное согласие с германскими условиями.[94]

* * *

Брест-Литовский мир был окончательно подписан 3 марта. Никто из большевистских лидеров не хотел ехать в Брест-Литовск и ставить подпись под договором, который по всей России воспринимался как «позорный мир». Иоффе категорически отказался; Троцкий вышел из игры, подав в отставку с поста наркома иностранных дел; Сокольников предложил Зиновьева, а Зиновьев — Сокольникова. В итоге делегацию пришлось составлять из партийных деятелей второго ряда, в том числе Г. В. Чичерина — внука дворянина и видного царского дипломата, сменившего Троцкого на посту наркома иностранных дел.

По условиям договора Россия лишалась большей части своих европейских территорий. Польша, Курляндия, Финляндия, Эстония и Литва получали номинальную независимость под германским покровительством. Советские войска должны были покинуть Украину. В общей сложности, по подсчётам, Советская республика потеряла 34 процента населения — пятьдесят пять миллионов человек, 32 процента сельскохозяйственных земель, 54 процента промышленных предприятий и 89 процентов угольных шахт.[95] В экономическом и территориальном отношении Россия как европейская держава была отброшена к положению Московского государства XVII века.

Прямым следствием договора стало то, что Германия смогла беспрепятственно продвигаться к осуществлению своих имперских планов на Востоке. Украина была немедленно занята полумиллионом германских и австро-венгерских солдат. В городах их в целом приветствовали имущие слои — главным образом русские, уставшие от националистической и социалистической политики Рады. Они ждали, что «порядочные немцы» наведут в городах порядок. В деревне, где войска безжалостно реквизировали продовольствие для голодающих жителей Австрии, украинские крестьяне, напротив, яростно сопротивлялись немецкому присутствию.

Поначалу сбор зерна оставили Раде. Она должна была отправлять по триста вагонов зерна в день — своего рода дань Берлину, предусмотренную мирным договором 9 февраля в обмен на военную защиту украинской независимости от России. В 1917 году украинские крестьяне в целом поддерживали партии Рады; но их национализм не распространялся на вывоз украинского хлеба в чужую страну. Они начали сокращать посевы и прятать зерно от агентов Рады. Когда Рада стала отставать с выплатой этой дани, немецкие части сами пошли по деревням собирать зерно. Делали они это без разбора, забирая у хозяйств жизненно необходимые запасы пищи и семян, а крестьян, отказывавшихся платить, без согласия Рады судили военными судами. Миллионы акров незасеянной крестьянской земли передавали бывшим помещикам в наказание «саботажникам».

Результатом стала волна крестьянских восстаний и партизанской войны, призванной сорвать немецкие реквизиции: разрушались мосты и железнодорожные линии, германские подразделения обстреливали из лесов. Украинская деревня погрузилась в хаос. Большую часть этих крестьянских действий организовывали левые эсеры — и русские, и украинские; последние вскоре отделились от украинских эсеров и создали партию боротьбистов, или эсеров-«борцов». Но немцы обвиняли Раду в неспособности удержать положение под контролем. В конце апреля, в перевороте, который поддержали русифицированные помещики, также выступавшие против крестьянской войны, немцы арестовали правительство Рады и заменили его собственным марионеточным режимом гетмана Скоропадского — генерала одного из первых украинизированных армейских корпусов, одного из богатейших

землевладельцев Украины и бывшего флигель-адъютанта Николая II. Теперь ему предстояло играть столь же услужливую роль перед новыми украинскими хозяевами в Берлине.

В самой России договор обеспечивал привилегированное положение германским экономическим интересам. Немецкая собственность освобождалась от национализации: даже земли и предприятия, конфискованные после 1914 года, могли быть возвращены немецким владельцам. Кроме того, немцы получили возможность скупать российские активы и тем самым выводить их из-под большевистских декретов о национализации. Таким способом сотни российских предприятий были проданы германским подданным, дав им доминирующее положение в частном секторе. Слова «немец» и «торговец», которые в сознании простого русского человека издавна связывались — и смешивались с понятием «предатель», — теперь почти буквально сливались в одно.

Для русских патриотов, давно одержимых страхом перед экономическим подчинением славян тевтонам, Брест-Литовский договор был национальной катастрофой. Князь Львов, живший тогда в Тюмени, впал почти в самоубийственное отчаяние и, по словам тётки, несколько дней не вставал с постели. Генерал Брусилов, убеждённый сторонник панславизма, после известия погрузился в глубокую депрессию. Для этого великого оптимиста, умевшего сохранять бодрость даже в самые тёмные периоды войны, такое состояние было необычным. С ногой в гипсе, всё ещё оправляясь после ранения, полученного в московских боях, он днями лежал в постели и оплакивал гибель России. Жена позднее утверждала, что утешение он нашёл в религии: в его внутреннем мире Бог занял место, освободившееся после крушения Отечества. Это же помогло ему смириться с тем, что теперь он называл «трагической судьбой России».

Брусилов определённо не собирался вступать в гражданскую войну из-за этого договора, хотя позднее ЧК, не способная понять, почему такой аристократ не присоединился к белым, заключила его в тюрьму, исходя из предположения, что он всё-таки это сделал. Отказ Брусилова поднять оружие против советского режима основывался на убеждении, как он писал брату, что «народ решил судьбу России». Сердцем Брусилов, несомненно, был с белыми, но слишком хорошо понимал обречённость

их дела, поскольку они выступали за возобновление войны. Если опыт 1917 года чему-то его и научил, так это тому, что русский народ хотел мира любой ценой и что все разговоры патриотических партий о защите Матушки-России и её границ были ему совершенно чужды.[96]

Противодействие договору отнюдь не ограничивалось антисоветскими кругами. Фракция Бухарина и левые эсеры сошлись в неприятии «позорного мира» и вместе образовали мощную оппозицию во ВЦИК. В знак протеста против договора левые эсеры вышли из Совнаркома, а позднее перешли к террористическим методам, включая убийство германского посла, в тщетной надежде сорвать мир и возобновить революционную войну. Возникновение бухаринской фракции — «левых коммунистов», сгруппировавшихся вокруг журнала «Коммунист», — раскололо большевистскую партию почти пополам. Многие из этих молодых идеалистов, хотя сам Бухарин в меньшей степени, связывали поддержку революционной войны со своим неприятиятием сближения с буржуазией, к которому Ленин призывал весной в рамках программы «государственного капитализма». Они отвергали всякое ослабление войны против буржуазии — будь то мир с империалистами за границей или компромисс с капиталистами внутри страны. Революцию они представляли как международный крестовый поход против капитализма и, в отличие от Ленина, верили, что он может поддерживаться революционной энергией крестьян и рабочих в рамках подлинно демократической и децентрализованной системы Советской власти.

* * *

Брест-Литовский мир завершил ленинскую революцию: он был кульминацией Октября. В борьбе вокруг договора, как и в борьбе за власть, Ленин неизменно оставался непримиримым. Не существовало такой жертвы, на которую он не был бы готов пойти ради закрепления революции на собственных условиях. В результате этой непримиримости большевики оказались изолированы от остальных революционных партий и по нескольким важнейшим вопросам раскололись внутри себя. Захват власти, разгон Учредительного собрания и подписание Брест-Литовского договора — всё это было осуществлено по настоянию Ленина и всё глубже втягивало страну в

гражданскую войну. Сама Россия перестала быть великой мировой державой. Она была вынуждена отступить с европейского континента, замкнуться в себе и повернуться лицом к Востоку. После Брест-Литовского мира реальная перспектива распространения революции на Запад практически исчезла. Ленин прекрасно это понимал, и все его разговоры о «неизбежной революции в Германии», которая якобы компенсирует потери по договору, были не более чем блефом ради партийной морали и пропаганды.[97] Правда, в 1919–1920 годах Ленин ещё будет заигрывать с идеей экспорта коммунизма через Коминтерн, но серьёзных результатов это не даст. По существу, «перманентная революция» завершилась, и отныне целью режима станет, по знаменитой ленинской формуле, укрепление социализма в одной стране.

Перенос столицы в Москву символизировал это растущее отдаление от Запада. Петербург всегда был европейским городом, «окном России в Европу»; Москва, напротив, физически напоминала об азиатских традициях страны. Заключённый в тюрьму царь, вероятно, нашёл бы этот переезд весьма ироничным, поскольку сам всегда предпочитал старую столицу Петербургу. Отступление большевиков на восток, в сердце Московской Руси, во многом было вынужденным: после ратификации договора немцы продолжали наступление. 2 марта германские самолёты бомбили Петроград. Ленин был убеждён, что немцы собираются занять город и свергнуть большевиков. Вновь запросили помощи союзников — Каменева отправили в Лондон, британские войска высадились в Мурманске, — а большевики тем временем перебрались в Москву.

Ленин и Троцкий вскоре поселились в бывших царских покоях Кремля. Музыкальные часы на Спасской башне, через которую их автомобили въезжали в Кремль, переделали так, чтобы вместо «Боже, царя храни» они исполняли «Интернационал». Поначалу оставили и большинство бывших царских слуг. Один из них, престарелый Ступишин, служивший нескольким императорам, вскоре искренне привязался сначала к Ленину, а затем к Троцкому, вероятно заметив, как позднее писал Троцкий, что «мы ценили порядок и его заботу». За обедом этот аккуратный маленький управляющий двигался «словно тень за спинками стульев» и молча поворачивал тарелки так, чтобы

двуглавый орёл на ободке всегда стоял прямо. Троцкий считал, что Кремль «с его средневековой стеной и бесчисленными золочёными куполами представлял собой совершенный парадокс как крепость революционной диктатуры».[98] На деле же это было чрезвычайно подходящее, даже символическое место — и не только потому, что большевики вели себя как новые «цари» России. Ведь режим гражданской войны, к которому они теперь переходили, во многих отношениях возвращал Россию к обычаям московского прошлого.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ (1918–1924)

(1918–1924)

ГЛАВА 12

ПОСЛЕДНИЕ МЕЧТЫ СТАРОГО МИРА

i. Петербург в степи

В своём замечательном романе «Белая гвардия» Михаил Булгаков описывает сюрреалистическую жизнь Киева весной 1918 года, когда город оказался переполнен беженцами с большевистского Севера.

> Среди беженцев появились седовласые банкиры с женами, ловкие дельцы, оставившие в Москве верных заместителей с наказом не терять связи с новым миром, возникавшим в Московском царстве; помещики, тайно передавшие свои имения надёжным управляющим; промышленники, купцы, адвокаты, политики. Приехали журналисты из Москвы и Петербурга — продажные, алчные и трусливые. Проститутки. Почтенные дамы из аристократических семей и их нежные дочери, бледные развращённые петербурженки с губами, накрашенными кармином; секретари начальников государственных департаментов; праздные молодые гомосексуалисты. Князья и старьёвщики, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров.[1]

Киев был не единственным городом, захлёстнутым этой волной. Описание Булгакова можно было бы применить почти к любому крупному городу Юга. Но присутствие немцев и их марионеточного украинского правительства во главе с гетманом Павлом Скоропадским, обещавшего защитить имущество беженцев и предоставить им работу, несомненно, делало Киев особенно притягательным. Каждый дом был забит до отказа. Русские князья спали на полу и диванах. Город жил в атмосфере лихорадочного возбуждения, словно завтра не существовало. Люди толпами обедали в дорогих ресторанах, проигрывали состояния в клубах и казино, заводили безумные романы. Кафе бойко торговали коктейлями и женщинами. Кабачки и театры были переполнены каждую ночь — люди смехом заглушали страх. Витрины магазинов ломились от французских духов и шёлка, огромных пластов осетрины и икры, старых бутылок шампанского «Абрау» с двуглавым орлом на этикетке.

Эти беженцы страстно ненавидели большевиков. Но очень немногие собирались с ними сражаться. «Их ненависть, — писал Булгаков, —

была не той деятельной ненавистью, которая заставляет ненавидящего драться и убивать, а ненавистью пассивной и трусливой».[2] Они возмущённо ворчали за ресторанным обедом, читая о новых ужасах на Севере, но и не думали отказываться от комфорта ради войны. Это была буржуазия в бегах.

Только офицеры — сыновья помещиков и студенты, чью учёбу прервала война, — ненавидели красных так, что готовы были сражаться. Эти молодые люди бежали из развалившихся частей на фронте и, рискуя жизнью, пробирались через страну к южным городам. Днём они бродили по улицам без денег и небритые; ночью спали на чужих стульях и полу, укрываясь шинелями. Это было поколение лишённых всего людей, которым нечего было терять в гражданской войне. Многие уже видели, как их семьи лишились поместий из-за крестьянских захватов, как революция разрушила их собственные карьеры, надежды и ожидания. Они слишком много пили, кипели от злости и думали лишь о мести.

Один из таких офицеров-студентов, Роман Гуль, зимой 1917 года проезжал через Киев, направляясь вступать в Белую гвардию на Дону. В октябре он получил от отца телеграмму: «Имение разгромлено, проси отпуск». С тех пор он скрывался от большевиков. Путешествуя по России в вагоне третьего класса, Гуль испытывал отвращение к злобе и недоверию на лицах окружавших его солдат-крестьян. «Вот эти люди разбили наши старые стулья красного дерева, — писал он приятелю из поезда, — эти люди разорвали мои любимые книги, те самые, что я студентом покупал на Сухаревке;[99] эти люди вырубили наш сад и розы, посаженные мамой; эти люди сожгли наш дом». Отчасти именно желание отомстить за эту потерю заставило Гуля, как и многих молодых людей его круга, присоединиться к белым. «Я увидел, что под красной шапочкой женщины-Революции, которую мы считали прекрасной, на самом деле скрывается отвратительное свиное рыло. Сердце моё было полно сомнений и колебаний, но я убедил себя, что в конце концов, чтобы всё это исправить, надо принять на себя ответственность, надо быть готовым даже к греху убийства».[3]

[99] Большой московский блошиный рынок.

Целью Гуля был Новочеркасск — штаб формировавшейся Добровольческой армии Алексеева и Корнилова. После захвата власти большевиками и освобождения Корнилова из Быховского монастыря оба генерала бежали в сонный степной город, где донские казаки, которых белые считали стойкими сторонниками старого порядка, незадолго до этого избрали генерала Каледина атаманом своего традиционного круга. Молчаливый и мрачный, Каледин был типичным казачьим генералом старой школы. В 1917 году он поддержал Корнилова против Советов, а на Московском государственном совещании в августе прямо призвал упразднить все демократические организации в армии.

20 ноября Донской круг провозгласил независимость. Главной заботой донского казачьего руководства была её защита, но добровольцы убедили казаков, что этого можно добиться только в союзе с ними против большевиков. Те, в свою очередь, сумели мобилизовать значительную часть неказачьего населения Дона — русских крестьян-«иногородних», промышленных рабочих и матросов Черноморского флота — для наступления на Ростов, главный город Донской области. Поэтому поначалу Каледин приветствовал прибытие добровольцев — всего сорока офицеров, называвших себя «Алексеевской организацией», — 17 ноября. Его собственные силы быстро разлагались: молодые и более радикальные казаки, уставшие от войны и не желавшие сражаться с красными, возвращались с фронта и агитировали против его власти. Многие местные казаки боялись, что присутствие добровольцев превратит Новочеркасск, столицу Дона, в мишень большевиков. Из-за такого недоверия казаков к белым офицеров Алексеева поначалу пришлось прятать в госпитале. Но когда красные приблизились и стало ясно, что без добровольцев Дон не удержать, Каледин смог использовать их без серьёзных возражений со стороны казаков. В начале декабря Красная гвардия наконец захватила Ростов. Каледин ввёл военное положение и призвал добровольцев отбить город — собственные казаки сражаться отказались. Армии Алексеева, к этому моменту выросшей примерно до пятисот офицеров, оказалось достаточно, чтобы разгромить более многочисленную, но совершенно недисциплинированную Красную гвардию. Шестидневное сражение

началось 9 декабря — в день святого Георгия, покровителя России. Это была первая крупная битва гражданской войны.[4]

Бои за Ростов были типичны для первого года гражданской войны — от октября 1917-го до сентября 1918-го. Постоянных «фронтов» в привычном смысле ещё не существовало: ни у одной из сторон не было достаточно людей и устойчивых каналов снабжения, поэтому боевые действия отличались крайней подвижностью. Крупные города могли захватываться крошечными армиями, едва заслуживавшими такого названия. Большинство передвижений происходило по железной дороге, и поэтому эти ранние столкновения получили название «эшелонной войны». Суть зачастую сводилась к тому, чтобы посадить горстку бойцов с несколькими пулемётами в поезд и отправиться до следующей станции — после чего «захватывались» и станция, и город. «Сражения» часто приобретали фарсовый характер, поскольку многие рядовые, особенно на красной стороне, вообще не хотели воевать; немало людей вступали в армию лишь ради шинели и ежедневного пайка. Случалось, что противники неожиданно сталкивались в деревне или небольшом городе и после коротких переговоров договаривались разойтись, вместо того чтобы вступать в бой. Красноармейцы особенно часто панически разбегались после первых выстрелов; и хотя у белых, как у «добровольцев», таких проблем было меньше, их офицерам тоже не раз приходилось прибегать к террору против собственных солдат. Обе стороны в оперативных донесениях преуменьшали собственные провалы и раздували «успехи». Как однажды жаловался Троцкий, каждый город, судя по донесениям, непременно брали «после ожесточённого боя», а каждое отступление происходило «только под натиском превосходящих сил». Абсурдные стороны гражданской войны лучше всего передал Ярослав Гашек в сатирической повести «Красный комиссар». Её швейковский герой, когда правый фланг прорван, приказывает войскам отступать влево, а затем телеграфирует в штаб о «великой победе» и окружении белых.[5]

Рост Добровольческой армии во многом был связан с харизматической фигурой генерала Корнилова. После того как Духонин утратил контроль над Ставкой и она перешла в руки большевиков, Корнилов и его товарищи бежали из фактически открытой тюрьмы в Быховском монастыре. Это исключало возможность свергнуть

большевиков изнутри Советской России и одновременно грозило им самим казнью, поэтому быховские генералы решили пробираться на Дон. Большинство переоделись и ехали поездами через большевистскую Россию. Лукомский сбрил бороду и говорил с немецким акцентом; Романовский выдавал себя за прапорщика; Марков — за простого солдата. Деникин изображал польского дворянина и ехал третьим классом; именно там он впервые увидел «безграничную ненависть» простого народа ко «всему, что социально или интеллектуально возвышалось над толпой». Гордый Корнилов, однако, отказался скрывать свою личность и повёл верный Текинский полк форсированным маршем через враждебную большевистскую территорию. В конце концов их остановил красный бронепоезд и вступил с ними в бой. Белая лошадь Корнилова была убита под ним. Ему удалось уйти и собрать большую часть людей, но те были уже слишком деморализованы, чтобы идти дальше. Поняв, что добраться сможет только один, Корнилов распустил их и завершил путь в крестьянском обличье. Ирония заключалась в том, что на Дон он приехал в поезде Красной гвардии.[6]

Новочеркасск, куда Гуль прибыл в канун Нового года, представлял собой микрокосм старой России в изгнании — Петербург в степи. По грязным улицам толпились вчерашние сильные мира сего. «Здесь были генералы с лампасами и эполетами, лихие кавалерийские офицеры в ярких мундирах, белые косынки сестёр милосердия и огромные кавказские папахи туркменских воинов», — вспоминал Гуль. Сюда приехало множество думских политиков, пытавшихся направлять белое движение: Милюков, Родзянко, Струве, Завойко, Г. Н. Трубецкой, Н. Н. Львов, даже эсер Борис Савинков. Дон стал домом и для ведущих представителей интеллигенции — как физически, так и духовно. Марина Цветаева, чей муж Сергей Эфрон одним из первых вступил в Добровольческую армию, написала в своей московской мансарде цикл стихов «Лебединый стан», идеализируя донских повстанцев как «юность и славу» России:

> Белая гвардия — Гордиев узел Русской доблести. Белая гвардия — белые грибы Русской песни. Белая гвардия — белые звёзды, Не перечеркнуть с небес. Белая гвардия — чёрные гвозди В рёбра Антихристу.

«Белая гвардия», 27 июля 1918 года[7]

Для Цветаевой, как и для многих людей её круга, Дон был последней надеждой на спасение русской цивилизации — «последней мечтой старого мира», как она это выразила.

В Новочеркасске официальные часы шли по петербургскому времени — на час позади местного донского, словно город заранее готовился вновь продолжить работу правительства в царской столице. Ничто не символизировало ностальгию белых лучше. Они буквально пытались повернуть часы назад. Всё — от царских мундиров до строгих утренних костюмов — выдавало стремление восстановить старый режим. Позднее, оглядываясь на гражданскую войну, все наиболее проницательные люди на белой стороне, будь то на Юге России или в Сибири, признавали: это отождествление с прошлым стало одной из главных причин их поражения. Как бы ни клялись руководители белых в верности демократическим принципам, они были слишком глубоко укоренены в старом режиме, чтобы восприниматься как реальная альтернатива большевикам. Ещё в большей степени это относилось к белым офицерам и местным чиновникам, непосредственно сталкивавшимся с простыми людьми и формировавшим в их глазах образ белой власти. Кадет Астров, примкнувший к добровольцам, писал в 1920 году: «Мы со своими устаревшими приёмами, устаревшим мышлением и устаревшими пороками нашей бюрократии — вплоть до петровской Табели о рангах — не могли угнаться за красными». Националист Шульгин писал в 1919-м: «Контрреволюция не выдвинула ни одного нового имени… В этом была главная причина нашей трагедии». Струве в 1921 году подчёркивал, что именно эта «старорежимная психология» не позволила белым усвоить революционные методы, без которых гражданскую войну выиграть было невозможно:

> Психологически белые вели себя так, будто ничего не произошло, тогда как на самом деле весь окружающий их мир рухнул, и, чтобы победить врага, им самим следовало в известном смысле переродиться… Ничто не повредило «белому» движению так, как это психологическое пребывание в прежних обстоятельствах, которых уже не существовало… Люди с такой «старорежимной» психологией оказались погружены в бушующее море революционной анархии и психологически совершенно не могли в нём ориентироваться… В

> революционной буре, обрушившейся на Россию в 1917 году, даже убеждённые реставраторы должны были стать революционерами в психологическом смысле: потому что в революции ориентироваться могут только революционеры.[8]

Именно неприятие этого реставраторства — наряду с раненой ногой — удержало Брусилова от поездки на Дон, несмотря на неоднократные призывы его старого друга Алексеева. Брусилов явно сочувствовал белым, однако был убеждён, что их дело «обречено на поражение, потому что русский народ, хорошо это или плохо, выбрал красных». Как он объяснял приятелю в начале апреля, бессмысленно пытаться повернуть часы назад. «Я считаю старый режим упразднённым на очень долгое время». Война Корнилова против большевиков, возможно, была, по его выражению, «храброй и благородной», но одновременно «глупым поступком», который «неизбежно погубит множество молодых жизней». Вероятно, здесь сказывалась и личная неприязнь Брусилова к Корнилову. Но было и чувство смирения, заставлявшее его отвергать гражданскую войну — словно в его представлении революция была задумана Богом и являлась частью божественной комедии, финал которой ещё не наступил. Как патриот, Брусилов считал своим «долгом оставаться на стороне народа», что означало не занимать ничью сторону в гражданской войне, даже если это требовало предать собственный класс и идеологию. Формула Мейнеке 1919 года — «обращаясь к прошлому, я остаюсь монархистом сердцем, обращаясь к будущему, стану республиканцем разумом» — вполне могла принадлежать и Брусилову.[9]

Добровольческая армия была армией офицеров. В этом заключалась её главная слабость: она так и не сумела привлечь поддержку гражданского населения — даже простых солдат. Когда Корнилову впервые показали список добровольцев, он раздражённо воскликнул: «Здесь одни офицеры, а где солдаты?» Из первых трёх тысяч добровольцев рядовых было не больше дюжины. Никогда ещё в истории войн армия не была настолько перегружена начальством. Капитанам и полковникам приходилось служить рядовыми. Генерал-майорам — довольствоваться командованием эскадроном. Постоянная грызня из-за должностей причиняла Генеральному штабу бесконечную головную боль. Старшие генералы отказывались служить под началом более

молодых офицеров, выдвинутых исключительно за заслуги; монархисты — подчиняться командирам, выступавшим против царя. Некоторые не желали служить в звании ниже того, которое имели в императорской армии, считая это унижением достоинства. Кафе были полны таких бездельничающих офицеров. Добровольцев они насмешливо называли «игрушечными солдатиками». Гордость за прежний чин и положение оказывалась сильнее желания воевать.[10]

Даже два человека, стоявшие во главе движения, не могли удержаться от мелочных ссор. Корнилову поручили командование Добровольческой армией, Алексееву — политические и финансовые вопросы. Но разделение полномочий фактически не работало, и оба постоянно вмешивались в дела друг друга. Отношения испортились настолько, что повседневные сообщения между ними передавались через посыльных, хотя кабинеты находились по соседству. Атмосфера была отравлена непрерывными распрями, как обнаружил Роман Гуль, когда попытался записаться в армию в Новочеркасске. Не зная, что бюро набора контролируется сторонниками Алексеева, он назвал в качестве поручителя родственника Корнилова. «Прапорщик скривился, пожал плечами и процедил сквозь зубы: “Видите ли, он, собственно, не из нашей организации”». Лишь позднее Гуль узнал о «скрытой борьбе и тайной войне между двумя вождями». Разногласия касались меньше идеологии, чем тактики, стиля и личного соперничества. Оба приняли Февральскую революцию и обещали восстановить Учредительное собрание. Но Корнилов враждебно относился к кадетским политикам — и вообще ко всем политикам, — за которыми ухаживал Алексеев. Он также выступал за более решительные методы, включая террор внутри Советской России, чем осторожный Алексеев. «Даже если придётся сжечь половину России и пролить кровь трёх четвертей населения, — однажды сказал Корнилов, — мы сделаем это, если только так можно спасти Россию». Алексеев и старшие генералы смотрели на Корнилова как на демагога и возмутителя спокойствия, поднявшегося до генеральского звания лишь после Февральской революции. Однако именно образ «человека, сделавшего себя сам», который Корнилов сознательно культивировал, превращал его в кумира младших офицеров. Это было столкновение старого царского принципа старшинства с массовой политикой 1917 года.[11]

Как армия русских офицеров, добровольцы неизбежно сталкивались с трудностями в отношениях со своими казачьими хозяевами. Белые руководители избрали Дон базой, полагая донских казаков надёжными сторонниками старого порядка. Но это представление больше соответствовало мифам XIX века, чем действительности XX. На деле сами казаки были расколоты — и по региональному, и по поколенческому признаку. В северных округах казаки были мелкими землевладельцами, похожими на местных русских крестьян, и в основном поддерживали идеи молодых, более демократичных казачьих офицеров о социалистической республике, которая объединила бы их с крестьянством. Северяне возмущались и богатством южных округов, и претензиями их старейшин говорить от имени всей области. Молодые, уставшие от войны фронтовики-казаки, находившиеся под влиянием офицеров, вышедших из их среды, скорее склонялись к соглашению с большевистской Россией, чем к войне с ней. Поэтому реально сражаться против большевиков были готовы главным образом на юге Дона, где казаки были богаче и решительнее защищали исторические земельные привилегии от требований русских крестьян о переделе земли. Большинство казаков северного Дона, напротив, поддержало Военно-революционный совет в Каменской во главе с офицером Филиппом Мироновым, организатором донского казачьего восстания 1905–1906 годов. Целью Миронова была независимая социалистическая республика, объединяющая казаков с русскими крестьянами. Но фактически его ВРК стал «пятой колонной» большевистских войск, вторгавшихся на Дон с восточной Украины. Тем временем в промышленных городах Дона преимущественно русские рабочие, в целом сочувствовавшие большевикам, организовали ряд забастовок против присутствия добровольцев. Рабочие расправлялись с подозреваемыми сторонниками белых — что фактически означало со всеми «буржуями», — а белые отвечали не менее жестокими репрессиями, выкалывая глаза и отрезая носы сотням бастующих. Так возникала спираль нарастающего террора, по мере того как города Дона погружались в гражданскую войну.

Всё большему числу местных казаков этот конфликт казался чужой войной, принесённой из России. Особенно неприязненно относились к идее сражаться за белых молодые казаки, проведшие предыдущие три

года на фронте. Так возникал всё более глубокий раскол между казацкими отцами и сыновьями — тот самый, который знаком читателям «Тихого Дона» Шолохова. Войска Каледина распадались, поскольку молодые казаки отворачивались от войны. Защита Дона легла на Добровольческую армию и тающий отряд главным образом пожилых казаков, всё ещё верных Каледину. Без нормального снабжения и денег — ростовская буржуазия не спешила поддерживать добровольцев — у них почти не было шансов остановить красных.[12]

8 февраля, через шесть дней после рабочего восстания в городе, красные взяли Таганрог. До Ростова оставалось менее пятидесяти миль. Правительство Каледина было обречено. Добровольцы, не видя смысла жертвовать армией ради обороны Ростова, приготовились покинуть город и двинуться на юг, на Кубань, где казаков, встревоженных наступлением красных, можно было надеяться привлечь на свою сторону. Каледин сложил полномочия атамана. В тот же день он застрелился. Десять дней спустя, 23 февраля, Красная армия во второй раз за три месяца заняла Ростов. 25-го пал Новочеркасск, столица Дона. После покорения Дона советская власть практически установилась по всей России. Крупным очагом сопротивления оставалась только Кубань. Ленин объявил гражданскую войну оконченной. На самом деле она только начиналась.

Ледяной поход — так стали называть отступление добровольцев с Дона на Кубань — превратился в героический эпос русской гражданской войны.[100] Его драматическая история стала легендой белого движения и позднее была многократно пересказана в эмигрантских мемуарах. Это был определяющий момент для белых — миг, когда добровольцы стали настоящей армией, словно само выживание вопреки всему связало их воедино и придало силу, несравнимую с их реальной численностью.

23 февраля, когда советские части входили в Ростов, Корнилов повёл своих добровольцев — около четырёх тысяч хорошо обученных солдат

[100] На красной стороне не было ничего вполне сопоставимого — разве что долгий поход Таманской армии, зажатой белыми на Таманском полуострове в августе–сентябре 1918 года. Эта эпическая история легла в основу знаменитого романа Серафимовича «Железный поток». При советской власти Таманская армия имела героический статус. Тем ироничнее, что Ельцин использовал её имя для обстрела здания парламента в октябре 1993 года.

и офицеров, вооружённых не более чем винтовкой на человека и несколькими орудиями, — через замёрзшие степи Дона. Они шли одной колонной, тонкой чёрной линией по бескрайней заснеженной равнине. Длинный гражданский хвост — банкиры, политики, университетские профессора, журналисты, сёстры милосердия, жёны и дети офицеров — замедлял движение. Это была бегущая ростовская буржуазия. Они предпочитали этот мучительный путь риску остаться и попасть в руки большевиков. Участники Ледяного похода шли днём и ночью, избегая железных дорог и населённых пунктов, где жители могли оказаться враждебными. Раненых и больных оставляли. Многие из них стрелялись, лишь бы не попасть к красным.

Генерал Лукомский, группа которого оторвалась от основной колонны, попал в плен к русским крестьянам села Гуляй-Борисовки и предстал перед Революционным трибуналом. Он попытался убедить селян, что является странствующим коммерсантом, но это вряд ли могло вызвать к нему симпатию, и крестьяне потребовали расстрелять «буржуя». Лукомскому, однако, удалось бежать в возникшей суматохе: незадолго до назначенной казни крестьяне забили насмерть двух добровольцев и перессорились между собой из-за их сапог. Ожидая расстрела, Лукомский видел, как для него копают могилу, и успел принять таблетки цианида, которые носил с собой ещё со времён заключения в Быховском монастыре. К счастью для него, они не подействовали.[13]

Чем глубже белые уходили в степь, тем чаще прибегали к террору против враждебного населения. За Ледяным походом тянулся кровавый след. Возможно, в какой-то мере это было неизбежно: добровольцам отчаянно требовалась пища, а крестьяне не хотели её отдавать. Белые оказались островом в красном крестьянском море. Но в их насилии был и элемент откровенной классовой войны и мести — как и во многих проявлениях Белого террора, являвшегося зеркальным отражением классовой ненависти, питавшей Красный террор. Террор лежал в основе обоих режимов. Белые выступали мстителями за тех, кто пострадал от революции. Как позднее писал Врангель, «мы принесли с собой не прощение и мир, а лишь жестокий меч возмездия». Большинство офицеров были сыновьями помещиков, которые, подобно Гулю, лишились наследства из-за крестьян. Причин для мести у них было

достаточно — не только ненавистным крестьянам, но и «большевистским» евреям и интеллигентам, якобы натравившим их. Одно из самых тяжёлых злодеяний белых во время Ледяного похода произошло в селе Лежанка, населённом русскими крестьянами, известными революционными симпатиями. Роман Гуль с ужасом наблюдал, как его товарищи-офицеры зверски убили шестьдесят крестьян, среди которых было много стариков и женщин, в отместку за Красный террор в Ростове. Сотни крестьян раздевали догола и пороли, а добровольцы стояли вокруг и смеялись. Гуль встретил бедную крестьянку — она приготовила ему завтрак в своей избе, — потерявшую мужа и трёх сыновей. Всех их расстреляли как «большевиков». Для Гуля это стало тяжёлым разочарованием: он примкнул к белому движению, считая, что оно борется за демократические идеалы, преданные большевиками. Теперь он начал спрашивать себя, «действительно ли белые хоть чем-то лучше красных».[14]

После нескольких недель блуждания по степи и непрерывных боёв с красными, когда боеприпасы были почти исчерпаны, Корнилов приказал атаковать Екатеринодар — столицу недавно созданной Северо-Кавказской Советской Республики. 23 марта к добровольцам присоединилась Кубанская армия — около трёх тысяч казаков под командованием генерала Покровского, бежавших из Екатеринодара и каким-то образом наткнувшихся на донскую колонну в окрестных черкесских холмах. В горном ауле Шенджий состоялось сюрреалистическое совещание с соблюдением всего церемониала старого режима, на котором Корнилов и Покровский объединили армии для возвращения Кубани. 10 апреля Корнилов, ставший общим командующим, приказал объединённым силам численностью около семи тысяч человек начать штурм столицы. Им противостояли примерно восемнадцать тысяч красных. Корнилов быстро понял, что осада обречена и грозит гибелью всей армии, однако отступать отказался — это было не в его характере. «Если мы не возьмём Екатеринодар, — сказал он Деникину 12 апреля, — мне останется только пустить себе пулю в лоб».[15] В конце концов Корнилов действительно заплатил жизнью за эту самоубийственную авантюру. Рано утром следующего дня случайный снаряд угодил прямо в фермерский дом, где находился его штаб, и завалил генерала

обломками.[101] Генерал Деникин, немедленно принявший командование, попытался скрыть его смерть от войск. Для добровольцев Корнилов был не просто командиром, а живым символом их дела, и известие о его гибели в такой критический момент сражения неизбежно подорвало бы моральный дух.

Великого белого героя похоронили на скромном кладбище в станице Елизаветинской. Но позднее красные нашли могилу, выкопали разлагавшееся тело, отвезли в Екатеринодар, провезли по городу, а затем сожгли на главной площади.

По иронии судьбы гибель Корнилова, вероятно, спасла белых. Останься он жив, он почти наверняка приказал бы идти на последний штурм Екатеринодара — и тот, скорее всего, закончился бы полным разгромом. Накануне смерти Корнилов отказался прислушаться к совету генералов покинуть дом, который уже несколько дней находился под сильным обстрелом: «Не стоит беспокоиться; завтра начнём последний штурм».[16] Деникин, с самого начала скептически относившийся к осаде, приказал быстро отступать на север, оставив около двухсот раненых, чтобы не замедлять колонну. Если бы красные всерьёз организовали преследование, вместо того чтобы плясать на могиле Корнилова, они, возможно, выиграли бы гражданскую войну уже тогда. Но добровольцам позволили уйти обратно на Дон, откуда начался их мрачный поход. Вышло четыре тысячи — и вернулось не меньше. Но важнее всего было то, что они вернулись с окрепшим боевым духом.

* * *

За десять недель их отсутствия Дон был терроризирован большевиками. Донская Советская Республика добилась того, чего Каледин так и не смог сделать: настроила казаков против красных. После захвата Ростова большевистские правители Красной армии установили на Дону режим террора. В казачьих станицах насаждались Советы, продовольствие изымали под угрозой оружия. С «буржуев» вымогали чрезвычайные контрибуции, сотни заложников расстреливали без разбора.

[101] Позднее красные утверждали, что сведения о местонахождении штаба Корнилова им передал перебежчик из Добровольческой армии.

Красногвардейцы, отступавшие перед германским наступлением к Таганрогу и получившие от большевиков разрешение «грабить награбленное», рыскали по станицам, оставляя за собой кровавый след. Церкви подвергались нападениям, священников казнили. Одному священнику во время пасхальной службы на глазах у прихожан отрезали нос и уши и выкололи глаза.

Результатом стала волна казачьих восстаний — вызванных не столько гневом из-за уже совершённого красными, сколько страхом перед тем, что они ещё могут сделать. Восстание началось в станицах вокруг Новочеркасска — самых богатых на Дону и потому наиболее уязвимых для реквизиций и террора. Казаков толкнуло к мятежу представление о «большевиках» как воплощении всех их худших страхов и предрассудков относительно пришлых людей и русского государства. В каждой станице создавался свой повстанческий отряд, обычно организованный офицерами и снабжавшийся казачьими хозяйствами. В апреле эти части стали сходиться в станицу Заплавскую под Новочеркасском, где собралась крупная группа офицеров и казаков, готовившая освобождение столицы. К концу апреля у них было около десяти тысяч кавалеристов. Когда в начале мая красные отвлеклись на германское наступление от Таганрога к Ростову, казаки без серьёзного сопротивления отбили Новочеркасск у измученных красных. Здесь был избран Круг спасения Дона во главе с новым атаманом генералом Красновым — тем самым, который в октябрьские дни возглавлял поход на Петроград с целью восстановить власть Керенского.[17]

Краснов выглядел как воплощение казачьего атамана. Он происходил из знаменитого казачьего рода и как большой мастер театрализации «казачьего дела» постоянно подчёркивал свою родословную. До войны он был журналистом, а позднее, в эмиграции, зарабатывал на жизнь как романист. В политике Краснов использовал обе эти стороны своей личности. Его историческое воображение не знало границ. Речи были переполнены архаизмами, призванными создать иллюзию древней казачьей государственности, уходящей в Средневековье. Подчёркивая славу казачьего прошлого, он стремился объединить казаков вокруг идеи борьбы с большевиками как национально-освободительной войны. Это был своего рода костюмированный национализм, основанный скорее на мифе, чем на

истории, но оттого не менее действенный. По приказу Краснова восстановили название «Всевеликое войско Донское», не употреблявшееся в официальных документах с XVII века. «Основные законы» Донского круга закрепили личную власть атамана, а также права и привилегии казаков над неказачьим населением, которое теперь почти поголовно клеймили как «большевиков». Это была кичевая попытка вернуться в казачий золотой век русской сказки. На общественных зданиях развевался казачий флаг; школьникам велели петь казачьи гимны; появилась даже специальная казачья молитва.[18]

Когда казаки вновь контролировали Дон, с запада их поддерживали немцы, а с юга — добровольцы, и создались условия для того, чтобы антибольшевистские силы закрепили военный контроль над всем регионом. С мая по август им это удалось.

К середине июня Донская армия Краснова насчитывала сорок тысяч человек. Немцы снабжали её оружием в обмен на казачью пшеницу. Поскольку красные были связаны боями на Волге, Донская армия успешно завершила отвоевание области и создала буферные зоны на севере, в направлении Воронежа и Царицына. Тем временем Добровольческая армия получила подкрепление — две тысячи солдат с Румынского фронта под командованием полковника Дроздовского. Теперь можно было начинать новое наступление. Но куда? И Алексеев, и Краснов хотели, чтобы Деникин ударил на север, к Царицыну на Волге: Алексеев — чтобы соединиться с чехами и войсками Комуча у Самары, Краснов — чтобы снять угрозу Дону со стороны красных частей, базировавшихся в Царицыне. Если бы так и произошло, объединённые силы добровольцев, казаков Краснова, чехов и Комуча могли бы выиграть гражданскую войну, двинувшись на Москву с жизненно важного волжского плацдарма. Но Деникин упрямо отказался и повёл добровольцев на юг, в глушь кубанской степи. Он хотел укрепить белый тыл, создав крупную армию из кубанских казаков. Тем самым он упустил важнейшую возможность соединиться с другими антибольшевистскими армиями.

Поздней осенью казаки Краснова самостоятельно атаковали Царицын, но взять его не смогли. Когда следующим летом Деникин наконец вышел к Волге, его восточные союзники уже стремительно отступали, и шанс соединить силы был утрачен навсегда.

На первый взгляд, добровольцы не имели ни малейшего шанса на победу во Втором Кубанском походе. В июне их было лишь девять тысяч против восьмидесяти тысяч красных. Но красные были отрезаны от складов на севере, окружены в основном враждебным населением, а потому их мобилизованные части были деморализованы. Добровольцы, напротив, отличались высокой дисциплиной и были воодушевлены памятью о Ледяном походе. В начале кампании треть их состава составляли кубанские казаки-изгнанники, сражавшиеся за освобождение родных мест. По мере продвижения на Кубань их доля росла: местные казаки, натерпевшиеся от красных, либо вступали в Добровольческую армию, либо создавали свои отряды и воевали рядом с ней. 18 августа, после нескольких недель боёв, добровольцы наконец взяли Екатеринодар. Красные отступили на юг, к Пятигорску в Кавказских горах, а белые расширили контроль на северную и западную Кубань. К ноябрю они овладели и Ставрополем. Из крошечного офицерского отряда времён Ледяного похода добровольцы превратились в сорокатысячную армию с богатой территориальной базой размером с Бельгию, откуда можно было начинать крестовый поход против большевиков.[19]

* * *

Генерал Деникин вряд ли мог ожидать, что станет верховным правителем этих территорий. Командующим добровольцами он стал лишь после смерти Корнилова, тогда как политическим лидером движения оставался Алексеев. «Армией Алексеева» добровольцев продолжали называть и дальше. Но Алексеев тяжело болел и умер в октябре, оставив Деникина бесспорным военным и политическим руководителем контрреволюции на Юге. Конституция Добровольческой армии, составленная после занятия Екатеринодара, дала ему полномочия военного диктатора: мечта Корнилова наконец осуществилась. Но Деникин не был Корниловым: ему не хватало характера для роли генералиссимуса, и отчасти именно это объясняет поражение белых.

Деникин был прежде всего военным. Он происходил из солдатской семьи и всю жизнь провёл в армии. Политика была для него чужой страной, и подходил он к ней с узкой военной точки зрения. Академия

Генерального штаба не поощряла мыслить за пределами трёх основных догматов: Самодержавия, Православия и Народности. «Для офицеров, — вспоминал он, — государственное устройство представлялось предопределённым и незыблемым фактом, не вызывавшим ни сомнений, ни разногласий». Опыт 1917 года — когда армия развалилась, занявшись политикой, — только укрепил аполитичность Деникина. Как и у многих офицеров, он породил презрение ко всем политикам. По собственным словам, Деникин хотел оградить армию «от грызни политиков» и построить «собственную программу на основе простых национальных символов, способных объединить всех».[20]

Конституция вполне соответствовала этой цели. Многословная хартия была триумфом формы над содержанием, переполненным юридическими идеалами, совершенно неприменимыми в условиях гражданской войны. Иными словами, именно такой документ и следовало ожидать от конституции, написанной кадетами. Она обещала всё всем — и в итоге не давала ничего никому. Все граждане объявлялись равноправными, но за казаками сохранялись «особые права и привилегии». Государство провозглашалось правовым, однако диктатура Деникина не имела никаких юридических ограничений — его называли «царём Антоном». Ни один из основных политических вопросов России не был всерьёз решён. Какой должна быть форма правления? Следует ли восстанавливать империю? Вернут ли помещикам их права? Все эти вопросы откладывались ради военной кампании.

Возможно, это было понятно, учитывая расколы в Екатеринодаре. Множество групп и фракций — от черносотенцев справа до радикальных демократов слева — соперничали за политическое влияние на белое движение. Ни у кого не было массовой опоры, но все претендовали на «историческую роль». Они бесконечно ссорились и играли в политику. Реальным влиянием обладали лишь Совет государственного объединения и Национальный центр, поделившие между собой должности в деникинском правительстве. Первый был монархическим и отрицал легитимность Февральской революции. Второй — кадетским и обещал восстановить Учредительное собрание. Неудивительно, что Деникин предпочитал держаться подальше от политики. Вокруг себя он видел интригующих политиков, каждый из

которых тянул его в свою сторону. Он старался держаться середины, делая заявления максимально расплывчатыми, чтобы никого не обидеть, и всё больше замыкался в тесном кругу правых генералов — прежде всего Романовского, Драгомирова и Лукомского, — где и принимались основные решения. Особое совещание было жалким подобием правительства. Оно лишь утверждало решения, уже принятые генералами, и тонуло в бумажных постановлениях по столь жизненным вопросам, как почтовое дело или мельчайшие детали финансов и снабжения. Значительную часть времени занимал животрепещущий спор, должна ли школа пользоваться старой или новой орфографией — и, разумеется, выбрали старую. Видные политики вроде Шульгина и Астрова не желали унижаться подобной работой; их отсутствие ещё больше снижало эффективность Особого совещания.[21]

В первые месяцы такое пренебрежение политикой казалось несущественным. Достаточно было ставить военную кампанию превыше всего и противопоставлять красной пропаганде расплывчатые национальные символы. Но позднее, когда белые уже могли не только завоёвывать Россию, но и должны были попытаться управлять ею, отсутствие политики превратилось в катастрофическую слабость. Гражданскую войну они проиграли из-за своей политики едва ли не в той же степени, что и из-за поражений на поле боя.

Белые лидеры — и это относится к Сибири не меньше, чем к Югу, — не сумели приспособиться к новому революционному миру, в котором приходилось вести гражданскую войну. Они не предприняли серьёзных попыток разработать политику, способную привлечь крестьян или национальные меньшинства, хотя поддержка и тех и других была жизненно необходима. Они слишком глубоко оставались в старой России. Значение пропаганды и местных политических структур почти полностью прошло мимо них: узкий армейский взгляд не позволял понять необходимость массовой мобилизации в гражданской войне. Лишь в 1919 году — и то по настоянию союзников — белые начали выделять заметные ресурсы на собственную пропагандистскую машину. Но и тогда всё было организовано вяло и дилетантски в сравнении с блестящей пропагандой красных. ОСВАГ, деникинское пропагандистское агентство, первоначально создавался при ведомстве иностранных дел: своей главной задачей он видел убеждение

союзников, а не русского народа, в достоинствах Белого дела, и до фабрик и деревень доходила лишь малая часть его материалов. Агентство хронически недофинансировалось и недооценивалось белыми руководителями — тем более что многие сотрудники не разделяли их правых взглядов; поэтому генералы часто обвиняли ОСВАГ в том, что там сидят «уклонисты», «социалисты» и «евреи».[22]

Иными словами, белые не поняли характера войны, в которую были вовлечены. Они исходили из того, что её можно вести как обычный конфликт XIX века — поставив армию над политикой. Но тем самым игнорировался основной факт: в любой гражданской или тотальной войне исход борьбы определяется способностью армий мобилизовать ресурсы населения на занятых территориях. А это было именно политическим вопросом. Одного террора было недостаточно; требовалось либо получить массовую поддержку, либо хотя бы использовать массовое недовольство противником. Особенно очевидно это стало в главных кампаниях гражданской войны 1919 года, когда и красные, и белые из небольших партизанских сил превратились в массовые мобилизационные армии, зависевшие от крестьянства и его ресурсов. Ни одна сторона не могла рассчитывать на добровольную поддержку крестьян; обе страдали от дезертирства и крестьянских восстаний в тылу, вызванных не только военными поборами, но и политическими ошибками.

Белые не сумели выработать жизнеспособную политику демократической мобилизации. По важнейшим вопросам — земле и национальностям — они составляли многословные, ни к чему не обязывающие бюрократические проекты для обсуждения в будущем. Всё откладывалось до нового созыва Учредительного собрания; затем, под давлением правых, был отложен уже сам созыв Собрания. Белые не могли освободиться от бюрократических привычек старого режима. Они отвечали на революционную ситуацию, требовавшую смелых народных реформ, мёртвым юридизмом. Они видели в себе представителей старого российского государства в изгнании и откладывали всю политику до военной победы, которая вернёт их в старую столицу. Они так и не поняли, что сама победа зависит от создания нового типа государства.

* * *

Одной из самых острых проблем добровольцев были отношения с казаками. Белые генералы были русскими централистами. Донские и кубанские казаки, напротив, хотели создавать независимые государства. Они даже направили неофициальных представителей на Парижскую мирную конференцию в Версале, безуспешно пытаясь заручиться поддержкой западных держав. Учитывая военную зависимость от казаков, белым следовало бы попытаться их умиротворить. Но они даже близко не подошли к удовлетворению казачьих требований. На казаков смотрели как на обычных русских, а их национализм объявляли делом горстки экстремистов. Кубанское правительство, которым в основном руководили шовинисты и демагоги, демонстративно вело себя как суверенная власть. Оно запретило русскую иммиграцию на Кубань, закрыло границы для вывоза и взяло железные дороги под свой контроль. Для добровольцев такие действия были постоянной занозой. Чтобы кормить и снабжать армию, белые были вынуждены реквизировать продовольствие в казачьих поселениях, грубо попирая местное самоуправление, — всё это играло на руку казачьим национальным лидерам.

Возможно, непримиримость белых была скрытым благом: казачий национализм в действии выглядел крайне непривлекательно. Кубанские казаки изгнали тысячи неказаков — главным образом русских и украинцев — с их ферм и из деревень, исключили их детей из местных школ и убили сотни людей как «большевиков». Круг даже обсуждал идею вообще изгнать с Кубани всех неказаков.[102] Это было своего рода «этническое очищение», основанное на представлении, будто казаки — высшая раса по отношению к неказачьему крестьянству. Казачьи лидеры нередко утверждали, что их народ — единственные чего-то стоящие русские, а все остальные — «дерьмо». Круг ничего не делал, чтобы прекратить преследования. В одной деревне группа казаков схватила учительницу, русскую переселенку, которая больше двадцати лет учила местных казачьих детей, и забила её до смерти. Никто из соседей-казаков не попытался её спасти.

[102] Один казачий делегат считал и это слишком мягким и предложил просто перебить всех неказаков.

Белые имели очевидный интерес защищать неказачье население — оно составляло 52 процента жителей Кубани. Если предоставить казакам полную свободу действий, остальные неизбежно оказались бы в объятиях красных. Однако непримиримость белых в вопросе казачьей независимости лишь разжигала расовую ненависть и приводила к постоянному ухудшению отношений с кубанским правительством. Сделай белые хоть какой-то жест в сторону казачьей автономии — пусть даже обусловленной поражением красных, — они, возможно, смогли бы остановить распад. Но компромисса они не искали. Запертые в мире Российской империи XIX века, они оставались столь же глухи к национальным стремлениям казаков, как и к любым национализмам, кроме собственного.[23]

Кубанские казаки столь же безуспешно добивались создания собственной независимой армии. С военной точки зрения для белых это было бы катастрофой, поскольку кубанцы составляли большинство их войск и практически всю кавалерию. Независимая Донская казачья армия тоже подавала малообнадёживающий пример. Её разрозненные отряды, каждый организованный отдельной станицей, почти не подчинялись центральному командованию. Они храбро защищали родные места, но неохотно уходили далеко от них. Это стало критической проблемой во время наступления белых в Центральную Россию в 1919 году. Казаков мало волновало, кто правит в Москве, пока их оставляли в покое. «Россия — не наше дело» — так Деникин суммировал их отношение. Неспособность Донской армии взять Царицын после двухмесячной осады в конце 1918 года уже показала пределы казачьего боевого духа вдали от дома. Выпущенные на русскую крестьянскую землю, казаки почти неизбежно скатывались к грабежу; в еврейских местечках нередко устраивали погромы. Это стало одной из важнейших причин поражения белых: грабежи и насилие казачьей кавалерии в 1919 году больше всего способствовали тому, что население Центральной России сплотилось вокруг красных. Именно поэтому Деникин сопротивлялся требованиям казаков о самостоятельной армии и не желал даже обсуждать создание отдельных казачьих частей.[24]

Белые проявляли ту же негибкость по отношению к требованиям национальных меньшинств. «Великая, Единая и Неделимая Россия» была центральным лозунгом их идеологии. Не имея ясной социальной

опоры, белые пытались связать разнородные элементы идеей русской нации и Империи. Их имперская политика в равной степени исходила из взглядов кадетов и октябристов и из ценностей старого режима. Теперь Милюков и Струве защищали Великую Россию столь же решительно, как самые реакционные монархисты. Эта приверженность Российской империи была фундаментальной слабостью белого движения, поскольку его армии действовали главным образом на территориях — Украине, Кавказе, в Прибалтике, — где нерусское население желало по меньшей мере широкой автономии, а то и полной независимости от России. Белые не понимали, что компромисс с этими стремлениями жизненно необходим для создания широкой базы поддержки среди нерусских народов. Вместо того чтобы превратить националистов в союзников, они сделали их врагами.

Будучи армией, укомплектованной главным образом сыновьями помещиков, добровольцы ещё сильнее расходились с крестьянами. Сам Деникин, хотя и был сыном бывшего крепостного, так и не понял жизненной необходимости признать земельную революцию, если его армия хотела завоевать крестьянскую Россию. Белые считали, что могут выиграть гражданскую войну без поддержки крестьянства; либо, по крайней мере, полагали, что весь вопрос аграрной реформы можно отложить до победы. Их взгляд на гражданскую войну — будто её исход решит исключительно военная сила — исключал необходимость предлагать популярные политические программы. Да и аграрная политика белых едва ли могла стать популярной: господство помещичьего класса среди сторонников Деникина делало невозможным такую земельную программу, которая привлекла бы крестьянские массы. Две комиссии, созданные Деникиным для подготовки аграрной реформы, предлагали продажу излишков помещичьей земли — и то лишь через три года после окончания гражданской войны, — но исключали принудительное отчуждение. По сути это была минималистская кадетская программа 1917 года. Она отказывалась признавать свершившуюся сельскую революцию и продолжала защищать формальные права собственности помещиков — вероятно, руководствуясь не столько их интересами, сколько святостью закона. Статистики подсчитали, что при осуществлении предложений комиссий крестьянам пришлось бы вернуть три четверти земель, захваченных у

помещиков с 1917 года. Поэтому подавляющее большинство крестьян имело все основания выступать против белых.[25]

Тем более что деникинские войска и местные чиновники прославились тем, что помогали помещикам возвращать земли на отвоёванных территориях. Эту политику нередко оправдывали тем, что крупные помещичьи хозяйства якобы производительнее, но это было слабым прикрытием реставрации старого порядка. Впрочем, значительная часть земли, возвращённой в собственность помещиков, затем сдавалась тем же крестьянам в аренду — обычно за треть урожая. Местное управление, там где оно вообще существовало вместо военной власти и террора, передавалось местным помещикам, бывшим царским полицейским и чиновникам, действовавшим от имени уездных начальников. Вывод напрашивался сам собой: белые стремились восстановить дискредитированный местный аппарат старого режима. Уездные начальники, например, удивительно напоминали царских земских начальников, правивших деревнями как маленькие цари. Бывали случаи, когда те же самые земские начальники возвращались в свои прежние владения уже как уездные начальники и жестоко мстили деревням, казня и поря их вожаков. Попытки либералов восстановить волостные земства встречали ожесточённое сопротивление правых элементов деникинского режима, утверждавших, что это подорвёт положение местного дворянства. Худшая форма помещичьей реакции — та, что сопротивлялась волостным земствам ещё при Столыпине, — жила в самом сердце Белого режима. Как признавал сам Деникин, люди, державшие власть на местах при его режиме, возможно, имели преимущество опыта,

> но по своей психологии и мировоззрению, по обычаям и привычкам они настолько отстали и были настолько чужды переменам, происшедшим в стране, что совершенно не представляли, как действовать в новую революционную эпоху. Для них всё сводилось к возвращению в прошлое — и они пытались восстановить прошлое и по форме, и по духу.[26]

Именно неспособность белых признать крестьянскую революцию стала причиной их окончательного поражения. Позднее Деникин сам это признавал. Только в 1920 году, после неудачи проникновения в сельское сердце Центральной России, добровольцы наконец столкнулись с

необходимостью обратиться к крестьянам — но было слишком поздно. Для большевиков аграрная реформа была первым актом; для белых — последним. В крестьянской стране это говорит обо всём.

* * *

В ноябре 1918 года, с окончанием войны в Европе, гражданская война вступила в новую фазу. Разрыв Брест-Литовского договора после поражения Германии и уход немецких войск из Прибалтики, Украины и Крыма создали вакуум, который могли заполнить армии гражданской войны.

У добровольцев были все основания для оптимизма. После поражения Германии они ожидали, что союзники резко увеличат поддержку Белого дела на Юге. До сих пор западные державы наблюдали за гражданской войной со стороны. Их главным интересом были Север и Сибирь, где они надеялись возродить русскую армию для продолжения войны против Германии. Несколько сотен британских морских пехотинцев заняли арктические порты Мурманск и Архангельск, чтобы защитить союзные военные склады. После Брест-Литовска они даже участвовали в небольших столкновениях с красными. Немецкая оккупация Украины и контроль Германии над Чёрным морем затрудняли доставку помощи добровольцам. Теперь всё изменилось. Союзники признали Деникина главным белым лидером на Юге и пообещали материальную помощь, включая двенадцать дивизий для оккупации Украины. Они также обещали добровольцам союзные военные запасы, оставленные русской армией на Румынском фронте, — если только белые сумеют до них добраться. Пик эйфории пришёлся на 23 ноября, когда в Новороссийск вошла англо-французская эскадра. Генерал Пуль и лейтенант Эрлих сошли на берег, встреченные огромными ликующими толпами. Они заверили собравшихся, что Британия и Франция преследуют те же цели, что и добровольцы. Все ожидали теперь триумфального марша белых на Москву: раз союзники с ними, а сами союзники разгромили могучую германскую армию, то справиться с большевиками казалось пустяком. Оптимизм ещё более усилился благодаря возвышению адмирала Колчака на Восточном фронте.

На деле обещания союзной помощи оказались почти пустыми. Участие западных держав никогда не было значительным в материальном отношении и постоянно страдало от отсутствия ясной цели и политической воли. Общественное мнение на Западе было расколото между красными и белыми, а большинство людей посередине, уставших от четырёх лет тотальной войны, не желали отправлять новые войска за границу. Многие политики союзных стран вообще не понимали, зачем вмешиваться в чужую гражданскую войну после окончания мировой. О России знали удивительно мало — Ллойд Джордж, например, считал Харьков не городом, а фамилией русского генерала, — а в международных делах невежество, как всегда, порождало равнодушие. Одни политики, прежде всего Черчилль, хотели начать западный крестовый поход против коммунизма; другие опасались, что победа белых восстановит сильную Россию с новыми имперскими амбициями, и предпочитали видеть Россию красной, но слабой. Западные лидеры шизофренически метались между этими двумя позициями. Они никак не могли решить, воевать ли с советскими правителями или мириться с ними — и в итоге делали и то и другое. Одной рукой снабжали белых оружием, другой пытались заставить их начать мирные переговоры.[103]

Как часто бывает в подобных ситуациях, западная политика развивалась по инерции. Стоило Британии начать помогать белым, как Франция и другие державы быстро последовали её примеру. Это напоминало покер для бедных: никто не хотел оставаться вне игры, поскольку ставка — влияние в России — была слишком велика, но никто не собирался рисковать по-крупному. В итоге все главные

[103] В январе 1919 года президент Вильсон и Ллойд Джордж согласовали с большевиками условия проведения мирной конференции на острове Принкипо близ Константинополя. Большевики предлагали признать иностранные долги России, пойти на небольшие территориальные уступки и прекратить враждебную пропаганду против Запада — хотя позднее советская сторона объясняла это дипломатическим манёвром. Белые лидеры отказались участвовать, считая само предложение договориться с красными предательством союзников. Черчилль и французы поддержали белых. Конференция так и не состоялась, но Вильсон продолжил мирные контакты с большевиками. Его главный советник по внешней политике Уильям Буллит был направлен с тайной миссией в Москву. Советский эксперимент произвёл на Буллита благоприятное впечатление, и он рекомендовал заключить отдельный мир, однако британцы и французы заблокировали эту идею.

державы — Британия, Франция, Италия, Канада, Япония и Соединённые Штаты — отправили лишь небольшие контингенты, просто чтобы, так сказать, сохранить свою карту в игре.

Интервенция никогда не достигала того угрожающего масштаба, который позднее приписывали ей советские историки. Её хватило, чтобы не дать белым потерпеть немедленное поражение, но было недостаточно для серьёзного шанса на победу. Например, в первые месяцы западной помощи Деникин получил всего несколько сотен комплектов хаки и несколько ящиков джема. Весной прибыли британские солдаты и танки, за ними французский флот высадил десант в Одессе. Почти сразу матросы подняли мятеж — воевать с красными, которые в тот момент наступали на Одессу, у них не было ни малейшего желания, — и французской эскадре пришлось эвакуироваться.

Поскольку помощь белым была столь скудной, первыми вакуум после ухода немецких войск с Украины заполнили украинские националисты Петлюры. Вскоре наступавшие с севера красные вытеснили их из Киева и отбросили далеко на запад. Однако и власть красных на Украине была слабой, страна всё глубже погружалась в хаос. Большевистская политика в деревне вызвала широкое сопротивление крестьянства, которое примыкало то к местным националистам, то к различным зелёным армиям в лесах, то к анархистам Махно. Тем временем белые собирали собственные силы. Уход немцев лишил Донскую армию Краснова главного покровителя и обнажил левый фланг перед красными, наступавшими с Украины. Донская армия уже была измотана зимней кампанией против Царицына. Она распадалась, казаки массово дезертировали по мере приближения красных. Краснову пришлось просить помощи у Деникина, понимая, что тот потребует подчинить Донскую армию своему командованию. При поддержке союзниками Деникина у Краснова почти не оставалось выбора. 8 января Донская армия окончательно слилась с Добровольческой. Теперь они назывались Вооружёнными силами Юга России — хотя в действительности ничего похожего на единую силу собой не представляли.

Контрреволюционные армии Юга оказались под командованием людей, ориентированных на общенациональную кампанию. Следующей весной они выйдут за пределы казачьих земель, займут Южную Россию,

большую часть Украины и даже будут угрожать Москве. Их силы в процессе вырастут в массовую призывную армию, зависимую от мобилизации крестьянства. Именно здесь лежал корень будущего поражения: пренебрежение политикой совершенно не подготовило белых к задачам управления новыми завоёванными территориями.

ii. Призрак Учредительного собрания

По сравнению с голодными городами большевистского Севера волжская Самара была раем для гурмана. Каждый день на оживлённый рынок въезжали крестьянские телеги, нагруженные мешками муки, мясными тушами, молоком и овощами. Продовольствия было вдоволь, и это отражалось на румяных лицах горожан. Купцы жирели на процветающей торговле: они щеголяли в дорогих одеждах и драгоценностях, прежде принадлежавших состоятельным жителям Петрограда и Москвы. Даже лошади выглядели сытыми.

В волжский город стекались тысячи так называемых «бывших людей». Среди беженцев были остатки разгромленных правых эсеров, искавших новую провинциальную опору после поражения в Петрограде и Москве. Поволжье было оплотом их партии. Крестьянское население региона подавляющим большинством голосовало за эсеров на выборах в Учредительное собрание. Руководители партии естественно предполагали, что волжские крестьяне поддержат их борьбу против ленинской диктатуры. Если большевистский рывок к власти опирался на голод городских масс, то восстановление демократии, казалось, должно было опереться на сытое крестьянство. Хлеб и свобода шли рука об руку. Но правым эсерам очень скоро пришлось разочароваться в своём паломничестве в провинцию. Их местные партийные организации находились в полном упадке. С возвращением крестьян-солдат, многие из которых радикализовались в армии, волжские Советы резко качнулись влево. Советская власть укоренилась в деревнях как система местного самоуправления; Учредительное собрание теперь казалось далёким парламентом. Закрытие его большевиками крестьяне встретили оглушительным молчанием. Это было совсем не то народное возмущение, на которое рассчитывали эсеры. «Если, — заявил Климушкин, один из эсеровских лидеров Самары, в начале мая, — в

ближайшее время не последует толчок извне, можно отказаться от всех надежд на переворот».[27]

По одной из тех странных случайностей истории такой толчок последовал в конце того же месяца 1918 года, когда легион чешских солдат вступил в конфликт с Советами вдоль Транссибирской магистрали. Чехословацкий корпус был создан чешскими националистами, действовавшими в России после начала Первой мировой войны. Во время войны он увеличился за счёт чешских и словацких военнопленных и дезертиров из австрийской армии и к 1917 году насчитывал около тридцати пяти тысяч человек — главным образом студентов и офицеров. Будучи националистами, боровшимися за независимость от Австро-Венгерской империи, они выступили на стороне России против Центральных держав. Томаш Масарик и Эдвард Бенеш, руководители чешского национального движения, добились формирования корпуса как самостоятельной части русской армии на Юго-Западном фронте. После Брест-Литовского договора легион решил продолжить борьбу уже в составе чешской армии во Франции. Чтобы не пересекать вражеские линии, было решено двигаться на восток, фактически обогнуть земной шар и добраться до Европы через Владивосток и Соединённые Штаты. 26 марта в Пензе было заключено соглашение с советскими властями, по которому чехам разрешалось двигаться по Транссибирской магистрали как «свободным гражданам» с «определённым количеством оружия для самообороны».

Если бы обе стороны соблюдали это соглашение, гражданская война могла бы пойти совсем иначе. Но продвижение чехов сопровождалось растущим недоверием и напряжением. Их эшелоны задерживали местные Советы, засыпая легионеров пропагандой и пытаясь отобрать оружие. Чехи, в свою очередь, стали подозревать, что большевики намерены выдать их немцам. Эти опасения усилились после московского приказа в апреле повернуть половину корпуса обратно и эвакуировать через Архангельск — ирония заключалась в том, что, неизвестно для чехов, приказ был издан по просьбе союзников. Чехи решили при необходимости силой пробиваться через Сибирь к Владивостоку. Кризис наступил 14 мая, когда Челябинский Совет на Урале арестовал нескольких чехов, участвовавших в драке с группой венгерских военнопленных. Чешские солдаты заняли город, освободили

товарищей и разоружили небольшой отряд Красной гвардии. Москва в ответ приказала местным Советам разоружить самих чехов. «Каждый вооружённый чех, обнаруженный на железной дороге, — гласила телеграмма Троцкого от 25 мая, — должен быть расстрелян на месте».[28] Фактически это было объявлением войны легиону; результатом стало лишь усиление решимости чехов силой пробиться на восток. С большевистской точки зрения это было крайне неразумно: реальной необходимости превращать чехов во врагов не существовало, и всем было выгодно как можно быстрее вывести их из России. Чрезмерная реакция Троцкого на челябинский инцидент создала в самом сердце Советской России враждебную и хорошо организованную армию.

Чехословацкий корпус, растянутый шестью группами вдоль всей Транссибирской магистрали, стал один за другим занимать города: Новониколаевск — 26 мая; Пензу и Сызрань — 28-го и 29-го; Томск — 31-го; Омск — 6 июня; Владивосток — 29-го. Красная армия ещё не была должным образом организована, и плохо обученные и недисциплинированные красногвардейцы, набранные из местных рабочих и часто разбегавшиеся при первом признаке опасности, не могли соперничать с хорошо подготовленными чехами.

Так произошло и при взятии Самары 8 июня. Когда чехи подошли к Пензе, подпольные эсеровские лидеры Самары обратились к ним с просьбой помочь свергнуть Советскую власть в волжской столице. Это противоречило официальной линии правых эсеров, принятой на VIII партийном совещании в мае: иностранные войска не должны участвовать в «народной борьбе» против большевизма. Но самарские эсеры сумели убедить себя — как и сами чехи, торжественно заявлявшие, что не хотят вмешиваться в русскую гражданскую войну, — что в данном случае интервенция допустима. Продолжение войны с Германией зависело, по их мнению, от устранения большевиков. Союзники, видя, насколько легко легион побеждает в Сибири, действительно начали склоняться к идее использовать чехов против большевиков и позднее летом стали снабжать их. Тем временем именно якобы тесные связи эсеров с французским правительством — на деле сильно преувеличенные — окончательно убедили чехов помочь в Самаре. После мятежа разложившегося гарнизона в середине мая город пребывал в хаосе и забастовках. Совет мог выставить лишь около двух

тысяч красногвардейцев, в основном латышских рабочих, эвакуированных во время войны, на население в двести тысяч человек. Такова была эфемерность большевистской власти в провинциальных городах. У красногвардейцев почти не было шансов против восьми тысяч хорошо вооружённых чехов — и большинство разбежалось, едва легион подошёл. В «битве за Самару» погибло всего шесть чехов и тридцать красногвардейцев.[29]

Новое правительство заимствовало название и легитимность у Учредительного собрания. Комитет членов Учредительного собрания — Комуч — считал себя Всероссийским парламентом в провинциальном изгнании. Он призвал всех членов разогнанного Собрания, кроме большевиков, разумеется, присоединиться к нему. Все пять учредителей Комуча были эсерами и депутатами Учредительного собрания, трое представляли саму Самару. К концу четырёхмесячного существования Комуча к нему присоединилось около ста членов разогнанного парламента, включая Виктора Чернова — председателя его единственного заседания 5–6 января 1918 года. Этого «вождя демократии» встречали как важнейшую персону: возле его номера в гостинице «Националь» стояла вооружённая охрана, в его честь устраивали банкеты. Надеялись, что он станет символическим вождём общенационального крестового похода.

Комуч был по существу эсеровским правительством, к которому добавились представители национальных меньшинств — прежде всего татар и башкир, многочисленных в Поволжье, — а также меньшевики и кадеты, примкнувшие к нему вопреки решениям собственных центральных комитетов. В эту «Цитадель свободы» приехали почти все ведущие правые эсеры, включая Зензинова, Авксентьева и Брешко-Брешковскую, «бабушку русской революции». Во многих отношениях это было воскресшее правительство Керенского — только сам Керенский к тому времени уже находился в парижской эмиграции. Комуч стал призрачной лабораторией, в которой испытывался центральный принцип Временного правительства, приведший его к гибели: будто провинция ещё не готова к социализму и революция поэтому не должна переходить за пределы демократического этапа. Именно эта теоретическая одержимость помешала эсерам и меньшевикам создать Советскую власть в 1917 году; теперь она стала

основой их столь же иллюзорной попытки поднять провинцию против большевиков.

«Ни о каких социалистических экспериментах не может быть и речи», — провозглашала самарская пресса. Смыслом Комуча было восстановление демократии, а значит — отсрочка социальной революции до повторного созыва Учредительного собрания, которое одно должно было решать социальные вопросы. Подобно Временному правительству, Комуч видел себя временной администрацией до восстановления парламентского строя. Почти все его постановления начинались самоограничивающими формулами вроде: «До восстановления законной власти», «До возвращения нормальных отношений» — или словами в том же духе. Его программа была закована в жёсткие либеральные претензии на политическую нейтральность. Хотя свобода слова, печати и собраний была восстановлена, условия гражданской войны делали соблюдение этих свобод почти невозможным, и тюрьмы Самары вскоре заполнились большевиками. Иван Майский, меньшевик и министр труда, насчитал четыре тысячи политических заключённых. Были восстановлены городские думы и земства, а Советы как классовые органы отстранены от политики. Комуч также провозгласил поддержку «демократической федерации», что принесло ему одобрение башкирской и татарской общин Поволжья.[30]



65. Генерал Алексеев — последний начальник штаба императорской армии и, вместе с Корниловым, основатель Белого движения на Юге России.



66. Генерал Деникин — командующий белыми вооружёнными силами на Юге России в 1918–1920 годах.



67. Адмирал Колчак — главный белый лидер на Востоке России и, благодаря связям с союзниками, номинальный глава всего Белого движения.



68. Барон Врангель, возглавивший последнюю кампанию белых в Крыму в 1920 году.



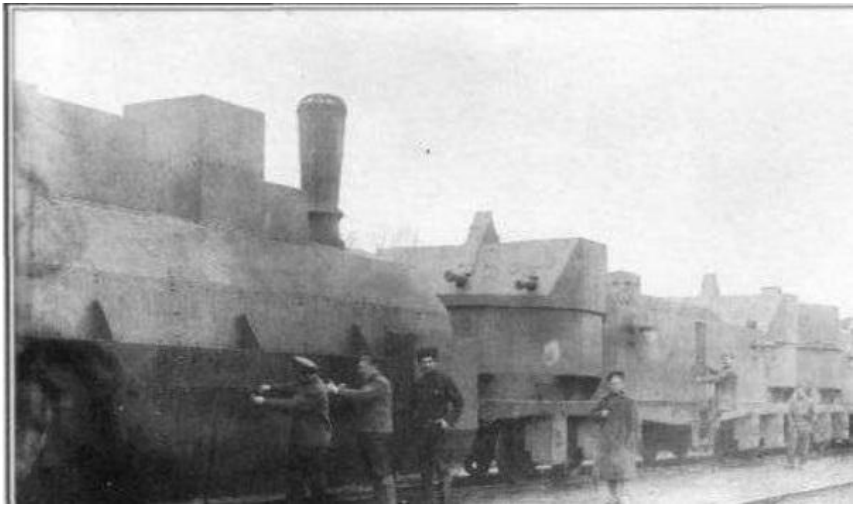
69. Красная армия не могла сравниться с Чехословацким корпусом, изображённым здесь во время захвата Владивостока в июне 1918 года. Цель чехов состояла в том, чтобы двигаться на восток, через Соединённые Штаты, и оттуда вернуться на европейский фронт.



70. Белые армии были «перегружены сверху» — слишком много генералов и слишком мало солдат. Группа белых офицеров ожидает прибытия адмирала Колчака во время военного парада в Омске, декабрь 1918 года.



71. У красных, напротив, был избыток рядовых и недостаток опытных командиров. «Комитетский дух» 1917 года продолжал жить в рядах красных партизанских отрядов, таких как армия Махно, изображённая здесь в 1920 году: тактические решения принимались поднятием рук солдат.



72. Бронепоезда, подобные этому, играли важнейшую роль в гражданской войне.



73. Часть Красной армии — Латышская дивизия — проходит через деревню близ Юго-Западного фронта, 1919 год.



74. Два красноармейца отдыхают во время боёв на Юго-Западном фронте, 1919 год.



75. Красная армия стала важнейшим каналом распространения грамотности и пропаганды. Солдаты в Туле читают листовки Красной армии, весна 1919 года.



76. Красная армия приносит свою пропаганду в деревню. Передвижная библиотека II кавалерийского корпуса, 1922 год.



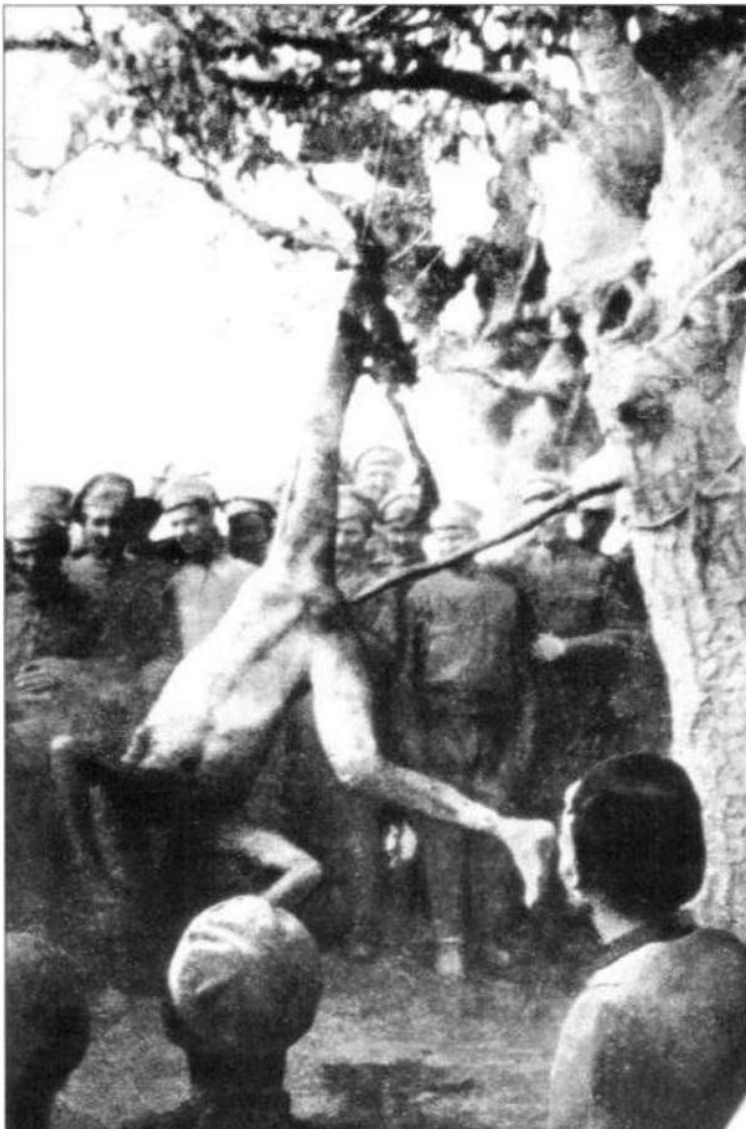
77. Нестор Махно в 1919 году. Столкнувшись с угрозой уничтожения большевиками, Махно и остатки его армии покинули территорию России в 1921 году. После кратких периодов заключения в Румынии и Польше анархистский лидер жил в Париже до смерти в 1935 году.



78. Террор был оружием всех армий гражданской войны. Белые вешают крестьянина Курской губернии за хранение старого охотничьего ружья, сентябрь 1919 года.



79. Еврейская жертва погрома, устроенного отрядом украинских националистов в Полтавской губернии, 1920 год.



80. Красные убивают польского офицера во время войны с Польшей в 1920 году. Обнажённого человека повесили вниз головой, избивали, резали и мучили до смерти. В промышленной сфере Комуч, подобно Временному правительству, пытался держаться середины между трудом и капиталом и в итоге не удовлетворил ни тех, ни других. Классовые противоречия были слишком сильны. Рабочие отвергали Комуч как «буржуазный» и демонстративно принимали в Совете большевистские резолюции. Фабричные комитеты лишались полномочий, а управление предприятиями возвращалось прежним владельцам или, если те

отсутствовали, назначенным правительством управляющим. Банки вновь перешли в частные руки. Была восстановлена свободная торговля, создан Совет торговли и промышленности, в котором преобладали промышленники и который должен был участвовать в выработке экономической политики. Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы убедить средние слои, что Комуч не является опасно «социалистическим» режимом. Они видели лишь, что восьмичасовой рабочий день по-прежнему гарантирован; профсоюзы и Совет продолжают действовать; над зданиями Комуча всё ещё развевается красный флаг. Какой смысл, спрашивали они, менять большевиков на «полубольшевистский» Комуч? Зачем менять красных на этих «розовых», если можно сразу получить белых?

В первые дни Комуча самарские средние слои, благодарные за свержение Совета, одобрили государственный заём. Но вскоре они переключили поддержку на белую контрреволюцию на Востоке. Комучу пришлось повышать налоги на продажу водки — мера, неизменно непопулярная среди рабочих. Он печатал деньги, разгоняя инфляцию. По мере обесценивания денег крестьяне сокращали поставки продовольствия в города, и Комуч был вынужден ввести карточки на хлеб. Его городская опора ещё больше сузилась. До конца с ним оставалась лишь немногочисленная провинциальная интеллигенция. На августовских выборах в городскую думу проправительственные партии получили жалкие 15 процентов голосов; две трети избирателей вообще не пришли. Демократия отвечала оглушительным молчанием.[31]

Вопреки надеждам эсеров, волжское крестьянство оказалось не более расположенным к их правительству. Всё могло бы сложиться иначе, если бы эсеры были готовы поддержать крестьянскую революцию. Но для этого пришлось бы признать крестьянские Советы, а лидеры Комуча на это не шли. Они собирались заменить Советы волостными земствами, где на равной основе должны были быть представлены все сельские сословия, включая дворянство. Но, как и в 1917 году, большинство крестьян бойкотировало земские выборы, поскольку уже воспринимало Советы как органы прямого сельского самоуправления. Даже там, где земства всё-таки избирались, им часто было трудно функционировать: сельская интеллигенция и чиновничество после революции почти исчезли из деревень, а крестьянские общины отказывались платить налоги. В некоторых местах Совет оставался у власти, но в переписке с Комучем называл себя «земством».[104] Комуч был бессилен прекратить эту комедию даже с помощью войск. Крестьяне слишком прочно связывали Советы с гарантиями своей земельной революции.

Комуч столь же неохотно признавал крестьянские захваты помещичьей земли. Формально он поддерживал земельную реформу, принятую на первом и единственном заседании Учредительного собрания и признавшую отмену частной собственности на землю. Однако последующий декрет от 22 июля позволял бывшим помещикам

[104] Такой обман облегчался тем, что в 1918 году большинство Советов всё ещё пользовалось старой земской бумагой и бланками.

вернуть озимые поля, которые они сами засеяли. Фактически это означало отмену примерно трети крестьянских захватов пашни. Для проведения декрета нередко приходилось вызывать войска. Его целью было «восстановление законности» после «анархических» захватов земли предыдущей зимой и весной, но на практике, особенно у беднейших крестьян, получивших большую часть помещичьих полей, возникло впечатление, что Комуч стремится вернуть старый порядок в деревне. Такое толкование было вполне объяснимым: некоторые помещики воспринимали декрет как разрешение брать закон в собственные руки. С помощью армейских частей или личной милиции они возвращали имущество, иногда публично пороли крестьянских вожаков, чтобы «проучить» деревню.[32]

* * *

Ни одна политика Комуча не была так непопулярна, как призыв в Народную армию. В любой гражданской войне успех соперников определяется их способностью мобилизовать местное население. Этот экзамен Комуч провалил совершенно очевидно.

Летом силы Комуча и чехов почти беспрепятственно расширяли территорию. Красные были хронически слабы, испытывали нехватку продовольствия и не имели настоящей армии. 6 июля чехи взяли Уфу; 22-го — Симбирск, родину Ленина; 6 августа — Казань с огромным царским золотым запасом. Через два дня рабочие оружейных заводов Ижевска, примерно в 150 милях севернее Казани, восстали против Совета и заявили о поддержке Комуча. Это было крупнейшее рабочее восстание против большевиков за всю гражданскую войну — и крупное унижение режима. Восстание быстро перекинулось на соседнюю деревню, где ещё жили семьи многих рабочих. Для борьбы с красными формировались добровольческие части. Это был пик могущества Комуча. Теперь он контролировал территорию размером примерно с материковую Италию, с населением около четырнадцати миллионов человек.

Но военный потенциал Комуча всегда оставался крайне хрупким. Чехословацкий корпус не собирался бесконечно воевать в России. Солдаты устали и хотели домой; по мере того как красные становились организованнее, моральное состояние легионеров ухудшалось. К

середине августа чешские части начали распадаться. Некоторые солдаты были социалистами и переходили к красным под воздействием их пропаганды; другие просто прекращали воевать и распродавали местным жителям имущество и припасы. Корпус распадался на банды мелких спекулянтов.

Тем важнее для Комуча было создать собственную армию из жителей Поволжья. Одним из его первых актов стал призыв добровольцев. В городах откликнулось около восьми тысяч человек — главным образом студентов и юнкеров, но также беженцев и безработных, не имевших иных средств к существованию. В деревне же добровольцев было ничтожно мало: большинство крестьян не желало иметь ничего общего с «братоубийственной» гражданской войной. Защищать революцию в собственном уезде они были готовы — для этого создавались крестьянские роты, — но общенациональную войну воспринимали как далёкую борьбу городских партий. «Настроение крестьян безразличное, — сообщал один из вербовщиков Народной армии. — Они хотят только, чтобы их оставили в покое. Большевики пришли — хорошо, говорят; большевики ушли — тоже не беда, говорят. Есть хлеб — будем Бога благодарить, а гвардия нам зачем? Пусть сами между собой воюют, мы постоим в стороне. Известно ведь, что лучше играть на слух и держаться в стороне». На Самарском крестьянском съезде, созванном Комучем в сентябре, делегаты заявили, что «не будут воевать со своими братьями, только с врагами». Они «отказались поддерживать войну между политическими партиями» и призвали Комуч «договориться с большевиками». Один делегат предложил, чтобы «вопрос о продолжении гражданской войны решался референдумом, и пока мы не знаем мнения всего населения, у нас нет морального права голосовать за эту резолюцию о поддержке войны».[33]

Для большинства крестьян, чьи политические горизонты ограничивались своей деревней, общенациональные цели Комуча были совершенно чужды. Восстановление Учредительного собрания мало что значило для людей, уже получивших землю и свободу. Призывы Комуча вновь начать войну с Германией через шесть месяцев после прекращения боёв противоречили местническому пацифизму крестьянства. «Война с Германией и вообще все войны — зло», — постановили крестьяне одной деревни. «Если мы не будем воевать,

немецкие солдаты не станут отнимать нашу землю», — рассуждали в другой. Самарский уездный начальник полиции заключал: «Население плохо понимает цели Народной армии… Укоренилась мысль, что “буржуи” начали новую войну, потому что “мир”, заключённый большевиками, для них невыгоден; но крестьянство “ничего не потеряло” и ничего не потеряет, если позволит буржуазии воевать самой».[34]

Классовую вражду усиливало поведение офицеров Народной армии. Судьба Комуча могла бы сложиться иначе, если бы он смог создать собственный корпус лояльных демократических офицеров; армейские комиссары 1917 года идеально подошли бы на эту роль. Но почти никого из них уже не осталось: одних, как Линде, поглотила революция; другие, как Оськин, перешли к красным. Граждан-патриотов, сплотившихся когда-то вокруг Керенского, больше не было; выражение «демократический офицер» стало почти оксюмороном.[105] Комучу пришлось довольствоваться теми офицерами, которые сами к нему явились. Народную армию возглавил полковник Галкин, типичный военный бюрократ царской эпохи. Его штаб превратился в крепость правых и монархистов — троянского коня белой контрреволюции внутри демократической цитадели. Руководители Комуча прекрасно это понимали, но, как говорил Климушкин, «мы настолько верили в силу демократии, что не боялись офицерских планов». При Галкине восстановили царскую систему военной дисциплины. Офицеры даже носили уменьшенный вариант прежних погон. Многие были сыновьями местных помещиков и порой жестоко мстили деревням, захватившим имения их семей.[35] Неудивительно, что крестьяне не испытывали особого восторга к так называемой Народной армии.

Слабый отклик на призыв добровольцев вынудил Комуч в конце июня перейти к мобилизации. Опасаясь, что старшие крестьяне заражены большевизмом, охватившим армию в 1917 году, власти призывали молодых людей до двадцати одного года. Но и они проявляли знакомые признаки неповиновения. На призывные пункты явился лишь один из трёх мобилизованных; остальные считались «дезертирами». Хуже всего явка была в западных уездах у фронта — факт, многое

[105] Комуч пытался привлечь на службу Брусилова, но безуспешно.

объясняющий в будущей победе большевиков. В отличие от противников, большевики обычно могли, по крайней мере в критические моменты гражданской войны, мобилизовать крестьянство непосредственно за линией фронта. Как бы крестьяне ни ненавидели красных, возвращения старого помещичьего строя они боялись сильнее. Ни Комуч, ни белые так и не сумели проникнуть в центральную зону Советской власти, где крестьянская революция укоренилась прочнее всего.

Все армии гражданской войны страдали от хронического дезертирства, но Народная армия — особенно сильно, во многом потому, что её пришлось импровизировать прямо на фронте. У большевиков было десять месяцев власти до начала крупных боёв; Комуч существовал всего десять недель, когда столкнулся с первым серьёзным наступлением красных. Времени создать полноценную военную инфраструктуру не было. Новобранцам слишком часто не хватало формы и винтовок. Их почти не обучали перед отправкой в бой, поэтому при первой опасности части нередко впадали в панику. В августе и сентябре, в разгар уборки урожая, тысячи солдат разбежались по своим хозяйствам именно тогда, когда красные перешли в наступление. Комуч пытался остановить дезертирство карательными казачьими отрядами в деревнях. Военно-полевые суды, напоминавшие печально известные столыпинские трибуналы 1905–1906 годов, получили широкие полномочия карать дезертиров и их семьи. Крестьянских вожаков публично пороли и вешали; брали заложников, чтобы вынудить беглецов выйти из укрытий; если солдаты не сдавались, целые деревни сжигали дотла. Для крестьян всё это должно было выглядеть как возвращение старого режима — да ещё с местью.

Репрессии только усиливали сопротивление крестьянства и толкали многих к красным. Деревни создавали отряды — часто при участии Совета — для борьбы с Народной армией и её карателями. Эти крестьянские «армии» шли в бой с ржавыми ружьями, вилами, топорами и отдельными артиллерийскими орудиями на телегах. Некоторые сражались партизанскими отрядами рядом с Красной армией и позднее вошли в её регулярные части. Классическим примером была Домашкинская сельская бригада. Она воевала с казаками в степях южной части Самарской губернии, а затем стала ядром 219-й

Домашкинской стрелковой дивизии — регулярной части Четвёртой Красной армии. Пугачёвский, Новоузенский, Краснокутский и Куриловский полки имели схожее происхождение. Солдаты в этих частях были родственниками и соседями. В Куриловском полку служили отец и шесть сыновей. Подобная спаянность не имела аналогов в гражданской войне, кроме казачьих отрядов, устроенных во многом так же.[36] Именно на таком материале выросла легенда о Чапаеве, главном красном командире этих партизан, на которой воспитывались три поколения советских детей.

* * *

Без действенной армии Комучу оставалось лишь вопросом времени потерять Поволжье. Летом красные постепенно наращивали силы для волжской кампании: именно здесь Красная армия стала превращаться в регулярную массовую армию. В Москве и других городах центральной советской зоны формировались рабочие отряды и отправлялись в Восточную группу армий на правом берегу Волги. По приказу Ленина с западных заслонов против немцев сняли тридцать тысяч солдат. Он рискнул, правильно рассчитав, что Центральные державы слишком заняты в Европе, чтобы воспользоваться пробелом. К началу сентября 1918 года красные сосредоточили на Восточном фронте около семидесяти тысяч человек — вдвое больше сил Комуча. Это было начало настоящих масштабных боёв гражданской войны: прежде в операциях участвовали только небольшие части, ни одна не превышала десяти тысяч. 10 сентября красные взяли Казань. Полковник Вацетис, руководивший штурмом, получил награду — пост главнокомандующего всей Красной армией. Поражение принесло бы иной вид награды: Ленин приказал расстрелять Вацетиса, если город не будет взят. Через два дня Первая Красная армия Михаила Тухачевского прорвалась к Симбирску. С этого момента сопротивление Народной армии фактически рухнуло; чешские части разваливались. 7 октября пала Самара.

Эсеры распустили Комуч и бежали в Уфу. Там они оказались во власти белой контрреволюции, двигавшейся с Востока. Под защитой чехов в Сибири возникло несколько соперничающих центров власти: огромная евразийская территория превратилась в лоскутное одеяло

региональных режимов. Уральское правительство находилось в Екатеринбурге и претендовало на власть над Пермью. Различные казачьи войска — на западе прежде всего Оренбургское и Уральское — формально признавали Комуч, но вели себя как независимые державы. У башкир и киргизов тоже были свои «государства», а внутри территории Комуча существовало национальное правительство тюрко-татарских народов. Из всех этих центров самым важным было Сибирское правительство в Омске. Его создали кадетские и эсеровские политики в Томской думе ещё до прихода Советской власти, а после восстания чехов они восстановили его в Омске. 23 июня главой правительства стал П. В. Вологодский — юрист и сторонник сибирской автономии. Брешко-Брешковская, проезжавшая через Омск в начале июля, отзывалась о новых властях крайне мрачно:

> Омск пыльный и грязный. У руководителей правительства нет ни ума, ни совести. В составе «Сибирского правительства» нет ничего положительного или обнадёживающего. Его так называемые «министры» — одни вопросительные знаки. В разговоре видно, что они не верят ни в себя, ни в успех собственного предприятия.[37]

Омское правительство вскоре попало под власть правых и монархических офицеров Сибирской армии. Не имея тесных связей с чехами, оно всё же зависело от их военной поддержки. К сентябрю Сибирская армия насчитывала тридцать восемь тысяч человек, главным образом крестьянских призывников. Под флагом Сибири — зелёным в честь лесов и белым в честь снегов — она пользовалась поддержкой старых сибирских поселенцев, выступавших за независимость от остальной России. Правые офицеры из Поволжья тоже стекались сюда как к альтернативе «социалистическому» Комучу. Господство правых элементов в Омске было достаточно сильным, чтобы помешать Сибирскому правительству вновь созвать Думу. Правым нужна была не Дума, а диктатура.

Соперничество Самары и Омска всегда было ожесточённым. Оно выливалось в таможенную войну и территориальные споры. Но одновременно росло давление в пользу соглашения: военное положение Комуча быстро ухудшалось, а союзники опасались, что мелочные конфликты помешают совместному отпору красным. Компромисс был достигнут на Государственном совещании в Уфе 8–23 сентября. Там

голоса лидеров Комуча всё больше заглушали правые на их собственной стороне, требовавшие той самой диктатуры, которой хотели сибиряки. Казанский промышленник Кропоткин призывал к «сильной и единой военной власти, которая спасёт Россию от тех политиков, то есть социалистов, которые её погубили». По мнению В. Н. Львова, посредника в корниловском фарсе, был необходим новый «военный диктатор».[38]

Для успокоения Комуча был найден условный компромисс. Уфимское совещание признало верховный суверенитет Учредительного собрания, при условии что удастся собрать кворум из 250 членов. Но до этого момента Комуч лишался претензий на роль законного правительства всей России. Вместо него создавалась пятиместная Директория — исполнительный орган Временного Всероссийского правительства с центром в Омске. В неё вошли два эсера — Авксентьев и Зензинов, два сибирских либерала — Вологодский и Виноградов, а также близкий к эсерам генерал Болдырев, одновременно ставший главнокомандующим. Формально эсеры имели большинство, но на деле именно они проиграли. В раздробленной политике гражданской войны собрать кворум для восстановления Учредительного собрания было сизифовым трудом. По существу, их Цитадель свободы лежала в руинах.

Директория была бледной тенью французского революционного правительства, чьё название она заимствовала. Это было правительство только на бумаге. У него не было нормальной структуры и устойчивых источников финансирования. Почти до конца восьминедельного существования оно размещалось в железнодорожном вагоне на запасном пути в нескольких милях от Омска — весьма сомнительная «столица» для власти, объявлявшей себя единственным законным правительством России. Авксентьев, председатель Директории, был дилетантом, игравшим в политику. Он «окружил себя адъютантами, восстановил старые титулы» и, по словам современника, «создал бутафорскую пышность, за которой не было никакого содержания». Всё напоминало последние дни Керенского. Эта Директория имела ещё меньше реальной власти, чем Временное правительство. Она не пользовалась доверием даже у тех сил, которые представляла. И эсеры, и правые с самого начала плели против неё заговоры, считая, что союз отдаёт слишком много власти другой стороне. Омск был полон интриг

и слухов о перевороте. «Мексика среди снега и льда» — так описывал город Болдырев.[39]

Правые офицеры ударили первыми. 17 ноября казачий отряд ворвался на заседание эсеров в Омске и арестовал нескольких их лидеров, включая двух членов Директории — Авксентьева и Зензинова. Их обвинили в заговоре с целью свержения самой Директории. Группа Чернова действительно с самого начала строила планы против неё. Но правые делали то же самое и теперь использовали эсеровский заговор как предлог для собственного переворота. Утром следующего дня Совет министров Директории благословил переворот и предложил адмиралу Колчаку стать Верховным правителем. Защищать Директорию было практически некому. После провозглашения независимости Чехословакии 28 октября чехи окончательно потеряли желание воевать и хотели только домой. Народная армия находилась в состоянии глубокого распада.

В течение следующих четырнадцати месяцев Александр Колчак, вместе с Деникиным, был главным вождём контрреволюции. Символично, что адмирал без флота стал правителем государства, чья столица находилась в четырёх тысячах миль от ближайшего моря: Колчак был человеком не на своём месте в истории. Невысокий, но внушительный, с тёмными проницательными глазами, он выделялся среди царского морского офицерства, где господствовало землевладельческое дворянство: по образованию и призванию он был горным инженером и полярным исследователем. В 1916 году, когда его назначили командующим Черноморским флотом, Колчаку был всего сорок один год — он годился в сыновья большинству других командующих фронтами. В 1917 году он отказался подчиниться флотским комитетам и в драматическом жесте, сделавшем его известным в политике, сломал саблю и бросил её за борт. Генерал Будберг называл Колчака «большим больным ребёнком»:

> Он, несомненно, неврастеник, легко выходит из себя, чрезвычайно вспыльчив… Он чистый идеалист, рабски преданный чувству долга и идее служения России, её спасения от красного гнёта… Благодаря этой идее его можно заставить сделать всё. У него нет личных интересов, нет самолюбия, и в этом отношении он кристально чист… Он совершенно не понимает суровой реальности жизни, живёт иллюзиями и готовыми представлениями. У него нет ни собственных планов, ни

системы, ни воли: он подобен мягкому воску, из которого советники и близкие лепят всё, что захотят.[40]

Все эти черты проявились в его поведении при свержении Директории. Колчак был в перевороте фигурой пассивной — почти случайной. Он просто оказался в нужном месте в нужный момент и дал заговорщикам удобного вождя. В момент большевистского переворота Колчак находился с военной миссией в Соединённых Штатах. Проведя год в Маньчжурии, он вернулся в Россию по Транссибирской магистрали и в середине октября прибыл в Омск, где Болдырев убедил его принять пост военного министра. Нет доказательств, что Колчак непосредственно участвовал в свержении Директории, хотя историки до сих пор называют событие «переворотом Колчака». Насколько можно судить по нынешним данным, правые в Омске организовали переворот без его ведома именно для того, чтобы поставить его перед фактом и заставить принять власть. В тот же день несколько правых офицеров уговаривали его стать диктатором. Колчак не был принципиальным противником диктатуры: поездки на фронт убедили его в «полном отсутствии поддержки Директории». Да и общие планы переворота не были для него тайной — в омских салонах и казармах открыто говорили о необходимости железной руки; то же обсуждали и в самой Директории. Близкий союзник Колчака генерал Нокс, руководивший британской военной миссией в Сибири, тоже поддерживал диктатуру.[106]

Сначала, 17 ноября, адмирал отказался брать власть: главой армии, говорил он, был Болдырев, и не было ясно, поддержат ли его сибиряки и союзники. Но после того как офицеры фактически совершили переворот за него, Колчак изменил решение. Утром 18-го ему казалось, что кто-то должен стать диктатором и заполнить вакуум, иначе начнётся уличное насилие. На Совете министров он предложил Болдырева, но тот отсутствовал, а министры в любом случае предпочитали адмирала «социалисту» Болдыреву. Под давлением Нокса, убеждавшего исполнить долг, Колчак согласился и принял титул Верховного правителя.[41]

---

[106] Однако сомнительно, что Нокс участвовал непосредственно в подготовке переворота. Такое обвинение распространяли французские представители, утверждавшие, будто британцы посадили Колчака как «своего человека», чтобы усилить влияние в Сибири.

* * *

Так закончилась история правых эсеров и их «демократической контрреволюции», как назвал её Иван Майский. Колчак приказал арестовать эсеровских лидеров, а затем под конвоем отправил к китайской границе, откуда их выслали. Некоторые добрались до Западной Европы и прожили там удобную, но полную сожалений эмигрантскую жизнь. Другие вернулись в Россию, где продолжили подпольную деятельность, занимая позицию одинаковой враждебности к красным и белым. В течение нескольких недель после переворота полиция Колчака проводила кровавые расправы над эсеровскими активистами. Сотни были арестованы — многие как заложники, подлежавшие расстрелу в случае эсеровского террора против диктатуры. Среди заложников в Омске находились двадцать депутатов Учредительного собрания; десять из них были расстреляны в декабре после рабочего восстания в городе.

Сам Колчак определял цель своего режима исключительно в военных терминах. Как и Деникин, он был узким военным человеком: политика лежала за пределами его способностей. Кроме свержения большевизма и «спасения России», у него не было ясного представления, за что именно он сражается. Он делал расплывчатые заявления о восстановлении закона, порядка и Учредительного собрания, хотя, судя по его собственным взглядам, последнее явно не должно было быть восстановлено в демократическом виде 1917 года.[107] В остальном вся политика отменялась во имя военной кампании. Деникин сделал ту же ошибку. Политика сама была решающим фактором войны. Без программ, способных мобилизовать или хотя бы нейтрализовать местное население, армия Колчака почти неизбежно была обречена. Более того, отказ чётко сформулировать собственную политику позволил другим сделать это за него: и красная пропаганда, и

[107] На допросе в 1920 году Колчак признавал: «Общее мнение… состояло в том, что только правительство, санкционированное Учредительным собранием, может быть настоящим; но то Учредительное собрание, которое мы получили… и которое с самого начала под руководством Чернова запело “Интернационал”, вызвало неприязненное отношение… Его считали искусственным и партийным собранием. Таково было и моё мнение. Я полагал, что, несмотря на все дурные качества большевиков, разгон Учредительного собрания был их услугой, и этот поступок следует поставить им в заслугу» (Varneck and Fisher (eds.), *Testimony*, 106–107).

поведение его правых офицеров создали у населения восточной России губительное впечатление, будто движение Колчака стремится восстановить монархию.

Таким образом, средняя почва между красными и белыми была размыта и постепенно исчезла. Вся страна оказалась втянута в гражданскую войну. Хрупкой демократии, корни которой возникли в 1917 году, в этой войне не осталось места. Россия была слишком поляризована, а большая часть её населения слишком плохо политически образована, чтобы демократические институты могли выстоять против врагов на обоих крайних флангах. Антибольшевистское движение вновь примет демократическую форму лишь осенью 1920 года, когда свергнуть новую автократию будет уже слишком поздно. Трагедия Русской революции заключалась в том, что народ оказался политически слишком слаб, чтобы определить её исход.

ГЛАВА 13

РЕВОЛЮЦИЯ ИДЁТ НА ВОЙНУ

i. Вооружая революцию

Прошло пять лет с тех пор, как Дмитрий Оськин в последний раз был в Туле. Тогда, в 1913 году, он приехал из деревни простым крестьянским парнем и записался в царскую армию. Теперь, весной 1918-го, он возвращался в тот же город комиссаром армии Троцкого — чтобы придать революции стальной хребет.

Годы войны и революции оказались для Оськина удачными. По мере уничтожения старой офицерской касты он поднимался по служебной лестнице, получив четыре Георгиевских креста. В 1917 году его карьера шла вверх по мере движения политических взглядов влево: он оседлал волну солдатской революции. Эсеровский билет помог ему получить командование полком, затем он был избран в Центральный комитет Совета солдатских депутатов Юго-Западного фронта. В октябре Оськин приехал делегатом-эсером на Второй съезд Советов — одним из той «серой массы» немытых солдат в Смольном, которую Суханов обвинял в победе большевиков. В начале 1918 года, когда Троцкий стал формировать офицерский корпус новой Красной армии, он прежде всего обратился к унтер-офицерам вроде Оськина, освоившим военное дело ещё в царской армии. Это был брак по расчёту между амбициями крестьянских сыновей и военными потребностями режима. Как когда-то говорил Наполеон, каждый солдат носит в ранце маршальский жезл: так создавалась *armée révolutionnaire*.

В ста милях к югу от Москвы Тула была арсеналом революции. После эвакуации Петрограда город стал центром военной промышленности Советской республики. На пике Первой мировой войны его заводы нанимали свыше шестидесяти тысяч рабочих; к приезду Оськина, в условиях массового исхода в деревню, осталось около пятнадцати тысяч. Новый военный комиссар разместился в здании Совета, устроенном в бывшем Крестьянском банке, которое, словно символ нового социального порядка, было окружено металлообрабатывающими заводами.[1]

Местная Красная гвардия, которую Оськин должен был реорганизовать, создавалась главным образом рабочими в 1917 году для защиты фабрик от угрозы «контрреволюции». После захвата власти большевиками много говорили о том, чтобы на её основе создать новый тип «пролетарской армии», а не сохранять остатки старой — преимущественно крестьянской.

Большевики вообще не любили идею постоянной армии. Они считали армию орудием угнетения, которым старый режим пользовался против революции. Рабочая милиция казалась более эгалитарной, и Красная гвардия должна была стать её основой. Именно из её частей создавалась новая Красная армия, учреждённая декретом 15 января. Помимо идеологических возражений против постоянной армии, у большевиков были и практические основания поддерживать тогда добровольческий принцип: распад старой армии и полное отсутствие аппарата для мобилизации не оставляли выбора. Единственными реальными войсками, на которые они могли рассчитывать, были три бригады латышских стрелков общей численностью около тридцати пяти тысяч человек — они одни стояли между большевиками и катастрофой в первые месяцы режима.

В тот период, когда рабочие массово покидали города, новые красноармейцы набирались главным образом из безработных бывших солдат и всех тех «бродячих, неустойчивых элементов», которых, по словам Троцкого, «тогда было так много». Некоторым, вероятно, понравилась армейская жизнь или, по крайней мере, она казалась лучше послевоенных гражданских лишений. Но большинство просто не имело куда идти: война лишила их дома и семьи. Они застряли в городах вроде Тулы — на полпути между фронтом и давно оставленными родными местами. Многие записывались в Красную гвардию только ради казённой шинели или пары сапог, после чего убегали, продавали их и повторяли то же самое в другом городе. Новая Пролетарская милиция превращалась в барахолку для обездоленных.[2]

Разумеется, такая армия была почти бесполезна на поле боя. Образ красногвардейцев как дисциплинированных ударных частей — продукт советской мифологии. Красная гвардия состояла из нерегулярных отрядов, одетых и вооружённых кто во что горазд, плохо дисциплинированных и много пивших. В их рядах жил «комитетский

дух» 1917 года. Командиров избирали, а примитивные планы операций нередко принимались поднятием рук солдат. Военные последствия были катастрофическими. Атаки начинались без разведки, иногда по школьному атласу. Солдаты дрались хаотично и недисциплинированно, слишком часто разбегаясь при первом появлении противника. Разгромы от немцев в феврале–марте, а затем от чехов в мае–июне убедили Троцкого: так дальше нельзя. Советский режим стоял на грани поражения, и Красную армию следовало перестроить по образцу старой императорской: нерегулярные отряды заменить регулярными частями, восстановить дисциплину, профессиональное офицерство и централизованную вертикаль командования. Именно такую реформу Оськин должен был проводить в Туле.

Одним из первых шагов Троцкого стало привлечение бывших царских офицеров. Их называли «военными специалистами», а не офицерами, чтобы отмежевать от старого режима; по той же причине солдат теперь именовали «красноармейцами». Около восьми тысяч бывших царских офицеров добровольно пошли служить большевикам после захвата власти. Солдаты и их комитеты, для которых революция означала прежде всего конец офицерского господства, встретили это с большой враждебностью. Но нехватка унтер-офицеров и так называемых красных командиров, чья подготовка только начиналась, привела к тому, что суровая военная необходимость победила революционную ревность. Теперь Троцкий решил расширить принцип, введя массовую мобилизацию бывших царских офицеров; протесты солдат он просто обошёл, ликвидировав их комитеты. 29 июля был издан знаменитый приказ № 228 о призыве всех офицеров. К концу года набрали двадцать две тысячи бывших царских офицеров; за всю гражданскую войну их число достигло семидесяти пяти тысяч, не считая врачей, ветеринаров и других специалистов. К концу войны три четверти высших командиров Красной армии происходили из царского офицерского корпуса.[3]

Что побуждало этих офицеров служить? Одних, как Брусилова, вступившего в Красную армию в 1920 году, двигало чувство патриотического долга: страна, хорошо это или плохо, выбрала красных — так им казалось, — и долг требовал служить ей. Многих вела врождённая военная дисциплина: это были «армейские люди», готовые

служить институту армии независимо от его политики. Некоторые младшие офицеры, вероятно, надеялись получить в новой армии более высокое командование, чем могли бы ожидать в старой. Но самым обычным мотивом была простая необходимость найти работу: не карьеризм, а выживание приводило офицеров к Советской власти. Большинство лишилось военной пенсии — часто единственного источника существования — и потому оказалось в ещё худшем положении, чем другие разорённые слои старой России. В атмосфере террора 1918 года было к тому же разумно сделать себя полезным режиму. Как сформулировал Троцкий в записке Ленину, принимая бывших царских офицеров на службу, «мы облегчим нагрузку на тюрьмы».[108] За вступившими тщательно следили комиссары вроде Оськина; офицеров предупреждали, что за любую измену Красной армии будут арестованы их семьи. «Пусть перебежчики понимают, — гласил специальный приказ Троцкого от 30 сентября, — что одновременно они предают собственные семьи: отцов, матерей, сестёр, братьев, жён и детей».[4]

Привлечение этих офицеров вызвало бурю протеста. Многие солдаты видели в нём возвращение старого армейского порядка и предательство Приказа № 1. Особенно раздражали возвращение разницы в оплате по чинам, обязательного приветствия, специальных знаков различия и формы, не говоря уже о пайках и привилегиях для офицеров. Партийные работники в армии считали это угрозой своей власти, а унтер-офицеры и красные командиры завидовали «людям с золотыми погонами» и боялись, что те перекроют им путь наверх. Сам Оськин относился к царским офицерам двойственно. Как военный он понимал отчаянную необходимость компетентного командования. Военную эффективность приходилось ставить выше революционного равенства. Проделки левых эсеров и анархистов в Туле — подростковых фанатиков милиционного принципа — устроили достаточно хаоса, чтобы убедить его в необходимости большевистской дисциплины и организации; в июле 1918 года Оськин вступил в партию. Но одновременно как крестьянский унтер-офицер и человек честолюбивый он раздражался из-за привилегий бывших царистов. Он заработал чин

[108] В октябре 1918 года в тюрьмах ЧК в качестве «заложников» сидело около восьми тысяч офицеров (*Revvoensovet Respubliki*, 36).

храбростью под огнём, тогда как большинство из них получили свои звания благодаря происхождению и образованию. Ему казалось, что их отношение не изменилось — «лицевые мышцы у них дёргались, когда солдаты обращались к ним “товарищ командир”», — и он боялся, что это может привести к мятежу.[5]

Летние военные неудачи критики Троцкого быстро списали на бывших царских офицеров. Потеря Симбирска в июле действительно отчасти была следствием мятежа М. А. Муравьёва — бывшего подполковника царской армии и левого эсера, командовавшего Восточным фронтом. В последующие месяцы внутри партии развернулась организованная кампания против политики Троцкого. Катализатором стали две статьи в «Правде». Сорин, член Московского комитета партии, обвинял Троцкого в передаче «слишком большой власти» бывшим царским офицерам и в несправедливом требовании от комиссаров «отвечать жизнью», когда солдаты отказывались выполнять приказы. Комиссар Пантелеев действительно был расстрелян по приказу Троцкого после бегства его отряда из-под Казани. Этот случай стал знаменем тех, кто хотел защитить самостоятельность партии и её комиссаров от командиров. В другой статье комиссар Каменский из армии Ворошилова на Южном фронте утверждал, что бывшие царские командиры ведут себя как настоящие «самодержцы», тогда как комиссарам оставляют лишь «приложить декоративную подпись» под приказами.[6]

Климент Ворошилов, старый большевик и командир Красной гвардии, стал главной фигурой так называемой Военной оппозиции. Базируясь в Царицыне, он отказывался выполнять приказы центрального командного органа Троцкого — Реввоенсовета Республики — и командующего Южным фронтом, бывшего царского генерала Сытина, находившегося в Козлове. Сталин поддерживал Ворошилова, хотя позднее всегда отрицал принадлежность к Военной оппозиции. Именно этот прямой вызов власти Троцкого со стороны столь высокопоставленного партийного товарища стал одним из источников их будущей личной ненависти.

Троцкий превратил критику своей политики в вопрос общего доверия партии к нему как к наркому по военным делам. Он потребовал подвергнуть редакторов «Правды» порицанию за публикацию статей

Сорина и Каменского. Он также потребовал отозвать Сталина с Южного фронта, где грузин в роли специального комиссара по продовольствию расстреливал десятки чиновников и создавал хаос. Это была опасная игра. Настроения Военной оппозиции, подобно настроениям левых коммунистов, из которых она частично выросла, были широко распространены среди рядовых партийцев, вступивших после 1917 года. В их глазах смысл революции состоял именно в замене старых «буржуазных специалистов» пролетариями, лояльными партии. Их коммунизм был коммунизмом карьеристов — он соединял эгалитарное неприятие старых авторитетов с требованием, чтобы они сами как коммунисты получили аналогичную власть и привилегии в новом режиме. С их точки зрения, для военного продвижения достаточно было товарищества и правильного классового происхождения. Сражения, полагали они, выигрываются «революционным духом» товарищей и солдат, а не устаревшей наукой царской Военной академии.

За недоверием к офицерам стояли инстинктивная классовая ненависть к привилегиям и глубокий антиинтеллектуализм. Те же чувства проявлялись по отношению к другим «буржуазным специалистам», которых Советская власть нанимала в бюрократию и промышленность, — чиновникам, управляющим и инженерам, занимавшим свои должности до 1917 года. Многие интеллектуалы в партийном руководстве сами становились мишенью демагогической враждебности низов. Особенно страдали Троцкий, Каменев и Зиновьев — три главных соперника Сталина в 1920-е годы.[109] Их еврейская внешность, несомненно, играла роль. Большинство представителей Военной оппозиции происходило из низших слоёв и имело лишь начальное образование. Ворошилов был сыном случайного железнодорожного рабочего и учился в школе всего два года. Эти «сыновья пролетариата» не желали уступать офицерам, пользовавшимся привилегиями дворянского происхождения и Академии. Как младших командиров, их раздражали и то, что они

[109] Возвышение Сталина отчасти опиралось на мобилизацию этого антиинтеллектуализма против старых большевиков — тех, кто вступил в партию до 1917 года, — среди рядовых коммунистов. Многие важнейшие союзники Сталина в 1920-е годы были бывшими участниками Военной оппозиции. Ворошилов, например, вошёл в Политбюро в 1925 году.

считали высокомерием Троцкого и его бонапартистскими манерами во главе Красной армии. Он всегда появлялся на фронте в богато обставленном поезде — Троцкий слыл гурманом, в его составе имелся собственный первоклассный ресторан. Комиссары из его окружения носили безупречную форму, дорогие кожаные сапоги и блестящие золотистые пуговицы. Возможно, при большей тактичности Троцкий смог бы нейтрализовать Военную оппозицию. Но деликатностью он никогда не отличался — сам признавал, что в партии его не любят за «аристократизм», — и вызов оппозиции задел его гордость и власть. Он ответил там, где было больнее всего, высмеяв критиков как «партийных невежд». Отдельные случаи измены военспецов, утверждал он, не так страшны, как потеря «целых полков» из-за некомпетентности «полуобразованных» коммунистических командиров, которые «даже карты читать не умеют».[7]

Конфликт продолжался всю зиму, пока в марте 1919 года, когда Колчак подошёл к Волге, Ленин не призвал к партийной сплочённости. На VIII съезде партии удалось добиться своего рода компромисса. Использование бывших царских офицеров Троцким было одобрено как военная необходимость, но одновременно усиливались надзор комиссаров и общий партийный контроль над армией, а также расширялась подготовка красных командиров для будущего руководства. Однако это лишь накрыло спор одеялом. Цепочка командования стала ещё более запутанной: командиры, комиссары и местные партийные ячейки втянулись в трёхстороннюю борьбу за власть.[8] Более того, конфликт Троцкого с Военной оппозицией вновь вспыхнул следующим летом, когда Сталин начал новую общую атаку на армейское руководство.

* * *

Летом 1918 года, когда красные терпели поражения по всем направлениям, Советская республика была объявлена «единым военным лагерем». По всей стране ввели военное положение. Реввоенсовет Республики под руководством Троцкого стал верховным государственным органом; вся экономика была подчинена нуждам армии; страну разделили на три главных фронта — Восточный, Южный и Северный, пять армейских групп и Западный укреплённый район.

Большевистские лидеры били кулаками по столу на митингах, а газеты выходили с огромными заголовками, призывая народ выполнить долг и защитить Отечество.

В этом отчаянном положении Троцкому не оставалось ничего, кроме массовой мобилизации. Красных добровольцев было слишком мало, и они были слишком недисциплинированны, чтобы одновременно противостоять немцам на Украине, британцам на Севере, чехам на Волге, японцам на Дальнем Востоке и поддерживаемым союзниками белым на Дону. Массовый призыв стал второй крупной реформой Троцкого после привлечения бывших царских офицеров — и оказался не менее спорным.

Красная гвардия считалась армией рабочего класса, тогда как массовая мобилизация неизбежно превращала Красную армию в крестьянскую. Большинство большевиков воспринимало крестьян как чуждую и потенциально враждебную социальную силу. Для них мобилизация в таких масштабах почти означала вооружение противника. Она должна была «окрестьянивать» армию и покончить с преобладанием рабочего класса внутри неё — существенное отступление от партийных принципов. Но сама революция отступала, красные стояли на грани поражения. Если они хотели выжить, иного выхода, кроме мобилизации крестьянства, не было.

Поначалу, впрочем, большинство призывников продолжали брать из городов. Из пятнадцати обязательных мобилизаций, объявленных между июнем и августом, одиннадцать касались только городских рабочих. Сотни заводов закрывались ежемесячно, поэтому с набором рабочих проблем почти не было: только Москва и Петроград дали двести тысяч человек. Местные партийные организации дополнительно отправили сорок тысяч собственных членов. Семён Канатчиков, бывший рабочий-большевик, теперь разъездной комиссар, прибыл в Тулу контролировать отправку коммунистов на Восточный фронт. Оськин считал его «суровым начальником» и опасался, что если отправить лучших товарищей, в Туле некому будет защищать революцию. Это была серьёзная проблема провинциальных партийных организаций. Многие наиболее убеждённые члены гибли в боях, и местные ячейки переходили в руки худших элементов — карьеристов и коррупционеров.[9]

В первых кампаниях, когда Красная армия отчаянно нуждалась в людях, высшим доказательством преданности партии считалась служба на фронте. Большевики всегда культивировали мужественный, военизированный образ. Они носили кожаные куртки — моду военного времени — и все имели оружие.[110] Полмиллиона партийцев прошли через Красную армию в годы гражданской войны. Троцкий, сравнивавший этих бойцов-коммунистов с японскими самураями, следил, чтобы их распределяли по всем частям. Партийцы, если они не становились комиссарами, всё равно должны были идти впереди. Многие сражались с отчаянной храбростью — хотя бы потому, что плен у белых почти наверняка означал пытки. Мужество коммунистических солдат стало частью красной мифологии гражданской войны. Большевистский историк Л. Н. Крицман позднее назовёт этот период «героической эпохой» революции. Именно из этого романтического образа — партии как боевого товарищества, не боящегося наступать и брать любые крепости, — выросли многие основные установки её будущего правления.

Массовая мобилизация крестьянства оставалась крепостью, которую ещё предстояло взять. В 1918 году у Советской власти практически не было военного аппарата в деревне. Лишь немногие волостные Советы имели военные комитеты — военкомы, отвечавшие за набор в Красную армию. Даже там их работа часто блокировалась сельской общиной, у которой одной имелись списки крестьян призывного возраста. Первая хотя бы приблизительно полная военная перепись населения завершилась только в 1919 году; до этого любая мобилизация фактически превращалась в добровольный призыв. Поэтому неудивительно, что из 275 тысяч крестьян, которых рассчитывали получить при первой июньской мобилизации, явились лишь около сорока тысяч.[10]

Причин сопротивления крестьян мобилизации было несколько. Самой очевидной стала первая жатва революции, совпавшая с призывом. Во всех армиях гражданской войны набор и дезертирство крестьян колебались вместе с сельскохозяйственными сезонами. Зимой крестьяне вступали в войска, летом массово разбегались. В центральных

[110] Все члены партии имели право носить оружие. Это считалось знаком товарищеского равенства. Разоружили партийцев только в 1935 году — после убийства Кирова.

земледельческих губерниях еженедельный уровень дезертирства летом мог быть в десять раз выше, чем зимой. По мере роста Красной армии в национальном масштабе бегство становилось ещё массовее: в 1919 году число дезертиров превысило два миллиона, поскольку новобранцы всё сильнее боялись попасть в части, находившиеся далеко от родных хозяйств.[11]

Осенью 1918 года многие сельские общины призывали обе стороны прекратить гражданскую войну переговорами. Некоторые даже провозглашали себя «нейтральными республиками» и создавали отряды, чтобы не пускать армии на «независимую территорию». В деревне было широко распространено чувство, что война длится слишком долго: в 1917 году людям обещали мир, а теперь снова заставляли воевать. Целые губернии — Тамбовская, Рязанская, Тульская, Калужская, Смоленская, Витебская, Псковская, Новгородская, Могилёвская и даже части Московской — охватили крестьянские восстания против мобилизаций Красной армии и её слишком часто принудительных реквизиций продовольствия и лошадей. В ноябре Оськину пришлось подавлять в Тульской губернии одно из крупнейших восстаний. Отряды крестьян, вооружённых боронами, лопатами и топорами, двигались на города, громили и жгли советские военные учреждения. Многие повстанцы были призывниками. Другие потеряли единственную лошадь в пользу армии — катастрофа для любого крестьянского хозяйства. Мобилизованные крестьяне в местных казармах, недовольные тяжёлыми условиями, нередко присоединялись к восстаниям. Тулу окружил отряд примерно в пятьсот человек. Оськин и Канатчиков мобилизовали партийцев и две тысячи заводских рабочих, угрожая уклонистам немедленным расстрелом, а с помощью бригады Красной армии из Москвы оттеснили мятежников обратно по деревням, где последовала серия жестоких репрессий. Оськин спокойно вспоминал: «Мы расстреляли несколько сотен крестьян». Он сам был судьёй и присяжными для вожаков восстания и приговорил десятки к публичному повешению. Таковы были полномочия и обязанности большевистского комиссара.[12]

В первые месяцы 1919 года мобилизация крестьян заметно улучшилась. Свою роль сыграли сельскохозяйственное затишье и растущая угроза наступления белых с Волги и Дона, означавшая

возможную потерю земель, полученных крестьянами в революцию. Но сыграло роль и общее укрепление Советской власти в деревне. С восьмисот тысяч человек в январе Красная армия к концу апреля, в разгар наступления Колчака на Востоке, выросла вдвое. Большинство новых солдат поступало из Поволжья — красного пограничья против Колчака, где крестьянам больше всего было что терять от белой победы.[13]

«Мы решили к весне иметь армию в миллион человек, — заявил Ленин в октябре 1918 года, — теперь нам нужна армия в три миллиона. Мы можем её иметь. И мы её получим!» И получили. В 1919 году Красная армия выросла до трёх миллионов, а к концу следующего года — до пяти. По иронии, армия такого масштаба стала серьёзной обузой для военного потенциала режима. Она росла намного быстрее, чем разрушенная советская экономика могла снабжать её оружием, одеждой, транспортом, топливом, продовольствием и лекарствами. Вместе со снабжением падали мораль и дисциплина. Солдаты дезертировали тысячами, унося оружие и форму; новобранцев приходилось бросать в бой без подготовки, что делало их ещё склоннее к дезертирству. Красная армия попала в порочный круг массовой мобилизации, сбоев снабжения и массового бегства. Это, в свою очередь, привязало всю экономику к драконовской системе военного коммунизма, главной целью которой стало направление всей продукции на нужды армии.

Задним числом можно сказать, что большевикам, возможно, следовало создать меньшую, но лучше дисциплинированную, обученную и снабжаемую армию, которая не лежала бы таким грузом на экономике. Один красный командир в декабре 1918 года говорил Ленину: «В тысячу раз целесообразнее иметь не более миллиона красноармейцев, но сытых, одетых и обутых, чем три миллиона полуголодных, полураздетых и полуобутых». Такая армия, состоящая главным образом из рабочих, была бы боеспособнее крестьянских призывников, едва умевших обращаться с винтовкой и бежавших домой к началу уборки. На практике красные почти не имели шансов против более обученных и дисциплинированных белых, если не превосходили их численно в четыре, а иногда и в десять раз. На одного красноармейца, реально способного сражаться, приходилось восемь человек, которых

нельзя было использовать из-за отсутствия подготовки, одежды, здоровья или боеприпасов.[14] Меньшая армия, создавая меньшую нагрузку на хозяйство, не потребовала бы столь крайних мер — насильственных реквизиций, трудовой повинности, милитаризации заводов, — которые так сильно отчуждали крестьян и рабочих от Советской власти. Но такие рассуждения доступны историкам задним числом: когда Ленин в панике призывал к массовой армии, режим казался стоящим на грани поражения, и понятно, почему он предпочёл безопасность численности.

Наблюдая парад на Красной площади в первую годовщину Октябрьской революции, Ленин был потрясён лоскутным видом войск. «Посмотрите на них, — воскликнул он, — идут как мешки с песком». В большинстве частей не существовало стандартной формы, солдаты носили всё, что попадалось. Многие были одеты в форму, снятую с пленных белых — те, в свою очередь, часто носили излишки британской армии. Кожаные сапоги имели главным образом командиры, комиссары и кавалеристы. Крестьянская пехота ходила в грубых лаптях, изготовленных в деревнях. Но не хватало даже лаптей: бывало, целые полки нельзя было вывести из казарм из-за отсутствия обуви. Не лучше обстояло дело и с оружием. Главной проблемой были патроны: армия расходовала от семидесяти до девяноста миллионов в месяц, тогда как основной Тульский арсенал выпускал лишь около двадцати миллионов. «Бывали периоды, — вспоминал Троцкий, — когда считался каждый патрон солдата и задержка специального поезда с боеприпасами приводила к отступлению целых дивизий».[15]

«Товарищи! — раздражённо предупреждал Троцкий армейское совещание в 1919 году. — Пусть нас не свалили Деникин или Колчак, нас ещё могут свалить шинели или сапоги». В действительности Красную армию едва не свалили — буквально — болезни. От заболеваний во время гражданской войны погибло больше солдат, чем в боях. Главными убийцами были сыпной тиф, грипп, оспа, холера, брюшной тиф и венерические болезни; ещё больше людей страдали от вшей, желудочных инфекций, дизентерии и зубной боли. В обычный день в обычной части 10–15 процентов личного состава были слишком больны, чтобы воевать, и их приходилось оставлять на произвол судьбы в тылу. Некоторые соединения теряли из-за болезни до 80 процентов

боеспособности. Особенно тяжёлым был 1920 год, когда сыпным тифом заболело около 30 процентов всей Красной армии — более миллиона человек. Корнем проблемы были антисанитарные условия армейской жизни: неделями не видели ни мыла, ни бани. Но положение усугублялось хронической нехваткой врачей, сестёр, спирта, бинтов и лекарств. Быстрые перемещения фронтов туда и обратно, характерные для гражданской войны, мешали создавать нормальные полевые госпитали и организовывать эвакуацию. Поэтому больных и раненых невозможно было ни нормально лечить на передовой, ни легко вывезти в тыл. Их мучения можно только представить. Сам Троцкий, объезжая Южный фронт в июне 1919 года, был потрясён обращением с ранеными:

> На станцию Лиски прибывали эшелоны с ранеными в ужасном состоянии. В вагонах не было подстилки. Многие раненые и больные лежали без одежды, лишь в давно не менявшемся белье; многие были заразными. Не было ни медицинского персонала, ни сестёр, ни вообще ответственных за поезда. Один состав с более чем четырьмя сотнями раненых и больных красноармейцев простоял на станции с раннего утра до вечера, и людям не дали ничего поесть. Трудно представить себе что-либо более преступное и позорное![16]

В таких адских условиях невозможно было ждать от солдат святого поведения. Пьянство, драки и грабёж были самыми распространёнными — и одновременно наименее серьёзными — нарушениями дисциплины. Ежедневно поступали донесения о неподчинении приказам; отказах принимать пополнение из-за дополнительной нагрузки на снабжение; требованиях отпуска и улучшения условий; угрозах расправиться с командирами или настоящих самосудах. Полномасштабные мятежи не были редкостью и заканчивались захватом штабов фронта, арестом или убийством командования и выборами новых начальников. Возвращался хаос 1917 года. Большая часть насилия направлялась против хорошо одетых офицеров и комиссаров, особенно если их подозревали в коррупции при распределении снабжения. Революционный оттенок придавало то, что офицеров часто считали «буржуями», а этнический — то, что среди комиссаров было много евреев. Хотя антисемитизм в Красной армии был заметно слабее, чем у белых или украинских националистов, проблема существовала. Можно лишь гадать, что чувствовал Троцкий, читая донесения о погромах, устроенных

собственными солдатами в еврейских местечках Украины, где он вырос и где ещё жили его родственники.[17]

Самым простым выходом из солдатских бед было дезертирство. В 1918 году из Красной армии бежало свыше миллиона человек, к 1921-му — почти четыре миллиона. Троцкий называл поражения красных 1919 года — весной на Востоке и летом на Юге — «кризисом пополнений», и именно этим они во многом были. Армия теряла дезертиров быстрее, чем могла заменять их подготовленными и оснащёнными бойцами; по мере падения качества пополнений росло и дезертирство.

В отчаянной попытке остановить поток крестьян-беглецов комиссары не останавливались ни перед чем. В деревни за фронтом направлялись карательные отряды, которые наказывали хозяйства, подозревавшиеся в укрывательстве дезертиров. Налагались штрафы, отбирались скот и имущество, брались заложники, расстреливались сельские вожаки, целые деревни сжигались, чтобы вынудить беглецов вернуться. Оськин, стремясь не уступить в усердии, даже создал специальную бригаду китайских коммунистов для борьбы с тульскими дезертирами. Он считал, что китайцы будут «беспощаднее» «мягкосердечных русских» при наказании деревень. Такие меры редко давали эффект и часто лишь усиливали сопротивление не только беглецов, но и всего местного крестьянства, уже ожесточённого реквизициями и мобилизациями красных. Некоторые дезертиры создавали партизанские отряды. Их называли зелёными отчасти потому, что они скрывались в лесах и снабжались местными крестьянами; иногда сами крестьянские армии брали название «зелёных», чтобы отличить себя и от красных, и от белых. У них появилась собственная зелёная пропаганда и идеология, основанная на защите местной крестьянской революции. Весной 1919 года практически весь тыл Красной армии и на Восточном, и на Южном фронте был охвачен зелёными армиями. В Тамбовской, Воронежской, Саратовской, Пензенской, Тульской, Орловской, Нижегородской, Калужской, Тверской и Рязанской губерниях крестьянские банды, иногда в несколько тысяч человек, разрушали железные дороги, телеграфы и мосты, громили советские военные склады и устраивали засады на проходящие части Красной армии. Разрушения и хаос, созданные

зелёными, сыграли важную роль в ослаблении красного фронта в критический момент и помогли прорыву белых.[18]

* * *

Может показаться странным, что крестьянский парень вроде Оськина столь беспощадно подавлял крестьян родной губернии. Но это было совершенно не исключение. Красная армия была полна крестьянских унтер-офицеров и комиссаров вроде него. Она становилась их «школой коммунизма», превращавшей крестьян в товарищей, и важной частью обучения было умение применять насилие против «своих». В этом не было ничего нового. Военная служба всегда служила для крестьянства каналом социальной мобильности и психологического преобразования. Армия расширяет горизонт крестьянина, знакомит с новой техникой и организацией и часто учит читать и писать. Опыт Первой мировой войны в России был в этом отношении революционным. Большинство крестьян, призванных в армию, подобно Оськину, учились во время бурного роста сельской школы между 1900 и 1914 годами. Три из четырёх крестьянских новобранцев 1914 года числились грамотными. Из них возник огромный резерв новой прослойки офицеров и военных техников, заменявшей старую элиту по мере её уничтожения в войне с Центральными державами. Шесть из десяти курсантов офицерских школ 1914–1917 годов происходили из крестьянских семей.[19] Это были радикальные прапорщики, «оськины» 1917 года, которые возглавили революцию в армии и избирались в солдатские комитеты. Обучив их, старый режим посеял семена собственного разрушения.

Одновременно он создал рядовых нового режима. Поднявшись так высоко по военной лестнице, крестьянским сыновьям трудно было после войны возвращаться к унылой рутине деревни. Новые навыки и престиж, не говоря уже о выросшем самоуважении, заставляли их стремиться к чему-то большему. Для Оськина, как и для многих крестьян его военного поколения, это означало службу новому режиму. Вступление в партию давало желанный выход из тесного сельского мира отцов и дедов — старой России икон и тараканов. Оно открывало дорогу в новый, городской мир правящей элиты. Большая часть советской бюрократии, провинциальных комиссаров и «товарищей» 1920-х годов

происходила именно из этих крестьянских сыновей; для многих из них, как и для Оськина, Красная армия стала дорогой к славе.

Большевики быстро поняли потенциал Красной армии как школы будущих бюрократов. Уже с апреля 1918 года во всех частях вводились обязательные занятия чтением, письмом и арифметикой. В казармах и биваках Красной армии за первые годы Советской власти научилось читать больше людей, чем во всей остальной стране вместе взятой. К концу 1920 года существовало три тысячи красноармейских школ и более двух миллионов книг. На первой эмблеме Красной армии серп и молот изображались рядом с винтовкой и книгой.[20]

Большая часть обучения неизбежно была грубейшей политической индоктринацией. Здесь соединялись старые социалистические и интеллигентские идеалы массового просвещения с доктринальными требованиями большевистского режима. Буквари и учебники наполнялись сценами повседневной жизни, знакомыми крестьянам, из которых затем выводились моральные и политические уроки. Это были настоящие азбуки коммунизма. Дора Элькина вспоминала, как написала первый советский букварь. В 1919 году её отправили на Южный фронт учить солдат читать и писать. Раздобыв старые школьные учебники, она написала на доске первую фразу: «Маша ела кашу». Солдаты лишь расхохотались и стали выкрикивать насмешки. Почти расплакавшись, Элькина вдруг догадалась превратить урок в политическую беседу: объяснила солдатам, почему они не могут вернуться домой к своим Машам и почему в стране не хватает каши. Затем она повернулась к доске… …доске и написала: «Мы не рабы, рабы не мы!» Фраза имела огромный успех среди солдат, для которых мысль о том, что они больше не рабы, всегда была важнейшей частью революции. Это простое выражение человеческого достоинства впоследствии стало знаменитой первой строкой её букваря. Его использовали в начальной школе в 1920–1930-е годы. Для миллионов русских, многие из которых ещё живы, это была первая фраза, которую они научились читать.[21]

Поэт Маяковский тоже написал и проиллюстрировал один из нескольких букварей, изданных Наркомпросом в годы гражданской войны. Он явно вырос из традиции лубка — простых картинок с рассказом, продававшихся миллионами экземпляров в XIX веке, — и представлял собой блестящий образец народной сатиры, с озорными

рифмованными двустишиями в стиле крестьянской частушки и грубоватым иконоборческим юмором, который должен был понравиться солдатам в окопах:

Б

Большевики буржуев ловят — Буржуй бежит во весь опор.

К

Корове бегать нелегко, Керенский был премьер-министром.

М

Меньшевики — такие люди, Что к маме убегают.

Ц

Цветы под вечер сладко пахнут, Царь Николай их очень любил.[22]

Красная армия была главным полем большевистской пропаганды в гражданской войне. Её задача заключалась в том, чтобы обучить солдат принципам большевизма — превратить их из крестьян в пролетариев. «Главная цель нашей пропаганды в Красной армии, — заявлял один из её пионеров, — бороться с мелкобуржуазной, собственнической психологией крестьянина и превращать его в сознательного революционного бойца».[23] Существовали армейские читальни и дискуссионные кружки, где разбирали свежие газеты; вечерние концерты и лекции, на которых выступали большевистские деятели; агитационные поезда, снабжённые библиотеками, типографиями и даже киноустановками, ездившие по фронтам; красноармейские театральные группы, развлекавшие войска кабаре и пьесами, призванными объяснять смысл Советской власти и изображать зло её врагов.

За годы гражданской войны в большевистскую партию вступило около полумиллиона красноармейцев. Они стали миссионерами революции. Они несли большевизм, его идеи и методы обратно в свои города и деревни, а в начале 1920-х массово вливались в советские учреждения. Таким образом, весь советский аппарат постепенно милитаризовался. Определённые фронты и армии словно «колонизировали» определённые комиссариаты. Партийные группировки формировались на основе связей ветеранов гражданской войны. Красная армия в целом, с её централизованным командованием, стала моделью для советского аппарата. Троцкий часто сравнивал эти две системы, уподобляя необходимость дисциплины в промышленности и обществе необходимости дисциплины в армейском строю. Успехи

Красной армии всё чаще приводили к переносу военных методов на весь советский порядок. Ничто не сформировало управленческие установки большевиков сильнее, чем опыт гражданской войны. Образ и самоощущение Советского режима строились на мифе о новом порядке, рождённом вооружённой борьбой против старого. И, подобно франкистской Испании, этот культ гражданской войны стал важнейшим пропагандистским мифом сталинского режима, постоянно требовавшего от советских людей той же героической стойкости, дисциплины и самопожертвования, которые они якобы проявили в годы гражданской войны. Даже язык режима, с его бесконечными «кампаниями», «битвами» и «фронтами», «авангардом» и «бойцами» за социализм, нес на себе отпечаток этой милитаризации. Большевизм, вышедший из гражданской войны, видел себя братством вооружённых товарищей-крестоносцев, покоряющих Россию и мир с красным карандашом в одной руке и револьвером в другой.

ii. «Кулаки», мешочники и зажигалки

В январе 1920 года Эмма Гольдман вернулась в Петроград, который знала подростком в 1880-е годы. Более тридцати лет, пока анархистка жила в Соединённых Штатах, в её памяти сохранялись «веселье города, его живость и блеск». Но Петроград 1920 года оказался совсем другим:

> Он лежал почти в руинах, словно над ним пронёсся ураган. Дома походили на разрушенные старые гробницы на заброшенных и забытых кладбищах. Улицы были грязны и пустынны; жизнь из них исчезла. До войны население Петрограда приближалось к двум миллионам, в 1920 году оно сократилось до пятисот тысяч. Люди ходили словно живые трупы; нехватка еды и топлива медленно высасывала жизнь из города; мрачная смерть сжимала его сердце. Исхудавшие и обмороженные мужчины, женщины и дети были гонимы одним и тем же бичом — поиском куска хлеба или полена. Днём это разрывало сердце, ночью давило невыносимой тяжестью. Полная тишина огромного города парализовала. Меня преследовало это страшное гнетущее безмолвие, нарушаемое лишь редкими выстрелами.[24]

Крупные северные города стали главными жертвами революции и гражданской войны. На них пришлась большая часть физического разрушения, и они превратились почти в города-призраки. Петроград

пострадал особенно сильно: перенос столицы в Москву словно лишил его жизни. Горький, до конца остававшийся петербуржцем, видел в упадке города знак падения России из цивилизации, её спуска из Европы в Азию. «Петроград умирает как город, — писал он Екатерине в 1918 году. — Все его покидают — пешком, на лошадях, поездом. На улицах лежат мёртвые лошади. Их едят собаки. Город невероятно грязен. Мойка и Фонтанка забиты мусором. Это смерть России».[25] Замятин в рассказе «Пещера» (1922) изобразил Петроград гражданской войны как поселение ледникового периода, населённое троглодитами, поклоняющимися своему «пещерному богу» — примусу, и сжигающими книги, чтобы выжить. Герой рассказа, Мартин Мартиныч, любитель опуса 74 Скрябина, вынужден воровать у соседа дрова.

Жителям, пережившим эти годы в городе, действительно должно было казаться, будто русская городская жизнь возвращается к доисторическому состоянию. Когда-то оживлённые центры погружались в жуткую тишину. Магазины и рестораны были забиты досками; фабрики стояли. Движение почти исчезло, и в пустых улицах начинала расти трава. «Петроград превращается в кладбище, — записал весной 1919 года в дневнике престарелый профессор и либеральный деятель Василий Водовозов. — Зато воздух чист, как на сельском погосте». Лошади исчезли с городских улиц: хозяева больше не могли их кормить. Потом они появлялись уже в виде дурно пахнущего мяса в супах и гуляшах. «Колбаса гражданской войны» была эвфемизмом для конины — а иногда и для чего-то похуже, ведь исчезали не только лошади: голод уничтожил городские популяции собак, кошек и птиц, а также животных в зоопарках. Одной из характерных картин этих лет были исхудавшие дети, тянувшие телеги и извозчичьи экипажи вместо лошадей. Даже Кремль не мог прокормить своих коней — двадцать умерли от голода, — и чиновникам приходилось ездить на частных извозчиках.[26]

Крысы и тараканы были, пожалуй, единственными видами, которые процветали. Разрушение жилья и санитарной системы создало идеальные условия для паразитов. Деревянные заборы исчезали: люди разбирали их на дрова. Заброшенный трёхэтажный дом за пару ночей могли разобрать до кирпичного основания. Только в Петрограде за 1919–1920 годы было разобрано около трёх тысяч деревянных домов.

Люди уносили оконные рамы, половицы, двери и стеновые панели. Исчезали целые городские массивы деревьев — их рубили на топливо. В украинском Николаеве центральные бульвары лишились всех деревьев за два дня января 1920 года между уходом белых и приходом красных. В ледяные зимы гражданской войны самым ценным подарком другу становилось полено. За него буквально готовы были убивать. Люди сжигали собственную мебель, книги и письма, лишь бы отогнать холод.[27]

Санитарные условия в городах почти невозможно описать. В сильные морозы лопались водопроводные трубы. Воду приходилось набирать в уличных колонках, а дворы использовать как уборные. Лестницы многоквартирных домов неизменно пахли мочой. Электричество давали всего на два-три часа вечером, и люди делали самодельную фитильную лампу из бутылки, наполненной жиром. Её называли «недышалкой», потому что она наполняла комнату едким дымом, раздражавшим горло и лёгкие и покрывавшим стены копотью. По словам современника, эта примитивная лампа «делала темноту видимой, но не позволяла читать, писать или даже много двигаться», потому что «гасла от малейшего дуновения». Нормальной системы вывоза мусора не было из-за нехватки лошадей. Отходы выбрасывали прямо на улицы и площади, куда быстро стекались паразиты. Болезни распространялись как эпидемии: холера, сыпной тиф, дизентерия и грипп ежегодно уносили тысячи жизней. В 1919 году смертность в Петрограде оценивалась примерно в восемьдесят на тысячу. Морги и кладбища не справлялись, тела месяцами лежали в ожидании похорон.[28]

В центре городского кризиса лежала пища — точнее, её отсутствие. «В Петрограде начался голод, — писал Горький в июне 1918 года. — Почти ежедневно на улицах подбирают людей, упавших от истощения». Подвоз продуктов рухнул. Пекарни закрывались. Даже в Саратове, прямо посреди богатейшего хлебного района страны, длинные очереди за хлебом выстраивались до пяти утра, за два часа до открытия лавок. Средний рабочий потреблял менее двух тысяч калорий в день — меньше половины рекомендуемой нормы. В сравнении с довоенными годами, которые и без того не были золотым веком, он ел вдвое меньше хлеба и в три раза меньше мяса. Цены на продукты взлетели, а зарплата за ними не поспевала. В 1918 году реальная стоимость средней рабочей зарплаты

составляла 24 процента от уровня 1913-го; к концу 1919-го — лишь около 2 процентов. Исследования показывали, что рабочий тратил на пищу три четверти дохода против менее половины до войны. Но те же исследования обнаруживали, что официальная зарплата составляла лишь половину реального дохода рабочего. Иными словами, рабочие массы были вынуждены кормить себя через неформальную, чёрную экономику. Этель Сноуден, приехавшая в Москву в 1920 году в составе делегации британских тред-юнионов и Лейбористской партии, спросила гида на фабрике, сколько получает обычный рабочий. Услышав сумму и то, что её хватает семье лишь на три дня, она наивно воскликнула: «О! Как же умны и бережливы рабочие, если умудряются жить без еды остальные двадцать семь дней месяца. Как им это удаётся?» Ответ был прост: они торговали на стороне. Продавали вещи на барахолках; ездили в деревню меняться с крестьянами; отправляли детей на улицу просить милостыню; а жён и дочерей — продавать себя. В 1918 году на улицах Петрограда было по меньшей мере тридцать тысяч проституток, большинство — девочки-подростки. Многие происходили из «приличных семей». Исследование начала 1920-х показало, что 42 процента московских проституток были из дворянских или буржуазных семей, разорённых революцией. Эмма Гольдман видела на Невском «милых молодых девушек, продававших себя за буханку хлеба, кусок мыла или шоколад».[29]

Для так называемых «бывших людей», лишённых работы и государственного пайка, ежедневная охота за пищей разрушала душу. Вчерашние аристократические вельможи продавали на улицах последние драгоценности и фамильные вещи. Толстые классы худели. На вопрос «Как дела?» шутили: «Могло быть хуже. По крайней мере, худею». Даже Брусиловы часто голодали, несмотря на регулярные подарки масла, молока, мёда и сметаны, которые присылали верные крестьяне-ветераны войны. В 1919 году Брусилов согласился работать в архивном отделе штаба Красной армии, руководя подготовкой материалов об участии России в Великой войне. Жалованье в 3500 рублей в месяц едва позволяло существовать. «Больно было видеть, как они жили, — вспоминал близкий друг семьи. — Главным блюдом на обед была одна тарелка, обычно только картошка».[30]

Горький взял на себя защиту голодающей интеллигенции. В редакционных статьях «Новой жизни» он рассказывал о её отчаянном положении. Профессор Гезехус, знаменитый физик, семидесятидвухлетний старик, лежал в больнице, «раздутый от голода», словно жертва африканского голода. Земский врач Вера Петрова «умирала от голода, беспомощная, грязная, в пыльной ужасной комнате». Знаменитый композитор Глазунов стал «худым и бледным» и жил со старой матерью в двух неотапливаемых комнатах в Петрограде. Когда к нему приехал Герберт Уэллс, Глазунов просил прислать бумагу, чтобы записывать музыку. Даже Павлов, единственный русский нобелевский лауреат-учёный, вынужден был тратить время на выращивание моркови и картофеля. Горький постоянно просил большевистских руководителей выделить голодающим гениям специальные пайки, лучшие квартиры и прочее необходимое. Ленин удовлетворял большинство просьб: он всегда сохранял особую привязанность к Горькому и, возможно ещё важнее, хорошо понимал его влияние за границей. Горький использовал это, чтобы спасти как можно больше старой русской культуры, превратившись в её самоназначенного хранителя — иногда, впрочем, пользуясь положением, чтобы самому дёшево покупать произведения искусства. Угроза культуре со стороны революции была постоянной темой Горького. Утром большевистского переворота его колонка в «Новой жизни» вышла под заголовком «КУЛЬТУРА В ОПАСНОСТИ!». Он устроил убежище для писателей в бывшем доме Елисеева, богатого купца, на углу Невского и Большой Морской. Ночью остроугольное здание напоминало корабль и получило прозвище «корабль дураков». Позднее Горький создал и Дом искусств. Кроме того, он основал собственное издательство «Всемирная литература», выпускавшее дешёвые массовые издания классиков. В его конторах сотни писателей, журналистов, учёных, музыкантов и художников работали переводчиками и редакторами — иначе им пришлось бы выживать в одиночку. Горький видел в издательстве скорее благотворительность, чем бизнес. И действительно, многие крупнейшие имена литературы XX века — Замятин, Гумилёв, Бабель, Чуковский, Ходасевич, Мандельштам, Шкловский, Пяст, Блок и Зощенко — в значительной степени пережили голодные годы благодаря его покровительству.

Позднее многие осуждали Горького за близость к большевикам, но без его связей сами могли не пережить гражданскую войну.[31]

Огромную квартиру на Кронверкском проспекте Горький превратил в приют для нищих и преследуемых жертв гражданской войны. По сравнению с холодом и сыростью, в которых жило большинство населения, это был почти рай. Виктор Серж вспоминал, что там было «тепло как в оранжерее». Горький собирал всевозможных «жён» и «сестёр», «дочерей» и «братьев» — всех в каком-то смысле жертв террора — и разрешал им жить у себя. Людей приходило так много — сначала просто выпить чаю и поговорить, но каким-то образом они оставались на несколько лет, — что пришлось пробить стену между квартирой Горького и соседней и соединить их. Его любовница Мура Будберг, тогда ещё баронесса Бенкендорф, жила в одной комнате и готовила большую часть еды вместе с подругой художника Татлина, обитавшей в другой. За обеденным столом постоянно собиралась удивительная и пёстрая компания. Знаменитые писатели и художники сидели рядом с рабочими и матросами, которых Горький подбирал на улице. Герберт Уэллс жил здесь во время поездки в Россию в 1920 году. Шаляпин часто бывал в гостях и неизменно ругал большевиков; но сюда же приходили большевистские лидеры Луначарский и Красин, а также заместитель начальника Петроградской ЧК Глеб Бокий, который, вероятно, встречал за этим столом многих своих будущих жертв. Жил здесь даже бывший великий князь Гавриил Константинович Романов вместе с бывшей великой княгиней и их собакой. Горький сжалился над ними и вытащил из тюрьмы ЧК после того, как Гавриил заболел. Пара обитала на верхнем этаже, в комнате, заполненной старинной мебелью и буддийскими статуями, и почти никогда не выходила, опасаясь ареста. За столом они сидели в надменном молчании. Как позднее писал бывший великий князь, среди гостей Горького были люди, «которые радовались нашим несчастьям», и «нам было неприятно общаться с таким обществом».[32]

Очень скоро распространился слух, что Горький может помочь кому угодно, и его завалили просительными письмами. Один профессор просил достать особые очки. Поэтесса умоляла выделить молочную пайку для ребёнка. Провинциальному врачу требовалось новое помещение, поскольку старое реквизировал Совет. Вдова просила

железнодорожный билет, чтобы вернуться к семье в деревню. Один старик даже написал с просьбой о вставных зубах. Многие хотели, чтобы Горький помог освободить родственников из тюрем ЧК — и он действительно вмешивался за многих. Но некоторые просили невозможного. Один человек, например, спрашивал, что Горький собирается делать с тем, что его ограбили. А заключённый интересовался, не будет ли амнистии к пятидесятилетию Горького и нельзя ли в таком случае освободить именно его.[33] Подобно Распутину, Горький превратился в своего рода *maître des requêtes* для всех, кто был слишком бессилен, чтобы проникнуть в государственные кабинеты.

* * *

Городской продовольственный кризис был прежде всего кризисом распределения и обмена, а не производства. Железнодорожная система практически рухнула — в основном из-за общего хозяйственного кризиса и хронической нехватки топлива — и не могла перевозить продовольствие в города. Железнодорожные депо превратились в кладбища сломанных паровозов. Более половины подвижного состава нуждалось в ремонте, а мастерские были полностью запущены. Главной проблемой были запчасти. В одной ремонтной мастерской, например, выяснилось, что рабочие разбирают один паровоз, чтобы починить другой, так что на каждую восстановленную машину приходилось несколько ещё сильнее разукомплектованных. Железные дороги окончательно погружались в хаос из-за огромных толп голодных горожан, солдат и беженцев из зон боёв, штурмовавших каждый поезд в деревню, где они надеялись поселиться или купить дешёвую пищу. Железнодорожников легко подкупали, грузовые составы массово разворовывались или перенаправлялись. Вагоны с продовольствием, уходившие из деревни полными, прибывали в Петроград и Москву пустыми.[34]

Но настоящий корень городского кризиса заключался в нежелании крестьян продавать продукты за бумажные деньги. В условиях краха промышленного производства и огромной инфляции за рублёвые состояния, предлагаемые за хлеб, можно было купить всё меньше. Попытки государства закупать продукты по фиксированным ценам — ещё с 1916 года — только поощряли крестьян уходить с рынка. Они

сокращали производство, переходили на культуры, не контролируемые государством, или прятали излишки от заготовителей. Многие скармливали зерно скоту, продавали его чернорыночным торговцам из городов или перегоняли в водку.

Кустарные промыслы переживали настоящий бум, почти не заметный статистике: крестьяне пытались сами производить всё то, что раньше покупали в городе, но что теперь стало недоступным или слишком дорогим. Сельские ремесленники мастерили простые плуги и серпы из старого металлолома. Лён и коноплю выращивали на одежду и верёвки; лес рубили на колёса и мебель; камыш собирали для корзин; глину копали для посуды; масличные культуры выращивали на топливо. Старые сельские промыслы, вытесненные паровой эпохой, возрождались. Деревенская Россия медленно возвращалась к средневековым методам, когда, по словам одного чиновника,

> Русь не имела ни железных дорог, ни пароходов, ни паровых мельниц, ни фабрик, ни прочих «европейских изобретений», когда кустари кормили, одевали и обогревали всю Россию, обували её, когда всё делалось ими в крошечном масштабе и очень грубо — ручным зубилом вместо станка, топором вместо пилы.[35]

Иными словами, деревня становилась более архаичной и более самодостаточной. Она училась жить без городов и в целом неплохо обходилась без них. Правда, весной 1918 года в некоторых районах сами крестьяне голодали — особенно на Севере, всегда зависевшем от ввоза зерна. Большевистское утверждение, будто любой крестьянин, прятавший хлеб, являлся «кулаком», то есть капиталистом, было бессмыслицей: многие запасались, чтобы не умереть зимой. Урожай 1917 года оказался небольшим, а после получения помещичьей земли требовалось засеять дополнительные площади, так что у многих крестьян вообще не было излишков. В Тверской губернии, например, люди ели «лепёшки из льняного жмыха и соломы». Даже образцовый крестьянин Семёнов писал другу в апреле 1918 года, что ему «не хватает хлеба ни себе, ни скоту». Как и тысячи других сельских общин, Семёнов и его односельчане из Андреевского вынуждены были организовать экспедицию на плодородный Юг, чтобы купить и привезти зерно.[36]

Тем же занимались и горожане. Миллионы бежали из голодных городов и пытались поселиться в деревне, поближе к источникам пищи.

Великие промышленные города Севера потеряли половину населения, когда Россия стала возвращаться к сельскому прошлому. «Город в опасности!» — объявлял Виктор Серж. Между 1918 и 1920 годами Петроград лишился почти трёх четвертей населения. Население Москвы сократилось более чем наполовину. Вокзалы захлёбывались от толп, штурмовавших поезда в деревню. Люди ехали на крышах вагонов, цеплялись за окна и тормозные площадки, рискуя жизнью. Один поезд вышел из Петрограда настолько переполненным, что на мосту перевернулся и рухнул в Неву; погибли сотни пассажиров.[37]

Дворянство бежало в остатки своих имений. Таня Кузминская, свояченица Толстого, уехала из Петрограда в Ясную Поляну. Племянница помогала ей по дороге, уговаривая проводников найти место: «Это же Наташа Ростова из “Войны и мира”!», — но охранников это не трогало. Лишь благодаря группе комиссаров хрупкой старухе в мехах наконец дали деревянный ящик в товарном вагоне. Другие дворяне, не имевшие имений, всё равно пытали счастья в деревне. Брусиловы по приглашению крестьян уехали в село к северу от Москвы. Марина Цветаева поселилась в глуши Тамбовской губернии, где меняла последние вещи на свиной жир, тыквы и картофель. Графиня Мещерская, потомок русской аристократии, вместе с дочерью отправилась в сонный городок Рублёв, где они работали на кухне при водяной мельнице и жили в рабочем общежитии. От всего наследства — когда-то включавшего три огромных имения, два дворца и знаменитого Боттичелли — у неё остался лишь фарфоровый чайник в стиле рококо, который она подарила рабочей чайной.[38]

Но основную массу бегущих из голодных городов составляли рабочие. Многие потеряли работу из-за промышленного кризиса 1917–1918 годов. Точной цифры никто не знает, но к весне 1918 года безработных рабочих, вероятно, было около миллиона. Сильнее всего пострадала военная промышленность, особенно производство боеприпасов и химия — в общей сложности там исчезло около полумиллиона рабочих мест. Металлургические заводы Петрограда были особенно опустошены топливным кризисом, демобилизацией и эвакуацией столицы. Число занятых на них за первые шесть месяцев 1918 года сократилось с четверти миллиона до едва пятидесяти тысяч. Для большевиков это была катастрофа. Их некогда могучие оплоты —

заводы «Новый Лесснер» и Эриксон, на каждом из которых осенью 1917 года работало свыше семи тысяч человек, — к следующей весне имели вместе лишь около двухсот рабочих. За первые шесть месяцев большевистского режима численность партии в Петрограде сократилась с пятидесяти тысяч до тринадцати. По выражению Шляпникова, большевистская партия превращалась в «авангард несуществующего класса».[39]

По утверждению большевиков и их историков, города покидали главным образом квалифицированные и «классово сознательные» рабочие. Таким образом, депопуляция якобы сопровождалась «деклассированием» — неприятным марксистским термином для распада рабочего класса. Советской историографии было важно утверждать именно это, поскольку тогда нарастающую с весны 1918 года волну рабочих забастовок и протестов можно было объяснять действиями «отсталых» или «мелкобуржуазных» элементов, подстрекаемых меньшевиками и эсерами. Куда неприятнее было бы признать, что те самые рабочие, которые помогли большевикам прийти к власти в октябре, уже через полгода требовали их свержения. Но именно это примерно и произошло. Чаще всего в деревню уходили рабочие, приехавшие в города последними, особенно женщины, прибывшие во время военного промышленного бума, и потому сохранявшие самые тесные связи с родными сёлами. Это были неквалифицированные и полусельские рабочие — именно их работодатели увольняли первыми. В городах, напротив, оставались наиболее квалифицированные и пролетаризированные, то есть уроженцы городов без прочных связей с деревней. Именно они и возглавили забастовки и протесты против большевиков в 1918 году.

Перспектива получить долю общинной земли или открыть в деревне какое-нибудь ремесло обычно была достаточным стимулом, чтобы полусельский рабочий вернулся домой. В докладе Брянского металлургического завода за 1920 год говорилось: «Все рабочие, связанные с деревней, хотят оставить завод и поселиться там». Обычно крестьяне охотно принимали тех, у кого были родственники в селе или полезная профессия — например, плотника или кузнеца; но крайне редко соглашались дать землю или пищу тем, у кого не было ни того ни другого. Такие переселенцы могли существовать только случайными

заработками, и их положение часто становилось отчаянным. Один мемуарист из Тамбовской губернии вспоминал рабочих и их семьи, которые «после жатвы ржи ходили по полям и собирали упавшие колосья».[40]

Но большевикам приходилось бороться не только с бегством рабочих. Промышленность и транспорт погружались в хаос из-за бесконечных поездок горожан в деревню и обратно за продуктами. Миллионы жителей городов всех классов зависели от этой мелкой торговли — «мешочничества», как её называли. Они уезжали из города с мешками одежды и домашних вещей на продажу или обмен и возвращались с мешками еды. Железные дороги были парализованы армиями мешочников. Через станцию Орёл, важный узел на южном направлении, ежедневно проходило около трёх тысяч таких людей. Многие путешествовали вооружёнными группами и захватывали поезда, оставляя местные власти бессильными. Самые популярные направления — Тамбовская, Курская, Казанская, Симбирская и Саратовская губернии — ежемесячно принимали примерно по сто тысяч мешочников.[41]

Для голодных северных городов эта примитивная торговля стала универсальным средством выживания. Практически всем пришлось становиться торговцами по совместительству — рабочим, чиновникам, даже коммунистам. Это была естественная и стихийная реакция на хозяйственный кризис и распад рынка между городом и деревней. Но промышленность от этого погружалась в хаос. Почти все рабочие так или иначе участвовали в мешочничестве. Многие ехали в деревню с инструментами, топливом и металлоломом, украденными с собственных заводов. Другие изготавливали на предприятиях примитивные товары для обмена с крестьянами. Самыми популярными были примусы, перочинные ножи и зажигалки. Но из транспортерных лент делали подошвы; из обрезков труб — подсвечники; из железных полос — топоры и плуги. Всё явление получило название «зажигалочничество» — одно из самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка. Нередко фабричные комитеты официально разрешали такие инициативы или по крайней мере закрывали на них глаза. Многие комитеты давали свой анархический вариант толкования Декрету о рабочем контроле: будто

рабочие имеют право делить между собой продукты собственного труда — а если продукции нет, то и имущество завода, — подобно тому как крестьяне поделили землю. Промышленность почти останавливалась, потому что большую часть времени рабочие изготавливали чёрно-рыночные товары и ездили в деревню менять их на еду. В обычный день на обычной фабрике отсутствовало около 30 процентов рабочих. На некоторых металлургических предприятиях неявка достигала 80 процентов.[42]

В первые неустойчивые месяцы власти большевики почти ничего не могли сделать против мешочничества. Любые ограничения рабочие обходили, поскольку от этой торговли зависело их выживание. Право ездить в деревню за продовольствием стало одним из главных требований рабочих забастовок и протестов весной 1918 года. Многие фабрики, а также некоторые районные и городские Советы сами организовывали такой обмен коллективно. Без какой-либо торговли промышленность пришлось бы остановить полностью. Завод или Совет заключал соглашение с деревней или сельским Советом об обмене определённого количества фабричных изделий на соответствующий объём продовольствия. Затем отправлялась рабочая бригада, чтобы совершить обмен. Как ни старались большевики, они были бессильны остановить этот коллективный бартер. Один комиссар в Самарской губернии жаловался, что бороться с мешочниками бесполезно, «поскольку все они путешествуют с паспортами своих Советов». На местах денежные цены начали заменяться натуральными курсами. В Калужской губернии, например, аршин ткани стоил фунт масла или два фунта гороха; фунт мыла — два фунта проса; пара сапог — фунт картофеля. Мука стала золотым стандартом этой средневековой системы: за фунт можно было получить тридцать фунтов керосина, три фунта табака или зимнее пальто.[43]

В этой местной торговле важную роль играла кооперация, часто сама устанавливавшая условия обмена. Кооперативы процветали ещё во время войны как один из главных каналов торговли между городом и деревней. К 1918 году они утверждали, что обслуживают сто миллионов потребителей — около 70 процентов населения.[44] Заводы, профсоюзы, профессиональные группы и объединения жильцов создавали городские кооперативы для закупки товаров. Крестьяне вступали в кооперацию,

чтобы продавать свою продукцию и получать взамен нужные промышленные изделия. Сельская кооперация также служила каналом аграрной модернизации: снабжала крестьян более совершенными орудиями, удобрениями, кредитами и консультациями по современным методам хозяйства. Для Семёнова, одного из пионеров кооперативного движения в Волоколамске, это было одним из важнейших достижений революции.

* * *

Если бы большевики не относились к рынку столь враждебно, они могли бы использовать эту систему коллективного бартера для снабжения городов пищей и промышленности сырьём. Какой бы примитивной и хаотичной она ни была, она, возможно, всё же оказалась бы эффективнее государственной продовольственной монополии, которую большевики начали вводить с мая 1918 года как фундамент плановой экономики. Военный коммунизм — так позднее стали называть эту систему — во многом был прототипом сталинской экономики. Он стремился уничтожить частную торговлю, максимально подчинить государству распределение и рынок труда, национализировать всю крупную промышленность, коллективизировать сельское хозяйство, а на пике в 1920 году — заменить денежную систему всеобщим государственным распределением по пайкам.

Происхождение военного коммунизма давно вызывает споры историков. Для левых он был прежде всего прагматическим ответом на военную необходимость гражданской войны; для правых — прямым следствием ленинской идеологии. Спор имеет более широкое значение для понимания природы и развития Советского режима. Согласно левой трактовке, военный коммунизм был лишь временным отклонением от смешанной экономики, которую Ленин намечал весной 1918 года и к которой вернулся в НЭПе 1921 года. Из этого следует, что «мягкий», или рыночный, социализм этих двух периодов и являлся настоящим лицом ленинизма, в отличие от «жёсткой» антирыночного социализма эпох военного коммунизма и сталинизма. Отсюда и «ленинизм», провозглашённый идеологическим источником горбачёвских реформ. Согласно правой трактовке, напротив, «жёсткий социализм» гражданской войны непосредственно вытекал из этатистских методов,

лежавших в самом сердце ленинской революционной идеологии. В таком прочтении большевики приняли военный коммунизм как средство введения социализма декретами, а на уступки рынку шли лишь тогда, когда обстоятельства вынуждали их к этому. Тем самым выстраивалась логическая и историческая преемственность между программой Ленина 1902 года, военным коммунизмом и сталинской плановой экономикой.

Хотя и прагматизм, и идеология действительно играли свою роль, ни один из этих факторов сам по себе не объясняет, каким образом была организована первая в мире плановая экономика.

Прагматическое объяснение имеет существенные изъяны. Если рассматривать хлебную монополию мая 1918 года — первый крупный элемент военного коммунизма — лишь как практический ответ на весенний хаос, то она оказалась катастрофой. Бесплодные и абсурдные попытки искоренить свободный рынок только умножали беспорядок: тысячи комиссаров и значительная часть государственных ресурсов отвлекались на войну с частной торговлей. С чисто практической точки зрения разумнее было сохранить рынок, а не пытаться уничтожить его, что Ленин и сам признал в 1921 году. Более того, в критические моменты гражданской войны большевики вынуждены были ослаблять запреты на частную торговлю, поскольку государственная система распределения не могла прокормить города. Между собой они признавали, что, вопреки собственной антирыночной риторике, без рынка им не выжить.

А как быть с доводом, будто военный коммунизм был вызван исключительно требованиями гражданской войны? Безусловно, большевики, как и все правительства воюющей Европы, стремились подчинить экономику военным интересам государства; многое в их хозяйственной программе было заимствовано из опыта германской военной экономики. Но военный коммунизм был не только ответом на гражданскую войну — он был и способом вести её. Гражданская война шла не только на фронтах. Она составляла фундаментальную часть большевистской революционной стратегии и велась также на так называемом «внутреннем фронте» — в обществе и хозяйстве — средствами военного коммунизма. Если не признать этот основной факт — что большевики рассматривали политику военного коммунизма как

оружие борьбы со своими социальными, то есть «внутренними», врагами, — невозможно объяснить, почему эти меры сохранялись ещё больше года после разгрома белых армий.

Столь же недостаточно объяснять военный коммунизм одной идеологией. Большевиков, безусловно, объединяла фундаментальная вера в возможность при помощи государственного принуждения провести переход к социализму в такой отсталой крестьянской стране, как Россия. В этом состояла суть их идеологии. Их объединяло и глубоко укоренившееся недоверие к рынку, которое также можно назвать идеологическим. Иностранных социалистов поражала ярость большевистской ненависти к свободной торговле. Большевики не просто хотели регулировать рынок — как это делали социалисты и большинство европейских правительств военного времени, — они хотели его уничтожить. «Чем больше рынка, тем меньше социализма; чем больше социализма, тем меньше рынка» — таков был их символ веры.

Эта примитивная политэкономия, несомненно, выросла и из жизненного опыта рядовых большевиков. Большинство из них были выходцами из крестьян и рабочих, молодыми людьми вроде Канатчикова, испытавшими на себе худшие стороны и деревенской, и городской бедности. Маркс научил их видеть причиной всего этого «капитализм». Работу рынка они воспринимали как простое выражение капиталистической эксплуатации. Даже примитивная торговля мешочников, по их мнению, если её не обуздать, должна была привести к возрождению капиталистического строя. Хотя подавляющее большинство мешочников торговало ради собственного пропитания, а не прибыли, большевики изображали их «спекулянтами», «наживщиками» и «паразитами». Все социальные беды послевоенного мира — от безработицы до проституции — объяснялись действием рынка.

Однако нельзя сказать, что эта дирижистская и воинственно антирыночная идеология до введения военного коммунизма оформилась в ясную экономическую стратегию. В 1918 году большевики были резко расколоты по вопросам хозяйственной политики. Левые коммунисты требовали немедленного движения к уничтожению капиталистической системы, тогда как Ленин говорил об

использовании капиталистических методов для революционного восстановления экономики. Эти разногласия вновь и вновь всплывали на протяжении гражданской войны — особенно в спорах о финансовой политике и использовании «буржуазных» управляющих, — поэтому меры военного коммунизма постоянно менялись в интересах партийного единства. Следовательно, тогда как правые историки склонны представлять военный коммунизм как цельную программу, изначально заложенную в большевистской идеологии, значительная её часть была импровизацией.

Введение военного коммунизма было прежде всего политическим ответом на городской кризис 1918 года. Весной большевики были буквально одержимы примером Парижской коммуны. Они постоянно сравнивали своё положение с положением парижских революционеров 1871 года и обсуждали собственные решения через призму исторической аналогии, пытаясь понять, что могло бы спасти французских коммунаров от поражения. Большевики слишком хорошо сознавали, что их опора, как и у коммунаров, ограничена крупными городами и что им грозит поражение, поскольку их окружает враждебное крестьянство, а обменять на продовольствие им почти нечего. Они убедили себя, что, если не распространить власть на деревню и не начать крестовый поход против «прячущих хлеб» крестьян, их городская революция, подобно Парижской коммуне, погибнет от голода. Бегство рабочих из городов, забастовки и протесты из-за нехватки продовольствия воспринимались как первые признаки такого краха. Чтобы избежать неминуемого поражения, большевики считали необходимым силой отобрать у крестьян хлеб, положить конец хаосу мешочной торговли и установить твёрдый контроль над промышленностью.

* * *

Когда 4 июня Троцкий на заседании Совета защищал введение хлебной монополии, его прерывали криками из зала. Левые эсеры обвиняли его в том, что он «ведёт гражданскую войну против крестьянства». 9 мая большевики действительно объявили все крестьянские хлебные излишки собственностью государства. Теперь в деревню направлялись вооружённые отряды, призванные силой изымать зерно; вся пропаганда

подчёркивала, что речь идёт о «битве за хлеб». Сам Троцкий заявил 4 июня: «Наша партия — за гражданскую войну! Гражданскую войну надо вести за хлеб. Мы, Советы, идём в бой!» В этот момент один делегат выкрикнул: «Да здравствует гражданская война!» Вероятно, он хотел пошутить. Но Троцкий повернулся к нему и совершенно серьёзно ответил: «Да, да здравствует гражданская война! Гражданская война ради детей, стариков, рабочих и Красной армии; гражданская война во имя прямой и беспощадной борьбы с контрреволюцией».[45]

Для Ленина и большинства его сторонников гражданская война была необходимой фазой всякой социальной революции. «Гражданская война — то же самое, что классовая борьба, — заявил один из большевистских лидеров в Баку. — Мы сторонники гражданской войны не потому, что жаждем крови, а потому, что без борьбы угнетатели не отдадут народу свои привилегии».[46] В представлении большевиков гражданская война была всего лишь насильственной формой классовой борьбы. Для них не существовало принципиальной границы между военным конфликтом и социальной борьбой в каждом городе и каждой деревне.

Поэтому, по Ленину, гражданскую войну следовало приветствовать как необходимую стадию революции. Он всегда утверждал, что гражданскую войну летом 1917 года начала правая сторона, а большевистский захват власти был лишь вступлением пролетарской стороны в уже начатую вооружённую борьбу; классовые противоречия революции, по его мнению, политическими средствами разрешить было нельзя. Россия раскололась на два враждебных лагеря — «военную диктатуру» и «диктатуру пролетариата», — и вопрос заключался лишь в том, кто победит. Все ленинские шаги — от октябрьского захвата власти до разгона Учредительного собрания и Брестского мира — могли восприниматься, и оппозицией действительно воспринимались, как сознательное разжигание гражданской войны. Ленин, несомненно, полагал, что гражданская война даст его партии лучший шанс расширить её пока ещё крошечную опору. Он не раз подчёркивал, что Парижская коммуна была разгромлена именно потому, что не сумела начать гражданскую войну. Последствия такого конфликта были предсказуемы — поляризация страны на «революционные» и «контрреволюционные» силы, расширение военной и политической

власти государства, применение террора для подавления несогласных, — и всё это Ленин считал необходимым для укрепления диктатуры. Разумеется, он не мог предвидеть всех масштабов той гражданской войны, которая развернётся осенью; в апреле 1918 года он даже объявил её уже выигранной. Возможно, предвидя будущее, он иначе отнёсся бы к идее использовать гражданскую войну для строительства режима. Но несомненно одно: психологически большевики были готовы к гражданской войне гораздо лучше своих противников. Здесь напрашивается сравнение с Испанией: сторона Франко была готова — и стремилась — к гражданской войне; о республиканцах этого сказать нельзя.

«Битва за хлеб», большевистская гражданская война против деревни, коренилась в фундаментальном недоверии — почти ненависти — к крестьянству. Как марксисты, большевики всегда относились к крестьянам с чем-то близким к презрению. «Анархические», «отсталые», «контрреволюционные» — так начинался их крестьянский словарь. Крестьяне казались им слишком неграмотными и суеверными, слишком тесно связанными со Старой Россией, чтобы участвовать в строительстве нового общества. Они были слишком «мелкобуржуазны» — о, страшнейший из марксистских грехов! — слишком пропитаны принципами и привычками частной собственности и свободной торговли, чтобы стать товарищами.

Особенно сильным это презрение к деревне бывало у рабочих-большевиков крестьянского происхождения — у партийных Канатчиковых, — которые в юности бежали из удушающей нищеты и скуки деревни, от власти священника и насилия пьющих отцов в города на заработки. Для них город был миром прогресса и возможностей, символом которого являлись школа и промышленность, тогда как деревня воплощала всё, что они хотели оставить позади: отсталость, бедность и тупое суеверие. «Я не деревенский» — таково было первое утверждение их новой рабочей идентичности. Через пролетарскую культуру города, которая впервые привела их к большевизму, они стремились изгнать из себя крестьянское прошлое.

Яркий признак такого антикрестьянского отношения — столь важного для всего дальнейшего развития советского режима — можно найти в кратких автобиографиях, которые все большевики должны были

писать при поступлении на советскую службу. Четверть из них происходила из крестьян; но лишь немногие говорили о своём прошлом с теплотой. «С ранних лет, — вспоминал один вологодский большевик, — образование было для меня единственным шансом вырваться из нищей и идиотской деревенской жизни. Я хотел бежать — куда угодно, как можно дальше от деревни».[47]

Марксизм придал этой ненависти к крестьянству псевдонаучную респектабельность. Его «законы» исторического развития «доказывали», что крестьянство обречено исчезнуть. Проникновение рынка и капиталистических отношений в деревню неизбежно должно было привести к классовому расколу крестьянства. Ленин утверждал, что деревня разделяется на два враждебных класса — бедноту, якобы союзника пролетариата, и «кулаков», или «крестьянских капиталистов», его врагов, — и эта схема стала руководящим принципом большевистской политики в деревне.

На деле такой анализ был чистой фантазией: число крестьян-капиталистов было ничтожным — во всяком случае, недостаточным для образования «класса». Даже хозяйств, постоянно нанимавших работников, до революции было менее двух процентов, а в 1917 году их доля ещё сократилась. В подавляющем большинстве деревень богатого крестьянина отличали от бедного лишь лишняя лошадь или корова, кирпичный, а не деревянный дом и поднятый над землёй пол вместо досок, уложенных прямо на грунт.

Крестьяне, которых большевики причисляли к «кулакам», обычно были не чем иным, как патриархальными деревенскими старейшинами. Это были российские Малютины — седобородые старики вроде того, что в Андреевском мешал реформам Семёнова. Они действительно нередко были самыми зажиточными хозяевами, и односельчане могли зависеть от них — арендовать у них лошадь или брать деньги взаймы. Но в глазах самих крестьян это ещё не делало их «кулаками»; даже Семёнов, имевший все основания презирать Малютина, никогда так его не называл. Многие крестьяне относились к таким старейшинам со смесью страха и уважения. Как наиболее удачливых хозяев их часто считали естественными руководителями общины. Именно они обычно наиболее твёрдо отстаивали общинные традиции, именно они вели переговоры с внешней властью, именно к ним соседи обращались за

советом по хозяйственным вопросам. Первые крестьянские Советы нередко возглавлялись такими старейшинами.

В первые месяцы своего режима большевики громогласно поддерживали крестьянские Советы. Это помогло им нейтрализовать деревню во время борьбы за власть в городах. Но результатом стала децентрализация советской власти на селе, что ещё сильнее затруднило извлечение из крестьян хлеба и солдат. Крестьянские Советы естественным образом защищали экономические интересы местного населения. Они старались препятствовать вывозу хлеба в города или по меньшей мере требовали достаточно высокую цену, чтобы на вырученные деньги можно было купить необходимые товары.

По мере углубления городского продовольственного кризиса большевики всё чаще сваливали вину на якобы «кулаков-хлебодержателей». Пропаганда изображала типичного «кулака» толстым и жадным капиталистом, спекулирующим на голоде городских рабочих. «Кулак» занял место рядом с буржуем в качестве «внутреннего врага революции». Для большевиков он был козлом отпущения — способом направить гнев рабочих против «контрреволюционной» деревни, а не против собственной власти. Теперь утверждалось, что крестьянские Советы захвачены «кулаками», которые вместе с эсерами якобы пытаются уморить революцию голодом. Это было ложью — и Ленин это знал. Сельские Советы, как он сам признавал, были органами всего крестьянства. Они лишь ставили свои интересы выше интересов города. Но миф о «кулацкой хлебной забастовке» дал партии предлог для гражданской войны против крестьян.[48]

Летом 1918 года Ленин дал боевой клич в речи, поразительной своей жестокостью:

> Кулаки — бешеные враги Советской власти… Эти кровопийцы нажились на народном голоде… Эти пауки[111] разжирели за счёт крестьян, разорённых войной, за счёт рабочих. Эти пиявки высосали кровь трудящихся и становились всё богаче, пока рабочие в городах и на фабриках голодали… Беспощадная война кулакам! Смерть им всем.[49]

[111] Вероятно, отсылка к брошюре «Пауки и мухи», одному из самых популярных изданий 1917 года, сыгравшему большую роль в формировании народного мифа о «буржуе» (см. с. 523-524 оригинала).

«Продовольственная армия» возглавила это наступление на «кулаков-хлебодержателей». Вооружённые продовольственные отряды — продотряды — получили право занимать деревни и силой изымать крестьянские излишки хлеба. Перед отправкой из города они фотографировались, словно воинские части, уходившие на фронт. Предполагалось, что эти отряды будут состоять из сливок рабочего класса. На деле же, как и первые части Красной армии, их 76 тысяч членов набирались главным образом из безработных, бесприютных и кочующих люмпенских элементов, а также из бывших солдат, которым больше некуда было идти. Губернские продовольственные органы постоянно жаловались, что отряды «плохого качества и недисциплинированны», «работают без всякого плана», «часто применяют к крестьянству принуждение» и отнимают у него не только хлебные излишки, но и жизненно важные семенные запасы, частное имущество, оружие и водку. По словам одного губернского комиссара, их деятельность была не чем иным, как «организованным ограблением крестьян».[50]

«Иногда, — писал Цюрупа, народный комиссар продовольствия, — продотряды подражали методам царской полиции». Порой они занимали деревню и жестоко пытали крестьян, пока те не выдавали требуемое количество хлеба и имущества. «Способы взыскания напоминают средневековую инквизицию, — сообщал один чиновник из Ельца. — Крестьян заставляют раздеваться, становиться на колени и бьют или секут, иногда до смерти». Одного приближения продотряда было достаточно, чтобы крестьяне в панике разбегались.[51]

Один потрясённый комиссар из Уфимской губернии описал следующий случай. Он вошёл в избу крестьянки, которая, по-видимому, не успела убежать, когда в деревню вступил его небольшой взвод, принятый ею за продотряд. Женщина закричала и прижала к себе маленького сына: «Рубите меня, убивайте, только не берите ребёнка!» Комиссар попытался успокоить её, объяснив, что ей ничто не угрожает. Тогда она сказала: «Я думала, вы меня убьёте. Я и не знала, что есть большевики, которые не убивают крестьян. Все, кого мы видели, — опричники» — то есть ненавистные палачи Ивана Грозного.

В Борисоглебском уезде Тамбовской губернии — будущем оплоте антоновского восстания — действовал жестокий начальник отряда

Марголин, который без разбора грабил крестьян, насиловал женщин и отбирал лошадей у тех, кто не мог выполнить поставку. Многим крестьянам приходилось покупать хлеб в соседней Воронежской губернии или отдавать последние жизненно необходимые запасы продовольствия и семян, лишь бы удовлетворить Марголина. Другой местный тиран, начальник отряда Черемухин, превратил южные сёла Балашовского уезда, находившиеся непосредственно за Красным фронтом против Деникина, в собственную коррумпированную вотчину. Хлеб и имущество отбирались с жестокой силой, зачастую оставляя хозяйства без пищи и семян, а крестьянских женщин систематически насиловали.

Один начальник соседнего продотряда оставил яркое описание настроений в деревне, когда проезжал через одно из «черемухинских» сёл. Крестьяне приняли их за людей Черемухина, попадали на колени и начали кланяться. Было видно, что дух революции в крестьянстве уничтожен страхом.

В некоторых местах крестьяне отвечали на насилие тем же. В одной деревне в ноябрьскую ночь они обезглавили двенадцать членов продовольственного отряда, спавших в партийном помещении, и выставили их головы на шестах у въезда в деревню как страшное предупреждение другим отрядам. Три недели спустя Красная армия обстреляла деревню из артиллерии и, когда жители бежали в леса, сожгла её.[52]

В самой деревне продотрядам должны были помогать новые комитеты бедноты — комбеды. Учреждение их 11 июня Ленин провозгласил моментом вступления деревни в социалистическую революцию. Это должен был быть крестьянский Октябрь, когда «сельский пролетариат» вступит в «классовую борьбу» против «кулаков», «сельской буржуазии». Помогая отрядам изымать хлеб, комбеды должны были осуществить «социалистическое преобразование» деревни: заменить «кулацкие Советы» и довести до конца экспроприацию прочего «кулацкого» имущества — излишков земли и скота. По словам Свердлова, целью было «расколоть деревню на два враждующих класса» и «разжечь там такую же гражданскую войну, как в городах». От этого, по его словам, зависело выживание Советской власти на селе.[53]

Комбеды с треском провалили задачу разжечь в деревне эту «классовую войну». Именно здесь марксистская догма рухнула под тяжестью крестьянской действительности. Большинство деревень мыслило себя земледельческими общинами равноправных родственников и соседей; нередко крестьяне называли такую общину «крестьянской семьёй». В этом и заключалась основная идея — пусть и не всегда реальность — крестьянской общины. Поэтому предложение создать отдельный орган для бедноты воспринималось враждебно: разве уже не было Совета? Во многих общинах комбед вообще не избирали, оставляя его создание приезжим агитаторам, либо формировали такой комитет, в который вступали все крестьяне, поскольку, как они говорили, «все у нас одинаково бедны». В таком случае комбед ничем не отличался от Совета. Крестьяне Киселёво-Чемизовки Аткарского уезда, например, постановили, что комбед им не нужен, «поскольку крестьяне почти равны, а бедные уже находятся в Совете. Создание отдельного комбеда лишь породит ненужные трения между гражданами одной общины». Большевистские агитаторы оказались совершенно неспособны расколоть деревню по классовому признаку. Бедняки просто не осознавали себя «пролетариями». И не считали более зажиточных соседей «буржуазией». Все видели себя прежде всего односельчанами и относились к попыткам большевиков разделить их с подозрением и враждой.[54]

Поэтому во многих местах комбеды создавались элементами, стоявшими вне общины. Это были не бедные крестьяне-хозяева, а пришлые городские жители и солдаты, безземельные ремесленники и батраки, исключённые из общины. Исследование восьмисот комбедов Тамбовской губернии показало, что на волостном уровне менее половины их членов когда-либо занимались земледелием, а тридцать процентов составляли солдаты. В полупромышленных северных деревнях такие люди ещё могли считаться «своими», но в земледельческом юге они были чужаками по отношению к ядру сельского общества. Не имея связи с крестьянской общиной, на которой держалось всё местное управление, они могли выполнять свои задачи лишь насилием. Они конфисковывали частное имущество, проводили незаконные аресты, громили церкви и вообще терроризировали

крестьян. Скорее это напоминало местную мафию, чем орган Советской власти.

Так, в одной из волостей Саратовской губернии комбедом заправляли братья Дружаевы в союзе с начальником районной милиции товарищем Варламовым. Они ездили по деревням и вымогали у перепуганных крестьян деньги, оружие и водку. Отбирали и скот, который раздавали своим приспешникам из «деревенской бедноты». Одного крестьянина, не сумевшего заплатить, заставили смотреть, как насилуют его жену. Такой террор продолжался шесть месяцев. Жители писали «товарищу Ленину» в надежде положить ему конец. Один из них сформулировал происходившее так: «Люди уже начинают говорить, что при царе жилось лучше».[55]

Вместе с продотрядами комбеды вызвали огромную волну крестьянских восстаний. Кульминации они достигли в ноябре — одновременно с «битвой за хлеб» и первыми крупными мобилизациями в Красную армию. Целые уезды Тамбовской, Тульской и Рязанской губерний оказались охвачены крестьянскими отрядами, вооружёнными вилами и ружьями. В других местах восстания были более разрозненными, но не менее жестокими. Крестьяне линчевали и убивали членов комбедов, местных большевиков и руководителей Советов. Член большевистского ЦК Смидович, посланный разобраться с тульскими восстаниями, в ноябре пришёл к выводу: «Крестьяне начинают чувствовать, что ими правит произвол чужой кучки господ; они уже не верят обещаниям Советской власти и ждут от неё только дурного».[56]

На VI съезде Советов в ноябре Ленин призвал упразднить комбеды. Это стало началом новой линии, утверждённой VIII партийным съездом следующей весной, — курса на улучшение отношений со средним крестьянством. Тем самым признавалось, что комбеды, по словам самого Ленина, вели «безрассудную войну на уничтожение против интересов крестьян». Вся попытка расколоть деревню на два враждебных класса была, как он признал, ошибочной и теперь прекращалась.[57] Но, вероятно, для восстановления отношений с крестьянством было уже слишком поздно.

Через несколько недель после ликвидации комбедов, в январе 1919 года, большевики изменили и тактику «битвы за хлеб». Реквизиция урожая 1918 года — первая, проведённая Советской властью, —

оказалась настоящей катастрофой. К концу года удалось собрать лишь пятую часть намеченного. Разумеется, большевики винили «кулаков», но реальной причиной была слабость собственной заготовительной системы. Продотряды не имели действенного способа учёта урожая. Комбеды ставили местные интересы выше интересов центра, а иногда и вовсе оставляли хлеб себе. Заготовительные пункты из-за нехватки топлива не справлялись с объёмом зерна. Хаос на железных дорогах часто означал, что хлеб вообще не доходил до городов.

Январская реформа, получившая название продразвёрстки, должна была укрепить систему. От хлебной монополии мая 1918 года она отличалась в двух главных отношениях. Во-первых, если хлебная монополия касалась только зерновых, то теперь развёрстке подлежали все основные продукты, включая скот и овощи.[112] Во-вторых, если при хлебной монополии нормы определялись местными продовольственными органами с учётом оценки урожая, то теперь их устанавливало сверху центральное государство, исходя из собственных общих потребностей, после чего требуемый объём просто распределялся между губерниями. Таким образом, принцип — пусть прежде и применявшийся весьма приблизительно, — что нормы должны соответствовать реальному излишку урожая, был полностью отброшен. Всё чаще развёрстка не имела никакого отношения к способности крестьян её выполнить. Реквизиционным отрядам просто приказывали любой ценой изъять необходимое количество продовольствия, даже если приходилось забирать последние жизненно необходимые запасы еды и семян. В этой чудовищно невежественной арифметике пустой

[112] Одним из исключений был репчатый лук — по-видимому, результат бюрократической оплошности. Производство лука немедленно пережило бум: крестьяне старались использовать последнюю оставшуюся легальную область свободной торговли. Чрезвычайные собрания были массовым рабочим движением снизу. Возникнув в марте, на вершине своего влияния в июне они объединяли несколько сотен тысяч рабочих. Меньшевики и эсеры играли заметную роль в их общероссийском руководстве, а на местах именно их активисты часто выступали на фабричных собраниях. Весна принесла этим партиям заметное возрождение влияния в промышленных городах. Создав избирательный блок, они сумели победить большевиков на выборах в Советы нескольких городов. Однако из этого ещё не следует, будто рабочие собрания были движением за меньшевиков и эсеров, а не движением против большевиков, в котором меньшевики и эсеры лишь участвовали.62

амбар воспринимался как доказательство того, что его хозяин — «кулак», спрятавший хлеб.[58]

И когда весной 1919 года гражданская война приближалась к своей кульминации, «битва за хлеб», эта другая гражданская война в тылу Красного фронта, тоже достигла безумного предела. Она превратилась в борьбу не на жизнь, а на смерть между большевиками и крестьянством.

* * *

Последним элементом большевистской «битвы за хлеб» было вытеснение мешочников. Для контроля дорог и железных путей создавались заградительные отряды. Им предписывалось конфисковывать у пассажиров, въезжавших в города, все продукты сверх разрешённой нормы в полтора пуда — откуда и прозвище мешочников «полуторапудовики». Поезда останавливали и обыскивали; пассажиров заставляли выходить и раскрывать багаж. Заградотряды нередко вели себя скорее как бандиты, чем как представители власти. Они отбирали деньги, одежду и спиртное. Аналогичные облавы ЧК устраивала на городских рынках, охотясь за мешочниками из деревни.

Всё это, разумеется, было бесплодным занятием. Искоренить рынок было столь же невозможно, как королю Кнуду приказать отступить морю. На протяжении всего военного коммунизма поезда продолжали быть переполнены мешочниками — железнодорожников легко было подкупить. Сам Ленин признавал, что по меньшей мере половина продуктов, поступавших в города, доставлялась именно ими; временами доля была ещё выше. У большевиков не оставалось иного выбора, кроме как терпеть частную торговлю, без которой рабочие просто умерли бы с голоду. На практике политика в отношении мешочников колебалась: в критические моменты гражданской войны, когда железные дороги требовались для армии, власти усиливали репрессии и пытались вовсе запретить пассажирские перевозки; в иные периоды мешочников более или менее оставляли в покое.

Столь же непоследовательной была политика на городских рынках. Время от времени ЧК устраивала облаву, конфисковывала товары и арестовывала продавцов; торговля на несколько дней затихала, после чего всё возвращалось к прежнему. Огромный Сухаревский рынок в Москве процветал всю гражданскую войну, несмотря на постоянные

чекистские рейды. Даже государственные текстильные предприятия столицы покупали там ткань у частных торговцев. Сухаревка стала символом старого мира свободной торговли, который красные так и не смогли победить. Ленин однажды с сожалением заметил, что в душе каждого русского сидит «маленькая Сухаревка».[59]

Но для промышленности вытеснение мешочной торговли было, с точки зрения большевиков, необходимо. Нельзя было поддерживать производство, если рабочие постоянно убегали в деревню за едой. Контроль над продовольствием шёл рука об руку с контролем над трудом. Большевики настаивали на праве государства управлять перемещением рабочей силы. В этом и состояла суть военного коммунизма — «право диктатуры», как выражался Троцкий, «посылать каждого работника туда, где он необходим согласно государственному плану». Отстаивать свободу труда, как это делали меньшевики, значило, по словам Троцкого, идти к социализму «молочным путём». Без продовольственной монополии и без уничтожения рынка труда, утверждал он, хозяйство будет разрушено, а рабочий класс — разложен «хаотическим переходом рабочих с одного предприятия на другое». Высокая дорога к социализму предполагала конец свободного труда и установление государственного контроля над всей крупной промышленностью. Это должна была быть полностью плановая экономика.[60]

Весной 1918 года большевики всё заметнее двигались к национализации промышленности. Подчинение заводов назначенным государством управляющим казалось единственным способом остановить хаос, вызванный декретом о рабочем контроле от 14 ноября — важнейшей политической уступкой фабзавкомам и профсоюзам. Коллегиальное управление предприятиями помогло большевикам привлечь многих рабочих и нанести удар владельцам заводов в ходе борьбы за власть в промышленных центрах. Но экономические последствия оказались катастрофическими. Рабочие органы, взявшие заводы под свой контроль, просто голосовали за огромные повышения зарплаты, разгоняя инфляцию. Они развернули также разрушительную кампанию террора и насилия — нередко из мести — против старых управляющих и специалистов, что нарушало производство. И почти ничего не делали, чтобы остановить падение трудовой дисциплины и

постоянные кражи инструментов и сырья, из которых делались зажигалки и прочие нелегальные товары для мешочной торговли.

Ещё важнее было то, что фабричные комитеты и профсоюзы превращались в часть растущего рабочего протестного движения против большевистской диктатуры. Рабочий класс оставался столь же боевым, как в 1917 году, — только теперь его гнев был направлен против партии, правившей от его имени. Весной 1918 года забастовки и рабочие протесты охватили все крупные промышленные районы, включая бывшие большевистские твердыни Петроград и Москву. Значительная часть недовольства имела самый простой экономический характер. Рабочие жаловались на нехватку хлеба и угрозу безработицы; они были возмущены тем, что так называемое Рабочее государство не сделало ничего для улучшения их жизни.

У многих это породило общее разочарование в политике, часто соединённое с неопределённой враждебностью к большевикам как правящей партии. По словам Горького, многие «рабочие плевались, когда слышали имя большевиков». Такое циничное — хотя ещё по сути дополитическое — настроение лучше всего выражал лозунг, появлявшийся на городских стенах: «Долой Ленина и конину! Дайте царя и свинину!»[61] Но для других рабочих политика продолжала иметь значение — особенно для тех, кто имел меньшевистский или эсеровский опыт и мог противопоставить большевизму собственное политическое видение. Именно их реакцией на весенний кризис стало создание протестного движения — Чрезвычайных собраний уполномоченных фабрик и заводов, самого серьёзного вызова, который большевики когда-либо получали со стороны рабочего класса.[62]

Действительно, многие протестные резолюции заводов повторяли требования меньшевиков и эсеров: осуждали разгон Учредительного собрания, Брестский мир и репрессии против оппозиции. Но это могло означать лишь то, что именно меньшевики и эсеры составляли тексты таких резолюций — либо добавляя собственные требования к рабочим, либо формулируя рабочие требования на своём политическом языке. Как бы то ни было, судя по протоколам заводских собраний, сильнее всего рабочих мучило общее ощущение, что обещание «рабочей революции», заставившее многих поддержать большевиков осенью 1917 года, так и не было исполнено. Бастующие рабочие Сормовского

завода заявили в июне: «Советская власть, установленная от нашего имени, стала нам совершенно чужой. Она обещала рабочим социализм, а принесла пустые заводы и нищету». Насколько можно судить, это чувство разделяли все политизированные рабочие — в том числе значительная часть рядовых большевиков, многие из которых вступили в движение Чрезвычайных собраний. Даже Выборгский районный комитет партии в Петрограде, бастион боевого большевизма 1917 года, распространял среди своих членов пропаганду Чрезвычайных собраний.[63]

К апрелю 1918 года Ленин пришёл к выводу, что промышленность должна перейти под государственный контроль вместо рабочего контроля через коллегиальные органы, а традиционная управленческая структура с «единоначалием» должна восстановить трудовую дисциплину. В написанной в том же месяце работе «Очередные задачи Советской власти» он потребовал остановить наступление рабочего класса на капиталистическую систему промышленности ради более широких задач хозяйственного восстановления. Знания и опыт «буржуазных» управляющих следовало использовать в интересах государства; Ленин открыто признавал, что это означает применение капиталистических методов для построения социалистического порядка. Чтобы добиться сотрудничества старых управляющих с Советской властью, необходимо было платить им высокую зарплату и восстановить их авторитет в цехах, хотя это противоречило уравнительным принципам левых. Но, утверждал Ленин, рабочий класс пока ещё не обучен управлению, и потому это — неизбежная «дань». Ради эффективности идеалами равенства приходилось жертвовать.[64]

С этого момента большевики стали поощрять национализацию промышленности — второй, после войны с рынком, главный элемент военного коммунизма. До тех пор национализация развивалась прежде всего снизу, по инициативе местных Советов и рабочих организаций, и носила характер революции на предприятиях: рабочие использовали её, чтобы навязать управляющим собственный контроль. Теперь, при поддержке Ленина, процесс взяло в свои руки центральное государство и его Высший совет народного хозяйства — ВСНХ. Национализация стала использоваться для замены рабочего управления государственно назначенными, в том числе «буржуазными», управляющими,

призванными восстановить дисциплину на производстве. Фактически центр промышленной власти перемещался от фабрично-заводских комитетов и профсоюзов к управленческому аппарату партийного государства.[65]

Смена курса явно была вызвана растущей угрозой со стороны рабочего класса. Самым простым способом помешать заводским организациям служить каналом рабочей оппозиции было подчинить их центру. Декрет Совнаркома от 28 июня, национализировавший большую часть крупной промышленности России, появился всего за три дня до всеобщей забастовки в Петрограде, которую Чрезвычайные собрания созывали в знак протеста против большевистского режима. Хотя декрет готовился уже несколько недель, нет сомнения, что точный момент его публикации во многом определялся желанием предупредить забастовку.[113] После 9 мая, когда ЧК открыла огонь по демонстрации рабочих в петроградском пригороде Колпино, забастовки и протесты шли по нарастающей; промышленность почти остановилась, а там, где ещё допускались свободные выборы, меньшевики и эсеры уверенно побеждали большевиков. Казалось, что петроградская забастовка, если позволить ей начаться, легко перерастёт в общероссийскую и, возможно, приведёт к падению режима.

Это был к тому же критический момент гражданской войны: чехи и эсеры создавали центр силы на Волге, а красный тыл охватывали восстания. 20 июня эсер убил большевистского комиссара печати Володарского. Большевистское руководство боялось, что это начало переворота меньшевиков и эсеров. Власть считала необходимым подчинить заводы государству и обезвредить угрозу всеобщей забастовки в последнем крупном оплоте своего влияния.

Декрет о национализации передал управление предприятиями от рабочих организаций партийно-государственному аппарату. Партийные руководители использовали его как угрозу увольнения рабочим, если те всё же выйдут на забастовку. Организаторов стачки арестовали — особенно тех, чья связь с эсерами и меньшевиками была известна, — десятки людей расстреляли как «контрреволюционеров». В условиях

[113] Ещё одним соображением было то, что многие акционерные общества, затронутые декретом, принадлежали германским владельцам, а по Брестскому договору компании, национализированные после 1 июля, подлежали полной компенсации.

такого запугивания неудивительно, что на всеобщую забастовку вышло очень мало рабочих.

Большевики закрепили победу: Чрезвычайные собрания были запрещены, их руководители заключены в тюрьмы, а оппозиционные профсоюзы подвергнуты чисткам. Меньшевиков и эсеров исключили из Советов, объявили «контрреволюционерами» и загнали в подполье. Последние оппозиционные газеты закрыли. Даже горьковскую «Новую жизнь», помогавшую организовать петроградскую забастовку и неоднократно выражавшую поддержку Чрезвычайным собраниям, окончательно закрыли 16 июля. «Мы идём к полной гражданской войне, — подавленно писал Горький Екатерине, — и, похоже, война будет дикой… О, как трудно жить в России! Все мы так глупы — фантастически глупы».[66]

iii. Цвет крови

Как ни странно, имя и образ Ленина стали по-настоящему известны всей России лишь в сентябре 1918 года — и только потому, что он едва не погиб. В первые десять месяцев большевистского правления его редко видели на публике. Выстрелы по его автомобилю в Новый год заставили вождя мировой революции опасаться за жизнь, и после этого он почти не покидал тщательно охраняемых помещений в Смольном или Кремле. «Никто даже не знал лица Ленина, — писала Крупская о первых неделях. — Вечерами он часто ходил по Смольному, и его никто не узнавал, потому что тогда ещё не было его портретов».[114]67

Всё изменилось 30 августа. Ленин отправился на завод Михельсона на южной окраине Москвы, чтобы, как было принято по пятницам, произнести перед рабочими обычную речь о необходимости защищать революцию. В тот же день ему сообщили, что Урицкий, начальник Петроградской ЧК, убит эсером Леонидом Каннегисером. Родные просили Ленина отменить поездку, но на этот раз он всё же поехал.

Когда Ленин покидал завод, через толпу к нему подошла женщина по имени Фанни Каплан и трижды выстрелила. Ленин упал, охрана бросилась за нападавшей. Когда его доставили в Кремль, казалось, он

[114] Первый официальный портрет Ленина появился только в январе 1918 года.

при смерти. Одна пуля застряла в шее, кровотечение было сильным, кровь попала в лёгкое. Даже в таком состоянии он позаботился о том, чтобы его врачи были большевиками. Несколько дней жизнь висела на волоске. Затем он начал поправляться, и к 25 сентября врачи сочли возможным отправить его с Крупской на выздоровление в Горки под Москвой, где для его личного пользования была реквизирована усадьба.

Быстрое выздоровление Ленина большевистская печать объявила чудом. Его стали изображать почти как Христа — человека, наделённого сверхъестественной силой и готового пожертвовать жизнью ради народа. Бухарин, редактор «Правды», фантастически утверждал, что после выстрелов Ленин отказался от помощи и «с пробитыми лёгкими, всё ещё истекая кровью», сразу вернулся к работе, чтобы «локомотив» революции не остановился. Зиновьев в специально изданной массовым тиражом брошюре прославлял Ленина как сына крестьянина, «совершившего революцию»: «Он избранник миллионов. Он вождь Божьей милостью. Такой вождь рождается раз в пятьсот лет человечества». В последующие недели печать заполнили десятки подобных панегириков.

Утверждалось, что рабочих волнует только одно — чтобы «их вождь» выздоровел. На улицах впервые начали появляться плакаты с портретом Ленина. Впервые он появился и в документальном фильме — «Прогулка Владимира Ильича по Кремлю», который той осенью показывали по всей Москве, чтобы опровергнуть упорные слухи о его смерти. Так начинался культ Ленина — культ, создаваемый большевиками, по-видимому, против воли самого Ленина,[115] чтобы превратить его в «народного царя».[68]

Культ в некоторых отношениях напоминал древнее поклонение божественному царю. Он восходил к средневековой традиции канонизации князей, преждевременно погибших на службе России. Но культ Ленина был нов и тем, что впитал фольклорные легенды о народных вождях, восставших против царя, — Стеньке Разине или Емельяне Пугачёве, наделённых волшебной, почти христоподобной силой. Здесь соединялись крестьянское христианство и языческий миф,

[115] По свидетельству Бонч-Бруевича, Ленин не одобрял этот культ — марксистская идеология отрицала решающую роль отдельной личности в истории — и после выздоровления пытался его сдержать.

веками связывавшие революцию с поиском правды и справедливости в народном сознании. Организаторы ленинского культа сознательно играли на этой теме.

«Ленина нельзя убить, — провозглашал 1 сентября один из его агиографов, — потому что Ленин — это восстание угнетённых. Пока жив пролетариат — жив Ленин». Ленин превращался в Рабочего Христа. Другой пропагандист утверждал, что «воля пролетариата» чудесным образом вмешалась, словно крестик или пуговица на груди, и отклонила пули Каплан от смертельной траектории. Печатались стихи, в которых Ленин изображался мучеником, посланным Богом страдать за бедных:

> Ты пришёл к нам облегчить Наши мучительные страдания, Ты пришёл к нам вождём, чтобы уничтожить Врагов рабочего движения.
>
> Мы не забудем твоих страданий, Которые ты, наш вождь, перенёс за нас. Ты стоял мучеником…

После покушения спешно выпустили биографию Ленина для рабочих. Уже само название — «Великий вождь рабочей революции» — скорее ассоциируется с позднейшими культами Сталина или Мао. Ленин представал там всезнающим, почти сверхчеловеческим, богоподобным существом, любимым всеми рабочими. Для крестьян издали похожую брошюру — «Вождь деревенской бедноты В. И. Ульянов-Ленин» — тиражом в сто тысяч экземпляров. По стилю она напоминала жития святых, любимое крестьянское чтение. В деревне начали ходить всевозможные легенды о Ленине — борце за правду и справедливость. В глухих сёлах впервые появились его фотографии. Их часто помещали в «красный угол» — святое место крестьянской избы, где прежде стояли иконы и царские портреты.[69]

Фанни Каплан, стрелявшая в Ленина, была молодой еврейкой, бывшей анархисткой, ставшей эсеркой. На допросе в ЧК она утверждала, что действовала одна. По её словам, Ленин предал революцию и, «оставаясь жить, только отдаляет идеал социализма на десятилетия». Каплан поместили в ту же камеру Лубянки, где находился британский дипломат Брюс Локкарт, также арестованный большевиками по подозрению в причастности к заговору. Он вспоминал её появление:

> Она была одета в чёрное. Волосы у неё были чёрные, глаза с неподвижным взглядом окружали большие чёрные круги. Лицо было бесцветным. Черты — резко еврейские — непривлекательными. Ей можно было дать от двадцати до тридцати пяти лет. Мы догадались, что это Каплан. Без сомнения, большевики надеялись, что она подаст нам какой-нибудь знак узнавания.

Но она не подала никакого знака. Вскоре её перевезли в Кремль, где, по всей вероятности, пытали, а 3 сентября расстреляли; останки уничтожили без следа. По словам Анжелики Балабановой, вскоре ставшей секретарём Коминтерна, Крупская плакала при мысли, что в лице Каплан революционное правительство убило первого революционера.[70] Остаётся лишь гадать, сколько слёз она пролила по тысячам других революционеров, которых вскоре убьют в отместку за ранение её мужа.

Хотя сама Каплан всегда отрицала это, её немедленно объявили агентом эсеров и западных держав.[116] Для параноидальной теории о кольце врагов, окружившем режим, это стало очередным «доказательством»: чтобы выжить, власть якобы обязана вести против них непрерывную гражданскую войну. Большевистская печать потребовала массовых репрессий. Разогрев в обществе волну поклонения раненому вождю, было нетрудно обратить эту страсть в яростную ненависть к его врагам. Массовая «Красная газета» задала тон 1 сентября:

> Без пощады будем убивать наших врагов сотнями. Пусть их будут тысячи, пусть они захлебнутся собственной кровью. За кровь Ленина и Урицкого пусть льются потоки буржуазной крови — больше крови, как можно больше.

Заместитель председателя ЧК Петерс объявил покушение на Ленина нападением на рабочий класс и призвал рабочих «раздавить гидру контрреволюции» массовым террором. Нарком внутренних дел

---

[116] На процессе эсеров 1922 года выяснилось, что Каплан была завербована эсеровской Боевой организацией — подпольной террористической группой, формально не связанной с ЦК партии эсеров, большинство членов которого к августу 1918 года находилось в Самаре, но поддерживаемой некоторыми оставшимися в Москве членами ЦК, в том числе Гоцем. Боевая организация убила большевистского комиссара Володарского 20 июня. Она также пыталась убить Троцкого по дороге на Восточный фронт, но тот сорвал план, в последний момент пересев на другой поезд.

распорядился Советам «немедленно арестовать всех эсеров» и брать массовых «заложников» из числа «буржуазии и офицеров», которых следовало расстреливать «при малейшем сопротивлении».[71] Это был сигнал к началу Красного террора.

* * *

Красный террор возник не на пустом месте. Он с самого начала был заложен в самом режиме. Как Каменев и его сторонники предупреждали ещё в октябре, правление террором неизбежно вытекало из ленинского насильственного захвата власти и отказа от демократии. Большевики всё чаще вынуждены были прибегать к террору, чтобы заставить замолчать политических критиков и подчинить себе общество, которым они не могли управлять иными средствами.

Ленин всегда признавал необходимость террора для «защиты революции». Это было оружие «гражданской войны». На публике он, правда, старался дистанцироваться от институтов террора — смертные приговоры подписывали другие, — что позднее питало миф о добром и мягком «царе» Ленине, будто бы непричастном к злодействам своих опричников. Но за кулисами Ленин был последовательным сторонником Красного террора. 26 октября 1917 года II съезд Советов принял по предложению Каменева резолюцию об отмене смертной казни. Ленин на заседании отсутствовал и, узнав о решении, пришёл в ярость:

> Глупость, как можно совершить революцию без расстрелов? Вы рассчитываете разделаться с врагами, разоружив себя? Какие ещё средства репрессий существуют? Тюрьмы? Кто придаёт им значение во время гражданской войны?

Ленин видел в терроре средство классовой войны против «буржуазии». С самого начала он поощрял массовый террор низов против богатых и привилегированных лозунгом «Грабь награбленное!» «Надо поощрять энергию и массовидность террора», — писал он в июне.[72] Как мы уже видели, этот массовый террор давал большевикам сильную эмоциональную поддержку среди тех слоёв бедноты, которым доставляло удовлетворение падение богатых и сильных независимо от того, улучшалась ли их собственная жизнь. Первоначальная система ЧК непосредственно выросла из местных инициатив массового террора.

С момента создания в ноябре 1917 года ЧК росла стремительно. Когда она разместилась в своём первом петроградском штабе, сотрудников было так мало, что Дзержинский носил всю документацию в портфеле. Но к концу марта, после переезда правительства в Москву и занятия ЧК печально известного здания на Лубянке, прежде принадлежавшего страховой компании «Ллойд», её аппарат насчитывал уже свыше шестисот человек, а к июню — около тысячи, не считая охранных войск. Губернские ЧК создавались медленнее, но к сентябрю, когда прозвучал приказ развязать Красный террор, почти в каждой губернии и большинстве уездов уже существовали чекистские отделения.[73]

ЧК была государством в государстве. Почти не существовало стороны советской жизни — от борьбы с контрреволюцией до выдачи разрешений на собак, — которой она не занималась бы. С самого начала она действовала вне закона. Наркомюст тщетно пытался подчинить её судам. Ночной стук в дверь, допросы и заключение без предъявления обвинения, пытки и внесудебные расстрелы — таковы были методы ЧК. Один из её основателей сформулировал это так:

> ЧК — не следственная комиссия, не суд и не трибунал. Это боевой орган внутреннего фронта гражданской войны… Она не судит — она поражает. Она не милует — она уничтожает всех, кто оказался по другую сторону баррикады.[74]

В первые месяцы большевистской власти ЧК ещё не была столь смертоносной, какой станет позже. Один источник насчитал 884 расстрела, упомянутых в печати с декабря по июль. Присутствие левых эсеров, вошедших в ЧК в январе и остававшихся там даже после выхода из Совнаркома в марте, сдерживало насилие. Сдерживали его и общественные протесты, особенно рабочие, чьи забастовочные резолюции почти всегда осуждали террор. Время, когда всё население жило в страхе перед ЧК, ещё не наступило.

Показателен знаменитый случай в московском цирке. Лишённые чувства юмора чекисты возмутились антисоветскими шутками клоуна Бим-Бома и ворвались прямо на представление, чтобы арестовать его. Сначала публика решила, что это часть номера, но Бим-Бом побежал, и чекисты выстрелили ему в спину. Зрители закричали, началась паника. Весть о расстреле разнеслась по городу и вызвала публичное осуждение

чекистского террора. На похороны клоуна пришли сотни людей, и церемония фактически превратилась в демонстрацию.[75]

На раннем этапе террора аресты часто носили случайный характер. Это было следствием хаоса формировавшегося полицейского государства: почти любой человек мог оказаться в тюрьме по доносу личного врага или по прихоти местного начальника ЧК. Тюрьмы наполняли люди самого разного происхождения. Князь Львов, арестованный ЧК в Екатеринбурге, вспоминал своих февральских сокамерников как «чрезвычайно пёструю публику» — от князей и священников до обычных крестьян. Даже двоюродный брат Ленина Виктор Ардашев был арестован и расстрелян Екатеринбургской ЧК в январе 1918 года. Ленин узнал об этом лишь через несколько месяцев, когда велел одному чиновнику передать Ардашеву привет и услышал, что тот уже убит. По-видимому, он был привязан к кузену. Впрочем, взаимности не было: Ардашев был видным екатеринбургским кадетом и организовывал забастовку государственных служащих против правительства Ленина.[76]

* * *

Двумя важнейшими вехами в развитии террора стали восстание левых эсеров и убийство царской семьи.

Восстание левых эсеров было одним из самых фарсовых эпизодов революции. В нём воплотилась их политическая наивность. Поразительно, что в решающий момент они вполне могли свергнуть большевистский режим, но, похоже, успех просто не входил в их планы. Это был не государственный переворот, а — подобно большевистскому июльскому выступлению 1917 года — самоубийственный акт публичного протеста, призванный поднять «массы» против власти. Левые эсеры ни на одном этапе всерьёз не думали взять власть. Они лишь «играли» в революцию.

Все идеалы, которые в декабре привели их в Совнарком, к июню казались преданными. Свобода Советов была задушена диктатурой. Интересы крестьянства попраны хлебной монополией и комбедами. Гражданские свободы исчезли вместе с наивной эсеровской надеждой, будто участие в правительстве позволит сдерживать большевистские злоупотребления. Но сильнее всего их потряс Брестский мир. Подобно

левым коммунистам, левые эсеры считали, что договор превратил Россию в вассала Германской империи и уничтожил последнюю надежду распространить социализм на Запад через революционную войну против империалистов. После подписания мира они объявили большевиков предателями революции и вышли из Совнаркома, хотя сохранили места во ВЦИК и — ирония судьбы — в ЧК. Германский посол граф Мирбах, прибывший во второй половине апреля для восстановления дипломатических отношений Берлина с Москвой,[117] стал объектом террористических угроз со стороны левых эсеров, стремившихся сорвать мир.

Кульминации шумная оппозиционная кампания достигла на V съезде Советов, открывшемся в Большом театре 4 июля. Весной влияние большевиков в Советах ослабло, и делегация левых эсеров была значительной, хотя и меньше ожидаемого: подозревали, что большевики специально наполнили съезд собственными сторонниками. Левые эсеры заявляли, что представляют «массы», поддержавшие «советскую революцию», но чувствовавшие себя преданными большевиками. Камков и Спиридонова, два главных лидера партии, яростно критиковали правительственную политику. На первом месте стоял «позорный мир», продавший, как они говорили, рабочих и крестьян Украины германским империалистам. Они клялись возобновить революционную войну и грозили кулаками императорской ложе, где символически присутствовал граф Мирбах.

Через два дня его убили. Террористический акт должен был сорвать мир, спровоцировав Германию на нападение. Подобно бомбам террористов XIX века, он должен был также вызвать народное восстание против режима. Решение убить Мирбаха левые эсеры приняли вечером 4 июля после первого заседания съезда, когда стало ясно, что большинства, необходимого для изменения прогерманской и антикрестьянской политики правительства, им не получить. Их вотум недоверия большевикам, рассчитанный на поддержку левых коммунистов, провалился, и делегация покинула заседание.

Спиридонова — при всей её внешней мягкости в ней никогда не было недостатка террористической решимости — руководила

[117] В это же время Советская Россия открыла своё первое зарубежное посольство в Берлине.

подготовкой убийства. Она привлекла Якова Блюмкина, левого эсера и чекиста, по должности занимавшегося контрразведкой против немцев, и его фотографа Николая Андреева. Днём 6 июля они договорились о встрече с послом якобы для обсуждения дела графа Роберта Мирбаха, предположительно его родственника, арестованного по подозрению в шпионаже. После короткого разговора чекисты выхватили револьверы и открыли огонь. Пули не попали, Мирбах бросился бежать. Тогда Блюмкин метнул бомбу, от которой посол получил смертельные ранения. Оба убийцы выпрыгнули из окна; Блюмкина ранили в ногу. На ожидавшей машине они добрались до Покровских казарм Боевого отряда ЧК под командованием другого видного левого эсера Дмитрия Попова. Казармы стали штабом восстания. Ленина немедленно вызвали в германское посольство приносить извинения за убийство. Никогда прежде глава российского государства не подвергался подобному дипломатическому унижению.

Позднее в тот же день Дзержинский пришёл в Покровские казармы и потребовал выдать Блюмкина и Андреева. Но вместо этого Боевой отряд арестовал самого Дзержинского и объявил о присоединении к восстанию. Мятежники заняли штаб ЧК на Лубянке, захватив Лациса, временно замещавшего Дзержинского. Это было не уличное восстание, а дворцовый переворот внутри ЧК, ставший возможным из-за необычной беспечности большевиков. Левым эсерам позволили занять семь из двадцати мест в коллегии ЧК. Дзержинский назначил левого эсера Александровича своим заместителем и разрешил ему создать Боевой отряд как исключительно левоэсеровскую часть. Вечером 6 июля Александрович — который, по словам Спиридоновой, ничего не знал о заговоре против Мирбаха и присоединился к восстанию лишь в тот день — принял командование мятежными силами.

В этот момент левых эсеров почти ничто не мешало захватить власть. В Москве у них было две тысячи хорошо вооружённых бойцов против семисот, оставшихся верными режиму. Основная масса латышских стрелков — единственных надёжных войск, на которые большевики могли рассчитывать в столице, — праздновала Иванов день на Ходынском поле, месте катастрофы во время коронации Николая II в 1896 году. Из-за тумана, проливного дождя и грозы латыши не могли вернуться в город. Ленин был в состоянии паники: как Керенский в

октябре, он обнаружил, что защищать режим некому. Латышский командир Вацетис, которому поручили оборону правительства, вспоминал, как после полуночи его вызвали в Кремль, где «атмосфера напоминала фронтовой штаб на театре военных действий». Первый вопрос Ленина был: «Товарищ, продержимся до утра?»[77]

Но левые эсеры не попытались воспользоваться военным преимуществом. Они куда меньше хотели сами взять власть, чем поднять народное восстание, которое заставило бы большевиков изменить политику. Что произойдёт затем, они не знали и предпочитали предоставить это «революционному творчеству масс». Они были «поэтами революции» и, как все поэты, в душе анархистами. На каждом этапе отношений с большевиками те их переигрывали; и даже теперь, когда большевики фактически были у них в руках, они быстро упустили инициативу. Вместо похода на Кремль лидеры левых эсеров отправились в Большой театр, где заседал съезд Советов. Спиридонова произнесла длинную и характерно истерическую речь против большевистского режима. Пока она говорила, охрана окружила театр и перекрыла выходы. Большевистских делегатов выпустили, остальных арестовали. Левые эсеры сами вошли в ловушку.

Ночью большевики отбили Лубянку. Затем, под утро, силы Вацетиса разгромили Боевой отряд в Покровских казармах. Благодарные большевики наградили Вацетиса десятью тысячами рублей и командованием Восточным фронтом; в сентябре он стал главнокомандующим всей Красной армией. Но левые эсеры проиграли не столько Вацетису, сколько самим себе. Как выразился их товарищ Штейнберг, они потерпели поражение «не потому, что их руководители были недостаточно смелы, а потому, что их целью вообще не было свержение правительства».

Несколько сотен мятежников арестовали. Александровича и ещё двенадцать руководителей Боевого отряда расстреляли без суда 7 июля. Большинство остальных лидеров партии заключили в тюрьму и судили в ноябре; для той эпохи приговоры оказались удивительно мягкими — некоторые большевики вообще не хотели их наказывать, — а позднее осуждённых амнистировали. Спиридонову приговорили к году заключения, затем амнистировали, но в феврале 1919 года вновь арестовали, объявили душевнобольной и поместили в кремлёвские

казармы. Вскоре она бежала, завоевав симпатии охраны. Блюмкин тоже сумел скрыться, а позже вступил в большевистскую партию.

Как политическая сила левые эсеры после неудачи июля были разгромлены. Их активистов изгнали из Советов и вытеснили в подполье; сотни оказались в тюрьмах или были расстреляны.[78] Другие, выступавшие против июльского восстания, откололись и создали новую Партию революционного коммунизма. С устранением левых эсеров — единственной силы, которая хоть как-то сдерживала беззаконие ЧК, — началась новая волна террора. Ирония состояла в том, что первыми жертвами этой новой волны стали сами левые эсеры, прежде участвовавшие в работе ЧК.

* * *

После отречения в марте 1917 года Николай Романов, как теперь называли бывшего царя, вместе с семьёй и свитой находился под домашним — точнее, дворцовым — арестом в Царском Селе. Кроме ограничений свободы передвижения, они почти не испытывали лишений; огромные расходы на их содержание и питание скрывали от печати, опасаясь народного возмущения.[79] Их жизнь в эти месяцы напоминала затянувшуюся эдвардианскую загородную гостевую неделю — с той разницей, что «гости» были заперты в определённых комнатах, а вместо обычной охоты могли лишь недолго гулять по саду под надзором караула.

Николай почти не выказывал тоски по власти. Судя по дневникам, это были едва ли не самые счастливые дни его жизни. Освободившись от бремени должности, которое всегда тяготило его, он наконец мог жить той частной буржуазной жизнью, к которой постоянно стремился. Керенский, несколько раз посещавший бывшего царя в Царском Селе — императрица упорно называла его «Кедринским», — позднее писал, что «все, кто наблюдал его в заключении, единодушно говорили: Николай II казался вообще очень добродушным и, похоже, наслаждался новым образом жизни. Словно тяжёлое бремя упало с его плеч и он испытал огромное облегчение». Николай заполнял тихие дни семейными партиями в домино, чтением вслух «Графа Монте-Кристо», садоводством, греблей, теннисом и молитвами. Никогда прежде он так хорошо не спал.[80]

Первый этап заключения закончился в середине августа, когда царскую семью отправили в сибирский Тобольск. Керенский опасался за их безопасность. Всегда существовала вполне реальная опасность, что разъярённая толпа ворвётся во дворец и жестоко отомстит бывшему царю; ещё в марте такую попытку предприняла группа петроградских солдат. После июльских событий опасность только усилилась.

Первоначально предполагалось отправить царя и его семью в Англию, куда двоюродный брат Николая, Георг V, пригласил его в марте. Но Петроградский Совет решительно возражал и требовал заключить бывшего царя в Петропавловскую крепость. Кроме того, Георг V сам отозвал приглашение, опасаясь настроить против себя Лейбористскую партию, хотя Виндзоры долго и стыдливо скрывали этот факт.[118] Поэтому решено было отправить семью в Тобольск — далёкую провинциальную глушь, почти недоступную революционному влиянию, где их сравнительно удобно разместили в доме бывшего губернатора. Вместе с многочисленными дамами и господами свиты туда отправились два камердинера, шесть горничных, десять лакеев, три повара, четыре поварёнка, дворецкий, виночерпий, няня, писарь, парикмахер и два любимых спаниеля.[81]

Голощёкин убеждал Свердлова передать им Николая, утверждая, что из Тобольска ему легче бежать. Ходили слухи о монархических заговорах с целью освободить царскую семью — какие-то были реальными, какие-то воображаемыми, какие-то просто выдуманными. Свердлов прямо не отказывал — уральские большевики были не из тех, кого можно было легко отмахнуть, — но в действительности ЦК распорядился тайно доставить бывшего царя в Москву, где Троцкий

[118] Поэтому отказ британской королевской семьи посещать Россию в последующие семьдесят пять лет из-за убийства Романовых может показаться многим читателям изрядно пропитанным типично британским лицемерием. Положение бывшей царской семьи ухудшилось в первые месяцы 1918 года. Это чувствовалось в возрастающей грубости охраны, новых ограничениях свободы и исчезновении привычных прежде мелких роскошеств — масла, кофе. Перемены были связаны с событиями в расположенном неподалёку промышленном Екатеринбурге. В феврале областной съезд Советов Урала избрал большевистский президиум во главе с Филиппом Голощёкиным, старым большевиком и другом Свердлова. Екатеринбургские большевики славились своей воинственностью. Их возмущало сравнительно комфортное содержание бывшего царя, и они добивались его передачи под свой контроль — одни ради тюремного заключения, другие ради казни.

собирался устроить над ним большой показательный процесс по образцу суда над Людовиком XVI, выступив главным обвинителем. Троцкий предлагал:

> открытый суд, который развернул бы картину всего царствования — крестьянская политика, рабочий вопрос, национальности, культура, две войны и т. д. Процесс передавался бы по радио всей стране; в деревнях отчёты о заседаниях ежедневно читались бы и обсуждались.[82]

С этой целью в начале апреля Свердлов приказал комиссару Василию Яковлеву доставить Николая и, если возможно, остальных членов семьи живыми в Москву.[119] Яковлеву велели ехать через Екатеринбург, чтобы не вызвать подозрений местных большевиков: узнай они его настоящую задачу, они могли бы похитить и убить бывшего царя. В апреле Уральский областной Совет действительно принял соответствующую резолюцию, а один из екатеринбургских комиссаров Заславский устроил засаду с целью захватить Николая. «Не стоит тратить время на Романовых, — сказал Заславский Яковлеву после его приезда в Тобольск. — С ними надо покончить».[83]

Путь из Тобольска в Екатеринбург был опасен. Начиналась весенняя распутица, дороги заливало водой; у цесаревича вновь обострилась гемофилия, и перевозить его было невозможно. Москва приказала Яковлеву оставить остальных и ехать только с бывшим царём. Но Александра отказалась расставаться с Николаем,[120] и в конце концов они отправились вдвоём, оставив четверых детей, которые должны были последовать позже, в открытых повозках к Тюмени — ближайшей железнодорожной станции, в 170 милях. По пути они проехали через Покровское, родное село Распутина. Александра записала в дневнике: «Долго стояли перед домом нашего Друга, видели его семью и друзей, смотревших на нас из окон».[84]

---

[119] До недавнего времени роль Яковлева оставалась загадочной. Одни считали его большевистским агентом, другие — тайным белым, пытавшимся спасти царскую семью. Новые данные не оставляют сомнений, что он действовал по поручению Москвы, хотя в июле 1918 года, командуя 2-й Красной армией на Восточном фронте, действительно перешёл к белым.

[120] Царская чета боялась, что Николая увезут в Москву и заставят подписать Брестский договор. Сам факт, что они считали его подпись необходимой или желательной для большевиков, показывает, насколько далеко они уже находились от политической реальности.

После посадки на поезд в Тюмени Яковлев начал подозревать местных большевиков. Он слышал, что кавалерийский отряд собирается напасть на поезд по дороге в Екатеринбург и похитить царских пассажиров — «груз», как он называл их в шифрованных сообщениях в Москву. Поэтому он повёл поезд обходным путём на восток, через Омск. Это только усилило подозрения екатеринбургских большевиков: они решили, что Яковлев намерен спасти царя и, возможно, вывезти его в Японию.

Началась телеграфная борьба: и Яковлев, и Голощёкин требовали от Свердлова исключительных полномочий над бывшим царём. На этот раз Свердлов уступил Голощёкину и приказал Яковлеву повернуть обратно, в Екатеринбург. По-видимому, заверения Голощёкина, что царю и императрице не причинят вреда, убедили Свердлова наконец уступить этому влиятельному партийному лидеру. «С уральцами договорились, — телеграфировал он Яковлеву. — Они приняли меры и дали гарантии». Яковлев подчинился, но пророчески предупредил: если Николая привезут в Екатеринбург, он, вероятно, оттуда уже не выйдет живым. Свердлов не ответил.[85]

Царская чета прибыла в Екатеринбург 30 апреля; остальные члены семьи — 23 мая. На вокзале их встретила враждебная толпа. Их заключили в большой белый дом, отобранный накануне у отставного предпринимателя Николая Ипатьева. Большевики называли его Домом особого назначения — и именно там Романовы должны были погибнуть. Режим был строгим и унизительным. Вокруг дома возвели высокий забор, исключавший общение с внешним миром; затем окна закрасили. Охрана была откровенно враждебна. Солдаты сопровождали императрицу и дочерей даже в уборную, писали непристойности на стенах и присваивали вещи заключённых, сложенные в сарае. Помимо времени еды, пленники были заперты в своих комнатах. Чтобы убить время, Николай впервые в жизни прочитал «Войну и мир».

В первую неделю июля было принято решение убить всех находившихся под стражей Романовых. До самого краха советский режим утверждал, что убийство было совершено по собственной инициативе екатеринбургских большевиков. Но позднее опубликованные архивные документы убедительно показывают: приказ исходил от партийного руководства в Москве. На Западе об этом

фактически знали ещё по записи в дневнике Троцкого 1935 года, где он вспоминал разговор со Свердловым вскоре после убийства:

> Разговаривая со Свердловым, я спросил между прочим: «Да, а где царь?» — «Кончен, — ответил он. — Расстрелян». — «А семья где?» — «Семья вместе с ним». — «Все?» — спросил я, видимо, с оттенком удивления. — «Все», — ответил Свердлов. «А что?» Он ждал моей реакции. Я ничего не ответил. «А кто решил?» — спросил я. — «Мы здесь решили. Ильич считал, что нельзя оставлять белым живого знамени, особенно в нынешней тяжёлой обстановке…» Больше я не спрашивал и счёл вопрос закрытым.[86]

Новые архивные материалы лишь дополняют картину. В конце июня Голощёкин приехал в Москву на V съезд Советов. Его мнение, что Романовых следует убить, было хорошо известно. Он консультировался с Лениным, и в принципе решение было одобрено, хотя точной даты не назначили. 16 июля, уже вернувшись в Екатеринбург, Голощёкин отправил через Зиновьева шифрованную телеграмму Свердлову и Ленину: «по военным обстоятельствам» откладывать казнь больше нельзя.[87] Чехословацкий корпус окружал город; имея всего несколько сотен красногвардейцев, местные большевики почти не видели возможности безопасно эвакуировать царскую семью. В тот же день Москва через Пермь подтвердила: казнить немедленно. Подтверждение вполне могло исходить лично от Ленина.[88]

Почему большевики отказались от прежнего решения судить Николая в Москве и пошли на убийство? Военные соображения, вопреки мнению многих историков, были вполне реальны. Чехи заняли Екатеринбург 25 июля, через восемь дней после казни, но легко могли сделать это несколькими днями раньше: город был окружён, а их силы намного превосходили красные. Однако сомнительно, чтобы чехи или белые действительно захотели использовать столь жалкую и дискредитированную фигуру, как Николай, в качестве «живого знамени». Мёртвый царь-мученик был им полезнее живого, политически уже умершего. И Деникин, и Колчак были достаточно разумны, чтобы понимать: после 1917 года восстановление монархии практически невозможно, хотя монархисты среди их советников имелись. Возможно, большевики этого не понимали. Возможно, они

сами стали пленниками собственной пропаганды, представлявшей всех белых монархистами.

Но были и другие причины. К этому времени партийные руководители начали сомневаться в мудрости самого судебного процесса. Дело было не в том, что Николая могли оправдать. Троцкий был мастером политического процесса — его собственный суд в 1906 году это показал — и, несомненно, блестяще доказал бы, что самодержавный монарх, претендовавший на личное управление, лично ответствен за преступления режима. Не существовало и возможности, что бывшему царю позволят воспользоваться юридической роскошью в виде сильной защиты: российские Малезерб и де Сез — адвокаты Людовика XVI — к этому времени были либо в тюрьме, либо в изгнании.

Проблема была глубже — та самая, которую Сен-Жюст поставил в споре о суде над Людовиком: посадить свергнутого монарха на скамью подсудимых означало допустить саму возможность его невиновности. А значит — поставить под вопрос моральную легитимность революции. Суд над Николаем становился бы и судом над большевиками. Именно здесь они переходили из сферы права в сферу террора. В конечном счёте нужно было не доказать виновность царя — «нельзя царствовать невинно», как говорил Сен-Жюст, — а уничтожить его как конкурирующий источник легитимности. Николай должен был умереть, чтобы могла жить Советская власть.

4 июля охрану Романовых в доме Ипатьева взяла на себя местная ЧК. Яков Юровский, екатеринбургский начальник ЧК, возглавивший расстрельную команду, принадлежал к числу наиболее доверенных людей режима — безжалостный, честный, умный и жестокий. Брат говорил о нём: «Он любил угнетать людей».[89] Убийца царя был также евреем — факт, за который позднее пришлось расплачиваться евреям.

В ночь с 16 на 17 июля, около половины второго, Юровский разбудил царского врача и велел поднять остальных. В два часа все одиннадцать человек спустились в подвал. Николай нёс цесаревича; за ним шли императрица с дочерьми, врач и остальные слуги. Анастасия несла спаниеля породы кинг-чарльз по кличке Джой. По просьбе императрицы и Алексея, ещё не оправившегося после приступа кровотечения, принесли два стула. Никто, по-видимому, не понимал,

что сейчас произойдёт: им сказали, что в городе стреляют и в подвале безопаснее.

Через несколько минут Юровский вошёл с расстрельной командой — шестью венграми, которых обычно называют «латышами», и пятью русскими. Каждому заранее назначили жертву, но в тесной комнате стрелки оказались напротив не тех людей, а перестроиться было почти невозможно — убийцы и жертвы стояли практически вплотную друг к другу. Это отчасти и вызвало последующий хаос. Юровский зачитал приказ о расстреле. Николай попросил повторить; его последние слова были: «Что? Что?» Затем открыли огонь. Юровский выстрелил Николаю в упор из кольта. Императрица также погибла сразу. Пули рикошетили по тесной комнате, наполненной дымом. Когда спустя несколько минут стрельба прекратилась, Алексей ещё лежал живой в луже крови; Юровский добил его двумя выстрелами в голову. Анастасию, также подававшую признаки жизни, несколько раз ударили штыком.[90]

Учитывая все ныне известные доказательства, невозможно всерьёз предполагать, что кто-то из Романовых пережил эту бойню.[121] После убийства тела погрузили в грузовик и сбросили в несколько расположенных неподалёку шахт. Но они оказались слишком мелкими, и на следующий день тела извлекли. По пути к более глубоким шахтам машина застряла в грязи, и было решено закопать тела в земле. Чтобы затруднить опознание, лица облили серной кислотой. В этом не было ни необходимости, ни пользы. Могилы обнаружили лишь после распада Советского Союза; к тому времени анализ ДНК костей, доставленных в Британию в 1992 году, позволил без сомнений установить, что они принадлежали Романовым.[91]

На следующий день весть о казни достигла Ленина во время заседания Совнаркома. Наркомы подробно обсуждали проект декрета о здравоохранении, когда вошёл Свердлов и сообщил новость. Короткое сообщение о смерти царя встретили молчанием. Затем Ленин сказал: «Теперь перейдём к чтению проекта декрета по статьям».[92]

Официальное сообщение появилось в «Известиях» 19 июля. В нём говорилось только о смерти бывшего царя и утверждалось, будто «жена и сын Николая Романова отправлены в надёжное место». По-видимому,

[121] Единственным несомненно выжившим был спаниель Джой.

большевики боялись признаться в убийстве детей и прислуги — людей, совершенно очевидно, невиновных, — чтобы не потерять общественную поддержку. Но реакция оказалась удивительно вялой. «Население Москвы приняло известие с поразительным безразличием», — отметил Локкарт. Слухи о гибели остальных членов семьи вызвали мало эмоций. Взволнованы были почти исключительно монархисты. Брусилов — монархист сердцем и республиканец только разумом — отказывался верить слухам и каждую ночь молился за «пропавших Романовых».

Ложь продолжалась до 1926 года, когда в Париже вышла книга Соколова «Убийство царской семьи», основанная на результатах расследования комиссии Колчака. После этого официальную версию было уже невозможно поддерживать. Но к тому времени родилась легенда о том, что не все Романовы погибли. Она живёт и сегодня, несмотря на огромное количество доказательств обратного. Всё это лишь напоминает: художественный вымысел часто имеет больший спрос — и приносит большую прибыль — чем история.[93]

Почему убийство Романовых приобрело такое значение в истории революции? Можно возразить: речь всего лишь о нескольких людях, тогда как революции — судьба миллионов. Именно так рассуждали марксистские историки, склонные считать эпизод незначительным побочным событием. Э. Х. Карр, например, посвятил ему лишь одно предложение в своей трёхтомной истории революции. Но такой взгляд упускает глубинный смысл убийства. Это была декларация террора — заявление о том, что отныне отдельный человек в гражданской войне не значит ничего. Троцкий однажды сказал: «Нужно раз навсегда покончить с папистско-квакерской болтовнёй о святости человеческой жизни». Именно это ЧК и сделала. Вскоре после убийства Дзержинский заявил прессе:

> ЧК защищает революцию так же, как Красная армия; как в гражданской войне Красная армия не может останавливаться и спрашивать, не причинит ли она вред отдельным людям, а должна иметь в виду лишь одно — победу революции над буржуазией, так и ЧК обязана защищать революцию и побеждать врага, даже если её меч иногда падает на головы невинных.[94]

После убийства бывшего царя большевики расправились и с другими Романовыми.[122] Следующей ночью в Алапаевске на Северном Урале были убиты ещё шесть членов династии. Но теперь их смерть была лишь малой частью Красного террора.

* * *

Одной из самых страшных особенностей террора была его случайность. Полуночный стук в дверь мог прозвучать практически у любого. Большевики оправдывали террор гражданской войной против контрреволюции, но никогда ясно не объясняли, кого именно считать «контрреволюционером». Более того, режим сам жил в параноидальном страхе перед кольцом врагов, якобы действующих сообща: заговор Каплан, эсеро-меньшевистская оппозиция, белогвардейская реакция, интервенция союзников, восстание Савинкова в Ярославле,[123] крестьянские мятежи и рабочие забастовки — всё это представлялось частями одного заговора. При таком подходе «контрреволюционером» мог оказаться почти каждый. В этом смысле террор был войной режима против всего общества — способом запугать его и заставить подчиниться. «Террор, — писал Энгельс, — это бесполезные жестокости, совершаемые испуганными людьми».

Достаточно было пройти по тюрьмам ЧК, чтобы увидеть всю пестроту жертв. Бывший заключённый московской Бутырки вспоминал политиков, бывших судей, торговцев, купцов, офицеров, проституток, детей,[124] священников, профессоров, студентов, поэтов, недовольных рабочих и крестьян — словом, срез общества. Петроградская поэтесса

---

[122] Великий князь Михаил, брат Николая, был убит в июне.

[123] Борис Савинков, бывший заместитель военного министра Керенского во время корниловского кризиса, 6 июля возглавил восстание офицеров в Ярославле. Его поддержали местные рабочие и крестьяне, и восстание ненадолго распространилось на Муром и Рыбинск. 21 июля советские войска вернули Ярославль и в качестве возмездия расстреляли 350 офицеров и гражданских. Восстание объявили совместным делом эсеров, белогвардейцев, чехов и союзников. Подпольный «Союз защиты Родины и свободы» Савинкова был связан с московским Национальным центром, поддерживавшим Добровольческую армию, и получал деньги от чехов и союзников, ошибочно полагавших, что его единственная цель — создать русскую армию для возобновления войны с Центральными державами. Доказательств причастности союзников к заговору Савинкова против большевиков нет.

[124] Правительственная проверка московских тюрем в марте 1920 года установила, что дети младше семнадцати лет составляли около пяти процентов заключённых.

Гиппиус писала, что из-за Красного террора «буквально не осталось семьи, у которой кого-нибудь не схватили, не увели или кто-нибудь не исчез совсем»; для круга, в котором она вращалась, это, вероятно, было почти буквальной правдой.[95]

Многие жертвы ЧК были «буржуазными заложниками», схваченными без обвинения и содержавшимися для возможного внесудебного расстрела в ответ на очередной предполагаемый контрреволюционный акт. Большинство, конечно, никакими «буржуями» не были. Облавы проводились слишком грубо: иногда чекисты просто перекрывали улицу с обоих концов и арестовывали случайных прохожих. Людей хватали лишь за то, что они оказались рядом с местом «буржуазной провокации» — например, стрельбы или преступления, — либо потому, что были родственниками или знакомыми «подозрительных буржуев».

Одного старика арестовали после того, как при общей облаве у него нашли фотографию мужчины в придворном мундире: это был снимок давно умершего родственника, сделанный ещё в 1870-е годы. Многих хватали после единственного доноса о том, что они «буржуазные контрреволюционеры». Такие доносы часто вырастали из мелких ссор и личной мести. Военного инспектора Якова Хоэльсона арестовали в ноябре после того, как двое людей пролезли перед ним в очередь в Московскую оперу. Они закричали «Провокация!» и пожаловались швейцару, будто Хоэльсон и ещё двое сами нарушили очередь. Вызвали ЧК — и Хоэльсона забрали. Мелкого чиновника Николая Кочаргина в том же месяце арестовали после спора с приятелем по работе, вернувшим ему долг фальшивыми купонами. Кочаргин пошёл жаловаться в ЧК — и на следующий день оказался под арестом, потому что должник первым донёс, будто именно он торгует поддельными купонами.[96]

Особенно обычны произвольные аресты были в провинции, где местные чекистские начальники чувствовали себя полновластными хозяевами и вели собственные гражданские войны террора. Но ленинский принцип — лучше арестовать сто невиновных, чем рискнуть отпустить одного врага режима — сделал массовые и неразборчивые аресты общей чертой системы.

Пешехонов, министр продовольствия при Керенском, сидевший на Лубянке, вспоминал разговор с товарищем по заключению, профсоюзным деятелем из Владимира, который никак не мог понять, за что его арестовали: он всего лишь приехал в Москву и поселился в гостинице. «Как ваша фамилия?» — спросил другой заключённый. «Смирнов», — ответил тот, назвав одну из самых распространённых русских фамилий.

> «Ну вот фамилия и стала причиной ареста, — сказал подошедший мужчина. — Позвольте представиться. Я тоже Смирнов, из Калуги. На Таганке нас было семеро Смирновых, а говорят, в Бутырке ещё больше… На Таганке каким-то образом выяснили, что некий Смирнов, большевик из Казани, исчез с большой суммой денег. Москву уведомили, и милиции приказали арестовывать всех Смирновых, прибывающих в столицу, и отправлять в ЧК. Ищут того самого казанского Смирнова».
>
> «Но я никогда не был в Казани», — возразил владимирский Смирнов. «Я тоже, — ответил калужский. — Я вообще не большевик и становиться им не собираюсь. Но вот я здесь».[97]

Письма семей жертв Дзержинскому позволяют лучше почувствовать человеческую трагедию за каждым арестом. 5 ноября писала Елена Мошкина. Её муж Володя, двадцатисемилетний инженер Московского Совета, сидел в Бутырке как «буржуазный заложник» по обвинению в принадлежности к Союзу домовладельцев. В союз Мошкин когда-то вступил от имени матери, но её дом был продан ещё в 1911 году, после чего он вышел из организации. Елена просила взять в тюрьму её вместо мужа: у них было двое маленьких детей, а жить они могли только на его зарплату. Заплатить пять тысяч рублей выкупа, потребованных местным начальником ЧК, они не могли; тот сам признал, что никаких доказательств против её мужа нет и что он всего лишь «заложник богатых». На письме Мошкиной красным карандашом появилась резолюция: «В архив».[98]

18 ноября Дзержинскому писала Любовь Куропаткина. Её муж Павел находился в Пскове как «буржуазный заложник». Солдаты его полка дважды избирали его офицером — после Февраля и после Октября, несмотря на царский чин капрала и преклонный возраст, шестьдесят восемь лет. После большевистского захвата власти он водил

полк на Пулковские высоты против войск Керенского. За это солдаты позволили ему сохранить сбережения — пятьдесят тысяч рублей, которые он затем пожертвовал Совету в Красном Селе.

В апреле 1918 года Куропаткин заболел малярией и вместе с женой поселился в деревне под Псковом, обрабатывая маленький надел. Его арестовали до первого урожая. Жена осталась одна кормить семерых малолетних детей и глубокого старика-отца. Двое взрослых сыновей служили в Красной армии, ещё один пропал в венгерском плену. «У меня всегда было слабое здоровье, физически работать я не могу, а постоянный страх за мужа меня совсем сломил. Я не в состоянии проехать шестьдесят вёрст до тюрьмы в Холме, чтобы увидеться с ним». И на этом письме появилась та же резолюция: «В архив».[99]

Надежда Брусилова также писала Дзержинскому. Сам Брусилов был арестован вскоре после полуночи 13 августа и помещён на Лубянку. Его квартиру, вероятно, уже наблюдали: в тот же вечер к генералу приходили два агента Комуча, предлагавшие большую сумму за поездку в Самару и помощь в руководстве формировавшейся Народной армией. Брусилов отказался, но это не спасло его от ареста, а агентов Комуча — от расстрела. При обыске чекисты забрали все награды Брусилова: потеря последних материальных остатков разрушенного прошлого должна была быть для него особенно мучительной.

Официального обвинения ему не предъявили. Надежде сообщили, что он даже не «арестован», а лишь «взят под стражу», чтобы не попасть в руки противников режима. «Его имя слишком популярно», — объяснил один чекист. Сам Дзержинский сказал Брусилову, что имеются «сведения»: Локкарт якобы готовит переворот в Москве и собирается провозгласить генерала «диктатором». Брусилов ответил, что никогда не встречался с британским агентом. Дзержинский откровенно признал: «Всё равно рисковать нельзя — за вашим именем пойдут люди».[125] Когда генерал спросил, что сделать для ускорения освобождения, глава ЧК был не менее прям: «Напишите воспоминания о старой армии и ругайте старый режим». В октябре Брусилова наконец

[125] В то же время был арестован брат Брусилова Борис и ещё трое членов семьи. Их держали как «заложников» и предписывали расстрелять в случае перехода Брусилова к антибольшевистским силам. Бориса, больного гриппом, буквально забрали из постели. Через несколько дней он умер в тюрьме без медицинской помощи.

выпустили и поместили под домашний арест. Без лекарств для повреждённой ноги он, должно быть, перенёс такие страдания, что этот великий русский патриот просил тюремщиков разрешить ему с семьёй выехать из России и поселиться «в какой-нибудь нейтральной стране».[100]

Условия в чекистских тюрьмах в целом были значительно хуже, чем в царских. Правительственная проверка московской Таганской тюрьмы в октябре 1918 года обнаружила переполненные камеры, отсутствие воды, совершенно недостаточное питание и отопление, нечистоты, сваленные прямо во дворе. Почти половина полутора тысяч заключённых хронически болела, десять процентов — тифом. В камерах находили трупы.

Петропавловская крепость, великий символ царского тюремного государства, стала ещё страшнее. Меньшевик Дан, сидевший там ещё в 1896 году, вновь оказался за её стенами весной 1921-го. Раньше в камере держали одного человека, теперь — двух-трёх; впервые туда стали помещать и женщин. Дана вместе с сотнями других держали в подвале, где прежде располагались продовольственные склады. В каждой крошечной камере теснились по четыре человека. Стены «сочились сыростью», света не было, кормили раз в день и никогда не выводили на прогулку.[101] На этом фоне прежний царский режим выглядел почти санаторием: до 1917 года большинство узников могли получать от родных пищу, сигареты, одежду, книги и письма.

Многие самые печально известные методы ЧК были заимствованы у царской полиции. Провокаторы, осведомители и пытки ради признаний и доносов пришли прямо из арсенала охранки.[126] Это неудивительно — и не только потому, что, по словам Флобера, «в каждом революционере скрывается жандарм». Большевики сами годами сидели в царских тюрьмах. Систему они буквально изучили изнутри — и теперь применяли её с лихвой. Дзержинский до назначения главой ЧК провёл половину взрослой жизни в царских тюрьмах и на каторге. Неудивительно, если теперь он заставлял других испытывать ту же жестокость, которую пережил сам. Ненависть и равнодушие к человеческому страданию в той или иной степени укоренились в

[126] В 1980-е годы КГБ всё ещё обучал новых сотрудников по пособиям царской охранки.
* * *

сознании многих большевистских руководителей — и тюремное прошлое, несомненно, сыграло здесь свою роль.

Изобретательность методов пыток ЧК могла соперничать лишь с испанской инквизицией. У каждой местной ЧК была своя «специализация». В Харькове применяли «перчатку»: руки жертвы обваривали кипятком, пока вздувшуюся кожу можно было снять, оставляя кровоточащую плоть, а мучителям — «человеческие перчатки». В Царицыне распиливали кости. В Воронеже голых жертв катали в бочках, утыканных гвоздями. В Армавире давили череп кожаным ремнём с железным винтом. В Киеве к туловищу привязывали клетку с крысами и нагревали её, так что обезумевшие животные прогрызали себе путь наружу сквозь тело человека. В Одессе жертв привязывали к доскам и медленно вдвигали в печь или чан с кипятком. Любимой зимней пыткой было обливать голого человека водой, пока он не превращался в живую ледяную статую. Другие ЧК предпочитали психологическое истязание: жертву выводили будто бы на расстрел, а затем стреляли холостым; людей закапывали живьём или запирали в гроб вместе с трупом; заставляли смотреть, как пытают, насилуют или убивают их близких.

Садистов среди чекистов было немало. Пытки превращались для них в спорт, соревнование в изощрённости жестокости. Некоторые жертвы вспоминали, как чекисты стояли рядом и смеялись. Бывали даже «охоты на людей». Большинство садистов были очень молодыми мужчинами, подростками и двадцатилетними, ожесточёнными войной и революцией; многие стремились доказать собственную «твёрдость». Есть свидетельства, что среди них было непропорционально много нерусских — поляков, латышей, армян и евреев, поскольку эти национальности широко были представлены в ЧК. Ленин действительно предпочитал использовать их, утверждая, что русские «слишком мягки» для «суровых мер» террора. Однако многие способы убийства, применявшиеся ЧК, напоминали жестокие формы расправы, бытовавшие в русской крестьянской среде.

Женщины также участвовали в садистском насилии. Вера Гребенникова, например, по утверждениям современников, за два месяца в Одессе убила более семисот человек, многих собственными руками. Ревекка Платинина-Майзель в Архангельске убила более сотни,

включая всю семью бывшего мужа, которую распяла в акте чудовищной мести.

Постоянное насилие настолько отупляло психику, что некоторые чекисты сходили с ума. Бухарин говорил, что психические расстройства — профессиональная болезнь чекиста. Многие закаляли себя водкой и наркотиками. Харьковский садист Саенко, мастер «перчатки», например, был кокаинистом. Чтобы отстраниться от убийства, чекисты выработали гангстерский жаргон: расстреливать означало «стрелять куропаток», «запечатать» человека или дать ему «нацокал» — звукоподражание щелчку спуска.[102]

Казни были конечным продуктом этой машины террора. Во дворах и подвалах, на пустырях за городами в годы гражданской войны были без суда расстреляны десятки тысяч людей. Перед оставлением города белым ЧК могла просто «разгрузить» целую тюрьму. Ночами города пытались уснуть под звуки выстрелов.

Сами большевики, однако, почти не теряли сна. В 1919 году на заседании Совнаркома Ленин написал записку Дзержинскому: «Сколько опасных контрреволюционеров у нас в тюрьме?» Тот ответил: «Около 1500». Ленин посмотрел, поставил рядом с цифрой крестик и вернул бумажку. Той ночью по распоряжению Дзержинского в Москве расстреляли 1500 заключённых. Оказалось, это была страшная ошибка. Ленин вовсе не отдавал приказ о казни: крестиком он обычно отмечал то, что прочёл и принял к сведению. Из-за простой ошибки Дзержинского полторы тысячи людей потеряли жизнь.[103]

Красный террор вызвал протесты во всех слоях общества. Патриарх Тихон осудил насилие и атмосферу страха, созданную большевиками, напомнив евангельское пророчество: «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Оппозиционные партии клеймили террор в подпольных газетах. Знаменитый философ-анархист князь Кропоткин, чью дочь арестовали в августе 1918 года,[127] 17 сентября направил большевистскому вождю, ещё оправлявшемуся от пуль Каплан, длинное и горькое письмо: «Ввергнуть страну в красный террор, а тем более брать заложников, чтобы охранять жизнь её правителей, — недостойно

[127] Дочь Кропоткина была арестована по дороге в Англию, где имела хорошие связи с профсоюзным движением и собиралась добиваться продовольственной помощи голодающим детям России. Её задержали в Ямбурге.

партии, называющей себя социалистической, и позорно для её руководителей». Рабочие также осуждали кровавый террор, совершавшийся якобы от их имени. «Хватит крови! Долой террор!» — провозгласил в сентябре Всеукраинский совет профсоюзов. «Красный — цвет правды и справедливости, — заявили железнодорожники Козлова. — Но при большевиках он стал цветом крови».[104]

Как «совесть революции», Горький был самым громким критиком террора. Сотни людей — от поэтов до крестьян — писали ему, умоляя спасти близких. Горький чувствовал сильнейшую моральную обязанность сделать всё, что в его силах. «Я их единственная надежда», — говорил он Екатерине. Именно тогда гуманист окончательно взял в нём верх над революционером: судьба отдельного человека стала для него важнее любой абстрактной цели.

Он забрасывал большевистских руководителей бесчисленными письмами с требованием освободить невиновных из чекистских тюрем. Тон становился всё более резким. «По-моему, — писал он Зиновьеву в марте 1919 года, протестуя против ареста одного учёного, — такие аресты нельзя оправдать никакими политическими соображениями… Отвратительные преступления, совершённые вами в Петербурге за последние недели, покрыли режим позором и вызвали всеобщую ненависть и презрение к его трусости». В октябре того же года он обратился к Дзержинскому с просьбой освободить профессора Тонкова, президента Военно-медицинской академии: «Все эти аресты я считаю актом варварства, сознательным уничтожением лучших умов страны и заявляю, что такими действиями Советская власть сделала из меня своего врага».[105]

Некоторые протесты Горького шли прямо Ленину. Большевистский вождь снисходительно относился к попыткам любимого писателя спасать человеческие души из революционной печи. По отдельным делам он даже вмешивался. Писатель Иван Вольный, например, был освобождён из орловской тюрьмы ЧК совместными усилиями Горького и Ленина.[106] Но общую критику террора Ленин отвергал.

Отвечая, например, на жалобу по поводу ареста Тонкова, он признавал в письме Горькому, что «ошибки были». Но затем оправдывал общий принцип превентивного заключения людей вроде Тонкова, подозреваемых в близости к кадетам. В этом письме Ленин

особенно ясно обозначил разницу между собой и Горьким — ту же фундаментальную разницу между большевиками и демократическими социалистами в вопросе о средствах и целях:

> Читая ваше откровенное мнение по этому поводу, я вспоминаю ваше выражение: «Мы, художники, люди безответственные». Именно так! Вы произносите невероятно злые слова — о чём? О нескольких десятках (может быть, даже сотнях) кадетских и околокадетских господ, которые проведут несколько дней в тюрьме, чтобы предупредить заговоры… угрожающие жизни десятков тысяч рабочих и крестьян. Вот уж бедствие! Какая несправедливость! Несколько дней, даже недель тюрьмы для интеллигентов ради предотвращения резни десятков тысяч рабочих и крестьян! Художники — люди безответственные.[107]

В самой партии тоже существовали критики — не столько террора как такового, сколько его излишеств. Каменев, Бухарин и Ольминский возглавили борьбу против злоупотреблений ЧК. По существу они продолжали дело левых эсеров из Наркомюста, которые до июля пытались подчинить ЧК государству. Кампания достигла вершины в ноябре, когда прозвучало требование распустить ЧК и заменить её новым органом террора, непосредственно подчинённым ВЦИК. Но «твёрдые люди» партии — Ленин, Сталин и Троцкий — решительно выступили в защиту ЧК. Последующие попытки умерить её деятельность, например положение февраля 1919 года, мало что изменили. Формально подчинённая Наркомюсту, ЧК продолжала работать по-старому — как государство в государстве, обходя его контроль. Единственный реальный надзор осуществляли большевистский ЦК, а с 1919 года — Политбюро. Ленин лично внимательно следил за деятельностью ЧК и защищал её от критики и реформ.

Именно при Ленине, а не при Сталине, ЧК выросла в огромную полицейскую державу. Она создала собственную левиафанскую инфраструктуру — от домовых комитетов до концентрационных лагерей — и насчитывала более четверти миллиона служащих. Это были большевистские опричники, ненавистная полиция Ивана Грозного. Во время гражданской войны именно они должны были обеспечить выживание режима на так называемом «внутреннем фронте».

Террор стал неотъемлемой частью большевистской системы гражданской войны. Точного числа репрессированных и убитых ЧК в эти годы уже никто не узнает. Но оно, несомненно, измерялось сотнями тысяч, если считать не только расстрелянных, но и заключённых в лагеря и тюрьмы, а также убитых чекистскими войсками при подавлении забастовок и восстаний. Хотя точных цифр не существовало, вполне возможно, что ЧК убила больше людей, чем погибло непосредственно в боях гражданской войны.

ГЛАВА 14

НОВЫЙ РЕЖИМ ТОРЖЕСТВУЕТ

i. Три решающих сражения

12 октября 1918 года князь Львов писал американскому предпринимателю Чарльзу Крейну:

> Большевизм нашёл плодородную почву в низменных и анархических инстинктах народа. В этом смысле это русская болезнь, и излечить её можно лишь иностранным вмешательством. Восстановить порядок и здоровые силы России возможно только под защитой организованной армии.

Князь давно связывал надежды на освобождение России с Соединёнными Штатами. В отличие от многих контрреволюционеров, он не питал иллюзий насчёт народного восстания против большевиков. Четыре хаотических месяца во главе Временного правительства сделали его скептиком относительно способности русского народа быть созидательной демократической силой. «Георгий совсем пал духом, — записала его тётка после встречи с ним в екатеринбургской тюрьме ЧК 13 марта. — Он убеждён, что у России нет сил организовать собственное спасение, потому что она разрушена и помощь может прийти лишь извне». Львов не верил в казачскую Вандею на юге. Весной он смотрел на Сибирь, где вероятность вмешательства союзников казалась выше.[1]

Три месяца Львов провёл в тюрьме. Его большевистский тюремщик, бывший петербургский мастер по изготовлению пианино, быстро проникся к князю симпатией и позволил тому использовать знания агронома во благо заключённых: Львов реорганизовал тюремное хозяйство, благодаря чему у них появились мясо и свежие овощи. Даже за решёткой он продолжал практические земские реформы, которыми занимался всю жизнь.

Голощёкин хотел расстрелять Львова за предполагаемое участие в контрреволюционном заговоре. Но местный комиссар юстиции, левый эсер Поляков, сомневался в обвинении, а судьи, не располагая доказательствами, в конце концов были вынуждены его освободить. Существует рассказ — хотя он никогда не был доказан, — будто Ленин

просил екатеринбургское руководство отпустить бывшего премьера. После освобождения Львов бежал в Омск и присоединился к Сибирскому правительству. По его поручению в сентябре он отправился через Владивосток в Соединённые Штаты, чтобы добиться интервенции союзников на стороне белых.[2]

До тех пор история союзнической интервенции скорее напоминала фарс. Ни одна западная держава толком не понимала, чего хочет в Сибири, но ни одна и не желала остаться в стороне. Под предлогом охраны союзнических складов и Транссибирской магистрали во Владивостоке высадились западные войска. Первыми в начале июля прибыли англичане — Мидлсекский батальон под командованием полковника Уорда, депутата-лейбориста от Сток-он-Трента. Это была настоящая армия «папаш». Набранный из мужчин, признанных непригодными к фронтовой службе, батальон прозвали «грыжевым». В новенькой, явно неподходящей для сибирского климата форме хаки они быстро стали предметом насмешек: скорее пища для карикатуристов, чем для пушек.

Вскоре прибыли французские и американские части, затем японцы, однако цели их присутствия оставались неясными. Западные державы хотели устойчивого правительства в Сибири, чтобы воскресить русскую армию и восстановить Восточный фронт против Центральных держав. Япония, мечтавшая присоединить русский Дальний Восток, напротив, была заинтересована в нестабильности. Обе стороны пытались использовать казачьего атамана Григория Семёнова, чей режим в Чите претендовал на контроль над горным районом к востоку от Байкала. На деле Семёнов служил лишь себе. Как и другие дальневосточные военные вожди — Калмыков и Унгерн-Штернберг, — он был скорее разбойником, чем политиком. Его наёмники грабили и убивали местное население с неописуемой жестокостью. Едва ли когда-либо налоги западных демократий тратились столь преступным образом.[3]

С появлением Колчака союзники наконец получили русского национального героя, которого могли уверенно поддержать против большевиков. Благодаря генералу Ноксу, главе британской военной миссии, Колчак получил от Лондона больше помощи, чем любой другой белый руководитель. В январе 1919 года в Омск направили второй британский батальон и небольшой морской отряд, воевавший с

красными на Каме; сам Нокс занялся подготовкой колчаковских офицеров во Владивостоке. Но решающее значение имела поддержка США: другие западные державы, несомненно, последовали бы за Вашингтоном. «Всё зависит от Америки», — писал Львов Крейну из Токио.[4]

15 ноября князь наконец прибыл в Вашингтон. Все его надежды теперь были сосредоточены на встрече с президентом. Как лидер свободного мира Вудро Вильсон, казалось Львову, непременно должен осознать моральный долг поддержать свободу в России. Это, конечно, была наивная мечта: после окончания мировой войны американцы не собирались отправлять новые войска в Сибирь. Но, как многие русские либералы, Львов идеализировал «страну свободы». «Я убеждён, — писал он Крейну, — что мировая война рождает новый мировой порядок под руководством Соединённых Штатов». Он также был уверен, что Вильсон разделяет его либеральные идеалы: встреча должна была стать союзом не только умов, но и сердец.

21 ноября они наконец встретились. Беседа длилась всего пятнадцать минут. Вильсон был любезен, но обсуждать отправку дополнительных войск не хотел. По воспоминаниям одного помощника президента, после встречи тот сказал лишь: «Вы заметили, какая у князя замечательная борода?»[5]

Обычного человека такого разочарования хватило бы, чтобы разбить все надежды. После трёх месяцев путешествия вокруг света Львов остался ни с чем. Но князь был необыкновенно упорен и продолжил свою нравственную миссию в Париже. Там Колчак и Деникин поставили его во главе своей делегации, сформированной из Русского политического совещания,[128] чтобы на Версальской мирной

---

[128] Другими членами делегации были В. А. Маклаков, посол Керенского в Париже; Сазонов, министр иностранных дел Колчака и прежде Николая II; и старый народник Н. В. Чайковский, глава Северной области в Архангельске. Русское политическое совещание представляло собой находившееся в Париже правительство в изгнании из бывших дипломатов и общественных деятелей. Среди его членов были Савинков, Набоков, Струве и Коновалов. …чехами в обмен на гарантированный проезд во Владивосток, откуда они наконец могли отплыть в Соединённые Штаты и, завершив кругосветный путь, вернуться домой. Ни Политический центр, ни союзнические миссии ничего не сделали, чтобы спасти адмирала. 21 января его допросила комиссия из пяти человек — двух большевиков, двух эсеров и одного меньшевика. Существовал план доставить Колчака в Москву и устроить над ним публичный процесс. Но, как и в случае с процессом над Николаем II, от этого замысла отказались, и 6 февраля Колчака

конференции в январе добиваться помощи союзников и дипломатического признания. Признания не последовало: союзники предпочитали сохранять лицемерный нейтралитет в русской гражданской войне. Но благодаря Львову и его делегации Колчак получил огромные партии оружия. За первые шесть месяцев 1919 года его армия получила от союзников миллион винтовок, 15 тысяч пулемётов, 700 полевых орудий, 800 миллионов патронов, а также одежду и снаряжение для полумиллиона человек. Это приблизительно равнялось всему советскому производству боеприпасов за 1919 год и было вполне достаточно для крупного наступления. Тридцать тысяч союзнических солдат — чехов, американцев, англичан, итальянцев и французов — охраняли тыл Колчака и поддерживали четырёхтысячемильную линию снабжения по Транссибу от Владивостока до Омска.[6]

Под этой защитой Колчак наращивал силы, готовя раннее весеннее наступление на красных. Некоторые позднее утверждали, что он ударил слишком рано и следовало дождаться лета, когда Деникин мог соединиться с ним для общего наступления на Волге. Но тогда существовали серьёзные причины торопиться. Колчаку нужна была победа, чтобы обеспечить дальнейшую помощь и признание союзников. Казалось, красные находятся на грани краха.

В канун Рождества войска Колчака захватили важнейший промышленный город Пермь, разгромив 3-ю Красную армию. Это открывало возможность наступления к Архангельску, где союзники установили белое правительство русского генерала К. Е. Миллера. «Пермская катастрофа» явно была результатом хронического разложения красного тыла. Солдат бросали в бой без подготовки. Не имея ни достаточного питания, ни зимней одежды для арктических условий, они массово сдавались белым. От них белые узнавали о критическом положении за Красным фронтом. Мобилизации и реквизиции вызвали мощную волну крестьянских восстаний. Красный террор уничтожил тысячи невиновных в городах Урала и настроил

приговорили к расстрелу. Возможно, красные опасались, что остатки его армии, собиравшиеся неподалёку от города, попытаются его освободить. А возможно, большевикам просто было удобнее видеть его мёртвым.[^kolchakorder] Рано утром следующего дня Колчака расстреляли. Его тело опустили под лёд реки Ушаковки.

против большевиков почти всё население, включая рабочих. Особенно тяжёлыми были отношения с татарами и башкирами Волго-Уральского региона. Красных, по словам одного их комиссара, воспринимали как «враждебную оккупационную армию, лишающую мусульман автономии и попирающую их обычаи».[7]

Наступление Колчака разворачивалось на трёх направлениях. Главной ударной силой была Западная армия генерала Ханжина, в начале марта двинувшаяся к Уфе. Она состояла из остатков Народной армии Комуча и крестьянских мобилизованных. К ней примыкали десять тысяч рабочих-добровольцев с оружейных заводов Ижевска и Воткинска, бежавших к Колчаку после подавления их ноябрьского восстания против большевиков. На правом фланге действовала Сибирская армия Гайды, также в основном состоявшая из крестьянских новобранцев и наступавшая на Вятку. На левом — оренбургские и сибирские казаки, сражавшиеся вместе с башкирскими частями генерала Дутова. Они должны были взять Оренбург и соединиться с белыми на юго-восточной степи, тем самым отрезав красных в Средней Азии. Всего на фронте у Колчака было около ста тысяч человек.

К середине апреля колчаковские войска продвинулись более чем на двести миль и заняли территорию больше Великобритании. Волга была уже в нескольких днях пути. Но в красном тылу в это время бушевало крупнейшее на тот момент крестьянское восстание — «чапанная война», названная по местному слову «чапан», крестьянская верхняя одежда. Она охватила целые уезды Симбирской и Самарской губерний под лозунгом: «Да здравствуют Советы! Долой коммунистов!»[8] Белые уверенно говорили о «гонке на Москву». В Париже Львов видел, как растёт престиж Колчака у союзников. Омску открывали новые крупные кредиты. Казалось, международное признание белого режима совсем близко.

Но 28 апреля красные перешли в контрнаступление. Его возглавил Михаил Фрунзе, позднее ставший советским героем, а тогда ещё сравнительно малоизвестный большевик. Бывший рабочий чуть старше тридцати, он получил свой главный военный опыт, командуя красной бригадой в боях за власть в Москве. Тысячи членов партии мобилизовали и отправили на Восточный фронт. Недавно созданный комсомол направил три тысячи человек. Советам приказали набирать по

десять-двадцать призывников с каждой волости. Из-за сопротивления крестьян явилось лишь тринадцать тысяч — чуть больше двух на волость, — но и этого хватило, чтобы изменить соотношение сил. В мае к красным перешло большинство башкирских частей.

К середине июня Фрунзе отбросил армии Колчака туда, откуда они начали наступление, восточнее Уфы. Затем уральские города стали падать перед красными один за другим, словно домино, а белые отступали в панике. К середине августа были потеряны Оренбург, Екатеринбург и важнейший железнодорожный узел Челябинск. Дорога на Омск практически открылась. У Колчака оставалось менее пятнадцати тысяч бойцов — едва восьмая часть сил, имевшихся на пике наступления.[9]

Военных причин краха было много. Но за каждой стояла политика. Это был классический случай военного перенапряжения, когда режим в тылу не имел политических средств поддержать армию на фронте.

Прежде всего — командование. Способных военачальников в армии Колчака было крайне мало. Из семнадцати тысяч офицеров лишь пять процентов получили профессиональную подготовку до войны; большинство были молодыми прапорщиками военного времени. Генералу Лебедеву, фактическому руководителю армии, было всего тридцать шесть. До революции он был полковником Генерального штаба. Как большинство высших колчаковских командиров, он лучше разбирался в политических интригах, чем в военном искусстве. По словам барона Будберга, руководители армии «видели в себе не только военный, но и политический корпус». В конце концов это была военная диктатура.

Вокруг командиров быстро возникли политические группировки, и армия распалась едва ли не на набор отдельных отрядов, каждый из которых вёл собственную войну. Чем сильнее армия политизировалась, тем больше разрасталась её бюрократия в сравнении с реальными боевыми силами. На пике наступления в одном только омском штабе служило две тысячи офицеров, управлявших стотысячной армией. Даже в Семипалатинске, за полторы тысячи миль от фронта, штаб насчитывал более тысячи человек. Слишком многие командиры вместо фронта сидели в тыловых кабинетах и кафе.[10]

Не лучше обстояло снабжение. Колчаковская армия испытывала нехватку почти во всём — даже сильнее, чем ленинская. Питаться приходилось за счёт деревень в прифронтовой полосе, что часто означало насильственные реквизиции и отчуждало именно тех людей, которых белые якобы пришли освобождать. Отчасти проблема была следствием близорукой экономической политики Колчака. Он не хотел расходовать царский золотой запас для борьбы с инфляцией. По мере обесценения омских денег крестьяне переставали везти продукты на рынок. Разрушенная сибирская промышленность почти не восстанавливалась: её просто списали как очаг большевистского влияния. Потребительские товары и военное имущество приходилось везти железной дорогой от Тихого океана — за четыре тысячи миль.

Многое задерживали бандиты восточнее Байкала и крестьянские партизаны. Целые эшелоны перенаправляли железнодорожники, многие из которых сочувствовали красным, а все получали ничтожное жалованье. В самом Омске ценное имущество растрачивали коррумпированные чиновники. Продажность режима вошла в поговорку. Штаб армии Гайды получал продовольствие на 275 тысяч человек, хотя в боевых частях было всего тридцать тысяч. Английские сигареты Embassy, ввезённые для солдат, курила омская публика. В британской форме и даже форме сестёр милосердия ходили гражданские, тогда как солдаты оставались в лохмотьях. На чёрном рынке продавали даже союзнические боеприпасы. Нокса прозвали «главным интендантом Красной армии»: Троцкий даже отправил ему шуточное письмо с благодарностью за помощь в снабжении красных.[11]

Атмосфера омского режима была пропитана нравственным разложением и мелкой коррупцией. Кокаин и водку потребляли в огромных количествах. Кафе, казино и публичные дома работали круглые сутки. Сам Колчак подавал пример, роскошно живя в Омске с любовницей, пока жена с сыном находились в Париже. Адмирал совершенно не умел выбирать подчинённых и набил министерства посредственными прихлебателями старого режима. «Компания ужасна, — жаловался он жене. — Меня окружают нравственное разложение, трусость, жадность и предательство». Но виноват был во многом он сам. Если бы он не оттолкнул земства — главный местный источник административных кадров, — положение могло быть лучше.

Военный министр Будберг был потрясён увиденным:

> В армии — разложение; в штабе — невежество и неспособность; в правительстве — нравственная гниль, раздоры и интриги честолюбивых эгоистов; в стране — восстание и анархия; в общественной жизни — паника, себялюбие, взятки и всякого рода мерзость.

При такой атмосфере ничего серьёзного не делалось. Ведомства снабжения были заполнены коррумпированными и ленивыми чиновниками, месяцами составлявшими бессмысленную статистику, проекты законов и доклады, которые затем отправлялись в архив и забывались. «Весь режим, — заключал Будберг, — одна форма без содержания; министерства напоминают огромные и внушительные ветряные мельницы, усердно вращающие крылья, но лишённые жерновов, а большая часть внутренних механизмов либо сломана, либо отсутствует».[12]

Главной слабостью армии Колчака была её неспособность мобилизовать местное население. Наступление остановилось из-за нехватки пополнений, а слишком многие призывники разбегались. Прежде всего это была крестьянская проблема. Правда, удар по белому наступлению нанёс переход башкир и казаков на южном фланге, позволивший Фрунзе прорваться. Но подавляющее большинство населения Западной Сибири и Волго-Камского края, где решалась судьба кампании, составляли русские и украинские крестьяне.

На первый взгляд сибирскому крестьянину нечего было ненавидеть белых. К востоку от Урала почти не существовало крупного помещичьего землевладения, а значит, отсутствовал главный фактор, связывавший центральнороссийское крестьянство с революцией. Большинство старожилов были сравнительно зажиточными хозяйствами, сочетавшими земледелие и молочное животноводство; казалось бы, у них должен был быть интерес в белом послевоенном порядке, основанном на частной собственности. И всё же восточносибирские крестьяне шли в армию Колчака столь же неохотно, как западные.

Отчасти виноват был образ режима. Колчаковскую власть — справедливо или нет — связывали с восстановлением царского строя. Об этом напоминали офицерские погоны и царско-феодальные методы

местных чиновников, которые нередко секли крестьян за неповиновение. Это неизбежно сталкивало режим с сибирским крестьянством, чьи предки бежали сюда от крепостного права из России и Украины и потому особенно дорожили свободой и независимостью. Весь дух колчаковского государства был крестьянам чужд. Это выразила частушка:

> Английский мундир, русский погон, Японский табак — правитель омский дурак.

Чем ближе белые подходили к Центральной России, тем труднее было мобилизовать местных крестьян. В Волго-Камском районе, на крайней точке наступления Колчака, крестьяне получили от раздела помещичьей земли больше, чем где бы то ни было, и потому сильнее всех боялись контрреволюции. Здесь Колчак сам вырыл себе могилу, отказавшись признать крестьянскую революцию на земле. Как и режим Деникина на юге, где столь же сильно влияли помещики, правительство Колчака оказалось неспособно предложить что-либо кроме осторожной бюрократической формулы по главному вопросу гражданской войны. Это был классический пример устаревших методов белых.

«Любой будущий земельный закон, — объявила 8 апреля колчаковская земельная комиссия, — должен основываться на правах частной собственности». Лишь «неиспользуемая помещичья земля» должна была «передаваться трудовому крестьянству», а до тех пор крестьянам позволялось только арендовать её у государства. Один критик заметил: «Это великолепный пропагандистский материал для большевиков. Им остаётся лишь напечатать его и раздать крестьянам».[13]

Чтобы заставить крестьян служить, колчаковская армия всё чаще прибегала к террору. Эффективной местной администрации, которая могла бы проводить мобилизацию иначе, не существовало, да и мировоззрение белых исключало саму необходимость убеждать крестьян. Считалось само собой разумеющимся, что крестьянин обязан служить Белой армии так же, как прежде служил царской; если же он отказывается, армия вправе наказать его — вплоть до расстрела в назидание остальным.

Крестьян пороли и пытали, брали заложников и расстреливали, сжигали целые деревни, чтобы заставить призывников явиться. Колчаковская конница врывалась в городки в базарный день, окружала

молодых мужчин и под ружьями уводила их на фронт. Значительную часть террора скрывали от союзников, чтобы не лишиться помощи. Но генерал Грейвс, командующий американскими войсками, прекрасно знал о происходящем и был потрясён. Он справедливо понял, что массовая насильственная мобилизация крестьян стала «большим шагом к концу режима Колчака». Она быстро уничтожила дисциплину и боевой дух армии. Из пяти насильно мобилизованных крестьян четверо дезертировали; многие уходили к красным вместе с оружием и обмундированием. Нокс был в ярости, впервые увидев красных на Восточном фронте: они носили британскую форму.[14]

С самого начала кампании колчаковской армии приходилось бороться с многочисленными крестьянскими восстаниями в тылу, особенно в Славгороде к юго-востоку от Омска и в Минусинске на Енисее. Главной причиной были белые реквизиции и мобилизации. Не имея собственных органов власти в деревне, режим Колчака мог противопоставить крестьянам, восстанавливавшим Советы ради защиты местной революции, почти только казачьи нагайки.

К кульминации наступления целые районы сибирского тыла были охвачены восстаниями. Это партизанское движение нельзя в полном смысле считать большевистским, как впоследствии делали советские историки, хотя большевистские активисты — обычно в союзе с анархистами и левыми эсерами — нередко играли в нём важную роль. Это была прежде всего огромная крестьянская война против омского режима.

Иногда сами местные вожаки не очень ясно представляли, за что воюют. Партизанский командир Щетинкин из Минусинска, например, выпустил комическое воззвание:

> Пора покончить с разрушителями России Колчаком и Деникиным, продолжающими дело предателя Керенского… Великий князь Николай Николаевич прибыл во Владивосток и взял власть над Россией. Он приказал мне поднять народ против Колчака. Ленин и Троцкий в Москве подчинились великому князю и назначены его министрами. Я призываю православный народ взяться за оружие за царя и Советскую власть.

В целом, однако, партизанское движение выражало идеи крестьянской революции, направленной против города. Показательной была

программа Первого крестьянского съезда повстанцев Канского, Красноярского и Ачинского уездов в апреле 1919 года. Съезд предложил целую «конституцию крестьянской власти» — «крестьянское правительство», общинные налоги по нормам самого съезда, «распределение богатств земли между трудовым крестьянством». Он даже принял «крестьянский кодекс», предусматривавший общественные работы за пьяные драки, азартные игры, ловлю нерестящейся рыбы и — поступок, очевидно поставленный делегатами в тот же ряд, — изнасилование.[15]

Партизанское движение было сильнее всего там, где концентрировались недавние переселенцы: в Томской и Енисейской губерниях, на Алтае и в Семипалатинске, в долине Амура. Обычно это были более бедные крестьяне, вынужденные дополнять земледельческий доход заработками на железной дороге или в шахтах. Но по мере усиления репрессий движение распространилось и на богатые земледельческие районы.

В партизанских отрядах ведущую роль играли дезертиры из армии Колчака. Их немного более широкий жизненный опыт нередко был достаточен, чтобы молодой человек быстро поднялся над сельским сообществом. Отряды применяли партизанские методы, для которых дикие и труднодоступные пространства тайги подходили идеально. Иногда они соединялись с частями Красной армии, скрывавшимися в тайге с тех пор, как летом 1918 года большевиков изгнали из Сибири.

Разрушая многие мили железнодорожного полотна и постоянно нападая на поезда, партизаны на значительную часть наступления практически парализовали доставку жизненно важных грузов колчаковским армиям по Транссибирской магистрали. Тысячи белых солдат приходилось снимать с фронта против красных и бросать на борьбу с партизанами. В Каньском и Ачинском районах белые вели беспощадный террор: расстреливали сотни заложников, сжигали десятки деревень в лесисто-холмистой местности, где особенно легко было прерывать движение поездов.

Частично это оттеснило повстанцев от железной дороги. Но террор обрушивался и на деревни, никак не связанные с партизанами, и потому лишь раздувал пламя крестьянской войны. Чем дальше армия Колчака отступала на восток, тем плотнее её окружали враждебные крестьянские

отряды. Под огнём со всех сторон начали распространяться мятежи, к ним присоединялись даже казаки. Целые части крестьянских призывников Колчака разбегались, когда отступление приближало их к родным местам. К ноябрю 1919 года его армия распадалась. И снова белых погубила пропасть между ними и крестьянством.[16]

14 ноября Омск был оставлен колчаковскими войсками: красные, теперь имевшие двукратное превосходство, наступали на восток. Это был классический пример белой некомпетентности. Высшие командиры никак не могли решить, защищать город или эвакуировать его, и в итоге толком не сделали ни того, ни другого. Красные взяли Омск без боя, захватив огромные склады боеприпасов, которые белые не успели уничтожить, и около тридцати тысяч пленных.

Тысячи офицеров с семьями, писари и чиновники, купцы, владельцы кафе, банкиры и проститутки бежали из белой столицы на восток. Счастливые ехали по железной дороге, несчастливые — на лошадях или пешком. Буржуазия бежала. Раненых и больных, число которых росло из-за эпидемии тифа, приходилось бросать по дороге. Это был не просто военный, но и нравственный распад. Отступавшие казаки везли огромные запасы водки и, по мере исчезновения всякой власти, предавались массовым изнасилованиям и грабежу деревень. Один из персонажей «Доктора Живаго», во многом основанного на сибирских впечатлениях Пастернака, так выразил атмосферу: «Раньше существовали всякие обязательства — священные обязанности перед страной, армией, обществом. Но теперь война была проиграна, всё словно низложено, ничто больше не было священным».[17]

Колчак направился к новой предполагаемой столице — Иркутску, за полторы тысячи миль к востоку от Омска. Самый длинный из шести его поездов, состоявший из двадцати девяти вагонов, перевозил царский золотой запас, захваченный у красных в Казани и переданный Колчаку. В трёхстах милях от Иркутска поезд остановили чехи, и почти весь декабрь он простоял посреди пустынной Сибири.

Тем временем в Иркутске Политический центр — коалиция профсоюзов, земств и левых партий — захватил власть и объявил себя правительством Сибири. Колчака провозгласили «врагом народа» и потребовали предать суду. 4 января 1920 года он сложил полномочия, передал командование армией Семёнову и вместе с чехами поехал в

Иркутск, рассчитывая, что его передадут союзническим миссиям. Но каким-то образом его предали и выдали иркутским большевикам. Судя по имеющимся сведениям, наиболее вероятно, что и сам Колчак, и золотой запас были переданы чехами…

Если окончательное поражение Колчака затянулось так надолго, то главным образом потому, что красным пришлось перебросить значительную часть сил из Сибири на Южный фронт, где летом 1919 года Деникин угрожал прорвать оборону.[129]

В марте и апреле, в самый разгар колчаковского наступления, войска Деникина вырвались из района Ростова, заняли важнейший угольный Донбасс и юго-восточную Украину. Некоторые историки считали это решающей стратегической ошибкой. Первоначальный план Деникина предусматривал удар к Царицыну, чтобы соединиться с силами Колчака. Но в конце марта от него отказались: красные, отчаянно нуждавшиеся в угле, вторглись в Донбасс и северную часть Области Войска Донского. Деникину пришлось выбирать между спасением Дона и соединением с Колчаком на Волге — и он выбрал первое.

Защита казачьих опорных районов всегда была для него первостепенной задачей. Именно этим объяснялось его решение предыдущим летом начать Второй Кубанский поход, а не наступать на Царицын; теперь сработала та же логика. Несколько видных генералов резко возражали, особенно барон Врангель — высокий, почти двухметровый командующий Кавказской армией, постоянно интриговавший против Деникина. Врангель называл отказ идти на Царицын «предательством войск Колчака», позволившим красным «разбить нас поодиночке». Учитывая, что в марте колчаковские части находились всего примерно в двухстах милях от Царицына, возможно, Деникин и в самом деле ошибся, не рискнув Доном ради соединения с

[129] Это было первое крупное стратегическое разногласие в большевистском руководстве. Троцкий и главнокомандующий Вацетис выступали против дальнейшего преследования Колчака за Урал и предлагали перебросить войска на Южный фронт. Командующий Восточным фронтом Каменев, которого поддерживали Ленин и Сталин, настаивал на разгроме Колчака до конца. Спор тянулся всё лето и ослаблял руководство Красной армии. 3 июля Каменев сменил Вацетиса. Троцкий, подозревая Сталина и Военную оппозицию в попытке отстранить его от руководства, подал в отставку, но 5 июля ЦК её отклонил. Его влияние всё же уменьшилось: Реввоенсовет был расширен четырьмя новыми членами — Каменевым, Гусевым, Смилгой и Рыковым, — у каждого из которых были разногласия с председателем.

ними. Красные были убеждены: если две белые армии соединятся, поражение станет почти неизбежным.

Однако в оправдание Деникина следует сказать, что он реагировал на то, что иначе как войной на уничтожение против казаков назвать трудно. Большевики открыто заявляли, что их целью на северном Дону является «массовый террор против богатых казаков с истреблением их поголовно» и передача их земли русским крестьянам. В ходе кампании «расказачивания» в первые месяцы 1919 года трибуналы наступавшей Красной армии расстреляли около двенадцати тысяч казаков, многие из которых были стариками.[18]

Именно стихийное казачье восстание против этого террора позволило Деникину прорваться вперёд. Тысячи казаков присоединялись к его войскам по мере их весеннего продвижения на север. Главной белой силой в Донбассе командовал генерал Май-Маевский. Полный, грушевидный человек с маленькими свиными глазками и пенсне меньше всего походил на военного героя. «Если бы он не носил мундира, — писал барон Врангель, — его можно было бы принять за комика из маленького провинциального театра». Май-Маевский славился пьяными оргиями: к концу гражданской войны едва ли оставался публичный дом на юге России, где его не знали. И всё же он был одним из наиболее способных белых генералов — блестящим тактиком, лично храбрым и обожаемым своими двенадцатью тысячами «цветных частей», получивших это название из-за разноцветных фуражек.

Под его командованием Добровольческая армия двинулась из Донбасса в юго-восточную Украину, легко разбив по дороге красных партизан Махно. 13 июня был взят Харьков, 22-го — Екатеринослав: крестьянские части красных разбегались при первом появлении отборных белых соединений. Тем временем в одном из самых примечательных походов гражданской войны Кавказская армия Врангеля сорок дней шла через раскалённую юго-восточную степь и 19 июня, несмотря на превосходство противника, взяла Царицын. Красные защитники волжского города запаниковали, едва увидели приближающиеся британские танки Врангеля. В плен к белым попало сорок тысяч красноармейцев, вместе с огромными запасами боеприпасов.[19]

Прорыву Деникина способствовали несколько факторов. Белые имели превосходство в кавалерии и снабжении, во многом благодаря союзникам. Несмотря на собственную физическую неповоротливость, тучный Май-Маевский оказался мастером импровизации в манёвренной войне. Британские самолёты он использовал для разведки, а кавалерию перебрасывал по железной дороге туда, где она могла нанести противнику наибольший урон. Одна часть могла за день вступить в бой в трёх разных местах.

Красные, напротив, были явно перенапряжены кульминацией боёв сразу на двух главных фронтах — Южном и Восточном. К тому же они переживали тяжёлый кризис снабжения. Троцкий считал именно его главной причиной краха Южного фронта. «Нигде солдаты не страдают от голода так, как на Украине, — докладывал он ЦК 11 августа. — От трети до половины людей без сапог или нижнего белья и ходят в лохмотьях. На Украине у всех, кроме наших солдат, есть винтовки и патроны». Недостаток снабжения вёл к распаду дисциплины и массовому дезертирству. За семь месяцев деникинского наступления, с марта по октябрь 1919 года, на Южном фронте красные зарегистрировали более миллиона дезертиров. Тыл был охвачен крестьянскими восстаниями: красные прибегали к насильственным реквизициям лошадей и продовольствия, принудительному набору пополнений и репрессиям против деревень, подозревавшихся в укрывательстве беглецов.[20]

Юго-восточная Украина, где господствовали партизаны Махно, как раз в разгар наступления Деникина превратилась в один из главных очагов крестьянского восстания.

Нестор Махно был своего рода Панчо Вильей русской революции. Он родился в 1889 году в Гуляй-Поле — центре будущего восстания. В 1905 году примкнул к анархистам, затем семь лет провёл в Бутырской тюрьме и в 1917 году вернулся в Гуляй-Поле. Там он создал Крестьянский союз, позднее преобразованный в Совет, и сформировал вооружённый отряд, участвовавший в захвате местных помещичьих имений.

Во время гражданской войны махновцы успели повоевать почти со всеми: с войсками Рады, казаками Каледина, немцами и гетманцами, украинскими националистами Петлюры, соперничающими отрядами

Григорьева и бесчисленных местных атаманов, с белыми и с красными. Сила его партизанской армии заключалась в качестве и быстроте кавалерии, поддержке крестьян, превосходном знании местности и почти фанатичной преданности бойцов. Рассказы о подвигах Махно — включая невероятные попойки — сделали его легендой среди местных крестьян, называвших его «батькой». Это напоминало народный миф о Стеньке Разине — крестьянском защитнике правды и справедливости, наделённом почти сверхъестественной силой.

Под чёрным знаменем анархистов Махно выступал за безгосударственную крестьянскую революцию, основанную на местном самоуправлении свободных и автономных Советов, возникших в деревне в 1917 году. Когда белые вторглись на Украину, он предоставил красным свои пятнадцать тысяч бойцов. В обмен на оружие из Москвы его войска вошли в Третью дивизию под командованием Дыбенко, но сохранили собственную партизанскую организацию. Троцкий неизменно обвинял махновцев в недисциплинированности и в поражениях красных.[130] В июне он приказал арестовать Махно как «контрреволюционера» — анархистское представление о местной крестьянской революции было несовместимо с пролетарской диктатурой — и распорядился расстрелять нескольких его сторонников. Партизаны ушли в леса и повернули оружие против красных. Большинство крестьян юго-восточной Украины поддержало их восстание.

3 июля в Царицыне Деникин издал свою знаменитую Московскую директиву. Три главные белые группировки должны были сойтись на столице гигантскими клещами вдоль основных железных дорог, отрезая Москву от линий снабжения. Кавказская армия Врангеля должна была идти от Царицына вверх по Волге к Саратову, а затем через Пензу и Нижний Новгород к Москве; Донская армия генерала Сидорина — двигаться севернее через Воронеж; Добровольческая армия Май-Маевского — идти из Харькова через Курск, Орёл и Тулу.

---

[130] Верно, что под давлением белых махновские части нередко распадались. Но, учитывая насколько плохо красные их снабжали, в этом нет ничего удивительного. Жёсткие нападки Троцкого были связаны не столько с самим Махно, сколько со Сталиным: обвиняя партизан в «партизанщине», Троцкий одновременно атаковал Военную оппозицию и укреплял собственный курс на военную дисциплину и централизацию.

Это была ставка «всё или ничего», рассчитанная на быстроту белой кавалерии и временную слабость красных. Врангель резко возражал. Он назвал директиву «смертным приговором» Белой армии. По его мнению, фронт расширялся слишком быстро и слишком далеко, не имея надёжного тыла, подготовленных резервов, исправной администрации и путей снабжения. Врангель предлагал сосредоточить силы и продвигаться медленнее на одном направлении — разумеется, на его собственном, волжском. Когда он изложил это Деникину, тот воскликнул: «Я вижу, вы хотите первым вступить в Москву!»[21]

С высоты последующих событий ясно, что Московская директива была роковой ошибкой: она стоила белым гражданской войны. Сам Деникин позже признал, что фронт стал чрезмерно широк, в значительной степени потому, что кавалерийские начальники, которых он не мог держать под контролем, по собственной инициативе расширяли занятую территорию. Слишком много генералов и слишком мало единого командования. Чем шире становился фронт, тем больше требовалось свежих войск и снабжения. Но боевые части уже находились за сотни миль от тыловых баз. Белые всё чаще прибегали к насильственным реквизициям и мобилизации местного населения, отчуждая от себя как раз тех, кого обещали освободить. Деникин всегда утверждал, что поход на Москву должен опираться на «национальное восстание народа против советского режима»; на деле действия его армии толкали население в объятия красных.[22]

Сначала наступление развивалось успешно. 31 июля белые взяли Полтаву; в августе — Одессу и Киев, поскольку Советская власть на Украине рушилась. Тогда же восемь тысяч казаков Мамонтова глубоко прорвались в красный тыл к Тамбову, взрывая склады боеприпасов и железные дороги, разгоняя недавно мобилизованных красноармейцев. Тамбов и Воронеж были ненадолго заняты и разграблены — это входило в мамонтовский план разрушения тыла.

В сентябре Май-Маевский продолжил продвижение в Центральную Россию. 20 сентября пал Курск, через десять дней — снова Воронеж. 14 октября белые заняли Орёл. До Москвы оставалось всего двести пятьдесят миль — ближе к победе они уже не подойдут. В тот же момент, когда Деникин угрожал Москве с юга, другая белая армия под командованием Юденича сосредоточилась на подступах к Петрограду.

Впервые белым удалось более или менее согласовать действия двух крупных армий, и в течение нескольких решающих дней середины октября казалось, что этого может хватить для победы над красными.

Запершись в Кремле, Ленин ежечасно получал по телефону донесения с обоих фронтов. Для последней обороны Москвы были предприняты чрезвычайные меры: сто двадцать тысяч рабочих и крестьян насильно мобилизовали в трудовые команды, рывшие окопы на южных подступах к городу. Одновременно большевики готовились к худшему. Многие рвали партийные билеты и пытались войти в доверие к московской буржуазии, надеясь спасти себя после прихода белых. Другие готовились уйти в подполье. Разрабатывались секретные планы эвакуации правительства на Урал. Некоторые высокопоставленные партийные деятели даже собирались бежать за границу. Секретарю партии Елене Стасовой поручили добыть для каждого члена ЦК фальшивый паспорт и пачку царских банкнот.[23]

Но вскоре появились признаки того, что белые чрезмерно растянули свои силы. Хотя с весны численность их армий более чем удвоилась, войск всё равно не хватало для продолжения удара на Москву. Сто пятьдесят тысяч солдат Деникина были тонким слоем растянуты вдоль тысячи миль Южного фронта, что делало их особенно уязвимыми для контрнаступления.

В тылу белым не хватало сил для защиты собственных баз от партизан Махно, украинских националистов и чеченцев на Кавказе; в самый разгар московского наступления им пришлось снимать с фронта жизненно важные части. Сказывалась и нехватка пополнений. Кубанские казаки, на которых Врангель рассчитывал в походе на Саратов, отказывались уходить далеко от своих станиц. Это была старая проблема казачьего местничества: без гарантий автономии Кубани — которых белые не собирались давать — казаки не хотели воевать в России.

Но главная проблема белых — и важнейшая причина того, что их наступление иссякло, — состояла в неспособности мобилизовать достаточное число солдат на вновь занятых территориях Украины и России. Здесь белых погубили их собственные политические просчёты.

На Украине белое движение с самого начала было парализовано великорусским шовинизмом. Тем самым оно гарантировало себе

враждебность зажиточного крестьянства, значительной части сельской интеллигенции и мелкой буржуазии, симпатизировавших украинскому национальному движению. Из всех претендентов на власть на Украине — зелёных, чёрных, красных и белых — только Деникин не сделал националистам никаких уступок. Это не было простой ошибкой расчёта: защита «Великой России» составляла один из основных принципов Белого движения. Даже если бы белым доказали, что без уступок они не победят, они всё равно, вероятно, отказались бы их сделать.

Драгомиров, Лукомский и Шульгин — три киевских русских деятеля, имевших огромное влияние на белое движение на юге, — были в известном смысле ещё более русскими, чем русские в самой России. Деникин удовлетворял их националистические требования. На все административные должности назначались русские; аграрные кооперативы, бывшие опорой украинского движения, подавлялись; использование украинского языка запрещалось во всех государственных учреждениях, включая школы. Само существование Украины Деникин отрицал и во всех официальных заявлениях называл её «Малороссией». Его неуклюжее «Воззвание к малороссийскому народу», обещавшее воссоединить Россию с её «малороссийской ветвью», лишь толкнуло украинских крестьян в националистическую армию Петлюры, которая серьёзно ослабляла белый тыл. В решающих осенних боях белым пришлось снять с фронта десять тысяч солдат для борьбы с петлюровцами и другими национальными отрядами.

Ещё более роковой слабостью стала неспособность белых создать действенную систему местной администрации на завоёванных территориях. Это лишало их возможности мобилизовать крестьян и их ресурсы без применения террора. По мере продвижения в Советскую Россию и удаления от тыловых баз проблема становилась критической. В разгар наступления доставлять продовольствие и снаряжение на фронт становилось всё труднее. Махно захватил важнейшие базы снабжения в тылу — Мариуполь, Мелитополь и Бердянск — и вместе с националистами Петлюры задерживал военные эшелоны с юга.

Существовала и проблема железнодорожников: в массе своей они были настроены против белых, и работать на них нередко соглашались лишь под дулами винтовок. В собственных промышленных районах белых отношения с рабочими были не менее напряжёнными. Деникин

урезал права профсоюзов и возвращал предприятия прежним владельцам. Добыча угля в Донбассе резко упала, парализуя значительную часть промышленности и транспорта.

Белые ответили террором — рабочих расстреливали в наказание за «большевистское» падение производства. В Юзовке при невыполнении планов по углю и чугуну практиковали расстрел каждого десятого рабочего. Некоторых убивали лишь за принадлежность к рабочему классу — под лозунгом «Смерть мозолистым рукам!». Это была классовая месть за Красный террор и его собственный лозунг «Смерть буржуям!». Но даже репрессии не могли остановить падение производства. Белая экономика погружалась в хаос: фабрики закрывались, инфляция росла, рабочие бастовали. Жизненно важные для армии грузы либо не производились, либо не доставлялись на фронт.[24]

Тем временем в августе союзники сократили поставки: отступление Колчака заставило западные державы усомниться в победе белых. Значительная часть уже доставленной помощи исчезала из-за коррупции. Оружие, форма, бельё, одеяла, даже больничное имущество каким-то образом оказывались на чёрном рынке. Во время боёв под Харьковом нескольких солдат деникинского танкового корпуса поймали на продаже антифриза из радиаторов под видом водки в гостинице «Метрополь». Отныне союзники решили поставлять только «непродаваемые» товары — хотя в России, казалось, таких вещей не существовало — и требовать от Деникина оплаты наличными или экспортными товарами. Для белого наступления это был смертельный удар. Фронтовые части начали испытывать дефицит снабжения, особенно тёплого обмундирования к наступавшей зиме. Без эффективной местной администрации, способной организовать снабжение, солдаты всё чаще переходили к хаотическому грабежу. Сам Деникин позднее признавал: ничто так не оттолкнуло население и не приблизило поражение белых, как этот грабёж.[25]

Хуже всего вели себя казачьи кавалерийские части. К русским крестьянам они относились с презрением и считали своим правом грабить их по собственному усмотрению, словно население чужой страны. Их командиры были законом сами для себя и обычно разрешали грабёж как средство удержать казаков в повиновении. Та же комбинация

породила чудовищные еврейские погромы, о которых речь пойдёт далее. Мамонтов и Шкуро были лишь самыми известными примерами; существовали десятки младших командиров, создававших себе репутацию «казачьих героев» именно так. Одного из них прозвали Князем Воров.

Деникин осуждал этих авантюристов, но ему не хватало твёрдости призвать их к ответу — впоследствии он горько об этом сожалел. Некоторые казачьи части были настолько обременены добычей, что практически утрачивали боеспособность. За кавалерией тянулись длинные обозы — порой до тридцати миль — нагруженные награбленным имуществом. Поезда заполнялись трофеями и отправлялись в тыл вместо того, чтобы перевозить снаряжение на фронт. После августовского рейда на Тамбов казаки Мамонтова, вернувшись к основным белым силам, так стремились доставить добычу на Дон, что из восьми тысяч человек осталось всего полторы тысячи; остальные дезертировали. Врангель утверждал, что к осени у белых на фронте оставалось только три-четыре тысячи действительно преданных бойцов: «всё остальное — огромный хвост грабителей и спекулянтов… Война стала для них способом разбогатеть». С такой армией, заключал он, «невозможно завоевать Россию. Население нас возненавидело».[26]

* * *

После взятия Деникиным Орла под непосредственной угрозой оказался Тульский арсенал — всего в ста милях от города. Его потеря, утверждал Троцкий, «была бы опаснее потери Москвы».[27] Без Москвы красные лишились бы престижной столицы, но без Тулы — армии. Судьба Советской власти в буквальном смысле зависела от обороны Тулы, а в её центре стоял Дмитрий Оськин. Военный комиссар Тулы возглавлял два ключевых органа — Военный совет и Революционный комитет, — которые управляли так называемым «Тульским укреплённым районом» на основании военного положения.

Оськин не сомневался в необходимости военного положения. Его прежний левоэсеровский либертарианизм давно остался позади; теперь он признавал необходимость беспощадной дисциплины в гражданской войне. Эту необходимость подчёркивало и то, что тульские рабочие грозили забастовкой из-за нехватки продовольствия. Весной в городе

уже была всеобщая стачка. На каждом заводском собрании голодные рабочие поносили Оськина и его товарищей; лозунгом стало «Долой комиссаров!».

Для подавления стачки большевики фактически развязали гражданскую войну против рабочих. 3 апреля Ленин лично направил в Тулу Дзержинского. Специальные коммунистические отряды заняли заводы, до тысячи рабочих были арестованы. С тех пор отношения с рабочими стали менее враждебными — Оськин добился лучшего продовольственного снабжения, — но теперь новый дефицит вновь грозил стачкой.

Поскольку производство боеприпасов нельзя было останавливать, Оськин считал, что остаётся лишь «милитаризовать заводы и подавить рабочих, если они объявят забастовку». Ни у кого из большевиков не было иллюзий насчёт возможности договориться: времени не оставалось. К тому же, как признал Ленин на заседании Политбюро 15 октября, «тульские массы очень далеки от нас». Скорее они были близки меньшевикам, руководившим весенней стачкой и ещё раньше имевшим большинство в городских Советах.

Теперь часть меньшевиков согласилась агитировать среди рабочих за красных, чтобы отбить наступление Деникина. Уже одно это показывало отчаяние большевиков и степень их непопулярности среди рабочих: для спасения им пришлось обратиться к своим смертельным соперникам. Оськин и его товарищи после всеобщей стачки боялись допускать к заводам любую другую партию, но Ленин вмешался и приказал открыть двери меньшевикам. Дан говорил тульским рабочим, что победа белых будет означать поражение революции; однако голодная аудитория слушала его без особого интереса. Меньшевики были вынуждены признать, что рабочие «крайне враждебны коммунистам и никакой призыв защищать революцию от Деникина не способен успокоить их настроение».[28]

Необходимость немедленных результатов объясняла и чрезвычайные меры Оськина по обороне Тулы. Тысячи крестьян и «буржуазных» граждан насильно мобилизовали в трудовые команды. Днём и ночью они валили лес для топлива заводам и рыли окопы вокруг города. Сотни их родственников держали как «заложников» — с угрозой

расстрела, если работы будут выполнены плохо. Оськин не испытывал сомнений: всё это было «необходимо для защиты революции».

В Тулу перебросили тысячи красноармейских подкреплений, включая знаменитую Латышскую стрелковую дивизию — одну из самых надёжных опор большевиков. Кроме того, Оськин организовал мобилизацию двадцати тысяч местных бойцов. «Вся Тула, — писал он, — превратилась в одну огромную казарму». Солдат разместили во всех свободных зданиях. Площади и парки заполнили танки и части, проходившие строевую подготовку. На самых высоких домах вдоль главных дорог установили пулемётные посты, при въездах в город возвели заминированные баррикады. По всему югу губернии стояли наблюдательные пункты, соединённые с Тулой телефоном и обязанные предупредить о приближении войск Деникина.

Брошенные помещичьи усадьбы превратили в казармы. Один полк расположился в Ясной Поляне, бывшем имении Толстого; другой — неподалёку, в Поповке, владении князя Львова.[29]

Именно в этот решающий момент, когда исход борьбы висел на волоске, сотни тысяч крестьян-дезертиров начали возвращаться в Красную армию. Это возвращение стало одним из решающих факторов, склонивших чашу весов в пользу красных, и многое объясняет в их победе в гражданской войне.

Правые интерпретации войны обычно изображают победу красных как достигнутую без массовой поддержки. Согласно этому взгляду, большевики просто обладали более крупной территориальной базой и систематичнее белых применяли террор и принуждение, чтобы выкачать необходимые военные ресурсы из гражданского населения, в сущности враждебного обеим сторонам и безразличного к исходу борьбы. В этом есть значительная доля истины — пожалуй, две трети.

Но нельзя забывать и другое: большевики могли, по крайней мере, претендовать на роль защитников «революции» и сумели присвоить её важнейшие символы, прежде всего красное знамя. Это позволяло им мобилизовать определённую поддержку — условную, как поддержку меньшего из двух зол — среди крестьянства и, как мы увидим, части рабочих, опасавшихся, что победа белых уничтожит их собственные завоевания революции.

История возвращения крестьян-дезертиров в Красную армию показывает это особенно ясно. До июня борьба с дезертирством строилась на жестоких репрессиях против деревень, подозревавшихся в укрывательстве беглецов. Результат оказался в значительной степени обратным: в красном тылу вспыхнула волна крестьянских восстаний, облегчившая продвижение белых.

Но в июне большевики сменили тактику и ввели «недели амнистии». В эти широко рекламируемые недели — которые часто продлевались почти бессрочно — дезертирам предлагали вернуться без наказания. В этом проявлялась большевистская вера в необходимость переделать крестьянина и пробудить в нём сознание революционного долга: «злостных» дезертиров следовало карать, а «слабовольных» — перевоспитывать. Белые, напротив, нередко расстреливали беглецов без различия.

С июля по сентябрь, по мере усиления угрозы белой победы, только из Орловского и Московского военных округов в Красную армию вернулось почти четверть миллиона дезертиров. Многие называли себя «добровольцами» и заявляли, что готовы сражаться с белыми, которых связывали с восстановлением помещичьей власти на земле. Это были как раз районы, где крестьяне особенно много выиграли от передела 1917 года: в Орловской губернии площадь земли в крестьянском пользовании выросла на 28 процентов, в Московском военном округе — почти на 35.

Угроза победы белых заставила крестьян опасаться потери новой земли — и красная пропаганда сознательно усиливала этот страх. Поэтому деревня вновь посылала сыновей в армию для защиты приобретённого. Как бы крестьяне ни ненавидели большевистский режим с его насильственными реквизициями и властными комиссарами, они продолжали защищать его до тех пор — и только до тех пор, — пока он стоял между белыми и их собственной земельной революцией.[30]

К октябрю у красных на Южном фронте было почти двести тысяч бойцов, готовых к сражению. Это давало им примерно двукратное превосходство над белыми. 11 октября для подготовки контрнаступления командование Южным фронтом передали Александру Егорову. Его жизненный путь напоминал путь Оськина и вообще был типичен для новой красной военной элиты. Во время

мировой войны он дослужился до полковника, в 1917 году вступил к левым эсерам, а летом 1918-го перешёл к большевикам. Именно Егоров стал главным архитектором победы Красной армии на юге — хотя планирования в обычном смысле было немного: стратегию изменили в последний момент и дальше во многом импровизировали.[131] Оськин обнаружил в штабе Южного фронта панику и беспорядок. Никто даже точно не знал, «где расположены наши войска».[31]

Несмотря на эту неразбериху, столь характерную для гражданской войны, октябрьские бои резко отличались от столкновений её раннего периода. Сражения 1918 года в сущности представляли собой небольшие стычки и артиллерийские дуэли. Малочисленные разношёрстные силы заботились прежде всего о собственном выживании; устойчивых фронтов почти не существовало, города и территории постоянно переходили из рук в руки. Всё походило на небольшую войну XIX века.

Октябрьские бои были куда тяжелее и всё больше напоминали Первую мировую. В них участвовали сотни тысяч солдат, ежедневно расходовались миллионы патронов, использовались танки, самолёты и бронеавтомобили, сражения продолжались ночью. Командная структура обеих армий стала жёстче, офицерам строже запрещали отступать, и тысячи жизней тратились ради незначительных участков земли. Пленных не брала ни одна сторона.

Красное контрнаступление на Южном фронте имело два ключевых стратегических элемента. Первым был внезапный удар Ударной группы латышских стрелков — около двенадцати тысяч отборных бойцов, находившихся западнее Орла, — по левому флангу Добровольческой армии, наступавшей к Туле. После жестокого и кровопролитного боя, в котором погибла почти половина латышей, белых отбросили за Орёл.

Затем в действие вступил второй элемент. 19 октября красная кавалерия внезапно атаковала казаков на левом фланге белых и в конце концов погнала их назад к Воронежу. Казаки, вероятно, были поражены появлением красной конницы: прежде её почти не использовали в

[131] Первоначальная стратегия красных, принятая в июле, предусматривала наступление от Волги к Дону. Но 15 октября — на следующий день после падения Орла — Политбюро решило сосредоточить все основные силы вокруг Тулы. Главнокомандующего Каменева даже не спросили об этом изменении.

крупных операциях. Троцкий долго недооценивал стратегические преимущества кавалерии в столь манёвренной войне. Лишь рейд Мамонтова научил его лозунгу «Пролетарий — на коня!».[32]

Для создания собственной конницы красные ещё в 1918 году обратились к Семёну Будённому. Высокий, внушительный кавалерист с роскошными усами родился в семье иногороднего крестьянина на Дону. В 1903 году его призвали в царскую армию; после войны с Японией, где впервые заметили его искусство верховой езды, он попал в Императорскую кавалерийскую школу в Петербурге. К 1914 году Будённый стал вахмистром элитных Императорских драгун. Он был одним из многих унтер-офицеров, примкнувших в 1917 году к большевикам, и, как многие из них, вскоре сблизился со Сталиным и Военной оппозицией.

В 1918 году Ворошилов поставил Будённого во главе небольшого кавалерийского отряда, воевавшего против казаков Краснова под Царицыном. Первый красный кавалерийский корпус состоял главным образом из бедных казаков и иногородних крестьян северного Дона. Перед контрнаступлением на Деникина его пополнили людьми из тех же слоёв. Именно он стал ядром знаменитой Конной армии Будённого, обессмерченной рассказами Бабеля о польской кампании 1920 года. Многие из наиболее прославленных при Сталине — хотя отнюдь не самых талантливых — командиров получили свои шпоры в «Конармии». Помимо маршала Будённого, похороненного в 1970 году у Кремлёвской стены, среди них были маршал Тимошенко, встретивший Красную армию у порога Второй мировой войны, и маршал Жуков, приведший её к победе в 1945 году.

Преследуемые красной кавалерией, белые казаки отступили на юг, к Дону, и 24 октября оставили Воронеж большевикам. Оттуда конница Будённого двинулась к Касторной — важнейшему железнодорожному узлу между Москвой и Доном. После нескольких дней кровавых боёв с казаками Шкуро 15 ноября красные овладели станцией. Это фактически решило судьбу деникинского наступления. Белым грозило полное окружение, и они были вынуждены поспешно отступать на юг. Больше они никогда не смогут угрожать прорывом в Центральную Россию.

* * *

Октябрь оказался для белых двойной упущенной возможностью. В самый разгар боёв за Орёл другая крупная белая сила — Северо-Западная армия — подошла к окраинам Петрограда.

Продвижение Северо-Западной армии так далеко само по себе было удивительным. Она была сформирована в Пскове при содействии германской армии в 1918 году. После поражения Германии, когда Красная армия двинулась на запад, армия отступила в Эстонию — недавно провозгласившее независимость государство, само охваченное гражданской войной. Там, за естественной преградой Чудского озера, ей удалось восстановить силы. К маю 1919 года, когда она вновь вступила на территорию России и начала наступление на Петроград, в ней насчитывалось около 16 000 человек — главным образом русских военнопленных, переданных немцами, и перебежчиков из Красной армии.

Армию возглавлял генерал Юденич — сравнительно малоизвестный герой Первой мировой войны, которого Колчак признал своим командующим в Прибалтике. Пятидесятисемилетний Николай Юденич весил около восемнадцати стоунов и был слишком стар и грузен, чтобы вдохновлять людей одним своим видом. С отвислыми щеками, лысой головой и закрученными усами он выглядел именно таким, каким и был: непримирившимся с новой эпохой русским аристократом. Юденич так и не смирился с гибелью Российской империи — и именно это в конечном счёте стало причиной его поражения.

Как и все белые генералы, Юденич инстинктивно стремился отодвинуть политику в сторону во имя военной кампании. Его лозунгом было: «Против большевиков — без политики». Северо-Западное правительство было не более чем демократической декорацией, необходимой для успокоения союзников. Оно не собиралось по-настоящему управлять Россией. Юденич отвергал необходимость программы реформ и не рассчитывал на народное восстание, которое открыло бы его армии дорогу на Петроград: речь шла о военном завоевании, а не о завоевании сердец и умов населения. На деле произошло обратное. Едва его армия вступила на советскую территорию, она столкнулась с враждебностью населения, а русские солдаты-призывники стали массово дезертировать.

Отсутствие поддержки внутри России вынуждало Юденича искать иностранных союзников. Но союзники относились к его предприятию прохладно: они уже искали пути выхода из русской гражданской войны и ограничились минимальными поставками. Правда, британские корабли блокировали Петроград и даже атаковали Кронштадт, однако сухопутных войск Юденичу не дали. Даже если бы союзники и были готовы поддержать наступление на Петроград, прежние связи Юденича с немцами сами по себе делали такую поддержку весьма сомнительной.

Без помощи союзников успех наступления на Петроград зависел прежде всего от готовности Финляндии стать плацдармом и базой снабжения. Финская граница проходила всего в двадцати милях от Петрограда — почти в десять раз ближе, чем путь из Пскова через Россию. Но даже здесь, когда Петроград, казалось, был уже почти в руках белых, их упрямое стремление восстановить Российскую империю помешало соглашению с финнами.

Финский корпус самообороны под командованием генерала Маннергейма превратился после победы над красными в Гельсингфорсе весной 1918 года в серьёзную национальную армию. В Петрограде большевики боялись финнов больше, чем белых. К июню 1919 года, по оценкам, вокруг Ладожского озера находилось до 100 000 финских солдат, четверть из них — на направлении к Петрограду. Цена финской поддержки Юденича была проста: признание независимости Финляндии. Казалось бы, это должно было быть формальностью: Финляндия уже фактически была независимым государством, и большинство западных держав признали её именно так. Но белым и эта цена казалась слишком высокой.

«История никогда не простит мне, если я отдам то, что завоевал Пётр Великий», — с характерной напыщенностью заявил Колчак, когда от него, как от верховного правителя белого движения, потребовали согласиться на финское условие. Князь Львов и Русское политическое совещание в Париже также решительно возражали против признания Финляндии до тех пор, пока её статус не будет окончательно определён Учредительным собранием в России. Это было типичным проявлением белой одержимости прежними юридическими формами — одержимости, мешавшей им считаться с политическими реалиями настоящего.

Маннергейм был расположен к антибольшевистскому делу. Но даже он не мог убедить уставших от войны финнов поддержать белых без гарантии признания. Красные, напротив, признали Финляндию ещё восемнадцать месяцев назад. Теперь они предлагали финнам мир, если те сохранят нейтралитет в гражданской войне, и одновременно угрожали «беспощадным истреблением», если Финляндия присоединится к белым. Союзники настойчиво убеждали Юденича признать независимость Финляндии, понимая, что без её поддержки наступление обречено. Но белый генерал стоял на своём. Перед выборами в июле Маннергейму не оставалось ничего иного, как умыть руки. Он отказался дать Юденичу войска или разрешить его армии действовать с финской территории. Это был тяжёлый удар: белым пришлось идти на Петроград гораздо более длинным и враждебным путём через Ямбург и Гатчину.

В последней отчаянной попытке Юденич обратился к эстонцам. Но Эстония была маленькой, недавно возникшей и ещё непрочной страной и не собиралась отдавать белым значительные силы, особенно если те не желали признать её независимость. Красные немедленно использовали ситуацию так же, как в случае с Финляндией: предложили Эстонии мир в обмен на нейтралитет. Естественное стремление эстонцев не вмешиваться в русскую гражданскую войну совпадало с интересами молодого независимого государства, которому предстояло жить рядом с Советской Россией.

Оставшись фактически без союзников, 10 октября Юденич приказал начать стремительный бросок на Петроград. Расчёт строился на том, что основные силы красных связаны боями на Южном фронте. Сначала ставка оправдалась. Большевики действительно перебросили часть частей на юг. Двадцать пять тысяч солдат 7-й Красной армии, оставленных защищать Петроград, были совершенно деморализованы и начали дезертировать. Полковник Люндквист, начальник штаба 7-й армии, перешёл на сторону белых и передал им сведения о расположении красных. Благодаря этому 18 000 солдат Юденича продвигались стремительно. К 20 октября они достигли Пулковских высот, откуда уже были видны окраины Петрограда. «Вот купол Исаакиевского собора, вот золотой шпиль Адмиралтейства, — вспоминал один из офицеров, — можно было даже видеть поезда,

отходившие от Николаевского вокзала». Уверенность в победе была так велика, что один из генералов отказался от предложенного бинокля: завтра, сказал он, они всё равно будут идти по Невскому проспекту.[33]

Весть о наступлении белых вызвала среди красных панику. Ленин хотел оставить Петроград и сосредоточить силы на Южном фронте. Но Троцкий настоял на том, что город — колыбель революции — необходимо защищать любой ценой, даже если придётся вести уличные бои, и сумел переубедить Ленина. 16 октября Троцкий был направлен в бывшую столицу руководить обороной. Зиновьев, глава петроградской партийной организации, совершенно потерял самообладание и, по рассказам, лежал на диване в Смольном, не способный что-либо предпринять. Это был один из немногих эпизодов гражданской войны — далеко не столь многочисленных, как позднее утверждали поклонники Троцкого, — когда его личное присутствие на фронте действительно повлияло на исход сражения. В какой-то момент он даже сел на лошадь, остановил отступавших солдат и сам повёл их обратно в бой.

Первой задачей Троцкого было поднять боевой дух — и здесь в полной мере проявился его блестящий дар массового оратора. Он убеждал солдат не отступать и высмеивал британские танки, от которых красные разбегались, называя их всего лишь «ящиками из крашеного дерева». Он даже приказал Путиловскому заводу наскоро изготовить несколько машин, внешне похожих на танки, чтобы бойцы чувствовали, что у них тоже есть такая техника. Затем Троцкий превратил Петроград в крепость и начал готовить население к уличному бою. В городе ввели военное положение и комендантский час. Тысячи рабочих и представителей «буржуазных» слоёв мобилизовали для строительства баррикад на улицах и площадях. Ленин требовал от Троцкого поднять 30 000 человек, «поставить за ними пулемёты и расстрелять несколько сотен, чтобы обеспечить настоящий массовый штурм Юденича». Канализационные трубы вытаскивали из земли и использовали для баррикад. В южных пригородах рыли траншеи, на крышах домов вдоль главных дорог к центру устанавливали пулемёты. Военные грузовики и мотоциклы день и ночь носились по городу; большевики в кожаных куртках с винтовками через плечо стояли на блокпостах; все важнейшие здания охраняли рабочие отряды.[34]

Хотя Петроград, как и другие города, переживал частые забастовки, угроза прорыва белых, по-видимому, заставила многих рабочих выступить в защиту советской власти. Один белый агент докладывал из города:

> Рабочие элементы, по крайней мере значительная их часть, всё ещё настроены по-большевистски. Подобно некоторым другим демократическим слоям, они воспринимают этот режим, каким бы плохим он ни был, как свой. Пропаганда о жестокости белых действует на них сильно… Психологически они связывают настоящее с равенством и советской властью, а белых — со старым режимом и его презрением к массам.

Сотни рабочих вооружились винтовками и вышли защищать Смольный. Во дворе советского штаба тем временем держали наготове около десятка автомобилей, чтобы в случае падения Петрограда вывезти партийных руководителей. Виктор Серж и его беременная жена покинули свою комнату в гостинице «Астория» и провели ночь в санитарной машине на окраине. У них был небольшой чемодан и два фальшивых паспорта: они были готовы бежать в любую минуту.

В стремлении как можно скорее ворваться в Петроград белые не перерезали железнодорожное сообщение с Москвой. Эта роковая ошибка позволила красным вовремя перебросить подкрепления и 21 октября перейти в контрнаступление. О степени отчаяния большевиков говорит тот факт, что даже в самый разгар боёв с Деникиным они решились снять резервы с Тулы и направить их в Петроград. Решение принял Ленин, лично позвонив Оськину. «У меня буквально перехватило дыхание, когда в трубке прозвучал голос: „Говорит Ленин“», — вспоминал Оськин. Он пообещал прислать целую бригаду дисциплинированных коммунистических резервистов, сыгравших затем важную роль в контрнаступлении. Главнокомандующий красных Каменев называл их «нашей Пиковой дамой» — последним козырем, необходимым для победы.

Против 15 000 солдат Юденича красные теперь сосредоточили почти 100 000 человек — достаточно, даже по их расточительным меркам, чтобы переломить ход борьбы. После трёх дней тяжёлых и кровопролитных боёв за Пулковские высоты — красные мужественно отбивали атаки танков Юденича одними винтовками — белых

отбросили назад, к Эстонии. Резервов у них не было, и отступление оказалось столь же стремительным, как и наступление. В середине ноября эстонцы разрешили войскам Юденича перейти границу, но только после разоружения. Троцкий хотел преследовать белых и на эстонской территории — «в конуре сторожевых псов контрреволюции», как он выразился. Однако это оказалось излишним. Юденич подал в отставку, армия была распущена.[36] В канун Нового года Эстония заключила перемирие с Советской Россией, а 2 февраля 1920 года — мирный договор, первый договор Москвы с одним из новых пограничных государств.

За роль в обороне Петрограда Троцкий был награждён орденом Красного Знамени — первым орденом такого рода. Его статус героя достиг высшей точки.[132] Гатчина, где шли ожесточённые бои, была переименована в Троцк. Это был первый советский город, названный в честь живого коммуниста.

[132] И именно тогда его противники, прежде всего Сталин, впервые заговорили об опасности «бонапартизма».





81–82. Топливный кризис в городах. Вверху: москвичи разбирают городской дом на дрова. Внизу: священника заставили участвовать в перевозке леса. Из-за нехватки корма погибло множество лошадей, поэтому вместо тягловой силы всё чаще использовали людей.





83–84. Продажа вещей ради еды. Вверху: женщины из «бывших классов» продают на улицах Москвы последние пожитки. Внизу: солдат покупает пару обуви у группы разорившихся *буржуев*.





85–86. Продажа вещей ради еды. Вверху: низовой партийный функционер торгуется из-за мехового шарфа с женщиной-продавщицей на Смоленском рынке в Москве, 1920 год. Женщина слева имеет типичный облик *буржуйки*. Внизу: торговцы на Смоленском рынке, Москва, 1920 год. Женщина с авоськой и буханкой хлеба почти наверняка проститутка.



87. Привилегированные классы заставляют работать. Двое бывших царских офицеров расчищают улицу под надзором комиссара и охраны. Апраксин рынок, Петроград, 1918 год. Главной целью такого принудительного труда было унизить и морально сломить привилегированные слои старого режима.



88. Война большевиков против рынка. Солдаты ЧК закрывают торговые ряды на Охотном Ряду в Москве, май 1919 года.



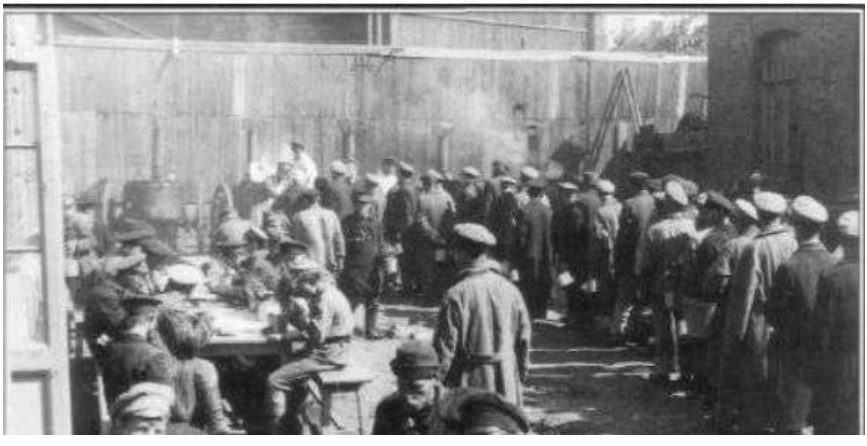
89. Реквизиция зерна у крестьян.



90. «Мешочники» ездили из города в деревню и обратно, обменивая промышленные товары на продовольствие. Результатом был хаос на железных дорогах.



91. Первомайский субботник («добровольный» труд по субботам) на Красной площади в Москве, 1920 год.



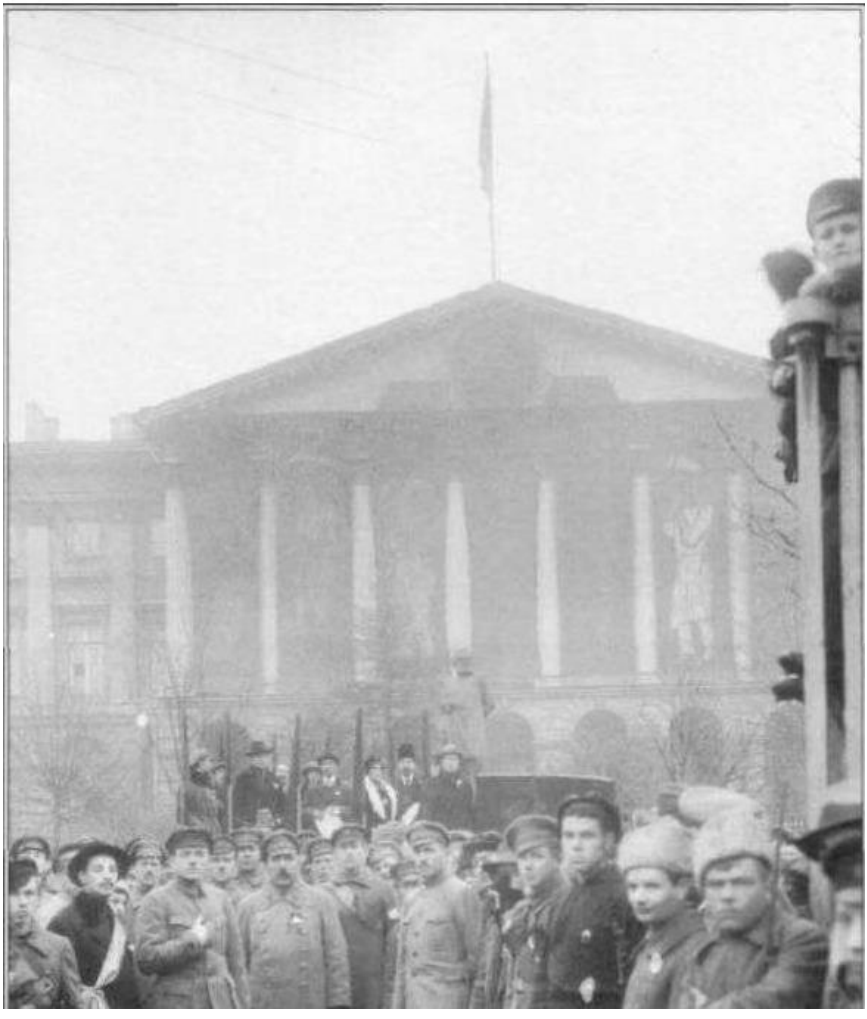
92. К 1920 году государство кормило — или, точнее, недокармливало — тридцать миллионов человек в импровизированных столовых, подобных этой при Киевском вокзале в Москве.



93. Новый правящий класс: делегаты IX Всероссийского съезда партии, Москва, 1920 год.



94. Типичный пример новой бюрократии: Отдел агитации и пропаганды Комиссариата снабжения и распределения Северной области. Обратите внимание на портрет Маркса, комиссара в кожанке и девушек из буржуазных семей, которые в огромном числе служили секретарями.



95. Смольный институт в годовщину Октябрьского переворота. Но он всё меньше напоминал оплот марксистской революции и всё больше — центр коррупции партийной элиты.

* * *

Когда войска Деникина побежали на юг, они утратили последние остатки дисциплины и начали распадаться в панике. Наполеон однажды сказал о собственном отступлении из Москвы: «От великого до смешного — один шаг». Почти то же самое можно было сказать и о Деникине.

Но не одни красные вызвали эту панику. Партизаны Махно, украинские националисты Петлюры и многочисленные другие отряды нападали на белые части со всех сторон, пока те отступали к Чёрному морю. Армия Деникина проходила через территории, где население, по выражению Врангеля, «научилось ненавидеть нас». Затем, в конце ноября, пришла ошеломляющая новость: англичане прекращают поддержку белых. Вместе с известием о разгроме Колчака это оказало на моральное состояние войск разрушительное действие. «За пару дней вся атмосфера на Юге России изменилась, — вспоминал очевидец. — Та решимость, что ещё сохранялась прежде, была подорвана настолько, что стало возможным худшее. Мнение [Ллойд] Джорджа о том, что дело Добровольческой армии обречено, само помогло сделать эту гибель почти неизбежной».

Оптимизм, до сих пор поддерживавший белое движение, рухнул. Соколов сравнивал его с отчаянной верой игрока в то, что выигрышная карта непременно должна выпасть. Теперь эта вера исчезла. Солдаты и офицеры дезертировали массами. Казаки разочаровывались в белых. Многие кубанцы отказывались продолжать войну, если Деникин не удовлетворит их требование о создании отдельного государства.

Такое же разочарование охватило и огромный гражданский лагерь белых. Люди больше не верили в победу и думали лишь о бегстве за границу. Магазины и кафе закрывались. Все бросились менять деникинские донские рубли на иностранную валюту. В повторение омских сцен паники тысячи офицеров и гражданских пытались любой ценой попасть в поезда, шедшие к черноморским портам. Раненых и больных, число которых резко выросло из-за эпидемии тифа, попросту бросали. Это уже нельзя было назвать «бегущей буржуазией»: большинство беженцев теперь были нищими, каково бы ни было их прежнее состояние. Бежала раздетая и обездоленная человеческая масса, спасая жизнь. Один очевидец описывал эвакуацию из Харькова:[37]

> Когда однажды вечером последний русский санитарный поезд готовился к отправлению, в тусклом свете станционных фонарей на платформе появились странные фигуры, ползущие по земле. Серые и бесформенные, они напоминали больших волков. Подойдя ближе, люди с ужасом увидели восемь русских офицеров, больных тифом, в серых больничных халатах. Не желая оставаться в городе и, как они были уверены, попасть под пытки и быть убитыми большевиками, они на четвереньках проползли по снегу от госпиталя до станции в надежде, что их возьмут в поезд.

На фоне этого морального краха Белый террор достиг своего апогея, и именно тогда произошли самые страшные еврейские погромы. Это был последний жест дикого возмездия против народа, которого многие белые обвиняли в революции.

Антисемитизм был неотъемлемой частью российской жизни на протяжении всего революционного периода. Нападения на евреев часто становились частью толпового насилия.[38] Само слово «погром» могло означать как нападение на евреев, так и разграбление собственности вообще. Царский режим, разжигая первое, всегда старался не допустить, чтобы оно переросло во второе. После 1914 года склонность делать евреев виновниками всех бед страны стала гораздо сильнее. Черта оседлости была разрушена войной, и евреи рассеялись по России. В крупных северных городах они впервые появились в значительном числе. Во время революции евреи также впервые заняли государственные должности. Большинство евреев не были большевиками, но среди ведущих большевиков действительно было немало евреев. Для миллионов простых россиян, чей привычный мир перевернулся вверх дном, казалось, будто гибель страны каким-то образом связана с внезапным появлением евреев на должностях и в местах, прежде закрытых для них. Отсюда оставался один шаг до вывода, что евреи будто бы сознательно замышляют погубить Россию.

Результатом стала массовая юдофобия. «Ненависть к евреям, — писал один видный социолог в 1921 году, — одна из самых заметных черт современной русской жизни; возможно, даже самая заметная. Евреев ненавидят повсюду — на севере, юге, востоке и западе. Их ненавидят независимо от класса и образования, политических убеждений, происхождения и возраста».[39]

На ранних этапах белого движения на юге антисемитизм играл сравнительно небольшую роль. В Добровольческой армии даже служили евреи, некоторые из них были героями Ледяного похода. ОСВАГ, деникинский пропагандистский орган, также использовал труд многих евреев. Но когда белые вошли на Украину, где еврейское население было гораздо более многочисленным, чем на Дону, их ряды захлестнула мстительная ненависть к евреям. Инициатива исходила прежде всего от казаков и их полковых офицеров, хотя Деникин, будучи пассивным антисемитом, почти ничего не сделал, чтобы этому противостоять, а некоторые генералы прямо поощряли антисемитизм. Евреев вытесняли из армии Деникина и административных учреждений.

Белая пропаганда изображала большевистский режим как еврейский заговор и распространяла миф, будто все его главные лидеры, кроме Ленина, были евреями.[133] Троцкого — или Бронштейна, как непременно уточняла белая пресса, — как руководителя Красной армии особенно часто изображали чудовищным «еврейским убийцей» русского народа. Евреев обвиняли в убийстве царя, преследовании православной церкви и Красном терроре. Верно, что среди сотрудников Киевской и некоторых других городских ЧК было много евреев. Но это использовали как предлог для кровавой мести всему еврейскому населению. Как однажды сказал главный раввин Москвы, революции совершали Троцкие, а расплачивались за них Бронштейны.

Большинство белых руководителей, включая Деникина, исходили из того, что евреи сами «навлекли на себя» погромы своей якобы поддержкой большевистской власти. Всё белое движение оказалось охвачено идеей, будто преследование евреев оправдано как народная форма контрреволюции. Русский правый Шульгин, один из главных проповедников коллективной вины евреев, позднее признавал, что погромы были белой местью за Красный террор: «Мы относились к „жидам“ так же, как большевики — к буржуям. Они кричали: „Смерть буржуям!“ А мы отвечали: „Смерть жидам!“»[40]

---

[133] Этот миф получил распространение и в западных кругах. Например, генерал Холман, глава британской военной миссии при Деникине, уверял еврейскую делегацию, будто из тридцати шести комиссаров в Москве только Ленин не был евреем (Шехтман, *Погромы*, с. 298).

Первые крупные погромы были совершены украинскими националистическими отрядами Петлюры зимой 1918–1919 годов. Погромы устраивали также партизаны Махно и Григорьева, польские войска в 1920 году и некоторые части Красной армии. Во всех этих случаях, кроме польских погромов, где доминировала именно расовая ненависть, антиеврейское насилие тесно переплеталось с разграблением и уничтожением еврейской собственности. Украинские крестьянские солдаты ненавидели евреев прежде всего как торговцев, трактирщиков и ростовщиков — то есть как «буржуазию» чужих для деревни городков, которая, по их убеждению, испокон веков наживалась на простых крестьянах и держала их в бедности.

Обычным приёмом погромщиков было наложить на еврейское население огромную «революционную контрибуцию» — исходя из фантастического представления, будто все евреи богаты, — а затем расстреливать заложников, если требуемая сумма не собиралась. Те же методы использовали большевики во время Красного террора. Не менее обычным было разрешение солдатам грабить еврейские магазины и дома, насиловать и убивать их хозяев, а местному русскому населению — присоединяться к разграблению. Всё это оправдывалось тем, будто евреи нажились на хозяйственном кризисе и теперь их имущество должно «вернуться народу». Большевики называли подобное «грабежом награбленного».

Погромы, совершённые войсками Деникина, во многом двигались тем же простым желанием грабить, насиловать и убивать еврейское население, считавшееся богатым, чужим и беззащитным. Но в них особенно заметна была и расовая ненависть, а также ненависть к евреям как, по словам одного белого офицера, к «избранному народу большевиков». Целые еврейские местечки сжигались и разрушались на том основании, что они якобы поддерживали красных — и можно ли удивляться, что многие евреи действительно искали защиты у красных? На синагогах рисовали красные звёзды. Евреев брали в заложники и расстреливали в отместку за Красный террор. Трупы выставляли на улицах с табличками «Предатели» или вырезанными на теле красными звёздами.[41]

После захвата города у красных белые офицеры нередко давали своим солдатам два-три дня на то, чтобы безнаказанно грабить и убивать

евреев. Это воспринималось как награда войскам и как «справедливое возмездие» за участие евреев в поддержке красных. Нет ни одного зафиксированного случая, когда белый офицер остановил бы погром, зато известны случаи, когда его прямо приказывали устраивать даже старшие генералы, в том числе Мамонтов и Май-Маевский.

Один из самых страшных погромов произошёл в Киеве — буквально под носом у белых властей. С 1 по 5 октября казаки ходили по городу, вламывались в еврейские дома, требовали деньги, насиловали и убивали. Офицеры и местные священники подзадоривали их речами о том, что «жиды убивают наших людей и поддерживают большевиков». Даже Шульгин, убеждённый антисемит, был потрясён атмосферой «средневекового ужаса» на улицах и «страшным воем» евреев по ночам, от которого, по его словам, «разрывалось сердце». Однако генерал Драгомиров, управлявший городом, распорядился прекратить погром лишь 6 октября — на следующий день после того, как оргия убийств уже выдохлась сама собой.[42]

Многие погромы сопровождались изощрёнными пытками, вполне сравнимыми с методами Красного террора. В Фастове казаки подвешивали жертв к потолку и отпускали их в тот момент, когда они почти задыхались. Если родственники, вынужденные наблюдать за пыткой, не могли выплатить требуемые деньги, всё повторялось. Саблями отрубали конечности и носы, младенцев вырывали из утробы беременных женщин. Еврейские дома поджигали, а тех, кто пытался выскочить из огня, силой загоняли обратно. В некоторых местах, например в Чернобыле, евреев загоняли в синагогу и сжигали вместе со зданием. В других, например в Черкассах, сотни девочек доподросткового возраста подверглись групповому изнасилованию. На телах многих позднее обнаруживали ножевые и сабельные раны половых органов.

Один из самых ужасных погромов произошёл в маленьком подольском городке Кривое Озеро в конце декабря, на последней стадии отступления белых. К этому времени белые части уже перестали заботиться о мнении мира и, понимая близость поражения, окончательно отбросили всякую сдержанность. Терские казаки пытали и калечили сотни евреев, в том числе женщин и маленьких детей. Сотни тел оставили лежать в снегу на съедение собакам и свиньям. И среди

этой чудовищной сцены казачьи офицеры устроили в почтовой конторе бал — в вечерних костюмах и с оркестром. Они пригласили городского судью и группу проституток, привезённых из Херсона. Пока солдаты ради забавы убивали евреев, офицеры и их *beau monde* пили шампанское и танцевали до утра.

Благодаря недавно открытым архивам теперь можно лучше представить масштабы еврейских жертв в годы гражданской войны. Точное число уже никогда не будет установлено. Даже белые погромы, изученные лучше других, создают серьёзные статистические трудности; существовало и множество других погромов — украинских националистов, махновцев, польских войск, красных, — жертвы которых вообще не учитывались. Но можно с уверенностью сказать, что общее число убитых евреев было значительно выше 31 071 официально зарегистрированного захоронения и выше прежних научных оценок в 50–60 тысяч погибших. Один из важнейших документов, найденных в российских архивах, — отчёт 1920 года о расследовании еврейских организаций Советской России — говорит о «более чем 150 000 зарегистрированных смертей» и о числе жертв, включая раненых и погибших, до 300 000.[43]

* * *

Тысячи бежавших сторонников деникинского режима стеклись в Новороссийск, главный союзнический порт на Чёрном море, надеясь эвакуироваться на одном из иностранных кораблей. К марту 1920 года город был набит отчаявшимися беженцами. Высшие сановники старого режима спали по двенадцать человек в комнате. Тиф собирал страшную жатву среди немытых толп. Князь Е. Н. Трубецкой и Пуришкевич умерли в ужасающих условиях Новороссийска. Никто уже не думал о продолжении борьбы с красными, чья кавалерия окружала город. Семь лет войны и революции воспитали в этих людях психологию поражения — теперь они думали только о спасении.[44]

Британские орудия бросали в море. Казаки пристреливали лошадей. Все хотели покинуть Россию, но союзнические корабли не могли взять всех. Приоритет отдавался войскам: 27 марта около 50 000 солдат вывезли в Крым. Ещё 60 000 белых остались на милость красных. В последней панике у причалов разыгрывались безобразные сцены:

княгини дрались, как торговки на рыбном рынке; мужчины и женщины становились на колени перед союзническими офицерами, умоляя спасти их; некоторые бросались в море.

Для критиков Деникина эта неудачная эвакуация стала последней каплей. С первых осенних поражений среди генералов нарастал бунт против главнокомандующего: всё очевиднее становилось, что Московская директива была стратегической ошибкой. Добравшись до Крыма, генералы потребовали отставки Деникина. По итогам опроса старших командиров явным преемником оказался генерал Врангель. Но сама мысль об «избрании» нового вождя была им отвратительна — слишком уж это напоминало демократию, разрушившую армию в 1917 году. Поэтому они добились, чтобы Деникин сам подал в отставку и «назначил» Врангеля преемником.

Для Деникина это было последним унижением: совсем недавно он сам отстранил своего соперника от командования. Теперь ему пришлось вызвать Врангеля из Константинополя, где тот находился в изгнании. Тот же британский корабль, который привёз Врангеля обратно в Россию, увёз Деникина в турецкую столицу. Родину он больше никогда не увидел.

При генерале Врангеле белые предприняли последнюю попытку сопротивления большевикам.[46] Но с самого начала было ясно, что их дело обречено. Советско-польская война, отвлекшая красные части с Южного фронта, ненадолго позволила белым закрепиться в Крыму. Но это был лишь вопрос времени: как только красные вновь сосредоточились на них, исход уже почти не вызывал сомнений. По существу, к апрелю 1920 года белые были разбиты.

Каковы же были основные причины поражения? Русская эмиграция ещё долгие годы мучительно спорила об этом. Историки, сочувствовавшие белому делу, часто подчёркивали «объективные факторы», якобы заранее делавшие их положение почти безнадёжным. У красных было подавляющее численное превосходство, они контролировали огромную территорию центральной России с её престижными столицами, большей частью промышленности и ядром железнодорожной сети, что позволяло перебрасывать войска с одного фронта на другой. Белые, напротив, были разделены между несколькими удалёнными фронтами и с трудом координировали

действия; кроме того, они зависели от ненадёжных союзников в поставках. Другие историки указывали на стратегические ошибки — прежде всего Московскую директиву — и на превосходство красных в руководстве, дисциплине и решимости.

Все эти обстоятельства, несомненно, играли роль — и в обычной войне, возможно, их было бы достаточно для объяснения результата. Но русская гражданская война была войной иного рода.[47] Её вели армии, которые не могли рассчитывать ни на верность большей части своих мобилизованных солдат, ни на поддержку гражданского населения на территориях, которыми пытались управлять. Большинство людей не хотели иметь к гражданской войне никакого отношения: они старались не высовываться и сохранять нейтралитет. Как сказал один еврей Бабелю, все армии утверждали, что сражаются за справедливость, но грабили одинаково.

К 1920 году, когда Россия оказалась на грани голода, многие, вероятно, готовы были принять любого «царя», лишь бы тот дал хлеб. И красные, и белые постоянно страдали от массового дезертирства, развала снабжения, забастовок и крестьянских восстаний в тылу. Но их способность продолжать войну несмотря на всё это зависела не столько от военных, сколько от политических факторов — от организации и массовой мобилизации. Террор, конечно, тоже играл роль. Но одного террора было недостаточно: людей было слишком много, а государственный аппарат слишком слаб, чтобы применять его повсеместно; к тому же террор нередко давал обратный результат.

В одном отношении красные обладали решающим преимуществом, позволявшим им выставлять на поле боя больше солдат именно тогда, когда это было необходимо: они могли утверждать, что защищают «революцию» — удобный многозначный символ, в который разные слои народа вкладывали собственные надежды. Возможность сражаться под Красным знаменем давала большевикам важнейшее преимущество. Именно символическая сила революции во многом объясняет, почему крестьяне, включая сотни тысяч дезертиров, вернулись в Красную армию осенью 1919 года, когда белые шли на Москву. Крестьяне верили, что победа белых отменит их собственную революцию в деревне. И только после окончательного разгрома белых крестьянские восстания против большевиков приобрели по-настоящему массовый

размах. Та же логика «защиты революции» объясняет, почему многие рабочие, несмотря на недовольство большевиками, поддержали советскую власть во время наступления Юденича на Петроград.

В основе поражения белых лежал политический провал. Они оказались неспособны и не захотели выработать такую программу, которая могла бы привлечь на их сторону большинство населения. Их движение строилось, по выражению Врангеля, на «жестоком мече мести»; единственной мечтой было повернуть часы назад, к «счастливым дням» до 1917 года; они так и не поняли, что необходимо приспособиться к реальностям революции. Нежелание признать крестьянскую революцию в вопросе о земле и национальные движения за независимость обрекло белых на поражение. Сам Деникин первым признавал, что победа зависит от народного восстания против красных в центральной России. Но такого восстания не произошло. Вместо того чтобы привлечь народ на свою сторону, белые, по словам Врангеля, «превратили его во врага».[48]

Отчасти это была проблема образа. И Колчак, и Деникин отрицали, что являются монархистами, но среди их сторонников было слишком много людей, мечтавших о восстановлении царского режима. Это создавало в глазах населения образ белых как защитников старого порядка и давало их противникам мощное оружие для пропаганды. Белые почти ничего не сделали, чтобы изменить этот образ. Их пропаганда была примитивна, да и вряд ли одна пропаганда могла преодолеть такое недоверие. В конечном счёте поражение белых во многом объясняется их неспособностью порвать с прошлым и перехватить инициативу в той повестке, которую задала революция 1917 года. Проблема русской контрреволюции заключалась именно в этом: она была слишком контрреволюционной.

С разгромом белых старая Россия князя Львова окончательно ушла в прошлое. «Моё сердце обливается кровью, — писал он Родичеву в ноябре 1920 года, — когда я думаю о моей далёкой и несчастной родине. Мне мучительно представлять страдания моих друзей и родных — да и всего народа».

В 1918 году Львов настаивал, что большевиков можно победить только военной силой. Он не верил в возможность демократического движения внутри России. Но к 1920 году даже он понял, что ошибался.

«Мы заблуждались, полагая, что большевиков можно победить физической силой, — писал он Бахметеву в ноябре. — Победить их может только русский народ. А для этого белым нужна была бы демократическая программа».[49]

ii. Товарищи и комиссары

В сентябре 1919 года на стол Ленина лёг поразительный доклад. Из него следовало, что Смольный — цитадель Октябрьской революции — насквозь пронизан коррупцией. «Деньги свободно текут из кассы Петроградского Совета в карманы партийных руководителей», — писал Ленину глава рабочего отдела. Уже несколько месяцев отдел снабжения не выдавал продовольствие рабочим районам, а между тем с заднего двора Смольного продукты целыми грузовиками уходили спекулянтам.

«Голодные рабочие видят, как хорошо одетые царицы советских царей выходят с пакетами еды и уезжают в автомобилях. Они говорят, что всё стало точь-в-точь как при Романовых и их фрейлинах — как при мадам Вырубовой. Жаловаться Зиновьеву они боятся: тот окружён вооружёнными прихвостнями, которые угрожают рабочим, если те задают слишком много вопросов».

Потрясённый докладом, Ленин приказал Сталину, как народному комиссару государственного контроля, провести «сверхстрогую проверку учреждений Смольного». Проверка должна была пройти без ведома Зиновьева и его чиновников. Но Сталин отказался «шпионить за товарищами», заявив, что это подорвёт работу партии в критический момент гражданской войны. Это было характерно для его подхода: товарищеская солидарность и сохранение партии значили для него больше, чем любые свидетельства злоупотребления властью.[50]

Этот эпизод был симптомом гораздо более широкой болезни: власть порождала коррупцию. Причём речь шла о чём-то более глубоком, чем обычное взяточничество, присущее любому правительству. Большевики не были похожи на обычную западную партию. Скорее они становились новым правящим сословием — во многом подобным дворянству, с которым Ленин сам нередко их сравнивал. «Если десять тысяч дворян могли управлять всей Россией, почему не сможем мы?» — как-то сказал он.

Товарищи действительно занимали место прежней элиты. Вступление в партию после 1917 года стало сродни получению дворянского звания. Оно открывало дорогу к бюрократическим должностям, элитному статусу и личной доле в партийно-государственной системе. Партийный дух пронизывал все стороны общественной жизни Советской России так же, как дух аристократии прежде определял общественную жизнь царской России.

Возможно, такая коррупция была неизбежна в партии, чьё государственное строительство в годы гражданской войны опиралось на массовый набор людей из низших слоёв. В социальной революции одним из главных мотивов вступления в партию неизбежно становилась возможность подняться наверх. Но проблема усугублялась тем, что большевики, получив власть, действовали почти без контроля. По сути, возникла система клиентелы — влиятельные кланы и местные сети покровительства и власти, не подчинявшиеся реальному надзору центральных партийных органов. Порой большевики напоминали скорее местную мафию, чем правящую партию крупнейшей страны мира.

Во время гражданской войны партийные лидеры закрывали глаза на подобную коррупцию. Это был период, когда от товарищей требовали огромных жертв во имя революции: многие работали круглые сутки и проявляли фанатическую преданность партии. На этом фоне небольшие привилегии казались не слишком высокой ценой. Ещё в начале 1918 года Ленин поддержал предложение открыть в Петрограде специальный закрытый ресторан для большевиков: нельзя же, рассуждал он, руководить революцией на пустой желудок. «Рабочие поймут необходимость этого».

К концу гражданской войны считалось уже само собой разумеющимся, что партийцам нужны повышенные оклады и особые пайки, субсидированное жильё в квартирах и гостиницах, доступ к закрытым магазинам и больницам, личные дачи, автомобили с шофёрами, проезд первым классом по железной дороге и отпуска за границей — не говоря уже о бесчисленных мелких привилегиях, прежде доступных только царской элите.[51]

Пять тысяч большевиков и членов их семей жили в Кремле и специальных партийных гостиницах — прежде всего в «Национале» и

«Метрополе» в центре Москвы. В кремлёвских жилых корпусах было более двух тысяч человек обслуживающего персонала и собственный комплекс магазинов, включая парикмахерскую и баню, больницу, детские ясли и три огромных ресторана с поварами, обучавшимися во Франции. В 1920 году, когда все эти услуги официально были бесплатными, хозяйственный бюджет Кремля превышал расходы на социальное обеспечение всей Москвы.

В Петрограде высшее партийное начальство жило в гостинице «Астория», недавно восстановленной после революционного разорения и превращённой в Первый Дом Советов. Из номеров можно было вызвать обслуживание «товарищей-официантов», которых учили щёлкать каблуками и обращаться к жильцам: «товарищ барин». В изобилии подавались давно забытые предметы роскоши — шампанское и икра, духи и зубные щётки. Гостиница была закрыта для публики и охранялась крепкими молодцами в чёрных кожаных куртках. По вечерам у входа выстраивались правительственные автомобили, ожидавшие элитных постояльцев, отправлявшихся в оперу или на банкет в Смольный. «Гришка» Зиновьев, «хозяин Петрограда», часто приезжал и уезжал в сопровождении чекистов и целой вереницы проституток.[52]

Высшие партийные руководители получили собственные загородные имения, реквизированные у царской элиты. Ленин занял усадьбу генерала Морозова в Горках под Москвой. Троцкому досталась одна из самых роскошных усадеб страны, прежде принадлежавшая Юсуповым. Сталин поселился в загородном доме бывшего нефтяного магната. Вокруг столицы насчитывались десятки усадеб, переданных ВЦИКом партийным руководителям в личное пользование. Каждая имела многочисленную прислугу — почти как в старые времена.[53]

Ниже по партийной иерархии вознаграждения были скромнее, но дух корысти проявлялся столь же отчётливо. Конечно, существовали товарищи, которых действительно вели высокие идеалы, которые жили просто и придерживались равенства, проповедуемого партийными вождями. Сам Ленин жил в трёх небольших комнатах Кремля и никогда не был движим стремлением к личному обогащению. Но неизбежно было и множество людей, для которых идеалы оставались лишь риторикой, а мотивы были гораздо приземлённее. Взятки, кражи и

продажа государственного имущества стали повседневностью. У коррумпированных чиновников можно было купить почти всё: продовольствие, табак, алкоголь, топливо, жильё, оружие и любые разрешения. Жёны и любовницы партийных начальников ходили, по выражению Зиновьева, «будто на шее у них висела витрина ювелирного магазина». Их дома наполнялись драгоценностями и дорогими вещами, полученными в качестве взяток. Один чиновник Наркомата иностранных дел имел две севрские вазы и серебряный мушкет, некогда принадлежавший Петру Великому. Неудивительно, что самыми корыстными товарищами зачастую оказывались сотрудники ЧК. В конце концов, их работа и заключалась в том, чтобы «выжимать буржуазию». Рабкрин — Рабоче-крестьянская инспекция — сообщал о сотнях случаев, когда чекисты злоупотребляли властью, вымогая у своих жертв деньги и драгоценности. За взятки заключённых нередко отпускали на свободу. Коррупцией была поражена даже Лубянка — московская штаб-квартира ЧК. Бутылки коньяка и другие ценности загадочным образом исчезали, а из секретных помещений, где хранились конфискованные вещи, часто выходили хорошо одетые проститутки.

Ленин любил объяснять коррупцию тем, что по мере расширения советского аппарата в годы гражданской войны в него проникали «нечистые» мелкобуржуазные элементы. Действительно, на нижних этажах государственного аппарата было немало непролетариев, чья преданность большевистскому режиму основывалась прежде всего на личной выгоде. Но коррупция ими не ограничивалась. Она охватила партию в целом, включая тех, кто служил ей дольше всех и оставался на вершине. Иными словами, коррупция была порождением бесконтрольной власти.[54]

Речь шла не только о большевистской монополии в Советах. В большинстве городов она сложилась уже к лету 1918 года — задолго до того, как коррупция стала повсеместной. Не менее важным было превращение самих Советов: из революционных органов, где высшей властью являлось собрание и где исполнительные органы подлежали контролю снизу, они становились бюрократическими учреждениями партийного государства. Реальная власть переходила к большевикам в исполкомах, а собрания утрачивали над ними контроль. Коррупция

была следствием бюрократизации не меньше, чем монополизации власти.

Этот двойной процесс складывался из множества параллельных изменений внутри партийного государства. Никакого генерального плана не существовало. Придя к власти, большевики не имели ясной схемы взаимоотношений между партией и Советами — кроме общего стремления всё контролировать и централизовать. В первые месяцы 1918 года местные Советы и партийные органы отличались чрезвычайной самостоятельностью и импровизационным характером. Многие провозглашали собственные «республики» и «диктатуры» и попросту игнорировали распоряжения Москвы.

В деревне дошло до того, что Советы нередко рвали декреты центрального правительства на папиросную бумагу. Поэтому, отправляя агитаторов в деревню с Декретом о земле, Ленин снабжал их также старыми календарями в надежде, что на самокрутки пустят их, а не правительственный документ. Особенно прославилась сопротивлением централизации Калужская губерния. Там существовала «Суверенная Советская Республика Автономных Волостей» — едва ли не самый близкий к анархистской модели власти опыт в российской истории. Каждая волость могла устанавливать собственный пограничный контроль, и представителям московского государства приходилось получать отдельный паспорт у каждого Совета, переходя из одной деревни в другую. Лишь в ходе гражданской войны, когда мобилизация ресурсов потребовала жёсткой централизации, большевики начали сознательно выстраивать общую структуру партийного государства.[55]

Первой задачей было подчинить Советы и другие жизненно важные организации, прежде всего профсоюзы. Меньшевики и эсеры всё ещё присутствовали в них, хотя после запрета партий летом 1918 года — как «беспартийные» делегаты.[134] Практически все приёмы коммунистической электоральной тактики, с помощью которых в XX веке подчинялись демократические институты, впервые были опробованы в годы русской гражданской войны. Большевики широко

[134] С 1918 по 1922 год запрет на меньшевиков и эсеров время от времени ненадолго снимался, однако даже в такие периоды большевики продолжали преследовать их активистов.

прибегали к фальсификациям и запугиванию оппозиции. Голосование на съездах Советов и профсоюзов почти всегда проводилось открытым поднятием рук, так что голос против большевиков мог обернуться преследованием со стороны ЧК, чьё присутствие ощущалось на каждом собрании.

При тайном голосовании большевики вряд ли выигрывали бы многие выборы. Лозунг «Советы без коммунистов!» становился всё популярнее среди рабочих и крестьян. Но большевики отменили эту «условность буржуазной демократии», утверждая, будто при «высшей форме свободы», якобы достигнутой советским народом, тайный бюллетень больше не нужен. С системой открытого голосования — к тому же знакомой русской деревне по общине — проиграть выборы было трудно. Даже артисты Мариинской оперы, едва ли оплот коммунизма, в 1919 году единогласно проголосовали за большевиков на выборах в Совет.

На руку большевикам играло и голосование по партийным спискам. Будучи единственной легальной партией в Советах, только они могли заранее собираться своей фракцией и согласовывать тактику, тогда как другие группы оставались разрозненными в зале съезда. Поэтому даже при сравнительно малочисленной поддержке большевики нередко выигрывали выборы в местные Советы: они представляли себя единственной партией, которую можно сделать ответственной за политику центрального правительства. Получив простое большинство, большевистский список часто занимал весь исполком, вместо того чтобы распределять места пропорционально силе различных фракций. Победитель забирал всё.

Получив контроль над исполкомами Советов, большевики стремились сосредоточить власть в их руках. Советские съезды созывались всё реже; в их отсутствие власть осуществляли исполкомы и постоянные ведомственные аппараты, назначаемые по каждой отрасли управления. Социалистическая оппозиция называла это *исполкомщиной* — диктатурой исполнительных комитетов. В революционный период исполкомы Советов состояли главным образом из добровольцев — рабочих и крестьян. Теперь их всё больше заполняли профессиональные бюрократы, получавшие жалованье от центрального партийного

государства и редко подвергавшиеся переизбранию. Людей от плуга сменяли люди с пером.

Работа Советов всё сильнее определялась партийным аппаратом. Партия проникала как в административные, так и в политические структуры государства. До 1919 года сама партия почти растворилась в Советах. Центральный комитет фактически едва существовал — Ленин и Свердлов вдвоём решали большую часть его дел буквально «на обороте конверта» — и имел слабейшие связи с местными партийными ячейками. Некоторые большевики даже предлагали распустить партию: раз Советы уже под её контролем, она якобы выполнила свою историческую задачу. По словам Николая Крестинского, партийные ячейки казались тогда всего лишь «агитационными отделами местных Советов».

Весной 1919 года всё изменилось. Во-первых, внезапная смерть Свердлова, стоявшего одновременно во главе партийной и советской бюрократии, показала необходимость разделить эти структуры. Во-вторых, в условиях гражданской войны большевики всё острее ощущали хаотичность советского аппарата и увидели в партийной системе инструмент для установления более централизованного контроля.

После VIII съезда партии в марте центральный аппарат резко расширили, готовя его к прямому руководству Советами. Было создано Политбюро из пяти человек — Ленин, Троцкий, Сталин, Каменев и Крестинский — для определения партийной политики. В течение следующего года штат ЦК увеличился в пять раз: возникли девять отделов и различные бюро, отвечавшие за отдельные направления, Секретариат и специальное Организационное бюро — Оргбюро — для распределения партийных кадров по стране.

Местным ячейкам навязали строгий централизм: теперь их члены должны были выполнять распоряжения вышестоящих партийных органов, а не Советов. Поскольку председатели местных Советов почти неизменно были членами партии, а нередко одновременно возглавляли и местную партийную организацию, это фактически подчиняло весь советский аппарат партии. Большевики всё чаще называли Советы и другие общественные структуры — например, профсоюзы — «приводными ремнями» партийной власти. Позднее эта формула станет знаменитой благодаря Сталину.

Высшие партийные органы всё чаще назначали своих специальных комиссаров на советские должности, ранее заполнявшиеся выборами снизу. К 1920 году один только ЦК производил около тысячи таких назначений в месяц. Губернские партийные органы поступали так же на уездном и волостном уровнях. Оськин в Туле был одним из наиболее известных сторонников этой «назначенческой» практики.

Цель состояла в том, чтобы укрепить контроль центра над местным аппаратом: вниз посылали самых надёжных и проверенных товарищей, которые должны были командовать в военном стиле. Однако эффект нередко оказывался обратным. Приезжие комиссары пренебрегали местными интересами и раздражали активистов. Внизу нарастал протест против «милитаризации» партии, приводившей к атрофии местных организаций и их отчуждению от руководства. Ещё важнее было то, что из-за постоянных назначений многие Советы управлялись людьми, совершенно чужими данному региону и поэтому, возможно, легче злоупотреблявшими властью.

Семён Канатчиков был типичным представителем этого кочующего комиссарского слоя. Хотя родился он в Московской губернии, в годы гражданской войны ЦК назначал его на высокие посты в Томске, Перми, Екатеринбурге, Омске, Татарской республике и Петрограде. Почти два года он не видел жену и двух маленьких детей, оставленных им в укрытии в Барнауле. Такая «назначенческая» практика лишь усиливала и в народе, и среди рядовых партийцев ощущение, что советская власть — нечто чужое и давящее извне.

* * *

Неудивительно, что в государстве, стремившемся контролировать всё общество, советская бюрократия разрослась с поразительной скоростью. Царское государство оставляло многое частным и общественным учреждениям — земствам, благотворительным организациям и т. п. Советский режим упразднил их и взял на себя прямую ответственность за всё, чем они занимались. Результатом стала бюрократизация практически каждой стороны жизни — от банков и промышленности до образования.

С 1917 по 1921 год число государственных служащих выросло более чем вчетверо — с 576 000 до 2,4 миллиона. К 1921 году бюрократов в

России было вдвое больше, чем рабочих. Именно они становились социальной опорой режима. Это была уже не «диктатура пролетариата», а диктатура бюрократии. Москва, по выражению Ленина, «распухла от чиновников»: к концу 1920 года их в городе насчитывалось почти четверть миллиона — треть всей рабочей силы столицы. Центр Москвы превратился в гигантский офисный квартал, где комиссии громоздились поверх советов, а отделы — поверх комитетов.[56]

Примерно треть бюрократии, вероятно, была занята регулированием плановой экономики. Получалась нелепая картина: сама экономика останавливалась, а аппарат, управлявший ею, процветал. Страна остро страдала от нехватки топлива, но существовала целая армия чиновников, регулирующих его почти отсутствующее распределение. Бумаги не было в магазинах, зато в учреждениях её лежали горы: 90 процентов бумаги, произведённой в России в первые четыре года советской власти, поглотила бюрократия. Одним из немногих действительно загруженных предприятий была Московская телефонная фабрика: спрос новой чиновничьей массы на телефоны оказался настолько велик, что в очереди стояло 12 000 заказов.[58]

Связь между пустыми заводами и полными канцеляриями была не случайной. Чем дефицитнее становились товары, тем труднее было контролировать их распределение — дефицит подпитывал чёрный рынок, и государство отвечало новыми вмешательствами. Возникали всё новые перекрывающиеся друг с другом экономические органы. Помимо центральных наркоматов — продовольствия, труда, транспорта — и их местных подразделений в Советах, существовала сеть учреждений ВСНХ: местные совнархозы, производственные тресты и специальные главные управления по отдельным товарам — *главки*. Кроме того, режим создавал чрезвычайные структуры военного снабжения — например, Совет труда и обороны или такие канцелярские чудовища, как Чусоснабарм, Чрезвычайное управление по снабжению армии, которое теоретически могло отменять решения остальных хозяйственных органов.

На практике это означало путаницу и соперничество. Чем сильнее государство пыталось централизовать контроль, тем меньше реального контроля оно имело. На уровне предприятий картина была не лучше. К 1920 году на каждые сто рабочих приходилось шестнадцать заводских

служащих. На некоторых предприятиях соотношение было ещё хуже: из семи тысяч человек на знаменитом Путиловском заводе лишь две тысячи были рабочими у станков, остальные — мелкими чиновниками и конторскими служащими. Беловоротничковая работа давала слишком много материальных преимуществ — прежде всего доступ к дефицитной еде и товарам, — поэтому по мере усугубления хозяйственного кризиса число подобных паразитических должностей неизбежно росло. Почти каждая забастовочная резолюция тех лет обвиняла заводскую администрацию в том, что она «живёт за счёт рабочих».

Ленин любил утверждать, что бюрократизм — наследие царизма.[59] Советская бюрократия действительно переняла многое из культуры старого аппарата, однако к 1921 году она была уже примерно в десять раз больше царской. Сохранялась и кадровая преемственность, особенно в центральных органах. Более половины чиновников московских наркоматов в августе 1918 года до Октября работали в той или иной административной структуре. Центральные учреждения нанимали также целые армии молодых буржуазных девушек, большинство из которых прежде никогда не работали, — на мелкую канцелярскую службу. Один очевидец вспоминал, как каждое утро сотни таких девушек шли по снегу из московских окраин в центр. Они весь день сидели в неотапливаемых кабинетах, где мокрые туфли и одежда не успевали высохнуть, а вечером возвращались домой помогать прокормить голодающих родственников.

Но чем ниже спускался аппарат, тем больше его заполняли представители низших слоёв, впервые вошедшие в чиновничий мир. В провинциальных городах большинство составляли нижние слои среднего класса — то, что марксисты называли «мелкой буржуазией»: счетоводы, приказчики и мелкие служащие, торговцы и ремесленники, активисты кооперативов, инженеры и заводская администрация, а также люди, прежде работавшие техниками или специалистами в земствах и муниципалитетах. Рабочие же, от имени которых режим якобы был создан, составляли среди советских чиновников очень малую долю — не более десяти процентов, если судить по тем, кто до 1917 года действительно имел рабочую профессию. Даже в управлении промышленностью рабочие составляли менее трети служащих.[60]

Есть все основания считать, что большинство этих низших средних слоёв привлекали к советскому режиму не столько революционные идеалы, сколько сравнительно высокие оклады и короткий рабочий день чиновника. Во всяком случае, это было куда привлекательнее, чем холод и голод, ожидавшие представителей старой буржуазии, которые отвернулись от режима. Типичный день советского чиновника проходил в разговорах по коридорам, курении и кофе, либо в очередях за особыми пайками, предназначенными только для советской элиты.

В деревне влияние советского режима проникло глубже, чем когда-либо при царизме. В годы гражданской войны большинство волостных исполкомов превратилось из демократических органов крестьянской революции в бюрократические механизмы государственного налогообложения. В Поволжье, где этот процесс изучен особенно хорошо, к осени 1919 года хотя бы один большевик входил в 71 процент волостных исполкомов, тогда как весной показатель составлял лишь 38 процентов. Две трети всех членов исполкомов были зарегистрированы как большевики.

Так режим получал опорный пункт в волостных центрах. Именно исполкомы, сосредоточившие власть за счёт съездов Советов, становились более или менее надёжным инструментом для проведения продразвёрстки и мобилизаций. Потеряв контроль над Советами, крестьяне отходили в свои деревни, сплачивались вокруг общины и отворачивались от волостной власти. Поэтому конфликт между крестьянством и партийным государством разворачивался по тем же линиям, что и прежний конфликт крестьян с помещичьим государством: деревня против волостного центра.[61]

Ключом к большевистскому государственному строительству стала поддержка молодого и грамотного слоя крестьян, покинувших деревню во время войны. Оськин был типичным примером. В Поволжье 60 процентов членов волостных исполкомов были в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет — при том, что среди избирателей таких было лишь 31 процент, — а 66 процентов были грамотными против 41 процента населения. Это поколение выросло в годы подъёма сельской школы на рубеже веков и было мобилизовано на войну. В 1918 году оно вернулось в деревню с военными навыками и знакомством с

двумя великими идеологиями городского мира — социализмом и атеизмом.

Во время земельной революции крестьяне нередко воспринимали таких людей как естественных лидеров. Старые деревенские патриархи вроде Малютина в Андреевском зачастую были просто недостаточно грамотны, чтобы справляться со сложными задачами управления после исчезновения помещиков и сельской интеллигенции. Для многих бывших солдат, чьи амбиции расширились за годы отсутствия в деревне, работа в Совете становилась возможностью подняться в жизни. После армейских впечатлений возвращение к тяжёлому крестьянскому труду и «тёмному» деревенскому миру казалось унылой перспективой. Работа в Совете и вступление в партию повышали престиж и власть, давали чистую конторскую работу со всеми льготами и привилегиями и билет в новую, ориентированную на город цивилизацию советского режима. Во всём крестьянском мире коммунистические режимы строились на простой мечте грамотного крестьянского сына — стать служащим.

* * *

Крестьяне составляли большинство тех, кто хлынул в партию. С 1917 по 1920 год в большевики вступили 1,4 миллиона человек — и две трети происходили из крестьян. Партийный билет был самым надёжным способом продвигаться по ступеням советской бюрократии: к концу 1919 года меньше одного большевика из пяти действительно работал на заводе или в поле. Высшие должности почти всегда отдавались партийцам, часто без всякого учёта их знаний и квалификации. Например, Украинское управление лесной промышленности возглавил студент первого курса медицинского института, а провинциальными отделами руководили обычные плотники, металлисты и даже, в одном случае, шарманщик.

Большевистские лидеры поощряли массовый приём новых членов. Гражданская война постоянно уносила кадры, и партии требовалось всё новое «пушечное мясо». Периодически объявлялись специальные партийные недели, когда обычное требование рекомендаций временно отменялось, а агитаторы отправлялись на фабрики и в деревни, чтобы привлечь как можно больше людей. Октябрьская партийная неделя 1919

года, в разгар наступления белых, более чем удвоила численность партии: за короткое время вступило 270 000 человек.

Однако руководители справедливо опасались, что столь неразборчивый набор ухудшит «качество» партии. Гегемония рабочего класса внутри партии — на деле всегда фиктивная, поскольку большинство ведущих большевиков происходило из интеллигенции — казалась теперь под угрозой из-за наплыва крестьян. Массовый приход людей из низших слоёв снижал и общий уровень грамотности — серьёзный недостаток для партии, стремившейся управлять государственным аппаратом. В 1920 году менее восьми процентов членов партии имели какое-либо среднее образование; 62 процента — лишь начальное; 30 процентов вообще не учились в школе.[62]

Уровень образованности большинства местных чиновников был настолько низким, что почти любой клочок бумаги с большой печатью и гербом производил на них впечатление официального документа. Один англичанин проехал через всю Россию, предъявляя вместо паспорта счёт своего портного с Джермин-стрит. Впечатляющий фирменный бланк, крупная красная печать и подпись действовали безотказно: ни один местный чиновник не решился усомниться в подлинности документа.[64]

Политическая грамотность рядовых партийцев была столь же примитивной. Исследование женщин-работниц Петрограда, вступивших в партию во время гражданской войны, показало, что до 1917 года большинство никогда даже не слышало и не задумывалось о таких словах, как «социализм» или «политика». Московская партийная организация выяснила в 1920 году, что многие её члены не знают, кто такой Каменев — председатель Московского Совета. Невежество не ограничивалось низшими слоями. В школе подготовки большевистских журналистов никто из слушателей не сумел ответить, кто такие Ллойд Джордж или Клемансо. Некоторые считали, что «империализм» — это республика где-то в Англии.[65]

И всё же именно эта полная простота в важном отношении была одной из величайших сил партии. Как бы ни злоупотребляли властью её низовые чиновники, в глазах простых людей у них было одно достоинство: они говорили тем же простым языком, одевались и вели себя почти так же, были, короче говоря, «своими». Это придавало

большевикам символическую привлекательность как «правительству народа» — образ, который их пропаганда беспощадно использовала, хотя сам режим с самого начала ему изменял. Для многих людей из низов этой внешней близости было достаточно, чтобы отождествить себя с большевистской властью, даже считая её плохой, и поддержать её против белых — тех, кто очевидно был «не из наших», — когда те приближались.

Без сомнения, многие местные большевики искренне верили в идеалы революции. Политическая образованность и искренность редко совпадают автоматически, что хорошо известно любому обществу даже с развитой демократией. Но другие вступали в партию ради выгод. Большевистские руководители постоянно предупреждали об опасности «мелкобуржуазных карьеристов и искателей выгоды», разлагающих ряды. Особенно тревожило их, что четверть партийцев, занявших во время гражданской войны высокие должности, прежде состояли в других партиях — главным образом у меньшевиков и эсеров. Казалось, контрреволюция проникает в саму партию. Троцкий называл таких людей «редисками»: снаружи красные, внутри белые.

На самом деле сами вожди плохо понимали, что происходит с их партией. Они пытались объяснять рост членства простыми классовыми категориями, тогда как реальность была сложнее. Масса рядовых членов не была ни чисто крестьянской, ни чисто рабочей: это были дети глубокого социального кризиса, разрушившего прежние границы. Типичный большевик-мужчина тех лет был одновременно бывшим крестьянином и бывшим рабочим. Вероятно, ещё мальчиком он ушёл из деревни во время промышленного подъёма 1890-х, кочевал с фабрики на фабрику в поисках работы, примкнул к рабочему движению, прошёл через тюрьмы, воевал, вернулся в северные города, а после 1917 года вновь оказался рассеян по стране. Это был человек без корней, деклассированный — как и сама революция, порождение своей эпохи.

Во многих отношениях новые большевики были гораздо покорнее старых. Причиной была прежде всего недостаточная образованность. Они могли механически повторять несколько марксистских фраз, но им не хватало подготовки, чтобы самостоятельно мыслить или спорить с партийными лидерами по отвлечённым вопросам политики. Многие рабочие учились в вечерних технических школах, как Канатчиков, или

на курсах для взрослых. Это были практические люди с сильным стремлением к самоусовершенствованию. Так или иначе, всех их занимала проблема модернизации. Они хотели уничтожить отсталую крестьянскую Россию собственного прошлого и сделать общество более рациональным и равным.

В их марксизме почти не было теории или отвлечённой философии. Это была практическая чёрно-белая догма, дававшая им «научное» объяснение социальной несправедливости, с которой они столкнулись в жизни, и предлагавшая столь же «научное» лекарство. Партийные вожди были мастерами этой науки: если они говорили, что крестьяне прячут хлеб или что меньшевики — контрреволюционеры, значит, так оно и есть. Только этим можно объяснить готовность рядовых членов выполнять приказы сверху, даже видя, что последствия будут катастрофическими для их собственной местности.

Показательный и мрачный пример — упорство поволжских большевиков в проведении продразвёрстки осенью 1920 года, несмотря на первые признаки надвигающегося голода. Беспрекословное повиновение, которое партия называла «дисциплиной» и «твёрдостью», оказалось сильнее личной совести. Хороший товарищ делал то, что ему приказано; критическое мышление он оставлял Центральному комитету.

Но, будучи политически послушными, массы партийцев вовсе не были лёгкими для управления. Отчасти проблема заключалась в местных коррумпированных кланах, захватывавших партийные организации. В Нижнем Новгороде, например, всем заправляла местная мафия большевистских чиновников в союзе с чёрным рынком. Она игнорировала распоряжения Москвы и несколько месяцев саботировала работу молодого Анастаса Микояна, присланного Оргбюро для наведения порядка.

Однако и весь партийный аппарат в значительной степени превращался в систему клиентелы: каждый крупный руководитель создавал собственную сеть покровительства в провинции или в отдельных отраслях государства. Луначарский заполнил Наркомпрос друзьями и знакомыми. Даже Ленин распределял посты в Совнаркоме среди старых соратников и родственников: Бонч-Бруевич и Фотиева, близкие ещё по женевским годам, стали секретарями; Крупская —

заместителем наркома просвещения; сестра Ленина Анна Ульянова получила руководство охраной детства; её муж Марк Елизаров стал народным комиссаром путей сообщения.

Но самым могущественным покровителем становился Сталин. Контролируя Оргбюро, он всё чаще расставлял своих сторонников на ключевых провинциальных должностях. В результате партия превращалась в рыхлую совокупность правящих династий, каждая из которых строилась по принципу собственной «семьи» или клана. Это естественно толкало партию к фракционности.

Ленин так и не понял природу бюрократической болезни собственной партии. Он не видел, что большевистская бюрократия быстро превращается в особую социальную касту со своими привилегированными интересами, отличными от интересов трудящихся масс, от имени которых она правит. На злоупотребления аппарата Ленин отвечал административными мерами — будто несколько технических исправлений способны устранить системную проблему, тогда как требовалась, по меньшей мере, радикальная реформа всего политического строя. Многие его меры оказались контрпродуктивными.

Сначала он пытался бороться с местными вотчинами коррупции, приказав Оргбюро регулярно перебрасывать ведущие кадры с должности на должность. Но это лишь увеличивало дистанцию между руководителями и рядовыми членами и тем самым уменьшало их подотчётность. Кроме того, оно расширяло личную сеть Сталина как главы Оргбюро.

Затем Ленин ввёл регулярные чистки, чтобы удалять нежелательные элементы, привлечённые ростом партии. Первая чистка летом 1918 года сократила членство вдвое — с 300 000 до 150 000. Весной 1919 года вторая крупная чистка уменьшила численность ещё на 46 процентов. Летом 1920 года из партии исключили ещё 30 процентов членов. Особенно часто чистки проводились за счёт крестьян и нерусских, считавшихся «слабым звеном» в социальном отношении. Частые мобилизации партийцев на фронт тоже служили разновидностью чистки: недостаточно преданные просто рвали партийные билеты. Итогом стала крайняя нестабильность рядов: из вступивших в партию в 1917–1920 годах к 1922-му осталось лишь около 30 процентов. Это едва ли способствовало лояльности.[67]

Наконец, Ленин распорядился регулярно инспектировать аппарат. Это напоминало царскую систему бесконечных ревизий, которую Гоголь высмеял в «Ревизоре». Для этой цели создали целый наркомат — Рабкрин. Образованный в феврале 1920 года и возглавленный Сталиным, он объединил государственную инспекцию и рабочий контроль, до этого существовавшие отдельно. Ленин рассчитывал бороться с волокитой и повышать эффективность постоянными проверками всех учреждений рабочими и крестьянами, тем самым делая государство демократически подотчётным. Результат оказался противоположным. Рабкрин быстро превратился в бюрократического монстра и одновременно ещё одну базу растущего сталинского патронажа: к концу 1920 года в его местных органах работало, по оценкам, около 100 000 человек, большинство — беловоротничковые служащие. Вместо сокращения бюрократии Рабкрин лишь увеличил её.

* * *

«Как я живу? — не самая приятная история, — писал Горький Екатерине в феврале 1919 года. — Хорошо теперь живут только комиссары.[68] Они крадут у простых людей сколько могут, чтобы содержать куртизанок и оплачивать свои несоциалистические удовольствия».[69]

Горький был далеко не единственным, кого раздражали привилегии коммунистической элиты. Народные анекдоты и надписи на стенах высмеивали большевиков как настоящую русскую буржуазию в отличие от вымышленной буржуазии их пропаганды. «Куда делись все куры?» — «Почему нет колбасы?» Существовали сотни вариантов одной загадки, и ответ всегда был один: «Всё съели коммунисты». Слово «товарищ», прежде выражавшее коллективную гордость, стало оскорблением. Когда одну женщину так назвали в петроградском трамвае, она возмутилась: «Какой я тебе товарищ! Возьми своего товарища и катись к чёрту!» Высших чиновников заваливали жалобами на коммунистов, «живущих на горбу простого народа». Рабочие открыто осуждали новую красную элиту. В одной заводской резолюции из Перми требовали «все кожанки и кепки комиссаров пустить на обувь рабочим».

У Брусиловых имелись особые причины для недовольства. Их заставили делить маленькую московскую квартиру с неким комиссаром

— бывшим солдатом, которого генерал когда-то спас от смертной казни на фронте, — а также с его подругой и матерью. Брусилов ярко описывал эту жизнь:

> Грубый, наглый, постоянно пьяный, весь покрытый шрамами, теперь он, конечно, был большой человек, близкий к Ленину и прочим. Теперь я думаю: зачем я спас ему жизнь! Наша квартира до его появления была чистой и приятной, а затем превратилась в место пьянок, драк, воровства и сквернословия. Иногда он исчезал на несколько дней и возвращался с мешками еды, вином и фруктами. Мы буквально голодали, а у них была белая мука, масло и всё, что они хотели. Больше всего нас возмущал их запас топлива. Это была страшная зима 1920 года, когда на стенах гостиной висели сосульки. Примус давно перестал работать, и мы замерзали. А у них была большая железная печь и сколько угодно топлива.[70]

Жалобы на большевистскую элиту раздавались и внутри самой партии. Среди низовых членов росло ощущение, что руководство слишком оторвалось от рядовых партийцев. Эти настроения позднее выразят «демократические централисты» и «Рабочая оппозиция» — две главные фракции, потрясшие руководство партии в 1920–1921 годах. Один старый большевик из Тулы писал Ленину в июле 1919 года: «Мы оторвались от масс и сами затруднили их привлечение. Старый товарищеский дух партии полностью умер. Его заменило новое единовластие, при котором партийный начальник распоряжается всем. Взяточничество стало всеобщим: без него наши коммунистические товарищи просто не смогли бы жить».

В мае следующего года Иоффе писал Троцкому в том же духе:

> Существует огромное неравенство, и материальное положение человека в значительной степени зависит от его партийного поста; согласись, это опасно. Мне рассказывали, например, что перед последней чисткой старые большевики страшно боялись исключения главным образом потому, что потеряли бы право жить в гостинице «Националь» и другие связанные с этим привилегии. Старый партийный дух исчез, дух революционного бескорыстия и товарищеской преданности! Нынешняя молодёжь воспитывается уже в этих новых условиях — вот что больше всего заставляет бояться за нашу Партию и Революцию.

iii. Социалистическое Отечество

В шестьдесят шесть лет, когда большинство мужчин уже думают об играх с внуками, Брусилов совершил самый драматический поворот за всю свою военную карьеру и добровольно предложил служить Красной армии. Это было не просто очередное переметнувшееся имя из корпуса царских генералов. Брусилов был самым знаменитым русским военачальником, единственным общепризнанным героем Первой мировой войны и потому последним живым символом победоносного аристократического прошлого.

Известие о его назначении в мае 1920 года в Особое совещание при Реввоенсовете Троцкого стало тяжёлым ударом для всех, кто с ностальгией вспоминал Россию до 1917 года. «Брусилов предал Россию», — писал один бывший полковник. «Как может быть, что он предпочитает защищать большевиков и евреев, а не своё Отечество?» — возмущалась жена бывшего гвардейского офицера. Распространялись ложные слухи, будто красные заплатили Брусилову огромную взятку — два миллиона рублей и квартиру в Кремле. Генерал получил целый ящик писем с ненавистью. Как, спрашивал один корреспондент, может дворянин служить красным, когда «тюрьмы ЧК переполнены русскими офицерами»? Это «не что иное, как измена».

Всё это тяжело давило на совесть Брусилова.[135] «Это был самый тяжёлый момент моей жизни, — писал он пять лет спустя. — В доме всё время стояла мёртвая тишина. Родные ходили на цыпочках и говорили шёпотом. У моей жены и сестры были слёзы на глазах». Казалось, они оплакивали своё прошлое.

Переход Брусилова к красным был случаем, когда Родина оказалась выше класса. У него имелось множество причин ненавидеть большевиков, которых он нередко называл Антихристом. Они не только заключили его в тюрьму, но фактически довели до смерти его больного брата и арестовали нескольких близких друзей во время Красного

[135] Брусилов пытался поставить условием своей службы красным освобождение заключённых офицеров. Троцкий обещал сделать всё возможное, но признался, что сам «не в лучших отношениях с ЧК и что Дзержинский может арестовать даже его». Позднее Брусилов создал специальное бюро, ходатайствовавшее об освобождении офицеров; благодаря его работе несколько сот человек были выпущены (РГВИА, ф. 162, оп. 2, д. 18).

террора. И всё же Брусилов не пошёл к белым. Его удерживали две раны — повреждённая нога и уязвлённая гордость из-за белого культа его старого соперника Корнилова.

Кроме того, он по-прежнему считал своим долгом оставаться в России и быть рядом с народом, даже если народ выбрал красных. Большевизм, по его мнению, был лишь «временной болезнью»: его «философия интернационализма в корне чужда русскому народу». Работая с большевиками, патриоты вроде него могли перенаправить революцию к национальным целям. Он представлял это как разбавление красного белым — «превращение Красной звезды в Крест» — и тем самым примирение революции с преемственностью русской истории.

«Чувство долга перед нацией нередко заставляло меня идти против естественных склонностей моего сословия», — говорил Брусилов ещё в 1918 году. Как аристократ, он, безусловно, сочувствовал белым и радовался их продвижению к Москве. Но он всегда считал их дело обречённым и порочным из-за зависимости от вмешательства союзников. Судьба России, хорошая или плохая, должна была решаться самим русским народом.[73]

За прошедший год два события особенно укрепили его в этом убеждении. Первым стало убийство его единственного сына — командира Красной армии, чей кавалерийский полк попал в плен к белым в сражении под Орлом в сентябре 1919 года. Никто точно не знал, как погиб Алексей, но Брусилов был уверен, что его расстреляли по приказу Деникина, когда выяснили, чей он сын. Деникин, как считали, презирал Брусилова за то, что тот содействовал «разрушению армии» в 1917 году. Особенно мучительным было то, что Алексей пошёл к красным главным образом в надежде убедить ЧК сохранить жизнь отцу. Брусилов винил себя в смерти сына и хотел отомстить. Кровь, если не класс, сделала его красным.[74]

Вторым фактором стал русский национализм. Польское вторжение на Украину сыграло решающую роль в переходе Брусилова. После разделов XVIII века Польша жила в тени трёх великих империй Восточной Европы. Но Версальский договор внезапно гарантировал ей независимость и дал большие территории, отведённые победителями как буфер между Германией и Россией. Бывшей нации-жертве не потребовалось много времени, чтобы повести себя как нация-агрессор,

и едва Польша обрела независимость, она сама заговорила языком имперских притязаний.

Маршал Пилсудский, глава польского государства и армии, мечтал восстановить «историческую Польшу», некогда простиравшуюся от Балтийского до Чёрного моря. Он обещал вернуть восточные окраины — ту «Литву», которую воспевали Мицкевич и другие польские патриоты XIX века и которую Польша потеряла после разделов. Это были этнически смешанные земли: польско-еврейские города вроде Львова, бывшие польские помещики и украинские или белорусские крестьяне. И Россия, и Польша считали эти области своими.

По мере ухода немцев польские войска занимали приграничные территории. В апреле 1919 года Пилсудский взял Вильно. Летом поляки продолжили наступление в Белоруссии и Западной Украине, заняв Минск и Львов. Зимой боевые действия ненадолго прекратились, пока стороны торговались о границе. Весной 1920 года переговоры сорвались, и Польша начала новое наступление. Вооружённый во многом за счёт союзников и заключив соглашение с Петлюрой, Пилсудский повёл объединённые силы поляков и украинских националистов в стремительном броске на Киев, который большевики удерживали весьма непрочно.

Это была отчаянная попытка превратить Украину в польское государство-сателлит. Её корни уходили в предыдущую зиму, когда Петлюра, вытесненный красными из Украины, обосновался в Варшаве и заключил соглашение с Пилсудским. По этому договору украинские националистические силы Петлюры должны были помочь полякам вновь вторгнуться на Украину, а после возвращения к власти в Киеве — уступить Польше Западную Украину. Это был своего рода польский Брест-Литовск.

Поляки стремительно продвигались к Киеву, пока красные, одновременно воевавшие на юге с белыми, приходили в смятение. 6 мая польские войска почти без сопротивления заняли Киев. Это было больше похоже на парад, чем на вторжение. Жители наблюдали за входом очередной армии с явным равнодушием. С 1917 года Киев уже

в одиннадцатый раз менял власть — и это была ещё не последняя смена.[136]

Для русских патриотов вроде Брусилова падение Киева было национальной катастрофой. Это был не просто очередной город, а колыбель русской цивилизации. Для него было немыслимо, чтобы Украина — «Малороссия» — перестала быть православной и русской. Предки Брусилова в XVIII веке отдавали жизни, защищая Украину от поляков, за что семья получила там большие земли. Провоевав мировую войну и заплатив миллионами русских жизней за защиту Западной Украины от австрийцев, он не собирался теперь без боя отдавать её полякам.

Брусилов считал «непростительным», что Врангель атакует Россию именно в этот момент, тем более что наступление белых, по его мнению, явно было рассчитано на совпадение с польским. Белые ставили сословные интересы выше интересов Российской державы — на что сам Брусилов никогда не соглашался. 1 мая он написал Н. И. Раттелю, генерал-майору императорской армии и теперь начальнику штаба Троцкого, предлагая помощь красным в войне с Польшей. «Мне кажется, — писал он, — важнейшая задача — пробудить чувство народного патриотизма». Войну против Польши, считал он, можно выиграть только «под русским национальным знаменем», ибо только оно способно объединить народ:

> Коммунизм совершенно непонятен миллионам едва грамотных крестьян, и сомнительно, что они будут за него воевать. Если христианство не сумело объединить народ за две тысячи лет, как может сделать это коммунизм, о котором ещё три года назад большинство вообще не слышало? Только идея России способна на это.[75]

---

[136] Двенадцать смен власти в Киеве: (1) 3 марта — 9 ноября 1917: Временное правительство; (2) 9 ноября 1917 — 9 февраля 1918: Украинская Народная Республика (УНР); (3) 9–29 февраля 1918: Первая Украинская Советская Республика; (4) 1 марта 1918: занятие войсками УНР; (5) 2 марта — 12 декабря 1918: германская оккупация; (6) 14 декабря 1918 — 4 февраля 1919: Директория УНР; (7) 5 февраля — 29 августа 1919: Вторая Украинская Советская Республика; (8) 30 августа 1919: занятие войсками Директории УНР; (9) 31 августа — 15 декабря 1919: белые; (10) 15 декабря 1919 — 5 мая 1920: Третья Украинская Советская Республика; (11) 6 мая — 11 июня 1920: польская оккупация; (12) с 12 июня 1920: окончательное установление Украинской Советской Республики.

Троцкий сразу понял, какую пропагандистскую победу даст переход Брусилова к красным. Уже на следующий день он объявил о назначении генерала председателем Особого совещания при командовании Западного фронта.[137] Заявление, опубликованное в «Правде» 7 мая, было характерно для всё более ксенофобского тона большевистской риторики. Оно призывало всех патриотов вступать в армию и «защищать Отечество» от «польских захватчиков», стремящихся «оторвать от нас земли, всегда принадлежавшие русским».

Троцкий утверждал, что поляков движет «ненависть к России и русским». Журнал Красной армии «Военное дело» напечатал ксенофобскую статью — за неё издание позднее временно закрыли, — где «врождённое иезуитство ляхов» противопоставлялось «честному и открытому духу великорусской расы». Радек представлял всю гражданскую войну как «национально-освободительную борьбу против иностранного вторжения». Красные, говорил он, «защищают Матушку-Россию» от попыток белых и союзников «превратить её в колонию» Запада. «Советская Россия, — заключал он, одновременно предупреждая новые независимые государства, — намерена вновь объединить все русские земли и защитить Россию от колониальной эксплуатации». Это уже был старый империализм в новой форме.[76]

Большевики были поражены успехом собственной патриотической пропаганды. Она показала им огромный мобилизационный потенциал русского национализма — потенциал, который позднее в полной мере использует Сталин. Через несколько недель после назначения Брусилова 14 000 офицеров вступили в Красную армию для войны с поляками; тысячи гражданских добровольно пошли на военные работы; более 100 000 дезертиров вернулись на Западный фронт.[77] Проходили массовые патриотические демонстрации с огромными чучелами Пилсудского и Керзона, которые затем сжигали. «Мы и не думали, — признавался Зиновьев, — что в России столько патриотов».

Но патриотические мотивы, подтолкнувшие Брусилова к красным, разделяли многие люди Старой России. Национал-большевизм, как позднее назвали эту систему взглядов, призывал патриотическую

[137] Помимо Брусилова в совещание вошли его два ближайших друга по царской армии — генералы Клембовский и Зайончковский, а также старый союзник Поливанов, бывший военный министр.

интеллигенцию сплотиться вокруг советского государства теперь, когда оно выиграло гражданскую войну, — ради возрождения Великой России. В этом слышалось эхо призыва «Вех» прекратить борьбу с царским режимом после революции 1905 года. Недаром журнал этого направления получил название «Смена вех», и его первый номер в ноябре 1921 года был посвящён Брусилову.

Николай Устрялов, самый известный теоретик национал-большевизма, был правым кадетом и до 1920 года работал пропагандистом в правительстве Колчака. Затем он перешёл на сторону красных, рассудив, что раз они победили в гражданской войне благодаря поддержке русского народа, то их революцию можно перенаправить к национальным целям. «Интересы советской системы неизбежно совпадут с национальными интересами России, — писал он в 1920 году. — Логика событий заставит большевиков пройти путь от якобинства к бонапартизму». Если к красным присоединится достаточно патриотов, утверждал Устрялов, советский режим обрусится. Его можно будет «обелить» изнутри.[78]

Устрялов прославлял большевиков по двум главным причинам. Во-первых, за то, что он и многие другие интеллектуалы — например Блок и «скифы» — воспринимали как их азиатское славянофильство, противопоставлявшее Восток Западу. Во-вторых, за восстановление сильного русского государства. Он оправдывал большевистскую диктатуру как необходимое лекарство от анархии, охватившей страну после 1917 года, и призывал их восстановить Российскую империю, «раздавив все эти карликовые государства», а затем вновь утвердить её мировое могущество.

Подобные настроения были широко распространены среди интеллигенции. В известном смысле национал-большевизм стал настоящим победителем гражданской войны. «Мы проиграли, но мы победили, — писал правый Шульгин в 1920 году. — Большевики разбили нас, но подняли знамя единой России». Дело было не только в правых, хотя старые империалисты первыми начали собираться вокруг красного знамени Великой России. Для левых тоже оставался лишь небольшой шаг от поклонения «народу» и его разрушительной силе к признанию большевистского режима как результата этой «национальной революции» и единственного средства возрождения

России. Именно эта логика после гражданской войны привела многих социалистов в большевистскую партию.

Даже Горького захватила патриотическая волна. В мае 1920 года он писал Герберту Уэллсу, возмущённый корреспондентом лондонской *Times*, утверждавшим, будто в петроградском ресторане он обнаружил в супе человеческий палец. «Поверьте, — горячился Горький с национальной гордостью, — я вовсе не закрываю глаза на отрицательные явления, порождённые войной и революцией, но вижу и другое: в русских массах пробуждается огромная творческая воля».

Этот подъём патриотизма, несомненно, повлиял и на решение большевиков превратить оборонительную войну с Польшей в наступательную. Отбросив поляков от Киева, в середине июля красные пересекли линию Керзона — границу между Польшей и Россией, которую определили союзники, — и двинулись к Варшаве. Поскольку это был не последний случай, когда Красная армия переходила русскую границу и входила в Европу — следующий раз это случится в 1945 году, — важно понять мотивы большевиков, в том числе для понимания последующей холодной войны.

Некоторые историки, среди них Норман Дэвис и Ричард Пайпс, построили значительную часть своей аргументации на предположении, что, если бы Варшава пала, Ленин приказал бы Красной армии двигаться дальше на Берлин, готовя общее наступление на Западную Европу.[79]

Пайпс и Дэвис правы в одном: большевики действительно рассматривали вторжение в Польшу как возможный катализатор революции — не только польской, но и общеевропейской. Следом за Красной армией к Варшаве шёл Временный польский революционный комитет во главе с Дзержинским, который должен был передать власть коммунистам после захвата столицы. Это был пик большевистской веры в экспортируемость коммунизма. Их ожидания подпитывали восстание спартакистов в Берлине и недолговечные советские республики в Венгрии и Баварии в 1919 году.

Весной того года, когда создавался Коминтерн, Зиновьев предсказывал: «через год вся Европа будет коммунистической». Позднее он признавал, что в какой-то момент «мы думали, будто до неизбежного революционного восстания остаются считанные дни или даже часы». К лету 1920 года влияние Коминтерна распространилось на

все европейские столицы. Едва ли проходил месяц без делегации западных социалистов, приезжавшей в Россию посмотреть на Великий эксперимент и затем рассказать о нём дома.

Москву превращали для них в гигантскую потёмкинскую деревню: демонстрировали улыбающихся рабочих, устраивали роскошные банкеты — и наивные иностранные сановники возвращались домой полные восторга. II конгресс Коминтерна, собравшийся в Москве в разгар наступления на Варшаву, намеревался создать единую европейскую коммунистическую партию под руководством Москвы. Атмосфера была ожидательной. Делегаты ежедневно следили за продвижением Красной армии по большой карте, висевшей на стене зала.[80]

Ленин, настоявший на вторжении в Польшу вопреки возражениям и Троцкого, и Сталина, был убеждён, что европейская революция уже близка. Его догматический марксизм подсказывал: каждая страна неизбежно должна пройти собственный Октябрь. Капповский путч марта 1920 года был для него «немецким корниловским мятежом»; Эстония «проходила период Керенского»; Британия со своими Советами действия находилась «в периоде двоевластия».

В этой убеждённости, что все остальные страны должны пройти именно российский путь, проявлялась общая большевистская властность. В ней соединялись русский национализм и коммунистический интернационализм — смесь, позднее определившая догматический тон советской внешней политики. Большевики хвастались, что Россия идёт впереди мира в революционном деле, и считали, что все иностранные коммунисты обязаны следовать московской линии. В этом заключался смысл II конгресса Коминтерна и его «21 условия» вступления в новый Интернационал. Коминтерн был большевистской империей.

Но из этого ещё не следует, что Ленин собирался насаждать революцию в западных странах штыками. Вопрос был не в желании — если бы Красная армия действительно могла взять Берлин или хотя бы Будапешт, Ленин, возможно, приказал бы это сделать, — а в практической возможности. Большевики болезненно ясно понимали, что их крестьянская армия и тем более измученная экономика не выдержат зимнего наступления, особенно на чужой территории.

Именно поэтому осенью 1920 года они так быстро согласились на мир с Польшей, хотя это стоило им плацдарма в Галиции, который, по словам Ленина, мог бы «открыть прямую дорогу революции… в Чехословакию и Венгрию». Зачем же тогда вообще было вторгаться в Польшу? Недавно опубликованная речь Ленина на IX партийной конференции в сентябре 1920 года даёт, пожалуй, наиболее убедительный ответ. Из неё следует, что наступление на Варшаву задумывалось не как начало вторжения на Запад — как вводяще в заблуждение утверждал Пайпс, — а как средство устрашения Запада и предотвращения нового вторжения в Россию.

Ленин считал, что Польша Пилсудского создана и вооружена западными державами как оружие против Советской России. В его представлении сильная Польша была частью общего плана союзников окружить Россию враждебными государствами: Варшава, Вашингтон и Врангель были звеньями одной цепи. Вторжением в Польшу — центральную опору Версальской системы — Ленин хотел «потрясти» эту систему. Советизация Польши, как он надеялся, усилила бы угрозу революции на Западе.[81] Это было проявлением национального самоутверждения, предупреждением капиталистическим державам, что Россия больше не позволит себя «расчленять» и будет отвечать на нападение.

Это было политическое наступление против западных столиц, декларация «международной гражданской войны», но не начало физического завоевания Европы. Разумеется, надо помнить: Ленин произносил эту речь сразу после поражения Красной армии под Варшавой и имел сильный мотив представить дело так, будто политические цели наступления всё равно достигнуты. Но пока не появятся новые доказательства, это остаётся наиболее убедительным объяснением большевистской политики в Польше.

Уроки польского поражения оказались болезненными. Военных ошибок было немало. Западная армия Тухачевского слишком стремительно рванулась к Варшаве, недооценила решимость поляков защищать столицу и оторвалась от снабжения. Юго-Западный фронт не оказал ей поддержки, продолжая наступать в противоположном направлении на Львов, который Сталин, похоже, хотел взять любой ценой. Южный фланг Тухачевского оказался открыт, и Пилсудский

смог перейти в контрнаступление и отбросить красных назад в Россию, где с первыми октябрьскими снегами фронт стабилизировался.[82]

Но коренная причина поражения была политической: польские рабочие не восстали в поддержку Красной армии, а, напротив, сплотились вокруг Пилсудского. Национализм оказался сильнее интернационального коммунизма. Ленин вскоре признал ошибку. «Польша не была готова к социальной революции, — говорил он на партийной конференции в сентябре. — Мы столкнулись с националистическим подъёмом мелкобуржуазных элементов, потому что наше продвижение к Варшаве заставило их бояться за национальное существование». Ленин понял, что то же относится и к остальной Европе. Навязывать коммунизм извне означало бы превращать потенциальных сторонников в националистов.

Поражение в Польше окончательно заставило большевиков отказаться от фантазий о немедленной европейской революции. Рижский договор, подписанный с Польшей в марте 1921 года, открыл новый период мирного сосуществования России и Запада. Москва признала расширенную Польшу — а косвенно и Версальскую систему — уступив ей значительную часть Белоруссии. В том же месяце возобновилась торговля с Великобританией. На Западе больше никто всерьёз не боялся советского вторжения. Польская катастрофа ясно показала, что русская крестьянская армия не способна вести длительное наступление даже против сравнительно небольшой западной державы. Вывод для большевиков был очевиден: лучшие возможности для экспорта коммунизма лежат на Востоке.

Азиатскую стратегию Троцкий впервые предложил в секретной записке ещё в августе 1919 года:

> Нет никакого сомнения, что наша Красная армия представляет несравненно более мощную силу на азиатском поле мировой политики, чем на европейском. Здесь перед нами открывается несомненная возможность не только долго ждать развития событий в Европе, но и действовать на азиатском направлении. Путь в Индию в данный момент может оказаться для нас более проходимым и коротким, чем путь в Советскую Венгрию… Дорога в Париж и Лондон проходит через города Афганистана, Пенджаба и Бенгалии.

К лету 1920 года сложилась двойная политика: революционная агитация на Востоке сочеталась с поддержкой национально-освободительных движений — даже «буржуазных» по характеру — против западного империализма. Заключая мир с англичанами на Западе, большевики вели против них необъявленную войну на Востоке. Они поддерживали афганских повстанцев и подрывали британский протекторат в северной Персии. Есть даже данные, что Ленин пытался создать из среднеазиатских племён армию для вторжения в Индию через Афганистан.[83]

Съезд народов Востока, состоявшийся в Баку в сентябре 1920 года, был первой попыткой распространить коммунизм в Азии — и одновременно последней в такой форме. Возможно, многое объяснялось хаосом самого съезда. 1900 делегатов из десятков стран вплоть до Турции и Японии требовали бесконечных переводов, и зал тонул в шуме. Некоторые делегаты имели весьма сомнительные полномочия: среди них обнаружились ханы и беки, на деле оказавшиеся торговцами, которые всё время работы съезда продавали ковры на бакинских рынках.

Помимо делегатов в Баку поступали сотни приветствий из городов и деревень Азии. В одном сообщении объявлялось, что в честь освобождения народов заколото сто овец и голов крупного скота, и просилось содействие съезда в их доставке в Баку. Получилось яркое зрелище, «праздник», как сказал присутствовавший Герберт Уэллс, но «как собрание азиатских пролетариев — чистейший абсурд». Делегаты облачались в национальные костюмы и шли процессией по Баку. Чучела Ллойд Джорджа, Мильерана и Вильсона, одетые в придворные костюмы, сжигали. Ораторы клялись в вечной ненависти к британскому империализму; Зиновьев, забыв о польской катастрофе, заявлял, что «настоящая революция вспыхнет лишь тогда, когда к нам присоединятся 800 миллионов жителей Азии». Но практического влияния на Азию съезд почти не оказал.

* * *

Поддержка большевиками национально-освободительных движений в Британской империи резко контрастировала с их отношением к тем же движениям в бывших российских колониях. Ленин всегда намеревался

восстановить основные географические рамки Российской империи.[84] Его уступки принципу национального самоопределения в программе 1911 года были прежде всего тактическими. Он полагал, что национализм можно использовать для разрушения царского государства, а затем, после подходящего периода «буржуазного» национального правления, нерусские народы снова объединятся с Россией в социалистической федерации.

Что именно он понимал под этой федерацией — другой вопрос. Искренне ли Ленин публично поддерживал свободный союз суверенных республик, каждая из которых по смыслу должна была обладать правом выхода? Или же он с самого начала предполагал, при необходимости силой, заставить окраины вновь войти в единое российское государство? В частных письмах Ленин относился к идее рыхлой конфедерации весьма цинично. В 1913 году он, например, писал Горькому, что «австрийской мерзости» в России не допустят: «Не позволим. Великороссов у нас больше. С рабочими на нашей стороне никакого „австрийского духа“ мы не допустим».[85]

Во время гражданской войны этот вопрос растворился в военной необходимости. Красные, вытесняя белых, завоёвывали окраины и устанавливали там те же формы централизованного контроля через партию и Красную армию. Это можно воспринимать как сознательную стратегию восстановления империи под коммунистической властью; среди наступавших институтов действительно было достаточно русских шовинистов, чтобы поддерживать такой курс.

Однако во многих отношениях завоевание окраин зависело от местных условий сильнее, чем предполагала бы теория единого плана. Под давлением местных коммунистов Ленин к 1920 году понял: одной военной победы недостаточно, чтобы удерживать нерусские территории — по крайней мере без постоянного сопротивления местного населения. Для реальной власти требовались лидеры, говорившие на местных языках и придававшие режиму национальную оболочку. Поскольку коренное население жило главным образом в деревне, а режим опирался на города, требовалась и более мягкая политика по отношению к крестьянам.

В этом смысле новая экономическая политика была тесно связана со строительством государства на нерусских территориях. X съезд партии

в марте 1921 года, введший НЭП, одновременно принял резолюцию о развитии национальных культур. Главным направлением 1920-х стала *коренизация*. Местные языки расширяли сферу применения в образовании, издательском деле и управлении. Быстро создавались школы и техникумы для подготовки национальных кадров. Крестьянские мальчики из местных народов становились городскими служащими там, где прежде доминировали русские.

По крайней мере в культурной сфере советский режим во многом продолжал работу по национальному строительству и модернизации, начатую националистами до 1917 года. Предоставление культурной и экономической свободы в значительной степени успокаивало местное крестьянство и лишало остатки националистической интеллигенции массовой опоры.

На Украине национальное движение фактически развалилось ещё до третьего и последнего большевистского вторжения осенью 1919 года. Военные перипетии 1917–1920 годов, когда Украина пережила десять разных режимов, мало способствовали национальному единству. Два коротких периода националистического правления в Киеве — Центральная рада с марта 1917 по февраль 1918 года и Директория с декабря того же года по февраль 1919-го — оказались слишком краткими, чтобы укоренить национальное сознание среди крестьянства, которое оставалось оторванным от городов и часто относилось к ним враждебно.

До конца XIX века идея независимого украинского государства существовала главным образом в поэзии Шевченко и казацком мифе. За исключением Западной Украины, где помещиками в основном были поляки, массы крестьян оставались почти не затронуты национализмом интеллигенции. Сила их привязанности к независимой деревне делала их враждебными и самому национальному государству. Но в 1917 году социалистические партии Рады сумели получить массовую сельскую поддержку, связав национальную независимость с автономией деревни и земельной реформой в интересах крестьян. Они перевели абстрактное понятие нации на язык социальных требований, понятных сельскому населению.

Однако обещанная земельная реформа так и не была проведена. Рада и Директория оказались парализованы внутренним конфликтом между

националистами вроде Петлюры, подчинявшими социальные преобразования национальной борьбе, и деятелями вроде Винниченко, для которых национализм должен был уступать социальным переменам. Без земельной реформы крестьянам не было большого смысла воевать за независимую Украину. Ни Рада, ни Директория не сумели мобилизовать по-настоящему национальную силу против вторгавшихся красных или белых. Даже Петлюре пришлось формировать свою так называемую Национальную армию на польской территории.

Городская «голова» украинского национального движения оказалась отрезана от сельского «тела». Остался местный крестьянский национализм, сосредоточенный на идее автономной деревни. До начала 1920-х он доминировал на Украине и делал почти невозможным управление ею из городов. Этот национализм мелких хозяев проявлялся в *атаманщине* — местных крестьянских армиях Махно, Григорьева и бесчисленных других военных вождей, заявлявших, что защищают свободную украинскую деревню и от белых, и от красных; в сельской экономической войне против городов, которые крестьяне воспринимали как «чужие» и как центры враждебного государства; а также в погромах против евреев как внешних символов этой чуждости.

Он проявлялся и в массовой привлекательности партии боротьбистов, возникшей из украинских левых эсеров и делавшей акцент на культурном национализме как форме деревенской автономии — средстве объединить и наделить силой крестьян в революционной борьбе против русифицированной городской буржуазии.

Именно этот крестьянский национализм так осложнял жизнь большевикам в первые две попытки завоевать Украину — в первые три месяца 1918 года и первые шесть месяцев 1919-го. Имея на своей стороне лишь рабочих и армию, они могли удерживать её только террором. Особенно жесток был второй красный режим. Булгаков в «Белой гвардии» передал его устрашающую мощь образом огромного красного бронепоезда в лесу за Киевом. Это один из тех случаев, когда только романист способен передать сущность гражданской войны:

> Паровоз поднимался чёрной многогранной массой металла; из его брюха на рельсы падали раскалённые угли, и со стороны казалось, будто его чрево набито горящими угольями. Он тихо и злобно шипел, из щели в броне что-то сочилось, а тупой нос мрачно глядел на лес

между ним и Днепром. На последней платформе синевато-чёрное жерло тяжёлого орудия, заткнутое чехлом, было направлено прямо на Город в восьми милях отсюда.

Второе вторжение на Украину почти наверняка было предпринято с личного одобрения Сталина, но без ведома и согласия Ленина. Его возглавила группа большевиков, решивших вернуть Украину под власть Москвы. Многие из них были русскими уроженцами Украины и приняли большевизм отчасти как форму отождествления с самой Россией.

Георгий Пятаков, инициатор вторжения и глава большевистского режима на Украине, был типичным представителем этой завоевательной советской элиты. Его отец — русский промышленник на Украине, так что определённое городское русское высокомерие по отношению к местным крестьянам можно считать почти семейным наследием. Как и многие видные большевики Южного фронта — Ворошилов, Каганович, Орджоникидзе, — Пятаков был тесно связан со Сталиным. Крайний централизм, навязанный им Украине, лишь прикрывал великорусский шовинизм.

Во время Красного террора 1919 года сотни представителей украинской национальной интеллигенции были заключены в тюрьмы. «Буржуазное имущество» эшелонами отправляли в Москву. Почти все большевистские посты на Украине занимали русские, управлявшие страной как колониальные хозяева. Украинское крестьянство подвергалось особенно тяжёлым злоупотреблениям в ходе продразвёрстки. Комбеды и коллективные хозяйства, уже явно провалившиеся в самой России, насильственно насаждались на Украине — несмотря на то что традиции частной и наследуемой собственности были здесь укоренены гораздо глубже, чем в русской деревне.[86]

Результатом стала волна крестьянских восстаний по всей Украине, среди которых движение Махно было лишь крупнейшим. Ленин пришёл в ярость: нечуткость режима Пятакова подорвала власть красных и открыла белым дорогу к завоеванию Украины. Осенью 1919 года, когда Красная армия вновь покатилась на юг, Ленин настаивал, что теперь товарищи должны гораздо внимательнее относиться к национальным чувствам.

«Федералисты» среди украинских большевиков давно этого требовали, а теперь их поддерживали и такие влиятельные деятели, как Орджоникидзе. «Мы должны найти общий язык с украинским крестьянином», — писал он Ленину 19 ноября. В декабре эти идеи подхватил сам Ленин. На VIII партийной конференции он впервые открыто выступил против «примитивного русского шовинизма» отдельных большевиков. Резолюция по украинскому вопросу признавала силу национального чувства — пусть и среди «отсталых» масс — и требовала использовать украинский язык во всех советских учреждениях и добиваться сближения с украинской деревней.

В марте 1920 года, как первый шаг к этому сближению, боротьбистов наконец приняли в Украинскую коммунистическую партию. Подобно прежнему союзу с российскими левыми эсерами, это была крупная политическая победа большевиков: она расколола главную соперничающую партию на Украине и открыла путь в деревню. Боротьбисты были единственной украинской партией с массовой крестьянской поддержкой. Во время борьбы против гетмана, Петлюры и Деникина красные полагались на них в организации сельских партизан. Боротьбисты отстаивали сочетание культурного национализма и крестьянского социализма в рамках децентрализованной советской федерации. Именно они были подлинными наследниками крестьянского национализма, двигавшего украинскую революцию 1917–1918 годов. Когда Директория отказалась от своей социалистической программы, большинство боротьбистов — около 4 000 из 5 000 — вступили в большевистскую партию. Они надеялись смягчить большевистский коммунизм и сделать его внимательнее к национальной культуре украинского крестьянства. И вновь именно национализм превратил противников большевиков в красных.

Хотя в долгосрочной перспективе боротьбисты проиграли, им удалось добиться для Украины примерно десятилетия относительной культурной автономии в 1920-е годы. Национальные чувства, потерпев поражение в форме независимого украинского движения, вновь проявились внутри Украинской коммунистической партии и советского государственного аппарата. И партия, и аппарат всё больше заполнялись украинцами, намеренными отстаивать автономные права своей

республики. Так появился ещё один тип «национал-большевика». В каком-то смысле это предвосхищало позднейшее национал-коммунистическое движение Тито в Югославии против сталинского сверхцентрализма.

Как и в России, новая украинская элита в значительной степени набиралась из грамотных крестьянских сыновей, мобилизованных войной и революцией и стремившихся к образованию, прогрессу и социальному продвижению. Следствием стала быстрая украинизация городов, до революции преимущественно русских. Между 1923 и 1926 годами доля украинцев в населении Киева выросла с 27 до 42 процентов.

С этим тесно связан расцвет украинской культуры в 1920-е годы, особенно после 1924 года, когда бывший лидер боротьбистов Александр Шумский возглавил культурную политику республики. Украинский язык, который царская власть прежде презрительно считала «деревенским говором», теперь признали необходимым средством эффективной пропаганды в деревне и формирования национальных кадров. В 1920-е он вошёл в школы и учреждения, названия улиц и вывески магазинов, советские документы и эмблематику, партийные съезды, газеты и журналы. В это десятилетие больше украинских детей научилось читать на родном языке, чем за весь XIX век. Идеал независимой Украины был раздавлен новой империей-государством, но украинская нация получила хотя бы культурную основу.[89]

На мусульманских территориях та же схема — военное завоевание красными, а затем развитие национальных культур — проявилась ещё ярче. Здесь большевики нередко не столько развивали уже существующие национальные культуры, сколько создавали новые нации там, где до 1917 года имелись главным образом племенные образования.

В башкирских и татарских областях Поволжья и Урала новые республики возникали вслед за продвижением Красной армии против Колчака. Москва выступила против планов панмусульманской интеллигенции создать единое башкиро-татарское государство и без колебаний использовала этнические противоречия между двумя регионами. В марте 1919 года Красная армия в союзе с Валидовым, военным лидером башкирских кочевников, создала Башкирскую

Автономную Республику. Большинство населения в ней при этом составляли татары.

Валидов и его войска перешли к красным от белых в самый разгар боёв на Восточном фронте. Он верил, что красные, в отличие от Колчака, дадут башкирам независимость и право изгнать русских переселенцев. Но как только завоевание Урала завершилось, красные передали власть в регионе Уфимскому Совету, где доминировали русские рабочие. Москва не собиралась отдавать жизненно важную промышленность Урала башкирским националистам.

В мае 1920 года был издан декрет, отменявший политическую автономию, обещанную башкирам всего четырнадцать месяцев назад: ключевые учреждения республики отныне подчинялись московским властям. Башкирские коммунисты массово вышли из правительства и бежали в Уральские горы, где присоединились к другим башкирским повстанцам против советской власти. В новом республиканском правительстве башкир почти не осталось: его составили татары и русские.

Тем временем в мае 1920 года была создана и отдельная Татарская Автономная Республика — но, подобно Башкирской, автономной она была главным образом по названию и даже татарской лишь отчасти. Три четверти этнических татар региона оказались за её границами; а внутри республики татары составляли лишь около половины населения против примерно сорока процентов русских. *Divide et impera* — разделяй и властвуй.

Однако московскую татарскую политику поддержала влиятельная группа мусульманской интеллигенции, увидевшая в большевизме шанс осуществить собственный идеал светского исламского национализма. Это были радикальные джадиды — буржуазные модернизаторы XIX века, противостоявшие феодально-клерикальной элите, кадимистам и муллам. Они господствовали не только среди татарских специалистов, но и в офицерском корпусе национальных частей.

Главным теоретиком этого направления и лидером Татарской республики стал Мирсаид Султан-Галиев. В молодости он был учителем, журналистом и джадидом. В 1917 году вступил в большевистскую партию и быстро поднялся в Наркомнаце Сталина. Во время гражданской войны на Восточном фронте, когда красным остро

требовались мусульманские войска, Султан-Галиеву позволяли проводить почти самостоятельную линию. Он создал отдельную мусульманскую коммунистическую партию и мусульманские воинские части со специальным зелёно-золотым знаком в виде исламского полумесяца и звезды.

Но после разгрома Колчака Москва начала урезать его полномочия, стремясь восстановить централизованный контроль. Это заставило татарского лидера пересмотреть собственный марксизм в свете того, что он теперь считал устойчивой проблемой колониализма. В статьях 1919–1920 годов Султан-Галиев утверждал, что народы Азии не будут освобождены социалистической революцией на Западе, потому что новые пролетарские правители заинтересованы скорее сохранить унаследованные империи, чем уничтожить их.

Выход он видел в объединении всех колониальных народов, которые уже самим своим угнетением являются «пролетариями», в мировую революцию. Здесь его аргументы совпадали с большевистской азиатской стратегией, выраженной на Бакинском съезде. Но Султан-Галиев пошёл дальше. Он утверждал, что для всех азиатских народов — и при коммунизме, и при империализме — национальное единство и освобождение важнее социальной революции. Мусульман Российской империи, например, сильнее объединяет общий исламский образ жизни — не столько религия сама по себе, сколько культурная традиция, — чем разделяют классовые антагонизмы. Следовательно, большевики должны укоренять свой режим в исламских традициях, одновременно секуляризируя их и модернизируя мусульманское общество. Это была попытка соединить Маркса с джадидизмом.

В 1923 году Султан-Галиева исключили из партии и ненадолго арестовали за ересь. Но на протяжении значительной части 1920-х его идеи продолжали влиять на большевистскую политику в отношении татар. Татарский язык модернизировали и освобождали от излишней книжности — именно этого давно добивались джадиды. Это ослабляло власть мулл и облегчало обучение крестьян грамоте. Из языка удаляли также русские заимствования, проникшие в него при царской политике русификации. Татарский язык расширил сферу употребления, вошёл в школы и администрацию. Коренное население стало образованнее и гораздо активнее занимало государственные должности, чем при царе.

Татарская культура на короткое время пережила настоящий расцвет. Это было начало национальной культурной революции, которую Сталин вскоре остановит.

Разгром Колчака позволил красным завершить и завоевание Средней Азии. В начале 1918 года русские железнодорожники и солдаты Ташкента провозгласили Туркестанскую Советскую Республику. Однако Оренбургские казаки — союзники Колчака — отрезали её от остальной России, и влияние республики почти не выходило за пределы городов. Хлопковые районы Ферганской долины находились под контролем местных повстанцев — басмачей. Их отряды объединяли различные тюркские народы — узбеков, киргизов, таджиков — против русско-советской власти под лозунгом «Туркестан — туземцам».

Карательные реквизиции у мусульманского населения вызвали в 1918 году страшный голод: по некоторым оценкам, погибла не менее четверти населения. Это обеспечило басмачам почти всеобщую поддержку в деревне. Поскольку раскол между городом и деревней одновременно был политическим и этническим, неудивительно, что советский режим воспринимался как новая форма колониальной эксплуатации — чем он во многом и являлся.

Когда в конце 1919 года Красная армия вошла в Ташкент, была создана специальная комиссия для расследования деятельности советского правительства. Она пришла к выводу, что власть находилась в руках «колониально-националистических примазавшихся элементов» и «бывших слуг царского режима», которые под прикрытием «классовой борьбы» вели «самые жестокие преследования коренного населения». Царская колониальная политика вытеснения киргизских кочевников на бесплодные земли и заселения плодородных равнин русскими переселенцами не только продолжалась, но и усилилась.

В Семиречье местный Совет фактически ввёл рабский труд, заставляя киргизов бесплатно работать на русских крестьянских хозяйствах под угрозой расстрела. Большевистские руководители Ташкента относились к этому с откровенным равнодушием. Один из них говорил, что киргизы — «самая слабая раса с марксистской точки зрения и всё равно должны вымереть».

Под давлением Ленина ташкентское правительство после 1920 года медленно изменило курс. Земли, отнятые у местных жителей, стали возвращать; реквизиции уменьшили, а с 1921 года, с введением НЭПа, прекратили; базарам разрешили открыться; мечети вывели из-под советского контроля; мусульманское право, отменённое в 1918 году, восстановили для верующих. Всё это помогло ослабить басмаческое движение: к 1923 году оно было почти ликвидировано и сохранялось лишь в изолированных горных районах восточного Узбекистана и Таджикистана, где при поддержке моджахедов продолжалось ещё несколько лет.

Одновременно советский режим начал формировать местные элиты. На съезде Туркестанской коммунистической партии в 1921 году более половины делегатов были мусульманами, многие — представителями старой светской интеллигенции, джадидами, видевшими в советской власти силу модернизации. И в значительной степени она ею действительно была. Новые республики Средней Азии — Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан — в культурном смысле именно в 1920-е годы начали оформляться как современные нации.

Огромные ресурсы вкладывались в образование всех уровней, что резко повышало грамотность. Особое внимание уделяли подготовке местной политической и технической элиты. Для новой читающей публики быстро росло число изданий на национальных языках. Правда, многих журналистов приходилось приглашать из Поволжья — татарская интеллигенция была культурно более подготовленной, чем среднеазиатская, но не всегда чувствовала оттенки местных языков. Поэтому одна узбекская газета, *Кызыл байрак*, некоторое время выходила с лозунгом над заголовком: «Бродяги всех стран, соединяйтесь!» Но подобные ошибки неизбежны, когда национальную культуру приходится выстраивать почти с нуля.

Международные отношения осложняли советское завоевание Кавказа. После 1918 года и Турция, и Британия стремились доминировать в этом стратегически важном регионе. Турки претендовали на Азербайджан, население которого было близко им этнически и лингвистически. Они также хотели сохранить Армению слабой, чтобы удержать Восточную Анатолию, очищенную от

армянского населения в ходе геноцида 1915 года. Британцы же видели в Кавказе буфер, защищавший Персию и Индию от России. Кроме того, регион был богат марганцем и нефтью, которые британцы — в лучших традициях колониального грабежа — активно вывозили из бакинских нефтепромыслов, пока их войска находились там как «защитная сила».

Кратковременная независимость трёх кавказских государств — Армении, Азербайджана и Грузии — почти полностью зависела от временной послевоенной слабости России и Турции, традиционных великих держав региона, а в случае Азербайджана и Грузии ещё и от британской защиты. Самостоятельно эти страны были слишком малы и слишком этнически раздроблены, чтобы сохранить независимость после того, как Россия и Турция вновь начали утверждать своё влияние.

Первым пал Азербайджан. Это был типичный пример постколониальной страны, плохо подготовленной к испытаниям независимости на фоне множества конфликтов эпохи. За короткий период самостоятельности — с мая 1918 по апрель 1920 года — там сменилось не менее пяти правительств. Главными источниками нестабильности были земельный вопрос и межэтнические конфликты. Неспособность социалистов «Мусавата» провести земельную реформу против сопротивления армянской буржуазии позволила большевикам выступить защитниками мусульманской сельской бедноты.

Экономический кризис в Баку, вызванный крахом российского рынка сбыта нефти, также дал большевикам опору среди мусульманских и русских безработных. К февралю 1920 года большевистская партия насчитывала около четырёх тысяч членов в Баку и Тифлисе; они открыто агитировали на улицах и призывали Москву прислать войска.

Азербайджанская армия была слишком слаба, чтобы всерьёз сопротивляться 70 000 солдат 11-й Красной армии, двигавшейся на юг через Терек и Дагестан. Многие старшие офицеры, среди которых было немало турок и грузин, уже были пронизаны большевистским влиянием. Однако решающим стало согласие Турции на советское завоевание.

К марту 1920 года, после занятия Константинополя британскими войсками, националисты Кемаля Ататюрка были готовы согласиться на советское поглощение Кавказа в обмен на московскую помощь турецкому движению за независимость против Британии. Кавказ должен был стать коридором для поставок советского оружия в Турцию.

Кемаль согласился начать военные действия против Армении, чтобы содействовать этому плану.

Союз с Турцией позволил красным получить значительную пятую колонну тюркско-мусульманской поддержки в Азербайджане. Турецкие офицеры азербайджанской армии приветствовали наступавших с севера, наивно веря, что русские не собираются уничтожать независимость страны и лишь помогают пан-тюркскому движению. 28 апреля Красная армия вошла в Баку без вооружённого сопротивления. Защищать азербайджанское государство оказалось некому. На следующий день прибыли Орджоникидзе и Киров — руководители Кавказского бюро ЦК, созданного в Москве для советизации региона, — и начали кампанию террора. Несколько лидеров национального правительства были казнены, а восстания в азербайджанской деревне жестоко подавлены.

Участие Турции сыграло столь же важную роль в советском завоевании Армении. Вся идентичность этой небольшой, окружённой врагами страны определялась страхом и ненавистью к туркам. Лидеры Дашнакцутюна опирались на это чувство, пытаясь сохранить единство страны перед лицом огромных трудностей после провозглашения независимости в мае 1918 года.

Армения была переполнена беженцами из Анатолии, спасшимися от турецкой резни, что создавало колоссальную нагрузку на экономику. К этому добавлялись острые территориальные споры с Грузией на севере и с Азербайджаном из-за Нахичевани, Зангезура и горного Нагорного Карабаха.[138] В отличие от двух соседей, Армения практически не имела иностранных союзников. Британия, в частности, поддерживала против неё Азербайджан. Она, по язвительному замечанию Арнольда Тойнби, всегда предпочитала иметь дело с «джентльменами-турками», а не с

[138] Нагорный Карабах, который и сегодня остаётся предметом споров, служил летним пастбищем для азербайджанских кочевников. Армения заявила на него претензии в 1918 году. Там существовали армянские поселения, из которых вышли многие ведущие представители армянской интеллигенции, и потому, как и гора Арарат, этот регион стал национальным символом Армении. Армянское правительство пыталось не допускать азербайджанцев в этот район, выставляя пограничные посты, что привело к ожесточённым местным столкновениям. И советская власть, и британцы тогда склонялись к передаче Карабаха Азербайджану.

«смуглыми христианами». Британия всё-таки была крупнейшей колониальной державой мусульманского мира.

Оказавшись изолированной и окружённой враждебными силами, дашнакская власть естественным образом всё сильнее обращалась к армянскому национализму. Она обещала создать новую Армянскую империю от Чёрного до Каспийского моря. В качестве первого шага армянские войска заняли Восточную Анатолию и устроили серию ответных расправ над турецким населением. Это была безрассудная провокация: националисты Кемаля неизбежно должны были ответить силой. Можно лишь заключить, что дашнаки либо крайне недооценили возможности Турции, либо были временно ослеплены собственной ксенофобией — а возможно, и тем и другим.

Война между Турцией и Арменией была именно тем, что требовалось большевикам. Их собственная организация в Армении была ничтожной: на первую партийную конференцию в Эривани пришло всего около дюжины человек, поэтому прямое красное вторжение поначалу было нереалистично. В мае 1920 года, вскоре после занятия Баку 11-й армией, большевики в Карсе попытались совершить переворот, рассчитывая вызвать советское вторжение на помощь «революционным массам». Попытка была легко подавлена, и Ленин, тогда больше занятый польским фронтом, приказал Орджоникидзе не спешить.

Но через шесть месяцев, в ноябре 1920 года, когда Армения стояла на пороге унизительного поражения от турок, Ленин приказал красным идти на Эривань. Одновременно советская дипломатическая миссия в армянской столице предъявила дашнакскому правительству ультиматум: передать власть Ревкому, следовавшему за Красной армией из Азербайджана. Дашнаки согласились, рассматривая капитуляцию перед Советами как меньшее унижение, чем поражение от Турции. Сопротивляться ни тем, ни другим они уже не могли.

29 ноября была провозглашена Армянская Советская Республика. «Ещё одна советская республика», — телеграфировал Орджоникидзе в Москву. Дашнаки вошли в коалицию с большевиками, но вскоре подверглись преследованиям со стороны своих русских «союзников» и вместе со многими другими армянскими националистами и интеллектуалами были вынуждены эмигрировать. Красные тем

временем развернули беспощадные реквизиции: поезда с продовольствием и трофеями отправлялись в Россию. Усилие нового режима доходило до абсурда: во имя Дружбы народов экспроприировали даже пчелиные ульи и инструменты парикмахеров.

Падение Армении оставило Грузию окружённой красными. Из трёх кавказских государств именно она имела наибольшие шансы на самостоятельное существование. У грузин было ясное чувство собственной истории и культуры, многочисленная национальная интеллигенция и в лице меньшевиков — настоящее национальное руководство. Первые шесть месяцев независимости, с мая по ноябрь 1918 года, Грузию защищала Германия, затем — Британия.

Меньшевистское правительство во главе с Ноэ Жордания ориентировалось на германских социал-демократов и ставило государственное строительство выше социальной революции. Это было прямым отказом от прежней меньшевистской догмы, помешавшей им взять власть в 1917 году. Но после того как на выборах в Национальное собрание меньшевики получили 75 процентов голосов, другой национальной партии фактически не осталось.

Основой их власти стала земельная реформа. Разделив крупные хозяйства и поместья, всё чаще принадлежавшие армянам, правительство добилось поддержки грузинских крестьян, которым позволили выкупать большую часть земли по доступным ценам. Земельная реформа закрепила мелкого крестьянина как воплощение грузинской нации. Она создала союз национальной и классовой солидарности — грузинские крестьяне и обедневшее дворянство против армянской буржуазии — и обеспечила меньшевистскому режиму два года относительной стабильности.

Серьёзные проблемы создавали главным образом национальные меньшинства — осетины и абхазы, требовавшие самоуправления. Высокомерное отношение к ним со стороны Тифлиса, отнюдь не свободного от мелкого шовинизма, дало большевикам реальную социальную опору. Среди бедных горских народов Северного Кавказа они начали создавать военную организацию для подрыва независимой Грузии. Осетинских повстанцев обучали во Владикавказе, по ту сторону российской границы, после чего переправляли через горы.

В самой Грузии большевики почти не имели поддержки. Небольшая грузинская полиция без труда подавляла их руководство. В мае 1920 года, когда тифлисские большевики попытались организовать переворот, надеясь вызвать вторжение 11-й Красной армии, находившейся в Баку, попытка быстро провалилась. Ленин приказал армии отойти от Грузии: войска требовались на польском фронте, а кроме того, как он позднее утверждал, страна ещё «не созрела» для советизации. 7 мая советское правительство заключило с Грузией договор, признав её независимость и обязавшись не вмешиваться во внутренние дела.

И здесь грузинские меньшевики совершили роковую ошибку.[96] В секретной статье договора они согласились легализовать большевистскую партию. Сотни активистов вышли из тюрем. Вероятно, меньшевики считали это ценой международного признания независимости. Но, слишком хорошо зная своих старых противников, они должны были понимать, насколько рискованно доверять им.

Грузинские большевики теперь превратились в пятую колонну Красной армии, базировавшейся в Баку. Забастовки и восстания против правительства планировались из советского посольства в Тифлисе с расчётом вызвать вторжение. Ленин всё ещё возражал против прямого военного варианта, предпочитая постепенную революционную подрывную работу. Подобно Троцкому, он опасался реакции Британии и Германии, с которыми большевики надеялись торговать, не говоря уже о Турции.

Западные социалистические лидеры превозносили Грузию как единственную по-настоящему социалистическую страну мира. Карл Каутский и Рамсей Макдональд в 1920 году совершили своеобразное паломничество в Тифлис и вернулись в Европу полные похвал. Были и чисто практические причины для осторожности. Каменев, глава Красной армии, предупреждал, что войска 11-й армии слишком измотаны для нового наступления.

Но Орджоникидзе не терпелось «освободить» родную Грузию. Не ставя Москву в известность, он начал сосредоточивать войска на армянской и азербайджанской границах. Вместе с Кировым, советским представителем в Тифлисе, он просил Ленина о немедленном вмешательстве. «Надеяться на внутренний взрыв нельзя. Без нашей

помощи Грузию не советизировать», — писали они 2 января. Через два дня Сталин поддержал их отдельным письмом. Ленин наконец уступил. На письме Сталина он написал: «Не откладывать».[97]

14 февраля 1921 года Политбюро приказало начать вторжение. Ни Каменев, ни Троцкий даже не были извещены. Против ста тысяч наступавших маленькая грузинская армия, всегда бывшая скорее символом, чем щитом нации, не имела шансов. Она храбро сражалась больше недели, но 25 февраля оставила Тифлис.

Воспользовавшись крахом Грузии, Турция вторглась с юго-запада, пытаясь захватить порт Батум. Это лишило меньшевистских лидеров возможности, как они намеревались, организовать последний рубеж обороны в своём старом сельском оплоте Гурии. 18 марта они окончательно капитулировали перед красными и сели на итальянский корабль, уходивший в Европу. Остатки организации ушли в подполье. В деревне меньшевики сохранили мощное влияние и в 1924 году возглавили восстание, потрясшее Советскую Грузию.

Ленин понимал глубину меньшевистской популярности в деревне и опасался, что «великорусский шовинизм», проявленный некоторыми большевиками во время вторжения, превратит Грузию в сплошное поле сопротивления. Ещё 2 марта он писал Орджоникидзе, призывая проводить «особую политику уступок по отношению к грузинской интеллигенции и мелким торговцам». Это было время введения НЭПа. Ленин видел в уступках крестьянскому хозяйству, свободному рынку и внешней торговле важнейшее условие закрепления режима в Грузии.

Но его тревожило, что большевики Кавказского бюро Орджоникидзе всё ещё мыслят категориями военного коммунизма и русского централизма. Кавказ, писал он местным товарищам 14 апреля, «ещё более крестьянский, чем Россия», а потому переход к социализму здесь требует «больше мягкости, осторожности и уступчивости». Крыло Махарадзе в грузинской партии выступало за национал-большевизм, и отчасти благодаря ему политика коренизации в начале 1920-х дала заметные результаты. В советские учреждения приходило больше грузин, среди них немало бывших меньшевиков. Резко выросло число изданий на грузинском языке, который начал вытеснять русский из публичной сферы. Всё это показывало, что политическое подчинение Грузии не обязательно должно означать культурное поражение. По

словам грузинского поэта Лео Киачели, «в Грузии должна господствовать грузинская душа».[98]

Однако не все большевики были готовы уступить даже это. Ирония заключалась в том, что главными противниками такого курса были два грузина — Орджоникидзе и Сталин, чьё большевистское мировоззрение сложным образом слилось с разновидностью великорусского шовинизма. Конфликт тлел до 1922 года, когда неожиданно вырвался на московскую политическую сцену. Но это уже история последней борьбы Ленина.

* * *

Брусилов приветствовал восстановление Российской империи — пусть теперь под Красной звездой, а не под Крестом. Это примиряло его с собственным решением служить красным и обеспечило дальнейшую поддержку большевиков после польской войны, когда они обратились против белых в Крыму. Брусилов был в ярости от того, что Врангель напал на Россию во время войны с Польшей. Для него это доказывало: белые готовы предать Россию ради узких политических интересов. Именно патриотизм стал главным мотивом, по которому Брусилов поддержал красных против последних защитников Старой России. Наверное, чувства его были странными: он помогал уничтожать собственный класс.

Символично, что последний бой белые дали именно в живописном Крыму. Эта русская Ривьера с пальмами и кипарисами, виноградниками и горами прежде была местом отдыха аристократии; вдоль южного берега тянулись летние дворцы. В памяти дворян Крым был местом детских летних каникул, символом счастливой жизни Старой России, где, казалось, солнце никогда не зайдёт. Теперь, летом 1920 года, он оставался последним клочком российской земли, ещё не захваченным красными.

Это было последнее убежище павших великих князей и генералов, бывших губернаторов и епископов, помещиков без имений, промышленников без фабрик, чиновников без должностей, адвокатов без клиентов и актрис без сцены. Буржуазии больше некуда было бежать.

Во главе этой обречённой силы стоял барон Пётр Врангель — почти двухметровый потомок старой военной аристократии, прошедший элитную императорскую гвардию. В отличие от «чистого военного» Деникина, Врангель хорошо понимал, что гражданскую войну надо вести не только военными, но и политическими средствами. «Россию нельзя освободить триумфальным маршем из Крыма на Москву, — заявил он на первой пресс-конференции в апреле, — её можно освободить созданием хотя бы на крошечном клочке русской земли такого правительства и таких условий жизни, чтобы русский народ, ныне стонущий под красным игом, неизбежно потянулся к ним».

Врангель понимал: белые не придут к власти, пока их считают силой, желающей восстановить старый режим. Нужно было пообещать радикальные реформы, способные привлечь крестьян, рабочих и национальные меньшинства. Сам Врангель называл это «проводить левую политику правыми руками».

Это было не только оппортунистической реакцией на слабость унаследованного им положения. Врангель действительно понял, что поражение Деникина объяснялось не только военными трудностями, но и устаревшими бюрократическими методами, неспособностью приспособиться к революционной эпохе. Однако сама формула была противоречива: «правые руки» врангелевского режима не могли проводить подлинно левую политику, а делать вид, будто могут, значило, по выражению Милюкова, предпринять «неуклюжую попытку обмануть мир либеральными лозунгами».

Правительственные и военные круги Севастополя были заполнены деятелями старого режима. Кривошеин, последний царский министр земледелия, получил руководство внутренними делами. Его полиция развернула массовую охоту на предполагаемых «большевиков» — то есть фактически на каждого, кто выступал против власти. Сотни либеральных журналистов и политиков были арестованы, земские учреждения преследовали как «очаги большевизма». Один земский деятель пожаловался Кривошеину и получил ответ: «Все левые одинаковы», будь то большевики или либералы.

Полиция Кривошеина была наполнена бывшими царскими чиновниками, использовавшими положение либо для жестокой мести крестьянам за 1917 год, либо для личного обогащения через взятки и

реквизиции. Близость фронта, из-за которой большая часть Крыма находилась под юрисдикцией военно-полевых судов, служила удобным оправданием Белого террора. Тысячи обычных крестьян и рабочих попали в тюрьмы, сотни были расстреляны как предполагаемые «шпионы».

Террор солдат — прежде всего грабежи и погромы — становился серьёзнейшей проблемой, отравлявшей отношения с местным населением. Белые офицеры часто терпели, а иногда и поощряли подобные действия ради лояльности своих людей. За три года войны Белая, или теперь уже Русская, армия выработала сильное кастовое чувство. Многие офицеры воспринимали себя как оккупационную армию на чужой территории и обращались с крымским населением безнаказанно. Вместо того чтобы стать образцовым правительством и сделать белую идею привлекательной для остальной России, «правые руки» Врангеля невольно работали на красных.

Как и при Деникине, решающим оставался земельный вопрос. Врангель признавал необходимость реформы, способной привлечь крестьян. «Этот вопрос надо было решить по важнейшей психологической причине, — вспоминал он. — Нужно было выбить из рук врага его главное пропагандистское оружие. Следовало развеять крестьянское подозрение, будто мы воюем с красными лишь для того, чтобы вернуть права крупных землевладельцев и отомстить тем, кто эти права нарушил».

Однако комиссия, назначенная для разработки реформы, сама была под сильнейшим влиянием помещиков. Земельный закон от 25 мая всё ещё далеко не отвечал крестьянским требованиям. Его основная цель заключалась в создании класса крестьян-собственников через передачу небольших участков в частную собственность — ещё одна «ставка на сильных». Подобно столыпинской реформе, проект связывался с созданием волостного земства, где должны были преобладать крестьяне.[101]

Но закон был перегружен сложными правилами, требовавшими многих лет для исполнения, и оставлял слишком много бюрократических лазеек, позволявших помещикам сохранить землю. Например, именно уездные земства, где по-прежнему доминировали

помещики, определяли размер земель, подлежащих передаче крестьянам.

Особенно тяжёлой была проблема компенсации. Крестьяне должны были платить за помещичью землю пятой частью урожая; при трёхпольной системе это равнялось примерно тридцати процентам ежегодного сбора. После революции и гражданской войны, когда крестьянские хозяйства были сильно ослаблены, такая повинность становилась огромным бременем и, вероятно, ещё на поколение оставляла бы крестьян экономически зависимыми от помещиков — что, возможно, и было скрытой целью закона.

Земельный закон Врангеля был патерналистским, а не революционным решением. В XIX веке его сочли бы прогрессивным; после 1917 года он выглядел реакционным. Он показал, что режим Врангеля так же, как деникинский, остаётся пленником старой бюрократической культуры. Лучше всего это символизировало решение продавать текст закона в виде брошюры за сто рублей — предполагалось, что, заплатив, крестьяне будут больше его ценить. На фоне простого большевистского Декрета о земле, отпечатанного миллионами листовок и бесплатно раздававшегося крестьянам, это говорило о полном непонимании пропагандистской функции подобных актов. Режим Врангеля, как и режим Деникина, так и не понял: чтобы победить в гражданской войне, надо действовать революционными методами.[102]

Цена была очевидной: крестьянское равнодушие, а ближе к фронту, где реквизиции продовольствия и транспорта были особенно тяжёлыми, — открытая враждебность. Это означало, что белые никогда не могли набрать достаточно людей для прорыва из Крыма. Даже зажиточные крестьяне Таврии — первой области, куда белые должны были выйти на материке, — смотрели на них, по словам одного офицера, «как на армию старых олимпийцев, титулованных генералов и их приятелей, надутых гордостью и высокомерием».

Положение ухудшалось ещё и тем, что казаки — главная опора белых — всё сильнее разочаровывались, грабили деревни и требовали возвращения домой. По словам одного офицера, Донская армия превратилась в «толпу людей, думающих лишь о собственном спасении и материальном благополучии, но никак не о борьбе с красными». Левое

крыло Донского круга, где теперь доминировали молодые фронтовики, активно требовало разрыва с «реакционером» Врангелем и мирных переговоров с большевиками, наивно надеясь получить от них автономию Дона.[103]

Сначала Врангель отвергал идею наступления. Англичане отказались его поддерживать, а сам он предпочитал укреплять базу на полуострове. Но польское нападение на Россию показалось ему шансом. 6 июня он высадил войска морем на берег Азовского моря, а в следующие дни перебросил наземные части на север, в Таврию. Так возник плацдарм на материке, почти удвоивший территорию белых и давший Крыму жизненно важный сельскохозяйственный источник продовольствия.

В августе и сентябре Врангель попытался двигаться дальше на север, к Дону и Кубани. Однако войска, наскоро мобилизованные из таврических крестьян, быстро разваливались — шла уборка урожая, — а казакам приходилось тратить почти все силы на поимку дезертиров.

К октябрю, после завершения войны с Польшей, красные смогли сосредоточиться на Врангеле. 20 октября они начали контрнаступление: 130 000 красноармейцев потребовалось шесть дней, чтобы отбросить 35 000 белых обратно в Крым. Большую часть тяжёлых боёв вели махновцы, понёсшие огромные потери на стороне красных; в награду Троцкий затем приказал их арестовать и расстрелять.[104]

Белые задержали продвижение красных на Перекопском перешейке, где строили укрепления, одновременно готовясь к эвакуации. Никто не питал иллюзий насчёт способности долго держаться. Почти каждый, кто был связан с белым движением, стремился попасть на союзнический корабль. Началась безумная скупка иностранной валюты. 28 октября один фунт стерлингов в Севастополе стоил 600 000 рублей; к 1 ноября — уже миллион; к 10 ноября, когда началась посадка, — четыре, а иногда и пять миллионов.

Несмотря на колоссальное число людей, эвакуация была организована образцово. Не было паники и хаоса, сопровождавших мартовский исход деникинцев с Кубани. Войска отступали организованно и достаточно долго сдерживали красных, чтобы почти 150 000 беженцев успели погрузиться на 126 британских, французских и русских судов, ушедших в Константинополь. 14 ноября Врангель был

среди последних поднявшихся на борт. Его корабль символично назывался «Генерал Корнилов»: человек, начавший Белое движение, словно увозил в изгнание его последнего вождя.[105]

Для Брусилова разгром белых закончился трагедией. Незадолго до эвакуации к нему пришёл Склянский, заместитель Троцкого по военным делам. Он утверждал, что многие врангелевские офицеры не хотят уезжать из России и могут перейти к красным, если Брусилов подпишет обращение с гарантией амнистии. Склянский предложил ему командование новой Крымской армией, сформированной из остатков врангелевских сил.

Брусилова привлекала идея чисто русской армии из патриотически настроенных офицеров. Это позволило бы ему «обрусить» элиту Красной армии — к чему он всегда стремился, — и, возможно, спасти множество жизней. Он согласился и, несмотря на больную ногу, начал готовиться к отъезду в Крым.

Через три дня ему сообщили, что план отменён: офицеры Врангеля якобы не захотели переходить на сторону красных. Позднее Брусилов узнал, что это было неправдой. Во время последней эвакуации из Севастополя красные распространили — в том числе сбрасывая с самолётов — тысячи листовок с обещанием амнистии от имени Брусилова. Сотни офицеров поверили и остались, чтобы сдаться. Все они были расстреляны.

Пять лет спустя Брусилов всё ещё не мог примириться с собственной совестью. В 1925 году он писал в своих тогда ещё не опубликованных воспоминаниях:

> Пусть судят меня Бог и Россия. Я не знаю истины — могу ли я винить себя в этом злодеянии, если оно действительно произошло? Я так и не установил, было ли всё именно так, как мне рассказывали. Знаю лишь, что впервые в жизни столкнулся с таким фанатичным злом и обманом и впал в настолько невыносимое отчаяние, что, по правде говоря, любому в моём положении было бы несравненно легче просто быть расстрелянным.
>
> Если бы я не был глубоко верующим человеком, я мог бы покончить с собой. Но вера в то, что каждый отвечает за последствия своих вольных и невольных грехов, не позволила мне этого сделать. В революционной буре, в безумном хаосе я не всегда мог действовать логично и предвидеть все повороты судьбы; возможно, я совершил немало

ошибок — я это признаю. Но с чистой совестью, перед самим Богом, могу сказать: я никогда не думал ни о собственной выгоде, ни о собственной безопасности — я думал только об Отечестве.[106]

Через девять месяцев старый генерал умер.

ГЛАВА 15

ПОРАЖЕНИЕ В ПОБЕДЕ

i. Короткие пути к коммунизму

После приключений гражданской войны Дмитрий Оськин в феврале 1920 года принял командование Второй трудовой армией. Она была сформирована из избыточных частей 2-й Красной армии после разгрома Деникина и получила задачу восстановить разрушенные железные дороги Южного фронта. Вместо винтовок солдаты теперь носили лопаты.

«Все испытывали какое-то разочарование от того, что больше не участвуют в боях, — писал позднее Оськин. — Жизнь на железнодорожных разъездах была скучной». Единственным утешением для комиссара было сознание, что эта работа жизненно необходима для восстановления хозяйства после разрухи революции и гражданской войны.

Южные железные дороги перевозили жизненно важные запасы хлеба и нефти в промышленные города севера. За годы гражданской войны было разрушено около трёх тысяч миль путей.[1] Повсюду лежали кладбища сломанных паровозов. Проезжая из Балашова в Воронеж, Оськин видел общую картину разорения: «Станции мертвы, поезда проходят редко, ночью освещения нет, лишь свеча горит в телеграфной комнате. Здания полуразрушены, окна выбиты, повсюду горы грязи и мусора». Это было символом разорённой России.

Солдаты Оськина расчищали завалы, восстанавливали пути и мосты. Военные инженеры ремонтировали поезда. К лету железные дороги вновь начали работать, и операцию объявили большим успехом. Заговорили о применении войск и в других секторах экономики.

Главным сторонником милитаризации был Троцкий. По его приказу ещё в январе 1920 года из остатков 3-й Красной армии была сформирована Первая трудовая армия. После разгрома Колчака солдат сохранили в боевых подразделениях и перебросили на «хозяйственный фронт» — добывать продовольствие, валить лес, производить простейшие товары и ремонтировать железные дороги.

Отчасти план диктовался практическими соображениями. Большевики боялись демобилизовать армию в разгар экономического кризиса. Если миллионы безработных солдат хлынут в города или присоединятся к недовольным крестьянам, страна может взорваться всеобщим восстанием — что и случится в 1921 году.[2]

Кроме того, было ясно: для восстановления железных дорог после гражданской войны необходимы чрезвычайные меры. Троцкий считал транспорт ключом ко всему хозяйственному возрождению страны. В январе 1920 года он стал наркомом путей сообщения — это была первая должность, о которой он сам попросил.

Помимо физического разрушения, железные дороги страдали от коррупции чиновников, которые были словно прорванная плотина перед потоком мешочников, вносивших хаос в систему. Местничество также парализовало транспорт. Каждая отдельная линия создавала свой комитет, десятки районных управлений конкурировали за редкие паровозы и вагоны. Чтобы не отдавать «свой» локомотив соседнему управлению, его отцепляли на границе участка, и поезд часами, а то и днями ждал, пока из следующего депо пришлют другой. Несмотря на все усилия железнодорожников, одному из высокопоставленных сотрудников Троцкого понадобилась целая неделя, чтобы проехать триста миль от Одессы до Кременчуга.

Но в основе троцкистского плана лежало и более широкое представление об обществе, организованном по военному образцу. Как и многие большевики в 1920 году, Троцкий видел государство своего рода генеральным штабом общества, который мобилизует его ресурсы в соответствии с Планом так же, как военное командование распоряжается армией. Экономика должна была работать с армейской дисциплиной и точностью.

Всё население предлагалось объединить в трудовые полки и бригады и отправлять, как солдат, выполнять производственные приказы — «сражения» и «кампании» — на хозяйственном фронте. Здесь уже угадывался прообраз сталинской командной экономики. И то и другое исходило из мысли, что в отсталой крестьянской России государственное принуждение способно дать короткий путь к коммунизму и избавить от долгой НЭПовской стадии накопления капитала через рынок.

Обе системы основывались на бюрократической фантазии: социализм можно ввести декретом. На практике результат напоминал скорее феодализм, чем что-либо из Маркса. Как предупреждали меньшевики, нельзя построить социалистическую экономику теми же методами, которыми строили пирамиды.

После побед гражданской войны большевикам, конечно, было соблазнительно считать Красную армию моделью для всего общества. *По-военному* стало в большевистском словаре синонимом эффективности. Если военные методы помогли разбить белых, почему бы не строить ими социализм? Нужно лишь развернуть армию на хозяйственный фронт, превратив каждого рабочего в солдата плановой экономики.

Троцкий и прежде утверждал, что заводы следует организовывать на военной основе.[139] Теперь, весной 1920 года, он рисовал смелую картину коммунистического труда: «штаб» плановой экономики «посылает приказы на трудовой фронт», а «каждый вечер тысячи телефонов звонят в штаб, докладывая о победах на трудовом фронте».

Троцкий считал, что способность социализма вводить принудительный труд — его главное преимущество перед капитализмом. Чего Советской России недоставало в экономическом развитии, можно компенсировать принудительной мощью государства. Заставлять рабочих, по его мнению, эффективнее, чем стимулировать рынком. Свободный труд ведёт к забастовкам и хаосу; государственный контроль над рынком труда создаст дисциплину и порядок.[3]

В основе этого рассуждения лежало убеждение, которое Троцкий разделял с Лениным: русские — плохие и ленивые работники и не станут трудиться без кнута. Точно такого же мнения придерживалось помещичье сословие при крепостном праве — системе, с которой новый строй имел немало общего. Троцкий даже восхвалял достижения крепостного труда, используя их в оправдание своих планов. Он не хотел слушать критиков, предупреждавших о низкой производительности принуждения. «Если это так, — сказал он на съезде профсоюзов в апреле 1920 года, — тогда на социализме можно ставить крест».

---

[139] В это же время ту же идею развивали Гастев и другие пионеры тейлоризма в Советской России (см. с. 744–745 оригинала).

В центре этого «казарменного коммунизма» лежал страх большевиков перед рабочим классом как самостоятельной и всё более непокорной силой. Примечательно, что примерно с этого времени большевики всё чаще говорили не о «рабочем классе», а о «рабочей силе» — *рабсиле*. Смена слов означала превращение рабочих из активного субъекта революции в пассивный объект партийного государства. Рабсила — уже не класс и даже не совокупность отдельных людей, а просто масса.

Само слово *рабочий* как будто возвращалось к корню *раб*. Здесь лежала одна из основ будущей системы ГУЛАГа — психология, которая погонит длинные колонны полуголодных, оборванных крестьян на стройки и фабрики. Троцкий особенно ясно выразил эту мысль, назвав трудовые армии «мужицким сырьём». Человеческий труд, который Маркс превозносил как творческую силу, превращался в обычный материал, который государство может расходовать на «строительство социализма». Это извращение было заложено в системе с самого начала. Горький предвидел его ещё в 1917 году, когда писал: «Рабочий класс для Ленина — то же, что руда для металлурга».[4]

Опыт гражданской войны никак не укрепил доверия большевистских лидеров к рабочим. Нехватка продовольствия превратила рабочих в мелких торговцев и полукрестьян, постоянно снующих между фабрикой и деревней. Рабочий класс стал кочевым. Промышленность погружалась в хаос из-за того, что половина работников регулярно отсутствовала, уезжая за продуктами. Те, кто оставался на фабриках, большую часть времени делали простые вещи для обмена с крестьянами. Квалифицированные специалисты, на которых был огромный спрос, переходили с завода на завод в поисках лучших условий. Производительность упала до ничтожной доли довоенного уровня. Даже важнейшие военные заводы едва работали.

По мере падения уровня жизни распространялись забастовки и «работа спустя рукава». Весной 1919 года волна стачек прокатилась почти по всей стране. Практически ни один промышленный город не остался в стороне. Повсюду главным требованием было улучшение продовольственного снабжения. Большевики отвечали репрессиями: тысячи бастующих арестовывали и расстреливали, многих — как предполагаемых сторонников меньшевиков.[5]

Без рыночного стимула, который по идеологическим причинам всё ещё отвергался,[140] у большевиков оставался лишь один способ воздействовать на рабочих — угроза силой. Они пытались повысить производство высокими премиями для ключевых работников, нередко по сдельной системе, тем самым отказываясь от революционного обещания уничтожить разницу в оплате труда. Но бумажные деньги почти ничего не покупали, поэтому стимул был слабым.

Чтобы удержать людей на фабриках, большевики вынуждены были платить натурой — продовольствием или долей продукции предприятия, которую рабочие затем обменивали на еду у крестьян. Местные Советы, профсоюзы и заводоуправления забрасывали Москву просьбами разрешить такую оплату; многие вводили её самовольно. К 1920 году большинство фабричных рабочих частично получало зарплату собственной продукцией. Вместо бумажных рублей домой несли мешок гвоздей или кусок ткани и меняли их на продовольствие.

Так, хотят большевики того или нет, примитивный рынок медленно возвращался в самое сердце плановой экономики. Если бы процесс оставили без контроля, центральная администрация лишилась бы возможности распоряжаться ресурсами страны и тем самым влиять на производство. Поэтому вместо запрета — уже провалившегося в 1918–1919 годах — с 1920 года власти стали пытаться организовать натуральные выплаты так, чтобы в первую очередь обеспечить рабочих жизненно важных отраслей.

На этом строилась милитаризация тяжёлой промышленности. Стратегические предприятия переводили на военное положение, вводили армейскую дисциплину в цехах, а систематических прогульщиков могли расстреливать как «дезертиров промышленного фронта». Взамен рабочим гарантировали красноармейский паёк. К концу года таким образом было милитаризовано около трёх тысяч предприятий — главным образом военных и горнодобывающих. Пока солдат превращали в рабочих, рабочих превращали в солдат.

---

[140] В феврале 1920 года Троцкий действительно выдвинул осторожные предложения рыночной реформы, напоминавшей будущий НЭП, однако ЦК их отверг. Он немедленно вернулся к политике милитаризации: для восстановления хозяйства, по его мнению, требовались радикальные меры — либо свободная торговля, либо принуждение.

С этим же был связан общий перенос власти на заводе от коллегиальных правлений, частично избиравшихся рабочими, к единоначалию, при котором директоров всё чаще назначала партийная иерархия. Троцкий оправдывал этот переход сравнением с переходом от выборных командиров к назначаемым в армии, утверждая, что именно это обеспечило победу красных в гражданской войне. Новые директора воспринимали себя командирами промышленной армии. Профсоюзные права казались им помехой, мешающей дисциплине и эффективности, так же как солдатские комитеты прежде мешали армейскому командованию.

Троцкий дошёл до идеи полного подчинения профсоюзов аппарату партийного государства: раз государство «рабочее», считал он, рабочим больше не нужны самостоятельные организации.[6]

В 1920 году принцип принудительного труда распространили и на другие сферы. Миллионы крестьян мобилизовали в трудовые команды для валки и перевозки леса, строительства дорог и железных дорог, уборки урожая. Троцкий представлял себе всё население страны, объединённое в трудовые полки, которые одновременно служили бы постоянной армией или ополчением.

Это напоминало военный феодализм графа Аракчеева, военного министра 1820-х, создавшего систему поселений, где крепостной труд сочетался с военной службой. План Троцкого наследовал длинной цепи царских «административных утопий», восходивших к Петру Великому: все они искали в армейских методах средство рационализировать «нерациональных» русских, построить анархичных крестьян по ранжиру, одеть, вымуштровать и заставить служить нуждам абсолютистского государства.

Оськин, как и Троцкий, мечтал о дне, когда «ни одна иностранная держава не осмелится вторгнуться в Россию, потому что всё её население будет готово — одни на фронте с оружием в руках, другие в промышленности и сельском хозяйстве — защищать Отечество. Вся страна станет одним вооружённым лагерем».[7]

Всё это было не более чем бюрократической мечтой. Крестьянские трудовые команды, как и трудовые армии, оказались фантастически неэффективными. Пятидесяти мобилизованным в среднем требовался целый день, чтобы срубить и разделать одно дерево. Дороги,

строившиеся трудовыми командами, были настолько неровными, что, по словам очевидца, «напоминали замёрзшие океанские волны», а поездка по ним была «хуже любого аттракциона».

Дезертирство с трудовой повинности достигало такого масштаба, что в некоторых районах ловлей беглецов занималось больше людей, чем самой работой. Деревни занимали войска, налагали штрафы, брали и расстреливали заложников — в том числе руководителей Советов, если их подозревали в укрывательстве дезертиров. Тысячи крестьян отправляли в трудовые лагеря, создававшиеся в каждой губернии как «исправительные учреждения» для рабочих, нарушивших трудовую дисциплину.

Неэффективными были и субботники — субботние кампании труда, когда рабочих и студентов загоняли «добровольцами» на такие благородные социалистические работы, как уборка мусора с улиц и площадей. В течение первомайской недели 1920 года в этом «празднике труда» участвовало более миллиона москвичей. С тех пор субботник стал постоянной чертой советской жизни: не только отдельные дни, но и целые недели объявлялись временем бесплатной работы.

Большевики превозносили субботник как высшее достижение советского коллективизма. Политически он, вероятно, действительно помогал приучать городское население к дисциплине, конформизму и послушанию. Не «вызваться добровольцем» означало навлечь подозрение, а возможно, и преследование как «контрреволюционер». Но экономический эффект был ничтожным.

Профессор Водовозов записал впечатления от массового субботника в Петрограде 1 мая:

> На площади между Зимним дворцом и Адмиралтейством кипела деятельность. Работников действительно было ужасно много, куда больше, чем требовалось: они убирали железные решётки и груды кирпича, лежавшие там уже восемнадцать месяцев с тех пор, как разрушили дворцовую ограду. РОСТА объявило, что наконец-то уродливая ограда исчезла. Но не совсем: кирпичи действительно убрали, а железные решётки просто сложили на другом конце площади. И там они лежат до сих пор. Вся площадь всё ещё завалена мусором. Нет сомнения, что разборка ограды, да ещё и незаконченная, обошлась раз в десять дороже, чем когда-то её строительство.[8]

Одним из последствий гражданской войны стало обесценение денег. В 1918–1919 годах большевики колебались. С одной стороны, они понимали необходимость продолжать печатать деньги для оплаты товаров и услуг и знали, что население будет судить о режиме по стоимости рубля. С другой стороны, крайние левые считали, что инфляцию надо сознательно ускорять, чтобы вообще уничтожить деньги.

Они мечтали заменить денежную систему всеобщим распределением товаров по государственным талонам. Ошибочно предполагалось, что уничтожение денег автоматически уничтожит рынок, а вместе с ним капитализм, после чего наступит социализм. Экономист Преображенский посвятил одну из своих книг «печатным станкам Наркомфина — тому пулемёту, который расстрелял буржуазный строй в задницу, то есть денежную систему».

К 1920 году левые добились своего: деньги печатались в таком количестве, что защищать их стоимость стало бессмысленно. На Монетном дворе работало 13 000 человек; абсурдно, но значительная часть золотого запаса страны тратилась на импорт красок и бумаги для печатания банкнот. Напечатать рубль стоило дороже самого рубля. Почта, телеграф, транспорт и электричество пришлось сделать бесплатными, потому что государство теряло деньги, печатая банкноты для оплаты этих услуг. Ситуация была сюрреалистической — но это была Россия.[9]

Левые большевики видели в продовольственном талоне своего рода учредительный акт коммунистического порядка. Категория пайка определяла место человека в новой социальной иерархии. Людей классифицировали по их полезности государству. Красноармейцы, чиновники и работники жизненно важных отраслей получали паёк первого класса — скудный, но ещё достаточный. Остальные рабочие — паёк второго класса, уже недостаточный. «Буржуи», находившиеся на самом дне, получали третий класс — по памятному выражению Зиновьева, «столько хлеба, чтобы не забыть его запах».

Но к концу 1920 года в государственных складах оставалось так мало продовольствия, а число получателей было столь велико, что даже первый паёк лишь замедлял голодную смерть. Государство кормило — точнее, недокармливало — около тридцати миллионов человек.

Городское население всё сильнее зависело от заводских и учрежденческих столовых, где обычной пищей была жидкая каша и мясные обрезки. Однако поиски работающей столовой и стояние в очередях отнимали столько сил, что человек нередко расходовал на получение пищи больше энергии, чем получал из самой еды.

И это был не единственный абсурд. Практически в каждой сфере, где вводили нормированное распределение — продовольствие, табак, одежда, топливо, книги, — на выдачу товара уходило больше времени и энергии, чем он сам стоил. Заводы и учреждения останавливались, пока рабочие стояли за пайками. Обычный человек ежедневно тратил часы, переходя из одного советского учреждения в другое и пытаясь обменять затёртые талоны на обещанные товары, которых почти никогда не было. При этом он, несомненно, замечал сытый и хорошо одетый вид чиновников, перед которыми приходилось унижаться.

Петроградский профессор Василий Водовозов — известный либерал 1900-х и в молодости знакомый Ленина — описал типичный день в дневнике. Людям, жившим позднее в Советском Союзе, многое покажется знакомым:

3 декабря 1920 года

> Опишу свой день — не потому, что мелочи сами по себе интересны, а потому, что это типичная жизнь почти каждого, кроме нескольких начальников.
>
> Сегодня я встал в девять утра. Раньше вставать бессмысленно: темно, электричество в доме не работает. Не хватает топлива. Прислуги у меня нет — почему, отдельный разговор, — и приходится самому разжигать самовар, ухаживать за больной женой, слёгшей с испанкой, и носить дрова для печи. Я выпил немного кофе — из овса, разумеется без молока и сахара — и съел кусок хлеба от буханки, купленной две недели назад за 1500 рублей. Было даже немного масла, и в этом смысле мне живётся лучше большинства.
>
> К одиннадцати я был готов выйти. Но после такого завтрака всё ещё хотелось есть, и я решил зайти в вегетарианскую столовую. Там ужасно дорого, но это единственное место в Петрограде, где можно поесть сравнительно легко, без регистрации и разрешения какого-нибудь комиссара. Оказалось, столовая закрыта и откроется только через час. Тогда я пошёл в Третий Петроградский университет — как университет он фактически уже закрыт, но столовая там ещё работает, и я в ней

зарегистрирован. Я надеялся взять еду себе, жене и нашим друзьям Введенским, которые тоже там числятся.

И снова неудача: длинная очередь ожидающих, на лицах скука и раздражение, очередь совсем не движется. В чём дело? Сломался котёл, задержка минимум на час.

Тот, кто прочитает это в далёком будущем, может решить, что люди ждут банкета. Но весь обед состоит из одного блюда — обычно жидкого супа, где плавает картофелина или кусок капусты. О мясе речи нет. Его получают лишь немногие привилегированные — то есть те, кто работает на кухне.

Я решил уйти и отложить еду до окончания работы. К часу дня трамвай так и не пришёл, и я вернулся к столовой: еды всё ещё нет и не будет как минимум ещё полчаса. Пришлось идти на работу голодным.

У Николаевского моста я наконец догнал трамвай № 4. Тока на линии не было, трамвай стоял. Я до сих пор не понимаю этого. Все трамваи остановились — зачем тогда они вообще вышли на линию, если было известно, что топлива не хватит закончить маршрут? Люди сидели внутри: кто-то наконец сдавался и шёл пешком, другие оставались с сизифовым терпением. Через два часа я увидел, что трамваи снова пошли, но к пяти вечера всё опять остановилось.

К двум я пешком добрался до архива. Побыл там полчаса и пошёл в университет: в три часа там вроде бы должны были выдавать паёк капусты. Кому именно — я не знал. Может быть, профессорам; стоило попробовать. Но снова не повезло: капусту не привезли, выдадут завтра. И не профессорам, а только студентам.

Там же я узнал, что хлебного пайка не будет целую неделю: говорят, весь хлеб уже раздали коммунистам, которые сидят во всех комитетах.

Из университета вернулся домой, позаботился о жене, сделал что нужно и снова пошёл в вегетарианскую столовую — всё ещё надеясь поесть. Опять неудача: еда кончилась, следующая будет не раньше чем через час. Я решил не ждать и пошёл к Введенским, попросить их встать в очередь позднее. В пять вернулся домой. И тут случилась первая удача дня: в нашем секторе включили электричество [Петроград был разделён на секторы; из-за нехватки энергии свет давали им по очереди]. У меня появился драгоценный час для чтения — первый за весь день час, свободный от беготни за обедом, хлебом, капустой или дровами.

> В шесть я пошёл к Введенским поесть — наконец! — и вернулся записать эти строки. В девять снова стало темно. К счастью, вечером к нам пришла знакомая посидеть пару часов с женой, и у меня появилось ещё немного времени. После девяти я зажёг свечу, поставил самовар, выпил чаю с женой и в одиннадцать лёг спать.

Ключом к этой коммунистической утопии был контроль над продовольствием: без него правительство не могло контролировать ни экономику, ни общество. Большевики болезненно сознавали, что режим зависит от в основном враждебного крестьянства. Мелкие хозяйства производили мало для рынка, а в условиях, когда купить было почти нечего и любой излишек забирало государство, ещё сильнее уходили в натуральное хозяйство и замкнутую деревенскую автаркию.

Не имея промышленных товаров для обмена, большевики прибегли к прямому насилию в «битве за хлеб», отправляя вооружённые отряды отбирать продовольствие и вызывая по всей стране крестьянские восстания. Это была ещё одна скрытая гражданская война.

Хотя на словах большевики тщательно уважали мелкое крестьянское хозяйство, закреплённое их собственным Декретом о земле — именно оно обеспечило им поддержку многих крестьян против белых, — в будущем сельского хозяйства они видели гигантские коллективные и советские хозяйства: колхозы и совхозы, напрямую производящие для государства.[10]

«Проблемный крестьянин» с его мелкособственническими инстинктами, суевериями и привязанностью к традиции должен был исчезнуть, потому что в социалистических хозяйствах все превращались бы в колхозных или совхозных «работников». Милютин мечтал о «сельскохозяйственных фабриках, производящих зерно, мясо, молоко и корм, которые освободят социалистический строй от экономической зависимости от мелкособственнического хозяйства».

И здесь большевиков уносил утопизм: они верили, что социализм можно создать декретом. Русский крестьянин по природе был осторожен; потребовались бы десятилетия мягкого обучения и наглядных агрономических доказательств, чтобы убедить его, что крупное хозяйство с современной техникой и коллективным трудом настолько выгоднее, что ради него стоит отказаться от семейного двора, общины и деревни — институтов, поддерживавших отца и деда.

Тем не менее в феврале 1919 года был принят «Статут о социалистическом землеустройстве», одним росчерком объявивший всё индивидуальное крестьянское хозяйство «отмирающим». Вся необрабатываемая земля бывших помещиков теперь должна была передаваться новым коллективам, чем крестьяне были крайне возмущены: они считали своё право на помещичьи земли священным завоеванием революции.

К декабрю 1920 года существовало более 16 000 коллективных и государственных хозяйств, располагавших почти десятью миллионами акров земли и примерно миллионом работников — среди них немало бывших горожан. Крупнейшие совхозы, создававшиеся государством, имели более 100 000 акров; самые маленькие колхозы, образованные местными крестьянами, — менее пятидесяти.

Многие крупные коллективные хозяйства видели себя микрокосмом экспериментального коммунистического образа жизни. Семьи объединяли имущество и жили в общежитиях. Ели и работали коллективами. Женщины выполняли тяжёлые полевые работы наравне с мужчинами, иногда для детей создавались ясли. Религиозная практика почти исчезала.

Этот по существу городской образ жизни, созданный по модели фабричной артели, сильно отталкивал местных крестьян. Они были убеждены, что в коллективах обобществляют не только землю и орудия, но и жён с дочерьми, и что все якобы спят под одним огромным одеялом.

Ещё больший скандал вызывало то, что большинством коллективов управляли люди, ничего не понимавшие в сельском хозяйстве. Совхозы во многом были заполнены безработными рабочими, бежавшими из городов; колхозы — безземельными батраками, деревенскими ремесленниками и беднейшими крестьянами, которые из-за несчастий, пьянства или просто лени никогда не добивались успеха в собственном хозяйстве.

Крестьянские съезды захлёстывали жалобы на плохое управление коллективами. «Землю получили, а пахать не умеют», — говорили крестьяне Тамбовской губернии. Даже большевики вынуждены были признать, что коллективные хозяйства стали «убежищем для лодырей», не выдерживавшим «язвительной критики единоличных крестьян».

Несмотря на освобождение от продразвёрстки и щедрые государственные дотации техникой и скотом, очень немногие коллективы работали с прибылью, многие приносили тяжёлые убытки. Менее трети общего дохода они получали от собственной продукции; остальное приходило главным образом от государства. Некоторые хозяйства были настолько плохо организованы, что вынуждены были мобилизовать местных крестьян на трудовую повинность в собственных полях. Крестьяне воспринимали это как новую форму крепостничества и поднимались против коллективов с оружием. Половина таких хозяйств была уничтожена в крестьянских войнах 1921 года.

* * *

Против коммунистических экспериментов восставало не только крестьянство. В промышленности милитаризация также вызывала всё больше забастовок, протестов, пассивного сопротивления и сознательного снижения темпа работы. Политика, призванная укрепить дисциплину, рождала ещё большую недисциплинированность. За первые шесть месяцев 1920 года забастовками были охвачены три четверти российских фабрик. Несмотря на угрозы ареста и расстрела, рабочие в городах по всей стране выходили на улицы и кричали: «Долой комиссаров!»[11]

Особое возмущение вызывало то, что гражданская война уже заканчивалась, а большевики продолжали вести себя с рабочим классом как в условиях войны. Казалось, вся промышленная система застряла в постоянном чрезвычайном положении: даже мирное время оформлялось как фронт, а эта атмосфера использовалась для эксплуатации и подавления рабочих.[12]

Внутри партии политика Троцкого также встречала всё больше сопротивления снизу. Его грубая попытка разогнать профсоюз железнодорожников, которого он обвинял в транспортном хаосе, и заменить его общим транспортным союзом — Цектраном, полностью подчинённым государству, вызвала ярость большевистских профсоюзных лидеров. Они увидели в этом часть более широкой кампании по ликвидации самостоятельных профсоюзных прав.

Спор о роли профсоюзов нарастал ещё с начала 1919 года. Партийная программа того года провозглашала идеал: когда рабочий

класс будет достаточно подготовлен, профсоюзы должны непосредственно управлять промышленной экономикой. До этого их роль ограничивалась воспитанием рабочих и поддержанием трудовой дисциплины.

Но по мере распространения единоначалия всё больше профсоюзных руководителей опасалось, что обещанное прямое управление отодвигают в бесконечно далёкое будущее. На III Всероссийском съезде профсоюзов им удалось сорвать попытку партийного руководства окончательно навязать принцип единоначалия…

На III Всероссийском съезде профсоюзов в январе 1920 года им удалось сорвать попытку партийного руководства окончательно навязать принцип единоначалия. На IX съезде партии в апреле они вынудили руководство пойти на компромисс: профсоюзам обещали участие в назначении хозяйственных руководителей в обмен на признание самого принципа единоначалия.

Этот хрупкий баланс — между профсоюзами и партийно-государственным аппаратом — был нарушен планами Троцкого, выдвинутыми летом 1920 года: он хотел превратить транспортные профсоюзы в часть государственной бюрократии. Теперь под угрозой оказался сам принцип профсоюзной самостоятельности. Против Троцкого выступили не только профсоюзные руководители, но и значительная часть партийного руководства. Зиновьев, личный соперник Троцкого, осудил его «полицейские методы муштровки рабочих». Шляпников — к которому в январе присоединилась Коллонтай — создал так называемую Рабочую оппозицию для защиты прав профсоюзов и, шире, для сопротивления распространению «бюрократизма», который, по их словам, душил «спонтанное творческое начало» рабочего класса. Рабочая оппозиция пользовалась широкой поддержкой профсоюзов, особенно металлистов, среди которых прочнее всего держались и чувство классовой солидарности — выраженное в идеале рабочего контроля, — и ненависть к «буржуазным специалистам». Она выразила распространённую среди рабочих классовую враждебность к фабричным управляющим и чиновникам, которых они клеймили как «новый правящий класс» и «новую буржуазию».

Многие из этих настроений разделяла и другая крупная оппозиционная группа в партии — демократические централисты. Эта группа, состоявшая преимущественно из большевиков-интеллигентов, выступала против бюрократического централизма партии и против исчезновения Советов как органов непосредственной рабочей власти. Некоторые её наиболее радикальные московские сторонники, где эта группа была особенно сильна, даже открыли заседания районных партийных исполкомов для рядовых большевиков, стремясь тем самым поощрить гласность в местном управлении. Именно они первыми стали употреблять это слово.

Оба спора — о профсоюзах и о партийно-государственном устройстве — к осени 1920 года слились и переросли в общий кризис. На специальной партийной конференции в сентябре две оппозиционные группы объединились и провели ряд резолюций, призванных расширить демократию и гласность в партии: все партийные собрания должны были открыться для рядовых членов; низовые органы — получить большее влияние на назначение вышестоящих должностных лиц; высшие органы — стать более подотчётными рядовым партийцам. Воодушевлённая этой победой, оппозиция приготовилась к сражению за профсоюзы. На V съезде профсоюзов в ноябре Троцкий бросил вызов, предложив, чтобы всех профсоюзных руководителей назначало государство. Это вызвало ожесточённый конфликт внутри партии: Троцкий настаивал на немедленном и, если потребуется, принудительном слиянии профсоюзов с государственным аппаратом, тогда как оппозиционные группы отчаянно защищали их самостоятельность. Ленин соглашался с конечной целью Троцкого, но считал, что добиваться её следует менее грубо, чтобы не довести режим до раскола. «Если партия поссорится с профсоюзами, — предупреждал Ленин, — это наверняка будет концом Советской власти». Центральный Комитет оказался глубоко расколот, и следующие три месяца спор бушевал на страницах партийной печати: каждая фракция старалась мобилизовать сторонников к решающему бою, который должен был состояться на X съезде партии в марте.[13] На фоне явного кризиса правительства, тогда как всю страну охватывали восстания и забастовки, Россия вновь оказалась на пороге революции.

ii. Инженеры человеческих душ

В октябре 1919 года, по легенде, Ленин тайно посетил лабораторию великого физиолога И. П. Павлова, желая выяснить, можно ли использовать его исследования условных рефлексов для управления человеческим поведением. «Я хочу, чтобы массы России следовали коммунистическому образцу мышления и реакции, — объяснил Ленин. — В прежней России было слишком много индивидуализма. Коммунизм не терпит индивидуалистических склонностей. Они вредны. Они мешают нашим планам. Мы должны уничтожить индивидуализм». Павлов был поражён. Выходило, что Ленин хотел сделать с людьми то же самое, что учёный уже проделал с собаками. «Вы хотите сказать, что стремитесь стандартизировать население России? Заставить всех вести себя одинаково?» — спросил он. «Именно так, — ответил Ленин. — Человека можно исправить. Человека можно сделать таким, каким мы хотим его видеть».[14]

Была эта встреча или нет, сама история выражает важную истину: конечной целью коммунистической системы было преобразование человеческой природы. Подобная цель была свойственна и другим так называемым тоталитарным режимам межвоенной эпохи. Это было время утопической веры в способность науки изменить человеческую жизнь и одновременно — что парадоксально — время глубокой неуверенности в самой ценности человеческой жизни после разрушений Первой мировой войны. Как выразился в 1920 году один из пионеров евгенического движения в нацистской Германии, «может показаться, что мы стали свидетелями изменения самого понятия человечности… Страшные требования войны вынудили нас придавать жизни отдельного человека совсем иную ценность, чем прежде».[15] Но существовало и важнейшее различие между большевистской программой создания нового человека и человеческой инженерией Третьего рейха. Большевистская программа исходила из идеалов Просвещения — в ней было столько же от Канта, сколько от Маркса, — и потому западные либералы, даже в нынешнюю эпоху постмодернизма, способны отнестись к ней с некоторым сочувствием или, по крайней мере, обязаны попытаться её понять, даже если не разделяют её политических целей; тогда как нацистские попытки «улучшить человечество» — будь то евгеника или геноцид — плевали в лицо

Просвещению и могут вызывать лишь отвращение. Идея создания нового типа человека через просвещение масс всегда была мессианской миссией русской интеллигенции XIX века, из которой вышли большевики. Марксистская философия также учила, что человеческая природа есть продукт исторического развития и потому может быть преобразована революцией. Научный материализм Дарвина и Гексли, имевший в юности Ленина почти религиозный статус среди русской интеллигенции, также подталкивал к мысли, что человек определяется окружающим его миром. Отсюда большевики заключали: их революция, опираясь на науку, способна создать новый тип человека.

И Ленин, и Павлов признавали влияние Ивана Сеченова (1829–1905), физиолога, утверждавшего, что мозг — это электромеханический прибор, реагирующий на внешние раздражители. Его книга «Рефлексы головного мозга» (1863) оказала огромное влияние на Чернышевского, а через него и на Ленина, и одновременно стала отправной точкой павловской теории условных рефлексов. Здесь наука встретилась с социализмом. Хотя Павлов открыто критиковал революцию и не раз угрожал эмигрировать, большевики покровительствовали ему.[141] После двух лет, в течение которых он сам выращивал морковь, Павлов получил хороший паёк и просторную московскую квартиру. Несмотря на хроническую нехватку бумаги, его лекции были опубликованы в 1921 году. Ленин называл работы Павлова «чрезвычайно значительными» для революции. Бухарин — «оружием из железного арсенала материализма». Даже Троцкий, обычно державшийся в стороне от культурной политики, но проявлявший большой интерес к психиатрии, вдохновенно рассуждал о возможности перестройки человека:

> Что есть человек? Он отнюдь не завершённое и не гармоничное существо. Нет, он всё ещё весьма неуклюжая тварь. Человек как животное развивался не по плану, а стихийно, и накопил множество противоречий. Вопрос о том, как воспитывать и регулировать, как усовершенствовать и завершить физическую и духовную конструкцию человека, — колоссальная проблема, которую можно поставить лишь на основе социализма. Мы можем проложить железную дорогу через

[141] Соблазнительно предположить, что Павлов был мишенью сатиры Булгакова в «Собачьем сердце» (1925), где всемирно известный учёный-экспериментатор, презирающий большевиков, но принимающий их покровительство, пересаживает человеку мозг и половые органы собаки.

> Сахару, построить Эйфелеву башню и напрямую разговаривать с Нью-Йорком — неужели мы не сможем улучшить человека? Нет, сможем! Создать новую, «улучшенную версию» человека — вот будущая задача коммунизма. А для этого нам прежде всего надо узнать о человеке всё: его анатомию, физиологию и ту часть физиологии, которая называется психологией. Человек должен взглянуть на себя и увидеть в себе сырьё или, в лучшем случае, полуфабрикат и сказать: «Наконец-то, дорогой мой homo sapiens, я возьмусь за тебя».[16]

Новый советский человек, каким его изображали футуристические романы и утопические трактаты, в изобилии появившиеся вокруг революции, был Прометеем машинного века. Это должно было быть рациональное, дисциплинированное и коллективистское существо, живущее только интересами общего блага, словно клетка живого организма. Он мыслил не категориями отдельного «я», а коллективного «мы». В двух научно-фантастических романах Александра Богданова, большевистского философа, — «Красная звезда» (1908) и «Инженер Мэнни» (1913) — описано утопическое общество на Марсе приблизительно в XXIII веке. В этом «марксистско-марсианском обществе» полностью исчезла всякая индивидуальность: вся работа автоматизирована и управляется компьютерами; все носят одинаковую бесполую одежду и живут в одинаковых домах; детей воспитывают в специальных колониях; отдельных наций нет, и все говорят на некоем эсперанто. В одном месте «Инженера Мэнни» главный герой, марсианский врач, сравнивает миссию буржуазии на Земле — «создание человеческой индивидуальности» — с задачей пролетариата на Марсе: «собрать эти атомы» общества и «сплавить их в единый разумный человеческий организм».[17]

Идеал освобождения личности через коллектив был основополагающим для русской революционной интеллигенции. «Не “я”, а “мы” — вот основа освобождения личности, — писал Горький в 1908 году. — Тогда наконец человек почувствует себя воплощением всего богатства мира, всей мировой красоты, всего опыта человечества и духовно равным всем своим братьям». Для Горького пробуждение этого коллективного духа было прежде всего гуманистической задачей: он часто сравнивал его с гражданским духом Просвещения. Россия пропустила эту культурную революцию. Вековое крепостничество и царское правление породили, по его мнению, «рабский и косный народ»,

пассивный, невосприимчивый к прогрессу, склонный к внезапным вспышкам разрушительного насилия, но неспособный без государственного принуждения к созидательному национальному труду. Короче говоря, русские были некультурны: им недоставало культуры, необходимой активным гражданам. Задачей культурной революции, от которой зависели политическая и социальная революции, было воспитать это чувство гражданственности. По словам Горького, требовалось «активизировать русский народ по западному образцу» и освободить его от многовекового «азиатского варварства и лени».[18]

В 1909 году Горький, Богданов и Луначарский организовали школу для русских рабочих на вилле писателя на острове Капри. Тринадцать рабочих — один из них оказался полицейским осведомителем — были тайно и за большие деньги вывезены из России и усажены слушать сухой курс лекций по истории социализма и западной литературе. Единственным развлечением вне занятий была экскурсия по художественным музеям Неаполя под руководством Луначарского. Вторую рабочую школу открыли в Болонье в 1910 году. Целью было подготовить группу сознательных пролетарских социалистов — своего рода «рабочую интеллигенцию», — которая затем распространяла бы знания среди рабочих, обеспечивая революционному движению собственную культурную революцию. Основатели школы объединились в группу «Вперёд» и сразу же вступили в ожесточённый конфликт с Лениным. Представление вперёдовцев о революции было по существу меньшевистским в том смысле, что успех революции они связывали с органическим развитием рабочей культуры. Ленин, напротив, относился скептически к способности рабочих стать самостоятельной культурной силой и подчёркивал их роль как дисциплинированных кадров партии. Группа «Вперёд» также утверждала, что знание, особенно технология, является движущей силой истории в большей степени, чем предполагал Маркс, и что общественные классы различаются не столько собственностью, сколько обладанием знаниями. Следовательно, рабочий класс должен был освободиться не только путём овладения средствами производства, распределения и обмена, но и через одновременную культурную революцию, дающую ему власть самого знания. Отсюда — их приверженность просвещению рабочего класса. И, наконец, что было

ещё более еретично, вперёдовцы утверждали, что марксизм следует рассматривать как разновидность религии — только Божественным Существом становится человечество, а Святым Духом — коллективизм. Эту гуманистическую тему Горький развил в романе «Исповедь» (1908), где герой Матвей обретает своего бога в товариществе с другими людьми.

После 1917 года, когда ведущие большевики были заняты более неотложными делами, культурная политика оказалась в руках бывших вперёдовцев. Луначарский стал народным комиссаром просвещения — само название должности отражало идею культурной революции, которую его ведомство ставило своей целью, — и отвечал одновременно за образование и искусство. Богданов возглавил Пролеткульт, созданный в 1917 году для развития пролетарской культуры. Через фабричные клубы и студии, насчитывавшие к 1919 году 80 000 членов, он организовывал любительские театры, хоры, оркестры, художественные классы, литературные мастерские и спортивные мероприятия для рабочих. В Москве существовал Пролетарский университет и готовилась «Социалистическая энциклопедия», издание которой Богданов рассматривал как подготовку будущей пролетарской цивилизации — так же, как, по его мнению, энциклопедия Дидро была попыткой восходящей буржуазии XVIII века подготовить собственную культурную революцию.[19]

Как и в школах на Капри и в Болонье, интеллигенция Пролеткульта временами обнаруживала покровительственное отношение к рабочим, которых собиралась окультурить. Исходная посылка Пролеткульта состояла в том, что рабочий класс должен сам, стихийно, выработать собственную культуру; однако на деле её создавали за него интеллигенты. Более того, взращиваемая ими «пролетарская культура» имела гораздо меньше общего с реальными вкусами рабочих — главным образом водевилем и водкой, которые эти интеллектуалы презрительно считали пошлостью, — чем с их собственным идеализированным представлением о том, какими рабочие должны быть: не испорченными буржуазным индивидуализмом; коллективистами в быту и мышлении; трезвыми, серьёзными, стремящимися к самообразованию; интересующимися наукой и спортом; словом, первопроходцами воображаемой социалистической культуры самой интеллигенции.

* * *

Революция 1917 года пришлась на разгар так называемого Серебряного века России — первые три десятилетия XX столетия, когда во всех искусствах процветал авангард. Многие крупнейшие писатели и художники страны участвовали в Пролеткульте и других советских культурных начинаниях во время и после Гражданской войны: Белый, Гумилёв, Маяковский и Ходасевич вели занятия по поэзии; Станиславский, Мейерхольд и Эйзенштейн совершали «Октябрьскую революцию» в театре; Татлин, Родченко, Эль Лисицкий и Малевич прокладывали новые пути в изобразительном искусстве; а Шагал даже стал комиссаром по искусству в родном Витебске и позднее преподавал живопись в колонии для сирот под Москвой. Этот союз комиссаров и художников отчасти основывался на общих принципах: представлении о социальной задаче искусства, его миссии говорить с массами и модернистском отрицании старого буржуазного искусства. Но это был и брак по расчёту. Несмотря на первоначальные опасения, главным образом из-за угрозы своей самостоятельности, деятели культуры быстро увидели преимущества большевистского покровительства авангарду — не говоря уже о дополнительных пайках и материалах, столь необходимых им в голодные годы. Горький был здесь центральной фигурой: перед художниками он выступал как советский покровитель, а перед Советами — как представитель художников. В сентябре 1918 года он согласился сотрудничать с комиссариатом Луначарского в его отношениях с художественным и научным миром. Луначарский, со своей стороны, как мог поддерживал различные горьковские предприятия по «спасению русской культуры», несмотря на нетерпение Ленина к подобным «пустякам»: от издательства «Всемирная литература», где нашли работу многие обнищавшие интеллигенты, до Комиссии по охране исторических зданий и памятников. Луначарский жаловался, что Горький «оказался полностью в лагере интеллигенции, разделяя её брюзжание, неверие и ужас перед разрушением ценностей под ударами революции».

Нигилистическое крыло авангарда особенно тянулось к большевизму. Оно упивалось разрушением старого мира. Так, футуристы — Маяковский и другие — практически бросились к ногам большевиков, видя в них союзников в собственной борьбе против

«буржуазного искусства». (Итальянские футуристы примерно по той же причине поддержали фашистов.) Внутри Пролеткульта футуристы проводили крайне иконоборческую линию, раздражавшую Ленина — в вопросах культуры консерватора — и смущавшую Богданова и Луначарского. «Пора пулям по стенам музеев тенькать», — писал Маяковский. Классику он называл «старым эстетическим хламом» и каламбурил, что Растрелли следует «расстрелять». Поэт Пролеткульта Кириллов писал:

> Во имя нашего Завтра — сожжём Рафаэля, Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.[20]

Во многом это было интеллектуальное бахвальство — вандальская поза второсортных литераторов, у которых готовность эпатировать заметно превосходила талант.

Сталин однажды назвал писателя «инженером человеческих душ». Художникам авангарда в первые годы большевистского режима отводилась роль великих преобразователей человеческой природы. Многие разделяли социалистический идеал сделать человеческий дух более коллективистским. Они отвергали индивидуалистические заботы «буржуазного» искусства XIX века и верили, что современными формами художественного выражения можно приучить сознание видеть мир иначе. Монтаж, например, с его коллажным эффектом фрагментарных, но связанных образов, должен был, как считалось, подсознательно воздействовать на зрителя. Эйзенштейн, применивший этот приём в трёх великих пропагандистских фильмах 1920-х годов — «Стачка», «Броненосец „Потёмкин“» и «Октябрь», — строил на нём всю свою теорию кино. Много говорилось о «психической революции», которую якобы должно было вызвать кино — модернистское искусство par excellence, основанное, подобно психологии современного человека, на «прямых линиях и острых углах» и на «власти машины».[21]

Как пионеры этой «психической революции», авангардисты экспериментировали с самыми разными формами. Цензуры искусства в то время почти не существовало — у большевиков хватало более насущных забот, — и эта область сохраняла относительную свободу. Отсюда парадокс: художественный взрыв внутри полицейского государства. Значительная часть раннего советского искусства действительно имела непреходящую ценность. Особенно

конструктивисты — Родченко, Малевич, Татлин — оказали огромное влияние на весь модернистский стиль. Этого нельзя сказать ни о нацистском искусстве, ни о том, что называли искусством при Сталине, — мрачном монументальном китче социалистического реализма. И всё же, учитывая юношеский восторг, с которым авангард принял дух эксперимента, многие его начинания сегодня выглядят довольно комично.

В музыке, например, возникали оркестры без дирижёров — и на репетициях, и на концертах, — которые утверждали, будто тем самым воплощают социалистический образ жизни, основанный на равенстве и свободном коллективном труде. Было движение «концертов на заводе», где в качестве инструментов использовали сирены, турбины и гудки или создавали новые звуки электронными средствами; некоторые полагали, что так родится новая музыкальная эстетика, близкая психике рабочих. Шостакович, вероятно, как всегда не без иронии, тоже поучаствовал в этом, введя фабричные гудки в кульминацию своей Второй симфонии («Посвящение Октябрю»). Не менее эксцентричным было переименование известных опер и переписывание их либретто так, чтобы сделать их «социалистическими»: «Тоска» превратилась в «Борьбу за коммуну», действие перенесли в Париж 1871 года; «Гугеноты» стали «Декабристами» и были перенесены в Россию; а «Жизнь за царя» Глинки переписали как «Серп и молот».

Подобным образом театр пытались приблизить к массам, вынеся его из привычной «буржуазной» среды на улицы, заводы и в казармы. Театр превращался в форму агитпропа. Его задача состояла в разрушении границы между актёром и зрителем, в исчезновении рампы, отделявшей театр от реальности. Всё это было заимствовано из приёмов немецкого экспериментального театра Макса Рейнхардта, позднее доведённых до совершенства Брехтом. Побуждая публику открыто реагировать на действие, Мейерхольд и другие советские режиссёры пытались вовлечь её эмоции в дидактические аллегории революции. Новые пьесы подчёркивали революционную борьбу как в масштабе страны, так и в частной жизни. Персонажи были грубыми картонными символами — жадные капиталисты в котелках, дьявольские попы с бородами а-ля Распутин и честные простые рабочие. Главной целью этих пьес было разжечь массовую ненависть к «врагам» революции и тем самым

сплотить людей вокруг режима. В одной из таких постановок — «Слышишь, Москва?» Эйзенштейна (1924) — эмоции разгорелись настолько, что в финальном акте, когда немецкие рабочие штурмовали оплот фашистов, зрители сами попытались присоединиться к ним. Каждого убитого фашиста встречали бурными криками одобрения. Один зритель даже выхватил пистолет, чтобы застрелить актрису, игравшую фашистскую кокотку; соседи успели привести его в чувство.

Самым грандиозным примером революционного уличного театра стало «Взятие Зимнего дворца», поставленное в 1920 году к третьей годовщине Октябрьского восстания. Этот массовый спектакль окончательно уничтожил различие — и без того всегда смазанное — между театром и революцией: улицы Петрограда, где в 1917 году разыгрывалась революционная драма, теперь сами стали театром. Ключевые сцены воспроизводились на трёх огромных сценах на Дворцовой площади. Зимний дворец был частью декорации: в его окнах поочерёдно зажигался свет, показывая разные сцены внутри. «Аврора» исполняла одну из главных ролей, стреляя тяжёлыми орудиями с Невы в знак начала штурма дворца — точно так же, как в ту историческую ночь. В представлении участвовало 10 000 актёров — вероятно, больше, чем в настоящем восстании, — и они, подобно хору в древнегреческом театре, воплощали монументальную идею революции как деяния народа. За действием на Дворцовой площади наблюдали примерно 100 000 зрителей. Они смеялись над буффонной фигурой Керенского и неистово приветствовали штурм дворца. Так начинался миф о Великом Октябре — миф, который Эйзенштейн превратил в псевдофакт своим «документально-драматическим» фильмом «Октябрь» (1927). Кадры из этого фильма до сих пор публикуются в книгах — и в России, и на Западе — как подлинные фотографии революции.[22]

Искусство тоже вышло на улицы. Конструктивисты говорили, что искусство надо вывести из музеев в повседневную жизнь. Многие из них — Родченко, Малевич и другие — сосредоточились на проектировании одежды, мебели, контор и фабрик, подчёркивая то, что называли «индустриальным стилем»: простые конструкции и основные цвета, геометрические формы и прямые линии, которые, по их убеждению, должны были одновременно освобождать человека и делать его более рациональным. Они заявляли, что их цель — «перестроить не только

вещи, но и весь бытовой уклад». Несколько ведущих художников и скульпторов авангарда, например Шагал и Татлин, занялись «агитационным искусством» — украшали здания и трамваи, создавали плакаты для многочисленных революционных праздников и фестивалей, таких как Первое мая или День революции, когда весь народ должен был слиться в открытой демонстрации коллективной радости и чувства. Город буквально красили в красный цвет — иногда даже деревья. Посредством статуй и памятников улицы стремились превратить в Музей революции, в живую икону силы и величия нового режима, способную впечатлить даже неграмотных. В подобных актах самосакрализации государства не было ничего нового: царский режим делал то же самое. Символично, что обелиск у Кремля, воздвигнутый Романовыми к трёхсотлетию династии в 1913 году, по распоряжению Ленина оставили на месте. Царскую надпись заменили именами «социалистических» предков, начиная с XVI века: среди них были Томас Мор, Кампанелла и Уинстэнли.[23]

Судя по всему, ни один из этих авангардных художественных экспериментов не оказался особенно эффективным в преобразовании сердец и умов. Левые художники могли верить, что создают новую эстетику для масс, но на деле создавали модернистскую эстетику для самих себя, пусть и такую, в которой «массы» были превращены в символ их собственных идеалов. Художественные вкусы рабочих и крестьян оставались в сущности консервативными. Трудно даже переоценить консерватизм крестьян в вопросах искусства: когда в 1920 году Большой театр гастролировал по провинции, крестьяне, как сообщалось, были «глубоко потрясены видом обнажённых рук и ног корифеек и в отвращении покидали представление». Нереалистические образы модернистского искусства были чужды людям, чьё знакомство с искусством ограничивалось главным образом иконой.[142] Когда Шагал оформил улицы Витебска к первой годовщине Октябрьского восстания, коммунистические чиновники спросили его: «Почему корова зелёная и почему дом летит по небу, почему? Какое это имеет отношение к Марксу и Энгельсу?» Опросы читательских привычек в 1920-х показали, что рабочие и крестьяне по-прежнему предпочитали

[142] Социалистический реализм 1930-х годов, с его очевидными иконическими чертами, оказался куда эффективнее как пропаганда.

детективные и романтические истории, которые читали до революции, литературе авангарда. Неудачной оказалась и новая музыка. На одном «концерте на заводе» от сирен и гудков поднялся такой грохот, что даже рабочие не смогли узнать мелодию «Интернационала». Концертные залы и театры заполняла новая, разбогатевшая пролетарская публика большевистского режима — в Большом театре в Москве каждый вечер оставались горы шелухи от семечек, которые они грызли, — однако слушать они приходили Глинку и Чайковского.[24] Когда речь заходит о художественном вкусе, полуобразованный рабочий больше всего желает подражать буржуазии.

* * *

Наряду с новыми формами искусства «мечтатели» революции экспериментировали и с новыми формами общественной жизни. Предполагалось, что и они помогут изменить человеческую природу. Или, точнее, женскую.

Освобождение женщин было важной частью новой коллективной жизни в представлении ведущих феминисток партии — Коллонтай, Арманд и Балабановой. Общественные столовые, прачечные и ясли должны были освободить женщин от домашнего рабства и позволить им активно участвовать в революции. «Женщины России, бросайте кастрюли и сковородки!» — призывал один советский плакат. Постепенное растворение «буржуазной» семьи посредством либерального реформирования законов о браке, разводе и абортах должно было, как считалось, избавить женщин от тирании мужей. Женский отдел Секретариата ЦК — Женотдел, созданный в 1919 году, — поставил своей задачей «перековать женщину», вовлекая её в местную политическую работу и просветительскую пропаганду. Коллонтай, возглавившая Женотдел после смерти Арманд в 1920 году, выступала и за сексуальную революцию. Она проповедовала «свободную любовь», или «эротическую дружбу» между мужчиной и женщиной как двумя равными партнёрами, которая должна была освободить женщину от «рабства брака», а оба пола — от бремени моногамии. Сама она воплощала эту философию в жизни, последовательно меняя мужей и любовников, в том числе Дыбенко — большевистского матроса на семнадцать лет моложе, за которого вышла

замуж в 1917 году, — а по некоторым сведениям, и короля Швеции, с которым она сблизилась, будучи советским послом в Стокгольме в 1930-х годах и одновременно первой в мире женщиной-послом.

Будучи народным комиссаром государственного призрения, Коллонтай пыталась создать условия для этой новой сексуальной гармонии. Предпринимались меры против проституции и по расширению государственного ухода за детьми, хотя Гражданская война почти не позволяла продвинуться ни в одной из этих сфер. К несчастью, некоторые местные комиссариаты совершенно превратно поняли смысл её работы. В Саратове, например, губернский отдел социального обеспечения издал «Декрет о национализации женщин»: брак отменялся, а мужчинам предоставлялось право удовлетворять свои сексуальные потребности в лицензированных публичных домах. Во Владимире подчинённые Коллонтай открыли «Бюро свободной любви» и опубликовали постановление, обязывавшее всех незамужних женщин от восемнадцати до пятидесяти лет зарегистрироваться там для подбора половых партнёров. Постановление объявляло всех женщин старше восемнадцати лет «собственностью государства» и давало мужчинам право выбирать зарегистрированную женщину — даже без её согласия — для продолжения рода «в интересах государства».[25]

Работу Коллонтай мало кто понимал правильно. Хотя её представление о сексуальной революции во многом было высокоидеалистическим, её повсеместно считали поощряющей сексуальную распущенность и нравственную анархию, охватившие Россию после 1917 года. Ленин подобным вопросам почти не уделял внимания; будучи человеком довольно пуританским, он осудил приписываемую Коллонтай так называемую «теорию стакана воды» — будто в коммунистическом обществе удовлетворение сексуального желания должно быть столь же просто, как выпить стакан воды, — как «совершенно не марксистскую». «Конечно, — писал он, — жажду надо утолять. Но разве нормальный человек ляжет в канаву и станет пить из лужи?» Местные большевики пренебрежительно относились к «женской работе», прозвав Женотдел «баботделом». Да и сами женщины с подозрением воспринимали идею сексуального освобождения, особенно в деревне, где патриархальные установки умирали медленно. Многие боялись, что общественные ясли отберут у

них детей и превратят их в сирот государства. Женщины жаловались, что либеральные бракоразводные законы 1918 года лишь облегчили мужчинам бегство от обязанностей перед жёнами и детьми. Статистика подтверждала их правоту. К началу 1920-х уровень разводов в России стал самым высоким в Европе — в двадцать шесть раз выше, чем в «буржуазной Европе». Работницы решительно не одобряли либеральную сексуальность Коллонтай, видя в ней — и не без оснований — лицензию мужчинам плохо обращаться с женщинами. Куда больше они ценили старомодное представление о браке, восходившее к крестьянскому хозяйству, — как об общей экономике с разделением мужского и женского труда ради воспитания семьи.[26]

Не только в сексуальных вопросах Ленин не любил экспериментов. В искусстве он был столь же консервативен, как любой буржуа XIX века. У него не было времени на авангард. Революционные статуи он считал «издевательством и искажением социалистической традиции» — один проект, где Маркс стоял на четырёх слонах, буквально привёл его в ярость, — а самое известное стихотворение Маяковского «150 000 000» он назвал «чепухой, несусветной глупостью и претенциозностью». (Многие читатели, возможно, согласятся.) После окончания Гражданской войны Ленин внимательно присмотрелся к Пролеткульту — и решил его закрыть. Осенью 1920 года субсидию резко сократили, Богданова отстранили от руководства, а Ленин начал наступление на основные принципы организации. Его раздражала иконоборческая направленность Пролеткульта: он предпочитал подчёркивать необходимость строить на культурных достижениях прошлого и видел в самостоятельности Пролеткульта растущую политическую угрозу. Для него это была «богдановская фракция». Пролеткульт действительно имел много общего с Рабочей оппозицией, поскольку, как и она, требовал свержения культурной гегемонии буржуазии, по-прежнему воплощавшейся в привлечении «буржуазных специалистов», а вскоре — и в самом НЭПе. В этом смысле существовала прямая связь между антибуржуазными настроениями Пролеткульта и сталинской «культурной революцией». С точки зрения Ленина, ликвидация Пролеткульта была частью перехода к НЭПу. Если НЭП был Термидором в экономической сфере, то прекращение войны с «буржуазным искусством» стало Термидором культурным. И то и

другое исходило из признания: в такой отсталой стране, как Россия, достижения старой цивилизации необходимо сохранить как фундамент социалистического порядка. К коммунизму не было коротких путей.

В это время Ленин много писал о необходимости «культурной революции». Недостаточно, утверждал он, просто создать Рабочее государство; нужно создать и культурные условия для долгого перехода к социализму. В своём понимании культурной революции он подчёркивал не пролетарское искусство и литературу, а пролетарскую науку и технику. Если Пролеткульт видел в искусстве средство человеческого освобождения, Ленин видел в науке средство человеческого преобразования — превращения людей в «винтики» государства.[143] Он хотел, чтобы «плохие» и «неграмотные» русские рабочие «прошли школу капиталистической культуры» — стали квалифицированными и дисциплинированными рабочими, а своих сыновей отправляли в инженерные институты, — чтобы страна смогла преодолеть отсталость на пути к социализму.[27] Большевизм, как ни крути, был стратегией модернизации.

Ленинский акцент на узкой научно-технической подготовке отразился в изменении образовательной политики в 1920–1921 годах. Большевики рассматривали образование как один из главных каналов человеческого преобразования: через школы и коммунистические организации детей и молодёжи — пионерию и комсомол — они собирались воспитать следующее поколение в новом коллективном духе. Как заявила на съезде по народному образованию в 1918 году Лилина-Зиновьева, одна из основательниц советской школы:

> Мы должны сделать молодое поколение поколением коммунистов. Дети, как мягкий воск, очень податливы, и из них надо вылепить хороших коммунистов… Мы должны спасти детей от вредного влияния семейной жизни… Мы должны национализировать их. С первых дней своей маленькой жизни они должны оказаться под благотворным влиянием коммунистических школ. Они будут изучать азбуку коммунизма… Обязать мать отдать ребёнка Советскому государству — вот наша задача.

[143] Сталин нередко называл людей «винтиками» (vintiki) огромной государственной машины.

Основной моделью советской школы была Единая трудовая школа. Учреждённая в 1918 году, она должна была давать всем детям бесплатное общее образование до четырнадцати лет. Однако практические трудности Гражданской войны не позволили создать много таких школ. В 1920 году ряд большевистских и профсоюзных руководителей стал требовать более узкой профессиональной подготовки с раннего возраста. Под влиянием планов Троцкого по милитаризации они подчёркивали необходимость подчинить систему образования нуждам экономики: промышленности требовались квалифицированные техники — и школа должна была их производить. Луначарский выступал против, видя в этом отказ от гуманистических целей революции, которые защищал ещё со времён «Вперёд». Взяв власть от имени рабочих, утверждал он, большевики обязаны дать образование их детям, поднять их до уровня интеллигенции, чтобы те стали «хозяевами промышленности». Недостаточно было научить ребёнка читать и писать, а затем отправить в ученики. Это воспроизводило бы классовое разделение капитализма — старую культуру Господ и Людей, разделённых властью над знанием. Благодаря усилиям Луначарского политехнические принципы 1918 года в основном сохранились. Но на практике всё большее значение приобретала узкая профессиональная подготовка, и многих детей, особенно сирот на государственном попечении, уже с девяти-десяти лет насильно отдавали в фабричное ученичество.[28]

Покровительство Ленина тейлористским идеям шло параллельно этой тенденции. Он давно превозносил теории «научной организации труда» американского инженера Ф. У. Тейлора — хронометраж и разложение производственных операций на автоматизированные элементы — как средство перестроить психику рабочего, сделать его дисциплинированным существом и тем самым переделать всё общество по механистическим принципам. Ленин поощрял культ тейлоризма, расцветший в России в это время. Научные методы Тейлора и Генри Форда считались ключом к светлому и процветающему будущему. Даже в далёких деревнях знали имя Форда (некоторые крестьяне считали его своего рода богом, руководящим работой Ленина и Троцкого). Алексей Гастев (1882–1941), большевистский инженер и поэт, довёл эти принципы до крайности. Возглавив Центральный институт труда,

созданный в 1920 году, он ставил эксперименты по обучению рабочих так, чтобы в конце они действовали как машины. Сотни одинаково одетых учеников колоннами маршировали к верстакам, команды подавались гудками машин. Правильному удару молотком рабочих учили, заставляя держать молоток, прикреплённый к машине, которая сама задавала движение; через полчаса человек должен был усвоить её механический ритм. То же повторяли при работе зубилом, напильником и с другими основными навыками. Цель Гастева, по его собственному признанию, состояла в превращении рабочего в своего рода «человека-робота» — слово «робот», кстати, этимологически связано с понятием работы. Поскольку Гастев считал машины превосходящими людей, такое превращение казалось ему улучшением человечества. Более того, он видел в нём следующий логический этап человеческой эволюции. Гастев представлял себе новый мир, в котором «людей» заменят «пролетарские единицы», настолько лишённые личности, что им не понадобится даже имя. Их будут обозначать шифрами — A, B, C, или 325, 075, 0 и так далее. Эти автоматы станут подобны машинам, «неспособным к индивидуальному мышлению», и будут просто повиноваться управляющим. «Механизированный коллективизм» должен был «занять место индивидуальной личности в психологии пролетариата». Эмоции станут не нужны, а человеческую душу будут измерять «не криком или улыбкой, а манометром или спидометром». Этот кошмарный утопизм высмеял Замятин в романе «Мы» (1924), вдохновившем Оруэлла на «1984». Замятин изобразил будущий мир людей-роботов — «мы», известных не по именам, а по номерам, и жизнь которых запрограммирована до мельчайших деталей. Сатира оказалась настолько опасной, что «Мы» оставалось запрещённым в Советском Союзе более шестидесяти лет.

Видение Гастева — механизированное общество — не было праздной фантазией. Он верил, что оно уже близко. «Азбука коммунизма», написанная Бухариным и Преображенским в 1919 году, уверяла, что вскоре возникнет «новый мир» с «новыми людьми и обычаями», где всё будет «точно рассчитано». Механистические мотивы искусства Пролеткульта должны были воспитывать этот новый Мир Машины. Существовала даже Лига времени: к моменту, когда Замятин писал «Мы», она насчитывала 25 000 членов в 800 местных

отделениях. Её участники вели «хронокарточку», куда записывали, как расходуют каждую минуту дня («7.00 — встал с постели; 7.01 — пошёл в уборную»), чтобы сделать использование времени максимально эффективным. Крестоносцы этого часового мира носили нарочито большие наручные часы — такая мода, кстати, всё ещё существует в России. Самозваные «полицейские времени» ходили по фабрикам и учреждениям, стараясь искоренить «обломовщину» — типично русскую привычку тратить время впустую. Один из их планов экономии времени состоял в замене длинных русских слов и официальных названий более короткими формами и аббревиатурами. Политиков убеждали говорить короче, а ораторов на съездах — сокращать речи.[29]

* * *

Война против религии занимала важное место в этой борьбе за народную душу. Большевики видели в религии признак отсталости — «опиум для народа», — а в Церкви соперника своей власти. Особенно религия крестьян казалась им фундаментальной культурной пропастью между собственными идеалами Просвещения и «тёмным» деревенским народом, которого они не понимали и которого едва ли могли надеяться обратить в свою веру. Поэтому война против религии была частью более широкой кампании по завоеванию «инаковости» крестьянства.

До 1921 года война против религии велась главным образом средствами пропаганды. Большевики поощряли волну антиклерикализма, смывшую церковные земли в 1917 году. Декрет об отделении Церкви от государства в январе 1918-го должен был поставить духовенство в зависимость от местного населения, лишив его права владеть собственностью — церковные здания отныне арендовались у Советов — и взимать плату за религиозные службы. Религиозное обучение в школах также запретили. Большевистская пропаганда изображала духовенство толстыми паразитами, живущими за счёт крестьян и замышляющими возвращение царя. В большинстве губернских газет существовали постоянные рубрики о «контрреволюционной» деятельности местных священников, хотя на деле подавляющее большинство приходского духовенства либо исчезло, либо было увлечено самой крестьянской революцией. Разумеется, чекистские тюрьмы были набиты священниками.

Цель большевистской пропаганды заключалась в том, чтобы заменить поклонение Богу почитанием государства, религиозные иконы — революционными. Коммунизм становился новой религией, Ленин и Троцкий — её новыми первосвященниками. В этом смысле большевистская борьба с религией пошла дальше якобинской дехристианизации: задача была не только подорвать религию, но и присвоить её власть государству.

С одной стороны, велась иконоборческая большевистская пропаганда. Христианские чудеса разоблачались как мифы. Гробы, якобы содержавшие «нетленные» мощи русских святых, вскрывали и обнаруживали в них голые скелеты, а иногда восковые чучела. Знаменитые «плачущие иконы» оказывались снабжены резиновыми грушами, выдавливавшими «слёзы», когда верующий делал пожертвование. Приверженность крестьян религиозным и суеверным объяснениям высмеивалась как глупость: неурожаи и эпидемии следовало предотвращать агрономией и метеорологией, а не молитвами и обрядами в полях. Рядом устраивали «безбожные» и «Божьи» десятины — первые удобряли химическими удобрениями, вторые окропляли святой водой — чтобы наглядно доказать преимущество науки. Крестьян катали на самолётах, чтобы они собственными глазами убедились: на небе нет ни ангелов, ни Бога. В большинстве местных газет существовали специальные колонки подобного «научного атеизма». Печатались сотни атеистических брошюр и рассказов. Литература и музыка, сочтённые религиозными, подвергались запрету. По этим мотивам запрещали Платона, Канта, Шопенгауэра, Ницше и Толстого, а из музыки — «Реквием» Моцарта, почти всего Баха и «Всенощную» Рахманинова. Существовало и атеистическое искусство — на одном особенно кощунственном плакате Дева Мария с беременным животом мечтала о советском аборте, — а также столь же иконоборческие театр и кино безбожников. Были учебные кружки и вечерние занятия по этой «науке» атеизма; хорошее знание её было необходимым условием продвижения в партийно-государственном аппарате. В 1921 году появился Союз воинствующих безбожников с собственной общенациональной газетой и сотнями местных отделений, устраивавших «диспуты» с духовенством на тему «Существует ли Бог?». Как правило, в сценарий входило показательное обращение хотя

бы одного священника, внезапно объявлявшего, что его убедили в отсутствии Бога, и просившего советскую власть простить его заблуждение. Большинство таких священников, вероятно, предварительно побывали под пытками в ЧК или по крайней мере получили угрозу заключения. Но даже при этом победа безбожников не была гарантирована. На одном диспуте священник спросил безбожников, кто создал природу. Когда те ответили, что природа создала себя сама в ходе эволюции, крестьяне разразились хохотом: подобное утверждение показалось им совершенно нелепым, и победу присудили священнику.[30]

С другой стороны, большевистская пропаганда представляла коммунизм как новую религию. Праздники, ритуалы и символы коммунистического государства сознательно строились по образцу христианских — и должны были их заменить. Советские праздники назначались на те же дни, что и прежние религиозные: появились комсомольские Рождество и Пасха; День электричества приходился на Ильин день; День леса — своеобразное возвращение к крестьянско-языческому прошлому — на Троицу. Первое мая и День революции были перенасыщены религиозной символикой: вооружённый марш мимо Кремля, религиозного центра православной России, явственно напоминал старый крестный ход, только вместо крестов несли винтовки. Культ Ленина, расцветший в годы Гражданской войны, придавал ему статус божества. Сам символ коммунистического государства — Красная звезда — был насыщен религиозным и мессианским смыслом, глубоко укоренённым в русском фольклоре.

В листовке Красной армии 1918 года бойцам объясняли, почему Красная звезда появилась на советском знамени и на их форме. Некогда жила прекрасная девушка по имени Правда, на лбу которой сияла огненная красная звезда, освещавшая весь мир и приносившая людям истину, справедливость и счастье. Однажды красную звезду украла Кривда, желавшая погрузить мир во мрак и зло. Так началось царство Кривды. Тогда Правда призвала людей вернуть её звезду и «вновь принести миру свет истины». Добрый молодец победил Кривду и её силы и вернул Красную звезду Правде, после чего злые силы разбежались от света, «как совы и летучие мыши», и «люди вновь зажили по правде». Листовка прямо объясняла смысл притчи: «Так

Красная звезда Красной армии есть звезда Правды. А красноармейцы — это храбрые молодцы, которые сражаются с Кривдой и её злыми сторонниками, чтобы правда царила в мире и чтобы все угнетённые и обиженные Кривдой, все бедные крестьяне и рабочие жили хорошо и свободно».[31]

В частной жизни, как и в публичной, религиозные обряды большевизировались. Вместо крещения детей «октябрили». На этих церемониях, широко распространившихся в начале 1920-х, родители обещали воспитывать ребёнка в духе коммунизма; в подарок вручались портреты маленького Ленина; пели «Интернационал». Имена, которые выбирали «октябрённым» детям — а нередко и взрослым, решившим переименоваться, — брались из революционного пантеона: Маркс; Энгелина; Роза — в честь Розы Люксембург; Владлен, Нинель, Ильич и Ильина — сокращения, прозвища или анаграммы имени Ленина; Марлен — Маркс и Ленин; Мэлор — Маркс, Энгельс, Ленин, Октябрьская революция; Правда; Баррикада; Февраль; Октябрина; Революция; Парижкоммуна; Молот; Серпина; Дазмир — «Да здравствует мировая революция»; Диктатура; Террора. Иногда имя выбирали по недоразумению или просто потому, что оно звучало «по-иностранному» и потому ассоциировалось с революцией: Травиата, Маркиза, Эмбрион и Винегрет. Красные свадьбы были ещё одним большевистским обрядом, популярным среди комсомольской молодёжи. Обычно их устраивали на заводе или в местном клубе. Вместо алтаря молодые стояли перед портретом Ленина. Они давали клятву верности и друг другу, и принципам коммунизма. В сатирическом романе Брыкина «Собачья свадьба» (1925) приводится такая клятва: «Обещаете ли вы идти путём коммунизма так же смело, как сейчас выступаете против церкви и старых народных обычаев? Будете ли вы растить детей пионерами, учить их, вводить научные методы земледелия и бороться за мировую революцию? Тогда именем нашего вождя, товарища Владимира Ильича Ленина, объявляю Красный брак заключённым». Наконец, существовали Красные похороны, главным образом для большевистских героев. Они продолжали похоронные традиции революционного движения: почётный караул, высоко установленный гроб, обтянутый красным, траурный гимн «Вы жертвою пали», надгробные речи и оружейный салют. Впервые

подобный обряд был широко применён на похоронах Баумана, первого большевистского мученика, в 1905 году.[32]

С 1921 года война с религией перешла от слов и ритуалов к закрытию церквей и расстрелам священников. Эту совершенно излишнюю кампанию террора начал Ленин. Помимо Академии наук, Церковь оставалась единственным общенациональным институтом вне контроля партии. Три года пропаганды не подорвали её — во многом Гражданская война, наоборот, ещё сильнее толкнула людей к религии, — и Ленин решил атаковать её напрямую. Голод 1921–1922 годов дал ему нужный предлог. Хотя Церковь активно включилась в помощь голодающим и предложила продать часть своих неосвящённых ценностей, чтобы покупать продукты за границей, Ленин нашёл способ обвинить её в эгоистичном равнодушии к бедствию. Он потребовал передать на продажу и освящённые предметы, прекрасно понимая, что Церковь обязана отказаться: использование освящённых вещей в светских целях считалось святотатством. Такое неповиновение должно было представить Церковь именно тем, в чём её обвиняли, — «врагом народа». Чтобы настроить общество против неё, пресса истерически требовала продать все церковные ценности ради голодающих: «Превратим золото в хлеб!» — гласил эмоциональный лозунг. В последней отчаянной попытке спасти храмы от разграбления патриарх Тихон предложил собрать добровольные пожертвования и продать другое имущество на сумму, равную стоимости освящённых предметов; но предложение отвергли. Ленину нужны были не деньги — ему требовался повод для удара по Церкви.

26 февраля 1922 года местным Советам разослали декрет, приказывавший изъять из храмов все драгоценности, включая предметы богослужебного назначения. Декрет утверждал, что продажа необходима для помощи голодающим, однако на эти цели пошла лишь малая доля выручки. Вооружённые отряды опустошали храмы, выносили иконы и кресты, чаши и митры, даже разбирали на части иконостасы. Во многих местах разгневанная толпа с оружием в руках вставала на защиту своей церкви. Где-то её возглавляли священники, где-то люди сопротивлялись стихийно. В документах отмечено 1 414 кровавых столкновений в 1922–1923 годах. Большинство из них были совершенно неравными. Войска с пулемётами сражались со стариками

и женщинами, вооружёнными вилами и ржавыми винтовками: было убито 7 100 представителей духовенства, в том числе почти 3 500 монахинь, тогда как советских военных погибло лишь несколько человек. Одно такое столкновение в текстильном городе Шуе, в двухстах милях к северо-востоку от Москвы, в марте 1922 года побудило Ленина издать секретный приказ об истреблении духовенства. События были вполне типичными: в воскресенье 12 марта прихожане прогнали советских чиновников, пришедших грабить местную церковь; когда три дня спустя чиновники вернулись с войсками и пулемётами, началась перестрелка, несколько человек погибли. Политбюро в отсутствие Ленина проголосовало за приостановление дальнейших конфискаций. Но Ленин, узнав о событиях в Шуе, по телефону с дачи в Горках продиктовал противоположные указания, потребовав строжайшей секретности. Этот меморандум, полностью опубликованный в Советском Союзе лишь в 1990 году, показывает жестокую сторону ленинского характера. Он разрушает «мягкий» образ позднего Ленина, который долго был популярен среди западных левых историков, пытавшихся представить 1920-е годы как обнадёживающий период «советской демократии» до наступления сталинизма. Ленин утверждал, что события в Шуе следует использовать для того, чтобы связать духовенство с черносотенцами, уничтожить Церковь «на многие десятилетия» и «обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей… для государственной работы вообще и хозяйственного строительства в частности». Именно «сейчас», в условиях голода, голодные крестьяне будут «либо за нас, либо, во всяком случае, нейтральны» в этой «ожесточённой» войне с Церковью; позже «нам не удастся». Поэтому, продолжал Ленин:

> Я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий… Чем больше представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше.

По недавним оценкам, только в ходе этой жестокой кампании 1922 года было казнено около 8 000 человек. Патриарх Тихон утверждал, что ему известно о 10 000 священнослужителей в тюрьмах или ссылке, в том

числе примерно о ста епископах. Лишь после 1925 года, под давлением западных торговых партнёров России, преследования временно ослабли.[33]

По словам Горького, большевики сознательно использовали евреев в своих рядах для изъятия церковных ценностей. Он обвинял их в умышленном разжигании антисемитизма, чтобы отвлечь гнев христианского населения от самих большевиков. В нескольких городах — Смоленске, Вятке и других — после конфискации церковного имущества действительно произошли погромы. Одновременно большевики закрывали синагоги в рамках общей антирелигиозной кампании. Первыми в апреле 1921 года закрыли синагоги в родном городе Шагала Витебске. Советские власти заявили, что шесть из восьмидесяти городских синагог нужны для превращения их в школы с преподаванием на идише. Евреи быстро заняли намеченные к закрытию синагоги и начали проводить там молитвенные собрания. Но власти вытеснили их войсками, разбивая окна, выкрикивая «Смерть жидам!» и убив при этом нескольких молящихся. Ни одна из синагог школой не стала: одну превратили в Коммунистический университет, несколько — в рабочие клубы, одну — даже в обувную фабрику. Затем последовали закрытия в Минске, Гомеле, Одессе и Харькове. Всего с 1921 по 1925 год коммунисты закрыли около 800 синагог. Всё это было не лишено антисемитской окраски. Низовые партийные кадры, по словам Горького, были заполнены «старыми русскими националистами, негодяями и бродягами, которые презирают и боятся евреев». Военная и Рабочая оппозиции, черпавшие поддержку в низах партии, обе пользовались антисемитской риторикой в своём языке классовой вражды к «буржуазным специалистам». Первые годы НЭПа, когда расцвела мелкая торговля — сфера, где евреи традиционно занимали заметное место, — усилили этот антисемитизм. Для низовых большевиков особенно раздражающим было видеть, как «еврейские» торговцы «захватывают» Москву. Во время Гражданской войны этих «спекулянтов» арестовали бы; теперь же они жили лучше рядовых партийцев, пока половина русских рабочих оставалась без работы. Революция, казалось, отступала одновременно и на классовом, и на расовом фронте. В этих условиях многие наиболее воинственные большевики стали утверждать, как когда-то Маркс, что евреи как

социальная группа тождественны капитализму — что всякий торговец по сути «еврей». Такие идеи получили распространение в большевистской кампании против иудаизма, развернувшейся в 1921 году. Высшим оскорблением этой кампании стал показательный «суд» над иудаизмом, устроенный в пропагандистских целях на еврейский Новый год 1921 года. Его провели в том самом киевском зале суда, где в 1913 году судили невиновного Бейлиса — а вместе с ним, по сути, иудаизм.[34]

* * *

Большевистское преследование религии мало ослабило власть этого «опиума» над умами населения. Хотя в 1920-е религиозность действительно уменьшалась, особенно среди сельской молодёжи, которая училась в школе или перебиралась в города, это было связано скорее с секуляризующими тенденциями современной жизни, чем с усилиями большевиков. Процесс шёл уже десятилетиями. Более того, репрессивные меры большевиков во многом дали обратный эффект — сплотили верующих вокруг религии. Несмотря на отделение Церкви от государства, местное духовенство по-прежнему жило за счёт добровольных пожертвований прихожан, платы за обряды и земельных наделов, предоставляемых крестьянскими общинами. Ирония заключалась в том, что это было не так уж далеко от мечты либерального духовенства XIX века об органическом, самофинансирующемся приходе. Даже те, кто уже не верил с прежней безусловной силой, продолжали не просто соблюдать, но и глубоко ценить религиозные ритуалы. «Октябрины» и Красные свадьбы не вытеснили религиозные аналоги — которые к тому же были веселее. Люди продолжали хоронить умерших, а не кремировать их, несмотря на нехватку гробов и могил и на бесплатные государственные кремации, потому что, как говорил один сотрудник морга, «русские всё ещё либо слишком религиозны, либо слишком суеверны, чтобы расстаться с православными погребальными традициями».[35]

Так же, как в религии, в культуре и общественной жизни попытка большевиков «создать заново мир и человека» разбилась о реальность. Во многом это была утопическая мечта — одна из самых грандиозных в истории: вера в то, что человеческую природу можно изменить, просто

перестроив общественную среду, в которой живут люди. Человек не меняется так легко: человеческая природа развивается медленнее, чем правящие идеологии или общество. Возможно, это и есть главный непреходящий нравственный урок Русской революции — как, впрочем, и всей страшной истории XX века.

iii. Большевизм в отступлении

Письмо Сергея Семёнова:

> Андреевское, 21 января 1921 года
>
> Дорогая Анна,
>
> Жизнь в деревне стала невыносимой. Правда, мы живём гораздо лучше, чем крестьяне в остальной России. Ни продразвёрстка, ни трудовая повинность нас по-настоящему ещё не затронули. Но мы постоянно страдаем от ежедневного грабежа, глупости и нечестности наших местных носителей Советской власти, делающих нормальную жизнь невозможной. Трудовой народ, от имени которого всё это творится, больше не поддерживает новый режим. Я не стану писать ещё одну жалобу Каменеву [председателю Московского Совета]. Как говорится, нет хуже глухого, который не желает слышать.
>
> Несмотря на окончание войны и все обещания поставить страну на ноги, население не верит, что нынешняя власть способна это сделать. Оно так измучено и озлоблено, так задавлено чувством угнетения, что уже не способно мыслить конструктивно и не видит выхода из положения. Многие отчаиваются потому, что Врангель и поляки были разбиты, — и всё же никто не хочет признать, что ответ на наши беды лежит не в том, чтобы менять что-то извне, а в том, чтобы изменить наш собственный образ жизни.[36]

Чувство гнева и отчаяния, выраженное в письме Семёнова, разделяли крестьяне по всей России. Все идеалы крестьянской революции были разрушены большевистским режимом. Крестьянские Советы 1917 года, в значительной мере воплощавшие старый идеал воли — деревенской свободы и автономии, — захватили коммунисты. То, что было органами крестьянского самоуправления, превратилось в бюрократические органы государства. Революция на земле, стремившаяся сделать мелкое крестьянское хозяйство всеобщим, теперь оказалась под угрозой коллективизации. Помещичьи имения, которые крестьяне считали своей

добычей, переходили государству. А что это было за государство? Не то, что помогало крестьянам процветать. Оно забирало единственных сыновей и лошадей в армию, продлевало разорение Гражданской войны, загоняло людей в трудовые отряды и отнимало у них хлеб. «Свободу, которую дала нам революция, новый режим у нас отнял, — жаловался один крестьянин иностранному журналисту в январе 1921 года. — Жизнь в деревне снова стала такой, как при царе».

К 1921 году большая часть крестьянской России оказалась на пороге страшного голода. Хотя непосредственными причинами голода 1921–1922 годов стали засуха и сильные морозы, наиболее тяжело пострадали именно области, сильнее всего истощённые реквизициями 1918–1921 годов. В Самарской губернии, например, самой пострадавшей от голода, объём хлеба, изъятого в 1919–1920 годах, превышал фактический излишек урожая на 30 процентов, в результате чего среднее крестьянское хозяйство потеряло 118 килограммов продовольствия, фуража и семян из основных запасов. В суровых условиях 1921 года это часто становилось разницей между жизнью и смертью. В Балашовском уезде соседней Саратовской губернии, где развёрстку собирал смертоносный отряд Черёмухина, изъятие зерна даже превысило весь урожай, так что крестьянам пришлось расплачиваться запасами прошлых лет, и к осени 1920 года, по словам одного чиновника, «не осталось семян для посева». По всем хлебопроизводящим районам России большевики сознательно устанавливали развёрстку выше предполагаемого излишка урожая, исходя из того, что крестьяне якобы спрячут до трети реального избытка. Под тем же предлогом продотряды без разбора забирали всё, что находили в амбарах, нередко расстреливая сопротивлявшихся как «кулаков», хотя, как вынуждены были признавать многие большевистские чиновники, чаще всего это были беднейшие крестьяне, которым без последних запасов грозила смерть. В течение 1920 года, по мере того как признаки надвигающейся катастрофы становились всё очевиднее, губернские продовольственные органы умоляли Центр остановить губительные изъятия. «Забирать больше просто нечего», — предупреждал чиновник из Немецкой области Поволжья в сентябре 1920 года. Но Москва требовала ещё. В Немецкой области Поволжья изъяли 42 процента жалкого урожая 1920

года и отправили на голодный север. Деревни обыскивали, детей брали заложниками, крестьян пороли и пытали, выжимая последние зёрна.[37]

Сначала крестьяне защищались привычным «оружием слабых»: пассивным сопротивлением и хитростью. Хлеб закапывали в землю, скармливали скоту или гнали из него самогон, лишь бы не отдавать большевикам. Но постепенно они стали браться за оружие — сначала в отдельных местных бунтах и восстаниях, которые росли по частоте, масштабам и жестокости. В 1918 году разгневанные крестьяне убили около двух тысяч работников продотрядов; в 1919-м — почти пять тысяч; в 1920-м — более восьми тысяч. К осени 1920 года вся страна была охвачена крестьянскими войнами. Армия Махно, после разгрома Врангеля всё ещё насчитывавшая до 15 000 человек, разгуливала по украинской степи и вместе с бесчисленными местными отрядами парализовала значительную часть сельской советской инфраструктуры до лета 1921 года. В центральной российской Тамбовской губернии восстание Антонова поддерживало практически всё крестьянское население: с осени 1920-го до лета 1921-го Советская власть там фактически исчезла. В Воронежской, Саратовской, Самарской, Симбирской и Пензенской губерниях действовали меньшие, но не менее разрушительные повстанческие армии, превращавшие сельскую местность в зону, где власть большевиков ограничивалась городами. Сотни мелких «бандитских» отрядов контролировали степи между Уфой и Каспием. На Дону и Кубани казаки и крестьяне наконец объединились общей ненавистью к большевикам. Повстанческие армии Кавказских гор насчитывали более 30 000 бойцов. В Белоруссии крестьяне под руководством националистов захватили большую часть сельской местности и вынудили эвакуировать Советы Минска и Смоленска. Крупнейшее — хотя и хуже всего изученное — крестьянское восстание разгорелось в Западной Сибири: Тюменская, Омская, Челябинская, Тобольская, Екатеринбургская и Томская области, включая большинство крупных городов, оказались в руках повстанцев — до 60 000 вооружённых крестьян, — и почти вся советская инфраструктура была парализована в первые шесть месяцев 1921 года. Но в меньшем масштабе то же происходило по всей России: разгневанные крестьяне брались за оружие и выгоняли большевиков из деревень. Менее чем в пятидесяти милях от Кремля, неподалёку от

семёновского Андреевского, существовали деревни, куда большевику было опасно заходить.[38]

Примечательно, что все эти крестьянские войны, несмотря на огромные расстояния и разницу местных условий, имели столько общих черт.

Большинство крупных восстаний начиналось в 1920 году как небольшие крестьянские бунты против реквизиций продовольствия, а затем — из-за неумелых и часто жестоких действий местных коммунистов — разрасталось в полномасштабные крестьянские войны. Тамбовское восстание было типичным. Оно началось в августе 1920 года в селе Каменка, когда продовольственный отряд прибыл собирать часть новой хлебной развёрстки. Для губернии она была явно завышена — более одиннадцати миллионов пудов. Даже Ленин в сентябре задавался вопросом, «не следует ли её сократить». Урожай 1920 года оказался очень плохим, и если бы крестьяне выплатили развёрстку полностью, у каждого осталось бы лишь по одному пуду зерна — едва 10 процентов обычной потребности в продовольствии, семенах и корме. Уже в октябре начались голодные бунты. К январю, по словам большевика Антонова-Овсеенко, направленного для подавления восстания, «половина крестьянства голодала». Крестьяне Каменки считались сравнительно зажиточными — то есть просто голодали медленнее остальных, — и на них наложили дополнительную развёрстку. Они отказались платить, убили нескольких членов продотряда и вооружились ружьями и вилами, чтобы отбиться от советского подкрепления, присланного из Тамбова для подавления мятежа. Соседние деревни присоединились, вскоре возникла зачаточная крестьянская армия. Она сражалась под Красным знаменем — возвращение символов революции было важной чертой этих народных восстаний — и возглавлялась местным крестьянским эсеровским героем Григорием Плужниковым, который ещё в 1905 и 1917 годах организовывал борьбу против помещичьих имений. Тем временем в деревнях возникала сеть Союзов трудового крестьянства — СТК, часто организуемых местными эсерами, — которые заменяли Советы и снабжали повстанческую армию. Более пятидесяти коммунистов были убиты.

Скорость распространения восстания застала тамбовских большевиков врасплох. Советский и партийный аппарат губернии был чрезвычайно слаб. Люди тысячами покидали партию — многие из них были бывшими эсерами и вскоре присоединились к повстанцам, — поскольку промышленные забастовки и коррупционные скандалы сделали членство в партии одновременно опасным и постыдным. Из-за войны с Польшей в губернском гарнизоне насчитывалось лишь около 3 000 красноармейцев, причём большая их часть была крайне ненадёжна. На весь восставший Кирсановский уезд имелся один пулемёт. Повстанцы воспользовались слабостью и двинулись на губернскую столицу. По мере приближения к Тамбову к ним присоединялись тысячи крестьян. Большевиков охватила паника. Когда подошли подкрепления, повстанцев отбросили и развернули в деревнях кампанию террора. Несколько повстанческих опорных пунктов сожгли дотла, целые стада скота конфисковали, сотни крестьян казнили. Но это лишь раздуло пламя крестьянской войны. «Всё население в страхе ушло в лес и присоединилось к повстанцам, — сообщал один местный коммунист. — Даже прежде лояльные нам крестьяне больше ничего не могли потерять и бросили свой жребий вместе с восстанием». Из Кирсанова мятеж быстро распространился по всей южной половине Тамбовской губернии и захватил части соседних Саратовской, Воронежской и Пензенской губерний. На этом этапе руководство восстанием перешло к левому эсеру Александру Антонову, который к концу 1920 года развернул его в то, что сам Ленин позднее признавал величайшей угрозой, с которой когда-либо сталкивался его режим.[39]

Советская пропаганда изображала крестьян-повстанцев «кулаками». Однако факты, напротив, свидетельствуют, что это были общекрестьянские восстания. Повстанческие армии состояли в основном из обычных крестьян — об этом говорят и их сельскохозяйственные орудия: вилы, топоры, пики и мотыги, — хотя в их ряды вливались и дезертиры из армий Гражданской войны, нередко становившиеся руководителями. Накануне восстания в Тамбовской губернии насчитывалось 110 000 дезертиров, из них 60 000 — в лесистых районах вокруг Кирсанова. Многие повстанцы были нищими молодыми людьми, преимущественно моложе двадцати пяти лет. Крестьянскую армию Попова в Саратовской губернии описывали как

«одетую в лохмотья», хотя некоторые носили украденные костюмы. Отряды Оренбургской степи, по словам Бугурусланской партийной организации, состояли из:

> людей, совершенно выбитых из жизни нищетой и голодом. Кулаки помогают бандитам материально, но сами берутся за оружие крайне редко. Бандам очень легко находить сторонников. Лозунг «Бей коммунистов! Громи коллективные хозяйства!» чрезвычайно популярен среди самых отсталых и обездоленных слоёв крестьянства.

В условиях общего развала порядка к крестьянским армиям неизбежно примыкали и уголовные элементы — они грабили имущество и насиловали женщин; позднее это помогло большевикам расколоть союз повстанцев с местным населением.[40]

Сила повстанческих армий заключалась в тесной связи с деревней: именно она позволяла вести партизанскую войну, ставившую красных командиров в тупик. То, чему американцы позднее научились во Вьетнаме — что обычная армия, как бы хорошо она ни была вооружена, плохо приспособлена к борьбе с крестьянской армией, поддерживаемой населением, — русские поняли в 1921 году, а шестьдесят лет спустя вновь столкнулись с этим в Афганистане. Повстанческие армии строились по партизанскому принципу: каждая деревня отвечала за мобилизацию, питание и вооружение своих бойцов. В Тамбове и отдельных районах Западной Сибири эти функции выполняли СТК, тесно связанные с деревенскими общинами. В других местах — сами общины. Церковь и местные эсеры, особенно левое крыло партии, тоже помогали организовывать восстания в некоторых районах, хотя точная роль эсеровского руководства до сих пор остаётся не вполне ясной.[41]

Опираясь на поддержку населения, повстанческие армии были, по словам Антонова-Овсеенко, «почти неуловимы, необычайно невидимы и, можно сказать, вездесущи». Крестьянин мог в одну минуту превратиться в бойца, а боец — снова в крестьянина. Деревни становились ушами и глазами повстанческих армий — женщины, дети, даже нищие служили разведчиками, — и красные всюду рисковали попасть в засаду. Но стоило начать преследование, как повстанцы исчезали: либо растворялись среди местного населения, либо пересаживались на свежих лошадей, которых давали крестьяне и которые намного превосходили лошадей преследующих красных. Если

красные могли пройти тридцать миль в день, повстанцы — до ста. Прекрасное знание местности позволяло им передвигаться и нападать ночью. Такая исключительная подвижность с лихвой компенсировала отсутствие артиллерии. Они буквально кружили вокруг красных; командиры жаловались, что повстанцы «повсюду». Вместо открытых сражений мятежники держались отдалённых холмов и лесов, дожидаясь подходящего момента для внезапного удара, после чего вновь исчезали. Их стратегия была исключительно оборонительной: они не собирались идти на Москву — и большей частью даже не пытались захватывать местные города, — а стремились отрезаться от её влияния. Они взрывали мосты, валили телеграфные столбы и разбирали железнодорожные пути, парализуя красных. Против таких приёмов было трудно действовать, тем более что ни один красный командир прежде не сталкивался с чем-либо подобным. Первые небольшие части, посланные против повстанцев, почти все были разбиты — Тухачевский говорил, что «единственное их назначение состояло в том, чтобы вооружать мятежников», — и быстро деморализовались. Многие красноармейцы переходили к повстанцам.[42]

Цели и идеология восстаний были поразительно похожи и отражали общие стремления крестьянской революции по всей России и Украине. Все они требовали восстановления крестьянского самоуправления 1917–1918 годов. Чаще всего это выражалось лозунгом «Советская власть без коммунистов!» или его разновидностями. Та же мысль иногда принимала довольно путаную форму: «Да здравствует Ленин! Долой Троцкого!» или «Да здравствуют большевики! Смерть коммунистам!» Многие крестьяне искренне полагали, что большевики и коммунисты — две разные партии: смена названия партии в феврале 1918 года ещё не дошла до дальних деревень. Крестьяне верили, что «Ленин» и «большевики» дали им мир, позволили захватить помещичью землю, свободно продавать продукты на рынке и управлять местными общинами через собственные выборные Советы. Напротив, «Троцкий» и «коммунисты», по их представлению, принесли Гражданскую войну, отняли помещичьи земли и отдали их коллективным хозяйствам, уничтожили свободную торговлю реквизициями и узурпировали местные Советы.

Используя лозунг Советской власти, крестьянские повстанцы, несомненно, стремились придать своему протесту «законную» форму. Иногда они даже называли свои повстанческие органы «Советами». Но их приверженность демократическому идеалу революции от этого не становилась менее искренней. Все крестьянские движения были враждебны белым — и показательно, что по-настоящему массовыми они стали лишь после разгрома белых. Многие повстанческие вожди — Махно, Сапожков, Миронов, Серов, Вахулин, Маслаков, Колесов и другие — прежде воевали в Красной армии против белых и нередко отличились. Другие служили в советских органах. Антонов до лета 1918 года был начальником советской милиции Кирсановского уезда, пока, как и другие левые эсеры, не порвал с большевиками и не превратил уезд в оплот восстания. Сапожков, возглавивший летом 1920 года крестьянскую повстанческую армию в Новоузенском уезде Самарской губернии, прежде был председателем Новоузенского Совета, героем его обороны от казаков и руководителем большевистского подполья в Самаре против Комуча. Пятаков, руководитель крестьянских повстанцев в соседней Саратовской губернии, был советским продовольственным комиссаром. Воронович, один из руководителей восстания на Кавказе, в 1917 году возглавлял Лужский Совет и даже участвовал в обороне Петрограда от Корнилова.[43]

Крестьяне нередко называли свои восстания «революцией» — именно ею они и хотели их сделать. Как в 1917 году, огромная волна крестьянского гнева и разрушения сметала большую часть сельской государственной инфраструктуры. Это была жестокая война мести коммунистическому режиму. Тысячи большевиков были зверски убиты. Многие стали жертвами чудовищных — и символических — пыток: им отрезали уши, языки и выкалывали глаза; отсекали конечности, головы и половые органы; распарывали животы и набивали их зерном; выжигали кресты на лбу и теле; коммунистов прибивали к деревьям, сжигали заживо, топили подо льдом, закапывали по шею и отдавали собакам или крысам на глазах у крестьянской толпы. Партийные и советские учреждения громили. Полицейские участки и сельские суды сжигали. Советские школы и пропагандистские центры разоряли. Что касается коллективных хозяйств, подавляющее большинство их было уничтожено, а инвентарь и скот распределены между местными

крестьянами. То же происходило с советскими хлебозаготовительными пунктами, мельницами, винокуренными и пивоваренными заводами, хлебными лавками. Стоило повстанцам овладеть таким объектом, как вслед за ними приходили «огромные толпы крестьян», постепенно растаскивая реквизированный хлеб и увозя его обратно в деревни. Такое возвращение «народной собственности» — по сути новое «грабь награбленное» — помогало повстанческим армиям укреплять поддержку населения. Но далеко не все повстанцы были Робин Гудами. Обычный бандитизм тоже играл роль. Почти все повстанческие армии останавливали и грабили поезда. В Донбассе весной 1921 года подобные нападения, как сообщалось, происходили «почти ежедневно». Другим обычным источником снабжения были налёты на местные города, а иногда и на крестьянские хозяйства. Внешний вид этих армий, тянувших за собой огромные стада украденного скота и длинные обозы с военным имуществом, бочками спиртного и мешками зерна, должно быть, представлял яркое зрелище. Партизаны Антонова унесли из Князевки Сердобского уезда всё содержимое театральной костюмерной и реквизиторской — вместе с волшебными фонарями, манекенами и турнюрами. Один очевидец так описывал армию Попова в волжском Хвалынске: длинная вереница пулемётных тачанок, каждая запряжена шестью лошадьми,

> тачанки были забрызганы кровью, а лошади украшены яркими лентами и тканью. На десяти тачанках стояли граммофоны, на других везли бочки с пивом и водкой. Весь день бандиты пели и плясали под музыку, и город был наполнен невообразимым грохотом.[44]

К марту 1921 года Советская власть на значительной части сельской территории практически перестала существовать. Губернские большевистские организации слали в Москву отчаянные телеграммы: они бессильны перед повстанцами и требуют немедленных подкреплений. В повстанческих районах почти прекратилась отправка хлеба в города. По мере обострения городского продовольственного кризиса и роста забастовок становилось ясно: большевики столкнулись с революционной ситуацией. Ленин впал в панику и ежедневно засыпал местных красных командиров яростными требованиями как можно быстрее подавить восстания любыми средствами. «Мы едва держимся», — признал он в марте. Крестьянские войны, сказал он на открытии X

съезда партии 8 марта, были «намного опаснее всех Деникиных, Юденичей и Колчаков вместе взятых».[45] Вместе с забастовками и Кронштадтским мятежом они заставили этот съезд окончательно отказаться от ненавистной политики военного коммунизма и восстановить свободную торговлю в рамках НЭПа. Это была отчаянная попытка остановить волну народной революции. Победив белых, которых поддерживали не менее восьми западных держав, большевики капитулировали перед крестьянством.

* * *

Волна рабочих забастовок, прокатившаяся по России в феврале 1921 года, была не менее революционной, чем крестьянские восстания. Учитывая наказания, которые ожидали забастовщиков — немедленное увольнение, арест, тюрьма, даже расстрел, — объявить забастовку в 1921 году было актом мужества и неповиновения. Если прежние стачки служили средством давления на власть, то стачки 1921 года стали последней отчаянной попыткой свергнуть её.

«Рабочим нечего терять, кроме своих цепей!» — никогда ещё формула Маркса не звучала столь буквально. Милитаризованная фабрика закрепостила рабочий класс. Не имея достаточного количества продовольствия, чтобы стимулировать труд, большевики полагались исключительно на принуждение. Рабочих лишали и без того скудного пайка, сажали в тюрьму и даже расстреливали, если предприятие не выполняло установленную норму. Из-за плохого урожая и растущего нежелания крестьян отдавать хлеб запасы в городах зимой 1920–1921 годов сократились до опасного уровня. Сильные снегопады нарушили транспорт и ещё ухудшили положение. 22 января в нескольких промышленных центрах, включая Москву и Петроград, хлебный паёк сократили на треть. Даже наиболее привилегированные рабочие получали лишь около 1 000 калорий в день. Сотни заводов по всей стране закрывались из-за отсутствия топлива. Меньшевик Фёдор Дан видел на улицах Петрограда голодных рабочих и солдат, просивших еду. Женщины стояли в очереди за буханкой хлеба всю ночь.[46] Всё напоминало канун Февральской революции.

Первой взорвалась Москва. На многочисленных рабочих собраниях требовали отменить привилегии коммунистов, восстановить свободную

торговлю и свободу передвижения — то есть право ездить в деревню и обмениваться товарами с крестьянами, — гражданские свободы и Учредительное собрание. На фабриках вывешивали белые флаги — традиционный знак рабочего протеста. Во главе движения стояли московские печатники: они уже организовывали подобный протест в мае 1920 года, а в их профсоюзе были сильны меньшевики и эсеры. Но недовольство было настолько общим, что движение почти не нуждалось во внешнем подстрекательстве. Большевики посылали на предприятия агитаторов, пытаясь разрядить обстановку; их встречали свистом и выкриками. По одному — хотя и сомнительному — сообщению, сам Ленин выступил на шумном собрании металлистов и спросил слушателей, обвинявших его в разорении страны, не предпочли бы они белых. В ответ раздалось: «Пусть придёт кто угодно — белые, чёрные или сам чёрт, — только вы убирайтесь». К 21 февраля бастовали тысячи рабочих. Огромные демонстрации прошли по Хамовникам; когда попытки разогнать толпу не помогли, ввели войска. Но, как в феврале 1917-го, солдаты отказались стрелять, и пришлось вызвать специальные коммунистические части — ЧОН, которые убили нескольких рабочих. На следующий день на улицы вышли ещё большие толпы. Они двинулись к Хамовническим казармам, пытаясь поднять солдат; но тех уже заперли внутри, а коммунистические части вновь разогнали демонстрантов силой. 23 февраля, когда по улицам прошли около 10 000 рабочих, в столице ввели военное положение.[47]

Тем временем забастовки перекинулись на Петроград. 22 февраля на многочисленных предприятиях состоялись протестные митинги. Как и в Москве, рабочие требовали отмены привилегированных пайков для коммунистов, восстановления свободной торговли и передвижения, а под влиянием меньшевиков и эсеров — свободных перевыборов Советов и созыва Учредительного собрания. В следующие три дня бастовали уже тысячи. К движению присоединились все крупнейшие металлургические заводы — Путиловский, Трубочный, Балтийский и Обуховский, — а также большинство доков и верфей. Это была почти всеобщая забастовка. На Невском проспекте и Васильевском острове происходили столкновения между бастующими и войсками. Часть солдат открыла огонь, убив и ранив по меньшей мере тридцать человек, но несколько тысяч военнослужащих, включая Измайловский и

Финляндский полки, перешли на сторону толпы. Даже матросы «Авроры», этого плавучего символа большевистской власти, стоявшей в городе на зимнем ремонте, сошли на берег и примкнули к демонстрациям.

Не нужно было быть гением, чтобы понять: ситуация точь-в-точь повторяет ту, которая ровно четыре года назад вызвала мятеж Петроградского гарнизона и падение царского режима. Большевики смертельно боялись нового военного мятежа и делали всё, чтобы удержать солдат в казармах. У них даже забрали сапоги — якобы для замены новыми, — чтобы солдаты не могли выйти. 25 февраля в городе ввели военное положение. Вся власть была передана специальному Комитету обороны во главе с Зиновьевым. Партийный вождь, склонный впадать в панику в подобных обстоятельствах, обратился к рабочим с истерическим призывом вернуться к станкам, пообещав улучшить их экономическое положение. Одновременно ЧК арестовывала сотни бастующих — вместе с большинством ведущих городских меньшевиков и эсеров, — а тысячи других не допускались на предприятия и тем самым лишались пайков. Всё это, разумеется, лишь усиливало стачки. Рабочие теперь открыто требовали свержения большевистского режима. 27 февраля, в четвёртую годовщину революции, на улицах появилось воззвание. Это был призыв к новой революции:

> Прежде всего рабочим и крестьянам нужна свобода. Они не хотят жить по декретам большевиков. Они хотят сами распоряжаться своей судьбой.
>
> Мы требуем освобождения всех арестованных социалистов и беспартийных трудящихся; отмены военного положения; свободы слова, печати и собраний для всех трудящихся; свободных выборов фабрично-заводских комитетов, профсоюзов и Советов.
>
> Созывайте собрания, принимайте резолюции, посылайте делегатов к властям, добивайтесь осуществления своих требований.[48]

В тот же день восстание перекинулось через Финский залив на военно-морскую базу Кронштадта — настоящая революция стала ещё на шаг ближе. В 1917 году Троцкий называл кронштадтских матросов

«гордостью и славой русской революции».[144] Они первыми потребовали власти Советов и сыграли ключевую роль в Октябре. Но Кронштадт всегда оставался беспокойным бастионом революционного максимализма. Его матросы были не менее анархистами, чем большевиками. В действительности им хотелось независимой Кронштадтской Советской республики — своего рода островной версии Парижской коммуны, — а не централизованного государства. До лета 1918 года Кронштадтским Советом управляла широкая коалиция всех крайне левых партий. Его исполнительный комитет выбирали по способностям, а не по партийной принадлежности, и он строго отчитывался перед выборными Советами — или «трудовыми коллективами» — военно-морской базы. Такая демократия была для большевиков невыносима. Они очистили Совет от всех остальных партий и превратили его в бюрократический орган своего государства. Матросы вскоре разочаровались. Хотя в октябре 1919 года они сражались за красных при обороне Петрограда, делали это лишь для разгрома белых, которых считали ещё большим злом. Когда Гражданская война закончилась, гнев моряков обратился против красных. Они осуждали политику в отношении крестьянства. Многие кронштадтские матросы происходили из деревни — особенно много было украинцев и тамбовцев — и были потрясены тем, что видели дома во время отпусков. «У нас обычное крестьянское хозяйство, — писал один член экипажа „Петропавловска“ в ноябре 1920 года, узнав, что у семьи реквизировали корову, — но когда я и брат вернёмся домой после службы Советской республике, люди будут смеяться над нашим разорённым хозяйством и спрашивать: „За что вы служили? Что дала вам Советская республика?“» Феодальный образ жизни коммунистических начальников был ещё одним источником растущего раздражения и у матросов, и у рядовых партийцев. Раскольников, большевистский руководитель Кронштадта в 1917 году, вернулся на базу в 1920-м как новоназначенный главнокомандующий Балтийским флотом и жил там как барин со своей изящной женой, большевистским комиссаром Ларисой Рейснер: банкеты, служебные автомобили, прислуга. Для Рейснер даже реквизировали у аристократии целый

[144] Выражение первоначально употребляла либеральная печать в отношении Керенского в 1917 году.

гардероб платьев. Во второй половине 1920 года половина кронштадтских большевиков настолько разочаровалась, что порвала партийные билеты.[49]

Когда до Кронштадта дошли новости о петроградских стачках, матросы направили в город делегацию. Вернувшись 28 февраля, делегаты доложили о происходящем, и команда «Петропавловска», прежде бывшая большевистским оплотом, подняла собственное знамя восстания. В принятом воззвании требовались свободные выборы Советов; свобода слова, печати и собраний — правда, только для рабочих и крестьян, левых партий и профсоюзов; «равный паёк для всех трудящихся» и «свобода крестьянам трудиться на земле по своему усмотрению», если они не используют наёмный труд. Если рабочие резолюции призывали созвать Учредительное собрание, матросы оставались его противниками. Именно группа кронштадтских анархистских матросов силой разогнала Учредительное собрание в январе 1918 года. Их программа оставалась строго советской: они хотели восстановить свой многопартийный Совет 1918 года. Более того, в отличие от крестьянских повстанцев с лозунгом «Советы без коммунистов!», они готовы были допустить в эту коалицию даже большевиков — при условии, что те признают принципы советской демократии и откажутся от диктатуры. Этим отчасти объясняется, почему — единственный случай среди восстаний 1921 года — более половины рядовых кронштадтских большевиков присоединились к мятежу.

Смущённые потерей бывшего оплота, большевики пытались утверждать, будто повстанцы Кронштадта уже не те, что в 1917 году: лучшие пролетарские матросы погибли в Гражданской войне, а вместо них пришли «крестьянские парни в матросской форме», принесшие из деревни «анархистские» и «мелкобуржуазные» настроения. Но, как показал Израэль Гетцлер, на деле это был случай, когда большевиков покинули их собственные любимые сыновья. Кронштадтские повстанцы 1921 года были по существу теми же людьми, что и в 1917-м. Большинство руководителей восстания были ветеранами Кронштадтского флота. Некоторые, например эсер-максималист Анатолий Ламанов, главный идеолог мятежа, являлись заметными членами Кронштадтского Совета в 1917–1918 годах. На двух главных

кораблях восстания — «Петропавловске» и «Севастополе» — 94 процента экипажа были набраны до 1918 года.[50] И по составу, и по идеологии мятеж означал возвращение к революционным дням 1917-го.

1 марта революционный гнев и возбуждение выплеснулись на улицы. Массовый митинг на Якорной площади, собравший 15 000 человек — почти треть населения Кронштадта, — принял резолюцию о перевыборах Совета. Калинина, присланного успокоить матросов, встретили грубыми выкриками, а Кузьмина, большевистского комиссара флота, освистали. На следующий день 300 делегатов от различных кораблей и верфей собрались избирать новый Совет. Восставшие большевики составляли значительное меньшинство. Услышав слухи, будто коммунистические караулы готовятся штурмовать собрание, делегаты вместо этого избрали пятичленный Революционный комитет, который спешно занялся обороной острова. Вернулся старый дух революционной импровизации.

Слухи оказались ложными, но большевики в Петрограде действительно готовились подавить мятеж. Ждать, пока он сам иссякнет, они не могли. Им уже вдохновлялись выступления в других городах — Казани, Нижнем Новгороде и других. Кроме того, лёд Финского залива вскоре должен был вскрыться, и тогда крепость вместе с освобождённым ото льда флотом стала бы почти неприступной. 2 марта военное положение ввели во всей Петроградской губернии. На побережье напротив Кронштадта сосредотачивали войска и артиллерию. Как при обороне Петрограда от белых, Троцкого направили в старую столицу руководить операцией. Он прибыл 5 марта и потребовал немедленной капитуляции. В ультиматуме, который мог бы издать губернский губернатор XIX века восставшим крестьянам, Троцкий предупредил: если через двадцать четыре часа они не сдадутся, их «перестреляет как куропаток». По его приказу семьи матросов в Петрограде арестовали как заложников. Когда начальник Петроградской ЧК настаивал, что восстание «стихийное», Троцкий телеграфировал в Москву с требованием его уволить.[51]

Штурм начался 7 марта. Целый день тяжёлая большевистская артиллерия обстреливала крепость с северо-западного берега. Это был Международный женский день, и среди грохота разрывающихся снарядов кронштадтское радио передавало поздравления женщинам

всего мира. Глухой гул тяжёлых орудий слышал Александр Беркман на Невском проспекте, за двадцать миль. Американский анархист, чья вера в революцию внезапно ожила благодаря восстанию, записал в дневнике в шесть вечера: «Кронштадт атакован! Дни мучения и канонады. Сердце онемело от отчаяния; что-то во мне умерло». Обстрел должен был «размягчить» крепость перед атакой по льду. Войскам предстояло пробежать почти пять миль открытого ледяного пространства под огнём кораблей и фортов Кронштадта. Настроение призывников было понятным образом крайне низким, и Тухачевскому, назначенному командующим операцией, пришлось разместить внутри частей специальные коммунистические подразделения, а за спинами — пулемёты ЧК, чтобы солдаты не разбежались. Наступление началось ранним утром следующего дня. Метель дала некоторое укрытие, передовым бойцам даже выдали белые простыни. Но штурм закончился катастрофой. Тяжёлые орудия восставших пробивали во льду каналы воды, куда, ослеплённые метелью, падали и тонули многие атакующие. Пулемёты внешних фортов выкосили две тысячи человек. Когда метель рассеялась, огромное ледяное пространство оказалось усеяно трупами.[52]

Тем временем среди боёв мятежники начали осуществлять свою «революцию». Это была республика под огнём. За восемнадцать лихорадочных дней своего существования — с 1 по 18 марта — Кронштадтский революционный комитет демонтировал коммунистический аппарат, организовал перевыборы профсоюзов и подготовил выборы нового Совета. 8 марта собственные «Известия» комитета опубликовали заявление «За что мы боремся». Это был сильный документ протеста, суммировавший для матросов — а по существу и для всего русского народа — то, что пошло не так с революцией:

> Совершая Октябрьскую революцию, рабочий класс надеялся добиться своего освобождения. Но результатом стало ещё большее порабощение человека. Власть монархии с её полицией и жандармерией перешла в руки коммунистических узурпаторов, которые дали народу не свободу, а постоянный страх перед пытками ЧК, ужасы которых далеко превосходят царскую жандармерию… Славная эмблема государства трудящихся — серп и молот — фактически заменена коммунистами штыком и зарешеченным окном, с помощью которых они охраняют спокойную и беззаботную жизнь новой бюрократии,

> коммунистических комиссаров и чиновников. Но хуже и преступнее всего нравственное рабство, которое также ввели коммунисты: они наложили руку на внутренний мир трудового народа, заставляя его мыслить так, как им угодно. Государственным контролем над профсоюзами они приковали рабочих к станкам, так что труд перестал быть источником радости и превратился в новую форму рабства. На протесты крестьян, выраженные стихийными восстаниями, и рабочих, которых условия жизни вынудили бастовать, они ответили массовыми казнями и кровопусканием, превосходящим даже царских генералов. Россия трудящихся, первой поднявшая красное знамя освобождения, залита кровью.[53]

В такой обстановке 8 марта в Москве открылся X съезд партии. Перед руководством стояли две критические задачи: разгром Рабочей оппозиции — и в меньшей степени демократических централистов — с их двумя диссидентскими резолюциями о профсоюзах и партийной демократии; и выход из революционного кризиса, охватившего страну.

Ленин, как всегда в подобных ситуациях, был в ярости. Ради поражения Рабочей оппозиции он был готов на всё. Коллонтай стала мишенью личных нападок. Ленин отказывался с ней разговаривать и грозил тем, кто общался с ней. Во время дебатов он использовал то, что Шляпников и Коллонтай когда-то были любовниками, чтобы высмеять их доводы о пролетарской солидарности. «Ну, слава Богу, — сказал он под общий смех, — мы знаем, что товарищ Коллонтай и товарищ Шляпников — “единый класс”». К язвительному сарказму Ленин добавил клевету, объявив Рабочую оппозицию «синдикалистским уклоном» и обвинив её в общности идеалов с Кронштадтским мятежом и рабочими забастовками. Это, разумеется, было неправдой: если протестующие требовали свержения большевистской диктатуры, то Рабочая оппозиция хотела лишь реформировать её. Но стереть различия было легче, чем сохранить. В атмосфере истерической паники — которую Ленин сам разжигал на съезде постоянными предупреждениями, будто Советская власть может рухнуть в любую минуту, — делегаты слишком боялись оспаривать его обвинения. Они приняли демагогическую линию: в такой момент нужна жёсткая партийная сплочённость, а терпимость к оппозиционным группам только помогает врагу. Даже без этого ленинская позиция по профсоюзам, вероятно, получила бы значительное большинство.

«Платформа десяти», как её называли, предлагала удобный компромисс между сверхцентрализмом Троцкого и «синдикализмом» Рабочей оппозиции: фактически восстанавливалось решение IX съезда, по которому государство продолжало управлять промышленностью через единоначалие, консультируясь с профсоюзами при назначении руководителей. Но ленинская тактика гарантировала победу. Две его резолюции, осуждавшие Рабочую оппозицию, получили подавляющее большинство: против проголосовали не более тридцати из 694 делегатов.[54]

Ленин закрепил победу одним из самых роковых решений в истории Коммунистической партии — запретом фракций. Секретная резолюция, принятая съездом 16 марта, запрещала создание любых партийных группировок, независимых от Центрального Комитета. Двумя третями голосов ЦК и Центральной контрольной комиссии такую фракцию можно было исключить из партии. Ленин предложил запрет в минуту мстительного гнева против Рабочей оппозиции. Съезд, явно утомлённый фракционными распрями последних месяцев и в условиях кризиса слишком готовый сплотиться вокруг лидера против его противников, легко согласился. Ни Ленин, ни рядовые члены тогда полностью не осознали возможного значения запрета. Отныне Центральный Комитет должен был править партией столь же диктаторски, как партия правила страной; оспаривать его решения означало рисковать обвинением во фракционности. Возвышение Сталина стало одним из результатов запрета. Против Троцкого и Бухарина он применит те же методы, которые Ленин использовал против Рабочей оппозиции. Собственно, главным образом для проведения запрета и чистки Рабочей оппозиции Ленин в апреле 1922 года создал должность Генерального секретаря партии, первым «генсеком» стал Сталин. К XII съезду 1923 года чистка завершилась — как и возвышение Сталина в Центральном Комитете. Шляпникова и Коллонтай, избавив от унижения исключения, отправили в дипломатическую ссылку: первого в Париж, вторую в Стокгольм. Сторонников Рабочей оппозиции снимали с партийных и профсоюзных постов. Большинство подвергалось преследованиям, некоторых посадили, а почти всех позднее расстреляли во время сталинского террора. Шляпников был убит в 1937 году.

Не менее историческим, чем запрет фракций, стало второе решение X съезда — замена продразвёрстки продовольственным налогом. Так был отброшен центральный принцип военного коммунизма и заложена основа НЭПа: после уплаты налога крестьянин мог распоряжаться остальным излишком по своему усмотрению, включая продажу на свободном рынке. Это была явная попытка стимулировать производство. Общая тяжесть налога была на 45 процентов ниже развёрстки 1920 года — позднее его сократили до стандартных 10 процентов урожая; крестьянам, увеличивавшим посевы и производительность, давали налоговые льготы; каждый крестьянин лично отвечал за свою долю налога, что отменяло коллективную ответственность общины; создавался специальный фонд потребительских товаров и сельскохозяйственных орудий для обмена с наиболее производительными крестьянами. Похоже, Ленин двигался к этой «новой сделке» с крестьянством уже несколько недель. Доклад о восстании Антонова, сделанный Бухариным Политбюро 2 февраля после поездки в Тамбов, ясно показывал: продолжать реквизиции невозможно из-за силы крестьянского сопротивления там и в других губерниях. Нет сомнений, что момент введения продналога определялся срочной необходимостью успокоить крестьянские войны, которых Ленин боялся больше белых.[55]

Опасаясь, что делегаты объявят налог возвращением к капитализму, Ленин постарался ограничить обсуждение, отложив внесение резолюции до 15 марта, предпоследнего дня съезда, когда многие делегаты уже уехали на Кронштадтский фронт. Собственная лекция Ленина о НЭПе заняла почти всё заседание и оставила другим минимум времени. Он подчёркивал: продналог необходим, чтобы подавить крестьянские восстания и построить новую смычку с крестьянством — теперь на основе рынка. Советская власть не может выжить без такого союза, потому что неудача революции на Западе оставила пролетариат без других союзников. Политика Гражданской войны была утопической мечтой — социализм невозможно создать административным указом, — и в такой отсталой крестьянской стране, как Россия, не существует другого способа восстановить хозяйство после разорения последних лет, не говоря уже о накоплении капитала для социалистического преобразования страны, кроме рынка. Ленин отмахивался от опасений,

будто восстановление частной торговли вернёт капитализм: рынок предполагалось социализировать. Капиталистические классы России, включая «кулаков», уже уничтожены революцией. Пока государство держит «командные высоты» — банки, тяжёлую промышленность, транспорт и внешнюю торговлю, — оно сможет регулировать рынок и налоговым давлением направлять мелких хозяев к кооперативам и коллективным хозяйствам. Тактика Ленина сработала. Его речь длилась почти три часа; когда он закончил, большинство делегатов были либо слишком утомлены, либо слишком запуганы для серьёзной теоретической дискуссии. По другим вопросам выступало до 250 человек, а по продналогу — всего четверо, кроме самого Ленина. Всех их отобрал президиум, каждому строго отвели десять минут, и никто не высказал серьёзных возражений. Ни Троцкий, ни Бухарин не пожелали выступить, хотя до этого придерживались противоположной политики и в остальных заседаниях съезда вдвоём выступали не менее четырнадцати раз. Даже Шляпников, позднее осудивший налог как отступление перед крестьянством, после разгрома последних дней странным образом молчал.[56] Определяющая политика 1920-х годов была принята практически без обсуждения. Наступила эпоха постановочных партийных съездов.

Тем временем большевики сосредоточились на подавлении народных восстаний. 10 марта 300 делегатов X съезда добровольно отправились на Кронштадтский фронт, выслушав мрачный доклад Троцкого. Стремясь доказать верность, члены Рабочей оппозиции оказались среди первых добровольцев. На следующий день они прибыли в Петроград и принесли войскам известие о грядущем продналоге, чтобы поднять моральный дух. К этому времени петроградские забастовки уже выдохлись: аресты и уступки — в том числе обещание Зиновьева ещё 27 февраля, что свободная торговля вскоре будет восстановлена, — оказались достаточны, чтобы сломить их. Московские стачки завершились так же. 16 марта начался последний штурм Кронштадтской крепости. После нескольких дней тяжёлого артиллерийского обстрела с берега и бомбардировок с воздуха 50 000 отборных бойцов в тёмные предутренние часы двинулись по льду. Бой продолжался восемнадцать часов. К полуночи 17 марта восстание было подавлено, большинство матросов сдалось. Погибли более 10 000

красных, в том числе пятнадцать делегатов X съезда, участвовавших в атаке. После боя правительство в Гельсингфорсе попросило Москву убрать все трупы, чтобы после оттепели их не вынесло к финскому берегу и они не создали угрозу здоровью населения.

На следующее утро сотни пленных кронштадтцев вели через Петроград в тюрьму. Ближе к центру они увидели рабочих, несущих на спинах мешки картофеля. «Предатели! — кричали матросы. — Вы продали наши жизни за коммунистическую картошку. Завтра вам дадут наше мясо к вашей картошке». В ту же ночь по приказу Зиновьева около 500 мятежников расстреляли без суда. Штатные палачи отказались, и тогда стрелять матросов заставили бригаду подростков-комсомольцев. Некоторым повстанцам удалось добраться до квартиры Горького и рассказать о казнях. Горький был возмущён — как и многие социалисты, он с самого начала сочувствовал восстанию — и немедленно позвонил Ленину. Ленин приказал Зиновьеву объяснить свои действия на партийном собрании в квартире Горького. Но на собрании у Зиновьева внезапно случился сердечный приступ — Горький позднее утверждал, что он был разыгран, — и в итоге его лишь слегка пожурили за поступок, который Ленин, вероятно, и сам одобрял. В последующие месяцы казнили ещё около 2 000 повстанцев, почти всех без суда; сотни других по распоряжению Ленина отправили на Соловки — первый крупный советский концентрационный лагерь на острове в Белом море, где они умирали медленнее от голода, болезней и истощения. Около 8 000 кронштадтцев ушли по льду в Финляндию, где были интернированы и направлены на общественные работы. Некоторых позднее заманили обратно обещанием амнистии — только затем расстреляли или отправили в лагеря.[57]

Подавление Кронштадтского восстания потрясло социалистов всего мира. Более убедительного доказательства превращения большевиков в тиранов быть не могло. Александр Беркман, у которого «оборвалась последняя нить веры в большевиков», в отчаянии бродил по улицам Петрограда — города, где революция родилась и где теперь умерла. 18 марта он записал в дневнике с горькой иронией: «Победители празднуют годовщину Коммуны 1871 года. Троцкий и Зиновьев осуждают Тьера и Галифе за расправу над парижскими повстанцами».[58]

Военная сила и беспощадный террор стали ключом и к подавлению крупнейших крестьянских восстаний, хотя в некоторых районах — например, на Волге — дело за большевиков сделали голод и истощение. Перелом наступил в начале лета, когда они изменили военную стратегию: вместо небольших отрядов, посылавшихся против повстанцев, районы восстаний теперь заливали войсками, разворачивая массовый террор против поддерживавших мятежников деревень и одновременно пытаясь оторвать от них остальные пропагандой. Впервые новую стратегию применили в Тамбовской губернии, куда в апреле, после Кронштадта, направили Тухачевского для подавления Антоновского восстания. К пику операции в июне повстанческие районы оккупировала группировка свыше 100 000 человек — главным образом отборные части коммунистических сил безопасности и комсомола, — с несколькими сотнями тяжёлых орудий и броневиков. Самолёты отслеживали передвижение отрядов, бомбили их базы и сбрасывали листовки. Для того чтобы «выкуривать банды из лесов», применяли и отравляющий газ. Через платных осведомителей выявляли повстанцев и их семьи, брали их заложниками и заключали в специально устроенные концентрационные лагеря: к концу июня в тамбовских лагерях находилось 50 000 крестьян, включая более тысячи детей. Целые деревни нередко интернировали, а затем расстреливали или высылали за Полярный круг, если повстанцы не сдавались. Иногда мятежные деревни просто сжигали дотла. Только в одной волости Тамбовского уезда — причём далеко не самой известной как повстанческий оплот — расстреляли 154 крестьянина, 227 семей взяли заложниками, 17 домов сожгли и 46 разрушили либо передали осведомителям. В целом, по оценкам, во время подавления восстания около 100 000 человек были заключены или депортированы и 15 000 расстреляны.[59]

К большой дубинке добавили маленький пряник, чтобы склонить крестьян отказаться от поддержки повстанцев. Деревни, принимавшие резолюции с осуждением «бандитов», получали из специального фонда соль и промышленные товары. Большевики рассчитывали, что повстанцы, узнав о таких резолюциях, расправятся с «предавшими» деревнями, тем самым вбивая клин между ними и подрывая свою социальную базу. Объявили и амнистию, хотя почти всех повстанцев,

достаточно доверчивых, чтобы сдаться — около 6 000 человек, — затем посадили или расстреляли. Наконец, развернули пропаганду благ НЭПа, хотя её весьма сомнительная эффективность никак не оправдывает позднейших большевистских заявлений. Многие крестьяне, даже в Московской области, вообще не слышали о продналоге, а большинство слышавших, как признавал тогда Тухачевский, «совершенно не склонны верить в искренность декрета».[60]

К концу лета 1921 года, когда значительную часть деревни поразил голод, большинство крестьянских восстаний в военном смысле было разгромлено. Армия Антонова была уничтожена в июне, хотя сам он спасся и ещё год с небольшими партизанскими группами осложнял жизнь Советской власти в тамбовской деревне, пока летом следующего года ЧК наконец не выследила и не убила его. В Западной Сибири, на Дону и Кубани к концу июля были уничтожены все, кроме самых мелких крестьянских отрядов, хотя сопротивление Советской власти в меньшем масштабе — и в более пассивных формах — продолжалось до 1923 года. Махно прекратил борьбу в августе 1921-го и с последними сторонниками ушёл в Румынию, хотя его бывшие опорные районы на юго-востоке Украины ещё несколько лет оставались беспокойными. Для многих украинцев Махно сохранился народным героем — песни о нём пели на свадьбах и вечеринках даже в 1950-х, — для других превратился в пугало. «Спи, а то батько Махно придёт», — говорили советские матери детям.[61]

Вместе с повстанцами подавили меньшевиков и эсеров. Большевистская пропаганда исходила из аксиомы, будто крестьянские восстания и рабочие забастовки организованы этими партиями. Они действительно сочувствовали протестам и в некоторых случаях помогали им. Но важнее было другое: по мере обвала популярности большевиков росла популярность эсеров и меньшевиков, и они становились угрозой режиму. Заявляя, что именно эсеры и меньшевики организовали выступления 1921 года, большевики одновременно получали предлог уничтожить последних политических соперников и объяснение протестов, отрицавшее их народную основу. Аресты около 5 000 «контрреволюционных» меньшевиков в 1921 году и гротескный показательный процесс над руководителями эсеров в следующем году, на котором фактически вся партия была осуждена как «враги народа»,[62]

стали последними отчаянными попытками большевиков приписать народную легитимность своей обанкротившейся революции.

* * *

Новая экономическая политика первоначально задумывалась как временное отступление. «Мы делаем экономические уступки, чтобы избежать политических», — заявил Бухарин Коминтерну в июле. «НЭП — лишь временное отклонение, тактическое отступление, расчистка поля для нового решительного наступления труда на фронт международного капитализма», — добавил Зиновьев в декабре. Ленин также видел её в этих категориях. НЭП был «крестьянским Брест-Литовском»: один шаг назад, чтобы сделать два вперёд. Но, в отличие от многих других партийных руководителей, Ленин понимал, что период отступления может продлиться настолько долго — он туманно говорил «не менее десяти лет, а вероятно и дольше», — что станет уже не просто тактическим манёвром, а полной перестройкой революции. НЭП, напоминал он партии в мае, должен проводиться «“всерьёз и надолго” — это необходимо твёрдо усвоить и хорошенько запомнить, потому что распространяются слухи, будто эта политика лишь в кавычках, то есть политическая уловка, предпринимаемая только на время. Это неправда».[63]

По мысли Ленина, НЭП был больше, чем временная уступка рынку ради восстановления страны. Это была фундаментальная, хотя и плохо оформленная попытка заново определить роль социализма в отсталой крестьянской стране, где — во многом из-за переворота собственной партии в 1917 году — «буржуазная революция» не была завершена. Лишь «в странах развитого капитализма», говорил Ленин X съезду, возможен «непосредственный переход к социализму». Советской России предстояло «строить коммунизм буржуазными руками», основывая социализм на рынке. Конечно, Ленин оставался полон сомнений: временами он опасался, что режим утонет в море мелкого крестьянского капитализма. Но в основном он видел в рынке — регулируемом государством и постепенно социализируемом через кооперацию — единственный путь к социализму. До сих пор большевики жили по принципу «чем меньше рынка, тем больше

социализма»; Ленин приближался к формуле «чем больше рынка, тем больше социализма».[64]

Но, как леопард не может легко избавиться от пятен, большевики не могли просто стереть врождённое недоверие к частной торговле. Даже Бухарин, позднее главный защитник НЭПа, по-настоящему принял её лишь постепенно в 1921–1923 годах. Особенно многие рядовые большевики воспринимали расцвет частной торговли как предательство революции. То, что ещё несколько месяцев назад считалось преступлением против революции, теперь одобряли и поощряли. А открыв двери рынку, было трудно остановить поток частной торговли, почти неизбежный после четырёх лет дефицита. К 1921 году всё население ходило в залатанной одежде и обуви, готовило в сломанной посуде и пило из треснувших чашек. Всем требовалось что-нибудь новое. На улицах ставили лотки, где продавали и обменивали домашние вещи, почти как это происходит сегодня во многих российских городах; расцветали барахолки; «мешочничество» между городом и деревней вновь стало массовым явлением. Новые законы 1921–1922 годов разрешили частные кафе, магазины и рестораны, ночные клубы и…



96–97. Народ отвергает большевиков. Вверху: части Красной армии штурмуют восставшую Кронштадтскую военно-морскую базу, 16 марта 1921 года. Внизу: крестьянские повстанцы («зелёные») атакуют поезд с реквизированным зерном, февраль 1921 года.







98–100. Голод 1921–1922 годов. Вверху: большевистские комиссары осматривают последствия неурожая в Поволжье, 1921 год. Кризис во многом был следствием чрезмерных большевистских реквизиций. Внизу: жертвы кризиса — переполненное кладбище в Бузулукском уезде, 1921 год. На следующей странице: каннибалы со своими жертвами, Самарская губерния, 1921 год.







101–103. Сироты революции. Вверху: беспризорники в Саратове ищут остатки еды на свалке, 1921 год. На следующей странице вверху: сироты были удобным объектом политического воспитания. Этот мальчик, выступающий с речью с агитпоезда «Октябрьская революция», был секретарём Тульского комсомола. Он принадлежал к поколению, которое десятилетие спустя станет ударной силой сталинского наступления на старую Россию. Внизу: из сирот получались и хорошие солдаты — национальная часть Красной армии в Туркестане, 1920 год.



104. Война против религии. Красноармейцы изымают ценности из Семёновского монастыря в Москве, 1923 год.

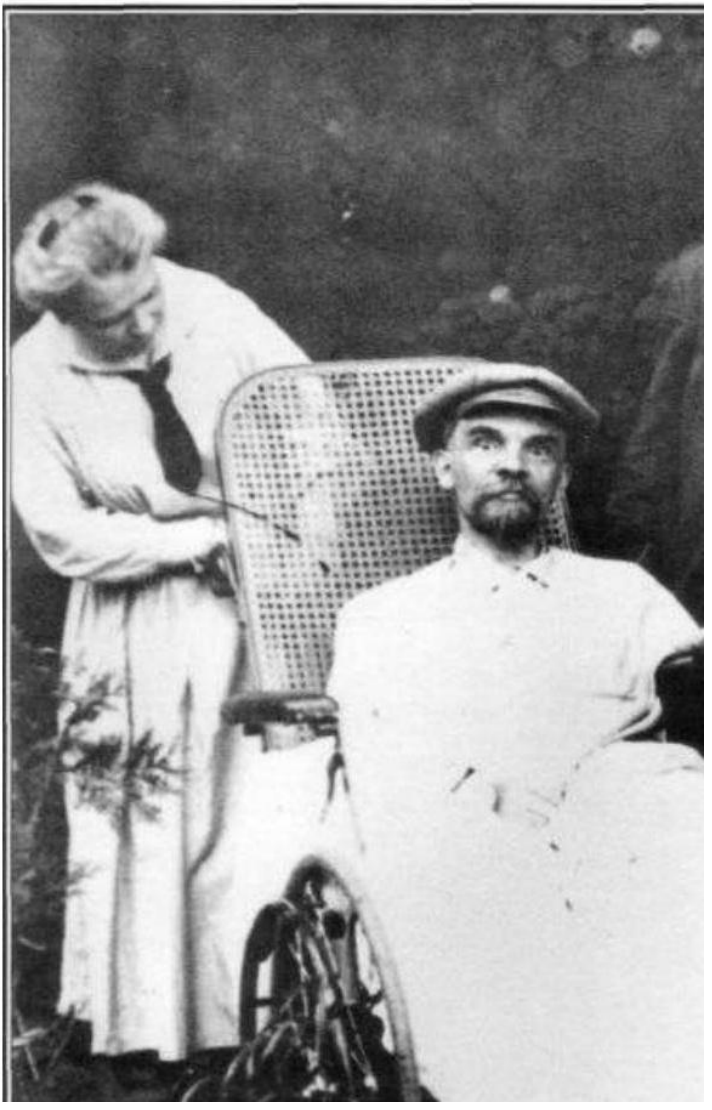


105. Революция движется на Восток. Красная армия входит в Бухару и объясняет бывшим подданным эмира смысл советской власти, сентябрь 1920 года.

105-6 The revolution expands east. *Above:* the Red A
explains the meaning of Soviet power to the former sub
1920. *Below,* two Bolshevik commissars of the Far East.



106. Два большевистских комиссара на Дальнем Востоке.



107. Умирающий Ленин с одним из врачей и младшей сестрой Марией Ульяновой, лето 1923 года. К моменту, когда была сделана эта фотография, приход Сталина к власти был уже практически обеспечен.

Публичные дома, больницы и клиники, кредитные и сберегательные товарищества, даже небольшие частные предприятия после введения НЭПа стали возникать, как грибы после дождя. Иностранные наблюдатели поражались внезапному преображению. Москва и Петроград, в годы Гражданской войны напоминавшие кладбища, вдруг ожили: улицы снова наполнились шумными торговцами, извозчиками и яркими вывесками, почти как до революции. «НЭП превратил Москву в огромный рынок», — вспоминала Эмма Гольдман:

> Магазины и лавки возникали за одну ночь и каким-то чудом оказывались забиты деликатесами, которых Россия не видела годами. В продаже появились масло, сыр и мясо; можно было купить пирожные, редкие фрукты и всевозможные сладости. Мужчины, женщины и дети с исхудавшими лицами и голодными глазами стояли у витрин и обсуждали это великое чудо: то, что еще вчера считалось тяжким преступлением, теперь открыто и совершенно законно выставлялось на продажу.[65]

Но могли ли эти голодные люди позволить себе такие товары? Именно этого боялись рядовые большевики. Им казалось, что расцвет частной торговли неизбежно приведет к увеличению пропасти между богатыми и бедными. «Мы, молодые коммунисты, выросли с убеждением, что с деньгами покончено раз и навсегда, — вспоминал один большевик в 1940-е годы. — Но если деньги возвращаются, разве не вернутся и богатые? Не скатываемся ли мы обратно к капитализму? Эти вопросы тревожили нас». Тревога усилилась из-за внезапного роста безработицы в первые два года НЭПа. Пока безработные существовали на грани голода, крестьяне, казалось, богатели. «Разве ради этого мы делали революцию?» — спрашивал один большевик у Эммы Гольдман. Среди рабочих широко распространилось мнение, особенно громко выражавшееся Рабочей оппозицией, что НЭП приносит их классовые интересы в жертву крестьянству, что «кулак» реабилитирован и получает возможность богатеть за счет рабочих. В 1921–1922 годах буквально десятки тысяч рабочих-большевиков в знак протеста порвали партийные билеты: НЭП они расшифровывали как «новую эксплуатацию пролетариата».[66]

Значительная часть этой ненависти была обращена против «нэпманов» — нового, вульгарного класса ловких дельцов,

стремительно богатеющих в русские «ревущие двадцатые». После семи лет войны и нехватки товаров появление таких перекупщиков, пожалуй, было неизбежным. Достаточно вспомнить британских спекулянтов после 1945 года или, если уж на то пошло, так называемые «мафии» постсоветской России. Правда, крестьян старались побуждать продавать продукты государству и кооперативам, предлагая взамен дешевые промышленные товары. Но пока обобществленная торговая система не заработала как следует — а это произошло лишь к середине 1920-х, — было проще и выгоднее продавать нэпманам. Если какой-то товар становился особенно дефицитным, эти дельцы наверняка могли его достать — обычно потому, что подкупили советского чиновника. Контрабандный спирт, героин, кокаин — они торговали всем. Нэпманы стали ходячим символом нового и безобразного капитализма. Они одевали жен и любовниц в бриллианты и меха, разъезжали в огромных импортных автомобилях, храпели в опере, распевали песни в ресторанах и громко хвастались в дорогих гостиничных барах, сколько долларов проиграли на вновь открытых ипподромах и в казино. Эта демонстративная роскошь на фоне чудовищного голода и страданий первых послевоенных лет вызывала у простых людей, прежде всего у рабочих, глубокое ожесточение: ведь они верили, что революция должна покончить именно с таким неравенством.

Это мощное плебейское чувство обиды — на «нэпманов», «буржуазных специалистов», «евреев» и «кулаков» — глубоко засело в сознании многих, особенно рабочих и рядовых партийцев. Именно к нему позднее взывала сталинская «революция сверху», насильственный рывок к индустриализации в годы первой пятилетки. Она обещала вторую волну классовой войны против «буржуазии» НЭПа, новых «врагов народа», возвращение к суровому, но романтизированному духу Гражданской войны, к тому «героическому периоду» революции, когда большевики, как гласила легенда, брали одну крепость за другой и шли вперед без страха и компромиссов. Россия 1920-х оставалась обществом, воюющим с самим собой, — обществом, в котором под поверхностью сохранялись неразрешенные социальные противоречия и взаимная ненависть. В этом смысле глубочайшим наследием революции стала ее неспособность уничтожить то социальное неравенство, которое некогда и вызвало ее к жизни.

ГЛАВА 16

СМЕРТИ И ОТЪЕЗДЫ

i. Сироты революции

«Нет, я нездоров, — писал Горький Ромену Роллану по прибытии в Берлин. — У меня снова обострился туберкулез, но в моем возрасте это не так страшно. Гораздо тяжелее переносится печальная болезнь души — я чувствую себя очень усталым: за последние семь лет в России я видел и пережил столько печальных драм, и особенно печальны они потому, что вызваны не логикой страсти и свободной воли, а слепым и холодным расчетом фанатиков и трусов… Я по-прежнему горячо верю в будущее счастье человечества, но меня тошнит и тревожит все растущая сумма страданий, которыми люди расплачиваются за свои прекрасные надежды».[1]

За отъездом Горького из России осенью 1921 года стояли смерть и разочарование. За четыре предшествовавших года погибло столько людей, что даже он уже не мог безоговорочно держаться за свои революционные надежды и идеалы. Ничто не стоило таких человеческих страданий.

Никто не знает полной человеческой цены революции. При любом подсчете она была катастрофической. Если учитывать только смерти от Гражданской войны, террора, голода и болезней, получится около десяти миллионов человек. Но сюда не входят эмиграция — около двух миллионов — и демографические последствия резкого падения рождаемости: в те страшные годы почти никто не хотел заводить детей. По расчетам статистиков, это означало еще примерно десять миллионов нерожденных жизней.[145] Наибольшей была смертность среди взрослых мужчин — в одном только Петрограде в 1920 году насчитывалось 65 000 вдов, — но смерть стала настолько обычной, что коснулась всех. Не было человека, который прошел бы через революционную эпоху, не

[145] И это еще не учитывает сокращение продолжительности жизни тех, кто выжил, из-за недоедания и болезней. Дети, родившиеся и выросшие в эти годы, были заметно ниже ростом, чем представители старших поколений; 5 процентов новорожденных страдали сифилисом (Sorokin, *Sovremennoe*, 16, 67).

потеряв друзей или родных. «Боже мой, сколько смертей! — писал Сергей Семенов старому другу в январе 1921 года. — Большинство стариков — Боборыкин, Линев, Венгеров, Воронцов и т. д. — умерли. Исчез даже Григорий Петров — неизвестно, как он умер; можно лишь сказать, что, вероятно, не от радости по поводу успехов социализма. Особенно больно даже не знать, где похоронены друзья».

Что смерть могла означать для одной-единственной семьи, видно на примере Терещенковых. Никитин Терещенков, врач Красной армии, в 1919 году потерял дочь и сестру от эпидемии тифа; в том же году на Южном фронте, сражаясь за красных, погибли его старший сын и брат; зять был убит при загадочных обстоятельствах. Жена Никитина умирала от туберкулеза, а сам он заболел тифом. Объявленные местной ЧК — как и многие представители сельской интеллигенции — «врагами народа», они лишились городского дома в Смоленске и к 1920 году жили на маленькой ферме, которую обрабатывали двое оставшихся в живых сыновей: пятнадцатилетний Володя и тринадцатилетний Миша.[2]

Умереть в России в эти годы было легко; похоронить умершего — трудно. Похоронные услуги были национализированы, поэтому каждое погребение требовало бесконечной бумажной волокиты. Затем возникла нехватка дерева для гробов. Люди заворачивали умерших в рогожи или брали гробы напрокат — с надписью «ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ» — только чтобы донести покойника до могилы. Один старый профессор оказался слишком крупным для арендованного гроба, и его пришлось втиснуть туда, сломав несколько костей. По какой-то совершенно непостижимой причине не хватало даже могил — разве поверишь, что такое возможно где-нибудь, кроме России? — и иногда люди ждали места по нескольку месяцев. В главном московском морге в подвале лежали сотни разлагающихся тел, ожидая похорон. Большевики пытались смягчить проблему бесплатной кремацией. В 1919 году они обещали построить крупнейший крематорий в мире. Но привязанность русских к православному погребальному обряду погубила эту инициативу.[3]

Смерть стала настолько обыденной, что люди к ней притупились. Труп на улице уже никого не привлекал. Убивали по самым ничтожным поводам — за несколько рублей, за попытку пролезть без очереди, а иногда просто ради развлечения. Семь лет войны ожесточили людей и сделали их нечувствительными к боли других. В 1921 году Горький

спросил группу красноармейцев, мучает ли их совесть за то, что они убивают. Нет, ответили они. «У него оружие, у меня оружие — значит, мы равны; какая разница, если мы друг друга поубиваем, земли больше останется». Один солдат, воевавший раньше в Европе в Первую мировую, даже сказал Горькому, что русского убивать легче, чем иностранца: «Наших людей много, хозяйство бедное; ну, сгорит деревня — что за потеря? Она все равно когда-нибудь сгорела бы сама».

Жизнь настолько подешевела, что люди почти не задумывались, убивая друг друга, и тем более не задумывались о миллионах, убиваемых от их имени. Один крестьянин спросил научную экспедицию, работавшую на Урале в 1921 году: «Вы люди ученые, скажите, что теперь со мной будет. Башкир убил мою корову, я, конечно, убил башкира и забрал корову у его семьи. Так скажите: меня накажут за корову?» Когда его спросили, не ожидает ли он наказания скорее за убийство человека, крестьянин ответил: «Это ничего, люди нынче дешевы».

Рассказывали и другие истории: муж убил жену без всякой видимой причины. «Надоела она мне — вот и все», — объяснил убийца. Казалось, насилие предыдущих лет сорвало тонкую пленку цивилизации, покрывавшую человеческие отношения, и обнажило первобытные зоологические инстинкты. Людям начал нравиться запах крови. Они приобрели вкус к садистским способам убийства — тема, в которой Горький, к несчастью, был большим знатоком:

> В Сибири крестьяне выкапывали ямы и опускали туда пленных красноармейцев вниз головой, оставляя наружу только ноги до колен; потом яму засыпали землей и по судорогам ног наблюдали, кто из жертв окажется выносливее и проживет дольше.
>
> В Тамбовской губернии коммунистов прибивали железнодорожными костылями за левую руку и левую ногу к деревьям на высоте около метра и смотрели на мучения этих нарочно странно распятых людей.
>
> Пленному вскрывали живот, вытаскивали тонкую кишку, прибивали ее к дереву или телеграфному столбу и ударами заставляли человека ходить вокруг дерева, наблюдая, как кишка разматывается через рану. С пленного офицера сдирали кожу с плеч в форме погон и вбивали гвозди вместо звездочек; кожу сдирали также по линиям портупеи и лампасов — эта операция называлась «переодеть в форму». Несомненно, она требовала времени и немалого мастерства.[4]

Самым крупным убийцей тех лет — на его счету около пяти миллионов жизней — стал голод 1921–1922 годов. Как и все большие голодные кризисы, великий голод на Волге был вызван отчасти человеком, отчасти природой. Природные условия Поволжья делали регион особенно уязвимым к неурожаям — их и прежде было немало: 1891–1892, 1906 и 1911 годы, если назвать лишь несколько. Летние засухи и сильные морозы были обычным явлением степного климата. Весной порывистые ветры уносили песчаный верхний слой почвы и повреждали молодые посевы. Все эти условия предшествовали голоду 1921 года: за неурожаем 1920-го последовал год тяжелых морозов и испепеляющей летней засухи, превратившей степь в гигантскую пыльную пустыню. К весне стало ясно, что крестьян ждет второй неурожай подряд. Значительная часть семян погибла от морозов; новые всходы были хилыми, а затем их уничтожили саранча и полевые мыши.

Но сами по себе эти удары природы еще не должны были привести к голоду. Крестьяне привыкли к неурожаям и прежде всегда держали большие запасы зерна, часто в общинных амбарах, именно на такой случай. Катастрофическим этот кризис сделал тот факт, что еще до удара природы крестьянское хозяйство было доведено до края гибели реквизициями Гражданской войны. Чтобы избежать продразверстки, крестьяне переходили к натуральному хозяйству: сеяли ровно столько, сколько нужно было самим, скоту и на семена. Иначе говоря, они перестали оставлять страховой запас, который раньше спасал их в плохие годы, потому что боялись, что большевики его отнимут. К 1920 году посевная площадь в Поволжье сократилась на четверть по сравнению с 1917 годом. Но большевики продолжали забирать все больше — не только излишки, но и жизненно необходимые продовольственные и семенные запасы, — так что новый неурожай неизбежно означал разорение.[5]

К весне 1921 года четверть крестьян Советской России голодала. Голод поразил не только Поволжье, но и Урал, бассейн Камы, Дон, Башкирию, Казахстан, Западную Сибирь и юг Украины. Вместе с ним пришли тиф и холера, унесшие сотни тысяч людей, уже ослабленных голодом. Хуже всего было в волжской степи. В Самарской губернии к осени 1921 года почти два миллиона человек — три четверти населения — считались умирающими от голода; к концу кризиса 700 000 из них

действительно умерли. В одной типичной волости, Булгаковой, где в январе 1921 года насчитывалось 16 000 жителей, к следующему ноябрю 1 000 человек умерли, 2 200 покинули дома, а 6 500 были парализованы голодом или болезнями.

По всему Поволжью голодные крестьяне ели траву, сорняки, листья, мох, древесную кору, солому с крыш и муку, приготовленную из желудей, опилок, глины и конского навоза. Резали скот, ловили грызунов, кошек и собак. В деревнях стояла мертвая тишина. Иссохшие люди, дети с раздутыми животами ложились и спокойно умирали, как собаки. «Крестьяне просто отказались от жизни, — записал один работник помощи в Саратове. — У них нет сил даже жаловаться». Те, кто еще мог двигаться, заколачивали разоренные хозяйства, складывали скудные вещи на телеги и отправлялись в города искать пищу. На рынках за несколько буханок хлеба отдавали лошадь. Многие не доходили: падали и умирали по дороге. Огромные толпы собирались на станциях, надеясь уехать в другие места — в Москву, на Дон, в Сибирь, куда угодно, лишь бы там, по слухам, была еда. Они не знали, что Москва приказала прекратить всякий выезд из районов голода, чтобы сдержать распространение эпидемий. Вот что происходило летом 1921 года на станции Симбирск:

> Представьте себе сплошную массу грязных лохмотьев, среди которых то тут, то там видны худые голые руки, лица, уже отмеченные печатью смерти. Больше всего поражает ядовитый запах. Пройти невозможно. Зал ожидания, коридор — каждый фут пола плотно покрыт людьми: они лежат, сидят, скорчились в каких угодно позах. Если всмотреться, видно, что эти грязные лохмотья кишат паразитами. Больные тифом извиваются и дрожат в лихорадке, рядом с ними младенцы. Грудные дети потеряли голос и уже не могут плакать. Каждый день уносят более двадцати умерших, но вынести всех невозможно. Иногда трупы лежат среди живых больше пяти дней…
>
> Женщина пытается успокоить маленького ребенка у себя на коленях. Ребенок плачет, просит есть. Некоторое время мать качает его на руках. Потом вдруг ударяет. Ребенок снова кричит. Это словно сводит женщину с ума. Она начинает яростно бить его, лицо искажено гневом. Кулак обрушивается на маленькое лицо, на голову, затем она бросает ребенка на пол и пинает ногой. Вокруг поднимается ропот ужаса. Ребенка поднимают, мать осыпают проклятиями; когда приступ ярости

проходит, она снова становится собой — совершенно безразличной ко всему вокруг. Ее глаза открыты, но, кажется, ничего не видят.[6]

Голод толкал людей к каннибализму. Это явление было гораздо распространеннее, чем раньше предполагали историки. В Башкирии и степных районах вокруг Пугачева и Бузулука, где кризис был особенно тяжел, сообщалось о тысячах случаев. Очевидно также, что большинство случаев вообще не попадало в отчеты. Один человек, осужденный за поедание нескольких детей, признался: «У нас в деревне все едят человеческое мясо, только скрывают. В деревне несколько столовых — и во всех подают маленьких детей».

Настоящий размах каннибализм приобрел с наступлением зимы, примерно в ноябре 1921 года, когда первый снег накрыл последние съедобные растения и больше есть было нечего. Матери, отчаявшиеся накормить детей, отрезали конечности от трупов и варили мясо в котлах. Люди ели собственных родственников — часто маленьких детей, которые умирали первыми и чье мясо считалось особенно нежным. В некоторых деревнях умерших не хоронили, а складывали тела в амбарах и хлевах, как мясной запас. Крестьяне умоляли работников помощи не забирать трупы, а оставить их на пищу. В деревне Ивановке под Пугачевом женщину застали за тем, что она вместе с ребенком ела умершего мужа; когда милиция попыталась забрать останки, она закричала: «Не отдадим, он нам для еды нужен, он наш, из нашей семьи, и никто не имеет права у нас его отнимать».

Кражи трупов с кладбищ стали настолько частыми, что во многих местах у ворот пришлось выставить вооруженную охрану. Охота на людей ради мяса также была нередкой. В Пугачеве детям было опасно выходить после темноты: ходили банды каннибалов и торговцев, которые убивали детей, чтобы съесть или продать их нежное мясо. В Новоузенском уезде существовали банды детей, убивавшие взрослых ради мяса. Работники помощи носили оружие, опасаясь нападений. В некоторых районах появились черные рынки человеческого мяса. Тела выкапывали из могил, расчленяли, продавали кусками. В Самарской губернии милиция арестовала женщину, торговавшую студнем из человеческого мяса.[7]

Каннибализм стал самым страшным символом распада человеческого общества. Однако он был лишь крайней формой общего

разрушения норм. Воровство, убийства, проституция, оставление детей — все стало частью повседневности. Голод не просто убивал людей: он уничтожал социальные связи между ними.[8]

Как и в 1891 году, организация помощи легла прежде всего на общественные и иностранные организации. Во главе движения встал Горький. 13 июля он выступил с обращением «Ко всем честным людям», позднее опубликованным на Западе:

> Трагедия пришла в страну Толстого, Достоевского, Менделеева, Павлова, Мусоргского, Глинки и других людей, которыми дорожит весь мир. Если гуманитарные идеи и чувства — вера в социальное значение которых была так поколеблена проклятой войной и безжалостностью победителей к побежденным, — если вера в творческую силу этих идей и чувств должна и может быть восстановлена, то бедствие России дает прекрасную возможность доказать жизненность гуманизма. Я прошу всех честных людей Европы и Америки о немедленной помощи русскому народу. Дайте хлеб и лекарства. Максим Горький.

Вместе с группой известных общественных деятелей Горький обратился к Ленину с просьбой разрешить создание добровольной организации помощи голодающим. Так 21 июля возник Всероссийский общественный комитет помощи голодающим — Помгол, первый и последний независимый общественный орган, созданный при коммунистической власти. Ленин согласился на его образование отчасти ради Горького, отчасти потому, что без общественного комитета было труднее получить помощь из-за рубежа. Среди 73 членов Помгола были крупнейшие деятели культуры — Горький, Короленко, Станиславский; либеральные политики — Кишкин, Прокопович, Кускова; бывший царский министр Н. Н. Кутлер и старая народница Вера Фигнер; известные агрономы Чаянов и Кондратьев, инженер П. И. Пальчинский, врачи и толстовцы. Нашлось место и Александре Толстой, дочери писателя, которая предыдущие четыре года провела то в тюрьмах ЧК, то в трудовых лагерях.

Помгол пытался возродить дух общественной взаимопомощи, спасший страну в 1891 году. Он обращался к населению России и за рубежом с призывами жертвовать средства на борьбу с голодом. Князь Львов, участвовавший в работе помощи еще тридцатью годами раньше, собирал деньги и отправлял продовольствие через парижскую

организацию Земгор — даже в эмиграции он продолжал земскую работу. Чтобы Помгол не превратился в политический центр, большевики прикрепили к нему «ячейку» из двенадцати видных коммунистов во главе с Каменевым. Ленин твердо намеревался не допустить, чтобы голод, как в 1891 году, породил независимую общественную оппозицию.[9]

На призыв Горького откликнулся Герберт Гувер, предложивший направить в Россию Американскую администрацию помощи — АРА. Гувер создал ее для снабжения послевоенной Европы продовольствием и лекарствами. У него было два условия: организация должна действовать самостоятельно, без вмешательства коммунистических властей, а все граждане США должны быть освобождены из советских тюрем. Ленин пришел в ярость — «Гувера надо наказать, надо публично дать ему пощечину, чтобы весь мир увидел», — но, как всякий проситель, не мог особенно выбирать. Как только через Помгол удалось обеспечить американскую помощь, Ленин распорядился распустить комитет, несмотря на энергичные протесты Каменева и Горького. 27 августа всех общественных членов Помгола, кроме Горького и Короленко, арестовала ЧК, обвинив во всевозможной «контрреволюционной деятельности»; позже их выслали за границу или отправили в места ограниченного проживания внутри страны. Даже Горького Ленин начал настойчиво уговаривать уехать за границу «лечиться».[10]

К лету 1922 года, когда деятельность АРА достигла наибольшего размаха, она ежедневно кормила десять миллионов человек. Кроме того, организация отправляла огромные партии лекарств, одежды, инструментов и семян. Именно семена помогли получить два подряд богатых урожая — 1922 и 1923 годов, окончательно выведших Россию из голодной катастрофы. Общая стоимость операции АРА составила 61 миллион долларов.

Большевики приняли эту помощь с поразительной неблагодарностью: трудно найти в истории пример, когда столь щедрому дареному коню так придирчиво заглядывали в зубы. АРА обвиняли в шпионаже, в попытках дискредитировать и свергнуть

советскую власть,[146] постоянно вмешивались в ее работу, обыскивали обозы, задерживали поезда, захватывали грузы и даже арестовывали работников помощи. Тем самым оба условия Гувера — невмешательство и освобождение американских граждан — большевики открыто нарушили. В Америке разразился новый скандал, когда выяснилось, что, получая продовольственную помощь с Запада, советское правительство одновременно экспортирует миллионы тонн собственного зерна. На вопросы власти отвечали, что экспорт необходим для закупки промышленного и сельскохозяйственного оборудования за рубежом. Но после этого собрать в США дополнительные средства для АРА стало невозможно, и в июне 1923 года она прекратила работу в России.[11]

Для Горького то, как советское правительство вело себя во время голода, было и позором, и унижением. Это стало одной из главных причин его решения покинуть Россию. Когда худшее осталось позади, большевики отправили американскому народу короткую формальную благодарность. Горький был щедрее. В письме Гуверу от 30 июля 1922 года, в котором ясно звучали его глубочайшие убеждения, он писал:

> Во всей истории человеческих страданий я не знаю ничего более тяжелого для человеческих душ, чем то, через что проходит русский народ; а в истории практического гуманизма я не знаю деяния, которое по своему размаху и великодушию можно было бы сравнить с помощью, действительно оказанной вами. Ваша помощь войдет в историю как уникальное, гигантское свершение, достойное величайшей славы, и надолго останется в памяти миллионов русских, которых вы спасли от смерти. Великодушие американского народа возвращает к жизни мечту о братстве людей именно в то время, когда человечество особенно нуждается в милосердии и сострадании.[12]

Одним из самых печальных наследий революции стала огромная армия беспризорных детей, заполнивших улицы всех городов. По оценкам, к 1922 году около семи миллионов детей жили на вокзалах, в заброшенных домах, на стройках, свалках, в подвалах, канализации и

---

[146] Мотивы Гувера не вполне ясны. Он был крайне враждебен советскому режиму и, возможно, действительно рассчитывал использовать помощь голодающим как инструмент дипломатического давления и политического влияния в России. Но это не отменяет его подлинной гуманитарной озабоченности и не оправдывает большевистских обвинений. См.: Weissman, *Herbert*, гл. 2.

других грязных убежищах. Эти оборванные, босые дети, чьи родители умерли или бросили их, были символом распада российского общества. Разрушенной оказалась даже семья.

Беспризорники революции представляли собой страшную карикатуру на детство, которого были лишены. Борьба за выживание заставляла их жить как взрослых. У них появился собственный жаргон, свои группы и моральные правила. Двенадцатилетние «женились» и заводили детей. Многие становились закоренелыми алкоголиками, зависимыми от героина или кокаина. Попрошайничество, мелкая торговля, кражи и проституция были средствами существования. На вокзалах они роились как мухи и мгновенно набрасывались на любые остатки пищи, выброшенные из поездов. Некоторые калечили или публично унижали себя ради нескольких копеек. Один мальчик, живший на омском вокзале, за пять копеек размазывал по лицу собственные испражнения.

Беспризорная среда была тесно связана с преступным миром. Детские банды крали с прилавков, грабили прохожих, чистили карманы, врывались в лавки и дома. Пойманных часто избивали прямо на улице взрослые, которые почти не испытывали к ним жалости; но, похоже, и это их не останавливало. Один наблюдатель видел на базарной площади такую сцену:

> Я сам видел, как мальчик лет десяти-двенадцати, пока его били тростью, тянулся к куску хлеба, уже покрытому грязью, и жадно запихивал его в рот. Удары сыпались ему на спину, но мальчик, стоя на четвереньках, торопливо откусывал кусок за куском, чтобы хлеб не отняли. Это было возле хлебного ряда на базаре. Вокруг собрались взрослые женщины и кричали: «Так ему и надо, мерзавцу! Бейте еще! От этих вшей житья нет».

Почти все такие сироты время от времени занимались проституцией. Обследование 1920 года показало, что 88 процентов девочек хотя бы раз продавали себя; сходные цифры были и среди мальчиков. Некоторым девочкам было всего семь лет. Половые акты происходили на улицах, рынках, вокзалах и в парках. У девочек были сутенеры — обычно такие же подростки, — которые нередко использовали их для ограбления клиентов. Существовали и педофильские притоны, которыми руководили так называемые «тетушки»: они давали детям еду и угол для

сна, но заставляли их работать и жили на их заработки.[13] Для миллионов детей это было самое близкое подобие материнской заботы.

«Есть двенадцатилетние дети, на счету которых уже по три убийства», — писал Горький Ленину в апреле 1920 года. Сам когда-то беспризорник, Горький одним из первых выступил за борьбу с «детской преступностью». Тем летом он создал специальную комиссию, организовывавшую для детей колонии и приюты и обучавшую их грамоте. Аналогичные инициативы предпринимала Лига спасения детей, основанная в 1919 году Кусковой и Короленко с разрешения Совнаркома. Но при семи миллионах беспризорников во всех учреждениях вместе было лишь около полумиллиона мест: этого было ничтожно мало.

Все чаще большевики обращались к карательным мерам, несмотря на собственный лозунг 1918 года о том, что «для детей не должно быть ни судов, ни тюрем». В тюрьмах и трудовых лагерях находились тысячи детей, многие младше четырнадцати лет — установленного возраста уголовной ответственности. Еще одним способом «решения» проблемы было разрешение фабрикам использовать детский труд. Даже в годы Гражданской войны, когда тысячи взрослых рабочих были уволены, число работающих детей резко выросло; в небольших предприятиях встречались работники шести лет. Несмотря на многочисленные требования ограничить детский рабочий день шестью часами и обязать работодателей давать два часа обучения, власти предпочитали не вмешиваться, утверждая, что «лучше пусть дети работают, чем живут преступлением на улице». В результате многие несовершеннолетние работали по двенадцать-четырнадцать часов в день.[14]

Из детей получались и превосходные солдаты. В Красной армии было немало подростков. Проведя всю сознательную жизнь среди насилия войны и революции, они, вероятно, привыкли считать убийство обычной частью жизни. Маленьких солдат отличала готовность беспрекословно исполнять приказы — командиры нередко заменяли им отцов — и беспощадная способность убивать врага, особенно если им внушали, что они мстят за смерть родителей. Парадоксально, но в армии этим детям часто жилось лучше, чем на улице: армия относилась к ним как к своим, кормила, одевала и учила читать.

По словам Нины Берберовой, Горький приехал в Европу не только в ярости от того, что произошло в России, но и глубоко потрясенный увиденным и пережитым. Она вспоминала разговор Горького с ее мужем, поэтом Ходасевичем:

> Оба — в разное время — в 1920 году побывали в детском доме, а может быть, в исправительном учреждении для подростков. Там были главным образом девочки двенадцати-пятнадцати лет, больные сифилисом и беспризорные; девять из десяти были воровками, половина беременны. Ходасевич… со смесью жалости и отвращения вспоминал, как эти девочки в лохмотьях, кишащие вшами, цеплялись за него, готовы были раздеть прямо на лестнице, задирали рваные юбки выше головы и выкрикивали непристойности. Он с трудом от них вырвался. С Горьким случилось нечто похожее: когда он начал об этом говорить, на лице у него был ужас, он сжал челюсти и внезапно замолчал. Было ясно, что этот визит потряс его глубже, чем прежние впечатления от босяков и ужасов «дна», откуда он брал сюжеты ранних произведений. Возможно, теперь, в Европе, он залечивал раны, в которых боялся признаться даже самому себе; временами… он спрашивал себя — и только себя: стоило ли оно того?

Горький и сам стал сиротой революции. Все его надежды на революцию — надежды, которыми он определял собственную жизнь, — за четыре года были разрушены. Вместо созидательной культурной силы революция почти уничтожила русскую цивилизацию; вместо освобождения человека принесла новое порабощение; вместо духовного возвышения — деградацию. Горький глубоко разочаровался. В 1921 году он говорил о себе: «Я в мизантропическом настроении». Он уже не мог примирить свой гуманистический и демократический социализм с ленинской Россией. Он больше не мог «закрывать глаза» на пороки режима в надежде сделать что-то полезное и исправить его потом: все попытки оказались тщетны. Если в России были отвергнуты его собственные идеалы, ему оставалось лишь покинуть Россию.[15]

Решению Горького эмигрировать предшествовал все более глубокий конфликт с большевиками. Бессмысленный террор предыдущих четырех лет, уничтожение интеллигенции, преследование меньшевиков и эсеров, разгром Кронштадта, бездушное отношение властей к голоду — все это превратило его в ожесточенного противника нового режима. Особенно ненавидел Горький Зиновьева, партийного хозяина

Петрограда. Зиновьев не любил писателя, считал его дом «гнездом контрреволюции» и держал под постоянным наблюдением: корреспонденцию вскрывали, дом обыскивали, близким друзьям угрожали арестом. Самые яростные письма Горького времен Красного террора были адресованы именно Зиновьеву. В одном он писал, что постоянные аресты заставили людей ненавидеть «не только советскую власть, но — особенно — вас лично».

Вскоре, однако, стало ясно, что за Зиновьевым стоит сам Ленин. Большевистский вождь презрительно относился к горьковским протестам. В угрожающем письме июля 1919 года он утверждал, что весь «строй мыслей» писателя сделался «совершенно больным» под влиянием «озлобленных буржуазных интеллигентов», окруживших его в Петрограде. «Я не хочу навязывать вам советов, — предупреждал Ленин, — но не могу не сказать: радикально измените обстановку, среду, местожительство, занятие — иначе жизнь может опротиветь вам окончательно».[16]

Разочарование Горького в Ленине усилилось в 1920 году. Ленин выступал против редакционной самостоятельности издательства Горького «Всемирная литература» и грозил прекратить его государственное финансирование. Горький резко жаловался Луначарскому. Он справедливо подозревал, что Ленин стремится поставить все издательское дело под контроль государства — мысль, которая была для Горького отвратительна, — и утверждал, а может быть, угрожал, что единственный способ спасти проект — перевести его работу за границу. Но при суровом Ленине, стоявшем над душой, наркому просвещения мало что удавалось сделать. В пьесе «Дон Кихот» (1922) Луначарский воспроизвел напряженный треугольник отношений между собой (дон Бальтазар), Горьким (дон Кихот) и Лениным (дон Родриго). Прощальные слова дона Бальтазара дону Кихоту хорошо передают столкновение Горького с Лениным — между идеалами революции и ее мрачной «необходимостью»:

> Если бы мы не разгромили заговоры в тылу, мы погубили бы нашу армию. Ах, дон Кихот! Я не хочу усугублять вашу вину, но здесь вы сыграли роковую роль. Не скрою: суровому Родриго приходила мысль опустить на вас карающую руку закона, чтобы это стало уроком всем мягкосердечным людям, которые со своей филантропией вмешиваются в жизнь — суровую, сложную и полную ответственности.[17]

Последней каплей для Горького стали смерти двух крупнейших русских поэтов — Александра Блока и Николая Гумилева. Блок слег еще в 1920 году с ревматической лихорадкой, после жизни в холоде и голоде Гражданской войны. Но настоящей его болезнью были отчаяние и разочарование итогами революции. Поначалу он приветствовал ее разрушительное насилие как очищение прогнившего старого мира Европы, из которого должен возникнуть новый, более чистый мир «скифов». В эпической поэме «Двенадцать», написанной в 1918 году, двенадцать грубых красногвардейцев шагают «державным шагом» сквозь метель, разрушая старый мир и создавая новый. Впереди них, с красным флагом, в белом венчике из роз и почти не касаясь снега, идет Иисус Христос.

Блок позднее записал, что во время работы над поэмой «все время слышал — буквально слышал ушами — большой шум вокруг, шум, составленный из многих звуков (вероятно, это был шум рушившегося старого мира)». Некоторое время он продолжал верить в мессианскую миссию большевиков. Но к 1921 году вера исчезла. Три года он не писал стихов. Горький, близко его знавший, сравнивал поэта с «потерявшимся ребенком». Блок мучил его вопросами о смерти и говорил, что утратил всякую «веру в мудрость человечества».

Корней Чуковский вспоминал появление Блока на поэтическом вечере в мае 1921 года: «Я сидел с ним за кулисами. На сцене какой-то оратор… бодро доказывал публике, что Блок как поэт уже умер… Блок наклонился ко мне и сказал: “Это правда. Он говорит правду, я умер”». Когда Чуковский спросил, почему он больше не пишет стихов, Блок ответил: «Все звуки прекратились. Разве вы не слышите, что звуков больше нет?» В том же месяце он слег окончательно. Врач настаивал, что его необходимо отправить за границу, в специальный санаторий. 29 мая Горький написал Луначарскому: «Блок — лучший из живущих русских поэтов. Если вы запретите ему выехать за границу и он умрет, вы и ваши товарищи будете виноваты в его смерти».

Несколько недель Горький добивался визы. Луначарский 11 июля направил в ЦК письмо в поддержку. Но ничего не делалось. Наконец 10 августа разрешение пришло. Оно опоздало на один день: накануне ночью поэт умер.[18]

Если Блок умер от отчаяния и запущенной болезни, смерть Гумилева две недели спустя была гораздо проще и страшнее. Его арестовала Петроградская ЧК, несколько дней держала в тюрьме, а затем расстреляла без суда. Гумилева обвинили в участии в монархическом заговоре — обвинение почти наверняка было ложным, хотя по убеждениям он действительно оставался монархистом. Комитет интеллигентов, возникший на похоронах Блока, просил освободить поэта. Академия наук предлагала поручиться за его явку в суд. Горького попросили вмешаться; он помчался в Москву к Ленину. Но когда вернулся в Петроград с распоряжением об освобождении, Гумилев уже был расстрелян. Горький настолько тяжело пережил это, что у него пошла кровь горлом. Замятин говорил, что никогда не видел его «таким разгневанным, как в ту ночь, когда расстреляли Гумилева».[19]

Александр, наш лебедь чистый,
Наше солнце угасло в мучениях.[20]

Два месяца спустя, сам измученный болезнями, Горький покинул Россию — как тогда казалось, навсегда.

ii. Непокоренная страна

Четыре года революции так и не примирили жителей Андреевского. Деревня по-прежнему была расколота между двумя давними соперниками. С одной стороны стоял Сергей Семенов — прогрессивный хозяин и реформатор, мечтавший принести приметы современного мира в эту бедную, Богом забытую глушь. С другой — Григорий Малютин, грузный, много пьющий деревенский старейшина, старообрядец и противник любых перемен, который вот уже почти тридцать лет сопротивлялся всем начинаниям Семенова.

Их вражда началась еще в 1890-х, когда дочь Малютина Вера убила своего внебрачного ребенка и закопала его в соседнем лесу. Приехала полиция, началось расследование, и богатому Малютину пришлось откупаться. Он обвинил Семенова в доносе и развернул кампанию запугивания: поджег его сарай, убивал скот, обвинял в колдовстве — лишь бы выжить его из деревни. В 1905 году Малютин наконец добился своего: Семенов организовал в Андреевском отделение Крестьянского

союза, и этого оказалось достаточно, чтобы местные власти сочли его опасным революционером и выслали за границу.

Три года спустя он вернулся в Андреевское как сторонник столыпинской земельной реформы. Он пытался внедрить на выделенных из общины частных участках передовые приемы земледелия, которым научился в Западной Европе. К нему примкнули некоторые молодые и более предприимчивые крестьяне. Но Малютин снова пришел в ярость — внутри общины именно он оставался хозяином положения — и вместе с другими деревенскими стариками сумел заблокировать реформы. «Все мои мечты о лучшей жизни, — писал Семенов другу в 1916 году, — разрушены этим упрямым и завистливым человеком».

Революция изменила соотношение сил в пользу Семенова. Старая система власти, на которую опирался Малютин, — волостной старшина, полиция, земский начальник из дворян — исчезла почти мгновенно. В самой деревне все громче звучал голос молодых и более прогрессивных хозяев, тогда как старые патриархальные лидеры, подобные Малютину, не видевшие в революции ничего хорошего, постепенно теряли влияние. Семенов, давно выступавший за реформы, стал одной из главных фигур сельского схода. Он неизменно выступал против старого патриархального уклада и влияния церкви. В 1917 году помог организовать передел земли в Андреевском, в результате которого хозяйство Малютина сократилось вдвое. Он работал в земельном отделе уездного Совета и в местной кооперации; создавал товарищества по закупке новых орудий, развитию огородничества, улучшению молочного хозяйства и льноводства; писал брошюры и читал лекции по агрономии; боролся с пьянством; основал в деревне школу и библиотеку; даже писал пьесы для «народного театра», который устроил вместе со своим другом-учителем в соседнем Бухолове. Он разработал и проекты электрификации и телефонизации деревень Волоколамского уезда и отправил их в Московский Совет.

Толстовские убеждения не позволяли Семенову занимать должности в деревенском или волостном Совете, но, как говорил один местный житель, «крестьяне не только Андреевского, но и всей округи видели в нем своего вождя и защитника».

Малютин и его сторонники тем временем продолжали сопротивляться каждому начинанию Семенова. Они утверждали, что он коммунист, а его реформы принесли в деревню все несчастья нового режима. Местный священник обвинял Семенова в колдовстве и предупреждал, что его «безбожие» приведет к дьяволу. К доносам присоединился волоколамский архидиакон Цветков, заявлявший, что Семенов — Антихрист. Особенно возмутило их открытие в 1919 году новой школы: ее построили из леса, до национализации принадлежавшего Малютину и церкви. Кроме того, в школе не преподавали Закон Божий. Вместо креста на стене класса висел обязательный портрет Ленина.

Однажды ночью у Семенова сгорел сарай; в другой раз его сельскохозяйственные орудия украли и утопили в озере. В местную ЧК стали поступать анонимные доносы, называвшие его «контрреволюционером» и «немецким шпионом». Несколько раз Семенова вызывали на допрос, но короткого звонка Каменеву, председателю Московского Совета, которого он немного знал, обычно хватало, чтобы его освободили. В 1921 году, когда по России прокатились эпидемии скота, Малютин и его союзники объявили, что животные в деревне гибнут из-за «злых реформ» Семенова. Говорили даже, будто он «наслал болезнь колдовством». Некоторые крестьяне начали сомневаться: они знали, что скот гибнет и в других местах, но хотели объяснить собственные потери, и подозрение в адрес Семенова вновь стало расти.

В конце концов Малютин организовал убийство старого соперника. В ночь на 15 декабря 1922 года, когда Семенов шел в Бухолово, на него напали несколько мужчин, среди которых были два сына Малютина. Они неожиданно вышли из дома своей сестры Веры на окраине деревни. Один выстрелил Семенову в спину. Когда тот обернулся, нападавшие выстрелили еще несколько раз, а затем, когда он уже лежал мертвым, раздробили ему лицо. На груди они вырезали кровавый знак креста.

Это было трусливое убийство. Семенов всегда открыто спорил со своими противниками и честно относился к их доводам; они же клеветали на него и застрелили в спину. После ареста убийцы заявили, что Семенов «служил дьяволу» и наслал падеж скота. Они также признались, что приказ убить Семенова исходил от Григория Малютина

и архидиакона Цветкова — «во имя Бога», как сказал им последний. Всех признали виновными в заговоре с целью убийства и приговорили к десяти годам каторжных работ на Севере.

Семенова похоронили на его любимом участке земли в Андреевском: он буквально стал частью почвы, ради которой жил и боролся столько лет. На похороны пришли тысячи жителей соседних деревень, среди них сотни школьников, которых Семенов учил лично. «Трагедия — потерять такую жизнь именно тогда, — сказал в прощальной речи его друг Белоусов, — когда его дело и учение стали особенно нужны народу». В память о Семенове деревенскую школу назвали его именем, а хозяйство сохранило государство; до 1929 года им управлял его сын как образцовой фермой, призванной показывать крестьянам преимущества современных агрономических новшеств. Семенов был бы глубоко тронут: о таком он мечтал всю жизнь.[21]

«Правда», никогда не упускавшая возможности для партийной пропаганды, превратила эту маленькую провинциальную историю в классовую притчу. Малютина изобразили злым «кулаком», Семенова — бедным, но политически сознательным крестьянином. Разумеется, это было нелепо: Семенов был не беднее Малютина, Малютин не был «кулаком», и раскол между ними вообще не определялся классом. Убийство показывало другое: менее чем в ста милях от Москвы существовали деревни вроде Андреевского, куда современная цивилизация еще почти не проникла, отдельный мир, где люди верили в колдовство и жили как будто в Средневековье.

Большевикам еще только предстояло завоевать эту неизвестную страну. Они смотрели на нее с тревогой, как армия на чужую территорию. Первые советские этнографы, отправлявшиеся в подмосковную глубинку почти как исследователи в амазонские джунгли, обнаруживали, что многие их соотечественники по-прежнему верят, будто Земля плоская, ангелы живут в облаках, а Солнце вращается вокруг Земли. Они находили странную деревенскую культуру, пропитанную архаическими патриархальными обычаями: мир, где время измерялось не месяцами, а сезонами и церковными праздниками; мир языческих обрядов и суеверий, избиения жен, самосуда, кулачных боев и многодневных попоек.

Большевики не понимали этот мир — у Маркса ничего не было сказано о колдовстве — и тем более не умели им управлять. Государственный аппарат доходил в лучшем случае до волостного центра. Большинство деревень по-прежнему управлялось собственной общиной, и революция с Гражданской войной лишь укрепили ее мелкокрестьянский характер. В целом Россия за эти годы стала еще более «крестьянской». Огромные городские массы распались, промышленность почти исчезла, тонкая пленка провинциальной цивилизации была смыта революцией. Остались мелкие крестьянские хозяйства. Неудивительно, что множество большевиков чувствовали угрозу со стороны этой массы. Горький, столь же враждебный «варварскому крестьянству», выражал их страхи. «Огромная крестьянская волна в конце концов все затопит, — говорил он иностранному посетителю незадолго до отъезда в Берлин. — Крестьянин станет хозяином России просто силой численности. И это будет катастрофой для нашего будущего».[22] Этот страх перед крестьянством стал главным неразрешенным противоречием 1920-х и неумолимо вел к трагедии коллективизации.

Разумеется, сельская жизнь не была сплошной тьмой. При НЭПе в деревню начали проникать приметы современности. Пришло электричество. Даже Андреевское получило первые провода в 1927 году — так сбылась одна из мечтаний Семенова. Ленин возвеличивал новую технологию как лекарство от российской отсталости. «Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны» — так звучал знаменитый лозунг. Он приписывал электричеству почти магическую силу и однажды даже предсказал, что электрическая лампочка — «лампочка Ильича» — вытеснит икону из крестьянской избы. В советской пропаганде лампа стала символом просвещения: свет означал все хорошее, тьма — бедность и зло. На фотографиях крестьяне с почти религиозным изумлением глядели на новые сияющие шары. По мысли Ленина, единая электрическая сеть должна была связать отдаленный деревенский мир с городской культурой. Отсталую крестьянскую Россию индустриальный свет выведет из тьмы к будущему быстрого экономического развития, массового образования и освобождения от изнурительного ручного труда. Во многом это была фантазия: столетнюю отсталость нельзя было победить одним выключателем.

Ленин, столько лет высмеивавший утопизм, сам, как выразился Герберт Уэллс, поддался «утопии электриков» и вопреки марксистской доктрине поверил, что технология способна решить глубоко укоренившиеся социальные проблемы России.[23]

В 1920-е появились и другие признаки сельской модернизации. В деревне стали открываться больницы, театры, кино и библиотеки. НЭП принес целый комплекс агрономических улучшений, которые без преувеличения можно назвать сельскохозяйственной революцией. Узкие и перемежающиеся полосы земли, делавшие общинное земледелие столь неэффективным, перераспределялись и укрупнялись почти на ста миллионах гектаров наделов. Многопольные севообороты, подобные западноевропейским, применялись почти на пятой части общинной земли. Все больше крестьян использовали химические удобрения, сортовые семена и улучшенные орудия. Модернизировалось молочное хозяйство; крестьяне переходили к товарным культурам — овощам, льну, сахарной свекле, которые до революции выращивали главным образом коммерческие помещичьи хозяйства. Семенова, когда-то первым внедрявшего такие реформы, наверняка порадовал бы и рост сельской кооперации — и товарообменной, и кредитной. К 1927 году в сельскохозяйственные кооперативы входила половина крестьянских хозяйств. Производительность росла устойчиво: уровень сельскохозяйственного производства 1913 года был восстановлен к 1926-му и превышен в следующие два года. Урожайность середины 1920-х была на 17 процентов выше, чем в 1900-е, в так называемый «золотой век» российского сельского хозяйства.[24]

Реальными были и успехи грамотности, продолжавшие тенденцию начала века. В 1920-е строилось больше сельских школ. К 1926 году грамотными считались 51 процент населения СССР — против 43 процентов в 1917-м и 35 процентов в 1907-м. Наибольший рост произошел среди сельской молодежи: крестьяне-мужчины чуть старше двадцати лет были более чем вдвое грамотнее поколения своих отцов, а молодые крестьянки — примерно в пять раз грамотнее матерей. Разрыв поколений был одновременно демографическим и культурным. В 1926 году более половины сельского населения было моложе двадцати лет, свыше двух третей — моложе тридцати. Именно эти поколения в основном и были грамотными. Многие познакомились с внешним

миром в армии. Они оспаривали авторитет стариков, редко ходили в церковь и проявляли сильное стремление к самостоятельности. Это выражалось, в частности, в резком росте разделов дворов: сыновья отделялись от отцов и заводили собственные малые семьи. Все чаще молодые мужчины вытесняли отцов с позиции главы хозяйства и получали больше права решать, как вести дело.[25] Русская деревня была расколота не столько между богатыми и бедными, как ошибочно полагали большевики, сколько между отцами и сыновьями.

Этот конфликт поколений помогал большевикам укрепляться в деревне через организацию беспокойной молодежи. Комсомол рос на селе намного быстрее партии: с 80 000 членов в 1922 году до более чем полумиллиона в 1925-м — втрое больше числа сельских коммунистов. Комсомол служил своего рода клубом для скучающих деревенских подростков. Он организовывал крестовый поход против церкви и старого патриархального порядка. Цель формулировалась просто: «перевернуть деревню вверх дном». Через набор в партию он давал амбициозным юношам шанс подняться и покинуть отсталую деревню, которую многие уже презирали, ради яркого городского мира. Исследование одного сельского уезда Воронежской губернии в середине 1920-х показало: 85 процентов комсомольцев происходили из крестьянских семей, но лишь 3 процента хотели работать в сельском хозяйстве. В 1923 году молодой этнограф так передал настроения своих ровесников в деревне Волоколамского уезда, недалеко от Андреевского:

> Вот что молодежь говорит о стариках: «Старики — дураки. Работают до изнеможения, а ничего не имеют. Ничего не знают, кроме как пахать, то есть вообще ничего не знают… Бросайте хозяйство. Оно невыгодно и не оправдывает труда». Молодые хотят уйти, уйти как можно скорее. Куда угодно, лишь бы уйти — на фабрику, в армию, учиться, стать чиновником — все равно.[26]

Семенов и Канатчиков замечали те же настроения еще тридцать лет назад. Отторжение деревни молодежью, по-видимому, было постоянным источником большевистских кадров.

Красная армия, наряду с комсомолом, стала еще одним средством организации этой беспокойной сельской молодежи. Вернувшиеся из армии молодые мужчины нередко возглавляли сельские Советы и комсомольские походы против старого уклада. Группа ветеранов в

одной деревне даже устроила «съезд», чтобы обсудить борьбу «с темнотой, религией, самогоном и прочими бедствиями». Привыкнув к армейской жизни, молодые ветераны быстро скучали в деревне, где, как говорил один из них, «нет никакой культуры». Они презирали старые сельские порядки и, если не уезжали вовсе, стремились хотя бы внешне отличаться, надевая городскую и военную одежду. Один наблюдатель писал, что все «бывшие солдаты, сельские активисты и комсомольцы — то есть все, кто считал себя прогрессивными людьми, — ходили в военной и полувоенной форме». Многие из этих молодых людей позднее сыграли активную роль в сталинской коллективизации: вошли в продовольственные отряды, вновь начавшие после 1927 года гражданскую войну против деревни; создавали «инициативные группы» коллективных хозяйств; участвовали в новых атаках на церковь; подавляли крестьянское сопротивление; а потом становились чиновниками и механизаторами колхозов.[27]

И все же главный факт оставался прежним: в самой деревне большевики не обладали реальной властью. В этом коренилась одна из причин провала НЭПа. Не умея мирно управлять селом, большевики вернулись к террору и в итоге пришли к коллективизации. События 1918–1921 годов оставили глубокий шрам в отношениях между крестьянством и государством. Гражданская война между ними вроде бы завершилась, но в 1920-е обе стороны смотрели друг на друга с подозрением. Крестьяне прибегали к повседневному пассивному сопротивлению — затягивали исполнение распоряжений, привычно «не понимали» инструкций, проявляли апатию и инертность, надеясь таким образом держать большевиков на расстоянии. По мере того как партия захватывала советскую администрацию в волостных центрах, крестьяне вообще отходили от Советов и политически сплачивались вокруг сельских общин.

Возрождение абсолютистского государства тем самым восстановило древнее разделение: волость вновь стала местом государственной или помещичьей власти, которая, по словам одного крестьянина, «интересуется только сбором налогов», а деревня оставалась собственным миром крестьян. За пределами волостных центров большевики почти не имели власти. Почти все партийцы были сосредоточены там, где требовались для работы зарождающегося

аппарата. Очень немногие сельские коммунисты действительно жили в деревнях и были связаны с крестьянством. Только 15 процентов сельских членов партии занимались земледелием; менее 10 процентов происходили из той местности, куда их направили. Партийные собрания обсуждали государственную политику, международные события и даже сексуальную этику — но почти никогда сельское хозяйство.

Не сильнее были и сельские Советы. Формально подчиненные волостной администрации, они состояли главным образом из крестьян и неохотно шли против интересов общины, от налогов которой зависел их бюджет. Жители деревни нередко специально выбирали в Совет простака или пьяницу, а то и бедняка, задолжавшего деревенским старикам, чтобы саботировать его работу. Это был старый крестьянский прием, применявшийся еще против волостной администрации до 1917 года. Большевики, как обычно неумело, ответили централизацией и сокращением числа сельских Советов. Стало лишь хуже: большинство деревень вообще осталось без Совета. К 1929 году один сельсовет в среднем пытался управлять девятью деревнями с общим населением 1 500 человек. Без телефонов, порой и без транспорта, его работники были фактически бессильны. Налоги не удавалось собирать, советские законы — исполнять. Сельская милиция была ничтожной: на одного милиционера в среднем приходилось около 20 000 человек в восемнадцати или даже двадцати деревнях.[28] Спустя десятилетие после 1917 года подавляющая часть села еще почти не ощутила советской власти.

Многие большевистские теоретики НЭПа — классический пример Бухарин — исходили из того, что рост достатка и культурного уровня деревни сам собой растворит эту политическую проблему. Это была ошибка. При мелком хозяйстве НЭПа политическая культура деревни становилась еще более отчетливо крестьянской, то есть принципиально противостоящей государству, и никакая пропаганда или учеба не могли преодолеть пропасть. Почему, в самом деле, более образованный крестьянин должен был легче подчиняться коммунистическому контролю? Сельская интеллигенция, единственная способная стать посредником между крестьянством и режимом, была крошечным островком в крестьянском океане, несла собственную городскую культуру и, судя по всему, вызывала у крестьян все больше недоверия.[29]

Чем дольше продолжался НЭП, тем сильнее становился разрыв между амбициями советского режима и его бессилием в деревне. Воинственные большевики все больше боялись, что революция выродится, утонет в «кулацкой грязи», если не начать новую гражданскую войну и не подчинить деревню городу. Здесь лежат корни сталинской гражданской войны против села — коллективизации. Не имея средств управлять деревней и тем более преобразовать ее по-социалистически, большевики решили ее уничтожить.

iii. Последняя борьба Ленина

Первые признаки болезни Ленина стали заметны в 1921 году, когда он начал жаловаться на головные боли и истощение. Врачи не могли поставить точный диагноз: болезнь была следствием не только физического, но и нервного надлома. Четыре года Ленин работал почти без отдыха, иногда по шестнадцать часов в сутки. Единственными настоящими передышками были лето 1917 года, когда он скрывался от Временного правительства, и несколько недель восстановления после покушения Каплан в августе 1918-го. Кризис 1920–1921 годов тяжело ударил по здоровью. Физические симптомы «ленинской ярости», как однажды назвала ее Крупская, — бессонница и раздражительность, головные боли и изнуряющая депрессия — вернулись во время ожесточенной борьбы с Рабочей оппозицией и восстаниями в стране. Кронштадтцы, рабочие и крестьяне, меньшевики, эсеры и духовенство, которых арестовывали и расстреливали тысячами, стали жертвами этой ярости.

К лету 1921 года Ленин снова победил, но признаки нервного истощения были видны всем. Он забывал слова, испытывал трудности с речью, двигался неровно. Одни врачи связывали это с отравлением свинцом от двух пуль Каплан, все еще находившихся в теле — одну из них весной 1922 года хирургически удалили из шеи. Другие подозревали паралич. 25 мая 1922 года опасения подтвердились: Ленин перенес первый тяжелый инсульт, правая половина тела почти полностью парализовалась, на время исчезла речь. Теперь он, по словам сестры Марии Ульяновой, понял, «что для него все кончено». Он просил Сталина дать яд, чтобы покончить с собой. «Он не хочет жить и не

может больше жить», — сказала Крупская Сталину. Она сама пыталась дать Ленину цианистый калий, но не решилась, и супруги решили обратиться к Сталину как к «твердому, стальному человеку без сентиментальности». Сталин, которому позднее смерть Ленина была бы выгодна, тогда отказал; Политбюро тоже проголосовало против. Пока живой Ленин был Сталину полезнее.[30]

Летом 1922 года, восстанавливаясь в Горках, Ленин занялся вопросом преемника. Для него, как для всякого диктатора, ревниво относившегося к собственной власти, это было мучительно: никто не казался достаточно достойным ее наследовать. Последние тексты Ленина ясно показывают, что он предпочитал коллективное руководство. Особенно он опасался личного соперничества Троцкого и Сталина, которое, как понимал Ленин, могло расколоть партию после его ухода; он пытался уравновесить одного другим.

В обоих он видел достоинства. Троцкий был блестящим оратором и администратором; больше других он способствовал победе в Гражданской войне. Но гордость и высокомерие — не говоря уже о меньшевистском прошлом и образе еврейского интеллектуала — делали его непопулярным в партии. И Военная, и Рабочая оппозиции во многом были направлены лично против него. Троцкий не был естественным «товарищем». Он предпочитал быть генералом собственной армии, а не полковником в коллективном командовании. Это и делало его чужим для рядовых партийцев. Будучи членом Политбюро, он никогда не занимал партийного поста и редко посещал партийные собрания. Мария Ульянова так передавала отношение Ленина: «Симпатии к Троцкому он не испытывал — слишком многое в его характере делало совместную работу чрезвычайно трудной. Но он был работящим и талантливым человеком, а для В. И. это было главное, поэтому он старался удерживать его рядом. Стоило ли — другой вопрос».[31]

Сталин, напротив, поначалу казался гораздо более подходящим для коллективного руководства. В годы Гражданской войны он набрал множество скучных и неблагодарных обязанностей, которых другие избегали: нарком по делам национальностей, глава Рабкрина, член Реввоенсовета, Политбюро и Оргбюро, руководитель Секретариата. Поэтому за ним закрепилась репутация скромной и трудолюбивой посредственности — той самой «серой фигуры», которую Суханов

описывал еще в 1917 году. Все партийные лидеры совершили одну и ту же ошибку: недооценили, какую власть и какие амбиции дают Сталину накопленные через эти должности связи и патронаж. Ленин не был исключением. Для человека столь нетерпимого он удивительно долго терпел многочисленные прегрешения Сталина, включая растущую грубость по отношению к себе, потому что считал его необходимым для сохранения партийного единства. Именно поэтому, по настоянию самого Сталина и, по-видимому, при поддержке Каменева, он согласился в апреле 1922 года создать для Сталина пост первого Генерального секретаря партии. Назначение стало решающим: оно открыло Сталину путь к власти. Когда Ленин понял это и попытался снять его, было уже поздно.[32]

Ключом к растущей власти Сталина был контроль над провинциальным партийным аппаратом. Как председатель Секретариата и единственный член Политбюро в Оргбюро, он мог продвигать друзей и устранять противников. Только в 1922 году Оргбюро и Секретариат назначили более 10 000 провинциальных чиновников, большинство — по личной рекомендации Сталина. В борьбе с Троцким в 1922–1923 годах именно они стали его главной опорой. Как и сам Сталин, многие происходили из самых низов и имели минимальное образование. Они не доверяли интеллектуалам вроде Троцкого и охотнее полагались на простые лозунги Сталина о пролетарском единстве и большевистской дисциплине.

Ленин мирился с московской системой назначений, считая ее средством против местных оппозиционных группировок. Как руководитель Секретариата Сталин уделял много времени выкорчевыванию потенциальных нарушителей спокойствия из провинциального аппарата. Он ежемесячно получал от ЧК — с 1922 года ГПУ — отчеты о местных руководителях. Борис Бажанов, личный секретарь Сталина, вспоминал, как тот ходил по огромному кремлевскому кабинету, попыхивая трубкой, а затем коротко приказывал снять одного секретаря и поставить на его место другого. К концу 1922 года под наблюдением Сталина находились почти все лидеры партии, включая членов Политбюро. Под видом защиты ленинской ортодоксии он собирал о соперниках сведения, в том числе

такие, которые они предпочли бы скрыть, и мог использовать их для обеспечения личной лояльности.[33]

Пока Ленин восстанавливался после инсульта, Россией управлял триумвират — Сталин, Каменев и Зиновьев, сложившийся летом 1922 года как анти-троцкистский блок. Перед партийными заседаниями трое встречались, согласовывали линию и инструктировали сторонников, как голосовать. Каменев давно симпатизировал Сталину: они вместе были в сибирской ссылке, а Сталин защищал его, когда Ленин пытался исключить Каменева за сопротивление Октябрьскому перевороту. Каменев мечтал возглавить партию и потому встал со Сталиным против Троцкого, которого считал более серьезным соперником, хотя Троцкий был его шурином. Зиновьев Сталина не любил, но ненависть к Троцкому была настолько сильной, что он объединился бы хоть с дьяволом, лишь бы уничтожить врага. Оба считали Сталина посредственностью и думали, что используют его для собственных притязаний. На деле Сталин использовал их; после разгрома Троцкого он уничтожил и их.

К сентябрю Ленин оправился и вернулся к работе. Он стал подозрительнее относиться к сталинским амбициям и, пытаясь уравновесить растущую власть, предложил сделать Троцкого своим заместителем в Совнаркоме. Последователи Троцкого позднее утверждали, что это превращало его в ленинского наследника. На самом деле многие считали должность второстепенной: реальная власть переходила к партийным органам. Возможно, поэтому Сталин спокойно поддержал предложение Ленина на Политбюро. Сам Троцкий возражал сильнее всех и написал на бюллетене: «Категорически отказываюсь». Он ссылался на то, что ранее уже критиковал сам принцип этой должности. Позже говорил и о другом мотиве: будучи евреем, он опасался, что назначение даст режиму лишний повод для антисемитской пропаганды. Но, вероятно, ему просто казалось унизительным быть всего лишь «заместителем председателя».

Это не значит, что Ленин разделял подобное пренебрежение к Совнаркому. Наоборот, он всегда ставил работу правительства выше партийной. Совнарком был его детищем, туда он направлял почти всю энергию, до такой степени, что порой удивительно мало знал о внутренней жизни партии. «Признаюсь, я не знаком с масштабами “назначенческой” работы Оргбюро», — писал он Сталину в октябре

1921 года. В этом заключалась трагедия Ленина. В последние месяцы активной политики, столкнувшись с ростом власти партийных органов, он все больше рассматривал Совнарком как средство разделить полномочия между партией и государством. Но с болезнью и уходом Ленина Совнарком неизбежно терял значение. Даже если бы Троцкий председательствовал вместо него, вероятно, было уже слишком поздно остановить переход власти к партийным органам в руках Сталина, и Троцкий это понимал.[34]

Подозрения Ленина усилились, когда в октябре Сталин предложил исключить Троцкого из Политбюро в наказание за высокомерный отказ от должности в Совнаркоме. По мере того как Ленин знакомился с деятельностью триумвирата, он видел все яснее: тот действует как замкнутая правящая клика и намерен вытеснить его самого. Особенно это проявлялось, когда Ленин из-за усталости раньше времени уходил с заседаний Политбюро, а трое после его ухода проводили важнейшие решения, о которых он узнавал лишь на следующий день. 8 декабря Ленин распорядился ограничить заседания Политбюро тремя часами и переносить все нерешенные вопросы на следующий день. Примерно тогда же, как позднее утверждал Троцкий, Ленин предложил ему создать «блок против бюрократии», то есть союз против Сталина и его базы в Оргбюро. Это правдоподобно: вскоре появился ленинский «Завет», главным предметом которого стали Сталин и его контроль над аппаратом. Троцкий уже критиковал партийную бюрократию, особенно Рабкрин и Оргбюро. Ленин совпадал с ним и в споре о внешней торговле, и в грузинском вопросе. К середине декабря Ленин и Троцкий, по-видимому, действительно сближались против Сталина. И внезапно, ночью 15 декабря, Ленин перенес второй тяжелый инсульт.[35]

Сталин немедленно взял под контроль врачей Ленина и, под предлогом ускорения выздоровления, добился решения ЦК фактически изолировать его от политики, ограничив посетителей и переписку. 24 декабря Политбюро постановило: «Ни друзья, ни окружающие не имеют права сообщать Владимиру Ильичу политических новостей, так как это может заставить его задумываться и волноваться». Прикованный к инвалидному креслу и получивший право диктовать лишь по «5–10 минут в день», Ленин оказался пленником Сталина. Две главные секретарши — Надежда Аллилуева, жена Сталина, и Лидия Фотиева —

докладывали Сталину все, что Ленин говорил. Сам Ленин, судя по последующим событиям, об этом не знал.

Сталин тем временем стал знатоком медицины, заказывая специальные книги. Он был уверен, что Ленин скоро умрет, и все открытее проявлял к нему презрение. «Ленину конец», — говорил он коллегам в декабре. Слова дошли до больного через Марию Ульянову. «Я еще не умер, — сказал ей брат, — а они во главе со Сталиным уже меня похоронили». Хотя позднее Сталин строил репутацию на своей особой близости к Ленину, истинное отношение выдало замечание 1924 года, когда после года ожидания Ленин наконец умер: «Даже умереть как настоящий вождь не смог!» На самом деле Ленин мог умереть раньше. В конце декабря он вновь просил яд, настолько его мучили ограничения. По словам Фотиевой, Сталин снова отказал. Вскоре, вероятно, он об этом пожалел: в короткие периоды разрешенной работы Ленин стал диктовать заметки к будущему съезду партии, в которых осуждал растущую власть Сталина и требовал его снятия.[36]

Эти отрывочные тексты, позже получившие название «Завещание Ленина», диктовались короткими сеансами с 23 декабря по 4 января — иногда по телефону стенографистке, сидевшей в соседней комнате в наушниках. Ленин велел хранить их в строжайшей тайне, запечатывать в конверты и открывать только ему самому или Крупской. Но старшие секретари одновременно были информаторами Сталина и показывали ему записи.[37] Во всех этих последних текстах чувствуется глубокое отчаяние от того, во что превратилась революция. Лихорадочный стиль, гиперболы, навязчивые повторения выдают не только мозг, разрушаемый параличом, но и мучительное сознание — возможно, понимание того, что единственная цель, которой он посвятил четыре десятилетия жизни, обернулась чудовищной ошибкой.

В последних заметках Ленина постоянно преследовала культурная отсталость России. Словно он, хотя бы только перед самим собой, признавал, что меньшевики были правы: Россия не готова к социализму, потому что массы не обладают образованием, необходимым, чтобы заменить буржуазию, а попытка ускорить этот процесс государственной силой неизбежно ведет к тирании. Не это ли он имел в виду, когда предупреждал, что большевикам еще надо «научиться управлять»?

Последние заметки Ленина вращались вокруг трех проблем, и в каждой главным виновником был Сталин. Первая — грузинский вопрос и устройство союза России с национальными окраинами. Несмотря на собственное грузинское происхождение, Сталин был одним из главных носителей того великорусского шовинизма, который Ленин критиковал еще в Гражданскую войну. Многие сталинские сторонники в партии мыслили так же имперски. Они отождествляли заселение национальных окраин — особенно Украины — русскими рабочими и подавление местного крестьянства, объявленного «мелкобуржуазными националистами», с укреплением коммунистической власти.

Как нарком по делам национальностей, Сталин в конце сентября предложил, чтобы три нерусские республики — Украина, Белоруссия и Закавказье — вошли в состав России лишь как автономные области, а львиная доля власти осталась у федерального правительства в Москве. «План автономизации» фактически восстанавливал «единую и неделимую Россию» царской империи. Это совершенно не соответствовало тому, что Ленин имел в виду, поручая Сталину разработку проекта федерации. Ленин настаивал, что исторические обиды нерусских народов на Россию следует смягчить, предоставив крупным этническим группам статус «суверенных» республик, меньшим — автономных, с широкими культурными правами и формальным правом, каким бы условным оно ни было, выйти из Союза.

Планы Сталина вызвали резкое сопротивление грузинских большевиков: их и без того слабая политическая база зависела от признания национальных прав. Еще в марте 1922 года Сталин и его земляк Орджоникидзе, глава московского Кавказского бюро, против воли грузинского руководства заставили Грузию объединиться с Арменией и Азербайджаном в Закавказскую федерацию. Грузинским лидерам казалось, что Сталин и его ставленник обращаются с Грузией как с собственным феодом. Они отвергли автономизацию и пригрозили отставкой, если Москва ее навяжет.[147]

Здесь вмешался Ленин. Сначала он поддержал Сталина. Хотя сами предложения считал нежелательными и добился их замены

[147] Оппозиция других республик была осторожнее: украинцы отказались давать заключение по предложениям Сталина, а белорусы заявили, что будут ориентироваться на решение Украины.

федеральным союзом, позднее оформленным Союзным договором, грузинский ультиматум казался ему недопустимым, о чем он резко телеграфировал 21 октября. На следующий день весь ЦК Компартии Грузии подал в отставку — беспрецедентный случай в истории партии. Но с конца ноября, когда Ленин в целом начал отворачиваться от Сталина, позиция изменилась. Новые сведения из Грузии заставили его пересмотреть вопрос. Он направил в Тифлис комиссию Дзержинского и Рыкова и узнал, что в ходе ссоры Орджоникидзе избил видного грузинского большевика, назвавшего его «сталинской задницей». Ленин пришел в ярость. Это подтвердило его впечатление о растущей грубости Сталина. В заметках к съезду 30–31 декабря он сравнивал Сталина со старорежимным русским шовинистом, «грубияном и держимордой», умеющим лишь запугивать и подчинять малые народы вроде грузин, тогда как от российских правителей требовались «глубокая осторожность, чуткость и готовность к компромиссу» с их законными национальными стремлениями. Ленин даже утверждал, что в социалистической федерации права «угнетенных наций» вроде Грузии должны быть шире, чем права «нации угнетающей», то есть России, чтобы «компенсировать фактическое неравенство». В письме от 8 января, последнем в его жизни, он обещал грузинской оппозиции следить за ее делом «всем сердцем».[38]

Вторая большая забота «Завещания» — ограничить растущую власть высших партийных органов, уже находившихся под сталинским контролем. Два года назад, когда собственная власть Ленина была неоспорима, он отвергал предложения «демократических централистов» о большей демократии и гласности внутри партии; теперь, когда главным диктатором становился Сталин, Ленин предложил почти то же. Он хотел демократизировать ЦК, введя туда 50–100 новых членов из обычных рабочих и крестьян низовых партийных организаций. Чтобы сделать Политбюро подотчетнее, предлагал дать членам ЦК право присутствовать на его заседаниях и знакомиться с документами. Центральную контрольную комиссию следовало объединить с Рабкрином, сократить до 300–400 сознательных рабочих и наделить правом проверять деятельность Политбюро. Это была запоздалая попытка — в чем-то напоминающая горбачевскую перестройку — сократить пропасть между партийными начальниками и

рядовыми, сделать руководство более демократичным, открытым и эффективным, не ослабляя при этом общего контроля партии над обществом.

Третья и самая взрывоопасная тема последних текстов Ленина — преемник. В заметках 24 декабря он выражал тревогу из-за раскола между Троцким и Сталиным и, словно подчеркивая предпочтение коллективного руководства, перечислял недостатки ведущих фигур. Каменев и Зиновьев были скомпрометированы сопротивлением Ленину в октябре. Бухарин — «любимец всей партии», но его теоретические взгляды «могут быть отнесены к вполне марксистским лишь с большими сомнениями». Троцкий — «лично, пожалуй, самый способный человек в настоящем ЦК», однако отличается «чрезмерной самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела».

Самая сокрушительная критика предназначалась Сталину. Став генеральным секретарем, он «сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью». 4 января Ленин добавил:

> Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в нашей среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним преимуществом, именно: более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и т. д.[39]

Ленин давал ясно понять: Сталин должен уйти.

Решимость усилилась в начале марта, когда Ленин узнал об инциденте между Сталиным и Крупской, случившемся несколькими неделями раньше и скрытом от него. 21 декабря Ленин продиктовал Крупской письмо Троцкому, поздравляя его с успешной тактикой в борьбе против Сталина по вопросу монополии внешней торговли. Информаторы донесли Сталину. Он увидел в письме доказательство «блока» Ленина и Троцкого против себя. На следующий день позвонил Крупской и, по ее словам, обрушил на нее «грубую брань», обвиняя в нарушении врачебного режима Ленина — хотя врачи диктовку

разрешили, — и угрожая расследованием Центральной контрольной комиссии. После разговора Крупская побледнела, разрыдалась и, как рассказывали, каталась по полу. Сталинский террор начинался.

Когда 5 марта Ленину наконец сообщили об этом, он продиктовал Сталину письмо с требованием извиниться за «грубость», иначе возможен «разрыв отношений между нами». Сталин, уже совершенно опьяненный властью, едва скрывал презрение в неохотном ответе.[148] Крупская, напоминал он Ленину, «не только ваша жена, но и мой старый партийный товарищ». В разговоре он якобы не был груб, а происшедшее — «не более чем глупое недоразумение… Впрочем, если вы считаете, что для сохранения “отношений” я должен “взять назад” сказанные слова, могу взять их назад, хотя не понимаю, что тут вообще происходит, где моя “вина” и чего, собственно, от меня хотят».[40]

Инцидент потряс Ленина. За ночь ему стало хуже. Врач 6 марта записал: «Владимир Ильич лежал с выражением испуга, растерянности; глаза печальные, вопрошающие, слезы текут по лицу. Владимир Ильич начал волноваться, пытался говорить, но слова не выходили, и только повторял: “Ах черт, ах черт. Старая болезнь вернулась”». Через три дня случился третий тяжелый инсульт. Он лишил Ленина речи и тем самым политической жизни. До смерти, наступившей через десять месяцев, он мог произносить лишь отдельные слоги: «вот-вот» и «съезд-съезд».[41]

В мае Ленина перевезли в Горки, где за ним наблюдала группа врачей. В хорошую погоду его вывозили на улицу. Племянник однажды увидел его «сидящим в инвалидном кресле в белой летней рубахе с открытым воротом… Голова была прикрыта довольно старой кепкой, правая рука как-то неестественно лежала на коленях. Он почти не заметил меня, хотя я стоял совершенно открыто посреди поляны». Крупская читала ему — больше всего его успокаивали Горький и Толстой — и безуспешно пыталась заново научить говорить. К сентябрю с тростью и ортопедической обувью Ленин едва мог ходить. Иногда сам толкал кресло по дорожкам. Он начал читать московские газеты и с помощью Крупской немного писать левой рукой. Осенью его навестил Бухарин и позднее рассказывал Борису Николаевскому, что Ленин сильно тревожился о преемнике и о статьях, которые уже не мог

[148] Этот ответ не публиковался до 1989 года.

написать. Возвращение к политике было невозможно. Ленин-политик уже умер.[42]

Устранение Ленина было именно тем, что требовалось Сталину. Через своих информаторов он узнал о тайном письме Ленина XII съезду партии. Если хотел удержаться в должности, необходимо было не допустить его оглашения. 9 марта Сталин как генеральный секретарь перенес съезд с середины марта на середину апреля. Троцкий, который больше всех выигрывал от возможного падения Сталина, легко согласился. Он даже успокоил Каменева: хотя «по существу» согласен с Лениным — по грузинскому вопросу и партийной реформе, — он «за сохранение статус-кво» и «против снятия Сталина», если будет «радикальное изменение» политики. Троцкий завершал надеждой: «Пусть больше не будет интриг, а будет честное сотрудничество». Результатом этого «гнилого компромисса» — именно того, чего Ленин предостерегал не делать, — стало торжество Сталина на съезде, а не его падение. Ленинские записки о национальном вопросе и партийной реформе раздали делегатам, обсудили и затем фактически отвергли. Большинство, вероятно, разделяло сталинское мнение: когда партии больше всего нужно единство, не время тратить силы на обсуждение демократии. Стремление заставить замолчать Троцкого и вообще всякую критику Политбюро само по себе стало важным фактором восхождения Сталина.[43] Записки о преемнике, включая требование снять Сталина, на съезде не прочитали и скрывали до 1956 года.[149]

Поведение Троцкого трудно объяснить. В решающий момент борьбы, когда он мог одержать крупную победу, он каким-то образом организовал собственное поражение. Из сорока членов нового ЦК, избранных съездом, лишь троих можно было считать его сторонниками. Возможно, чувствуя растущую изоляцию после инсульта Ленина, Троцкий решил, что единственный выход — умиротворить триумвират. В мемуарах он постоянно говорит о заговоре трех лидеров против него.

---

[149] Содержание «Завещания» довели до сведения делегатов XIII съезда партии в 1924 году. Сталин предложил уйти в отставку, но по предложению Зиновьева было решено «не ворошить прошлое». Конфликт с Лениным объясняли личной ссорой, намекая, что Ленин был тяжело болен и не вполне в здравом рассудке. Полностью эти последние тексты в России при жизни Сталина не публиковались, хотя отдельные фрагменты появлялись в партийной печати 1920-х. Троцкий и его сторонники широко распространяли их содержание на Западе (Volkogonov, *Stalin*, ch. II).

Опасность действительно существовала: открытый вызов мог привести к обвинению во «фракционности», а после 1921 года это было политическим смертным приговором. Но есть доля правды и в утверждении, что Троцкому не хватало воли к борьбе. В его характере была внутренняя слабость, связанная с гордостью. Столкнувшись с перспективой поражения, он предпочитал не состязаться. Один старый друг рассказывал о шахматной партии в Нью-Йорке. Троцкий сам вызвал его на игру, «очевидно считая себя хорошим шахматистом», но оказался слаб. Проиграв, вспылил и отказался играть снова.[44] Этот небольшой эпизод был типичен: столкнувшись с более сильным соперником, способным его переиграть, Троцкий предпочитал отступить и обиженно замкнуться, лишь бы не терять лицо в невыгодной борьбе.

В некотором смысле именно это он сделал дальше. Вместо прямой борьбы со Сталиным в высших партийных органах Троцкий поднял знамя рядовых большевиков и попытался выступить защитником партийной демократии против «полицейского режима» руководства. Это был отчаянный ход — Троцкий сам никогда не славился демократическими привычками, а риск обвинения во фракционности был смертельно опасен, — но и положение было отчаянным. 8 октября он направил в ЦК открытое письмо, обвиняя руководство в уничтожении внутрипартийной демократии:

> Участие партийных масс в действительном формировании партийной организации становится все более ничтожным. За последний год или около того сложилась своеобразная секретарская психология, главной чертой которой является убеждение, будто секретарь способен решить любой вопрос, даже не зная основных фактов… Возник очень широкий слой партийных работников в государственном и партийном аппарате, которые полностью отказываются от собственного партийного мнения, по крайней мере от его открытого выражения, словно предполагая, что именно аппарат секретарской иерархии формулирует партийное мнение и политику. Под этим слоем воздерживающихся от мнения находятся широкие партийные массы, для которых каждое решение уже спускается в форме вызова или приказа.

Троцкого поддержала так называемая «группа 46», среди наиболее известных участников были Антонов-Овсеенко, Пятаков и Преображенский. Они тоже направили протест в ЦК. Атмосфера страха

в партии, утверждали они, стала такой, что даже старые товарищи «боятся разговаривать друг с другом».[45]

Руководство предсказуемо обвинило Троцкого в создании опасной «платформы», способной привести к нелегальной фракции. Не отвечая по существу на политическую критику, Политбюро 19 октября выпустило яростную персональную атаку. Троцкого обвиняли в высокомерии, в том, что он ставит себя выше повседневной партийной работы и действует по принципу «все или ничего» — «дайте мне все, иначе я вам ничего не дам». Через четыре дня Троцкий направил пленуму ЦК вызывающее опровержение обвинений во фракционности. 26 октября он лично явился на пленум.

Долгое время считалось, что на этом решающем заседании Троцкого не было. Дойчер и Бруэ, его главные биографы, писали, что он болел гриппом. На самом деле Троцкий присутствовал и произнес настолько сильную защитительную речь, что Бажанов, секретарь Сталина, которому поручили ее стенографировать, спрятал записи в личном архиве. Их нашли только в 1990 году. Речь была страстным отрицанием обвинений в «бонапартизме». Именно тогда Троцкий поднял вопрос о своем еврейском происхождении. Доказывая отсутствие личных амбиций, он напомнил о двух случаях, когда отказывался от высоких должностей, предложенных Лениным: в октябре 1917-го — наркома внутренних дел, в сентябре 1922-го — заместителя председателя Совнаркома. Причина, говорил он, была в том, что при существовавшем антисемитизме назначение еврея на такой высокий пост могло быть политически вредным. В первый раз Ленин назвал этот аргумент «пустяком»; во второй, по словам Троцкого, «согласился со мной».[46] Намек был очевиден: сопротивление ему в партии — и это признавал Ленин — отчасти связано с тем, что он еврей. Для Троцкого это был трагический момент не только как политика, но и как человека: никогда не ощущавший себя прежде прежде всего евреем, в переломный момент жизни, осужденный партией, он оказался вынужден опереться на это происхождение. Это показывало, насколько он одинок.

Эмоциональная защита не впечатлила делегатов, большинство которых было подобрано Сталиным. Пленум 102 голосами против двух вынес Троцкому порицание за «фракционность». Каменев и Зиновьев требовали исключить его из партии; Сталин, стремившийся выглядеть

голосом умеренности, счел это преждевременным, и предложение отклонили.[47] Спешить ему было незачем. Троцкий как крупная сила был уже сломлен; исключение, состоявшееся в 1927 году, могло подождать. Человек, способный остановить Сталина, был устранен.

Обществу не сообщали, что Ленин умирает. До самого конца газеты продолжали писать, что он выздоравливает после тяжелой болезни — такой, от которой любой простой смертный давно бы умер. Изобретая это «чудесное выздоровление», режим стремился сохранить культ Ленина, на котором все сильнее основывал собственную легитимность. Сам термин «ленинизм» впервые вошел в употребление в 1923 году: триумвират представлял себя истинным защитником ленинизма против «антиленинца» Троцкого. Тогда же началась подготовка первого собрания сочинений - *Ленинского сборника*, священного писания новой ортодоксии, и создание Института Ленина, официально открытого в 1924 году, с архивом, библиотекой и музеем ленинианы.

Появился поток житийных книг, создававших мифы и легенды: Ленин как бедный крестьянин или рабочий, Ленин — любитель животных и детей, Ленин — неутомимый труженик ради народного счастья. Все это должно было сделать режим популярнее. Огромные портреты Ленина стали вывешивать на фасадах общественных зданий; в одном московском парке даже устроили «живой портрет» из цветочных клумб. На фабриках и в учреждениях появились «ленинские уголки» с утвержденными фотографиями и предметами, иллюстрировавшими его достижения.[48] По мере того как умирал Ленин-человек, рождался Ленин-бог. Его частная жизнь была национализирована и превращена в священный институт, освящавший уже сталинский режим.

Ленин умер 21 января 1924 года. В четыре часа дня случился сильнейший инсульт, он впал в глубокую кому и скончался незадолго до семи вечера. Помимо семьи и врачей, единственным свидетелем смерти был Бухарин. В 1937 году, умоляя пощадить собственную жизнь, он утверждал, что Ленин «умер у меня на руках».[49]

На следующий день Калинин сообщил о смерти делегатам XI Всероссийского съезда Советов. В зале раздались крики и рыдания. Возможно, именно неожиданность новости вызвала настоящую народную скорбь: театры и магазины закрылись на неделю; в витринах

появились портреты Ленина с красными и черными лентами; крестьяне приходили в Горки попрощаться; тысячи людей в лютый мороз выстроились вдоль московских улиц от Павелецкого вокзала до Колонного зала, куда привезли тело. За следующие три дня около полумиллиона человек часами стояли в очереди, чтобы пройти мимо гроба. Школы и фабрики, воинские части и корабли, города и деревни присылали тысячи венков и траурных обращений.

В последующие месяцы началась лихорадка памятников и переименований. В Волгограде, например, поставили Ленина на гигантском винте. Петроград стал Ленинградом. Целые фабрики обещали вступить в партию — один агитатор называл это «лучшим венком на гроб умершего вождя» — и за несколько недель после смерти в так называемый «ленинский призыв» записали 100 000 рабочих. Многие западные журналисты видели в «национальном трауре» посмертный вотум доверия режиму. Другие считали его катарсическим выходом накопившейся за годы человеческих страданий скорби. Люди рыдали истерически, сотни падали в обморок — явление, трудно поддающееся рациональному объяснению. Возможно, это показывало, что культ Ленина уже действовал: как бы люди ни ненавидели его режим, они все еще любили «доброго Ленина», подобно тому как в старые времена презирали бояр, но любили «царя-батюшку».

Похороны состоялись в следующее воскресенье при морозе минус 35 градусов. Сталин возглавлял почетный караул, несший открытый гроб из Колонного зала на Красную площадь, где его установили на деревянном помосте. Оркестр Большого театра сыграл траурный марш Шопена, затем старый революционный гимн «Вы жертвою пали» и «Интернационал». Шесть часов колонна за колонной — всего, по оценке, около полумиллиона человек — проходили мимо в мрачном молчании, склоняя знамена. Ровно в четыре, когда гроб начали медленно опускать в склеп, по всей России завыли сирены и фабричные гудки, загрохотали орудия и ружья, словно страна издала единый гигантский стон. По радио прозвучало: «Встаньте, товарищи, Ильича опускают в могилу». Затем наступила тишина и все остановилось — поезда, корабли, фабрики, — пока радио снова не объявило: «Ленин умер — но ленинизм жив!»

В завещании Ленин просил похоронить его рядом с могилой матери в Петрограде. Этого хотела и семья. Но Сталин настаивал на бальзамировании. Если культ Ленина должен был жить, если следовало доказать, что «ленинизм жив», требовалось выставленное тело, которое, подобно мощам святых, не подвергалось бы тлению. Сталин провел решение через Политбюро вопреки возражениям Троцкого, Бухарина и Каменева. Идею отчасти вдохновило открытие в 1922 году гробницы Тутанхамона. «Известия» сравнивали похороны Ленина с погребениями «основателей великих государств древности». Но, вероятно, еще больше здесь было от сталинского византийского понимания православного обряда. Троцкий, потрясенный замыслом, сравнивал его с культом реликвий Средневековья: «Раньше были мощи Сергия Радонежского и Серафима Саровского, теперь их хотят заменить мощами Владимира Ильича».

Сначала тело пытались сохранить холодом, но оно начало разлагаться. 26 февраля, через пять недель после смерти, создали специальную группу ученых — «Комиссию по увековечению», которой поручили найти жидкость для бальзамирования. После нескольких недель круглосуточной работы была найдена формула, предположительно включавшая глицерин, спирт и другие вещества; точный состав до сих пор сохраняется в тайне. Забальзамированное тело положили в деревянный склеп, позднее замененный гранитным мавзолеем у Кремлевской стены. В августе 1924 года мавзолей открыли для публики.[50]

Мозг Ленина извлекли и передали в Институт Ленина. Группе ученых поручили найти «материальную основу его гениальности» и доказать, что мозг представляет «высшую ступень человеческой эволюции». Его разрезали примерно на 30 000 фрагментов, каждый хранился между стеклами в тщательно контролируемых условиях, чтобы будущие поколения ученых могли исследовать его тайны. Позднее к коллекции добавили мозги других «бесспорных гениев» — Кирова, Калинина, Горького, Маяковского, Эйзенштейна и самого Сталина. Так возник Институт мозга, существующий в Москве и сегодня. В 1994 году он обнародовал окончательный результат исследования Ленина: мозг был совершенно обычным.[51] Что лишь

показывает: иногда и обычный мозг способен породить необыкновенные последствия.

Что было бы, проживи Ленин дольше? Была ли Россия уже неизбежно поставлена на сталинский путь? Или НЭП и последние ленинские записки открывали иной выход? Историкам вообще не следует слишком увлекаться гипотетическими вопросами: трудно установить даже то, что действительно случилось, не говоря о том, что могло случиться. Но последствия борьбы за ленинское наследство были столь велики, что несколько слов предположения уместны. Ведь история революции слишком часто писалась из перспективы сталинской России, и потому стоит спросить: существовала ли реальная альтернатива?

С одной стороны, очевидно, что основные элементы сталинского режима — однопартийное государство, система террора, культ личности — уже существовали к 1924 году. Партийный аппарат в основном был послушным инструментом Сталина. Большинство провинциальных секретарей назначил он сам как глава Оргбюро еще в годы Гражданской войны. Они разделяли его плебейскую ненависть к специалистам и интеллигенции, воспринимали риторику пролетарской солидарности и русского национализма и в вопросах идеологии охотно подчинялись великому вождю. В конце концов, прежде они были подданными царей. Последняя ленинская борьба за «демократическую» реформу партии едва ли могла изменить эту культуру. Его реформы оставались бюрократическими: они касались лишь внутреннего устройства диктатуры и не затрагивали настоящую проблему НЭПа — натянутые отношения режима с обществом, особенно с непокоренной деревней. Без подлинной демократизации, без коренного изменения большевистского отношения к власти НЭП был обречен. Экономическая свобода и диктатура несовместимы в долгосрочной перспективе.

С другой стороны, между ленинским и сталинским режимами существовали принципиальные различия. При Ленине, прежде всего, убивали меньше. И несмотря на запрет фракций, партия еще оставляла место товарищеским спорам. Троцкий и Бухарин яростно спорили о стратегии НЭПа: первый был готов выжимать продовольствие из крестьян, если сбои рынка тормозили индустриализацию; второй

соглашался на более медленный темп ради сохранения рыночных отношений с деревней. Но это все еще были интеллектуальные дискуссии. Оба поддерживали НЭП, и, как бы они ни расходились, ни одному не пришло бы в голову использовать спор как повод убить оппонента или отправить его в Сибирь. На это был способен только Сталин. Только он понял, что политические споры и соперничество настолько ослепили Троцкого и Бухарина, что одного можно использовать для уничтожения другого.

В этом смысле личная роль Сталина была решающим фактором — как, по причине отсутствия, решающей была и роль Ленина. Если бы последний инсульт не помешал Ленину выступить на съезде 1923 года, сегодня имя Сталина, возможно, встречалось бы лишь в сносках русских исторических книг. Но это «если», если угодно, находилось в руках Провидения; а перед нами история, а не богословие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Я не верю, что в XX веке существует такое понятие, как “преданный народ”, — писал Горький Ромену Роллану в 1922 году. — Идея “преданного народа” - лишь легенда. Даже в Африке есть только народы, которые еще не организованы и потому политически бессильны».[1] В горьковском понимании Русской революции народ не был ее обманутой жертвой. Его трагедия проистекала скорее из наследия собственной культурной отсталости, чем из злой воли каких-то «чуждых» большевиков. Народ был не только жертвой революции, но и участником ее трагедии.

Для русских в конце XX века это, возможно, болезненный урок. Семьдесят лет коммунистического гнета, казалось бы, дают им право видеть себя жертвами. Но будущее России как демократической страны во многом зависит от способности русских честно взглянуть на недавнее прошлое; это предполагает признание того, что советская система, как бы жестоко она ни угнетала население, выросла на русской почве. Слабость демократической культуры позволила большевизму пустить корни. Это было наследием русской истории — веков крепостничества и самодержавия, державших простых людей в бессилии и пассивности. «И народ безмолвствовал» — русская формула, описывающая значительную часть этой истории. Да, это была трагедия народа; но трагедия, которую сам народ помог создать. Русские оказались пленниками тирании собственной истории.

«Мы рабы потому, что не умеем освободить себя», — писал когда-то Герцен. Если Русская революция и оставила один главный урок, то он состоял в том, что народ не сумел освободить себя. Он не стал собственным политическим хозяином, не сумел перестать быть подданным императора и превратиться в гражданина. Слова Керенского 1917 года, что русский народ, возможно, всего лишь «взбунтовавшиеся рабы», преследовали революцию в последующие годы. Народ оказался способен разрушить старую систему, но не построить собственную новую. Ни одна из демократических организаций, созданных до Октября 1917 года, не пережила более нескольких лет большевистской власти, во всяком случае в демократическом виде. К 1921 году, если не

раньше, революция замкнула круг: над Россией установилось новое самодержавие, во многом напоминавшее старое.

Чтобы понять поражение демократии, нужно вернуться к русской истории. Века крепостничества и самодержавия не позволили простому человеку приобрести сознание гражданина. От крепостной культуры ведет прямая линия к большевистскому деспотизму. Абстрактное понятие «политической нации», конституционного порядка гражданских прав, лежавшее в основе Французской революции, оставалось в значительной мере чуждым русскому крестьянству, замкнутому в изолированном деревенском мире. Народное представление о власти в России по-прежнему строилось вокруг насильственного господства и почти религиозного авторитета, унаследованного от крепостничества и самодержавия, а не вокруг современного правового государства, распределяющего права и обязанности между гражданами.

Та повседневная власть, которую знал крестьянин — земский начальник, помещик, полиция, — была произвольной и насильственной. Защищаясь от нее, крестьянин обращался не к закону — более того, сам воспроизводил эту деспотическую модель в жестоком обращении с женой и детьми, — а к уклонению от власти. Свобода для крестьянина означала автономию, свободу от государства. Но именно это почти неизбежно вело к появлению нового принудительного государства, потому что анархическая тяга к независимости делала деревню практически неуправляемой. В 1917 году бывали моменты, когда сами крестьяне просили «твердой руки», «народного самодержавия» Советов, чтобы навести порядок в революционной деревне.[2] Крестьянский анархизм часто скрывался внутри кокона авторитаризма. В русской культуре власть понималась не через право, а через принуждение и господство. Вопрос состоял в том, кто кого — «кто кого?», как выразился Ленин. В этом смысле революция стала, по словам князя Львова в кровавое лето 1917 года, «местью крепостных» и привела к массовому террору Гражданской войны.

Исход мог быть иным. В последние десятилетия старого режима формировалась общественная сфера, которая при достаточном времени и свободе могла превратить Россию в современное конституционное общество. Институты гражданского общества — общественные

организации, газеты, партии — росли стремительно. Западные представления о гражданстве, законе и частной собственности начинали укореняться. Даже крестьянство не оставалось полностью в стороне, что показывает история реформаторской деятельности Семенова в Андреевском. Конечно, новая политическая культура была хрупкой и охватывала главным образом небольшой городской либеральный слой; события 1905 года показали, насколько легко ее могла смести кровавая «месть крепостных». Но признаков мирной модернизации было достаточно, чтобы предполагать возможность ненасильственного решения вопроса о власти.

Все зависело от готовности царского режима проводить реформы. И здесь возникала главная проблема. Последние два царя были глубоко враждебны современному конституционному строю. Когда Россия двигалась к XX веку, они стремились вернуть ее в XVII, править из двора и ограничивать модернизирующее влияние бюрократии. Архаические привилегии дворянства все упорнее защищались двором и его сторонниками от логики современного социального порядка, основанного на собственности, которую пытался развить Столыпин. В результате насильственная крестьянская революция становилась почти неизбежной. Гражданские свободы и парламентские права, вырванные у царя в октябре 1905 года, постепенно были отобраны обратно после того, как революционная опасность миновала, и конституционное решение вопроса о власти стало практически невозможным.

Снова и снова упрямый отказ самодержавия идти на реформы превращал обычную политическую проблему в революционный кризис. Порядочных либералов вроде князя Львова идиотская политика властей, блокировавших инициативы патриотических общественных организаций, таких как земства, толкала в революционный лагерь. Самообразовывающиеся рабочие вроде Канатчикова, лишенные права защищать классовые интересы через легальные партии и профсоюзы, уходили в подполье. Нерусские народы, первоначально добивавшиеся расширения культурных прав, политика русификации вынуждала требовать независимости. Падение царского режима не было неизбежным; но собственная глупость сделала его таким.

Первая мировая война стала гигантским испытанием современного государства, и царская Россия — единственная из крупных европейских

держав, не успевшая модернизироваться до войны, — почти неизбежно должна была его провалить. Военное руководство слишком зависело от придворной аристократии, чтобы действительно способные генералы вроде Брусилова могли определять военную политику страны. Военно-промышленная система, если воспользоваться термином холодной войны, была слишком тесно и коррумпированно связана с бюрократией, чтобы создать конкурентоспособную военную экономику. Сам режим слишком ревниво охранял свои полномочия, чтобы позволить общественной инициативе укреплять оборону так, как это происходило в других странах.

Но самым большим провалом была неспособность разбудить патриотизм крестьян-солдат. Большинство чувствовало мало обязательств перед Россией за пределами своей губернии и еще меньше — перед царем. Это было окончательным доказательством того, что режим так и не создал современного государства: обычный крестьянин не чувствовал себя его гражданином и субъектом закона. Царизм заплатил за это падением. По-своему заплатили и демократические лидеры 1917 года. Они тоже связали судьбу с продолжением войны в наивной надежде, что «патриотические массы», получив свободу, наконец исполнят долг перед нацией. Но вера в «демократическую нацию» оказалась не менее иллюзорной. Летнее наступление, как и предыдущая война, лишь подчеркнуло существование двух России: привилегированной России офицеров и крестьянской России солдат, которым вскоре предстояло воевать друг с другом в Гражданской войне.

1917 год был историей крушения ошибочных идеалов. Либералы вроде Львова возлагали все надежды на власть закона. Они верили, что проблемы России можно мирно решить парламентскими средствами. Даже для такого оптимиста, как Львов, это было надеждой вопреки очевидности. Короткий опыт парламентаризма 1906–1914 годов почти не убедил простой народ в том, что общенациональный парламент способен работать в его интересах. Люди гораздо больше доверяли собственным классовым организациям — Советам, солдатским комитетам, крестьянским сходам. Эсеры убедились в этом, когда народ не поднялся на защиту Учредительного собрания в январе 1918 года.

Конституционный этап революции по существу исчерпал себя уже к 1914 году. Либеральные думские партии не смогли удовлетворить

требования рабочих и крестьян о социальных реформах; их электоральная база сокращалась; левые партии, строившие популярность на отказе от коалиции с буржуазией, после 1912 года усиливались. Реакционный, но дальновидный министр Дурново еще в 1914 году предупреждал царя: передача власти Думе после военного поражения почти неизбежно закончится насильственной социальной революцией, поскольку массы презирают либеральную буржуазию и не разделяют ее веры в политическую реформу. Социальная поляризация войны сделала это пророчество еще убедительнее. К концу 1916 года даже охранке было ясно: либеральный думский проект исчерпан и остаются лишь два варианта — репрессии или социальная революция.

И все же либералы 1917 года и демократические социалисты, заставившие их взять власть, продолжали верить, что России можно навязать западное конституционное решение и что оно каким-то образом выстоит в условиях тотальной войны и распада общества. Насколько наивными могут быть политики?

Ленин с полным основанием мог назвать это «конституционной иллюзией либералов». Она состояла в почти мистической вере — особенно сильной у князя Львова — в западную демократию, плохо приспособленную к революционной России. Попытки либералов навязать России 1917 года государственную дисциплину и подогнать ее под образец 1789-го лишь ускорили разрушение всякой власти. Попытка провести военное наступление привела к развалу армии; стремление регулировать собственность общегосударственными законами только ускорило крестьянские захваты земли. В ответ на государство, все сильнее воспринимавшееся как «буржуазное», простые люди проводили собственные местные революции.

Именно это было главным притягательным смыслом советской власти, по крайней мере в ранний период, до того как большевики подчинили местные Советы. Она означала непосредственное самоуправление рабочих на фабриках, солдат в полках, крестьян в деревнях — и власть, которую это давало над прежними хозяевами и классовыми врагами.

Удержаться в условиях 1917 года могла, вероятно, лишь демократия, вобравшая в себя элементы этой социальной революции. Руководители Советов из-за догматической веры в необходимость «буржуазной

революции» упустили уникальный шанс взять власть через Советы и, возможно, предотвратить полномасштабную Гражданскую войну, соединив советскую власть с другими общественными институтами — земствами и городскими думами — под верховенством Учредительного собрания. Такое решение могло устроить умеренных большевиков вроде Каменева, левых меньшевиков вроде Мартова и многих левых эсеров. Оно, несомненно, было бы хрупким: Ленин и Керенский его бы не приняли, а справа возникло бы вооруженное сопротивление. Какой-то формы гражданской войны избежать, возможно, было нельзя. Но демократический компромисс, удовлетворявший социальные требования масс, был, пожалуй, единственным способом уменьшить масштабы войны. И единственным шансом остановить большевиков.

Большевизм был глубоко русским явлением. Вера в решительное действие, убеждение, вопреки Гегелю и Марксу, что революция может «перепрыгнуть» через ступени исторического развития, помещали его в русскую мессианскую традицию. Лозунг «Вся власть Советам!», который в первые месяцы большевистской власти означал прямое самоуправление крестьян, солдат и рабочих, легитимировал анархические стремления масс и институционализировал новую пугачевщину — беспощадный бунт против государства и цивилизации, который Горький, как Пушкин столетием раньше, воспринимал как проявление русского варварства.

Большевистский террор поднялся снизу. Он начался как часть социальной революции, как средство кровавой мести низших классов бывшим господам и классовым врагам. Деникин отмечал почти «безграничную ненависть» ко всему, что стояло выше толпы, ко всякому признаку достатка; в ней проявлялись зависть и ненависть, накопленные низами не только за три года войны, но и за века. Большевики не создали эту ненависть, но поощряли ее лозунгом «Грабь награбленное!». Они использовали ее, чтобы разрушить старую социальную систему, мобилизовать низы против белых и интервентов и построить террористическую диктатуру. Взамен режим получил сильную эмоциональную поддержку всех униженных и ожесточенных войной людей, которым доставляло удовлетворение сознание, что богатые классы старого режима уничтожаются и страдают так же, как

страдали они сами, даже если их собственная жизнь от этого не становилась лучше.

Как форма абсолютистского правления большевистский режим был отчетливо русским. Он являлся зеркальным отражением царского государства. Ленин, а позднее Сталин, занял место царя-бога; комиссары и чекисты исполняли роли губернаторов, опричников и царских уполномоченных; партийные «товарищи» получили власть и привилегии, сопоставимые с положением аристократии при старом режиме. Но существовало решающее отличие: элита царизма была социально чужда простому народу, а на национальных окраинах нередко и этнически чужда, тогда как советская элита состояла в основном из обычных русских, а в нерусских землях — из местных уроженцев, говоривших, одевавшихся и державшихся примерно так же, как остальные.

Это дало советской системе огромное преимущество над белыми в Гражданской войне: большевики удержали эмоциональные символы «революции», прежде всего красное знамя, и могли представлять себя защитниками народного дела. Образ белых как «старого режима» был во многом заслужен их собственным старорежимным мышлением и упорным отказом признать крестьянскую земельную революцию или распад империи. Решительный отказ крестьянства и нерусских народов поддержать белых и определил исход войны.

В первые пять лет советской власти в большевистскую партию вступило более миллиона обычных русских. В большинстве это были крестьянские сыновья — грамотные молодые люди вроде Канатчикова и Оськина, которые еще до 1917 года покинули деревню ради фабрики или армии и в процессе отвергли «темные» и «отсталые» порядки старой крестьянской России. Часть вернулась в родные места и была привлечена большевиками в формирующийся сельский аппарат. В основном они действительно верили в культурную революцию, которая приблизит деревню к городу: модернизирует земледелие, принесет школы, больницы и электричество, ослабит церковь. Медленное распространение большевизма в деревне в 1920-е годы опиралось именно на бунт молодых против старого патриархального мира и в некоторых отношениях продолжало реформаторскую работу людей вроде Семенова.

Но большинство этих крестьянских сыновей, включая Оськина и Канатчикова, пришло к большевизму вне деревни — через армию или промышленность. Их привлекала не столько реформа старой крестьянской России, сколько ее уничтожение. Их верность большевизму была связана с самоощущением «пролетариев», что в их собственных глазах прежде всего означало: они больше не крестьяне. Большевизм казался силой прогресса — и для России, и для них лично, способом стереть жестокий деревенский мир, из которого они вышли, и заменить его городской культурой школы и индустрии, благодаря которой они сами поднялись в новую официальную элиту.

Почти вся партийная идентичность и идеология строилась на воинственной риторике индустриального прогресса: победить пьянство и суеверия, заставить Россию догнать Запад.

Именно это стремление преодолеть отсталость стало ядром сталинской «революции сверху» — насильственной индустриализации первой пятилетки 1928–1932 годов. В знаменитой речи 1931 года Сталин говорил, что Россию на протяжении всей истории били потому, что она была отсталой: монгольские ханы, шведские феодалы, польско-литовские паны, англо-французские капиталисты, японские и германские империалисты. «Мы отстали от передовых стран на пятьдесят-сто лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Такой великий рывок обладал огромной притягательностью для низовых большевиков, которые в юности бежали от отсталости крестьянского мира и видели революцию как национальный мятеж против наследия бедности. К 1920-м партийная масса состояла в основном из полуобразованных людей такого типа. Большинство вступило в партию в годы Гражданской войны и так или иначе зависело от сталинского аппарата. Марксистскую теорию они понимали слабо, а тонкие споры Ленина, Троцкого и Бухарина о стратегии НЭПа оставляли их холодными. Сам НЭП казался им отступлением после великих побед Гражданской войны. В этом смысле провал НЭПа был укоренен в политической культуре самой партии.

Один сталинский ударник вспоминал разочарование молодежи:

> Комсомольцы моего поколения — те, кто встретил Октябрьскую революцию в возрасте десяти лет или младше, — чувствовали обиду на

> свою судьбу. Когда мы политически созрели и вступили в комсомол, когда пошли работать на заводы, нам было жаль, что для нас уже ничего не осталось, потому что дух революции исчез, суровые, но романтические годы Гражданской войны не вернутся, а старшее поколение оставило нам скучную будничную жизнь без борьбы и волнений.[3]

Сталинская революция против НЭПа обещала вернуть «героический период» Гражданской войны, когда большевики брали одну крепость за другой и шли к социализму без страха и компромиссов. Она обещала возобновить классовую войну против «кулаков» и «буржуазных специалистов», перед которыми НЭП якобы отступил, и сочетала это с воинственной, хотя и лживой риторикой пролетарской гегемонии.

Сталин всегда представлял свою революцию как продолжение ленинской традиции — веры в то, что субъективная воля и энергия партийного авангарда способны преодолеть любые неблагоприятные объективные обстоятельства, как сам Ленин доказывал в октябре 1917 года. И в определенном смысле Сталин был прав. Его рывок к индустриализации с уничтожением рынка и крестьянства по существу не так уж отличался от ленинского рывка к советской власти, сметшего демократию. Можно утверждать, что командная система была неизбежным следствием противоречия Октября — пролетарской диктатуры в крестьянской стране, — противоречия, с которым сам Ленин трагически столкнулся в последние годы.

Международная изоляция Советской России, непосредственно выросшая из Октября и укрепленная интервенцией союзников в Гражданскую войну, породила ксенофобскую паранойю «капиталистического окружения». Это усиливало сталинский довод: «черепаший крестьянский темп» индустриализации, который Бухарин защищал в условиях НЭПа, слишком медлен, чтобы Россия успела догнать Запад и защититься от него. Социальная изоляция режима Гражданской войны, тоже следствие Октября, вынудила его принять командную систему. В 1920-е ее ненадолго смягчили, но из-за проблем с крестьянством и растущего нежелания партийных низов жертвовать идеалом быстрой индустриализации ради рыночных отношений с деревней возврат к ней был почти неизбежен.

Наконец, существовала проблема партийной культуры, преследовавшая Ленина в последние годы. Взяв власть в отсталой

стране, низовые партийные кадры неизбежно не имели технических знаний для управления государством и промышленностью; но риторика равенства, которая и привлекла их в партию, одновременно натравливала их на «буржуазных специалистов», без которых партия-государство не могло обойтись. В этом смысле НЭП был хрупким и, возможно, невозможным равновесием между необходимостью сохранить старую культуру и учиться у нее — ленинской «школой капитализма» — и пролетарским стремлением разрушить ее, которое лежало в основе сталинской культурной революции.

* * *

«Россия за последние годы совершенно изменилась, — писал князь Львов Бахметеву в ноябре 1923 года. — Она стала совершенно новой Россией. Народ и власть, как всегда, — две разные вещи. Но Россия теперь больше, чем когда-либо прежде, принадлежит народу… Конечно, правительство враждебно народу и его национальным чувствам, поскольку преследует интернациональные цели, оно обманывает людей и превращает их в рабов; и все же этот угнетенный и порабощенный народ продолжает его поддерживать. Если бы режим подвергся иностранной интервенции или нападению изнутри под старыми лозунгами реставрации, народ стал бы его защищать… Народ поддерживает советскую власть. Это не значит, что он ею доволен. Но одновременно с ощущением угнетения он видит, что люди его собственного типа входят в аппарат, и потому чувствует, что власть - “своя”».

Для человека, который всего пять лет назад уверенно говорил американскому президенту, что русский народ поднимется за белых, это признание было удивительным поворотом. Львова переубедило поражение белых — поражение, которое он теперь признавал «выбором народа», — и введение НЭПа, удовлетворившее, по его мнению, главные требования любимого им крестьянства. «Земельный вопрос, — писал он Бахметеву, — все еще не решен, он еще вызовет кровавые конфликты, но в сознании обычного крестьянина решен раз и навсегда — земля теперь принадлежит ему».

Для эмигрировавшего князя революция замкнула круг. В 1923 году из Поповки ему сообщили, что крестьяне поделили землю имения

Львовых. Те самые люди, которые сорок лет назад помогали молодому князю и его братьям восстанавливать запущенное хозяйство, теперь сами завладели усадьбой. Не будет чрезмерной щедростью предположить, что новость его не огорчила. Вся жизнь Львова на государственной службе была посвящена крестьянству. Даже теперь, в последние годы, он ежедневно ездил из маленькой квартиры в Булонь-сюр-Сен в Париж, где работал в русском комитете помощи, собиравшем деньги для жертв голода и устраивавшем беженцев. Это был своего рода парижский Земгор.

В одну пятницу марта 1925 года Львов вернулся из Парижа, почувствовав недомогание. Лег спать и умер во сне от сердечного приступа. Похороны прошли в русском православном храме на улице Дарю. Пришла вся эмигрантская община, а газеты печатали некрологи «искреннему слуге народа».[4]

В более спокойной и устойчивой стране человек происхождения и способностей Львова мог бы много лет служить министром сельского хозяйства или образования. В Англии он, вероятно, вошел бы в либеральное правительство Гладстона или Ллойд Джорджа, и сегодня его статуя наверняка стояла бы в одном из лондонских парков. Но в России его времени люди подобного типа не могли долго выжить в революционной буре; и сегодня его статуи нет ни в одном русском городе.

Великорусский национализм примирил Брусилова с большевистским режимом так же, как НЭП примирил с ним князя Львова. Для Брусилова настоящей трагедией 1917 года было не падение монархии, а распад Российской империи. Теперь, когда империя была почти восстановлена — за вычетом Польши, Прибалтики и Финляндии, — он мог надеяться на возвращение русского национального духа. «Большевизм когда-нибудь пройдет, — любил предсказывать генерал, — останется русский народ и те, кто остался в России, чтобы направлять его на правильный путь». В этом и состоял его национал-большевизм: если патриоты вроде него в достаточном количестве вступят в красный режим, они смогут перенаправить революцию к национальным целям и «обелить» ее изнутри.

После кампаний против поляков и Врангеля старого генерала определили на работу в Наркомзем, где он отвечал за увеличение

поголовья породистых лошадей для кавалерии. Это было неблагодарное дело — большинство красных так называемых «военспецов», похоже, полагали, что кавалерию можно посадить на крестьянских ломовых лошадей, — и он с облегчением вскоре перешёл в Главную инспекцию кавалерии, где его опыт службы в элитной царской гвардии нашёл гораздо лучшее применение. Во второй половине 1921 года здоровье Брусилова резко пошатнулось: в раненой ноге развилась подагра, по ночам ему не давал спать хронический бронхит, а скромного жалованья не хватало, чтобы натопить маленькую квартиру. Следующие три года он постоянно просил отпустить его в отставку — в 1923 году ему исполнилось семьдесят, — но советское начальство на это не соглашалось. Лишь в 1924 году, когда Будённый захотел очистить кавалерию от всех «белых костей», его наконец отпустили. Чтобы поправить здоровье после всё умножавшихся недугов, Брусилов с женой Надеждой провели следующую весну в чешском Карлсбаде, где был знаменитый санаторий. Чехи радушно встретили героя войны 1916 года: президент Масарик, его старый друг, устроил в его честь особый обед в Пражском Граде и (что, пожалуй, было важнее) назначил ему пособие, которое помогло ему справиться с потрясением от того, как подорожала жизнь в послевоенной Европе. Брусилову было «чрезвычайно приятно снова оказаться среди цивилизованных европейцев» после долгих лет гражданской войны в России, так испортившей отношения между людьми. Единственную враждебность он встретил со стороны русской эмиграции, которая не могла простить ему перехода к красным. Быть может, именно это в конце концов убедило его вернуться в Россию, несмотря на президентское обещание Масарика, что чехи примут его как своего. Эмигранты, на взгляд Брусилова, и были настоящими предателями, ибо поставили свои классовые интересы выше интересов России, и, даже если бы они его приняли, он не смог бы заставить себя жить среди них. Позже тем же летом он с женой вернулся в Москву. Как объясняла впоследствии Надежда, «он хотел быть похороненным в русской земле».[5]

Брусилов тихо умер во сне 17 марта 1926 года. Похороны были пышными, как и подобало национальному герою войны. Вдоль московских улиц стояли делегации Красной армии, военные оркестры играли траурный марш, церковные хоры пели, пока шесть солдат несли

его гроб на плечах к Новодевичьему монастырю, где он и был похоронен на кладбище. Сотни ветеранов Первой мировой войны съехались на похороны в Москву даже из таких далёких мест, как Нижний Новгород и Тверь, и главный храм не смог вместить всех пришедших проститься. Три руководителя Красной армии — Ворошилов, Егоров и Будённый — произнесли речи во славу Брусилова, хотя и отказались кланяться священникам и участвовать в молитвах. Это была странная смесь старого и нового — советская символика вперемешку с иконами и крестами, — что, пожалуй, подобало этому странному, противоречивому человеку. Надежда увидела во всём этом символ: «новая Россия хоронила старую».[6]

Дмитрий Оськин был сыном новой России. В Первую мировую он пришел в армию Брусилова простым рядовым; к смерти генерала этот крестьянский парень стал заметной фигурой советского военного истеблишмента. После командования Второй трудовой армией в 1920 году Оськину поручили Резервную армию Советской республики — почти полмиллиона человек. Режим выставлял его образцом красного командира, поднявшегося из крестьянско-рабочих низов. Это был солдат, который словно носил в ранце жезл генерала, если не маршала; именно в таком образе «простого крестьянского парня» он написал в 1920-е трилогию военных воспоминаний. Последние годы его жизни неясны. Во второй половине десятилетия он стал военным бюрократом в Москве. Умер в 1934 году, возможно став жертвой сталинского террора, всего в сорок два года.

Для Канатчикова такая судьба была несомненной. Подобно Оськину, он был сыном новой России, и служба партии в Гражданскую войну принесла ему устойчивое продвижение. Логично, что бывший крестьянский сын и рабочий, чье обращение к революции было тесно связано с собственным образованием, сделал карьеру именно в идеологической сфере. В 1921 году, в сорок два года, его назначили ректором Коммунистического университета в Петрограде — престижный пост, который он занимал три года. В 1924-м он возглавил Бюро печати ЦК, в следующем году — отдел исторических исследований. Неплохо для человека с четырьмя классами образования.

Канатчиков стал одним из ведущих партийных публицистов в кампании против троцкистов: его «История одного уклона» (1924) стала

стандартной антитроцкистской брошюрой, а в течение десятилетия он выпустил целую серию подобных работ. Но это не спасло от сталинских расстрельных машин в войне со старыми большевиками. В 1926 году Канатчиков поддержал «левую оппозицию» Зиновьева и Каменева, критиковавшую Сталина и Бухарина за чрезмерную мягкость по отношению к крестьянству — что для Канатчикова было особенно характерно. За «уклон» его отправили корреспондентом ТАСС в Прагу. Через два года позволили вернуться после унизительного письма в ЦК с признанием «политических ошибок». Горячая поддержка коллективизации, логически вытекавшая из его отрицания старой крестьянской России, принесла временную «реабилитацию». В 1929 году он стал редактором новой «Литературной газеты», еженедельника Союза советских писателей. В следующие годы писал брошюры в поддержку Сталина и получал за это большую квартиру, партийные льготы и растущее жалованье.

Но в сталинской России прошлое преследовало каждого партийца. Когда в конце 1935 года Сталин начал уничтожать «зиновьевцев», звезда Канатчикова снова закатилась. В 1936 году его арестовали и приговорили к восьми годам лагерей. Как многие большевистские жертвы Большого террора, он умолял Сталина вмешаться и помиловать его, не понимая, что именно Сталин приказал арестовать. Канатчиков отбыл половину срока, когда умер в 1940 году.[7]

Для Горького эмиграция была пыткой. Он не мог жить в Советской России, но не мог и жить вне ее. Несколько лет метался в этом почти шизофреническом состоянии: тосковал по родине, но был слишком болен Россией, чтобы вернуться. Из Берлина он беспокойно переезжал по курортным городам Германии и Чехословакии, пока не обосновался в Сорренто. «Нет, я не могу ехать в Россию, — писал он Роллану в 1924 году. — Я чувствую себя человеком без родины. В России я был бы врагом всему и всем; это все равно что биться головой о кирпичную стену».

В годы НЭПа его удерживала в эмиграции не столько природа советского режима, сколько враждебность властей к искусству и, парадоксально, сравнительно благоприятная политика по отношению к крестьянству. Всю жизнь выступая против большевистской диктатуры, Горький одновременно умел оправдывать ее как необходимое

противоядие против стихийного крестьянского анархизма. Противоречия были неотделимы от него. После смерти Ленина оправдание режима усилилось, потому что Горького мучило раскаяние. Он и любил, и ненавидел Ленина, но теперь их отношения уже нельзя было прояснить. «Да, мой дорогой друг, — писал он Роллану, — смерть Ленина стала для меня тяжелым ударом. Я любил его. Любил с гневом».

Нина Берберова позднее вспоминала, что после смерти Ленина Горький сделался «очень плаксивым» и неделями не переставал плакать, работая над хвалебными «Воспоминаниями о Ленине». «Горького переполняло раскаяние, — писала она. — Он заново оценивал свое отношение к Октябрьской революции и первым годам большевизма, к роли Ленина, к тому, что Ленин был прав, а Горький ошибался… Он искренне верил, что смерть Ленина осиротила его вместе со всей Россией».

«Воспоминания о Ленине» стали первым шагом к примирению с преемниками в Кремле. В 1926 году, после смерти Дзержинского, Горький даже написал хвалебную статью о главе ЧК — «одаренном человеке с чутким сердцем и сильным чувством справедливости». И все же возвращаться он еще не был готов. Вероятно, боялся увидеть реальную Россию. Россия в его воображении всегда была прекраснее настоящей, и даже Горький, несмотря на огромный талант к самообману, должен был это понимать. Его пожизненная приверженность личной свободе и человеческому достоинству еще оставалась достаточно сильной, особенно для художника, чья способность писать все больше зависела от свобод и бытового комфорта Запада. В Европе его творчество расцветало: «Дело Артамоновых», затем первые два тома «Жизни Клима Самгина», два больших дидактических романа 1925–1928 годов.

Тем временем в России советский режим составлял список «контрреволюционных» книг для изъятия из библиотек, куда попали Платон, Кант, Рёскин, Ницше и Толстой. Горький пришел в ярость и начал писать письмо правительству с отказом от советского гражданства. Но затем разорвал письмо: как бы ни презирал «духовный вампиризм» режима, окончательно разорвать связь с ним не мог.[8]

В конце концов, как и Брусилова, Горького вернул домой старомодный русский национализм. Он терпеть не мог русских

эмигрантов, а те — его. «Для нас, русских, — писал один парижский эмигрант в 1922 году, — Горький — один из тех, кто морально и политически ответствен за великие бедствия, которые большевистский режим принес нашей стране. Пройдут годы, но этого ему не забудут».[9] Чем антисоветнее становилась эмиграция, тем сильнее Горький реагировал сближением с советским режимом. Вдобавок рост фашизма в Италии заставил его отказаться от прежней веры в Европу как историческую силу морального прогресса и цивилизации. Чем больше его разочаровывала фашистская Европа, тем охотнее он идеализировал Советскую Россию как морально более высокий строй. Это было самообманом, но в контексте эпохи объяснимым.

Горький вернулся в Россию в 1928 году. После пяти летних поездок окончательно поселился в СССР в 1932-м. Режим представил возвращение как крупную победу в пропагандистской войне с Западом. Блудного сына осыпали почестями: орден Ленина, особняк Рябушинского в Москве — шедевр модерна, заполненный за государственный счет сокровищами, трилогия фильмов о его жизни, переименование Тверской в улицу Горького и Нижнего Новгорода — в Горький. Все эти почести должны были купить политическую поддержку писателя.

Советское руководство в момент его возвращения было расколото между сталинцами и правыми — Бухариным, Рыковым, Томским, выступавшими против крайностей коллективизации и индустриализации. Сначала Горький занимал промежуточную позицию, поэтому был нужен обеим сторонам. С одной стороны, он видел в сталинской политике средство избавить Россию от отсталого крестьянского прошлого. С другой — не любил Сталина как человека, тогда как с Бухариным и Рыковым дружил, и не принимал его литературной политики. Между 1928 и 1932 годами, насколько позволяют судить фрагментарные источники, Горький поддерживал Сталина, одновременно пытаясь ограничивать крайности. Это была та же роль, которую он играл рядом с Лениным в 1917–1921 годах. Он добился освобождения многих заключенных из лагерей и, по-видимому, убедил Сталина написать в марте 1930 года знаменитую статью «Головокружение от успехов», где вождь осудил перегибы местных исполнителей первой смертоносной кампании коллективизации.[10]

Для бывших товарищей, социалистов, сопротивлявшихся большевикам или окончательно порвавших с Советской Россией, возвращение Горького выглядело предательством. Виктор Серж, видевший его в 1930 году, вспоминал трагическую фигуру некогда откровенного критика режима, который позволил заставить себя замолчать:

> Что происходило внутри него? Мы знали, что он все еще ворчит, что ему неспокойно, что за его резкостью стоят горе и протест. Мы говорили друг другу: «Когда-нибудь он взорвется!» И действительно, незадолго до смерти он окончательно порвал со Сталиным. Но все его сотрудники по «Новой жизни» 1917 года исчезали в тюрьмах, а он молчал. Литература умирала, а он молчал… Однажды я мельком увидел его на улице. Один, откинувшись на заднем сиденье большого «Линкольна», он казался бесконечно далеким от улицы, от московской жизни, словно сведен до алгебраического знака самого себя. Он не столько состарился, сколько иссох: костлявая стриженая голова в татарской тюбетейке, выступающие нос и скулы, глазницы пустые, как у скелета.

Но истина была сложнее — в этом и заключалась последняя трагедия Горького. Вскоре после возвращения в 1932 году он начал думать, что, возможно, ошибся, оставшись в России. Он все больше расходился со сталинским режимом, но уже не мог из него вырваться. Горький превратился в советское учреждение; повсюду публика боготворила его, и хотя он ощущал себя пленником этого поклонения, убежать снова не мог или не решался. Продажи книг в Европе упали, он стал материально зависим от государства. К тому же Сталин просто не выпускал его за границу.[11]

В последние годы фактического заключения Горький стал занозой в боку Сталина. Он возражал против культа личности и после долгих колебаний нашел в себе смелость отказаться написать житийный портрет Сталина по образцу прежнего очерка о Ленине. Между строк публичных текстов можно увидеть растущий цинизм по отношению к сталинскому режиму: например, его статьи против фашизма читаются и как осуждение всякого тоталитаризма — и европейского, и советского. В сохранившихся частных записях презрение к Сталину невозможно не заметить. После смерти Горького среди его вещей нашли большую клеенчатую тетрадь, где Сталин сравнивался с «чудовищной блохой»,

которую «пропаганда и гипноз страха увеличили до невероятных размеров».

Есть основания предполагать, что к 1934 году Горький оказался связан с заговором против Сталина вместе с правыми Рыковым и Бухариным, Ягодой, главой НКВД, и Кировым, руководителем ленинградской партийной организации, убитым в 1934 году. Это могло объяснить убийство сына Горького Максима — почти наверняка по приказу Сталина, поскольку Максим был связным между отцом и Кировым. Возможно, тем же объясняется убийство самого Кирова — также, вероятнее всего, по сталинскому приказу, — и, быть может, смерть Горького.[12]

Обстоятельства смерти Горького остаются загадкой. Здоровье ухудшалось несколько лет. К старой болезни легких прибавились сердце и хронический грипп. К 1936 году он уже наперегонки со смертью пытался закончить эпопею «Жизнь Клима Самгина». «Конец романа, конец героя, конец автора», — сказал он в июне. 17-го началась лихорадка, пошла кровь горлом, на следующий день он умер. Те, кто находился рядом в последние дни, утверждали, что смерть была естественной.

Но два года спустя, на показательном процессе марта 1938 года, двух врачей Горького признали виновными в его «медицинском убийстве» — назначении смертельных доз неправильных препаратов — по приказу Ягоды, как части «заговора против советской власти», главными участниками которого объявили Бухарина и Рыкова. Возможно, Сталин просто использовал естественную смерть писателя как предлог для уничтожения врагов. Но связи Горького с оппозицией делают не менее возможным и то, что Сталин действительно распорядился его убить. Смерть наступила для Сталина чрезвычайно вовремя — всего за два месяца до процесса Зиновьева и Каменева, который Горький собирался разоблачить как ложь; а мы знаем, что кремлевский палач делал с теми, кто становился у него на пути. Много лет спустя утверждали, что врачи, проводившие вскрытие, обнаружили следы яда. Екатерина, вдова Горького, в 1963 году была убеждена, что ее бывшего мужа убили; сегодня с ней согласны многие россияне.[13] Истина, вероятно, уже никогда не будет установлена.

Горького похоронили со всеми советскими почестями, во главе процессии шел сам Сталин. На Красной площади прошел траурный марш, прах писателя поместили в нишу Кремлевской стены за мавзолеем Ленина. Так Горький окончательно превратился в сталинское учреждение.

* * *

Русская революция положила начало огромному эксперименту по социальной инженерии — возможно, самому грандиозному в истории человечества. Можно сказать, что рано или поздно человечество почти неизбежно должно было попытаться провести такой эксперимент: он был логическим итогом векового стремления к социальной справедливости и братству. Но рожденный Первой мировой войной, когда Европа оказалась на грани саморазрушения, он казался многим и необходимым именно в тот момент. К 1918 году большинство европейских социалистических партий разделяло убеждение, что капитализм и империалистическое соперничество были главными причинами войны и что, чтобы не допустить новой катастрофы, их надо каким-то образом уничтожить. Старый мир, казалось, обречен, и только социализм, словами «Интернационала», способен «весь мир насилья разрушить» и построить новый.

Эксперимент закончился ужасно — не столько из-за злобы его руководителей, большинство из которых начинали с самых высоких идеалов, сколько потому, что сами идеалы были невыполнимы. Кто-то скажет: неудача произошла потому, что Россия 1917 года была недостаточно развита для социализма, по крайней мере в одиночку, без поддержки более развитых индустриальных обществ. Тогда путь к сталинизму объясняется не внутренней логикой системы, а российской отсталостью и международной изоляцией. В этом, несомненно, есть доля истины. Большевики 1917 года не ожидали, что Советская Россия останется одна, и тем более не рассчитывали, что сможет выжить в одиночку. Захват власти в Октябре основывался на предположении, что он станет искрой социалистической революции во всей Европе, а возможно и во всем колониальном мире.

Когда эта революция не произошла, большевики почти неизбежно пришли к стратегии, ставившей индустриализацию выше всего хотя бы

из соображений обороны. И все же советская модель слишком часто приводила к тем же катастрофическим последствиям, хотя применялась в разных местных формах в столь разных странах, как Китай, Юго-Восточная Азия, Восточная Европа, государства Африки к югу от Сахары и Куба. Поэтому приходится заключить: фундаментальная проблема заключалась скорее в принципах, чем в случайных обстоятельствах.

Государство, каким бы могущественным оно ни было, не способно сделать людей равными или превратить их в лучших человеческих существ. Оно может лишь обращаться с гражданами как с равными и стараться направлять их свободную деятельность к общему благу. После века, в котором господствовали два близнеца тоталитаризма — коммунизм и фашизм, — остается надеяться, что этот урок усвоен.

Вступая в XXI век, мы должны укреплять демократию и как источник свободы, и как средство социальной справедливости, иначе обездоленные и разочарованные снова могут отвернуться от нее. Совершенно не предрешено, что возникающие гражданские общества бывшего советского блока захотят подражать демократической модели. Сейчас не время для либерально-демократического триумфализма, которым во многих кругах Запада встретили крах Советского Союза. Реформированные — и не слишком реформированные — коммунисты будут успешно участвовать в выборах и даже возвращаться к власти, пока массы обычных людей чувствуют себя отчужденными от политической системы и исключенными из выгод формирующегося капитализма.

Еще тревожнее то, что вакуум после коммунизма начал заполнять авторитарный национализм, в определенном смысле изобретая коммунизм заново. И не только потому, что сегодняшние националисты в основном являются бывшими коммунистами, но и потому, что их агрессивная риторика с призывами к дисциплине и порядку, яростным осуждением неравенства, рождаемого ростом капитализма, и ксенофобским отторжением Запада сама восходит к большевистской традиции.

Призраки 1917 года так и не упокоены.

ПРИМЕЧАНИЯ

Полные сведения об источниках приведены в Библиографии. Сокращённые названия архивов расшифрованы в её начале.

Глава 1. Династия

1 Novoe vremia, 17, 18, 20–8 Feb 1913; Romanov, V mramornom, 174–7; Taneeva, Stranitsy, 98–101; Buchanan, Dissolution, 36–7.

2 Novoe vremia, 18–28 May 1913; Niva, 24, 1913, 477–9; Mossolov, At the Court, 240–1; Romanov, V mramornom, 178; Kokovtsov, Out, 361.

3 Whelan, Alexander II, 32–3.

4 'Dnevnik A. A. Polovtsova' (1902), 3, 1923: 136; Iswolsky, Memoirs, 264–5; Wortman, 'Moscow and St Petersburg', 253–4; Verner, Crisis, 79.

5 Wortman, Scenarios, 381–7; Wortman, 'Moscow and St Petersburg', 250–1; Spiridovitch, Les Derniéres, 2: 253–62.

6 Wortman, 'Moscow and St Petersburg', 254–7, 260–2.

7 Rodzianko, Reign, 75–7.

8 Kokovtsov, Out of My Past, 361; Miliukov, Political Memoirs, 236.

9 Wortman, 'Invisible Threads', 397–8.

10 Elchaninov, Tsar, 148; Wortman, 'Invisible Threads', 392–3.

11 Elchaninov, Tsar, 2–3, 121.

12 Massie, Nicholas, 227; The Times, 22 Feb, 6 March 1913; British Documents on Foreign Affairs, I, A, 6: 323.

13 Memoirs of Count Witte, 201, 710–13; Serge, Ville en danger, 37.

14 Pasternak Slater (ed.), Vanished Present, 185–7.

15 Romanov, Once a Grand Duke, 168; Memoirs of Count Witte, 95; Zaionchkovsky, Russian Autocracy, 18–19.

16 Gurko, Tsar, 8; Wolfe, 'Autocracy', 68; Essad-Bey, Nicholas, 26.

17 Iswolsky, Memoirs, 248–50; Romanov, Once a Grand Duke, 178; Ferro, Nicholas, 16.

18 Wolfe, 'Autocracy', 66–7; Romanov, Once a Grand Duke, 168–9.

19 Salisbury, Black Night, 50–8; Iswolsky, Memoirs, 259–60.

20 Massie, Nicholas, ix; Pares, The Fall, 57.

21 Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 409; Chernov, Great Russian, 1; Trotsky, History, 73–4; Gurko, Tsar, 23–4.

22 Rogger, Russia, 20; Verner, Crisis, 64–7; Lieven, Nicholas, 113; Wolfe, Autocracy', 72.

23 Pares, The Fall, 157; Verner, Crisis, 45–59; Lieven, Russia's Rulers, 287–9; Lieven, Nicholas, 1055–6, 115–16.

24 Buchanan, Dissolution, 36.

25 Romanov, Once a Grand Duke, 169; Mossolov, At the Court, 31; Romanov, V mramornom, 60; de Jonge, Life and Times, 110; Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, xii.
26 Chernov, Great Russian Revolution, 16; Gurko, Tsar, 69–70; Gilliard, Thirteen Years, 50, 83.
27 Gurko, Tsar, 34, 48–9; Pipes, Russian Revolution, 60.
28 Gilliard, Thirteen Years, 52.
29 Smitten, 'Poslednyi', 10: 119–20; de Jonge, Life and Times, 36, 45, 54; Kotsiubinskii, 'Sekret', 2 Dec 1994; Curtiss, Church and State, 175–7; Graham, With the Russian Pilgrims, 180.
30 Fuhrmann, Rasputin, 13–14; de Jonge, Life and Times, 64–5.
31 Fuhrmann, Rasputin, 94–8; de Jonge, Life and Times, 214–15.
32 Massie, Nicholas, 318.
33 Kotsiubinskii, 'Sekret', 2, 9 and 16 Dec 1994; de Jonge, Life and Times, 78, 224; Fuhrmann, Rasputin, 35; Pipes, Russian Revolution, 259–60.
34 Fuhrmann, Rasputin, 51, 119–20; Lockhart, Diaries, 1: 128–9.
35 de Jonge, Life and Times, 204. О Марии-Антуанетте см.: Hunt, Family Romance, ch. 4.
36 de Jonge, Life and Times, 187, 201–2.
37 Simanovich, Rasputine, 23–4; Moscow News, 9, 1991; Gilliard, Thirteen Years, 64–5; Gurko, Tsar, 90; Mamantov, Na gosudarevoi sluzhbe, 233.

Глава 2. Неустойчивые опоры

1 'Dnevnik A. A. Polovtsova'; Memoirs of Count Witte, 88–9, 199.
2 Becker, Nobility and Privilege, 64; Lieven, 'Russian Civil Service', 371; Zaionchkovskii, Pravitel'stvennyi, 223; Raeff, 'Bureaucratic Phenomena', 401–2; Raeff, Understanding, 608; Mosse, 'Bureaucracy', 605–6; Ferro, Nicholas, 15.
3 Pipes, Russia Under the Old Regime, 286–7; Lieven, Russia's Rulers, 125–9.
4 Lieven, Russia's Rulers, 198–9.
5 Raeff, 'Bureaucratic Phenomena', 403–4; Verner, Crisis, 51–9; Rieber, 'Sedimentary Society', 358–9; Lieven, Russia's Rulers, 133–6; Pearson, Russian Officialdom, 14–15; Trubetskaia, Kniaz, 38.
6 Lincoln, In the Vanguard, 107; Whelan, Alexander III, 83–7.
7 Saunders, Russia, 213.
8 Whelan, Alexander UI, 91; Lieven, Russia's Rulers, 192; Weislo, 'Bureaucratic', 382–3.
9 Lieven, Russia's Rulers, 68–72, 185–92, 385.
10 Whelan, Alexander LI, 32–3.
11 Urussov, Memoirs, 1, 12; Robbins, Tsar's Viceroys, 1–2.
12 Urussov, Memoirs, 96; Judge, 'Urban Growth', 48–50.
13 Clowes, Kassow, West (ed.), Between Tsar and People, 3–27, 41–56, 75–89; Pipes, Struve: Liberal on the Left, 195.
14 Chekhov, Plays, 322; Urussov, Memoirs, 100; Bok, Reminiscences, 100.

15 Urussov, Memoirs, 98; Rogger, Russia, 52–3.
16 Robbins, ‘His Excellency’, 76; Padenie, 1: 33, 49; Robbins, Tsar’s Viceroys, 244–5. Противоположную точку зрения на губернаторов, подчёркивающую их подчинённость центральным министерствам, см.: Yaney, Systematization, 330.
17 Pipes, Russian Revolution, 68; Polner, Zhiznennyi, 55–6.
18 Rogger, Russia, 49; Robbins, Tsar’s Viceroys, 1834; Weissman, ‘Regular’, 46–50, 56–8; Yaney, Systematization, 333–7.
19 Manning, Crisis, 9–10; Shanin, Russia as a ‘Developing Society’, 147.
20 BA, Bakhmeteff Collection, Box 39, Lvov, ‘Moi vospominaniia’, 2–4, 10, 13, 15–16, 83; Polner, Zhiznennyi, 24–30.
21 Dni, 21 March 1925; Polner, Zhiznennyi, 62; Obolenskii, Moia zhizn’, 373–4.
22 Mackenzie Wallace, Russia, 2: 249.
23 ‘Dnevnik A. A. Polovtsova’ (1901), 3, 1923: 97; McKenzie, ‘Zemstvo’; Stone, Europe, 204; Tyrkova- Williams, To, chego, 253.
24 Yaney, Urge, 51, 98, 102–8; Macey, ‘Land Captains’; Semenov, Dvadtsat’, 86; A Radical Worker, 151–2.
25 Polnoe sobranie zakonov, 14, 1894: 11,014.
26 Keep, “Military Style’; Verner, Crisis, 22–3; Elchaninov, Tsar, ch. 8.
27 Bushnell, Mutiny, 1–2.
28 Fuller, Civil-Military, 49, 144–53; Bushnell, Mutiny, vii, 15–21.
29 Wildman, End, I: 33–5; Bushnell, Mutiny, 10–11.
30 McNeal, Tsar and Cossack; Rieber, ‘Landed’, 36; Bushnell, Mutiny, [10–11.
31 Oberuchey, “V dni’, 60; BA, Brusilov Collection, mss. ‘Gazeta “Dni” ’; Grondijs, La Guerre, 84, 263; Shabanov, ‘Kratkii’, 5–9; GARF, f. 5972, op. 1, d. 21a, L. 11–12; op. 3, d. 70, 1. 148.
32 Brussilov, A Soldier’s Notebook, 17.
33 Там же., 9–10.
34 Cherniavsky, Tsar and People, 111–16, 119–20, and ch. 1 on saintly princes; Billington, Icon, 47, 64.
35 Curtiss, Church and State, 3–32, 71–2, 345–6; Freeze, ‘Handmaiden’.
36 Morrison, ‘Church Schools’, 193; Curtiss, Church and State, 186.
37 Waldron, ‘Religious Toleration’, 104–15; Freeze, ‘Handmaiden’, 89–90; Freeze, ‘Bringing Order’; Engelstein, Keys to Happiness, 27–8, 34, 51–2.
38 Freeze, ‘ “Going” ’, 215–32; Dixon, ‘Church's Social Role’, 167–92.
39 A Radical Worker, 27–34.
40 Gorky, My Universities, 122; Matossian, ‘Peasant Way of Life’, 19–20; Belinskii, Izbrannye, 2: 516.
41 Lewin, Making, ch. 2; Ramer, “Traditional Healers’.
42 Stepniak, Russian Peasantry, 372; Freeze, Parish Clergy; Belliutsin, Description, 189.
43 Curtiss, Church and State, ch. 5; Freeze, Parish Clergy, 330f, 389f; Meyendorff, ‘Russian Bishops’; Simon, ‘Church’, 206–12.
44 Curtiss, Church and State, 237ff, 405.
45 Gellner, Nations, 6 and passim.

46 Lenin, PSS, 25: 66.
47 Hofer, ‘Creation of Ethnic Symbols’; Anderson, Imagined Communities; Gellner, Nations, 57–8.
48 Hofer, ‘Creation of Ethnic Symbols’, 124.
49 Hobsbawm, Nations, 54; Uustalu, History, 121–4.
50 Davies, God's Playground, 2: 6–7, 19–27, 37, 352–7.
51 Seton-Watson, Russian Empire, 411; Reshetar, Ukrainian, 6–10; Shevelov, ‘Language Question’, 74–9, 92–3.
52 Suny, Making, chs 4–6; Swietochowski, Russian Azerbaijan, 23–6.
53 Hobsbawm, Nations, 48–9; Slomka, From Serfdom, 171.
54 Suny, ‘Nationality’, 232; Swietochowski, Russian Azerbaijan, 11.
55 Suny, Making, [16ff Swietochowski, Russian Azerbaijan, 21; Rorlich, Volga Tatars, ch. 8.
56 Himka, Galician, xxii, chs 2–4.
57 Guthier, ‘Popular Base’; Krawchenko, Social, 21; Shevelov, ‘Language Question’, 79; Guthier, ‘Ukrainian Cities’, 158–9; Himka, Galician, 158–75.
58 Krawchenko, Social 264; Himka, Galician, 36–40.
59 Himka, Galician, 199–202; Trotsky, History, 898.
60 Maynard, Russian Peasant, 379.
61 Davies, God’s Playground, 84; Rogger, Jewish Policies, 106.
62 Pervaia vseobshchaia perepis’, I-19.
63 Pares, Fall, 64; Krawchenko, Social, 26; Lehovich, White, 25.
64 Rogger, Jewish Policies, 16, 29, 30–2; Aronson, Troubled, esp. 67–81, 145–60. См. также: Klier and Lambroza (ed.), Pogroms.
65 The Diaries of Theodor Herzl, 395; Rogger, Russia, 203; Rogger, ‘Russian Ministers’, 42.

Глава 3. Иконы и тараканы

1 Gorky, My Universities, 101; Troyat, Tolstov, 789.
2 Wortman, Crisis of Russian Populism, 10; Engelstein, Keys to Happiness, ch. S.
3 Gorky, My Universities, 107–9, 124–5, 134, 140–50.
4 Herzen, From the Other Shore, 166; Dostoevsky, Polnoe sobranie sochinenii, 22: 44. По всему этому вопросу см. также: Frierson, Peasant Icons.
5 Aksakov, Polnoe sobranie sochinenit, 1: 292; Fanger, ‘Peasant in Literature’, 252–6.
6 Wortman, Crisis of Russian Populism; Glickman, ‘Alternative View’, 693–704; Pipes, Russian Revolution, 113.
7 Gorky, Letters, 54.
8 Dal’, Poslovitsy, 404–5.
9 Rittikh, Krestiianskor, 135.
10 Frierson, ‘Razdel’, 80, 83; ‘Peasant Family Divisions’, 309–10.
11 Brooks, When, 4; Rashin, ‘Gramotnost’ ’, 46; Eklof, Russian, 285, 287.
12 Eklof, Russian, 423.

13 Rashin, ‘Gramotnost’ ’, 37.
14 Mironov, ‘Russian Peasant Commune’, 450–1; Matossian, ‘Peasant Way of Life’, 14–16; Engelstein, Keys to Happiness, 118–19, 180.
15 Matossian, ‘Peasant Way of Life’, 4–8; Some Notes on Social Conditions, 7; Gatrell, Tsarist Economy, 33.
16 Frank, ‘Popular Justice’; Frierson, ‘Crime and Punishment’.
17 Gorky, ‘On the Russian’, 25; Frieden, Russian Physicians, 189–90.
18 Gorky, ‘On the Russian’, 17–18; Worobec, ‘Victims’, 199; Gorky, My Universities, 119.
19 Czap, ‘Peasant-Class Courts’; Frierson, ‘Rural Justice’; Burds, ‘Social Control’, 56–9, 70–81.
20 Pipes, Russian Revolution, ch. 3; Herzen, From the Other Shore, 180.
21 Pakhman, Obychnoe, I: 7–8; Efimenko, Issledovaniia, 2: 55–62.
22 Efimenko, Issledovaniia, 2: 139–41, 153–9; Pakhman, Obychnoe, 2: 209–II.
23 Semenov, Dvadtsat’, 35–40; Efimenko, Issledovaniia, 2: 176–9.
24 Gorky, ‘On the Russian’, 12; Stites, Revolutionary Dreams, 15–16.
25 Tsytovich, Sel’skoe obshchestvo, 64.
26 Pipes, Old Regime, 157.
27 Berberova, Italics Are Mine, 12–13.
28 Классическое изложение традиционной точки зрения — что крестьян довели до нищеты перенаселённость, неэффективные способы хозяйствования и рост косвенных налогов — см.: Gerschenkron, ‘Agrarian Policies’. Главный «ревизионистский» довод — что рост государственных поступлений от косвенных налогов отражал растущую покупательную способность крестьян, обусловленную повышением производительности их труда, — см.: Simms, ‘Crisis in Russian Agriculture’. Симмс оспаривал и традиционное мнение, будто голод 1891 года был вызван истощением почвы и отсталыми методами хозяйствования: ‘Crop Failure’. Его доводы в общих чертах поддерживает Грегори в работах ‘Grain Marketings’ и ‘Russian Living Standards’. О региональных различиях см.: Wheatcroft, ‘Crises and the Condition’.
29 Kushner (ed.), Selo Viriatno, 24; Semenov, Dvadtsar’, I; Stepniak, Russian Peasantry, 55.
30 Shanin, Russia as a Developing Society’, 93–102.
31 Gatrell, Tsarist Economy, 50–1; Robinson, Rural Russia, 94–7; Figes, Peasant Russia, II-12.
32 Shanin, Awkward Class, 48.
33 Polner, Zhiznennyi put’, 38; Shanin, Russia as a ‘Developing Society’, 137, 147; Anfimov, Zemel’naia arenda, 15.
34 Mixter, ‘Peasant Collective Action, 196–7; Manning, Crisis, 20–1.
35 Semenov, Dvadtsat’, 67.
36 Rashin, Formirovanie, 327. Таково было ежегодное число внутренних паспортов, выдававшихся крестьянам-отходникам. Вероятно, эта цифра не охватывает всех пяти миллионов «крестьян», записанных по переписи 1897 года как живущие в городах.

37 Koenker, ‘Urbanization’, 85–90; Bater, St Petersburg, 47, 308–9; Smith, Red Petrograd, 15–23.

38 A Radical Worker, 4, 6. См. также превосходный разбор тем, которые поднимает история Канатчикова, в работе: Zelnik, ‘Russian Bebels’.

39 Semenov, Dvadtsat’, 5–6; Tsarev, Samouchka, 17.

40 Brooks, When, 13, 55–6.

41 Johnson, Peasant and Proletarian; Bradley, Muzhik and Muscovite, 16–18, 27; von Laue, ‘Russian Labour’, 48; A Radical Worker, 21.

42 A Radical Worker, 9; Bonnell, Roots of Rebellion, 124; Bradley, Muzhik and Muscovite, ch. 6; Glickman, Russian Factory Women, 11–14; McKean, St Petersburg, 39.

43 Zelnik, Labour and Society, 241; Bater, St Petersburg, 342–4, 352–63.

44 A Radical Worker, 8, 21.

45 von Laue, A Secret Memorandum’, 71; Glickman, Russian Factory Women, 145.

46 Tugan-Baranovsky, The Russian Factory, 324; McDaniel, Autocracy, 171.

47 Таков был довод советских историков, стремившихся показать, что революцию поддержал подлинный «пролетариат» — родившийся в городах и вполне «сознательный». Большинство западных историков в той или иной мере соглашались, что наиболее воинственными были наиболее урбанизированные рабочие. См., напр., работы Боннелл, Кёнкер, Смита и Маккина.

48 Классическое изложение этой точки зрения: Haimson, ‘Problem of Social Stability’. Первоначально этот довод выдвинули меньшевики, чтобы объяснить, почему после 1905 года они, по-видимому, уступили большевикам позиции в городах. Утверждалось, что если меньшевики сохранили поддержку среди квалифицированных и организованных в профсоюзы рабочих, то большевики нашли восприимчивую аудиторию для своей более воинственной пропаганды среди молодых и импульсивных рабочих-крестьян, хлынувших в города во время промышленного подъёма. Подразумевалось, что большевиков поддерживал не подлинный рабочий класс, а буйная полукрестьянская масса, склонная к стихийным вспышкам насилия и податливая на демагогию.

49 См., напр.: Brower, ‘Labour Violence’. Ряд метких критических замечаний см. в откликах Джонсона, Суни и Кёнкер в конце этой статьи.

50 A Radical Worker, 59, 63, 71.

51 Babushkin, Recollections, 51; A Radical Worker, 102.

52 A Radical Worker, 105.

53 Gorky, My Childhood, 9; A Radical Worker, 129.

54 A Radical Worker, 115.

55 Sapronov, Iz istorii rabochego dvizheniia, 35.

56 Zelnik, ‘Russian Bebels’, 443; Shapovalov, Po doroge k marksizmu, 53–4.

Глава 4. Красные чернила

1 Gernet, Istoriia, 3: 169; 4: 43, 45, 139.

2 Custine, Empire, 334; Rogger, Russia, 69.

3 Gernet, Istoriia, 5: 260–1, 306; Galili, Menshevik, 195; Trotsky, History, 812; Zelnik, ‘Fate’, 21.
4 Haimson (ed.), Making, 189.
5 Berdyaev, Origin, 3–5, 48–9; Tyrkova-Williams, To, chego, 98.
6 Hamburg, Politics, 14; Geifman, Thou, 173. Историей о Дюбуа я обязан Борису Колоницкому.
7 Berlin, Russian Thinkers, 122–5.
8 Szamuely, Russian, 201–2; Raeff, Origins, 123–4.
9 Blok, ‘People’, 359; Kelly, Bakunin, 97; Berdyaev, Origin, 32–3; Szamuely, Russian, 222–3.
10 Belinskii, Polnoe sobranie sochinenii, 10: 217–18; Lotman, ‘The Poetics of Everyday Behaviour’ and “The Decembrists in Daily Life’.
11 Matthewson, Positive Hero, 74–7; Besancon, Intellectual, 118–19.
12 Ulam, Bolsheviks, 65; Gleason, Young, 296; Szamuely, Russian, 288; Valentinov, ‘Chernyshevskii’, 194; Valentinov, Encounters, 67–8.
13 Gleason, Young, 75; Szamuely, Russian, 321–5; Pipes, Russia Under the Old Regime, 271; Kelly, Bakunin, 94; Venturi, Roots, 136.
14 Koz’min, ‘Molodaia Rossiia’, 92, 103–4.
15 Gleason, Young, 341; Pravitel’stvennyi Vestnik, 11 July 1871; Steklow, Bakunin, 3: 542.
16 Malia, Herzen, 396, 407–8; Berlin, Russian Thinkers, 199.
17 Venturi, Roots, xxvi.
18 Bogucharskii, Aktivnoe, 128–9.
19 Tkachev, Izbrannye, 3: 64–85; Szamuely, Russian, 388–95.
20 Geifman, Thou, 21.
21 ‘Karl Marks’, 6–10; Resis, “Das Kapital’, 221–2.
22 Knizhnik, ‘Poliakov’, 76–7; Haimson (ed.), Making, 33; Resis, ‘Das Kapital’, 226 (n. 22).
23 Haimson (ed.), Making, 31–3, 458; Valentinov, Encounters, 23; Pipes, Struve: Liberal on the Left, 57, 59, 61.
24 Kerensky, Crucifixion, 13; Volkogonov, Lenin, 6, 8–9, 13.
25 RTsKhIDNI, f. 2, op. 2, d. 125, 1. 1; Volkogonov, Lenin, xxxvii, 6, 52; Valentinov, Maloznakomyi, 34.
26 Valentinov, Encounters, 107; NZh, 7 Nov 1917.
27 Ulam, Bolsheviks, 12, 162; Gorev, Iz partiinogo, 10; Potresov, Posmertnyi, 21.
28 Potresov, Posmertnyi, 294; Ulam, Bolsheviks, 118.
29 McNeal, Bride, 65.
30 Krupskaia, Vospominantia, 35.
31 Lenin, PSS, 6: 9; Haimson (ed.), Making, 103, 105, 126.
32 Ulam, Bolsheviks, 178, 186; Valentinov, Encounters, 112–14; Haimson (ed.), Making, 170–1.
33 Valentinov, Encounters, 40.

Глава 5. Первая кровь

1 Robbins, Famine, 1–2, 11–12, 59–64, 171; Simms, ‘Crop Failure’, 237.
2 Bogdanovich, Tri Poslednikh, 149; Petrunkevich, ‘Iz zapisok’, 275.
3 Wildman, Making, 6–7; Polner, Zhiznennyi put’, 52; Frieden, Russian Physicians, ch. 6; Petrunkevich, ‘Iz zapisok’, 276.
4 Letters of Anton Chekhov, 237.
5 Tolstoi, Pis’ma L. N. Tolstogo k zhene, 208, 363; Semenov, “Vospominaniia o L. N. Tolstogom’, 55–6.:.
6 Robbins, Famine, 177–83; Frieden, Russian Physicians, ch. 6; Balzer, ‘Problem of Professions’, 189–90; Seregny, Russian Teachers, 10–IT.
7 Haimson (ed.), Making, 101.
8 Simms, ‘Famine and the Radicals’, 16; Martov, Zapiski, 94, 137.
9 Haimson (ed.), Making, 68.
10 Freeze, ‘Soslovie’, 11–36; Haimson, ‘Problem of Social Identities’, I-20.
11 Kassow, Students, 16, 22.
12 Превосходный разбор проблем, с которыми сталкивалось формирование самосознания среднего класса, см.: Clowes, Kassow and West (ed.), Between Tsar and People.
13 Galai, Liberation, 54.
14 Manning, “Zemstvo and Politics’, 139–40; Emmons, “Zemstvo’, 433–7; Galai, Liberation, 24–55.
15 Kerensky, Crucifixion, 78–9.
16 Istochnik, 3, 1994: 5; GARF, f. 1807, op. 1, d. 382, 1. 14.
17 GARF, f. 1807, op. 1, d. 382, 1. 56.
18 Svobodov, ‘Gor’kii i studencheskoe’, 71; Pipes, Struve: Liberal on the Left, 271–2; Tyrkova- Williams, Na putiakh, 72–3; Ivanov-Razumnik, Memoirs, 3.
19 Memoirs of Count Witte, 369; White, Diplomacy, 78–81.
20 Memoirs of Count Witte, 384; Pasternak Slater (ed.), Vanished Present, 88; Ascher, Revolution, 47; Galai, Liberation, 198–205; Polner, Zhiznennyi’, 67.
21 Memoirs of Count Witte, 382–3.
22 Bar-Yaacov, Handling, 70; Owen, Capitalism, 69; Petrunkevich, ‘Iz zapisok’, 343; Gurko, Figures and Features, 253.
23 Ascher, Revolution, 54.
24 “Dnevnik kn. Ekateriny Alexeevny Sviatopolk-Mirskoi’, 243, 251; Verner, Crisis, 115–17.
25 Galai, Liberation, 214–19; Manning, Crisis, 74–5, 83–5; Gor'kii, ‘Pis'ma k E. PB Peshkovoi’ 132.
26 Verner, Crisis, 137–40; Memoirs of Count Witte, 399; Gurko, Figures and Features, 304.
27 Sablinsky, Road to Bloody Sunday, 222.
28 McDaniel, Autocracy, 64–89; Sablinsky, Road to Bloody Sunday, 103–5.
29 Sablinsky, Road to Bloody Sunday, 126, 344.
30 Там же., 212–13, 218.

31 Там же., 241–3.
32 M. Gor'kii v epokhu revoliutsii 1905–1907, 30.
33 Sablinsky, Road to Bloody Sunday, 251–2, 273.
34 M. Gor'kii v epokhu revoliutsii 1905–1907, 33; Gippius, Dmitri, 132; Ascher, Revolution, 98.
35 Gor'kii, ‘Pis'ma k E. P. Peshkovoi’, 148.
36 Gogol, ‘Maksim Gor'kii’, 7–19.
37 Levin, Stormy, 98–100; Gorky, Letters, 32; NZh, 25 April 1917.
38 GARF, f. 1807, op. 1, d. 382, 1. 250; Pasternak Slater (ed.), Vanished Present, 110; Ascher, Revolution, 94.
39 Galai, Liberation, 245–8; Stites, Women’s Liberation, 198; Balzer, ‘Problem of Professions’, 191–3; Ascher, Revolution, 129.
40 M. Gor'kit v epokhu revoliutsii 1905–1907, 55; Gorky, Letters, 13.
41 Perrie, ‘Russian Peasant’, 123–55; Bok, Reminiscences, 122–5; Shanin, Russia, 1905–7, 94; Mixter, “Peasant Collective Action’, 215; Manning, Crisis, ch. 8.
42 Seregny, ‘Peasants and Politics’, 341–77; Mixter, ‘Peasant Collective Action’, 194; Shanin, Russia, 1905–7, 99–119.
43 Pavlov, Markovskaya, 13–14, 18–22, 44, 53; Shanin, Russia, 1905–7, 109–11; TsGALI, f. 66, op. 1, d. 296, 1. 2; d. 312.
44 Bushnell, Mutiny, 52.
45 Там же., 55–6, 60–5; Ascher, Revolution, 170–2.
46 Ascher, Revolution, 157, 159–60; Galai, Liberation, 205–6.
47 Memoirs of Count Witte, 406–7; Sablinsky, Road to Bloody Sunday, 277–8, 280–1; Verner, Crisis, 163; Ascher, Revolution, 112.
48 Verner, Crisis, 179–80; GARF, f. 1807, op. 1, d. 382, 1. 202.
49 Gor'kii, ‘Pis’ma k E. P. Peshkovoi’, 162.
50 Suhr, 1905, 342–4; Ascher, Revolution, 132.
51 Блестящий разбор соотношения «революционного насилия» и «хулиганства» в 1905 году см.: Neuberger, Hooliganism, ch. 2.
52 Ascher, Revolution, 211–17; Engelstein, Moscow, 123; ‘Khar’kov v oktiabre’; Lvov-Rogachevskii, ‘Oktiabr’skie dni’, 80.
53 Ascher, Revolution, 217–21; Trotsky, My Life, 186. Существуют разногласия о том, выступал ли Ленин когда-либо в Петербургском Совете 1905 года. Ряд источников утверждает, что Ленин выступал там раз или два, но надёжного подтверждения этому нет.
54 Trotsky, My Life, 172–4; Haimson (ed.), Making, 324.
55 Verner, Crisis, 227; Letters of Isar Nicholas and the Empress Marie, 188.
56 Memoirs of Count Witte, 515.
57 Petrunkevich, ‘Iz zapisok’, 410.
58 Obolenskii, Moia zhizn’, 373–4; Polner, Zhiznennyi, 97, 110.
59 Emmons, formation, 41–4, 62–72, 146–7; Rosenberg, Liberals, 12–24.
60 Emmons, Formation, 147, 217–22.
61 Memoirs of Count Witte, SOI—2; Gurko, Figures and Features, 404–5.

62 Miliukov, Political Memoirs, 65.;.
63 Rawson, Russian Rightists, 21–33, 46–72, 142–8.
64 Там же., 137–8; Lambroza, ‘Pogroms’, 227–8, 233–7; Weinberg, ‘Pogrom’, 262, 268–9; Letters of Tsar Nicholas and the Empress Marie, 190–1.
65 Haimson, (ed.), Making, 180–3; Engelstein, Moscow, 140; Baring, A Year in Russia, 29–30.
66 Zenzinov, Perezhitoe, 225; Gul’, ‘Byloe’.
67 Haimson, (ed.), Making, 203; Gor'kii, ‘Pis'ma k K. P. Piatnitskomu’, 193.
68 Engelstein, Moscow, 205, 222; Ascher, Revolution, 315–22.
69 ‘Dnevnik A. A. Polovtsova’, (1906), 4, 1923: 99; Bing (ed.), Secret Letters, 206; Manning, Crisis, 173; Shanin, Russia, 1905–7, 95; Ferro, Nicholas LI, 118–19; Gurko, Figures and Features, 446.
70 Gor'kii ‘Pis'ma k E. P. Peshkovoi’, 170.
71 Troyat, Gorky, 100–6.
72 Gor'ku, ‘Pis'ma k pisatel’iam’, 132; Pasternak, Stikhotvoreniia, 204.
73 Pares, My Russian Memoirs, 161–2.
74 Miliukov, Political Memoirs, 42; Trotsky, My Life, 194–5; Deutscher, Prophet Armed, 148.
75 Deutscher, Prophet Armed, 168.
76 Naumov, Iz ustelevshikh, 2: 72; Manning, Crisis, 146; Neuberger, Hooliganism, 114, 118–19. См. также: Weissman, ‘Rural Crime’.
77 Shanin, Russia, 1905–7, 198; Polner, Zhiznennyi, 110–11; BA, Polner Collection, Box 2, Death of Lvov.
78 Neuberger, Hooliganism, 237 (and chs 4 and 5); Bely, Petersburg, 11; Engelstein, Keys to Happiness, 240, 257–60.
79 Russkie vedomosti, 16 Nov 1905.
80 M. Gor’kii v epokhu revoliutsii, 52.
81 Kelly, ‘Self-Censorship’, 201; Vekhi, 89.
82 Lenin, PSS, 41: 8–9.

Глава 6. Последние надежды

1 Obolenskii, Moia zhizn’, 338–9; Kokovtsov, Out of My Past, 129–31.
2 Szeftel, Russian Constitution, 119–20, 177–8, 260; Verner, Crisis, 300–2.
3 Gurko, Figures and Features, 23–5, 27–30. Более положительную оценку Государственного совета см.: Lieven, Russia’s Rulers.
4 Obolenskii, Moia zhizn’, 350.
5 Kryzhanovskii, Vospominaniia, 81–2; TsGALI, f. 66, op. 1, d. 324.
6 Baring, What I Saw in Russia, 255.
7 Obolenskii, Moia zhizn’, 341.
8 Manning, Crisis, 199, 218; Hosking and Manning, ‘What Was the United Nobility?’; Atkinson, End, 53.
9 BA, Polner collection, Box 2, Lvov's Death; Rosenberg, Liberals, 17–38.
10 Pares, Fall, 111.

11 Bok, Reminiscences, 122–5.
12 Там же., 128.
13 Stolypine, L'Homme, 144.
14 Pares, Memoirs, 126; Kryzhanovskii, Vospominaniia, 210, 219.
15 Leontovitsch, Geschichte, 400.
16 Pares, Memoirs, 139.
17 Hosking, Constitutional Experiment, ch. 4.
18 Edelman, Gentry Politics, 10.
19 Korros, 'Landed Nobility', 134–8; Weissman, Reform in Tsarist Russia, 198–202; Edelman, Gentry Politics, 118–23; Bok, Reminiscences, 263.;.
20 Kokovtsov, Out of My Past, 267–8; Miliukov, Political Memoirs, 229–30.
21 BA, Kryzhanovsky Collection, Box 2, mss. on Stolypin; Serebrennikov, Ubiistvo, 191; Bok, Reminiscences, 278–80.
22 Haimson, 'Social Stability', 1: 619–42. Несколько иной взгляд на политику рабочего класса в эти годы см.: McKean, St Petersburg, esp. chs 4–5.
23 История Семёнова основана на его собственных рассказах в 'Legko'; 'Novye khoziaeva'; 'Obnovlenie'; Dvadtsat' piat' let, а также на его личных бумагах в ЦГАЛИ (TsGALI).
24 TsGALI, f. 200, op. 1, d. 80, 1. 3.
25 Там же., f. 2226, op. 1, d. 13, 1. 354, 360; Narodnyi pisatel', 7.
26 TsGALI, f. 66, op. 1, d. 312, L 4–5.
27 Там же., f. 200, op. 1, d. 80, L 3; £ 2226, op. 1, d. 1067; f. 66, op. 1, d. 296, L 5; f, 122, op. 3, d. 13, L S—7; Semenov, 'Legko', 253.
28 Robinson, Rural Russia, 194.
29 TsGALI, f. 122, op. 1, d. 1197, 1. 42.
30 Agrarnoe dvizhenie v Rossii v 1905–1906, 151.
31 Figes, Peasant Russia, 57–61; Macey, 'Peasant Commune', 221–8; Yaney, Urge, 178–84.
32 Yaney, Urge, 156–60. Статистика реформ, как известно, крайне запутанна. Лучший общий обзор: Atkinson, 'Statistics'. Более новое исследование на местном уровне см.: Pallot and Shaw, Landscape, ch. 7.
33 Sternheimer, Administering', 286–98; Macey, 'Peasant Commune', 228–30.
34 Danilov, 'Ob istoricheskikh', 106. Более ранние цифры, которые, как правило, были несколько выше, основывались, как показывает Данилов, на ошибках в расчётах.
35 Semenov, 'Novye khoziaeva', 275.
36 Samuel, Blood Accusation, 17.
37 Cohn, Warrant for Genocide, 90–8, 108–25; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 255–7; Engelstein, Keys to Happiness, 299–300, 321–6; Diaries of Theodor Herzl, 394.
38 Tager, Decay, 29; Samuel, Blood Accusation, 26–7.
39 Tager, Decay, 39–40, 206; Samuel, Blood Accusation, 55.
40 Rogger, Jewish Policies, 40–55; Gruzenberg, Yesterday, 107; Tager, Decay, 147–65, 178.

41 Hosking, Constitutional Experiment, ch. 7; Haimson, ‘Social Stability’, I: 619–42; McKean, St Petersburg, 149.
42 Edelman, Gentry Politics, 176–7; Rogger, Jewish Policies, 208–9; Rawson, Russian Rightists, 65–72.
43 Pares, Fall, 122.
44 Rogger, Russia, 168.
45 Hosking, Constitutional Experiment, 233; Struve, ‘Velikaia Rossiia’, 144–6; Seletskii, ‘Obrazovanie’, 32–48.
46 Lieven, Russia and the Origins, 37, 131–3; Novoe vremia, 6 March 1914; Hutchinson, ‘Octobrists’, 225.
47 Lieven, Russia and the Origins, 71–2, 92–101; Brussilov, A Soldier's Notebook, 38.
48 Lieven, Russia and the Origins, 65; Kerensky, Crucifixion, 172.
49 Golder, Documents, 21.
50 Bark, ‘liul’ 1914’, 22; Spring, ‘Russia and the Coming of War’, 66.
51 Sazonov, How the War Began, 46–7; Paléologue, An Ambassador's Memoirs, 1: 43–4.
52 Brussilov, A Soldier’s Notebook, 40–1; Gilliard, Thirteen Years, 111.
53 Gippius, Siniaia kniga, 9; Russian Schools, 166–7; Troyat, Gorky, 123.
54 Pearson, Russian Moderates, 12–13, 15–16.

Глава 7. Война на трёх фронтах

1 GARF, f. 5972, op. 1, d. 26, ll. 3–5.
2 Stone, Eastern Front, 13–14.
3 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 17, 1. 97; d. 4, L 108–10; Gourko, Memories, 1; Oberuchey, V dni revoliutsii, 62; Sokolov, ‘Aleksei’, 83; BA, Brusilovy Collection, mss. ‘Gazeta dni’.
4 Lincoln, Passage, 83; GARF, f. 5972, op. 3, d. 70, 1. II-13.
5 Stone, Eastern Front, 61–8; Lincoln, Passage, 63–6, 69–78; Ironside, Tannenberg, 245.
6 Knox, With the Russian Army, 1: 90.
7 Golovin, Russian Army, 45–74; Brussilov, A Soldier's Notebook, 93–4.
8 Denikin, Ocherki, 1: 19; Heenan, Russian, 90; Brussilov, A Soldier’s Notebook, 37, 39.
9 Brussilov, A Soldier's Notebook, 98; Lincoln, Passage, 124.
10 Stone, Eastern Front, 52; Knox, With the Russian Army, I: 42, 46.
11 Brussilov, A Soldier’s Notebook, 133, 330.
12 Там же., 143.
13 Knox, With the Russian Army, I: xxv; Lincoln, Passage, 71–2; Os’kin, Zapiski soldata, 259–60; Brussilov, A Soldier’s Notebook, 64–5; Stone, Eastern Front, 50–1, 148, 167–8.
14 Sidorov, Ekonomicheskoe, 11–12; Lincoln, Passage, 106; Knox, With the Russian Army, 1: 220; Chaadaeva (ed.), ‘Soldatskie pis’ma’, 127–8.

15 Brussilov, A Soldier's Notebook, 126–7; Lincoln, Passage, 105; Chaadaeva (ed.), 'Soldatskie pis'ma', 124–5.
16 GARE, f. 5972, op. 3, d. 70, L. 13–14; Rodzianko, Reign of Rasputin, 115–17.
17 Wildman, End, I: 100–2.
18 RGVA, f. 37976, op. 9, d. 4218.
19 Os'kin, Zapiski soldata, 143–4, 171, 212–13, 218–21, 243–5.
20 Chaadaeva (ed.), 'Soldatskie pis'ma', 158; Os'kin, Zapiski soldata, 223.
21 Chaadaeva (ed.), 'Soldatskie pis'ma', 126–7.
22 Lincoln, Passage, 127; Denikin, Ocherki, I: 2: 29–30; Knox, With the Russian Army, I: 317–18; 2: 410.
23 GARF, f. 5972, op. 3, d. 70, 1. 82.
24 Lemke, 250 dnei, 223–55; Knox, With the Russian Army, 1: 324–8.
25 Lincoln, Passage, 152; Iakhontov, 'Tiazhelye dni', 33, 37, 74.
26 Os'kin, Zapiski soldata, 234; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18, L. 4; d. 17; Pireiko, Na fronte, 35–6.
27 Golovin, Russian Army, 121–2; Os'kin, Zapiski soldata, 276–302, 318–33; Lincoln, Passage, 146–7.
28 Brussilov, A Soldier's Notebook, 170–1, 185.
29 TYakhontov, 'Tiazhelye dni', 54, 98.
30 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 15, 1. 6; HLRO, 206: Stow Hill Papers. DS 2/2, Box 8, O. L. Kerenskaia, 'Obryvki vospominaniia', 2.
31 Polner, Obolenskii and Turn (ed.), Russian Local Government, 54ff, 100–1; Gleason, All-Russian', 365–82; Cherniavsky (ed.), Prologue, 228..
32 Polner, Zhiznennyi, 174–88; Obolenskii, Moia zhizn', 374.
33 Grave (ed.), Burzhuazia, 29–31; Polner, Obolenskii and Turn (ed.), Russian Local Government, 300–3; Polner, Zhiznennyi, 210.
34 Stone, Eastern Front, 156, 199–202; Siegelbaum, Politics of Industrial Mobilization, 38; Pearson, Russian Moderates, 24–47.
35 Pearson, Russian Moderates, 46–53; Hamm, 'Liberal Politics'; Rosenberg, Liberals, 39–42.
36 Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 125; lakhontov, "Tiazhelye dni', 107–36.
37 Grave (ed.), Burzhuazia, 59–60; Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 100, 166.
38 Russkie vedomosti, 27 Sep 1915.
39 Grave (ed.), Burzhuazia, 62–3.
40 Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 114, 152, 221, 409.
41 Pares, Full, 317; Rodzianko, Reign of Rasputin, 178.
42 Knox, With the Russian Army, 2: 412; Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 134, 301.
43 Knox, With the Russian Army, 2: 416.
44 Stone, Eastern Front, 234; Brussilov, A Soldier's Notebook, 199–200.
45 Brussilov, A Soldier's Notebook, 215; GARF, f. 5972, op. 3, d. 70, 1. 80.
46 Stone, Eastern Front, 235.
47 Sokolov, 'Aleksei', 213–14; Golovin, 'Brusilov Offensive', 577–81.

48 GARF, f. 5972, op. 3, d. 70, 1. 49, 155; Stone, Eastern Front, 249; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 17, L. 159–60.
49 Hindenburg, Out of My Life, 158; Brussilov, A Soldier's Notebook, 238–51, 267; Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 346.
50 Brussilov, A Soldier's Notebook, 256; Pares, Fall, 364–70; Lincoln, Passage, 257–8.
51 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 10; Brussilov, A Soldier's Notebook, 248, 272.
52 Knox, With the Russian Army, 2: 466–7, 472.
53 RTsKhIDNI, f. 75, op. 1, d. 14; Golovin, Russian Army, 246.
54 CUL, Templewood Papers, XXI: I: 24; Pares, Fall, 301–2.
55 Katkov, Russia 1917, 157–60; Massie, Nicholas, 152, 299, 346–7; Kerensky, Crucifixion, 196–8.
56 Florinsky, End, 141; Pearson, Russian Moderates, 109–10; Katkov, Russia 1917, 218.
57 Pares (ed.), Letters of the Tsaritsa, 394; BA, Brusilov collection, Memoirs, 3: 46; Pares, Fall, 381.
58 Pearson, Russian Moderates, 117–18. Замечанием об учителях я обязан Борису Колоницкому.
59 Voeikov, S tsarem, 185.
60 Pearson, Russian Moderates, 122, 137; Hasegawa, February, 182.
61 GARF, f. 5972, op. 1, d. 219, l. 161. Об историографии этих заговоров см.: Hasegawa, February, 187–8.
62 Kotsiubinskii, 'Sekret', 27, 29 Dec 1994; Purishkevich, Ubiistvo, 81; Purishkevich, Dnevnik, 141.
63 Romanov, V mramornom, 307; Lincoln, Passage, 310–11.
64 Trotsky, My Life, 276; Deutscher, Prophet Armed, 241.
65 Serge and Sedova, Life and Death, 30.
66 Trotsky, My Life, 283.
67 Там же., 219.
68 Cohen, Bukharin, 22; Trotsky, My Life, 243; Kollontai, Iz moti zhizni, 146; Clements, Bolshevik Feminist, 84.
69 Ermanskii, Iz perezhitogo, 119.
70 Gankin and Fisher (ed.), Bolsheviks and the World War, 322.
71 Dazhina and Tsivlina, 'Iz arkhiva A. M. Kollontai', I: 227; 2: 227.
72 Trotsku, Sochineniia, 8: 66–7; Deutscher, Prophet Armed, 216–23.
73 Trotsky, My Life, 280; Dazhina, 'Amerikanskie dnevniki'; Ziv, Trotskii, 67: Draper, Roots, 77.
74 Shliapnikov, On the Eve, 27–8, 38; Burdzhalov, Russia's Second Revolution, 26; McKean, St Petersburg, ch. 12.
75 RGIA, f. 806, op. 5, d. 10313, lL 12–13; Voronov, 'Analiz', 56–7; Minor, Novye formy, I-16; Mendel'son, Itogi, 22–4; Binshtok and Kaminski, Narodnoe pitanie, 45–52.
76 Antsiferov et al (ed.), Russian Agriculture, 140, ISI-2; Anfimov, Rossiiskaia derevnia, 241–2, 280ff.

77 Antsiferov et al (ed.), Russian Agriculture, 222.
78 Leiberov and Rudachenko, Revoliutsiia i kbleb, 17–20.
79 Strumilin, Izbrannye proizvedeniia, 5: 187; McKean, St Petersburg, 337–8; Koenker, Moscow Workers, 84–7; Hasegawa, February Revolution, 67–9; Binshtok and Kaminskii, Narodnor pitanie, 24–35; Gernet, Moral'naia statistika, 97; Gor'kii, 'Pis'ma k E. P. Peshkovoi', 176.
80 Shliapnikov, On the Eve, 75, 94; Hasegawa, February Revolution, 87 ff; Smith, Red Petrograd, 48–53; Koenker, Moscow Workers, 883–90; McKean, St Petersburg, chs 13–14; Strumilin, Izbrannye proizvedeniia, 5: 186–7.
81 Siegelbaum, Politics of Industrial Mobilization, ch. 7; Hasegawa, February Revolution, 123–32.
82 Ivanov, "Volnenie', 171–2.
83 Hasegawa, February Revolution, 159–68; Shklovsky, Sentimental Journey, 8.
84 Wildman, End, I: 105ff; Chaadaeva, Armiia nakanune, 65–9; 'Soldatskie pis'ma', 134–59; Brussilov, A Soldier's Notebook, 282.
85 Sidorov, Revoliutsionnoe, 221.

Глава 8. Славный Февраль

1 Balk, 'Poslednie', 28; Hasegawa, February Revolution, 199; Heald, 'Witness', 45; Trudy tsentral'nogo, 7: I: 252; Gor''kii, 'Pis'ma k E. P Peshkovoi', 192.
2 Lih, Bread, 12; Balk, 'Poslednie', 28; Hasegawa, February Revolution, 200.
3 Balk, 'Poslednie', 26–9; Hasegawa, February Revolution, 21–4.
4 Hasegawa, February Revolution, 232–8; Balk, 'Poslednie', 31; LRA, MS 790/20 (letter by Marguerite Bennet, 15 March 1917); BC, Ransome Papers, Telegraph 50, 10 March 1917; RGIA, f. 1282, op. 1, d. 741, L. 41–2.
5 Hasegawa, February Revolution, 247–53; Balk, 'Poslednie', 35–6.
6 BA, Finland Regiment Collection, Box 10, D. I. Khodnevy, 'Fevral'skaia revoliutsiia 1917 g. i zapasnyi battalion leib-gvardii finlandskogo polka'; Hasegawa, February Revolution, 253–5; RGIA, f. 1282, op. 1, d. 741, L 89.
7 Balk, 'Poslednie', 39–42; Sukhanov, Russian, 5; Hasegawa, February Revolution, 258.
8 Padenie, I: 190.
9 Hasegawa, February Revolution, 267–9; Martynov, Tsarkaia armiia, 85; Kirpichnikov, "'Vosstanie', 7–9.
10 Cherniaev, "Vosstanie'; Martynov, Tsarskaia armiia, 87–9; Padenie, 1: 195–200.
11 Kirpichnikov, "Vosstanie', 10–15.
12 Kantorovich, 'Fedor Linde', 221–38; Kievskaia mysl', 3 Sep 1917; Sokolov, White Nights, 21–2.
13 Balk, 'Poslednie', 45; Hasegawa, February Revolution, 404–5; Kantorovich, 'Fedor Linde', 239.
14 Jones, Russia in Revolution, 105–6; Shklovsky, Sentimental, 15.
15 Kantorovich, 'Fedor Linde', 238; Romanov, V mramornom, 318; Gorky, Fragments, 167; Bulgakov, 'Revoliutsiia', 9–10; Jones, Russia in Revolution, 123–4; Raskolnikov, Kronstadt, 4; Shklovsky, Sentimental, 16.

16 Jones, Russia in Revolution, 108; Zenzinov, ‘Fevral’skie dni’, 5: 219–20; Gorky, Fragments, 164; Berkman, Bolshevik Myth, 203.

17 Balk, ‘Poslednie’, 55; Shulgin, Dni, 162–7; Petrogradskii sovet, 1: 34–5, 46.

18 Sukhanov, Russian, 16; The Times, 17 March 1917; Jones, Russia in Revolution, 127; Bulgakov, ‘Revoliutsiia’, 28.

19 BA, Finland Regiment Collection, Box 10, D. I. Khodnevy, ‘Fevral’skaia revoliutsiia 1917 g. i zapasnyi battalion leib-gvardii finlandskogo polka’, 63.

20 О языке тела толпы см. мою готовящуюся к выходу книгу (в соавторстве с Борисом Колоницким): Interpreting the Russian Revolution: Essays on the Language, Rites and Symbols of 1917.

21 Pitcher (ed.), Witnesses, 14; The Times, 16 March 1917.

22 RGIA, f. 1278, op. 10, d. 7, 1. I; Bulgakov, ‘Revoliutsiia’, 7, 9–10; Jones, Russia in Revolution, 134.

23 Jones, Russia in Revolution, 119; GARF, f. 102, op. 341, d. 57, L 24–9; f. 5849, op. 2, d. 33, 1. 4–5; Bulgakov, ‘Revoliutsiia’, 14–17; RPG, I: 140; Anet, Raéolution, 1: 129–30.

24 Sukhanov, Russian, 78, 95; Gor’kii, ‘Pis'ma k E. P. Peshkovor’, 194.

25 См., например, осуждение насилия толпы (а тем самым косвенно и всей революции) Саймоном Шамой в книге: Citizens: A Chronicle of the French Revolution, London, 1989. Подход Ричарда Пайпса в The Russian Revolution окрашен тем же предубеждением против насилия.

26 Sukhanov, Russian, 96.

27 Sorokin, Leaves, 14–16; Bulgakov, ‘Revoliutsiia’, 19; Jones, Russia in Revolution, 163.

28 Mstislavskii, Five Days, 23; Sukhanov, Russian, 21; Krupskaia, Vospominaniia, Aig Aronson, Rossiia, 4.

29 Sukhanov, Russian, 43, 177; Trotsky, History, 18.

30 Hasegawa, February Revolution, 330–45, 380; Sukhanov, Russian, 59–62, 83–7; Zenzinov, ‘Fevral’skie dni’, 215–18.

31 Hasegawa, February Revolution, 348–59; RPG, I: 45–7; Shulgin, Dni, 179.

32 Mstislavskii, Five Days, 30–1; Shklovsky, Sentimental, 15–16; Bulgakov, ‘Revoliutsiia’, 21; Nabokov, Provisional, 43–4.

33 Jones, Russia in Revolution, 165–6; NLW, Lord Davies Papers, C3/23.

34 Pipes, Russian Revolution, 303; RPG, 1: 47–8; Cantacuzéne, Revolutionary Days, 147–9.

35 Zenzinov, ‘Fevral’skie dni’, I: 237–9.

36 RPG, 2: 846–9; Petrogradskii sovet, 1: 49–50; Sukhanov, Russian, 113.

37 RPG, 3: 1223–4.

38 Mstislavskii, Five Days, 64–5.

39 Hasegawa, February Revolution, 410–16; Sukhanov, Russian, 116–25; RPG, I: 135–6.

40 RPG, I: 136; Mstislavskii, Five Days, 65.

41 Trotsky, History, 201; Sukhanov, Russian, 140–4; RPG, I: 128–9.

42 Kolonitskii, “Zagadka’, 164–7; Wilcox, Russia’s Ruin, 191; Nabokov, Provisional Government, 75; Gippius, Peterburgskie, 15.
43 ‘Dnevnik Nikolaia Romanova’, 136; Mordvinov, ‘Otryvki’, 86; Hasegawa, February Revolution, 274.
44 Kokovtsov, Out of My Past, 408; Paléologue, Ambassadors’ Memoirs, 3: 151–2.
45 Hasegawa, February Revolution, 434–40.
46 Padenie, 1: 203–7; Balk, ‘Poslednie’, 54–5; Martynov, Tsarskaia armiia, 107–8; Benckendorff, Last Days, 6–9.
47 Hasegawa, February Revolution, 473–9; Martynov, Tsarkaia armiia, 144–5.
48 RPG, I: 83–9; Hasegawa, February Revolution, 495–502.
49 Hasegawa, February Revolution, 503–5; RPG, 1: 95–6.
50 Mordvinov, ‘Otryvki’, 113.
51 Pares, Fall, 420–1; Paley, Memories, 26.
52 Perepiska Nikolaia i Aleksandry, 5: 225; Hasegawa, February Revolution, 510; Shulgin, Dni, 269.
53 Shulgin, Dni, 270–1; Padenie, 6: 265–8.
54 Paley, Memories, 60–1; Benckendorff, Last Days, 16–17.
55 Sukhanov, Russian, 146–7; Hasegawa, February Revolution, 531.
56 Miliukov, Istoriia, 1: 53–5; Kerensky, Catastrophe, 70; Padenie, 6: 266–8; Hasegawa, February Revolution, 556–60.
57 Nabokov, ‘Provisional Government’, 18–20, 46–55; Hasegawa, February Revolution, 561–3.
58 Izvestiia, 4–16 March 1917; Kornakov, ‘Simvolika’, 360; Paustovsky, Story, 474–5; TsGASP, f. 1000, op. 74, d. 13, 1. 64; TsGAVMF, f. 2023, op. 1, d. 7, 1. I.
59 Iusupov, Pered izgnaniem, 187; War, Revolution and Peace, 50; RGIA, £ 1278, op. 10, d. 4, 1. 241–2.
60 1917 god v derevne, 40, 64; TsGASP. f. 8558, op. 1, d. S, |. 30; RGIA, ££ 1278, op. 10, d. II, 1. 332.
61 Kornakov, ‘Simvolika’, 361.
62 Heald, ‘Witness’, 64–6; Stites, ‘Iconoclastic’, 7–9; Sukhanov, Russian, 74; Nazhivin, Zapiski, 32–3; Bulgakov, ‘Revoliutsiia’, 24, 28–9.
63 RGIA, f. 1412, op. 16, d. 534, l. 4. См. также d. 101–12, 529–44.
64 Kolonitskii, ‘Kul’t vozhdia’, 17–18; Swift, ‘Kul’turnoe’, 403.
65 RGIA, f. 1278, op. 10, d. 4, |. 242; RPG, I: 216–21; 2: 803–19, 862–5; Buryshkin, Moskva, 319; Peshekhonov ‘Pervye nedeli’, 290–1; Silver, Russian Workers’, 38.
66 ‘Trotsky, History, 193.
67 Buchanan, My Mission, 2: 86, 114; War, Revolution and Peace, 46; Kolonitskii, ‘Kul’t vozhdia’, 24–6.
68 Pyman, Life, 2: 243, 247; Zhukovskii-Zhuk, ‘Kogda’, 64; Schweitzer, Tsvetaeva, 138.
69 Kolonitskii, “The “Russian Idea” ’, 4, 9, 13–14; TsGAVMF, f. r-2063, op. 1, d. 7, I. 12; Oberuchev, V dni, 49; Sorokin, Chelovek, 228; Gubernskii, 54; TsGASP., f. 7384, op. 9, d. 76, |. 23–4; Kolonitskii, ‘Kul’t vozhdia’, 7.

70 Paustovsky, Story, 474; NLW, Lord Davies Papers, C3/23; BC, Ransome Papers, Telegraph 53, IS March 1917.

71 Polner, Zhiznennyi, 245.

Глава 9. Самая свободная страна в мире

1 Nabokov, ‘Provisional Government’, 44.

2 Hoare, Fourth Seal, 256; BA, Polner Collection, Box 2, Death of Lvov; Tsereteli, Vospominaniia, 2: 63–4; Gor'kii, ‘Pis'ma k E. P. Peshkovoi’, 195.

3 IM, f. 454, op. 3, d. 70; Tsereteli, Vospominaniia, 1: 63–4; Nabokov, ‘Provisional Government’, 84; Bublikov, Russkaia, 33–4.

4 Polner, Zhiznennyi, 231–45; Tsereteli, Vospominaniia, 1: 114; IM, f. 454, op. 3, d. 70.

5 Kerensky, Memoirs, 227–8.

6 Chernov, Great Russian, 103; Shlapentokh, ‘Images’, 34–5; Sorokin, Leaves, 39; Heald, Witness, 89–90; IM, f. 454, op. 3, d. 70.

7 RPG, 1: 191–242; Polner, Zhiznennyi, 247.

8 Shliapnikov, Semnadtsatyi god, 2: 236.

9 Sukhanov, Russian, 145; Schapiro, ‘Political Thought’, 106–7; Nabokov, ‘Provisional Government’, 135–6; Rosenberg, Liberals, 146–7; RPG, I: 435–47, 451.

10 TsGALI, f. 66, op. 1, d. 312, L 8.

11 Ibid, f. 122, op. 3, d. 13; Tsarev, Samouchka, 37–8.

12 TsGALI, f. 66, op. 1, d. 312; £ 122, op. 3, d. 13; f. 200, op. 1, d. 80.

13 Figes, Peasant Russia, 56–61.

14 GARF, f. 393, op. 3, d. 359, |. 202; Figes, Peasant Russia, 47–56, 122–4.

15 Chernov, Rozhdenie, 313; Galynskii, Ocherki, 116.

16 GARF, f. 398, op. 2, d. 144, 1. 158–9; Galynsku, Ocherki, 117, 141, 172.

17 GARF, f. 1791, op. 2, d. 144, l. 82; RGIA, f. 1278, op. 10, d. 4, L. 270–2.

18 IM, f. 454, op. 3, d. 70.

19 Figes, Peasant Russia, 33–7, 40–6; GARF, f. 406, op. 2, d. 237, 1. 133, 160; Trotsky, History, 882.

20 Koenker and Rosenberg, Strikes, 82, 87, 156, 229.

21 Keep, Russian Revolution, 69; Smith, Red Petrograd, 65–8; Koenker, Moscow Workers, 107–9; RPG, 2: 712–13.

22 Koenker and Rosenberg, Strikes, 102, 137–9, 172–3, 231; BC, Ransome Papers, Telegram 91, 3 April 1917; Ferro, Russian Revolution, 112–13.

23 Pitcher (ed.), Witnesses, 101–2; Reed, Ten Days, 40; Paustovsky, Story, 481. О понятии «праздников освобождения» (fêtes de libération) см.: M. Perrot, Les Ouvriers, Paris, 1974, 2: 548.

24 Ekonomicheskoe polozhenie, 2: 201; Smith, Red Petrograd, 80–98, 139–67.

25 Wade, Red Guards, 80–114, 173–82; Dune, Notes of a Red Guard, 51–7.

26 Rosenberg, ‘Social Mediation’, 173–8; Hogan, ‘Conciliation’, 49–66; Galili, Menshevik Leaders, 119–23.

27 Rosenberg, ‘Social Mediation’, 181–3; Galili, Menshevik Leaders, ch. 6; Koenker and Rosenberg, Strikes, 200–2.
28 RPG, I: 317; Radkey, Agrarian Foes, 40, 216–18.
29 Suny, Revenge, 29–30, 45, 54, 63, 75; Guthier, ‘Popular Base’, 40.
30 Reshetar, Ukrainian, 320–1; Suny, Revenge, 48.
31 Khrystiuk, Zametky, 1: 46; Bocturkiw, ‘Rise’, 222–4; Frenkin, Russkaia armiia, 211–56.
32 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18.
33 RPG, I: 334–5; Upton, Finnish Revolution, chs 1–6; Ketola, ‘Russkaia’, 293–6; Den’, 12 May 1917.
34 RPG, I: 344–55; NZA, 21 July 1917.
35 RPG, I: 374–7, 383–8; Stojko, ‘Ukrainian’, 9ff; Tsereteli, Vospominaniia, 2: 89.
36 RPG, I: 389–92; Reshetar, Ukrainian, 57; IM, f. 454, op. 3, d. 70.
37 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 17, |. 199; GARF, f. 5972, op. 1, d. 21a, 1. 12.
38 Wildman, End, 1: 228–45; BA, Brusilov Collection, mss, ‘Gazeta “Dni” ’*; RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18.
39 ‘Iz ofitserskikh pisem’, 200; Kal’nitskii, Or fevralia, 43.
40 RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18; Polovtsov, Glory, 206; Heenan, Russian, 97–8: Ferro, October, 84–5; GARF, f. 1791, op. 2, d. 629, L. 73.
41 Tmd, 27 May 1917.
42 RPG, 2: 1044–6, 1077–8, 1098: Wade, Russian Search, 26–38.
43 NZh, 23 April 1917; Kantorovich, ‘Fedor Linde’, 242–3; Kievskaia mysl’, 3 Sep 1917; RPG, 3: 1242–4.
44 Roobol, Tsereteli, 133; Galili, Menshevik Leaders, 13440, 179–85.
45 RPG, 3: 1241–2, 1267–9; Rosenberg, Liberals, 109–13; Wade, Russian Search, 47: IM, f. 454, op. 3, d. 70.
46 RPG, 3: 1276–8; Roobol, Tsereteli, 123–4; IM, f. 454, op. 3, d. 70.
47 Sukhanov, Russian, 269–70; Service, Lenin, 2: 154–5.
48 Karpinskii, ‘Vladimir’, 105–6; Valentinov, Encounters, 21.
49 Новейшие (не дающие окончательного ответа) данные по этому вопросу см.: Volkogonov, Lenin, 109–28.
50 Getzler, Martov, 147–8; Service, Lenin, 2: 151–3.
51 Gorky, Lenin, 35; Service, Lenin, 2: 187; NZh, 10 Nov 1917.
52 Lenin, PSS, 31: 9–59, 99–100; Sukhanov, Russian, 274–5.
53 Sukhanov, Russian, 285–8; Lenin, PSS, 31: 113–16; Service, Lenin, 2: 155–60, 165–6; Lenin, Leninskii sbornik, 7: 307–8; RTsKhIDNI, f. 72, op. 3, d. 687, 1. 2; Shub, Lenin, 109.
54 Trotsky, History, 300–7; Zelnik, ‘Fate’, 6: Rabinowitch, ‘Bol’sheviki’, 116–19.
55 Valentinov, Encounters, 148; Besancon, Intellectual, 193–6; Volkogonov, Lenin, 62.
56 Struve, ‘My Contacts’, 593; Volkogonov, Lenin, 35–49; Fischer, Life, 329.
57 Valentinov, Encounters, 50.
58 Gul’, ‘Byloe’; RPG, 2: 1209.

59 Voline, Unknown, 244; Rolland, Journal, 1168; Valentinov, Encounters, 148–51.
60 Trotsky, History, 303, 558; ‘Pis'ma moi’, II: 35.
61 Fischer, Life, 57–8; Aronson, Rossiia, 47–52; Valentinov, Encounters, 42.
62 Service, Lenin, 2: 169–77, 185; Rabinowitch, Prelude, 46–7; Trotsky, History, 340.
63 Rabinowitch, Prelude, 42–5. Мнение, что Центральный комитет готовил путч, см.: Pipes, Russian Revolution, 401–5.
64 Mawdsley, Baltic Fleet, 6–7, 21, 34, 51–3; RPG, 3: 1296–9; Raskolnikov, Kronstadt, 34.
65 Rabinowitch, Prelude, 260.
66 Rabinowitch, Prelude, ch. 3; Sukhanov, Russian, 402–6; Lenin, PSS, 31: 267.
67 RPG, 3: 1322–6; Sukhanov, Russian, 415–19.
68 AG, Pg-RI, 30–19–603 (published here for the first time).
69 NZh, 18, 20 April, 18 May 1917; AG, Pg-RI, 30–19–603.
70 Trotsky, Military Writings, I: 215; Agursky, Third Rome, 171–2; Pyman, Life, 2: 268–305.
71 NZh, 27 April, 9 May, 18 May 1917; Taneeva, Stranitsy 292; RGIA, f. 794, op. 1, d, 4, 1. 4.
72 AG, Pg-RI, 30–19–601 (published here for the first time).
73 NZh, 7 Dec 1917.
74 RTsKhIDNI, f. 75, op. 1, d. 67, 1. I-3 (published here for the first time).
75 Gor’kii, ‘Pis'ma k E. P. Peshkovoi’, 196.
76 NZh, 25 April, 18 May 1917; AG, Pg-In.
77 Gorky, ‘On the Russian Peasantry’, 25; AG, Pg-R1.
78 NZh, 18 April, 19 Nov, 6 Dec, 7 Dec 1917.
79 Gorky, Lenin, 30.
80 NZh, 23 April 1917.
81 AG, Pg-RI, 30–19–601.
82 NZh, 20 April 1917; AG, Pg-RI, 30–19–603.

Глава 10. Агония Временного правительства

1 Kerensky, Memoirs, 278–9.
2 Там же., 271.
3 RGVIA, £ 162, op. 1, d. 18; BA, Pronin Collection, Box 1, “Miting generala Brusilova’.
4 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 17, 1. 202.
5 RPG, 2: 925–6, 927–8; Heenan, Russian, 38–42, 44.
6 RPG, 3: 1739; Lockhart, Memoirs, 180.
7 Kolonitskii, ‘A. E. Kerenskii’, 98; Tsvetaeva, Stikhotvorenie, 2: 63 (‘To the Tsar at Easter [21 May 1917}’).
8 Stepun, Byvshee, 2: 33–5; Kerenskii, Izdaleka, 204; Heenan, Russian, 103; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18.
9 RPG, 2: 913–15.

10 Rosenberg, ‘Russian Municipal’, 161; AG, PG-RI, 30–19–603; Rougle, ‘Intelligentsia, 72; RPG, 2: 486–7.
11 Paustovsky, Story, 486.
12 Pares, My Russian Memoirs, 459.
13 Botchkareva, Yashka, 151–68.
14 RPG, 2: 880–3; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18; Wildman, End, 2: 22–3.
15 Abraham, Kerensky, 199–200; Farmborough, Nurse, 269–70.
16 Kerensky, Memoirs, 274, 282.
17 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 17, 1. 200; BA, Pronin Collection, Box I, ‘Miting gen. Brusilova’.
18 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18.
19 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18; Wildman, End, 2: ch. 2.
20 Stepun, Byvshee, 2: 10; Brussilov, Soldier’s Notebook, 290–1, 307–8, 340.
21 Golovin, Russian Army, 197; Heenan, Russian, 97–8.
22 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18; Bauermeister, Spies, 128–37.
23 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18.
24 Wildman, End, 2: 89ff; Stankevich, Vospominaniia, 155–6, 160.
25 Botchkareva, Yashka, 208–18.
26 Miliukov, Russian, I: 195.
27 Polner, Zhiznennyi, 254; IM, f. 454, d. 3, 1. 70.
28 Trotsky, History, 518.
29 Heenan, Russian, 54–5; Kerensky, Catastrophe, 207–10.
30 IM, f. 454, d. 3, |. 47–67.
31 Rabinowitch, Prelude, 117–18, 121–2.
32 Rabinowitch, Prelude, 122–40; Pravda, 4 July 1917; RPG, 3: 1338–40.
33 RPG, 3: 1335–6; Trotsky, History, 529–30; Sukhanov, Russian, 429–30; Buchanan, Petrograd, 134; Blok, Sobrante sochinenti, 7, 273.
34 Sukhanov, Russian, 431; Trotsky, History, 525.
35 ‘Pis'ma moi’, 2: 35; RPG, 3: 1339–44; Rabinowitch, Prelude, 167–70: Sukhanoyv, Russian, 431–2; Woytinsky, Stormy, 300.
36 Sukhanov, Russian, 432; Buchanan, Petrograd, 135–6.
37 Rabinowitch, Prelude, 1746.
38 Pipes, Russian Revolution, 419; Rabinowitch, Prelude.
39 Sukhanov, Russian, 479; Krasnaia Gazeta, 16 July 1920; Zinoviev, ‘Lenin’, 62.
40 Buchanan, Petrograd, 139; Raskolnikov, Kronstadt, 153–72; Pares, My Russian Memoirs, 465.
41 Sukhanov, Russian, 441–2; Rabochy i soldat, 26–7 July 1917; Rabinowitch, Prelude, 181–4.
42 Krupskaia, Vospominaniia, 166 and passim.
43 AG, PG-RI, 30–19–605 (published here for the first time).
44 Woytinsky, Stormy, 301–2; RPG, 3: 1356.
45 Sukhanov, Russian, 444–7; Raskolnikov, Kronstadt, 166–7.

46 Sukhanov, Russian, 448–9; Woytinsky, Stormy, 305–6. 176-й полк на деле был в известной мере связан с Межрайонной группой социал-демократов.
47 RPG, 3: 1347.
48 Sukhanov, Russian, 450.
49 Nikitine, Fatal Years, 155–7; Sukhanov, Russian, 462–4.
50 Sukhanov, Russian, 455.
51 RPG, 3: 1364–5; Nikitine, Fatal Years, 119–22; Zeman (ed.), Germany, 94–5; Rabinowitch, Prelude, 206–7.
52 Polovtsov, Glory, 258.
53 Trotsky, History, 570; Sukhanov, Russian, 469–70.
54 NZh, IS Aug 1917.
55 Zinoviev, 'Lenin', 70.
56 Lenin, PSS, 32: 433–4.
57 AG, PG-RI, 30–19–605 (published here for the first time).
58 NZh, 9 July 1917.
59 RPG, 3: 1350.
60 Polovtsov, Glory, 259–60; IM, f. 454, d. 3, 1. 18; Polner, Zhiznennyi, 258.
61 Kolonitskii, 'A. F. Kerenskii', 98–106.
62 Krasnov, 'Na vnutrennom fronte', 106. Последующий рассказ о гибели Линде составлен по с. 105–112 статьи Krasnov, 'Na vnutrennom', и по: Sokolov, White Nights, 15–40. Этот эпизод изложен также, с немалой долей художественной вольности, в «Докторе Живаго» Пастернака (часть 5).
63 Kantorovich, 'Fedor Linde', 251; Kievskaia mysl', 3 Sep 1917; Gippius, Siniaia kniga, 169–71; RPG, 3: 1390–1.
64 Cantacuzéne, Revolutionary Days, 30; Rabinowitch, Bolsheviks, 39–42.
65 Brussilov, A Soldier's Notebook, 317; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 4, |. 79, 83.
66 Vertsinskii, God, 18; Bogaevskit, Vospominaniia, 39; Katkov, Kornilov, 39–41; Brussilov, A Soldier's Notebook, 100–2, 321; Grondijs, La Guerre, 264.
67 GARF, f. 5849, op. 2, d. 35, L 2–3.
68 White, 'Kornilov', 187–9; Katkov, Kornilov, 138–9.
69 Martynov, Kornilov, 16–20.
70 Abraham, Kerensky, 255; Stepun, Byvshee, 2: 144–5.
71 Brussilov, A Soldier's Notebook, 320; RPG, 2: 989–1010.
72 Martynov, Kornilov, 33–4; Savinkov, K Delu, 13–14.
73 Martynov, Kornilov, 20; PRO, FO 371, 3015, N 165148/17, 93–4; Stepun, Byvshee, 2: 143–4.
74 Katkov, Kornilov, 56–7, 171–2; Botchkareva, Yashka, 225; Lukomskii, Vespominaniia, 228.
75 Vladimirova, Kontrrevoliutsiia, 84; Stepun, Byvshe, 2: 162–3; RPG, 3: 1510–15.
76 Gippius, Siniaia, 162, 164.
77 Katkov, Kornilov 50–1, 74–9, 84–8, 136–7, 159; RPG, 3: 1558–71.
78 NZh, 3 Sep 1917; RPG, 3: 1574–5; Katkov, Kornilov, 92.
79 Katkov, Kornilov, 97; Martynov, Kornilov, 110–11.

80 Pipes, Russian Revolution, 459–60; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 4, 1. 53.
81 Rabinowitch, Bolsheviks, 132–44.
82 Там же., 144–50; RPG, 3: 1586–9.
83 Denikin, Ocherki, 2: 86; Katkov, Kornilov, 130–4.
84 Trotsky, My Life, 331.
85 HLRO, 206, Stow Hill Papers, DS 2/2, Box 8, O. L. Kerenskaia, ‘Obryvki vospominanii, 8.
86 McCauley (ed.), The Russian Revolution, 36–7.
87 Smith, Red Petrograd, 110–16, 160–7; Koenker, Moscow Workers, 194–5, 198–200, 2224.
88 Rosenberg, ‘Russian Municipal’, 159–61.
89 Keep, Russian Revolution, 146.
90 Rabinowitch, Bolsheviks, 174–5; Trotsky, History, 804–6; Sukhanov, Russian, 528.
91 Liv, Trotskii, 69–74; Deutscher, Prophet Armed, 284–5; Lunacharsky, Revolutionary, 65.
92 Rabinowitch, Bolsheviks, 154–8.
93 Smith, Red Petrograd, ch. 7; Koenker, Moscow Workers, 184–6, 320–5; Koenker and Rosenberg, Strikes, 254–60, 280–6; RPG, 3: 1640–52.
94 Delo derevni, 27 Aug 1917; Lutskii, ‘Krest’ianskoe’, 49–78.
95 TsGANKh, f. 478, op. 1, d. 149–50; d. 202, 1. 7–8; Edwards, Sonya, 466.
96 Figes, Peasant Russia, 61–84.
97 Galili, Menshevik, 384; Radkey, Agrarian, 403ff; Raleigh, Revolution, 235–7, 267–70.
98 Lenin, PSS, 32: 433–4; 33: S~120; 34: 10–17.
99 Там же., 34: 133–9.
100 RPG, 3: 1684–91, 1714–21; Trotsky, History, 916–17.
101 Haimson (ed.), Making, 18; Galili, Menshevik, 302, 327–8, 336–7.
102 Trotsky, History, 1156; Gorky, Lenin, 46.
103 Lenin, PSS, 34: 239–41.
104 Там же., 34: 214–28, 242–7, 272–83.
105 Sukhanov, Russian, 556; Rabinowitch, Bolsheviks, 202; RTsKhIDNI, f. 17, op. 1, d. 33.

Глава 11. Революция Ленина

1 Sukhanov, Russian, 498–9; Reed, Ten Days, 54–5, 87.
2 Rabinowitch, Bolsheviks, 209–16, 219; Lenin, PSS, 34: 264–8.
3 RTsKhIDNI, £17, op. 1, d. 34, L I-15.
4 Там же. 1. 16–17; NZh, 18 Oct 1917; Lenin, PSS, 34: 423–7.
5 Rabinowitch, Bolsheviks, 215.
6 Russkaia revoliutsiia glazami Petrogradskogo chinovnika, 15 Oct 1917; PRO, War Office, 158/964: 6; FO 371, 2997, N 142922, 126; Reisner, Izbrannye, 489–90; CUL, Hardinge Papers, 35: 27; HLRO, 206: Stow Hill Papers, DS 2/2, Box NI8: 15–16; Ferro, October, 285; Gippius, Siniaia, 175, 187.

7 PRO, FO 371, 3016, N 205925: 542–5; N210021: 582; N 208373: 577–8; 3017 N 209501: 10–II; N 208214: 567–70; N 210844: 572–3; Nabokov, Ispytaniia, 97, 99–100, 102, 139–40.

8 Gippius, Siniaia, 210; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18.

9 Nabokov, 'Provisional Government', 78.

10 Rabinowitch, Bolsheviks, 253–4.

11 TsGASP, f. 131, op. 1, d. 8, L 6; f. 54, op. 1, d. 2, 1 48; f. 148, op. 1, d. 24, LT; Startsev, "Voenno-revoliutsionnyi komitet', 134; Ignat'ev, 'V noch' ', 314.

12 Melgunov, Bolshevik, 81.

13 Rabinowitch, Bolsheviks, 272; Izvestiia TsK KPSS, 1989, I: 226.

14 Rabinowitch, Bolsheviks, 274–81; Lenin, PSS, 35: I.

15 Kostiukov, 'Kak my opozdali', 32–7; Oktiabr'skoe, 2: 346; Rabinowitch, Bolsheviks, 282; Trotsky, History, 1108–9; Blagonravov, 'Fortress', 206.

16 Rabinowitch, Bolsheviks, 290–1.

17 GARF, f. 543, op. 1, d. 1, 1. 24–5; Sukhanov, Russian, 617–18; Melgunov, Bolshevik, 58–61.

18 GARF, f. 3348, op. 1, d. 149, L. 2; Melgunov, Bolshevik, 68–70; Pal'chinskii, 'Poslednye chasy', 137; Reed, Ten Days, 92–3.

19 Sinegub, 'Zashchita', 152; Melgunov, Bolshevik, 76; GARF, f. 3348, op. 1, d. 149, 1. 3.

20 Reed, Zen Days, 106–7, 110–11.

21 Maliantovich, 'V zimnem', 120–1; Reed, Ten Days, 112; Melgunov, Bolshevik, 80; Buchanan, My Mission 2: 208.

22 Reed, Ten Days, 98–9; Sukhanov, Russian, 616, 635 and passim; Ohktiabr'skoe, 2: 353; Pipes, Russian Revolution, 498.

23 Vioroi vserossiiskii s'ezd, 2–4, 33–5.

24 Цит. по: Rabinowitch, Bolsheviks, 294.

25 Vroroi vserossiiskii s'ezd, 43–4; Getzler, Martov, 163.

26 Vtoroi vserossiiskii s'ezd, 43–4; Rabinowitch, Bolsheviks, 297.

27 GARF, f. 3348, op. 1, d. 149, L 2–3; Melgunov, Bolshevik, 89–91; Rabinowitch, Bolsheviks, 299–301.

28 Vioroi vserossiiskii s'ezd, 47–54; Reed, Ten Days, 113–16.

29 Trotsky, History, 1140; Startsev, Ocherki, 195; Mawdsley, Baltic Fleet, 112–13.

30 Trotsky, History, 1079; Korenev, 'Chrezvychainaia', 29; Melgunov, Bolshevik, 67; Reed, Ten Days, 94–5, 106; Averbakh, 'Revoliutsionnoe', 25–6.

31 TsGASP, f. 131, op. 1, d. 7, ll. 2, 7, 13, 24; d. 8, I. 6, 17, 22, 54, 57, 59.

32 GARF, f. 1236, op. 1, d. 1, 1. 70, 81, 83–5, 119, 136, 147, 154, 157; d. 12, 1. 14, 153–4; d. 13, 1. 56; d. 37, L 6; d. 39, UL 5, 20, 28; £ 1791, op. 2, d. 594, 596; TsGASP f. 131, op. 1, d. 8, 1. 54; Bonch-Bruevich, 'Strashnoe', 180–92; Korolenko, 'Iz dnevnikov', 378–80.

33 NZh, II Jan 1918.

34 NZh, 18 Oct 1917.

35 GARE, f. 1236, op. 1, d. 1, Il. 28, 53–4, 58, 62; d. 12, 1. 77; Koenker, Moscow Workers, 345; Mandel, Petrograd Workers, 328–32; Znamia truda, 2 Nov 1917.

36 RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18.
37 RTsKhIDNI, f. 17, op. 1, d. 39.
38 Bone (ed.), Bolsheviks, 136–42; Trotskii, Stalinskaia shkola, 123.
39 Clements, Bolshevik Feminist, 124–6; Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 226; Iroshnikov, Sozdanie, 161–7.
40 Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 323.
41 Melgunov, Bolshevik, 127–8, 170, 180–1; 'Pis'ma moi', 2: 43.
42 NZh, 7 Nov 1917.
43 Liubovitch, 'Kak', 65–9; Rigby, Lenin's, 45–51, 62–3.
44 Rigby, Lenin', 14–19, 30ff; Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 185–6; Liberman, Building, 13.
45 The Debate on Soviet Power, 68–89, 140–2, 200–1.
46 GARF, f. 1236, op. 1, d. 1, lL 59, 102, 104, 107–8; Sorokin, Leaves, 105–6.
47 Radkey, Election, appendix; Radkey, Sickle, 248–9, 281–306.
48 The Debate on Soviet Power, 147.
49 Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 356–62; Dolgorukov, Velikaia, 57£f; NZh, 6 Dec 1917; The Debate on Soviet Power, 174, 177.
50 Gippius, Peterburgskie dnevniki, 365.
51 Leggett, Cheka, 17.
52 AG, Pg-RI, 30–19–616 (published here for the first time).
53 The Debate on Soviet Power, 154.
54 Lenin, PSS, 35: 162–6, 221–3; Nash vek, 6 Jan 1918.
55 Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 369–70; NZh, 9 and II Jan 1918.
56 Sorokin, Leaves, 125; Sokolov, 'Zashchita', 67; Roobol, Tereteli, 180–1; Bonch-Bruevich, Na boevykh, 2.50.
57 Vserossiiskoe uchreditel'noe, LIO-11.
58 Sokolov, White Nights, 210.
59 Sokolov, 'Zashchita', 24, 26, 32–3.
60 AG, Pg-RI, 30–19–617 (published here for the first time).
61 Об этом см. мою готовящуюся к печати статью: 'The Russian Revolution of 1917 and Its Language in the Village', Russian Review.
62 Figes, Peasant Russia, 68; Sokolov, "Zashchita', 16.
63 Denikin, Ocherki, 2; 147–8; Izvestiia vserossiiskogo soveta krest'ianskikh deputatov, 28 May 1917; Pravda, I Jan 1919.
64 Kolonitskii, Antibourgeois', 190; Nazhivin, Zapiski, 15, 28; GARF, f. 551, op. 1, d. 108, 1. 2.
65 Kolonitskii, Antibourgeois', 184–5, 191; Libknecht, Pauki, 4; TCL, Margoulis Collection, 'Protokoly fabzavkoma', 8.
66 Lenin, PSS, 35: 204.
67 Там же., 327; NZh, 16 March 1918.
68 Stites, Revolutionary Dreams, 127; GARE, f. 1236, op. 1, d. 1, L 47, 67; Krasnov, 'Iz vospominani', 162–5; Melgunov, Red Terror, I 13ff; Obolenskii, 'Krym', 216.
69 Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 324; Meshcherskaya, 'Trudovoe', 205–6.

70 GARF, f. 393, op. 2, d. 59, L 35–8.
71 Clements, Bolshevik Feminist, 131–3; Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 587; GARE, f. 130, op. 2, d. 155, 1. 22; d. 167, L 3.
72 Gor'kii, Polnoe sobranie sochinenii, 17: 212; Lenin, PSS, 35: 203; Trotskii, Sochineniia, 17, I: 290–1.
73 Arbenina (Meyendorff), Through Terror, 102; Pozner, Dela, 26–7; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18; Wrangel, From Serfdom, 301–4.
74 Nazhivin, Zapiski, 14.
75 Figes, Peasant Russia, 1OIff, 132–5; Channon, 'Tsarist Landowners', 584; Rudney, Pri vechernykh, 112–29.
76 GARF, f. 4390, op. 14, d. 80, I. 8–10.
77 NZh, 19 Nov 1917.
78 GARF, f. 1791, op. 2, d. 629, 1. 18; Karich', 'O narodnom', 23–32; GARF, f. a-353, op. 3, d. 59, 60, 91, 95, 99, 108; Bunyan and Fisher (ed.), Bolshevik, 289–91; Narodnoe pravo, 34, 1918: 209–10; Speranskii, 'Narodnoe', 25–30.
79 Lenin, PSS, 35: 357–8. Недавно обнаруженные данные указывают на то, что декрет написал Троцкий (см.: Moscow News, 12: 1991).
80 Izvestiia, 23 Aug 1918.
81 Materialy narodnogo kommissariata iustitsii, I: 29.
82 Melgunov, Red Terror, 22–3.
83 NZh, 17 Jan 1918; Steinberg, In the Workshop, 145.
84 Reed, Ten Days, 133.
85 Trotsky, My Life, 355; Reed, Zen Days, 132; Kennan, Russia Leaves the War, 75–6.
86 Fokke, 'Na stene', 15–17, 36–8.
87 Trotsky, My Life, 378; Deutscher, Prophet Armed, 366.
88 RTsKhIDNI, f. 17, op. 1, d. 405, 1. I~13.
89 Fokke, 'Na stene', 207.
90 RTsKhIDNI, f. 17, op. 1, d. 409.
91 Hoffman, War Diaries, I: 206–7.
92 RTsKhIDNI, f. 17, op. 1, d. 410, 1. 3–17.
93 Trotsky, My Life, 406.
94 RTsKhIDNI, f. 17, op. 1, d. 412, L 9; Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, 258–62.
95 Wheeler-Bennett, Brest-Litovsk, 269.
96 Istochnik, I, 1994: 26; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 5, L 136.
97 RTsKhIDNI, f. 4, op. 2, d. 3734, L. 1–2.
98 Trotsky, My Life, 366–9.

Глава 12. Последние мечты старого мира

1 Bulgakov, White Guard, 51–2.
2 Там же., 54.
3 Gul', Ledianoi pokhod, 8–10.
4 Kenez, First Year, 41–2, 55–64.

5 Trotsky, HRA, 2: 287–8; Hašek, Red Commissar, 23.
6 Denikin, Ocherki, 2, 1: 94–100; Bogaevskii, Vospominaniia, 23–7; Suvorin, Za rodinoi, 15.
7 Gul', Ledianoi pokhod, 15; Tsvetaeva, Selected Poems, 62.
8 Bechhofer, In Denikin's Russia, 78; Moscow News, 16 April 1922; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 14.
9 Grondijs, La Guerre, 262–6; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18. Meinecke's dictum from Faulenbach (ed.), Geschichtswissenschaft, 69.
10 Kenez, First Year, 100–1.
11 Gul', Ledianoi pokhod, 16–17; Nesterovich-Berg, V bor'be s bol'shevikami, 97.
12 Holquist, 'Russian Vendée', [31 ff; Kenez, First Year, 89–92: Medvedev and Starikov, Mironov, 45; Suvorin, Za rodinoi, 21, 29–30.
13 Denikin, Ocherki, 2, I: 224; Lukomskii, Vospominaniia, 1, 156–64.
14 Wrangel, Memoirs, 185; Denikin, Ocherki, 2, 1: 237; Gul', Ledianoi pokhod, 65–9, 72–4, 145–7.
15 Kenez, First Year, 103–13; Denikin, Ocherki, 2, 1: 295.
16 Denikin, Ocherki, 2, 1: 298.
17 Holquist, 'Russian Vendée', 211–26; Kenez, First Year, 119–27.
18 Kenez, First Year, 141.
19 Там же., 169–71; Skobtsev, Tri goda, 144.
20 Denikin, Staraia, 2: 89; Ocherki, 3: 128.
21 Kenez, Defeat, 55–8, 80–4.
22 Sokolov, Pravlenie, 93–115; Denikin, Ocherki, 4: 233; Dolgorukov, Vélikaia, 129–30.
23 Kenez, Defeat, 112–20.
24 Denikin, Ocherki, 3: 61; Krasnov, 'Vsevelikoe', 223–7, 232–5; Kenez, First Year, 166–75.
25 Denikin, Ocherki, 4: 221–4; Sokolov, Pravlenie, 187–8, 286–7; Pokrovskii, Denikinshchina, 173–5; Kin, Denikinshchina, 82, 89, 95–109.
26 Kenez, Defeat, 60–2; Lehovich, White, 331; Denikin, Ocherki, 4: 218.
27 Maiskii, Demokraticheskaia, 46.
28 Khronika grazhdanskoi voiny v Sibiri, 168.
29 Figes, Peasant Russia, 163–4.
30 Maiskii, Demokraticheskaia, 72–4, 84, 178–80.
31 Там же. 84–8, 92–3, 126–31, 144–6.
32 Figes, Peasant Russia, 167–72.
33 Там же., 175–8.
34 Krasnaia byl', 3: 53; Vestnik komiteta uchreditel'nogo sobraniia, 23 Aug 1918.
35 Mel'gunov, Tragediia, I: 99; Petrov, Ot Volt, 50; Figes, Peasant Russia, 179.
36 Figes, Peasant Russia, 178–82.
37 GARF, f. 5975, op. 1, d. 13, 1. 9.
38 Maiskui, Demokraticheskaia, 141–2; Melgunov, Tragediia, I: 206.
39 Gins, Sibir', I, 1: 259; Churchill, Aftermath, 97.

40 Budberg, ‘Dnevnik’, 15: 331–2.
41 Varneck and Fisher (ed.), Testimony, 173.

Глава 13. Революция идёт на войну

1 RGVA, f. 37976, op. 9, d. 4218; Os’kin, Zapiski voenkoma, 5–7.
2 Trotsky, HRA, I: 5; Figes, ‘Red Army’, 174–5.
3 Kavtaradze, Voennye, 175–8; Hagen, Soldiers, 23–6.
4 Trotsky Papers, 1: 149; Trotsky, HRA, I: 196.
5 Benvenutti, Bolsheviks, 66–8, 70, 76; Os’kin, Zapiski voenkoma, 118–19.
6 Pravda, 29 Nov and 25 Dec 1918.
7 Trotsky, HRA I: 199–210, 220–6.
8 Benvenutti, Bolsheviks, 92–108.
9 Figes, ‘Red Army’, 176–7; Os'kin, Zapiski voenkoma, 147.
10 Figes, ‘Red Army’, 177–9.
11 Там же., 199–202.
12 GARF, f. 130, op. 2, d. 120, 1. 45, 54; d. 277, 1. 175–86; Os’kin, Zapiski voenkoma, 113.
13 Figes, ‘Red Army’, 182–6.
14 Trotsky Papers, 1: 797; Figes, ‘Red Army’, 183–4.
15 White, Growth of the Red Army, 118; Figes, Peasant Russia, 293; Trotsky, HRA, I: 13.
16 Trotsky, HRA, 2: 109, 298; Figes, ‘Red Army’, 193.
17 Figes, ‘Red Army’, 195–8.
18 Там же., 198–206; Os’kin, Zapiski voenkoma, 147–50; RGVIA, f. 7, op. 2, d. 483, L. 2; Brovkin, Behind, 145–55; Antonovshchina, 45–6.
19 Wildman, End, I: IOI.
20 GARF, f. 2314, op. 9, d. 2, L 15–16.
21 Elkina, ‘Likvidatsiia’, 52–6.
22 Maiakovskii, Polnoe sobranie sochinenit, 2: 92–5.
23 GARE, f. 2313, op. 3, d. 26, L 27.
24 Goldman, My Disillusionment, 8–9.
25 AG, Pg-RI, 30–19–619 (published here for the first time).
26 GARF, f. 539, op. 1, d. 3190, 1. 24, 29–30, 35–6; Izvestiia gosudarstvennogo kontrolia, 5, 1919: 20; NZh, I June 1918; Pozner, Dela, 41; GARF, £ 551, op. 1, d. 20, 1. 19.
27 GARF, f. 539, op. 1, d. 3190, I. 18; Pozner, Dela, 42; Sorokin, Leaves, 209, 217–18; Berkman, Bolshevik Myth, 266.
28 Sorokin, Leaves, 219–20; Materialy po statistike Petrograda, 1, 1920: 10; McAuley, Bread, 276–8.
29 NZh, I June 1918; Babine, Diary, 33; Strumilin, Zarabotnaia plata, 5, 17–18; Strumilin, ‘Prozhitochnoi’, 4–8; Strumilin, ‘Biudzhet’, I-5; McAuley, Bread, 280; Stites, Women’s, 372; Goldman, My Disillusionment, 11.
30 Harrison, Marooned, 99; GARF, f. 5692, op. 1, d. IOI, 1. 23.

31 NZhh, 21 May, I June 1918; Levin, Stormy, 203; Wolfe, Bridge, 77–8, 88–92; Scherr, ‘Notes’, 260–1; Rozhdestvenskii, Stranitsy, 264; Fitzpatrick, Commissariat, 132–3.

32 Khodasevich, Nekropol, 231–2; Berberova, Italics, 169–70; Romanov, V mramornom, 357–8.

33 Levin, Stormy, 206, 210.

34 GARF, f. 5469, op. 2, d. 50, 1. 116; Figes, Peasant Russia, 255–7.

35 Kooperativnaya mysl’ (Saratov), no. 4 (35), 19 Jan 1919; Figes, Peasant Russia, 284–95.

36 GARF, f. 130, op. 2, d. 441, 1. 35; TsGALI, f. 66, op. 1, d. 913, L 9.

37 Serge, Lan 1, 119; McAuley, Bread, 89.

38 Edwards, Sonya, 447–50; GARF, f. 5972, op. 1, d. 101, 1. 29; Schweitzer, Tsvetaeva, 162–3; Meshcherskaia, ‘Trudovoe kreshchenie’.

39 Isaev, Bezrabotitsa, 6; Kleinborg, Istoriia, 285; McAuley, Bread, 88–9, 188; Rabinowitch, ‘Bol'sheviki’, 124–5; Odinnadtsatyi s’eed RKP(b), 103–4.

40 Koenker, ‘Deurbanization’, 90–5; Brower, ‘ “City” ’, 62–3; Figes, Peasant Russia, 138–44; Okninskii, Dva goda, 176.

41 GARF, f. 130, op. 3, d. 443, 1. 35, 36, 55, 93, 98.

42 Chase, Workers, 19–20; Brower, ‘ “City” ’, 72–3; 24; GARF, f. 5451, op. 3, d. 475.

43 TsGANKh, f. 1943, op. 4, d. 116. |. 17; GARF, f. 5451, op. 4, d. 148, L. 175; f. 3429, op. 1, d. 305, 1. 141; Izvestiia samarskogo gubprodkomiteta, 7–8, 1918: 22–3; Figes, Peasant Russia, 95–6; Vaisberg, Den’gi i tseny, 109–13.

44 Kabanov, Obtiabr’skaia, 210–II.

45 Trotsky, HRA, I: 85.

46 Suny, Baku, 208. \.

47 GARF, f. 393, op. II, d. 199, L 60.

48 Figes, Peasant Russia, 66–7, 81–3, 188.

49 Lenin, PSS, 37: 40–1.

50 GARF, f. 130, op. 2, d. 442; d. 443, Il. 22, 38, 52, 75, 122.

51 TsGANKh, f, 1943, op. 1, d. 448, 1. 70; op. 6, d. 376, 1. 85; GARF, £ 4390, op. 2, d. 327, 1. 38; £ 130, op. 2, d. 443, 1. 53; GAVO, f. 503, op. 1, d. 49, |. 24.

52 GAKO, f. 7, op. 1, d. 535, 1. 23.

53 Protokoly zasedanii, 294.

54 Figes, Peasant Russia, 188–99.

55 Aver’ev (ed.), Komitety, I: 21–2; GARF, f. 393, op. 3, d. 336, 1 285.

56 GARF, f. 130, op. 2, d. 277, 1. 177.

57 Leninskii sbornik, 18: 144, 206.

58 Figes, Peasant Russia, 249–61.

59 Harrison, Marooned, 150–7; Banerji, ‘Commissars’, 271.

60 Trotskii, Sochineniia, 12: 136–7.

61 AG, Pg-RI, 30–19–621; McAuley, Bread, 280.

62 Мнение, что рабочие сознательно поддерживали оппозиционные партии, см.: Brovkin, ‘The Mensheviks’ Political Comeback’. Противоположный (и в целом

более убедительный) взгляд, согласно которому рабочее протестное движение не было политизировано в партийном смысле, см.: Rosenberg, ‘Russian Labor’.

63 GARF, f. 130, op. 2, d. 616, |. 2; Rabinowitch, ‘Bol’sheviki’, 126–7.

64 Lenin, PSS, 36: 175–84.

65 Malle, Economic, ch. 2.

66 Gor'ku, ‘Pis'ma k E. P Peshkovoi’, 199.

67 O Lenine, 54.

68 Pravda, 1 Sep 1918; Tumarkin, Lenin Lives, 82–90.

69 Tumarkin, Lenin Lives, 83–5, 91–5; Seifullina, ‘Muzhitskii’.

70 Proletarskaia Revoliutsiia, 6–7, 1923: 284; Lockhart, Memoirs, 320; Balabanoff, My Life as a Rebel, 209.

71 Krasnaia gazeta, 1 Sep 1918; Izvestiia, 3 Sep 1918; Ezhenedel’nik chrezvychainykh komissii, I, 1918: II.

72 Trotskii, O Lenine, 101; Ferro, October, 265.

73 Leggett, Cheka, 30–4.

74 Latsis, Chrezvychainye, 8.

75 Melgunov, Red Terror, 27–8; Peters, “Vospominaniia’, 9.

76 GARF, f. 1236, op. 1, d. 5; Polner, Zhiznennyi, 262; Moscow News, 14–21 June 1992.

77 Piatyi vserossiiskii s’ezd, S—37; Rabinowitch, ‘Maria’, 426–7; Leggett, Cheka, 72–6.

78 Hoover, Steinberg, ‘The Events of July 1918’, 22; Rabinowitch, ‘Maria’, 429.

79 Benckendorff, Last Days, 88.

80 Kerensky, Catastrophe, 268–9.

81 Massie, Nicholas, 449.

82 Trotskii, Dnevniki i pis’ma, 100–1.

83 Radzinsky, Last Tsar, 239.

84 Там же., 248.

85 GARE, f. 601, op. 2, d. 32, L 71; Sovetskaia Rossiia, 12 July 1987.

86 Trotskii, Dnevniki i pisima, 100–1.

87 GARF, f. 130, op. 2, d. 653, I. 12.

88 Radzinsky, Last Tsar, 313–15.

89 Literaturnaia Rossiya, 28 Sep 1990.

90 Radzinsky, Last Tsar, ch. 15; Steinberg and Khrustaley, Fall, 357–60.

91 Историю с останками см.: Massie, Romanovs.

92 Miliutin, ‘Stranitsy iz dnevnika’, 10.

93 Izvestiia, 19 July 1918; Lockhart, Memoirs, 304; GARF, f£. 5972, op. 1, d. 22b, 1. 365; Sokolov, Ubiistvo.

94 Carr, Bolshevik, 1: 174; Radzinsky, Last Tsar, 278; Radek, Portrety, I: 50.

95 Cheka, 47, 90–1, 158–63; Pamiar’, 4: 379.

96 Peshekhonov, ‘Pered’, 205; GARF, f. 130, op. 2, d. 67, 1. 525, 546.

97 Peshekhonov, ‘Pered’, 205–6.

98 GARF, f. 130, op. 2, d. 67, L. 20.

99 Там же., 1. 263f.
100 Там же., £ 5972, op. 3, d. 121, 1.2; d. 350; RGVIA, f, 162, op. 1, d. 18, 1. 42–3.
101 Izvestiia gosudarstvennogo kontrolia, 1, 1919: 16–17; Dan, Dva goda skitanii, 126–33.
102 Melgunov, Red Terror, 162–200; Steinberg, In the Workshop, 145.
103 Gul', 'Byloe'.
104 GARF, f. 130, op. 2, d. 751, L 151; f. 1129, op. 2, d. 105, 1. 16–17; Bunyan, Intervention, 253–7.
105 AG, Pg-RI, 1640–1; Pg-RI, 13–51–2.
106 GARF, f. 4390, op. 14, d. 133.
107 Lenin, PSS, 51: 47–8.

Глава 14. Новый режим торжествует

1 GARF, f. 6028, op. 1, d. 20, 1. 9–10; Zstochnik, 1, 1994: 24.
2 Polner, Zhiznennyi, 259–65; Rus', 19 March 1925.
3 Fleming, Fate, 92–4, 105–6.
4 GARF, f, 6028, op. 1, d. 10, 1. S.
5 Там же., d. 20, 1. 8; Polner, Zhiznennyi', 272.
6 GARF, f. 6028, op. 1, d. 17; Grazhdanskaia voina, 229.
7 Kiriukhin, Zz dnevnika, 71–2.
8 Figes, Peasant Russia, 324–33.
9 Там же., 313–14; Lincoln, Red, 261–5; Fleming, Fate, 139.
10 Budberg, 'Dnevnik', 15: 281, 290, 326.
11 Graves, America's, 200; Budberg, 'Dnevnik', 14: 225.
12 Fleming, Fate, 136; Budberg, 'Dnevnik', 14: 262.
13 Gins, Sibir', 2, 2: ISI-7.
14 Graves, America's, 147, 153–5, 160–1.
15 Mel'gunov, Tragediia, 3, 1: 167–8; Maksakov (ed.), Partizanskoe, 1: 129–43.
16 GARF, f. 1805, op. 1, d. 12; Maksakov (ed.), Partizanskoe, I: 145–72, 289.
17 Fleming, Fate, 157.
18 GARF, f. 439, op. 1, d. 108, 1. 58; Medvedev and Starikov, Philip Mironov, 110–15; Brovkin, Behind, 101–6; Holquist 'Russian Vendée', ch. 5.
19 Kenez, Defeat, 27–34; Malet, Makbno, 30–2; Wrangel, Memoirs, 88.
20 Kenez, Defeat, 20–1; Mawdsley, Russian, 170; Trotsky Papers, 2: 650; Figes, 'Red Army', 182, 188.
21 Wrangel, Memoirs, 89.
22 Denikin, Ocherki, 5: 118.
23 Revvoensovet respubliki, 177; Stankevich, Vospominaniia, 149; Soloman, Sredi krasnykh vozhdei, 214–18; Istochnik, 1, 1994: 3.
24 Kin, Denikinshchina, 115–16, 142–6; Friedgutt, Iuzovka, 2: 373.
25 Denikin, Ocherki, 4: 86–8. -.
26 Rakovskii, V stane belykh, 25, 38; Lehovich, White, 3245; Denikin, Ocherki, 4: 93–4; Sokolov, Pravienie, 192–4; GARE, f. 439, op. 1, d. 108, 1. 59.

27 Trotsky, My Life, 473.
28 GARF, f. 130, op. 3, d. 363; Brovkin, Behind, 73–7, 167–8; Os'kin, Zapiski voenkoma, 179; Revvoensovet respubliki, 180; Hoover, Martov Collection, 'Oborona revoliutsii i sotsial-demoktartia', 3.
29 Revvoensovet respubliki, 177; Os' kin, Zapiski voenkoma, 187, 202–3.
30 GARF, f. 130, op. 3, d. 198; Danilov, 'Pereraspredelenie', 284–7; Figes, 'Red Army', 206–9.
31 Egorov, Razgrom, 144; Os'kin, Zapiski voenkoma, 233.
32 Trotsky, HRA, 3: 412–14.
33 Ruhl, New Masters, 109; Mannerheim, Memoirs, 221.
34 Trotsky, My Life, 440–8, 473–4; Serge, Memoirs, 93; Trotsky Papers, 1: 718–19.
35 McAuley, Bread, 255; Serge, Memoirs, 91–3.
36 Os'kin, Zapiski voenkoma, 237; Vospominaniia o... Lenine, 2: 262.
37 Bechhofer, In Denikin's Russia, 121; Sokolov, Pravlenie, 191.
38 Bechhofer, In Denikin's Russia, IOI.
39 Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 99–114; Maslov, Rossiia, 2: 37.
40 Knei-Paz, Trotsky, 546; Shulgin, 1920 god, 28.
41 GARF, f. 6764, op. 1, d. 775, L. 19.
42 Там же., 1. 20–23; Poliak, "Zhutkie dni', 17–36; Shekhtman, Pogromy, 368.
43 Maleev, Tridtsat' dnei; GARF, f. 6764, op. 1, d. 775.
44 GARF, f. 6764, op. 1, d. 775, 1. 3–4.
45 Sokolov, Pravlenie, 253; Miliukov, Russia Today and Tomorrow, 230.
46 См., напр.: Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 9–14.
47 Babel, 1920 Diary, 7.
48 Wrangel, Memoirs, 185.
49 BA, Bakhmeteff Collection, Box 5.
50 GARF, f. 4390, op. 13, d. 38.
51 Fischer, Lenin, 121.
52 GARF, f. 551, op. 1, d. 20, 21, 27, 29, 39; Pascal, En Communisme, 93–6.
53 GARF, f. SSI, op. 1, d. 59.
54 RGVA, f. 33987, op. 3, d. 46, |. 142–3; GARF, f. 4085, op. 1, d. 14; f. 130, op. 2, d. 71, 1. 332; £. 4390, op. 2, d. 327; op. 4, d. 109; Deviataia konferentsiia RKP(b), 168; Harrison, Marooned, 124.
55 Bonch-Bruevich, Na boevykh postakh, 115.
56 Rigby, Lenin's Government, 176–8, 184–5; Service, Bolshevik, 120–2; Zelnik, 'Fate', 26–7.
57 Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 446; Sakwa, Soviet Communists, 49–53, 191–3; Lenin, PSS, 52: 65.
58 GARF, f. 5469, op. 2, d. 50, 1 81.
59 Struktura i sostav organov, 68; Goldman, My Disillusionment, 54.
60 Solomon, Sredi, 222–7; Orlovsky, 'State', 185–92; Struktura i sostav organov, 79.
61 Figes, Peasant Russia, ch. 5.2.

62 Adelman, ‘Development’, 93; Rigby, Political Elites, 49; Rapoporta, ‘Poltora goda’, 103.
63 Kitaev, ‘Stroitel’stvo’, 104.
64 Rigby, Political Elites, 28–9; Dukes, Red Dusk, 23.
65 Sakwa, Soviet Communists, 154; GARF, f. 539, op. 1, d. 3190, 1 53.
66 Rigby, Political Elites, 47–61.
67 Adelman, ‘Development’, 93, 96–8.
68 GARF, f. 4085, op. Ia, d. 139, 1. 30.
69 AG, Pg-RI, 30–19–630; Sorokin, Sovremennoe, 52; GARF, f. 130, op. 3, d. 158, 1. 414; Petrogradskaia pravda, 19 Jan 1919.
70 RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18.
71 GARF, f. 130, op. 4, d. 245, 1. 397–8; RGVA, f, 33987, op. 3, d. 46, 1. 143.
72 Arbatov, ‘Ekaterinoslav’, 113; GARF, f. 5972, op. 1, d. 101; op. 3, d. 170, 1. 3–4; RGVA, f. 33987, op. 1, d. 278; RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18.
73 BA, Brusilov Collection, Manuscripts ‘Gazeta “Dni” ’, 42; RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18; Grondijs, La Guerre, 265.
74 GARF, f. 5972, op. 1, d. 226, 1 208–10.
75 RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18; RGVA, f. 33988, op. 1, d. 267, 1. 1–2.
76 GARF, f. 5972, op. 3, d. 170, L. 1; Trotsky, HRA, 3: 158; Pravda, [I-12 May 1920.
77 GATO, f. 1832, op. 1, d. 834, 1. 9; Stites, Revolutionary, 95–6; Arbatov, ‘Ekaterinoslay’, IT3.
78 Agursky, Third Rome, 185ff; Burbank, Intelligentsia, 219–25; Ustrialov, V bor’be, 13; Gor'kii, Perepiska A. M. Gor'kogo s zarubezhnymi, 67.
79 Davis, White Eagle, 187; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 182.
80 Kommunisticheskii internatsional’, | May 1919; Zinoviev, Sochineniia, 15: 281; Carr, Bolshevik, 3: 180–1, 192.
81 Istoricheskii arkhiv, 1 1992: 12–30.
82 Там же., 16–17.
83 Trotsky Papers, 1: 623, 625; Agabekov, OGPU, 16.
84 Wells, Russia in the Shadows, 99; Congress of Peoples of the East, 34.
85 Lenin, PSS, 48: 163.
86 Bulgakov, White Guard, 266; Graziosi, ‘Piatakov’, 121–4.
87 Ordzhonikidze, Stat’t i rechi, 1: 106–7; Resolution and Decisions of the Communist Party, 2: 102.
88 Majstrenko, Borot’bism, 191.
89 Krawchenko, Social Change, 55; Mace, Communism, 69.
90 Rorlich, Volga Tatars, 138.
91 Pipes, Formation, 182; Park, Bolshevism in Turkestan, 36.
92 Becker, Russia’s Protectorates, 299–301; Park, Bolshevism in Turkestan, 133–4, 375.
93 Gokay, “Turkish’; Swietochowski, Russian Azerbaidzhan, 147€£.
94 PRO, FO 371/3404.
95 Hovannisen, Republic, 2: 249–50, 291.

96 Suny, Making, 192–9, 205–6.
97 Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 164.
98 Suny, Making, 210; Lenin, PSS, 42: 367; 43: 199; Jones, ‘Establishment’, 623–8.
99 Wrangel, Memoirs, 171–5.
100 Miliukov, Russia Today and Tomorrow, 181; Obolenskii, ‘Krym’, 27, 31–2, 35, 41–2; Rakovskii, Konets, 84–5, 147–50.
101 Wrangel, Memoirs, 175, 191; Obolenskii, ‘Krym’, 11–15, 30–2; Miliukov, Russia Today and Tomorrow, 178–9; Gukovskii (ed.), ‘Agrarnaia’, 52–3, 69–72.
102 Valentinov, ‘Krymskaia’, 15–16.
103 Kalinin, Pod znamenem, 104; Rakovskii, Konets, 9, 158.
104 Wrangel, Memoirs, 274–5; Obolenski, ‘Krym’, 17; Rakovskii, Konets, 82–4.
105 Valentinov, ‘Krymskaia’, 85–6; Bechhofer, In Denikin’s, ch. 7; Kenez, Defeat, 306–8.
106 RGVIA, f. 162, op. 2, d. 18.

Глава 15. Поражение в победе

1 Os’kin, Khoziaistvennaia, 16–20, 24; TsGANKh, f. 3429, op. 1, d. 1527, 1. 16, 190.
2 TsGANKh, f. 3429, op. 1, d. 1487, 1 25; d. 1527, 1. 5; £ 1884, op. 28, d. 1; Doklad ot narodnogo komissara putei soobshcheniia, S—9; Narodnyi komissariat putei soobshcheniia, 6; Rosenberg, ‘Social Background’, 364–7.
3 Krasnoarmeets, 16–20, Feb 1920, 8; Tretii Vserossiiskii s’ezd professional nykh soiuzov, I: 87–90, 97.
4 Deviatyi s’ezd RKP(b), 94; NZh, 11 Nov 1917.
5 GARF, f. 5451, op. 3, d. 336; op. 4, d. 148, 289; £ 382, op. 4, d. 477; f. 130, op. 3, d. 363; TsGANKh, f. 1637, op. 1, d. 359, 361; f£ 3429, op. 1, d. 857;. Brovkin, Behind, ch. 2.
6 Dva goda deiatel’nosti TsK po snabzhentiu rabochikh; Malle, Economic, 123–35, 182–4.
7 Trotsky, HRA, 3: 47–52, 65–7; GAKO, f. 193, op. 2, d. 159, 1. 102; Stites, Revolutionary, 19–24; Os'kin, Khoziaistvennaia, 78–9; Donskii, ‘Ot Moskvy’, 208; GARF, f. 130, op. 5, d. 1037, 1. 19–20; op. 3, d. 104, 1. 30, 68; TsGANKh, f. 3429, op. 1, d. 1527, |. 1–6; d. 857, 1. 148; Bunyan (ed.), Origin, 71–4.
8 Chase, ‘Voluntarism’, 115; GARF, f. 539, op. 1, d. 3190, 1. 30.
9 Banerji, ‘Commissars’, 264; Ransome, Six Weeks, 88–92; Malle, Economic, 153–85.
10 McAuley, Bread, 286–95; Sorokin, Leaves, 220; GARF, f. 539, op. 1, d. 3190, 1. 12–15.
11 Figes, Peasant Russia, 295–308; TsGANKh, f. 478, op. 3, d. 1157, 1. 58; op. 4, d. 69, L 60; Kabanov, Krestianskoe, 240–73.
12 GARF, f. 130, op. 3, d. 414; Brovkin, Behind, 287–99.
13 Rosenberg, ‘Social Background’; Schapiro, Origin, 256–92; Fitzpatrick, Cultural Front, 25–30; Sakwa, Soviet, 216–60.
14 Sokolov, White Nights, 67–72.
15 Burleigh, Death, 11.

16 Joravsky, Russian Psychology, 53–63, 207–13; Trotskii, Sochineniia, XXI: 110–12.
17 Stites, Revolutionary, 32–3; Bogdanov, Red Star, 60–77, 196.
18 Gor'kii, Polnoe sobranie sochineniia, 24: 18–19; AG, Pg-In.
19 Scherrer, 'Ecoles', 265; RTsKhIDNI, f. 17, op. 60, d. 43, 1 19; Read, Culture, 113–14.
20 Mally, 'Intellectuals'; Read, Culture, 89–90, 111–33; Fitzpatrick, Commissariat, 129–33; Stites, Revolutionary, 70–1; McClelland, 'Utopianism', 411.
21 Michelson, 'Wings', 61–9; Taylor, Politics, 36.
22 Stites, Revolutionary, 94–5, 136; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 305–8.
23 Bowlt, 'Constructivism', 204; Stites, Revolutionary, 90.
24 Harrison, Marooned, 125–6; Chagall, My Life, 137; Pethybridge, Social, 149; Donskii, 'Ot Moskvy', 199.
25 Clements, 'Effects', 105.
26 Stites, Women's, 362, 377; Goldman, Women, 7; Farnsworth, 'Village', 246; Fitzpatrick, 'Sex', 268–9; Goldman, 'Working-Class', 129–30, 134–9.
27 Bonch-Bruevich, Vospominaniia, 380; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 299.
28 Zenzinov, Deserted, 27; Fitzpatrick, Commissariat, 31–3, 67, 218; McClelland, 'Utopianism', 119–24.
29 Stites, Revolutionary, 146–57; Toller, Which, 114; Gastev, 'O tendentsiiakh', 44–5; ABC, 75.
30 GARF, f. 130, op. 2, d. 153, 1. 12; d. 163, 1. 60; Stites, Revolutionary, 105–9; Moscow News, 19–26 August, 1990; Karpov, 'Po volnam', 40–1; Hindus, Red, 275–6.
31 Stites, Revolutionary 110; Tumarkin, Lenin, 71–2.
32 Stites, Revolutionary, III-13; Kolonitskii, 'Revolutionary Names', 211–12, 223; Stites, Women's, 364.
33 Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 347–9; Vasil'eva, 'Russkaia', 43–4; RTsKhIDNI, f. 55, op. 2, d. 48, 1. 29, 81–2; Izvestiia TsK, 4, 1990, 190–3; Moscow News, 19–26 August 1990.
34 Agursky, Third Rome, 266–7; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 356; Yodfat, 'Closure'; GARF, f. 353, op. 3, d. 755, I. 125–31, 167–9, 201–2, 237–9; Gitelman, Century, 118.
35 Figes, Peasant Russia, 147–50; GARF, f. 4390, op. 12, d. 40, 1. 17, 24.
36 TsGALI, f. 552, op. 1, d. 3827, 1. 49.
37 Volia Rossii, 18 Jan 1921; Figes, Peasant Russia, 269–72.
38 GARF, f. 5556, op. 1, d. 35a, 50; £130, op. 3, d. 414, L. 7–8; op. 5, d. 712, 1. 53; Volia Rossii, 22. March, 27 July 1921; Trotsky Papers, 2: 386–7.
39 Trotsky Papers, 2: 492–5; RGVA, f. 7, op. 2, d. 483, 1. 8; £ 235, op. 5, d. 63, 1. S, 6, 9, 10, 19–21, 25, 37, 38; d. 217, 1. 15; GATO, f. 1832, op. 1, d. 631, 1. 16, 26, 84; Antonovshchina, 95–6, 150–9; Radkey, Unknown, 38, 139–43, 192–6; Trifonov, Klassy, 37, 246; BA, Lidin Collection, 'Antonovshchina', 6.
40 GATO, f. 1832, op. 1, d. 834, 1. 9; GARF, f. 130, op. 3, d. 414, L. 35, 61; Figes, Peasant Russia, 329, 349.

41 Antonovshchina, 198–210; Brovkin, Behind, 363–8; Trotsky Papers 2: 46–51; Figes, Peasant Russia, 326, 348–9.
42 Trotsky Papers, 2: 504–7; GARE, f. 130, op. 5, d. 712, L. 34; Trifonov, Klassy, 80, ITI; Krasnaia armiia, 3–4, 1921, 35–9.
43 Figes, Peasant Russia, 329–31, 334, 339, 344; GARE, £ 130, op. S, d. 712, L 27; Trotsky Papers, 2: 404–5; Volia Rossii, 21 Dec 1920.
44 Trotsky Papers, 2: 480; Figes, Peasant Russia, 346–7, 351; Radkey, Unknown, 319–20; Gorky, Russian, 18; GARF, f. 130, op. 5, d. 712, 1. 23.
45 Lenin, PSS, 43: 18, 82.
46 Pravda, 22 Jan 1921; Dan, Dva, 104–5.
47 New York Times, 6 March 1921; Sakwa, Soviet, 244–5.
48 Brovkin, Behind, 391–4; Dan, Dva, 106; Kronshtadtskii miatezh, 26.
49 Sukhanov, Russian, 446; Getzler, Kronstadt, 173–6, 209–11; Radkey, Unknown, 404; Pravda o Kronshtadte, 145.
50 Pravda o Kronshtadte, 46–7; Getzler, Kronstadt, 205–8, 218–19, 223–9.
51 Volia Rossii, 17 March 1921; Avrich, Kronstadt, 76–87; Kronshtadtskii miatezh, 146–7; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 382.
52 Avrich, Kronstadt, 151–4; Berkman, Bolshevik, 303.
53 Pravda o Kronshtadte, 82–4.
54 Balabanoff, Impressions, 97–8; Balabanoff, Life, 252; Lenin, PSS, 43: 41.
55 Carr, Bolshevik, 2: 280–6; Schapiro, Origin, 307, 309; Antonovshchina, 109–10, 307; RTsKhIDNI, f. 17, op. 3, d. 128, 1. I.
56 Desiaty s‘ezd, 403–15; Mikoian, Mysli, 156.
57 Avrich, Kronstadt, 46–51, 202–16; Sakwa, Soviet, 245–6; Sorokin, Leaves, 268–9; Levin, Stormy, 210; RTsKhIDNI, f. 76, op. 3, d. 167.
58 Berkman, Bolshevik, 303.
59 Esikov and Protasov, ‘ “Antonovshchina” ’, 52; RGVA, f. 235, op. 2, d. 82, 1. 40; op. 5, d. 133, 1. 70; f. 33988, op. 2, d. 315, 1. 256; Trotsky Papers, 2: 537; Volia Rossii, 27 July 1921.
60 Trotsky Papers, 2: 482, 518, 529; Volia Rossii, 28 April 1921.
61 Arbatov, ‘Batko’, 112.
62 Schapiro, Origin, 205; Jansen, Show, 128.
63 New Economic, 58; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 369; Lenin, PSS, 43: 27, 329.
64 Lenin, PSS, 43: 25; 44: 163; 45: 82, 387–8.
65 Cohen, Bukharin, 138–41; Goldman, My Further, 23.
66 Barmine, One, 124–5; Goldman, My Further, 201–2; Ball, Russia’, 16.

Глава 16. Смерти и отъезды

1 Correspondence, 26: 56.
2 Mawdsley, Russian, 285–7; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 508–9; Fisher, Famine, 83; TsGALI f. 552, op. 1, d. 3827, |. 48; GARF, f. 130, op. 4, d. 245, L 174–80.

3 Donskii, ‘Ot Moskvy’, 205; Sorokin, Sovremennoe, 229–32; Shklovsky, Sentimental, 170; Izvestiia gosudarstvennogo kontrolia, 3–4, 1919, 33; GARF, f. 4390, op. [2, d. 40, 1. 17, 24, 53.

4 GARF, f. 5972, op. 1, d. 21a, 1. 65; Cheka, 11; Fisher, Famine, 97; Gorky, ‘On the Russian’, 16, 18.

5 Figes, Peasant Russia, 267–73, 274–6.

6 Kniga o golode, 7, 16, 38–42, 48–53, 119, 123; Volia Rossii, 28, 29 Sep 1921; BA, ARA, Information Relative to Relief Work in Russia, Memo April 1922; Fisher, Famine, 90.

7 Itogi bor’by, 196; Kniga o golode, 52, 131–2, 140; Zenzinov, Deserted, 72–4; Fisher, Famine, 98; Raleigh (ed.), Russian, 209–10.

8 Conquest, Harvest.:.

9 AG, Pg-In; BA, Polner Collection, Box I, Letter from Lvov to F. Rodichev, 10 Sep 1921; Wolfe, Bridge, 108–9; Heller, ‘Premier’, 131–44.

10 PSS, 53: 110–11; Heller, ‘Premier’, 147ff; Wolfe, Bridge, 112.

11 Fisher, Famine, 195–210, 308–32, 553, 557.

12 ARA Bulletin, ser. 2, 28: 6.

13 Ball, ‘Survival’, 34, 36–7, 41–2, 47; Ball, And Now My Soul, chs I-3; Sorokin, Sovremennoe, 66.

14 Lenin and Gorky, 163; Zenzinov, Deserted, 10–17; Juviler, ‘Contradictions’, 263–5; Serge, Memoirs, 98; Biulleten’ otdela sotsial’nogo obezpecheniia i okbrana truda, I, 1919: 17, 44–5.

15 Berberova, Italics, 188–9; Shub, ‘Maksim’, 244.

16 Khodasevich, Nekropol, 233–4; Khodasevich, Belyi koridor, 227–34; RTsKhIDNI, f. 75, op. 1, d. 149; Lenin and Gorky, 145–8.;.

17 AG, Pg-RI, 23–44–35; RTsKhIDNI, f. 75, op. 1, d. 70; Fitzpatrick, Commissariat, 131.

18 Pyman, Life, 2: 274, 290–1, 374–5; Gorky, Fragments, 142–3; Vogel (ed.), Alexander, 75; AG, Pg-RI, 23–44–3; Rg-P, 46–140.

19 Khodasevich, Nekropol, 113–40; Wolfe, Bridge, 121–2. Nadezhda Mandelstam, hostile to Gorky, claims he did nothing to intervene on behalf of Gumilev (Hope Abandoned, 88).

20 Pyman, Life, 2: 379; Berberova, Italics, 123.

21 TsGALI, f. 200, op. 1, d. 80, 1. 3; £ 2226, op. 1, d. 1067; f. 66, op. 1, d. 296, I. 5; d. 312, 1. 4–5; d. 324, 1. 1–2; d. 913, |. 18; £ 122, op. 3, d. 13, Ll. I, 5–7.

22 Pravda, 11 Jan 1923; Morizet, Chez, 241–2.

23 Lenin, PSS, 42: 159; Liberman, Building, 60; Stites, Revolutionary, 48–50; Wells, Russia, 135.

24 Danilov, Rural, 160–72, 271–91; Danilov, Sovetskaia, 212.

25 Mironov, ‘Gramotnost’’; Danilov, Rural, 42–4, 231–43.

26 Shanin, Awkward, 189–90; Kenez, Birth, 173, 186; Ocherki byta, 10–12.

27 Hagen, Soldiers, 300–2, 314–15; Fitzpatrick, Stalin’s, 36.

28 Iakovlev, Derevnia, 74; Khataevich, ‘Partita’, 106; Iakovlev, Nasha, 33, 163; Male, Russian, 93–4; Weissman, ‘Policing’, 179.

29 GARF, f. 130, op. 4, d. 245, 1. 377; Gorky, ‘On the Russian’, 23, 74; Izvestiia TsK, 2, 1989: 204.
30 Volkogonov, Lenin, 425–7; Izvestiia TsK, 12, 1989: 198.
31 Izvestiia TsK, 12, 1989: 197.
32 Volkogonov, Stalin, 69; Antonov-Ovseenko, Time, 25–6.
33 Fainsod, How, 182; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 462; Antonov-Ovseenko, Time, 27–9.
34 Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 467; Izvestiia TsK, 12, 1989: 198; Lenin, PSS, 53: 300.
35 Naumov, ‘1923 god’, 36; Lenin, PSS, 45: 327; Trotsky, My Life, 498–9.
36 RTsKhIDNI, £ S, op. 2, d. 27, 1 88; Lenin, PSS, 40: 710; Volkogonov, Stalin, 80; Valentinov, Novaia, 185–7; Antonov-Ovseenko, Time, 23: Moscow News, 23 April 1989.
37 Fotieva, Iz zhizni, 279; Moscow News, 22 Jan 1989.
38 Izvestiia TsK, 9, 1989: 191, 196, 199–200, 205–6; Lenin, PSS, 45: 21 I-13, 356–62, 557–8; 54: 299–300, 330; Pravda, 12 Aug 1988.
39 Lenin, PSS, 45: 344–6.
40 Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 478; Lenin, PSS, 45: 327–30; 54: 674–5; Izvestiia TsK, 12, 1989: 193, 198.
41 Izvestiia TsK, 4, 1990: 109; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 479; Volkogonov, Lenin, 428–9.
42 Weber and Weber, Lenin, 197; Nikolaevsky, Power, 12.
43 Это ясно следует из недавно опубликованных писем Сталина Молотову: Stalin’s Letters to Molotov.
44 Deutscher, Prophet Unarmed, 106; Trotsky, My Life, ch. 40; Ziv, Trotskii, 76.
45 Izvestiia TsK, 5, 1990: 169–70; 6, 1990: 190. Выражение «полицейский режим» было заимствовано у Бухарина (Izvestiia TsK, 10, 1990: 168).
46 Izvestiia TsK, 5, 1990: 178–9; 7, 1990: 176–89; Deutscher, Prophet Unarmed, 118; Broué, Trotsky, 373; Voprosy Istorii KPSS, 5, 1990: 35–7.
47 Izvestiia TsK, 10, 1989: 188–9; Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime, 485.
48 Tumarkin, Lenin Lives!, 119–33.
49 New York Times, 15 June 1992.
50 Tumarkin, Lenin Lives!, 139–49, 160–4, ch. 6.
51 Argumenty i fakty, 576, Nov 1991, 1; The Times, 19 Jan 1994.

Заключение

1 AG, PG-In.
2 Delo derevni, 20 Sep, 3 Nov 1917.
3 Kuromiya, Stalin’s, xi; Vorobei, Odin, 13.
4 BA, Bakhmeteff Collection, Box 5; Poslednie novosti, 8 March 1925.
5 GARF, f. 5972, op. 1, d. 21a, |. 22–4; RGVIA, f. 162, op. 1, d. 18; BA, Brusilov Collection, mss. ‘Gazeta “Dni” ’.
6 GARF, f. 5972, op. 1, d. 219, 1. 197–215.

7 A Radical Worker, 389–91; RTsKhIDNI, f. 72, op. 3, d. 687; Zelnik, ‘Fate’, 9–11.

8 AG, Pg-In; Berberova, Italics, 189; Troyat, Gorky, 156, 160; Moscow News, 25 Jan 1990.

9 Troyat, Gorky, 154.

10 Ivanov, ‘Pochemu’, 105–6, 109–10, 116, 129; Spiridonova, ‘Gorky and Stalin’, 417–18.

11 Serge, Memoirs, 268; Ivanov, ‘Pochemu’, [OI—2, 127–8, 131.

12 Spiridonova, ‘Gorky and Stalin’, 418–23; Ivanov, ‘Pochemu’, 120–6. Иную точку зрения на смерть Максима см.: Shentalinsky, The KGB’s Literary Archive, 262–6.

13 Tucker, Stalin in Power, 362–5; Conquest, Great Terror, 387–9; Ivanov, ‘Pochemu’, 133.

БИБЛИОГРАФИЯ

Библиографические описания приводятся на языке оригинала, как в английском издании книги.

Архивы в России

AG	Архив А. М. Горького, Институт мировой литературы, Москва
GAKO	Государственный архив Куйбышевской области
GARF	Государственный архив Российской Федерации, Москва
GATO	Государственный архив Тамбовской области
GAVO	Государственный архив Воронежской области
IM	Исторический музей, Москва
RGAE	Российский государственный архив экономики, Москва
RGIA	Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург
RGVA	Российский государственный военный архив, Москва
RGVIA	Российский государственный военно-исторический архив, Москва
RTsKhIDNI	Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, Москва
TsGALI	Центральный государственный архив литературы и искусства, Россия
TsGASP	Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
TsGAVMF	Центральный государственный архив Военно-морского флота, Санкт-Петербург

Архивы в Европе и США

BA	Бахметевский архив, Колумбийский университет, США
BC	Собрание Бразертона, Лидсский университет, Англия
CUL	Библиотека Кембриджского университета, отдел рукописей, Англия
HLRO	Архив Палаты лордов, историческое собрание, Лондон
Hoover	Гуверовский институт войны, революции и мира, Стэнфорд, Калифорния, США
LRA	Лидсский русский архив, Англия
NLW	Национальная библиотека Уэльса, отдел рукописей и документов, Аберистуит
PRO	Государственный архив (Public Record Office), Лондон
TCL	Библиотека Тринити-колледжа, Кембридж, Англия

Периодические издания

Delo derevni
Den'
Izvestiia
Izvestiia gosudarstvennogo kontrolia
Izvestiia vserossiiskogo soveta krest'ianskikh deputatov
Kievskaia mysl'
Krasnaia armiia
Krasnaia byl'
Krasnaia gazeta
Krasnoarmeets
Narodnoe pravo
Narodnyi pisatel'
New York Times
Novaia zhizn' [NZh]
Novoe vremia
Pamiat'
Petrogradskaia pravda
Poslednie novosti
Pravda
Pravitel'stvennyi vestnik
Proletarskaia revoliutsiia
Rabochii i soldat
Rus'
Russkie vedomosti
Sovetskaia Rossiia
The Times
Trud
Vekhi
Vestnik komiteta uchreditel'nogo sobraniia
Volia Rossii
Znamia truda

Книги и статьи

ABC of Communism, The, Ann Arbor, 1966.

Abraham, R., Alexander Kerensky: The First Love of the Revolution, London, 1987.

Adelman, J. R., 'The Development of the Soviet Party Apparatus in the Civil War: Centre, Localities and the National Areas', Russian History, 9, 1, 1982.

Agabekov, G., OGPU, The Russian Secret Terror, New York, 1931.

Agrarnoe dvizhenie v Rossii v 1905–1906 gg., St Petersburg, 1908.

Agursky, M., The Third Rome: National Bolshevism in the USSR, Boulder, 1987.

Aksakov, K. S., Polnoe sobranie sochinenii, 2 vols, St Petersburg, 1861.

Anatomiia revoliutsii. 1917 god v Rossii: massy, parti, vlast', St Petersburg, 1994.

Anderson, B., Imagined Communities, London, 1983.

Anet, C., La Révolution Russe, 4 vols, Paris, 1927.

Anfimov, A. M., Zemel'naia arenda v Rossii v nachale XX veka, Moscow, 196].

Anfimov, A. M., Rossiiskaia derevnia v gody pervoi mirovoi winy, Moscow, 1962.

Antonov-Ovseenko, A., The Time of Stalin: Portrait of Tyranny, New York, 1983.

Antonovshchina: Krest'ianskoe vosstanie v Tambovskoi gubernii v 1919–1921 gg. Dokumenty i materialy, Tambov, 1994.

Antsiferov, A. N. et al., Russian Agriculture During the War, New Haven, 1930.

Arbatov, Z., 'Ekaterinoslav 1917–1920 gg', Arkhiv russkoi revoliutsii, 12, Berlin, 1923.

Arbatov, Z., 'Batko Makhno', Vozrozhdenie, 29, Paris, 1953.

Arbenina, S. (Baroness Meyendorff), Through Terror to Freedom, London, 1929.

Aronson, G., Rossiia v epokhu revoliutsii, New York, 1966.

Aronson, I. M., Troubled Waters: The Origins of the 1881 Anti-Jewish Pogroms in Russia, Pittsburgh, 1990.

Ascher, A., The Revolution of 1905; Russia in Disarray, Stanford, 1988.

Atkinson, D., 'The Statistics on the Russian Land Commune, 1905–1917', Slavic Review, 4, 1973.

Atkinson, D., The End of the Russian Land Commune, 1905–1920, Stanford, 1983.

Averbakh, V. A., 'Revoliutsionnoe obshchestvo po lichnym vospominaniiam', in Arkhiv russkoi revoliutsii, 14, Berlin, 1924.

Aver'ev, V. N. (ed.), Komitety bednoty: Sbornik materialov, 2 vols, Moscow-Leningrad, 1933.

Avrich, P, Kronstadt 1921, Princeton, 1970.

Babel, I., 1920 Diary, London, 1995.

Babine, A., A Russian Civil War Diary: Alexis Babine in Saratov, 1917–1922, ed. D, J. Raleigh, Durham, 1988.

Babushkin, I., Recollections (1893–1900), Moscow, 1957.

Bakhtin, M. M., The Dialogic Imagination, Austin, Texas, 1981.

Balabanoff, A., My Life as a Rebel, London, 1938.

Balabanoff, A., Impressions of Lenin, Ann Arbor, 1964.

Balk, A. P, 'Poslednie piat' dnei tsarskogo Petrograda (23–8 fevralia 1917 g); Russkoe proshloe, 1, 1991.

Ball, A., Russia's Last Capitalists, Berkeley, 1987.

Ball, A., 'Survival in the Street World of Soviet Russia's Besprizornye', Jabrbiicher fur Geschichte Osteuropas, 39, I, 1991.

Ball, A., And Now My Soul Is Hardened: Abandoned Children in Soviet Russia, 1918–1930, Berkeley, 1994.

Balzer, H., 'The Problem of Professions in Imperial Russia', in E. Clowes et al. (ed.), Between Tsar and People.

Banerji, A., ‘Commissars and Bagmen: Russia during the Civil War, 1918–1921’, Studies in History, 3, 1987.

Baring, M., A Year in Russia, London, 1907.

Baring, M., What I Saw in Russia, London, 1927.

Bark, P, ‘Tiul’ 1914’, Vozrozhdenie, 22, Paris, 1959.

Barmine, A., One Who Survived: The Life Story of a Russian Under the Soviets, New York, 1945.

Bartlett, R. (ed.), Land Commune and Peasant Community in Russia: Communal Farms in Imperial and Early Soviet Society, London, 1990.

Bar-Yaacov, N., The Handling of International Disputes by Means of Inquiry, London, 1974.

Bater, J. H., St Petersburg: Industrialization and Change, London, 1976.

Bauermeister, A., Spies Break Through: Memoirs of a German Secret Service Officer, London, 1934.

Bechhofer, C. E., In Denikin’s Russia, London, 1921.

Becker, S., Russia’s Protectorates in Central Asia: Bukhara and Khiva, 1865–1924.

Cambridge, Mass., 1968.

Becker, S., Nobility and Privilege in Late Imperial Russia, DeKalb, Illinois, 1985.

Belinskii, V. G., Izbrannye filosofskie sochineniia, Moscow, 1948.

Belinskii, V. G., Polnoe sobranie sochinenti, Moscow, 1953–6.

Belliutsin, I. S., Description of the Clergy in Rural Russia, Cornell, 1985.

Bely, A., Petersburg, Harmondsworth, 1983.

Benckendorff, Count Paul, Last Days at Tsarskoe Selo (March—August 1917), London, 1927.

Benvenutti, F., The Bolsheviks and the Red Army, 1918–1922, Cambridge, 1988.

Berberova, N., The Italics Are Mine, London, 1991.

Berdyaev, N., The Origin of Russian Communism, Glasgow, 1937.

Berkman, A., The Bolshevik Myth: Diary, 1920–1922, London, 1925.

Berlin, I., Russian Thinkers, London, 1978.

Besancon, A., The Intellectual Origin of Leninism, Oxford, 1981.

Billington, J., The Icon and the Axe: An Interpretative History of Russian Culture, New York, 1966.

Bing, E. J. (ed.), The Secret Letters of the Last Tsar, New York, 1938.

Binshtok, V. I., and Kaminskii, L. S., Narodnoe pitanie i narodnoe zdorov’, Moscow, 1929.

Blagontavov, G. I., “The Fortress of Peter and Paul, October 1917’, in Petrograd: October 1917, Moscow, 1957.

Blok, A., Sobrante sochinenii v vos’mi tomakh, Moscow-Leningrad, 1960–3.

Blok, A., ‘The People and the Intelligentsia’, in M. Raeff (ed.), Russian Intellectual History: An Anthology, New Jersey, 1978.

Bociurkiw, B., “The Rise of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, 1919–1922’, in G. Hosking (ed.), Church.

Bogaevsku, A. P, Vospominaniia 1918 goda, New York, 1963.

Bogdanov, A. A., Red Star: The First Bolshevik Utopia, ed. L. Graham and R. Stites, Bloomington, 1984.

Bogdanovich, A. V., Tri poslednikh samoderzhtsa. Dnevnik, Leningrad, 1924.

Bogucharskii, V., Aktivnoe narodnichestvo semidesiatykh godov, Moscow, 1912.

Bok, M., Reminiscences of my Father, P A. Stolypin, New Jersey, 1970.

Bonch-Bruevich, V. D., ‘Strashnoe y revoliutsii’, in V. D. Bonch-Bruevich, Na boevykh postakh fevral’skoi i oktiabr’skoi revoliutsii, Moscow, 1930.

Bonch-Bruevich, V. D., Vospominantia 0 Lenine, Moscow, 1969.

Bone, A. (ed.), The Bolsheviks and the October Revolution: Minutes of the Central Committee of the RSDLP(b), August 1917—February 1918, London, 1974.

Bonnell, V. E., Roots of Rebellion: Workers’ Politics and Organization in St Petersburg and Moscow, 1900–1914, Berkeley, 1983.

Botchkareva, M., Yashka: My Life as a Peasant, Soldier and Exile, London, 1919.

Bowlr, J. E., ‘Constructivism and Early Soviet Fashion Design’, in A. Gleason et al. (ed.), Bolshevik Culture.

Bradley, J., Muzhik and Muscovite: Urbanization in Late Imperial Russia, Berkeley, 1965.

British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print, Part I, Series A, vol. 6, University Publications of America, 1983.

Brooks, J., When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 1861–1917, Princeton, 1985.

Broué, P,, Trotsky, Paris, 1988.

Brovkin, V,, ‘The Mensheviks’ Political Comeback: The Elections to the Provincial City Soviets in Spring 1918’, Russian Review, 42, 1983.

Brovkin, V., Behind the Front Lines of the Civil War: Political Parties and Social Movements in Russia, 1918–1922, Princeton, 1994.

Brower, D., ‘Labour Violence in Russia’, Slavic Review, II, 1982.

Brower, D.,° “The City in Danger”: The Civil War and the Russian Urban Population’, in D, P. Koenker et al. (ed.), Party, State, and Society.

Brower, D., The Russian City between Tradition and Modernity, 1850–1900, Berkeley, 1990.

Brussilov, A., A Soldier’s Notebook, 1914–1918, London, 1930.

Bublikov, A. A., Russkaia revoliutsiia: vpechatleniia i mysli ochevidtsa i uchastnika, New York, 1918.

Buchanan, G., My Mission to Russia and Other Diplomatic Memories, 2. vols, London, 1923.

Buchanan, M., Petrograd: The City of Trouble, 1914–18, London, 1918.

Buchanan, M., The Dissolution of an Empire, London, 1932.

Budberg, A., ‘Dnevnik’, Arkhiv russkoi revoliutsii, 12–15, Berlin, 1923.

Bulgakov, M., The White Guard, Harmondsworth, 1973.

Bulgakov, V., 'Revoliutsiia na avtomobiliakh (Petrograd v fevrale 1917 g.)', Na chuzhoi storone, 6, Berlin-Prague, 1924.

Bunyan, J. (ed.), Ihe Origin of Forced Labour in the Soviet State, 1917–1921: Documents and Materials, Baltimore, 1967.

Bunyan, J. (ed.), Intervention, Civil War, and Communism in Russia: April—December 1918: Documents and Materials, New York, 1976.

Bunyan, J., and Fisher, H. (ed.), The Bolshevik Revolution, 1917–1918: Documents and Materials, Stanford, 1961.

Burbank, J., Intelligentsia and Revolution: Russian Views of Bolshevism, 1917–1922, Oxford, 1986.

Burds, J., 'The Social Control of Peasant Labor in Russia: The Response of Village Communities to Labor Migration in the Central Industrial Region, 1861–1908', in E. Kingston-Mann and T. Mirter (ed.), Peasant Economy.

Burdzhalov, E. N., Russia's Second Revolution, Bloomington, 1988.

Buryshkin, P. A., Moskva kupecheskaia, New York, 1954.

Burleigh, M., Death and Deliverance: 'Euthanasia' in Germany, 1900–1945, Cambridge, 1994.

Bushnell, J., Mutiny Amid Repression: Russian Soldiers in the Revolution of 1905–1906, Bloomington, 1985.

Cantacuzéne, Princess, Revolutionary Days, London, 1920.

Carr, E. H., The Bolshevik Revolution, 1917–1923, 3 vols, London, 1950.

Chaadaeva, O. A. (ed.), 'Soldatskie pis'ma v gody mirovoi voiny (1914–1917 gg.) Krasnyi Arkhiv, 65–6, 1934.

Chaadaeva, O. A., Armiia nakanune fevral'skoi revoliutsii, Moscow-Leningrad, 1935.

Chagall, M., My Life, London, 1965.

Channon, J., 'Tsarist Landowners After the Revolution: Former Pomeshchiki in Rural Russia During NEP', Soviet Studies, 39, 1987.

Chase, W. J., Workers, Society and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918–1929, Urbana, 1987.

Chase, W. J., 'Voluntarism, Mobilization and Coercion: Subbotniki, 1919–1921', Soviet Studies, 41, 1989.

Cheka: materialy po deiatel'nosti chrezvychainykh komissii, Berlin, 1922.

Chekhov, A., Plays, Harmondsworth, 1972.

Chekhov, A., Letters of Anton Chekhov, selected by S. Karlinsky, London, 1973.

Cherniaev, V., 'Vosstanie pavlovskogo polka 26-go fevralia 1917 g., in Rabochii klass Rossii, ego soiuzntki i politicheskte protivntki v 1917 godu. Sbornik nauchnykh trudov, Leningrad, 1989.

Cherniavsky, M., Tsar and People: Studies in Russian Myths, New Haven, 1961.

Cherniavsky, M. (ed.), Prologue to Revolution, Englewood, 1967.

Chernov, V., Rozhdenie revoliutsionnoi Rossii (fevral'skaia revoliutsiia), Paris-Prague-New York, 1934.

Chernov, V., The Great Russian Revolution, New Haven, 1936.

Churchill, W. S., The Aftermath, London, 1929.

Clements, B., Bolshevik Feminist: The Life of Alexandra Kollontai, Indiana, 1979.

Clements, B., "The Effects of the Civil War on Women and Family Relations', in A. Gleason et al. (ed.), Bolshevik Culture.

Clowes, E., Kassow, D., and West, J. (ed.), Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia, Princeton, 1991.

Cohen, S., Bukharin and the Bolshevik Revolution, Oxford, 1980.

Cohn, N., Warrant for Genocide, New York, 1966.

Congress of Peoples of the East: Baku, September 1919: Stenographic Report, London, 1977.

Conquest, R., The Harvest of Sorrow, London, 1986.

Conquest, R., The Great Terror: A Reassessment, London, 1990.

Correspondence Romain Rolland, Maxime Gorki, in Cahiers Romain Rolland, Paris, 1991.

Curtiss, J., Church and State in Russia: The Last Years of the Empire, New York, 1940.

Curtiss, J., The Russian Church and the Soviet State, 1917–1950, Boston, 1953.

Custine, Marquis de, Empire of the Tsar: A Journey through Eternal Russia, New York, 1989.

Czap, P, 'Peasant-Class Courts and Peasant Customary Justice in Russia, 1861–1912', Journal of Social History, 1, 1967.

Dal', V., Poslovitsy russkogo naroda, Moscow, 1957.

Dan, F., Dva goda skitanii, Berlin, 1921.

Danilov, V. P, 'Ob istoricheskikh sud'bakh krest'ianskoi obshchiny v Rossi', Ezhegodnik po agrarnoi istorii, vyp. 6, Problemy istorii russkoi obshchiny, Vologda, 1976.

Danilov, V. P,, 'Pereraspredelenie zemel'nogo fonda Rossii v rezul'tate velikoi oktiabr'skoi revoliutsui', in Leninskii dekret o zemle: sbornik state, Moscow, 1979.

Danilov, V. P, Sovetskaia dokolkhoznaia derevnia: sotsial'naia struktura, sotsial 'nye otnosheniia, Moscow, 1979.

Danilov, V. P,, Rural Russia Under the New Regime, London, 1988.

Davies, N., White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 1919–1920, London, 1972.

Davies, N., God' Playground: A History of Poland, 2 vols, London, 1981.

Dazhina, I. M. (ed.), Amerikanskie dnevniki A. M. Kollontai (1915–1916 ge.)', Istoricheskii arkhiv, 1, 1962.

Dazhina, I. M., and Tsivlina, R., 'Iz arkhiva A. M. Kollontai (Dnevniki, pis'ma, stat 1915–1917 gg.)', Inostrannaia Literatura, 1–2, 1970.

The Debate on Soviet Power: Minutes of the All-Russian Central Committee of Soviets, Second Convocation, October 191 7—January 1918, ed. J. Keep, Oxford, 1979, de Jonge, A., The Life and Times of Grigorii Rasputin, New York, 1982.

Delmas, J., 'Légionnaire et diplomate: Le capitaine Z. Peshkoff', Revue historique de l'Armée, 10, 1968.

Denikin, A. I., Ocherki russkoi smuty, 5 vols, Paris, 1921–6.

Denikin, A. I., Staraia armiia, Paris, 1929–31.

Desiaty s'ezd RKP(b). Stenograficheskii otchet, Moscow, 1963.

Deutscher, I., The Prophet Armed: Trotsky, 1879–1921, Oxford, 1954.

Deviataia konferentsiia RKP(b). Protokoly, Moscow, 1972.

Deviatyi s'ezd RKP(b). Protokoly, Moscow, 1960.

The Diaries of Theodor Herzl, ed. Marvin Lowenthal, London, 1958.

Dixon, S., "The Church's Social Role in St Petersburg', in G. Hosking (ed.), Church.; 'Dnevnik A. A. Polovtsova', Krasnyi arkhiv, 3–4, 1923; 33, 1929; 46, 1931; 67, 1934.

'Dnevnik Nikolaia Romanova', Krasnyi arkhiv, 20–22, 1927.

'Dnevniki kn. Ekateriny Alekseevny Sviatopolk-Mirskoi za 1904–1905 gg., Istoricheskie zapiski, 77, 1965.

Doklad ot narodnogo komissara putei soobshcheniia, Moscow, 1919, Dolgorukov, Prince P. D., Velikaia razrukha, 1916–1926, Madrid, 1964.

Donskii, R., 'Ot Moskvy do Berlina', Arkhiv russkoi revoliutsii, I, Berlin, 1923.

Dostoevskii, F. M., Polnoe sobranie sochinenti v tridtsati tomakh, Leningrad, 1980–4.

Draper, T., The Roots of American Communism, New York, 1967.

Dukes, P, Red Dusk and the Morrow, London, 1922.

Dune, E., Notes of a Red Guard, Urbana, 1993.

Dva goda deiatel'nosti tsentral'noi komissii po snabzheniiu rabochikh i ce mestnykh organov (1919–19219), Moscow, 1921.

Edelman, R., Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: the Nationalist Party, 1907–1917, New Brunswick, 1980.

Edwards, A., Sonya: The Life of Countess Tolstov, London, 1981.

Efimenko, A., Issledovaniia narodnoi zhizni, 2 vols, Moscow, 1884.

Egorov, A. I., Razgrom Denikina 1919, Moscow, 1931.

Eklof, B., Russian Peasant Schools: Officialdom, Village Culture and Popular Pedagogy, 1861–1914, Berkeley, 1986.

Ekonomicheskoe polozhenie Rossii nakanune velikoi oktiabr'skoi sotsialisticheskoi revoliutsii, Leningrad, 1967.

Elchaninov, A., Tsar Nicholas If, London, 1913.

Elkina, D., 'Likvidatsiia negramotnosti v Krasno1 Armit na frontakh grazhdanskoi voiny', Narodnoe obrazovanie, 12, 1957.

Emmons, T., The Formation of Political Parties and the First National Elections in Russia, Cambridge, Mass., 1983.

Emmons, T, 'The Zemstvo in Historical Perspective', in T. Emmons and W. Vucinich (ed.), The Zemstva.

Emmons, T. and Vucinich, W. (ed.), The Zemstva in Russia: An Experiment in Local Self-Government, Cambridge, Mass., 1982.

Engelstein, L., Moscow 1905: Working Class Organisation and Political Conflict, Stanford, 1982.

Engelstein, L., The Keys to Happiness: Sex and the Search for Modernity in Fin-de-Siécle Russia, Cornell, 1992.

Ermansku, O. A., Iz perezhitogo, Moscow-Leningrad, 1927.

Esikov, S. and Protasov, L., ' "Antonovshchina": novye podkhody', Voprosy istorii, 6/7, 1992.

Essad-Bey, M., Nicholas LI: Prisoner of the Purple, London, 1936.

Fainsod, M., How Russia Is Ruled, Cambridge, Mass., 1963.

Fanger, D., "The Peasant in Literature', in W. Vucinich (ed.), The Peasant.

Farmborough, F., Nurse at the Russian Front, London, 1977.

Farnsworth, B., "Village Women Experience the Revolution', in A. Gleason et al. (ed.), Bolshevik Culture.

Faulenbach, B. (ed.), Geschichtwissenschaft in Deutschland, Munich, 1974.

Ferro, M., The Russian Revolution of February 1917, London, 1972.

Ferro, M., October 1917: A Social History of the Russian Revolution, London, 1980.

Ferro, M., Nicholas II: The Last of the Tsars, London, 1991.

Figes, O., Peasant Russia, Civil War: The Volga Countryside in Revolution (1917–192 1), Oxford, 1989.

Figes, O., "The Red Army and Mass Mobilization during the Russian Civil War', Past and Present, 129 (1990), 206–9.

Fischer, L., The Life of Lenin, London, 1965.

Fisher, H., The Famine in Soviet Russia, 1919–1923, New York, 1927.

Fitzpatrick, S., Ihe Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, Cambridge, 1970.

Fitzpatrick, S., 'Sex and Revolution: An Examination of Literary and Statistical Data on the Mores of Soviet Students in the 1920s', Journal of Modern History, 50, 1978.

Fitzpatrick, S., The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia, Cornell, 1992.

Fitzpatrick, S., Stalin's Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization, Oxford, 1994.

Fitzpatrick, S., Rabinowitch, A. and Stites, R. (ed.), Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture, Bloomington, 1991.

Fleming, P, The Fate of Admiral Kolchak, London, 1963.

Florinsky, M., The End of the Russian Empire, New Haven, 1931.

Fokke, D. G,, 'Na stene i za kulisami brestskoi tragikomedii', Arkhiv russkoi revoliutsii, 20, Berlin, 1930.

Fotieva, L., Iz zhizni Lenina, Moscow, 1959.

Frank, S., 'Popular Justice, Community and Culture among the Russian Peasantry, 1870–1900', Russian Review, 46, 1987.

Freeze, G., ‘ “Going to the Intelligentsia’: the Church and its Urban mission in Post-Reform Russia’, in E, Clowes, S. Kassow and J. West (ed.), Between Tsar and People.

Freeze, G., The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform, Princeton, 1983.

Freeze, G., ‘Handmaiden of the State? The Church in Imperial Russia Reconsidered’, Journal of Ecclesiastical History, 36–1, 19855.

Freeze, G., “The Soslovie (Estate) Paradigm and Russian Social History’, American Historical Review, 91, 1986, 11–36.

Freeze, G., ‘Bringing Order to the Russian Family: Marriage and Divorce in Imperial Russia, 1760–1860’, Journal of Modern History, 62, 1990.

Frenkin, M., Russkaia armiia i revoliutsiia 1917–1918, Munich, 1978.

Frieden, N. M., Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905, Princeton, 1981.

Friedgutt, T:, Iuzovka and Revolution, 2 vols, Princeton, 1989, 1993.

Frierson, C., ‘Rural Justice in Public Opinion: The Volost’ Court Debate, 1861–1912’, Slavonic and East European Review, 64, 1986.

Frierson, C., ‘Crime and Punishment in the Russian Village: Rural Concepts of Criminality at the End of the Nineteenth Century’, Slavic Review, 46, 1987.

Frierson, C., ‘Razdel: The Peasant Family Divided’, Russian Review, 46, 1987.

Frierson, C., ‘Peasant Family Divisions and the Commune’, in R. Bartlett (ed.), Land.

Frierson, C., Peasant Icons: Representations of Rural People in Late 19th Century Russia, Oxford, 1993.

Fuhrmann, J., Rasputin: A Life, New York, 1990.

Fuller, W., Civil-Military Conflict in Imperial Russia, 1881–1914, Princeton, 1985.

Galai, S., The Liberation Movement in Russia 1900–1905.

Cambridge, Mass., 1973.

Galili, Z., The Menshevik Leaders in the Russian Revolution: Social Realities and Political Strategies, Princeton, 1989.

Galynskii, T., Ocherki po istorii agrarnoi revoliutsii Serdobskogo uezda, Saratovskoi gubernii, Serdobsk, 1924.

Gankin, O. and Fisher, H. (ed.), The Bolsheviks and the World War: The Origins of the Third International, Stanford, 1940, Gatrell, P, Ihe Tsarist Economy, 1850–1917, London, 1986.

Geifman, A., Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917, Princeton, 1993.

Gellner, E., Nations and Nationalism, Oxford, 1983.

Gernet, M. L., Istoriia tsarskoi tiur’my, 5 vols, Moscow, 1961–2.

Gernet, M. L., Moral’naia statistika, Moscow, 1972.

Gerschenkron, A., Agrarian Policies and Industrialization in Russia, 1861–1917’, in Cambridge Economic History of Europe, 6/2, Cambridge, 19685.

Getzler, I., Martov: A Political Biography of a Russian Social Democrat, London, 1967.

Getzler, I, Kronstadt, 1917–1921: The Fate of a Soviet Democracy, Cambridge, 1983.

Gilliard, PB, Thirteen Years at the Russian Court, London, 192].

Gins, G. K., Sibir', soiuzniki i Kolchak: povorotnyi moment russkoi istorii 1918–1920 > Peking and Kharbin, 1921.

Gippius, Z., Siniaia kniga, Belgrade, 1929.

Gippius, Z., Dmitrii Merezhkovskii, Paris, 19ST.

Gippius, Z., Peterburgskie dnevniki (1914–1919), New York, 1982.

Gitelman, Z., A Century of Ambivalence, New York, 1988.

Gleason, A., Young Russia, New York, 1980.

Gleason, A., Kenez, P. and Stites, R. (ed.), Bolshevik Culture, Bloomington, 1985.

Gleason, W,, "The All-Russian Union of Zemstvos and World War I', in T. Emmons and W. Vucinich (ed.), The Zemstva.

Glickman, R., Alternative View of the Peasantry', Slavic Review, 32, 1973.

Glickman, R., Russian Factory Women: Workplace and Society, 1880–1914, Berkeley, 1988.

Gogol', D., 'Maksim Gor'kii v petropavlovskoi kreposti', Katorga i ssylka, 8/9, 1932.

Gokay, B., "Turkish Settlement and the Caucasus (October 1918—March 1921), paper presented to University of Birmingham, 1993.

Golder, F., Documents on Russian History, 1914–1917, New York, 1927.

Goldman, E., My Disillusionment in Russia, Garden City, 1923.

Goldman, E., My Further Disillusionment in Russia, Garden City, 1924, Goldman, W,, "Working-Class Women and the "Withering Away" of the Family: Popular Responses to Family Policy', in S. Fitzpatrick et al. (ed.), Russia in the Era of NEP Goldman, W., Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936, Cambridge, 1993.

Golovin, N., The Russian Army in the World War, New York, 1931.

Gorey, B., Iz partiinogo proshlogo. Vospominantia, 1895–1905, Leningrad, 1924.

Gor'kii, A. M., 'Pis'ma k K. P. Piatnitskomu', in Arkhiv A. M. Gor'kogo, vol. 4, Moscow, 1954.

Gor'kii, A. M., 'Pis'ma k E. P. Peshkovoi, 1895–1926', in Arkhiv A. M Gor'kogo, vol. 5, Moscow, 1955.

Gor'ku, A. M., 'Pis'ma k pisatel'iam i I. P. Ladyzhnikovu', in Arkhiv A, M. Gor'kogo, vol. 7, Moscow, 1959.

Gor'kit, A. M., Perepiska A. M. Gor'kogo s zarubezhnymi literatorami, Moscow, 1960.

Gor'kit, A. M., Polnoe sobranie sochinenii, Moscow, 1968.

A. M. Gor'kii v epokhu revoliutsii, 1905–1907 gg. Materialy, vospominaniia, issledovaniia, Moscow, 1957.

Gorky, M., Letters, Moscow, 1964.

Gorky, M., My Childhood, Harmondsworth, 1966.

Gorky, M., My Universities, Harmondsworth, 1966.

Gorky, M., Lenin, Edinburgh, 1967.

Gorky, M., Fragments from My Diary, London, 1972.

Gorky, M., ‘On the Russian Peasantry’, in R. E. F. Smith (ed.), The Russian Peasantry 1920 and 1984, London, 1977.

Gourko, G., Memories and Impressions of War and Revolution in Russia, 1914–1917, London, 1918.

Graham, S., With the Russian Pilgrims to Jerusalem, London, 1914.

Grave, B. B. (ed.), Burzhuazia nakanune revoliutsii, Moscow, 1927.

Graves, W. S., America’s Siberian Adventure, 1918–1920, New York, 1941.

Grazhdanskaia voina na Volge v 1918 godu. Sbornik pervyi, Prague, 1930.

Graziosi, A., ‘G. L. Piatakov (1890–1937): A Mirror of Soviet History’, Harvard Ukrainian Studies, 14, 1990.

Gregory, P, ‘Grain Marketings and Peasant Consumption, Russia, 1885–1913’, Explorations in Economic History, 17, 1980.

Gregory, P, ‘Russian Living Standards During the Era of Industrialisation, 1885–1913’, Review of Income and Wealth, 26, 1980.

Grondijs, L.-H., La Guerre en Russie et en Sibérie, Paris, 1922.

Gruzenberg, O., esterday: Memoirs of a Russian-Jewish Lawyer, Berkeley, 1981.

Gubernskii s’ezd krest’ianskikh deputatov Tomskoi gubernii, Tomsk, 1917.

Gukovskii, A. I. (ed.), Agrarnaia politika Vrangelia’, Krasnyi Arkhiv, 26, 1928.

Gul’, R., ‘Byloe’, Ogonek, 7 February 1992.

Gul’, R., Ledianoi pokhod, Berlin, n.d.

Gurko, V. L, Figures and Features of the Past: Government and Opinion in the Reign of Nicholas I, Stanford, 1939.

Gurko, V. I., Tsar i Tsaritsa, Paris, n.d.

Guthier, S., ‘The Popular Base of Ukrainian Nationalism in 1917’, Slavic Review, 38, 1979.

Guthier, S., ‘Ukrainian Cities During the Revolution and Inter-War Period’, in I. Rudnytsky (ed.), Rethinking Ukrainian History, Edmonton, 1981.

Guthier, S., ‘The Roots of Popular Ukrainian Nationalism: A Demographic, Social and Political Study of the Ukrainian Nationality to 1917’, Ph.D. diss., Uni. of Michigan, 1990.

Hagen, M. von, Soldiers in the Proletarian Dictatorship: The Red Army and the Soviet Socialist State. 1917–1930, Ithaca and London, 1990.

Haimson, L., ‘The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905–1917, Slavic Review 23–4, 19645.

Haimson, L. (ed.), The Politics of Rural Russia, 1905–1914, Bloomington, 1979.

Haimson, L. (ed.), The Making of Three Russian Revolutionaries: Voices from the Menshevik Past, Cambridge, 1987.

Haimson, L., ‘The Problem of Social Identities in Early Twentieth-Century Russia’, Slavic Review, 47, 1988.

Hamburg, G., Politics of the Russian Nobility, 1881–1905, New Brunswick, 1984.

Hamm, M., ‘Liberal Politics in Wartime Russia: An Analysis of the Progressive Bloc’, Slavic Review, 53, 1974.

Harrison, M. E., Marooned in Moscow, New York, 1921.

Hasegawa, T., The February Revolution: Petrograd 1917, Seattle, 1981.

Hasek, J., The Red Commissar, London, 1983.

Heald, E., "Witness to Revolution: Letters from Russia, 1916–1919', Kent State Unversity Press, 1974.

Heenan, L. C., Russian Democracy's Fateful Blunder: The Summer Offensive of 1917, New York, 1987.

Heller, M., 'Premier avertissement: un coup de fouet. L'histoire de l'expulsion des personnalités culturelles hors de l'Union Soviétique en 1922', Cabiers du monde russe et sovietique, 20–1, 1974.

Herzen, A., From the Other Shore, Oxford, 1979.

Himka, J.-P, Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth Century, New York, 1988.

Hindenburg, P. von, Out of My Life, London, 1920.

Hindus, M., Red Bread, Bloomington, 1988.

Hoare, S., The Fourth Seal, London, 1930.

Hobsbawm, E. J., Nations and Nationalism since 1870: Programme, Myth, Reality, Cambridge, 1990.

Hofer, T., 'The Creation of Ethnic Symbols from the Elements of Peasant Culture', in P. Sugar (ed.), Ethnic Diversity and Conflict in Eastern Europe, Santa Barbara, 1980.

Hoffman, M. von, War Diaries and Other Papers, London, 1929.

Hogan, H., 'Conciliation Boards in Revolutionary Russia: Aspects of the Crisis of Labor-Management Relations in 1917', Russian History, 9, 1982.

Holquist, P, 'A Russian Vendée: The Practise of Revolutionary Politics in the Don Countryside, 1917–1921', Ph.D. diss., Columbia, 1995.

Hosking, G., The Russian Constitutional Experiment: Government and Duma, 1907–14, Cambridge, 1973.

Hosking, G. and Manning, R. T., 'What Was the United Nobility", in L. Haimson (ed.), The Politics of Rural Russia.

Hosking, G. (ed.), Church, Nation and State in Russia and Ukraine, London, 199].

Hovannisen, R., The Republic of Armenia, 2 vols, Berkeley, 1971, 1982.

Hunt, L., The Family Romance of the French Revolution, London, 1992.

Hutchinson, J. F., 'The Octobrists and the Future of Russia as a Great Power', Slavonic and East European Review, 50, 1972.

Iakhontov, A., "Tiazhelye dni', Arkhiv russkoi revoliutsii, 17, Berlin, 1926.

Iakovlev, Ia., Derevnia kak ona est', Moscow, 1924.

Iakovlev, Ia., Nasha derevnia: Novoe v starom i staroe v novom, Moscow, 1924.

Ignat'ev, A., "V noch' na 25 oktiabria 1917 goda', Krasnaia letopis', 6, 1923.

Ironside, E., Tannenberg: The First Thirty Days in East Prussia, London, 1925.

Iroshnikov, M., Sozdanie sovetskogo tsentral'nogo gosudarstvennogo apparata, Moscow-Leningrad, 1966.

Isaev, A., Bezrabotitsa v SSSR i bor'ba s neiu, 1917–1924, Moscow, 1924.

Iswolsky, M., Memoirs, London, 1920.

Itogi bor'by s golodom v 1921–1922 gg. Sbornik statei i otchetov, Moscow, 1922.

Iusupov, F., Pered izgnaniem, 1887–1919, Moscow, 1993.

Ivanov, A., "Volnenie v 1916 g. v 181-om zapasnom pekhotnom polku', Krasnaia letopis', 10, 1924.

Ivanov, V. V., 'Pochemu Stalin ubil Gor'kogo?', Voprosy literatury, 1993, no. I. Ivanov-Razumnik, V. R., The Memoirs of Ivanov-Razumnik, Oxford, 1965.

'Iz ofitserskikh pisem ¢ fronta v 1917 g-, Krasnyi Arkhiv, 50–1, 1932.

Jansen, M., A Show Trial under Lenin, The Hague, 1982.

Johnson, R., Peasant and Proletarian: The Working Class of Moscow in the Late Nineteenth Century, New Brunswick, 1979.

Jones, S., Russia in Revolution, Being the Experience of an Englishman in Russia during the Upheaval, London, 1917.

Jones, S., 'The Establishment of Soviet Power in Transcaucasia: The Case of Georgia, 1921–1928', Soviet Studies, 40, 1988.

Joravsky, D., Russian Psychology: A Critical History, Oxford, 1989.

Judge, E. H., 'Urban Growth and Anti-Semitism in Russian Moldavia', in L. H. Judge and J. Y. Simms (ed.), Modernization and Revolution.

Judge, E. H. and Simms, J. Y., Modernization and Revolution: Dilemmas of Progress in Late Imperial Russia: Essays in Honor of Arthur P. Mendel, New York, 1992.

Juviler, P, 'Contradictions of Revolution: Juvenile Crime and Rehabilitation', in A. Gleason et al. (ed.), Bolshevik Culture.

Kabanov, V, V,, Oktiabr'skaia revoliutsiia i kooperatsiia (1917—mart 1919), Moscow, 1973.

Kabanov, V. V, Krest'ianskoe khoziaistvo v uslovitakh 'voennogo kommunizma', Moscow, 1988.

Kalinin, I., Pod znamenem Vrangelia, Leningrad, 1925.

Kal'nitskit, Ia., Or fevralia k Oktiabriu: Vospominaniia frontovika, Kharkov, 1924.

Kalugin, O., Vid s Lubianki, Moscow, 1990.

Kantorovich, V,, 'Fedor Linde', Byloe, 24, 1924.

'Karl Marks i tsarskaia tsenzura', Krasnyi Arkhiv, 1933, I. Karpinsku, V. A., "Vladimir Il'ich za granitsei v 1914–1917 gg', Zapiski Instituta Lenina, vol. 2, Moscow, 1927.

Karpov, U,, 'Po volnam zhiteinogo moria. Vospominantia', Novyi mir, I, 1992.

Kassow, S., Students, Professors and the State in Tsarist Russia, California, 1969.

Katkov, G., Russia 1917: The February Revolution, London, 1967.

Katkov, G., The Kornilov Affair: Kerensky and the Break-up of the Russian Army, London, 1980.

Kavtaradze, A., Voennye spetsialisty na sluzhbe Respubliki Sovetov 191 7–1920 ee., Moscow, 1988.

Keep, J. L. H., The Russian Revolution: A Study in Mass Mobilization, London, 1976.

Keep, J. L. H., “The Military Style of the Romanov Rulers’, War and Society, 1, 2, 1983.

Kelly, A., Mikhail Bakunin: A Study in the Psychology and Politics of Utopianism, Yale, 1987.

Kelly, A., ‘Self-Censorship and the Russian Intelligentsia, 1905–1914’, Slavic Review, 46, 1987.

Kenez, P., Civil War in South Russia, 1918: The First Year of the Volunteer Army, Berkeley, 1971.

Kenez, P, Civil War in South Russia, 1919–1920: The Defeat of the Whites, Berkeley, 1977.

Kenez, P,, The Birth of the Propaganda State, Cambridge, 1985.

Kennan, G. F., Russia Leaves the War, Princeton, 1956.

Kerenskui, A. F., Izdaleka, Paris, 1922.

Kerensky, A. F., The Catastrophe: Kerensky’s Own Story of the Russian Revolution, London, 1927.

Kerensky, A. F., The Crucifixion of Liberty, London, 1934.

Kerensky, A. F., The Kerensky Memoirs: Russia and History’s Turning Point, London, 1965.

Ketola, E., ‘Russkaia revoliutsiia i nezavisimost’ Finlandii’, in Anatomiia.

‘Khar’kov v oktiabre 1905 g. (pis’mo uchastnika sobytii)’, Katorga i ssylka, 19, 1925.

Khodasevich, V. F., Nekropol: Vospominaniia, Brussels, 1939.

Khodasevich, V. F,, Belyi koridor. Vospominantia, New York, 1982.

Khronika grazhdanskoi voiny v Sibiri, Moscow-Leningrad, 1926, Khrystiuk, P, Zametki i materialy do istorii ukrainskoi revoliutsii, 1917–1920 g., 2 vols, Vienna, 1921.

Kin, D., Denikinshchina, Leningrad, 1927.

Kingston-Mann, E. and Mixter, T. (ed.), Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800–1921, Princeton, 1991.

Kirtukhin, N., Iz dnevnika woennogo komissara: grazhdanskaia voina, 1918–1919 2 Moscow, 1928.

Kirpichnikov, T., “Vosstanie I-go volynskogo polka v fevrale 1917’, Byloe, 27–28, 1917.

Kitaev, M., ‘Stroitel’stvo sel’skikh partiinykh organizatsii v gody grazhdanskoi voiny’, Voprosy istorii KPSS, 7, 1975.

Kleinborg, L., Istoriia bezrabotitsy v Rossii, 1857–1919 ge, Moscow, 1925.

Klier, J. and Lambroza, D. (ed.), Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History, Cambridge, 1992.

Knei-Paz, B., The Social and Political Thought of Leon Trotsky, Oxford, 1978.

Kniga o golode, Moscow, 1922.

Knizhnik, I., ‘N. P. Poliakov — izdatel’ “Kapitala” Karla Marksa’, Voprosy istorii, 6, 1947.

Knox, A., With the Russian Army, 1914–1917, 2 vols, London, 1921.

Koenker, D. P, Moscow Workers and the 1917 Revolution, Princeton, 1981.

Koenker, D. P, ‘Urbanization and Deurbanization in the Russian Revolution and Civil War’, Journal of Modern History, 57, 1985.

Koenker, D. P,, Rosenberg, W. G. and Suny, R. G. (ed.), Party, State and Society in the Russian Civil War: Explorations in Social History, Bloomington, 1988.

Koenker, D. P. and Rosenberg, W. G., Strikes and Revolution in Russia, 1917, Princeton, 1989.

Kokovtsov, Count V. N., Out of My Past: The Memoirs of Count Kokovtsov, Stanford, 1935.

Kollontai, A. M., Lz moei zhizni i raboty, Moscow, 1974.

Kolonitskii, B., ‘A. F. Kerenskii i Merezhkovskie v 1917 godu’, Literaturnoe obozrenie, 3, 1991.

Kolonitskii, B., ‘ “Revolutionary Names”: Russian Personal Names and Political Consciousness in the 1920s and 1930s’, Revolutionary Russia, 6, 1993.

Kolonitskii, B., ‘Antibourgeois Propaganda and Anti-“Burzhui” Consciousness in 1917’, Russian Review, 53, 1994.

Kolonitskii, B., “Zagadka Kerenskogo’, Zvezda, 6, 1994.

Kolonitskii, B., ‘Kul’t vozhdia’, unpublished ms.

Kolonitskii, B., ‘The “Russian Idea” and the Ideology of the February Revolution, unpublished ms.

Koreney, S. A., ‘Chrezvychainaia kommissiia po delam byvshikh ministrov, Arkhiv russkoi revoliutsii, 7, Berlin, 1922.

Kornakov, P, ‘Simvolika i ritualy revoliutsii 1917 g., in Anatomiia.

Korolenko, V, G., ‘Iz dnevnikov 1917–1921 gg, in Pamiat’ Istoricheskii sbornik, 2, Paris, 1979.

Korros, A. S., ‘The Landed Nobility, the State Council and P. A. Stolypin, 1907–1911’, in L. Haimson (ed.), The Politics of Rural Russia.

Kostiukov, ‘Kak my opozdali ko vziatiu zimnego dvortsa’, Krasnyi balteets, 6, 1920.

Kotsiubinskii, A., ‘Sekret liubvi Grigorii Rasputina’, Smena, 2, 9, 16, 23, 27, 29 December 1994.

Koz'min, B., ‘Molodaia Rossiia’, in B. Koz’min, P G. Zaichnevskii i ‘Molodaia Rossiia’, Moscow, 1913.

Krasnov, P, ‘Na vnutrennom fronte’, Arkhiv russkoi revoliutsii, I, Berlin, 1922.

Krasnov, P, ‘Vsevelikoe voisko donskoe’, Arkhiv russkoi revoliutsii, 5/8, Berlin, 1922–3.

Krasnov, V., ‘Iz vospominanii o 1917–11920 gg., Arkhiv russkoi revoliutsii, 8, Berlin, 1923.

Krawchenko, B., Social Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine, New York, 19855.

Kronshtadtskii miatezh: sbornik statei, vospominanii i dokumentov, Leningrad, 193].

Krupskaia, N., Vospominaniia 0 Lenine, Moscow, 1968.

Kryzhanovskii, S., Vospominaniia, Berlin, 1938.

Kuromuya, H., Stalin's Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928–1932, Cambridge, 1988.

Kushner, P. (ed.), Selo viriatno v proshlom i nastoiashem, Moscow, 1958.

Lambroza, S., "The Pogroms of 1903–1906', in J. D. Klier and S. Lambroza (ed.), Pogroms.

Latsis, M., Chrezvychainye komissii po bor'be s kontrrevoliutsiei, Moscow, 1921.

Laue, T. von, 'A Secret Memorandum of Serge: Witte on the Industrialization of Imperial Russia', Journal of Modern History, 26, 1954.

Laue, T. von, 'Russian Labour between Field and Factory, 1892–1903', California Slavic Studies, 3, 1964.

Leggett, G., The Cheka: Lenin's Political Police, Oxford, 1981.

Lehovich, D., White Against Red: The Life of General Anton Denikin, New York, 1974.

Leiberov, I. P. and Rudachenko, S. D,, Revoliutsia i khleb, Moscow, 1990.

Lemke, M. K., 250 dnei v tsarskoi stavke, Petrograd, 1920.

Lenin, V. I., Polnoe sobranie sochinenti, Moscow, 1958–65 [PSS}.

Lenin, V. L, Leninskii sbornik, 39 vols, Moscow-Leningrad, 1924–80.

Lenin and Gorky: Letters, Reminiscences, Articles, Moscow, 1973.

Leontovitsch, V., Geschichte des Liberalismus in Russland, Frankfurt-am-Main, 1957.

Leslie, R., Reform and Insurrection in Russian Poland, London, 1963.

Letters of Tsar Nicholas and the Empress Marie, ed. E. Bing, London, 1937.

Levin, D., Stormy Petrel, London, 1967.

Lewin, M., The Making of the Soviet System, New York, 1985.

Liberman, S., Building Lenin's Russia, Chicago, 1945.

Libknecht, V., Pauki i mukhi, Samara, 1917.

Lieven, D., 'The Russian Civil Service Under Nicholas II: Some Variations on the Bureaucratic Theme', Jabrbiicher fiir Geschichte Osteuropas, 29, 1981.

Lieven, D., Russia and the Origins of the First World War, London, 1983.

Lieven, D., Russia's Rulers Under the Old Regime, New York, 1989.

Lieven, D., Nicholas II: Emperor of All the Russias, London, 1993.

Lih, Lars T., Bread and Authority in Russia 1914–1921, Berkeley, 1990.

Lincoln, W. B., In the Vanguard of Reform: Russia's Enlightened Bureaucrats 1825–1861.

Dekalb, IIL, 1982.

Lincoln, W. B., Passage Through Armageddon: The Russians in War and Revolution, New York, 1986.

Lincoln, W. B., Red Victory: A History of the Russian Civil War, New York, 1989.

Liubovich, A., 'Kak organizovalsia i rabotal narodnyi kommissariat pocht 1 telegrafov v pervyi period oktiabr'skoi revoliutsii', Proletarskaia revoliutsiia, 5, 1926.

Lockhart, R. H. B., Memoirs of a British Agent, London, 1933.

Lockhart, R. H. B., The Diaries of Sir Robert Bruce Lockhart, London, 1973.

Longley, D. A., ‘Some Historiographical Problems of Bolshevik Party Unity’, Jabrbiicher fiir Geschichte Osteuropas, 22, 1974.

Lotman, Iu., ‘The Decembrists in Daily Life’, in Iu. Lotman and B. Uspenskit, Semiotics.

Lotman, Iu., ‘The Poetics of Everyday Behaviour’, in Iu. Lotman and B. Uspenskii, Semiotics.

Lotman, Iu. and Uspenskit, B., The Semiotics of Russian Culture, Ann Arbor, 1984.

Lukomskii, A. F., Vospominaniia, 2 vols, Berlin, 1922.

Lunacharsky, A. V., Revolutionary Silhouettes, London, 1967.

Lurtskii, E. A., ‘Krest’ianskoe vosstanie v Tambovskoi gubernii v 1917 g., Istoricheskie zapiski, 2, 1938.

L'vov-Rogachevskii, ‘Oktiabr'skie dni 1905 goda v Khar'kove’, Katorga i ssylka, 19, 1925.

McAuley, M., Bread and Justice: State and Society in Petrograd, 1917–1922, Oxford, 1991.

McCauley, M. (ed.), The Russian Revolution and the Soviet State, 1917–1921: Documents, London, 1988.

McClelland, ‘Utopianism versus Revolutionary Heroism in Bolshevik Policy: The Proletarian Culture Debate’, Slavic Review, 39, 1980.

McDaniel, T., Autocracy, Capitalism and Revolution in Russia, Berkeley, 1988.

Mace, J., Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in Soviet Ukraine, 1918–1933, Cambridge, 1983.

Macey, D. J., ‘The Land Captains: A Note on their Social Composition, 1889–1913’, Russian History, 16, 1989.

Macey, D. J., “The Peasant Commune and the Stolypin Reforms: Peasant Attitudes, 1906–14’, in R. Bartlett (ed.), Land Commune.

McKean, R. B., St Petersburg Between the Revolutions: Workers and Revolutionaries, June 1907-February 1917, New Haven, 1990.

McKenzie, K. E., “‘Zemstvo Organizations and Their Role within the Administrative Structure’, in T: Emmons and W. Vucinich (ed.), The Zemstva.

Mackenzie Wallace, D., Russia, 2 vols, London, 1905.

McNeal, R. H., Bride of the Revolution: Krupskaya and Lenin, Ann Arbor, 1972.

McNeal, R. H., Tsar and Cossack, 1855–1914, New York, 1967.

Maiakovskii, V., Polnoe sobranie sochinenit, Moscow, 1955–61.

Maiskit, I, Demokraticheskaia kontrrevoliutsiia, Moscow, 1923.

Majstrenko, I., Borot’bism: A Chapter in the History of Ukrainian Communism, New York, 1954.

Maksakov, V. (ed.), Partizanskoe dvizhenie v Sibiri, Moscow-Leningrad, 1925.

Male, D., Russian Peasant Organization Before Collectivization, Cambridge, 1971.

Maleev, A. F., Tridtsat’ dnei evreiskogo pogroma v mestechke Krivoe Ozero, Moscow, 1921.

Malet, M., Nestor Makbno in the Russian Civil War, London, 1982.

Malia, M., Alexander Herzen and the Birth of Russian Soctalism, 1812–1855, Harvard, 196].

Maliantovich, BP N., ‘V zimnem dvortse 25–26 oktiabria 1917 goda’, Byloe, 12, 1918.

Malle, S., The Economic Organization of War Communism, 1918–1921, Cambridge, 1985.

Mally, L., ‘Intellectuals in the Proletkult: Problems of Authority and Expertise’, in D. P. Koenker, W. G. Rosenberg and R. G. Suny (ed.), Party.

Mamantov, V. I., Na gosudarevoi sluzhbe, Tallinn, 1926.

Mandel, D., The Petrograd Workers and the Soviet Seizure of Power, New York, 1984.

Mandelstam, N., Hope Abandoned, London, 1974.

Mannerheim, C. G. E., The Memoirs of Marshal Mannerheim, New York, 1954.

Manning, R. T., The Crisis of the Old Order in Russia: Gentry and Government, Princeton, 1982.

Manning, R. T., “The Zemstvo and Politics, 1904–1914’, in T. Emmons and W. Vucinich (ed.), The Zemstva.

Martov, Iu., Zapiski sotsialdemokrata, Berlin, 1922.

Martynov, E. I., Kornilov: Popytka woertnogo perevorota, Leningrad, 1927.

Martynov, E. L., Tsarskaia armiia v Jevral’skom perevorote, Leningrad, 1927.

Maslov, S. S., Rossia posle chetyrekh let revoliutsii, 2 vols, Paris, 1922.

Massie, R. K., Nicholas and Alexandra, London, 1968.

Massie, R. K., The Romanovs: The Final Chapter, London, 1995.

Materialy narodnogo kommissariata iustitsit, I, Moscow, 1918.

Materialy po statistike Petrograda, 1, Petrograd, 1920.

Matthewson, R. W., The Positive Hero in Russian Literature, Stanford, 1975.

Matossian, M., “The Peasant Way of Life’, in W. Vucinich (ed.), The Peasant.

Mawdsley, E., The Russian Revolution and the Baltic Fleet: War and Politics, February 1917—April 1918, London, 1978.

Mawdsley, E., The Russian Civil War, London, 1987.

Maynard, J., The Russian Peasant and Other Studies, London, 1942.

Medvedev, R. and Starikov, S., Philip Mironov and the Russian Civil War, New York, 1978.

Melamed, S. M., ‘St Paul and Leon Trotsky’, Reflex, Nov 1927.

Melgunov, S. P., The Red Terror in Russia, London, 1925.

Mel’gunov, S. P., Tragediia Admirala Kolchaka, Belgrade, 1930.

Melgunov, S. P,, The Bolshevik Seizure of Power, Oxford, 1972.

Mendel’son, A. L., Itogo prinuditel’noi trezvosti i novye formy p'ianstva, Leningrad, 1916.

Meshcherskaia, E., “Trudovoe kreshchenie’, Novyi mir, 4, 1988.

Meyendorff, J., ‘Russian Bishops and Church Reform in 19055’, in G, Hosking (ed.), Church.

Michelson, A., ‘The Wings of Hypothesis’, in Montage and Modern Life, 1919–1942, Boston, 1992.

Mikoian, A., Mysli i vospominaniia 0 Lenine, Moscow, 1970.

Miliukov, P. N., Istoriia vtoroi russkoi revoliutsii, Sofia, 1921.

Miliukov, P. N., Russia Today and Tomorrow, London, 1922.

Miliukov, PR. N., Political Memoirs, 1905–1917, Ann Arbor, 1967.

Miliukov, PB N., The Russian Revolution, 3 vols, Florida, 1987.

Miliutin, V., ‘Stranitsy iz dnevnika’, Prozhektor, 4, 1924.

Minor, A. S., Novye formy p’ianstva denaturom i spirtosoderzhashchimi zhidkostiami, Moscow, 1915.

Mironov, B., ‘The Russian Peasant Commune After the Reforms of the 1860s’, Slavic Review, 44, 1985.

Mister, T., ‘Peasant Collective Action in Saratov Province, 1902–1906’, in R. Wade and S. Seregny, Politics and Society in Provincial Russia: Saratov, 1590–1917.

Columbus, Ohio, 1989.

Mordvinov, A., ‘Otryvki iz vospominanit’, Russkaia letopis’, S, 1923.

Morizet, A., Chez Lénine et Trotski a Moscou, Paris, n.d.

Morrison, J. D., ‘The Church Schools and Seminaries in the Russian Revolution of 1905’, in G. Hosking (ed.), Church.

Mosse, W. E., ‘Bureaucracy and Nobility in Russia at the End of the Nineteenth Century’, Historical Journal, 24, 1981.

Mossolov, A. A., At the Court of the Last Tsar, London, 1935.

Mstislavsky, S., Five Days Which Transformed Russia, London, 1988.

Nabokov, K. D., Ispytaniia diplomata, Stockholm, 1921.

Nabokov, V. D., ‘The Provisional Government’, in U. D. Medlin and S. L. Parsons (ed.), V D. Nabokov and the Russian Provisional Government, 1917, New Haven, 1976.

Narodnyi komissariat putei soobshcheniia za dva goda revoliutsit. Otchet VI[-my vserosstiskomu s‘ezdy sovetov, Moscow, 1919.

Narodnyi pisatel’ Sergei Terent’evich Semenov, Moscow, 1968.

Naumov, A. N., Iz ustelevshikh vospominanii, 1868–1917, 2 vols, New York, 1954.

Naumov, V., ‘1923 god: sud’ba leninskoi al’ternativy’, Kommunist, 5, 1991.

Nazhivin, I., Zapiski o revoliutsit, Vienna, 1921.

Nesterovich-Berg, M. A., V bor’be s bol’shevikami, Paris, 1931.

Neuberger, J., ‘Stories of the Street: Hooliganism in the St Petersburg Popular Press, 1900–1908’, Slavic Review, 48, 1989.

Neuberger, J., Hooliganism: Crime, Culture and Power in St Petersburg, 1900–1914, Berkeley, 1993.

New Economic Policies of Soviet Russia, The, Chicago, 1921.

Nikitine, B. V., The Fatal Years, London, 1938.

Nikolaevsky, B. I., Power and the Soviet Elite: ‘The Letter of an Old Bolshevik’ and Other Essays, New York, 1965.

Oberuchey, K., V dni revoliutsii: vospominaniia uchastnika velikoi russkoi revoliutsii 1917 goda, New York, 1919.

Obolenskii, V. A., ‘Krym pri Vrangele’, Na chuzhoi storone, 9, 1925.

Obolenskii, V. A., Moia zhizn’ moi sovremenniki, Paris, 1988.

Ocherki byta derevenskoi molodezhi, Moscow, 1924.

Odinnadtsatyi s'ezd RKP(b). Stenograficheskii otchet, Moscow, 1922.

Okninskii, A., Dva goda sredi krest'ian: vidennoe, slyshannoe, perezhitoe v Tambovskoi gubernii s noiabria 1918 oda do noiabria 1920 goda, Newtonville, Mass., 1986.

Oktiabr’skoe vooruzhennoe vosstanie v Petrograde: Dokumenty i materialy, ed. G. N. Golikov et al., Moscow, 1957, O Lenine; sbornik statei i vystuplenii, Moscow, 1965.

Orlovsky, D. T., ‘State-Building in the Civil War: The Role of the Lower-Middle Strata’, in D. P. Koenker et al. (ed.), Party.

Ordhonikidze, F. K., Stat’ i rechi, Moscow, 1956.

Os’kin, D. P,, Khoziaistvennaia rabota 2–01 osoboi armii, Moscow, 1926.

Os'kin, D. P,, Zapiski soldata, Moscow, 1926.

Os'kin, D. P,, Zapiski voenkoma, Moscow, 1931.

Os'kin, D. P.,, Vospominaniia 0 Vladimire I’iche Lenine, Moscow, 1957.

Owen, T. L., Capitalism and Politics in Russia: A Social History of the Moscow Merchants, 1855–1905, Cambridge, 1981, Padenie tsarskogo rezhima, 7 vols, Leningrad, 1924–7, Pakhman, S. V., Obychnoe grazhdanskoe pravo v Rossii, 2 vols, St Petersburg, 1877, 1879.

Pal’chinskii, P. I., ‘Poslednye chasy vremennogo pravitel'stva v 1917 godu’, Krasnyi Arkhiv, 1, 1933.

Paléologue, M., An Ambassador's Memoirs, vol, I, London, 1923.

Paley, Princess, Memories of Russia, 1916–1919, London, n.d.

Pallot, J. and Shaw, D., Landscape and Settlement in Romanov Russia, 1613–1917, Oxford, 1990, Pamiat’: istoricheskii sbornik, Paris, 1981.

Pares, B. (ed.), Letters of the Tsaritsa to the Isar, London, 1923.

Pares, B., My Russian Memoirs, London, 1931.

Pares, B., The Fall of the Russian Monarchy, London, 1939.

Park, A. G., Bolshevism in Turkestan, 1917–27, New York, 1957.

Pascal, P,, En Communisme: Mon journal de Russie, 1918–1921, Lausanne, 1977.

Pasternak, B., Stikhotvoreniia i poemy, Moscow-Leningrad, 1965, Pasternak Slater, Ann (ed. and trans.), A Vanished Present: The Memoirs of Alexander Pasternak, Oxford, 1994.

Paustovsky, K., Story of My Life, New York, 1964.

Pavlov, I., Markovskaia respublika, Moscow, 1926.

Pearson, R., The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism, 1914–1917, London, 1977.

Pearson, T., Russian Officialdom in Crisis, Cambridge, 1990.

Perepiska Nikolaia i Aleksandry Romanovykh, vol. 5, Moscow-Leningrad, 1927.

Perrie, M., ‘The Russian Peasant Movement of 1905–1907: Its Social Composition and Revolutionary Significance’, Past and Present, 57, 1972.

Perrot, M., Les Ouvriers en gréve: France, 1871–1890, Paris, 1974.

Peshekhonov, A. V,, ‘Pered krasnym terrorom’, Na chuzhoi storone, 2, 1923.

Peshekhonov, A. V,, ‘Pervye nedeli (iz vospominanii russkoi revoliutsit)’, Na chuzhoi storone, I, 1923.

Peters, ‘Vospominaniia o rabote v VChK v pervyi god revoliutsii’, Proletarskaia revoliutsiia, 10, 1924.

Pethybridge, R., The Social Prelude to Stalinism, London, 1974.

Petrogradskii sovet rabochikh i soldatskikh deputatov v 1917 godu. Dokumenty i materialy, vol. I, St Petersburg, 1993.

Petrov, P. P, Or Volpi do Tikhogo Okeana v riadakh belykh (1918–1922 ge.), Riga, 1930.

Petrunkevich, I. I, ‘Iz zapisok obshchestvennogo deiatelia’, Arkhiv russkoi revoliutsii, 21, Berlin, 1934.

Piatyi vserossiiskii s’ezd sovetov rabochikh i kazachikh deputatov. Stenograficheskii otchet, Moscow, 1918.

Pipes, R., The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917–1923, Harvard, 1954.

Pipes, R. (ed.), Revolutionary Russia, Harvard, 1968.

Pipes, R., Struve: Liberal on the Left, Cambridge, Mass., 1970.

Pipes, R., Russia Under the Old Regime, London, 1982.

Pipes, R., The Russian Revolution, 1899–1919, London, 1990.

Pipes, R., Russia Under the Bolshevik Regime, 1919–1924, London, 1994.

Pireiko, A., Na fronte imperialisticheskoi voiny, Moscow, 1925.

‘Pis'ma moi k tebe, konechno, istoricheskie’, Voprosy istorii KPSS, 2, 1991.

Pitcher, H. (ed.), Witnesses of the Russian Revolution, London, 1994.

Pokrovsku, G., Denikinshchina, Berlin, 1923.

Poliak, V., ‘Zhutkie dni na Ukraine’, Evreiskaia letopis’, 2, Moscow, 1923.

Polner, T. I., Zhiznennyi put’ kniazia G. E. Lvova, Paris, 1932.

Polner, T. I., Obolenskii, V. and Turn, S. (ed.), Russian Local Government During the War and the Union of Zemstvos, New Haven, 1930.

Polovtsov, Gen. P. A., Glory and Downfall: Reminiscences of a Russian General Staff Officer, London, 1935.

Potresov, A. N., Posmertnyi sbornik proizvedenii, Paris, 1937.

Pozner, V., Dela i dni Petrograda: vospominaniia i razmyshleniia, 1917–1921, Berlin, 1923, Pravda o Kronshtadte, Prague, 1921.

Protokoly zasedanii vserossiiskogo tsentral’nogo ispolnitel’nogo komiteta (4 sozyva), Moscow, 1920.

Purishkevich, V. M., Dnevnik, Riga, 1924.

Purishkevich, V. M., Ubiistvo Rasputina, Paris, n.d.

Pyman, A., The Life of Alexander Blok, vol. 2, The Release of Harmony, 1908–1921, Oxford, 1980.

Rabinowitch, A., Prelude to Bolshevism: The Petrograd Bolsheviks and the July 1917 Uprising, Bloomington, 1968.

Rabinowitch, A., The Bolsheviks Come to Power: The Revolution of 1917 in Petrograd, New York, 1978.

Rabinowstch, A., 'Bol'sheviki, nizy 1 sovetskaia vlast': Petrograd, fevral' 1917—itul' 1918', in Anatomiia.

Rabinowitch, A., 'Maria Spiridonova's "Last Testament" ', Russian Review, 54, no. 3, 1995.

Radek, K., Portrety i pamflety, Moscow, 1933.

Radical Worker in Tsarist Russia, A: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov, ed. R. E. Zelnik, Stanford, 1986.

Radkey, O. H., The Election to the Russian Constituent Assembly of 1917.

Cambridge, Mass., 1950.

Radkey, O. H., The Agrarian Foes of Bolshevism, New York, 1958.

Radkey, O. H., The Sickle Under the Hammer: The Russian Socialist Revolutionaries in the Early Months of Soviet Rule, New York, 1973.

Radkey, O. H., The Unknown Civil War in Soviet Russia, Stanford, 1976.

Radzinsky, E., The Last Tsar: The Life and Death of Nicholas I, London, 1992.

Raeff, M., Origins of the Russian Intelligentsia: The Eighteenth-Century Nobility, New York, 1966.

Raeff, M., 'The Bureaucratic Phenomena of Imperial Russia', American Historical Review, 84, 1979.

Raeff, M., Understanding Imperial Russia: State and Society in the Old Regime, Columbia, 1984.

Rakovskii, G. N., V stane belykh (ot Orla do Novorossiiska), Constantinople, 1920.

Rakovskii, G. N., Konets belykh (ot Dnepra do Bosfora), Prague, 1921.

Raleigh, D. J., Revolution on the Volga: 1917 in Saratov, Cornell, 1986.

Ramer, S. C., "Traditional Healers and Peasant Culture in Russia, 1861–1917', in E, Kingston-Mann and T. Mixter (ed.), Peasant Economy.

Ransome, A., Six Weeks in Russia in 1919, London, 1919.

Rapoporta, Iu. K., 'Poltora goda v sovetskom glavke', Arkhiv russkoi revoliutsii, 2, 1921.

Rashin, A., 'Gramotnost' i narodnoe obrazovanie v Rossi vy XIX i nachale XX v., Istoricheskie zapiski, 37, TOSI.

Rashin, A., Formirovanie rabochego klassa Rossii, Moscow, 1958.

Raskolnikov, F. F., Kronstadt and Petrograd in 1917, London, 1982.

Rawson, D., Russian Rightists and the Revolution of 1905, Cambridge, 1995.

Read, C., Culture and Power in Revolutionary Russia, London, 1990.

Reed, J., Ién Days that Shook the World, London, 1977.

Reisner, L., Izbrannye proizvedeniia, Moscow, 1958.

Reshetar, J., The Ukrainian Revolution, 1917–1920, Princeton, 1950.

Resis, A., 'Das Kapital Comes to Russia', Slavic Review, 24, 1970.

Resolutions and Decisions of the Communist Party of the Soviet Union, vol. 2, The Early Soviet Period, Toronto, 1976.

Revvoensovet respubliki, Moscow, 1991.

Rieber, A., 'Landed Property, State Authority, and Civil War', Slavic Review, 47, 1988.

Rieber, A., 'The Sedimentary Society', in E. Clowes et al. (ed.), Between Tsar and People.

Rigby, T. H., Lenin's Government: Sovnarkom, 1917–1922, Cambridge, 1979.

Rigby, T. H., Political Elites in the USSR: Central Leaders and Local Cadres from Lenin to Gorbachev, Aldershot, 1990.

Rittikh, A. A., Krest'ianskoe pravoporiadok, St Petersburg, 1902.

Robbins, R., Famine in Russia, 1891–1892, New York, 1975.

Robbins, R., The Tsar's Viceroys: Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire, Cornell, 1987.

Robbins, R., 'His Excellency the Governor: The Style of Russian Provincial Government at the Beginning of the Twentieth Century', in Imperial Russia, 1700–1917: State, Society, Opposition, de Kalb, Il, 1988.

Robinson, G. T., Rural Russia Under the Old Regime, London, 1932.

Rodzianko, M. V., The Reign of Rasputin: An Empire's Collapse, London, 1927.

Rogger, H., 'Russian Ministers and the Jewish Question, 1881–1917', California Slavic Studies, 8, 1975.

Rogger, H., Russia in the Age of Modernization and Revolution, 1881–1917, London, 1983.

Rogger, H., Jewish Policies and Right-Wing Politics in Imperial Russia, Berkeley, 1986.

Rolland, R., Journal des années de guerre, Paris, 1952.

Romanov, Grand Duke A. M., Once a Grand Duke, London, 1932.

Romanov, Grand Duke G. K., V mramornom dvortse, New York, 1955.

Roobol, W. H., Tsereteli — A Democrat in the Russian Revolution: A Political Biography, The Hague, 1976.

Rorlich, A.-A., The Volga Tatars: A Profile in National Resilience, Stanford, 1986.

Rosenberg, W. G., 'The Russian Municipal Duma Elections of 1917: A Preliminary Computation of Returns', Soviet Studies, 21–2, 1969.

Rosenberg, W. G., Liberals in the Russian Revolution: The Constitutional Democratic Party, 1917–1921, Princeton, 1974.

Rosenberg, W. G., "The Social Background to Tsektran', in D. P. Koenker, W. G. Rosenberg and R. G. Suny (ed.), Party.

Rosenberg, W. G., 'Russian Labor and Bolshevik Power: Social Dimensions of Protest in Petrograd after October', Slavic Review, 44, 1985.

Rosenberg, W. G., ‘Social Mediation and State Construction(s) in Revolutionary Russia’, Social History, 19, 2, 1994.

Rougle, C., “The Intelligentsia in Russia, 1917–1918’, in Nils A. Nilsson (ed.) Art, Society, Revolution: Russia, 1917–1918, Stockholm, 1979.

Rozhdestvenskii, V. A., Stranitsy zhizni: iz literaturnykh vospominanii, Moscow, 1974.

RPG: see Russian Provisional Government.

Rudnev, S., Pri vechernykh ogniakh: vospominaniia, Newtonville, Mass., 1978.

Ruhl, A., New Masters of the Baltic, New York, 1921.

Russian Provisional Government 1917, The: Documents, ed. R. G. Browder and A. E. Kerensky, 3 vols, Stanford, 1961 [RPG].

Russian Schools and Universities in the World War, New Haven, 1929.

Russkaia revoliutsiia glazami petrogradskogo chinovnika. Dnevnik 1917–1918, Oslo, 1986.

Sablinsky, W., The Road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St Petersburg Massacre of 1905, Princeton, 1976.

Sakwa, R., Soviet Communists in Power: A Study of Moscow During the Civil War, 1918–1921, London, 1988.

Salisbury, H. E., Black Night, White Snow: Russia’s Revolutions, 1905–1917, New York, 1978.

Samuel, M., Blood Accusation, London, 1966.

Sapronov, T., Iz istorii rabochego dvizheniia, Newtonville, Mass., 1976.

Saunders, D., Russia in the Age of Reaction and Reform, London, 1992.

Savinkov, B. S., K delu Kornilova, Paris, 1919.

Sazonov, J. D., How the War Began in 1914, London, 1925.

Schapiro, L., The Origin of the Communist Autocracy: Political Opposition in the Soviet State, First Phase, 1917–1922, London, 1977.

Schapiro, L., “The Political Thought of the First Provisional Government’, in R. Pipes (ed.), Revolutionary Russia.

Scherr, B., ‘Notes on Literary Life in Petrograd, 1918–22: A Tale of Three Houses’, Slavic Review, 36, 1977.

Scherrer, J., ‘Les Ecoles du parti de Capri et de Bologne: La formation de lintelligence du parti’, Cabiers du monde russe et sovietique, 19, 1978.

Schweitzer, V., Tsvetaeva, London, 1988.

Seifullina, L., “Muzhitskii skaz o Lenine’, Krasnyi nov’, I, 1924.

Seletskii, V., ‘Obrazovanie Partii Pogressistov’, Vestnik moskovskogo gosudarstvennogo universiteta, Istoricheskaia Seriia, 5, 1970.

Semenov, S. T., ‘Legko li u nas vydeliat'sia iz obshchiny?’, Sovremenntk, S~6, 1911.

Semenov, S. T., Vospominaniia 0 L. N. Tolstogo, St Petersburg, 1912.

Semenov, S. T., ‘Novye khoziaeva’, Sovremennik 10, 1913.

Semenov, S. T., Dvadtsat’ piat’ let v derevne, Petrograd, 1915.

Semenov, S. T., ‘Obnovlenie chernozema’, Russkaia mysl’, 2 and 4, 1917.

Senn, A., The Emergence of Modern Lithuania, Princeton, 1959.

Serebrennikov, A., Ubiistvo Stolypina: svidetel'stva i dokumenty, New York, 1986.

Seregny, S. J., 'Peasants and Politics: Peasant Unions During the 1905 Revolutien', in E. Kingston-Mann and T: Mister (ed.), Peasant Economy.

Seregny, S. J., Russian Teachers and Peasant Revolution: The Politics of Education in 1905, Bloomington, 1989.

Serge, V., La Ville en danger: Petrograd Van IT de la révolution, Paris, 1924.

Serge, V., Memoirs of a Revolutionary, 1901–1941, Oxford, 1967.

Serge, V., Lian I de la révolution, Paris, 1971.

Serge, V. and Sedova, N. S., The Life and Death of Leon Trotsky, London, 1973.

Service, R., The Bolshevik Party in Revolution: A Study in Organizational Change, 1917–1923, London, 1979.

Service, R., Lenin: A Political Life, 3 vols, London, 1985, 1991, 1995.

Seton-Watson, H., The Russian Empire, 1801–1917, Oxford, 1967.

Shabanov, V., 'Kratkii Biograficheskii Ocherk', unpublished ms.

Shanin, T., The Awkward Class, Oxford, 1972.

Shanin, T., Russia as a 'Developing Society', vol. 1, The Roots of Otherness: Russia's Turn of Century, London, 19855.

Shanin, T., Russia, 1905–7: Revolution as a Moment of Truth, vol. 2, The Roots of Otherness: Russia's Turn of Century, London, 1986.

Shapovalov, A. I., Po doroge k marksismu: vospominaniia rabochego revoliutsionera, Moscow, 1922.

Shekhtman, I. B., Pogromy dobrovolcheskoi armii na Ukraine, Berlin, 1932.

Shentalinsky, V., The KGB's Literary Archive, London, 1995.

Shevelov, G., 'The Language Question in the Ukraine in the Twentieth Century (1900–1941)', Harvard Ukrainian Studies, 10, 1986.

Shklovsky, V., Sentimental Journey, Ithaca, 1970.

Shlapentokh, D., "The Images of the French Revolution in the February and Bolshevik Revolutions', Russian History, 16–1, 1989.

Shliapnikov, A., On the Eve of 1917: Reminiscences from the Revolutionary Underground, London, 1982.

Shliapnikov, A., Semnadsatyi god, 4 vols, Petrograd, 1923.

Shub, D., 'Kropotkin and Lenin', Russian Review, 12, 1953.

Shub, D., 'Maksim Gorkit 1 kommunisticheskaia diktatura', Mosty, I, 1958.

Shub, D., Lenin, London, 1966.

Shulgin, V. V., Dni, Leningrad, 1926.

Shulgin, V. V., 1920 god, Leningrad, 1927.

Sidorov, A. L., Revoliutsionnoe dvizhenie v armii i flote v gody pervoi mirovoi voiny 1914—fevr. 1917, Moscow, 1966.

Sidorov, A. L., Ekonomicheskoe polozhenie Rossii v gody pervoi mirovoi winy, Moscow, 1973.

Siegelbaum, L. H., The Politics of Industrial Mobilization in Russia, 1914–1917: A Study of the War-Industry Committees, London, 1983.

Silver, B., The Russian Workers' Own Story, London, 1938.

Simanovich, A., Rasputine, Paris, 1930.

Simms, J. Y., "The Famine and the Radicals', in E. H. Judge and J. Y. Simms (ed.), Modernization.

Simms, J. Y., 'The Crisis tn Russian Agriculture at the End of the Nineteenth Century: A Different View', Slavic Review, 36, 1977.

Simms, J. Y., 'The Crop Failure of 1891: Soil Exhaustion, Technological Backwardness, and Russia's "Agrarian Crisis" ', Slavic Review, 41, 1982.

Simon, G., 'Church, State and Society', in G. Katkov et al. (ed.), Russia Enters the Twentieth Century, London, 1971.

Sinegub, A., "Zashchita zimnego dvortsa v den' 25 oktiabria 1917', Arkhiv russkoi revoliutsii, 4, 1922.

Skobtsev, D. E., Tri goda revoliutsii i grazhdanskoi voiny na kubany, Paris, n.d.

Slomka, J., From Serfdom to Self-Government: Memoirs of a Polish Village Mayor, London, 1941.

Smith, S. A., Red Petrograd: Revolution in the Factories, 1917–1918, Cambridge, 1983.

Smitten, B. N., 'Poslednyi vremenshchik poslednego tsaria. Materialy chrezvychainoi sledstvennoi komissii vremennogo pravitel'stva o Rasputine i razlozhenii samoderzhaviia', Voprosy istorii, 10, 12, 1964; I, 2, 1965.

Sokolov, B. F., 'Zashchita vserossiiskogo uchreditel'nogo sobranita', Arkhiv russkoi revoliutsii, 12, 1924.

Sokolov, B. F., The White Nights: Pages from a Russian Doctor's Notebook, London, 1959.

Sokolov, Iu. V., 'Aleksei Alekseevich Brusilov', Voprosy istorii, II, 1988.

Sokolov, K. N., Pravlenie generala Denikina (iz vospominanii), Sofia, 1921.

Sokolov, N. A., Ubiistvo tsarskoi sem'i, Paris, 1925.

Solomon, G. A., Sredi krasnykh vozhdei: Lichnoe perezhitoe i vidennoe na sovetskoi sluzhbe, 2 vols, Paris, 1930.

Some Notes on Social Conditions in Soviet Russia, London, 1925.

Sorokin, P,, Sovremennoe sostoianie Rossii, Prague, 1922., Sorokin, P, Leaves from a Russian Diary, New York, 1924.

Sorokin, P, Chelovek, tsivilizatsiia, obshchestve, Moscow, 1992.

Speranskii, 'Narodnye zasedateli', Proletarskaia revoliutsiia i pravo, 5, 1918.

Spiridonova, L., 'Gorky and Stalin. (According to New Materials from A. M. Gorky's Archive)', Russian Review, 54, no. 3, 1995.

Spiridovitch, A., Les Derniéres Années de la cour de Tsarskoe Selo, 2 vols, Paris, 1928–9.

Spring, D. W., 'Russia and the Coming of War', in R. J. W. Evans and H. Pogge von Strondmann (ed.), The Coming of the First World War, Oxford, 1988.

Stalin's Letters to Molotov, ed. L. T. Lih, O. V Naumov and O. V. Khlevniuk, New Haven, 1995.

Stankevich, V., Vospominaniia, 1914–19 g, Berlin, 1920.

Srartsev, V. I., 'Voenno-revoliutsionnyi komitet i krasnaia gvardiia', in Oktiabr'skoe vooruzhennoe vosstanie v Petrograde: sbornik state, Moscow-Leningrad, 1957.

Startsev, V. I., Ocherki po istorii Petrogradskoi krasnoi gvardii i rabochei militsii, Moscow- Leningrad, 19655.

Steinberg, I. N., In the Workshop of the Revolution, New York, 1953.

Steinberg, M. D. and Khrustalev, V. M., The Fall of the Romanovs: Political Dreams and Personal Struggles in a Time of Revolution, New Haven, 1995.

Steklow, G., Mikhail Bakunin, Stuttgart, 1913.

Stepniak (Kravchinskii), S. M., The Russian Peasantry: Their Condition, Social Life, and Religion, London, 1905.

Stepun, F., Byvshee i nesbyvsheesia, 2 vols, New York, 1956.

Sternheimer, S., 'Administering Development and Developing Administration: Organizational Conflict in Tsarist Bureaucracy, 1906–1914', Canadian-American Slavic Studies, 9, 1975.

Stites, R., The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nibilism and Bolshevistn, 1860–1930, Princeton, 1978.

Stites, R., Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution, Oxford, 1989.

Stites, R., 'Iconoclastic Currents in the Russian Revolution: Destroying and Preserving the Past', in A. Gleason et al. (ed.), Bolshevik Culture.

Stolypine, A., L'Homme du dernier tsar, Paris, 1931.

Stojko, W., 'Ukrainian National Aspirations and the Russian Provisional Government', in T. Hunczak (ed.), The Ukraine, 1917–1921: A Study in Revolution, Harvard, 1977.

Stone, N., The Eastern Front, 1914–1917, London, 1978.

Stone, N., Europe Transformed, 1878–1918, London, 1983.

Struktura i sostav organov VSNKh v tsentre i na mestakh v 1921 g, Moscow, 1922.

Strumilin, S. G., 'Prozhitochnoi minimum i zarabotki chernorabochikh v Petrograde', Statistika truda, 2–3, 1918.

Strumilin, S. G., 'Biudzhet moskovskogo rabochego', Statistika truda, I-4, 1919.

Strumilin, S. G., Zarabotnaia plata i proizvoditel'nost' truda v_russkoi promyshlennosti v 1913–1922 gg, Moscow, 1923.

Strumilin, S. G., Izbrannye proizvedeniia, vol. 1, Moscow, 1963.

Struve, P. B., "Velikaia Rossia: iz razmyshlenii o probleme russkogo moguchestva', Russkaia mysl', 28, 1908.

Struve, P. B., "My Contacts and Conflicts with Lenin', Slavic Review, 12, 1933–4.

Stulov, P M., 'Pervyi pulemetnyi polk i itulskie dni 1917 g', Krasnaia letopis', 3, 1930.

Suhr, G., 1905 in St Petersburg: Labor, Society and Revolution, Stanford, 1989.

Sukhanov, N. N., The Russian Revolution: A Personal Record, ed. J. Carmichael, Princeton, 1984.

Suny, R. G., The Baku Commune, 1917–18, Princeton, 1972.

Suny, R. G., The Making of the Georgian Nation, Indiana, 1988.

Suny, R. G., 'Nationality and Class in the Revolutions of 1917: A Re-examination of categories', in N. Lampert and G. Rittersporn (ed.), Stalinism: Its Nature and Aftermath, London, 1992.

Suny, R. G., The Revenge of the Past: Nationalism, Revolution, and the Collapse of the Soviet Union, Stanford, 1993.

Suvorin, B., Za rodinoi: geroicheskaia epokha dobrovol'cheskoi armii, Paris, 1922.

Swietochowski, T., Russian Azerbaijan, 1905–1920; The Shaping of a National Identity in a Muslim Community, Cambridge, 1988.

Swift, A., 'Kul'turnoe stroitel'stvo ili kul'turnaia razrukha? (Nekotorye aspekty teatral'noi zhizni Petrograda i Moskvy v 1917 g.)', in Anatomiia, Svobodov, A., 'A. M. Gor'kii i studencheskoe dvizhenie 1901 goda. (Po delam arkhiva Nizhegorodskogo gubernskogo zhandarmskogo upravleniia)', Katorga i ssylka, 6, 1927.

Szamuely, T., The Russian Tradition, London, 1988.

Szeftel, M., The Russian Constitution of April 23, 1906, Brussels, 1976.

Tager, A. B., The Decay of Czarism: The Beiliss Trial, Philadelphia, 1935.

Taneeva (Vyrubova), A., Stranitsy iz moei zhizni, Berlin, 1923.

Taylor, R., The Politics of the Soviet Cinema, 1917–1929, Cambridge, 1979.

Tkachev, P., Izbrannye sochineniia na sotsial'no-politicheskie temy, Moscow, 1932.

Toller, E., Which World? Which Way?, London, 1931.

Tolstoi, L. N., Pis'ma LN. Tolstogo, 1848–1910 gp, Moscow, 1910.

Tolstot, L. N., Pis'ma L. N. Tolstogo k zhene, 1862–1910 gp, Moscow, 1915.

Tretii vserossiiskii s'ezd professional'nykh soiuzov, Moscow, 1921.

Trifonov, I., Klassy i klassovaia bor'ba v SSSR v nachale NEPa, Leningrad, 1964.

Trotskii, L. D., O Lenine, Moscow, 1924.

Trotsku, L. D., Sochineniia, Moscow, 1925–7.

Trotskui, L. D., Stalinskaia shkola falsifikatsii, Berlin, 1932.

Trotsku, L. D., Dnevniki i pis'ma, ed. Iu. G. Fel'shtinskii, New Jersey, 1986.

Trotsky, L. D., My Life, Harmondsworth, 1975.

Trotsky, L. D., The History of the Russian Revolution, trans. M. Eastman, London, 1977.

Trotsky, L. D., How the Revolution Armed, in The Military Writings and Speeches of Leon Trotsky, S vols, trans. B. Pearce, London, 1979 [HRA].

Trotsky Papers The, ed. J. M. Meijer, 2 vols, The Hague, 1964, 1971.

Troyat, H., Tolstov, Harmondsworth, 1980.

Troyat, H., Gorky, London, 1991.

Trubetskaia, O., Kniaz 5. N. Trubetskoi (vospominaniia sestry), New York, 1953.

Trudy tsentral'nogo statisticheskogo upravleniia, 7, 1, Moscow, 1921.

Tsarev, B., Samouchka pisatel' S. T. Semenov, Moscow, 1925.

Tsereteli, I. G., Vospominaniia o fevral'skoi revoliutsii, 2 vols, The Hague, 1963.
Tsvetaeva, M., Stikhotvorenie i poemy, S vols, New York, 1982.
Tsvetaeva, M., Selected Poems, trans. D. McDuff, Newcastle, 1987.
Tsytovich, N., Sel'skoe obshchestvo kak organ mestnogo upravleniia, Kiev, 1911.
Tucker, R. C., Stalin in Power: The Revolution from Above, 1928–1941, New York, 1990.
Tugan-Baranovsky, M. I., The Russian Factory in the Nineteenth Century, Homeward, Ill, 1970.
Tumarkin, N., Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia, Cambridge, Mass., 1983.
Tyrkova-Williams, A. V., Na putiakh k svobode, New York, 1952.
Tyrkova-Williams, A. V., To, chego bol'she ne bydet, Paris, n.d.
Ulam, A., The Bolsheviks, New York, 1965.
Upton, A., The Finnish Revolution, 1917–1918, Minneapolis, 1980.
Urussov, S. D., Memoirs of a Russian Governor, London, 1908.
Ustrialov, N. I., V bore za Rossiiu, Kharbin, 1920.
Uustalu, E., The History of the Estonian People, London, 1952.
Vaisberg, R. E., Den'gi i tseny (podpol'nyi rynok v period 'Voennogo Kommunizma'), Moscow, 1925.
Valentinov, A. A., 'Krymskaia epopeia (po dnevnikam uchastnikov 1 po dokumentam', Arkhiv russkoi revoliutsii, 5, 1922.
Valentinov, N., 'Chernyshevskii i Lenin', Novyi zhurnal, 26, 1951.
Valentinov, N., Encounters with Lenin, London, 1968.
Valentinov, N., Maloznakomyi Lenin, Paris, 1972.
Valentinov, N., Novaia ekonomicheskaia politika i krizis partii posle smerti Lenina. Gody raboty v VSNKh vo vremia NEP: vospominaniia, Stanford, 1971.
Varneck, E. and Fisher, H. (ed.), The Testimony of Kolchak and Other Siberian Materials, Stanford, 1935.
Vasil'eva, D. Iu., 'Russkaia pravoslavnaia tserkov' i sovetskaia vlast' v 1912–27 gg., Voprosy istorii, 8, 1993.
Venturi, F., Roots of Revolution: A History of the Populist and Socialist Movements in Nineteenth Century Russia, New York, 1960.
Verner, A., The Crisis of Russian Autocracy: Nicholas II and the 1905 Revolution, Princeton, 1990.
Vertsinskii, E. A., God revoliutsii: vospominaniia ofitsera general'nogo shtaba za 1917–18 gg, Tallinn, 1929.
Vladimirova, V., Kontrrevoliutsiia v 1917 g (Kornilovshchina), Moscow, 1924.
Voeikov, V. N., 5 tsarem i bez tsaria, Helsingfors, 1936.
Vogel, L. (ed.), Alexander Blok: An Anthology of Essays and Memoirs, Ann Arbor, 1982.
Voline, The Unknown Revolution, New York, 1975.
Volkogonov, D., Stalin: Triumph and Tragedy, London, 1992.

Volkogonov, D., Lenin: Life and Legacy, London, 1994.

Vorobet, K., Odin za vsekh, vse za odnogo, Leningrad, 1961.

Voronov, D. N., Analiz derevenskogo alkogolizma i samogonnogo promysla', Voprosy narkologii, 1, Moscow, 1926.

Vserosstiskoe uchreditel'noe sobranie, Moscow-Leningrad, 1930.

Vioroi vserossiiskii s'ezd sovetov rabochikh i soldatskikh deputatov, Moscow, 1957.

Vucinich, W. (ed.), The Peasant in Nineteenth-Century Russia, Stanford, 1968.

Wade, R., The Russian Search for Peace, February—October 1917, Stanford, 1969.

Wade, R., Red Guards and Workers' Militias in the Russian Revolution, Stanford, 1984.

Waldron, P, 'Religious Toleration in Late Imperial Russia', in O. Crisp and L. Edmondson (ed.), Civil Rights in Imperial Russia, Oxford, 1989.

War, Revolution, and Peace in Russia: The Passages of Frank Golder, 1914–1927, ed. T. Emmons and B. Patenaude, Stanford, 1992.

Waislo, F. W., 'Bureaucratic Reform before World War I', Russian History, 16, 1989.

Weber, G. and Weber, H., Lenin: Life and Works, London, 1980.

Weinberg, R., "The Pogrom of 1905 in Odessa: A Case Study', in J. Klier and D. Lambroza (ed.), Pogroms.

Weissman, B., Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia, Stanford, 1974.

Weissman, N., 'Rural Crime in Tsarist Russia: the Question of Hooliganism', Slavic Review, 37, 1978.

Weissman, N., Reform in Tsarist Russia: the State Bureaucracy and Local Government, 1900–9, New Brunswick, 1981.

Weissman, N., 'Regular Police in Tsarist Russia, 1900–1914', Russian Review, 20, 1985.

Weissman, N., 'Policing the NEP Countryside', in S. Fitzpatrick, A. Rabinowitch and R. Stites (ed.), Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society and Culture, Indiana, 1991.

Wells, H. G., Russia in the Shadows, London, 1920.

Wheatcroft, S. G., 'Crises and the Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia', in E. Kingston-Mann and T. Mixter (ed.), Peasant Economy.

Wheeler-Bennett, J., Brest-Litovsk: The Forgotten Peace, New York, 1938.

Whelan, H. W., Alexander IIT and the State Council, New Brunswick, 1982.

White, D. D. F,, The Growth of the Red Army, Princeton, 1944.

White, J. A., The Diplomacy of the Russo-Japanese War, Princeton, 1964.

White, J. D., "The Kornilov Affair: A Study in Counter-Revolution', Soviet Studies, 20, 1968.

Wilcox, E. H., Russia's Ruin, London, 1919.

Wildman, A., The Making of a Workers' Revolution: Russian Social Democracy, 1891–1903, Stanford, 1967.

Wildman, A., The End of the Russian Imperial Army, 2 vols, Princeton, 1980, 1987.

Wilton, R., Russia's Agony, London, 1918.

Wilton, R., Last Days of the Romanovs, London, 1920.

Witte, S. 1, The Memoirs of Count Witte, trans. and ed. S. Harcave, London, 1990.

Wolfe, B. D., The Bridge and the Abyss: The Troubled Friendship of Maxim Gorky and V L Lenin, London, 1967.

Wolfe, B. D., Autocracy Without an Autocrat', in Revolution and Reality: Essays on the Origin and Fate of the Soviet System, Chapel Hull, 1981.

Worobec, C. D,, "Victims or Actors? Russian Peasant Women and Patriarchy', in E. Kingston-Mann and T. Mixter (ed.), Peasant Economy.

Wortman, R., The Crisis of Russian Populism, Cambridge, 1967.

Wortman, R., 'Moscow and Petersburg: The Problems of Political Center in Tsarist Russia, 1881–1914', in S. Wilentz (ed.), Rites of Power: Symbolism, Ritual, and Politics Since the Middle Ages, Philadelphia, 1985.

Wortman, R., 'Invisible Threads: The Historical Imagery of the Romanov Tercentenary', Russian History, 16, 2–4, 1989.

Wortman, R., Scenarios of Power: Myth and Ceremony in Russian Monarchy, Princeton, 1995.

Woytinsky, W. S., Stormy Passage, New York, 1961.

Wrangel, N., From Serfdom to Bolshevism: The Memoirs of Baron N. Wangel, London, 1927.

Wrangel, P. N., The Memoirs of General Wrangel, London, 1929.

Yaney, G., The Systematization of the Russian Government, Urbana, 1973.

Yaney, G., The Urge to Mobilize: Agrarian Reform in Russia, 1801–1930, Urbana, 1982.

Yodfat, A. Y., 'The Closure of Synagogues in the Soviet Union', in Soviet Jewish Affairs, 3, 1973.

Zaionchkovsky, P. A., The Russian Autocracy Under Alexander III, Gulf Breeze, 1976.

Zaionchkovskii, P. A., Pravitel'stvennyi apparat: samoderzhavnoi Rossii v XIX v., Moscow, 1977.

Zelnik, R. E., Labor and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St Petersburg, 1855–90, Stanford, 1971.

Zelnik, R. E., 'Russian Bebels: an Introduction to the Memoirs of Semen Kanatchikov and Matvei Fischer', Russian Review, 3–4, 1976.

Zelnik, R. E., 'The Fate of a Russian Bebel: Semen Ivanovich Kanatchikov, 1905–1940", The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, 1105, Pittsburgh, 1995.

Zeman, Z. (ed.), Germany and the Revolution in Russia, 1915–1918, London, 1958.

Zenzinov, V., Deserted: The Story of the Children Abandoned in Soviet Russia, London, 1931.

Zenzinov, V., 'Fevral'skie dni', Novyi zhurnal, 34–3, 1953.

Zenzinov, V., Perezhitoe, New York, 1953.

Zhukovskii-Zhuk, 'Kogda otkrylis' t'iuremnye dveri', Katorga i ssylka, 15, 1925.

Zinoviev, G. E., 'Lenin i tiul'skie dni', Proletarskaia revoliutsiia, 8–9, 1927.

Zinoviev, G. E., Sochineniia, Leningrad, 1923–9.

Ziv, G., Trotskii: po lichnym vospominaniiam, New York, 1921.

Zozulia, Tsar' (cherez god), Petrograd, 1918. 1917 god v derevne: vospominaniia krestian, Moscow-Leningrad, 1929.